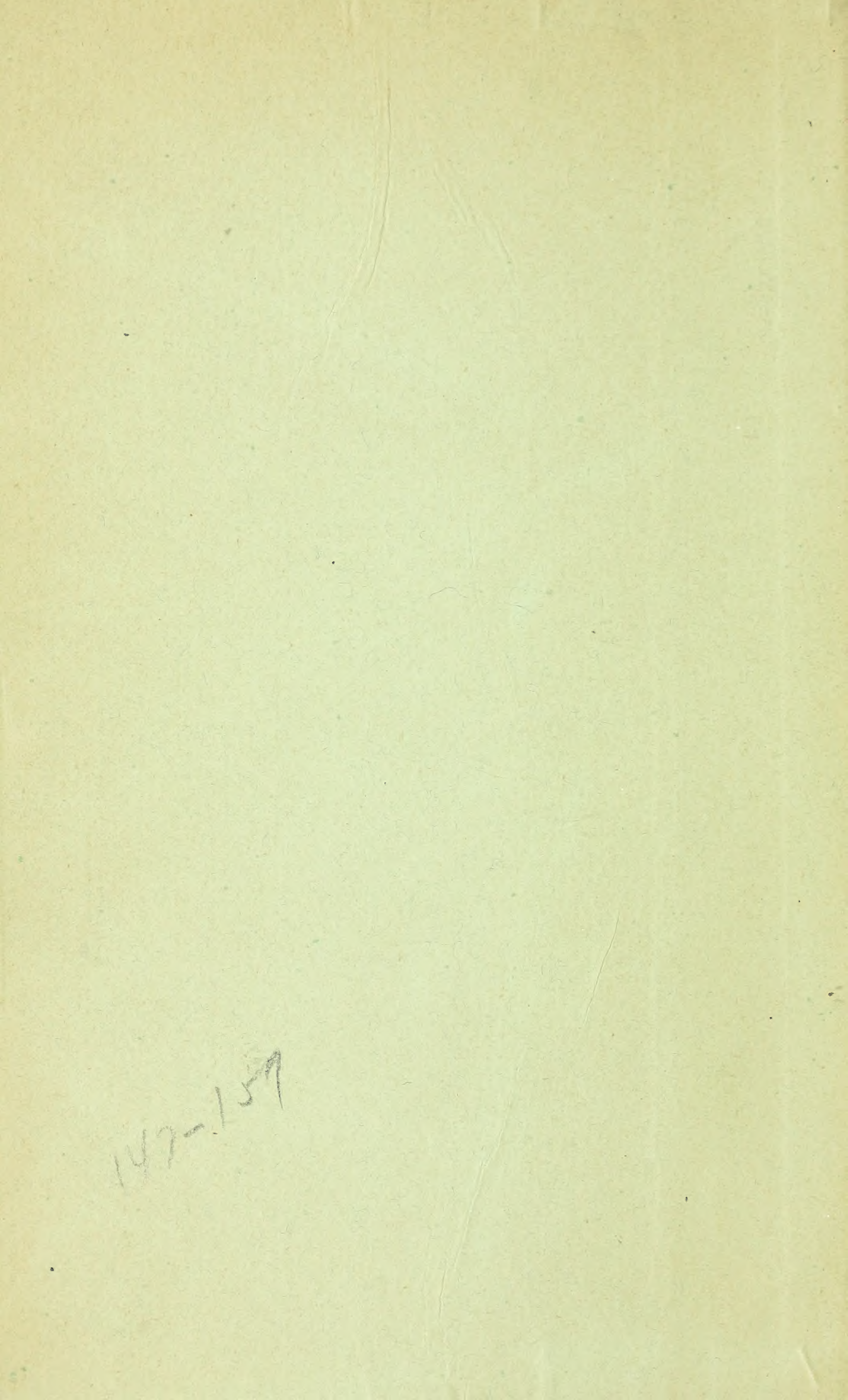
UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00589946 3


147-159

ИСТОРІЯ

СЛАВЯНСКИХЪ ЛИТЕРАТУРЪ

А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

ВНОВЬ ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

ДВА ТОМА

ТОМЪ II

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе типографіи М. М. Стасюлевича
1881

(555)

СОДЕРЖАНІЕ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

I.

Оканчивая второй томъ «Исторіи», я счелъ не лишними нѣсколько словъ въ объясненіе цѣли и направленія моего труда.

Важность предмета обязываетъ автора выяснить свою точку зрѣнія; интересъ, съ которымъ книга встрѣтилась въ литературахъ славянскихъ, побуждаетъ, кромѣ того, опредѣлить нѣкоторыя обстоятельства, обыкновенно мало извѣстныя читателямъ славянскимъ; замѣчанія, высказанныя при появленіи 1-го изданія и теперь, о направленіи моей книги, могутъ требовать отвѣта (по крайней мѣрѣ нѣкоторыя).

Въ литературахъ славянскихъ настоящее изданіе вызвало много сочувствій, которыя надо отнести къ моему взгляду на значеніе славянскаго возрожденія; но въ отзывахъ русской славянофильской критики разныхъ оттѣнковъ, даже признаніе важности моей работы высказывалось въ тонѣ, болѣе или менѣе враждебномъ. Выдѣливши то, что̀ надо приписать низменнымъ соображеніямъ журнальнымъ или просто непониманію, или что́ надо приписать недостаткамъ моего труда (которые, кажется, могли бы быть исправляемы спокойно?), остается доля несочувствія къ самой сущности моего взгляда, который раздѣлялся вообще только не-славянофилами. Къ журнальной полемикѣ я довольно равнодушенъ; но о сущности дѣла должно сказать.

Славянскій вопросъ поставленъ у насъ довольно странно; и западное и южное Славянство едва имѣетъ понятіе о дѣйствитель-

номъ положеніи вопроса въ нашей литературѣ и обществѣ. Можно отличить три главныя точки зрѣнія *): одна, «славянофильская», видитъ въ славянскомъ вопросѣ призваніе русскаго народа, которое онъ долженъ выполнить на основаніи начала православія, какъ существенно славянской формы христіанства (въ средѣ этой школы было и есть нѣсколько знатоковъ Славянства, защищавшихъ его теоріи; но не всѣ слависты были славянофилы); другая, ново-славянофильская (часто переходящая въ простой шовинизмъ), мечтаетъ о славянскомъ единствѣ подъ гегемоніей Россіи,—бо̀льшей частью безъ всякаго яснаго представленія о томъ, какъ это можетъ случиться, и заимствуясь взглядами у настоящихъ славянофиловъ; третья, въ вопросахъ внутреннихъ либеральная, ищущая общественной самодѣятельности, довольно равнодушна, иногда почти враждебна къ славянскому вопросу, какъ нашему «призванію»,—полагая, что, прежде чѣмъ заботиться о немъ, русскому народу есть о чемъ подумать у себя до̀ма, что ранѣе нѣкотораго устройства своихъ собственныхъ дѣлъ, русскому обществу странно и безплодно заниматься дѣлами чужими,—пожалуй, даже и смѣшно.

Оглянувшись на наши внутреннія дѣла, не трудно понять послѣднюю точку зрѣнія, — какъ идеализмъ, намъ понятна даже и первая; но вообще мы не дѣлимъ ни одной изъ нихъ. Для объясненія своего взгляда, я позволю себѣ нѣкоторыя личныя воспоминанія.

Нѣсколько сознательный интересъ къ Славянству съ точки зрѣнія національнаго принципа ограничивается донынѣ очень небольшимъ кругомъ нашего общества и начался недавно. За тридцать лѣтъ назадъ, этотъ интересъ проявлялся въ литературѣ двоякимъ образомъ: еще мало высказанными теоріями славянофильской школы (въ нѣкоторомъ, но неполномъ союзѣ съ Погодинымъ) и дѣятельностью первыхъ ученыхъ славистовъ, профессоровъ недавно передъ тѣмъ основанныхъ каѳедръ славянскихъ нарѣчій. Позднѣе, славянофильская теорія высказалась яснѣе, но ученые слависты стояли отъ нея въ сторонѣ. Мои первыя занятія славянскими предмета-

*) Взглядовъ и славянской политики правительства мы здѣсь не касаемся

ми—тридцать лѣтъ тому назадъ—начались подъ впечатлѣніемъ чтеній Григоровича, потомъ Срезневскаго. Ихъ взгляды не совпадали съ исключительными теоріями славянофильской школы, — быть можетъ именно потому, что подходили къ Славянству не теоретически, а по прямому изученію живыхъ обществъ и народовъ. Во все теченіе своей дѣятельности, наши ученые слависты перваго поколѣнія не слились съ славянофилами. Позднѣе, Гильфердингъ приступилъ къ славянскимъ предметамъ, уже пропитанный теоріями Хомякова.

Профессора-слависты были славянскіе энтузіасты иного рода. Григоровичъ, котораго я слушалъ нѣсколько мѣсяцевъ въ первой половинѣ 1850 г., былъ идеалистъ и мечтатель, изъ тѣхъ, которые никогда не разстаются съ своей идеей, полагаютъ на нее всю свою преданную любовь. Для слушателя, который раньше обыкновенно ничего не зналъ о Славянахъ и слышалъ о нихъ въ первый разъ отъ профессора въ выраженіяхъ самаго теплаго сочувствія, казалось немного странно, какъ раньше онъ не вѣдалъ ничего объ этихъ единоплеменникахъ, заслуживающихъ такой любви. У Григоровича не было предпочтеній; каждое племя равно вызывало его вниманіе; казалось даже, что наиболѣе слабыя и забытыя внушали ему тѣмъ больше сочувствія,—Болгары, тогда почти неизвѣстные, «Хорутане», Лужичане. Срезневскій, котораго я слушалъ со второй половины 1850 года, былъ человѣкъ другого склада — характера живого и подвижнаго, но ума точнаго, даже холоднаго. Когда онъ приступилъ, еще въ годы молодости, къ славянскимъ изученіямъ, вопросъ народности былъ сильно окрашенъ романтизмомъ; Срезневскій вложилъ въ эти изученія всю свою энергію и поэтическія влеченія. Я узналъ его еще въ полномъ развитіи его славянскихъ интересовъ и энтузіазма. Онъ, какъ немногіе среди самихъ западныхъ Славянъ, видѣлъ развитіе народнаго возрожденія у разныхъ племенъ, зналъ лично наиболѣе видныхъ дѣятелей времени, близко наблюдалъ народную жизнь, и изъ своихъ странствій и изученій вынесъ высокое представленіе о характерѣ и содержаніи «народности», къ чему его готовило и его раннее украинофильство. Жизнь народная почти представлялась ему выше жизни цивилизованной; поэзія народная, безличная,

но всѣми создаваемая и всѣми принятая, выше искусственной, книжной и личной; другими словами, цивилизація, для своего дѣйствительнаго усовершенствованія, должна изучить и воспринять тѣ достоинства, какими обладаетъ патріархальная жизнь народа. Это былъ учено-народный романтизмъ въ родѣ Гримма или Риля.

Выводъ былъ ясенъ: нужно изучать и беречь народную жизнь, потому что это родникъ нормальной національной жизни. Какъ ни мала народность, она имѣетъ свое нравственное право, потому что народность есть мудрѣйшій наставникъ, источникъ нравственности и поэзіи. Эта мысль была обставлена романтическими преувеличеніями, но въ ней было свѣжее зерно.

Около 1854 г. я встрѣтилъ Гильфердинга, который впервые выступилъ тогда на свое богатое трудами поприще, кончившееся такъ безвременно. Гильфердингъ (какъ нѣсколько позднѣе, В. И. Ламанскій) сталъ однимъ изъ первостепенныхъ знатоковъ Славянства, но, прежде чѣмъ узналъ его по личному наблюденію, онъ уже былъ готовымъ ученикомъ Хомякова, т.-е. послѣдователемъ той мысли, что Славянство есть особый міръ, противоположный міру романо-германскому, что истинное Славянство есть Славянство независимое, даже противоположное романо-германству, православное — какъ вообще *все* древнее Славянство получило свою религію на народномъ языкѣ, изъ Византіи. Отсюда слѣдовало преимущество русскаго народа надъ славянскими племенами, сохранившими слабѣе или утратившими совсѣмъ это великое основное начало. Видимо, это была другая точка зрѣнія.

Слависты-профессора,—повидимому, изъ опасенія касаться политическихъ вопросовъ, такъ или иначе имъ внушеннаго,—умалчивали о политической сторонѣ славянскаго вопроса, или она сама собой отступала на второй планъ, когда на первомъ стояла идеализація непосредственной народности; вмѣстѣ съ тѣмъ, они не опредѣлили точно и своего отношенія къ славянофильству;—но можно было видѣть, что, напр., Срезневскій и Григоровичъ не раздѣляли исключительности славянофильскаго взгляда.

Въ пятидесятыхъ годахъ славянофильская точка зрѣнія выяснилась въ «Русской Бесѣдѣ» и по русскому и по славянскому вопросу.

Въ 1858—59 и потомъ въ 1862 я жилъ за границей. Славистика не была моей спеціальностью, научная цѣль путешествія была иная; но славянское возрожденіе представляло такой широкій интересъ, притомъ столь близкій русской національности по разнымъ отношеніямъ, что значительную часть времени я отдалъ на изученія славянскія. Если раньше славянофильскій взглядъ казался мнѣ исключительнымъ, то въ этомъ еще больше убѣждало непосредственное знакомство съ славянскимъ движеніемъ: въ этомъ движеніи не оказывалось данныхъ для такого заключенія, какое строила теорія. Съ другой стороны, очевидно было, что движеніе состояло не въ одномъ платоническомъ развитіи «народности», о которомъ говорили наши слависты съ романтической точки зрѣнія. Видимо было, что Славянству приходилось вести политическую борьбу за самое бытіе своихъ народностей, которыя надо было поддерживать не-патріархальными средствами современной общественности и образованія; что братство и взаимность развиты очень мало; что для *каждой* народности всего важнѣе былъ ея ближайшій интересъ, какъ вопросъ самосохраненія; что для Славянства въ такъ называемомъ «панславизмѣ»—въ какой бы то ни было его формѣ — сохраненіе частной народности понималось какъ непремѣнное условіе. Дѣйствительнаго единства въ славянскомъ мірѣ было крайне мало; незнаніе Славянами Россіи превышало всякую мѣру—отношеніе Россіи къ вопросу понималось всего чаще самымъ превратнымъ образомъ. У насъ Славянство знали больше, хотя все-таки черезчуръ легко о немъ говорили и судили.

При такомъ пути изученія и опытѣ, и подъ впечатлѣніями нашей общественности съ половины 50-хъ годовъ — ожиданій обновленія и наступившихъ разочарованій—сложились мои представленія о Славянствѣ, когда я задумалъ составить обзоръ исторіи слав. литературъ (1865). Мои понятія о предметѣ очень не сошлись ни съ чистымъ славянофильствомъ, ни съ его популярными (и особенно фальшивыми) повтореніями, и книга моя вызвала разныя нападенія съ этой стороны. Хотя моя точка зрѣнія выражена была достаточно ясно, меня обвиняли (даже чешскіе критики, у которыхъ можно было бы ждать больше привычки судить о славянскихъ предметахъ) во враждебности къ «народнымъ нача-

ламъ» славянскимъ и русскимъ, въ желаніи выставить ярче то, что дѣлитъ племена, вмѣсто того, чтобы утверждать ихъ «единство».

На чемъ основывались эти странныя обвиненія? Дѣло въ томъ, что я не могъ не имѣть въ виду очень распространенныхъ у насъ ложныхъ представленій о предметѣ и долженъ былъ устранять ихъ.

Въ нашемъ обществѣ очень многіе, интересуясь Славянствомъ, но не умѣя провѣрить славянофильскія теоріи, понимали славянское единство или въ совсѣмъ грубой (какъ у Погодина) или слишкомъ мистической формѣ, и полагали, что Славянамъ очень просто пристать къ намъ, что они даже желаютъ этого. Надо было напомнить о великомъ разнообразіи славянской жизни, о различіяхъ, положенныхъ между племенами природой и тысячелѣтней исторіей, о той ревнивой привязанности, какую питаетъ каждое племя къ своей національной цѣлости, о томъ, что нельзя распоряжаться «братьями», не спрашиваясь ихъ самихъ. Въ ту пору (пятнадцать лѣтъ назадъ) въ обществѣ особенно раздувалось самодовольство относительно нашего «славянскаго» значенія и рядомъ проповѣдовалась политическая между-славянская ненависть; надо было заявить нравственную обязанность уважать историческія и племенныя особенности «братьевъ». (Тогда именно шли толки объ обрусеніи Польши; позднѣе — толки о несуществованіи малорусской народности; еще позднѣе—о «бѣлградской губерніи», о «неблагодарности Болгаръ» и т. п.).

Критики моей книги не видѣли, что противорѣчить *этому* самодовольству значило вовсе не отвергать славянскіе идеалы, а напротивъ возвышать ихъ, очищая отъ грубыхъ и вредныхъ притязаній національнаго самомнѣнія, научая уважать чужую народную личность и искать единства въ добровольномъ и свободномъ сближеніи и союзѣ, а не въ нетерпимости и принужденіи.

Не менѣе странно было обвиненіе въ отрицаніи такъ-называемыхъ тогда «народныхъ началъ». Дѣло опять было въ томъ, что я не былъ склоненъ принимать ихъ въ истолкованіи извѣстной школы, какъ что-то будто бы уже извѣстное и впередъ опредѣленное, какъ обязательный идеалистическій консерватизмъ,—когда на дѣлѣ онъ нерѣдко совпадалъ съ грубымъ практическимъ консерватизмомъ, съ которымъ и приходилось отождествлять наши славян-

скіе интересы. Я не былъ склоненъ принимать все это, когда въ литературѣ и обществѣ еще только начинался впервые трудный процессъ сознательнаго опредѣленія этихъ «народныхъ началъ», когда литература не имѣла пока даже средствъ къ всестороннему и свободному сужденію объ этомъ предметѣ, и особенно, когда «народъ», по крайней скудости просвѣщенія и по условіямъ быта, не могъ дать своего голоса и не участвовалъ въ національной жизни и въ рѣшеніяхъ ея вопросовъ. Не было ли начало «народности», выставленное какъ оффиціальное начало, вопіющимъ внутреннимъ противорѣчіемъ до 1861 года? И самый послѣдующій ходъ общественной и народной жизни развѣ уже устранилъ это противорѣчіе?

Въ данномъ случаѣ, мнимыя «народныя начала», непризнаніе которыхъ ставилось мнѣ въ укоръ, были дѣломъ кабинетной теоріи, немного мистически темной, очень консервативной, и гдѣ имя «народа» бывало произвольной ссылкой, если не злоупотребленіемъ. Въ своей книгѣ о Славянствѣ, я не могъ признать ихъ, когда они, какъ готовая программа, давались и остальному Славянству въ руководство, а тѣмъ Славянамъ, которые шли своимъ, инымъ, историческимъ путемъ, ставились въ осужденіе.

Участіе въ моей книгѣ г. Спасовича не обошлось (быть можетъ, и теперь не обойдется) безъ злостныхъ комментаріевъ. Дѣлались заключенія, что вся книга должна отличаться «польскимъ духомъ»; потомъ сосчитаны были страницы, занятыя изложеніемъ литературы польской и русской (хотя о послѣдней я предварялъ, что, назначая книгу для русскихъ читателей, сдѣлаю только общій обзоръ русской литературы, предполагая факты извѣстными). Я не отвѣчалъ тогда на инсинуаціи, слишкомъ пошлыя, но и не безопасныя, и отмѣчаю ихъ какъ черту времени.—Г. Спасовичъ участвовалъ въ книгѣ только написанными имъ страницами; изъ моихъ главъ онъ не читалъ ни одной строки до выхода книги въ свѣтъ. Критикъ болѣе серьезный замѣтилъ напротивъ, что было нѣкоторое разнорѣчіе въ мнѣніяхъ, высказанныхъ мною и г. Спасовичемъ; замѣчаніе было довольно справедливо, и разнорѣчіе было естественно у двухъ человѣкъ, работавшихъ, хотя бы при многихъ общихъ понятіяхъ, отдѣльно по отдѣльнымъ предметамъ.

Не трудно было предвидѣть инсинуаціи. Книга задумана была и писалась въ 1863—64 годахъ. Польской литературой я занимался мало и пригласилъ г. Спасовича, какъ хорошаго ея знатока, которому близка была и русская литература; полонофагомъ я не былъ, и въ особенности, самое свойство панславянской темы, какъ я ее понималъ, требовало безпристрастія ко всѣмъ славянскимъ народностямъ, и въ ряду ихъ не менѣе къ той, съ которой мы тогда враждовали. Національно-правдивое и *научно-вѣрное* пониманіе славянскихъ отношеній, по моему мнѣнію, тогдашнему и нынѣшнему, возможно только при уваженіи къ народной личности, и само должно внушать это уваженіе: только при этомъ предварительномъ условіи получаетъ свое право взаимная критика. Въ «Исторіи» вопросъ долженъ былъ идти не о политикѣ данной минуты, а объ историческомъ ходѣ явленій и той области національно-славянскаго идеала, гдѣ политическая вражда должна была умолкать и во взаимномъ разъясненіи народнаго содержанія могъ быть найденъ путь къ примиренію и къ дѣйствительному единству. Впослѣдствіи г. Спасовичъ пріобрѣлъ и въ польской литературѣ имя какъ писатель съ независимымъ критическимъ взглядомъ, которому мы вполнѣ сочувствуемъ (лекціи въ Варшавѣ).

Еще нѣсколько словъ о планѣ и исполненіи книги, по поводу различныхъ замѣчаній критики.

Первый томъ настоящаго изданія вызвалъ многочисленные отзывы русской и славянской печати, и въ послѣдней встрѣтилъ сочувствія, тѣмъ болѣе мнѣ пріятныя, что оцѣнены были мои основныя понятія о между-славянскихъ отношеніяхъ и благія цѣли моей работы. Выше замѣчено, что не то было въ литературѣ отечественной. Къ сожалѣнію, въ ея запутанномъ нынѣшнемъ положеніи стали гораздо сильнѣе всякіе практическіе разсчеты, нежели вниманіе къ дѣйствительнымъ потребностямъ общественной образованности. Отвѣчать на разныя нападки я не намѣренъ *) и въ

*) Укажу лишь два-три примѣра. Одинъ развязный критикъ ставилъ мнѣ въ вину, что я не далъ такой философски обобщенной исторіи литературы, образцы

послѣдующихъ замѣчаніяхъ имѣю въ виду нѣкоторые общіе вопросы, возникающіе при изложеніи цѣлой славянской литературной исторіи.

Поводъ къ этому даетъ въ особенности отзывъ, сдѣланный о 1-мъ томѣ нынѣшняго изданія г. Ягичемъ, однимъ изъ первостепенныхъ и многостороннихъ знатоковъ Славянства въ настоящее время («Archiv für slavische Philologie», IV-er Bd., 1880). Г. Ягичъ очень хорошо видѣлъ трудность задачи и условія моей работы, на которую должно смотрѣть именно съ точки зрѣнія существующей разработки отдѣльныхъ литературъ. Мы совершенно согласны съ его замѣчаніями о необходимости выяснить внутреннюю исторію славянскихъ литературъ, но думаемъ, что донынѣ она еще слишкомъ трудна по недостатку изысканій біо- и библіографическихъ, изученія цѣлыхъ національныхъ областей, періодовъ и направленій развитія. Укажемъ для примѣра вопросы: о началахъ старо-болгарской литературы; о темныхъ среднихъ вѣкахъ южнаго Славянства вообще; объ отвергаемыхъ теперь памятникахъ чешскихъ, съ которыми связываются выводы о цѣломъ періодѣ

которой дали Гервинусъ, Тэнъ и проч. Критикъ видимо не имѣетъ представленія о томъ, что такія обобщенія (оставляя въ сторонѣ историческій талантъ) возможны лишь послѣ обширной предварительной разработки историческаго матеріала, какой для славянскихъ литературъ еще не существуетъ. Гервинусъ во многомъ уже совсѣмъ устарѣлъ теперь, когда критика источниковъ подвинулась дальше.—Другой критикъ, ученый славистъ, г. Будиловичъ, въ статьѣ, напечатанной въ оффиціальномъ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» (1879, іюнь) отнесся къ книгѣ столь же доброжелательно, сколь добросовѣстно. Напримѣръ. На стр. 309 «Журнала» критикъ замѣчаетъ, что у меня «пропущены лучшіе хорватскіе словари — Стулли и Шулека»; обратившись къ моей книгѣ, читатель найдетъ, что словарь Стулли указанъ на стр. 166, а словарь Шулека упомянутъ даже *два* раза, стр. 166 и 260. Тамъ же: «при исчисленіи сочиненій Миклошича пропущено *самое важное*: «Vergleichende Grammatik der slaw. Sprachen, которое теперь доведено до конца въ четырехъ томахъ»; но читатель найдетъ у меня подробное ея заглавіе на стр. 20, и *еще разъ* на стр. 300 въ указаніи трудовъ Миклошича находитъ—«единственную доселѣ сравнительную грамматику славянскихъ языковъ, дошедшую теперь до четырехъ томовъ». Тамъ же указывается отсутствіе свѣдѣнія о книгѣ Рачкаго: Pismo slavjensko; но читатель найдетъ ее въ исчисленіи трудовъ Рачкаго, стр. 259. На стр. 293 «Журнала», критикъ винитъ меня, что *я* (на стр. 438 книги) «клеймлю» взгляды «старо-русской» партіи у Галичанъ именемъ «антипатичныхъ, ненавистныхъ, ретроградныхъ» и проч.; обратившись къ книгѣ, читатель найдетъ на стр. 438, что критикъ *мнѣ* приписалъ *чужіе* отзывы, приводимые мною какъ мнѣнія враждующихъ галицкихъ партій. Тамъ же ставится мнѣ въ попрекъ, что я виню нѣкоторыхъ галицкихъ писателей въ «презрѣніи къ народу», стр. 422; обратившись къ книгѣ, читатель найдетъ на этой страницѣ *подлинную* выписку, которая не оставитъ недоумѣнія, выражено ли въ ней уваженіе къ народу или презрѣніе, и т. д. Типографская ошибка наполняетъ критика удовольствіемъ (стр. 298). Предоставимъ читателю найти настоящее имя для подобнаго «критическаго» пріема.— Третій критикъ, опять ученый славистъ (въ томъ же «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія»!!), не нашелъ ничего умнѣе какъ подробно разбирать, въ 1880, мое старое изданіе 1865 года.

чешской старины и новомъ значеніи чешской литературы; о древней и средневѣковой судьбѣ малорусскаго языка; укажемъ множество не изученныхъ писателей, не изданныхъ или еще не отысканныхъ памятниковъ, и т. д.,—не говоря о далеко не выясненныхъ вопросахъ общаго характера, какъ напр. основной вопросъ о раздѣленіи Славянства между Востокомъ и Западомъ, или современныя отношенія Славянства и Россіи. Я взялъ цѣль болѣе скромную—дать фактическую исторію предмета, съ тѣми обобщеніями, какія были возможны по матеріалу, бывшему у меня подъ руками, и не отягощая книги подробностями, утомительными для обыкновеннаго читателя.

Такое изложеніе требовалось и положеніемъ дѣла въ русской литературѣ. У насъ есть важные спеціальные труды по изученію Славянства, — но нѣтъ ни одного цѣльнаго обзора ни славянскихъ языковъ, ни этнографіи (кромѣ карты Славянскаго петербургскаго комитета, съ краткими статистическими таблицами), ни исторіи, ни литературы. Но если желать возбужденія интереса къ Славянству, распространенія свѣдѣній и здравыхъ понятій объ его дѣлахъ, надо въ особенности дать эти основныя средства изученія; ихъ однако до сихъ поръ не дали профессіональные слависты. Какъ необходимы именно подобные труды, кажется, нѣтъ надобности объяснять; въ настоящей книгѣ нѣ одно славянское имя, славное у своихъ соотечественниковъ, названо по-русски въ первый разъ. Пробѣлы, при состояніи источниковъ, при затруднительности имѣть нужныя славянскія книги, были почти неизбѣжны, особенно, когда время ограничено было другими занятіями. Долженъ съ удовольствіемъ упомянуть при этомъ, что помогла мнѣ не мало любезность славянскихъ друзей, лично знакомыхъ и незнакомыхъ, которые по извѣстію о моемъ трудѣ доставляли мнѣ свои изданія, и въ концѣ работы — библіотека В. И. Ламанскаго. Мои русскіе критики сдѣлали нѣсколько полезныхъ указаній, и не мало безполезныхъ; мнѣ прискорбно только, что сообщеніе первыхъ стоило имъ, кажется, немалыхъ желчныхъ разстройствъ.

Далѣе, г. Ягичемъ и другими сдѣланы были замѣчанія объ употребленныхъ у меня племенныхъ названіяхъ. Г. Ягичъ нашелъ «нѣсколько страннымъ» (etwas auffallend) названіе «Юго-

Славянъ», подъ которымъ я соединилъ Сербо-Хорватовъ и Словинцевъ; повидимому, не одобряетъ также названія послѣднихъ «Хорутанами»; русскіе критики ново-славянофильскаго толка поставили мнѣ въ вину терминъ: «Галицкіе Русины». На этомъ слѣдуетъ остановиться.

Нѣкоторые изъ нашихъ славистовъ и пишущихъ о Славянствѣ стараются ввести у насъ названія племенъ, мѣстностей, городовъ, лицъ, употребляемыя самими Славянами или даже извѣстныя археологически. Напр. у нихъ нѣтъ Венгровъ и Венгріи—есть «Угры» и «Угрія»; нѣтъ Эльбы и Одера—есть Лаба и Одра; нѣтъ Зары, Рагузы,—есть Задръ, Дубровникъ и т. д. Въ основѣ этого переодѣванья лежитъ, конечно, желаніе удалить ненаціональное, чужое, и водворить славянское. Противъ этого можно было бы не спорить, если бы при этомъ сохранена была мѣра; но она не сохраняется. Я не вездѣ принимаю эту номенклатуру — по очень простой причинѣ. Кромѣ пяти-шести усердныхъ славистовъ и нѣсколькихъ любителей, она мало кому у насъ извѣстна, и употреблять ее въ книгѣ, не назначаемой для спеціалистовъ, было бы чудачествомъ. Напр. пока не вошло въ *общее* употребленіе названіе «Угрія», я считаю болѣе удобнымъ употреблять названіе господствующее. Языкъ имѣетъ свои требованія, преданія, привычки, и въ этой номенклатурѣ usus есть также своего рода требованіе. Я не буду ни мало противъ «Лабы», «Одры», «Угріи» etc., если они войдутъ въ учебники географіи и исторіи, въ общественное употребленіе. До тѣхъ поръ, та или другая форма должны остаться дѣломъ личнаго предпочтенія и вкуса. Если нынѣ употребительная номенклатура въ славянскихъ предметахъ — или книжная, или слѣдующая употребленію господствующей на мѣстѣ національности *),—стала привычкой литературнаго языка, то это имѣетъ за собой свои историческія основанія **).

*) Напр. Гуссъ вм. Гусъ; Эльба вм. Лаба, и т. д.

**) Чехи, напр., недовольны или даже насмѣхаются, что у насъ говорятъ «Богемія», а не «Чехія»; но кто виноватъ, что «Чехія» (съ тѣхъ поръ какъ у насъ началась географія) становилась намъ извѣстна какъ нѣмецкая провинція «Богемія»? Слава имени «Гусса» пришла къ намъ не отъ XV вѣка и не отъ Чеховъ, а отъ новѣйшихъ, особенно нѣмецкихъ, протестантскихъ историковъ. Сами Чехи, до новѣйшаго возрожденія, отрекались отъ Гуса,—положимъ, вслѣдствіе тяжкихъ событій. Кто же опять виноватъ? Во времена Нестора мы знали «Угрію», но забыли ее, и польская форма «Венгрія» явилась опять не безъ причины. Вздумать называть Дрезденъ—

Названіе «Юго-Славянъ»—придуманное, недавно, и не мною: я слѣдовалъ извѣстной славянской энциклопедіи, чешскому «Научному Словнику», гдѣ подъ этой рубрикой, между прочимъ, помѣщенъ значительный трудъ самого г. Ягича. Терминъ этотъ, конечно, чисто книжный; но онъ произошелъ изъ желанія обобщить племена—болѣе или менѣе тѣсно связанныя единоплеменностью, географіей, историческими и литературными отношеніями.

Имя «Хорутанъ», опять не строго точное, имѣетъ за себя историческое преданіе и, въ русской литературѣ, силу привычки. Оно названо въ старину Несторомъ, а въ наше время обновлено сочиненіями Шафарика, за которымъ употребляло его постоянно первое поколѣніе нашихъ славистовъ, а за нимъ употребляетъ и второе *). Отъ имени «Словакъ» употребляютъ, по мѣстно-народному, прилагательное «словенскій» (которое и я принялъ); но по-русски слѣдовало бы говорить «словацкій» **). Подобнымъ образомъ есть двоякое обозначеніе галицкихъ—«Русиновъ» или «Русскихъ». Послѣднее вѣрно только въ томъ общемъ смыслѣ, что галицкіе Русины принадлежатъ къ русскому племени; но въ частности даетъ поводъ къ нелѣпымъ смѣшеніямъ. Во-первыхъ, это смѣшиваетъ ихъ съ Великоруссами, когда они однородны съ Малоруссами; выходило бы, что напр. писатели какъ Головацкій или Федьковичъ принадлежатъ тойже литературѣ, какъ Пушкинъ, Некрасовъ, Тургеневъ; а по разнымъ условіямъ литературы ихъ нельзя отождествить даже съ Малоруссами. Но, можетъ быть, таково мѣстное употребленіе? Нѣтъ; Галичане употребляютъ, правда, прилагательное галицко-*русскій*, но себя также называютъ «Русины» (примѣровъ сколько угодно) и, какъ достаточно указано въ текстѣ, далеко не склонны отождествлять себя съ Русскими; ближайшіе сосѣди, Поляки, также называютъ ихъ «Русины»,—и литературу,

---

«Дражд̀яны» или Австрію—«Ракоусы», было бы только забавно. Словомъ, просто подставлять славянскую номенклатуру огуломъ нельзя, потому что прежняя есть usus, имѣющій историческое основаніе. Войдутъ тѣ славянскія названія, для которыхъ найдется какой-либо новый *авторитетъ извѣстности*.

Я употреблялъ и формы именъ народныя, чтобы указывать ихъ, и формы, теперь находящіяся у насъ въ литературномъ обращеніи.

*) Ср. напр. Котляревскаго, Древн. права Б. Славянъ, стр. 2; Гильфердинга, Собр. Соч. II, 28.

**) Такъ дѣйствительно писалъ Срезневскій и самъ Гильфердингъ; даже Юнгманнъ (въ Ист. Литер.).

ихъ, для устраненія смѣшеній, можно назвать русинской, что у насъ нерѣдко и дѣлалось. Можетъ быть, въ русской литературѣ вошло въ обычай—называть ихъ не Русинами, а Русскими? Нѣтъ и этого; потому что когда еще не являлось спеціальнаго намѣренія изображать ихъ «Русскими» въ видахъ русскаго объединенія, ихъ называли обыкновенно «Русинами» *).

Давая отчетъ о моей книгѣ, г. Ягичъ предоставилъ разборъ послѣдней главы 1-го тома спеціалисту—г. Онышкевичу, профессору черновецкаго университета.

Г. Онышкевичъ дѣлаетъ нѣсколько возраженій. Онъ требуетъ болѣе точнаго распредѣленія періодовъ южно-русской литературы,—но таковое, кромѣ обыкновенной трудности рѣзкаго дѣленія историческихъ процессовъ, въ этомъ случаѣ затрудняется и недостаткомъ памятниковъ, которые еще только извлекаются изъ архивовъ (какъ напр. недавно только извлечены писанія Іоанна Вишенскаго). Далѣе, критикъ недоволенъ отдѣленіемъ галицкой литературы отъ малорусской, замѣчая, что географическое дѣленіе вовсе не совпадаетъ съ дѣленіемъ литературнымъ. Намъ кажется, что именно здѣсь такое совпаденіе бросается въ глаза: при всемъ единствѣ народности, положеніе литературы въ связи съ политико-географическими условіями бывало весьма разное, напр. и въ настоящемъ столѣтіи—тѣсное отношеніе малорусскихъ силъ къ литературѣ великорусской, и большое отдаленіе отъ нея у Галичанъ; условія современныхъ стремленій и борьбы совершенно различны въ Россіи и въ Австріи; у насъ малорусская литература совсѣмъ прекратилась, и нельзя сказать, чтобы галицкая восполнила ея отсутствіе: галицкія книги даже просто къ намъ не проходятъ. Въ широкомъ смыслѣ можно и должно, конечно, связывать въ одинъ цѣлый историческій процессъ литературныя проявленія всѣхъ частей племени, — и я указывалъ ихъ общія нити; но было бы исторически невѣрно потерять изъ виду различіе условій и фактовъ въ отдѣльныхъ частяхъ племени и особенно потерять его въ изложеніи современнаго состоянія литературъ. Къ сожалѣнію,

*) Примѣровъ—сколько угодно. Приводимъ первые попавшіеся: Р. Бесѣда, 1859, т. VI, статья, касающаяся «Русиновъ»; Основа, 1861; Поэзія Славянъ, стр. 204; Самаринъ, Сочин. I, 329; Письма къ Погодину, II, 309 (венгерскіе «Русины»), и т. д. и т. д.

мы видимъ, что въ сущности донынѣ лишь немногіе на той и другой сторонѣ ясно понимаютъ внутреннее единство своей народности. Г. Онышкевичъ замѣчаетъ еще, что я напрасно возвращаюсь не разъ къ спорамъ о малорусской литературѣ, и остерегаетъ отъ nimium probare; но г. Онышкевичу издалека вѣроятно не вполнѣ видны внутреннія отношенія русской литературы и, напр., упомянутая статья г. Будиловича могла бы указать моему критику, что этотъ предметъ понимается превратно даже иными присяжными славистами.

Одинъ критикъ (не спеціалистъ) дѣлалъ мнѣ упрекъ за отсутствіе общей характеристики народной поэзіи. Я приводилъ образчики ея впечатлѣній, не хотѣлъ повторять общихъ мѣстъ, а удовлетворительную характеристику не считалъ возможной безъ спеціальныхъ изученій, которыхъ — мало. Есть нѣсколько прекрасныхъ сборниковъ народной поэзіи разныхъ племенъ, много второстепенныхъ,—но, кромѣ частностей, почти нѣтъ цѣльныхъ историческихъ изслѣдованій. Прежнія устарѣли; единственное общее, и истинно критическое, изслѣдованіе только начато Ягичемъ въ «Gradja» *). Я ограничился указаніемъ настоящаго положенія изслѣдованій.

Подробности діалектологіи, собственно говоря, могли не входить въ исторію литературы.

Въ библіографіи указывались главнѣйшіе труды по отдѣльнымъ предметамъ; указывались и старыя сочиненія, для нѣкотораго знакомства съ исторіей вопроса. Границы библіографіи очень неопредѣленны и растяжимы; «полнота» или «неполнота» поэтому бываетъ всегда очень условной; я старался (особенно въ первой половинѣ книги) не очень размножать библіографію; но пробѣлы, конечно, возможны, и иныя книги не были названы именно потому, что я не имѣлъ ихъ подъ руками, — впрочемъ, старался вообще указывать сочиненія, обратившись къ которымъ читатель, ищущій подробностей, могъ бы восполнить недостающее. Вызовъ къ самостоятельнымъ изученіямъ былъ одною изъ главныхъ цѣлей моего труда.

*) Изслѣдованія по русской нар. поэзіи здѣсь, конечно, не имѣются въ виду.

Наконецъ, читатель можетъ замѣтить неравную степень подробности изложенія. Полной равномѣрности не легко было достигнуть въ сложной работѣ, занявшей нѣсколько лѣтъ, веденной при разномъ количествѣ матеріала, при разныхъ обстоятельствахъ. В. Д. Спасовичъ опять велъ свой трудъ независимо; особенная подробность послѣднихъ параграфовъ написанной имъ главы объясняется малоизвѣстностью у насъ предмета, составляющаго любопытнѣйшій пунктъ новой польской литературы.

Но неизбѣжна и характеристична другая неравномѣрность—самыхъ явленій большихъ и мелкихъ литературъ. Скромные размѣры послѣднихъ дѣлаютъ въ нихъ крупнымъ фактомъ, требующимъ вниманія—маленькій сборникъ стиховъ, народныхъ пѣсенъ, популярную книжку, которыя даже не упоминаются въ литературахъ большихъ; называются даже скромныя литературныя силы. Эти столь различныя, по внѣшнему размѣру, явленія уравниваетъ одинъ внутренній мотивъ—одинаковое служеніе дѣлу своей народности.

27 іюля, 1880. **А. Пыпинъ.**

II.

Слѣдуя примѣру моего товарища А. Н. Пыпина, и я тоже счелъ нужнымъ пояснить, какими путями сошлись мы съ нимъ въ общей работѣ и какія мысли руководили мною, когда лѣтъ тому шестнадцать я далъ ему мой вкладъ въ «Исторію славянскихъ литературъ» и нынѣ, когда этотъ трудъ почти заново переработанъ, —такъ какъ въ нынѣшнемъ второмъ изданіи уцѣлѣли отъ перваго весьма немногія страницы.

Я учился въ школѣ (минской гимназіи) съ обязательнымъ по всѣмъ предметамъ русскимъ языкомъ, но воспитаніе получилъ польское, потому что лучшіе и любимѣйшіе учителя мои были воспитанники бывшаго виленскаго университета, а образованная часть мѣстнаго общества въ среднемъ его классѣ, къ которому принадлежалъ отецъ мой, лекарь, была чисто польская. Внѣ этого общества, сообщаясь съ нимъ, но не сливаясь, стояли высшіе чи-

новники мѣстной администраціи, мѣняющіеся часто, кочующіе, не пускающіе корней. Въ с.-петербургскомъ университетѣ, въ которомъ я пробылъ съ 1845 по 1849 годъ, учащіеся группировались внѣ аудиторій по національностямъ. Суха была пища, которую мы получали съ каѳедры, за то обильны источники образованія иные, въ то время запретные: для русскихъ учащихся—грезы соціализма, въ особенности Фурье (къ тому времени относится образованіе общества такъ-называемыхъ Петрашевцевъ); для насъ, прибывшихъ съ западныхъ окраинъ,—лекціи Мицкевича въ Парижѣ, стихотворенія Сигизмунда Красинскаго и вся богатая литература польскаго романтизма. Мы почти всѣ были мистики, мессіанисты, ожидающіе невѣдомо какихъ благъ отъ ближайшаго будущаго. Трагикомедія 1848—1851 г. произвела отрезвляющее впечатлѣніе; послѣ разочарованія любовь къ національно-польской поэзіи осталась—и началось, руководимое ею, болѣе серьёзное отношеніе къ польской исторіи, къ чему насъ пріохочивалъ живой и подвижной человѣкъ, болѣе поэтъ, нежели ученый, краковецъ Антонъ Чайковскій, профессоръ польскаго права въ петербургскомъ университетѣ (въ которомъ было до 1862 года нѣсколько каѳедръ польскаго права, преподаваемаго на польскомъ языкѣ). Я былъ по профессіи юристъ, никогда не изучалъ спеціально филологіи, занимался литературой въ свободныя минуты. Съ лучшими по тому времени представителями русской жизни, въ томъ числѣ и съ А. Н. Пыпинымъ, я познакомился только съ 1857 года, въ петербургскомъ университетѣ и въ гостепріимномъ, открытомъ домѣ К. Д. Кавелина. Почти всю нашу умственную дѣятельность поглощалъ въ себѣ въ то время петербургскій университетъ, въ которомъ мы сообща работали... Преобразованіе Россіи предполагалось полное, все общество, такъ сказать, линяло, мѣняло кожу. Въ развертывающихся широкихъ реформахъ, долженствовавшихъ, повидимому, обновить весь строй жизни, усматривалось разрѣшеніе на справедливыхъ основаніяхъ и польскаго вопроса. Начинавшееся при столь счастливыхъ условіяхъ сближеніе было прервано, по истинѣ, роковыми событіями 1863 г.; польское повстанье тормозило и внутреннія реформы въ Россіи, національное чувство сказалось съ обѣихъ сторонъ столь энергически и сильно, что съ близкими знакомыми нельзя было раз-

суждать спокойно, казалось, что не только во внѣшнихъ отношеніяхъ, но и въ понятіяхъ мы отодвигались назадъ лѣтъ на сто. Въ эти тяжелыя минуты, ко мнѣ обратился съ своимъ предложеніемъ одинъ изъ немногихъ русскихъ, которыхъ взгляды, на жизненный для меня національный вопросъ, нимало не поколебались отъ событій дня,—А. Н. Пыпинъ. Онъ не сообщалъ мнѣ, что̀ и въ какомъ духѣ напишетъ, но давалъ мнѣ полный просторъ распоряжаться въ отведенномъ мнѣ, въ задуманной имъ книгѣ, участкѣ. Я принялся за работу, въ полной увѣренности, что мы сойдемся и что наше сотрудничество будетъ залогомъ того, что, не смотря ни на что, помимо страданій, развалинъ и свѣжихъ ранъ, тѣ основанія отношеній, о которыхъ мы мечтали, восторжествуютъ и прерванное сближеніе возобновится—потому, что оно лежитъ въ духѣ времени и силѣ вещей, въ несознаваемой еще обществомъ, но несомнѣнной и очевидной для насъ солидарности національныхъ интересовъ. Въ моей работѣ я руководствовался мыслью, что выработанныя исторіею національныя особи въ мірѣ славянскомъ разнятся столько же темпераментами, сколько и идеалами, и что если бы возможно было представить популярно національные польскіе идеалы, запечатлѣвшіеся въ польской литературѣ, передъ русской публикою, столь воспріимчивою для пониманія всего особеннаго въ иностранныхъ цивилизаціяхъ, но и обладающею всеобще признанною за нею критическою способностью разлагать всякіе идеалы, то эта русская публика польскіе идеалы поняла бы, не смотря на свой критицизмъ, по ихъ человѣчности, что она бы ихъ полюбила—и тогда шагъ громадный сдѣланъ былъ бы къ взаимноуваженію, а слѣдовательно и къ сближенію двухъ культуръ, раздѣленныхъ китайскою стѣною предубѣжденій. Благопріятные отзывы о моемъ трудѣ со стороны моихъ соотечественниковъ убѣждаютъ меня, что я духъ польской литературы изобразилъ въ общихъ чертахъ довольно вѣрно. Второе изданіе доказываетъ, что въ моихъ коренныхъ убѣжденіяхъ я еще болѣе утвердился, а обстоятельства времени, измѣнившіяся къ лучшему, не въ области внѣшнихъ отношеній, которыя столь же тягостны, какъ въ 1863 году, но въ области идей и чувствъ, даютъ мнѣ возможность сдѣлать одинъ шагъ впередъ, который, по цензурнымъ соображеніямъ, былъ бы немыслимъ въ моментъ

перваго изданія книги, въ 1865 г. Это первое изданіе обрывалось на Мицкевичѣ и не вмѣщало въ себѣ очерка запретной эмиграціонной литературы сороковыхъ годовъ, бывшей главнымъ, по моему мнѣнію, двигателемъ повстанья 1863 года. — Возможность объективно относиться къ этой литературѣ и разбирать ее свободно въ русской печати есть сама по себѣ громадный успѣхъ, потому что знаменуетъ охлажденіе страсти до той температуры, при которой обсужденіе условій умственнаго сближенія дѣлается возможнымъ, а въ умственномъ сближеніи—вся сила, остальное сдѣлается само собою, не смотря на препятствія,—оно только вопросъ времени. Каково бы ни было качество нашего общаго труда, за нами, смѣю думать, останется заслуга, что мы поработали на пользу умственнаго общенія, а слѣдовательно сближенія двухъ славянскихъ народностей, считавшихся даже мысленно непримиримыми послѣ того, какъ, по отъѣздѣ Мицкевича въ 1829 г. изъ Петербурга, событія 1830 — 31 г. провели между ними глубокую борозду. Поле для работы необозримо широкое, жатва много, но дѣятелей весьма мало.

В. Спасовичъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ПОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ.

Послѣ того какъ южно-славянскія государства византійскаго типа: болгарское и сербское, потерпѣли въ концѣ XIV вѣка крушеніе, раздавленныя исламомъ, и до появленія Россіи на поприщѣ европейской политики и ея дѣятельнаго участія въ европейскихъ дѣлахъ при Петрѣ Великомъ, дѣйствующими на этомъ поприщѣ изъ славянскихъ народовъ являются только два западные: чешскій и польскій, оба латинскіе по своей культурѣ. Въ появленіи государствъ, послужившихъ колыбелью этимъ народамъ, сказалась общая потребность славянскаго племени оградить себя и противодѣйствовать прибою на востокъ германской волны. Болѣе западное государство, чешское, сложилось раньше, но оно денаціонализировалось, очутившись въ составѣ германо-римской имперіи; въ немъ утвердились нѣмецкіе порядки, сама церковная іерархія явилась проводникомъ нѣмецкаго элемента. Давимая народность вспыхнула разъ только яркимъ пламенемъ гуситизма, смѣлою попыткою и церковной, и политической, и соціальной реформы; потомъ, истощенная, она заснула послѣ бѣлогорской битвы (1620) мертвымъ сномъ на два вѣка. Польша не испытала подобнаго внутренняго раздвоенія, подобной смертоносной, кровавой междоусобной войны элементовъ: коренного народнаго съ наплывающимъ чужимъ. Римско-католическая церковь была въ ней и осталась учрежденіемъ національнымъ, котораго поколебать не могло поверхностное, въ XVI столѣтіи, распространеніе протестантизма. Хотя учрежденіе шляхты заимствовано изъ Германіи, но оно развилось столь быстро и успѣшно на аллодіальномъ корню, что позднѣйшая метаморфоза аллодіальной системы — феодализмъ не могъ не только утвердиться въ Польшѣ, но даже и проникнуть въ нее. Сильный ростъ шляхетства, совершившійся въ ущербъ всѣмъ другимъ составнымъ частямъ общественнаго организма, разрѣшился прекраснымъ на видъ, но скороспѣлымъ пло-

домъ: сеймованіемъ, системою парламентаризма, развернувшагося въ Польшѣ съ особенною полнотою и послѣдовательностью раньше, чѣмъ въ Англіи, на основаніяхъ и въ формахъ, почти одинаковыхъ съ родственнымъ ему по условіямъ происхожденія парламентаризмомъ мадьярскимъ. Это стройное, сильно національное *панство* (такъ и теперь именуется государство на польскомъ языкѣ), монархія, съ аристократически-республиканскими учрежденіями, съ законами, въ которыхъ проведена была односторонне, до послѣднихъ крайностей, идея почти безпредѣльной свободы гражданина, имѣло сначала большой успѣхъ. По словамъ Гюппе [1]), отъ Ягелла до Баторія (1386—1586) въ теченіи двухсотъ лѣтъ Польша была преобладающею (tonangebende) силою на востокѣ Европы, располагающею пространствомъ свыше 20,000 кв. миль. Но это государство не отстояло противъ Нѣмцевъ Славянъ полабскихъ и при-одерскихъ; оно не умѣло стать твердою ногою на морѣ Балтійскомъ и оттѣснено было отъ Чернаго; оно искало распространенія главнымъ образомъ на востокѣ, въ московско-русскихъ земляхъ, до предѣловъ находившагося еще тогда въ колыбели и слагавшагося на діаметрально-противоположныхъ началахъ крестьянскаго царства — самодержавія московскаго. Слабая сторона этого строя заключалась въ томъ, что настоящимъ народомъ была только шляхта — сословіе, числомъ отъ 800,000 до милліона человѣкъ въ населеніи отъ 8 до 13 милліоновъ [2]); что, осуществивъ вполнѣ свой идеалъ „золотой свободы“, господствующій классъ бросилъ якорь: ему не къ чему было стремиться; неподвижный консерватизмъ сдѣлался господствующимъ настроеніемъ; общество окаменѣло, чуждаясь, какъ посягательствъ на свободу, всякихъ преобразованій, отстаивая какъ зѣницу ока, и вольную элекцію королей, иными словами — продажу короны почти съ аукціона болѣе выгодъ сулящему кандидату народомъ шляхетскимъ, поголовно собравшимся на элекцію, и *liberum veto*—право единоличнымъ протестомъ на сеймѣ со стороны одного изъ сеймующихъ не допускать состояться какому бы то ни было постановленію.

Единогласіе, какъ условіе законности постановленій, парализовало законодательную власть. Элекція давала законное основаніе вмѣшательству иностранцевъ: каждая изъ великихъ державъ организовала на свой счетъ свою собственную австрійскую, французскую и т. д. партію въ Польшѣ; обычай освящалъ даже такія анормальныя явленія, какъ рокоши и конфедераціи, организованныя соглашенія шляхты для разныхъ цѣлей, даже для противодѣйствія королевской власти. Вошло

[1]) Verfassung der Republik Polen v. Dr. Siegfried Hüppe. Berlin. 1867. S. 12.
[2]) Hüppe. 79. Tadeusz Korzon. Stan ekonomiczny Polski—въ варшавскомъ журналѣ „Ateneum“, за 1877 годъ.

въ пословицу, что Польша держится безначаліемъ (nierządem stoi); мудрость ея правителей, при усиленіи кругомъ ея наслѣдственныхъ монархій, заключалась въ томъ, чтобы дипломатически держать равновѣсіе между антагонистами — иностранными державами, и заключать союзы съ менѣе опасными противъ болѣе опасныхъ.

При тупомъ консерватизмѣ шляхты у фундамента зданія, прогрессивныя идеи могли зарождаться только на вершинахъ, въ умахъ королей и государственныхъ людей, думавшихъ объ отвращеніи крушенія посредствомъ исправленія Рѣчи-Посполитой (naprawa R-ptej), посредствомъ ограниченія правъ шляхты, дарованія правъ другимъ состояніямъ и классамъ, и наслѣдственности престола. Замыслы эти зрѣютъ долгое время втайнѣ, высказываются боязливо; идеалы реформы распространяются медленно и туго, и проникаютъ въ общественное сознаніе только во второй половинѣ XVIII вѣка, то-есть, можно сказать, наканунѣ кончины. Господствующими они являются только послѣ перваго раздѣла Польши (1772). Тогда наступилъ подъ впечатлѣніемъ крайней опасности періодъ усиленной горячечной работы послѣ вѣкового застоя. Существующій порядокъ подвергается критикѣ съ точки зрѣнія философскихъ идей XVIII вѣка, распространившихся изъ Франціи. Народъ сознательно приступаетъ къ реформѣ; лучшія умственныя силы его вошли въ составъ четырехлѣтняго сейма, который разрѣшился конституціею 3 мая 1791 года. Но этой конституціи не суждено было осуществиться и сдѣлалась она только духовнымъ завѣщаніемъ умирающаго строя. Роковымъ образомъ, осуществленіе всякой коренной реформы обусловливалось въ Польшѣ одновременно и внутреннею и внѣшнею борьбою, потому что оппозиція сторонниковъ старины и шляхетской свободы опиралась на внѣшнее содѣйствіе, а иностранныя державы всегда готовы были оказать эту помощь, потому что имъ выгоднѣе было имѣть дѣло съ шляхетскимъ безначаліемъ, нежели съ окрѣпшею центральною властью. Самому сильному организму почти невозможно вынести борьбу, и внутреннюю, и внѣшнюю; тѣмъ менѣе могъ ее вынести разслабленный. Послѣдній актъ потрясающей драмы послѣдовательныхъ раздѣловъ Польши, освѣщенный заревомъ кровавыхъ событій, уличныхъ движеній черни въ Варшавѣ, патріотическихъ усилій Косцюшки, штурма Праги, кончился тѣмъ, что всѣ тѣ земли, которыя составляли Рѣчь-Посполитую, потерявъ свои учрежденія политическія, а впослѣдствіи и гражданскія, вошли въ составъ трехъ восточныхъ великихъ европейскихъ державъ. Нынѣ прошло уже болѣе восьмидесяти лѣтъ, и можно сказать, что не сохранилась и не осталась въ дѣйствіи ни одна частица не только прежняго государства и его учрежденій, но и его законовъ. (Въ Галиціи дѣйствуетъ гражданскій кодексъ австрійскій, въ Познани —

прусскій Landrecht, въ Царствѣ Польскомъ съ 1807 г.—кодексъ Наполеона; въ западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ Статутъ Литовскій замѣненъ по указу 25 іюня 1840 г. первою частью X т. Св. Зак. Гр.). Осталась послѣ этого разрушенія только одна мало замѣтная и трудно уловимая сила—историческая *національность*: домъ и семья, языкъ и нравы, извѣстныя, вѣками пріобрѣтенныя и типически отчеканенныя привычки мышленія и дѣйствованія. Жизнь этой національности, нѣкоторое время затаенная, проявилась, дѣйствуя по линіи наименьшаго сопротивленія въ области литературы и искусства, пышнымъ поэтическимъ расцвѣтомъ національной поэзіи, далеко превзошедшимъ по красотѣ и богатству содержанія все то, что было создано въ такъ-называемый золотой вѣкъ Сигизмундовъ. Развитію этому скорѣе способствовало, нежели мѣшало распредѣленіе частей бывшей Польши между тремя державами Священнаго Союза, потому что препятствія, встрѣчаемыя въ одномъ государствѣ, могли не существовать въ другихъ вслѣдствіе различія въ системахъ управленія.—Это возрожденіе, отдѣлавшись отъ формъ французскаго псевдо-классицизма и заявивъ себя какъ польскій романтизмъ, стремилось къ тому, чтобы укрѣпить народное самосознаніе и связать разорванныя нити народныхъ преданій при совершенно измѣнившихся внѣшнихъ условіяхъ быта, исключающихъ всякую возможность аристократическихъ привилегій и искусственнаго преобладанія одного класса надъ другими. Въ этой литературѣ отразились всѣ условія времени, среди котораго она возникла. Она не могла не скорбѣть о погибшемъ блистательномъ прошломъ, идеализировала его черезъ мѣру, судила о случившемся поверхностно; не вникая въ его глубокія причины, останавливалась на одной политической сторонѣ вопроса, забывала соціальную, и подстрекала не только къ выдержкѣ, но и къ безумнымъ попыткамъ возстановленія потерянной самобытности политической, либо посредствомъ открытой силы, либо посредствомъ орудія слабыхъ—дипломатическихъ заискиваній у европейскихъ властей, въ виды которыхъ могло входить утилизировать въ свою пользу польскій вопросъ. Нынѣ этотъ періодъ непрактическихъ мечтаній и порывовъ, начатый польскимъ романтизмомъ и завершенный нѣсколькими послѣдовательными *повстаньями*, поглотившими непроизводительно лучшія силы народа, повидимому кончился. Трудно предвидѣть, скоро-ли пріисканъ будетъ подходящій и удовлетворительный modus vivendi между родственными по крови, но различными по исторіи членами славянской семьи. Во всякомъ случаѣ появленіе такихъ свѣтилъ, какъ Мицкевичъ, Красиньскій и Словацкій въ поэзіи, Шопэнъ и Монюшко въ музыкѣ, Матейко въ живописи, свидѣтельствуетъ о силѣ и живучести особой польской культуры и о полномъ ея правѣ на существованіе.

По тѣсной связи польской литературы съ общимъ ходомъ польской исторіи, раздѣливъ первую изъ нихъ на періоды, представимъ въ каждомъ періодѣ сначала очеркъ и перечень главныхъ политическихъ и общественныхъ событій, а потомъ уже изложимъ факты, собственно до литературы относящіеся [1]).

---

[1]) Обыкновенно библіографію и исторіографію польской литературы начинаютъ съ проф. варш. унив. Феликса Бентковскаго (Bentkowksi), который издалъ въ 1814 г. въ Варшавѣ соч.: *Historya literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. 2 T.*—Это былъ только библіографическій каталогъ.

— Передѣлать и дополнить работу Бентковскаго взялся, по предложенію книгопродавца Завадскаго въ Вильнѣ, Адамъ Іохеръ: *Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce*, Wilno. 1840, но этотъ объемистый трудъ прерванъ на 3-мъ томѣ и далеко не доведенъ до конца.

— Громадный трудъ по польской библіографіи, затѣянный 1848, начатый печатаніемъ 1870 и приводимый теперь къ окончанію, принадлежитъ библіотекарю Ягеллонскаго университета, Карлу Эстрейхеру: *Bibliografia polska XIX stolecia* (150.000 druków), первая часть задуманной еще болѣе обширной работы: Bibliografia polska. Томъ I. 1870, стр. 523, A—F; T. II. 1874, стр. 634, G—L; T. III. 1876, стр. 608, M—Q; T. IV. 1878, стр. 659, R—U. Томъ V начатъ съ буквы W. Мѣсто изданія Краковъ; оно издается иждивеніемъ краковской академіи наукъ. Въ составъ труда вошли всѣ изданія на польскомъ языкѣ или касающіяся Польши на иностранныхъ языкахъ съ 1800 года.

Замѣчательнѣйшія систематическія сочиненія по исторіи польской литературы слѣдующія:—Леславъ Лукашевичъ, Rys dziéjów piśmiennictwa polskiego, 1836. Kraków. Брошюрка не важная, но имѣвшая 12 изданій.

— Михалъ Вишневскій предпринялъ подъ заглавіемъ: *Historya literatury polskiej*—цѣлую исторію цивилизаціи, основанную на обширныхъ самостоятельныхъ изслѣдованіяхъ (Kraków, 1840—1845, tomów 7), но довелъ свою работу только до половины XVII вѣка.—По рукописямъ и запискамъ автора, эту работу продолжали Мацевичъ (т. VIII, 1851) и Жебравскій (т. IX и X, 1857).

— Это произведеніе сократилъ и передѣлалъ поэтъ Л. Кондратовичъ (W. Syrokomla): Dzieje literatury w Polsce od pierwiastków do naszych czasów. Wilno, 1851—1854, 2-е изданіе, въ 3 томахъ. Warszawa, 1874.—Это сочиненіе переведено на русскій языкъ О. Кузьминскимъ, подъ заглавіемъ: Исторія польской литературы отъ начала ея до настоящаго времени. Москва, 1862. 2 т.

— Сочиненіе К. Влад. Войцицкаго: *Historya literatury polskiej w zarysach.* 4 tomy. Warszawa, 1845—1846 (2 изд. 1861), есть скорѣе хрестоматія, нежели исторія литературы.

— Янъ Маіоркевичъ, Literatura polska w rozwinięciu historycznem. Warszawa, 1847, опытъ разработки предмета по методу гегелевской философіи.

— Чрезвычайно богато по содержанію *Piśmiennictwo Polskie od najdawniejszych czasów aż do r. 1830.* Tomów 3, Warszawa, 1851 — 1852,—знаменитаго слависта Вацлава Александра Мацѣевскаго, но оно доведено только до XVII вѣка.

— Весьма полезна очень популярная Historya literatury polskiej, Юліана Бартошевича, Warszawa, 1861.—Сынъ умершаго Бартошевича издалъ эту книгу вторымъ изданіемъ въ Краковѣ, 1877, въ 2 томахъ.

— Вроцлавскій профессоръ Влад. Нерингъ (Nehring) издалъ *Kurs literatury* dla użytku szkół (Poznań, 1866), въ которой довольно хорошо обработанъ періодъ Мицкевича и его послѣдователей.

— Менѣе удовлетворительна Historya literatury polskiej dla młodzieży, Карла Мехержнскаго (Kraków, 1873).

— Лучше книга Адама Куличковскаго, Zarys dziejów literatury polskiej dla użytku szkolnego i podręcznego. Lwów. 1873.

— Давно обѣщана обширная работа по этой же части Антона Малэцкаго (Małecki) бывшаго профессора львовскаго университета.

— Курсъ славянскихъ литературъ А. Мицкевича, читанный 1840—1845, въ переводѣ польскомъ Ф. Вротновскаго; 3-е изданіе въ 4 томахъ, Poznań, 1865.

— Въ 1855 г. Józef Kazimierz Turowski сталъ издавать новыми изданіями классиковъ и древнихъ писателей польскихъ выпусками, образовавшими 5 серій. Изданіе

1. Древній періодъ, до половины XVI вѣка (реформаціи).

Польскимъ историкамъ не удалось распутать лѣтописныя миѳическія сказанія старины, смѣсь преданій, вращающихся около Гнѣзна, Крушвицы, Кракова, преданій бѣло-хорватскихъ, поморскихъ и велико-польскихъ, о Лехахъ или Ляхахъ, Кракусѣ, Вандѣ, Попеляхъ и Пястѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ совершенно походятъ на чешскія (Кракъ и Крокъ, Пястъ и Премыслъ); иныя, напр., о Ляхахъ, сильно напоминаютъ скандинавскія саги. Не очень давно Шайноха пробовалъ дать Польшѣ начало норманское, и объяснялъ, главнымъ образомъ, на основаніи филологическихъ данныхъ, что въ среду мелкихъ племенъ славянскихъ по Эльбѣ, Одеру, Вислѣ внесены зачатки организаціи ляшскими норманскими дружинами, господствовавшими съ VI в. послѣ Р. Х. отъ Балтійскаго моря до Карпатъ. Эта попытка не имѣла успѣха и была отвергнута (подобно тому какъ отвергается нынѣ норманнское происхожденіе Варяговъ въ русской литературѣ: Гедеоновъ, Иловайскій, Забѣлинъ). Первое несомнѣнно достовѣрное извѣстіе о польскомъ государствѣ относится къ 963 г., когда при императорѣ

выходило сначала въ Санокѣ и Перемышлѣ, потомъ въ Краковѣ, прекратилось 1862, всего—болѣе 250 выпусковъ.

Основателемъ критической польской исторіи обыкновенно считаютъ Адама Нарушевича: Historya narodu polskiego od początku chrześcjaństwa; томы II—VII, изданы въ Варшавѣ, 1803—1804, Мостовскимъ, а I—въ Варшавѣ 1824, варшавскимъ обществомъ люб. наукъ. Іоахимъ Лелевель писалъ чрезвычайно много монографически; сочиненія его изданы Жупанскимъ въ Познани, 1854—1868, въ 20 томахъ, подъ заглавіемъ *Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane*.—Большой оригинальный, но не критическій трудъ предпринятъ былъ Теодоромъ Нарбутомъ: *Dzieje narodu litewskiego*. Wilno, 1835—1841, въ 9 томахъ.—Jędrzej Moraczewski предпринялъ представить полную прагматическую исторію Польши, съ республиканской точки зрѣнія въ Dzieje Rzeczypospolitej polskiej. Poznań. 1849—1855, въ 8 томахъ; послѣдній, IX, изданъ 1855 по смерти автора (исторія доведена до 1668). — Валеріанъ Врублевскій, подъ псевдонимомъ *W. Koronowicz*, сдѣлалъ опытъ философіи исторіи польской, но съ весьма узкой, исключительно политической точки зрѣнія.—Совершенную противоположность обоимъ названнымъ трудамъ представляетъ неважный памфлетъ Антона Валевскаго, въ клерикальномъ духѣ: Filozofia dziejów polskich, metoda ich badania, Kraków, 1875. Сочиненія знаменитаго историка-художника Карла Шайнохи собраны недавно, 1876—1878, въ Варшавѣ, въ 10 томахъ.—Теодоръ Моравскій, Dzieje narodu polskiego, tomów 8. Poznań i Drezno, 1871—1872.—Не окончена еще изданіемъ Historya pierwotna Polski Juljana Bartoszewicza (послѣднее изданіе въ 4-хъ томахъ). Kraków, 1878.—Walery Przyborowski, Dzieje Polski do 1772 dla młodzieży, Warszawa. 1879.—

Весьма многочисленны труды по польской исторіи львовскаго ученаго Генриха Шмита (Schmitt).

Новое направленіе науки польской исторіи, совершенно противоположное школѣ Лелевеля, обозначилось трудами краковскихъ профессоровъ Ягеллонскаго унив., Шуйскаго и Бобржинскаго. Józef Szujski издалъ въ 4-хъ томахъ Dzieje Polski wedle ostatnich badań spisane. Lwów, 1862—1866—лучшее и полнѣйшее до сихъ поръ руководство по этому предмету. Michał Bobrzyński издалъ 1879 въ Варшавѣ Dzieje Polski w zarysie, красивый очеркъ, въ которомъ мѣтко охарактеризованъ въ особенности ягеллонскій періодъ.—Весьма талантливо и оригинально изображены способъ разселенія и первичная организація общества польскаго въ соч. Тадеуша Войцѣховскаго: Chrobacya, rozbior starożytności słowiańskich. Kraków, 1873.—Нельзя не упомянуть объ Августѣ Белёвскомъ (Bielowski), издателѣ критически обрабо-

Оттонѣ I-мъ маркграфъ Геронъ побѣдилъ княжившаго надъ племенемъ Полянъ, въ странѣ на Вартѣ отъ Одера и до Вислы (Гнѣзно, Познань), языческаго князя Мѣшка, или Мѣчка, и заставилъ его платить дань императору. Всему западному Славянству грозила опасность: Нѣмцы систематически покоряли и насильственно обращали въ христіанство одно за другимъ разрозненныя славянскія племена, полабскія и приодерскія, заводили пограничныя мархіи и основывали епископства, во главѣ которыхъ стала основанная въ 968 г. митрополія—архіепископство магдебургское. Тѣснимый Нѣмцами, польскій князь Мѣшко постигъ, что, дабы отстоять съ успѣхомъ славянскую народность, необходимо послѣдовать примѣру соплеменниковъ, Чеховъ, которые устроились и окрѣпли потому, что еще въ IX столѣтіи приняли христіанство;—онъ и обратился къ королю чешскому Болеславу, женился на дочери его и принялъ крещеніе въ Познани (966), гдѣ и основалъ епископство, подчиненное съ 968 митрополіи магдебургской. Скромныя начинанія и заслуги Мѣшка затмила слава геніальнаго сына его и преемника, Болеслава Храбраго (992—1025), котораго и считаютъ настоящимъ основателемъ государства, далеко распространившимъ его рубежи за черту осѣдлости давшаго ему имя племени Полянъ. Болеславъ Храбрый занялъ Бѣло-Хорватію съ Краковомъ до Карпатъ и города *Червенскіе* (Галичину), Балтійское Поморье, признанъ Оттономъ III-мъ самостоятельнымъ государемъ и союзникомъ (1000), короновался короною, полученною отъ папы. Онъ досталъ для Польши самостоятельность церковную учрежденіемъ архіепископства въ Гнѣзнѣ, которому подчинены какъ вновь учреждаемыя епископства (краковское, вроцлавское, колобережское и т. д.), такъ и познанское, пришедшее впослѣдствіи, когда оно отошло отъ магдебургской митропо-

---

танныхъ древнѣйшихъ памятниковъ: Monumenta historica Poloniae vetustissima, и объ Ант. Сиг. Гельцелѣ (Helcel), издателѣ древнѣйшихъ памятниковъ польскаго законодательства: Starodawne prawa polskiego pomniki, 1857—1870. Kraków, два тома.—Важны также труды нѣмецкіе: Richard Röppel, Geschichte Polens, до конца XIII в. (Leipzig. 1840), одинъ томъ, продолженный потомъ двумя другими подъ тѣмъ же заглавіемъ *Jac. Caro*, Gotha. 1864—1869.—Съ политическими учрежденіями Польши знакомятъ: польская передѣлка нѣмецкаго писателя XVIII в. Ленгниха (Prawo pospolite Królestwa polskiego, wyd. Helcla, Kraków, 1836) и Siegfried Hüppe: Verfassung der Republik Polen, Berlin. 1867.

По географіи: Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński. Starożytna Polska, pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana. Warszawa, 1850, tomów 3.—Lucyan Tatomir, Geografia ogólna. Statystyka ziem dawnej Polski. Kraków, 1868.

Лучшій словарь до-сихъ-поръ составленный — Линде (Samuel Bogumil Linde), Słównik języka polskiego, 1807—1814. Warszawa, 6 t. Новое изданіе, дополненное. Львовъ 1854—1860. Лучшая грамматика, основанная на сравнительномъ языкознаніи, Grammatyka języka polskiego przez Antoniego Małeckiego, Lwów, 1863.

Сборники народныхъ пѣсенъ весьма многочисленны за послѣднія 45 лѣтъ, начиная со сборника галиційскаго писателя Залѣскаго (Wacław z Oleska), изданнаго 1833. Особенно замѣчательны сборники: Войцицкаго, Жеготы Паули, Чечота, Зейшнера, Оскара Кольберга.

ліи. Въ жестокихъ войнахъ Болеслава съ Нѣмцами, по смерти Оттона III, гибнетъ безповоротно полабское языческое Славянство; потери съ этой стороны вознаграждаются далекими видами на востокъ (Кіевъ). Нѣтъ сомнѣнія, что въ присоединенной къ Польшѣ Бѣло-Хорватіи съ Краковомъ были уже сѣмена христіанства [1]), посѣянныя въ то время, когда эта страна подчинена была Моравіи Святополкомъ (894) и когда въ ней епископствовалъ Меѳодій (объ отнош. Меѳодія къ языческому князю „на Вислѣхъ“ или въ Вислицѣ, Bielowski, Monum. I. 107). Но хотя есть слѣды долгаго существованія потомъ христіанства по славянскому обряду, не сохранилось данныхъ объ его самостоятельной организаціи. Верхъ надъ нимъ одержалъ обрядъ латинскій, укоренившійся быстро и глубоко и сдѣлавшійся одною изъ главныхъ основъ жизни народной по слѣдующимъ причинамъ. Римское католичество было космополитичнѣе, слѣдовательно, уживалось со всѣми народностями, не мѣшая ихъ своеобразному развитію; введенный имъ латинскій языкъ былъ сильнѣйшимъ проводникомъ и распространителемъ античной классической культуры; признавъ главенство папы, народность польская нашла въ немъ точку опоры въ борьбѣ своей съ германо-римскою имперіею; наконецъ, проводя идею о первенствѣ духовнаго порядка предъ свѣтскимъ, церковь римская явилась первымъ дѣятелемъ въ ограниченіи власти королевской и положила первый камень при созданіи польскаго парламентаризма, который въ исторіи польской былъ дѣломъ столь же народнымъ, какъ выработка самодержавія въ древней исторіи русской. Эта сторона дѣятельности духовенства обрисовалась только впослѣдствіи; вначалѣ движущею и всеорганизующею силою является только королевская или княжеская власть, столь же могущественная, какъ на Руси при Ярославѣ. Несмотря на народное ея происхожденіе отъ князя Пяста, нѣтъ и помину о народныхъ вѣчахъ, а развѣ только совѣщается князь со своими дружинниками, *comites*, и епископами. Организація общества чисто военная. Земли дѣлились на *ополья* (viciniae), соединенныя круговою отвѣтственностью жителей по отношенію къ власти; по городамъ въ укрѣпленныхъ мѣстахъ сидѣли княжескіе военачальники-судьи, *каштеляны*. Внутри общества обозначилось различіе военнаго сословія отъ не-военныхъ классовъ, выдвинулась шляхта. Происхожденіе этого учрежденія объясняется нынѣ слѣдующимъ образомъ [2]). У ляшскихъ Славянъ господствовало многобрачіе; послѣ умершаго, если не было

---

[1]) Страстная полемика по поводу славянскаго обряда въ древней Польшѣ велась, въ 1839—1850 г., съ одной стороны между Алекс. Вац. Мацѣевскимъ, съ другой— Игн. Рихтеромъ и Б. Островскимъ. Содержаніе спора передано въ статьяхъ А. Малэцкаго въ журналѣ львовскомъ „Przewodnik naukowy i literacki“ 1875.

[2]) Szajnocha (Lechicki początek Polski); Małecki въ вышеупомянутыхъ статьяхъ.

сыновей и братьевъ, остававшееся имущество (puścizna) забиралъ князь (путемъ такъ-называемаго грабежа), который разсматривался какъ собственникъ всей земли въ предѣлахъ своего княженія. Съ христіанствомъ введено однобрачіе, выяснилось значеніе рода, связь взаимная родичей или стрыйцовъ, потомковъ одного родоначальника, отношеніе ихъ къ *дѣдинѣ* — имуществу, принадлежавшему этому предку. Князь сталъ своимъ дружинникамъ жаловать *jus hereditarium* (право дѣдичное) на земли, которыя становились тѣмъ, чѣмъ были аллодіальныя владѣнія на Западѣ, землями вольными, частными, навсегда выходящими изъ общей массы княжескаго владѣнія. Привилегированные по княжескому пожалованію содѣдичи и прозывались отъ нѣмецкаго слова „Seschlecht"—*шляхта*, они дѣлались соучастниками одного „Erb" или *герба*: ни одна частица общей дѣдины не могла быть отчуждаема безъ соизволенія родичей; они имѣли общій знакъ символическій и общій кличъ (proclama, zawołanie). Гербовые родичи, какъ служилые люди, освободились постепенно отъ всякихъ иныхъ службъ и даней, лежащихъ на людяхъ тяглыхъ, а когда учрежденіе умножилось и разрослось, то въ ихъ руки перешла и власть суда надъ простыми, на ихъ земляхъ водворенными поселянами (pan—первоначально тоже, что́ судья). Параллельно развитію привилегированныхъ родовъ, изъ которыхъ потомъ образовалось одно сословіе шляхты, шелъ процессъ обезземеленія сельскаго состоянія; свободные землевладѣльцы-крестьяне съ теченіемъ времени совсѣмъ пропадаютъ, сливаясь въ общей массѣ крестьянъ осѣдлыхъ на чужихъ земляхъ: княжескихъ, церковныхъ или панскихъ, съ невольными людьми, рабами и потомками рабовъ (паробки, originarii). По Статуту Вислицкому, лично свободные кмети еще не окончательно прикрѣплены; имъ служитъ ограниченное право выхода. Отстаивая старину и связанное съ нею язычество, низшіе классы общества подымались дважды (1034 и 1077), но безуспѣшно, причемъ служилое сословіе и духовенство такъ сильны, что, справившись съ бунтующими, заставляютъ въ 1079 г. удалиться съ престола короля Болеслава Смѣлаго, человѣка самовластнаго и крутаго, который обагрилъ руки кровью отлучившаго его отъ церкви краковскаго епископа Станислава. Ослабленная этимъ событіемъ, княжеская власть проявляется еще съ прежнимъ блескомъ и силою въ лицѣ Болеслава III Кривоустаго (1102—1138), который ознаменовалъ себя побѣдоносными войнами съ императоромъ Генрихомъ V, покорилъ окончательно и обратилъ въ христіанство славянское Поморье отъ устьевъ Одера до устьевъ Вислы при помощи апостола поморянъ, св. Оттона. Но со смертью Болеслава III наступилъ для Польши столь же неизбѣжный, какъ для Руси послѣ Ярослава—удѣльный періодъ,

слѣдствіе взгляда на государство, какъ на родовую общую собственность княжескаго дома.

Прямымъ послѣдствіемъ раздробленія цѣлаго на части было, съ одной стороны, обезсиленіе едва нарождающейся народности, потеря ею нѣкоторыхъ частей болеславовской Польши, напр. Силезіи, которая сдѣлалась нѣмецкою подъ онѣмечившимися князьями изъ старшей линіи дома Пястовъ; съ другой стороны, дифференціація частей, образованіе отдѣльныхъ земель, изъ которыхъ каждая устроилась посвоему и запечатлѣлась сильно индивидуальнымъ характеромъ. Каждый князь имѣлъ своего намѣстника, *воеводу* (палатина), канцлера, судью; ниже воеводъ по чину были каштеляны по городамъ, правители опольевъ. Всѣ эти должности были обыкновенно пожизненными. Эти barones вмѣстѣ съ епископами составляли думу князя и, пользуясь междоусобіями князей, присвоили себѣ громадную власть, звали и вытѣсняли князей и практически осуществляли не разъ то, что́ потомъ назвалось элекціею. Власть и значеніе этого предпріимчиваго вельможества были не одинаковы на сѣверѣ и югѣ. Между тѣмъ, какъ сѣверъ, то-есть коренная или Великая-Польша съ Гнѣзномъ и Мазовія съ своимъ безчисленнымъ мелкопомѣстнымъ шляхетствомъ жили больше по старинѣ и стояли за болеславовскія преданія княжескаго самодержавія,—на югѣ, въ такъ-называемой Малой-Польшѣ, слагался порядокъ вещей, въ которомъ бароны имѣли перевѣсъ и которымъ они воспользовались для возведенія на королевскій престолъ Казиміра, самаго младшаго изъ сыновей Болеслава III. Уже этотъ король Казиміръ, по прозванію Справедливый, являетъ собою типъ совершенно новый, типъ правителя, законодательствующаго на съѣздахъ вмѣстѣ съ духовенствомъ и высшимъ дворянствомъ, а состоявшійся при немъ съѣздъ Ленчицкій 1080 г. обыкновенно считаютъ историки началомъ учрежденія польскаго сената. Власть княжеская, ограничиваемая духовенствомъ, которое тянуло къ Риму и старалось все свѣтское подчинить папскому престолу, и сокращаемая вельможествомъ, не могла справиться съ задачами, которыя ей были бы по силамъ въ прежнее время: она сама раскрываетъ настежь ворота Нѣмцамъ и впускаетъ ихъ въ самое сердце Польши. Этого рода явленіе знаменуетъ вѣкъ XIII и состоитъ въ поселеніи на нижней Вислѣ ордена тевтонскаго и въ пожалованіи нѣмецкимъ правомъ городовъ и селеній, наполняющихся, въ особенности послѣ татарскаго нашествія и раззоренія, нѣмецкими выходцами. Одинъ изъ самыхъ дурныхъ правителей, Конрадъ, князь Мазовецкій, не справившись съ полудикимъ племенемъ язычниковъ-Пруссаковъ, пригласилъ тевтонскихъ рыцарей, пожаловалъ имъ землю Кульмскую и все то, что́ они отвоюютъ у Пруссаковъ. Орденъ поселился на Балтійскомъ Поморьѣ, и въ концѣ-кон-

цовъ восторжествовалъ надъ Польшею, потому что изъ него-то вышла теперешняя прусская монархія. Германизація, вслѣдствіе поселенія колонистовъ, всѣхъ польскихъ городовъ и мѣстечекъ и даже закладка новыхъ нѣмецкихъ деревень идетъ шибко въ теченіи всего XIII в., но въ особенности послѣ того, какъ въ 1241 Татары опустошили Польшу, сожгли Краковъ и Вроцлавъ. Польша превратилась въ пустыню; чтобы заселить ее, надо было звать колонистовъ, суля имъ льготы, освобожденіе отъ повинностей польскаго права, родныя учрежденія, свой судъ городской или сельскій, отъ котораго до временъ Казиміра-Великаго шла аппеляція въ магдебургскій магистратъ. Селенія судимы и управляемы были солтысомъ съ лавниками (scabini); въ городахъ судилъ войтъ съ лавниками, управлялъ совѣтъ городской (магистратъ). Прельщенные примѣромъ, чисто польскіе города и селенія добивались пожалованія ихъ правомъ нѣмецкимъ.

Были князья, напримѣръ Лешекъ Черный, которые опирались на это нѣмецкое мѣщанство такихъ городовъ, какъ Краковъ, и заимствовали нѣмецкій языкъ и обычаи. По городамъ, со временъ первыхъ крестовыхъ походовъ, селилось множество бѣжавшихъ изъ Германіи Евреевъ. Изъ массы народа выдѣлялись города, выдѣлялась шляхта или рыцарское состояніе, сильно сплоченное въ гербовыя братства, наконецъ всего больше привилегированное положеніе заняло духовенство, тянущее къ Риму, освободившееся отъ княжескаго суда, имѣющее свой собственный по каноническому праву, которое оно навязывало князьямъ, долженствующимъ на каждомъ шагу считаться съ этими безчисленными привилегіями духовенства, дворянства, городовъ. Несмотря на раздробленіе общества на части и рознь сословій существовало, однако, чувство народнаго единства и сказалась потребность въ созданіи сильной центральной власти, которая, содѣйствуя процессу сложенія разныхъ частей въ одно цѣлое, доставила бы обществу внѣшнюю безопасность и наладила бы внутреннія отношенія. Выработалось понятіе монархическаго единодержавія. Это политическое движеніе было вмѣстѣ съ тѣмъ и сильно національное, сопровождаемое горячимъ сочувствіемъ народныхъ массъ. Собирателями польской земли являются представители одной изъ самыхъ младшихъ линій дома Пястовъ—мазовецко-куявской, Владиславъ Локтикъ и сынъ его, Казиміръ Великій. Локтикъ возлагаетъ на себя королевскую корону въ 1313 г. въ Краковѣ, дѣлающемся окончательно столицею, собираетъ 1331 г. первый извѣстный сеймъ или земское вѣче въ Хенцинахъ (generalem omnium terrarum conventum), одерживаетъ первыя побѣды надъ орденомъ, женитъ сына на дочери литовскаго Гедимина и передаетъ ему 1333 г. престолъ по праву монархическаго единонаслѣдія. Этотъ сынъ, Казиміръ Великій, болѣе дипломатъ, нежели

военный человѣкъ, направилъ общество на мирные пути развитія, устроилъ города, которые при немъ стали ополячиваться, создалъ одно общее для обѣихъ главныхъ частей Польши законодательство, извѣстное подъ именемъ Вислицкаго Статута [1]). Главныя составныя части его монархіи были Велико-Польша и Мало-Польша, въ составъ которой съ 1340 г. вошла и Галицкая Русь. Значеніе удѣльныхъ князей осталось на нѣкоторое время только за мельчающимъ и вымирающимъ родомъ мазовецкихъ Пястовъ. Слѣды прежнихъ удѣловъ сохранились въ государственномъ управленіи въ должностяхъ бывшихъ княжескихъ, а по объединеніи Польши сдѣлавшихся только земскими, воеводъ, каштеляновъ и другихъ. Они были представителями интересовъ отдѣльныхъ земель, между тѣмъ какъ общіе интересы короны имѣли свои органы въ министрахъ королевскихъ и городовыхъ старостахъ (учрежденіе, заимствованное изъ Чехіи), вооруженныхъ королемъ властію уголовнаго суда по четыремъ статьямъ: разбой, изнасилованіе, поджогъ, нападеніе на домъ. Всѣ остальныя дѣла и споры судили земскіе выборные судьи. Особенности Велико- и Мало-Польши никогда не стушевались, такъ что въ самомъ основаніи устройства Польши, какъ государства, легло начало федеративности, какъ добровольнаго, по соглашеніямъ и на условіяхъ равноправности, единенія земель подъ одною державою — разумѣется, не на обще-гражданской, которой не могло быть въ средніе вѣка, а на аристократической подкладкѣ.

Преемникъ Казиміра, племянникъ его Людовикъ или Лоисъ (Loys) изъ дома Анжу, не имѣвшій мужского потомства, желая, вопреки польскому народному обычаю, передать престолъ одной изъ дочерей, почти насильственно навязалъ польскимъ панамъ, вызваннымъ въ Кошицы, актъ (1374), равносильный по содержанію позднѣйшимъ pacta conventa, освобождающій всю шляхту отъ податей (за исключеніемъ 2 грошей съ лана—a manso). Когда, въ силу этихъ соглашеній, дочь Лоиса, Ядвига, вступила на престолъ, вопреки ея желаніямъ, состоялся, по настоянію мало-польскихъ пановъ, богатый послѣдствіями бракъ ея съ Ягеллою, коронація въ Краковѣ (1386) и крещеніе Литвы. Первымъ плодомъ соединенія Польши съ Литвою было нанесеніе общими силами рѣшительнаго удара общему врагу, ордену тевтонскому, на побоищѣ грюнвальдскомъ, въ 1410 г. Но соединеніе двухъ столь рѣзко разнящихся между собою государствъ, какъ Польша и Литва, было только личное и разрывалось поминутно. Въ Княжествѣ Литовскомъ, вел. князь былъ дѣдичъ, господинъ почти самодержавный,

---

[1]) Главный объ этомъ кодексѣ трудъ принадлежитъ Гельцелю, по изысканіямъ котораго оказывается, что были два отдѣльные статута — піотрковскій для Велико-Польши и вислицкій 1347 г.—для Мало-Польши, которымъ составленъ общій сводъ въ 1368 г.

боярство сильное, землевладѣніе ограниченное, почти помѣстное или феодальное, связь съ короною поддерживалась только тѣмъ, что одинъ изъ Ягеллоновъ, даже часто не тотъ, который возсѣдалъ на престолѣ литовскомъ, возводимъ былъ по соглашенію съ сеймомъ на престолъ Польши съ королевскою властью, значительно ограниченною привилегіями состояній и вельможествомъ, которое пріучилось править судьбами общества умѣлою, хотя тяжелою и своекорыстною рукою. Сеймъ польскій того времени былъ только продолженіемъ прежнихъ съѣздовъ и вѣчъ (colloquia), собраніемъ, со всѣхъ земель или съ нѣкоторыхъ, коронныхъ и земскихъ сановниковъ; участіе въ немъ служимыхъ людей было самое неопредѣленное. Эта коронная дума вступаетъ иногда въ споры съ королемъ, которому порою трудно согласовать свою польскую политику съ обязанностями вел. князя литовскаго. Въ ней засѣдаютъ люди, которые фактически правятъ государствомъ при слабыхъ короляхъ; такимъ лицомъ является, напримѣръ, знаменитый краковскій епископъ, кардиналъ Збигнѣвъ Олесницкій (ум. 1454), затормозившій крѣпкою рукою движеніе гуситское [1]), проникавшее въ Польшу, сторонникъ Флорентійской уніи, сторонникъ легальной реформы церкви съ подчиненіемъ папы собору, но выше государственныхъ ставившій интересы церкви, направившій сына Ягеллы, Владислава III, на престолъ венгерскій и затѣмъ на тотъ крестовый походъ противъ Турокъ, въ которомъ король Владиславъ обрѣлъ въ 1444 смерть на полѣ сраженія подъ Варной. Преемникомъ Владислава III, соединившимъ въ однѣхъ рукахъ Польшу и Литву, былъ король Казиміръ (ум. 1492), цѣнимый прежде далеко не по заслугамъ и въ которомъ только съ недавняго времени [2]) историческія изслѣдованія открыли одного изъ замѣчательнѣйшихъ государей, всего болѣе содѣйствовавшаго преобразованію монархіи средневѣковой, *вотчинной*, въ настоящую представительную съ однимъ закономъ, законодателемъ—сеймомъ и исполнителемъ законовъ—королемъ, словомъ создателя польскаго парламентаризма. Приманка федеративности и большей свободы заставила прусское дворянство и города изъ-подъ власти ордена стремиться къ инкорпораціи, впрашиваться въ составъ короны польской, слѣдствіемъ чего была прусская война, кончившаяся присоединеніемъ къ Польшѣ по Торнскому миру 1466 г. Балтійскаго Поморья съ устьями Вислы, Данцигомъ, Маріенбургомъ и Варміею, а за орденомъ оставлены на ленномъ правѣ только восточная Пруссія съ Кёнигсбергомъ. Во время этой войны король, стѣсняемый сановнымъ вельможествомъ и нуждающійся въ войскѣ и деньгахъ, предпринимаетъ ломку привилегій во

---

[1]) Гуситизмъ въ Польшѣ всего лучше разработанъ въ многочисленныхъ монографіяхъ ученаго Л. Прохазки, въ изданіяхъ краковской академіи, и друг.

[2]) Каро и Бобржинскій.

имя общаго блага и вводитъ въ жизнь политическую еще не совсѣмъ зрѣлое, но вышколенное въ государственной службѣ состоянiе нечиновной служилой шляхты. Статуты Нѣшавскiе, 1454, Казимiра [1]) играютъ въ польской конституцiи такую же роль какъ Magna Charta въ англiйской; это—дворянская грамота правъ и преимуществъ, во главѣ которыхъ стоитъ знаменитое: neminem captivabimus nisi jure victum (свобода отъ подслѣдственнаго ареста), но въ нихъ превыше всѣхъ въ государствѣ поставленъ законъ, и постановлено, что новые законы будутъ издаваемы и подати налагаемы только по совѣщанiю съ земскими сеймиками шляхты. Эти сеймики, объѣзжаемые королемъ, оказывались податливыми. Король, найдя въ нихъ точку опоры, упрощаетъ механизмъ: вмѣсто земскихъ, собираетъ общiе съѣзды для Велико-Польши, Мало-Польши, Руси (обыкновенно въ Колѣ, Новомъ-Корчинѣ, Сондовой Вишни), наконецъ, въ 1468 г. постановлено, чтобы отъ всякаго земскаго сеймика, собирающагося въ повѣтѣ или землѣ, изъ которыхъ состоятъ воеводства, высылаемы были на общiй съѣздъ всей короны (обыкновенно въ Пiотрковѣ) по два выборные земскiе посла (nuntii terrestres). Такъ образовался *вальный сеймъ коронный*, не имѣвшiй сначала никакого первенства надъ сеймиками, потому что, не успѣвъ на сеймѣ, король могъ проводить свои замыслы на сеймикахъ. Отъ этого сейма сторонилось духовенство, отстаивающее свои привилегiи; его чуждались, хотя и были приглашаемы, мало заботящiеся объ общемъ дѣлѣ города, вслѣдствiе чего городское состоянiе потеряло всякое значенiе политическое. Лѣтъ чрезъ 30 сеймъ уже сосредоточилъ въ себѣ всю законодательную власть; о законодательствѣ на сеймикахъ нѣтъ и помина; почином короля Яна-Альбрехта важныя преобразованiя предприняты, но и дано начало легальному порабощенiю шляхтою крестьянъ и исключительнымъ достоянiемъ шляхты сдѣлались высшiя должности церковныя. Теряющее подъ собою почву вельможество воспользовалось военными неудачами, омрачившими конецъ жизни этого короля, чтобы по его смерти сдѣлать послѣднюю попытку установить олигархическую форму правленiя, заставить великаго князя Александра подписать передъ коронацiею привилегiю Мельницкую 1501 г., по которой король превращался въ предсѣдателя сената, а все правленiе переходило въ руки этой вельможной думы. Король все подписалъ, что̀ требовалось, но затѣмъ уѣхалъ въ Литву, предоставивъ сенату править Польшею по его усмотрѣнiю. Опытъ показалъ полную несостоятельность вельможескаго правленiя; короля упросили прiѣхать: Мельницкiй актъ былъ отмѣненъ, многое устроено, опредѣлены пред-

---

[1]) Bobrzyński, O ustawodawstwie Nieszawskiem. Kraków 1873; Sejmy polskie za Olbrachta i Alexandra, въ Ateneum, 1876.—Romuald Hube, Statuta Nieszawskie z 1454 r. Warszawa 1875.

меты вѣдомства коронныхъ министровъ (канцлеръ, подканцлерій, два подскарбія коронный и надворный, маршалы коронный и надворный), разрѣшено канцлеру Ласкому издать собраніе законовъ (въ 1506), наконецъ на сеймѣ Радомскомъ 1505 г. состоялось знаменитое постановленіе: nihil novi constitui debeat per nos et successores nostros sine communi consiliorum et nuntiorum terrestrium consensu (т.-е. что отнынѣ не можетъ состояться постановленіе безъ согласія рады—сената и земскихъ пословъ). Общій подъемъ шляхты, воодушевленной чувствомъ равенства, подорвалъ въ корнѣ вельможество. Никогда государственныя должности не сдѣлались наслѣдственными, никогда сенатъ, въ котораго составъ вошли окончательно только воеводы, каштеляны, министры и римско-католическіе епископы, не получилъ самостоятельнаго значенія. Отсутствіемъ прочныхъ корней у вельможества объясняется роль его и политика заискиванія—попеременно то милостей у короля, то популярности у шляхты. Оно какъ будто бы на время стушевывается среди двухъ главныхъ факторовъ: монарха и шляхты, привыкшей смотрѣть на себя, какъ на весь польскій народъ. Во всѣхъ земляхъ, вошедшихъ уже потомъ въ составъ государства, первымъ дѣломъ польской политики было съ тѣхъ поръ объединеніе разныхъ чиновъ служилыхъ сословій въ одну шляхту и затѣмъ уже введеніе государственныхъ порядковъ и устройства. Въ этой скороспѣлой передѣлкѣ средневѣковаго вотчиннаго государства въ новѣйшее конституціонное были свои темныя пятна и недодѣлки. Законъ обобщенъ, но о городахъ рядили безъ нихъ, а простой народъ остается даже внѣ закона. Министры несмѣняемы, нѣтъ также одного отвѣтственнаго предъ сеймомъ министерства, которое бы обезпечивало непрерывность правительственнаго почина при слабыхъ или неспособныхъ государяхъ. Король ревниво относился къ личному своему управленію, министровъ онъ бралъ изъ среды вельможеской, но неотвѣтственный передъ сеймомъ пожизненный министръ могъ легко перейти на сторону оппозиціи и связать королю руки. Устройство предполагало непрестанный сильный починъ правительства, а на престолѣ—людей энергическихъ; между тѣмъ обѣ династіи, Пястовъ и Ягеллоновъ, вымираютъ скоро и безпотомно, а послѣдняя славилась добротою, медлительностью и нерѣшительностью характера своихъ представителей.

Такимъ мягкосердымъ миролюбцемъ является популярнѣйшій изъ королей Сигизмундъ I Старый, державшій болѣе 40 лѣтъ бразды правленія въ своей недѣятельной рукѣ. Его хвалятъ за то, что онъ относился къ протестантизму совершенно нейтрально и отвѣчалъ Эку, что онъ предпочитаетъ быть королемъ и надъ овцами и надъ козлищами. Его мирная внѣшняя политика, ладившая даже съ Солиманомъ, дала шляхтѣ вкусить всѣ прелести покоя и досуга; эко-

номическое развитіе и успѣхи были поразительные, но Смоленскъ былъ потерянъ; породнившемуся съ Ягеллонами дому Габсбурговъ оказано содѣйствіе къ занятію престоловъ чешскаго и венгерскаго, вакантныхъ по смерти послѣдняго потомка венгерской отрасли дома Ягеллоновъ, короля Людовика II, павшаго въ сраженіи подъ Могачемъ въ 1526; наконецъ одними только узко-династическими соображеніями объясняется чреватая вреднѣйшими для Польши послѣдствіями отдача въ ленное владѣніе въ 1525 г. племяннику Сигизмунда I по сестрѣ, Альбрехту Бранденбургскому, земель ордена тевтонскаго, секуляризованныхъ вслѣдствіе принятія Альбрехтомъ протестантства. Во внутренней политикѣ Сигизмунда очевиденъ возвратъ къ идеямъ средневѣковымъ правителя по собственному праву, не полагающагося на шляхту, предпочитающему вельможъ. Верхъ берутъ интриганы, королева-итальянка Бона Сфорца торгуетъ мѣстами и должностями; безконтрольно тратятся и расхищаются средства казны. Тогда вельможеская же оппозиція возстановляетъ на короля шляхту, подстрекая ее къ отказу въ согласіи на подати, къ ограниченію власти королевской. Собранная подъ Львовомъ, въ 1538 году, на походъ въ Валахію, шляхта, вмѣсто похода, опротестовала дѣйствія короля и разошлась (такъ-называемая куриная или „кокошья“ война — первый примѣръ послѣдующихъ рокошей). Получая все большее и большее понятіе о своихъ правахъ и подстрекаемая къ тому вельможествомъ, шляхта отвыкла отъ повинностей; одновременно доканчивалось закрѣпощеніе ею крестьянъ и установленіе барщины.

Главныя событія древняго періода.

963—Маркграфъ Геронъ побѣждаетъ князя польскаго Мечислава и дѣлаетъ его данникомъ императора.
965—Мечиславъ принимаетъ крещеніе отъ чешскихъ священниковъ.
968—Основаніе перваго польскаго епископства въ Познани.
1000—Посѣщеніе Гнѣзна Оттономъ III. Учрежденіе Гнѣзненскаго архіепископства.
1024—Болеславъ Храбрый коронуется королемъ.
1034—Смуты по смерти Мечислава II; подъемъ язычества.
1040—Вступленіе на княжество Казиміра, сына Мечислава II.
1079—Отлученный отъ церкви Болеславъ II Смѣлый убиваетъ краковскаго епископа Станислава.
1124—Обращеніе славянскаго Поморья при Болеславѣ III Кривоустомъ. Апостольство св. Оттона.
1139—Смерть Болеслава III; начало удѣльнаго періода.
1177—Казиміръ Справедливый утверждается въ Краковѣ.
1180—Ленчицскій съѣздъ; предполагаемое начало сената.
1226—Конрадъ, князь Мазовецкій, жалуетъ тевтонскому ордену кульмскую землю.

1241—Нашествіе Монголовъ; сожженіе Кракова; сраженіе подъ Лигницею.
1295—Пржемыславъ коронуется польскимъ королемъ.
1319—Коронація Владислава Локтика въ Краковѣ.
1331—Общепольское вѣче въ Хенцинахъ.
1333—Вступленіе на престолъ Казиміра Великаго.
1340—Казиміръ присоединяетъ къ Польшѣ Галицкую Русь.
1347—Сеймъ въ Вислицѣ.
1370—Смерть Казиміра Великаго; вступленіе на престолъ Лоиса.
1374—Съѣздъ и договоръ въ Кошицахъ.
1384—Пріѣздъ въ Польшу королевы Ядвиги.
1386—Крещеніе, бракосочетаніе съ Ядвигою и коронація Владислава II Ягелла.
1387—Крещеніе Литвы, основаніе епископства въ Вильнѣ.
1387—Походъ Ядвиги на Червонную Русь; утвержденіе послѣдней за Польшею по изгнаніи венгерскихъ правителей, поставленныхъ Лоисомъ.
1400—Учрежденіе Краковской Академіи.
1410—Пораженіе ордена тевтонскаго въ сраженіи подъ Грюнвальдомъ.
1413—Сеймъ и унія въ Городлѣ. Сообщеніе литовской шляхтѣ правъ и гербовъ польской.
1444—Смерть короля польскаго и венгерскаго Владислава III подъ Варной.
1454—Дворянство и города прусскіе ходатайствуютъ объ инкорпораціи Пруссіи. Нѣшавскіе статуты.
1466—Конецъ прусской войны; миръ съ орденомъ въ Торнѣ.
1468—Учрежденіе земскихъ пословъ; начало представительнаго правленія.
1505—Радомская привилегія короля Александра. За сеймомъ признана законодательная власть.
1525—Альбрехтъ бранденбургскій, сложивъ съ себя званіе великаго магистра Тевтонскаго ордена, получаетъ въ Краковѣ инвеституру на ленное княжество Пруссію.
1526—Моравія присоединена къ коронѣ польской по безпотомной смерти послѣдняго князя.
1529—Изданіе перваго Литовскаго статута.
1537—Война «кокошья»; шляхетское ополченіе подъ Львовомъ оказываетъ открытое сопротивленіе королю.

Мы обозрѣли въ бѣгломъ очеркѣ слишкомъ пять вѣковъ государственной польской исторіи, то-есть бо́льшую ея половину, но не дошли еще до начала польской литературы, потому что отъ временъ, предшествовавшихъ XVI вѣку, сохранились лишь весьма скудные остатки устной поэзіи народной и весьма слабые зачатки польской письменности [3]).

Въ эпоху принятія христіанской религіи, племена славянскія, изъ которыхъ составился польскій народъ, стояли на весьма низкой степени умственнаго развитія, безъ письменности, съ весьма бѣдною системой

[1]) Весьма спеціальное изслѣдованіе по предмету древняго польскаго языка содержитъ книга И. Бодуэна де-Куртенэ: «О древне-польскомъ языкѣ до XIV столѣтія». Лейпцигъ 1870.

миѳологіи, которая не шла дальше натурализма и чуждалась, по свидѣтельству современнаго Болеславу Храброму епископа мерзебургскаго Дитмара, всякихъ представленій о жизни загробной. Польша не можетъ представить не только никакого эпоса, подходящаго къ „Слову о полку Игоря" или къ рапсодіямъ Краледворской рукописи, но и никакого вообще литературнаго памятника, который бы черпалъ свое содержаніе изъ міросозерцанія языческаго и имѣлъ прямую связь со стариною языческою. Скудная поэзія народная жила устнымъ преданіемъ въ пѣснѣ и сказкѣ. Вслѣдствіе принятія христіанства по обряду римско-католическому, народная почва покрыта была толстымъ слоемъ наносной латинской культуры, которой разсадниками явились школы, основываемыя духовенствомъ. Первыя школы были монастырскія, основанныя древнѣйшимъ орденомъ св. Бенедикта и другими орденами; потомъ появились школы каѳедральныя и приходскія. Въ школахъ этихъ знанія преподаваемы были по системѣ *trivii* и *quadrivii*; сверхъ римской церковной литературы, изучаемы были классическіе римскіе поэты и историки. Школы дѣлились на высшія и низшія; высшими считались соборная въ Познани (Kollegium Lubrańskiego, основ. 1516) и церкви св. Маріи въ Краковѣ. Любознательные дополняли свое образованіе посредствомъ путешествій и посѣщенія университетовъ иностранныхъ, болонскаго, падуанскаго, парижскаго, а съ 1348 г. пражскаго. Когда послѣ усобицъ періода удѣловъ, Владиславу Локтику удалось собрать опять въ сильныхъ рукахъ разрозненныя части державы Болеслава Храбраго, тогда сознана была польскими королями потребность украсить свое царство основаніемъ въ Краковѣ университета. Сынъ Локтика, Казиміръ Великій пытался, по примѣру Карла IV, основателя пражскаго университета, создать также университетъ, открывъ въ 1364 г. въ селѣ Баволъ (нынѣ предмѣстье Кракова, Казимѣржъ) *studium generale*, изъ трехъ факультетовъ: юридическаго, медицинскаго и философскаго. Впрочемъ, попытки эти не удались; профессоровъ недоставало, преподаваніе шло безуспѣшно; наконецъ при преемникѣ Казиміра, королѣ Лоисѣ, это учрежденіе пришло въ совершенное разстройство и упадокъ, вслѣдствіе чего польская молодежь стала толпами посѣщать университетъ пражскій въ Чехіи. Настоящими основателями краковскаго университета (академіи) были королева Ядвига и Владиславъ Ягелло. По ходатайству Ядвиги, папа Бонифацій IX разрѣшилъ предполагаемому къ возстановленію заведенію имѣть, сверхъ трехъ прежнихъ факультетовъ, четвертый, богословскій. Университетъ краковскій открытъ былъ торжественно Ягелломъ въ 1400 году (уже по смерти Ядвиги). Канцлеромъ его положено быть ex officio епископу краковскому; эта зависимость отъ краковскаго владыки и преобладаніе богословскаго факультета надъ остальными сдѣлали изъ краковской академіи учреж-

деніе преимущественно религіозное, дочь церкви, подпору схоластики. Этому направленію академія осталась вѣрна до самаго паденія Польши. Краткій періодъ ея процвѣтанія совпадаетъ съ царствованіемъ династіи Ягеллонской; тогда-то она произвела знаменитаго мыслителя, архіепископа львовскаго Григорія изъ Санока (ум. 1477), Яна Глоговчика, изобрѣтателя френологіи (ум. 1507), Николая Коперника (1473—1543), историка Яна Длугоша. Пока волновавшій тогда умы религіозный вопросъ стоялъ только на томъ, чтобы внутри церкви произвести реформу, исправить ея іерархію и преобразовать распущенные нравы, краковская академія сочувствовала этому движенію, поддерживала литературныя связи съ пражскимъ университетомъ, внимала изрѣдка проповѣди гуситской и сдѣлалась на нѣкоторое время разсадникомъ гуманизма, но стояла главнымъ образомъ на сторонѣ легальной реформы церкви, проводила мысль подчиненія папы собору. Но когда явился протестантизмъ и произвелъ рѣшительный расколъ, окончательно отщепившись отъ церкви, тогда академія отшатнулась отъ нововведеній, заключилась въ самый узкій ортодоксальный консерватизмъ, имѣвшій послѣдствіемъ совершенный упадокъ прежняго ея значенія. Профессора занимались кропаньемъ плохихъ книжонокъ, богословскими диспутами, астрологіею; въ академіи царили плохая церковная латынь и затхлая схоластика. Народъ сдѣлался равнодушенъ къ учрежденію омертвѣвшему. Точно въ такой же упадокъ стали приходить и подвѣдомственныя краковской академіи низшія школы, основанныя и управляемыя ею по всему государству, числомъ до сорока. Она не въ состояніи была бороться успѣшно съ протестантизмомъ; когда же выполнить эту задачу взялись іезуиты и стали основывать вездѣ свои коллегіи, тогда академія вступила съ ними въ споръ, доказывая, что она имѣетъ монополію въ дѣлѣ народнаго воспитанія; въ этомъ спорѣ изъ-за привилегіи она была побѣждена.

Единственнымъ письменнымъ языкомъ былъ языкъ латинскій: народъ молился и препирался въ судахъ по польски, но проповѣди и приговоры судебные писались по латыни; этимъ же языкомъ писанъ первый кодексъ, заключающій въ себѣ земское право Польши, извѣстный подъ именемъ Статута Вислицкаго. Искусственная латинская литература въ Польшѣ весьма богата и вмѣщаетъ въ себѣ два главные рода произведеній: лѣтописи и поэзію, преимущественно лирическую. Въ лѣтописяхъ сказывается въ иностранной формѣ здоровый практическій смыслъ народа, теплое чувство патріотизма и замѣчательное пониманіе общественныхъ интересовъ. Хотя до самаго XVI столѣтія исторіографія не выходила изъ рукъ единственнаго книжнаго сословія того времени — духовенства, но въ лѣтописцахъ польскихъ

замѣтно очень мало отшельническаго аскетизма, они люди дѣятельные, принимавшіе самое ревностное участіе въ дѣлахъ государственныхъ, гражданскихъ, дипломатическихъ и даже военныхъ; они часто изумляютъ глубокимъ пониманіемъ событій и художественнымъ ихъ воспроизведеніемъ [1]). Таковы древнѣйшіе лѣтописцы: сподвижникъ короля Болеслава Кривоустаго, монахъ Галлъ (ум. около 1113), иностранецъ, но до того сроднившійся съ Польшею, что въ его разсказѣ, перемѣшанномъ со стихами и не лишенномъ поэтическаго колорита, слышится множество полонизмовъ; епископъ краковскій Викентій Кадлубекъ (ум. 1223), приверженецъ Казиміра Справедливаго и его потомства, писатель, котораго хроника пріобрѣла такую извѣстность, что употреблялась въ школахъ, какъ руководство для изученія отечественной исторіи [2]); Годиславъ Башко (ум. около 1272); желчный, талантливый Янко изъ Чарнкова, архидіаконъ гнѣзненскій (ум. около 1384), подканцлерій Казиміра Великаго; наконецъ первый критическій историкъ польскій, — котораго громадный трудъ, стоившій 25 лѣтъ усидчивой работы, Historia polonica, въ 12 книгахъ, составляетъ главный, а иногда единственный источникъ для исторіи царствованій трехъ первыхъ Ягеллоновъ,—каноникъ краковскій Янъ Длугошъ изъ Недзѣльска, герба Вѣнява (1415—1480), другъ кардинала Збигнѣва Олесницкаго и короля Казиміра Ягеллона, воспитатель дѣтей королевскихъ, замѣчательный ученый, искусный дипломатъ и великій гражданинъ съ непреклоннымъ и ничѣмъ незапятнаннымъ характеромъ. Длугошъ писалъ исторію, запасшись громаднымъ количествомъ матеріаловъ по документамъ и лѣтописямъ, какъ польскимъ, такъ и иностраннымъ; на склонѣ лѣтъ онъ выучился по-русски, чтобы прочесть русскую лѣтопись, такъ-называемую Нестора [3]). Онъ держится постоянно на сильно-патріотической и національно-государственной точкѣ зрѣнія, не долюбливаетъ Чеховъ за гуситизмъ, чуждается и почти сожалѣетъ о наплывѣ литовскихъ и русскихъ элементовъ вслѣдствіе подвигающейся постепенно впередъ уніи народовъ. Кромѣ того, о людяхъ и событіяхъ судитъ

---

[1]) Весьма обстоятельно изложена польская исторіографія до XVI вѣка въ превосходномъ сочиненіи Генриха Цейсберга (Zeissberg): Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. Leipzig 1873.

[2]) Такъ какъ позднѣйшіе источники называютъ Викентія Vincentius Kadlubconis, а извѣстно также, что отецъ его былъ Богуславъ—Gottlob, то весьма вѣроятно, что Кадлубекъ есть испорченное отчество историка. Хроника Викентія содержитъ всѣ тѣ баснословныя сказанія о началѣ польскаго народа, которыя составляютъ донынѣ загадку и камень преткновенія польской исторіографіи. Стославъ Лагуна мастерски изобразилъ избраніе Кадлубка въ епископы: Dwie elekcye w Polsce w XIII wieku въ журналѣ Ateneum, 1878.

[3]) Первое полное изданіе всѣхъ 12 книгъ Длугоша сдѣлано въ Лейпцигѣ 1711 г. Генрихомъ ab Huyssen'омъ, воспитателемъ царевича Алексѣя Петровича. Новѣйшее полное собраніе всѣхъ сочиненій Длугоша сдѣлано Александромъ Пржездзецкимъ въ Краковѣ, въ томъ числѣ и исторія польская Длугоша, переведенная на польскій языкъ Карломъ Мехержинскимъ, 1867—1870, 6 томовъ.

онъ по церковному; съ этой стороны онъ весь принадлежитъ еще среднимъ вѣкамъ, и находится въ рѣзкой противоположности съ двумя своими современниками, освѣщенными лучами восходящаго солнца—гуманизма, Григорьемъ изъ Санока и тосканцемъ Каллимахомъ. Сочиненія перваго изъ нихъ не сохранились, но судя по жизнеописанію его, написанному преданнымъ ему Каллимахомъ, можно заключить, что это былъ человѣкъ высоко талантливый, превосходный знатокъ классиковъ, ихъ подражатель, противникъ схоластики, называвшій ее—*somnia vigilantium*. Настоящее имя Каллимаха было *Filippo Buonacorsi da Geminiano* (ум. 1496). Этотъ пришелецъ изъ Италіи, успѣвшій войти въ большую милость у короля Яна-Альбрехта, переписывавшійся съ Поліціаномъ и посвящавшій свои сочиненія Лоренцо Медичи, оставилъ неизгладимый слѣдъ въ литературѣ и исторіи. Какъ дипломату, ему поручались труднѣйшія миссіи: со словъ Григорія изъ Санока онъ написалъ великолѣпный въ художественномъ отношеніи историческій разсказъ о крестовомъ походѣ Владислава III Ягеллона на Турокъ и объ его богатырской смерти на побоищѣ подъ Варною (переводъ польскій М. Глищинскаго: O Królu Władysławie czyli o klęsce warneńskiej. Warszawa, 1854). Каллимахъ писалъ латинскіе стихи; имъ и Нѣмцемъ Конрадомъ Цельтесомъ, изобразившимъ въ стихахъ разныя мѣста и части Польши, Вислу, Краковъ, Величку, начинается рядъ латинскихъ поэтовъ Возрожденія въ Польшѣ, вліяніе которыхъ на возникновеніе народной польской поэзіи въ XVI вѣкѣ несомнѣнно. Есть еще въ литературѣ польской апокрифическіе „Каллимаховы Совѣты Королю", 35 короткихъ наставленій въ духѣ Макіавелева il Principe— о томъ, какъ бы сенатъ прибрать къ рукамъ, пословъ земскихъ отмѣнить, опереться на плебеяхъ и завести хорошо извѣстными итальянцамъ путями самодержавное правленіе. „Совѣтовъ" этихъ не писалъ Каллимахъ, но они изображали довольно вѣрно духъ и направленіе его политики. Этому апокрифическому памфлету слѣдуетъ противопоставить записку доктора правъ, барона *каштеляна* Яна Остророга (Monumentum pro ordinanda republica), поданную имъ на сеймѣ 1459 г., о тѣхъ реформахъ въ государственномъ строѣ, которыя были желательны въ половинѣ XV вѣка [1]). Остророгъ (ум. 1501) есть достойный родоначальникъ всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ *статистовъ*, т.-е. государственныхъ людей, непрерывно думавшихъ о *naprawie* или починкѣ Рѣчи-Посполитой, которыхъ произведенія вплоть до четырехлѣтняго сейма составляютъ едва ли не самую богатую отрасль литературы. Онъ—монархистъ, хотѣлъ бы по возможности стать въ болѣе самостоятельное по отношенію къ Риму положеніе. Отстаивая право

[1]) Jan Ostroróg i jego Pamiętnik, napisał Leon Wegner. Poznań. 1859. Новое изданіе въ трудахъ Краковской Академіи Наукъ.

писанное, онъ предлагаетъ объединеніе законодательства и установленіе одного закона, вмѣсто существующихъ двухъ: земскаго польскаго, и плебейскаго нѣмецкаго, домогается отмѣны цеховъ и обязательнаго употребленія въ проповѣдяхъ и жизни общественной польскаго языка [1]).

О народной польской литературѣ въ этомъ періодѣ не можетъ быть и рѣчи; существуютъ только весьма немногіе памятники письменности польской и начинаются похожіе на дѣтскій лепетъ первоначальные опыты поэзіи на грубомъ необдѣланномъ народномъ языкѣ. Есть несомнѣнные слѣды того, что въ древнѣйшія времена кирилловская азбука была въ употребленіи въ Польшѣ, и что до XIII столѣтія ею пользовались бенедиктинцы, но въ XIII столѣтіи орденъ этотъ упалъ, мѣсто его заняли цистерсы, премонстратензы, доминиканцы, которые относились болѣе неблагосклонно къ народности славяно-польской и вліянію которыхъ можно приписать, что кириллица вытѣснена была латинскимъ алфавитомъ; рукописи же, писанныя кириллицею, всѣ до одной исчезли, забытыя или даже истребленныя въ XV-мъ столѣтіи духовенствомъ, которое, будучи напугано гуситизмомъ, крайне подозрительно смотрѣло съ тѣхъ поръ на древне-славянскія письмена [2]). Такъ какъ языки славянскіе имѣютъ болѣе звуковъ, нежели латинскій, то необходимость заставила развить латинскій алфавитъ и сдѣлать его пригоднымъ для выраженія этихъ звуковъ, т.-е. дополнить его изобрѣтеніемъ новыхъ знаковъ. Въ правописаніи замѣчается страшная запутанность и сбивчивость, каждое поколѣніе пишетъ иначе. Въ XV-мъ столѣтіи творецъ польской грамматили Янъ Паркошъ изъ Журавницы, каноникъ краковскій (умершій послѣ 1451), пытался установить правила правописанія, совѣтовалъ употреблять іоты и носовыя гласныя ą, ę, ставить знаки и перечеркивать согласныя (ń, ś, ł и т. п.). Первыми дѣятелями на поприщѣ польской письменности явились духовные, которымъ надобно было научить простой народъ молиться, и такъ какъ христіанство пришло въ Польшу изъ Чехіи, а чешскій языкъ раньше польскаго получилъ литературную обработку, то съ самаго начала польская рѣчь испытала сильное вліяніе чешской. Это вліяніе продолжается замѣтнымъ образомъ вплоть до XV столѣтія, чему доказательствомъ могутъ служить выписки, сохранившіяся отъ сборника церковныхъ пѣсенъ, извѣстнаго подъ именемъ „Канціонала Пржеворщика“ 1435 г.; слогъ этихъ пѣсенъ, бо́льшею частью заимствованныхъ изъ чешскаго, пестрѣетъ чехизмами. Старѣйшую изъ церковныхъ пѣсенъ преданіе приписываетъ св.

---

[1]) Въ V томѣ изданія Краковской Академіи Наукъ помѣщенъ весьма интересный латинскій трактатъ Станислава Заборовскаго о королевскихъ имѣніяхъ и починкѣ государства. Трактатъ этотъ, писанный въ первыхъ годахъ XVI в. и изданный 1507 г., объясняетъ значеніе реформы короля Александра.

[2]) Bartoszewicz, Histor. liter. polsk., I, 25.

Войтѣху, епископу пражскому, апостолу Поморянъ (ум. 997). Это пѣснь о *Богородицѣ*, которую, начиная со временъ Болеслава Храбраго, пѣло воинство, идя на бой, которая была помѣщаема на первыхъ страницахъ собраній законовъ и которая до самаго паденія Польши считалась національнымъ гимномъ Поляковъ. Первоначальный текстъ этой пѣсни не дошелъ до насъ: древнѣйшіе два списка ея относятся одинъ къ 1408 г., другой къ 1456 г. Она разросталась отъ придѣлываемыхъ къ ней каждымъ вѣкомъ новыхъ строфъ, да и языкъ ея измѣнился, такъ что онъ сдѣлался чисто польскимъ, между тѣмъ какъ первоначально онъ былъ, по всей вѣроятности, ближе къ чешскому. Народному языку церковь оказала большія услуги. Когда въ XIII столѣтіи, вслѣдствіе нашествій татарскихъ, въ обезлюдѣлой странѣ стали толпами селиться колонисты-Нѣмцы, основывая селенія и города, духовенство польское заступилось за польскій языкъ и спасло его отъ наводнявшаго страну германизма. Соборными постановленіями архіепископовъ гнѣзненскихъ Фулькона (Pełko) 1257 г. и Якова Свинки предписано духовнымъ учить народъ на польскомъ языкѣ: *Отче нашъ*, *Богородице Дѣво*, *Вѣрую*, и молитвѣ: *Каюсь Богу*; приходскимъ священникамъ приказано основывать школы и опредѣлять въ эти школы учителями только лицъ, знающихъ польскій языкъ. Съ конца XIII столѣтія начинаются переводы священнаго писанія на польскій языкъ, между которыми особенно замѣчательны: „Псалтирь королевы Маргариты“ (изд. 1834 въ Вѣнѣ), но вѣроятно ошибочно названный, потому что онъ, повидимому, принадлежалъ Маріи, дочери короля Лоиса, и „Библія королевы Софіи“, жены Владислава Ягелла (изд. во Львовѣ 1870). Наконецъ отъ XV-го столѣтія уцѣлѣло пять пѣсенъ религіознаго содержанія, приписываемыхъ пріору монастыря св. Креста на Лысой горѣ, Андрею изъ Слупя или Слопуховскому (умершему послѣ 1497 г.), которыя по своей неподражаемой наивности, задушевности и яркости красокъ въ духѣ чистѣйшаго католицизма далеко превосходятъ всѣ послѣдующія произведенія того же рода. Въ этихъ пѣсняхъ поэтъ обращается къ Богородицѣ, называя ее „матушкою Божіею краше розъ райскихъ, царевною неземною, звѣздою морскою, зарею ясною, солнцемъ вѣчнаго свѣта,—съ нею не можетъ сравняться ни лилія бѣлизною, ни роза красотою, ни цвѣтъ заморскій цѣною, ни нардъ благоуханіемъ“ [1]). Чистые, спокойные аккорды этой церковной лирики прерываются порою острыми звуками проповѣди гуситской. Отъ одного изъ послѣдователей новаго ученія, профессора

---

[1]) Приводимъ еще отрывокъ, выражающій плачъ Богородицы у креста:
Synku! żebym cię tu niżej miała — Niecobym ci dopomagała — Twoja główka wisi krzywo, jaćbym ją podparła—Krew po tobie płynie, jaćbym ją otarła—Nopoju wołasz: napoju bym ci dała—Lecz nie mogę dzwignąć twego świętego ciała.

краковской академіи Андрея Галки изъ Добчина, жившаго въ половинѣ XVII-го столѣтія и вытѣсненнаго изъ Кракова кардиналомъ Збигнѣвомъ Олесницкимъ, сохранился хвалебный гимнъ Виклефу, замѣчательный не по таланту, котораго мало въ этихъ виршахъ, но потому, что они представляютъ попытку обратить пѣснь въ орудіе религіозной пропаганды.

Рядомъ со старою церковною лирикою пробивалась наружу другая струя—поэзіи народной, свѣтской, лирико-эпической. Народъ забылъ свою эпическую старину, но, принявъ крестъ, онъ совершилъ много славныхъ подвиговъ, создавъ могущественное государство и отстоявъ его многократно на полѣ битвы; сознаніе народности выразилось въ многихъ пѣсняхъ и думахъ военныхъ и другихъ историческихъ, которыя извѣстны намъ почти только по заглавіямъ и начальнымъ стихамъ [1]).

Къ послѣднимъ годамъ XV столѣтія относится и первая историческая книга на польскомъ языкѣ, писанная, однако, не полякомъ. Это турецкая хроника такъ-называемаго Янычара. Нынѣ доказано Иречкомъ (Rozpravy, Вѣна, 1860) что этотъ писатель былъ Сербъ Михаилъ Константиновичъ изъ Островицы, и что его лѣтопись, описывающая пораженіе Владислава III подъ Варною и пораженіе Яна-Альбрехта въ Буковинѣ, писана была вѣроятно въ Польшѣ и на польскомъ языкѣ, съ котораго переведена на чешскій.

2. Золотой или классическій вѣкъ литературы (1548 — 1606).

Періодъ этотъ длился немногимъ больше полъ-вѣка. Его называютъ золотымъ или классическимъ, называютъ также Сигизмундовскимъ, хотя это послѣднее наименованіе невѣрно въ томъ отношеніи, что царствованіе Сигизмунда I не произвело замѣчательныхъ не только поэтовъ и писателей, но даже историковъ, а въ концѣ царствованія Сигизмунда III въ литературѣ уже ясно обозначился ея упадокъ. Начало періода совпадаетъ съ вступленіемъ на престолъ послѣдняго Ягеллона Сигизмунда-Августа, и обрывается на половинѣ чрезвычайно продолжительнаго (1586—1639) царствованія Сигизмунда III, когда уже погасли великія свѣтила польскаго Парнасса, да и въ устройствѣ самой Рѣчи-Посполитой обозначились трещины — признаки непоправимаго и ранняго отцвѣтанія и паденія скороспѣлой, хотя и блистательной цивилизаціи. Гранью, отдѣляющею этотъ періодъ отъ послѣ-

---

[1]) A witaj że nam, witaj, miły hospodynie—при возвращеніи въ Польшу короля Казиміра Обновителя; пѣснь о замиреніи Болеслава Кривоустаго съ Поморянами; пѣснь о Людгардѣ, женѣ короля Пржемыслава; пѣснь о войтѣ краковскомъ Альбертѣ, бунтовавшемъ противъ короля Владислава Локтика; пѣснь о битвѣ грюнвальдской: «idzie Witold po ulicy, przed nim niosą dwie szablicy».

дующаго, можно назначить 1606 годъ, въ которомъ погибъ въ Москвѣ посаженный польскими руками на престолъ первый самозванецъ, и вспыхнуло вооруженное возстаніе противъ короля, извѣстное подъ именемъ рокоша Зебржидовскаго.

Главные моменты политической исторіи были слѣдующіе. Воздвигнутое руками малограмотныхъ средневѣковыхъ военныхъ людей и латинистовъ духовныхъ и отштукатуренное слегка гуманистами стояло зданіе готовое по крышу. На долю второй половины XVI вѣка выпали послѣднія работы—заключеніе сводовъ, окончательное соединеніе королевства Польши съ В. Княжествомъ Литовскимъ, о которомъ неподозрительный свидѣтель нѣмецъ Гюппе выражается такимъ образомъ: „Люблинская унія 1569 г. была мастерское произведеніе, которое долженъ изучать всякій, кто хочетъ знать, какъ могутъ быть удовлетворены и подчинены пользѣ цѣлаго земскія зависти, противоположные земскіе интересы". Мы принимаемъ это мнѣніе съ оговорками. Унія было дѣло трудное и могла состояться только соглашеніемъ; соглашеніе разстроивали ежеминутно литовско-русскіе партикуляризмъ и вельможество, но одержали верхъ инстинкты привитаго Литвѣ шляхетства, любовь къ равенству и свободѣ, одушевляющія дворянскій демосъ, образовавшійся изъ ошляхетченныхъ служилыхъ состояній. Единителемъ являлся король Сигизмундъ-Августъ, послѣдній въ своемъ родѣ, и единеніе совершалось дорогою цѣною остатковъ королевской власти, тѣхъ правъ господарскихъ, дѣдичныхъ, на свою вотчину Литву, отъ которыхъ онъ отрекся въ 1564, на варшавскомъ сеймѣ. Къ медлительности отца въ немъ примѣшивались еще итальянскія вкрадчивость и изворотливость. Онъ достигъ того, что актомъ уніи въ Люблинѣ 1569 г. два отдѣльные сейма слились неразрывно въ одинъ, государство образовалось изъ двухъ одно—избирательное, готовое на всѣ случайности междуцарствія. Но сліяніе было неконченное, недодѣланное; въ угоду спѣсивому, высокородному литовско-русскому вельможеству оставлено ему въ жертву особое литовское правительство, особыя министерства литовскія обокъ съ коронными: пара главнокомандующихъ или гетмановъ (должность не сенаторская, установившаяся при Сигизмундѣ I), пара канцлеровъ (канцлеръ и подканцлерій), подскарбій и т. д. Этотъ процессъ конституціоннаго сліянія Короны польской съ В. Княжествомъ Литовскимъ совершился одновременно съ отражавшимся на немъ другимъ явленіемъ, общe-европейскимъ, громаднымъ міровымъ теченіемъ, которое прошло крупною зыбью по поверхности польскаго общества—Реформаціею. Какъ въ западной Европѣ, такъ и въ Польшѣ, предтечею реформаціи былъ гуманизмъ, мысленный возвратъ къ античнымъ образцамъ, попытки—сеймъ уподоблять аѳинскому или римскому вѣчу, на пословъ земскихъ

смотрѣть какъ на трибуновъ плебса, на шляхту какъ на державное сословіе, каждый членъ котораго пользуется почти неограниченною свободою, а слѣдовательно и свободою мышленія и совѣсти. Польская конституція раскрывала настежь врата новинкамъ виттембергскимъ и женевскимъ. Въ 1550 году ребромъ поставленъ былъ вопросъ о безнаказанности преступленій противъ церкви, когда одинъ изъ самыхъ талантливыхъ, но и безхарактернѣйшихъ людей того времени, Станиславъ Оржеховскій, Русинъ и священникъ, сталъ пропагандировать идею о бракахъ духовныхъ лицъ и самъ женился. Привлеченный къ суду духовному епископомъ, Оржеховскій поднялъ всю шляхту на духовныхъ, причемъ оспоренъ былъ епископскій судъ о ереси, какъ противный основному закону: neminem captivabimus nisi jure victum. Отложенный на сеймѣ 1552 г., вопросъ по дѣлу Оржеховскаго разрѣшенъ конституціею 1562 г. тѣмъ, что свѣтская власть отказалась исполнять рѣшенія духовныхъ судовъ объ отступникахъ отъ церкви. Въ нѣдрахъ самой церкви происходило раздвоеніе, примасъ Уханскій колебался между католицизмомъ и реформою, мечталъ о созданіи независимой отъ Рима національной церкви. Близкій ему человѣкъ, ученикъ Меланхтона, протестантъ Андрей Фричъ Модржевскій (1503—1572), авторъ знаменитаго сочиненія *De republica emendanda*, 1551 [1]), предлагалъ созвать народный соборъ, на который пригласить всѣ исповѣданія. Король съ соборомъ законодательствовалъ бы въ дѣлахъ вѣры и учредилась бы церковь на подобіе англиканской. Слѣдовало освободиться только отъ римской супрематіи, завести браки духовныхъ, причащеніе подъ двумя видами и богослуженіе на народномъ языкѣ, сблизиться съ восточнымъ католицизмомъ, оставляя во всемъ остальномъ нетронутыми догматъ и іерархію. Королю везло непомѣрно: по сознанію необходимости сосредоточить въ королѣ всѣ силы и поставить его во главѣ для проведенія религіозной реформы, чувства монархическія ожили въ народѣ шляхетскомъ и проявились съ небывалою силою; попорченное при отцѣ могло быть разомъ исправлено и наверстано. Шляхта домогалась такъ-называемой экзекуціи (исполненія Александровскаго статута 1504) о возвращеніи въ казну немедленно и безмездно всѣхъ государевыхъ земель, неправильно проданныхъ, заложенныхъ или расхищенныхъ царедворцами,—мѣра направленная въ самое сердце вельможества, уничтожавшая разомъ множество состояній, легкимъ образомъ сколоченныхъ. Король пропустилъ время, вельможества онъ не подточилъ въ корняхъ, власти своей не усилилъ. Экзекуція

---

[1]) О Модржевскомъ сравнить статьи Малэцкаго въ V томѣ изд. Библіотеки Оссол. 1864; ст. Тарновскаго въ Przegląd Polski г. 1867. 1868; два чтенія Вл. Ламанскаго 8 и 26 февраля 1874 въ Петербургскомъ Отдѣленіи Славянскаго Комитета объ Остророгѣ и Модржевскомъ, въ «Голосѣ» 1874, №№ 44 и 60.

осуществлена была только въ половину и неохотно; четверть доходовъ съ королевскихъ имѣній или такъ-называемую *кварту* король пожертвовалъ въ 1563 г. на регулярное войско—содержаніе недостаточное, средство скудное и поддерживавшее фальшивую идею, что содержаніе войска дѣло и обязанность короля. Всѣ коронныя имѣнія или такъ-называемыя королевщизны были раздѣлены на староства (помѣстья) и были обязательно раздаваемы пожизненно по усмотрѣнію короля на условіяхъ низкой аренды заслуженнымъ лицамъ (panis bene merentium). Для короля они имѣли значеніе только средства пріобрѣтать себѣ сомнительныхъ сторонниковъ и нажить еще большее число недовольныхъ изъ тѣхъ, которые были обойдены при раздачѣ.—На сторону протестантизма король не перешелъ, но когда подъ конецъ его царствованія протестантизмъ сталъ отцвѣтать, римскій католицизмъ возродился, усилилъ свою дисциплину, организовалъ іерархію. Началось новое теченіе, которымъ тоже воспользовались многіе монархи для усиленія своей власти. Сигизмундъ-Августъ точно съ такою же нерѣшительностью отнесся и къ этому возрожденію католицизма; когда 1564 г. появился въ Польшѣ папскій легатъ Коммендони съ постановленіями Тріентскаго Собора, король, не получавшій отъ Рима развода съ ненавистною ему женою (Екатерина австрійская), колебался, пока не уступилъ, побѣжденный умомъ и настойчивостью легата. Такимъ образомъ король оставался пассивнымъ, среди двухъ громадныхъ религіозныхъ и политическихъ партій, которыя готовились къ войнѣ и мысленно дѣлились наслѣдіемъ, имѣющимъ открыться по его смерти. Уровень политическихъ понятій, развившихся подъ господствомъ парламентаризма и гражданской свободы, былъ однако столь высокъ, что въ самый многознаменательный моментъ перваго междуцарствія явилась и сразу принята была чисто гражданская идея обязательнаго мира между вѣроисповѣданіями на почвѣ закона, то-есть того, что̀ мы нынѣ называемъ вѣротерпимостью. На сеймѣ варшавскомъ, по смерти Сигизмунда-Августа, знаменитымъ актомъ конфедераціи 28-го января 1573 г., всѣ состоянія Рѣчи-Посполитой, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ Варѳоломеевской рѣзни во Франціи, клятвенно обязались на вѣчныя времена хранить миръ между диссидентами по религіи (разумѣя подъ этимъ словомъ и католиковъ), не проливать по причинѣ религіи крови, другъ друга не преслѣдовать и не казнить [1]).—Первая вольная элекція состоялась. Способъ и порядокъ ея опредѣленъ на томъ же созванномъ примасомъ, какъ интеррексомъ, съѣздѣ, согласно предложенію

---

[1]) Красоту этого постановленія искажаетъ характеристическій пунктъ 4, доказывающій, что и вѣротерпимость разсматривалась какъ привилегія шляхетская. Въ этомъ пунктѣ сказано, что конфедерація не должна умалять власти господъ надъ крѣпостными: *tam in saecularibus quam in spiritualibus.*

молодого и незнатнаго еще, но популярнаго старосты белзскаго, Яна Замойскаго — выбирать короля не сенату и посольской избѣ, но всей съѣхавшейся шляхтѣ поголовно, отбирая голоса по воеводствамъ. Это предложенie превращало избранie въ азартную игру, въ которой въ концѣ-концовъ рѣшать должны были численное превосходство и вооруженная сила, при неизбѣжномъ вмѣшательствѣ иностранцевъ. Но на первыхъ порахъ сошли благополучно и эти рискованныя пробы. Послѣ неудачнаго эпизода съ Генрихомъ Валуа, выбранъ на престолъ генiальный человѣкъ, мадьяръ Стефанъ Баторiй (1526—1586), протестантъ по воспитанiю, римскiй католикъ по разсчетамъ политики, который держалъ бразды правленiя крѣпкою рукою, провелъ на сеймѣ 1578 г. судоустройство учрежденiемъ такъ-называемыхъ *трибуналовъ*, высшихъ судовъ послѣдней инстанцiи, коронпаго и литовскаго, изъ судей, выбираемыхъ шляхтою на сеймахъ; обуздалъ магнатовъ въ лицѣ Зборовскихъ; выдвинулъ средней руки дворянъ въ лицѣ Замойскаго, и, увлекши народъ въ войну московскую, доставилъ польскому оружiю небывалый блескъ и славу. Оппозицiя замысламъ и политикѣ короля была сильная, внѣшнiя предпрiятiя входили въ планы его, какъ средства къ тому, чтобы осилить эту оппозицiю; планы эти были колоссальные: покоренie Москвы, а потомъ изгнанie Турокъ изъ Европы. Шляхта, которой онъ импонировалъ, слѣдовала однако за нимъ и поддерживала его. Планы Баторiя были прерваны его смертью. Всѣ накипѣвшiя противъ него неудовольствiя обрушились на его ближайшаго сподвижника, канцлера и гетмана Замойскаго, который такъ однако былъ силенъ, что, одолѣвъ своихъ враговъ, образовавшихъ австрiйскую партiю, возвелъ на престолъ потомка по женскому колѣну дома Ягеллоновъ, Сигизмунда III Вазу.

Малоспособный, упрямый, фанатикъ, съ узкими клерикальными убѣжденiями, воспитанный въ понятiяхъ неограниченной власти по божескому праву, Сигизмундъ III слетѣлъ со своего вотчиннаго шведскаго престола, да и въ Польшѣ не сдѣлался популярнымъ. Не имѣя возможности дѣйствовать открыто, онъ велъ свою тайную кабинетную политику, клонился къ союзу съ Австрiею, жертвовалъ интересами Польши, лишь бы только возвратить себѣ шведскiй престолъ. Даже и то не нравилось въ немъ современникамъ, что болѣе по религiознымъ, нежели по политическимъ мотивамъ онъ помышлялъ о борьбѣ съ Турцiею; замыслы эти приходились не по вкусу шляхтѣ, привыкавшей больше и больше къ мирнымъ занятiямъ и неохотно слѣдовавшей даже за Баторiемъ. Во главѣ оппозицiи стоялъ теперь Замойскiй. На сеймѣ, такъ-называемомъ инквизицiонномъ, 1592 года, эта оппозицiя хотѣла судиться съ королемъ, требовала надъ анти-конституцiонными дѣйствiями его слѣдствiя. По смерти Замойскаго, разрывъ дошелъ до

рокоша, то-есть до открытой междоусобной войны между регалистами и рокошанами, въ лагерѣ которыхъ очутились всѣ не-католическія исповѣданія. Борьба происходила одновременно съ экспедиціею самозванца на Москву, напутствуемою королемъ, частнымъ предпріятіемъ, въ которомъ принимали участіе честолюбивые вельможи, такъ-называемые Хмѣльницкимъ польскіе королята, и шляхетскіе удальцы, восточные Кортецы и Уарренъ-Гэстингсы. Рокошане были побиты подъ Гузовомъ 1607 г. Король однако былъ еще болѣе ограниченъ сеймовыми конституціями, въ которыя вошла часть программы рокошанъ. Всего сильнѣе пострадалъ протестантизмъ, духъ политической реформы исчезъ, настали иныя времена.

Причины приближающагося упадка только теперь, издали, могутъ быть прослѣжены и указаны; въ то время не обращали вниманія на эти мелкія тучи, набѣгавшія на небосклонъ. Рѣчь-Посполитая въ теченіи всего XVI вѣка стояла на высшей, сравнительно съ тогдашними государствами западной Европы, степени довольства, благоустройства, и вмѣщала въ себѣ два необходимыя условія благосостоянія: внѣшнее могущество и внутреннюю гражданскую свободу. Польша была весьма могущественна. Ея владѣнія простирались отъ береговъ Балтійскихъ до теперешнихъ новороссійскихъ степей и отъ Карпатъ далеко за Двину и за Днѣпръ. Преемники двухъ раздавленныхъ рыцарскихъ орденовъ, Тевтонскаго и Меченосцевъ, князь прусскій и герцогъ курляндскій, были въ ленной зависимости отъ короля польскаго. Вліянію Польши подчинялись Молдавія и Валахія; не было счету окружавшимъ короля князьямъ литовскимъ и русскимъ. Громадныя матеріальныя силы Рѣчи-Посполитой обезпечивали за нею совершенную безопасность отъ внѣшнихъ непріятелей и давали ей возможность обратить всю свою дѣятельность на внутреннее развитіе. Послѣдніе два Ягеллона поддерживали дружественныя сношенія даже съ врагами всего христіанства, султанами турецкими Солиманомъ и Селимомъ II. Подъ сѣнію благодатнаго мира военное завоевательное государство, имѣвшее когда-то дружинно-вѣчевое устройство, превращается окончательно въ землевладѣльческое и земледѣльческое. Шляхта, называвшаяся въ прежнія времена рыцарскимъ сословіемъ, стала теперь преимущественно земствомъ (ziemiaństwo); политическою полноправностью пользуются только поземельные собственники дворянскаго происхожденія (bene nati et possessionati). Шляхта ворочаетъ всѣмъ: она имѣетъ въ рукахъ мѣстное земское самоуправленіе; она превратила королевскую власть въ учрежденіе отъ себя зависимое посредствомъ избранія королей; она участвуетъ во власти законодательной съ королемъ и сенатомъ посредствомъ своихъ земскихъ нунціевъ или пословъ, дѣйствующихъ по даваемымъ имъ земствами инструкціямъ, и въ судѣ посредствомъ вы-

борныхъ судей. Самъ сенатъ или дума королевская былъ учрежденіе чисто шляхетское, потому что состоялъ изъ высшихъ сановниковъ государственныхъ и земскихъ, духовныхъ и свѣтскихъ, назначаемыхъ на эти должности королемъ изъ среды значительнѣйшихъ землевладѣльцевъ. Землянинъ польскій пренебрегалъ промышленностью техническою и торговлею, предоставляя ихъ мѣщанамъ, иноземцамъ, евреямъ; онъ считалъ исключительно приличными ему занятіями земледѣліе и общественную службу, гражданскую и военную. Вся шляхта представляла какъ-бы одно военно-земледѣльческое братство, готовое ополчиться поголовно въ случаѣ надобности для отраженія опасности, но ведущее только войны оборонительныя и глядящее весьма подозрительно на завоевательные замыслы и планы тѣхъ изъ своихъ государей, которые одушевлены были болѣе воинственнымъ духомъ (напр. Баторій), изъ опасенія, чтобы не увеличилась въ ущербъ шляхетской свободѣ королевская власть. Польская поэзія любитъ представлять это миролюбивое настроеніе духа въ слѣдующей характеристической картинѣ: убогій шляхтичъ, считающій себя въ душѣ равнымъ по достоинству любому воеводѣ, пашетъ землю, снявъ съ себя саблю и вонзивъ ея клинокъ въ межу своей отчины.

Россію теперешнюю называютъ иногда *мужицкимъ* государствомъ; такъ точно Польшу можно было бы назвать *помѣщичьимъ* государствомъ. Оба прилагательныя не содержатъ въ себѣ ни критики, ни укора, а одно простое признаніе факта; они обозначаютъ, что главную силу Россіи составляетъ безспорно простой народъ, между тѣмъ какъ главную силу Польши составляла владѣющая землею шляхта. Элементы землевладѣльческіе, вѣчевые существовали въ изобиліи и въ древней Руси, но они были разметены пришествіемъ Татаръ и московскою централизаціею; извѣстно, какъ безслѣдно пропали всѣ сѣверно-русскія народоправства. Эти же самые элементы достигли въ Польшѣ полнаго развитія и легли въ основаніе общественнаго устройства, сообщивъ этому устройству весьма оригинальный характеръ. При всей своей односторонности, это устройство въ высокой степени способствовало развитію личности и проявленію великихъ гражданскихъ доблестей. Начало полнаго равенства, составлявшее сущность шляхетства, по которому бѣдный усадебный шляхтичъ считался ничуть не хуже первѣйшаго магната, развивало въ этомъ сословіи сильное сознаніе личнаго достоинства, безъ котораго нѣтъ настоящей свободы. Это чувство не походило нисколько на выросшій на почвѣ романтики *point d'honneur*, испанскій или французскій, щепетильный, всегда готовый бросить перчатку и обнажить шпагу за малѣйшее язвительное слово или движеніе, задѣвающее личное самолюбіе. Масштабомъ достоинства считалось только служеніе обществу; *rei privatae* противо-

полагалась постоянно *res publica*, причемъ долгомъ честнаго гражданина считалось жертвовать первою послѣдней; подлымъ человѣкомъ признаваемъ былъ тотъ, кто дѣйствовалъ изъ-за „приваты", но для „публики" жертвовались ежеминутно съ замѣчательнымъ самоотверженіемъ, напоминающимъ древній Римъ, и жизнь и собственность, и вся почти дѣятельность отдѣльнаго человѣка, потому что въ этомъ странномъ государствѣ, почти безъ центра, съ малымъ регулярнымъ войскомъ, съ плохою съ нашей современной точки зрѣнія системою финансовъ, съ весьма недостаточными уголовными средствами и безъ всякихъ почти полицейскихъ учрежденій, всѣ общественныя отправленія совершались посредствомъ самодѣятельности составныхъ единицъ общественнаго тѣла. Въ иныхъ организмахъ патріотизмъ проявляется вспышками, въ минуты опасности, въ обыкновенное же время требованія его въ отношеніи отдѣльныхъ личностей не велики; но здѣсь онъ требовалъ непрестаннаго служенія— оружіемъ въ народномъ ополченіи, умомъ, словомъ и совѣтомъ на сеймикахъ и сеймахъ, и въ должностяхъ земскихъ и государственныхъ. Изъ этихъ условій быта вытекало отсутствіе всякаго низкопоклонничества предъ богатствомъ матеріальнымъ, доходящее до презрѣнія, весьма малое значеніе придаваемое имущественному цензу, тѣмъ болѣе, что и самый образъ жизни огромнаго большинства шляхты располагалъ къ умѣренности и скромности. Польша никогда не имѣла блестящаго великолѣпнаго двора, играющаго роль законодателя моды и вкуса; шляхта не любила городовъ и не имѣла въ нихъ постоянной осѣдлости, она не строила зáмковъ, но жила разсѣянная по деревнямъ, съѣзжаясь періодически на сеймики, судебные роки, каденціи и выборы. Разсадниками шляхетско-польской культуры служили тѣ безчисленные дворики помѣщичьи, которыми усѣяна была Рѣчь-Посполитая. Дворикъ стоитъ среди деревни, подъ сѣнію прадѣдовскихъ липъ; здѣсь отдыхаетъ помѣщикъ послѣ трудовъ вѣчевыхъ и военныхъ, садясь за одинъ столъ съ своей семьей и челядью, принимая радушно гостей и сосѣдей.

Главныя событія втораго періода.

1548—Оппозиція на сеймѣ противъ короля Сигизмунда-Августа за его бракъ съ Барбарою Радзивиллъ.

1552—Пріостановка преслѣдованія противъ еретиковъ.

1561—Ливонія, изнемогая въ войнѣ съ Иваномъ Грознымъ, присоединяется къ Рѣчи-Посполитой.

1562—Сеймъ отказываетъ въ исполненіи приговорамъ духовныхъ судовъ противъ еретиковъ.

1564—Сигизмундъ-Августъ признаетъ постановленія Тріентскаго собора.

1569—Унія Короны и Литвы на сеймѣ Люблинскомъ.

1572—Первое безкоролевіе.

1573—Варшавская конфедерація о вѣротерпимости. Избраніе королемъ Генриха Валуа.
1574—Бѣгство короля изъ Польши.
1576—Пріѣздъ въ Польшу избраннаго короля Стефана Баторія.
1578—Учрежденіе трибуналовъ для Велико- и Мало-Польши.
1579—1587. Война московская. Взятіе Полоцка, Великихъ-Лукъ; осада Пскова.
1582—Перемиріе Польши съ Москвою, заключенное въ Киверовой Горкѣ (Запольѣ).
1585—Судъ на сеймѣ Варшавскомъ надъ Зборовскими.
1586—Смерть Баторія.
1587—Сигизмундъ III Ваза утверждается на престолѣ.
1592—Сеймъ инквизиціонный.
1595—Унія Брестская.
1599—Сигизмундъ теряетъ шведскій престолъ.
1605—Смерть Яна Замойскаго.
1604—Самозванецъ Дмитрій въ Краковѣ снаряжается въ походъ на Москву.
1606—1608. Рокошъ Зебржидовскаго и Радзивилла. Паденіе и смерть перваго Самозванца.

Въ XVI столѣтіи еще едва были замѣтны оборотныя темныя стороны исключительно шляхетской цивилизаціи; напротивъ того, шляхетство было въ полномъ цвѣту, безъ колючекъ и терній. Сторону общеславянскую въ немъ составляли, по мѣткому замѣчанію Мицкевича (34. лекція), семейныя отношенія, добродушіе, домашнія добродѣтели, между которыми особенно выдается гостепріимство; сторона исключительно народная, собственно польская, сказывалась въ общественной дѣятельности, въ отношеніяхъ гражданина къ государству; наконецъ сторону европейскую и общечеловѣческую составляли представленія религіозныя и соціальныя, которыя находили къ шляхтѣ легкій доступъ и, заносимыя съ Запада, распространялись быстро, будучи усвоиваемы съ свойственною славянской натурѣ воспріимчивостью. Юношество польское толпами ѣздило за границу для усовершенствованія въ наукахъ и привозило съ собою назадъ въ отечество свѣжія и новыя идеи. Магнаты и государственные люди польскіе были въ постоянной корреспонденціи съ знаменитѣйшими учеными и писателями западноевропейскими. Реформаторы и новаторы, преслѣдуемые за вольнодумство религіозное или политическое, бѣжали въ Польшу и находили здѣсь спокойное пристанище и послѣдователей. Въ ничтожнѣйшихъ селеніяхъ и деревушкахъ основывались типографіи, которыя отпечатывали и пускали въ обращеніе несмѣтное количество книгъ и брошюръ политическихъ, богословскихъ, научныхъ и полемическихъ. При такомъ благосостояніи матеріальномъ и при такой свободѣ политической, при воспріимчивости для культурныхъ идей Запада и сильно пробужденномъ національномъ самосознаніи, литература народная

должна была появиться. Ея внезапное появленіе и быстрые успѣхи объясняются тѣмъ, что они были подготовлены предшествующимъ имъ развитіемъ въ Польшѣ латинской литературы и словесности. Такое образовательное значеніе и такія услуги оказала латынь только съ эпохи Возрожденія, въ лицѣ такъ-называемыхъ гуманистовъ, людей, относившихся отрицательно къ средневѣковой культурѣ и порядкамъ, увлекшихся древнимъ греко-римскимъ міромъ, и ставившихъ это язычество, съ его вѣрованіями и идеями, какъ недосягаемый образецъ для подражанія. Въ XVI столѣтіи такіе гуманисты были въ Польшѣ, не только заѣзжіе, какъ Цельтесъ и Каллимахъ, но и свои собственные. Разсадникомъ была Краковская академія, въ которой первымъ профессоромъ піитики былъ Павелъ изъ Кросьна. Ученикъ его Янъ изъ Вислицы написалъ эпическую поэму о грюнвальдскомъ сраженіи, на подобіе Энеиды. Два другіе ученика: Андрей Кржицкій, примасъ и епископъ вармійскій (ум. 1578), и Янъ Фляксбиндеръ, болѣе извѣстный подъ именемъ Дантиска (онъ былъ уроженецъ города Данцига, оттуда и латинское прозвище, которымъ онъ сталъ себя именовать), писали лирическіе и сатирическіе стихи. До высшей степени совершенства, изящества и чистоты довелъ отдѣлку латинскаго стиха питомецъ Кржицкаго, сынъ велико-польскаго крестьянина, Климентъ Яницкій (1516—1543), который до того проникнутъ духомъ римской литературы, что его можно бы принять за современника Катулла или Овидія [1]). Слабыя стороны этого направленія заключались въ томъ, что гуманизмъ весьма мало былъ свѣдущъ въ греческомъ и предлагалъ главнымъ образомъ только римское, что, ища высокихъ покровительствъ въ великосвѣтскомъ обществѣ и при дворахъ, онъ считалъ пониманіе утонченныхъ красотъ древней литературы и поэзіи доступнымъ весьма небольшому числу избранныхъ и съ пренебреженіемъ относился ко всякому національному вульгарному языку. Но такъ сложились обстоятельства, что этотъ вульгарный языкъ былъ выведенъ на первый планъ; имъ должны были заговорить на сеймѣ, въ проповѣди и въ книгѣ, Толчокъ къ его употребленію данъ былъ протестантизмомъ, который потому такъ и распространился, что объяснялъ удобопонятно народнымъ языкомъ священное писаніе, переведенное на народный же языкъ. Классически образованные люди поставили себѣ патріотическую задачу играть на этомъ инструментѣ. Польскій языкъ былъ уже до того времени разрабатываемъ подъ вліяніемъ болѣе стараго чешскаго; теперь онъ подвергся вліянію формъ и въ особенности синтаксиса латинскаго. Имъ стали передавать классическія идеи. Великіе народные поэты золотаго вѣка: Кохановскій, Шимоновичъ, Клёновичъ, оди-

[1]) Монографіи Сиг. Вэнцлевскаго о Кржицкомъ (Краковъ, 1874) и Яницкомъ (Варшава, 1869).

наково упражняются и въ польскомъ и въ латинскомъ стихѣ. Латинскія произведенія были потомъ почти забыты, но когда въ наше время, въ пятидесятыхъ годахъ, занялся ихъ поэтическимъ переводомъ Людвигъ Кондратовичъ, то показалось, какъ будто отысканъ былъ новый родникъ народной поэзіи. По странному стеченію обстоятельствъ, только старѣйшій изъ польскихъ писателей, Рэй, былъ не классикъ и въ дѣлѣ знакомства съ древнимъ міромъ совершенный профанъ. Вслѣдствіе такого сильнаго вліянія на нее классическихъ преданій, народная литература съ перваго же раза становится на такую высоту, что ея произведенія до сихъ поръ считаются образцовыми. При этихъ произведеніяхъ кажутся блѣдными, тусклыми и слабыми всѣ послѣдующія созданія польской литературы до самаго нео-романтизма, то-есть до Мицкевича. Литература эта не богата элементомъ эпическимъ и живетъ вся въ настоящемъ; она отличается чувствомъ довольства, спокойнымъ настроеніемъ, положительнымъ направленіемъ, чуждымъ мечтательности. Она имѣетъ характеръ сильно политическій и вся вращается вокругъ государственныхъ и общественныхъ вопросовъ. Она не создала драмы народной; драматическіе опыты остались на степени искуственныхъ произведеній учености и подражаній. За то особенно выдались и доведены до высокаго совершенства дидактика и лирика въ лицѣ двухъ главныхъ литературныхъ дѣятелей золотаго періода: Рэя изъ-Нагловицъ и Кохановскаго, изъ которыхъ первый можетъ быть названъ творцомъ польской прозы, а второй считается пращуромъ польской пѣсни. Оба были Мало-Поляне, и обработанное ими малопольское нарѣчіе сдѣлалось литературнымъ польскимъ языкомъ.

Рэй изъ-Нагловицъ, герба Окша, происходилъ изъ древняго рода, издавна осѣдлаго въ землѣ краковской. Отецъ его переселился въ Червонную Русь, женился богато и получилъ за женою огромныя помѣстья близъ города Жидичова надъ Днѣстромъ. Здѣсь, въ мѣстечкѣ Журавнѣ, родился Николай Рэй около 1507 года (ум. 1569). Отецъ, добрякъ и домосѣдъ, души не чаялъ въ единственномъ сынѣ, не отпускалъ его отъ себя ни на шагъ и не училъ его ничему; поздно онъ отдалъ сына въ школу во Львовъ, а потомъ въ Краковъ, но сынъ оказывалъ такую наклонность къ шалостямъ, кутежу и веселой компаніи, что отецъ взялъ его къ себѣ назадъ и держалъ дома неуча, который то и дѣлалъ, что удилъ рыбу въ Днѣстрѣ, стрѣлялъ дичь, ловилъ голубей и бѣлокъ. Отецъ рѣшился опредѣлить его дворяниномъ къ кому-нибудь изъ магнатовъ, съ чего и начинала обыкновенно тогдашняя шляхта свою общественную карьеру. Молодой Рэй изрѣзалъ въ куски купленную ему по этому случаю на парадный кафтанъ матерію и, наловивши сорокъ и воронъ, забавлялся привязываніемъ къ хвостамъ ихъ и крыльямъ нарѣзанныхъ кусковъ матеріи, и затѣмъ

пустилъ летать птицъ, такимъ образомъ наряженныхъ. Въ двадцать лѣтъ Рэй былъ въ полномъ смыслѣ слова дитя природы, безъ всякаго научнаго образованія, когда поступилъ на дворъ къ Андрею Тэнчинскому, воеводѣ сандомирскому. Умный воевода, замѣтивъ въ Рэѣ необыкновенныя способности, заставилъ его читать и упражняться въ письмѣ. Самому Рэю стало стыдно, и началъ онъ учиться по латыни и читать безъ разбора книги богословскія и политическія, брошюры полемическія, латинскихъ историковъ. компиляторовъ и анекдотистовъ средней руки; чего не понималъ, о томъ онъ разспрашивалъ свѣдущихъ людей. Все шло въ прокъ и укладывалось своеобразно, хотя безъ всякой системы и критики, въ геніальной головѣ автодидакта, у котораго въ самыхъ зрѣлыхъ его произведеніяхъ сквозь заимствованную ученость проскакиваютъ самые странные анахронизмы, Сократъ слѣдуетъ по времени за Эпикуромъ, Помпей считается первымъ римскимъ императоромъ, король аррагонскій Антигонъ сражается подъ стѣнами Аѳинъ. Знанія, которыхъ нахватался Рэй, не залежались у него долго, они шли тотчасъ въ дѣло: Рэй сталъ писать весьма много о самыхъ разнообразныхъ предметахъ, стихами и прозою, и обнаружилъ изумительную авторскую плодовитость при самыхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, при жизни самой разгульной и шумной. Страстный охотникъ до веселой компаніи, охоты, музыки и бражничанья, Рэй писалъ по ночамъ; написанное имъ расходилось тотчасъ между шляхтою, которая любила безъ ума своего доморощеннаго поэта и у которой онъ пользовался огромной извѣстностью. Рэй не бывалъ никогда за границею, однажды только онъ сдѣлалъ поѣздку въ В. Княжество Литовское; онъ не совершилъ ни одного похода, не видалъ ни одного сраженія, а если когда-нибудь вынулъ саблю, то развѣ только чтобы рознять и обезоружить поспорившихъ за столомъ собесѣдниковъ, но онъ не пропустилъ ни одного съѣзда шляхты, ни одного сейма и часто показывался при дворѣ королевскомъ. Его любили королева Бона, короли Сигизмунды I и II. Никакихъ должностей земскихъ или придворныхъ онъ не согласился принять, боясь потерять двѣ драгоцѣннѣйшія вещи: независимость и совѣсть, и предпочитая почестямъ оффиціальнымъ славу остроумнѣйшаго человѣка въ Польшѣ и добродушнѣйшаго юмориста. *Nemini molestus*, говоритъ объ немъ біографъ его Тржецецкій.

Коренной вопросъ того времени былъ вопросъ религіозный. Рэй прельстился женевскими новостями (т.-е. кальвинизмомъ) и сдѣлался ревностнымъ апостоломъ протестантизма, переводилъ псалмы, писалъ толкованія евангелія (Postylla polska), катихизисъ въ разговорахъ, объяснялъ Апокалипсисъ. Всѣ эти сочиненія нынѣ совершенно забыты: Рэй слишкомъ мало имѣлъ научныхъ знаній, чтобы сказать что-нибудь

свое, онъ повторялъ чужіе доводы, популяризовалъ мысли латино-французскихъ и латино-нѣмецкихъ протестантскихъ богослововъ, пересыпая ихъ бранью и до тривіальности доходящими насмѣшками надъ монахами, католическимъ духовенствомъ и обрядностью. Пріученный къ мелодическимъ напѣвамъ самаго музыкальнаго изъ племенъ славянскихъ — червонно-русскаго, Рэй былъ охотникъ до стиховъ и писалъ ихъ невѣроятно много на всякій случай. Изъ-подъ плодовитаго пера его сыпались и мелкіе стихи (Figliki или „Шуточки“, и „Звѣринецъ“, 1562) и обширныя поэмы, каково, напримѣръ, „Изображеніе жизни честнаго человѣка“ (Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, 1560), нѣчто въ родѣ божественной комедіи, въ которой онъ изображаетъ юношу, отправляющагося странствовать по свѣту и искать что̀ ни есть лучшаго. Этотъ юноша посѣщаетъ греческихъ философовъ и ветхозавѣтныхъ пророковъ, всходитъ на небеса, попадаетъ въ преисподнюю и получаетъ вездѣ множество назидательныхъ наставленій. Рэй пытался даже написать драму, взявъ за сюжетъ жизнь ветхозавѣтнаго Іосифа. Стихотворенія Рэя, сильно интересовавшія современниковъ, были не болѣе какъ риѳмованная проза. Настоящей поэзіи напрасно въ нихъ искать, потому, что Рэю недоставало культуры, что вкусъ его не былъ выработанъ на классическихъ образцахъ, которыхъ духъ оставался ему недоступенъ, что жизнь его, гулящая и разсѣянная, не давала ему возможности сосредоточиться, наконецъ потому, что въ его натурѣ, сильной и даровитой, но грубой, мало было струнъ патетическихъ, что въ ней преобладала трезвая разсудочность, и что фантазія его скользила по поверхности земли, не ощущая потребности взлетать въ заоблачный край идеала.

Съ годами пришла рефлексія, страсти перебродили, Рэй остепенился, сталъ серьёзнѣе, пресытившись шумомъ и удовольствіями свѣта, сталъ уединяться; умъ его, богатый опытомъ, достигъ полной зрѣлости: тогда-то на старости лѣтъ (1564—1567) онъ написалъ знаменитѣйшее изъ своихъ сочиненій, исполненное глубокой мудрости житейской, которая въ немъ рдѣетъ, точно густое старое устоявшееся вино, налитое въ цвѣтную чашу чрезвычайно живописнаго и великолѣпнаго слога. Въ этомъ сочиненіи Рэй является нравоучителемъ, тонкимъ наблюдателемъ и вѣрнымъ портретистомъ человѣческой природы въ условіяхъ польскаго быта. Оно носитъ заглавіе: *Зерцало или жизнь честнаго человѣка* (Zwierciadło albo żywot poczciwego człowieka, 1567).

„Зерцало“ Рэя есть родъ энциклопедіи знаній, пригодныхъ для шляхтича, трактатъ практической философіи, раздѣленный на три части по возрастамъ: юношескому, зрѣлому и старческому. Трактатъ начинается созданіемъ міра и человѣка, причемъ хотя Рэй протестантъ, но міросозерцаніе его весьма мало разнится отъ католическаго. Богъ

создалъ человѣка изъ четырехъ элементовъ, отсюда различіе въ темпераментахъ. Богъ подчинилъ человѣка вліянію свѣтилъ небесныхъ, сіявшихъ на небосклонѣ въ моментъ его рожденія, такъ что ему при самомъ уже рожденіи предопредѣлено имѣть хорошія или дурныя наклонности. Для противодѣйствія этому фатализму животной стороны человѣка ему даны безсмертная душа, которой Рэй не отличаетъ отъ разума, и Богомъ данныя заповѣди. Разумъ данъ на то, чтобы освѣщать пути человѣка; заповѣди на то, чтобы укрощать страсти. Обузданію страстей содѣйствуютъ воспитаніе, образованіе и самый выборъ занятій. Рэй приводитъ, между прочимъ, примѣръ, который въ сущности долженъ былъ бы опровергнуть всю его теорію предопредѣленія; онъ разсказываетъ, что у нѣкоего купца родилось дитя злое, которое обнаруживало сильную наклонность къ жестокости; отецъ отдалъ его къ мяснику на ученіе, и изъ будущаго разбойника вышелъ весьма порядочный мясницкаго дѣла мастеръ. Желая содѣйствовать благой цѣли просвѣщенія людей и обузданія дурныхъ наклонностей, Рэй беретъ человѣка у колыбели и ведетъ его чрезъ всю жизнь, научая его обязанностямъ. Подъ человѣкомъ Рэй разумѣетъ только шляхтича; весь міръ существуетъ, по понятіямъ Рэя, только для Польши, а вся Польша выражается въ шляхетствѣ. Обо всемъ, что̀ ниже шляхты, Рэй имѣетъ весьма смутное понятіе,—вовсе не потому, чтобы онъ былъ высокомѣренъ, не потому, чтобы онъ презиралъ людей неродовитыхъ; напротивъ того, онъ клеймитъ рѣзко всякаго рода спѣсь, основаніемъ шляхетства считаетъ личныя доблести и требуетъ гуманнѣйшаго обращенія съ челядью;—но потому, что единственная, настоящая, полная жизнь—это жизнь общественная, а этою жизнью общественною жило одно шляхетское сословіе. Идеальный типъ человѣка, по Рэю, соединяетъ въ себѣ такія черты, которыя могли встрѣтиться только въ одномъ шляхтичѣ, а именно: этотъ человѣкъ долженъ имѣть сердце великое, пренебрегающее превратностями судьбы, за которою гоняются и которой служатъ мореходецъ, купецъ, ремесленникъ. „Кто пріучится мыслить только о дѣлахъ важныхъ, себѣ и отечеству пригодныхъ, тотъ уже смотритъ на всѣ отношенія какъ орелъ съ высоты, тотъ мало цѣнитъ и не задумывается надъ мелкими случайностями этого свѣта и судьбы, и объ одномъ только печется, чтобы сдѣлаться полезнымъ не одному себѣ, но всѣмъ вообще по достоинству. Такому человѣку все равно: счастье или несчастье, лечь ли и уснуть на розахъ, или на крапивѣ и полыни. Проснется ль онъ, мысль его опять взлетаетъ, какъ орелъ, на высоту“. Когда Рэй говоритъ о выборѣ званій достигшимъ зрѣлости человѣкомъ, то подъ званіями онъ разумѣетъ только занятія, приличныя шляхтичу. Такихъ званій главныхъ три: служба военная, служба придворная на дворѣ королевскомъ или котораго-нибудь изъ магна-

товъ, наконецъ служба земская и государственная въ качествѣ сановника, депутата земскаго на сеймѣ или сенатора Рѣчи-Посполитой. Рэй останавливается долго надъ каждымъ изъ этихъ поприщъ.

Такова схема сочиненія Рэя. Оно драгоцѣнно не по своимъ нравоученіямъ, но потому, что на этой довольно грубой канвѣ набросано безконечное число снятыхъ съ натуры эскизовъ, представляющихъ всѣ типы тогдашняго общества,—такъ-что оно составляетъ лучшую физіологію этого общества, галлерею этюдовъ, набросанныхъ немногими штрихами съ неподражаемымъ юморомъ и напоминающихъ манеру фламандской школы. Въ этой пестрой толпѣ есть военные люди и нарядныя дамы, придворные и духовные, пьяницы и скупцы, надменные франты, корыстолюбцы и льстецы. Все сочиненіе Рэя состоитъ изъ подобныхъ картинокъ. Приведемъ для примѣра портретъ гордеца: „Идетъ онъ, надѣвъ пестрые чеботы, на людей не смотритъ, самъ на себя глядитъ, любуется своею тѣнью, плюетъ на сторону, срываетъ перчатку съ руки, на которой кольцо, и держитъ эту перчатку въ другой рукѣ, кашляетъ нехотя, переступаетъ осторожно съ камня на камень, оглядываясь на слугъ своихъ, а когда сядетъ между добрыми товарищами, то молвитъ всякое слово съ разстановкой, раскусывая его на части, заикаясь, чтобы всѣ знали, что онъ говоритъ обдуманно; осматриваетъ ногти, поправляетъ шапку, а товарищи-мошенники льстятъ ему да ухмыляются, глядя другъ на друга, и такъ его умаслятъ, что онъ ихъ подчуетъ всякимъ добромъ, чего только потребуютъ... Чего ты дуешься, мизерная муха? Сидишь, точно малеванный болванъ за камнемъ изваяннымъ, или за пестрымъ ковромъ, вздернувъ носъ кверху, а не знаешь, что тѣ, которые льстятъ тебѣ въ глаза, издѣваются надъ тобою за глаза. Надѣвай на себя какія хочешь платья, обливайся духами: если тебя не украшаютъ добродѣтель и разсудокъ, то и духи не помогутъ, будешь вонять какъ козелъ, будешь точно лошакъ, покрытый парчею; снимите-ка съ него парчу, окажется, что у него уши, хвостъ, голова, шея—все къ чорту, все гадко и безобразно". Рэй слѣдующимъ образомъ возстаетъ противъ страсти подражать иностраннымъ модамъ: „Изобрѣти кто-нибудь десять покроевъ платья въ недѣлю, всякій покрой хвалить будутъ. Если платье съ воротникомъ по поясъ, скажутъ: красиво и удобно, отъ вѣтра закроешься, да притомъ и не слишкомъ больно, когда кто ударитъ по спинѣ палкою. Въ другомъ платьѣ нѣтъ воротника ни на одинъ палецъ: и то хорошо, можно куда хочешь обернуться — воротъ шеи не кусаетъ. Иное платье съ предлиннѣйшими, двойными или тройными рукавами; скажутъ: мужчина виднѣе верхомъ, когда рукава вокругъ него мотаются. Въ иномъ платьѣ рукава по локоть: и то хорошо, самому свободнѣе, да и удобнѣе садиться на

лошадь. Иное платье длинное до земли, скажутъ: вѣтеръ не гарцуетъ вокругъ колѣнъ... Я увѣренъ, что еслибы кто позолотилъ рога и надѣлъ ихъ на голову себѣ, то и о немъ бы сказали: славно, потому что все славно, что́ явилось сегодня и чего мы вчера не видали". Рэй превосходно изображаетъ жизнь придворную и военную; сердце его радостно трепещетъ, когда земля дрожитъ, когда мѣрно идутъ сомкнутые ряды и раздаются звучные бубны и литавры; но всего больше любитъ онъ домъ, пашню и семейную жизнь. Прелестны у него описанія хозяйства и занятій польскаго землянина по временамъ года, но трудно себѣ представить что-нибудь теплѣе, проще, поэтичнѣе глубоко прочувствованныхъ картинъ семейнаго быта. Жену Рэй предписываетъ любить, уважать, съ нею обо всемъ совѣтоваться, потому что „слаще жить волку съ волчицею въ лѣсу, нежели мужу съ женою, когда явится этотъ скверный нарывъ домашнихъ раздоровъ". „Какая радость, какое утѣшеніе, — говоритъ онъ, — когда на тебѣ повиснутъ милыя дѣточки, эти прирожденные скоморохи, когда они щебечутъ словно птички, бѣгая вокругъ стола, когда они рѣзвятся и фиглярничаютъ, одинъ что-нибудь схватитъ и другому подастъ, да такъ взаимно тѣшатся, что не воздержишься отъ смѣху. Когда дитя начнетъ говорить, то оно лепечетъ всякій вздоръ, а между тѣмъ какъ все это хорошо и мило". Но замѣчательнѣйшая, безъ сомнѣнія, часть „Зерцала"—та, которая посвящена политической дѣятельности человѣка; она показываетъ, какъ высокъ былъ въ шляхтѣ уровень политическаго образованія и даетъ весьма ясное понятіе о сущности польской конституціи. Рэй отлично знаетъ механизмъ представительнаго правленія: сеймы установлены для обузданія правителей и надзора относительно законности ихъ дѣйствій; на сеймы не могутъ ѣздить всѣ вообще, цѣлыми толпами, а потому они избираютъ повѣренныхъ, представителей, и называютъ ихъ прекраснымъ именемъ пословъ или стражей Рѣчи-Посполитой. Должность эту Рэй считаетъ просто священнодѣйствіемъ, потому что послу земскому довѣряютъ братья его, шляхта, свои права и вольности, свои имущества и животы. Такой человѣкъ долженъ остерегаться посуловъ, непотизма, угощеній, и слушать прилежно, что́ кто говоритъ, и взвѣшивать каждое слово, потому что не разъ кажется будто и дѣлается нѣчто ко благу Рѣчи-Посполитой, но снимешь лишь крышку съ горшка и обнаружится, что въ горшкѣ прѣетъ полынь вмѣсто щавеля. Еще труднѣе, опаснѣе и отвѣтственнѣе высочайшій постъ, какого могъ достигнуть гражданинъ польскій, санъ сенатора Рѣчи-Посполитой, королевскаго совѣтника.

Нигдѣ власть королевская не была слабѣе, нежели въ Польшѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ рѣдкой странѣ король пользовался такою любовью и уваженіемъ. Нравственный авторитетъ его былъ огроменъ; онъ былъ

та сила, приводящая въ движеніе весь конституціонный механизмъ, безъ которой этотъ механизмъ дѣйствовать не можетъ. „Король,—говоритъ Рэй, — святая святыхъ, божій человѣкъ, избранникъ и помазанникъ. Приступать къ нему подобаетъ со страхомъ, потому что будь онъ добрѣйшій человѣкъ, въ немъ все-таки есть нѣчто грозное и божественное, и имѣетъ онъ вѣроятно волчьи волосы, какъ говорятъ, между очами". Со страхомъ и благоговѣніемъ приступая къ нему, сенаторъ обязанъ однако безъ всякаго подобострастія, не обращая вниманія на гнѣвъ и неудовольствіе короля, говорить ему всю правду, напоминать ему всѣ обязанности, предостерегать его отъ страстей и пороковъ, потому что „умъ государя похожъ на пламень, который стремится кверху, когда къ нему подкладываютъ дрова хорошія, но если подложатъ дрова мокрыя и сырыя, то огонь вмѣстѣ съ дымомъ будетъ разстилаться по землѣ; такъ точно и совѣтъ, данный государю: или паритъ съ нимъ къ небу, или стелется съ нимъ по землѣ".

Въ пятидесятыхъ годахъ XVI-го столѣтія, когда Рэй былъ въ полномъ блескѣ таланта и славы, въ одной компаніи, собравшейся въ землѣ Сендомирской, гдѣ и онъ находился, нѣкто прочелъ, какъ новость, только-что привезенные изъ-за границы стихи молодого, никому неизвѣстнаго поэта, жившаго въ Парижѣ. Стихи воспѣвали славу Бога и начинались такъ:

Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym niemasz miary?
Kościoł cię nieogarnie, wszędy pełno ciebie,
I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.

(Чего отъ насъ требуешь, Господи, за твои щедрые дары, чего за благодѣянія, которымъ нѣтъ мѣры? Церковь не вмѣщаетъ тебя, все исполнено тобою, бездны и море, земля и небо...)

Стихи поразили всѣхъ необыкновеннымъ изяществомъ формы. Рэй былъ восхищенъ болѣе другихъ и съ энтузіазмомъ, который дѣлаетъ ему величайшую честь, привѣтствовалъ пѣснь импровизированнымъ двустишіемъ:

Temu w nauce dank przed sobą dawam
I pieśń bogini słowiańskiej oddawam.

(Ему я шлю поклонъ и предоставляю первое мѣсто въ наукѣ, ему передаю я пѣсню музы славянской).

Молодой поэтъ, которому Рэй передавалъ скипетръ поэзіи и который съ тѣхъ поръ воцарился на польскомъ Парнассѣ, былъ Янъ Кохановскій (1530—1584), герба Корвинъ, изъ земли Сендомирской [1]). Весь родъ Кохановскихъ отличался поэтическимъ дарова-

[1]) Есть хорошія монографіи о Кохановскомъ: Johann Kochanowski und siene lateinischen Dichtungen, von Raphaël Loewenfeld. Posen 1878; J. Przyborowski, Wiadomość o życiu i pismach J. Kochanowskiego. Poznań 1857.

ніемъ: родной братъ Яна переводилъ „Энеиду“; двоюродный, Николай, писалъ мелкіе стихи; племянникъ, Петръ (1566—1620), перевелъ „Освобожденный Іерусалимъ“ Тасса. Двадцати лѣтъ отъ роду, Янъ учился въ краковскомъ университетѣ (1544—1549), отправился за границу и семь лѣтъ пробылъ въ Италіи и во Франціи, посѣщалъ Падуанскій университетъ вмѣстѣ съ Яномъ Замойскимъ, посѣтилъ Венецію, Римъ, Кампанію, долго жилъ въ Парижѣ, и въ 1557 году возвратился въ Польшу. Жизнь его вообще не богата происшествіями. Король Сигизмундъ-Августъ пожаловалъ ему почетный титулъ королевскаго секретаря, а другъ его, Петръ Мышковскій, вице-канцлеръ, выхлопоталъ ему разныя церковныя бенефиціи, приходъ познанскій, прелатуру въ капитулѣ; монахи монастыря сѣцеховскаго намѣрены даже были избрать Кохановскаго аббатомъ, но этотъ выборъ какъ-то не состоялся [1]). Подобнымъ образомъ духовныя бенефиціи и должности жалуемы были иногда, какъ доходныя статьи, даже свѣтскимъ лицамъ, лишь бы только неженатымъ, на основаніи фикціи, что владѣлецъ бенефиціи можетъ со временемъ вступить въ духовное званіе. Въ военныхъ дѣйствіяхъ Кохановскій участвовалъ только однажды, въ походѣ противъ Москвы 1568 г. Несмотря на всѣ старанія Мышковскаго, Кохановскій не сдѣлался духовнымъ лицомъ, не чувствуя къ тому никакого призванія, и предпочелъ блестящей карьерѣ скромную, тихую жизнь простого землянина. Онъ покинулъ дворъ, отказался отъ бенефицій, женился въ 1574 г. и поселился въ родовой вотчинѣ своей, Чернолѣсѣ. Онъ до того полюбилъ сельскую жизнь, что неохотно и рѣдко показывался въ публичныхъ многочисленныхъ собраніяхъ, тѣмъ болѣе, что не обладалъ талантами оратора и политика, и нисколько не былъ честолюбивъ. Когда при Баторіѣ, другъ Кохановскаго, Замойскій, сдѣлавшійся любимцемъ и правою рукою короля, предложилъ Кохановскому одно изъ сенаторскихъ мѣстъ—кастелянію полонецкую, Кохановскій отклонилъ это предложеніе, сказавъ, что не желаетъ впускать въ свой домъ надменнаго кастеляна, который растратитъ все то, что̀ онъ, убогій землянинъ, собралъ своими трудами. Король опредѣлилъ его, однако, на должность войскаго сендомирскаго, — должность земскую, безденежную, какъ всѣ земскія, но

---

[1]) Gdziem potem niebył, czego niekosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy
Jażem nawiedził Sybillińskie lochy.
Dziś żak spokojny, jutro przypasany
Do miecza rycerz, dziś między dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasię cichy
Ksiądz w kapitule—tylko że nie z mnichy.
W szarej kapicy a z dwojakim płatem;
I to czemu nie? jeśliże opatem.

совершенно спокойную, потому что въ случаѣ народнаго ополченія войскій обязанъ былъ оставаться на мѣстѣ земскимъ хозяиномъ и заботиться о женахъ и дѣтяхъ ополченцевъ. Конецъ жизни Кохановскаго омраченъ былъ раннею смертію любимой дочери поэта Урсулы. Кохановскій скончался въ 1584 году и погребенъ въ фамильномъ склепѣ рода своего, въ Зволенѣ.

Любовь современниковъ къ Яну Кохановскому была безпредѣльна, онъ слылъ первымъ поэтомъ, и утвердилось мнѣніе, что Польша не имѣла никогда и не будетъ имѣть равнаго ему пѣвца.

Современной критикѣ приходится значительно измѣнить этотъ приговоръ и отказать Кохановскому, при всей его художественности, въ названіи народнаго польскаго поэта; онъ великъ какъ писатель, отлично усвоившій себѣ духъ античной поэзіи, но эта воспріимчивость нанесла ущербъ оригинальности его творчества, такъ что за нимъ остается только слава величайшаго и талантливѣйшаго подражателя древнимъ образцамъ на языкѣ польскомъ, который онъ преобразовалъ, отдѣлалъ, смягчилъ и довелъ почти до степени музыкальнаго инструмента, способнаго къ произведенію нѣжнѣйшихъ звуковъ. Кохановскій былъ вполнѣ человѣкъ Возрожденія, натура въ высокой степени гармоническая, свѣтлая, спокойная, любящая, но неспособная сгарать жгучимъ огнемъ сильной страсти. Эта натура была еще болѣе смягчена воспитаніемъ и долговременнымъ пребываніемъ Кохановскаго за границею. Германія осталась для него, какъ и для Польши вообще, terra incognita. Съ литературами испанскою и португальскою онъ не былъ знакомъ (современникъ его Камоэнсъ гораздо позже возвращенія его въ Польшу издалъ свою поэму, а Сервантесъ еще не былъ писателемъ въ то время). Въ Парижѣ Кохановскій свелъ знакомство съ Ронсаромъ. Лёвенфельдъ приписываетъ этому знакомству важное вліяніе на Кохановскаго: Ронсаръ могъ внушить Кохановскому мысль, которую онъ самъ осуществилъ во Франціи—писать на родномъ языкѣ. Первые польскіе стихи Кохановскаго совпадаютъ съ его пребываніемъ въ Парижѣ. Въ Италіи предшественниками Кохановскаго были Данте, Петрарка, Боккачьо и Аріостъ. Данта Кохановскій не могъ понимать; ему былъ недоступенъ глубокій восторженный мистицизмъ и страшная энергія воли сосредоточеннаго въ самомъ себѣ автора „Божественной Комедіи". Равнымъ образомъ онъ не могъ породниться съ Аріостомъ, потому что рыцарство и романтизмъ, на которыхъ основанъ эпосъ Аріоста, были элементы совершенно чуждые славянскому міру, и что тонкая иронія и шутливый скептицизмъ, знаменующіе упадокъ и разложеніе общества итальянскаго, не могли приходиться по вкусу народу молодому, свѣжему и вѣрующему въ свои идеалы, къ которому принадлежалъ Кохановскій. Такимъ образомъ тѣ образцы,

которые содѣйствовали поэтическому воспитанію Кохановскаго, были отчасти итальянскіе лирики (въ томъ числѣ Петрарка), которыхъ приторная сладость не привилась однако къ нему, а болѣе всего классическіе поэты, въ особенности римскіе, и изъ нихъ преимущественно Горацій и Виргилій. Онъ началъ съ латинскихъ стиховъ, потомъ принялся за польскіе и съ такимъ успѣхомъ, что могъ справедливо сказать потомъ о себѣ:

I wdarłem się na skałę pięknej Kalliopy,
Gdzie dotychczas niebyło śladu polskiej stopy.
(И взобрался я на утесъ прекрасной Калліопы,
На которомъ до тѣхъ поръ не было слѣда польской стопы).

Мацѣевскій говоритъ: „Посвятивши себя ознакомленію своихъ земляковъ съ античною поэзіею, Кохановскій пропитался ею насквозь до того, что она постоянно носилась передъ его глазами и надъ его челомъ: что̀ ни задумывалъ онъ, все выходило античное". Древніе открыли ему тайну красоты, научили законченности и совершенной опредѣленности формъ, его стихъ походитъ на чистѣйшій граненый хрусталь, и если Рэй можетъ славиться колоритомъ, то Кохановскій скульптурнымъ совершенствомъ очертаній. Производительность его была велика, онъ перепробовалъ всѣ роды поэзіи и всѣ размѣры стиховъ, усвоилъ Польшѣ терцину и сонетъ (Pieśni, ks. IV, № 28 do Franc., 32 do Stanis.), переводилъ Гомера (Единоборство Париса съ Менелаемъ), писалъ оды, элегіи, сатиры, эпиграммы, даже драмы.

Къ эпическому роду принадлежатъ: *Шахматы*, подражаніе итальянскому поэту Вида; *Сусанна*, повѣсть взятая изъ библіи; *Знамя* (Proporzec albo hołd pruski) — великолѣпное описаніе ленной присяги и инвеституры на Пруссію, данной Сигизмундомъ-Августомъ Альбрехту Бранденбургскому, въ которомъ изображается исторія Польши въ картинахъ; *Походъ на Москву* гетмана Христофора Радзивилла (1581); отрывокъ героической поэмы о битвѣ съ Турками подъ Варной, въ которой палъ король Владиславъ III Ягеллонъ. Эти отрывки доказываютъ, что Кохановскій имѣлъ замѣчательный эпическій талантъ, но великаго національнаго эпоса онъ создать не могъ по недостатку пригодныхъ къ тому элементовъ въ польскомъ тогдашнемъ обществѣ, чуждомъ романтизма, весьма склонномъ къ нововведеніямъ въ религіи, притомъ очень довольномъ своимъ блестящимъ настоящимъ, въ сравненіи съ которымъ прошедшее казалось весьма невзрачнымъ и незавиднымъ. При подобныхъ условіяхъ нельзя было построить эпосъ ни на одномъ изъ двухъ сильнѣйшихъ его мотивовъ, ни на религіозности, которой идеалы сильно были потрясены реформаціею, ни на патріотизмѣ, который при успокоеніи государства не требовалъ никакихъ

особенныхъ геройскихъ подвиговъ и усилій. Кохановскій, дитя своего вѣка, не покидалъ римскаго католицизма, но въ душѣ былъ теистъ (его гармоническая натура не допускала въ себя сомнѣнія и избѣгала внутренней борьбы), но этотъ теизмъ уживался какъ нельзя лучше съ цѣлымъ языческимъ Олимпомъ и оставлялъ Кохановскаго совершенно равнодушнымъ къ религіознымъ спорамъ, такъ что и до сихъ поръ неизвѣстно, на чью сторону онъ болѣе склонялся, былъ ли онъ въ душѣ католикъ или протестантъ [1]). Изъ миѳологіи христіанской онъ не заимствовалъ никогда картинъ или красокъ. Кохановскій опасается для Польши послѣдствій долговременнаго покоя и хвалитъ добрыя старыя времена, исполненныя тревоги, бдѣній и битвъ [2]), но эти сожалѣнія только поэтическая фигура и сопровождаются сознаніемъ невозможности возвратиться къ минувшему желѣзному панцырному вѣку.

Важнѣе эпическихъ отрывковъ драма Кохановскаго: *Отпускъ пословъ греческихъ* (Odprawa posłów greckich), написанная имъ для Яна Замойскаго по случаю его свадьбы съ племянницею Баторія и разыгранная въ 1578 г. передъ королемъ Баторіемъ въ Уяздовѣ близь Варшавы. Зародышъ драмы въ Польшѣ, какъ и въ другихъ странахъ западной Европы, заключался въ мистеріяхъ, порожденныхъ католицизмомъ. Еще и нынѣ на святкахъ хлопцы возятъ такъ-называемыя *ясли* или шалашъ (szopka), на которыхъ представляются посредствомъ куколъ Рождество Христово, поклоненіе волхвовъ, и въ концѣ-концовъ чортъ отрубаетъ голову Ироду и тащитъ его въ преисподнюю. Подобнаго рода діалоги въ лицахъ съ масками разыгрывались въ церквахъ и само духовенство принимало въ нихъ участіе. Папа Иннокентій III въ XII в. строго порицалъ за это духовенство польское,—съ

---

1) Въ XVII ст. Веспасіанъ Коховскій счелъ нужнымъ защищать память Кохановскаго отъ подозрѣнія въ ереси. Liric. I, 22 Apologia za Janem Kochanowskim, którego niektorzy rozumieją być heretykiem.

2) Swięty pokoju, ty masz wadę w sobie,
Że łatwo ludzie zgnuśnieją przy tobie.

(Святой покой, ты тѣмъ нехорошъ, что люди изнѣживаются скоро подъ твоимъ господствомъ).

Szczęśliwe szasy kiedy giermak szary
Był tak poczciwy, jako te dzisiejsze
Jedwabne bramy coraz kosztowniejsze;
Wprawdzieć niebyło kosztu na maszkary.
Ale był zawsze koń na stajni rzezwy,
Drzewiec, tarcz pewna i pancerz na ścienie,
Szabla przy boku; sam pachołek trzezwy
Nieszukał pierza, wyspał się na sienie,
A bił się dobrze. Bodaj tak uboga
Dziś Polska była, a poganom sroga.

(Блаженное время! Сѣрый армякъ заступалъ мѣсто драгоцѣнныхъ платьевъ, отороченныхъ шелкомъ, и не тратились деньги на маски; но были всегда на готовѣ конь добрый осѣдланный, копье, щитъ и панцырь на стѣнѣ, сабля у пояса; всякій молодецъ былъ трезвъ, не искалъ перинъ, спалъ на сѣнѣ, за то дрался онъ славно. О, еслибы Польша была теперь такая убогая, но такая страшная для бусурманъ).

тѣхъ поръ драматическія представленія изъ церквей переселяются на кладбища и въ стѣны училищъ и превращаются въ зрѣлища полудуховныя, полусвѣтскія; въ важные сюжеты библейскіе вставляемы были обыкновенно забавныя интермедіи. Духовными сюжетами воспользовались потомъ іезуиты для своихъ піэтистическихъ діалоговъ; что же касается до комическихъ интермедій, то изъ нихъ могла выработаться комедія въ чисто народномъ духѣ. Въ 1530 г. вышла: „Komedija o mięsopuście“, въ 1553 „Разговоры“ Вита Корчевскаго, потомъ появилось множество безъимянныхъ сценъ (Albertus z wojny; Peregrynacija dziadowska) и діалоговъ, въ которыхъ принимаютъ участіе простолюдины, взятые изъ живой дѣйствительности и превращенные въ типы, какъ-то: кметъ Янъ, отстаивающій старые обычаи, сынокъ его студентъ нѣмецкій, нахватавшійся протестантскихъ ученій, приходскій священникъ, причетникъ церковный, прислуживающій и священнику и ктитору и отправляемый въ народное ополченіе, канторъ, церковные нищіе, наконецъ рыбалтъ или органистъ. Кромѣ того, наконецъ, есть извѣстія и о представленіяхъ въ трагическомъ родѣ; такъ, напр., во время Длугоша (XV вѣкъ) представляема была на сценѣ смерть королевы Людгарды. Кохановскій не воспользовался для своей драмы этими данными, не пробовалъ усовершенствовать и развить грубые зачатки, выросшіе на родной почвѣ. Онъ писалъ для отборнаго меньшинства, пропитаннаго, какъ онъ самъ, классическими воспоминаніями и знавшаго прошедшее Греціи и Рима лучше, нежели исторію своего собственнаго отечества. Онъ взялъ темой страницу изъ Иліады и изобразилъ ее въ дѣйствіи въ формахъ трагедіи греческой, которыя ему были совершенно знакомы. Улиссъ и Менелай пріѣхали послами отъ Грековъ требовать выдачи Елены, увезенной Парисомъ. Парисъ заискиваетъ друзей, собираетъ партію; съ другой стороны, недоступный подаркамъ и лести, честный Антеноръ намѣревается доказывать на вѣчѣ необходимость выдать Менелаю жену. Характеръ Елены облагороженъ въ сравненіи съ „Иліадой“. Она представлена въ видѣ жены, насильственно похищенной отъ мужа, котораго она любитъ. Въ тревожномъ ожиданіи она ждетъ рѣшенія своей участи. Возвращающійся съ вѣча Троянецъ передаетъ ей, что̀ происходило на вѣчѣ, и возвѣщаетъ, что голосъ страсти взялъ верхъ надъ внушеніями долга и что, получивъ отказъ, послы возвращаются съ пустыми руками. Вскорѣ являются и сами послы; проницательный Улиссъ предрекаетъ паденіе Трои, управляемой неопытными, пристрастными совѣтниками; пылкій Менелай взываетъ къ богамъ и мечетъ проклятія. Послѣ ухода пословъ, передъ собравшимися въ ожиданіи важныхъ событій Троянцами является такая же, какъ въ „Орестеѣ“ Эсхила, бѣснующаяся Кассандра, которая произноситъ зловѣщія пророчества. Наконецъ драма оканчивается точно глухимъ

раскатомъ далекаго грома, извѣстіемъ, что Греки высадились на берегъ и что война началась. Эта драма, изъ 600 съ небольшимъ бѣлыхъ, не риѳмованныхъ стиховъ, не раздѣляется на дѣйствія и состоитъ изъ короткихъ сценъ, перемежающихся съ пѣніемъ хора; въ ней нѣтъ интриги, сценической завязки и развязки, и весь интересъ основанъ на идеальной борьбѣ между страстью и нравственною необходимостью. Въ этой драмѣ Кохановскій далъ блистательное доказательство своего глубокаго пониманія древняго міра и изумительное мастерство въ искусствѣ художественно его воспроизводить. Только, въ новѣйшее время Гёте создалъ, въ „Ифигеніи въ Тавридѣ", произведеніе, которое равняется въ этомъ отношеніи съ „Отпускомъ пословъ". Но, не имѣя никакой связи съ жизнью народною, эта драма стоитъ совершенно одиноко въ литературѣ,—Кохановскій не нашелъ послѣдователей, позднѣйшія поколѣнія перестали понимать эту драму и совершенно о ней забыли.

Тотъ родъ поэзіи, которымъ Кохановскій оказалъ великое вліяніе на современниковъ и въ которомъ онъ достигъ совершенства и сдѣлался на два съ половиною столѣтія типомъ поэта, была лирика. Онъ сдѣлалъ полный переводъ псалмовъ Давида (1578), лучшій, какой до сихъ поръ есть, и находящійся до нынѣ въ употребленіи въ устахъ народа. Онъ писалъ оды, элегіи, эпиграммы, идилліи (Sobótka, Dryas zamechska). Въ „Сатирѣ" или „Лѣшемъ", посвященномъ Сигизмунду-Августу, онъ влагаетъ въ уста бога лѣсовъ критику народныхъ пороковъ: страсти подражать иностранцамъ, легкомысленности въ сужденіяхъ о дѣлахъ вѣры и политики, и вкрадывающейся въ общественную жизнь роскоши. Въ 1580 г., по смерти любимой дочери Урсулы, которую онъ называлъ „славянскою Сафо" и которой онъ надѣялся передать свою лиру въ наслѣдство, Кохановскій написалъ „Трены" или скорбныя размышленія, въ которыхъ порою, отрѣшаясь отъ классическихъ воспоминаній и отъ сухой учености, онъ становится оригиналенъ, когда съ простотою и безыскусственностью, составляющею верхъ искусства, онъ передаетъ свое горе въ тонѣ простонародной пѣсни [1]). Къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ Кохановскаго при-

---

[1]) Nie do takiéj łożnice, moja dziewko droga,
Miała cię mać uboga
Doprowadzić. Nietakąć dać obiecowała
Wyprawę, jakąć dała.
Giezłeczko tylke dała, a lichą tkaneczkę,
Ojciec ziemi bryłeczkę
W główki włożył; niestetyż i posag i ona
W jednej skrzynce zamkniona.

(Не до такого ложа надѣялась довести тебя бѣдная мать, о моя милая! Не такое обѣщала она тебѣ дать приданое. Она дала тебѣ только рубашенку, да чепчикъ; отецъ подложилъ глыбку земли подъ твою головку. Увы! и приданое, и она сама уложены въ одинъ деревянный ящикъ).

надлежитъ собраніе его „Бездѣлушекъ" (Fraszek), изданное въ годъ послѣ его смерти (1584). Здѣсь игривая мысль блещетъ остроуміемъ, вольная шутка перемежается съ колкою эпиграммою, юмористически обрисованы собесѣдники поэта, прославляются и любовь и вино; надъ веселою компаніею раскинула свои тѣнистыя, душистыя вѣтви знаменитая липа чернолѣсская, многократно воспѣтая поэтомъ [1]).

Кохановскій умеръ въ полной увѣренности въ свое безсмертіе [2]). Значительною долею этого безсмертія онъ обязанъ тому, что былъ человѣкъ цѣльный, поэтъ столько же въ жизни, сколько и въ пѣсни, добрый, честный, умѣренный, скромный [3]), и что онъ былъ полнѣйшимъ выраженіемъ своего общества и умѣлъ высказать тѣ благородныя республиканскія чувства, которыя одушевляли это общество, чувства свободы, человѣколюбія и глубокаго сознанія личнаго достоинства.

Теперь прослѣдимъ дальнѣйшія судьбы польской поэзіи послѣ Кохановскаго и укажемъ на тѣ второстепенные таланты, которые пріобрѣли извѣстность на этомъ поприщѣ. Николай Семпъ Шаржинскій (преждевременно умеръ въ 1581 г., двадцати съ небольшимъ лѣтъ отъ роду) подражалъ удачно Петраркѣ и написалъ нѣсколько глубоко прочувствованныхъ религіозныхъ лирическихъ произведеній. Лирика видимо

[1]) Приведемъ очень извѣстное стихотвореніе: «За здоровье», въ которомъ Кохановскій осмѣиваетъ обычай частыхъ тостовъ на пирахъ:

Prze zdrowie gospodarz pije,
Wstawaj gościu! A prze czyje?
Prze królewskie! powstawajmy
I także ją wypijajmy.
Prze królowéj! Wstać się godzi
I wypić, ta za tą chodzi.
Prze królewny! już ja stoję
A podaj co rychlej moję.
Prze biskupie! Powstawajmy,
Albo raczéj nie siadajmy.
To prze zdrowie marszałkowe!
Owa gościu wstań na nowe.
To prze hrabi! Wstańmyż tedy!
Odpoczniemże nogom kiedy?
Gospodarz ma w ręku czaszę,
My wiedzmy powinność naszę.
Chłopię, wymkni ławkę moję,
Już ja tak obiad przestoję, и пр.

(Вставай, гость, хозяинъ пьетъ за здоровье.—А за чье?—За королевское. Встанемте живѣе и выпьемъ.—За королеву!—Да, стоитъ встать и выпить.—Теперь само собою разумѣется: за королевну!—Я уже стою и жду, пока наполнятъ мою чашу.—За епископское!—Встанемте или, лучше сказать, не будемте садиться.—За маршала!—Нельзя же, гость, еще не приподняться.—Теперь, за графа!—Будетъ ли когда-нибудь отдыхъ ногамъ? Хозяинъ держитъ чашу въ рукахъ, нельзя гостямъ не исполнить ихъ повинности.—Хлопецъ, убери-ка мою скамью. Ужь я простою такъ, до конца обѣда).

[2]) O mnie Moskwa, i będą wiedzieć Tatarowie
I róźnego mieszkańcy swiata Anglikowie,
Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie poznają
Którzy głęboki strumień Tybrowy pijają.

[3]) To pan zdaniem mojém
Kto przestał na swojém.

(Тотъ баринъ, по моему мнѣнію, кто доволенъ тѣмъ, чтó имѣетъ).

слабѣетъ и падаетъ, порча вкуса обнаруживается въ томъ, что стихотворенія нагружаются все больше и больше миѳологическимъ балластомъ и классическими воспоминаніями. У нѣкоторыхъ поэтовъ замѣтенъ поворотъ къ мистикѣ, аскетизму и возвратъ къ поэзіи церковно-христіанской. Такими поэтами, составляющими уже переходъ къ послѣдующему періоду іезуитско-макароническому, являются Гроховскій и Мясковскій. Ксендзъ Станиславъ Гроховскій (1554 — 1612), человѣкъ очень посредственныхъ дарованій, сквернаго характера, искатель бенефицій, злой на языкъ и вмѣстѣ съ тѣмъ страшный льстецъ, курилъ ѳиміамъ предъ всѣми великими міра сего, притомъ былъ попрошайка и ябедникъ. Писалъ онъ чрезвычайно много плохихъ по содержанію виршей, духовныхъ и свѣтскихъ, переводилъ, по совѣту іезуитовъ, церковные гимны изъ *breviarium romanum* и сочинялъ въ томъ же родѣ оригинальныя пѣснопѣнія. За сатиру „Бабій кругъ" (Babie koło), онъ былъ сильно преслѣдуемъ выведенными въ этой сатирѣ современными епископами. Гораздо даровитѣе Гроховскаго былъ Касперъ Мясковскій (1549—1622), изъ земли Равской, настоящій типъ шляхтича-домосѣда, преданнаго сельской жизни, горячій католикъ и консерваторъ. Когда при Сигизмундѣ III борьба партій дошла до открытой междоусобной войны, извѣстной подъ именемъ рокоша Зебржидовскаго, на одной сторонѣ стали прогрессисты, преимущественно протестанты, на другой—король, поддерживаемый іезуитами и реакціею. Мясковскій громилъ рокошанъ исполненнымъ силы и негодованія стихомъ (Dyalog o zjezdzie Jędrzejowskim). Лучшими его произведеніями считаются его Waleta włoszczonowska (Прощаніе съ родиной) и религіозныя пѣсни, элегіи покаянія, „Цвѣты на ясли Спасителя" и „Исторія страданія I. X.", раздѣленная на часы. Особенное значеніе получили два вида дидактической поэзіи, по которымъ и Кохановскій оставилъ образцы, а именно: идиллія и сатира. Развитіе этихъ двухъ видовъ объясняется причинами соціальными, положеніемъ шляхты въ средѣ общества и отношеніемъ ея къ другимъ сословіямъ въ первой половинѣ XVII столѣтія. Польша переживала тогда одну изъ тѣхъ критическихъ минутъ, отъ которыхъ зависятъ судьбы народа и которыя рѣшаютъ, вознесется ли этотъ народъ еще выше или ступитъ на тотъ отлогій скатъ, въ концѣ котораго ждетъ его неизбѣжная пропасть. Шляхта была всѣмъ въ Рѣчи-Посполитой; ей Польша обязана тѣмъ могуществомъ и благосостояніемъ, котораго она достигла. Чтó же требовалось отъ всемогущей тогда шляхты для дальнѣйшаго преуспѣянія Рѣчи-Посполитой? Эти требованія ясно высказаны въ сочиненіи Андрея Фрича Модржевскаго: De Republica emendanda, 1551 г. (перевелъ на польскій языкъ Кипріанъ Базиликъ): „Господи Боже! дай всему состоянію рыцарскому такое сердце, чтобы они, отложивъ въ сторону любовь са-

михъ себя, возлюбили всю Рѣчь-Посполитую, то-есть всѣхъ людей, пребывающихъ вмѣстѣ съ ними въ этомъ общественномъ тѣлѣ; чтобы они обо всѣхъ пеклись и защищали всѣхъ людей животы, интересы и честь. Когда это будетъ, то и окажется, зачѣмъ господа сенаторы и сословіе шляхетское приставлены къ королю, какъ участники въ верховной власти". По отсутствію средняго сословія и малочисленности городского населенія, шляхта непосредственно примыкала къ крестьянству; ей надлежало позаботиться поднять крестьянство, дать ему просвѣщеніе и права, ей надлежало поставить себѣ цѣлью дать шляхетство всему народу и стремиться постепенно къ осуществленію этой цѣли. Литература своимъ вѣрнымъ чутьемъ наводила на эту мысль и, прорвавшись сквозь заколдованный кругъ шляхетства, опустилась въ идилліи до крестьянъ, заимствовала картины и типы изъ мужицкаго быта, стараясь ихъ поэтизировать. Такова была задача, которую себѣ поставила цѣлая школа червонно-русскихъ поэтовъ, во главѣ которыхъ стоитъ Шимоновичъ. Эти стремленія не были никогда осуществлены и остались на степени *pia desideria*, никакая внѣшняя сила не заставляла шляхту сближаться съ массами и идти впередъ по пути, въ окончательномъ результатѣ котораго виднѣлось самоуничтоженіе шляхетства, посредствомъ распущенія его въ цѣломъ народѣ. Никакая сила политическая не рѣшается сама собою на самоубійство и не расположена къ самоотреченію безъ предварительнаго боя; тщетно было бы ожидать этого и отъ шляхты. Она почила на лаврахъ и была пробуждена отъ этого сладкаго сна только свирѣпымъ демономъ соціальной революціи, въ видѣ войнъ козацкихъ. Одолѣвъ со страшными потерями стоглавую гидру всколебавшейся подъ ея ногами массы, шляхта заключилась въ самый узкій сословный консерватизмъ, причемъ вышли наружу и явственно обозначились всѣ слабыя стороны ея, представлявшія обильную пищу для сатиры.—Мы разсмотримъ сначала поэзію буколическую, а потомъ перейдемъ къ сатирическимъ поэтамъ.

Въ восточной половинѣ теперешней Галиціи, надъ маленькою рѣчкою Пелтевью, въ великолѣпной мѣстности, у предгорій Карпатскихъ, разстилаются далеко на востокъ широкія равнины. Равнины эти—открытый путь для саранчи и Татаръ. Здѣсь лежитъ, раскинувшись живописно, старинный городъ князя Льва, сердце Руси Червонной, вмѣщающій въ себѣ три духовныя столицы: архіепископскую римско-католическую, митрополичью армянскую и епископскую православную у св. Юра. Въ этой странѣ, которая со временъ Казиміра, въ XIV вѣкѣ, входила въ составъ короны польской, и въ этомъ городѣ, окруженномъ крѣпкими стѣнами и составлявшемъ оплотъ Рѣчи-Посполитой съ востока, родился въ 1557 г. отъ Шимона (Семена) изъ Бржезинъ, городского ратмана, сынъ Шимонъ, который по отчеству долженъ былъ

называться Шимоновицемъ или Шимоновичемъ, но, сдѣлавшись ученымъ, предпочелъ называться и подписываться по гречески Симонидомъ [1]). Шимоновичъ учился въ краковской академіи, потомъ ѣздилъ въ Нидерланды и Францію, гдѣ подружился съ знаменитымъ гуманистомъ Іосифомъ-Юстомъ Скалигеромъ (сыномъ), котораго совѣты имѣли рѣшительное вліяніе на всю его жизнь и будущую литературную дѣятельность. По возвращеніи изъ-за границы, Шимоновичъ познакомился съ Яномъ Замойскимъ, уже канцлеромъ въ то время, поступилъ къ нему въ секретари и содѣйствовалъ ему въ образованіи академіи въ Замостьѣ. Замойскій поручилъ ему воспитаніе единственнаго сына своего, далъ ему въ пожизненное владѣніе деревню, успѣлъ сдѣлать то, что, по внушенію его и по ходатайству пословъ земскихъ на сеймѣ, король Сигизмундъ III пожаловалъ Симониду шляхетство, съ фамильнымъ названіемъ Бендоньскій, и украсилъ его почетнымъ титуломъ королевскаго поэта (1590 г.). Симонидъ умеръ въ глубокой старости въ 1629 году. Его произведенія дѣлятся на два рода: латинскія оды и польскія идилліи. Остановимся на однихъ только стихотвореніяхъ его буколическихъ. Симонидъ изучилъ основательно Ѳеокрита и проникнулся имъ весь; онъ началъ съ простыхъ переводовъ изъ Ѳеокрита, Біона и Моcха, отчасти изъ Виргилія и Овидія, или съ такихъ передѣлокъ и подражаній, въ которыхъ все содержаніе—античное, но пастухамъ и пастушкамъ даны только названія славянскія (Милко, Собонь и т. п.). Потомъ Симонидъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ и пробовалъ брать темой сельскіе нравы дѣйствительные, не воображаемые, идеализируя ихъ по возможности; иными словами, онъ сталъ писать картины изъ простонароднаго быта. Такъ какъ съ живымъ воображеніемъ онъ соединялъ наблюдательность и талантъ тонкаго психологическаго анализа, то сцены, вставляемыя имъ въ тѣсныя рамки идилліи, плѣняли современниковъ, несмотря на недостатокъ наивности и простоты. Симонидъ не могъ никакъ избѣжать двухъ недостатковъ, неразлучныхъ съ самымъ родомъ буколической поэзіи: тривіальности, когда поэтъ старается вѣрно копировать природу, и приторности, когда поэтъ, идеализируя своихъ героевъ, сходитъ съ почвы дѣйствительности и поселяется въ небывалой странѣ условностей и вымысловъ, безжизненныхъ и безцвѣтныхъ. Желая сдѣлать своихъ пастуховъ правдоподобными, онъ влагаетъ имъ порою въ уста площадныя шутки и скептическія насмѣшки, несвойственныя крестьянамъ, порою же заставляетъ ихъ вести разговоры, исполненные колкаго остроумія и тонкой вѣжливости. Среди

[1]) Сочиненія Шимоновича изданы Венцлэвскимъ, въ Хелмнѣ, 1864. Szymon Szymonowic, przez Aug. Bielowskiego, 1875, см. Pamiętnik Akad. Um. Krakowskiej, II, 105—213. Здѣсь помѣщены біографія поэта, неизвѣстныя или малоизвѣстныя его произведенія и переписка.

множества неудачныхъ, нѣкоторыя сцены поражаютъ реализмомъ, воспроизведеніемъ въ художественной формѣ народныхъ представленій и повѣрій. Такова идиллія 15-я, *Чары*, въ которой жена, оставленная невѣрнымъ мужемъ, сыплетъ просо на угли, топитъ воскъ, сожигаетъ ясеневые листья и употребляетъ заклинанія и заговоры, чтобы привлечь къ себѣ невѣрнаго и извести его любовницу. Такова еще прелестная идиллія 12-я. *Коровай* (Kołacz), взятая, впрочемъ, болѣе изъ шляхетскаго быта и изображающая свадебные обряды [1]).

Наконецъ Симониду пришла счастливая мысль вложить въ уста простаго народа патетическія жалобы на его горькую судьбину, на притѣсненія со стороны помѣщиковъ. Эти жалобы писались не въ видахъ демократической пропаганды, потому-что поэзія Симонида по своей искусственности никакъ не могла разсчитывать на распространеніе въ простонародьѣ, да и Симонидъ былъ вовсе не революціонеръ, а человѣкъ глубоко преданный существующему порядку. Она заключала въ себѣ только предостереженіе на будущее время и обнаруживаетъ въ авторѣ не только художника, но и человѣка съ направленіемъ, мужественнаго гражданина, который рѣшился говорить весьма непріятныя вещи въ глаза всемогущему тогда сословію, нерасположенному слушать ничего подобнаго. Въ идилліи 17-й, *Пастухи*, мужики толкуютъ о вымогательствахъ со стороны панскихъ лѣсничихъ, о взысканіяхъ за лѣсныя порубки. Въ идилліи 18-й, *Жницы*, барскій управляющій съ кнутомъ въ рукахъ понуждаетъ къ работѣ деревенскихъ бабъ; одна изъ нихъ, Петруха, заводитъ слѣдующую пѣсню: „Солнышко, око свѣтлое, око дня прекраснаго, ты не то, что́ нашъ староста: ты встаешь, когда пора придетъ; ему этого мало, онъ бы хотѣлъ, чтобы ты въ полночь подымалось. Солнышко, ты день за днемъ водишь, пока не исполнится долгій годъ, а онъ бы хотѣлъ все сдѣлать въ одинъ часъ; ты иногда припекаешь, иногда даешь вѣтерку повѣять и разсѣять зной, а онъ то и дѣлаетъ, что кричитъ: не лѣнись, жни да

---

[1]) Sroczka krzekce na płocie, będą goście nowi;
Sroczka czasem omyli, czasem prawdę powie,
Gdzie gościom w domu radzi, sroczce zawsze wierzą
I nie każą się kwapić kucharzom z wieczerzą...
Sroczka krzekce na płocie, pewnie się raduje
Serduszko, bo miłego przyjaciela czuje.
Jedzie z swoją drużyną panicz urodziwy,
Panicz z dalekiej strony, pod nim koń chodziwy,
Koń łysy, białonogi, rząd na nim ze złota,
Panno, gotuj się witać, już wjeżdża we wrota... i t. d.

(Сорока гаркаетъ на заборѣ — будутъ новые гости. Сорока иногда обманетъ, иногда правду скажетъ. Въ которомъ домѣ рады гостямъ, тамъ сорокѣ всегда вѣрятъ и приказываютъ поварамъ не торопиться съ ужиномъ. Сорока гаркаетъ на заборѣ, а сердце скачетъ у дѣвушки, потому-что она чуетъ милаго друга. Ѣдетъ съ дружиною паничъ красивый, паничъ съ дальней стороны; подъ нимъ конь рѣзвый, конь бѣлоногій, сбруя на немъ золотая. Дѣвица, готовься привѣтствовать его! вотъ онъ въѣзжаетъ въ ворота, — и т. д.)

жни; онъ и знать не хочетъ, что при работѣ серпомъ, потъ льется въ три ручья съ лица. Тебя, солнышко, заслонятъ иногда тучи, но ихъ скоро разгонитъ вѣтеръ; нашему старостѣ не гляди прямо въ глаза, потому-что у него постоянно нахмуренныя брови. Ты даешь росу, вставая и заходя, у насъ же все постъ отъ утра до вечера" и т. д.

Отъ идилліи перейдемъ къ сатирѣ. При всемъ блескѣ и великолѣпіи тогдашней Польши, передовые люди чувствовали, что не все ладно въ Рѣчи-Посполитой. Замѣчались симптомы болѣзни, дѣлалась по временамъ ея діагноза, но причина зла оставалась тайною. Янъ Кохановскій и Петръ Збылитовскій (1571—1649) вмѣсто лекарства предлагаютъ одни нравоученія въ родѣ слѣдующихъ: будьте скромны, воздержны, гуманны въ отношеніи къ низшимъ, не гоняйтесь за модою, остерегайтесь роскоши, храните крѣпко старые добрые нравы. Разумѣется, что эти нравоученія не вели ни къ чему. Потокъ времени увлекалъ съ собою общество въ противоположномъ направленіи. Былъ одинъ только писатель, одаренный замѣчательнымъ критическимъ умомъ, который заглянулъ поглубже въ общественныя отношенія и, дотронувшись до основанія шляхетства, осмѣлился занести руку на самый корень его въ Польшѣ, отвергнуть значеніе и превосходство породы, усомниться въ преемственности наслѣдованнаго отъ предковъ благородства. Это сомнѣніе выражено было намеками, обиняками; при всей слабости выраженія, оно требовало значительнаго гражданскаго мужества. Этотъ писатель, рѣшившійся сознательно идти противъ теченія вѣка и общества, едва замѣченный современниками, но котораго позднее потомство должно привѣтствовать какъ родного брата, былъ Себастіанъ Клёновичъ (или по латыни, отъ acer — кленъ, Acernus, 1545—1602). Клёновичъ [1]) происходилъ изъ мѣщанъ города Сульмержицъ, на пограничьи Силезіи, воспитывался въ краковской академіи, поселился въ Люблинѣ, былъ ратманомъ и писаремъ городского суда, наконецъ бургомистромъ города Люблина, исправлялъ притомъ должность судьи или войта въ имѣніяхъ монастыря сѣцеховскаго, въ которомъ аббатомъ былъ другъ Клёновича, позднѣйшій епископъ кіевскій Верещинскій. Изслѣдованія архивиста въ Люблинѣ Іосифа Детмерскаго подвергли сильному сомнѣнію установившееся въ исторіи литературы преданіе о томъ, будто бы Клёновича разоряла злая и распутная жена, и о томъ, что онъ скончался въ крайней нищетѣ, въ больницѣ іезуитской св. Лазаря въ Люблинѣ. (См. статью Пржеборовскаго). Неподлежитъ спору, что Клёновича преслѣдовали сильные, вліятельные непріятели. Ученый библіотекарь краковскаго университета Іосифъ Мучковскій открылъ случайно, кто были главные гонители

---

[1]) **Przyborowski**, Rok smierci Klonowicza, въ журналѣ Ateneum, 1878, № 2.

Клёновича (брошюра Мучковскаго издана 1840). Въ іезуитскихъ бумагахъ онъ нашелъ извѣстіе, что отцы-іезуиты передъ смертію Клёновича привели его къ раскаянію и заставили его просить прощенія въ томъ, что онъ издалъ безъимянно въ 1600 г. брошюру: *Equitis poloni in Jesuitas actio prima*, въ которой онъ доказывалъ, что орденъ занимается больше интригами, нежели наукою, и что орденъ причинилъ вредъ Польшѣ, завладѣвъ народнымъ воспитаніемъ. Рука ордена тяготѣла и надъ произведеніями поэта, которыя были по возможности истребляемы. Въ особенности преслѣдовалась его *Victoria Deorum*, заклейменная слѣдующимъ іезуитскимъ двустишіемъ:

Quid praemii versibus tam dignis?
Nisi carnifex et ignis.

(Чего достойны эти стихи? только огня и руки палача).

Если на Клёновича смотрѣть съ художественной точки зрѣнія, то приговоръ о немъ выйдетъ не въ пользу автора: поэтическое дарованіе его было слабое; творчествомъ поэтическимъ, умѣющимъ великую мысль облечь въ соотвѣтствующую ей форму, онъ не отличался вовсе. Въ его натурѣ преобладали двѣ способности: острая наблюдательность и умъ аналитическій, разлагающій всякую общую мысль, взятую имъ за тему, на безчисленное множество частностей. Ухватившись за такую мысль, Клёновичъ возился съ нею долго, по цѣлымъ годамъ, оборачивая ее на всѣ стороны, выводилъ по всѣмъ правиламъ логики цѣлую сѣтку систематическихъ дѣленій, и дробныя клѣточки этой канвы онъ наполнялъ постепенно содержаніемъ, заимствуемымъ или изъ запаса своей учености, или изъ собственнаго житейскаго опыта. За исключеніемъ *Надгробнаго плача на смерть Яна Кохановскаго*, ряда пѣсней въ лирическомъ родѣ, всѣ остальныя поэмы Клёновича растянуты, носятъ на себѣ слѣды продолжительной и усидчивой работы, читаются съ трудомъ, но изобильны живописнѣйшими частностямн. Недавно открыто и издано 1875 г. въ Варшавѣ Владиславомъ Окэнцкимъ еще одно произведеніе Клёновича на латинскомъ языкѣ, которое однако ничего не можетъ прибавить къ славѣ поэта: *Gorais*, прославляющее дворянскій родъ Горайскихъ. Поэмы Клёновича могутъ быть отнесены къ двумъ родамъ: землеописательному (такова его поэма, писанная по польски, *Flis*, и по латыни, *Roxolania*), и нравоучительному (таковы: *Worek Judaszow* или „Мошна Іуды“, и *Victoria Deorum*). Флисами называются судовщики вислинскіе. Клёновичъ садится съ ними на шкуту (баржу) у варшавскаго моста и совершаетъ плаваніе до самого Данцига. Поэма начинается созданіемъ міра, образованіемъ рѣкъ; выводитъ изъ глубочайшей древности, отъ Язона и Одиссея, исторію плаванія по водамъ и торговли, излагаетъ энциклопедически теорію

судостроенія, описываетъ нравы судовщиковъ и шкиперовъ, ихъ техническій языкъ и поговорки, ихъ преданія и, останавливаясь при каждомъ поворотѣ и каждомъ рукавѣ рѣки, рисуетъ картины ея береговъ и усѣвшихся на нихъ селеній и городовъ. Въ латинской *Роксоланіи*, пріемышъ Руси Червонной или Галицкой—Кленовичъ взялся описать красоты своего отечества по усыновленію и, раздѣливъ свой предметъ на три части, въ первой описываетъ дары и произведенія природы, а также и промыслы жителей: лѣсоводство, земледѣліе, скотоводство, пчеловодство; во второй — червонно-русскіе города: Люблинъ, Львовъ, Кіевъ, Перемышль, Каменецъ; въ третьей — бытъ и нравы жителей, крестины и проводы покойниковъ, посты, чары и религіозное суевѣріе простонародья, бѣдствія и радости мужика, алчность Евреевъ. Великій мастеръ пейзажной живописи, Клёновичъ по существу и складу своего ума предпочиталъ однако обработывать матеріи важныя, нравственные вопросы, „писать смѣхотворно не смѣха ради, а для исправленія людскихъ обычаевъ, въ особенности для исправленія людей молодыхъ“. Какъ судьѣ, долго возившемуся съ грязью и осадками общества, ему хорошо была извѣстна изнанка человѣческой природы,—онъ и далъ волю своему, наболѣвшему отъ созерцанія зла, сердцу въ поэмѣ на польскомъ языкѣ: *Мошна Іуды*, странномъ произведеніи, которое неизвѣстно куда отнести, къ юридической-ли литературѣ или къ поэзіи. По пріемамъ автора, оно скорѣе походитъ на комментарій къ „Саксонскому Зерцалу“, которымъ руководствовались городскіе суды; это ничто иное, какъ юридическій трактатъ, по всѣмъ правиламъ науки, о воровствѣ-кражѣ и о разныхъ иныхъ предосудительныхъ способахъ пріобрѣтенія собственности въ ущербъ другимъ лицамъ. Христовъ предатель, окаянный Іуда, носилъ у пояса пеструю мошну, сшитую изъ четырехъ родовъ кожи: волчьей, лисьей, леопардовой и львиной. Четыремъ составнымъ кускамъ мошны соотвѣтствуютъ четыре способа корыстоваться чужою собственностью: кража, мошенничество, ябеда и насиліе, что́ и даетъ поводъ автору описать и перебрать поштучно всѣ виды этихъ преступленій.

Къ первому куску мошны пріурочены простая кража и святокупство, выдраніе пчелъ и конокрадство, казнокрадство и лихоимство. Наконецъ безстрашною рукою записного юриста-техника начертанъ драматически и картинно весь ходъ суда надъ ворами, съ палачомъ и поднятіемъ на дыбу, съ прожиганіемъ тѣла свѣчами и повѣшеніемъ воришки на высокой перекладинѣ, въ полѣ перекатномъ, между небомъ и землею, чтобы онъ не вредилъ болѣе человѣческому племени. Подъ кожу лисью подведены обманщики, испрашивающіе милостыню, нищіе, выдумывающіе чудеса, надувалы, живущіе на счетъ мужей, волочась за женами. Къ леопардовой кожѣ отнесены ябедническое крючкотвор-

ство, жидовская лихва и вымогательство монахами записей у умирающихъ на монастыри и церкви. Наконецъ, дошедши до кожи львиной, авторъ вдругъ замолкаетъ, „такъ-какъ страшно говорить объ этой кожѣ", и прервавъ свою рѣчь, заканчиваетъ поэму просьбою, обращенною къ грабителямъ, забравшимъ чужое добро, чтобы они по примѣру того, что́ сдѣлано изъ сребренниковъ Іуды, купили по-крайней-мѣрѣ какую-нибудь „землю крове" для погребенія обобранныхъ ими жертвъ. У Клёновича болѣе, чѣмъ у кого-нибудь другого изъ его современниковъ, надобно читать между строками: въ этой недомолвкѣ, какъ полагаютъ, сквозитъ мысль политическая—подъ львинымъ насиліемъ Клёновичъ разумѣлъ вѣроятно насилія и притѣсненія со стороны преобладающей въ государствѣ аристократіи въ отношеніи къ другимъ сословіямъ, но слово замерло на устахъ передъ трудностью задачи. Трудность задачи заключалась не въ опасеніи гоненій со стороны власти—потому что учрежденія были въ Польшѣ свободнѣе, чѣмъ гдѣ-либо и писатель пользовался полною свободою слова и печати; она состояла въ томъ презрительномъ невниманіи, съ какимъ настроившееся на извѣстный ладъ общество относится къ непріятнымъ для него истинамъ и совѣтамъ, мѣшающимъ его покою. Клёновичъ хотѣлъ, во что бы то ни стало, заставить себя слушать, онъ нарядилъ жесткую мысль въ мягкія формы, онъ заявилъ со всевозможными оговорками и уступками протестъ противъ существующаго порядка и идею о необходимости коренной соціальной реформы въ предлинной дидактической поэмѣ, состоящей изъ 44-хъ пѣсенъ на латинскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ *Victoria Deorum.* Это произведеніе поэтично только по своей стихотворной формѣ, въ сущности оно ничто иное, какъ огромный трактатъ нравственной философіи, весь состоящій изъ тезисовъ, опроверженій, доказательствъ и примѣровъ. Названіе его, совершенно произвольное, взято изъ помѣщеннаго въ концѣ поэмы (XXXIX, XL) эпизода о борьбѣ Титановъ съ Юпитеромъ: въ Титанахъ олицетворены магнаты и шляхта, потрясающіе тронъ, въ Юпитерѣ—королевская власть. Существовало предположеніе, что Клёновичъ имѣлъ въ виду рокошъ Зебржидовскаго 1606, но это предположеніе падаетъ при установленіи года его смерти 1602 и открытомъ еще другомъ фактѣ, что Victoria Deorum уже писалась въ 1587 году. Настоящее названіе поэмы должно бы быть *de vera nobilitate*, а коренная мысль ея заключается въ томъ, что тотъ лишь хорошо рожденъ (т.-е. благороденъ), кто хорошо живетъ, а хорошо живетъ, кто хорошо умираетъ. Клёновичъ преклоняется передъ необходимостью существованія шляхетства, потому что люди рождаются не съ одинаковыми способностями, и во всякомъ обществѣ должны быть и управляющіе, и управляемые. Но, допустивъ аристо-

кратію, Клёновичъ требуетъ, чтобы она была настоящая, а не подложная, настоящая же только и можетъ основываться на *добродѣтели* (въ особенности на храбрости — *virtus*) и на трудѣ, а не на породѣ и не на богатствѣ.

Такъ-какъ шляхетство должно пріобрѣтаться доблестью, то оно превращается у Клёновича изъ родового въ личное, что́ и подтверждаетъ онъ безчисленнымъ множествомъ примѣровъ объ искаженіи и вырожденіи аристократическихъ фамилій и о даровитости простолюдиновъ и бастардовъ. Вопреки господствующимъ предубѣжденіямъ, Клёновичъ утверждаетъ, что ручной трудъ не унизителенъ для шляхтича; онъ энергически возстаетъ противъ помѣщиковъ, заступаясь за крестьянъ. Клёновичъ только критикъ, а не реформаторъ; указывая на причину зла, онъ не предлагаетъ никакихъ средствъ леченія: средствъ этихъ и не было въ польской Рѣчи-Посполитой, которой органическимъ порокомъ былъ родовой аристократизмъ. Клёновичъ не подозрѣвалъ, что зло столь глубоко, что народъ и освободиться отъ него можетъ не иначе, какъ посредствомъ политической своей смерти. Клёновичъ полагалъ, что его оцѣнятъ по достоинству современники или по-крайней-мѣрѣ ближайшіе потомки [1]), но память объ немъ затихла, и только послѣ двухъ съ половиною вѣковъ, послѣ паденія Рѣчи-Посполитой, тѣнь его дождалась того, что ей воздана должная почесть и что ей воздвигаютъ надгробные памятники [2]).

Вмѣсто реформы въ либеральномъ духѣ, которую звалъ Клёновичъ, близилась быстрыми шагами нелиберальная, нетолерантная реакція, возвратъ къ старому, оцѣпенѣніе мысли, разнуздавшейся вслѣдствіе реформаціи, безъ преобразованія учрежденій. Свободныя учрежденія требуютъ въ народѣ, который хочетъ ими пользоваться, здоровыхъ нравовъ и выработки характеровъ. Эту выработку сообщала характерамъ въ средніе вѣка религія. Протестантизмъ въ Польшѣ, отвергнувъ авторитетъ церкви, не поставилъ никакого новаго закона нравственнаго вмѣсто католическаго, и видимо стремился въ аріанствѣ, анабаптизмѣ и другихъ сектахъ къ превращенію религіи въ чистую философію, оправдывающую по мѣрѣ надобности и кровосмѣшеніе, и внѣбрачныя связи, и захваты духовныхъ имуществъ, и всякій произволъ. Притомъ этотъ польскій протестантизмъ заключалъ въ себѣ множество противорѣчій, которыя должны были неминуемо привести его къ паденію; онъ пустилъ корни только въ слоѣ высшей шляхты, онъ искалъ поддержки

---

[1]) Forsitan ad Manes dulcedo posthuma laudis
Pervenit nostros et seri sensus honoris.

[2]) Прекрасную оцѣнку своихъ заслугъ нашелъ Клёновичъ у Мацѣевскаго, Piśm. Polsk., т. 1, стр. 522—556.

въ магнатахъ, долженъ былъ по необходимости угождать своимъ покровителямъ, спускать имъ многое недостойное, мало заботился о массахъ и привыкалъ смотрѣть на свободу вѣроисповѣданія, какъ на прерогативу, принадлежащую исключительно шляхетству. Протестантская шляхта наслаждалась свободою вѣрованія во что-либо или ни во что невѣрованія, и цѣнила высоко эту свободу; но она вмѣстѣ съ тѣмъ сознавала, что для простонародья религія нужна, чтобы держать чернь въ уздѣ. Этотъ союзъ протестантской религіи съ аристократіею могъ продолжаться только до поры до времени, до того момента, когда бы обѣ соединившіяся силы не увидали, что̀ онѣ теряютъ отъ этого союза; религія, потому-что она оскорбляется зависимостью отъ своихъ свѣтскихъ покровителей; аристократія, потому-что протестантизмъ, какъ элементъ критики и отрицанія, долженъ разъѣдать всякій авторитетъ, а слѣдовательно и авторитетъ шляхты, ея господство надъ крестьянами, ея преобладаніе политическое, ни на чемъ другомъ не основанное, какъ на исторіи и на преданіяхъ. Этотъ моментъ насталъ въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтія. Подготовителемъ новаго направленія, его предвозвѣстникомъ, теоретикомъ и мощнымъ сѣятелемъ сѣмянъ самаго коснаго консерватизма, которыя въ слѣдующемъ вѣкѣ дали обильнѣйшіе всходы, былъ тотъ самый Станиславъ Оржеховскій, котораго дѣло въ срединѣ XVI вѣка чуть-чуть не увлекло Польшу въ протестантизмъ, парализировавъ карательную дѣятельность епископства. Въ этомъ типическомъ лицѣ воплощаются, совмѣщаясь, всѣ крайности и противорѣчія блистательной эпохи. Такъ какъ притомъ оно достигло полнаго господства надъ умами многихъ поколѣній людей періода упадка, то намъ и слѣдуетъ на немъ остановиться [1]).

Сынъ православной матери, внукъ православнаго священника, Станиславъ, герба Окша, Оржеховскій (1515—1566), *gente Ruthenus*, *natione Polonus*, перемышльскій шляхтичъ, нареченъ былъ перемышльскимъ каноникомъ еще въ колыбели, отправленъ 14-ти лѣтъ за границу, учился въ Виттенбергѣ, гдѣ пользовался расположеніемъ Лютера, но затѣмъ пробылъ долгое время въ Италіи, и изъ столицы католицизма, Рима, вынесъ какъ глубокое убѣжденіе въ непоколебимой прочности и силѣ этой церкви, такъ и сознаніе потребности нѣкоторыхъ внутри ея реформъ, а именно сближенія съ восточнымъ католицизмомъ, или православіемъ, для общей борьбы съ протестантскими сектами,—и отмѣны обязательнаго для духовенства безбрачія. Даровитый, увлекательный, имѣвшій всѣ качества агитатора, Оржеховскій своимъ обрученіемъ, а потомъ женитьбою поднялъ противъ епископовъ всю мало-польскую шляхту; за него стояли всѣ протестанты; противъ него

---

[1]) L. Kubala, Stanislaw Orzechowski. Lwów, 1870.

было произнесено отлученіе отъ церкви за ересь. Между тѣмъ этотъ ослушникъ противъ церковныхъ правилъ никогда въ душѣ не былъ еретикомъ, а съ другой стороны—епископы поняли, какого опаснаго нажили себѣ врага. Между Оржеховскимъ и епископами состоялось соглашеніе, отлученіе съ него снято, дѣло объ узаконеніи его женитьбы представлено на усмотрѣніе папы. Въ томительномъ ожиданіи разрѣшенія этого представленія, которому не суждено было когда-нибудь послѣдовать, этотъ почти разстрига, поставившій себя въ самое двусмысленное положеніе, подозрѣваемый католическимъ духовенствомъ въ томъ, что онъ тайный еретикъ, поносимый протестантами какъ явный отступникъ, сдѣлался негласнымъ совѣтникомъ епископовъ, бойцомъ католицизма, бичомъ протестантовъ. Одинокій, малоуважаемый, Оржеховскій обнаружилъ изумительную дѣятельность и явилъ первостепенный талантъ полемиста и памфлетиста. Его идеями питались въ слѣдующемъ столѣтіи католическіе писатели, заимствуя живыя цѣлыя страницы; нѣкоторыя его сочиненія, напр. Apocalypsis, имѣли до 11 изданій. — Во всѣхъ этихъ брошюрахъ, письмахъ и діалогахъ, мысль проводится одна: безвыходная необходимость основать безбрежную политическую вольность шляхетскую на полной умственной неволѣ, на полномъ подчиненіи ума церковному авторитету. Нѣтъ народа на свѣтѣ—говоритъ Оржеховскій въ своемъ діалогѣ *Quincunx* (Q. to jest wzór korony polskiej na cynku wystawiony, 1564)—выше польскаго и по равенству (нѣтъ у него ни графовъ, ни князей) и по вольности. „Ты, Литвинъ, ходишь точно волъ въ прирожденномъ ярмѣ, а я, Полякъ, парю какъ орелъ, потому-что я подчиненъ не наслѣдственному государю, но королю, котораго я самъ себѣ выбралъ. Полякъ носитъ одежду знаменитую—вольность, равную королевской, а на рукѣ имѣетъ золотой перстень—шляхетство, въ силу котораго наибольшій равенъ меньшему; съ королемъ у него волъ общій, то-есть то посполитое право, которое одинаково служитъ и ему и королю. Пользуясь всѣмъ этимъ, Полякъ веселится и пляшетъ, не неся никакихъ невольныхъ обязанностей и не будучи ничѣмъ инымъ обязанъ королю—пану своему высшему, кромѣ титула на исковой, двухъ грошей съ лана и народнаго ополченія. Въ наслѣдственныхъ государствахъ нѣтъ защиты отъ государя, но въ Польшѣ есть, а именно: королевская присяга. Кто же заставитъ короля соблюсти присягу? Тотъ, кто отъ него эту присягу принялъ, кто его короновалъ, слѣдовательно кто ему и далъ власть королевскую, кто можетъ и разрѣшить народъ отъ послушанія въ отношеніи къ королю—архіепископъ гнѣзненскій, pater regis et regni princeps, ключникъ отъ вратъ небесныхъ. Были времена безъ королей, будутъ, когда короли всѣ изведутся передъ страшнымъ судомъ, но не было и не будетъ времени безъ священства. Священникъ—должность вѣчная, а ко-

ролевство—санъ временной; насколько король выше народа, настолько священникъ еще выше короля". —Такова теорія Оржеховскаго: въ Польшѣ нѣтъ людей, кромѣ шляхты; каждый шляхтичъ—самодержавный владыка, надъ всѣми этими владыками высится ими же избираемый и мало отъ нихъ отличающійся царь царей—король, да на него, въ интересахъ вольности шляхетской, накинута узда, которую держитъ въ своихъ рукахъ священникъ. Эта теорія представляетъ собою до крайности доведенное увлеченіе одностороннеею идеею вольности шляхетской, но она вѣрно попадала въ цѣль, указывая на тѣснѣйшее сродство развившагося до послѣдней степени, а потому сдѣлавшагося консервативнымъ шляхетства, съ авторитетомъ въ дѣлѣ вѣры, на опасность, грозящую отъ всякихъ нововведеній, какъ религіозныхъ, такъ и политическихъ. Замѣтивъ эту опасность, большинство послѣдователей протестантизма отшатнулось отъ него такъ же легко, какъ легко къ нему пристало, отказалось отъ свободы мышленія, подчинилось опять авторитету откровенія, представляемому церковью, и римскій католицизмъ, повидимому совершенно было упавшій, воскресъ опять, какъ фениксъ изъ пепла, обновленный, очищенный и болѣе завоевательный, чѣмъ когда-либо въ прежнія времена. Ряды противниковъ его рѣдѣютъ, одинъ за другимъ переходятъ къ нему протестантскіе магнаты, переходятъ и князья, и вельможи литовскіе и русскіе, слѣдовавшіе доселѣ православію. Восторженная пропаганда совершаетъ чудеса, собираетъ опять разсѣявшихся овецъ въ едино стадо, подъ старое знамя, и ставитъ себѣ цѣлью положить основаніемъ государству единство вѣроисповѣданія, заставивъ всѣхъ еретиковъ (протестантовъ) и схизматиковъ (православныхъ) признать главенство римскаго папы. Эти стремленія католицизма совпадали съ наибольшимъ распространеніемъ границъ Польши на востокъ, съ моментомъ, когда орлы польскіе направлялись на самый Кремль московскій, когда существовали не лишенныя основанія надежды, что рано или поздно сама Московія будетъ вовлечена въ систему польской шляхетско-католической федераціи или посредствомъ избранія кого-нибудь изъ московскихъ государей на польскій престолъ (по примѣру династіи Ягеллоновъ), или посредствомъ возведенія на московскій престолъ лица, которое бы взялось быть исполнителемъ замысловъ польской политики. Главными дѣятелями на поприщѣ пропаганды религіозной были іезуиты; о вліяніи ихъ на народное воспитаніе, на умственное развитіе народа мы скажемъ впослѣдствіи, при разсмотрѣніи слѣдующаго періода, когда ихъ дѣятельность принесла уже свои плоды; здѣсь только замѣтимъ, что ихъ направленіе было во многомъ демократичнѣе шляхетскаго протестантизма, что многіе изъ нихъ были проницательнѣе Оржеховскаго и предчувствовали паденіе государства отъ застоя, въ который общество будетъ

погружено вслѣдствіе окончательнаго обезсиленія королевской власти; наконецъ что между іезуитами попадались и люди честные, исполненные самоотверженія, восторженно преданные своему дѣлу, которые именемъ Бога говорили горькія истины народу и самой шляхтѣ, укоряли сильныхъ міра сего, не унижая себя никогда лестью. Однимъ изъ такихъ чистыхъ и честныхъ дѣятелей по части прозелитизма и воплощеніемъ, можно сказать, католической пропаганды былъ знаменитый священникъ Петръ Павэнзскій, болѣе извѣстный подъ фамильнымъ прозвищемъ Скарги, стяжавшій себѣ по увлекательному своему краснорѣчію эпитетъ Златоустаго. Вліяніе его на современниковъ было столь громадно и дѣятельность его ораторская и литературная столь тѣсно связаны со всѣми тогдашними политическими событіями, что необходимо изложить подробнѣе главные моменты его 76-лѣтней жизни, посвященной сначала до конца одной только идеѣ [1]).

Петръ Скарга, дворянинъ мазовецкій, родился 1536 г., учился въ краковской академіи, вступилъ въ духовное званіе, сдѣланъ былъ каноникомъ львовскаго капитула и проповѣдникомъ соборной церкви въ Львовѣ. Священство свѣтское, которому онъ принадлежалъ, не удовлетворяло души его, склонной къ аскетизму, сдержанной и любящей дисциплину. Онъ его оставилъ, отправился въ Римъ, и тамъ, въ столицѣ католицизма, вступилъ въ 1568 г. въ ряды того недавно возникшаго ордена, который былъ построенъ на чиноначаліи, болѣе нежели военномъ, на слѣпомъ и безусловномъ подчиненіи ума и воли человѣка пользамъ и видамъ церкви. Возвратившись въ 1571 г. въ Польшу, онъ былъ поставленъ въ 1573 г на посту весьма важномъ, но трудномъ, на востокѣ Рѣчи-Посполитой, въ Вильнѣ, среди преобладающаго на Литвѣ кальвинизма. Скарга отличился вскорѣ какъ проповѣдникъ, онъ обратилъ въ католичество магнатскую фамилію Ходкевичей и несвижскую линію дома Радзивилловъ, онъ велъ диспуты съ протестантскими богословами, основывалъ братства религіозныя и благотворительныя, былъ первымъ ректоромъ образованнаго въ 1579 г. изъ іезуитской гимназіи виленскаго университета, ѣздилъ устраивать іезуитскія коллегіи, школы и церкви въ Полоцкѣ, Дерптѣ, Ригѣ. Изъ Вильна Скарга переѣхалъ въ 1584 г. въ Краковъ; въ 1588 г., избранный королемъ, Сигизмундъ III Ваза сдѣлалъ его своимъ придворнымъ проповѣдникомъ. Въ теченіи 24 лѣтъ Скарга пользовался неограниченнымъ довѣріемъ Сигизмунда III. По выраженію проповѣдника Бирковскаго, какъ передъ римскими императорами носимы были зажженные факелы, такъ точно Скарга былъ такимъ горящимъ факеломъ передъ лицомъ польскаго короля и народа. Деньги тысячами прохо-

---

[1]) Rychcicki (M. Dzieduszycki), Piotr Skarga i jego wiek. Kraków, 1850. 2 тома.

дили черезъ его руки, потому что придворный проповѣдникъ былъ и распорядителемъ денегъ, жертвуемыхъ королемъ на бѣдныхъ, но для себя онъ жалѣлъ и гроша, жилъ въ добровольномъ убожествѣ, въ тѣсной монашеской кельѣ, отказывая себѣ въ малѣйшихъ удобствахъ. Слово его значило много у короля, но ни за кого онъ не просилъ, ни для кого не заискивалъ ни малѣйшей милости. Какъ политическій дѣятель, онъ принималъ живое участіе въ двухъ весьма важныхъ событіяхъ: въ уніи брестской (1596 г.) и въ рокошѣ Зебржидовскаго. Унію брестскую онъ подготовилъ своими политическими сочиненіями, направленными противъ православія („O jedności Kościola Bożego pod jednym pasterzem i o greckiem od tej jedności odstąpieniu“, Wilno, 1577). Онъ ораторствовалъ и на соборѣ брестскомъ 1596 г. въ числѣ лицъ, уполномоченныхъ отъ короля; на этомъ съѣздѣ онъ вызывалъ на публичный диспутъ несоглашавшихся на унію православныхъ и описалъ весь ходъ дѣла въ книгѣ: „Synod Brzeski i jego obrona“, 1597. Унія брестская, насилія и гоненія со стороны католиковъ противъ слабѣйшихъ числомъ протестантовъ, по наущенію іезуитовъ, и ненавистныя для народа связи короля съ домомъ австрійскимъ вызвали междоусобную войну. Составилась коалиція изъ всѣхъ враждебныхъ королю и іезуитамъ элементовъ, изъ протестантовъ, изъ дизунитовъ православныхъ, изъ магнатовъ, противныхъ союзу съ Австріею и боявшихся стремленія короля къ *absolutum dominium*. Дошло до вооруженнаго возстанія или рокоша, во главѣ котораго сталъ ближайшій другъ покойнаго Замойскаго, краковскій воевода Зебржидовскій. Въ этой игрѣ страннымъ образомъ перемѣшались карты: на одной сторонѣ стала королевская власть, служащая ширмами для ордена и орудіемъ, посредствомъ котораго іезуиты проводили мысль религіознаго объединенія народа во что бы то ни стало; на другой сторонѣ—разнообразныя, ненавидящія другъ друга вѣроисповѣданія и секты акатолическія подавали себѣ руки, соединенныя общею грозившею имъ опасностью, и поддерживали на своихъ плечахъ честолюбивое вельможество, охотно при всякомъ удобномъ случаѣ сопротивлявшееся королю. Скарга ѣздилъ отъ короля къ Зебржидовскому уговаривать его смириться, рокошане требовали отъ короля, чтобы онъ удалилъ отъ себя іезуитовъ; Скарга, не отступавшій отъ короля ни на шагъ, явился бойцомъ ордена и защищалъ его и устно, съ проповѣдническаго амвона, и письменно: „Próba zakonu societatis Jesu“, Kraków, 1607.

Трагическое въ этой борьбѣ партій было то, что въ чью бы сторону ни склонилась побѣда, польское общество должно было неминуемо потерять; оно и осталось въ двойномъ проигрышѣ. Король осилилъ рокошанъ, но не настолько, чтобы власть его могла въ какой бы то ни было степени облегчить судьбу низшихъ рабочихъ классовъ наро-

донаселенія; за то диссиденты были разбиты, и Скарга дожилъ до полнаго торжества католицизма. Онъ умеръ въ Краковѣ, въ 1612 году.

Литературные труды Скарги могутъ быть раздѣлены на сочиненія полемическо-богословскія, на сочиненія, относящіяся до исторіи церкви, и на проповѣди. Скарга полемизировалъ весьма много съ православными, съ протестантами различныхъ толковъ (Siedm filarów, na których stoi katolicka nauka, 1582; Wzywanie de jednej zbawiennej wiary и мн. другія), писалъ сильныя діатрибы въ особенности противъ аріанъ (Zawstydzenie nowych aryanów, Kraków, 1608; Messiasz nowy aryanów wedle alkoranu tureckiego, Kraków, 1612). Эти сочиненія не подлежатъ нашему разбору, также какъ и опыты его по церковной исторіи, состоящіе въ томъ, что онъ издалъ житія святыхъ (Żywoty Swiętych, 1579) и далъ въ переводѣ сокращеніе труда кардинала Баронія: Annales Ecclesiastici (1603—1607). Житія святыхъ написаны безъ критики, но великолѣпнымъ увлекательнымъ слогомъ, которому они одолжены тѣмъ, что имѣли до 25 изданій и болѣе извѣстны и распространены въ массахъ, нежели какое-либо другое произведеніе словесности. Всего важнѣе проповѣди Скарги (Kazania na niedziele i święta, 1595; Kazania o siedmiu sakramentach i Kazania przygodne, 1600) и въ особенности *проповѣди сеймовыя* (Kazania Sejmowe, 1600). Восемнадцать разъ случилось ему читать передъ собравшимися для законодательныхъ работъ сеймами проповѣди, имѣющія значеніе рѣчей политическихъ; четыре раза пришлось ему произносить проповѣди хвалебныя по поводу величайшихъ побѣдъ, какими прославило себя польское оружіе: въ 1588 г. по случаю взятія въ плѣнъ подъ Бычиною эрцгерцога австрійскаго Максимиліана, въ 1600 г. по случаю подчиненія Молдавіи Польшѣ Замойскимъ, въ 1605 г. по случаю пораженія подъ Кирхгольмомъ надъ Двиною Карла Зюдерманландскаго, дяди Сигизмунда III, Ходкевичемъ, и въ 1611 г. по случаю взятія Смоленска. Сила его краснорѣчія была столь велика, что враги его, диссиденты, называли его *тираномъ душъ человѣческихъ* (psychotyrannus). Чтобы оцѣнить по достоинству его рѣчи, надобно забыть, что онъ іезуитъ, надобно войти въ его положеніе, стать на его точку зрѣнія. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ слова священникъ-гражданинъ, какъ ни страннымъ можетъ показаться это опредѣленіе; онъ представлялъ собою рѣдкій типъ іезуита-патріота. Родину свою онъ любилъ горячо и страстно, ревниво желалъ ея величія, распространенія ея предѣловъ и могущества и, съ ужасомъ замѣчая признаки гніенія и разложенія, предвѣщавшіе упадокъ Рѣчи-Посполитой, онъ страдалъ сильнѣе, нежели менѣе проницательные его современники, отъ этихъ болѣзней. Доискиваясь причины зла, онъ ее находилъ прямо и непосредственно въ отщепенствахъ, въ разномысліи и разъединеніи въ дѣлѣ вѣры, по тому еван-

гельскому правилу, что всякое царство, раздѣлившееся въ самомъ себѣ, запустѣетъ и домъ на домъ падетъ (ев. отъ Луки, XI, 17). Онъ очень хорошо зналъ, что онъ вызываетъ противъ себя страшную ненависть со стороны диссидентовъ; его называли инквизиторомъ, льстецомъ, королевскимъ паразитомъ, апостоломъ absoluti dominii; онъ не былъ безопасенъ отъ самыхъ наглыхъ и насильственныхъ нападеній и обидъ, въ Вильнѣ онъ былъ однажды побитъ, въ Варшавѣ дважды получилъ публично пощечину, и всякій разъ не только не озлился на обидчиковъ, но испросилъ имъ великодушно прощеніе. Никогда онъ не позволялъ себѣ нападать или намекать на какія бы то ни было личности, никогда онъ не подстрекалъ католиковъ къ грубому насилію въ отношеніи къ протестантамъ, къ разрушенію ихъ сборовъ или церквей, къ насильственному помѣшательству ихъ богослуженію; тѣмъ не менѣе однако его усилія и совѣты направлены были къ достиженію того же самаго результата, къ искорененію раскола съ помощью свѣтской власти и къ гражданской нетерпимости отщепенства, потому-что терпимость, по его понятіямъ, ведетъ прямо къ атеизму.

Королевская власть нужна, по мнѣнію Скарги, для доставленія церкви торжества надъ иновѣрцами, для приведенія въ исполненіе приговоровъ духовныхъ судовъ. Онъ не скрываетъ своего расположенія къ идеалу теократическаго правленія (4-е Kazanie sejmowe), къ царскому священству, и къ священническому царству, то-есть къ такому устройству, въ которомъ бы священникъ управлялъ вмѣстѣ съ королемъ и посредствомъ короля. Изъ священнаго писанія и природы вещей вытекаетъ необходимость единовластія или монархіи. Скарга не былъ бы прочь и отъ самодержавія, если бы монархъ былъ всегда безгрѣшенъ и мудръ, но какъ это рѣдко случается, то разумъ человѣческій прилагаетъ къ королю совѣтъ и законы, опредѣляя и ограничивая власть его, чтобы онъ не сдѣлался злымъ тираномъ (6-е Kazanie sejmowe). Въ томъ и состоитъ настоящая свобода, золотая вольность, чтобы имѣть королей, которые бы правили не самовластно и произвольно, не по тирански, но на основаніи закона; такою вольностью Богъ жалуетъ Поляковъ, давая имъ въ теченіи 600 лѣтъ королей добрыхъ, справедливыхъ и святыхъ. Понятно, что при столь монархическомъ настроеніи своемъ, Скарга относится враждебно ко всѣмъ учрежденіямъ, которыя считались палладіумами свободы въ Польшѣ. Онъ не долюбливаетъ прерогативы шляхты избирать королей. Онъ положительно возмущенъ тѣмъ, что по кардинальному закону Рѣчи-Посполитой: *Neminem captivabimus nisi jure victum.* Скарга сильно вооружается противъ многоголовой гидры собранія земскихъ пословъ, усилившаго свой авторитетъ съ ущербомъ для короля и сената. „Господа послы земскіе,—говоритъ онъ,—не обращайте Польши въ нѣмец-

кій городъ имперскій, не дѣлайте изъ короля малеванную фигуру, на подобіе Венеціи, потому-что вы не имѣете ума венеціанскаго, да и не живете въ стѣнахъ одного и того же города“. Шляхтѣ онъ ставилъ наглядно передъ глазами въ картинахъ, ужасающихъ мрачностью колорита, всѣ недуги, которыми страдаетъ Рѣчь-Посполитая (7-е Kazanie sejmowe; Wzywanie do pokuty, Wilno, 1610). „Боже мой, какая роскошь проникла въ это царство. Отъ мала и до велика всѣ отвергли святую умѣренность и презрѣли жизнь старо-польскую, воинственную. Всякій хочетъ пить вино, рѣдкій панъ безъ шелку, безъ шестерни лошадей и ливреи. Пропало и состраданіе къ Рѣчи-Посполитой. Никто не озаботится поддержаніемъ крѣпостей и стѣнъ. Рѣчь-Посполитая становится убогою, богатѣютъ лишь отдѣльные дома. Завелось такое казнокрадство, что почти безъ зазрѣнія совѣсти хранители казны смазываютъ общественнымъ грошемъ свои руки, такъ что лишь половина податей, взимаемыхъ съ мѣщанъ и крестьянъ, доходитъ по назначенію. Кто исчислитъ всѣ клеветы, ябеды, обманы и измѣны въ судахъ? всѣ кровосмѣшенія, прелюбодѣянія и лжесвидѣтельства? А этотъ кровавый потъ живыхъ подданныхъ или крестьянъ, который льется безпрестанно, не накликаетъ ли онъ кару Божью на все государство?.. По какому праву кмети вольные, Поляки и христіане убогіе обращаются въ крѣпостныхъ, какъ будто бы они были купленные невольники или военноплѣнные? По какому праву помѣщики дѣлаютъ съ ними, что̀ хотятъ? Почему эти люди не имѣютъ ни защиты, ни суда, который бы охранялъ ихъ жизнь, здоровье и собственность? Почему мы распространяемъ на нихъ *supremum dominum*, котораго сами для себя терпѣть не можемъ? Зачѣмъ обращаться съ ними какъ съ невольниками, а не какъ съ наймитами? На твоей землѣ сидитъ крестьянинъ и не дѣлаетъ того, что́ долженъ; прогони его съ твоей пашни, но не отнимай у него свободы прирожденной и христіанской и не становись верховнымъ властителемъ его здоровья и живота, помимо всякаго суда“... Скарга зналъ, что его политическіе совѣты противны духу времени и приняты не будутъ, сердце его переполняется скорбію, уста его произносятъ слова, полныя гнѣва и поражающія какъ громъ; съ ясновидѣніемъ древняго пророка предрекаетъ онъ гибель своему отечеству: „Что мнѣ дѣлать съ тобой, бѣдное государство? Если бы я былъ Исаія, то я бы ходилъ нагъ и босъ, взывая къ вамъ, преступники и преступницы закона Божія! Стѣны вашей Рѣчи-Посполитой трескаются безпрестанно, а вы говорите: ничего, пустяки. *Польша держится безначаліемъ* (nierządem). Вы не понимаете, что нельзя Польшѣ держаться безначаліемъ, что это противно разуму. Безначаліемъ и безпечностью все валится и падаетъ, а такъ какъ безначаліе проистекаетъ отъ слѣпоты грѣховной, то вышло

бы, что Польша держится грѣхами, и уходитъ какъ-то отъ божьяго наказанія. Она падетъ, когда вы и чаять не будете, и всѣхъ васъ раздавитъ развалинами. Если бы я былъ Іеремія, я бы надѣлъ оковы на ноги и узы на шею и возопилъ бы къ вамъ грѣшнымъ: такимъ образомъ скованы будутъ старѣйшины ваши; и показалъ бы я изгнившую одежду, и, встряхнувъ ее, сказалъ бы: такъ испортится и въ ничтожество обратится ваша слава и всѣ ваши достатки и имущества" (8-е Kazanie sejmowe; Wzywanie do pokuty). „Наступитъ на васъ врагъ внѣшній; воспользовавшись вашими распрями, скажетъ: раздѣлилось сердце ихъ, теперь они погибнутъ. Эти раздоры заведутъ васъ въ плѣнъ, въ которомъ всѣ вольности ваши утонутъ и въ смѣхъ обратятся. Земли и княжества великія, которыя соединились и въ одно тѣло срослись съ короною, отпадутъ и разорвутся; вы, управлявшіе нѣкогда другими народами, будете на подобіе вдовицы осиротѣлой, посмѣшищемъ и игрушкою враговъ вашихъ. Вы погубите народъ вашъ и языкъ, единственный свободный между всѣми славянскими языками; вы растеряете остатки этого народа, столь древняго и столь широко разросшагося, и поглощены будете другими народами, которые васъ ненавидятъ. Вы лишитесь не только государя изъ крови вашей и права избирать его, но и королевства и отечества; вы станете нищими изгнанниками, презрѣнными бродягами, которые будутъ попираемы ногами тамъ, гдѣ ихъ прежде превозносили и славили. Вамъ ли стяжать другое отечество, въ которомъ бы вы могли имѣть такіе достатки, деньги, сокровища и удовольствія? Возможно ли, чтобы для васъ и для дѣтей вашихъ родилась другая такая же мать? Если вы настоящую потеряете, то другой такой же вамъ и не вообразить" (3-е Kazanie sejmowe).

Скаргою заключается достойнымъ образомъ золотой періодъ польской литературы; онъ довелъ прозу польскую до высокой степени совершенства, но, по справедливому замѣчанію Мацѣевскаго (Piśmien., II, 359), никто изъ писателей польскихъ не содѣйствовалъ болѣе его построенію рѣчи польской на ладъ латинскій, никто болѣе Скарги не вводилъ въ синтаксисъ чисто латинскихъ оборотовъ. Къ Скаргѣ, какъ проповѣднику, примыкаютъ Кристофоръ Варшевицкій (1524—1603) и Іосифъ Верещинскій, сѣцеховскій аббатъ, епископъ кіевскій (ум. 1599; его проповѣди собраны и изданы 1854 въ Петербургѣ Головинскимъ; всѣ прочія сочиненія въ библ. Туровскаго).

Прежде, нежели разстаться съ золотымъ вѣкомъ, бросимъ бѣглый взглядъ на польскую исторіографію того времени. Историковъ польскихъ можно раздѣлить на писавшихъ по-латыни и по-польски. Писавшіе по латыни подраздѣляются на компиляторовъ, сокращавшихъ труды предшественниковъ и пытавшихся составить прагматическую систему на-

ціональной исторіи, и на историковъ-очевидцевъ, съ первой руки разсказывающихъ событія, въ которыхъ они сами принимали участіе или которыя совершались по крайней мѣрѣ на ихъ памяти, на ихъ глазахъ. Къ первому классу принадлежатъ: астрологъ Мѣховита (ум. 1523), ополячившійся Нѣмецъ изъ Эльзаса Децій (ум. послѣ 1576), ученый астрономъ и священникъ Бернатъ Ваповскій (ум. 1535), епископъ вармійскій (эрмеландскій) Мартинъ Кромеръ (1512—1589). Между писателями второго класса особенно замѣчательны два лица: Свентославъ Оржельскій и Райнгольдъ Гейденштейнъ. Оржельскій (род. 1549, ум. послѣ 1588) составилъ съ замѣчательнымъ талантомъ исторію четырехъ лѣтъ (1572—1576), отъ смерти Сигизмунда-Августа до избранія Баторія, въ теченіи которыхъ Польша окончательно превратилась въ монархію избирательную: Interregni Poloniae libri VIII. Гейденштейнъ (1566—1620) былъ секретаремъ у Яна Замойскаго и Стефана Баторія и сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ оффиціальнаго исторіографа, потому что Замойскій, замѣтивъ въ немъ необыкновенныя способности, поручилъ ему описать событія войны Баторія съ Москвою и другія, затѣмъ слѣдовавшія, и самъ вѣроятно продиктовалъ ему и добавилъ многое. Рядъ историковъ, писавшихъ по-польски, начинается съ дворянъ Бѣльскихъ или Вольскихъ. Изъ нихъ отецъ, Мартинъ (1495—1575), сдѣлалъ первый опытъ начертанія всеобщей исторіи отъ созданія міра, подъ заглавіемъ „Kronika świata", а сынъ его Іоахимъ (ум. 1599), взявъ ту часть хроники отцовской, которая относится къ Польшѣ, передѣлалъ ее и издалъ подъ названіемъ „Kronika polska". Лука Гурницкій (во второй половинѣ XVI вѣка) писалъ *Dzieje w Koronie Polskiej*, родъ мемуаровъ о дворѣ королевскомъ при Сигизмундѣ-Августѣ, но онъ гораздо болѣе извѣстенъ по своему дидактическому сочиненію *Dworzanin polski*, написанному въ подражаніе итальянской книгѣ Бальтазара Кастильоне, Libri del Cortegiano. Гурницкій даетъ своему трактату слѣдующую рамку. Онъ представляетъ, что на мызѣ епископа краковскаго и канцлера Самуила Мацѣёвскаго, близъ Кракова, собрались дворяне епископа и для препровожденія времени задаются вопросомъ, какими качествами долженъ быть надѣленъ придворный человѣкъ идеальный, то-есть такой, какимъ ему слѣдуетъ быть? Каждый говоритъ по очереди, другіе возражаютъ; все сочиненіе состоитъ изъ подобныхъ разговоровъ. Бартошъ (Варѳоломей) Папроцкій, герба Ястржембецъ изъ Мазовіи (ум. 1614), проторилъ новую стезю въ литературѣ своими геральдическими изслѣдованіями объ отдѣльныхъ знаменитѣйшихъ родахъ польской шляхты: *Herby rycerstwa polskiego*, Kraków, 1584. Совершенно отдѣльно отъ другихъ стоитъ весьма оригинальный писатель Матвѣй Осостовичъ Стрыйковскій (Maciej Osostowicjusz Prekonides Stryjkowski, род. 1547, ум. въ

восьмидесятыхъ годахъ XVI столѣтія). Хотя онъ былъ родомъ Мазуръ, но, переселившись въ Литву, онъ до того пристрастился къ новому своему отечеству, что сталъ жалѣть о потерѣ Литвою отдѣльнаго политическаго существованія и о томъ, что она покрылась сверху слоемъ польской цивилизаціи и рѣшился увѣковѣчить въ литературѣ остатки пропадающей съ каждымъ днемъ старины древне-литовской. Задача была прекрасная, но не по силамъ Стрыйковскому, который не имѣлъ достаточно ни критики, ни научной подготовки; — онъ имѣлъ за то два качества, которыя сообщаютъ его труду цѣну необыкновенную: любознательность и усидчивость. Онъ научился языкамъ русскому и литовскому, изъѣздилъ всю Литву и Ливонію, обозрѣлъ мѣста побоищъ, арсеналы, раскапывалъ курганы и городища, осмотрѣлъ множество зàмковъ и церквей, однимъ словомъ—былъ первымъ археологомъ литовскимъ. Всѣ разнообразныя, добытыя такимъ образомъ свѣдѣнія онъ изложилъ безъ всякой системы, стихами и прозою, перемѣшивая факты исторіи литовской съ событіями своей собственной жизни и пересыпая ихъ порядочною дозою самохвальства въ сочиненіи, которому онъ далъ шумное названіе „невиданной до сихъ поръ хроники польской, литовской, русской“ и т. д.: Kronika polska, litewska, źmudzka i wszystkiej Rusi kijowskiej, moskiewskiej, siewierskiej, wołyńskiej, podolskiej, podgórskiej, i podlaskiej, która przedtem nigdy świata nie widziala. Królewiec, 1582.

---

3. Періодъ іезуитскій макароническій (1606—1764).

Во всей европейской исторіи вѣкъ XVII и первая половина XVIII представляютъ время переходное, а потому весьма безцвѣтное и малохарактерное [1]). Послѣ языческаго Возрожденія, которое соединило на одинъ моментъ въ искусствѣ двѣ культуры и изъ средневѣковой заимствовало ея религіозныя вѣрованія только какъ эстетическіе мотивы, прошла Реформація—сильное оживленіе вновь религіознаго чувства, запечатлѣннаго страстною нетерпимостью. Вездѣ реформація подѣйствовала какъ ферментъ въ процессѣ химическихъ соединеній; если она задержала свободное спокойное умственное развитіе общества, то она же ускорила стоявшія на череду политическія и соціальныя метаморфозы: въ Англіи окончательное торжество аристократической пар-

[1]) Ant. Walewski, Historya wyzwolonej R-ptej za panowania Jana Kazimierza. Kraków, 1870—72, 2 tomy; Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III. Kraków, 1874;— Karm. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od smierci Jana III. Poznań, 1856;—Dzieje panowania Augusta II od wstąpienia Karola XII na ziemię polską. Poznań, 1874.

ламентской системы, на материкѣ западно-европейскомъ—королевской власти, въ Польшѣ—шляхетскаго народоправства. Въ Европѣ слагаются самодержавные порядки, личная самодѣятельность заключается въ самые узкіе предѣлы, свобода съужена, выигрываетъ равенство; политика становится дѣломъ исключительно правительственнымъ, кабинетнымъ; точно также спеціализируется и наука, подготовляющая въ уединеніи и вдали отъ дѣлъ общественныхъ тѣ успѣхи знанія, которыми ознаменованы новѣйшія времена. Посредствомъ этой строгой дрессировки отдѣльнаго лица, созидались демократическія условія жизни современнаго общества. Опередившая во многихъ отношеніяхъ, и по учрежденіямъ, и даже по образованности западно-европейскія государства, Польша пошла по діаметрально-противоположному направленію, къ застою, окостенѣнію, упадку. Наибольшая свобода для каждаго члена шляхетскаго народа достигнута, идеалъ осуществленъ, остается только оберегать пріобрѣтенное. Всѣ силы и способности поглощаетъ жизнь общественная, но она безъ задачъ; внѣ ея, мало интересуютъ наука и искусство, разсматриваемыя какъ развлеченія. Консерватизмъ въ отношеніяхъ повелъ и къ консерватизму въ идеяхъ, къ возврату къ церковному, къ религіи, основанной на авторитетѣ, приложенной къ шляхетскому народоправству, главнымъ дѣломъ считающей обрядность и не прощающей одного только вольномыслія.

Великіе люди перевелись, характеры измельчали, отечество Коперника не можетъ похвалиться ни однимъ ученымъ, пульсъ бьетъ все тише и тише, есть цѣлыя царствованія (напр. Августа III) прошедшія изо-дня въ день безъ историковъ, которые бы осмыслили происходившее. Вслѣдствіе такого застоя, Польша и очутилась во второй половинѣ XVIII вѣка колоссальнымъ анахронизмомъ въ современной Европѣ, между великими западно-европейскими централизованными организмами и подростающею Россіею. Ея учрежденія были прямо противны самодержавнымъ системамъ управленія. Почти китайская косность въ понятіяхъ привязаннаго къ этимъ учрежденіямъ общества отталкивала революціонныхъ мыслителей. Духъ обновленія проникъ въ это общество, но слишкомъ поздно, когда оно было на краю гибели. Намъ надо прослѣдить ступени, по которымъ оно шло къ этой роковой гибели, а потомъ отмѣтить признаки стремленій къ лучшему, которые пріобрѣтаютъ большое значеніе въ слѣдующемъ періодѣ.

Некрасивы итоги царствованія Сигизмунда III Вазы. Этотъ король, подражатель Филиппу II, проникнутый идеями о власти по божескому праву, связался по политическимъ мотивамъ съ Австріею, давалъ ей въ помощь польскихъ Лисовчиковъ или Элеаровъ (1619) на подавленіе Чеховъ и Мадьяръ (30-лѣтняя война). Его московская политика провела кровавую полосу между двумя славянскими наро-

дами. Затѣянная при участіи его унія Брестская (1595) осталась недодѣланною, безъ равноправности съ католицизмомъ, безъ достаточной поддержки и устоевъ въ простого званія мірянахъ и въ дворянствѣ, которое предпочло обращаться прямо въ католицизмъ. Его отношенія къ Швеціи запутали Польшу въ войну съ Густавомъ-Адольфомъ, въ которой потеряны Рига и Лифляндія (1621). Несмотря на то, что по религіознымъ мотивамъ король возился съ мыслью о турецкой войнѣ, въ его царствованіе шибко шло закрѣпощеніе украинскаго народа и подавленіе козаковъ, за ихъ набѣги на Турцію и Татаръ. Его абсолютистическіе пріемы дѣлали власть его непопулярною, а эта непопулярность и подозрительность шляхты сдѣлались камнемъ преткновенія, о который разбились широкіе, но крайне фантастическіе замыслы сына его Владислава IV (1632 — 1648). Новый король, помирившійся съ Москвою (1634) и Швеціею (1635), при содѣйствіи итальянца Типоло, въ союзѣ съ Венеціею затѣялъ турецкую войну. Въ этомъ предпріятіи должно было участвовать цѣнимое Владиславомъ по достоинству козачество. Между королемъ и казаками состоялись тайныя соглашенія, на средства короля вербовались войска. Оппозиція на сеймѣ 1646 г. обратила ни во что начатое, король обязанъ былъ распустить войска и удалить иноземцевъ. Война турецкая была единственнымъ средствомъ предупредить давно назрѣвшее народное движеніе въ Украйнѣ; теперь это движеніе вспыхнуло подъ вождемъ Богданомъ Хмѣльницкимъ, почти одновременно со смертью короля (1648). Оно разыгрывается при его преемникѣ, послѣднемъ изъ Вазовъ, Янѣ-Казимірѣ, съ ужасающею быстротою, обнажая съ полною очевидностью уродливость общественнаго и непрочность политическаго строя.

Движеніе было главнымъ образомъ соціальное, народность и религія входили въ него какъ второстепенные мотивы; оно не только подняло на ноги весь украинскій простой людъ, но откликнулось до Карпатскихъ горъ и въ Велико-Польшѣ въ видѣ бунтовъ крестьянскихъ; самъ Хмѣльницкій не могъ съ нимъ совладать, и послѣ колебаній между Польшею, Турціею и Московскимъ государствомъ подчинилъ Украйну послѣднему. Своими легкими побѣдами онъ открылъ дорогу въ сердце Польши почти одновременно (1655) войскамъ царя Алексѣя Михайловича и смѣлаго авантюриста Карла-Густава шведскаго, который явился какъ непрошенный покровитель диссидентовъ, навязывающійся въ защитники отъ Москвы и козаковъ. Король долженъ былъ бѣжать въ Силезію. Шведы держали Краковъ и Варшаву, московскія войска Вильно и Минскъ, Хмѣльницкій осаждалъ Львовъ. Столь же быстро, какъ паденіе, совершилась и реставрація посредствомъ партизановъ и Тышовецкой конфедераціи, образованной для защиты вѣры и отечества. Все движеніе шляхетское, возстановившее

короля, запечатлѣно религіознымъ характеромъ и патріотическою ненавистью къ иностранцу. Въ тяжелую годину испытаній сознаваема была необходимость измѣнить форму правленія, дѣлаемы были обѣты улучшить тяжелую участь крестьянскаго состоянія. Эти благія намѣренія перезабыты при измѣнившихся обстоятельствахъ; имъ также не суждено было осуществиться, какъ и Гадячской сдѣлкѣ съ козаками при Выговскомъ (1658), по которой православіе предполагалось уравнять съ католицизмомъ съ пожертвованіемъ ему уніи, ввести въ сенатъ православныхъ епископовъ, наконецъ козаковъ и Русь сдѣлать третьимъ членомъ въ польско-литовскомъ государствѣ. Мирныя отношенія къ сосѣдямъ возстановлены (Оливскій трактатъ 1660, Андрусовскій 1667, еще раньше Велавскій 1657, которымъ электоръ бранденбургскій освободился отъ вассальныхъ отношеній и сдѣлался полнымъ собственникомъ восточной Пруссіи); но внутренняя неурядица возобновилась по поводу задуманныхъ бездѣтнымъ королемъ и женою его, француженкою Маріею-Луизою, плановъ реформы по французскому образцу, первымъ шагомъ къ чему должно было служить обезпеченіе избранія въ короли знаменитому принцу Конде. Суду и осужденію на сеймѣ подвергся разстроившій эти планы глава оппозиціи, князь Юрій Любомірскій; за него вступилась шляхта; изъ-за частной обиды магната началась упорная междоусобная война, кончившаяся пораженіемъ королевской власти. Король отказался отъ престола. При новой элекціи шляхетскій демосъ разстроиваетъ всѣ интриги роялистовъ и французскаго, и австрійскаго оттѣнковъ, избирая въ короли никому до того невѣдомаго кандидата Пяста, кость отъ костей своихъ, Михаила Вишневецкаго, сына завзятѣйшаго врага козаковъ Іереміи, короля, въ pacta conventa котораго включила она условіе, чтобы отъ престола онъ не отрекался.

Новый избранникъ оказался совершеннымъ ничтожествомъ. Въ его царствованіе среди раздирающихъ государство конфедерацій Голубской за короля противъ магнатовъ, войсковой за гетмановъ противъ шляхетскаго демоса, Польша испытала, въ 1672, величайшій позоръ въ своей исторіи: потерю (на 27 лѣтъ — до карловицкаго трактата 1699 г.) Каменца, отдачу Туркамъ его съ Украйною и Подоліею по миру Бучацкому, данничество короля польскаго падишаху. Позоръ этотъ смытъ былъ слѣдующимъ за тѣмъ королемъ Пястомъ, Яномъ III Собѣскимъ (1674—1696). Внутреннихъ отношеній въ Польшѣ Собѣскій не поправилъ; его побѣды были въ этомъ отношеніи безплодны; даже его внѣшняя политика не лишена своекорыстныхъ династическихъ разсчетовъ и колебаній между Австріею, съ которою онъ связалъ свои династическіе интересы, и Франціею, къ которой влекло его воспитаніе; самъ вѣнскій походъ 1683 былъ столько же христіанскій подвигъ, сколько и ударъ, нанесенный на Дунаѣ политикѣ Людовика XIV, сто-

явшаго заодно съ султаномъ. Тѣмъ не менѣе цѣлый рядъ войнъ съ Турціею и походовъ въ теченіи полутора десятка лѣтъ,—дѣло какъ личное короля, такъ и всего народа, съ увлеченіемъ и сознательно исполнявшаго свое призваніе постоять за христіанство, быть его брустверомъ (antemurale christianitatis). Мотивы увлеченія были преимущественно религіозные, въ немъ проявилась положительная сторона того возрожденія римскаго католицизма, которымъ ознаменованъ въ Польшѣ XVII вѣкъ; имъ она и обязана послѣдними имѣющими всемірно-историческое значеніе страницами своей исторіи, славою нанесенія грозной турецкой силѣ рѣшительныхъ ударовъ, съ которыхъ и начинается паденіе Турціи. Эта слава не покрываетъ явленій печальныхъ: по приговору сейма 1689 свершилось въ Варшавѣ auto-da-fe: шляхтичъ Лыщинскій сожженъ за атеизмъ; лаврами увѣнчанный король извѣрился въ людей, поддался своекорыстной женѣ Маріи-Казимірѣ, конецъ его жизни ознаменованъ продажничествомъ, копленіемъ денегъ для обезпеченія престола дѣтямъ, раздорами въ этой семьѣ. Кандидатура Собѣскихъ сдѣлалось невозможна, но вмѣстѣ съ тѣмъ корона поступила въ полномъ смыслѣ слова въ продажу съ аукціона: завладѣть ею долженъ былъ тотъ изъ иностранныхъ соискателей, который завербуетъ больше сторонниковъ и предупредитъ другихъ занятіемъ престола. Такимъ ловкимъ покупщикомъ явился подражатель Людовика XIV, саксонскій курфирстъ Августъ II, который принялъ католицизмъ и подписалъ pacta conventa съ тѣмъ, чтобы ихъ совсѣмъ не исполнять. Ни одинъ изъ королей не оказывалъ такого презрѣнія въ конституціоннымъ формамъ, ни одинъ не стремился столь открыто къ самовластью, опираясь на свои саксонскія войска, которыя онъ держалъ вопреки конституціи въ предѣлахъ Рѣчи-Посполитой. Король заключалъ трактаты помимо Рѣчи-Посполитой, запуталъ ее и втянулъ въ Сѣверную войну, переговаривался о раздѣлѣ ея съ Россіею и Пруссіею. Главный театръ Сѣверной войны—Польша была разорена изъ конца въ конецъ иностранными войсками. Послѣ пораженія Карла XII шляхта образовала (1715) Тарногродскую конфедерацію, чтобы заставить короля вывести изъ Польши саксонскія войска. Конфедерація обратилась для охраненія вольностей шляхетскихъ къ посредничеству Петра Великаго. При посредничествѣ этомъ состоялось варшавское соглашеніе (1717), по которому король обязался не только вывести Саксонцевъ, но и численность регулярныхъ войскъ Рѣчи-Посполитой ограничена числомъ 24,000 ч. Съ этого момента Польша фактически перестаетъ быть государствомъ самостоятельнымъ. — Слѣдующая затѣмъ элекція и всѣ позднѣйшія совершались при дѣятельномъ участіи иностранной вооруженной силы. Новый король Августъ III, обязанный русскимъ штыкамъ устраненіемъ французскаго кандидата Станислава Ле-

щинскаго, слѣдовалъ правилу полной уступчивости въ отношеніи къ Россіи, чѣмъ и доставилъ Польшѣ спокойствіе, цѣною достоинства и самостоятельности народа. Чего нельзя было купить у полновластнаго королевскаго министра Брюля, то можно было выхлопотать по протекціи чрезъ Петербургъ. Туда и стали забѣгать честолюбивѣйшіе и предпріимчивѣйшіе изъ искателей мѣстъ и должностей. Патологическій процессъ разложенія государства подвигался быстро впередъ, начиная съ оконечностей, съ общественныхъ вершинъ.

Мы старались объяснить, почему застой въ жизни польскаго общества былъ полный и одинаково распространялся и на область политической и общественной жизни, и на область умственнаго развитія. На всемъ этомъ періодѣ тяжелымъ камнемъ лежитъ печать воспитанія іезуитскаго. Чтобы объяснить успѣхи іезуитовъ на этомъ поприщѣ, надо вернуться назадъ, къ эпохѣ реформаціи, и указать на обстоятельства, облегчавшія эти успѣхи. Академія краковская съ своими многочисленными филіальными школами находилась въ состояніи оцѣпенѣнія, застоя, упадка; боясь нововведеній, она прервала всѣ связи съ заграничными учеными, ея матеріальныя средства уменьшились, потому что многія доходныя статьи перешли въ руки протестантовъ. Возникло множество протестантскихъ училищъ, низшихъ и среднихъ, въ которыхъ выписанные бо́льшею частью изъ-за границы ученые преподавали въ новомъ духѣ, по новымъ методамъ, но въ которыхъ преподаваніе подчинено было цѣлямъ и видамъ односторонней, узкой, сектаторской пропаганды. Лютеранскія школы процвѣтали главнымъ образомъ на сѣверѣ, въ земляхъ прусскихъ, принадлежавшихъ нѣкогда ордену: Кульмѣ, Торнѣ, Данцигѣ. При Сигизмундѣ-Августѣ вассалу Польши, князю прусскому Альбрехту, удалось устроить въ Кенигсбергѣ академію или университетъ; этотъ университетъ былъ по духу лютеранскій, а по языку преподаванія первоначально польскій, потомъ въ XVII вѣкѣ онъ онѣмечился и не могъ имѣть почти никакого вліянія на ходъ образованія въ Польшѣ. Моравскіе (чешскіе) братья имѣли знаменитыя школы свои въ велико-польскихъ городахъ Лешнѣ и Козьминкѣ, кальвинисты въ Вильнѣ. Аріане или социніане, гнѣздившіеся преимущественно въ Малой-Польшѣ, завели свои высшія училища и типографію сначала въ Пиньчовѣ (надъ Нидою), потомъ въ Левартовѣ (надъ Вепржемъ) и въ особенности съ конца XVI столѣтія въ Раковѣ (недалеко отъ Сендоміра). Этотъ городъ, спеціально для нихъ выстроенный фамиліею Сѣниньскихъ, сталъ средоточіемъ всѣхъ крайнихъ протестантскихъ сектъ, проповѣдывавшихъ чистый теизмъ или доходившихъ даже до атеизма (унитаріи, антитринитаріи, анабаптисты, и др.), и слылъ у нихъ подъ названіемъ сарматскихъ Аѳинъ. Академія краковская не въ силахъ была

бороться съ размножающимися учебными заведеніями протестантства. Для борьбы съ ними высшее духовенство польское вызвало и акклимитизировало въ Польшѣ орденъ іезуитовъ. Епископъ вармійскій, кардиналъ Гозій (Hosius) учредилъ первое въ Польшѣ іезуитское *collegium* въ Брунсбергѣ въ 1564 г.; вслѣдъ затѣмъ епископъ плоцкій Носковскій учредилъ вторую коллегію въ Пултускѣ, третью въ Вильнѣ епископъ Валеріанъ Протасовичъ. Примѣру епископовъ послѣдовали свѣтскіе ревнители и ревнительницы католицизма, дѣлая богатыя пожертвованія и записи въ пользу іезуитовъ; такимъ образомъ возникли коллегіи въ Ярославлѣ (въ Червонной-Руси), въ Познани, Калишѣ, Люблинѣ, Львовѣ, Ригѣ, Дерптѣ, Данцигѣ, Полоцкѣ, Несвижѣ, Варшавѣ. При всѣхъ коллегіяхъ состояли школы, на которыя обращено было особенное вниманіе ордена. Устройство этихъ школъ представляетъ примѣръ неслыханной нигдѣ до тѣхъ поръ централизаціи. Онѣ были устроены однообразно; малѣйшее отступленіе отъ общаго плана требовало особаго разрѣшенія пребывающаго въ Римѣ и облеченнаго диктаторскою властью генерала ордена. Преподаваніе было въ полномъ смыслѣ слова космополитическое, внѣ всѣхъ условій мѣста и времени, вполнѣ подчиненное одной только идеѣ всемірнаго господства римско-католической церкви — одно и тоже въ Италіи, Испаніи, Австріи и Польшѣ; какимъ оно было задумано основателемъ іезуитской педагогики и сподвижникомъ Лойолы Петромъ Канизіемъ, такимъ почти оно и осталось до паденія ордена. Оно пренебрегало народною мѣстною литературою и новѣйшей исторіей, науками общественными и естествознаніемъ. Главнымъ предметомъ его заботы былъ языкъ церкви римско-католической, то-есть языкъ латинскій и римская литература, тщательно очищенная отъ всякихъ идей, несогласныхъ съ церковной ортодоксіей (всѣ классики изучаемы были по такъ называемымъ editiones castigatae). Ученикъ изучалъ въ двухъ низшихъ классахъ (infima и grammática) основанія латинскаго языка по знаменитому учебнику іезуита Альвара; въ 3-мъ классѣ (syntaxis) онъ оканчивалъ грамматику; въ 4-мъ классѣ (poësis) онъ выучивался свободно читать и понимать труднѣйшихъ прозаиковъ (въ особенности Цицерона) и поэтовъ латинскихъ; въ 5-мъ классѣ (rhetorica) онъ былъ занятъ теоріею краснорѣчія, вспомогательными науками и упражненіями въ стилистикѣ. Сверхъ этихъ пяти классовъ, при нѣкоторыхъ важнѣйшихъ коллегіяхъ состояли еще два высшіе курса: философскій (философія преподавалась преимущественно по Аристотелю) и богословскій (въ которомъ господствовалъ авторитетъ св. Ѳомы Аквината). Замкнувъ ученіе въ самую узкую рамку, іезуиты старались, чтобы это немногое усвоено было учениками въ совершенствѣ (non multa sed multum), прилагали всевозможныя старанія къ

приготовленію хорошихъ учителей; всякаго молодого человѣка блестящихъ способностей они старались привлечь въ свой орденъ, а всякій, вступившій въ братство, прежде достиженія высшей степени профессора, долженъ былъ начинать свою дѣятельность съ учительскихъ занятій. Іезуиты старались возбуждать и поддерживать соревнованіе между учениками посредствомъ наградъ, повышеній, диспутовъ, съ учениками обходились гуманно, мягко, въ особенности съ дѣтьми знатныхъ и богатыхъ родителей, шалостямъ которыхъ они не разъ оказывали поблажку; вообще въ ихъ школахъ вѣялъ духъ аристократизма и съ раннихъ лѣтъ наблюдалось начало неравенства состояній. Хотя главнымъ образомъ орденъ одолженъ былъ своимъ распространеніемъ въ Польшѣ королевской власти, но онъ скоро понялъ, что не королевская власть составляетъ главное въ государствѣ, и старался примкнуть къ вельможеству, снискать съ этой стороны поддержку. О народномъ воспитаніи орденъ не заботился нисколько и элементарныхъ школъ не заводилъ вовсе. Со времени введенія ордена въ Польшу, онъ стремился къ тому, чтобы основать здѣсь свой особый университетъ, съ правомъ раздачи ученыхъ степеней, чего онъ и достигъ въ 1579 году, когда Стефанъ Баторій подписалъ грамоту на учрежденіе въ Вильнѣ іезуитской академіи изъ двухъ факультетовъ: философскаго и богословскаго. Къ этимъ факультетамъ, стараніями подканцлерія литовскаго Казиміра-Льва Сапѣги и на пожертвованныя имъ деньги, присоединенъ былъ въ 1644 г. третій факультетъ, юридическій, который, впрочемъ, держался не долго и упалъ тотчасъ по смерти его основателя. Іезуиты содержали 4 collegia nobilia — въ Варшавѣ, Острогѣ, Львовѣ и Витебскѣ, и 55 среднихъ школъ.

Пустивъ глубокіе корни въ народѣ, іезуиты открыли на всѣхъ пунктахъ государства упорную войну противъ училищъ протестантскихъ. Они старались дѣйствовать на публику и привлекали ее великолѣпіемъ торжественныхъ процессій, разнообразіемъ сценическихъ представленій, публичными диспутами, на которые они вызывали протестантовъ. Чего не могла сдѣлать пропаганда, то довершалось насиліемъ: во многихъ городахъ сборы (церкви протестантскія) были разрушаемы народомъ по наущенію іезуитовъ, школы были разгоняемы учениками іезуитскими, и на это насиліе нельзя было нигдѣ найти ни суда, ни управы. Большая часть учебныхъ заведеній лютеранскихъ и кальвинистскихъ пропадаетъ совсѣмъ; множество народныхъ элементарныхъ училищъ, которыхъ число въ XVI столѣтіи Іосифъ Лукашевичъ (Historya szkół w Koronie i W. X. Litewsk. I, 1849) доводитъ до 1500 съ 30,000 учащихся, исчезаетъ безслѣдно. Школа аріанъ въ Раковѣ была закрыта въ 1638, по распоряженію сейма, наконецъ всѣ аріане изгнаны изъ Рѣчи-Посполитой закономъ 1658 года.

Первоначально краковская академія была рада іезуитамъ, находя въ нихъ дѣятельныхъ поборниковъ католицизма, но вскорѣ ученая корпорація ужаснулась быстрымъ успѣхамъ своихъ союзниковъ и стала оспоривать у нихъ право основывать школы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже существовали заведенія, подвѣдомственныя академіи краковской. Академія не допустила іезуитамъ открыть въ Познани высшее училище на ряду съ академическою школою Любраньскаго; но іезуитамъ удалось основать въ 1622 свою школу св. Петра въ самомъ Краковѣ. Въ страстной полемикѣ, которой далъ начало этотъ споръ [1]), академія была не права и руководствовалась только одною эгоистическою завистью; воюя съ іезуитами, она сама въ научномъ отношеніи подражала іезуитамъ и завела въ своихъ учебныхъ заведеніяхъ методы преподаванія іезуитскіе. Вліяніе іезуитовъ было столь огромное и повсемѣстное, что оно простиралось даже на ихъ религіозныхъ противниковъ. Всѣ главнѣйшіе православные противники уніи вышли изъ школъ іезуитскихъ, да и планъ преподаванія въ кіевской академіи, основанной въ первой половинѣ XVII вѣка Петромъ Могилою и послужившей образцомъ для всѣхъ духовныхъ учебныхъ заведеній въ Россіи, былъ чисто іезуитскій. Односторонность іезуитскаго воспитанія, не имѣвшаго никакой связи съ общественною жизнью и готовившаго не гражданъ, но поборниковъ католицизма, не могла не поражать лучшихъ и проницательнѣйшихъ людей въ Польшѣ; впрочемъ, всѣ попытки реакціи, имѣвшія цѣлью поколебать систему ордена, оставались безуспѣшны до самаго XVIII столѣтія. Къ такимъ попыткамъ слѣдуетъ отнести основаніе академіи Замойской и появленіе въ Польшѣ новаго воспитательнаго ордена—піаристовъ. Канцлеръ Янъ Замойскій основалъ въ 1595 г. своими частными средствами особую академію въ своей вотчинѣ Замосьцѣ. Хотя онъ былъ весьма богатый че-

---

[1]) Замѣчательнѣйшее изъ сочиненій, родившихся среди этой полемики и направленныхъ противъ іезуитовъ было: «Gratis albo Discurs ziemianina z plebanem», 1626, написанное знаменитымъ математикомъ Яномъ Бржоскимъ (Broscius). Приведемъ изъ него отрывокъ: Іезуиты все время употребляютъ на ученіе дѣтей претрудной грамматикѣ Альвара по такимъ причинамъ: a) чтобы какъ можно больше брать денегъ съ родителей; b) чтобы на свой ладъ дрессировать молодыхъ волчатъ; c) чтобы уразумѣть характеры дѣтей; d) на случай, если родители захотятъ взять назадъ дитя, чтобы имѣть готовую отговорку: пускай оно изучитъ по крайней мѣрѣ грамматику — основаніе всѣхъ знаній; e) чтобы удержать учащихся до зрѣлаго возраста въ школѣ, послѣ чего если взрослый ученикъ остеръ, порядоченъ, если онъ надѣется получить наслѣдство или пособіе отъ родныхъ, то отцы стараются всячески втянуть его въ свою компанію; если же ученикъ тупъ, и не хочетъ учиться или не хочетъ у нихъ остаться, то они пускаютъ его на свободу. Куда же дѣваться усатому школяру? пристать на службу къ знатному барину? онъ на то слишкомъ простъ и глупъ. Учиться какимъ либо наукамъ? время прошло. Учиться ремеслу? стыдно. Онъ и обращается къ отцамъ и упрашиваетъ ихъ, чтобы они его пристроили. Они его и помѣщаютъ надзирателемъ или писаремъ у кого-нибудь изъ своихъ благодѣтелей, или капелланомъ, или приходскимъ священникомъ, послѣ чего они его употребляютъ въ смыслѣ орудія для своихъ цѣлей и интересовъ.

ловѣкъ, но все же приличное содержаніе академіи было ему одному не по силамъ; вотъ почему съ самаго основанія своего новая академія не могла идти успѣшно по скудости жалованья для учащихъ и по недостаточности учебныхъ пособій. Профессора голодали, ученикамъ негдѣ было помѣщаться. Опытные люди совѣтовали канцлеру открыть одинъ только факультетъ философскій, онъ открылъ три факультета: философскій, медицинскій и юридическій, изъ которыхъ особенно заботился о послѣднемъ. Взглядъ канцлера на тогдашнее законовѣдѣніе былъ весьма здравый и вѣрный; канцлеръ былъ недоволенъ преобладаніемъ каноническаго права и пренебреженіемъ, оказываемымъ римскому праву въ университетѣ краковскомъ; онъ рѣшился притомъ расширить преподаваніе отечественнаго законодательства, которое ограничивалось однимъ только земскимъ правомъ (шляхты), дополнивъ его изученіемъ городского права. Главнымъ лицомъ въ юридическомъ факультетѣ былъ Ѳома Дрезнеръ, отличный знатокъ римскаго права, преподававшій законовѣдѣніе по методу сравнительному. Академія замойская дѣйствовала съ успѣхомъ очень не долго, и вскорѣ послѣ смерти Яна Замойскаго пришла въ совершенный упадокъ, подчинилась академіи краковской, и стала однимъ изъ филіальныхъ заведеній этой послѣдней. Основателемъ ордена піаристовъ (patres scholarum piarum) былъ Калазанца (Josephus de Calasanza, ум. въ Римѣ, 1648). Орденъ исключительно посвященъ былъ воспитанію юношества, имѣя въ половинѣ XVIII вѣка до 28 школъ, училъ почти тому же самому что́ и іезуиты, то-есть латинскому языку и словесности, но піаристы держали учениковъ въ гораздо болѣе строгой дисциплинѣ, учили безплатно и принимали охотно ничего неимущихъ бѣдняковъ. Іезуиты изъ зависти стали такъ относиться къ піаристамъ, какъ относилась нѣкогда къ іезуитамъ академія краковская, то-есть стали гнать піаристовъ самымъ недобросовѣстнымъ образомъ, учреждать свои школы во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ существовали піаристскія, переманивать къ себѣ піаристскихъ учениковъ и разорять піаристовъ, заводя съ ними безконечныя тяжбы въ судахъ. Такимъ образомъ, воспитаніе было почти исключительно монашеское въ двухъ видахъ: для баричей, въ конвиктахъ,—іезуитское, и для простыхъ и незнатныхъ—у піаристовъ.

Главныя событія третьяго періода.

1610—Побѣда подъ Клушинымъ. Взятіе польскими войсками Москвы.
1619—Битва подъ Цецорою. Смерть Жолкѣвскаго.
1621—Хотинская кампанія спасаетъ Польшу отъ Турокъ. — Война шведская; потеря Риги.
1632—Вступленіе Владислава IV на престолъ.
1634—Поляновскій миръ съ Москвою.

1635—Штумсдорфское перемиріе съ Швеціею.
1644—Colloquium charitativum между вѣроисповѣданіями въ Торнѣ.
1646—Замыслы Владислава IV о европейскомъ походѣ на Турцію.
1648—Начало козацкихъ войнъ, побѣда Хмѣльницкаго подъ Желтыми Водами, смерть Владислава IV.—Пилявецкій погромъ. Избраніе Яна-Казиміра.
1657—Сраженіе подъ Берестечкомъ. Бѣлоцерковская сдѣлка.
1651—Сеймъ въ Варшавѣ разорванъ впервые посредствомъ *liberum veto*.—Пораженіе подъ Батогомъ.
1654—Хмѣльницкій съ козачествомъ поддается Москвѣ.
1655—Шведская война. Король Густавъ въ Варшавѣ и Краковѣ, войска Алексѣя Михайловича въ Вильнѣ. Хмѣльницкій у Львова.—Защита Ченстоховы.—Тышовецкая конфедерація.
1657—Велавскій трактатъ Польши съ великимъ электоромъ, освобождающія Пруссію отъ ленной зависимости.
1658—Изгнаніе аріанъ изъ государства. Гадячскій договоръ съ козаками.
1660—Оливскій трактатъ.
1664—Сеймовый судъ надъ Любомірскимъ.
1665—1666. Рокошъ Любомірскаго.
1667—Андрусовское перемиріе съ Москвой.
1668—Янъ-Казиміръ отказывается отъ престола.
1669—Избраніе въ короли Михаила Вишневецкаго.
1672—Взятіе Турками Каменца-Подольскаго. Польша — данница Турціи по Бучацкому договору, уступлены Подолія и Украйна.
1674—Янъ III Собѣскій королемъ.
1683—Освобожденіе Собѣскимъ осаждаемой Турками Вѣны.
1686—Миръ съ Москвою или такъ-называемый трактатъ Гржимултовскаго. Окончательная уступка Смоленска и Кіева.
1696—Смерть Собѣскаго.
1697—Двойное избраніе въ короли. Августъ II одерживаетъ верхъ.
1698—Карловицкій миръ европейскихъ державъ съ Турками.
1699—Трактаты Августа II съ Петромъ Великимъ противъ Швеціи, начало Сѣверной войны.
1704—Детронизація Августа II. Избраніе Станислава Лещинскаго.
1706—Миръ Альтранштадтскій.
1709—Послѣ Полтавскаго сраженія Августъ II возвращаетъ себѣ польскій престолъ.
1715—1717. Тарногродская конфедерація шляхты противъ короля.
1733—Избраніе королемъ Августа III.

Прямымъ послѣдствіемъ іезуитскаго воспитанія была страшная порча вкуса и ничтожество литературы въ отношеніи внутренняго ея содержанія, при необыкновенной ея плодовитости и тщательномъ, повидимому, воздѣлываніи ея обществомъ. Духъ критики, старинный врагъ авторитета, былъ побитъ, подавленъ, держимъ на возжахъ, наука разошлась съ жизнью, превратилась въ школьную, ни на что непригодную ученость: на этомъ полѣ могли произрастать и успѣвать одни только посредственности. Литература, отъучившись заниматься общественными

вопросами, перестала быть дѣломъ серьёзнымъ. превратилась для иныхъ въ ремесло, для другихъ въ забаву, въ роскошь, въ игрушку. Чѣмъ безплоднѣе становилась литература, тѣмъ болѣе она пресыщалась педантизмомъ, тѣмъ недоступнѣе она становилась для массы и тѣмъ бо́льшую важность придавали ей умники того вѣка, какъ средству похвастать своею ученостью, озадачить умѣньемъ говорить много о пустякахъ и разсмѣшить неожиданными concetti, забавными сопоставленіями миѳологіи и исторіи съ происшествіями жизни обыденной. Большая часть шляхты говорила бѣгло по латыни, римская литература была единственнымъ источникомъ учености, отсюда проистекъ обычай не только испещрять польскую рѣчь отдѣльными латинскими терминами, но вставлять въ нее цѣлыя латинскія фразы и пересыпать ее этими макаронизмами такимъ образомъ, что послѣ всякаго періода польскаго долженъ былъ непремѣнно идти латинскій и наоборотъ, и что вся рѣчь являла собою подобіе слоенаго пирога. Первый примѣръ подобной смѣси представляетъ въ шутку написанное стихотвореніе Яна Кохановскаго, *Carmen macaronicum:*

Est prope wysokum celeberrima sylva Krakovum
Quercubus insignis multo miranda żołędzio,
Istuleam spectans wodam Gdańskumque gościńcum,
Dąbie nomen habet, Dąbie dixere priores.
    Hanc ego, cum suchos torreret Syrius agros
Et rozganiaret non mądra canicula żakos,
Ingredior multum de conditione żywota
Deque statu vitae mecum myślando futurae, etc. etc.

Что̀ у Кохановскаго было сдѣлано въ шутку, то въ XVII столѣтіи дѣлалось серьёзно съ полною увѣренностью, что въ томъ-то и состоитъ красота слога. Такъ какъ была разорвана связь между литературою и жизнью, и утвердилось понятіе, что искусство говорить существуетъ само по себѣ, то никто не стѣснялся особенно въ хваленіи другихъ и не затруднялся осыпать ихъ самыми преувеличенными похвалами, зная, что никто, конечно, не приметъ словъ его за настоящую монету. Панегирики шли цѣлымъ проливнымъ дождемъ, приторный дымъ отъ сожигаемаго ѳиміама заражаетъ воздухъ въ теченіи полутораста лѣтъ. Іезуиты хвалили своихъ благодѣтелей, священники своихъ ктиторовъ, шляхта магнатовъ, сенаторы другъ друга. Самымъ цѣннымъ качествомъ человѣка въ шляхетской Польшѣ XVII вѣка считалась родовитость. Знатность происхожденія доказывалась родословною и гербами, отсюда пристрастіе къ геральдикѣ, замѣнившей почти исторію, и необыкновенно важное значеніе гербовъ въ панегирической литературѣ. Всякій старается доказать, что гербовный клейнодъ его весьма древенъ, и вывести его изъ Италіи, Германіи, Испаніи; если нельзя отъ Ноя, то по крайней мѣрѣ отъ греческихъ героевъ или отъ римскихъ импера-

торовъ. Появляется безконечное число фальшивыхъ родословныхъ; каждый панегиристъ считаетъ непремѣнною обязанностью взять темой гербъ хвалимаго лица и разыграть на эту тему какъ можно болѣе варіацій. Названія гербовъ входятъ какъ главный элементъ въ заглавія похвальныхъ словъ, поэмъ и сочиненій; заглавія эти становятся до того вычурными, кудрявыми, темными и натянутыми, что наконецъ въ нихъ пропадаетъ всякій человѣческій смыслъ [1]).

Всѣ творческія силы народа ушли въ краснорѣчіе, оно сдѣлалось искусствомъ, преобладающимъ надъ всѣми прочими искусствами и родами литературы, столь національнымъ по преимуществу, какъ ваяніе у Грековъ, вокальная музыка у Итальянцевъ, театръ у Французовъ. Республиканская форма правленія заставляла по необходимости всю шляхту принимать участіе въ гласномъ обсуживаніи дѣлъ общественныхъ; съ юныхъ лѣтъ упражнялся въ живой рѣчи и словопреніи всякій сколько-нибудь образованный человѣкъ; вслѣдствіе чего, полюбивъ страстно ораторское искусство, общество польское ввело его въ кругъ жизни не только общественной, но и частной и изобрѣло безчисленное множество формъ его и видовъ, посредствомъ всевозможныхъ примѣненій къ разнымъ явленіямъ и случаямъ быта домашняго и семейнаго. Краснорѣчіе имѣло два главные вида: оно было свѣтское или духовное. Краснорѣчіе свѣтское подраздѣлялось на парламентское (на сеймикахъ и сеймахъ), трибунальное (въ судахъ), военное въ рѣчахъ, которыми вожди воспламеняли воинство предъ боемъ, похоронное, наконецъ домашнее и семейное при встрѣчѣ сановитаго гостя, поздравленіяхъ съ полученіемъ должности, крестинахъ, свадьбахъ и иныхъ

---

¹) Приведемъ въ примѣръ нѣсколько такихъ заглавій: Trakt szczęśliwej drogi traktatem wiecznej przyjaźni opisany do wiekującego w dziedzicznej bramie domu J. W. Jegomości Pana Marjana z Kozielca Ogińskiego z herbownym bawołem dążącej J. W. Jejmości panny Teresy Tyzenhauzównej w szczupłym rymie dymensą poetyczną skreślony i t. d..... т. е. Счастливый путь, описанный посредствомъ трактата вѣчной пріязни, краткимъ стихомъ, дѣвицы Терезіи Тизенгаузъ, направляющейся съ гербовнымъ буйволомъ своимъ къ Г. Маріяну изъ Козельца Огиньскому, на вѣки пребывающему въ гербовныхъ воротахъ дома своего (буйволъ и ворота—два герба: одинъ Тизенгаузовъ, другой Огиньскихъ). Или: Pszczołki ziemskiego kwiecia do niebieskiego lecące ula.... т. е. Пчелки, отъ земныхъ цвѣтовъ летящія въ улей небесный. Или: Topory z prochu pogrzebowego wypolerowane... т. е. Топоры, очищенные отъ похороннаго праха. Далѣе: Wschód nieśmiertelnej sławy na zachodzie życia śmiertelnego, zakres triumfalny J. O. Książęcej Sanguszków pogoni... и проч., т. е. Восхожденіе безсмертной славы на закатѣ жизни смертной, служащей тріумфальнымъ предѣломъ княжеской погони Сангушковъ (погоня или ѣздокъ—гербъ Сангушковъ); Ścierka do utarcia gęby zakamieniałemu grzesznikowi... т. е. Утиральникъ для утиранія устъ нераскаянному грѣшнику; Ogród ale niepleniony, brog, ale co snop to innego zboża, kram rozlicznego gatunku, т. е. Садъ, но не выполотый, скирдъ, но такой, въ которомъ каждый снопъ иного хлѣба, лавочка разныхъ товаровъ, и т. п.

высокоторжественныхъ случаяхъ. Понятно послѣ сказаннаго, что ораторское искусство составляло пробный камень достоинства человѣка и необходимое условіе его общественной карьеры, такъ-что Старовольскій, писатель XVII вѣка, говоритъ вполнѣ основательно: „не можетъ въ Польшѣ называться гражданиномъ и даже (смѣю сказать) Полякомъ тотъ, кто не умѣетъ красно и изящно говорить о какомъ бы то ни было предметѣ не только по латыни, но и на отечественномъ языкѣ" (De claris oratoribus Sarmatiae, 1628). Чтобы показать, въ чемъ состояло краснорѣчіе по понятіямъ XVII вѣка и до какой степени рѣчь польская пестрѣла макаронизмами, приведу два отрывка, одинъ изъ рѣчи извѣстнаго въ свое время оратора, воеводы минскаго Кристофора Станислава Завиши къ королю Августу II, произнесенной въ 1697 году, другой, относящійся къ 1660 году, изъ превосходныхъ записокъ Пассека, которыя придется еще разбирать впослѣдствіи. Завиша слѣдующимъ образомъ поздравляетъ короля по поводу его коронаціи [1]): „Наша польская *Niobe*, которая еще недавно *effusa in lachrymas, hodie concrescit in gemmas;* послѣ темныхъ ночей печали *candida mundi sidera currunt*, потому что ты возсѣлъ на польскій престолъ *vultu sidereo discutiens nubila*. Возвращаются *cum foenore* потерянныя надежды. Отечество *cum suis ordinibus*, созерцая въ нѣдрахъ своихъ *primum majestatis ordinem*, то-есть вашу королевскую милость *in diademate suo*, покидаетъ видъ тоскующей горлицы, облекшись въ орлиныя перья. Оно смотритъ въ благопріятное небо развеселившимися очами и паритъ на ту высоту, съ которой оно привыкло *contra superbum orientis tyrannum ignea vibrare tela;* оно восклицаетъ на весь шаръ земной ликующимъ голосомъ: *O! qui nominibus cum sis generosus avitis, exsuperas morum nobilitate genus*"... Яну Пассеку пришлось говорить похоронную рѣчь въ честь умершихъ товарищей Рубѣшовскаго и Войновскаго: „Какими отъ той конституціи защищаться волюминами, къ какимъ подавать жалобу парламентамъ, у кого изъ могущественнѣйшихъ міра сего монарховъ искать спасенія отъ неизбѣжнаго угнетенія, претерпѣваемаго родомъ человѣческимъ со стороны смерти? Не знаю, средства не нахожу, но убѣждаюсь, что законъ не въ состояніи никому въ томъ помочь, когда читаю гіероглификъ генуэзской республики: *Parcam falcem tenentem minaci manu superbam*, которая указываетъ на слѣдующую надпись: *leges lego*, *reges rego*, *judices judico*. Кто же можетъ сопротивляться такому насилію?"... Далѣе ораторъ утѣшаетъ себя тѣмъ что, на основаніи конституціи союза, заключеннаго прежде всѣхъ вѣкъ между небомъ и землею, намъ обѣщано *morte renasci* и *ad communem*

---

[1]) Wybor mów staropolskich świeckich, sejmowych i innych zebranych przez Antoniego Małeckiego, w Bibliotece polskiej Turowskiego. Kraków 1860.

возвратиться *societatem*... Потомъ онъ упоминаетъ о томъ, что по закону аѳинскому умершій воинъ долженъ былъ быть почтенъ хвалебною рѣчью краснорѣчивѣйшаго его согражданъ. Пассекъ сознаетъ, что обязанность восхвалить товарищей ему не по силамъ, но „такъ-какъ желѣзный Марсъ презираетъ золоченую пышность, то потому любезная ему Минерва, закопченная дымомъ селитры, рѣшилась принять на себя обязанность восхваленія его сослуживцевъ. Съ дѣтства и, даже можно сказать отъ колыбели своей, они поступили на ученіе къ суровой Беллонѣ, не давъ себя прельстить ласками нѣжной Паллады и Аполлона. По обычаю древнихъ воиновъ польскихъ, они какъ птенцы благородной орлицы избрали себѣ директоромъ суроваго Марса и обрекли себя ему пожизненно въ жертву“...... и т. д. Меньшей порчѣ вкуса, нежели свѣтское, подверглось краснорѣчіе духовное, чему причиною отчасти то, что оно не могло въ такой степени какъ свѣтское пользоваться примѣрами изъ языческой миѳологіи, отчасти то, что въ немъ жили и сохранялись преданія Петра Скарги. Достойнымъ преемникомъ его былъ другъ его, доминиканецъ Фабіанъ Бирковскій (1566—1636), дѣлившій многократно лагерные труды польскаго войска въ качествѣ проповѣдника королевича Владислава Сигизмундовича въ кампаніяхъ московской и хотинской. Проповѣди его пахнутъ дымомъ пороху, дышатъ воинственнымъ энтузіазмомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ пропитаны въ отношеніи къ протестантамъ всею фанатическою ненавистью католическаго монаха временъ тридцатилѣтней войны. Но и въ Бирковскомъ замѣтны изысканность, напыщенность, остроумничанье и игра словъ, качества, которыя до высочайшей степени доведены проповѣдниками конца XVII и начала XVIII вѣка. Когда проповѣднику этой эпохи приходилось говорить рѣчь на смерть короля или вельможи, то онъ давалъ ей заглавіе „цвѣтовъ вѣнца“ и перечислялъ поштучно всѣ цвѣты, разумѣя подъ цвѣтами добродѣтели, или представлялъ эти добродѣтели въ видѣ зеренъ на четкахъ или брался строить покойнику Мавзолей, и дѣлилъ свою проповѣдь на портики, пирамиды и колонны. Основной планъ всякой проповѣди теряется, заслоняемый безчисленнымъ множествомъ эпизодовъ; проповѣднику достаточно взять малѣйшее слово въ св. писаніи, напр., слово: *бысть*, или *во время оно*, чтобы попустить бразды фантазіи; проповѣдникъ вдается въ разговоры съ Богомъ, со святыми и переодѣваетъ въ польскій костюмъ всю священную исторію; Мадіаниты у него являются Татарами, Израильтяне имѣютъ старостъ, епископовъ, сеймуютъ, воюютъ, дѣлаютъ рокоши и конфедераціи, словно Поляки, даже Христосъ принимаетъ видъ короля шляхетской республики, точно какъ на старинныхъ картинахъ древнѣйшихъ фламандскихъ живописцевъ.

Безвкусіе, составлявшее общее правило и главный признакъ эпо-

хи, всего сильнѣе отразилось въ сценическихъ представленіяхъ. Дворъ любилъ костюмированные маскарады, балеты. При Янѣ-Казимірѣ, который женатъ былъ на француженкѣ Маріи-Луизѣ, придворная французская труппа давала большія эффектныя представленія битвъ и штурмовъ. Въ 1661 представленъ былъ въ Варшавѣ при дворѣ корнелевскій „Сидъ" въ переводѣ Морштына. По городамъ ѣздили кочующія труппы комедіантовъ, забавлявшія толпу фарсами изъ простонароднаго быта. Но эти представленія не находили поддержки въ шляхтѣ, рѣдко посѣщавшей города и дѣлавшей обыкновенно оппозицію двору. Въ запискахъ Пассека сохранилось слѣдующее характеристическое извѣстіе: въ 1664 придворные актеры представляли сраженіе Французовъ съ Нѣмцами и взятіе въ плѣнъ императора. Это зрѣлище понравилось шляхтѣ, которая присутствовала, вооруженная по своему обычаю, и сильно не долюбливала Габсбурговъ. Она стала кричать Французамъ на сценѣ, чтобы они не церемонились съ императоромъ и зарѣзали его поскорѣе. Актеры поставлены были въ тупикъ, тогда одинъ изъ настаивавшихъ зрителей натянулъ лукъ и пронзилъ императора стрѣлою, другіе послѣдовали тому же примѣру и нашпиговали порядочно кого попало изъ актеровъ. Зрѣлище было прервано, зрители, сдѣлавъ свое, разсѣялись; несмотря на всѣ поиски, виновники кровопролитія не были открыты и наказаны. Гораздо болѣе цѣнились тогдашнимъ обществомъ діалоги духовнаго и свѣтскаго содержанія, которые устраиваемы были школьными начальствами и въ которыхъ настоящіе, живые типы замѣнялись бездушными аллегоріями, олицетворенія отвлеченныхъ понятій являлись на сцену вмѣстѣ со святыми церкви и божествами Олимпа. Іезуиты были мастера въ постановкѣ подобныхъ представленій, великолѣпію которыхъ они и обязаны отчасти успѣшностью своей религіозной пропаганды. Для примѣра приведемъ программу торжества, устроеннаго ими въ Вильнѣ 4 марта 1604 г., по поводу канонизаціи св. Казиміра [1]). Торжественная процессія съ хоругвью св. Казиміра шла черезъ городъ, останавливаясь на всѣхъ главнѣйшихъ пунктахъ. У Рудницкихъ воротъ, устроенныхъ въ видѣ исполинской птицы, явилась женщина въ глубокомъ траурѣ, изображавшая городъ Вильно, который страдалъ, какъ извѣстно, отъ частой заразы. Эта женщина утѣшаетъ себя тѣмъ, что послѣ канонизаціи св. Казиміра она получитъ въ небѣ надежнаго ходатая и защитника. Два ангела съ лиліями въ рукахъ возвѣщаютъ ей, что надежды ея исполнились и что канонизація совершилась. Тогда женщина — Вильно — мгновенно преображается въ царицу съ багряницею, короною и скипетромъ, садится

---

[1]) M. Baliński, Dawna Akademia wileńska, 1862, стр. 103.

въ колесницу и направляется въ городъ, предшествуемая Славою, держащею въ рукахъ золотую трубу. Близъ ратуши путь ея загороженъ огромнымъ картоннымъ за̀мкомъ съ высокими башнями. Четыре ангела и четыре добродѣтели: Мужество, Умѣренность, Расторопность и Справедливость, ведутъ между собою передъ за̀мкомъ разговоръ, послѣ котораго за̀мокъ загорается и исчезаетъ среди пламени, шума и ружейныхъ выстрѣловъ. Передъ академическою церковью св. Яна предшествующая кортежу Слава зоветъ академію, чтобы она приняла участіе въ празднествѣ. Является академія, сопровождаемая богословіемъ, философіею, исторіею, краснорѣчіемъ, поэзіею, филологіею, грамматикою, наконецъ девятью музами, покинувшими Олимпъ и поселившимися на берегахъ Виліи. Послѣднюю часть празднества составлялъ діалогъ, въ которомъ участвовало семь юношей, олицетворявшихъ семь главныхъ виленскихъ церквей.

Перейдемъ къ обзору выдающихся поэтическихъ произведеній длиннаго переходнаго періода. Существовало мнѣніе, что въ теченіи его не появился ни одинъ поэтическій талантъ, а дѣйствовали и писали одни только бездарности. Это мнѣніе нынѣ оставлено; безплоднымъ по отношенію къ поэтическому творчеству можетъ считаться только первая половина XVIII вѣка, но въ теченіи всего XVII поэзія имѣетъ далеко недюжинныхъ представителей, замѣчательныхъ и по силѣ и богатству мыслей, и по яркости колорита. Была еще и критика, писатели знаютъ другъ друга. Замѣчательно только, что ихъ произведенія либо не были изданы и только теперь откапываются (Wojna Chocimska), либо хотя и были изданы, но не особенно нравились современникамъ, или, наконецъ, хотя и получили нѣкоторую извѣстность, но затѣмъ были почти совсѣмъ перезабыты послѣдующими поколѣніями, когда порча вкуса дошла до крайняго предѣла и общество находило удовольствіе только въ напыщенномъ, вычурномъ, каррикатурномъ и безобразномъ. Отъ нѣкоторыхъ поэтовъ остались одни только голыя имена съ указаніями, что они цѣнились когда-то очень высоко (Skarszewski по словамъ Коховскаго, Grotkowski по словамъ Морштына и др.). Можетъ быть, ихъ произведенія еще отыщутся. Изъ тѣхъ, которые и по произведеніямъ извѣстны, главными являются трое: Вацлавъ Потоцкій, Веспасіанъ Коховскій и Андрей Морштынъ; ихъ окружаетъ множество второстепенныхъ. Два брата Зиморовичи, львовскіе мѣщане изъ Армянъ, подражаютъ въ буколическомъ родѣ Шимоновичу. Младшій изъ нихъ Шимонъ (1604—1629) умеръ рано и не успѣлъ развить свой талантъ (Roxolanki). Старшій Іосифъ-Варѳоломей (1597—1628) сочинилъ 17 идиллій весьма замѣчательныхъ, потому что въ нихъ много эскизовъ, схваченныхъ съ натуры, языкъ живописенъ и пестрѣетъ провинціализмами (solowej, władyka, spas, praznik, derewnia). Двѣ идилліи

(Kozaczyzna, Burda ruska) представляютъ собою почти страницы изъ исторіи, потому что въ нихъ изображены очевидцемъ походъ Хмѣльницкаго съ Татарами на Червонную Русь, ужасы осады и опустошенія Львова. Къ той же школѣ идиллической принадлежитъ Янъ Гавинскій, краковянинъ (стихотворенія издалъ 1843, во Львовѣ, Жегота Паули). Главнѣйшія войны XVII столѣтія и посольства переданы довольно тяжелыми стихами въ многочисленныхъ эпическихъ поэмахъ плодовитаго Самуила изъ Скржипна Твардовскаго (род. около 1600, ум. послѣ 1660). Ѣдкія, желчныя сатиры, не отличающіяся особеннымъ талантомъ, писалъ Кристофоръ Опалиньскій (1609—1655), воевода познанскій, который на дѣлѣ оказался нисколько не лучше осмѣиваемаго имъ общества; человѣкъ онъ былъ гордый, злой, самолюбивый, подкупной и измѣнилъ отечеству, предавъ Велико-Польшу въ руки Шведа Карла-Густава. Почти всѣ польскіе поэты того періода владѣютъ и латинскимъ стихомъ, но былъ одинъ лирикъ, іезуитъ Матвѣй-Казиміръ Сарбѣвскій (ум. 1640), Литвинъ, профессоръ виленской академіи и придворный проповѣдникъ, который писалъ только по-латыни и потратилъ непроизводительно замѣчательное по огню и силѣ поэтическое дарованіе на лирическія пѣснопѣнія на языкѣ, который становился мертвымъ, послѣ того какъ расцвѣли новѣйшіе народные. Сарбѣвскій занимаетъ первое мѣсто между европейскими латинистами XVII вѣка; его ставили наряду съ Горацiемъ; его, какъ классика, изучаютъ до сихъ поръ въ школахъ, особенно въ Англіи; папа Урбанъ VIII увѣнчалъ его лавровымъ вѣнкомъ въ Римѣ. Предметы, воспѣваемые имъ, были вѣра, церковь и война съ Турками; подобно всѣмъ польскимъ поэтамъ XVII вѣка, онъ зоветъ свой народъ и Европу на крестовый походъ противъ Турокъ [1]).

Наиболѣе характерное поэтическое произведеніе XVII в. есть, безъ сомнѣнія, большая поэма въ 10 пѣсняхъ Wojna Chocimska (Хотинская кампанія), хранившаяся въ рукописи и изданная только въ 1850 г. [2]).

Первоначально приписывали эту поэму Андрею Липскому, подвоеводѣ сандецкому, потомъ Ахатію Писарскому, старостѣ вольбромскому; наконецъ Шайноха [3]) доказалъ, что поэма написана Вацлавомъ Потоцкимъ, подчашимъ краковскимъ, родившимся около 1622 г., умершимъ около 1696 или 1697 года [4]), авторомъ считавшихся неваж-

---

[1]) Латинская поэзія въ Польшѣ оставалась бы мертвымъ капиталомъ, если бы лучшія его произведенія не были переведены въ пятидесятыхъ годахъ великолѣпными стихами Людвигомъ Кондратовичемъ (Сырокомлей).

[2]) Wojna Chocimska, poemat bohaterski przez Andrzeja Lipskiego, wydany przez Stanisława Przyłęckiego. Lwów, 1850.

[3]) Szajnocha, Szkice Historyczne, 1854.

[4]) Ad. Bełcikowski, Wacław z Potoka Potocki. Kraków, 1868. (Въ Przeglądzie polskim).

ными произведеній: аллегорическаго романа въ стихахъ, заимствованнаго изъ Барклая: *Аргенида* (Барклай писалъ его 1582—1611, передѣлка Потоцкаго издана 1697), другаго такого же романа изъ древней исторіи *Силорета*, вольныхъ шутокъ (Jovialitates), плохой религіозной поэмы изъ жизни Христа (Nowy zaciąg pod chorągiew starą triumfującego Jezusa syna Bożego nad swiatem, czartem, śmiercią i piekłem изд. 1690, гербовника въ стихахъ (Poczet herbow), наконецъ *Хотинской Кампаніи*.—Красоты послѣдняго произведенія заставили обратить вниманіе и на предыдущія; оказалось, что въ своемъ гербовникѣ и въ вольномъ переводѣ Барклаевой Аргениды разсѣяно чрезвычайно много цѣнныхъ намековъ, сужденій и колкихъ замѣтокъ о людяхъ и учрежденіяхъ Польши XVII вѣка. Авторъ ненавидитъ Вазовъ, врагъ Австріи и иностранцевъ, горячій поклонникъ Собѣскаго и его анти-турецкой политики, рѣшительный противникъ избранія королей [1]). Что касается до „Хотинской Кампаніи", то сюжетъ этой поэмы составляетъ одинъ изъ эпизодовъ той исполинской борьбы христіанства съ исламомъ, которая дала начало сказаніямъ франко-каролингскаго цикла и ученой поэмѣ Тасса, и которой послѣдній актъ разыгрался подъ Вѣною, освобожденіемъ ея отъ Турокъ Яномъ III Собѣскимъ. Въ 1620 г. на Цецорской равнинѣ близъ Яссъ Полякамъ нанесено было Турками страшное пораженіе, убитъ великій гетманъ Жолкевскій, взятъ въ плѣнъ польный гетманъ Конецпольскій. Въ слѣдующемъ 1621 г. нависла надъ Польшею страшная туча турецко-татарскаго нашествія, султанъ Османъ намѣревался воздвигнуть мечеть въ Краковѣ и дѣлилъ уже Польшу на пашалыки; огромная его армія вмѣщала въ себѣ 300,000 человѣкъ всѣхъ цвѣтовъ кожи и всѣхъ націй востока, 150 пушекъ, множество слоновъ, 10,000 вьючныхъ верблюдовъ. Турко-татарскимъ полчищамъ загородили дорогу 65,000 войска польскаго и запорожскаго подъ предводительствомъ престарѣлаго и при смерти больного Ходкевича. Объ эту рать, окопавшуюся надъ Днѣстромъ у стѣнъ хотинскаго замка разбивалась какъ о скалу въ теченіи 40 дней волна нашествія и, ничего не сдѣлавъ, ушла назадъ. Таковъ сюжетъ—недальній, въ свѣжей еще памяти сохранявшійся и описанный весьма обстоя-

---

[1]) Jako Chrystus z kosciołem i jako mąż z żoną, tak z królem Pospolita Rzecz ma być złączoną. (Poczet).

(Какъ Христосъ съ церковью и мужъ съ женою, такъ долженъ быть соединенъ король съ Рѣчью Посполитою).

Bo tam jako się król z swiatem pożegna
Otwierają swej woli wrota Interregna,
Gdzie kto duższy ten lepszy.,...
Az przyjdzie elekcya, kędy hurmem bieżą
Konkurenci i w sztuki koronę porzeżą,
Jednych obietnicami, drugich gotowizną
Korrumpują; a trzeci ledwie kość oblizną.

(Argenida).

тельно въ запискахъ множества современниковъ-очевидцевъ. За обработку этого предмета Потоцкій взялся по всей вѣроятности между 1669 и 1672 гг. въ царствованіе Вишневецкаго, когда надъ Польшею опять нависла грозная туча турецкаго похода и народъ былъ опять оживленъ рыцарски-религіознымъ духомъ протянувшихся до конца XVII вѣка крестовыхъ походовъ. Его произведеніе въ 10 пѣсняхъ имѣетъ только форму героической поэмы, но всего меньше можетъ быть названо народнымъ эпосомъ. Поэма безъ всякой фабулы, безъ замысла эпическаго, безъ всякой примѣси двухъ необходимыхъ элементовъ всякаго и классическаго и средневѣковаго эпоса: чудеснаго и любви къ женщинѣ. Какъ въ Аргенидѣ Потоцкій взялъ за канву готовую работу Барклая, такъ въ „Хотинской Кампаніи" онъ слѣпо придерживается записокъ Якова Собѣскаго (отца короля Яна III: Commentariorum belli Chotinensis libri tres) и сочинилъ стихами живописную исторію кампаніи, не позволяя себѣ никакого вымысла, но дополняя только недосказанное очевидцами. Несмотря на то, что „Хотинская Кампанія" не есть вовсе плодъ поэтическаго творчества, а только опоэтизированная исторія, талантъ Потоцкаго столь великъ, что воспроизводимое имъ прошедшее воскресаетъ какъ живое, съ движущимися лицами, въ картинахъ самаго яркаго колорита, въ чертахъ оригинальныхъ, плѣнительныхъ или забавныхъ, что эти картины вызываютъ въ душѣ читателя тѣ чувства, которыя одушевляли защитниковъ Хотина и что мы переживаемъ опять одинъ изъ самыхъ драматическихъ и блистательныхъ моментовъ польской исторіи. Преобладающія въ авторѣ качества: юморъ, порывистый лиризмъ и тонкая наблюдательность, а потому поэма богата прекрасными описаніями, патетическими мѣстами [1]) и при всей важности ея сюжета,

[1]) Приведемъ нѣсколько стиховъ изъ обращенія поэта къ Богу (pieśni I и II):

Pojrzyj, o wieczny Boże, ktoryś niegdyś tęgiem
Ujął gniew sprawiedliwy przez niebo popręgiem
I wiecznieś malowaną zawiązał obręczą
Swój arsenał, skąd grozy twe nad światem brzęczą...
Patrz na świecznik twej chwały, który w tej koronie
Ogniem niezagaszony ku czci twoiej płonie
I chociaż przez złość naszą, przez nasze niecnoty
Częste go w oczu twoich zaciemnają knoty,
Utrzyj knot, masz nożyce miłosierdzia w ręce,
Że nie zgasisz, ufamy Jezusowej męce.

(Посмотри, Боже превѣчный, ты, который прекратилъ нѣкогда праведный гнѣвъ, преопоясавъ небо подпругою и завязалъ разноцвѣтнымъ обручемъ твой арсеналъ, изъ котораго раздаются громы твои на весь міръ!... Взгляни на свѣтильникъ славы твоей, зажженный въ честь твою непогасаемымъ огнемъ въ коронѣ польской. Свѣтъ этотъ помрачается порою въ очахъ твоихъ нагаромъ, образуемымъ нашею злобою, нашими неправдами, но ты имѣешь ножницы милосердія въ рукахъ, поправь свѣтильникъ, обрѣзавъ фитиль; что ты его не погасишь, въ томъ мы надѣемся на Христа и его мученія).

въ ней прорывается порою сатира. Отъ Потоцкаго, какъ отъ ревностнаго католика XVII вѣка, нельзя, конечно, и ожидать той объективности, того полнаго безпристрастія въ отношеніи къ врагамъ христіанства, которыя были доступны, можетъ быть, немногимъ только людямъ временъ возрожденія. У него нехристи—почти не люди, всѣ они злодѣи и негодяи, ихъ страданія и гибель не возбуждаютъ никакого сочувствія; поэтъ описываетъ съ наслажденіемъ (пѣснь VI), какъ кони боевые вязнутъ въ грудахъ мяса человѣческаго, какъ застывающая кровь трясется студенемъ, какъ умирающіе запутываются въ своихъ собственныхъ кишкахъ. Потоцкій не стѣсняется вовсе и въ отношеніи къ своимъ соотечественникамъ, онъ иронически соболѣзнуетъ королевичу Владиславу, страдавшему лихорадкою и все время пролежавшему подъ шатромъ, и къ его наемнымъ Нѣмцамъ, разболѣвшимся отъ излишняго употребленія сочныхъ дынь молдаванскихъ: „покинь лихорадку,—говоритъ онъ Владиславу,—вспомни, ты, Александръ, что Дарій стоитъ у твоего изголовья, надѣнь желѣзныя латы, садись на буцефала, стоящаго передъ шатромъ, Марсъ тебя вылечитъ кровью или потомъ! Недостойно вождя щеголять чужими перьями, не сидѣвъ на конѣ и не видавши Турка". Потоцкій ядовито насмѣхается надъ тѣми изнѣженными галантомами, которые тяготятся панцыремъ и не любятъ, чтобы шишакъ сминалъ ихъ напомаженную прическу; онъ трунитъ надъ книжными политиками и надъ домосѣдами. Сигизмунда III онъ щадитъ менѣе другихъ; немногими штрихами превосходно очерчена тощая, молчаливая, надутая фигура упрямаго короля, который забавляется охотою въ окрестностяхъ Львова, не торопясь нисколько на выручку своей изнемогающей рати.

„Поспѣшай, поспѣшай, Сигизмундъ, въ четыре недѣли ты можешь расположить войска свои на Дунаѣ! Поспѣшай, орломъ пронесись надъ Подоліей, весною, дастъ Богъ, ты будешь уже въ Константинополѣ". Но король не внемлетъ, онъ предпочитаетъ вести войну не рукою, а ушами (пѣснь IX): „такова уже болѣзнь всѣхъ королей, что они всего охотнѣе слушаютъ совѣты любовницъ, карликовъ, скрипачей, льстецовъ и вообще такихъ людей, которые не промолвятъ трехъ словъ, не сопряженныхъ съ частнымъ интересомъ". Оставленное королемъ, войско заключило перемиріе съ Турками, съ подлинникомъ трактата отправленъ ксендзъ Шолдрскій къ Сигизмунду, „который, будучи занятъ ловлею зайцевъ, слушаетъ вѣсти о войнѣ точно сказку, сидитъ на одномъ мѣстѣ съ сотнею тысячъ сарматской молодежи, дожидаясь велико-польскаго ополченія, точно утка, которая возится съ молодыми цыплятами и не можетъ сладить съ ними, потому что она плаваетъ, между тѣмъ какъ они бѣгаютъ... Когда Шолдрскій прочелъ ему трактатъ, король разсердился и гнѣвно воскликнулъ,

сжимая въ рукѣ эфесъ шпаги: „меня не подождали съ этими-то силами, осмѣлились безъ меня входить съ Османомъ въ сдѣлки, хозяйничать, хозяина не спросясь! (Здѣсь онъ съ досадою ударилъ въ столъ шляпою). Не знаю, чѣмъ извинятся предо мною Владиславъ съ Любомірскимъ?—Иду догонять Турокъ, не скроютъ ихъ отъ меня ни Дунай, ни снѣжные Балканы; если шляхтѣ не по вкусу война, какъ въ томъ я убѣдился, то я отправлюсь самъ, хотя бы съ одною только наемною ратью".—Такимъ-то образомъ бѣсится король, шагая по комнатѣ, но собственно онъ радуется въ душѣ непомѣрно, что вернется завтра въ любимую Варшаву. Впрочемъ, эту радость онъ тщательно таитъ, зоветъ Фридриха, приказываетъ ему готовить кнехтовъ въ путь, осмотрѣть, есть ли у каждаго изъ нихъ шпага, порохъ, мушкетъ съ фитилемъ. „Дальше медлить нельзя, не остановлюсь, доколѣ не дойду до Геллеспонта!" Стой король, спать вамъ, а не воевать. Короля въ его азартѣ убаюкалъ вскорѣ Боболя, подкоморій коронный".

Героевъ, на которыхъ сосредоточивался бы интересъ поэмы, нѣтъ; выдающимися лицами являются—Сагайдачный со своими запорожцами, сѣдой Ходкевичъ, храбрый Любомірскій, а въ особенности та старая крѣпкая шляхта средней руки, не заискивающая у короля богатыхъ старостствъ, слѣдующая неуклонно прадѣдовскимъ обычаямъ и всегда готовая сложить голову по чувству долга за Бога, вѣру и край свой родной. Прекрасный типъ такой шляхты представилъ поэтъ въ старомъ ротмистрѣ гусарскомъ, Янѣ Липскомъ, который съ четырьмя дородными сыновьями сражается подъ однимъ значкомъ, который совѣтуетъ Ходкевичу вѣшать всѣхъ помышляющихъ объ отступленіи и который до того изсѣченъ и изрубленъ, что не можетъ получить новой раны спереди, которая бы не задѣла какого нибудь изъ многочисленныхъ рубцовъ, которыми покрыто его тѣло. Этотъ Янъ Липскій говоритъ съ гордостью, указывая на свои рубцы: „вотъ гербы мои, вотъ мои красныя Шрженявы [1]), съ ними встану я изъ гроба на кличъ архангельской трубы на генеральный смотръ всѣхъ умершихъ и когда я ихъ покажу, то святой полководецъ (т.-е. Христосъ) пожалуетъ мнѣ индигенатъ въ небесахъ" [2]).

Заключимъ оцѣнку поэмы мѣткими словами Бэлциковскаго (стр. 59): „Суровая совѣсть недопускала вымысловъ фантазіи; все то, что было записано на страницахъ исторіи, авторъ принялъ къ сердцу, разогрѣлъ

[1]) Шрженява—бѣлая рѣка въ красномъ полѣ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ польскихъ гербовъ.

[2]) To herby, to są moje Srzeniawy rumiane,
Z temi z grobu na trąbę archanielską wstanę
W on popis generalny i da mi wodz święty
Niebieski indygienat za takie prezenty.

воображеніемъ и пропѣлъ—не эпопею, которая была ему не по силамъ, но побѣдный гимнъ, родъ Пиндарова пэана, нѣчто вмѣщающее въ себѣ и эпосъ, и лирику. Этимъ двойнымъ чувствомъ Потоцкій искупилъ первородный грѣхъ своего произведенія и это непоэтически зачатое произведеніе имъ было поэтически выполнено".

В. Потоцкій недавно еще не былъ вовсе извѣстенъ; современникъ его Іеронимъ-Веспасіанъ Нечуя Коховскій [1]) былъ извѣстенъ, но потомъ забытъ, отчего и не цѣнился по достоинству. Въ послѣднее время на него обратили особое вниманіе и признали въ немъ самаго всесторонняго, самаго характернаго представителя XVII вѣка, вмѣщающаго въ себѣ, кромѣ того, задатки идей и направленій, которые проявились въ литературѣ слишкомъ сто лѣтъ спустя въ польскомъ романтизмѣ. Уроженецъ земли Сендомірской, Коховскій (род. между 1630 и 1633 гг.) учился въ краковской академіи, но, не кончивъ курса, промѣнялъ перо на саблю и велъ (1651—1663) исполненную приключеній жизнь солдата, принималъ участіе во всѣхъ козацкихъ и шведскихъ войнахъ. Удальство воина, его рѣшительность и развязность въ обращеніи, его сноровка ловить на лету всѣ удовольствія жизни отпечатлѣлись въ пѣсняхъ бойкихъ, всегда веселыхъ и игривыхъ, часто весьма вольныхъ [2]). Досуги и скуку лагерной жизни услаждала муза не „аттическая дѣва, но славянка" (посвященіе Лирикъ), впрочемъ, простою эта муза названа только скромности ради, не да-

---

[1]) Adam Rzążewski, Hieronim Wespazyan Nieczuja z Kochowa Kochowski. Warszawa. 1871, стр. 146.

[2]) Nie puściłem pełnej darmo,
Szedłem w gallaredy...
Nie mierziła mię w trapieniu
Udatna dziewoja,
Chocby była i w zamknieniu
Ruszyłem podwoja...
Na wesele szedłem chutnie
I małżeńskie gody...
(Konkluzye lirykow).
Liryk. ks. III, 4, do Bachusa:
Niechaj kto tam chce z fizyki
Mądry dyskurs wiedzie,
Myzaś wolim ssać kufliki
Przy długim obiedzie.
U nas w taniec iść mieniony
Przyjemne gonitwy....
Kto zwyciężył nieprzyjaciół
Stawiaj obeliski
Ja się wolę wcisnąć za stół
Gdzie gęste kieliszki...
Sam mi Krymski han niesrogi
Z swojemi Tatary......
Chociaż leży tam pod Wilnem
Moskal o tej dobie,
Wnetże mu ja będę silnym
Gdy podpiję sobie.

ромъ онъ учился миѳологіи; онъ щеголяетъ тѣмъ, что начинаетъ почти всякую пьесу книжною ученостью, выводя Феба, Піэридъ и весь Олимпъ классическій. Разница между нимъ и гуманистами XVI вѣка, напр., Кохановскимъ та, что послѣдніе усвоивали себѣ содержаніе, а не однѣ только формы античной поэзіи и относились къ божествамъ Олимпа какъ къ живымъ вѣрованіямъ, воскрешаемымъ посредствомъ изученія, между тѣмъ какъ у Коховскаго эти божества только слова̀, условные знаки, сухія аллегоріи, безъ которыхъ не подобаетъ, однако, обходиться поэзіи, потому что поэзія, ученая забава, представлялась имъ какъ-бы крѣпость, вооруженная вмѣсто валовъ и пушекъ именами боговъ Греціи и Рима (Rzążewski, 71),—въ которую имѣлъ доступъ только тотъ, кто эту миѳологію понималъ. Эта поэтическая фразеологія, не имѣющая ничего реальнаго, сочетается самымъ страннымъ образомъ съ христіанскими вѣрованіями поэта. Коховскій — римскій католикъ, притомъ католикъ XVII вѣка, слѣдующій за церковнымъ авторитетомъ, какъ солдатъ по командѣ; чуждающійся, какъ грѣха, всякаго вольномыслія; относящійся къ ереси, какъ Испанецъ. Раненый въ сраженіи, онъ приписывалъ эту рану маловѣрію, съ которымъ относился къ кровь испускающему кресту въ соборѣ Гнѣзненскомъ (Liryki, 11, 16). Въ его *Лирикахъ* (II, 25) есть ода на одно изъ печальнѣйшихъ событій — изгнаніе аріанъ (Bando na Aryany: изыди вавилонская сваха, непотребная женщина, тля Сарматскаго трона, вѣчный позоръ отечества....). Вѣра эта чувственная, подчиняющая себѣ человѣка не отвлеченными понятіями, а сильными о́бразами, дѣйствующими на нервы. Значительная часть стихотвореній Коховскаго религіознаго содержанія. Онъ сочиняетъ *Садъ дѣвичій* въ честь Богородицы (Ogród panieński pod sznur pisma św. kwiatami tytułów Matki Boskiej wysadzony); онъ пишетъ Страсти Христовы (Chrystus cierpiący), длинную поэму изъ 5,000 стиховъ по евангелію — эпосъ грубо-тривіальный, подобострастно изображающій всѣ раны и струпья на тѣлѣ Распятаго, но вводящій тутъ же въ поэму и Феба, и Эринній, и Ахеронъ, и весь хламъ классическихъ общихъ мѣстъ. Колкія бездѣлки (Fraszki), полныя остроумія и игривой веселости картинки, эротическіе стихи и религіозныя поэмы составляютъ меньшую часть произведеній Коховскаго; онъ былъ кромѣ того еще гражданинъ и патріотъ, и не прошли побѣда, элекція, походъ, сеймъ или конфедерація безъ того, чтобы онъ не выразилъ сильными и звучными стихами чувства той средней руки шляхты, которая въ минуты патріотическаго воодушевленія еще способна была совершать великія дѣла̀ и дружнымъ дѣйствіемъ спасать Рѣчь-Посполитую отъ угрожающихъ ей отвсюду опасностей. Онъ стоялъ храбро при Янѣ-Казимірѣ и ненавидѣлъ холопство козацкое съ его украинскимъ Спартакомъ — Хме-

лемъ (Хмельницкимъ), звалъ родъ этотъ Каиновымъ поколѣніемъ (Liricorum epodon 12). Впослѣдствіи вмѣстѣ съ большинствомъ шляхты Коховскій противодѣйствовалъ королю и французской партіи при дворѣ, старавшимся обезпечить напередъ избраніе въ короли Конде. Въ дѣлѣ Любомірскаго, онъ смотрѣлъ на этого послѣдняго какъ на мученика и написалъ въ защиту его цѣлую эпическую поэму: *Камень Свидѣтельства* (Kamień świadectwa). Онъ ожидалъ спасенія для Польши отъ избранія обоихъ Пястовъ; очевидно просчитавшись на Вишневецкомъ, онъ сдѣлался до конца жизни вѣрнѣйшимъ сподвижникомъ Яна Собѣскаго, который, вознаграждая его труды историческіе (Климактеры), сдѣлалъ его королевскимъ historiographus privilegiatus. Короля соединяло съ Коховскимъ общее чувство ненависти къ Туркамъ и сознаніе религіозной обязанности войны съ басурманами. Прелестна скорбь поэта о потерянномъ Каменцѣ [1]). Ему дано было въ очію зрѣть освобожденіе Вѣны, которое онъ и изобразилъ старческою рукою въ одной изъ послѣднихъ своихъ поэмъ (Dzieło Boskie albo pieśni wybawionego Wiednia). — Коховскій умеръ въ 1699 г., доживъ до возвращенія Каменца по Карловицкому трактату. Прежде, чѣмъ разстаться съ нимъ, слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ его произведеніи, написанномъ отрывками подъ вліяніемъ и домашнихъ, и политическихъ событій послѣднихъ лѣтъ жизни, когда кончался автору шестой десятокъ лѣтъ и начинался седьмой: это такъ-называемая *Польская Псалмодія* (Psalmodya polska, 1693), 35 псалмовъ, писанныхъ прозою, библейскимъ слогомъ, въ подражаніе Давидовымъ. Чтобы понять это произведеніе, перенесемся мысленно въ вотчину поэта, деревню Голеневу въ Краковскомъ; здѣсь онъ пишетъ свои лѣтописи, устраиваетъ богадѣльню для своихъ крестьянъ, здѣсь онъ воспѣваетъ жизнь скромную земледѣльческую: „Господи! и за то тебя благодарю, что ты далъ устамъ моимъ достатокъ хлѣба... Больше ничего не желаю, тѣмъ довольствуюсь. О, нива моя, нива, полная земли плодородной, когда ты положишь

---

1) A jam na naszych miłych braci przyjście
Zbierał to darnie to dębowe liście...
Chcąc im uwić nowy
Wieniec na głowy.
Com już wawrzynu nałamał gałęzi
Co tryumfantom pięknie skronie więzi
Kładącże z lauru za wzięcie Kamieńca
Godni są wieńca.
Jam sie spodziewał iże na Wawelu
W prędce uderzyć miano z kartaun wielu
I Bogu dzięki dając (co jest gruntem)
Ruszyć Zygmuntem ..
Więc ja murową, wałową, polową
Koronę chowam nie temu gotową
Co gładko mówi, lecz co Turkom duży
Onę wysłuży.

спокойно на мою голову поочередно то вѣнокъ ржи, то вѣнокъ пшеницы, тогда, о, короли, ваши короны мнѣ ни почемъ" [1]). Въ этомъ уединеніи поэтъ-историкъ наблюдалъ за ходомъ дѣлъ общественныхъ, гремѣлъ противъ пословъ земскихъ, разрывающихъ сеймы, на изнѣженность, обжорство и роскошь современниковъ, приходилъ къ замѣчательнымъ по его вѣку заключеніямъ, что вреднымъ можетъ быть избытокъ даже такого блага, какъ свобода [2]). Чѣмъ старѣе, тѣмъ дѣлался Коховскій задумчивѣе, серьёзнѣе, разстался съ миѳологіею, отогналъ отъ себя всѣ свѣтскіе мотивы и, вдохновившись одною только библіею, излилъ въ подражаніяхъ ветхозавѣтнымъ пророкамъ всѣ свои страданія и опасенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣру въ судьбы своего народа. Онъ чувствуетъ, что въ прежнее состояніе нельзя государство поставить: „мы сокращаемся, — говоритъ онъ, — какъ кожа на огнѣ или какъ кровь, приливающая къ сердцу" (VIII). Онъ задается вопросомъ, чѣмъ Польша виновата, и не находитъ никакого объясненія (XIV); отсюда вытекаетъ прямо предположеніе, что видъ свободы самой полной, какая существуетъ, порождаетъ зависть, и что свободолюбивое общество окружено врагами, стремящимися подавить эту свободу, выше которой нѣтъ ничего на свѣтѣ, но свобода—дѣло Божье, заботясь о которомъ Онъ не допуститъ, чтобы она погибла (VII). Въ этихъ мистическихъ предсказаніяхъ и поученіяхъ кроются уже всѣ задатки польскаго мессіанизма, которому было суждено выработаться въ половинѣ XIX вѣка въ цѣлую религіозно-философскую теорію.

Родъ Морштыновъ происходитъ отъ краковскихъ мѣщанъ. Въ польской литературѣ XVII вѣка есть нѣсколько Морштыновъ; одинъ изъ нихъ Іеронимъ, стольникъ бѣльскій, написалъ аллегорическую поэму въ эротическомъ родѣ „Swiatowa Roskosz" (1606); другой — Станиславъ, воевода мазовецкій, перевелъ „Андромаху" Расина; но несравненно даровитѣе и важнѣе ихъ былъ Андрей Морштынъ (род. около 1620, ум. въ началѣ XVIII вѣка), ловкій царедво-

[1]) Panie i zato dziękować ci trzeba
Żeś gębie mojej dał dostatek chleba...
Więcej nie pragnę tém się kontentuję...
Niwo ma niwo, skibo ziemi plennej
Ty coraz wieniec żytny, także pszenny
Spokojnie na mej gdy położysz głowie:
Za fraszkę wasze korony, królowie.
(Lir. II, 12).

[2]) Lir. I, 16: Мила мнѣ свобода, я въ ней родился, я ею украшаюсь и горжусь, но я долженъ ее такъ употреблять, чтобы не повредить отечеству... Любитель твоего отечества, Сарматъ, обходись съ этимъ алмазомъ теперь и потомъ такъ, чтобы лекарство въ ядъ непревратилось.

Fraszki: dixit et facta sunt: Богъ словомъ (да будетъ) создалъ міръ, но и мы словомъ (не позволяю) разрушимъ Польшу.

Pierścień wolności: Въ перстнѣ злато, въ златѣ знаменитая жемчужина Клеопатры, но въ этой жемчужинѣ запрятанъ ядъ. Злато—это корона (польская), жемчужина — это вольность сего отечества; берегитесь, чтобы въ этой жемчужинѣ не оказался ядъ.

рецъ, любимецъ Маріи-Луизы, возведенный Яномъ-Казиміромъ, 1668, въ важную и доходную должность короннаго подскарбія (министръ финансовъ). Всѣ Морштыны были по воспитанію, вкусамъ и наклонностямъ сильно офранцуженные Поляки, предшественники того направленія, которое сдѣлалось преобладающимъ въ послѣдующемъ періодѣ. Морштынъ былъ одною изъ сильнѣйшихъ опоръ французской партіи, весьма непопулярной между шляхтою. Въ 1684 году, когда отношенія короля Собѣскаго къ Людовику XIV были самыя дурныя, Морштынъ былъ уличенъ, что состоялъ едва ли не на службѣ у короля французскаго, вслѣдствіе чего долженъ былъ оставить Польшу и поселился во Франціи, гдѣ купилъ себѣ помѣстья и носилъ титулъ — графа de Chateauvillain. Морштынъ своихъ произведеній не печаталъ; онъ ими обсылалъ только своихъ знакомыхъ; большая часть его стихотвореній до сихъ поръ не издана. Какъ истый представитель своего вѣка, умѣвшаго соединять галантное съ религіознымъ, Морштынъ въ прелестномъ аскетическомъ стихотвореніи *Покаяніе* (Pokuta), являетъ примѣръ самобичеванія, сокрушаясь о своихъ грѣхахъ. Кромѣ сдѣланнаго имъ перевода Корнелева *Сида* (перевода, который донынѣ считается образцовымъ), онъ написалъ легкимъ стихомъ съ изящною простотою, чуждою всякаго педантизма, который составлялъ главный недостатокъ въ произведеніяхъ Коховскаго и его современниковъ, прелестную повѣсть *Психея*. Канвою послужилъ Морштыну греческій миѳъ въ итальянской обработкѣ, какую этотъ миѳъ получилъ въ 4-й пѣснѣ поэмы „Адонисъ“ Марини. Но Морштынъ передѣлалъ итальянскій образецъ и умѣлъ вставить множество остроумныхъ намековъ, относившихся къ современному обществу и къ тогдашнимъ политическимъ событіямъ [1]).

Переходимъ къ прозѣ. Въ настоящемъ періодѣ процвѣтали тѣ только отрасли ея, которыя имѣли ближайшую связь съ весьма дѣятельною, хотя и довольно безплодною политическою жизнью народа. Польская исторія XVII и первой половины XVIII вѣка употребляетъ, какъ и въ прежнія времена, два языка: латинскій и польскій, и вмѣщаетъ въ себѣ двоякаго рода произведенія: опыты прагматическаго изложенія въ связныхъ разсказахъ, по источникамъ, цѣлыхъ царствованій или цѣлыхъ періодовъ изъ политической жизни народа, и отрывочные мемуары. Перваго рода произведенія всѣ безъ изъятія писаны по латыни; польская исторіографія, заговорившая у Бѣльскихъ и Стрыйковскаго по польски, надѣла на себя опять латинскій нарядъ.

---

[1]) Andrzej Morsztyn, статья проф. Антонія Малэцкаго въ сборникѣ (Pismo Zbiorowe) Іосафата Огризки. Спб. 1859. Т. I, стр. 268. — Статья проф. Nehring'a въ журналѣ Biblioteka Warszawska, 1876.—Статьи Тита Свидерскаго въ львовскомъ журналѣ Przewodnik naukowy i literacki, за 1878 годъ.

Мемуары писаны почти всѣ на языкѣ польскомъ или, лучше сказать, на ломаномъ макароническомъ. Извѣстнѣйшіе изъ писателей, заслуживающихъ названіе историковъ, были: Павелъ Пясецкій (1580—1649), епископъ перемышльскій, замѣчательный своею религіозною терпимостью и враждою къ іезуитамъ, описалъ царствованія Сигизмунда III и Владислава IV, и извѣстный уже намъ какъ поэтъ, Веспасіанъ Коховскій, описавшій царствованія Яна-Казиміра и Михаила Вишневецкаго въ четырехъ книгахъ, которыя онъ назвалъ климактерами (семиками), потому что каждая изъ этихъ книгъ вмѣщаетъ въ себѣ событія за 7 лѣтъ. Этотъ громадный трудъ, написанный бойко и отчетливо, составляетъ главный источникъ для второй половины XVII вѣка. Лаврентій Рудавскій, мѣщанинъ, пожалованный въ дворяне, каноникъ варшавскій, приверженный къ Австріи до такой степени, что готовъ былъ всею Польшею жертвовать интересамъ габсбургскаго дома, передъ которымъ онъ раболѣпствуетъ. Рудавскій описалъ событія отъ вступленія на престолъ Яна-Казиміра до Оливскаго мира (1648—1660); его сочиненіе важно тѣмъ, что представляетъ оцѣнку съ самодержавной точки зрѣнія тѣхъ событій, которыя Коховскій описывалъ съ точки зрѣнія старо-шляхетской. Съ Коховскимъ видимо склоняется къ упадку искуство историческаго повѣствованія. Уровень политическаго образованія понижается быстро, характеры мельчаютъ, событія политическія становятся менѣе интересными, вмѣстѣ съ тѣмъ слабѣетъ и пониманіе общей ихъ связи и зависимости. Вмѣсто историческаго разсказа, епископъ вармійскій и канцлеръ Андрей-Хризостомъ Залускій (ум. 1711) оставилъ пять огромныхъ томовъ своей переписки (Epistolæ historico-familiares), драгоцѣнный, но совершенно сырой матеріалъ. Недостатокъ исторической критики выкупается отчасти чрезвычайнымъ обиліемъ разнообразнѣйшихъ записокъ, журналовъ или діаріевъ, замѣтокъ, въ которыхъ современники записывали все то, что̀ лично ихъ касалось или что̀ съ ними происходило, причемъ они затрогиваютъ на каждомъ шагу и общія политическія событія. Этотъ рудникъ исторіи, чрезвычайно богатый, открытъ недавно и раскопанъ въ незначительной только части; по всей вѣроятности большая половина подобныхъ мемуаровъ хранится еще подъ спудомъ. Чтобы понять весь интересъ подобныхъ мемуаровъ въ этомъ періодѣ, необходимо сообразить, что свободныя учрежденія въ родѣ польскихъ имѣютъ громадную живучесть, что упорная вѣра въ свой политическій идеалъ, изумительная стойкость въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, умѣнье единицъ группироваться въ массы по всякому призыву во имя угрожаемаго отечества, сообщали нра̀вамъ шляхетскаго сословія характеръ въ высокой степени эпическій. Представимъ, что на этомъ фонѣ картины рисуются властолюбивые замыслы

королей, происки заискивающихъ популярности магнатовъ, проникающія во внутренность Рѣчи-Посполитой вліянія иностранныхъ государствъ; что жизнь общественная, самая шумная и дѣятельная разыгрывается въ безконечныхъ сеймикахъ, сеймахъ, конфедераціяхъ, при звукѣ чокающихся бокаловъ, бряцаніи сабель и скрежетѣ стали,—и мы легко поймемъ, какой богатый матеріалъ для зрителя представляло польское общество XVII столѣтія. Задачи жизни были гораздо мельче, нежели въ XVI вѣкѣ, цѣли людей ограниченнѣе и эгоистичнѣе, но жизнь текла широкимъ русломъ, шумная, разнообразная. Съ упадкомъ просвѣщенія извелся родъ великихъ наблюдателей, которые бы умѣли понимать жизнь общества во всѣхъ ея разнообразныхъ до безконечности явленіяхъ, но за то появилось великое множество разсказчиковъ, которые описываютъ, съ точки зрѣнія своей партіи, своего кружка, тѣ событія земскія и государственныя, въ которыхъ они сами принимали непосредственное участіе. Этихъ разсказчиковъ такъ много, что съ помощью ихъ можетъ быть самымъ нагляднымъ образомъ воспроизведенъ бытъ Польши, во всей его поразительной пестротѣ. Важнѣйшія изъ открытыхъ и изданныхъ до сихъ поръ записокъ принадлежатъ слѣдующимъ лицамъ: Альбрехту Радзивиллу канцлеру (ум. 1656); Николаю Іемеловскому (ум. около 1693); Іоахиму Ерличу, Русину, шляхтичу волынскому (ум. около 1673); Яну-Стефану Выджгѣ, примасу (ум. 1686); Войтѣху изъ Коноядъ Демболенцкому, францисканцу, капеллану элеаровъ или лисовчиковъ, описавшему подвиги этой дружины въ Германіи и Польшѣ; Эразму Отвиновскому, описавшему весьма обстоятельно событія всего почти царствованія Августа II; Кристофору Завишѣ, воеводѣ минскому, въ началѣ XVIII столѣтія. Во главѣ всѣхъ писателей записокъ стоитъ поражающій своимъ обширнымъ литературнымъ талантомъ и неисчерпаемымъ юморомъ, Янъ-Хризостомъ Пассекъ герба Долива [1]), шляхтичъ мазовецкій, храбрый солдатъ и завзятый рубака, который воевалъ подъ начальствомъ Чарнецкаго со Шведами въ Польшѣ и въ Даніи, съ Москвою на Литвѣ, бывалъ въ премногихъ оказіяхъ, провожалъ изъ Москвы въ Варшаву московскихъ пословъ, побилъ однажды, поссорившись, Мазепу, будущаго гетмана козацкаго, былъ любимцемъ королей Яна-Казиміра и Яна Собѣскаго, наконецъ прошедши, какъ говорится, сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы, поселился въ землѣ краковской, гдѣ и дожилъ до глубокой старости (умеръ между 1699 и 1701 годами; см. Ateneum, 1878, іюль). Пассекъ записывалъ свои воспоминанія безъ малѣйшихъ притязаній на авторскую извѣстность, но онъ до того наглядно воспроизводитъ физіономію своего вѣка, что можетъ

[1]) Bronisław Chlebowski, Jan Chryzostom Pasek i jego Pamiętniki, въ варшавскомъ журналѣ Tygodnik illustrowany за 1879 годъ.

надолго служить неисчерпаемымъ матеріаломъ для историковъ и романистовъ.

Конецъ періода освѣщенъ еще болѣе ярко другимъ весьма замѣчательнымъ писателемъ, Матушевичемъ, котораго драгоцѣнныя записки недавно изданы (Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzesko-litewskiego, 1714—1765, изд. A. Pawiński. Warszawa, 1876, 4 t.). Этотъ Матушевичъ,—средней руки шляхтичъ, пройдоха и интриганъ,—не угодивъ Чарторыскимъ, заискивалъ у ихъ противникосъ Радзивилловъ и у Браницкаго, и, несмотря на свои дарованія только подъ конецъ жизни добился почестей и каштелянства за свое участіе въ радомской конфедераціи, имѣвшее всѣ признаки измѣны отечеству. Записки его не доходятъ до этого некрасиваго событія; онѣ обрываются на коронаціи Станислава Понятовскаго, но въ нихъ снята почти фотографически вся эпоха Августа III, съ ужасающею правдою, во всей наготѣ испорченности и разврата [1]).

Цѣлая бездна отдѣляетъ Пассека отъ Матушевича, уровень нравственный страшно понизился, общее благо стало фразою, представительное правленіе превратилось въ призракъ, нѣтъ почти трибунала непродажнаго, всѣ сеймики подтасовываются или разрываются по произволу, пьянство господствуетъ повальное, выигрываетъ и въ судѣ и на выборахъ тотъ, кто лучше кормитъ братью-шляхту, шляхта покрикиваетъ на сеймикахъ, но пресмыкается передъ магнатами и напрашивается къ нимъ на службу; изъ магнатовъ тотъ сильнѣе, кто побогаче и кто соединенъ связями съ дворами иностранными. Матушевичъ, принимавшій непосредственное участіе въ этой грязной стряпнѣ, разсказываетъ наивно о всѣхъ ея подробностяхъ безъ зазрѣнія совѣсти. Записки Матушевича представляютъ картину быта Польши въ первой половинѣ XVIII вѣка—весьма правдивую, но одностороннюю: по нимъ судя, можно бы заключить, что нѣтъ здороваго мѣста во всемъ тѣлѣ общественномъ. Гниль распространялась, но была и реакція противъ нея, пробуждалось народное сознаніе, рождались и развивались, хотя весьма медленно, въ борьбѣ съ громадными препятствіями, идеи реформы.

Требовалось совершить разомъ громадный политическій переворотъ, захвативъ въ свои руки власть, декретировать отмѣну Liberum veto, упорядоченіе сеймованія, реформу суда, ограниченіе власти гетмановъ и министровъ, увеличеніе войска и податей. Реформа вела неизбѣжно къ усиленію монархической власти, къ ея наслѣдственности; она задумывается первоначально королями съ ихъ ближайшими совѣтниками, и хранится въ тайнѣ, какъ опасный государственный секретъ. Но при явномъ нерасположеніи къ ней послѣдняго короля саксонскаго дома,

[1]) W. Spasowicz, M. Matuszewicz jako pamiętnikarz, въ Ateneum, 1876.

является сознаніе о необходимости готовить ее исподоволь, помимо короля, къ первой ближайшей элекціи. Носителемъ реформы явилась такъ называемая *фамилія*—княжескій литовскій родъ Гедиминовичей Чарторыскихъ, шедшихъ настойчиво къ ясно опредѣленной цѣли, разсчитывая на свои связи, на внѣшнюю матеріальную поддержку Россіи и на содѣйствіе всѣхъ благомыслящихъ людей, одушевленныхъ просвѣтительными идеями XVIII вѣка.—Политическая реформа въ Польшѣ была тѣснѣйшимъ образомъ связана съ раціонализмомъ XVIII вѣка. На ея сторонѣ стояли люди или офранцузившіеся даже по языку и костюму, или по крайней мѣрѣ привыкшіе думать по французски, относиться отрицательно къ родному варварству, къ родной исторіи, смотрѣть на польскія учрежденія и отношенія съ внѣ-національной, космополитической точки зрѣнія. Въ среду польскаго общества идея реформы вносила никогда небывалый расколъ. Чтобы дѣйствовать успѣшно на современниковъ, она создала цѣлую политическую литературу, которая и составляетъ звено, связующее въ исторіи литературы періодъ іезуитскій-макароническій съ блистательнымъ періодомъ Понятовскаго.

Разсмотримъ эту политическую литературу въ ея главныхъ представителяхъ. Обыкновенно ставятъ первымъ въ этомъ ряду [1]) Яна Яблоновскаго, воеводу русскаго, приверженца короля Станислава Лещинскаго, который издалъ въ 1730 г. во Львовѣ безъимянную брошюру, надѣлавшую много шума и вооружившую противъ автора столько враговъ, что, самъ будучи нерадъ своему произведенію, онъ выкупалъ его и истреблялъ по возможности. Полное заглавіе слѣдующее: Skrupuł bez skrupułu w Polsce etc. („Что дѣлается безъ зазрѣнія совѣсти въ Польшѣ,—объясненіе грѣховъ, болѣе свойственныхъ польскому народу, но не считаемыхъ грѣхами, трактатъ написанный нѣкіимъ Полякомъ тѣми же грѣхами грѣшнымъ, но кающимся, изданный во исправленіе его самого и людей"). Собственно эта книга не трактатъ политики, а нравоученіе, не предлагаетъ почти никакихъ мѣръ реформы, кромѣ обновленія нравственнаго, но чрезвычайно мѣтко и безпощадно бичуетъ тѣ мелкія обыденныя нечестности и пороки, которымъ общество молча поблажало, потому что всѣ были имъ болѣе или менѣе причастны: систематическое черненіе министровъ, склонность перечить и досаждать королю, пусканіе въ ходъ ложныхъ вѣстей для поддержанія духа въ своей партіи, пользованіе со стороны стражей казны разными небезгрѣшными доходами, ябедничество и при-

[1]) Собственно первымъ въ числѣ реформаторовъ стоитъ Карвицкій. Его сочиненіе, написанное еще въ 1709, напечатано впервые въ Краковѣ 1871 (de ordinanda republica). Карвицкій предлагаетъ ограниченіе монархизма отнятіемъ у короля раздачи должностей, превращаемыхъ въ избирательныя.

страстіе въ судахъ, наконецъ безпорядочный образъ сеймованія, которое „подобно бурному и бездонному морю волнуется Богъ вѣсть откуда вырывающимися вѣтрами страстей и интригъ людскихъ“ [1]).

Въ два года послѣ брошюры Яблоновскаго появилось безъимянно въ Нанси во Франціи другое сочиненіе, несравненно болѣе существенное по содержанію: Głos wolny wolność ubezpieczający („Вольный голосъ, обезпечивающій свободу“). Писалъ его бывшій король, готовившійся вторично добиваться короны, Станиславъ Лещинскій (1677—1766) [2]). Авторъ сознаетъ, что старое зданіе рушится (mole sua ruit) отъ излишней свободы (summa libertas etiam perire volentibus); онъ заискиваетъ у предержащей въ Польшѣ власти, признаетъ „безъ лести“, что шляхтѣ прирождены всѣ добродѣтели и таланты, предлагаетъ однако слѣдующія мѣры, чтобы сообщить конституціи, не разрушая ея, debitam formam. Элекція королей не отмѣнена, но она должна происходить сначала на земскихъ сеймикахъ, которые называютъ только кандидатовъ; потомъ на сеймѣ выборомъ по большинству голосовъ одного изъ четырехъ первыхъ, названныхъ земствами, кандидатовъ. И передъ *liberum veto* авторъ притворно преклоняется, въ сущности же практически сводитъ его почти къ нулю, къ праву подачи особаго мнѣнія, которое прилагается къ инструкціямъ, даваемымъ посламъ на сеймѣ; но ни на сеймикахъ, ни на сеймѣ, ни выборы представителей, т.-е. маршаловъ, ни сила сеймовыхъ постановленій не зависятъ отъ произвола отдѣльнаго лица. Авторъ лишаетъ права участвовать въ сеймикахъ лицъ военныхъ и въ частной службѣ у кого бы то ни было состоящихъ. Сохраняя двупалатную систему въ устройствѣ сейма, Лещинскій переноситъ центръ тяжести народнаго представительства изъ общихъ собраній палатъ въ предлагаемые имъ министеріальные совѣты, то-есть въ сеймовые комитеты изъ извѣстнаго числа сенаторовъ и земскихъ пословъ, числомъ четыре, по четыремъ главнымъ предметамъ: войны, казны, юстиціи и полиціи. Совѣты вырабатывали бы законопроекты во время сейма, а въ промежуткахъ отъ сейма до сейма дѣйствовали бы, какъ высшія судебныя инстанціи. Староства (panis bene merentium) авторъ предлагаетъ взять въ казну и пріобщить къ источникамъ государственныхъ доходовъ, министровъ назначать не пожизненно, а на шестилѣтія посредствомъ голосованія на сеймѣ, въ которомъ бы участвовали обѣ палаты и король; сдѣлать ихъ отвѣтственными за всѣ дѣйствія правительства, подчинить ихъ надзору министерскихъ совѣтовъ, образовать по воеводствамъ воеводскіе совѣты изъ воеводы и 4 земскихъ пословъ,

---

[1]) Какъ непрактиченъ Яблоновскій, какъ реформаторъ, видно изъ того, что онъ предлагаетъ чтобы подскарбій давалъ отчетъ въ приходахъ и расходахъ не передъ сеймомъ, а передъ сеймиками.

[2]) Aleksander Rembowski, Stanisław Leszczyński jako statysta. «Niwa», 1878, zeszyty 80—96.

судейскія должности изъ избирательныхъ превратить въ пожизненныя. Не вводя въ свою программу участіе низшихъ безправныхъ классовъ въ народномъ представительствѣ, король-философъ кладетъ однако палецъ на больное мѣсто Польши—на неправильное отношеніе шляхты къ плебеямъ. „Всѣмъ, чѣмъ мы славимся, — говоритъ онъ, — мы обязаны простому народу. Очевидно, что я не могъ бы быть шляхтичемъ, еслибы хлопъ не былъ хлопомъ. Плебеи суть наши хлѣбодатели, они добываютъ для насъ сокровища изъ земли, отъ ихъ работъ намъ достатокъ, отъ ихъ труда богатство государства.—Они несутъ бремя податей, даютъ рекрутъ; еслибы ихъ не было, мы бы сами должны были сдѣлаться землепашцами, такъ что, вмѣсто поговорки: панъ изъ пановъ, слѣдовало бы говорить: панъ изъ хлоповъ". Предлагавшій эти полумѣры въ формѣ, исполненной дипломатическихъ недомолвокъ, правитель Лотарингіи оказалъ въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ громадное личное вліяніе на общественное мнѣніе въ Польшѣ. Къ нему ѣздили на поклоненіе ревнители реформы; его дворъ въ Люневилѣ былъ тѣмъ сборнымъ пунктомъ, въ которомъ, знакомясь съ французскимъ интеллектуальнымъ движеніемъ Франціи, передовые люди Польши проникались французскою культурою и, пристращаясь къ ней, переносили ее потомъ на польскую почву. Дѣти высшей польской аристократіи воспитывались въ военной (рыцарской) школѣ, устроенной Лещинскимъ въ Люневилѣ. Новой формаціи патріоты, любящіе свою родину, какою она должна быть, но думающіе и чувствующіе по французски, хотя они и выражались на преобразуемомъ ими, утончаемомъ и очищаемомъ отъ латыни польскомъ языкѣ, шли гораздо дальше въ своихъ планахъ, нежели Лещинскій, были гораздо радикальнѣе во взглядѣ на устарѣлыя и варварскія по ихъ понятіямъ учрежденія родины. Изъ толпы ихъ выдѣляются особенно два лица духовнаго званія, весьма неравныя по заслугамъ, но тѣсно связанныя какъ по совокупной дѣятельности, такъ и по близости своей къ Люневильскому двору: Залускій и Конарскій.

Іосифъ-Андрей Залускій (1701—1741), епископъ кіевскій, человѣкъ, преисполненный аристократическихъ предразсудковъ и до того французоманъ, что читалъ на французскомъ языкѣ проповѣди для варшавскаго бо-монда; кромѣ того, страшный библіоманъ, собралъ богатѣйшее по части польской исторіи книгохранилище (около 300,000 книгъ, полтора десятка тысячъ рукописей), которое отказалъ потомъ по духовному завѣщанію народу (оно вывезено изъ Варшавы какъ русскій трофей и легло въ основаніе Императорской С.-Петербургской публичной библіотеки). Подъ его руководствомъ образовался первый польскій библіографъ Енишъ, переименовавшійся Яноцкимъ (соч. его: Janociana); по почину Залускаго занялся издательствомъ старин-

ныхъ латино-польскихъ лѣтописцевъ лекарь Laurentius Mizler a Kolof. Станиславъ Конарскій (1700—1773) происходилъ изъ знатнаго семейства, вступилъ имѣя 17 лѣтъ въ орденъ піаристовъ, докончилъ свое образованіе въ Римѣ и Люневилѣ, вернулся въ Польшу въ 1730 г. и совершилъ три предпріятія, блистательно удавшіяся и богатыя послѣдствіями: реформу воспитанія, изданіе полнаго собранія законовъ и полное разоблаченіе передъ общественнымъ мнѣніемъ несостоятельности liberum veto. При помощи и поддержкѣ со стороны Залускаго Конарскій издалъ, въ 6 томахъ, такъ называемыя *Volumina legum*, полное собраніе законовъ Польши, начиная съ Вислицкаго Статута [1]). Сначала ректоръ піаристской семинаріи въ Ржешовѣ, потомъ провинціалъ этого ордена, онъ открылъ въ Варшавѣ въ 1740 образцовый закрытый пансіонъ (конвиктъ) для дѣтей аристократическихъ домовъ: collegium nobilium; потомъ ему удалось преобразовать всѣ вообще піаристскія школы. Альваръ былъ изгнанъ изъ преподаванія, бо́льшее развитіе получили математика, исторія, географія; наряду съ латынью преподавались новѣйшіе европейскіе языки и народный. Конарскій и его сподвижники приготовили отличные учебники по всѣмъ отраслямъ науки. Конвикты, заводимые Конарскимъ, не были, конечно, народными, ни даже шляхетскими школами, а модными заведеніями для великосвѣтской молодежи, въ которой эта молодежь получала блестящее свѣтское, хотя и не очень глубокое образованіе во французскомъ вкусѣ; но не слѣдуетъ забывать, что Конарскій былъ болѣе политическій, нежели научный дѣятель, что науку онъ любилъ не для самой науки, что посредствомъ воспитанія онъ хотѣлъ приготовить не столько ученыхъ, сколько вліятельныхъ людей, которые бы могли взять на себя починъ реформы политической, а въ дальнѣйшихъ ея результатахъ и соціальной. Первостепеннымъ публицистомъ явился Конарскій въ 4-томномъ безъимянномъ памфлетѣ: O skutecznym rad sposobie (1769—1763), въ которомъ, разбирая порядокъ сеймованія, обнаруживаетъ величайшій вредъ liberum veto и предлагаетъ способъ рѣшенія вопросовъ по большинству голосовъ. Авторъ бралъ зло такъ сказать за самые рога и поражалъ самый его корень, съ неотразимою логикою и громадною начитанностью. Конарскій хотѣлъ бы видѣть престолъ наслѣдственнымъ, короля лишить раздачи вакантныхъ должностей; думаетъ, что иностранныя державы не воспротивятся отмѣнѣ liberum veto и положенію такимъ образомъ предѣла анархіи; наконецъ считаетъ требованіе сеймованія возможнымъ при дружномъ усиліи преданныхъ идеѣ реформы патріотовъ; его дѣятельность не была обусловлена политикою дома Чарторыскихъ, но содѣйствовала не мало Чарторыскимъ

[1]) Второе изданіе полныхъ Volumina legum въ VIII томахъ съ инвентаремъ, сдѣлано Іосафатомъ Огризко. Петербургъ, 1859—1860.

въ ихъ политикѣ. Книга эта произвела необычайно сильное впечатлѣніе, увлекла за собою всю знать, подѣйствовала и на шляхту [1]), такъ что, когда наступитъ давно ожидаемый моментъ смерти послѣдняго короля изъ Саксонцевъ, людей, серьезно отстаивающихъ эту зеницу ока шляхетской вольности, уже почти не оказывалось.

Въ концѣ этого періода появляются первые опыты критической обработки исторіи Польши. Прусскіе Нѣмцы Гарткнохъ (ум. 1687), Ленгнихъ (1689—1774), Браунъ (ум. 1737), съ нѣмецкою усидчивостью и аккуратностью берутся за самый трудный и самый темный въ жизни народа предметъ, за исторію польскаго права. Чрезвычайно плодовитъ былъ историкъ, публицистъ и археологъ Симонъ Старовольскій, каноникъ краковскій (ум. 1656), оставившій до 60 сочиненій; современники называли его, по причинѣ обширной его начитанности, польскимъ Варрономъ. Іезуитъ Касперъ Несецкій (ум. 1744) оставилъ драгоцѣнный матеріалъ для исторіи польской въ геральдическомъ сочиненіи, въ которомъ онъ собралъ и расположилъ по гербамъ исторію всѣхъ сколько-нибудь замѣчательныхъ родовъ шляхетскихъ. Это сочиненіе въ четырехъ огромныхъ томахъ издано было во Львовѣ 1728—1748, подъ заглавіемъ *Korona Polska* [2]).

---

4. Періодъ короля Понятовскаго (1764—1796) и времена по-раздѣльныя до появленія польскаго романтизма (1795—1822).

Главныя событія.

1764, 7 (19) октября—избраніе королемъ С.-А. Понятовскаго.
1766—Конфедераціи диссидентовъ, поддерживаемыя Россіею.
1767—Радомская конфедерація. Ссылка сенаторовъ въ Калугу.
1768, 12 (24) февраля—Трактатъ съ Россіею, гарантирующій кардинальныя права.
1768, 29 февраля (12 марта)—образованіе Барской конфедераціи.
1769—Колiивщина.
1770—Барскіе конфедераты отрѣшаютъ Понятовскаго отъ престола.
1771, 3 (15) ноября—Покушеніе барскихъ конфедератовъ на короля.
1772—Первый раздѣлъ Польши.
1773—Сеймъ. Оппозиція Рейтана.
1774—Уничтоженіе ордена іезуитовъ; учрежденіе Эдукаціонной Коммиссіи.
1775—Учрежденіе непрестаннаго совѣта.
1787—Свиданіе въ Каневѣ Екатерины II съ Понятовскимъ.
1788, 5 (17) октября—Открытіе четырехлѣтняго сейма.
1791, 3 (15) мая—Новая польская конституція.
1792, 14 (26) мая—Актъ Тарговицкой конфедераціи.
1792, 24 ноября (6 декабря)—Король присоединяется къ ней.

---

[1]) Pamiętniki Matuszewicza IV, 189.

[2]) Трудъ Несецкаго, значительно дополненный, изданъ вновь Яномъ-Непомукомъ Бобровичемъ, въ 10 томахъ, Лейпцигъ, 1839.

1793—Второй раздѣлъ Польши; нѣмой гродненскій сеймъ.
1794, 24 марта (5 апрѣля)—Возстаніе Косцюшки въ Краковѣ.
1794, 17 (29) апрѣля—Переворотъ въ Варшавѣ.
1794, 8 (20) ноября—Занятіе Варшавы Суворовымъ.
1795—Третій окончательный раздѣлъ Польши.
1807—Образованіе герцогства Варшавскаго.
1815—Образованіе Царства Польскаго.

Со всякими затрудненіями сопряжено правдивое воспроизведеніе и оцѣнка тревожной эпохи, начавшейся съ избранія Понятовскаго и отличающейся то порывистыми стремленіями къ радикальному преобразованію, то вакханаліями безпощаднѣйшей реакціи. Всѣ событія этого бурнаго времени имѣютъ двойственный смыслъ и характеръ. Во-первыхъ, онѣ представляютъ неудавшуюся запоздалую попытку спѣшной починки разваливающагося политическаго зданія. Та особенность, что осуществленію предпріятія помѣшало внѣшнее вмѣшательство, оставляетъ, повидимому, нерѣшимымъ вопросъ, насколько бы народъ осилилъ трудную задачу, еслибы вовсе не было этого препятствія; хотя, съ другой стороны, это внѣшнее вмѣшательство было роковымъ результатомъ застоя въ хронической анархіи, которой поддержаніе, имѣя существенный интересъ для сосѣдей, вошло какъ нѣчто существенное въ ихъ политику и сдѣлалось руководящимъ ея началомъ, такъ что всякое внутреннее преобразованіе въ Польшѣ XVIII в. осложнялось роковымъ образомъ внѣшнею войною и судьба народа становилась въ высшей степени трагическою. Но, во-вторыхъ, отъ тѣхъ же событій послѣдней катастрофы ведетъ свое начало возрожденіе, и соціальное и литературное, которое по стеченію обстоятельствъ проявилось у Поляковъ раньше, чѣмъ у другихъ славянскихъ народовъ, но запечатлѣлось нѣкоторыми типическими чертами, мѣшающими иногда признать совпаденіе и сходство, вслѣдствіе наружнаго различія въ формахъ проявленія. Среди борьбы за гибнущую самобытность политическую проясняются у лучшихъ людей XVIII вѣка въ Польшѣ условія будущаго ея быта,—условія, вовсе не существовавшія въ старой Польшѣ и имѣющія быть созданными вновь. Всѣ эти люди имѣютъ въ виду цѣль весьма опредѣленную и чисто политическую, для ихъ горячаго патріотизма невозможное не существуетъ, они сильно заблуждаются на счетъ осуществимости задачи разомъ и надѣются внезапно создать условія и предпосылки, отъ которыхъ зависитъ осуществленіе ихъ идеала; при неизбѣжныхъ неудачахъ такихъ попытокъ ихъ стремленія вырождаются въ политическое мечтательство, но вмѣстѣ съ тѣмъ цѣль политическая отходитъ все болѣе въ неизмѣримую даль, а на первомъ планѣ становятся заботы дня, выработка предпосылокъ и условій уже не особеннаго

политическаго, а просто только особеннаго національнаго существованія. Хотя людямъ разсматриваемаго нами періода чужда еще была такая постановка польскаго вопроса, которая выяснилась лишь недавно, послѣ множества неудачъ и разочарованій, но такъ какъ они внесли въ свой политическій идеалъ идеи, которыя сдѣлались руководящими началами современныхъ демократій, равенство людей, права человѣка, коренное измѣненіе не только неуклюжей средневѣковой политической машины, но и законовъ, не только законовъ, но и нравовъ, то они и являются любимцами—героями для будущихъ поколѣній, и если не творцами, то предвозвѣстниками позднѣйшаго возрожденія.

Съ этой стороны литература времени короля Станислава-Августа представляетъ большой интересъ; она вся переплетена съ политикой [1]).

Какъ политика, такъ и литература имѣютъ отпечатокъ французскій. Польская реформа шла по міровому, величайшему послѣ реформаціи, теченію просвѣтительныхъ идей XVIII вѣка. Королевскую власть ей пришлось, конечно, не умалять, а усиливать; *tiers-état*, котораго вовсе не было, ей пришлось искусственно создавать; отъ французской философіи XVIII вѣка она заимствовала понятія о правахъ человѣка и отрицаніе всякихъ кастъ. Весьма еще малъ былъ процентъ людей руководимыхъ идеями реформы, а между тѣмъ медлить былъ невозможно, государственный корабль тонулъ, наполняясь водою по самый бортъ. Оставался одинъ путь скрыто-задуманнаго, смѣло-исполненнаго государственнаго переворота или путь такъ-называемой политической интриги. Эту задачу предприняла *фамилія*, то-есть партія Гедиминовичей Чарторыскихъ, (братья Михаилъ, канцлеръ литовскій, и Августъ, воевода русскій), обладавшихъ громадными богатствами (вслѣдствіе бракосочетанія Августа съ послѣднею въ родѣ Сѣнявскихъ) и обширными родственными связями (съ Понятовскими, гетманомъ Клеменсомъ Браницкимъ). Отъ всѣхъ вельможескихъ программъ планъ Чарторыскихъ отличался тѣмъ, что въ основѣ его лежала вполнѣ государственная идея. Точки опоры для преодолѣнія анархіи они искали внѣ Польши; жертвуя призракомъ несуществующей уже самобытности политической и образуя русскую партію

---

[1]) Szujski, Dzieje Polski, t. IV.
— Henr. Szmitt, Panowanie Stanisława Augusta, 2 t. Lwów 1868—1870.
— W. Kalinka, Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, 2 t. (Въ Pamiętnikach z XVIII w., изданныхъ Жупанскимъ, Poznań 1868).
— J. I. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772—1799. Studia do historyi ducha i obyczajów. Poznań, 3 tomy, 1873—1875.
— С. Соловьевъ, Исторія паденія Польши. Москва 1865.
— С. Соловьевъ, Исторія Россіи. т. 28. Москва 1878.
— Н. Костомаровъ, Послѣдніе годы Рѣчи Посполитой. Петербургъ 1870.
— Roepell, Polen um die Mitte des XVIII Jahrhunderts. Gotha, 1876.
— Brüggen, Polens Auflösung. Leipzig 1878.
— D. Angeberg, Recueil des traités et conventions concernant la Pologne, 1762—1862. Paris, 1862.

въ Польшѣ, они полагали, что въ интересахъ Россіи будетъ пріобрѣсти всю Польшу безъ дѣлежа, и что подъ крыломъ Россіи Польшѣ возможно будетъ устроить свои внутреннія отношенія. Моментъ дѣйствія наступилъ для фамиліи со смертью въ 1763 г. короля Августа III; подъ охраною русскихъ штыковъ состоялся конвокаціонный сеймъ, на которомъ Чарторыскіе, заставивъ удалиться оппозицію въ лицѣ гетмана Браницкаго и Карла Радзивилла и превративъ его въ конфедерацію, то-есть въ собраніе, рѣшающее дѣла по большинству голосовъ, учредили коммиссію войсковую и казенную, ограничивающія власть гетмановъ и подскарбія, преобразовали судъ, посягнули на liberum veto. Не вполнѣ по ихъ волѣ, но по указанію русскаго правительства возведенъ въ 1764 г. на престолъ ихъ племянникъ, человѣкъ ихъ партіи и семьи, знакомый лично Екатеринѣ II, Станиславъ-Августъ Понятовскій, внукъ Андрея Морштына, поэта, и сынъ тончайшаго дипломата генерала Станислава Понятовскаго, почти безроднаго выскочки, бывшаго сподвижникомъ Лещинскаго и Карла XII, и кончившаго тѣмъ, что при Саксонцахъ онъ занималъ первое кресло въ польскомъ сенатѣ [1]). Удача Чарторыскихъ озадачила сосѣднія правительства, въ разсчеты которыхъ вовсе не входило дать Польшѣ устроиться и окрѣпнуть; онѣ вдругъ потеряли свою внѣшнюю точку опоры, и вся ихъ хитрая многолѣтняя работа рушилась. Россія потребовала равноправности для диссидентовъ и поставила Чарторыскихъ въ невозможное положеніе; поддерживать эти требованія они не могли, не теряя всей своей популярности, не прослывя измѣнниками. Съ другой стороны, въ Берлинъ и Петербургъ забѣжали польскіе анархисты, и на сеймѣ 1766 поданъ со стороны Россіи и Пруссіи протестъ противъ отмѣны *liberum veto.* Обереганію неприкосновенности этой „зѣницы ока“ шляхетской свободы рукоплескало большинство коснѣющаго въ консерватизмѣ шляхетскаго народа. Труднѣе было подвинуть сеймъ на противное и по остаткамъ чувствъ народной независимости и по религіознымъ понятіямъ—допущеніе до политическихъ правъ диссидентовъ. И эта цѣль была однако достигнута русскою политикою. По ея почину образованы диссидентскія конфедераціи въ Торнѣ и Данцигѣ, а потомъ (1767) генеральная въ Радомѣ. Устраненные отъ правленія олигархи, съ прощеннымъ императрицею изгнанникомъ, „литовскимъ медвѣдемъ“, княземъ Карломъ Радзивилломъ во главѣ, ополчились при содѣйствіи русскихъ солдатъ за нравственно противныя имъ права иновѣрцевъ, чтобы возвратить себѣ потерянное вліяніе и низвести короля съ престола. Эти надежды озлобленнаго вельможества не осуществились, только Чарторыскіе удалились со сцены; обезсиленный и униженный невольнымъ подписаніемъ Радом-

[1]) **Kantecki**, Ojciec Stanisława Augusta, въ Ateneum за 1876 г.

ской конфедераціи король остался на мѣстѣ безъ значенія и власти, между тѣмъ какъ настоящимъ посредникомъ партій и рѣшителемъ судебъ сдѣлался русскій посолъ, князь Репнинъ. Попытки сеймовой оппозиціи были устранены ссылкою краковскаго епископа Солтыка и нѣсколькихъ другихъ сенаторовъ въ Калугу; сеймомъ приняты и по особому трактату 12 (24) февр. 1768 г. гарантированы Россіею какъ права польскихъ подданныхъ диссидентовъ, такъ и кардинальныя права польскаго народа, въ томъ числѣ *liberum veto* во всѣхъ важнѣйшихъ вопросахъ внутренней и внѣшней политики (такъ называемыя materiae status).

Прямымъ послѣдствіемъ Радомской конфедераціи и трактата сейма о гарантіи была Барская конфедерація. Задѣтое этими событіями, народное чувство вызвало произвольное, внезапное религіозно-патріотическое движеніе. Весь край покрылся летучими отрядами партизановъ, „кавалеровъ креста—рыцарей Маріи“. Легендарными лицами сдѣлались предводители движенія: подольскій епископъ Красинскій, Пулавскіе, монахъ кармелитъ ксендзъ Маркъ, козакъ Сава; движеніе увлекло за собою и самого маршала Радомской конфедераціи Радзивилла. На югѣ оно вызвало кровавую гайдамачину, бунтъ, извѣстный подъ именемъ *Колiивщины*. Это безпорядочное, перекидывающееся съ мѣста на мѣсто движеніе ни мало не соотвѣтствовало своей политической задачѣ. Конфедераты пошли на путь дальнихъ дипломатическихъ заискиваній, короля отрѣшили отъ престола, какъ измѣнника, и даже покушались его вооруженною рукою изъ Варшавы похитить, впутали Россію въ турецкую войну и только ускорили раздѣлъ Рѣчи-Посполитой. Попытки преемника Репнина, князя Волконскаго, образовать опять русскую партію и противопоставить ее съ королемъ во главѣ конфедератамъ, оказались неудачными; нельзя было подвинуть на это дѣло людей, сколько-нибудь уважаемыхъ и честныхъ. Тогда императрица склонилась къ давнишнимъ предложеніямъ Фридриха-Великаго; Австрія приняла также участіе въ дѣлежѣ, по которому Россія получила нынѣшнія Бѣлорусскія губерніи, Австрія—Галицію, кромѣ Кракова, и часть Люблинской губерніи, Пруссія—Вармію и такъ-называемую Королевскую Пруссію отъ моря и устьевъ Вислы за рѣку Нотэць (Netze), за исключеніемъ оставшихся при Польшѣ городовъ Данцига и Торна. Съ 13,300 квадр. миль поверхность Рѣчи-Посполитой сократилась до 9438 миль, съ народонаселеніемъ въ 8 милліоновъ жителей [1]). Уступчивость короля не подлежала сомнѣнію, надлежало заставить сеймъ принять раздѣльный трактатъ. Главная роль въ этомъ актѣ самоуничтоженія выпала на долю продажнаго и безстыжаго циника

[1]) Korzon, въ Ateneum, 1877, № 5.

Адама Понинскаго (протестъ на сеймѣ Т. Рейтана). Устраивать правленіе на новыхъ началахъ предоставлено сеймовой делегаціи, которая продолжала эту работу не торопясь, вплоть до 1775 г. Новая форма правленія была вполнѣ олигархическая, отъ короля отнята даже раздача вакантныхъ должностей и староствъ; исполнительная власть передана Непрестанному Совѣту (Rada Nieustająca) изъ 36 человѣкъ (18 сенаторовъ и министровъ и 18 членовъ отъ шляхетскаго сословія, избираемыхъ сеймомъ на два года), подраздѣляющемуся на департаменты (внѣшнихъ дѣлъ, войска, полиціи, юстиціи и казны). Въ Варшавѣ шелъ пиръ горой, совершался шумный дѣлежъ участниковъ власти мѣстами, деньгами, имѣніями. Предметами наживы были по-іезуитскія имѣнія, предназначенныя послѣ упраздненія ордена папою Климентомъ XIV (21 іюля 1773) на дѣло народнаго просвѣщенія, и староствъ или королевщизнъ. Какъ тѣ, такъ и другія, весьма низко оцѣненныя, раздаваемы были двумя раздаточными коммиссіями на эмфитевтическомъ правѣ удостоивавшимся по связямъ получить ихъ, лицамъ. Король задобренъ уплатою его долговъ и предоставленіемъ ему укомплектовать на первый разъ Непрестанный Совѣтъ. Рѣшителемъ судебъ были съ тѣхъ поръ не король и не совѣтъ, а представитель Россіи въ Варшавѣ—Штакельбергъ. Этотъ моментъ наибольшаго не только политическаго, но и нравственнаго паденія народа послужилъ началомъ цѣлому двадцатилѣтнему періоду (1772—1793), на который личность короля Станислава-Августа имѣла большое вліяніе, такъ что именемъ его бываетъ озаглавленъ этотъ періодъ. На личности этой, еще болѣе замѣчательной въ исторіи литературы чѣмъ въ политической, слѣдуетъ остановиться [1]).

Станиславъ-Августъ Понятовскій былъ безспорно одинъ изъ образованѣйшихъ философовъ XVIII в., притомъ человѣкъ несомнѣнно благонамѣренный, трудолюбивый и серьезно старавшійся сыграть съ достоинствомъ и наилучшимъ по возможности образомъ многотрудную роль польскаго короля. Умъ онъ имѣлъ тонкій, критическій, проницательный, вкусъ отмѣнно-изящный; онъ цѣнилъ поразительно вѣрно людей и событія, былъ разсудителенъ и разсчетливъ, безъ огня страсти, безъ поэзіи и увлеченія. Нельзя отказать ему и въ выдержкѣ при осуществленіи намѣреній, но дѣятельность его лишена была всякихъ нравственныхъ устоевъ, нравственной подкладки; отсутствовала та сила воли, которая заставляетъ человѣка идти почти на невозможное. ставить жизнь на карту, умирать за идею. Стоять во главѣ консерваторовъ подъ старымъ испытаннымъ знаменемъ шляхетства и отстоять старую Польшу, съ Барскими конфедератами заодно, ему мѣшали его

[1]) Лучшая характеристика короля Станислава-Августа въ приведенной выше книгѣ Калинки, Ostat. lata etc. См. также Correspondance du Roi Stan.-Auguste P. et de M-me Geoffrin, par Charles de Mouy. Paris. 1875.

философскія убѣжденія. Идти во главѣ новаторовъ, на встрѣчу послѣдней катастрофѣ и призвать въ крайнемъ случаѣ даже революціонные элементы на національную войну противъ сосѣдей—онъ не могъ, по недостатку энергіи въ характерѣ, по отсутствію смѣлаго почина. Но онъ не былъ бодръ даже настолько, чтобы запечатлѣть свою вѣрность убѣжденіямъ страдательнымъ сопротивленіемъ, отказомъ наложить руку на то, что́ онъ самъ созидалъ и устраивалъ. Когда, по его соображеніямъ, исчерпаны были средства отклонить неизбѣжное событіе, Станиславъ-Августъ мирился съ нимъ, умывая руки, принималъ предлагаемое, проходилъ подъ иго требованій, какъ бы они для него унизительно ни были, и продолжалъ лицедѣйствовать, какъ будто бы не случилось вовсе перемѣны. Не будь этой уступчивости, очень можетъ быть, что уже въ 1772 г. Польша была бы окончательно раздѣлена, слѣдовательно ей обязаны своими успѣхами литература, просвѣщеніе и идеи политическія, развившіяся въ теченіи двадцати лѣтъ зависимаго и непрочнаго существованія, когда главнымъ лицомъ въ Варшавѣ былъ не король, а Штакельбергъ. Несмотря на свое олигархическое происхожденіе, Непрестанный Совѣтъ былъ первымъ организованнымъ центральнымъ учрежденіемъ, подраздѣляющимся по закону дѣленія труда на департаменты по роду дѣлъ, и принесъ громадную пользу. Вслѣдъ за отдачею по-іезуитскихъ имѣній на дѣло народнаго просвѣщенія, установлена, въ 1773 году, Эдукаціонная Коммиссія, которой передано все воспитаніе народное и которая была первымъ въ Европѣ министерствомъ народнаго просвѣщенія.

Это установленіе совершило дѣло несравненно болѣе прочное, нежели всѣ политическія преобразованія, потому что оно пережило паденіе Польши и содѣйствовало въ значительной степени сохраненію польской народности и усиленію въ XIX столѣтіи ея всесторонняго нравственнаго вліянія во всѣхъ странахъ, входившихъ въ составъ прежней Рѣчи-Посполитой, и даже за ея предѣлами. Эдукаціонная Коммисія состояла изъ восьми лицъ, между которыми особенныя услуги оказали: Хрептовичъ, подканцлерій литовскій; Игнатій Потоцкій, писарь литовскій; Адамъ Чарторыскій, генералъ подольскихъ земель; Андрей Замойскій, канцлеръ; секретаремъ Коммиссіи былъ Григорій Пирамовичъ, главный составитель ея уставовъ. Коммиссія имѣла мѣстопребываніе въ Варшавѣ, посылала для осмотра училищъ особыхъ визитаторовъ и давала сейму отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Преобразовавъ до основанія обѣ академіи, краковскую и виленскую, и измѣнивъ въ нихъ и планъ и методы преподаванія, Эдукаціонная Коммиссія сдѣлала изъ нихъ центры управленія—изъ краковской академіи для Короны, изъ виленской, переименованной въ главную школу—для Литвы. Республика раздѣлена въ учебномъ отношеніи на 9 округовъ; въ каж-

домъ округѣ открыта одна высшая школа съ гимназическимъ курсомъ и нѣсколько подъ-окружныхъ, въ родѣ нашихъ уѣздныхъ училищъ. Общій уставъ для польскихъ и литовскихъ училищъ, выработанный Коммиссіею, введенъ въ дѣйствіе въ 1783 г. Для снабженія школъ хорошими учебниками учреждено при Коммиссіи общество элементарныхъ книгъ, въ которомъ засѣдали ученѣйшіе изъ тогдашнихъ Поляковъ (Гуго Коллонтай, Янъ Снядецкій, Онуфрій Копчинскій). Общество открыло конкурсы на составленіе лучшихъ учебниковъ и посредствомъ этой мѣры польская литература обогатилась возникшею внезапно цѣлою педагогическою литературою. Всего труднѣе было найти способныхъ учителей; на первый разъ пришлось довольствоваться эксъ-іезуитами, которые по старой привычкѣ не могли сочувствовать вводимымъ въ преподаваніе перемѣнамъ; учительскія семинаріи, открытыя въ Краковѣ, Вильнѣ, Кельцахъ, Ловичѣ, не вдругъ могли принести плоды. Впрочемъ и этотъ недостатокъ пополнился къ началу великаго четырехлѣтняго сейма; краковская академія очнулась отъ своего вѣковаго сна, и виленская главная школа развивалась быстро подъ энергическимъ руководствомъ своего неутомимаго ректора, эксъ-іезуита Мартина Одляницкаго Почобута (род. 1728, сложилъ должность ректора 1799, ум. 1810).

На основаніи своихъ pacta conventa король обязался учредить своимъ коштомъ военное училище. Не щадя издержекъ, онъ устроилъ въ 1765 г. въ Варшавѣ (въ Казиміровскомъ дворцѣ, гдѣ теперь университетъ) корпусъ кадетовъ или рыцарскую школу, которой король былъ шефомъ, а командиромъ Адамъ Чарторыскій. Поступали въ этотъ корпусъ юноши уже взрослые (16 до 18 лѣтъ), число кадетъ не превышало 80, направленіе преподаванія было не столько техническое, сколько философское, гуманное, въ воспитанникахъ старались развить въ возможно большей степени чувства гонора и любви къ отечеству. Изъ этой школы вышли Косцюшко и Нѣмцевичъ.

Ограниченный со всѣхъ сторонъ и зависимый, король имѣлъ полную возможность заниматься на досугѣ литературою, окружать себя отборными поэтами и артистами, ободрять ихъ словомъ, поощрять ихъ деньгами, устраивать свои четверговые обѣды, и старался славою покровителя наукъ и художествъ прикрыть позоръ уменьшенной на половину короны. Другимъ подобнымъ королевскому центромъ сдѣлались Пулавы, гостепріимный магнатскій домъ князей Чарторыскихъ.

А) Послѣдніе тихіе года передъ крушеніемъ.

Въ обществѣ польскомъ XIX вѣка, послѣ Мицкевича, завелось обыкновеніе пренебрегать литературой царствованія Понятовскаго. На ней лежитъ тяжелымъ камнемъ обвиненіе въ подражательности францу-

замъ, въ измѣнѣ народному духу. Замѣчательно, что это обвиненіе явилось только въ XIX столѣтіи, что въ свое время польская старина оказывала этой подражательности одно лишь пассивное сопротивленіе инерціи, одно тупое и безсмысленное отрицаніе всякой новизны; въ рѣшительную минуту, отъ которой зависѣла жизнь или смерть народа, старина собралась съ силами на то только, чтобы сказать свое veto и самоубійственно посягнуть на самое существованіе государства (конфедерація тарговицкая). Когда Польша пала, шляхетство отодвинулось въ даль, успѣло обрости мохомъ и плѣсенью, тогда-то послышались голоса, выражавшіе сожалѣніе о томъ, что эта старина исчезла; умершее въ жизни стало воскресать въ пѣсни, причемъ требованія и краски настоящаго подкладывались весьма часто подъ образы прошедшаго. Старое шляхетство было уже исчерпано въ XVIII столѣтіи, идеалы его оказывались несостоятельными, общество требовало обновленія, проложенія новыхъ путей къ творчеству. Для своего обновленія оно должно было прибѣгнуть къ заимствованіямъ. Изъ Франціи вѣялъ тогда на всю Европу сухой и рѣзкій вѣтеръ раціонализма. Популярная философія французскихъ энциклопедистовъ, дѣйствовавшая орудіемъ здраваго человѣческаго смысла во имя неотъемлемыхъ правъ личности, пришлась какъ разъ въ пору польскому обществу XVIII вѣка и помогла ему взглянуть на свой бытъ критически, опредѣлить и сформулировать свои неясныя стремленія къ лучшему порядку вещей. Всѣ передовые люди тогдашняго времени—раціоналисты, поклонники Вольтера и Руссо, любители французской культуры. Они пропитаны ею до мозга костей и потому съ презрѣніемъ относятся къ стариннымъ учрежденіямъ Польши, къ ея „варварству", съ презрѣніемъ тѣмъ болѣе понятнымъ, что они сознавали въ себѣ призваніе къ безпощадной войнѣ со всѣми порожденіями среднихъ вѣковъ. Заимствованія начались, какъ обыкновенно водится, съ внѣшностей, съ простыхъ подражаній модѣ, костюмамъ, складу рѣчей. Потомъ постепенно подражаніе стало уступать мѣсто сознательному усваиванію того, что̀ приходилось обществу польскому по темпераменту и росту, и постепенной переработкѣ чужого въ собственную плоть и кровь. Оба эти момента отразились въ польской поэзіи, которая представляетъ разнообразнѣйшіе типы и легкомысленнаго пренебреженія роднымъ и просвѣщеннаго патріотизма, умѣющаго цѣнить свое собственное. Литература эта, которая носитъ названіе классической, есть отголосокъ и копія французской литературы освобожденія, а французская литература освобожденія, какъ ни далека она отъ придворнаго классицизма своими внутренними тенденціями, во внѣшней формѣ и пріемахъ часто носитъ отпечатокъ той же сухости и холодности, которыя отражались вдвое сильнѣе въ подражаніяхъ. Тѣми же свойствами отличается поэтому и ея польская

копія; она бѣдна творчествомъ, но блещетъ остроуміемъ, отличается изысканнымъ изяществомъ формы, шлифуетъ тщательно и тонко всякій стихъ и всякую фразу. Главная сила ея заключается въ сатирѣ. Эта сатира рѣзко и безпощадно бичуетъ общественные недостатки и пороки и въ патріотическомъ негодованіи доходитъ до паѳоса, поражаетъ мрачною глубиною и искренностью чувства. Въ искусственно насажденномъ цвѣтникѣ польскаго классицизма есть всякія растенія и ядовитыя и полезныя; къ ядовитымъ можно отнести Венгерскаго, къ наиболѣе здоровымъ и полезнымъ Красицкаго и Нарушевича; если къ нимъ прибавимъ два третьестепенныя свѣтила: Карпинскаго, Князнина, наконецъ, драматурга Заблоцкаго, то этими семью лицами можетъ быть представленъ почти весь польскій Парнассъ въ періодъ затишья между первымъ раздѣломъ и окончательною катастрофою. Намъ слѣдуетъ изучить каждаго изъ этихъ поэтовъ.

Ѳома-Каэтанъ Венгерскій (1755—1787) представляетъ примѣръ полнаго увлеченія иностраннымъ, которое доведено до низкопоклонства и кончается тѣмъ, что описывая свои задушевныя мечтанія, свое желаніе посѣтить Парижъ, а потомъ поселиться на родинѣ Руссо, въ мѣстѣ жительства Вольтера, на прелестныхъ берегахъ Женевскаго озера, поэтъ восклицаетъ: „Куда ты меня увлекаешь, мысль моя неспокойная! надобно остаться въ отечествѣ въ числѣ несчастныхъ, среди варваровъ, едва выдвигающихся изъ тьмы, и стонать подъ ярмомъ грубѣйшихъ предразсудковъ“ [1]). Сынъ незнатныхъ родителей, одаренный блистательнымъ поэтическимъ талантомъ, Венгерскій втерся ко двору, сдѣланъ королевскимъ шамбеляномъ, но надоѣлъ всѣмъ своимъ злымъ, острымъ языкомъ, который не спу-

---

[1]) Najpierwej twe Paryżu szedłbym widzieć dziwy,
I z źrzódła rożnych zabaw czerpając potrosze
Chwilebym na nauki dzielił i roskosze,
Pókiby krew gorąca i potrzebne siły
Takiego mi sposobu życia dozwoliły.
Ale jakbym się tylko zbliżał do starości
Gdzie mniej trzeba uciechy a więcej wolności
Tamby najpierwsze osiąść było me staranie,
Kędy ojczyzna Russa, Woltera mieszkanie.
Tam wespól z pracownemi obcując Szwajcary
Paliłbym tym dwóm mężom niezgasłe ofiary,
J od brzegów Genewy rzekłbym sobie z cicha:
Darmo Polak do dawnej szczęśliwości wzdycha!
Ale gdzie mnie uwodzisz obłędliwa myśli!
Próżno sobie mój umysł obraz szczęścia kryśli.
Trzeba zostać w ojczyznie, w liczbie nieszczęśliwych...
Chwalić wartych nagany, przed podłemi klękać,
Pod jarzmem najgłębszego uprzedzenia stękać,
Widzieć co dzień nieuków mędrcami nazwanych.
I bzdurzących o cnocie za cnotliwych mianych...
Nie sądźcie że jesteście bliscy oświecenia;
Ledwie się z barbarzyństwa dobywacie cienia.

скалъ даже самому королю [1]) и стяжалъ Венгерскому безчисленное множество враговъ. Въ 1779 г. вслѣдствіе пасквиля на императрицу онъ долженъ былъ оставить дворъ, отправился за границу, велъ жизнь очень веселую, къ чему давала ему средства счастливая карточная игра, посѣтилъ Италію, Францію, Америку, Англію, наконецъ, истощивъ свои силы всевозможными излишествами, умеръ отъ чахотки въ Марсели на 33 году жизни. Венгерскій смотрѣлъ на жизнь какъ на шумную оргію, какъ на непрырывающійся маскарадъ; онъ былъ эпикуреецъ и воспѣвалъ одну только философію наслажденія. Мастеръ острить, въ остротахъ онъ всего ближе подходитъ къ Вольтеру. Венгерскій осмѣиваетъ священнѣйшіе предметы [2]), муза его любитъ нескромные сладострастные разсказы, наконецъ онъ доходитъ до крайнихъ предѣловъ цинизма во множествѣ сальныхъ стихотвореній, которыя ходили въ рукописи по рукамъ, остались неизданными и могутъ соперничать съ знаменитѣйшими французскими произведеніями подобнаго свойства изъ послѣдней четверти XVIII вѣка.

Вѣтренный, легкомысленный, Венгерскій при всѣхъ недостаткахъ былъ все-таки, что называется, добрый, честный малый; не торговалъ своимъ талантомъ, и стоялъ, если не по искусству писать звучные стихи, то по нравственному характеру, несравненно выше другого шамбеляна королевскаго, такого же атеиста и эпикурейца, Станислава Трембецкаго, въ которомъ можно видѣть образецъ придворнаго паразита-стихотворца (род. около 1723, ум. 1812). Трембецкій имѣлъ бойкое перо, тонкій вкусъ, и былъ хорошо знакомъ съ латинскими классиками и даже съ мало читаемыми въ то время старинными польскими поэтами періода Сигизмундовъ. Ему принадлежитъ безъ всякаго спора слава перваго въ свое время стилиста, услуги оказанныя имъ языку велики; будучи пуристомъ, онъ по возможности изгонялъ изъ языка иностранныя слова и обороты и изобрѣлъ множество новыхъ, поражающихъ своею силою и выразительностью. Самъ Мицкевичъ считалъ его первоклассным мастеромъ по отдѣлкѣ стиха, и научился у него

---

[1]) A uczone obiady: znasz to może imie
Gdzie połowa niegada, a połowa drzymie,
W których król wszystkie musi zastąpić expensa
Dowcipu, wiadomości, i wina, i mięsa.

(А ученые обѣды на которыхъ половина собесѣдниковъ молчитъ, половина дремлетъ, король же самъ несетъ всѣ издержки ума, познаній, и мяса, и вина).

[2]) ... radbym widzieć Pana Boga,
Jak poważnie na tronie z djamentów siada,
Jak zręcznie bez ministrow tą machiną włada,
Bo jak moim rozumem słabym mogę sądzić
Trudno kawałkiem ziemi, trudniej światem rządzić etc.

(Хотѣлъ бы я видѣть Господа Бога, какъ возсѣдаетъ онъ преважно на алмазномъ тронѣ, какъ управляетъ онъ ловко машиною, обходясь безъ министровъ. Насколько могу я судить слабымъ моимъ умомъ, трудно управлять кускомъ земли, труднѣе еще вселенною... и т. д.).

многому. Впрочемъ, величественные образы и торжественные аккорды прикрывали мысль очень часто убогую и пошлую. Трембецкій не отличалъ поэзіи отъ стихотворства, за формою не видѣлъ содержанія, онъ былъ жрецъ чистаго искусства, для котораго всякое содержаніе безразлично. Если бы онъ поставленъ былъ судьбою въ другое общественное положеніе, то по всей вѣроятности онъ бы и ограничился любезничаньемъ съ дамами, сочиненіемъ легкихъ стишковъ анакреонтическаго содержанія и другихъ подобныхъ бездѣлушекъ, въ родѣ французскихъ vers de société того времени [1]); но Трембецкій очутился на дворѣ королевскомъ, среди сильнѣйшаго разгара политическихъ страстей, его и заставили писать политическіе памфлеты на заданныя тэмы, хвалить по приказанію или ругать тѣхъ, кого онъ прежде превозносилъ. Трембецкій, который отличался полнымъ отсутствіемъ убѣжденій, готовъ былъ на всякія услуги. Свое достоинство чувствовалъ онъ такъ слабо, что въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ уподоблялъ себя собачкѣ короля Понятовскаго. Онъ расточаетъ передъ королемъ самую пошлую лесть, называя его „отцомъ отечества“. „Отъ тебя,—говоритъ онъ,—идетъ свѣтъ, сіяющій между нами, который сдѣлаетъ насъ опять достойными имени Славянъ. Твоими стараніями просвѣщенный полякъ умѣетъ предпочитать прекрасную смерть безславному бытію... Ты насъ наставилъ, прославилъ и украсилъ. Явись, Фурія, и скажи: что могъ онъ сдѣлать и чего не дѣлалъ“ [2]). Король былъ въ самомъ дѣлѣ умный, любезный человѣкъ и благодѣтель Трембецкаго; можно было бы подумать, что благодарность ослѣпила стихотворца, скрыла отъ него недостатки короля и заставила забыть о необходимыхъ приличіяхъ. Но не одному королю льститъ Трембецкій; есть много произведеній его, которыя не иначе могутъ

[1]) Приведу для примѣра пьесу, въ которой Трембецкій изобразилъ всего лучше самого себя и свое направленіе:

O, wdzięków zbiory,
Piękności wzory,
Panie, królowe, boginie!
Niech wasze oko
Sięga głęboko,
Niesądząc gracza po minie.
Włos mi ubielił
I twarz podzielił
Srogi czas w rożne zagony,
Lecz za tę szkodę
Dał mi w nagrodę
Serdeczny upał zwiękzony.

Tak Hekla siwa
Sniegiem pokrywa
Swoje ogniste pieczary;
Wierzch ma pod lodem,
Zielona spodem
I wieczne karmi pożary.
Płyń mi w potoku
Bachowy soku,
Ręką przelany życzliwą,
Gdy na cześć waszę
Pełniąc tę czaszę,
Przygaszam ogień oliwą.

(Прелестныя созданія, образцы красоты, мои царицы, мои богини! Вглядитесь въ меня пристальнѣе и не осудите игрока по наружности. Жестокое время убѣлило мою голову и взбороздило лицо, но въ замѣнъ оно удвоило жаръ сердечный. Такова сѣдая Гекла, покрывающая снѣгомъ свою огненную утробу: ея голова одѣта льдомъ, ея стопы зеленѣютъ, а въ сердцѣ вѣчное пламя. Струись живѣй, Вакхова влага, наливаемая доброжелательной рукой. Въ честь вашу, наполню я эту чашу; тушу масломъ огонь).

[2]) Wiersz do St. Augusta powracającego z podróży Wołyńskiej, 1787 r.

быть объяснены какъ литературной его продажностью. Когда орденъ іезуитовъ уничтоженъ былъ папою Климентомъ XIV, Трембецкій, атеистъ въ душѣ, пишетъ элегію на его паденіе [1]). Будучи въ числѣ петербургскихъ пансіонеровъ, Трембецкій прославляетъ высокоторжественнымъ тономъ доблести сѣверной Минервы и ея сподвижниковъ, соединяющихъ версальскую любезность съ отвагою Скиѳовъ. Онъ воспѣваетъ подобнаго кедру дамасскому Потемкина и Румянцова, который повергъ двурогую луну подъ стопы своей повелительницы [2]). Совершенный космополитъ, чуждый всякаго патріотизма, Трембецкій восхваляетъ, однако, патріотическими стихами кузнеца, который пожертвовалъ нѣсколько походныхъ фургоновъ для войска Рѣчи-Посполитой [3]), но когда грянулъ громъ и на сеймѣ въ Гроднѣ, послѣ знаменитаго нѣмаго засѣданія, подписанъ былъ второй раздѣлъ Польши, у Трембецкаго достало смѣлости и духу утѣшать возвращавшихся изъ Гродна сеймовыхъ пословъ и хвалить ихъ за ихъ радѣніе о Рѣчи-Посполитой. Чтобы чѣмъ-нибудь оправдать свою измѣну, Трембецкій и изобрѣлъ цѣлую панславистическую теорію и на свѣжей могилѣ отечества онъ, космополитъ, поетъ о братскомъ единеніи единокровныхъ племенъ [4]). Въ одѣ къ князю Репнину, по поводу замышляемой войны съ Турціею, Трембецкій говоритъ слѣдующее: „сросшись силами и укрѣпившись, мы разрушимъ рѣшетки гаремовъ и потанцуемъ въ Стамбулѣ съ обво-

---

[1]) ... synów Ignacego ta sława przed światem —
Tysiąc z nich męczennikow, żaden nie był katem.
Chcąc zupełnie wywrócić gmach świątyni stary
Trzeba było najpierwej obalić filary:
Tym końcem towarzystwu cios zadając silny,
Ten raz wierzę, Klemensie, żeś jest nieomylny!..
Z tych kolumn zgruchotanych zbierając kamyki,
Możecie mieć, krolowie, piękne mozaiki.

(Сыновья Лойолы тѣмъ могутъ похвалиться, что орденъ далъ тысячи мучениковъ, но ни одного палача. Для подкопанія стариннаго храма, надобно было прежде всего сокрушить столбы; если съ этою цѣлію ты нанесъ ударъ ордену, о Климентъ, то я вѣрю, что ты непогрѣшимъ... Цари! собирая камешки изъ дребезговъ опрокинутыхъ колоннъ, вы можете составить прекрасныя мозаики).

[2]) Dorodni, oświeceni i pełni zaszczytow
Łączą grzeczność wersalską z walecznością Scytów...
Jako na damasceńskiej cedr wyniosły górze
Sród jaworow obłoki wyższą głową porze,
Tak Potemkin szlachetny między całym dworem...
Był i Romańcow przy niej, ktory dumne rogi
Księżycowe podesłał pod Pani swej nogi.
(Do Ad. Naruszewicza z powodu podroży Kaniowskiej).

[3]) Wiersz do Jana Maryańskiego, kowala.

[4]) Z tegoż się co my szczepu, Rossijanin rodzi,
Równej mu się odwagi uwłóczyć niegodzi.
Lecz kraj ludny, rozległy, a monarsze wierny,
Z trzech powodów przed naszym trzyma przod niemierny.

(Россіянинъ происходитъ изъ того же племени, изъ котораго и мы, мы не можемъ отказать ему въ равномъ нашему мужествѣ. Но страна эта, обширная, населенная и вѣрная своимъ монархамъ, имѣетъ передъ нами преимущество въ этихъ трехъ отношеніяхъ).

рожительными дочерьми солнца“ [1]). Въ дополненіе къ характеристикѣ Трембецкаго скажемъ, что эпиграммы его были грубыя и плоскія, а политическія пьесы смахиваютъ на поэтическіе доносы. Одинъ изъ самыхъ гнусныхъ доносовъ такого рода носитъ заглавіе: *Joannes Sarcasmus*, и направленъ противъ подозрѣваемаго въ якобинствѣ публициста Войтѣха Турскаго, которому Трембецкій сулитъ розги въ исправительномъ заведеніи, послѣ чего совѣтуетъ помѣстить его въ домѣ сумасшедшихъ.

Конецъ Трембецкаго былъ плачевный. Когда короля не стало, Трембецкій нашелъ пріютъ при дворѣ одного изъ самыхъ высокомѣрныхъ вельможъ и самыхъ мрачныхъ политическихъ дѣятелей того времени, Феликса Потоцкаго, зачинщика тарговицкой конфедераціи. Потоцкій женатъ былъ на гречанкѣ Софіи, купленной за деньги на базарѣ невольницъ въ Стамбулѣ и славившейся на всю Европу своею красотою и своимъ развратомъ; въ честь ея Потоцкій устроилъ садъ, стоившій милліоны, близъ Умани въ Подоліи, который назвалъ Софіевкой (Zofjówka). Услаждая досуги своего новаго господина, семидесятилѣтній Трембецкій сочинилъ длинную описательную поэму по образцу Делиля, которая воспѣваетъ всѣ прелести Софіевки и завершается философскимъ міровоззрѣніемъ умирающей цивилизаціи, заимствованнымъ отъ *Лукреція:* „Основа бытія безъ конца и начала, оно не прибываетъ и не убываетъ, но является все въ новомъ видѣ. Нѣтъ во мнѣ ни одного атома изъ тѣхъ, которые составляли мое тѣло назадъ тому полвѣка, но на ихъ мѣсто пищею, ѣдою и питьемъ я усвоилъ себѣ частицы другихъ существъ. Ежеминутно выдѣляя изъ себя частицы, я питаю другія созданія. Когда портящееся постепенно строеніе нашего тѣла перестанетъ быть способнымъ къ воспріятію небеснаго огня, наступаетъ то, что̀ мы называемъ смертію, наши же остатки раздаетъ другимъ живущимъ существамъ утроба великой матери“ [2]).

На старости лѣтъ Трембецкій видимо опустился, впалъ въ нищету; этотъ блестящій нѣкогда кавалеръ, который имѣлъ до 30 поединковъ, большею частью изъ-за женщинъ, сталъ грязнымъ неряхою и чудакомъ-нелюдимомъ; онъ умеръ незамѣченный и всѣми забытый въ концѣ памятнаго 1812 года.

Успѣхъ Трембецкаго, при всемъ внутреннемъ ничтожествѣ его произведеній, есть явленіе патологическое, болѣзненный плодъ гніенія. Но общественный организмъ при всей своей порчѣ пускалъ изъ себя здо-

---

[1]) Wkrótce zrosłemi krzepcy siłami
Rozkuwszy kratne haremy,
Z uwolnionemi słońca corami
Hasać w Stambule będziemy.

[2]) Wątek wszech rzeczy nie ma początku i końca...
Nigdy go nie przyrasta, nigdy nie ubywa, etc.

ровые и сильные ростки, свидѣтельствующіе о присутствіи нравственныхъ силъ. Вліятельнѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ представителемъ XVIII вѣка въ Польшѣ—въ томъ, что этотъ вѣкъ имѣлъ благороднаго, гуманнаго, общечеловѣчнаго—явился Игнатій Красицкій [1]), епископъ вармійскій (род. на Руси Червонной, въ Дубецкѣ, 1735, ум. въ Берлинѣ, 1801). Съ дѣтства онъ былъ поставленъ въ самыя благопріятныя условія и по происхожденію, и по богатству, и по общественному положенію. Родъ его весьма старинный и знатный, и получилъ когда-то графское достоинство отъ германскихъ императоровъ. Родители его имѣли значительныя помѣстья въ землѣ саноцкой; не желая раздроблять этихъ помѣстій между своимъ многочисленнымъ потомствомъ, они обрекли съ раннихъ лѣтъ Игнатія и трехъ младшихъ братьевъ его въ духовное званіе, въ надеждѣ, что при ихъ связяхъ дѣти ихъ достигнутъ высшихъ мѣстъ въ церковной іерархіи. Нельзя сказать, чтобы наклонности живого и впечатлительнаго мальчика соотвѣтствовали поприщу, къ которому его предназначали, на священство смотрѣлъ онъ какъ на карьеру. Онъ учился во Львовѣ у іезуитовъ и занимая уже нѣсколько доходныхъ духовныхъ должностей, отправился въ Римъ оканчивать свое воспитаніе. Здѣсь (1760—1761), въ столицѣ католицизма, умъ юноши-священника былъ болѣе всего пораженъ не блескомъ богослуженія и преданіями церкви, но великими воспоминаніями античнаго Рима. Онъ самъ говоритъ о себѣ, что онъ съ благоговѣніемъ касался почвы, по которой ходили нѣкогда Катоны; любимымъ мѣстомъ прогулокъ его было *forum romanum*.

Воображеніе рисовало ему на этомъ мѣстѣ ростральную трибуну, ему слышались рѣчи Грakховъ, Гортензіевъ, Цицероновъ; монахи бернардинцы, обладатели остатковъ храма Юпитера Олимпійскаго, казались ему древними авгурами; даже гусей на скалѣ Тарпейской считалъ онъ потомками тѣхъ, которые спасли Римъ отъ Галловъ. Любознательный путешественникъ, восторгающійся прошедшимъ, не теряетъ изъ виду и цѣлей практическихъ, думаетъ о томъ, какъ бы себя пристроить и родъ свой возвеличить, украсить и роднымъ людямъ помочь. „Ты будешь посредствомъ экономки имѣть деньги,—писалъ онъ шутя изъ Рима къ брату,—а я буду посредствомъ дамскаго шарлатанства добиваться повышенія, а коль скоро хотя по одному изъ этихъ путей будетъ удача, можетъ быть, *дому* посчастливится“. По возвращеніи въ Польшу въ 1762, образованный, молодой аббатъ, прославившійся проповѣдями въ церквахъ, а еще болѣе неистощимымъ искромет-

[1]) J. I. Kraszewski, Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury, въ журналѣ Ateneum, 1878, № 2, 3, 5, 7; Ad. Mieleszko Maliszkiewicz, Kilka szczegółów do biografii Krasickiego, въ Kłosach, 1878, № 688—691; P. Chmielowski, Charakterystyka I. Krasickiego, въ журналѣ «Niwa», 1879.

нымъ остроуміемъ въ салонахъ, встрѣтился въ Варшавѣ съ стольникомъ литовскимъ, угадавшимъ въ немъ сразу будущаго польскаго Вольтера; вслѣдствіе чего, когда стольникъ сдѣлался королемъ, Красицкій сталъ къ нему близкимъ человѣкомъ, любимцемъ, которому въ письмахъ къ г-жѣ Жоффренъ король даетъ фамиліарное прозвище Минета (Minet). Дружба короля пригодилась Красицкому въ очень непродолжительномъ времени. Въ этой части королевской Пруссіи, которая называлась Варміею (Ermeland), доживалъ послѣдніе дни свои старый епископъ Грабовскій. Слѣдовало озаботиться пріисканіемъ коадъютора (викарія), который бы по его смерти занялъ его мѣсто. Отъ коадъютора-епископа требовалось, чтобы онъ былъ обыватель прусскій, членъ капитула, чтобы Грабовскій предложилъ его капитулу и чтобы капитулъ его выбралъ. Друзья помогли Красицкому удовлетворить двумъ первымъ условіямъ: то-есть получить прусскій индигенатъ и склонить одного изъ каноников капитула, чтобы онъ уступилъ Красицкому свое мѣсто. Труднѣе было уломать старика Грабовскаго, человѣка старомоднаго, которому Красицкій съ его великосвѣтскими манерами и умомъ долженъ былъ показаться лицомъ неподходящимъ къ епископскому сану: Красицкій въ самомъ дѣлѣ болѣе занимался стихами нежели требникомъ, любилъ дамское общество, въ памфлетахъ того времени носилъ прозвище *Гладыша* или *Умизгальскаго* (волокиты) и даже ходила по рукамъ каррикатура, изображавшая Красицкаго служащаго обѣдню и окруженнаго дамами въ фижмахъ, исправляющими обязанности церковнаго причта. Просьбы короля были однако такъ убѣдительны, что старикъ не устоялъ и согласился. Предложенный имъ Красицкій избранъ въ 1766 г. коадъюторомъ вармійскаго епископа. Въ томъ же 1766 г. умеръ Грабовскій и тридцатилѣтній Красицкій сдѣлался его преемникомъ. Вармійскій епископъ считался первымъ прусскимъ сенаторомъ; со временъ, когда Вармія принадлежала ордену Крестоносцевъ, онъ носилъ титулъ князя священной римской имперіи, имѣлъ обширную судейскую власть, великолѣпный замокъ въ Гейльсбергѣ, а по доходности вармійская епископская столица была третья,—она давала до 400,000 злотыхъ доходу и уступала только архіепископству гнѣзненскому и епископству краковскому въ этомъ отношеніи. Вслѣдъ за возвышеніемъ Красицкаго послѣдовало большое охлажденіе къ нему чувствъ короля. Король разсчитывалъ на дѣятельную помощь и услуги въ политикѣ обязаннаго ему человѣка; между тѣмъ Красицкій проявилъ себя тѣмъ, чѣмъ и былъ до конца—свѣтскимъ человѣкомъ, держащимъ открытый барскій домъ въ Варшавѣ и литераторомъ, но держался въ сторонѣ отъ всякихъ интригъ и партій. Вслѣдствіе того въ перепискѣ короля съ

г-жей Жоффренъ постоянныя жалобы на Минета за то, что онъ лѣнтяй [1]), что онъ эгоистъ [2]), его журятъ, наконецъ прямо обвиняютъ въ черной неблагодарности [3]) вѣроятно за безусловную нейтральность, которую вармійскій епископъ соблюдалъ въ трудный и печальный для короля, и не красивый періодъ его одиночества во время барской конфедераціи. Сама судьба пресѣкла всякія дѣловыя отношенія между разочаровавшимся покровителемъ и бывшимъ его любимцемъ, когда (1772) по первому раздѣлу Польши вся Вармія отошла къ Пруссіи и Красицкій остался за граничнымъ кордономъ, превращенный изъ сенатора республики въ подданнаго самодержавной монархіи съ обрѣзанными притомъ порядочно доходами вслѣдствіе забора значительной ихъ части въ казну по распоряженію Фридриха Великаго. Обыкновеннымъ мѣстопребываніемъ Красицкаго былъ теперь старинный епископскій замокъ въ Гейльсбергѣ, иногда посѣщалъ онъ Берлинъ и Санъ-Суси, куда звалъ его король-реформаторъ, любившій собирать вокругъ себя для бесѣдъ безъ церемоній литераторовъ и философовъ. Князь-епископъ сдѣлался искреннимъ поклонникомъ короля: оба они были раціоналисты, пропитанные прогрессивными идеями XVIII вѣка. Удаленный въ другое государство, Красицкій съ тѣхъ только поръ проявилъ въ настоящемъ свѣтѣ свой первоклассный талантъ распространителя просвѣтительныхъ идей, во имя разума и свободы проповѣдывавшаго радикальное преобразованіе всего человѣчества, безъ крови и насилія, посредствомъ одного только знанія и успѣховъ просвѣщенія. Идеямъ XVIII вѣка онъ служилъ исключительно только какъ литераторъ, но, по обширности и энциклопедичности своихъ знаній, по разнообразію поднимаемыхъ задачъ и небывалой до него плодовитости и красотѣ формъ, онъ превзошелъ всѣхъ современниковъ, онъ сдѣлалъ для философіи XVIII в. въ Польшѣ болѣе, нежели всѣ современники вмѣстѣ взятые. Грель (Groell) печатаетъ въ Варшавѣ поэмы, собранія стиховъ, романы отмѣченные только буквами X. B. W., но расходящіеся быстро и извѣстные въ публикѣ подъ прозвищемъ *nowalie warmin'skie* (вармійскія новинки): Myszeis, Monachomachia (1775), Przygody Doświadczyńskiego (1776), Satyry (1778), Pan Podstoli (1778) и др. Каждое сочиненіе смѣшило, поучало, поученіе было въ забавной формѣ, романъ имѣлъ всѣ качества политическаго памфлета, стихъ былъ щеголевато-утонченный, сатирическій, исполненный аттической соли и самаго добродушнаго, безобиднаго юмора. Не надо искать въ этихъ произведеніяхъ ни глубины, ни силы чувствъ, ни настоящей поэзіи, но стрѣлы попадали

[1]) 13 mai 1867: Minet est allé faire la retraite du rat dans son fromage. J'ai grande peur que ce Minet si aimable, si spirituel, si appliqué et qui me doit tant, ne devienne un fainéant qui ne se soucie de rien.

[2]) 24 sept. 1767: Le defaut de Minet est d'être personnel.

[3]) 27 oct. 1771: ingratitude effroyable.

мѣтко, аллюзіи были тотчасъ угадываемы, счастливыя выраженія заучивались и переходили въ пословицы; никто изъ современниковъ не вспахалъ такъ тщательно одичавшую ниву умственной культуры отсталаго народа, никто не содѣйствовалъ болѣе Красицкаго очисткѣ вкуса, разсѣянію предразсудковъ. Князь-епископъ вармійскій превратился въ „князя поэтовъ“ и Трембецкій выразилъ не лесть, а искреннее чувство народа въ словахъ: „достойнаго искусства писать остроумно и съ вкусомъ ты далъ первый примѣръ при нашемъ Августѣ“ [1]). По мѣрѣ того, какъ росла слава поэта, поправлялись и его отношенія къ королю; не было помину о неблагодарности; напротивъ того, поэтъ платилъ съ лихвою за прежнія одолженія, ратовалъ въ „Мышеидѣ“ за тѣ же идеи, которыя проводилъ король, въ сатирахъ поражалъ общихъ противниковъ, превозносилъ обходительность короля, его любовь къ просвѣщенію, покровительство наукѣ и искусству. Король сталъ гордиться поэтомъ, если не созданіемъ своимъ, то находкою; принимая его великолѣпно въ 1782 г., помѣстилъ въ своемъ дворцѣ и почтилъ отчеканенною въ честь его медалью: musa vetat mori. Посѣтивъ послѣ Варшавы Русь Червонную, уже австрійскую, и родное Дубецко, Красицкій вернулся въ Гейльсбергъ, откуда всего чаще сталъ онъ помышлять о переселеніи въ Польшу, куда его тянуло не только желаніе сближенія съ умственнымъ средоточіемъ страны, Варшавою, но и простые житейскіе разсчеты. Ни въ чемъ онъ не любилъ стѣсняться, домъ его былъ всегда полонъ родни и гостей, столъ его былъ превосходный, дорогія коллекціи гравюръ и книгъ, страсть къ садоводству поглощали всѣ доходы; этотъ владѣлецъ одного изъ доходнѣйшихъ епископствъ иногда приходилъ къ заключенію, что терпитъ тѣсноту и недостатокъ; онъ и родные забѣгали въ Варшаву, чтобы открыть ему дорогу къ приматству или по крайней мѣрѣ къ епископству краковскому. Эти надежды заставили его совершить безуспѣшную поѣздку въ Варшаву (1789) въ самый разгаръ четырехлѣтняго сейма и окунуться въ глубоко противный ему омутъ возбужденныхъ демократическихъ страстей наканунѣ катастрофы. Положеніе вещей онъ осудилъ вѣрно [2]), къ будущему отнесся скептически и удалился въ свой Гейльсбергъ, заниматься книгами, въ ясномъ и довольно спокойномъ предвидѣніи великаго крушенія. Но когда роковой конецъ наступилъ, то этотъ человѣкъ, съ виду равнодушный, съ тою же бодростью и даже веселостью сталъ собирать

---

[1]) A cnej sztuki pisania z dowcipem i gustem
Tyś pierwsze dał przykłady pod naszym Augustem.

[2]) Желаешь знать,—говоритъ онъ,—что такое сеймующія состоянія; однимъ словомъ отвѣчу: это органъ, въ которомъ каждая клавиша звучитъ, когда ее тронутъ какъ слѣдуетъ, а играетъ на нихъ органистъ Луккезини, мѣхи наполненные надеждою грядущаго счастія, нажимаются взявшимися за руки высокомѣріемъ и местью“.

Chcesz wiedzieć co są dzisiaj zgromadzone stany, etc.

вокругъ себя уцѣлѣвшіе остатки блистательнаго общества и занялся поддержаніемъ въ немъ умственной жизни, литературнаго движенія. Вслѣдствіе послѣднихъ раздѣловъ Польши не только Познань, но и половина теперешняго Царства Польскаго включены въ составъ Пруссіи. Король прусскій, желая очистить Вармію для какого-нибудь Нѣмца, назначилъ Красицкаго въ 1795 г. архіепископомъ гнѣзненскимъ; гнѣзненскій же престолъ, какъ извѣстно, былъ первымъ въ польской церкви, да и послѣ раздѣловъ за нимъ осталась часть прежняго блеска и значенія.

Въ осиротѣлой и опустѣвшей Варшавѣ, въ резиденціи своей Скерневицахъ, въ Ловичѣ, собиралъ онъ подъ свое крыло уцѣлѣвшихъ отъ великаго кораблекрушенія писателей, и старческими руками своими работалъ надъ поддержаніемъ свѣточа народной литературы, въ которой онъ видѣлъ залогъ будущаго возрожденія націи. Въ Ловичѣ сталъ онъ издавать газету „Еженедѣльникъ“ (Co tydzień), въ Варшавѣ поощрялъ онъ друга, которому поручилъ изданіе собранія своихъ сочиненій, Ф. Кс. Дмоховскаго, къ изданію учено-литературнаго журнала, наконецъ, при его содѣйствіи возникло незадолго до его смерти Варшавское Общество любителей наукъ (Towarzystwo przyjaciół nauk), въ которомъ и сосредоточилась почти вся умственная дѣятельность польскаго народа въ первой четверти XIX столѣтія.

Приступая къ разбору сочиненій Красицкаго, мы коснемся мимоходомъ его переводовъ и подражаній и остановимся дольше на произведеніяхъ его оригинальныхъ. Красицкій былъ хорошо знакомъ съ классическою древностью; онъ перевелъ всего Плутарха и всего Лукіана Самосатскаго. Лучшіе люди XVIII вѣка вдохновлялись республиканскими доблестями великихъ мужей Плутарха, а между злымъ насмѣшникомъ Лукіаномъ и Красицкимъ было весьма много общаго. Въ подражаніе Плутарху и Лукіану, Красицкій написалъ много біографій великихъ мужей новѣйшаго времени и „разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ“. Чрезвычайную услугу оказалъ Красицкій изданіемъ обширной энциклопедіи всѣхъ знаній въ алфавитномъ порядкѣ подъ заглавіемъ *Zbiór wiadomości* (1781—1782, 2 тома); онъ же предпринялъ первый въ своемъ родѣ въ Польшѣ опытъ исторіи всеобщей поэтической литературы европейской подъ заглавіемъ: „О стихотворствѣ и стихотворцахъ“ (книга эта издана по его смерти). Задача была громадная, книга поражаетъ не столько объемомъ, сколько обширною начитанностію Красицкаго, который долженъ былъ для составленія этой хрестоматіи познакомиться съ цѣлымъ міромъ поэтовъ отъ Орфея и Пильпая до Вольтера и Геснера, — изъ каждаго поэта послѣ краткой его характеристики надлежало привести въ переводахъ отрывки. Въ своихъ сужденіяхъ о поэтическомъ творчествѣ Красицкій—поклонникъ

Аристотеля и не стоитъ выше Буало; поэзію онъ считаетъ пріятнымъ вымысломъ, въ драмѣ требуетъ стараго соблюденія трехъ единствъ; отъ эпоса требуетъ, чтобы герой былъ одинъ и притомъ, чтобы этотъ герой былъ во всѣхъ отношеніяхъ достойный уваженія (Мильтонъ, по мнѣнію Красицкаго, поступилъ неприлично, избравъ главнымъ своимъ героемъ Сатану). О Шекспирѣ Красицкій судитъ по вольтеровски: „въ этомъ писателѣ недостатокъ науки выкупался величіемъ ума; его произведенія дышатъ какою-то дикостью, посреди грубѣйшихъ ошибокъ у него прорываются порою такіе проблески, которые ставятъ его превыше мастеровъ". О народности въ поэзіи Красицкій не имѣлъ ни малѣйшаго понятія: индивидуальности всякаго народа, всякаго писателя и всякаго вѣка стушевываются и стираются въ его гладкомъ переводѣ, который болѣе походитъ на парафразу и въ которомъ о точной передачѣ оригинала переводчикъ не заботится нисколько. Отсутствіе исторической критики и элемента народности въ поэзіи имѣли то послѣдствіе, что всѣ эпическіе опыты Красицкаго слабы, а нѣкоторые ниже всякой критики. Его заставили написать и поторопили издать 1782 г. національную героическую поэму въ высокомъ родѣ, на тотъ же сюжетъ, который вдохновилъ Вацлава Потоцкаго. Не зная вѣроятно даже о существованіи „Хотинской войны" Потоцкаго, онъ написалъ октавами вторую „Хотинскую войну", — блѣдную копію „Генріады" Вольтера со множествомъ аллегорическихъ олицетвореній, каковы Слава, Вѣра и т. п., поэму, гдѣ являются и пустынники, и чернокнижники, и ангелы, и черти, но нѣтъ природы края, служившаго мѣстомъ событій, который столь вѣрно изображенъ у Потоцкаго, нѣтъ живыхъ лицъ, а только куклы, нѣтъ наконецъ ни малѣйшаго уваженія къ исторической истинѣ,—такъ что напримѣръ герой поэмы, сѣдой, шестидесятилѣтній Ходкевичъ, превращенъ въ пылающаго огнемъ любви новобрачнаго. Машинная искусственность и ложь основы не окупаются, какъ въ „Генріадѣ" нравственнымъ содержаніемъ и направленіемъ поэмы; нѣтъ философской идеи, которая была бы положена въ основаніе эпопеи. Когда въ кульминаціонномъ ея пунктѣ духъ Владислава Ягеллона, погибшаго подъ Варной, увлекаетъ во снѣ Ходкевича на небо, на то пустынное холодное небо XVIII столѣтія безъ образовъ и лицъ, населенное одними только планетами, солнцами и кометами, то весь смыслъ рѣчей путеводителя-духа заключается только въ томъ, что все земное—суета суетъ и что не слѣдуетъ къ нему прилѣпляться. Гораздо лучше героическаго удался Красицкому эпосъ шуточный, происходящій въ мірѣ животныхъ или заимствованный изъ быта монастырскаго. И по складу своего ума и по духу времени, занятаго разрушеніемъ всякаго рода кумировъ, Красицкій былъ сатирикъ и только тамъ чувствовалъ себя на просторѣ, гдѣ могла

разыграться его наивная веселость и тонкая иронія, опирающаяся на необыкновенно мѣткую наблюдательность. Къ разряду такихъ шутливыхъ эпическихъ произведеній принадлежатъ три поэмы: *Мышеида*, *Монахомахія* или война монаховъ, и *Антимонахомахія* (1780). У древняго польскаго лѣтописца Кадлубка сохранилось преданіе о сказочномъ царѣ польскомъ Попелѣ, котораго заѣли мыши на острову озера Гопла, не вдалекѣ отъ доисторической польской столицы Крушвицы. Это преданіе, общее Польшѣ и Германіи, которое новѣйшая историческая критика [1]) считаетъ отголоскомъ норманскихъ набѣговъ на племена славянскія въ дали временъ языческихъ, Красицкій взялъ за канву для поэтическаго разсказа, въ которомъ онъ описалъ гоненіе, воздвигнутое на мышей царемъ Попелемъ, взявшимъ себѣ въ любимцы кота Мручислава, бурное мышиное вѣче, кровавую битву котовъ съ собравшимися со всѣхъ сторонъ свѣта мышиными полчищами, наконецъ отчаяніе и плачевную кончину царя Попеля, который съ горя напивается пьянъ. Въ мышиномъ вѣчѣ, въ распряхъ между породами мышей и крысъ осмѣяны польскій способъ сеймованія и антагонизмъ между сословіями сенаторскимъ и шляхетскимъ. Въ засѣданіи царской думы представлены въ каррикатурахъ тогдашніе политическіе дѣятели: „Идетъ по очереди дальнѣйшее голосованіе, подымаются споры, не лишенные основанія; подскарбій порицаетъ мнѣніе канцлера, канцлеръ винитъ маршала, гетманы совѣтуютъ спѣшную войну, суматоха длится часа четыре; иной присутствующій одобряетъ или порицаетъ, что другіе говорятъ, чтобы только не сидѣть по пустому. Приходится собирать разрозненные голоса, чтобы придти къ заключеніямъ. Мнѣнія столь же раздѣлены, какъ и умы. Оказывается, что болтовня была напрасная; чтобы дойти до желаемаго результата, рѣшили слѣдующее: для сохраненія авторитета престола пусть государь дѣлаетъ все, что ему угодно". Другая шуточная поэма Красицкаго, „Монахомахія", имѣвшая громадный успѣхъ, есть подражаніе „Налою" Буало и написана по вызову Фридриха Великаго, выразившаго желаніе, чтобы Красицкій ознаменовалъ свое пребываніе въ Санъ-Суси какимъ нибудь поэтическимъ произведеніемъ. Въ угоду королю esprit-fort, Красицкій учинилъ нѣчто весьма скандальное по понятіямъ тогдашняго времени: онъ поднялъ на смѣхъ монастыри, умственную лѣнь монаховъ и нескончаемыя попойки [2]), ихъ ученые диспуты, ихъ привязанность къ Ари-

---

[1]) Szajnocha, Lechicki poczatek Polski.

[2]) См. напр. апострофу къ королю Понятовскому въ 3-й пѣсни:

Z góry zły przykład idzie w każdej stronie,
Zgóry naszego nieszczęścia przyczyna,
O ty, na polskim ktory siedzisz tronie,
Wzgardziłeś miodem i nielubisz wina;
Cierpisz pijaństwo, że w ostatnim zgonie,
Z ciebie gust książek a piwnic ruina,

стотелю, уродливую напыщенность ихъ торжественныхъ рѣчей. „Въ одномъ изъ тѣхъ мѣстечекъ, которыхъ такъ много въ Польшѣ, гдѣ гнѣздятся только мужики и Евреи, гдѣ гродъ и земство помѣщаются въ развалинахъ стараго замка, гдѣ на девять монастырей приходится три корчмы да немного домиковъ", возникаетъ соперничество между орденами доминиканцевъ и кармелитовъ, доходящее до вызова на ученый диспутъ. Этотъ диспутъ оканчивается рукопашнымъ боемъ спорщиковъ; судьи-рѣшители боя, благочинный и мѣстный адвокатъ, вносятъ торжественно на мѣсто битвы наполненную виномъ большую монастырскую чашу, *vitrum gloriosum.* Одинъ видъ этого почтеннаго предмета усмиряетъ бойцовъ и водворяетъ мигомъ блаженное согласіе. Трунить надъ монастырями было не новостью въ XVIII столѣтіи, но этотъ неожиданный ударъ шелъ отъ руки одного изъ князей церкви и сильно потрясъ старую Польшу, въ которую монашескіе ордена вростали множествомъ корней. „Антимонахомахія" имѣла цѣлью успокоить раздраженныхъ и помириться съ ними, представивъ „Монахомахію" въ видѣ невинной шутки. Въ полнѣйшемъ блескѣ сатирическій талантъ Красицкаго выражается въ его басняхъ, посланіяхъ, особенно въ сатирахъ, которыя исполнены тонкой, скептической ироніи въ отношеніи къ тѣмъ вѣкамъ варварства и суевѣрія, когда „лавники съ бурмистромъ жгли вѣдьмъ на площади, между тѣмъ какъ помощникъ старосты—чтобы вполнѣ удостовѣриться въ ихъ виновности—опускалъ ихъ на веревкѣ въ прудъ; когда старухи снимали съ дитяти зароки, когда чортъ плясалъ нѣмчикомъ на развалившейся башнѣ, когда свирѣпствовалъ колтунъ вслѣдствіе чарованій и болтали по французски бѣснующіяся бабы или, чихая на папертяхъ церквей по святымъ мѣстамъ, наводили неисповѣдимый страхъ на зрителей" [1]. Владѣя въ совершенствѣ стихомъ, Красицкій есть въ то же время публицистъ, проповѣдующій свою теорію преобразованія. Для распространенія идей нѣтъ формы болѣе удобной, болѣе завлекающей, какъ прозаическій объемистый тенденціозный романъ. Этою формою воспользовался Красицкій. Славнѣйшіе его опыты въ этомъ родѣ суть: *Исторія*, *Приключенія Николая Досвядчинскаго* (1776) и *Панъ Подстолій.* Его „Исторія" есть злая насмѣшка надъ исторіографами, родъ мемуаровъ, написанныхъ неумирающимъ человѣкомъ, который молодѣетъ и возрождается при помощи чудеснаго бальзама.

Tyś narod z kuflow, szklanic, beczek złupił,
Bodajeś w życiu nigdy się nie upił.

(Сверху идетъ дурной примѣръ, у вершины причина нашихъ бѣдствій. О ты, возсѣвшій на польскомъ престолѣ, брезгающій медомъ и не жалующій вина, ты допускаешь падать пьянству, отъ тебя идетъ страсть къ книгамъ и гибель погребамъ. Ты лишилъ народъ кружекъ, чашъ и бочекъ, да не опохмѣлишься ты ни разу въ своей жизни).

[1]) Satyra 2 części 2: Pochwała wieku.

Этотъ безсмертный человѣкъ переживаетъ всѣ важнѣйшія историческія эпохи, сражается съ Александромъ Македонскимъ и съ Аннибаломъ, философствуетъ въ Аѳинахъ, дружится съ Помпоніемъ Аттикомъ, живетъ потомъ при дворѣ Оттона В. и разсказываетъ то же что историки, но не такъ какъ они; событія у него выворочены такъ сказать на изнанку. „Приключенія Досвядчинскаго" изображаютъ въ живомъ, остроумномъ разсказѣ модное воспитаніе, получаемое отъ плутовъ французовъ, выдающихъ себя за маркизовъ, роскошь и карточную игру, страсть къ путешествіямъ за границу, крючкотворство адвокатовъ, судейскую продажность и политическія партіи. Въ концѣ концовъ Красицкій, который такъ силенъ въ сатирѣ, снимаетъ въ „Досвядчинскомъ" покрывало съ своихъ собственныхъ идеаловъ и рисуетъ свою Утопію. Герой, испытавъ кораблекрушеніе, выброшенъ на островъ Нипу, гдѣ дикари учатъ его уму-разуму. Они не знаютъ желѣза, а слѣдовательно и войнъ, ни серебра, ни золота, не ѣдятъ мяса, не читаютъ книгъ, презираютъ всякое краснорѣчіе, занимаются земледѣліемъ, не имѣютъ ни частной поземельной собственности, ни политическихъ учрежденій кромѣ родительской власти, ни судовъ кромѣ третейскаго, наконецъ исповѣдуютъ одну только естественную религію, то-есть сухой разсудочный теизмъ въ духѣ „profession de foi савойскаго викарія". Утопія Красицкаго есть общество, состоящее изъ однихъ философовъ-раціоналистовъ XVIII вѣка, перенесенныхъ въ то небывалое состояніе, которое будто бы предшествовало общественному договору и исторіи, пустая фантазія безъ идеи, скучное по несбыточности своей построеніе, состоящее изъ однихъ только отрицаній всего существующаго порядка. Еще важнѣе двухъ предыдущихъ, капитальнѣйшее изъ прозаическихъ произведеній Красицкаго: „Панъ Подстолій", съ эпиграфомъ *moribus antiquis*, въ которомъ поставленъ главный вопросъ XVIII вѣка: какъ согласовать требованія разума съ преданіемъ, что́ сохранить отъ прошлаго, обновляясь и преобразовываясь? Авторомъ начертанъ идеальный типъ гражданина, какимъ онъ долженъ быть дома и въ церкви, на судѣ, въ своемъ кругу и между крестьянами. Первая часть „Подстолія" издана 1778, вторая 1784; пока написана была третья 1798, польское государство, панское, шляхетское, успѣло развалиться; подъ обломками остался хранителемъ народныхъ преданій польскій помѣщикъ, ограниченный тѣснымъ кругомъ своихъ отношеній къ другимъ, точно такимъ же какъ онъ, единицамъ и къ крестьянскому народонаселенію. Красицкій, съ философскимъ спокойствіемъ помирившійся съ паденіемъ государства, изображаетъ въ „Панѣ Подстоліѣ" образцоваго помѣщика въ его домашнемъ быту и хозяйствѣ, въ его занятіяхъ и увеселеніяхъ, и вла-

гаетъ въ уста его наставленія, исполненныя житейской мудрости. Красицкій превосходный баснописецъ и первоклассный сатирикъ.

Элегантная сатира Красицкаго самаго незлобнаго характера; она одѣта въ кружева, носитъ пудру и манжеты и невиннымъ образомъ подсмѣивается, выставляя на показъ общіе пороки и недостатки переживаемаго вѣка. Наконецъ съ 1780 Красицкій, устраивая въ Гейльсбергѣ домашніе спектакли, писалъ и издавалъ подъ именемъ Михаила Мовинскаго драматическія сцены въ комическомъ родѣ. Само заглавіе этихъ пьесъ: Мудрецъ, Ябедникъ, Лжецъ, Франтъ и т. д. показываетъ, что это комедіи характеровъ, а не интриги и дѣйствія; выведено нѣсколько типовъ, они обрисовываются въ разговорахъ, нѣтъ узла и развязки, фабула самая натянутая и конецъ является немотивированный, случайный. Эти блестки писались на скорую руку и менѣе чѣмъ другія произведенія Красицкаго извѣстны [1].

Совершенную противоположность съ Красицкимъ составляетъ другой стихотворецъ-епископъ, Адамъ Нарушевичъ (1733—1796), который смотритъ угрюмымъ, желчнымъ моралистомъ среди шумной оргіи временъ Понятовскаго и произноситъ „memento mori", самъ не подозрѣвая того, какъ скоро оправдаются на дѣлѣ его мрачныя предчувствія. Красицкій былъ явленіемъ совершенно новымъ въ польской литературѣ, объясняемымъ только вліяніями французской культуры и литературы. Нарушевичъ стоитъ на народной почвѣ, и въ польской литературѣ легко указать на его предшественниковъ, съ которыми онъ имѣетъ весьма много общаго. Такимъ образомъ если не по характеру, который не можетъ назваться вполнѣ безукоризненнымъ, то по крайней мѣрѣ по складу ума, Нарушевичъ можетъ считаться преемникомъ Клёновича и продолжателемъ начатаго имъ дѣла. Нарушевичъ знаменитъ и какъ стихотворецъ и какъ историкъ; мы начнемъ съ оцѣнки его стихотворной дѣятельности. Родомъ изъ Пинска потомокъ знаменитой, но обѣднѣвшей литовской фамиліи, Нарушевичъ съ раннихъ лѣтъ вступилъ въ орденъ іезуитовъ, ѣздилъ для усовершенствованія въ наукахъ за границу, и занималъ каѳедру піитики, первоначально въ виленской академіи, потомъ въ collegium nobilium на Старомъ мѣстѣ въ Варшавѣ. Іезуитское воспитаніе пустило глубокіе корни, отъ которыхъ Нарушевичъ не могъ во всю жизнь свою освободиться. Отъ іезуитовъ перенялъ онъ свой напыщенный и шумно-торжественный слогъ, которымъ писаны всѣ его лирическія произведенія, тяжелыя и безвкусныя [2]. Въ качествѣ профессора піитики,

[1]) Первое изданіе сочиненій Красицкаго, посмертное, сдѣлано Дмоховскимъ Варшава. 1802, 10 томовъ. Дополненіе, томы 11—18, Варшава 1830—32. Новое изданіе, Варшава, 1878—79, сдѣлано редакціей «Клосовъ».

[2]) Въ особенности поражаютъ своею вычурностью сочетанія прилагательныхъ: miodopłynne słowa, wodogromna Tetyda, jędze płaczorode, losy ludotłumne, pszczo-

преподающаго правила стихосложенія и практически обучающаго воспитанниковъ сочиненію стиховъ на заданныя темы, Нарушевичъ и самъ предавался піитическимъ упражненьямъ, которыя только по языку своему, очищенному отъ макаронизмовъ, стоятъ выше панегириковъ XVII столѣтія, но по содержанію могутъ смѣло съ ними состязаться. Нарушевичъ плачетъ надъ гробомъ Августа III и радуется восшествію на престолъ стольника литовскаго; прославляетъ своихъ покровителей Чарторыскихъ, ихъ дачу Повонзки, даже сани жены Адама Чарторыскаго, генерала земель подольскихъ, и считаетъ обязанностью слагать гимны, оды и идилліи при бракосочетаніяхъ разныхъ магнатовъ и другихъ тому подобныхъ оказіяхъ. Его поэтическая плодовитость сблизила его съ королемъ, которому Нарушевичъ сталъ съ тѣхъ поръ посвящать безъ мѣры и счета свои лирическіе восторги по случаю всякаго посѣщенія школъ королемъ, всякихъ имянинъ, всякой годовщины коронаціи или по случаю полученія отъ короля медали, часовъ или ордена, или при поднесеніи королю чернильницы или перевода изъ Горація. Иногда муза его становилась даже попрошайкою; когда орденъ іезуитовъ былъ уничтоженъ папою, и сорокалѣтній поэтъ остался безъ крова и хлѣба, онъ написалъ риѳмованное прошеніе, въ которомъ, перечисляя свои заслуги, выражалъ надежду, что не будетъ оставленъ милостью монарха.

Однако въ этомъ напыщенномъ панегиристѣ жила душа великаго и доблестнаго гражданина, и ошибся бы сильно тотъ, кто, основываясь на его лирическихъ произведеніяхъ, поставилъ бы его на одномъ ряду, напримѣръ, съ лизоблюдомъ Трембецкимъ. Конечно, Нарушевичъ платилъ обильную дань своему вѣку, копошился вмѣстѣ съ другими въ тинѣ пошлости, и брызги этой грязи пристали къ поламъ его рясы, но въ оправданіе его слѣдуетъ замѣтить, что тогдашній

ła złotogwara, tęsknosmutny widok, sowy smutnowrogie i t. d. Въ одѣ къ солнцу Нарушевичъ дѣлаетъ слѣдующее обращеніе къ дневному свѣтилу:

O ty, prawicy twórczej najdroższy sygnecie!

(О ты! дражайшее гербовное кольцо на десницѣ Создателя).

Приведемъ изъ оды на мраморную залу въ замкѣ варшавскомъ строфу о Янѣ Собѣскомъ, которая долго слыла образцовою въ своемъ родѣ:

Już widzę jako wdziawszy hart niezłomnej zbroje
Zmiata z karków niewiernych odęte zawoje,
A posoką i prochem ozdobnym okryty,
Tratuje zdarte członki końskiemi kopyty.
Na wzrok jego ogromny, na blask płytkiej stali
Kupami się od Wiednia zbita gawiedź wali,
Stoi zdrętwiały Dunaj, że na bystrym grzbiecie
Most mu z trupów usłany pławne barki gniecie.

(И вижу я—какъ, надѣвъ на себя закалъ несокрушимыхъ латъ, сметаетъ онъ съ затылковъ одутловатые тюрбаны,—и какъ, покрытый кровью и почетнымъ прахомъ, топчетъ онъ копытомъ своего коня разорванные члены. Предъ взоромъ его громаднымъ (?), предъ блескомъ гибкаго булата, бѣжитъ толпами отъ Вѣны перемѣшанная чернь, самъ Дунай остановился, остолбенѣвъ отъ того, что на спинѣ его быстротечной сталъ мостъ изъ труповъ, который давитъ его судоходныя плечи).

вѣкъ не былъ такъ щепетиленъ, какъ нынѣшній на счетъ поэзіи, не относился къ ней серьёзно, не считалъ ее служительницею истины, не простиралъ уваженія къ ней до культа, а смотрѣлъ на нее просто, какъ на пріятное развлеченіе и благородную забаву. Прибавимъ къ тому, что перомъ Нарушевича руководила не одна только лесть и даже не одна только благодарность къ королю, который отличилъ его, обласкалъ, сдѣлалъ его своимъ приближеннымъ другомъ и совѣтникомъ, который наконецъ внушилъ ему мысль и далъ средства совершить громадный трудъ, увѣковѣчившій его имя,—первую критическую исторію Польши. Нарушевичъ былъ просто очарованъ королемъ, ослѣпленъ его умомъ и вкусомъ, его любовью къ прекрасному, его обширными планами относительно обновленія и возрожденія Польши. Это возрожденіе представлялось Нарушевичу въ иномъ видѣ, нежели Красицкому; Красицкій изъ неурядицы настоящаго спасался въ туманную, пустую глубь философскихъ абстракцій. Нарушевичъ въ сравненіи съ Красицкимъ былъ человѣкъ положительный, до мозга костей Полякъ и притомъ Полякъ стараго покроя. Его уму представлялась блестящая картина славнаго прошедшаго Польши, передъ которой современники были просто карликами. Мысль его стремилась въ даль, ко временамъ Пястовъ, къ тому періоду польской исторіи, когда нравы были демократичнѣе, когда не раздѣлялись рѣзко сословія и когда подъ мощною десницею самодержавныхъ еще королей слагалось польское государство. Демократъ въ душѣ, и оттого монархистъ, Нарушевичъ понималъ, что настала пора покончить съ спѣсью и исключительностью шляхетскою, а реформу понималъ онъ какъ возвратъ къ старому, къ давноминувшему; однимъ словомъ, еслибы можно было употребить сравненіе, заимствованное изъ другого общества и изъ настоящаго времени, то Нарушевича слѣдовало бы назвать первымъ представителемъ того направленія, которое въ Россіи носитъ названіе славянофильства. Въ этомъ отношеніи онъ—предшественникъ Лелевеля; онъ прокладываетъ путь цѣлому поколѣнію польскихъ историковъ и поэтовъ XIX вѣка. „Правленіе въ Польшѣ всегда было дурное,—восклицаетъ онъ,—но люди были лучше. Отмѣченные клеймомъ стародавней добродѣтели, они имѣли прекраснѣйшія души при внѣшней простотѣ. Они были ближе къ тѣмъ счастливымъ временамъ, когда умы связывались сильнѣе узломъ славы и чести. Измѣнчивый міръ совершаетъ круговой оборотъ: послѣ золотого вѣка наступилъ вѣкъ изъ худшаго металла; потомъ серебро смѣнено было мѣдью; Богъ вѣсть, можетъ быть, сыновья наши будутъ глиняные послѣ желѣзныхъ родителей. Черты лѣтъ молодости стушевались,—ржавчина летаргическаго сна въѣлась въ оружіе. Чрезмѣрная свобода, въ видахъ частнаго интереса, угнетаетъ слабѣйшихъ, грязью закидываетъ ровныхъ, попираетъ авторитеты. Нѣтъ наказаній

за злодѣянія, развѣ гдѣ нибудь въ статутѣ; насиліе куетъ законы, которые безнаказанно нарушаетъ злоба; продажное правосудіе склоняетъ вѣсы въ ту сторону, на которой тяжеловѣсное золото или грозный булатъ. О вы, мощнымъ скипетромъ управлявшіе нѣкогда краемъ, вы почиваете нынѣ желѣзнымъ сномъ въ глухой обители смерти; ваши бренные остатки лежатъ на горѣ Вавель, платя должную дань смертной природѣ человѣческой. Приподнимитесь на минуту изъ праха, мощный Владиславъ, воинственный Стефанъ!—посмотрите, во что обращается стародавняя земля"...[1]). При подобномъ взглядѣ на прошедшее Польши, понятно, что къ настоящему ея Нарушевичъ долженъ былъ относиться какъ строгій судья и нещадный сатирикъ; сердце его переполняется негодованіемъ и въ гнѣвѣ льются горькія рѣчи. Въ сатирахъ Нарушевича сказываются проповѣдникъ и наставникъ; онъ говоритъ правду просто, безъ прикрасъ, такъ что весь балластъ миѳологіи, весь кортежъ классическихъ воспоминаній оказывается ненужнымъ. Подобно Клёновичу, Нарушевичъ возмущается до глубины души несправедливостью; онъ прежде всего задается извѣстнымъ нравственнымъ вопросомъ, начинаетъ работать мыслью, подбирая доводы, желчь его разливается, и онъ пишетъ картины, начерченныя рѣзко и грубо, но трепещущія жизнью, поражающія сильнымъ колоритомъ. Міръ весь вертится кругомъ сатирика, вихремъ несутся пляшущія пары, идетъ бѣшеный маскарадъ среди великаго поста: „нищета прикрывается парчею, дураки понавѣшали бѣлыя философскія бороды, женщины скачутъ верхомъ, а всякій мужчина глядитъ бабой: сердце пасъ, выдержки мало, безсильны мысль и руки. Старики превратились въ дикихъ панталоновъ, молокососы—въ арлекиновъ съ лисьими хвостами; Вакховы ягоды рдѣютъ на щекахъ у священниковъ, носы стали точно гроздья, животы точно колоды. Легкомысліе, спѣсь и корысть затѣяли непрерывный балъ. Полякъ скачетъ на одной ногѣ подъ музыку иностранцевъ. Не надо искать въ Гомеровыхъ сказкахъ Цирцеи,—которая людей превращала въ безсловесныхъ,—хочешь ли видѣть подборъ всевозможныхъ животныхъ? Пройдись по ратушамъ, по благочестивымъ монастырямъ, посѣти судебныя избы и присутственныя мѣста: подъ собольими шапками и подъ рясами—ты узришь чудеса: кричи, преклонивъ колѣна: „волы, ослы и всякій скотъ, хвалите Господа" [2]). Въ шелку и золотѣ, въ пышной каретѣ, запряженной кровными скакунами, мчится господинъ Бери-деньги, который взялъ вчера десять талеровъ у лакея, сегодня занимаетъ сто у трубочиста и выманилъ двѣнадцать у той бабы, которая продаетъ крупу съ лотка близъ церкви св. Яна. У этого господина только и осталась деревня *Голыши*, усадьба *Заем-*

[1]) Oda na obrazy Polaków starożytnych.
[2]) Reduty, Satyra 7.

щина, да корчма *Неотдавай*. Расталкивая толпу и сердито подбоченясь, идетъ бравый молодецъ Сорви-голова, изъ глазъ блещутъ искры какъ изъ-подъ пистолетнаго курка; побьемся объ закладъ, что онъ спѣшитъ въ Маримонтъ драться на дуэли. Я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ онъ камнями сгонялъ галокъ съ крышъ, какъ Евреи почтительно разступались передъ нимъ, какъ сто крапивныхъ верхушекъ срѣзалъ онъ однимъ взмахомъ булата. Но сердце заячье у этого параднаго героя съ аксельбантами, ему бы только разгонять безоружныя толпы на сеймикахъ или брящать саблею по мостовой; онъ готовъ за столомъ при бутылкѣ головою жертвовать отечеству, зная, что никто этой головы не возьметъ... Церемоніальнымъ маршемъ валитъ блестящая ватага—дворъ перваго министра царя Фараона: два трефовые туза, запряженные въ побѣдную колесницу, саженные валеты стоятъ на запяткахъ, а позади тянется длинный хвостъ, подборъ всякой швали; босая нищета безъ шапки и въ лохмотьяхъ, грязное проклятіе, отчаяніе съ поникшимъ взоромъ, потасовка съ повязанною головою и подбитымъ глазомъ, мошенники и шулера въ шелковыхъ перчаткахъ. Нарядная мадамъ ѣдетъ на балъ съ напудреннымъ аббатикомъ и разговариваетъ съ господиномъ Хамелеономъ, который торгуетъ убѣжденіями, точно Жидъ товаромъ: вчера былъ монархистъ, сегодня республиканецъ, ругалъ дворъ на чемъ свѣтъ стоитъ, а теперь хвалитъ его, въ надеждѣ получить по-іезуитское имѣніе, напишетъ панегирикъ; если же не достанетъ желаемаго, то скажетъ: здѣсь не цѣнятъ заслугъ, и—уѣдетъ въ Италію.

„Лицемѣръ, повстрѣчавшись на срединѣ улицы съ монахомъ, цѣлуетъ его въ плечо; этотъ господинъ—волкъ въ овечьей шкурѣ, онъ то и дѣло перебираетъ пальцами четки, онъ излизалъ языкомъ весь лакъ на иконахъ, полъ церковный испорченъ отъ его поклоновъ. Чернь считаетъ его святымъ угодникомъ за то, что онъ отколотилъ протестантскаго предиканта, что онъ утопилъ двухъ вѣдьмъ и вѣруетъ въ упырей. Этотъ же самый господинъ запираетъ дверь передъ должниками, на однихъ и тѣхъ же четкахъ считаетъ и молитвы и проценты, читаетъ десять Отче нашъ, а беретъ пятнадцать со ста, чернитъ ближняго тотчасъ послѣ акаѳиста и волочится за чужою женою...

„Тощему литератору нечего ѣсть, нечѣмъ одѣться. Другъ мой! люди едва не замучатъ тебя похвалами, они величаютъ тебя красою народа, пчелою Геликона, цвѣтомъ, жемчужиною, канарейкою, солнцемъ польской земли. Однако, судя по виду, ты живешь на какомъ-то навозномъ Парнассѣ, и твоя худая кляча, Пегазъ, которою надѣлилъ тебя за кровавыя услуги Аполлонъ, привыкла возить тебя только кормиться къ святому Лазарю. За то какая толпа низкопоклонниковъ и

паразитовъ окружила высокороднаго магната. Одинъ ему говоритъ: эччеленца, я никогда въ жизни не видалъ ничего подобнаго вашему блестящему двору; другой примолвитъ: кто можетъ похвалиться именемъ болѣе знаменитымъ? родъ вашъ можетъ насчитать десятокъ кастеляновъ, дюжину воеводъ, пуда два жезловъ, ключей и печатей; за тысячу лѣтъ первый предокъ вашъ, пріѣхавъ изъ Монголіи вмѣстѣ съ царемъ Кракомъ, изволилъ сдѣлаться Полякомъ. Третій свирѣпый забіяка, въ лосинкахъ, съ рубцомъ на лбу, съ пребольшущей рапирой увѣряетъ, что онъ проучитъ всякаго, кто не воздастъ господину его должной чести. Его слова подхватили многіе другіе: прикажи намъ разогнать сеймикъ—мы готовы; прикажи сдѣлать наѣздъ на чужой домъ, отодрать палками сосѣда—для твоего удовольствія мы рады умереть. Пускай весь край въ развалинахъ, твоя бы только честь уцѣлѣла!..." Нарушевичъ выходитъ изъ себя при видѣ беззаконій и разражается порою и проклятіями: „Лучше, говоритъ онъ, жить съ козаками въ Сѣчи, нежели съ ясновельможными панами живодерами, потому что у этихъ разбойниковъ кто что награбилъ на чужбинѣ, того не возьметъ ни сотникъ, ни кошевой. Савка можетъ спокойно гулять по майдану, съ люлькою во рту, въ шароварахъ чешника и въ жупанѣ подсудка, а Микита можетъ смѣло гарцовать на рысакѣ панцырнаго знака. У насъ же никто не знаетъ, для кого онъ сѣетъ и молотитъ хлѣбъ, всякій можетъ ему разрушить гумно и усадьбу, напустить на него наемныхъ злодѣевъ, заграбить, покосить, изрубить, разгородить, сжечь и утащить. Гдѣ же правосудіе? дожидайся, его когда усопшіе услышатъ гласъ трубы Страшнаго Суда" [1]. „Измѣна, вымогательство, наѣзды слывутъ добродѣтелями, потому что господа грабители имѣютъ деньги, гербы и помѣстья, а ты, бѣдный мужикъ, за кражу снопа пойдешь упитывать тѣломъ своимъ алчныхъ вороновъ, потому что золотая вольность польская держится такихъ правилъ: сажай мужика на колъ, барину спусти, а шляхтича запри въ тюрьму" [2].

Сильный талантъ, который обнаружилъ Нарушевичъ въ сатирахъ, еще ярче сіяетъ въ его *Исторіи Польскаго народа*, произведеніи, замѣчательномъ и по плану и по способу выполненія, и составляющемъ безъ всякаго сомнѣнія самый прочный памятникъ царствованія короля Понятовскаго. Король оцѣнилъ великія способности бывшаго іезуита, пріютилъ его, выхлопотавъ ему приходъ въ Нѣменчинѣ, а потомъ коадъюторію епископства смоленскаго и предложилъ ему быть королевскимъ исторіографомъ Польши; всѣ издержки по собранію матеріаловъ, по перепискѣ рукописей, король бралъ на себя, много уче-

[1]) Fragment X.

[2]) Satyra 2, Szlachetność.

ныхъ отправлено было за границу для собиранія источниковъ въ архивѣ Ватикана, въ канцеляріяхъ шведскихъ, берлинскихъ и вѣнскихъ; перерыты были государственныя метрики и архивы знатныхъ польскихъ родовъ. Нарушевичъ, весь отдавшись великому труду, покинулъ Варшаву и шесть лѣтъ, 1774—1779, прожилъ въ глухой тиши среди полѣсскихъ болотъ за кипами ветхихъ бумагъ. Король скучалъ и безпрестанно звалъ его къ себѣ. Нарушевичъ, наконецъ, возвратился въ Варшаву съ цѣлою канцеляріею, и съ готовыми первыми томами своей исторіи. Король помѣстилъ его въ зàмкѣ и слѣдилъ за ходомъ работъ, которыя подвигались быстро впередъ, несмотря на то, что король отрывалъ Нарушевича отъ работы, заставляя его сопутствовать себѣ въ своихъ путешествіяхъ, и что сеймъ выбралъ Нарушевича въ 1782 секретаремъ Непрестаннаго Совѣта. Отъ 1780 по 1786 изданы всѣ семь томовъ исторіи Польши съ древнѣйшихъ временъ до вступленія на престолъ дома Ягеллоновъ. Нарушевичъ разсмотрѣлъ критически обширную область прошедшаго Польши, отбросилъ сказочныя преданія, провѣрилъ источники. Его трезвый, полный содержанія разсказъ имѣлъ для Польши точно такое значеніе, какое для русской исторіи повѣствованіе Карамзина. Онъ поставилъ рамку для будущихъ изслѣдованій, закладывалъ основанія зданія будущей науки и предлагалъ готовый методъ. Нарушевичъ не подозрѣвалъ, что изданный имъ седьмой томъ будетъ послѣднимъ—планы его были обширные, матеріаловъ много. Близилась политическая сумятица, наступилъ великій четырехлѣтній сеймъ, рѣшительная минута, въ которую молодому поколѣнію, выросшему среди пятнадцати-лѣтняго покоя, пришлось подъ страхомъ смерти совершить въ одинъ мигъ коренную реформу или погибнуть. Нарушевичъ засѣдалъ въ этомъ сеймѣ сначала какъ епископъ смоленскій, потомъ какъ епископъ луцкій; онъ вѣрилъ, что мысль, которую онъ лелѣялъ вмѣстѣ съ другими людьми реформы, станетъ дѣломъ, но дѣйствительность разочаровала патріота. Слабость людей реформы, интриги магнатовъ, вѣковая анархія, воскресающая съ своимъ тупымъ сопротивленіемъ, навели мрачную тоску на Нарушевича; онъ усомнился, можно ли построить зданіе изъ грязи на рыхломъ пескѣ, и въ припадкѣ разъѣдающаго душу отчаянія написалъ знаменитое стихотвореніе: *Голосъ мертвецовъ*, въ которомъ съ паѳосомъ, достойнымъ Скарги, онъ предрекаетъ смерть обществу, но видя ея причину не въ религіозномъ разъединеніи, какъ Скарга, а въ ослабленіи королевской власти. Это стихотвореніе Бартошевичъ [1]) справедливо называетъ философіею польской реформы конца XVIII столѣтія. Вотъ

[1]) Znakomici Mężowie Polscy XVIII wieku, t. 1, str. 130.

что говорятъ къ потомству великіе мертвецы, покоящіеся въ гробницахъ краковскаго собора:

„Сокрушивъ узы мира и согласія, заключающіяся въ верховной власти, вы разбѣжались—точно стадо безъ вождя, правленія, совѣта и защиты. Остыло сердце для общественнаго блага: всѣ вы или льстецы или клеветники.

„Ни въ чемъ отечеству не было успѣха, съ тѣхъ поръ какъ члены отдѣлились отъ главы; кметь пересталъ промышлять, ремесла пришли въ упадокъ,—Ѳемида спрятала острый мечъ въ ножны, священникъ сталъ скопидомомъ, панъ—нарушителемъ порядка, король—кажущимся королемъ, солдатъ—параднымъ солдатомъ.

„Святое достояніе Ягеллоновъ и Пястовъ пошло на удовлетвореніе подлаго высокомѣрія; по празднымъ дворамъ обжираются толпы позолоченныхъ паразитовъ,—разсѣялось награбленное королевское добро, вѣтеръ хозяйничаетъ по за́мкамъ и обрываетъ башни.

„Несмѣтны были соединенные подъ однимъ скипетромъ вооруженные ряды воинственныхъ полчищъ. Передъ ними дрожали берега двухъ морей, которымъ Днѣпръ и Висла сплавляли свои произведенія. Сегодня нѣтъ ни рыцарей, ни военной славы, хотя число гетмановъ и стало больше.

„Дружина бѣдныхъ птенцовъ прячется подъ распростертыя крылья одной матер, когда на нихъ налетаетъ сверху коршунъ съ острыми когтями; вы общипали у этой матери перья,—чѣмъ же она можетъ васъ прикрыть?

„Какъ свѣтъ свѣтитъ, во всей подсолнечной нѣтъ правленія, въ которомъ бы творились бо̀льшія чудеса. Зачѣмъ сіять королевскому величію, когда оно—маска для бездѣйствія? Зачѣмъ искать королей дорогою цѣною, если дознано, что короли—враги наши?

„Если король—отецъ, то почему же не довѣряютъ ему дѣти? Если король—государь, то чѣмъ же подданные удостовѣряютъ свою подчиненность? Если король—верховный полководецъ, то почему же онъ безъ солдатъ? Если король—судья, то гдѣ же его мечъ и книга законовъ? Безумная, бѣдная и дикая страна, гдѣ вѣнценосцы царствуютъ только по имени.

„Блуждающее стадо гербовныхъ голышей! Глядя на твоихъ хитрыхъ предводителей, само ты не знаешь, какъ, издѣваясь надъ твоею простотой, они пользуются тобой для своей частной выгоды, склеивая или разрывая продажные сеймики. Ты ищешь свободы, свободу имѣютъ только они одни.

„Ты продаешь палладіумъ унаслѣдованныхъ вольностей за рюмку вина, за вѣжливый поклонъ; ты выбираешь ясновельможныхъ пословъ, охрипнувъ отъ нападокъ на самодержавное правленіе; не для тебя

они удятъ твоею же удочкою; ты пашешь плугомъ, они будутъ пахать тобою".

Суровый моралистъ искалъ спасенія въ монархизмѣ, переставалъ вѣрить въ народъ и всѣ свои надежды возлагалъ на короля. Этотъ послѣдній якорь спасенія былъ потерянъ. Тотъ, кого Нарушевичъ считалъ героемъ, не выдержалъ и малодушно измѣнилъ народному дѣлу. Въ послѣдній разъ онъ имѣлъ свиданіе съ королемъ въ Семятичахъ, въ декабрѣ 1793 г., когда король возвращался съ гродненскаго сейма; король совѣтовалъ Нарушевичу продолжать начатый историческій трудъ. Нарушевичъ съ негодованіемъ замѣтилъ, что онъ не возьметъ пера въ руки, что ему не для кого писать. Сердце его надорвалось, нравственныя страданія ускорили его кончину, случившуюся въ сельской глуши въ Яновѣ, надъ Бугомъ; онъ не долго пережилъ паденіе государства. Въ числѣ трудовъ Нарушевича заслуживаютъ еще вниманіе переводъ Тацита и жизнеописаніе Ходкевича, прекрасная монографія, въ которой изображены главные моменты царствованія Сигизмунда III, наконецъ „Таврика", исторія и описаніе Крыма, посвященная Екатеринѣ II во время Каневскаго свиданія ея съ Понятовскимъ, въ свитѣ котораго находился Нарушевичъ.

Одновременно съ великими свѣтилами литературы, каковыми безспорно были Красицкій и Нарушевичъ, и второстепенными, каковъ Трембецкій, появилось нѣсколько мелкихъ третьестепенныхъ, имена которыхъ, нѣкогда довольно популярныя, повторяются по преданію въ учебникахъ, а произведенія почти совсѣмъ забыты; такова пара стихотворцевъ — Карпинскій и Князнинъ. Францискъ Карпинскій (род. на Руси-Червонной, 1741—1825), сантиментальный элегикъ и идиллистъ (Laura i Filon), исполненный высокаго самомнѣнія и попавшій въ знаменитости вслѣдствіе того только, что заявилъ себя въ удачный моментъ, когда Чарторыскіе и король отыскивали таланты и можно было прославиться, написавъ два-три удачные стиха. Принятый съ изысканною предупредительностью въ Варшавѣ, Карпинскій напомнилъ о себѣ элегіею: „Возвращеніе изъ Варшавы въ деревню", которой главное содержаніе то, что онъ бѣденъ ѣхалъ, бѣднѣе еще возвратился потому, что меценаты кормили его ласками, но не пожаловали чѣмъ-нибудь болѣе существеннымъ. „Пѣвецъ сердца" достигъ, наконецъ, цѣли и получилъ аренду въ гродненской губерніи. Пѣсни его ходили по рукамъ въ особенности въ мелко-шляхетской средѣ, и плѣняли нѣжныя сердца менѣе разборчивыхъ людей простотою очищеннаго отъ всякой учености, приторно-сладкаго стиха. Они вводили подъ соломенныя крыши французскую псевдо-классическую галантную пастораль, понижая поэзію до уровня пониманія мало образованныхъ людей. На старости лѣтъ, Карпинскій, уже не бѣдный помѣщикъ, посвятилъ импе-

ратору Александру I свой переводъ „Разговоровъ Платона“ [1]). Бѣлоруссъ Францъ-Діонисій Князнинъ (род. 1750) происходилъ отъ того же рода смоленской шляхты, который произвелъ русскаго драматурга Якова Бор. Княжнина, учился у іезуитовъ, работалъ въ библіотекѣ у Залускаго, потомъ сдѣлался секретаремъ князя Адама Августовича Чарторыскаго и домашнимъ бардомъ рода Чарторыскихъ и двора ихъ Пулавскаго. Болѣе вскормленный древне-греческою, нежели французскою поэзіею, Князнинъ воспѣвалъ сельскую природу, сочинялъ драмы и оперы („Ѳемистоклъ“, „Гекторъ“, „Цыгане“). Струна патріотическая, которой нѣтъ у Карпинскаго, звучитъ сильно у Князнина, перемѣшиваясь съ республиканскими воспоминаніями классической древности (траг. Мать Спартанка). Паденіе Польши свело его съ ума. Одиннадцать лѣтъ, 1796 — 1807, прожилъ онъ въ этомъ печальномъ состояніи и умеръ въ Консковолѣ близъ Пулавъ [2]) на рукахъ ближайшаго своего друга, мѣстнаго приходскаго священника, бывшаго литератора Франца Заблоцкаго, который, будучи не менѣе Князнина пораженъ неизлечимою тоскою послѣ утраты отечества, искалъ успокоенія въ объятіяхъ религіи подъ рясою.

Судьба Заблоцкаго (1754—1821) связана со сценическими начинаніями драматическаго искусства въ Польшѣ, въ царствованіе Понятовскаго. Созданіе постоянной сцены входило въ планы короля, который открылъ съ большимъ торжествомъ такой первый публичный постоянный театръ въ Варшавѣ въ 1765 г., но повредилъ его успѣхамъ тѣмъ, что далъ на содержаніе его исключительную привилегію камердинеру своему Риксу, а слѣдовательно укрѣпилъ его за монополистомъ, который болѣе заботился о деньгахъ, нежели объ искусствѣ. Представленія начались съ пьесы Бѣлявскаго (1739—1809): Natręci. Для этой сцены сочинялъ оперы и комедіи эксъ-іезуитъ Францискъ Богомолецъ (1720—1790). Съ 1780 по 1794, для нея же поставилъ до 80 пьесъ бо̀льшею частью переводныхъ или заимствованныхъ секретарь эдукаціонной коммисіи, Заблоцкій, который, не довольствуясь однако переводами и заимствованіемъ, попробовалъ создать современную комедію оригинальную; извѣстнѣйшія его оригинальныя пьесы: „Суевѣрный“ (Zabobonnik), „Ухаживанія Вертопраха“ (Fircyk w zalotach), „Сарматизмъ“. Замыселъ былъ прекрасный; матеріалъ, обильный для комедіи, состоялъ въ наличности, старое перемѣшивалось съ новымъ въ обществѣ, какъ въ маскарадѣ, старое, косное было каррикатурное, подражаніе иностранному доходило до обезьянства. Но задачѣ не

---

[1]) Сочиненія его изданы Дмоховскимъ въ Варшавѣ, 1806, 4 т. Жизнеописаніе написалъ А. Корниловичъ. Вильно. 1827.

[2]) Сочиненія изданы Ф. Дмоховскимъ въ Варшавѣ, 1828—29, въ 7 томахъ.

соотвѣтствовалъ крошечный талантъ Заблоцкаго, не хватало самобытности; на польскую сцену онъ перенесъ цѣликомъ мольеровскій театръ съ его любовниками, ходящими на свиданія помимо родительскаго запрета, съ неизбѣжными резонерами-лакеями и фиглярками-субретками, безъ которыхъ не было тогда никакого фарса, съ смѣшными по костюму и языку лекарями и адвокатами; со множествомъ щедро расточаемыхъ палочныхъ ударовъ. На этой совершенно условной и иностранной канвѣ выведены и вплетены въ нее наблюденные авторомъ современные типы, представленные въ довольно плоскихъ каррикатурахъ: модный франтъ, который то обыгриваетъ въ карты, то ухаживаетъ за дамами; скупой старикъ, помѣшанный на предсказаніяхъ, котораго дурачатъ; глупые усачи, Сарматы стараго покроя, которые съ сосѣдями дерутся (Guronos, Żegota), между тѣмъ какъ жены ихъ напиваются (Ryksa); въ этотъ растянутый фарсъ, въ эту смѣсь своего съ иностраннымъ насыпано вдоволь перцу—намековъ на современныя лица и происшествія. Такова комедія Заблоцкаго, почтенная по намѣреніямъ, слабая по исполненію [1].—Настоящимъ создателемъ польской сцены явился человѣкъ, ничѣмъ не воспользовавшійся отъ милостей королевскихъ, по призванію актеръ, Войцѣхъ **Богуславскій**, котораго главная дѣятельность относится ко временамъ по-раздѣльнымъ.

Б) Политическая литература четырехлѣтняго сейма.

Французская по духу, подражательная литература средины царствованія Станислава Понятовскаго, служила почти исключительно политикѣ, мало заботясь о законахъ искусства. Она имѣетъ за собою одну только громадную заслугу: что съ малыми исключеніями она помогала всѣми силами реформѣ и подливала масла въ огонь, воспламеняла любовь къ отечеству и звала народъ на работу немедленнаго, внезапнаго, коренного преобразованія, совершить которое предстояло, не колеблясь и не останавливаясь ни предъ какими жертвами, или неминуемо погибнуть. Вліяніе этой литературы на нравы общества, а еще въ несравненно бо́льшей степени на идеи было по истинѣ громадное; оно можетъ быть оцѣнено только сопоставленіемъ слѣдующихъ событій. Въ 1775 учрежденъ Непрестанный Совѣтъ, который общественное мнѣніе заклеймило прозвищемъ „непрестанной измѣны“ (zdrada nieustająca), олигархическое правительство, зависимое отъ Петербурга чрезъ Штакельберга, при которомъ состоялъ призракъ короля, превратившагося въ сущности въ намѣстника императрицы,—правительство, оказавшее все-таки нѣкоторую пользу потому, что оно было хотя

[1]) Сочиненія его издалъ Дмоховскій. Варшава, 1829—30. Новѣйшее изданіе, Варшава, 1877.

плохою, но все-таки организаціею послѣ совершеннаго безначалія и анархіи. Духъ реакціи былъ настолько силенъ, что когда по постановленію сейма 1775 г. поручена была кодификація законовъ одному изъ просвѣщеннѣйшихъ людей того времени, эксъ-канцлеру Андрею Замойскому, который и обнародовалъ (1778) проектъ этого кодекса, весьма не радикальный, проектъ, въ составленіи котораго принимали дѣятельное участіе король, епископъ Шембекъ, канцлеръ Хребтовичъ, проектъ этотъ оскорбительнымъ для автора образомъ былъ отвергнутъ и похороненъ на сеймѣ 1780 г. потому только, что содержалъ робкую попытку предоставить нѣкоторую долю личной свободы крестьянамъ [1]). Въ пять лѣтъ послѣ того появляется сильнѣйшій политическій памфлетъ того времени, подѣйствовавшій какъ электрическій ударъ: *Uwagi*, Сташица; а въ 1788 г. начинается четырехлѣтній сеймъ, создавшій цѣльный осмысленный планъ неудавшейся, но до мелочей послѣдовательно и логично разработанной реформы. Внезапно, съ открытіемъ четырехлѣтняго сейма, общество было наводнено несмѣтнымъ количествомъ книгъ, листковъ, брошюръ; эта политическая литература образована, по выраженію Пилята (o liter. polit. sejmu czteroletniego, str. 5), какъ бы второй сеймъ подлѣ настоящаго, сеймъ свободный, въ которомъ всякій, кто хотѣлъ, имѣлъ право голоса. Намъ необходимо войти въ эту мастерскую реформы, гдѣ разработывались всѣ вопросы дня, прежде чѣмъ поступали на очередь сеймовыхъ преній. По глубинѣ мыслей, силѣ увлеченія и блеску дарованія, партія такъ-называемая „патріотическая" имѣетъ рѣшительный перевѣсъ и въ сеймѣ и въ литературѣ, а въ ней на первомъ планѣ стоятъ два лица: два ксендза, являющіеся звѣздами первой величины, одинъ только писатель — хотя одаренный всѣми качествами народнаго трибуна, другой—писатель и ораторъ, но еще болѣе государственный человѣкъ: Сташицъ и Колонтай.

Ксендзъ Станиславъ Сташицъ (1755—1826) [2]), мѣщанинъ, сынъ бургомистра въ городѣ Пила въ Великопольшѣ, по необходимости, а не по призванію былъ духовный и избралъ это званіе только потому, что не-шляхтичу всѣ пути были закрыты. Очень молодымъ человѣкомъ поѣхалъ онъ учиться за границу въ Германію, потомъ въ Парижъ, сблизился съ энциклопедистами, пріобрѣлъ большія познанія въ естественныхъ наукахъ, особенно въ геологіи. Пребываніе его за границею совпадало по времени съ движеніемъ барской конфедераціи и съ обращеніями агентовъ конфедераціи къ знаменитымъ европей-

---

[1]) Zbiór praw sądowych przez Andr. Ord. Zamoyskiego, wydany przez W. Dutkiewicza. Warszawa, 1874.

[2]) Józef Szujski, St. Staszic jako pisarz polityczny, въ Roztrząsaniach i opowiadaniach historycznych, Kraków, 1876. Justyn Wojewodzki, Stanisław Wawrzyniec Staszic въ Warszawa, 1879. M. Glücksberg. St. Staszic, въ журналѣ Niwia, 1875.

скимъ философамъ-публицистамъ за консультаціями и рецептами. Одинъ изъ такихъ агентовъ Віельгорскій обращался къ автору Contrat social (1768) и къ аббату Мабли и получилъ отъ перваго изъ нихъ: *Considérations sur le gouvernement de la Pologne*, а отъ втораго: *De la situation politique de la Pologne, 1776.* — Почти боготворимый тогда авторъ политической библіи XVIII вѣка, Руссо отнесся къ задачѣ съ своей французской точки зрѣнія и сильно доктринерски; изъ ненависти къ абсолютизму предлагалъ децентрализацію, совѣтовалъ федеративную форму правленія, пощадилъ даже элекцію королей и не рѣшался отмѣнить, а только ограничивалъ liberum veto, однимъ словомъ, проповѣдывалъ демократію въ такихъ политическихъ формахъ, которыя для Польши были непригодны, а мысли его послужили потомъ теоретическими мотивами политики для неисправимыхъ шляхетскихъ анархистовъ, для будущихъ тарговичанъ. Мабли посмотрѣлъ на дѣло гораздо практичнѣе и проще, въ спасеніи сомнѣвался, но совѣтовалъ наслѣдственную конституціонную монархію. Молодой Сташицъ былъ горячій поклонникъ Руссо, проникнулся началами „Общественнаго Договора", и сохранилъ на всю жизнь извѣстную долю республиканскаго доктринерства. Но, возвратившись въ Польшу, онъ по счастливому стеченію обстоятельства попалъ (1772) въ домъ къ Андрею Замойскому, поручившему ему воспитаніе своихъ сыновей и преподаваніе французской словесности въ Замосцьской академіи. Сдѣлавшись домашнимъ человѣкомъ у польскаго „Ликурга", будучи въ постоянномъ общеніи съ его сотрудниками по проекту кодекса, заимствуя отъ нихъ взгляды на состояніе Польши, а изъ богатаго Замосцьскаго архива историческія данныя, все передуманное о судьбахъ отечества Сташицъ вылилъ въ безъимянный, довольно безпорядочный памфлетъ (изданный 1785 г. въ Варшавѣ), носящій случайное на первый взглядъ заглавіе, имѣющее мало общаго съ его содержаніемъ: *Замѣчанія на жизнь Яна Замойскаго* (Uwagi nad życiem J. Zamoyskiego etc.). Памфлетъ имѣетъ исходною точкою психологію сенсуалистовъ, дѣлится безъ строгаго плана на статьи (воспитаніе, законодательство, исполнительная власть и т. д.), пользуется именемъ Замойскаго, о которомъ авторъ имѣлъ вообще мало точныхъ свѣдѣній, чтобы сопоставить современную приниженность и паденіе съ славнымъ величіемъ эпохи Баторія. Это возведеніе великаго свободнаго республиканскаго прошлаго въ непрестанно созерцаемый идеалъ сообщало памфлету чарующую силу; оно выдѣляетъ Сташица изъ числа тѣхъ заурядныхъ революціонеровъ, которые все въ прошедшемъ закидывали грязью. Книга Сташица вызвала до 22 отвѣтовъ, породила цѣлую литературу. Вскорѣ затѣмъ мечтанія патріота стали осуществляться, во Франціи начиналась революція, въ Польшѣ собирался четырехлѣтній сеймъ. Происхожденіе не-шляхетское лишало Сташица

возможности прямаго участія въ законодательствѣ, а сеймъ—сильнѣйшаго оратора, но Сташицъ служилъ общему дѣлу перомъ и издалъ 1790 свои *Предостереженія для Польши* (Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające). Эта книга есть не что иное, какъ дальнѣйшее развитіе и болѣе подробное изложеніе того, что̀ содержалось въ „Замѣчаніяхъ". Оба сочиненія были готовая программа реформы, и общій смыслъ ихъ слѣдующій. Сташицъ—республиканецъ, но еще болѣе патріотъ, выше всего ставитъ онъ бытіе своей націи: „сперва народъ—потомъ свобода; сперва жизнь, потомъ удобство". Бытію народа онъ жертвуетъ всѣмъ, даже доктриною, совѣтуетъ изъ золъ выбирать меньшее, рѣшается идти отъ великаго прошлаго, созерцаемаго въ свѣтѣ немного туманномъ, идеальномъ, къ будущему тоже свободному, хотя бы чрезъ абсолютизмъ; установить хотя бы самодержавіе, если иначе нельзя охранять себя отъ самодержавныхъ кругомъ Польши государствъ, для которыхъ первое правило—ослаблять всячески сосѣдей. Сташицъ совѣтуетъ увеличить войска, подати, завести наслѣдственнаго короля, непрестанный сеймъ, сосредоточить исполнительную власть въ коммиссіяхъ. Но сверхъ этихъ весьма разумныхъ совѣтовъ, книги Сташица содержали въ себѣ еще нѣчто гораздо болѣе новое и цѣнное. Писалъ ихъ человѣкъ, не путемъ отвлеченія додумавшійся до необходимости подъема, освобожденія и уравненія съ шляхтою народа, а настоящій демократъ, лично выстрадавшій все то, что̀ терпѣли не-шляхтичи отъ вѣковой несправедливости и домогающійся простора и мѣста для отверженныхъ элементовъ, рѣчью неровною, но порывистою, словами неотразимыми, какъ глубокое убѣжденіе и жгучими, какъ расплавленная лава. Онъ не стѣсняется и называетъ предметы настоящими именами; вину паденія взваливаетъ безъ обиняковъ на вельможество [1]); онъ исчислилъ, что половина пространства Польши—это имѣнія монопольныя (староства, духовныя имѣнія, королевскія столовыя), что изъ остальной половины только 800 кв. миль, на 10000 настоящая собственность за исключеніемъ крестьянскаго надѣла. Нельзя содержать 300,000 войска безъ податей, нельзя имѣть ни войска, ни податей безъ отмѣны барщины и распространенія права собственности на всю землю. „200 милліоновъ морговъ земли и 7 милліоновъ людей—вотъ матеріалъ, изъ котораго надо создать 300,000 солдатъ и нѣсколько сотенъ милліоновъ податей. Земля увеличитъ свою производительность, когда усилится трудъ ея обработки; а тѣ только люди будутъ больше работать, которые сдѣлаются

[1]) «Кто учитъ на сеймикахъ измѣнѣ, подлости, насилію? кто шляхту обманываетъ, подкупаетъ и опаиваетъ? Паны. — Кто парализуетъ законодательную власть, рветъ сеймы? Паны.—Кто судъ превращалъ въ торгъ правосудіемъ? Паны.—Кто продавалъ корону? Паны. — Кто покупалъ корону? Паны. — Кто приводилъ чужеземныя войска? Паны».

способными пріобрѣтать *поземельную* собственность". Авторомъ брошено слово надѣленія крестьянъ землею въ дальнемъ будущемъ, къ которому слѣдуетъ идти чрезъ политическія реформы, чрезъ равноправность, отмѣну привилегій, истребленіе тунеядства и классовъ, чужимъ трудомъ живущихъ, и чрезъ закрытіе новиціатовъ духовныхъ орденовъ. Сташицъ является первымъ апостоломъ настоящей польской демократіи. Онъ соединяетъ въ себѣ два новыя и рѣдкія качества: онъ сознаетъ, что центръ тяжести общества лежитъ въ безправныхъ массахъ, которыя надо поднять; но зоветъ онъ ихъ на дѣло не раздраженіемъ въ нихъ животныхъ инстинктовъ, а во имя долга для труда и въ духѣ строгой дисциплины. Въ замыслахъ своихъ онъ радикальнѣе кого-бы то ни было изъ современныхъ; но всѣ нововведенія проектируются сверху внизъ и имѣютъ задачею нравственную дрессировку призываемыхъ къ общественной дѣятельности массъ. Въ литературномъ отношеніи онъ не произвелъ ничего подходящаго къ „Замѣчаніямъ" и „Предостереженіямъ", но во второй, одинаково плодотворной половинѣ своей общественной дѣятельности онъ показалъ, насколько серьезно радѣлъ онъ о крестьянахъ и о благосостояніи массъ. На сколоченный трудомъ и выслуженный у Замойскихъ капиталъ онъ купилъ, въ 1801, обширную волость (ключъ) Грубешовскую въ люблинскомъ воеводствѣ, устроилъ ее и освободилъ крестьянъ, всѣ помѣщичьи грунты подаривъ общинѣ. Всѣ свои средства онъ обращалъ на филантропическія цѣли, ходилъ въ театръ въ раекъ, а уплатилъ 70 т. злотыхъ Торвальдсену за памятникъ Копернику въ Варшавѣ передъ зданіемъ Общества Любителей Наукъ (нынѣ 1-я гимназія), въ которомъ съ 1808 онъ предсѣдательствовалъ; онъ создалъ горное дѣло въ Царствѣ Польскомъ, былъ дѣятельнымъ членомъ коммиссіи просвѣщенія и исповѣданій, почетнымъ статсъ-министромъ, засѣдающимъ въ совѣтахъ государственномъ и административномъ царства. Въ 1812 г. Сташицъ защитилъ въ государственномъ совѣтѣ Герцогства Варшавскаго эдукаціонный училищный фондъ, подвергшійся сильной опасности расхищенія по спорному вопросу, имѣютъ ли училища преимущественное право на удовлетвореніе изъ по-іезуитскихъ имѣній, или онѣ получаютъ удовлетвореніе по разверсткѣ съ другими кредиторами владѣльцевъ этихъ имѣній. Голоса дѣлились по этому вопросу, но защитники кредиторовъ замолкли, когда старикъ Сташицъ произнесъ: „да не надѣется народъ нашъ на возрожденіе; его погубятъ наши дѣти, обреченные отцами своими на невѣжество". Въ политическомъ отношеніи Сташицъ сдѣлался поклонникомъ императора Александра I, какъ возстановителя Польши, и панславистомъ, полагающимъ благо польской народности въ тѣсномъ единеніи съ Россіею [1]).

[1]) Ostatnie do współrodaków słowo. Warszawa 1814; Myśli o równowadze poli-

Въ Сташицѣ реформа имѣла своего теоретика, въ Колонтаѣ она обрѣла свое живое воплощеніе. Гугонъ Колонтай, изъ смоленскихъ дворянъ выходцевъ, поселившихся послѣ Андрусовскаго перемирія въ Сандомірской землѣ (1750—1812), сдѣлался духовнымъ лицомъ только потому, что это званіе облегчало карьеру, а честолюбіе было у него безмѣрное, сопровождаемое первостепенными блистательными дарованіями и кипучею дѣятельностью и энергіею. Все удавалось молодому ученому, за что онъ ни брался умѣлою, ловкою рукою. Предстояла реформа затхлой краковской академіи; Колонтай отправленъ былъ 1777 туда визитаторомъ отъ эдукаціонной коммиссіи, очистилъ эти авгіевы конюшни схоластики, не смотря на жестокое сопротивленіе; три года тамъ ректорствовалъ (1782—1785), послѣ чего возвратился въ Варшаву, въ самый центръ политическаго движенія, и въ среду, въ которой вращался, какъ въ своемъ элементѣ, этотъ умъ гибкій, эта натура властная, этотъ темпераментъ революціонный, стремящійся на проломъ или обходомъ къ цѣли, не очень разбирая средства. Скромная должность литовскаго референдарія не давала ему доступа къ кормилу правленія, даже въ сеймъ нельзя было безъ попасть связей; Колонтай избралъ печать ступенью для достиженія власти, и издалъ „Письма анонима къ Станиславу Малаховскому“ (Do St. Małachowskiego o przysztym seymie anonyma listów kilka), брошюру, въ которой съ необычайною точностью и ясностью, съ изумительною логикою, превосходнымъ языкомъ формулировались задачи реформы [1]). Въ этой брошюрѣ Колонтай явилъ себя могучимъ діалектикомъ и первымъ прозаикомъ конца XVIII вѣка. Колонтай собралъ вокругъ себя цѣлую партію въ литературѣ, сталъ во главѣ крайнихъ прогрессистовъ; множество листковъ и памфлетовъ выходили, по современному выраженію, изъ „Колонтаевской кузницы“. Самымъ неутомимымъ его сотрудникомъ по этой части былъ ѣдкій сатирикъ, ксендзъ Ф. С. Езерскій, авторъ „Говорка“ (1789), „Ржепихи“ (1790), „Катихизиса о таинствахъ польскаго правленія“ (1790). Авторитетъ Колонтая, пріобрѣтенный имъ такъ-сказать съ боя, былъ такъ силенъ, что его, не состоявшаго членомъ сейма, избрали въ 1790 въ особую сеймовую депутацію для реформы правленія. Отстаивая проектъ законовъ на сеймѣ, онъ отличился какъ ораторъ; наконецъ, если бы можно было приписать одному лицу коллективный плодъ дѣятельности сейма, то Колонтая слѣдовало бы назвать главнымъ

---

tycznej w Europie. Warszawa 1815. Ср. Первольфа, Slovanské hnutí mezi Polaky 1800—1830, въ чешскомъ журналѣ Osvěta, 1879.

[1]) Приведемъ образчикъ: «Что такое нашъ край? Не монархія, такъ какъ монархія прекратилась съ пресѣченіемъ дома Ягеллоновъ. Не республика, потому что эта послѣдняя бываетъ представляема только каждые два года въ теченіи шести недѣль. Что же она наконецъ? Она—плохая попорченная машина, которую одинъ двигать не въ силахъ, всѣ вмѣстѣ двигать не хотятъ, а остановить можетъ каждый по одиночкѣ взятый.»

авторомъ конституціи 3 мая; всѣ остальныя лица въ сущности были только его пособниками; идею реформы онъ самъ и изъяснилъ въ мотивированномъ проектѣ ея, изданномъ 1790, подъ заглавіемъ: „Prawo polityczne narodu polskiego". Кульминаціоннымъ пунктомъ въ карьерѣ Колонтая былъ тотъ моментъ, когда послѣ обнародованія конституціи 3 мая 1791 г. нелюбившій его король, въ воздаяніе его несомнѣнныхъ заслугъ, возвелъ его въ министры, сдѣлавъ короннымъ подканцлеріемъ. Теперь именно пришло испытаніе и оказалось, что характеръ Колонтая не соотвѣтствовалъ его геніальности, не выдерживалъ пробы. 24 іюля 1792 г., въ засѣданіи совѣта министровъ (straży) по поводу требованія императрицы о немедленномъ отступленіи отъ конституціи и соединеніи съ тарговичанами, Колонтай подалъ голосъ за вступленіе въ тарговицкую конфедерацію и самъ лично къ ней присоединился, льстя себя несбыточною надеждою повліять, можетъ быть, на конфедерацію, то-есть помириться съ смертельными врагами реформы и кое-что спасти отъ конституціи, уѣхалъ въ Силезію, написалъ 1793 памфлетъ въ формѣ историческаго сочиненія о конституціи (O ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiej 3 maja), въ которомъ искажая истину, обѣлилъ по-адвокатски свою партію, а всѣ вины взваливалъ на короля, представляя его измѣнникомъ не менѣе тарговичанъ; потомъ (1794) явился опять въ лагерѣ Косцюшки и въ Варшавѣ ярымъ демагогомъ, сочувствующимъ движеніямъ черни, интригующимъ противъ народнаго вождя и прокладывающимъ себѣ путь въ диктаторы [1]). Потомъ послѣдовало долгое заключеніе его въ Ольмюцѣ, и жизнь скитальческая на Волыни, и въ герцогствѣ Варшавскомъ. Ни умъ, ни бодрость духа и предпріимчивость, ни дружба съ Чацкимъ и Снядецкимъ не изгладили воспоминаній о событіяхъ 1793 и 1794 г., въ которыхъ Колонтай выказалъ себя съ столь слабой стороны.

Партія патріотовъ, по ученіямъ, заимствованнымъ отъ Руссо, была республиканская; перейти рѣшительно на сторону наслѣдственной монархіи и къ усиленію централизаціи заставила ее другая, не менѣе многочисленная группа дѣятелей болѣе умѣреннаго направленія, такъ называемыхъ монархистовъ или сторонниковъ короля, имѣвшая своихъ писателей и своихъ поэтовъ въ Нарушевичѣ и Трембецкомъ. Наконецъ откликались и отстрѣливались въ литературѣ консерваторы, анархисты, будущіе тарговичане, подраздѣлявшіеся на два оттѣнка, просто шляхетскій и магнатскій. Вліятельнымъ писателемъ въ этомъ лагерѣ былъ гетманъ Северинъ Ржевускій (1743—1793), сосланный въ Калугу по распоряженію Репнина, озлобленный за умаленіе гетманской власти, а кончившій тѣмъ, что сдѣлался столбомъ тарговицкой конфедераціи (O suk-

[1]) Kraszewski, Polska w czasie 3 rozb., t. 3.

cessyi tronu w Polsce, 1789). Памѣтимъ между публицистами весьма оригинальнаго и порою остроумнаго чудака Яцка Езерскаго, кастеляна Луковскаго, требовавшаго конфискаціи церковныхъ имуществъ, но противившагося свободѣ городовъ и дачѣ правъ мѣщанамъ; бѣшенаго революціонера въ родѣ парижскихъ якобинцевъ, Войтѣха Турскаго, которому монархистъ Трембецкій сулилъ исправительное заведеніе, и множество другихъ. Вся эта громадная по объему литература распространялась посредствомъ летучихъ листковъ, стишковъ и брошюръ, но не посредствомъ газетъ, которыя были тогда самыя ничтожныя и содержали сухіе голые факты безъ всякихъ разсужденій. Необходимымъ дополненіемъ этой чисто политической литературѣ четырехлѣтняго сейма служилъ театръ; есть пьесы, неразлучныя съ воспоминаніемъ объ извѣстныхъ моментахъ великаго предсмертнаго усилія и характеризующія наилучшимъ образомъ данную ситуацію во всей ея полнотѣ. Таково „Возвращеніе Посла", трехъ-актная высоко-патріотическая комедія молодаго инфляндскаго сеймоваго посла Юліана-Урсина Нѣмцевича (родившагося 1754, адъютанта Косцюшки, потомъ его товарища по заключенію въ Петербургѣ, потомъ секретаря сената, послѣдняго предсѣдателя Общества любителей наукъ, умершаго эмигрантомъ въ Парижѣ 1841), писателя плодовитаго, благонамѣреннаго, но весьма посредственнаго. Пьеса эта, разыгранная впервые 15 января 1791 г. въ Варшавѣ, пріобрѣла громадную популярность, хотя крайне слаба по содержанію. Пьеса переноситъ насъ въ деревню, и представляетъ два помѣщичьи семейства: прогрессиста-патріота подкоморія и заскорузлаго въ шляхетскихъ предразсудкахъ старосту, вспоминающаго съ грустью о короляхъ Саксонцахъ, когда „человѣкъ ѣлъ, пилъ, ничего не дѣлалъ и полонъ у него былъ карманъ"; когда „безъ интриги и безъ малѣйшей измѣны одинъ посолъ могъ остановить сеймовое рѣшеніе, когда онъ держалъ въ рукахъ вѣсы отечества, сказалъ: не позволяю, да и удралъ на Прагу... а за свой поступокъ получилъ повышеніе, а иногда и нѣсколько деревень". Сынъ подкоморія — земскій посолъ на сеймѣ, весь занятый великими вопросами общественными, пріѣзжаетъ домой, пользуясь отсрочкою засѣданій, влюбляется въ дочь старосты, но мачиха ея, сентиментальная дама, сватаетъ ее за новомоднаго франта, который однако мѣтитъ на приданое и отказывается, когда узнаетъ, что приданаго нѣтъ, между тѣмъ какъ его безкорыстный соперникъ беретъ невѣсту безъ приданаго. Патріотическія мѣста въ этой пьесѣ приводили публику въ восторгъ, легкое и игривое остроуміе попадало въ цѣль, ретрограды оскорблялись и въ 1792 г. въ одномъ изъ универсаловъ тарговицкой конфедераціи Феликсъ Потоцкій намекалъ на Нѣмцевича словами: „вскорѣ гистріоны на театрахъ дерзнутъ осмѣивать прежнее правленіе и вѣ-

ковыя права народа". Другая пьеса подъ заглавіемъ „Чудо или Краковяки и горцы" связана столь же тѣсно съ повстаніемъ Косцюшки; она не содержитъ въ себѣ ничего политическаго, и есть смѣсь драмы, фарса и балета. Удачно предвосхищая любимые мотивы будущаго романтизма, она выводила на сцену живой простонародный элементъ въ его костюмахъ, съ его типическими поговорками и свадебными обрядами; она дѣлала это въ то самое время, когда мужикъ призывался къ оружію, образовались отряды косцевъ и когда народный вождь надѣвалъ бѣлую крестьянскую сермягу. Авторомъ пьесы были чрезвычайно популярный въ то время человѣкъ, имя котораго упомянуто выше, отставной офицеръ, потомъ актеръ и драматическій писатель Войтѣхъ Богуславскій (1760—1829), который послѣ паденія государства объѣзжалъ всѣ почти бывшія его области со своею труппою, а въ 1811 основалъ драматическую школу въ Варшавѣ и сдѣлался такимъ образомъ настоящимъ создателемъ сценическаго искусства въ Польшѣ и его преданій [1]). Наконецъ для завершенія обзора дѣятельности польской литературы XVIII в. отмѣтимъ чрезвычайное обиліе интереснѣйшихъ мемуаровъ, которыхъ списокъ постоянно увеличивается. Первое мѣсто между ними по богатству подробностей для характеристики нравовъ занимаютъ труды Андрея Китовича (1728—1804), бывшаго барскаго конфедерата, потомъ священника, человѣка бывалаго, юмориста и чудака, который съ пристрастіемъ и безъ критики порою сплетничая и утрируя, начертилъ однако самый живой образъ Рѣчи-Посполитой [2]).

Послѣ изображенія литературнаго движенія XVIII вѣка въ Польшѣ въ главныхъ ея проявленіяхъ до роковой катастрофы, положившей конецъ государству и пріостановившей на продолжительное время умственное развитіе общества, слѣдуетъ коснуться самой этой катастрофы съ тѣмъ, чтобы опредѣлить потомъ, насколько она повліяла на дальнѣйшія судьбы польской національности и въ особенности на польскую литературу, какъ на выраженіе самосознанія продолжающаго работать надъ неисчерпанными еще задачами народнаго бытія.

Вслѣдствіе политически зависимаго отъ сосѣдей положенія Польши, обновленіе ея и переустройство обусловливались не только внутреннею подготовкою, но и особенно благопріятными внѣшними обстоятельствами. Эта пора случилась, когда 1787 Россія занялась на продолжительное время войною съ Турціею, въ чемъ ей помогала Австрія, противъ обѣихъ державъ образовался союзъ англо-нидерландо-прусскій, и новый король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ предложилъ

[1]) Собраніе соч. Богуславскаго, большею частью переводныхъ, издано въ Варшавѣ Глюксбергомъ, 1820—1823, въ 12-ти томахъ.

[2]) Разныя сочиненія его изданы гр. Э. Рачинскимъ въ Познани, 1840—1845.

Польшѣ свою поддержку противъ Россіи. Всѣ такъ называемые патріоты рѣшились воспользоваться этимъ предложеніемъ. Представлявшійся случай былъ до такой степени заманчивъ, что партія патріотовъ успѣла привлечь на свою сторону, хотя не безъ труда и послѣ колебаній, партію монархистовъ и самого короля, который не былъ лишенъ ни благихъ намѣреній, ни послѣдовательности, ни желанія сообразоваться съ общественнымъ мнѣніемъ народа и который не имѣлъ только никакого героизма въ критическую минуту. Это сближеніе двухъ партій, рѣшавшее о будущемъ реформы совершилось въ продолженный чрезъ мѣру періодъ дѣятельности сейма, созваннаго въ октябрѣ 1788 г., съ тѣмъ, чтобы вотировать помощь Россіи въ турецкой войнѣ согласно Каневскому свиданію 1787, но начавшаго съ отмѣны Непрестаннаго Совѣта и пошедшаго на прусскій аліансъ, къ которому манилъ вкрадчивый итальянецъ, прусскій посолъ Луккезини (изображенный Красицкимъ въ видѣ органиста). На сторонѣ Россіи остались рѣдкіе консерваторы съ олигархами Ксаверіемъ Браницкимъ и Феликсомъ Потоцкимъ во главѣ. Эта партія ревнителей привилегій и „золотой свободы", не мыслимыхъ безъ внѣшней поддержки, не могла противиться прямо, но тормозила ходъ преобразованій, пользуясь всѣми конституціонными средствами для проволочекъ. Сеймъ затягивался и таялъ; чтобы продлить свое существованіе, сеймъ, 1790, рѣшилъ произвести новые выборы, съ тѣмъ, чтобы послы отъ этихъ новыхъ выборовъ усилили прежній составъ пословъ и чтобы изба пословъ засѣдала въ удвоенномъ составѣ. Основныя начала реформы уже были готовы, проектъ конституціи выработанъ. Онъ отмѣнялъ liberum veto и конфедерацію, дѣлалъ престолъ наслѣдственнымъ по смерти бездѣтнаго короля въ домѣ саксонскомъ, къ которому переходилъ тогда престолъ, власть законодательную вручалъ палатѣ пословъ, давалъ сенату только право передать законъ, принятый палатою пословъ, не утверждая его, на разсмотрѣніе слѣдующаго сейма. Властью исполнительною облеченъ былъ король купно со „стражею" или совѣтомъ министровъ. Министры были отвѣтственные; указы короля должны были быть скрѣпляемы министрами. Суды комплектовались по выборамъ. Представители городовъ допущены въ сеймъ по дѣламъ городовъ; города получили самоуправленіе, мѣщане привилегію: neminem captivabimus, и право покупать шляхетскія имѣнія, открытъ имъ притомъ широкій доступъ въ шляхетское сословіе. Крестьянству обѣщано покровительство законовъ и намѣченъ переходъ въ будущемъ къ оброчному положенію съ барщины и къ личной свободѣ. Обстоятельства заставляли торопиться, прусскій союзъ шатался, Пруссія мирилась съ Австріею и явно требовала въ смыслѣ вознагражденія за аліансъ отдачи себѣ Данцига и Торна. Тогда условленъ между королемъ съ вожаками патріотовъ въ величайшей тайнѣ пере-

воротъ 3 мая 1791 г.; въ одно 9-часовое засѣданіе готовый проектъ конституціи внесенъ на сеймъ, подвергнутъ обсужденію, принятъ и закрѣпленъ присягою короля и членовъ сейма. Событіе поражало своею неожиданностью и принято съ такимъ всеобщимъ сочувствіемъ, что оппозиція на первыхъ порахъ совсѣмъ замолкла и годъ цѣлый правительство польское имѣло свободу дѣйствія. Въ этотъ годъ оно не приготовилось, чтобы себя отстоять, не создало войска, ни казны; между тѣмъ тучи подходили грозныя: 6 января 1792 Россія заключила миръ съ Турціею, состоялись соглашенія дворовъ петербургскаго съ берлинскимъ и вѣнскимъ, а въ маѣ того же года русскія войска вступили въ Польшу и образовалась тарговицкая конфедерація противъ конституціи 3 мая, потребовавшая возстановленія стараго порядка при помощи Россіи. Сеймъ счелъ свою задачу конченною и разъѣхался, возложивъ всѣ полномочія на короля. Король по требованію Россіи сдался и, отрекаясь отъ конституціи, приступилъ къ тарговицкой конфедераціи. Въ концѣ 1793 г. послѣдовалъ второй раздѣлъ Польши на сеймѣ гродненскомъ, затѣмъ въ 1794 возстанье Косцюшки, взятіе Варшавы, и третій окончательный раздѣлъ трактатами 1795 года. Россіи досталась ея теперешняя западная полоса, кромѣ Царства Польскаго и Бѣлостокской области, по Нѣманъ и Западный Бугъ; нынѣшнимъ Царствомъ Польскимъ съ частью гродненской губерніи подѣлились Австрія и Пруссія, разграничившись Пилицою и Бугомъ; Варшава вошла въ составъ прусской части. Съ обществомъ польскимъ произошло то, что потомъ повторялось при каждомъ изъ послѣдующихъ крупныхъ повстаній, что верхній культурный слой былъ если не срѣзанъ, то по крайней мѣрѣ глубоко перепаханъ, политическіе дѣятели пали или томились въ ссылкѣ или бѣжали за границу и положили основаніе польской эмиграціи, имѣвшей значительное и не всегда полезное вліяніе на судьбы народности и литературы. Большая часть магнатовъ пристроилась къ дворамъ петербургскому, вѣнскому и берлинскому. Одинъ изъ умнѣйшихъ польскихъ патріотовъ по-раздѣльной эпохи и изъ вліятельнѣйшихъ ея писателей, Янъ Снядецкій выражаетъ слѣдующимъ образомъ настроеніе всѣхъ трезво мыслящихъ, разсудительныхъ современныхъ людей въ потерпѣвшемъ крушеніе обществѣ: „Потерявъ отечество, величайшее благо душъ благородныхъ и преданныхъ общимъ интересамъ, мы осуждены жестокимъ приговоромъ на уничтоженіе и подавленіе въ насъ самихъ движеній, порождаемыхъ въ насъ воспитаніемъ, привычкою и жаждою общественнаго блага, оживлявшими всѣ наши умственныя силы, способности и таланты. Нынѣ Полякъ долженъ пережить самого себя, создать въ себѣ иную душу и заключить свои чувства въ тѣсныхъ предѣлахъ личнаго бытія. Это предназначеніе жестоко, но оно — законъ ничѣмъ не преодолимой дѣйстви-

тельности, которому надо покориться. Употребимъ же плоды просвѣщенія на то, чтобы сдѣлать сносной жестоко удручающую насъ судьбу" [1]).—Люди, соединенные чувствомъ народности, потеряли свою обычную общественную среду и почувствовали себя въ совершенно чуждыхъ имъ стихіяхъ: не вдругъ стали они приспособляться къ новымъ средамъ и, привыкая группироваться, въ новыхъ сочетаніяхъ. На первыхъ порахъ произошла какъ бы нѣкоторая пріостановка въ органическихъ функціяхъ жизни, такъ что въ исторіи литературы образуется довольно большой перерывъ нѣчто въ родѣ сѣрой полосы, отдѣляющей моментъ политическаго упадка отъ начала литературнаго возрожденія. Въ этомъ промежуточномъ періодѣ факты литературные немногочислены и бѣдны, но въ европейскомъ мірѣ совершаются громадныя перемѣны, знаменовавшія революціонную и Наполеонову эпохи. Жизнь польскаго общества устраивается совершенно иначе въ каждой изъ разъединенныхъ послѣ 1795 г. частей бывшей Рѣчи-Посполитой. Подробное разсмотрѣніе этихъ разновидностей входитъ въ исторію государствъ, участвовавшихъ въ раздѣлѣ; на долю историка литературы приходится только намѣчать самыя общія черты быта отдѣльныхъ частей, насколько они отразились въ уцѣлѣвшемъ народномъ сознаніи и въ органѣ его—литературѣ.

В) Переходное время послѣ третьяго раздѣла.

Всего слабѣе мерцаетъ свѣточъ литературы въ сдѣлавшихся австрійскими областяхъ. Для Галиціи насталъ полувѣковой, считая съ 1772 года, періодъ глубокаго умственнаго сна, въ теченіи котораго производимъ былъ опытъ онѣмеченія населенія посредствомъ заѣзжихъ чиновниковъ и преподаванія въ школахъ на нѣмецкомъ языкѣ. Учрежденный во Львовѣ 1817 г. университетъ былъ по языку нѣмецкій. Знать галиційская отличалась своимъ отчужденіемъ отъ родного языка и обычая и воспитаніе получала салонное, французское [2]). Несравненно послѣдовательнѣе и систематичнѣе проводилась таже система онѣмеченія въ частяхъ, доставшихся Пруссіи, соединенная притомъ съ рядомъ правительственныхъ мѣръ для колонизаціи въ этихъ земляхъ Нѣмцевъ и замѣны польскаго землевладѣнія нѣмецкимъ. Польское общество чуждалось службы государственной. Учрежденъ лицей въ Варшавѣ, разрѣшено Общество Любителей Наукъ, долженствующее служитѣ для праздныхъ умовъ невиннымъ развлеченіемъ. Лучшіе остатки польскаго общества осѣдали въ Варшавѣ, но здѣсь же во флигелѣ королевскаго зàмка, въ такъ-называемомъ дворцѣ „подъ бляхою", запи-

---

[1]) Письмо 12 янв. 1804 г. въ книгѣ: «Listy Jana Sniadeckiego 1788—1830 z autografów». Poznań 1878.

[2]) Zawadzki, Literatura w Galicyi. Przewodn. nauk. i lit. 1877.

маемомъ княземъ Іосифомъ Понятовскимъ, племянникомъ бывшаго короля, кутила праздная молодежь изъ такъ-называемыхъ хватовъ (tężyzna), увлекаемыхъ примѣромъ храбраго солдата, который отличился вмѣстѣ съ Косцюшкою, и обреченъ былъ на недѣятельность, прежде чѣмъ открылась ему возможность сѣсть на коня и сражаться въ наполеоновскихъ войскахъ за честь родного имени (honor Polaków). Гораздо менѣе крупна была перемѣна, испытанная польскимъ обществомъ въ предѣлахъ Россіи. Въ планы правительства не входило изолированіе польскаго элемента, родного по крови и потому близкаго русскому несмотря на исторію. Къ Петербургу обращались взоры даже многихъ патріотовъ. Однимъ изъ приближенныхъ къ молодому государю Александру I людей былъ князь Адамъ Адамовичъ Чарторыскій, членъ государева комитета, министръ иностранныхъ дѣлъ съ 1803 по 1806 и попечитель виленскаго университета [1]), явный продолжатель традиціонной политики своего дома, мечтавшій о возстановленіи своего отечества подъ сѣнью русской державы. Государь не чуждался этой идеи, но, прежде чѣмъ явились условія для ея осуществленія, ее поднялъ и пустилъ въ ходъ для достиженія своихъ властолюбивыхъ замысловъ Наполеонъ, ознакомившійся съ нею вслѣдствіе того, что сначала подъ знаменами французской республики, а потомъ подъ его орлами сражались выходцы, надѣявшіеся не на востокъ, а на западъ и разсчитывавшіе на возстановленіе Польши посредствомъ европейскихъ переворотовъ, исходящихъ изъ Франціи, какъ изъ центра революціоннаго все-европейскаго движенія. Разгромивъ Пруссію подъ Іеною, Наполеонъ по тильзитскому трактату 1807 г. создалъ вольный городъ Данцигъ, Россіи передалъ Бѣлостокскую область, а изъ частей отъ Польши, инкорпорированныхъ Пруссіею по двумъ послѣднимъ раздѣламъ, образовалъ маленькое герцогство Варшавское, которымъ онъ надѣлилъ своего союзника, короля саксонскаго. Новое созданіе политики получило призрачную конституцію, войско, администрацію на подобіе французской, кодексъ Наполеона и личное освобожденіе крестьянъ; его назначеніе было доставлять для императора Французовъ наибольшее количество денегъ и солдатъ. Оно щекотало народное чувство самыми неопредѣленными обѣщаніями. Въ 1809 году герцогство сдѣлалось театромъ войны Франціи съ Австріею. Варшаву заняли австрійскія войска, между тѣмъ какъ польскія подъ кн. Іосифомъ Понятовскимъ завоевали западную Галицію, Краковъ, Люблинъ—пріобрѣтенія, которыя присоединены къ герцогству по вѣнскому миру 1809 г. Во время приготовленія къ памятному походу на Россію 1812 г., по волѣ Наполеона образована въ Варшавѣ генеральная конфедерація, поль-

[1]) Alexandre I et le prince Czartoryski, correspondance et conversations, avec une introduction de Ch. de Mazade. Paris, 1865.

ская и литовская, во главѣ которой поставленъ недавно бывшій австрійскимъ фельдцейхмейстеромъ Адамъ Чарторыскій-отецъ, между тѣмъ, какъ сынъ его, Адамъ, поставленный въ неловкое положеніе, просилъ у Александра I увольненія отъ службы, котораго однако не получилъ. Россія восторжествовала. Участіе Поляковъ въ походѣ Наполеона не вызвало репрессалій, но не могло не поселить непріязненныхъ чувствъ въ русскомъ народѣ. Императоръ Александръ еще болѣе укрѣпился въ своихъ намѣреніяхъ быть возстановителемъ Польши, но намѣренія эти встрѣтили препятствіе, какъ въ европейской дипломатіи на вѣнскомъ конгрессѣ, не допустившей собрать всѣ части бывшей Польши подъ русскою державою, такъ и въ чувствахъ русскихъ патріотовъ, не допускавшихъ, чтобы возстановленіе могло коснуться вошедшихъ въ составъ Россіи въ 1795 г. областей („ни пяди земли ни врагу ни другу“ — слова записки Карамзина 18 октября 1819). Результатомъ этой сложной ситуаціи были: возвращеніе Пруссіи — одной части герцогства Варшавскаго, Австріи—части Галиціи, учрежденіе вольнаго города Кракова, образованіе конгрессоваго Царства Польскаго съ дву-палатнымъ сеймомъ, по необходимости удаленнаго отъ своего государя и сносящагося съ нимъ чрезъ намѣстника. Все это искусственное построеніе было непрочное и шаткое; оно покоилось на зыбкой почвѣ непримиренныхъ и смутно ощущаемыхъ національныхъ антагонизмовъ и недовѣрій; оно способствовало поддержанію неопредѣленныхъ надеждъ въ умахъ на что-то еще бо́льшее въ будущемъ, соединяло въ одной рукѣ два режима: самодержавный и конституціонный, изъ которыхъ послѣдній неминуемо долженъ былъ уступить первому при столкновеніи національныхъ интересовъ и при общемъ духѣ реакціи, вѣявшемъ въ Европѣ послѣ наполеоновскихъ войнъ. Хотя конституція была роковымъ даромъ и, по всей вѣроятности, судя по далекимъ послѣдствіямъ, предпочтительнѣе ей была бы провинціальная автономія съ политическою инкорпораціею бывшаго герцогства Россіею, тѣмъ не менѣе на первыхъ порахъ она привѣтствуема была съ всеобщимъ восторгомъ. Настала минута наслажденія настоящимъ, пользованія благами мира послѣ стольких невзгодъ, появилось стремленіе къ умственному развитію; преобразованы школы, устроенъ 7 ноября 1816 г. варшавскій Александровскій Университетъ. Замѣчается еще одна, совершенно новая черта: забота о сближеніи и общеніи съ восточными единоплеменниками на почвѣ славянской идеи [1]). Неожиданно появляются по этой части замѣчательныя работы. Торнскій уроженецъ, Нѣмецъ по происхожденію, Сам. Бог. Линде (1771—1847) директоръ варшавскаго лицея, издалъ въ шести томахъ (1807—1814)

———

[1]) Первольфъ, въ вышеуказанной статьѣ.

польскій словарь, въ которомъ сравнилъ польскій языкъ лексикографически съ другими славянскими и пояснилъ слова примѣрами изъ писателей. Адамъ Чарноцкій, болѣе извѣстный подъ именемъ Зоріана-Долэнги Ходаковскаго (1784—1825) предпринималъ свои странствованія по славянскимъ землямъ съ цѣлью открыть и изъяснить бытъ племени до-историческій. Игнатій Раковецкій изслѣдовалъ Русскую Правду (Варшава, 1820). Наконецъ, готовилъ свой обширный трудъ по части сравнительной исторіи славянскихъ законодательствъ, послѣдній изъ оставшихся еще въ живыхъ ученыхъ славистовъ того времени Александръ-Вацлавъ Мацѣевскій (род. 1793; первое изданіе этой исторіи въ четырехъ томахъ 1832—1835; 2-е изд. въ шести т. 1856—1865).

Въ области поэзіи представителемъ этого славянофильствующаго направленія, которое недолго длилось и исчезло почти безслѣдно, было выдающееся во всѣхъ отношеніяхъ лицо, недостаточно съ этой стороны оцѣненное—Янъ-Павелъ Вороничъ (1757—1829). Этотъ волынецъ родомъ, варшавскій каноникъ, потомъ въ 1816—1827 епископъ краковскій, наконецъ, съ 1827, примасъ-епископъ варшавскій, имѣлъ даръ слова увлекательный, напоминающій Скаргу. Онъ имѣлъ подобно Скаргѣ случай проповѣдывать если не по поводу великихъ событій, то по крайней мѣрѣ у великихъ могилъ: по случаю торжественныхъ похоронъ Іосифа Понятовскаго 1817 и Косцюшки 1818 въ Краковѣ, по случаю смерти Адама Чарторыскаго отца (1823), императора Александра. Какъ поэтъ, Вороничъ идетъ по той стезѣ, по которой не въ дальнемъ за нимъ разстояніи пойдетъ и романтическая поэзія, но послѣдуетъ также и Янъ Колларъ съ его „Дочерью Славы“ (Slavy Dcera, 1821). Въ его поэзіи легко прослѣдить, какъ его горячій національный патріотизмъ пробуетъ обобщиться и пытается перейти въ панславянскій. Грянулъ громъ, сбылись пророчества о паденіи, раздававшіяся начиная со Скарги, мѣсто злобной бичующей сатиры заняли чувства безпредѣльной печали, плачъ Іереміи на развалинахъ Іерусалима. Поэтъ не можетъ забыть потоковъ крови, людей, умирающихъ на Мацѣёвицкомъ побоищѣ, бойца, который съ обломкомъ косы бросался съ высоты Вавеля на враговъ и того развѣнчаннаго короля, „колеблющагося, разный видъ имѣющаго съ разныхъ сторонъ, всѣмъ добраго, себѣ одному вредящаго, котораго уводятъ на чужбину въ плѣненіе, а за нимъ перевязанную челядь“ [1]). „Куда мы дѣнемся, заблудшія сироты, какъ пчёлы безъ матери, изгнанныя изъ улья, лишенные значенія, естества, языка, имени? Какая же земля примешь меня скитальца и дашь мнѣ сладкое имя сына твоего и гражданина? Тщетно каждая

[1]) Sybilla, pieśń III.

изъ васъ будетъ меня прельщать подобною надеждою,—я тебѣ буду пасынокъ, а ты мнѣ мачиха. Помѣсти меня между твоими сатрапами, мнѣ это ни почемъ, если я долженъ перестать быть Полякомъ. Не пламенѣлъ тотъ небеснымъ огнемъ любви къ отчизнѣ и не былъ вскормленъ ея доблесть вливающею грудью, кто охотно мирится съ новымъ бытомъ на ея могилѣ. На что́ мнѣ тотъ воздухъ, которымъ дышу въ плѣненіи? И тотъ свѣтъ, который освѣщаетъ мою бѣдственную участь“ [1]). Скорбь наводитъ на размышленія, подымаются этическіе вопросы, которые будутъ неотвязчиво тревожить все послѣдующее поколѣніе пѣвцовъ: страданіе за что? по какой причинѣ и по чьей винѣ? Ни Вороничъ, ни послѣдовавшее за нимъ поколѣніе рѣшить этихъ вопросовъ не могли, никто еще не прослѣдилъ этой исторіи до ея корней, а зналъ ее по послѣдней катастрофѣ и по великолѣпному, по запоздалому усилію, котораго вѣнцомъ были работы четырехлѣтняго сейма. Поэтъ описываетъ съ энтузіазмомъ, какъ заперты были „ржавыя врата безкоролевья“ какъ воскресаютъ попранные старые законы и возникаютъ новые, кованные молотомъ рѣдкаго согласія, какъ братаются и обнимаются не знавшія другъ друга дѣти одной матери [2]). При невозможности открыть внутреннюю причину паденія, Вороничъ выводитъ ее изъ совокупности внѣшнихъ обстоятельствъ; онъ плетъ громовое проклятіе „драконову роду“ измѣнниковъ, наемнымъ служителямъ политики иноземной, онъ уязвляетъ самолюбивый Альбіонъ за его безсердечіе [3]), но главную вину онъ относитъ почти цѣликомъ на Нѣмцевъ, на преемницу ордена—Пруссію. Онъ не можетъ забыть Кимврамъ и Германцамъ истребленныхъ славныхъ побратимовъ Гавеловъ, Лютиковъ, Оботритовъ. Сигизмунду I онъ не прощаетъ отдачи Пруссіи въ ленъ племяннику [4]); онъ больше всего винитъ сѣверо-германскую державу за коварный союзъ, за то, что она „съ сладкимъ видомъ хвалитъ созданіе, братается съ его творцами, одною рукою подписываетъ альянсъ, а другою обнажаетъ скрытый кинжалъ, и придавивъ пружину мѣтитъ въ сердце, гордясь ловкостью, съ которою умѣла внушить къ себѣ довѣріе“ [5]). Объясненія эти недостаточны, выводъ не

---

[1]) Sybilla, pieśń IV.

[2]) Wszystko razem zakwita, wszystko zazielenia...
I prawa podeptane z pleśni wydobywa
I nowe rzadkiej zgody młotem przekowywa.
Na ich głos pękły dumne bratodzielcze wały
Nieznane jednej matki dzieci się poznały
I z czułém rozrzewnienem wzajem się ściskają,
Wzajem się kochać, wspierać, bronić przysięgają. (Sybilla, III).

[3]) Powiedz tym samolubcom, tym wyspiarzom hardym
Na jęk cierpiących ludòw nieczułym i twardym,
Że już niema tej ziemi, której chlebem żyli,
Której lasem żeglowne nawy swe pławili (Sybilla, IV).

[4]) Czy ten lennik twym wnukom gorzko nie odsłuży.

[5]) Sybilla, III.

полонъ, фактъ паденія не мотивированъ; умъ поэта успокоивается, соединяя этотъ неразрѣшенный вопросъ въ одну цѣпь съ двумя великими тайнами: тайною прошедшаго и тайною будущаго; какъ это прошедшее, такъ и будущее—общеславянскія. Слѣдуя за баснословнымъ выводомъ всѣхъ Славянъ или Сарматовъ отъ библейскаго праправнука Симова Сармоѳа или Ассармота (Кн. Бытія, X), Воронинъ задумалъ изобразить судьбы славянщины и польскаго народа въ цѣломъ циклѣ эпическихъ сказаній, образующихъ одну книгу пѣсней (pieśnioksiąg). Замыселъ этотъ не выполненъ, остались одни отрывки: *Ассармотъ*, патріархъ сарматскихъ народовъ, благословляющій, пророчествуя, грядущія племена (писано 1805); *Лехъ*, мистическій основатель польскаго государства (1807); наконецъ *Вислицкій Сеймъ*. Съ этими отрывками въ непосредственной связи единственная изъ законченныхъ его историческихъ поэмъ: *Сивилла*, въ 4 пѣсняхъ. Праотцы представляются въ чудномъ сіяніи. Еще въ землѣ Сеннаарской Ассармотъ, отказывая имъ сѣверныя страны, даетъ слѣдующій завѣтъ: „когда несмѣтны будучи какъ звѣзды, а соединены сердцами и языкомъ, вы застроите окраину двухъ міровъ (Европы и Азіи), блюдите по наслѣдству послѣ меня слѣдующій вѣчный законъ: вашей стихіей да будетъ добродѣтель, а ремесломъ слава“ [1]). Пришелецъ Лехъ садится между сѣверными Славянами не какъ завоеватель, а какъ братъ: „мы кость отъ костей отцовъ нашихъ, мы одинъ родъ, вездѣ мы однимъ духомъ дышемъ“ [2]). Если бы Славяне захотѣли соединиться, то они весь міръ бы разнесли [3]). Но братья вставали другъ на друга и ссорились. Поэтъ внушаетъ Сигизмунду III: „сглаживая недовѣріе узломъ вѣчнаго согласія, соедини два родственные славянскіе народа“ [4]).

Совѣтъ не исполненъ, но неосуществившееся донынѣ осуществится въ будущемъ. Настоящее есть только промежуточная ступень къ этому будущему, моментъ испытанія. Плачъ малодушныхъ и ропотъ маловѣровъ заглушены громовымъ голосомъ божества: „о вы, жалкая смѣсь величія и ничтожества, до какихъ поръ, не вѣдая вашего назначенія, будете предпочитать сновать изъ нея паутинную пряжу жалобъ, вмѣсто того, чтобы вникнуть въ прочную основу вашего естества... Если на отца вашего и правителя (Бога) не падаетъ вина, то между вами

---

[1]) Gdy więc jak gwiazdy niepoliczeni
Sercem, językiem z sobą spojeni
Krawędź dwóch swiatów zabudujecie...
Te odemnie w dziedzictwie macie wieczne prawa:
Cnota waszym żywiołem a rzemiosłem sława.

[2]) Kość z kości ojców naszych, ród jeden składamy
I jednym wszędzie duchem oddychamy.

[3]) Złączcie się z sobą, a świat roztrącicie.

[4]) Tak zgładzając nieufność węzłem wiecznej zgody,
Połącz te dwa pokrewne słowiańskie narody. (Sybilla, II).

должны быть всему источникъ и причина... Человѣчествуп редстоитъ преобразиться; новый фениксъ, можетъ быть, возникнетъ изъ вашего пепла. Коль скоро вы соединитесь новымъ завѣтомъ (съ Богомъ) и заслужите за то, чтобы ваша слава воскресла, не поглотитъ вашего рода эта могила: Троя на то погибла, чтобы отъ нея Римъ родился“ [1]). Эти прорицанія поражаютъ чѣмъ-то совершенно новымъ. Энергическое сознаніе жизни пробуждается посреди смерти въ разлагающейся массѣ, притомъ оно соединено съ поразительно трезвымъ пониманіемъ того, что новое бытіе не есть продолженіе стараго и его возстановленіе, но полнѣйшая его метаморфоза. „Частицы прошлаго копошатся въ развалинахъ и повидимому возрождаются въ невѣдомыхъ растеніяхъ“. Но это чувство, свѣжее и новое, не находитъ у Воронича подходящаго выраженія; оно отливается въ старыя и изношенныя формы. Кое-что,— и притомъ самое лучшее,—онъ заимствовалъ отъ ветхозавѣтныхъ пророковъ; это религіозное чувство библейское было новостью послѣ философовъ XVIII вѣка; ему обязаны произведенія Воронича, которыхъ онъ при жизни не издавалъ, быстрымъ распространеніемъ въ рукописяхъ [2]). Во всемъ остальномъ онъ классикъ, любящій, подобно Нарушевичу, употреблять вычурныя слова, выводить фурій, наядъ и всѣ божества Олимпа. Самая поэма „Сивилла“ есть не что иное, какъ по примѣрамъ Делиля и Трембецкаго описаніе дворца и сада Пулавъ, и въ Пулавахъ храма Сивиллы, воздвигнутаго на подобіе храма въ Тиволи, и другихъ зданій, гдѣ хранились, какъ въ музеѣ, собранные Чарторыскими памятники польской старины.

Превратившіяся въ непреложный канонъ формы давили содержаніе. Формы эти были псевдо-классическія, литература польская подражала французской, а французская въ свою очередь была слабымъ подражаніемъ древнимъ образцамъ и не обновлялась ихъ непосредственнымъ созерцаніемъ и изученіемъ, которое помогло образоваться Кохановскому, а въ новѣйшее время Лессингу, Гёте и Шиллеру. Литераторы того времени,—большею частью разсудительные, систематическіе люди, притомъ горячіе патріоты, лишенные возможности устраивать государство,—обратились всецѣло на устраиваніе области прекраснаго, которую стали обдѣлывать и превращать въ садъ, на подобіе версальскаго съ цвѣтниками и клумбами, съ прямыми аллеями, соблюдая законъ дѣленія труда и дисциплину политическихъ партій и заводя строгіе полицейскіе порядки, не допускающіе никакихъ самовольныхъ

[1]) O złepki skazitelne wielkości i nędzy,
Pókiż waszych przeznaczeń nieswiadomi przędzy
Wolicie z niej pajęcze pasmo skarg układać,
Niż się o stały wątek jestestw waszych badać, etc. (Sybilla, IV)

[2]) Первое изданіе въ Краковѣ, 1832 г., въ 2 томахъ. Особенною славою пользовался *Hymn do Boga*.

уклоненій отъ правилъ искусства, разъ на всегда преподанныхъ Аристотелемъ и Буало, Гораціемъ и Лагарпомъ. Работа была коллективная. Общество любителей наукъ, котораго первымъ председателемъ былъ историкъ-компиляторъ, епископъ Альбертранди (1731—1808), вторымъ—Сташицъ, третьимъ и послѣднимъ—Нѣмцевичъ, поставило себѣ задачею не оставить впустѣ въ этомъ саду ни одного уголка и озаботиться, чтобы каждый родъ литературы имѣлъ своего представителя: одни компилировали исторію, другіе воздѣлывали эпосъ, драму или романъ. Нѣмцевичъ сочинялъ лишенныя всякой правды и таланта „Пѣсни историческія" (Spiewy historyczne, 1816); Каэтанъ Козьмянъ (1771—1856) воспроизводилъ виргиліевы Георгики въ поэмѣ *Ziemianstwo polskie* (1830, Puławy) и писалъ эпопею *Стефанъ Чарнецкій*, которая появилась въ печати не только послѣ смерти автора, но и послѣ эпохи романтизма (Poznań, 1858). Расплодилось много романовъ сантиментальныхъ, тенденціозныхъ (Lejbe i Siora 1821, Нѣмцевича), псевдо-историческихъ и вальтер-скоттовскихъ (Pojata, 1826, Бернатовича). Большинство стихослагателей покушалось на самыя трудныя по роду творчества задачи и упражнялось въ сочиненіи полированнымъ слогомъ высокопарныхъ одъ и трагедій въ духѣ Расина, которыя при строгомъ соблюденіи условныхъ приличій и трехъ единствъ: времени, мѣста и дѣйствія, лишены были всякаго историческаго колорита и имѣли цѣлью не изображеніе настоящихъ характеровъ и живыхъ личностей, но борьбу чувствъ и столкновенія отдѣльныхъ страстей въ идеальномъ человѣкѣ, разсматриваемомъ внѣ времени и мѣста. Въ этомъ родѣ отличились генералъ Людвигъ Кропинскій (1767—1844; „Людгарда"), Францискъ Венжикъ (1785 — 1862) и въ особенности директоръ кременецкаго лицея Алоисій Фелинскій (1771 — 1820), написавшій трагедію „Барбара Радзивиллъ", которая при появленіи своемъ принята была съ неописаннымъ восторгомъ. Историческаго въ этомъ произведеніи ничего нѣтъ, кромѣ именъ дѣйствующихъ лицъ: Сигизмунда-Августа, Барбары, Боны Сфорцы, Тарновскаго; никакой заботы не приложено объ историческихъ характерахъ, замѣтно полное непониманіе учрежденій. Но въ немъ есть бездна патетическихъ фразъ, удачныхъ выраженій, заключающихъ въ себѣ ряды умствованій въ нѣсколькихъ словахъ; оно пересыпано, по образцу Альфіери, множествомъ намековъ, затрогивающихъ задушевныя мысли тогдашняго общества о любви къ отечеству, объ обязанностяхъ монарха, о крамолахъ и высокомѣріи магнатовъ. Современники не были требовательны; немногими стихами, съ чисто внѣшними достоинствами, можно было угодить въ геніи, слѣдовало только соблюдать правила, не быть новаторомъ. Разумѣется, что творчество было въ загонѣ, всплывали однѣ посредственности, и высшія почетнѣйшія мѣста занимали не настоящіе поэты, а

критики и рецензенты. Чтобы быть причисленнымъ къ лику записныхъ цѣнителей искусства, не требовалось глубокихъ и разностороннихъ познаній, ни методовъ науки, достаточно было имѣть апломбъ, быть пріятнымъ собесѣдникомъ въ варшавскихъ салонахъ, имѣть звучную и эффектную дикцію. Литература образовала нѣчто въ родѣ общества взаимнаго поклоненія; въ этомъ союзѣ едвали не самымъ бо̀льшимъ авторитетомъ пользовался профессоръ польской словесности въ Варшавскомъ университетѣ, зять Богуславскаго и директоръ послѣ него съ 1814 польскаго театра, Людвигъ Осинскій (1775 — 1838). Прибавимъ для полноты картины, что страсть къ писательству была весьма распространена, что заслуги литературныя смѣшивались съ гражданскими; наконецъ, что при отсутствіи критическаго духа и положительныхъ знаній, вся эта варшавская литература сдѣлалась крайне отсталою. Бросая ей перчатку въ 1828 г. Мицкевичъ (въ статьѣ: o krytykach i recenzentach warszawskich) имѣлъ полное основаніе, цитируя Байрона, сказать, что спорить съ кѣмъ-либо изъ признанныхъ варшавскихъ критиковъ (напр. съ Фр. С. Дмоховскимъ) значитъ тоже самое, что разсуждать въ Ая-Софіи о безсмыслицахъ въ коранѣ, полагаясь на просвѣщеніе и вѣротерпимость улемовъ.

Гораздо благопріятнѣе складывались условія умственной жизни въ русскихъ западныхъ и юго-западныхъ, пріобрѣтенныхъ отъ Польши, областяхъ имперіи. Хотя наносный пластъ французской культуры и манеръ былъ здѣсь, повидимому, тоньше и не сгладилъ типическихъ особенностей старо-шляхетскаго польскаго быта на не-польскомъ корню, но лучшимъ людямъ, уцѣлѣвшимъ послѣ погрома, удалось въ предѣлахъ Россіи взять въ свою руку школы, образовать университетъ и университетскій округъ, привить къ учебному дѣлу всѣ организаціонныя идеи и пріемы эдукаціонной коммиссіи и внести въ школу, а чрезъ нее и въ общество широту взглядовъ и духъ научнаго изслѣдованія, которыхъ недоставало обществу въ Царствѣ Польскомъ. Во главѣ этихъ дѣятелей стоитъ самый великій изъ людей переходной эпохи, Янъ Снядецкій, втройнѣ знаменитый, какъ организаторъ, профессоръ и литераторъ. По важному вліянію этого лица на послѣдующія поколѣнія, на немъ необходимо остановиться [1]). Братья Снядецкіе Янъ (1756 — 1830) и Андрей (1768 — 1838), оба профессоры, оба естествоиспытатели, были велико-польскіе уроженцы. Янъ былъ астрономъ, получилъ воспитаніе въ школѣ Любранскаго, въ Познани, учился потомъ въ Краковскомъ университетѣ, гдѣ и былъ замѣченъ визитаторомъ Колонтаемъ, послѣ чего отправленъ эдукаціонною коммис-

[1]) M. Baliński, Pamiętniki o Janie Sniadeckim, Wilno, 1865, 2 тома; Maur. Straszewski, Jan Sniadecki jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce.

сіею для усовершенствованія (1778—1781) въ Гёттингенъ и въ Парижъ. Съ Нѣмцами Снядецкій не сошелся, готовящагося великаго художественнаго и философскаго движенія не замѣтилъ [1]) и вынесъ убѣжденіе, что отъ нихъ нечего заимствовать; но онъ подружился съ Лапласомъ, д'Аламберомъ, Кондорсе, проникся вполнѣ началами и усвоилъ себѣ пріемы той опытной философіи, которой родоначальниками были итальянцы и Бэконъ, а послѣдователями, послѣ и чрезъ Ньютона и Локке, французскіе энциклопедисты. „Знать, выражался Снядецкій въ 1781, значитъ обнимать въ одномъ созерцаніи тончайшія и разнороднѣйшія отношенія и подробности, слѣдить запутаннѣйшія истины, чтобы овладѣть цѣлымъ и вывести изъ нихъ точныя и очевидныя начала". Снядецкій никогда не былъ чистымъ сенсуалистомъ, онъ не допускалъ правда апріорныхъ готовыхъ формъ мышленія, но онъ думалъ, что хотя источникъ знанія данъ природою, но разумъ отрываетъ и отвлекаетъ какое-нибудь качество, разлитое по всей природѣ (напр. величину) и, оперируя надъ нею, доходитъ до дальнѣйшихъ результатовъ и сочетаній, которыхъ онъ самъ есть создатель. Имѣя умъ живой и въ полномъ смыслѣ слова философскій, сильно и быстро обобщающій, Снядецкій вѣрилъ въ знаніе; его занималъ методъ изслѣдованія едвали не столько же, сколько и результаты; стремился онъ въ наукѣ къ совершенно ясному, точному, но чувствовалъ себя въ своей стихіи гораздо больше тогда, когда пускался мыслью въ ширь явленій великой природы, нежели когда останавливался надъ бездонною глубью области законовъ человѣческаго ума. По этой части Снядецкій не былъ самостоятеленъ. Предохраняя себя отъ скептицизма и матеріализма, онъ цѣплялся за шотландскую философію здраваго смысла Рида (Reid) [2]). Кромѣ этой поддержки была еще и другая—религія. Снядецкій и самъ былъ религіозенъ и жилъ онъ въ эпоху, когда среди величайшаго народнаго крушенія сердца инстинктивно прилѣплялись къ тому, что̀ всего прочнѣе, къ вѣрѣ въ нравственный порядокъ, къ религіи со стороны ея не догматической, которая мало и обращала на себя его вниманія, а съ чисто практической, какъ якорь, на которомъ утверждается весь общественный строй и нравственный порядокъ. Настоящее призваніе Снядецкаго была очевидно каѳедра, которую онъ и занялъ въ Краковѣ, но его отъ науки постоянно отрывали событія. Надо было по дѣламъ университета хлопотать въ Варшавѣ. Надо было ѣхать на Гродненскій сеймъ, дѣйствовать съ изворотливостью дипломата, спасая имѣнія и капиталы университета отъ расхищенія, такъ какъ ими

---

[1]) Лессингъ, Гердеръ были уже тогда въ полной силѣ и славѣ. Кантъ профессорствовалъ съ 1771, Гёте издалъ Гёца 1773 и Вертера 1774 г.

[2]) Съ этой философіей Снядецкій познакомился въ 1787, когда онъ ѣздилъ въ Англію работать съ Гершелемъ.

хотѣли подѣлиться вожди тарговичанъ [1]). Астронома стащили потомъ съ обсерваторіи, когда въ Краковѣ учинилъ повстанье Костюшко; его заставили набирать и продовольствовать солдатъ. Снядецкій вышелъ въ отставку, путешествовалъ туристомъ по Европѣ 1803—1805, изучилъ некрасивое общество временъ имперіи, въ которомъ,—говоритъ онъ,— „салоны есть, но только шулерскіе, выиграли же отъ переворотовъ одни мужики да ученые, превратившіеся въ пресмыкающихся льстецовъ". Почитатели Снядецкаго манили его въ Вильно; уступая Колонтаю, Чацкому, Адаму Чарторыскому-отцу, Снядецкій принялъ сдѣланное ему съ согласія министра Завадовскаго виленскимъ попечителемъ Адамомъ Чарторыскимъ-сыномъ предложеніе и поступилъ въ 1806 г. по контракту на мѣсто астронома, вакантное послѣ Почобута. По прибытіи въ Вильно его выбрали (1807) тотчасъ въ ректоры; должность эту онъ занималъ до 1815 г. при самыхъ трудныхъ и внезапно измѣняющихся условіяхъ, такъ какъ ему пришлось въ апрѣлѣ 1812 представляться съ ученымъ сословіемъ императору Александру, въ іюнѣ Наполеону, участвовать для охраненія университета отъ грабежа въ составѣ временнаго правительства въ занятыхъ Французами областяхъ, а вскорѣ потомъ опять привѣтствовать императора Александра. Чтобы понять дѣятельность Снядецкаго какъ ректора, необходимо принять въ соображеніе, чѣмъ былъ этотъ университетъ въ первыхъ годахъ XIX вѣка. Іезуитская академія, секуляризованная при Понятовскомъ и обновленная въ своемъ составѣ подъ вѣдѣніемъ эдукаціонной коммиссіи неутомимыми трудами Почобута, подверглась большой опасности при императорѣ Павлѣ попасть опять въ руки Іисусова общества [2]). Генералъ ордена Груберъ уже распоряжался академіею, но по вступленіи на престолъ Александра планы его рушились; вызванный въ Петербургъ ректоръ піаристъ Іеронимъ Стройновскій достигъ того, что по уставу 18 мая 1803 за университетомъ осталась прежняя его организація, послужившая образцомъ и для другихъ университетскихъ уставовъ 1803 и 1804 годовъ. Университетъ былъ и высшимъ учебнымъ заведеніемъ, и центромъ управленія школами округа и сословіемъ ученыхъ въ родѣ академіи наукъ, дававшимъ направленіе умственной дѣятельности общественной. Какъ учебному заведенію, ему предстояло, при несуществованіи вовсе въ то время національнаго русскаго университетскаго преподаванія, быть по преподаванію или нѣмецкимъ или польскимъ учебнымъ заведеніемъ. Стройновскій тащилъ за собою Нѣмцевъ, Снядецкій предвидѣлъ (Pamiętniki, 1,358), что отъ этой нѣмецкой колоніи, хотя бы она вмѣщала и знаменитыхъ людей, проку не будетъ: они будутъ писать

---

[1]) Къ этой эпохѣ относятся главнымъ образомъ Listy Sniadeckiego, изданные 1878 въ Познани Крашевскимъ.

[2]) Мих. Морошкинъ, Іезуиты въ Россіи. Петербургъ, 1862. Т. I, стр. 450.

мудрыя книжки, но для страны не пригодныя, въ интересѣ тщеславія; а не образованія. Преподаванie и по языку и по духу было польское, но слѣдуетъ замѣтить, что между національностями еще не было той розни и той подозрительности, которыя выросли въ послѣдующіе пол-вѣка [1]), и что между образованными людьми обѣихъ націй существовало общеніе, продлившееся до временъ пребыванія Мицкевича въ Петербургѣ и Москвѣ. Виленскій округъ былъ громадный, онъ вмѣщалъ въ себѣ губерніи западныя, юго-западныя и бѣлорусскія. Университетъ назначалъ директоровъ училищъ, обозрѣвалъ училища посредствомъ визитаторовъ, и подчинилъ себѣ всѣ духовныя орденскія училища, кромѣ іезуитскихъ. Стараніями гр. Жозефа де-Мэстра іезуиты выхлопотали себѣ независимую академію въ Полоцкѣ. Однимъ изъ такихъ университетскихъ визитаторовъ былъ знаменитый ученый Феликсъ Чацкій (1765—1813), который на добровольныя пожертвованія дворянства юго-западныхъ губерній основалъ, 1805, волынскую гимназію въ Кременцѣ, преобразованную потомъ въ Кременецкій лицей. Этотъ лицей Чацкій силился поставить на одной ногѣ съ университетомъ,— затѣя, которая подвергла сильному испытанію старую дружбу его со Снядецкимъ, не сочувствовавшимъ этой идеѣ. Событія 1812 г. хотя не лишили Снядецкаго довѣрія государя [2]), но повліяли на его отношенія къ министерству народ. просв., которому враги Снядецкаго, нѣмецкіе профессора, убѣжавшіе передъ Французами въ Петербургъ (Boianus, Lobenwein), бросили тѣнь подозрѣнія на образъ дѣйствія Снядецкаго. Въ 1815 году онъ оставилъ постъ ректора, и съ тѣхъ поръ доживалъ послѣдніе ясные дни старости, занимаясь только наукою, литературою и являясь на торжественныхъ актахъ записнымъ ораторомъ по какимъ-нибудь отвлеченнымъ, но общимъ и важнымъ современнымъ вопросамъ: о методахъ науки, о философіи, о религіи. Каждая фраза въ этихъ рѣчахъ отточена, слогъ важный, слегка напыщенный; для соображенія нынѣ впечатлѣнія этихъ рѣчей на слушателей слѣдуетъ вспомнить, что онѣ произносились въ нѣсколько театральной обстановкѣ, въ áулѣ, расписанной фресками Смуглевича (нынѣ музей въ стѣнахъ зданія церкви Св. Іоанна), профессора сидѣли въ красныхъ тогахъ, передъ ректоромъ лежалъ серебряный скипетръ—даръ университету Баторія. Въ этихъ рѣчахъ и въ послѣднихъ сочиненіяхъ Снядецкій отнесся отрицательно къ двумъ великимъ новымъ явленіямъ умственной жизни, которыхъ и оцѣнить не могъ: къ нѣмецкому идеализму и къ нарождаю-

---

[1]) Pamiętniki, т. 2, стр. 258. Письмо министра н. пр. гр. Завадовскаго къ Снядецкому 1807 г.: „я, какъ и вы, имѣю удовольствіе изъясняться на моемъ родномъ языкѣ, который столько сходенъ съ польскимъ, что Россіянину не трудно понимать Поляка, а сему Россіянина“.

[2]) Pamiętniki, t. 2. J'ai du plaisir à vous voir, M. Sniadecki,—слова императора Александра при представленіи ему Снядецкаго.

щемуся романтизму. За эти два похода онъ прослылъ у слѣдующаго поколѣнія не только педантомъ, но чуть ли не обскурантомъ, между тѣмъ какъ новѣйшіе писатели-позитивисты производятъ Снядецкаго чуть ли не въ предтечи Огюста Конта и позитивизма. Какъ тѣ, такъ и другія сужденія крайне несправедливы. Легко понять, что Снядецкій никакъ не могъ отнестись иначе къ двумъ новымъ направленіямъ движенія и долженъ былъ стать поперегъ имъ сознательно, хотя и неудачно. Снядецкій, раціоналистъ и опытный естествоиспытатель, не только не вдавался въ изученіе тѣхъ процессовъ въ умѣ, посредствомъ которыхъ ощущенія претворяются въ понятія, но считалъ подъ конецъ этого рода изслѣдованія столь же тщетною работою, какъ недоступное для науки постиженіе первыхъ причинъ. А между тѣмъ явилась философія, которая вся ушла въ критическое изученіе формъ и апріорныхъ началъ мышленія: лекціи Канта посѣщали въ Кенигсбергѣ Поляки, Фихте пробылъ нѣкоторое время въ Варшавѣ, а въ средѣ ученаго сословія въ Вильнѣ сильнымъ вліяніемъ пользовался Эрнестъ Гроддекъ, профессоръ древней филологіи и кантіанецъ. Молодые люди стали бредить метафизикой и вмѣстѣ съ тѣмъ романтикой, потому что была неразрывная связь между этими двумя явленіями, какъ есть такая же связь между эмпирическимъ раціонализмомъ и псевдо-классическою литературою эпохи париковъ. Философское мышленіе и искусство рвались къ неизвѣданному, неясныя великія идеи искали формы. Снядецкій оскорбленъ былъ какъ философъ-любитель однихъ только ясныхъ понятій, удивленный, что въ XIX вѣкѣ нашлись умы XIV-го, смѣшивающіе темное съ мудрымъ; слабыя стороны Канта онъ ловко подмѣтилъ, но сущности и оригинальности ученія не понялъ; онъ его ученіе счелъ просто подкрашеннымъ аристотелизмомъ. Снядецкій обиженъ былъ и какъ эстетикъ и какъ словесникъ-пуристъ; онъ—другъ Делиля, почитатель циркуля и мѣры въ искусствѣ, строгій блюститель правилъ Горація, Боало и Дмоховскаго. Наконецъ была еще причина, заставившая его особенно рѣзко полемизировать противъ новаго духа, новыхъ путей; онъ, постепеновецъ, человѣкъ мѣрнаго и безукоризненно легальнаго прогресса, инстинктивно предчувствовалъ, что въ побораемыхъ имъ явленіяхъ кроются бури, клокочутъ элементы, которые прорвутъ плотины и какъ стихійныя силы увлекутъ любимое имъ общество въ невѣдомыя пустыни, поставятъ его среди развалинъ и страданій. По чувству долга онъ шелъ на встрѣчу опасному кризису; кризисъ этотъ дѣйствительно близился вулканически блистательный и бурный...

Но прежде чѣмъ перейти къ изображенію этого кризиса въ послѣдующемъ періодѣ, надо остановиться на одномъ и послѣднемъ явленіи, зарожденномъ до романтизма, проявившемся почти одновременно съ зачатками романтизма, но по духу принадлежащемъ къ растеніямъ

классической почвы. Настоящая, а неподражательная польская комедія родилась именно въ эту веселую, беззаботную и сравнительно счастливую эпоху краткаго отдыха въ промежуткѣ между наполеоновской эпопеей и эмиграціоннымъ скитальчествомъ. Отецъ ея былъ наполеоновскій солдатъ, галичанинъ изъ Перемышля, потомокъ одного изъ самыхъ аристократическихъ родовъ, графъ Александръ Фредро (1793—1876). Расцвѣтавшую въ одно почти время съ романтизмомъ, комедію Фредры поносили и тѣмъ, что она салонная, и тѣмъ, что она мольеровская, не польская, не народная; несмотря на то она пережила всѣхъ своихъ попрекателей, держится послѣ полувѣка существованія на сценѣ, превосходитъ нынѣ все послѣ того въ этомъ родѣ написанное; формы ея немного устарѣли, но содержаніе влечетъ къ себѣ и понынѣ неувядаемою красотою юности, шутливаго и незлобнаго остроумія. Послѣ трехъ корифеевъ романтизма нѣтъ имени, которое было бы въ массѣ болѣе, нежели Фредро, популярно и пользовалось такою почетною извѣстностью [1]). Причины такого прочнаго успѣха заключаются въ слѣдующемъ.

Когда въ первой четверти XIX в. образованное общество взялось за воздѣлываніе литературы, какъ за національную задачу, причемъ усердія было больше, нежели дарованій, при этой работѣ толкались и копошились посредственности и чѣмъ посредственнѣе были труженики, тѣмъ за болѣе высокіе предметы они хватались, за трагедію, эпопею или оду, одна комедія осталась въ запустѣніи: политическая комедія не могла существовать послѣ раздѣловъ и оборвалась на „Возвращеніи Посла" Нѣмцевича, а жанровая по отсутствію тенденціи не представляла никакой, повидимому, пищи патріотическимъ чувствамъ писателей; она была въ пренебреженіи, считалась чѣмъ-то однороднымъ съ сатирою, родомъ поэзіи отрицательнымъ. Новая жизнь между тѣмъ изобиловала явленіями, исполненными высокаго комизма; обокъ отживающихъ остатковъ шляхетства красовалась военщина наполеоновскихъ временъ съ ея развязностью и волокитствомъ; при рыцарствѣ, галантности и наружномъ боготвореніи женщины, обрисовывались жадность и тщеславіе доходящей до значенія и господства буржуазіи, проза жизни прикрывалась однако легкою дымкою стремленія къ идеальному; сильно смакуемы были формы круглыя, гладкія, изящныя, и ко всему примѣшивалась бойкая веселость сангвиническаго народнаго темперамента, склоннаго въ спокойныя минуты безъ удержу жить, любить и наслаждаться. Всю эту свѣжесть и полноту жизни, не смущаемой никакими тенденціями, изобразилъ какъ въ зеркалѣ Фредро. Ничему онъ систематически не учился, съ 1809 г. велъ по 1835 г.

[1]) St. hr. Tarnowski. Komedye Aleksandra hr. Fredry, trzy odczyty publiczne. Warszawa, 1876.

жизнь кочующую, солдатскую, былъ въ 1812 г. въ плѣну у Русскихъ, потомъ побывалъ въ Парижѣ, пристрастился тамъ къ театру, но основательно познакомился съ Мольеромъ только тогда, когда, по возвращеніи во-свояси въ Галицію, купилъ у антикварія-разнощика творенія великаго французскаго комическаго писателя. Вдохновившись Мольеромъ, этотъ вполнѣ самородный поэтъ сталъ самъ писать комедіи, какъ дилеттантъ, вдали не только отъ политическихъ событій, но и отъ литературныхъ партій, не принимая никакого участія въ борьбѣ классиковъ съ романтиками. Въ 1819 г. написалъ онъ первую комедію: „Гельдгабъ“, представленную въ Варшавѣ въ 1821 г.; затѣмъ въ пространствѣ времени съ 1819 по 1835 г. подарилъ сцену еще семнадцатью произведеніями, сильно нравившимися, но въ 1835 г. немного избалованный поэтъ вдругъ замолкъ и совершенно уединился, ужаленный критическою, нисколько, впрочемъ, не рѣзкою статьею въ журналѣ „Pamiętnik naukowy Krakowski“, писанною романтикомъ Севериномъ Гощинскимъ и подвергавшею сомнѣнію національный характеръ произведеній Фредры [1]). Въ послѣдующія затѣмъ сорокъ лѣтъ Фредро писалъ только для себя и оставилъ въ портфелѣ звѣриную драму Brytan Bryś [2]) и пятнадцать еще не напечатанныхъ комедій, постепенно ставимыхъ на сцену, о достоинствѣ которыхъ сужденія еще не установились [3]). Есть между этими посмертными произведеніями нѣкоторыя, повидимому, весьма талантливыя, напр. „Welki człowiek do małych interesów“, но даже и въ этой пьесѣ манера писать иная, характеры болѣе индивидуализированы, гораздо болѣе вставокъ и эпизодовъ и менѣе тѣхъ особенностей, которые обезпечили прочное господство Фредры на сценѣ. Не касаясь этихъ посмертныхъ комедій, остановимся на тѣхъ 18, которые обнародованы имъ при жизни. Въ одной изъ пьесъ (Pan Jowialski, 2 сцена, 1 дѣйствіе) Фредро выражается такимъ образомъ о комедіи: „Мольеровской комедіи пришелъ конецъ... теперь всѣ характеры ошлифовались, нѣтъ рельефности, всякій думаетъ, что́ о немъ скажутъ. Въ прежнія времена скупецъ ходилъ въ изношенномъ платьѣ, держа въ карманахъ руки. Нынѣ скряга—скрягой только въ уголкѣ: онъ и нищему подастъ, лишь бы о томъ всѣ знали. Ревнивый закусываетъ губы, но молчитъ; трусъ залѣзаетъ въ мундиръ, тиранъ нѣжится, все облекается въ приличныя формы. Сцена должна бы имѣть два фаса, какъ медали“. Собственно не люди измѣнились, а только пріемы мастерства стали

---

[1]) При жизни обнародованныя комедіи Фредры напечатаны 4-мъ изданіемъ въ Варшавѣ, въ 5-ти томахъ, 1871.

[2]) Напеч. въ Biblioteka Warszawska, 1878, т. 2.

[3]) См. Kronika rodzinna за 1877 и 1878, статьи Станислава Тарновскаго: O pośmiertnych komedyach Fredry.

иные. Въ природѣ нѣтъ типовъ, а каждое лицо есть явленіе безконечно сложное, вмѣщающее въ себѣ неисчислимыя черты и отпечатки, занесенные въ нихъ ихъ обстановкою. Нынѣшняя реалистическая комедія пытается фотографировать эти живыя особи, въ связи съ породившими ихъ средою и моментомъ. Моментъ прошелъ, среда измѣнилась, тогда и эти, созданныя искусствомъ, лица дѣлаются болѣе далекими, болѣе чуждыми, именно потому, что въ нихъ болѣе видовыхъ, преходящихъ черть, нежели общаго фонда человѣческой природы. Не такова была классическая комедія цѣльныхъ отвлеченныхъ типовъ: обстановка дѣйствія только слегка намѣчалась, само дѣйствіе происходило въ условной сферѣ, съ устраненіемъ всѣхъ осложненій и эпизодовъ и выводились характеры по возможности простые и цѣльные, ставимые въ такія положенія, въ которыхъ бы ихъ рѣзкія типическія черты обозначались всего типичнѣе и рельефнѣе. Комедіи, составлявшія созданный при жизни театръ Фредры, принадлежатъ всѣ къ роду классическому; отъ пьесъ Богуславскаго и преемника сего послѣдняго Яна-Непомука Каминьскаго (1778—1855, по 1833 былъ директоромъ львовскаго театра), онѣ отличаются тѣмъ, что онѣ не суть пьесы, на̀-скоро сколоченныя для занятія публики, но вполнѣ художественныя произведенія. Отъ пьесъ Заблоцкаго онѣ отличаются тѣмъ, что онѣ не воспроизведеніе мольеровскихъ типовъ съ примѣсью наблюденнаго представленнаго въ каррикатурахъ, но онѣ только писаны въ духѣ мольеровской комедіи, а изображаютъ творчески возсозданные типы и характеры своего домашняго общества, какъ воспроизвела въ то же почти время то же мольеровская по методу и пріемамъ комедія Грибоѣдова (сверстника Фредры, такъ-какъ Грибоѣдовъ родился 1795 г.) настоящую барскую двадцатыхъ годовъ Москву. Фредро осмѣялъ подражаніе иностранному въ комедіи „Cudzoziemszczyzna", представилъ разбогатѣвшаго выскочку Geldhab, ростовщика (Dożywocie); любви посвящены двѣ пьесы „Mąz i Zona" и „Sluby panjeńskie"; наконецъ отходящій старо-шляхетскій міръ превосходно изображенъ въ весельчакѣ, любителѣ басенокъ, анекдотовъ и пословицъ панѣ Іовіальскомъ, и въ „Zemsta za mur graniczny" изображенъ споръ вспыльчиваго рубаки, пана чесника, съ крючкотворомъ юристомъ рэентомъ: изъ нихъ первый, чтобы насолить другому, женитъ его сына на своей племянницѣ, къ полному счастью влюбленной четы. Въ комедіяхъ Фредры такъ много остроумія, что этимъ качествомъ часто окупается и слабость дѣйствія, и искусственность развязки, и вставной элементъ нравоученій и добродѣтельнаго резонёрства, котораго не мало въ его комедіяхъ.

Въ комедіи „Мизантропы и поэтъ" (Odludki i poeta) Фредро такимъ образомъ скорбитъ о положеніи польской литературы: „Слава, скажешь,—но для насъ прошла ея пора. Теперь вся Европа—родина

автора, произведенія Германіи, Италіи, Франціи расходятся, скрещиваясь, а наши вращаются въ ужасно узкихъ границахъ. Два-три театра да книгопродавческая телѣжка—вотъ теперь арена славы для польскаго писателя". Эти слова перестали вскорѣ быть правдою, когда явился первоклассный геніальный поэтъ, прославившій имя польской литературы не только между Славянами, но и на европейскомъ западѣ, писатель, именемъ котораго можетъ быть и названъ весь послѣдующій и до сихъ поръ продолжающійся періодъ польской литературы—Мицкевичъ.

5. Періодъ Мицкевича, 1822—1863 [1]).

А) Романтизмъ. Предшественники и сверстники Мицкевича. Его дѣятельность.

Литературное движеніе, сообщившее небывалый дотолѣ блескъ польской литературѣ и широкую извѣстность, должно быть разсматриваемо, во-первыхъ,—въ связи съ замѣченнымъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія обновленіемъ и возрожденіемъ всѣхъ литературъ славянскихъ, въ томъ числѣ и польской, а одновременно и русской (Мицкевичъ былъ только пятью мѣсяцами старше Пушкина—оба были родоначальниками новой поэзіи у своихъ народовъ); во-вторыхъ,—польское литературное возрожденіе въ двадцатыхъ годахъ имѣло еще и свои спеціальныя причины. Ему предшествовали три условія, при которыхъ всегда происходитъ новый расцвѣтъ литературы: коренное измѣненіе состава общества, расширеніе умственнаго кругозора вслѣдствіе внесенія въ жизнь новыхъ идей, наконецъ досугъ и занятія необходимые для всходовъ. Составъ общества подвергся глубокому и радикальному измѣненію. Самый крупный фактъ, который знаменуетъ XIX-й вѣкъ, какъ въ западной Европѣ, такъ и въ обществѣ польскомъ, послѣ паденія польскаго государства, есть безъ сомнѣнія торжество и преобладаніе демократическаго элемента. Старыя аристократическія учрежденія рушились, сословія перемѣшались, исчезъ король съ блестящимъ дворомъ, знатные роды перевелись или были истреблены, или, заклейменные именемъ измѣнниковъ народному дѣлу, стали искать счастія при дворахъ иностранныхъ, обрусѣли или обнѣмечились; густая фаланга средней шляхты была тоже въ дребезги разбита, въ образовавшіеся въ ея растрескавшейся массѣ промежутки и щели стали со всѣхъ сторонъ втискиваться люди новые, безъ гербовъ и преданій, подстрекаемые жаждою наслажденій и довольства и сильные увѣренностью въ томъ, что умомъ и упорнымъ трудомъ можно всего на свѣтѣ добиться и

[1]) 1822—годъ изданія перваго тома стихотвореній Мицкевича (Poezye. Wilno). Предполагались три тома; второй изданъ—1823, третій не вышелъ.

стать въ ряду между людьми извѣстными и вліятельными. Въ этомъ новомъ обществѣ, которое уже не брезгаетъ ни выкрестомъ изъ евреевъ, ни лицомъ нехристіанскаго исповѣданія, ни выслужившимся канцелярскимъ чиновникомъ, ни купцомъ и ремесленникомъ, положеніе писателя сдѣлалось совершенно иное. Просвѣщенныхъ писателей-дилеттантовъ изъ аристократіи, въ родѣ Красицкаго, стало меньше; за то умножилось число голышей и плебеевъ, пишущихъ изъ-за куска хлѣба, но эти плебеи стали несравненно самостоятельнѣе, потому что они не пресмыкались болѣе въ переднихъ и гостиныхъ у магнатовъ. Мецената замѣнилъ книгопродавецъ-издатель, аристархомъ сталъ простой журнальный рецензентъ, а дарителемъ славы и успѣховъ—многоголовое собирательное существо, читающая публика. Одновременно съ демократизмомъ въ нравахъ и съ измѣненіемъ обстановки писателя, расширился и умственный кругозоръ людей XIX-го вѣка. Германизмъ проникалъ въ бывшую Польшу съ сѣверо-и юго-запада посредствомъ административныхъ системъ, порядковъ и законовъ австрійскихъ и прусскихъ, и посредствомъ школъ, въ которыхъ преподаваніе совершалось на нѣмецкомъ языкѣ. Полчища Наполеоновы избороздили бывшія земли польскія по всѣмъ направленіямъ въ многочисленныхъ своихъ походахъ, между тѣмъ какъ польскіе легіоны побывали въ Германіи, Франціи, и познакомились съ горячимъ небомъ юга въ Италіи и Испаніи. Отъ столкновенія столькихъ языковъ, народностей, цивилизацій увеличилась масса знаній; великія свѣтила германской поэзіи Шиллеръ и Гёте стали точно родные; Вальтеръ-Скоттъ увлекалъ всѣхъ съ собою въ романическія горныя ущелія Шотландіи; могучій геній Байрона имѣлъ безчисленное множество обожателей; вдали виднѣлись Оссіанъ и Петрарка, Шекспиръ и Данте, а еще глубже за ними—Римъ и Греція, и царства дальняго Востока. Всѣ эти новые міры освѣщала своимъ свѣточемъ новая критика историческая и эстетическая, которая учила вдумываться въ давноминувшее прошедшее и возсоздавать нагляднымъ образомъ не только внѣшнія стороны быта, но мысли и чувства минувшихъ поколѣній. Болѣе пытливымъ умамъ, вникающимъ въ самый корень вещей, предлагала свои услуги нѣмецкая трансцендентальная философія, младшая сестра религіи, отправляющаяся отъ апріорныхъ началъ въ мышленіи, дѣйствующая посредствомъ рефлексіи и убѣжденная въ возможности открывать этимъ путемъ истины, столь же несомнѣнныя, но болѣе близкія къ дѣйствительности, нежели тѣ, которыя предлагала положительная религія, въ формѣ чувственныхъ образовъ.— Умственное развитіе происходило свободно, не развлекаемое никакими политическими осложненіями и вопросами. Обществу, испещренному примѣсью къ нему множества разнообразнѣйшихъ элементовъ, имѣющему плебейскіе нра-

вы, пытливый, не стѣсняющійся авторитетомъ умъ и подвижное воображеніе, способное переноситься во всѣ вѣка, не могла служить достаточною пищею отощавшая салонная литература временъ короля Понятовскаго и четырехлѣтняго сейма—литература не самостоятельная и подражавшая притомъ не наилучшимъ изъ сдѣлавшихся извѣстными образцовъ. Потребность въ обновленіи была такъ настоятельна, что переворотъ совершился мгновенно съ быстротою, съ которою въ театрахъ мѣняются декораціи. Прелюдіями къ возрожденію послужили появленіе романтиковъ и бой ихъ съ классиками, усѣвшимися спокойно на польскомъ Парнассѣ и выбиваемыми теперь изъ своихъ позицій; потомъ вдругъ и одновременно появляются Залѣскій, Гощинскій, цѣлая школа украинскихъ поэтовъ, Мицкевичъ съ своими литвинами. Вызванные общими потребностями времени, они возникаютъ и развиваются безъ всякаго вліянія другъ на друга, между тѣмъ какъ старше ихъ по времени, но союзникъ по направленію, Лелевель, прокладываетъ новые пути для исторической науки.

Первыми плодами романтизма были дѣтскіе опыты, переводы съ иностраннаго, подражанія: появилось множество романтическихъ балладъ; весь сценическій гардеробъ мѣнялся: вмѣсто божествъ Олимпа и Атридовъ, выводились на сцену вѣдьмы и отшельники, рыцарскіе турниры и привидѣнія. Въ Варшавѣ—Витвицкій, въ Вильнѣ—Занъ, Одынецъ и многіе другіе, пошли этимъ путемъ; самъ Мицкевичъ началъ свою дѣятельность съ идиллическихъ, сантиментальныхъ балладъ, романсовъ и сказокъ (Switezianka, Kurhanek Maryli, To lubi, Tukaj). Романтики надѣлали много шуму и скандалу, они бунтовали противъ установившихся издавна правилъ и порядковъ, а между тѣмъ и сами не могли опредѣлить, чего именно они желаютъ и въ чемъ состоитъ сущность романтизма [1]). Выигрышъ отъ новизны былъ бы не великъ, если бы все это кончилось тѣмъ, что какъ прежде подражали французскому, такъ потомъ стали бы подражать средневѣковому и нѣмецкому; но романтизмъ служилъ только оболочкою для выклевывающейся новой поэзіи совершенно своеобразной, и еще въ большей степени національной, нежели которая бы то ни было изъ предшествовавшихъ ей литературъ, даже въ золотую эпоху вѣка Сигизмундовъ [2]). Въ ней есть черты, характеризующія блистательные моменты наибольшаго процвѣтанія искусства: превосходная техника стиха, богатство мотивовъ и—что всего важнѣе—могучая индивидуальность. Царству педантовъ-критиковъ положенъ конецъ, господство Парижа кончилось, во главѣ

[1]) Статьи и лекціи Бродзинскаго; введеніе къ стихотвореніямъ Мицкевича: o poezyi romantycznej; статья Снядецкаго, 1818: o pismach klassycznych i romantycznych.

[2]) Лучше всего эта сторона литературнаго движенія въ двадцатыхъ годахъ оцѣнена въ талантливѣйшемъ сочиненіи лучшаго критика тогдашняго Маврикія Мохнацкаго: O literaturze polskiej w wieku XIX. Warszawa, 1830.

движенія стали настоящіе поэты. Сознано, что, дабы быть поэтомъ, необходимо имѣть весь запасъ знаній, какимъ только располагаетъ современная наука, покинуть салонъ и окунуться въ народныя массы, наконецъ что для отысканія народныхъ мотивовъ поэзіи необходимо имѣть снаровку и взглядъ историка, вскрывать народное прошлое и умѣть имъ вдохновляться. Поставивъ себѣ сознательно задачу—національность въ поэзіи, романтики двадцатыхъ годовъ съ первыхъ же поръ не могли не натолкнуться на два неисчерпаемые источника: на непочатый запасъ непосредственной простонародной поэзіи, къ которой они имѣли влеченіе по своей страсти къ сверхъестественному, чудесному, и на свѣжія преданія только-что уложившагося въ могилу великаго прошедшаго, которое они и попытались возстановить въ пѣсни съ точностью, свойственною археологамъ, во всей рѣзкости и шероховатости средневѣковыхъ формъ быта. Въ обоихъ этихъ направленіяхъ имъ предшествовалъ, въ качествѣ вожатаго, человѣкъ, одаренный необыкновенно вѣрнымъ эстетическимъ чутьемъ, самъ поэтъ, но еще болѣе извѣстный какъ профессоръ литературы и критики, Казиміръ Бродзинскій, котораго по справедливости называютъ предтечею не только Мицкевича, но и всѣхъ направленій польской поэзіи XIX вѣка [1]). Бродзинскій былъ бѣдный галиційскій шляхтичъ (род. 1791 въ Крулевкѣ близъ Бохни, умеръ въ Дрезденѣ 1835), натерпѣлся вдоволь съ малолѣтства отъ злой мачихи, которая его не любила, отъ деревенскаго учителя Нѣмца, который училъ посредствомъ розги на непонятномъ Поляку языкѣ. Нѣжный, пугливый, впечатлительный мальчикъ бѣгалъ изъ дому къ крестьянамъ, которые не разъ его отогрѣвали и кормили, и съ бытомъ которыхъ онъ сроднился съ первыхъ дней молодости. Лучшее его произведеніе, *Вѣславъ*, по замыслу есть подражаніе „Герману и Доротеѣ“ Гёте, а по содержанію есть живая картина деревенской свадьбы по обычаю краковскихъ крестьянъ. Способному юношѣ нѣмецкіе учителя въ тарновской школѣ старались привить любовь къ литературѣ нѣмецкой; читать польскія книги запрещалось, да и достать ихъ было весьма трудно: Бродзинскій только случаю обязанъ знакомствомъ съ Яномъ Кохановскимъ; онъ нашелъ экземпляръ стихотвореній этого поэта у бабы, рыночной торговки, которая употребляла листы его на обертки. Когда сѣверная часть Галиціи вошла въ составъ В. Герцогства Варшавскаго, 18-лѣтній Бродзинскій вступилъ (1809) въ ряды польскаго войска, ходилъ съ Французами въ Москву въ 1812 г., испыталъ всѣ ужасы бѣгства великой арміи изъ Россіи и попалъ въ 1813 въ плѣнъ къ Пруссакамъ подъ Лейпцигомъ. Этимъ и окончилась его военная дѣятельность; съ 1815 года онъ поселился въ Варшавѣ, писалъ стихи, давалъ уроки, наконецъ получилъ

[1]) Adam Belcikowski, Kazimierz Brodziński, studyum literackie. Lwów, 1875.

каѳедру польской литературы (1822—1823) въ варшавскомъ университетѣ. Въ одно и то же время этотъ предметъ преподавался здѣсь двумя профессорами. Людвигъ Осинскій, деканъ филологическаго факультета, царилъ въ салонахъ и привлекалъ къ себѣ въ аудиторію толпы великосвѣтской публики, которая восторгалась его звучною дикціею и краснорѣчіемъ; Казиміръ Бродзинскій читалъ тихимъ голосомъ для немногихъ цѣнителей науки свои богатыя содержаніемъ лекціи, въ которыхъ знакомилъ слушателей съ Шекспиромъ, Гёте, Шиллеромъ, съ новыми направленіями эстетической критики. Съ духомъ ученія и методомъ Бродзинскаго всего лучше могутъ познакомить слѣдующіе отрывки изъ его критическихъ статей.

„Мы были народъ могущественный, единственный по оригинальности своей формы правленія, по быстротѣ своего паденія и скорости возрожденія. Опережая Европу, мы прошли сквозь всѣ крайности ея теперешняго развитія. Учрежденія отцовъ нашихъ были пріятнымъ воспоминаніемъ быта древнихъ свободныхъ народовъ и содержали въ себѣ въ зачаткѣ всѣ тѣ начала, на которыхъ стараются основать свое устройство новѣйшія государства. Одни только ангелы съумѣютъ управляться успѣшно, при столькихъ свободахъ, которыми мы пользовались; во всякомъ случаѣ насъ надобно назвать людьми хорошими, если при столькихъ свободахъ и безначаліи, такъ мало совершалось у насъ возмущеній и злодѣяній сравнительно съ другими народами, которые содержатся въ крѣпкомъ послушаніи. Мы пали, сраженные внезапнымъ громомъ, и такъ же нечаянно воскресли, получивъ существованіе и нераздѣльную съ нимъ свободу отъ рукъ величайшаго изъ монарховъ (Александръ I). Обожженный громовымъ огнемъ, пень пустилъ изъ себя вѣщую вѣточку; въ ней витаетъ наше прошедшее и наше будущее. Мы нынѣ въ полной силѣ молодости и вмѣстѣ съ тѣмъ мы увѣнчаны сѣдымъ вѣковымъ опытомъ. Цѣль наша можетъ быть только одна: обогащаться въ мирѣ нравственнымъ просвѣщеніемъ и достоинствомъ народнымъ. Запасъ нашихъ средствъ для слѣдованія по этому пути не великъ. До сихъ поръ мы имѣемъ только желанія, способности да надежды, но не болѣе. Выродившись политически, мы исказились и нравственно. Политически разбитые на разные куски, мы разрознены до безконечности въ нашихъ мнѣніяхъ и вкусахъ. Тридцать лѣтъ продолжались наши скитальчества по чужбинѣ на службѣ у разныхъ народовъ. Не могши сдѣлать у себя ничего въ теченіи этого времени и обреченные на пассивное созерцаніе величайшихъ событій въ Европѣ, сильнѣйшихъ переворотовъ въ мнѣніяхъ и вкусахъ, мѣняя системы воспитанія каждыя десять лѣтъ, при переходѣ изъ рукъ въ руки,—мы нынѣ едва ли образуемъ нѣчто цѣльное, котораго бы всѣ части могли быть управляемы единымъ духомъ. Законы, обы-

чаи, вкусы и литература — все у насъ иностранное. Если при этомъ столпотвореніи не стерлись наши народныя примѣты, это — залогъ того, что онѣ не изгладятся и въ будущее время. Мы толкуемъ много о народности, но народность эта есть духъ, который нигдѣ до сихъ поръ не являлся въ своемъ собственномъ видѣ. Древность не можетъ насъ спасти въ литературѣ, потому что намъ надобно идти впередъ, рука объ руку съ духомъ времени. Споры классиковъ съ романтиками безплодны; классицизмъ требуетъ строгаго ума, романтизмъ или лучше сказать, новѣйшая литература требуетъ новыхъ представленій. Намъ слѣдуетъ уважать старый умъ, но мы не можемъ принести ему въ жертву то, чѣмъ обогатилось просвѣщеніе со временъ Квинтиліана. Мистицизмъ и идеализмъ нѣмецкій не могутъ быть для насъ достаточною пищею, потому что божественная правда всегда проста и не можетъ состоять въ путаницѣ понятій. Въ теченіи многихъ вѣковъ мудрецы должны были блуждать и спорить, чтобы сдѣлать истину яснѣе и чище; запутывать ее — значитъ уничтожать работу вѣковъ. Мы заимствовали зло и добро отъ иностранцевъ. Какъ намъ поступать съ этими металлами разнокалиберными и разноцѣнными? Намъ слѣдуетъ выбирать лучшія штуки, и перечеканивать ихъ, кладя на нихъ народное клеймо; слѣдуетъ также переплавлять и нашу собственную старинную монету, давая ей номинальную цѣну, сообразную нынѣшнему времени; весь этотъ капиталъ долженъ быть разсчетливо обращаемъ на насущныя потребности страны. Не въ томъ дѣло, чтобы наполнить книгохранилища нашими трудами, но въ томъ, чтобы эти труды обращались быстро, соотвѣтствовали потребностямъ массы и могли доходить до послѣдняго изъ рабочихъ. Я не желаю народу моему ни столькихъ философовъ какъ въ Греціи, ни столькихъ ученыхъ книжниковъ какъ въ Германіи, ни столькихъ стихотворцевъ какъ въ Парижѣ. Я даже убѣжденъ, что когда-нибудь закроются тѣ исполинскія литературныя фабрики, которыя мы видимъ теперь, и что дошедши до практическихъ результатовъ наукъ, люди освободятся отъ того громаднаго сырого матеріала, который, отрывая отъ настоящаго дѣла множество рукъ, дѣлаетъ народы иногда изнѣженными, а иногда фанатическими. Всѣ эти фоліанты, комментаріи, философскія спекуляціи и ученые споры будутъ когда-нибудь забыты, какъ тѣ рыцарскіе доспѣхи, которые показываются нынѣ въ видѣ курьезовъ въ старинныхъ зáмкахъ. Ученые труды должны имѣть то главное назначеніе, чтобы связать какъ можно сильнѣе понятія политическія, религіозныя и философскія съ интересомъ народа“ [1]).

[1]) См. сочиненія Бродзинскаго въ Biblioteka polska, Туровскаго: o dażeniu polskiej literatury, str. 374—394; o klassyczności i romantyczności, str. 1—105. Новое изданіе соч. Бродзинскаго въ 8 томахъ, Poznań, 1872—74, исправленное Крашев-

Поэтическія произведенія Бродзинскаго, кромѣ „Вѣслава“, мало читаются въ настоящее время; они милы и граціозны, но блѣдны и слащавы въ сравненіи съ произведеніями его же слушателей и Мицкевича. Бродзинскому дано было дожить до такихъ успѣховъ въ творчествѣ поэтическомъ, которыя превзошли самыя смѣлыя его ожиданія и заставили забыть о скромномъ предшественникѣ и учителѣ, но онъ дожилъ также и до печальнаго повстанья 1830 г., разрушившаго пылкую увѣренность въ томъ, будтобы достаточно имѣть сильное ощущеніе своей народной особности, чтобы получить право на особность политическую, будтобы первая есть не только главное, но и почти единственное условіе послѣдней. Событія 1831 г. увлекли впечатлительнаго Бродзинскаго и сообщили его мыслямъ несвойственный вообще его трезвой натурѣ отпечатокъ экзальтаціи, отразившейся въ „Рѣчи о народности Поляковъ“ [1]), читанной 3 мая 1831 г. въ обществѣ любителей наукъ, и написанномъ незадолго до смерти въ Краковѣ „Посланіи къ братьямъ изгнанникамъ“, изданномъ Богданомъ Залѣскимъ (1850), гдѣ Бродзинскій является уже совершеннымъ мессіанистомъ, мистически пророчествующимъ о будущности народа. Бродзинскій не эмигрировалъ, но уѣхалъ за паспортомъ за границу. Скончался въ Дрезденѣ 1835 г., на рукахъ у А. Э. Одынца.

Въ то самое время, когда Бродзинскій въ Варшавѣ своими лекціями и критическими статьями расчищалъ дорогу романтизму, въ этомъ же городѣ, отчасти подъ его вліяніемъ, а отчасти и безъ всякаго къ нему соотношенія, зарождалась, слѣдуя духу времени, новая школа поэтовъ, извѣстная подъ именемъ польско-украинской; эти пѣвцы, продолжая уже начатое когда-то Клёновичемъ и Шимоновичемъ усвоеніе польской поэзіи южно-русскихъ мотивовъ, вносили въ эту поэзію думку казацкую, то заунывные, то удалые напѣвы народныхъ пѣсенъ и живое чувство упоенія необозримою ширью украинскихъ степей.

Первый по времени изъ этихъ польско-украинскихъ поэтовъ, Антóнъ Мальческій (1793—1826), жилъ особнякомъ, умеръ въ совершенной почти неизвѣстности и написалъ одну только небольшую поэму *Марія*, которая при выходѣ въ свѣтъ (1825) не имѣла никакого успѣха и не окупила издержекъ изданія, и только много лѣтъ спустя, когда авторъ давно лежалъ въ могилѣ, сдѣлалась самымъ популярнымъ поэтическимъ произведеніемъ въ Польшѣ. Мальческій [2]) провелъ первые годы молодости въ Дубнѣ на Волыни, полу-

скимъ: здѣсь нашли мѣсто и университетскія лекціи Бродзинскаго, по рукописи, сохраненной Дмоховскимъ.

[1]) Naród polski jest Kopernikiem w swiecie moralnym (Народъ польскій между народами—тоже, что Коперникъ между людьми—т.-е. что онъ открылъ законъ тяготѣнія всѣхъ народовъ вокругъ моральнаго центра — идеи человѣчества. Ему дано было уравновѣсить права трона и народа на вѣсахъ, къ самому небу прикрѣпленныхъ...)

[2]) Wojcicki, Cmentarz powązkowski, 1855. I, 41. Lucyan Siemieński, Portrety literackie, t. IV, s. 57.

чилъ блистательное аристократическое образованіе во французскомъ духѣ въ домѣ родителей. Побывавъ въ кременецкомъ лицеѣ, онъ вступилъ въ военную службу въ наполеоновскихъ войскахъ, былъ тяжело раненъ, потомъ пять лѣтъ странствовалъ за границею, любилъ, стрѣлялся на дуэли, прожилъ все свое состояніе, испилъ, можно сказать, до дна чашу наслажденій, но и познакомился со всѣмъ, что̀ имѣло лучшаго западно-европейское общество, съ литераторами, учеными, артистами. Потомъ онъ вернулся на родину, заарендовалъ небольшое имѣніе въ Волынской губерніи, въ свободное отъ занятій время писалъ задуманную имъ поэму въ байроновскомъ родѣ и вкусѣ. Въ близкомъ сосѣдствѣ Мальческаго жила молодая его кузина, больная нервами и оставленная, какъ безнадежная, докторами; оказалось, что поэтъ обладаетъ большою нервною силою и можетъ ее успокоивать, магнетизируя во время пароксизмовъ. Леченіе повело къ любви, она бросила мужа, онъ оставилъ хозяйство, и оба очутились въ Варшавѣ почти безъ средствъ, въ обществѣ, которое шокировано ихъ поступкомъ. Поэта поддерживала надежда на успѣхъ его произведенія, но критика отнеслась къ нему недружелюбно,—поэма не пошла. Голодъ и нужда появились у изголовья больного поэта: когда онъ умеръ, не на что было его похоронить. Мальческій былъ что̀ называется бѣлоручка, нѣжный и красивый, какъ женщина; нервный и раздражительный въ высшей степени, болѣзненно страдавшій отъ всякой неудачи, онъ постоянно носился съ горькими осадками неудовлетворенныхъ желаній въ душѣ. Прибавимъ къ этимъ даннымъ близкое знакомство Мальческаго съ Байрономъ. Они познакомились въ Венеціи; преданіе говоритъ, что разсказъ Мальческаго о Мазепѣ вдохновилъ Байрона и послужилъ ему темою для поэмы. Съ другой стороны, Мальческій поддался обаянію демонической натуры Байрона и сталъ въ искусствѣ его подражателемъ. У Байрона пресыщеніе жизнью разражалось ненавистью и презрѣніемъ къ людямъ, и ѣдкимъ осмѣиваніемъ всего, что̀ условлено считать святымъ; у Мальческаго тоже неизлѣчимое разочарованіе выразилось въ снѣдающей душу безпредѣльной и безнадежной тоскѣ: „Я много ѣлъ горькихъ, отравленныхъ калачей,— говоритъ поэтъ:—мое увядшее лицо поблѣднѣло, изъ одичавшей души моей искоренена радость“... [4]). Отъ Байрона Мальческій заимствовалъ форму его поэтическаго разсказа, а сюжетъ взялъ изъ весьма извѣстнаго на Украйнѣ уголовнаго дѣла, котораго главными фигурантами

---

[4]) ....Co czułe, szlachetne chwilkę tylko świeci....
(Нѣжное благородное свѣтитъ только минутно)...
....Rola wzniosłysh uczuć nigdy się nie uda,
Bo w śliczny welon cnoty stroi się obłuda.
(Посѣвъ возвышенныхъ чувствъ никогда не поспѣваетъ, потому что лицемѣріе накидываетъ на себя прекрасную вуаль добродѣтели).

были Феликсъ Потоцкій, мрачный, скучный и недальновидный герой тарговицкой конфедераціи и его отецъ, воевода кіевскій. Феликсъ Потоцкій въ юности своей женился противъ воли родителей на молодой шляхтянкѣ незнатнаго происхожденія, Гертрудѣ Коморовской. Родители Потоцкаго, недовольные неравнымъ бракомъ, извели ее измѣнническимъ образомъ. Феликсъ превратился у Мальческаго въ прекраснаго Вацлава (чего онъ, конечно, вовсе не заслуживалъ), Гертруда—въ Марію. Безсердечный и непреклонный воевода, тая въ душѣ злобные замыслы, шлетъ казака съ письмомъ къ старому Мечнику — отцу Маріи, въ которомъ, расточая лесть, онъ проситъ примиренія и вмѣстѣ съ тѣмъ предлагаетъ Мечнику начальство надъ войскомъ, въ экспедиціи, снаряжаемой противъ татаръ, въ которой долженъ принять участіе и Вацлавъ. Экспедиція была только благовиднымъ предлогомъ для удаленія Вацлава и Мечника изъ дому. Въ то время, когда Вацлавъ съ Мечникомъ сражаются храбро съ крымскими хищниками, на дворъ Мечника валитъ шумная ватага масляничныхъ гостей въ маскахъ и костюмахъ. Напрасно старый слуга отказываетъ отъ дому незванымъ гостямъ, у него самого зарябило въ глазахъ, когда начали передъ нимъ плясать цыгане, вѣдьмы, арлекины и черти. Всѣ эти маски—никто иные, какъ подосланные воеводою убійцы: они топятъ въ пруду Марію. Побѣдоносный Вацлавъ, тревожимый страннымъ предчувствіемъ, опережая Мечника, летитъ къ женѣ, прискакалъ ночью во дворъ Мечника, стучится въ домъ, влѣзаетъ въ окно и находитъ холодный, распухшій трупъ любимой женщины. Таинственный пажъ, лицо фантастическое, добрый или злой духъ Вацлава— неизвѣстно, сообщаетъ ему о виновникахъ смерти его жены; сердце у Вацлава пропиталось ядомъ въ одну минуту: испытывая всѣ муки ада, онъ исчезаетъ съ жаждою крови и мщенія, съ мыслью объ отцеубійствѣ въ душѣ. Поэма оканчивается изображеніемъ сѣдого Мечника, угасающаго тихо безъ слезъ и ропота, на могилѣ дочери. Главная задача, которую поставилъ себѣ Мальческій, была конечно психологическая: изобразить развитіе страсти, порчу и искаженіе благородной души, изнывающей въ желѣзныхъ и роковыхъ тискахъ несчастія. Подобно Байрону, онъ преимущественно лирикъ, его поэма есть, можно сказать, вырванная страница изъ его же автобіографіи, передача имъ самимъ прочувствованнаго; свою собственную личность выводитъ онъ вездѣ на сцену то въ образѣ довѣрчиваго Вацлава, то въ образѣ таинственнаго ангела или демона — пажа, юнаго и между тѣмъ безотрадно грустнаго, то въ прелестномъ образѣ блѣдной и чистой, какъ голубица, Маріи [1]). Подобно Байрону, онъ грѣшитъ по-

[1]) Ani łzy, ani żalu w jej mglistém spojrzeniu;
O nie; przeszłych już zgryzot niewidać tam wojny,

рою изысканностью подобранныхъ эффектовъ и злоупотребляетъ аллегоріею, олицетворяя отвлеченныя понятія, страсти и чувства [1]). Но, несмотря на эти недостатки, и несмотря на невыгодное совпаденіе момента появленія поэмы съ появленіемъ величайшихъ произведеній первой поры польскаго романтизма, *украинская повѣсть „Марія“* сдѣлалась произведеніемъ самымъ любимымъ, самымъ популярнымъ, привлекающимъ къ себѣ глубиною и искренностію чувства души болѣзненно страдающей и разочарованной. Притомъ, хотя воспроизведеніе прошедшаго составляетъ весьма второстепенный элементъ въ планѣ поэмы, однако Мальческій, какъ великій художникъ, умѣлъ изобразить это прошедшее немногими, но весьма типическими чертами. Ястребиный профиль воеводы наводитъ ужасъ, исполинская фигура стараго Мечника кажется высѣчена изъ камня и просится въ эпосъ. Впрочемъ, Мальческій схватилъ только нѣкоторыя стороны этого прошедшаго. Его Украйна есть Украйна магнатская и шляхетская. Простонародье является у него только какъ живописный аксессуаръ къ пейзажу, въ видѣ воеводскаго гонца-козака, скачущаго съ письмомъ къ Мечнику: „Простъ былъ его поклонъ, коротко привѣтствіе, но онъ видимо выдается изъ толпы служителей; онъ крѣпостной, но свобода врождена ему отъ отца. Когда, гордо взглянувши, онъ требуетъ, чтобы его повели къ барину, то онъ имѣетъ видъ господина среди провожающей его дворни“... Мальческій былъ совершенно чуждъ украинскому простонародью по своему воспитанію, онъ не видѣлъ его за шляхетствомъ, но онъ понялъ сердцемъ артиста красоты украинской природы и неподражаемо передаетъ широкіе прямолинейные контуры степного пейзажа: „Взоръ бродитъ въ пространствѣ; но ему негдѣ пріютиться, и не подмѣтитъ онъ движенія. Солнце косвенно озаряетъ разстилающіяся нивы, изрѣдка пронесется воронъ, каркая и бросая отъ себя тѣнь, изрѣдка застрекочетъ полевая стрекоза въ бурьянахъ. Глухо кругомъ, только во воздухѣ какой-то гулъ. Мысли о прошед-

---

Tylko znikłej nadziei grobowiec spokojny,
Tylko się lampa szczęścia w jej oczach paliła,
I zgasła—i swym dymem całą twarz zaćmiła.

(Нѣтъ ни слезъ, ни скорби въ ея туманномъ взорѣ, не видать въ немъ борьбы минувшихъ страданій, а одинъ только покойный гробъ исчезнувшихъ надеждъ. Въ глазахъ горѣла когда-то лампада счастія, но погасла и только дымомъ своимъ прикрыла все лицо).

[1]) Приведемъ для характеристики манеры Мальческаго слѣдующее четверостишіе, изображающее тоску Маріи послѣ отъѣзда Вацлава; здѣсь что ни слово, то аллегорія:

Już w jego próżném miejscu zadumana, blada
Ciszę budząc westchnieniem samotność osiada,
A na odłogu szczęścia zgryzota korzeni
Swe kolczaste łodygi robaczliwej rdzeni.

(Въ оставшемся послѣ него пустомъ пространствѣ садится блѣдное, задумчивое уединеніе, прерывающее тишину вздохами, а на паровомъ полѣ счастія коренится тоска и пускаетъ колючіе стебли, точимые червями).

шемъ нельзя отдохнуть въ цѣлой этой странѣ ни на одномъ памятникѣ отцовъ, въ которомъ бы она могла сложить бремя скорбныхъ чувствъ. Ей слѣдуетъ развѣ, опустивъ крылья, погрузиться въ землю, тамъ найдетъ она древнія заржавѣлыя латы и кости, невѣдомо чьи: тамъ найдетъ она надежное зерно въ плодоносномъ пеплѣ или червей, упитывающихся свѣжимъ еще трупомъ, но по полямъ мысль эта блуждаетъ, ни за что не цѣпляясь, какъ отчаяніе, безъ пріюта, безъ цѣли, безъ границъ".

Одновременно съ Мальческимъ нѣсколько молодыхъ украинцевъ, гораздо моложе его по возрасту, отыскивали сообща, руководимые артистическимъ чутьемъ, богатый, всѣми оставленный и, какъ казалось [1]), позабытый кладъ поэзіи козацкой. То были Падура, М. Грабовскій, Б. Залѣскій и С. Гощинскій. Всѣ они смотрѣли на козачество какъ на составную часть польскаго народа и польской исторіи. Изъ нихъ Падура (1801—1872), воспитанникъ кременецкаго лицея, задумалъ смѣлое предпріятіе: стать пѣвцомъ простонародія, странствующимъ рапсодомъ, слагая пѣсни на простонародномъ, то-есть южно-русскомъ языкѣ. Онъ исходилъ страну вдоль и поперекъ, посѣтилъ мѣста, гдѣ была Сѣчь; привязался къ одному эксцентричнѣйшему чудаку того времени Вацлаву Ржевускому (сыну тарговичанина Северина), который, живя долго на востокѣ, породнился съ арабами, усвоилъ себѣ ихъ нравы и костюмъ и на всю жизнь остался эмиромъ Таждь-уль-Фахромъ [2]) даже по возвращеніи своемъ въ родное имѣніе Саврань (1825). Въ Савранѣ Падура сдѣлался домашнимъ человѣкомъ, пѣснеслагателемъ, котораго пѣсни распространялись потомъ торбанистомъ Витортомъ и другими, посредствомъ устнаго преданія, но долго не печатались, вслѣдствіе чего самъ Падура считался какимъ-то сказочнымъ существомъ, пока онъ не издалъ въ Варшавѣ въ 1844 году: „*Ukrainky s nutoju, Tymka Padurry*" (имя собственное переиначено: оно было Ѳома, а не Тимоѳей). Впослѣдствіи Падура былъ почти совершенно позабытъ, умеръ въ Козятинѣ, а похороненъ въ Махновкѣ, Кіевской губ. [3]). Весьма немногочисленные въ сложности опыты Падуры курьезны въ слѣдующемъ отношеніи. Чувства и мысли у него были чисто польскія, а только языкъ, формы и артистическія средства украинско-народныя. Въ его дѣятельности сквозила и тенденція — та самая, которая породила козацкій полкъ К. Ружицкаго въ 1831 году. Вотъ почему лирику Падура покинулъ для думки, а въ думкѣ (напр. о Романѣ Коширскомъ,

---

[1]) До первыхъ изданій думъ, до сочиненій Квитки и др. въ тридцатыхъ годахъ и до появленія, въ 1840-хъ годахъ, Шевченка.

[2]) Siemieński, Portrety literackie, t. IV: Emir Tadź el Fahr. Другое названіе, подъ которымъ его прославилъ Падура, было „Золотая борода".

[3]) Статьи В. Пржиборовскаго о Падурѣ въ Tygodnik illustrowany 1872 г. № 229, и въ Библіотекѣ Варшавской, 1872.

т.-е. Сангушкѣ) онъ поэтизировалъ лѣтописныхъ героевъ той эпохи козачества, когда оно еще витало подъ крыльями бѣлаго польскаго орла, то-есть до Хмѣльницкаго.

Остальные три названные нами украинца отправились около 1820 г. учиться въ Варшаву, сообща слушали лекціи Бродзинскаго и жили въ тѣснѣйшей дружбѣ. Одинъ изъ нихъ, Михаилъ Грабовскій (1805—1863), болѣе извѣстенъ какъ писатель повѣстей въ родѣ Вальтеръ-Скотта и критикъ (Literatura i krytyka, Wilno, 1837—40, статьи въ московскомъ *Днѣ* Аксакова и др.), жилъ въ Кіевѣ, имѣлъ вліяніе на Кулиша и кончилъ жизнь въ Варшавѣ директоромъ коммиссіи просвѣщенія и исповѣданій при Велопольскомъ. Іосифъ-Богданъ Залѣскій (род. 1802 г., и уже давно переставшій писать) и Северинъ Гощинскій (ум. 1876) прославились какъ первостепенные поэтическіе таланты, но по особенностямъ своихъ темпераментовъ пошли они по совершенно противоположнымъ направленіямъ. Залѣскій [1]) прежде всего и исключительно почти художникъ, въ поэтическомъ творчествѣ только лирикъ, одинъ изъ самыхъ субъективныхъ, притомъ лирикъ, лучше всего передающій чувства веселыя, нѣжныя, одну граціозную сторону изображаемыхъ предметовъ, съ неподражаемою яркостью цвѣтовъ и игривостью. Содержаніе этой чрезвычайно красивой по внѣшней формѣ поэзіи не отличается ни разнообразіемъ, ни глубиною идей и задачъ. — Залѣскій воспѣваетъ только свое Поднѣпровье. „Меня, своего груднаго ребенка,— пишетъ онъ,—спеленала пѣснью мать Украина... и сказала Русалкѣ: пѣстуй мое дитятко, корми его молокомъ думъ и сокомъ цвѣтовъ, подавай ему на сонъ красивые образы моей вѣковой славы, да разцвѣтутъ вокругъ него всѣ сказки народа моего писанныя золотомъ и лазурью. О, звучные какъ пѣсенка, поцѣлуи моей мамки Русалки воспламенили кровь мою навсегда"... (Duch od stepu). Приведемъ еще отрывокъ, въ которомъ Залѣскій поясняетъ автобіографическіе источники своего вдохновенія и творчества: „Съ торбаномъ выросъ я — вижу Днѣпръ, Ивангору, хату въ дубравѣ, старика-знахаря, точно простился я съ ними вчера. Пѣли тамъ птицы чуть-чуть божій день, и дѣвы пѣли на майданѣ, то раздавался мужественный голосъ воинской славы атамановъ — все смѣшалось въ одну живую пѣснь и я испилъ эту пѣсню"... (Żywa pieśń).

Изъ этого заколдованнаго круга съ дѣтства усвоенныхъ представленій Залѣскій не можетъ выдти никакимъ образомъ. Среди Альпійскихъ горъ онъ вспоминаетъ Рось, Тясьмину, въ римской Кам-

---

[1]) Piotr Chmielowski, Poezye I. B. Zaleskiego, см. Niwa, 1877, №№ 65, 66.— Послѣднее изданіе стихотвореній Залѣскаго, Львовъ 1877, въ 3 томахъ. Срав. Przegląd Tygodniowy, 1878, №№ 18—21.

паніи тоскуетъ по степямъ, настоящимъ варваромъ прохаживается по Капитолію, но въ немъ вскипаетъ кровь при видѣ брата Славянина—умирающаго гладіатора (Przechadzki po za Rzymem). Когда впослѣдствіи Залѣскій пытался въ „Святомъ Семействѣ“ (Przenajświętsza Rodzina) изобразить юность Христа, то и въ это библейское произведеніе онъ внесъ также свою родину, такъ что въ ней мало галилейскаго, іорданскаго, а толпы народа, спѣшащія въ Іерусалимъ на праздникъ, точь въ точь похожи на чумаковъ, располагающихся ночлегомъ, или на богомольцевъ, странствующихъ къ святымъ мѣстамъ, въ Почаевъ или въ Кіево-печерскую Лавру.

Жизнь „чумацкая“ выходца за-границу послѣ 1831 года еще болѣе содѣйствовала развитію этой односторонней исключительности въ оторванномъ отъ почвы пѣвцѣ. Кругъ сюжетовъ поэзіи Залѣскаго былъ и остался ограниченъ. Отношеніе этихъ сюжетовъ къ фантазіи поэта таково, что всѣ проходящіе чрезъ эту фантазію лучи дѣйствительности преломляются необыкновенно сильно, даютъ изображенія хроматическія. Каждая линія превращается въ радугу, подъ этими радугами, подъ трелями и фіоритурами, подъ налетомъ субъективнѣйшихъ ощущеній исчезаетъ прикрываемый ими первоначальный мотивъ, и есть цѣлыя поэмы, которыхъ содержаніе только съ трудомъ можетъ быть объяснено. Таковы, напримѣръ, первое всего больше прославившее имя поэта произведеніе: *Русалки* (около 1830 г.), въ которомъ онъ самъ себя изображаетъ въ образѣ козака Цислава Зори и передаетъ всѣ перипетіи своей юношеской любви къ чародѣйкѣ, капризницѣ Зоринѣ, своихъ размолвокъ съ нею и примиренія, а изъ позднѣйшихъ—*Калиновый мостъ*, мечтанія о юности—пѣвца, дожившаго до сѣдыхъ волосъ. Такъ какъ образованіе Залѣскаго было только артистическое, а не философское, то этимъ объясняется, почему онъ не создалъ ни одного великаго и цѣльнаго произведенія, для чего необходима философская мысль въ качествѣ цемента. На чужбинѣ, подъ впечатлѣніемъ горькихъ утратъ и тоски по родинѣ, Залѣскій, подобно большинству своихъ сверстниковъ—эмиграціонныхъ поэтовъ, впалъ въ мистицизмъ и сдѣлался на весьма короткое время, вмѣстѣ съ другомъ своимъ Мицкевичемъ, послѣдователемъ религіозной секты Товянскаго, но вскорѣ вернулся къ строгому церковному римскому католицизму. Въ этомъ второмъ мистическомъ періодѣ своего творчества, онъ пытался въ поэмѣ *Духъ степей* (Duch od stepu) изобразить въ связномъ эпосѣ исторію человѣчества, но при красивыхъ подробностяхъ поэма вышла неудачна по убожеству содержанія, и мѣстами она поражаетъ своею ретроградностью, отрицательнымъ отношеніемъ автора къ великимъ открытіямъ и событіямъ послѣднихъ вѣковъ: реформаціи, революціи XVIII вѣка. Поэтъ разсказываетъ исторію своей души до рожденія: мать-Украйна

отдала эту душу на воспитаніе русалкамъ; по мановенію Божію, воздушная шалунья опускается, воплощается, тоскуетъ по своей заоблачной родинѣ и проживаетъ мысленно всѣ моменты развитія человѣчества, причемъ виновникомъ всѣхъ бѣдствій является горделивый разумъ, бунтующій противъ вѣры, и плотскія похоти,—какъ будто слышишь исповѣдь любого средневѣкового монаха-аскета. Мѣстами разсказъ оживляется и блещетъ красотами, напримѣръ, когда поэтъ рисуетъ переселеніе народовъ и Атиллу, но и то по той только причинѣ, по которой онъ не можетъ равнодушно относиться къ Умирающему Гладіатору, то есть потому, что онъ натолкнулся на варвара и на полчища, которыя представляютъ какъ бы первообразъ будущихъ козаковъ [1]). Особеннаго вниманія заслуживаютъ по своимъ достоинствамъ и недостаткамъ эпическія рапсодіи Залѣскаго. Малороссійскій народъ имѣлъ два эпоса, народныя былины Владимірова цикла, почти забытыя самимъ народомъ и уцѣлѣвшія только въ отрывочныхъ преданіяхъ, и—замѣнившія ихъ въ позднѣйшую эпоху козацкія думы, новый національный героическій эпосъ, живо сохранившійся до настоящаго времени, но проникнутый духомъ, далеко не дружелюбнымъ для Польши. Залѣскому всего ближе знакомы были козацкія думы. Козачество возникло и развилось подъ крыломъ Польши, и только съ XVII-го вѣка обратило противъ Польши оружіе междоусобной войны. Эта послѣдняя сторона козачества, обрызганная кровью, противна Залѣскому, и по его натурѣ, ясной и мягкой, и по народности, какъ Поляку. Онъ и поставленъ былъ въ необходимость вернуться дальше назадъ, къ XVI-му вѣку и воспѣвать событія и людей, о которыхъ онъ вычиталъ нѣчто въ старыхъ польскихъ хроникахъ, но которыхъ украинскій народъ успѣлъ перезабыть со временъ Богдана, напр.: походы Запорожцевъ за Черное море, Евстафія Дашковича, Ляха Сердечнаго (Предслава Ланцкоронскаго), атамана Косинскаго и храбраго Сагайдачнаго, ведущаго подъ Хотинъ свои полки подъ начальствомъ королевича Владислава. Всѣ выведенныя лица движутся стройно, рѣзво, красиво, живописно и складно, но въ томъ-то и ложь, что они не настоящіе, а балетные козаки, что они гладко причесаны, что отъ нихъ несетъ духами, а не дегтемъ, и что изъ-подъ ихъ бу-

[1]) «Закованный въ сталь вождь ѣдетъ, ведетъ по безпутьямъ, — конная статуя Альгунрика (всѣхъ Гунновъ царя), мохнатая какъ медвѣдь, сухожилая, сухощавая, изъ однихъ костей состоящая, Божій гнѣвъ, ликъ грозный и дикій, взоръ никогда несмыкающійся, потому что рѣсницы приросли ко лбу. Подобно рѣкѣ, прокладывающей себѣ путь между крутыхъ скалъ, шумятъ текущія за нимъ толпы: Римъ, Римъ, гдѣ же Римъ?

«Конная статуя—вождь неприступенъ, глухъ и нѣмъ, ѣдетъ, ведетъ по безпутьямъ, вдругъ онъ останавливается: здѣсь отдыхъ. Въ ту ли, въ другую ли сторону пойдемъ въ степяхъ? то скажетъ намъ комета ночью. Римъ, Римъ не далеко, за семью горами, за девятью рѣками!»...

лата брызжетъ кровь красивыми малиновыми струями. Всѣ они бойкіе хваты, лихіе удальцы, ни о чемъ другомъ, болѣе серьезномъ, кромѣ удальства не думающіе. Кромѣ того въ явный ущербъ исторической правдѣ въ нихъ вложены чувства, имъ несвойственныя. Несомнѣнно, что и Косинскій (въ концѣ XVI в.) и Сагайдачный (въ началѣ XVII-го) по долгу службы вѣрно и честно дрались съ Татарами и Турками подъ польскими знаменами, но у каждаго изъ этихъ вождей козачества были свои сословные и племенные интересы и разсчеты, вслѣдствіе которыхъ не могъ онъ смотрѣть на свои отношенія къ Польшѣ съ точки зрѣнія польскаго шляхтича и патріота. Не могъ Косинскій убѣждать свою „черноборовую": „слезъ и очей пожалѣй, Господи; что же поможетъ ломать себѣ руки, когда воля сейма и короля велитъ сражаться намъ" (Dumka hetmana Kosinskiego). Фальшивая нота, которая звучитъ въ думкахъ Залѣскаго, не только не роняла ихъ, но была причиною чрезмѣрной ихъ популярности, какъ духу времени отвѣчавшее стремленіе эстетическаго ополяченія козачества. М. Грабовскій формулировалъ отношеніе украинскихъ поэтовъ къ Украйнѣ такимъ образомъ, что Мальческій живописалъ Украйну шляхетскую, Залѣскій—козацкую, а Гощинскій—гайдамацкую. По проторенному пути пошло безчисленное множество подражателей, которые довели его манеру до каррикатурнаго и вызвали въ 1838 г. слѣдующую замѣтку въ письмѣ Мицкевича (Kor. I, 124): „Украинцы сѣли верхомъ на Богдана и ѣдутъ на немъ покрикивая: гопъ, гопъ, цупъ, цупъ. Они меня бѣсятъ. Стоитъ этихъ писакъ стащить съ украинскаго коня". Всѣ лица, выводимыя въ думкахъ Залѣскаго, миловидны, но миніатюрны, точно разсматриваемыя сквозь вогнутое стекло. Въ этой миньятюрной живописи не отличишь вѣщаго Бояна отъ Вернигоры, князей и бояръ кіевскихъ отъ Хмѣльницкаго и Мазепы. Эта способность примирять противоположности и сглаживать диссонансы дѣлаетъ изъ Богдана Залѣскаго настоящаго панслависта. „Любо мнѣ въ славянскомъ гулѣ, — восклицаетъ онъ, — я рукоплещу, стоя на украинской могилѣ. Молодецъ Шафарикъ! Славно, Копитаръ! Давай побольше пѣсенъ, Вукъ Караджичъ! Остальное доскажемъ мы, гусляры" (Gwar słowiański). Въ особенности же эта способность поражаетъ насъ въ религіозно-миѳологическихъ произведеніяхъ Залѣскаго. Онъ до того сжился съ народными малороссійскими повѣрьями, что порою не различишь, кто онъ, римскій ли католикъ, или православный, а за христіанскими образами и представленіями виднѣется у него старая славянско-языческая подкладка изъ древнихъ, померкшихъ до-историческихъ временъ (Księżna Hanka, Podzwonne ku ojcom).

Послѣдній изъ писателей украинской группы, Северинъ Гощинскій, человѣкъ крѣпкій физически, сильныхъ убѣжденій, энергическій.

Его жизнь мало извѣстна въ своихъ подробностяхъ. Онъ былъ въ числѣ зачинщиковъ повстанья 1830 г., нападеніемъ на Бельведерскій дворецъ въ ночь 29 ноября давшихъ сигналъ народному движенію. Онъ участвовалъ въ этомъ движеніи, какъ солдатъ и пѣвецъ, потомъ жилъ нѣкоторое время въ Галиціи; кончилъ онъ тѣмъ, что сдѣлался мистикомъ, послѣдователемъ Товянскаго, и въ началѣ сороковыхъ годовъ почти совершенно пересталъ писать. Гощинскій олицетворяетъ собою тотъ моментъ развитія романтизма, когда поставлена была задача возпроизводить природу и ея жизнь въ духѣ простонароднаго міросозерцанія, правдиво, серьёзно, реалистически и объективно. Особенности личнаго его темперамента сказываются только въ томъ, что изъ природы и изъ народной фантазіи онъ заимствуетъ одни сильныя и темныя краски, беретъ только дикое, страшное, трагическое, бѣсовское: зловѣщіе крики совъ, скрипѣніе мертвеца, качаемаго вѣтромъ на висѣлицѣ, и черную ночь, среди которой безпятый играетъ съ людьми злыя штуки. Онъ безподобный колористъ и обладаетъ рембрандтовскою кистью для изображенія огневого свѣта въ ночномъ мракѣ. Подъ днѣпровскими липами паробки и дѣвчата сошлись на вечерницу, поютъ, пляшутъ и цѣлуются вокругъ пылающаго костра, а немного подальше собралась иная, болѣе тихая компанія: тамъ бесѣдуютъ между собою бѣднякъ, несомый злымъ вихремъ, красный упырь, который въ полночь доитъ изъ косяка кровь сонныхъ дѣтей; вѣдьма, росою цвѣтовъ окропляющая сметану; некрещеная душа, которая стонетъ на высяхъ; огненный змѣй, изсушающій бабъ (Zamek Kaniowski).

Но идя въ народъ для изученія его повѣрій и суевѣрій, Гощинскій, какъ истый романтикъ, до того проникся изучаемымъ, что усвоилъ себѣ если не все, то по крайней-мѣрѣ самое существенное изъ этого міросозерцанія, которому свойственъ антропоморфизмъ и которое одушевляетъ и олицетворяетъ всѣ силы природы. Въ его собственномъ умѣ были несомнѣнно задатки мистицизма, родственнаго простонародному: онъ и самъ вѣровалъ въ существованіе въ природѣ тѣхъ таинственныхъ живыхъ силъ, невѣдомыхъ естествоиспытателю, къ которымъ простой человѣкъ, при всей грубости его понятій, стоитъ ближе нежели ученый, потому что древній союзъ съ природою разрушенъ для цивилизованнаго, между тѣмъ какъ онъ существуетъ еще для простолюдина. Однимъ словомъ, съ Гощинскимъ совершилось тоже что съ многими гуманистами XVI столѣтія, которые увлечены были артистическимъ изученіемъ древности до усвоенія себѣ даже вѣрованій религіозныхъ античныхъ. „Земля стародавняя!—говоритъ поэтъ.— во время оно, теперешнее диво не было дивомъ; невидимыя силы играли видимо и сторожили человѣка, какъ ребенка. Въ воздухѣ, въ

деревьяхъ, въ камняхъ, подъ водою, люди обрѣтали кровное сочувствіе; потому что они не презирали природу, они ее знали и любили какъ мать“ [1]). „Природа,—говоритъ П. Хмѣлёвскій [2]),—вознаграждая Гощинскаго за его любовь, одарила его помыслами смѣлыми, идеями оригинальными. Фантазія ничѣмъ не сдерживаемая, ожила, укрѣпилась и высоко взлетѣла, увлекая въ край волшебный тѣхъ, которые предали себя ея руководству“. Безпорядочность и разнузданность, но вмѣстѣ съ тѣмъ свѣжесть, правда и сила — таковы свойства этой поэзіи. Пріемы ея иные, нежели у всѣхъ предшественниковъ Гощинскаго, фабула хитрѣе и сложнѣе, событія сплетаются неожиданно, но завязываются въ крѣпкіе узлы, на сцену выведены настоящіе характеры, осмысленные психологически, не въ видѣ китайскихъ тѣней и силуэтовъ, какъ воевода и мечникъ у Мальческаго, и не въ эмалевыхъ миніатюрахъ, какъ у Залѣскаго, но въ живомъ движеніи, въ борьбѣ и столкновеніи. Въ этомъ изображеніи характеровъ Гощиньскій обнаружилъ громадный драматическій талантъ, котораго нѣтъ и задатковъ ни у Мальческаго, ни у Залѣскаго. Кровь его не пугаетъ, руки его не дрожатъ, когда онъ вскрываетъ живую грудь съ художественнымъ, почти шекспировскимъ безстрастіемъ, съ равнодушіемъ анатома. Гощинскій писалъ немного; онъ—украинскій поэтъ только по первому и капитальнѣйшему изъ своихъ произведеній, *Замку Каневскому* (1828), заимствованному изъ кроваваго событія, хлопскаго бунта, извѣстнаго подъ именемъ „Коліивщины“ (1768), укрощеннаго и вызвавшаго самыя жестокія репрессаліи со стороны польскаго правительства и помѣщиковъ. Содержаніе поэмы слѣдующее.

Въ окрестностяхъ Смилы родился и выросъ козакъ Небаба, статный, смѣлый, ловкій молодецъ, который обольстилъ дѣвушку изъ того же селенія, Ксенію. Ксенія была испорчена и каждую ночь она, бывало, ждала къ себѣ огненнаго летуна—любовника. Небаба изъ пустой шалости выдалъ себя за такого летуна; но когда Ксенія привязалась къ нему на дѣлѣ и стала его преслѣдовать своею докучливою любовью, то Небаба бросилъ ее въ Днѣпръ, а самъ бѣжалъ. Эти событія случились до начала поэмы. Ксенія спаслась какимъ-то образомъ

---

[1]) Ależ bo wówczas, ziemio starowiecka!
Dzisiejsze dziwy dziwami nie były:
Grały widomię niewidome siły
I pilnowały człowieka, jak dziecka.
W powietrzu, w drzewach, w kamieniu, pod wodą,
Krewne spółczucie ludzie znajdowali,
Bo nie gardzili na ówczas przyrodą,
Bo ją jak matkę znali i kochali.
(Sobótka.)

[2]) *Sobótka.* Zestawienie dwóch wieków i dwóch indywidualności; въ Tygodniku illustrowanym, 1875. №№ 367—375.

изъ воды, окончательно помѣшалась и бѣгала изъ селенія въ селеніе. растрепанная, дикая, какъ зловѣщее привидѣніе, предсказывающее недобрыя событія. Страшныя событія готовились въ самомъ дѣлѣ: крестьяне точили ножи на пановъ, рѣзня готова была вспыхнуть. Ксенія появляется въ окрестностяхъ Канева—за́мка, принадлежащаго знаменитому по своей лютости старостѣ Николаю Потоцкому. За́мокъ расположенъ надъ Днѣпромъ и господствуетъ надъ городкомъ того же названія. Въ за́мкѣ живетъ и бывшій любовникъ Ксеніи Небаба, который, поступивъ на службу къ старостѣ, за свою смѣтливость, храбрость и расторопность, поставленъ начальникомъ надъ замковыми козаками старосты. Онъ страстно влюбленъ въ козачку Орлику, которая имѣла несчастіе обратить на себя вниманіе управляющаго за́мкомъ. Управляющій хочетъ на ней жениться и изобрѣтаетъ слѣдующую хитрость, чтобы вынудить отъ нея согласіе на этотъ бракъ. Братъ Орлики, козакъ, поставленъ ночью на часахъ близъ висѣлицы; управляющій сманилъ его съ поста и приказалъ во время его отсутствія снять трупъ съ висѣлицы. Вина оплошнаго караульнаго такова, что онъ долженъ быть самъ повѣшенъ. Управляющій предлагаетъ Орликѣ на выборъ: или смерть брата или бракъ. Орлика рѣшается на послѣднее. Бракъ состоялся, Небаба внѣ себя отъ ярости; онъ клянется отмстить измѣнницѣ и ея Ляху, и навести на за́мокъ гайдамаковъ, но на всякомъ шагу ему мѣшаетъ докучливая Ксенія, отъ которой онъ не можетъ никакъ отдѣлаться. Онъ ударилъ ее въ високъ и обезобразилъ, онъ ранилъ ее ножомъ, но несчастная любитъ его пуще прежняго. Небаба отправляется тайкомъ въ разбойничій лагерь Швачки, но Швачка, старикъ, тяжелый на подъемъ и пьяница, не рѣшается на предлагаемое Небабою предпріятіе; между тѣмъ, когда Швачка, охмѣлѣвши отъ горѣлки, лежитъ безъ чувствъ, Небаба увлекаетъ за собою всю его ватагу, разсыпаетъ гайдамакъ въ оврагахъ и кустарникахъ подъ самымъ Каневомъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующую ночь сдѣлать нападеніе—завладѣть за́мкомъ. Когда Швачка, вытрезвившись, увидѣлъ себя всѣми оставленнымъ, хитрый старикъ смекнулъ въ чемъ дѣло и вздумалъ предупредить Небабу; онъ бѣжитъ въ Каневъ и возмущаетъ мѣщанъ. Ни Швачка, ни Небаба не знаютъ, что регулярное войско польское приближается къ Каневу и окружаетъ ихъ со всѣхъ сторонъ и собирается накрыть ихъ. Въ то же время несчастная Орлика, которой не въ терпежъ брачное ложе, рѣшается зарѣзать мужа ночью. Раньше всѣхъ начинаютъ дѣйствовать Орлика и Швачка. Этотъ послѣдній врывается съ мѣщанами въ за́мокъ, поджигаетъ его, вламывается въ комнаты управляющаго и находитъ тамъ трупъ и помѣшанную женщину, облитую кровью. Орлика бѣжитъ, ее преслѣдуютъ, бѣшеная погоня длится долго, преслѣдующіе взламываютъ дверь за

дверью, и узнаютъ, куда бѣжала несчастная, по кровавому отпечатку руки ея на стѣнахъ. Послѣднее убѣжище Орлики — главная башня за́мка; убійцы готовы проникнуть туда, но въ ту самую минуту обрушились стропила пылающаго зданія и въ его развалинахъ гибнутъ и гонимая, и чернь, и самъ Швачка. Между тѣмъ Небаба, собравъ свою ватагу, направляется къ Каневскому за́мку, но наталкивается на регулярное войско. Происходитъ страшная сѣча, которую освѣщаетъ зарево отъ пожара за́мка и которая оканчивается тѣмъ, что раненаго Небабу Поляки берутъ въ плѣнъ. За́мокъ не существуетъ, но на его дымящемся пожарищѣ побѣдители пытаютъ арестантовъ и совершаютъ казни. Небабу посадили на колъ, къ торчащему на деревѣ въ предсмертныхъ судорогахъ подбѣгаетъ Ксенія и ничѣмъ уже не удерживаемая кладетъ на замирающихъ устахъ страстный поцѣлуй. Поэтъ великолѣпно заканчиваетъ свой потрясающій разсказъ: „Когда духъ мой посѣщалъ побережье Днѣпра и останавливался на развалинахъ Канева, онъ отыскалъ еще слѣды ужаснаго дня гибели и разрушенія. По стѣнамъ алѣла еще кровь въ тѣхъ мѣстахъ, которыхъ касалась жена рукою, обагренною въ крови мужа, спасаясь отъ преслѣдующихъ ее убійцъ; крови этой ничто въ свѣтѣ не могло смыть, на мѣсто смытыхъ выступали новыя пятна, но само тѣло несчастной преступницы обратилось въ пепелъ и разсѣяно вѣтрами. Въ укромномъ уголку, покрытомъ мягкою травою, духъ мой нашелъ пряди растрепанныхъ кудрей Ксеніи, въ которыхъ птичка свила себѣ гнѣздо. Тутъ же лежала сталь отъ оружія Небабы, перегорѣвшая и почернѣвшая отъ огня; наконецъ, блуждая среди нагихъ череповъ, онъ откопалъ подъ обломками зданія торбанъ и одну только струну на этомъ торбанѣ. Ни годы, ни ненастья не могли помрачить золотистый блескъ этой струны, а любовникъ ея, вѣтеръ изъ сосѣдней рощи, каждую ночь повторялъ съ нею старое былое. Мнѣ полюбились ея хриплые звуки“.

Художественныя достоинства „Каневскаго Замка“ велики, но еще важнѣе значеніе его племенное и соціальное; взятъ за предметъ поэмы фактъ историческій, еще недавній, крайне печальный для Поляка и изображенъ съ поразительнымъ безпристрастіемъ и съ глубокимъ и спокойнымъ пониманіемъ рокового характера кровавой рѣзни, которой можетъ позавидовать историкъ.—Нѣсколько лѣтъ послѣ того, тоже событіе поэтизировалъ потомокъ тѣхъ же героевъ, Шевченко, но его повѣствованіе о славѣ козацкой, „какъ ходили гайдамаки съ святими ножами“, и о томъ, какъ Гонта передъ громадою „ризалъ“ собственныхъ дѣтей отъ католички, потому только что „вони—католики“ (Гонта въ Умани), противно по звѣрству и безчеловѣчности того, что́ выдается за геройство. Не будь языкъ, нельзя было бы узнать—сочувствія Гощинскаго на чьей сторонѣ. Для него противоположности уже сгладились;

шляхетство и козачество примирились въ царствѣ тѣней, „съ послѣднимъ дымомъ угаснаго пламени вернулись въ адъ демоны разрушенія, надъ побѣдителями и надъ побѣжденными усыпана травой поросшая могила“ (III, 29), а на могилѣ играетъ поэтъ на мѣдныхъ струнахъ своей лиры, предсказывая болѣе гуманное будущее.—Двухлѣтнее пребываніе между татранскими горцами дало Гощинскому матеріалъ для превосходнаго отрывка: „Суботка“ или праздникъ Ивана Купалы, частицы недоконченной поэмы „Kościelisko“ (1834). Онъ написалъ еще стихами повѣсть Anna z Nadbrzeża, прозою фантастическій разсказъ *Царь развалинъ* (Król zamczyska, 1842) и мистическо-религіозное *Посланіе* къ Польшѣ (1856, изд. 1869).

Какъ ни замѣчательны были дарованія писателей украинской группы, не на ихъ долю, а на долю Мицкевича и Литвиновъ выпала слава полной и окончательной побѣды надъ узкими правилами, подражательностью въ поэзіи и старою рутиною классиковъ. Мицкевичъ образовался въ Вильнѣ, подъ вліяніемъ университетскаго преподаванія и коллективныхъ стремленій цѣлаго кружка́ молодежи, изъ котораго вышло весьма много другихъ, болѣе или менѣе талантливыхъ литераторовъ. Изъ профессоровъ онъ болѣе другихъ обязанъ филологу нѣмцу Эрнсту Гроддеку [1]) и Леону Боровскому; не безъ вліянія на него остался основатель новой исторической школы въ Польшѣ, историкъ Лелевель. Намъ слѣдуетъ теперь перенестись мысленно въ литовскіе лѣса и Ягеллово Вильно, изучить условія, при которыхъ совершилось поэтическое воспитаніе литовскаго пѣвца, а также очертить при этомъ случаѣ и личность Лелевеля, который у молодежи, учившейся въ Вильнѣ, начиналъ пользоваться большимъ авторитетомъ.

Преобразованный въ 1803 г., виленскій университетъ достигъ высшей степени процвѣтанія послѣ паденія Наполеона и вѣнскаго конгресса, при преобладаніи либеральнаго направленія въ дѣйствіяхъ правительства, подъ попечительствомъ князя Адама Чарторыскаго, при ректорахъ Янѣ Снядецкомъ и Симонѣ Малевскомъ. Старые профессора изъ іезуитовъ перевелись; для пополненія персонала выписаны были изъ-за границы, въ первыхъ годахъ XIX в., многіе ученые Нѣмцы и Итальянцы (Боянусъ, Гроддекъ, Лангдорфъ, Франкъ, Теронги, Капелли; оріенталистъ Мюнихъ). Лекціи читались по-польски, по-латыни и по-французски. Братья Снядецкіе отличались пуризмомъ въ языкѣ и понятіяхъ; литературу преподавали два классика, Евсевій Словацкій, отецъ Юлія, и Леонъ Боровскій; впослѣдствіи, съ 1822, нѣмецкая трансцендентальная философія нашла даровитаго защитника въ лицѣ

---

[1]) Zyg. Węclewski, Wiadomość o życiu i pismach Godfr. Ern. Grodka. 1876. Kraków.

шеллингіанца Іосифа Голуховскаго. Въ разнообразіи не было здѣсь, конечно, недостатка. Въ этотъ разношерстный, если можно такъ выразиться, университетъ, поступилъ сначала въ 1814 по 1818, потомъ вторично (послѣ кратковременнаго пребыванія въ Варшавѣ съ 1820 по 1824 годъ) на каѳедру всеобщей исторіи Іоахимъ Лелевель, бывшій воспитанникъ того же университета, родившійся въ Варшавѣ въ 1786 г. [1]). Первоначальное названіе этой фамиліи—Loelheffel a Loewensprung, и родомъ она изъ Пруссіи; дѣдъ Іоахима былъ королевскимъ лейбъ-медикомъ, отецъ совсѣмъ уже ополячился, получилъ въ 1777 г. польскій индигенатъ и былъ кассиромъ въ эдукаціонной коммиссіи; сынъ и не подписывался иначе какъ „Mazur“, то-есть мазовецъ по происхожденію. Іоахимъ родился, можно-сказать, книжникомъ; страсть къ сочинительству и оригинальничанью обнаружилась въ немъ почти съ младенчества. Десятилѣтній мальчикъ дѣлалъ уже компиляціи, составлялъ извлеченія и таблицы изъ своихъ школьныхъ книгъ, и упрямился, несмотря на розги, продолжая давать субботѣ болѣе правильное, по его мнѣнію, названіе „шестка“. Первые труды свои Лелевель сталъ издавать будучи студентомъ въ Вильнѣ (Historika, Edda Skandinawska, Rzut oka na Herule 1807, 1808). Всѣ силы и способности его ушли въ этотъ книжный міръ, такъ что для дѣйствительной жизни не осталось ничего. Въ жизни практической онъ былъ самый ненаходчивый человѣкъ и чудакъ; но умъ его, необыкновенно живой и дѣятельный, работалъ безпрестанно, сочетая, группируя все, что́ онъ вычиталъ и усвоилъ обширною своею памятью, и строя безчисленное множество смѣлыхъ и новыхъ гипотезъ. Такимъ образомъ въ этой счастливой въ научномъ отношеніи психической организаціи совмѣщались въ равной почти степени два рѣдкія условія, встрѣчающіяся обыкновенно врозь: необыкновенная усидчивость при усвоеніи себѣ самаго обширнаго и безвкуснаго матеріала, самыхъ сухихъ подробностей, и умъ самый индуктивный, способный по нѣсколькимъ чертамъ возстановить характеръ или событіе. При этихъ данныхъ замѣчалось еще и совершенное отсутствіе художественности и полная неспособность къ историческому живописанію угадываемыхъ и превосходно понимаемыхъ событій. Лелевель игралъ странную роль во всѣхъ совѣщательныхъ собраніяхъ, напримѣръ, на сеймѣ въ Царствѣ Польскомъ и въ составѣ революціоннаго правительства въ 1831 г., гдѣ онъ служилъ громоотводомъ для остальныхъ членовъ этого правительства; публика считала его

---

[1]) Автобіографія Лелевеля: Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich, przez Joachima Lelewela. Poznań u Żupańskiego. 1858. Его письма къ Гроддеку въ Przew. nauk. i liter. 1876. Изданіе его писемъ начато Жупанскимъ въ Познани въ 1878 г. Его корреспонденція съ Сенкевичемъ. Poznań, 1872. Его переписка съ Ѳ. Булгаринымъ въ «Библіотекѣ Варшавской», 1877.

радикаломъ, между тѣмъ какъ Лелевель, мысленно не соглашаясь съ товарищами и пожимая плечами, авторитетомъ своего имени санкціонировалъ мѣры и мнѣнія, которымъ иногда вовсе не сочувствовалъ. Но на каѳедрѣ Лелевель былъ точно въ своей стихіи; какъ ученому кабинетному, знающему свѣтъ изъ книгъ и посредствомъ книгъ, ему нужны были для того, чтобы одушевиться, отрывокъ хроники, старый пергаментъ или древняя монета. У Лелевеля было всегда больше мыслей, нежели словъ; о внѣшности своего преподаванія онъ нисколько не заботился, такъ что онъ никогда не выучился совладать съ своимъ слогомъ, который у него былъ самый варварскій и запутанный, но вмѣстѣ съ тѣмъ лаконическій и оригинальный. Отвращеніе отъ рутины и отъ торныхъ дорогъ заставило его изобрѣсти даже свое особенное правописаніе. Совершенный аскетъ, одинокій, безсемейный, дѣйствующій всегда особнякомъ, отрицающій пользу собирательнаго труда и ученыхъ обществъ, Лелевель работалъ съ трудолюбіемъ болландиста и вмѣстѣ чрезвычайно быстро, и производилъ страшно много, писалъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ—о судьбѣ древней Индіи и царствованіи Станислава-Августа, о меркантильной политикѣ Карѳагена, о древнихъ Славянахъ, куфическихъ монетахъ и о польскомъ лѣтописцѣ Матвѣѣ герба Холева; передѣлывалъ старые учебники (Teodor Waga przerobiony) и составлялъ новые (Dzieje powszechne); издавалъ руководство къ библіографіи (Bibliograficznych Ksiąg dwoje) и древніе памятники польскаго законодательства (Księgi ustaw polskich i mazowieckich). Лелевель далекъ былъ отъ всякой національной исключительности, съ такою же любовью относился къ корсунскимъ вратамъ св. Софіи въ Новгородѣ, какъ и къ гнѣзненской святынѣ, къ Руси какъ и къ Польшѣ [1]). Въ польской исторіи онъ всего больше потрудился надъ періодовъ Пястовъ. Товарищи Лелевеля по виленскому университету не умѣли надлежащимъ образомъ оцѣнить его [2]), что и заставило его въ 1818 покинуть Вильно и искать счастія въ Варшавѣ; но молодежь осталась сердцемъ привязана къ изслѣдователю. Общество сожалѣло о его потерѣ, такъ что когда Лелевель былъ выбранъ вторично по конкурсу въ 1821 г. на ту же каѳедру, то возвращеніе его сдѣлалось настоящимъ торжествомъ. Оно памятно, между прочимъ, и по стихамъ, которые въ честь возвращающемуся написалъ

---

[1]) По просьбѣ Булгарина, онъ 1821 написалъ для «Сѣвернаго Архива» критику на исторію Карамзива. Любопытны письма Булгарина: «вся партія, господствующая въ министерствѣ, желаетъ смирить Карамзина за его неуваженіе къ Греціи, Риму, Ѳукидиду и Тациту.—Начало критики произвело сенсацію, рады ей Оленинъ, Сперанскій, Голицынъ. Всѣ говорятъ: что-жъ вашъ Лелевель, что онъ умолкъ?...» и т. д.

[2]) Янъ Снядецкій писалъ о Лелевелѣ Чарторыскому: «это человѣкъ еще недодѣланный, немного педантъ въ нѣмецкомъ вкусѣ».

въ классическомъ еще стилѣ Мицкевичъ [1]). Впрочемъ, Лелевелю пришлось не долго быть профессоромъ. Въ Вильно назначенъ былъ попечителемъ сенаторъ Новосильцевъ: начались строгія преслѣдованія студентскихъ обществъ; Лелевель былъ удаленъ отъ должности вмѣстѣ съ Голуховскимъ и многими другими товарищами. Онъ возвратился въ Варшаву, выбранъ посломъ на сеймъ въ 1829 г., участвовалъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ и былъ до самаго конца повстанья членомъ революціоннаго правительства и предсѣдателемъ радикальнаго клуба. Онъ долженъ былъ бѣжать за границу и влачить горькую жизнь скитальца безъ денегъ, безъ книгъ, записокъ и извлеченій, на которые онъ потратилъ столько труда. Изгнанный изъ Франціи, онъ съ 1832 г. поселился въ Брюсселѣ, гдѣ и провелъ 29 лѣтъ въ страшной, но добровольной нищетѣ, передѣлывая, дополняя старыя сочиненія (Polska, dzieje jej i rzeczy, въ 12 томахъ, 1851—1864), издавая новыя работы по части нумизматики (La numismatique du moyen àge, 1835) и географіи (Pythéas de Marseille, Géographie du moyen âge), питаясь скудными гонораріями въ нѣсколько десятковъ или сотенъ франковъ за томъ, а иногда отказывая себѣ въ дровахъ и теплой пищѣ, чтобы пріобрѣсти какую-нибудь книгу или атласъ. Лелевель умеръ, имѣя 76 лѣтъ, въ 1861 г. въ Парижѣ, куда перевезенъ былъ друзьями передъ самою своею кончиною.

Этотъ кабинетный труженикъ и нелюдимъ основалъ цѣлую школу историческую, идеи которой господствовали до послѣдняго времени; только недавно явились оспариванія ихъ и опроверженія. Историческая теорія Лелевеля была въ духѣ времени и представляла собою проявленіе, въ иной только сферѣ, того стремленія окунуться въ свою собственную національность, уразумѣть ея содержаніе, которое въ области искусства произвело романтизмъ и литературное возрожденіе.— Требовалось отыскать въ прошедшемъ черты столь особенныя и своеобразныя, которыхъ не найти ни въ какой другой исторіи, пріискать этимъ особенностямъ корни въ старинѣ до-исторической, славянской, обусловить ростъ и успѣхи народа наибольшею вѣрностью его своему призванію, своимъ кореннымъ началамъ, а паденіе—отступленіемъ отъ

---

[1]) O, długo modłom naszym będący na celu,
Znowuż do nas koronny znijdziesz Lelewelu!...

Въ слѣдующемъ отрывкѣ изображено направленіе преподаванія Лелевеля:

A słońce prawdy wschodu niezna ni zachodu,
Równie chętnie każdego plemionom narodu,
I dzień lubiące każdej rozszerzać ojczyznie,
Wszystkie ziemie i ludy poczyta za bliźnie.
Z tąd kto się w przenajświętszych licach jej zacieka,
Musi sobie zostawić czystą treść człowieka.

(Солнце истины не знаетъ ни востока, ни запада, оно охотно и безразлично даритъ день всѣмъ племенамъ и всякому отечеству, а потому тотъ, кто хочетъ наслаждаться его лицезрѣніемъ, долженъ быть вполнѣ человѣкъ).

этихъ началъ и подчиненіемъ навѣянному извнѣ, иностранному. Это стремленіе очень знакомо и русскому обществу: въ исторіографіи оно произвело „Исторію“ Карамзина, эпосъ сложенія Россіи въ формѣ самодержавія С. Соловьева, взгляды московскихъ славянофиловъ. Разница между ними и историками школы Лелевеля та, что они величали и выводили изъ общеславянскаго источника свое специально-русское, а послѣдніе—свое спеціально-польское. Такимъ спеціальнымъ славяно-польскимъ началомъ являлось у Лелевеля вѣче, славянская община, народоправство. Онъ сильно скорбѣлъ, какъ демократъ, о порабощеніи кметей въ XI столѣтіи, чувствовалъ особое расположеніе къ великимъ собирателямъ польской земли, Болеславу Храброму и Локтику; какъ республиканецъ въ душѣ, онъ въ сеймѣ видѣлъ только переработку древне-славянскаго вѣча, и съ этой точки зрѣнія относился свысока и критически ко всѣмъ бывшимъ въ ходу преобразовательнымъ теоріямъ XVIII вѣка, которыя стремились къ тому, чтобы преобразовать Польшу на иностранный ладъ, съузивъ свободу частнаго лица и заведя централизацію;—съуженное аристократизмомъ народоправство слѣдуетъ, по его мнѣнію, только расширить, чѣмъ и достигнется осуществленіе идеала, который уже былъ сознанъ былою Польшею въ ея счастливыя эпохи. Неоцѣнимою заслугою этой школы было пріобрѣтеніе умственной самостоятельности во взглядахъ на собственное прошедшее; положительнымъ зломъ—идеализированіе всякихъ своеобразныхъ особенностей въ прошломъ, даже уродливостей, и несомнѣннымъ заблужденіемъ было предположеніе о какихъ-то апріорныхъ началахъ, присущихъ будто бы народности отъ самаго ея зарожденія и составляющихъ ея призваніе. Такихъ началъ нѣтъ ни въ какой бы то не было народности славянской, порознь взятой, ни въ цѣломъ до-историческомъ Славянствѣ вообще.

Въ умственной жизни литовскихъ губерній, которая сосредоточивалась въ Вильнѣ, имѣли важное значеніе не только университетское преподаваніе, но и разнообразныя виленскія общества, къ организаціи которыхъ существовала всеобщая наклонность въ первой четверти XIX вѣка, еще не стѣсняемая позднѣйшими строгими законодательными запретами. Существовало повсемѣстно распространенное масонство, образовались союзы для забавы, развлеченія, усовершенствованія въ наукахъ, литературѣ, имѣвшія свои серьёзные или шутовскіе уставы. Одно изъ такихъ обществъ обязано было своимъ происхожденіемъ издаваемому съ 1817 года адъюнктомъ, секретаремъ и библіотекаремъ виленскаго университета Казиміромъ Контримомъ (ум. 1836), еженедѣльнику: „Вѣдомости съ мостовой“ (Brukowe wiadomości). Контримъ образовалъ редакцію, редакціонный комитетъ этого изданія и составилъ общество *шубравцевъ* (проказниковъ), просуществовавшее съ

1817 по 1822 г., подъ предсѣдательствомъ съ 1818 г. знаменитаго химика и физiолога Андрея Снядецкаго, брата Яна [1]). Похожее во многихъ отношенiямъ на „Арзамасъ“ [2]), это общество имѣло свои засѣданiя и протоколы, своихъ сановниковъ, свои символическiе знаки: кувшинъ съ водою, aqua fontis, передъ предсѣдателемъ и лопата, которою постукивалъ стражникъ для возстановленiя порядка. Но подъ шутовствомъ скрывались болѣе серьёзныя намѣренiя, бичемъ сатиры преслѣдовались общественные пороки, косность, невѣжество. Шубравцы были продолжателями сатирическаго направленiя Красицкаго и Нарушевича и исправителями нравовъ, подчинявшимися извѣстной дисциплинѣ; они обязаны были воздерживаться отъ пьянства, игры, читать, сотрудничать въ „Вѣдомостяхъ съ мостовой“. Шубравцы носили миѳологическiя названiя литовскихъ божествъ; самый талантливый изъ нихъ, Андрей Снядецкiй (Sotwaros), заимствовалъ изъ Свифтова Гулливера форму, которой потомъ подражалъ не разъ въ русской литературѣ виленецъ Сенковскiй, въ разсказахъ барона Брамбеуса. Шубравцы комплектовались изъ людей болѣе пожилыхъ, были пуристы, рацiоналисты и классики. Почти одновременно съ образованiемъ веселаго кружка болѣе пожилыхъ шубравцевъ, составился (1817) въ младшемъ поколѣнiи между студентами товарищескiй кружокъ изъ нѣсколькихъ лицъ (сначала 5, потомъ до 14), который чуждался всякихъ политическихъ цѣлей и ставилъ себѣ задачею усовершенствованiе и развитiе умственное и нравственное. Этотъ тѣсный кружокъ, сильно сплоченный и оставшiйся негласнымъ — *филоматы*, послужилъ руководителемъ и ядромъ для другой болѣе обширной и совершенно явной организацiи такъ-называемыхъ *филаретовъ*. Нѣсколько сотъ студентовъ записались въ филареты; правила этого союза были утверждены въ маѣ 1820 г. ректоромъ Семеномъ Малевскимъ, въ которыхъ они названы: bracia pożytecznej zabawy. Члены дѣлились по разрядамъ изучаемыхъ ими наукъ на отдѣленiя. Группы работали порознь, бывали и общiя собранiя и прогулки за городъ. Душою какъ явнаго товарищества филаретовъ, такъ и руководящаго филоматовъ былъ Ѳома Занъ. Союзъ филаретовъ вполнѣ однороденъ съ студентскими тугендбундами Германiи; время его образованiя совпадало съ годами сильнѣйшей реакцiи противъ этого рода союзовъ въ Европѣ и противъ всякихъ вообще обществъ въ Россiи. Въ 1822 г. послѣдовало распо-

---

[1]) Piotr Chmielowski, Towarzystwo Szubrawców i Ięd́rzej Śniadecki, въ Tygodniku illustrowanym, 1878, №№ 106 — 114. «Въ Русскомъ Архивѣ» 1874 помѣщенъ извлеченный изъ оффицiальныхъ источниковъ, но лишенный критики и безъ всякаго знанiя дѣла составленный очеркъ виленскихъ обществъ Бархатцева: «Изъ исторiи виленскаго учебнаго округа».

[2]) Статья проф. Чилiйскаго унив. Игн. Домейки: List o Filaretach i Filomatach, въ изданiи Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu, 1870—1872.

ряженіе попечителя Чарторыскаго, имѣвшее послѣдствіемъ закрытіе товарищества филаретовъ, что не остановило въ 1823 г. слѣдствія надъ соучастниками въ немъ, которое поручено сенатору Новосильцову. Чарторыскій вышелъ въ отставку (1824), мѣсто его занялъ политическій противникъ его Новосильцовъ [1]), удалены отъ мѣстъ профессора Лелевель, Голуховскій, Даниловичъ,—блестящая эпоха существованія виленскаго университета кончилась. Какъ ни кратковременна была дѣятельность филоматскаго братства, вліяніе его на входящихъ въ составъ его членовъ оказалось громаднымъ и чрезвычайно благотворнымъ: оно заключалось въ общеніи не только литературномъ, но и всестороннѣйшемъ нравственномъ; національность представлялась, вслѣдствіе указаннаго выше возрожденія ея въ романтизмѣ, съ совершенно новой стороны, какъ нѣчто новое, еще неопредѣленное, но несказанно великое; чтобы усвоить ее себѣ необходимо переродиться и умственно, и нравственно, и обречь себя всецѣло на службу правды и добра. Въ строгости своей морали филоматы были еще бо̀льшіе пуритане, нежели шубравцы, но не сатирики, а энтузіасты, не классики, а искатели новыхъ эстетическихъ формъ для передачи увлекающаго ихъ содержанія. Общество филаретовъ организовалъ Занъ, но съ первыхъ же поръ любимѣйшимъ изъ товарищей, о которомъ всѣ заботились и на котораго всѣ возлагали надежды, сталъ Мицкевичъ, для жизнеописанія котораго въ послѣднія 15 лѣтъ собрано весьма много матеріаловъ. Эти данныя разъясняютъ до подробностей жизнь и дѣятельность характернаго лица, занимающаго донынѣ кульминаціонное положеніе въ польской литературѣ [2]). Мицкевичъ принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ поэтовъ, которые являются совершенно готовыми, во всеоружіи вполнѣ развитаго весьма многосторонняго дарованія, за то имѣютъ періодъ творчества сравнительно непродолжительный. Для Мицкевича этотъ періодъ продолжался съ изданія перваго сборника его стихотвореній, 1822, до окончанія „Пана Тадеуша“ въ 1834, но можетъ быть подраздѣленъ на двѣ разнохарактерныя части повстаніемъ 1830—31 года. Главные моменты въ жизни и дѣятельности поэта были слѣдующіе.

Адамъ Мицкевичъ родился въ селѣ Заосвѣ близъ Новогрудка,

---

[1]) См. характеристику Новосильцова въ статьѣ Ципринуса (Пржецлавскаго): Калейдоскопъ воспоминаній, въ «Русскомъ Архивѣ», 1872, № [illegible].

[2]) Korrespondencya Adama Mickiewicza Paryż, 2 tomy, 1870—1872. Współudzial A. Mickiewicza w sprawie Towianskiego. 2 t. Paryż 1877. A. E. Odyńca, Listy z Podróży. Warszawa. 4 t. 1875—1878. Статья Ципринуса о А. М. въ Русскомъ Архивѣ, 1872 г. № 10. Статья г-жи Духинской въ 1 т. «Библіотеки Варшавской» 1871 г., въ отдѣленіи Иностранной Лѣтописи. — Примѣчанія и прибавленія въ Mélanges posthumes d' A. M., изданныхъ сыномъ Мицкевича въ Парижѣ: 1-я серія 1872, 2-я серія 1879. Ustęp z pamiętnikow M. Malinowskiego o pobycie A. M. w Petersburgu, въ Kronika rodzinna, 1875, str. 359, 377. W. Korotyński, Kilka szczegółów o rodzinie, miejscu urodzenia i młodości A. M. Wilno 1861. Alb. Gąsiorowski, Ad. Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i Pan Tadeusz. Wadowice 1874.

Минской губерніи [1]), наканунѣ Рождества 24 декабря 1798 г. (слѣдовательно, пятью мѣсяцами раньше Пушкина, род. 26 іюня 1799 г.), и происходилъ изъ стараго литовскаго рода Рымвидовъ-Мицкевичей, имѣющихъ гербъ Порай и княжескую митру въ этомъ гербѣ. По средствамъ, шляхта эта была мелкая; отецъ Мицкевича Николай, безпомѣстный, владѣлъ только домикомъ въ Новогрудкѣ и адвокатствовалъ, содержа довольно многочисленную семью изъ пяти сыновей, изъ которыхъ одинъ, Александръ, былъ потомъ профессоромъ римскаго права въ харьковскомъ университетѣ. Адамъ былъ въ числѣ братьевъ по порядку второй. Хилаго и слабаго ребенка обронила неосторожно мамка изъ окошка; чудесное спасеніе семья приписала заступничеству Богородицы Остробрамской [2]). На десятомъ году Адама отдали въ училище къ отцамъ доминиканамъ, въ Новогрудкѣ. Въ 1812 г. онъ, имѣя 14 лѣтъ, былъ свидѣтелемъ величайшаго событія первой четверти XIX в. —похода Наполеона на Россію, совершавшагося при пробужденныхъ патріотическихъ надеждахъ, возлагаемыхъ большинствомъ Поляковъ на Наполеона, между тѣмъ какъ гораздо меньшая ихъ часть надѣялась на Александра. Это событіе, какъ лучезарное видѣніе, ослѣпило пылкаго юношу и навсегда врѣзалось въ его память. Домъ его родителей заняли на главную квартиру короля Вестфальскаго (Од., III, 54). Съ Наполеономъ шли польскіе легіонисты, бѣлые орлы слѣдовали вмѣстѣ съ золотыми орлами первой имперіи. Оба представленія связались неразрывно въ душѣ Мицкевича [3]), который упивался видомъ героевъ-усачей, поглядывая на нихъ украдкою изъ-за домашняго забора, и который съ тѣхъ поръ сдѣлался наполеонистомъ, предсказывалъ въ Римѣ, въ 1829 году (Од., III, 49), возвращеніе на престолъ династіи и питалъ къ узнику св. Елены родъ культа, дѣлавшагося подъ конецъ жизни все болѣе и болѣе мистическимъ. Мицкевичъ учился хорошо, а такъ-какъ дядя его въ Вильнѣ, ксендзъ Іосифъ Мицкевичъ занималъ должность декана факультета естественныхъ наукъ, то его и направили было въ

[1]) Korresp. Adam. Mick. I, 228, list Aleks. Mick.

[2]) «Панъ Тадеушъ», 1 пѣсня, переводъ Берга, 1875, стр. 4:

Какъ умирающій лежалъ я на одрѣ
. . . .
И ты спасла меня, Заступница святая.

Сравни «Путешествіе» Одынца, III, 69.

[3]) «Годъ приснопамятный, великій и единый,
Останешься въ Литвѣ священной ты годиной!
Ты, урожайная красавица—весна,
Вѣкъ будешь сниться намъ, обильна и красна
Густыми злаками и воиновъ одеждой,
Громами славныхъ битвъ и ясною надеждой.
Досель переносясь въ минувшіе года,
Тебя какъ сладкій сонъ я вижу иногда
И скорбію повитъ, лью слезы и тоскую:
Увы! я въ жизни зналъ одну весну такую!...» (пѣсня XI).

1815 г. къ этому дядѣ, въ надеждѣ помѣщенія въ университетѣ на казенный коштъ. Вакансія была одна, а соискателей двое: Адамъ, предлагаемый деканомъ, и Ѳома Занъ, предлагаемый Контримомъ. Оба соискателя, тутъ же, при первой встрѣчѣ на испытаніи, подружились, стипендію получилъ Мицкевичь, а Зана взялъ къ себѣ Контримъ (Од. I, 359). Оба поступили на филологическій факультетъ, оба писали стихи, оба прошли строгую школу классическаго вкуса на лекціяхъ и упражненіяхъ у Леона Боровскаго. Мицкевичъ сильно вчитывался въ переводъ Тасса Петра Кохановскаго и въ Трембецкаго, знакомился съ древними Римлянами и Греками посредствомъ Гроддека, со взглядами на всеобщую исторію посредствомъ Лелевеля, но первые его опыты въ поэзіи не обѣщали ничего особеннаго,—то были опыты въ дидактическомъ родѣ. Такова *Городская зима* (напеч. 1818 г. въ Tygod. Wilen.), изображеніе зимнихъ забавъ и удовольствій въ городѣ. Въ томъ же классическомъ стилѣ написаны впослѣдствіи стихи къ Іоахиму Лелевелю, къ доктору С., поэма „Шашки". Поэтъ долго носился съ замысломъ большого произведенія, на половину эпическаго, на половину описательнаго: „Картофель", хотѣлъ въ героической части изобразить открытіе Америки, а въ дидактической — представить очеркъ земледѣлія и сельской жизни. Но эти классическія упражненія вскорѣ были оставлены: волна романтизма подмывала почву, починъ въ стремленіи къ новому данъ былъ Заномъ, одна изъ его элегій поразила Мицкевича непосредственностью чувства при простотѣ содержанія и навела на мысль, что поэзію надобно искать въ „правдѣ" жизни, а не наоборотъ (Од., I, 356). Они жили, въ 1818, въ стѣнахъ университетскихъ, на томъ же корридорѣ квартировалъ профессоръ русской литературы Чернявскій, сынъ котораго, любимый ими мальчикъ, прочиталъ имъ однажды съ восторгомъ, который раздѣлили и слушатели, заученную имъ появившуюся балладу Жуковскаго — *Людмилу*, передѣлку Бюргеровой „Леноры". Оба стали писать баллады, сначала Занъ, потомъ Мицкевичъ [1]). Первая баллада Мицкевича, *Лилія*,

[1]) Сынъ Мицкевича, Владиславъ, помѣстилъ во 2 серіи (1879) Mélanges posthumes d'A. M. двѣ безъимянныя повѣсти прозою, извлеченныя изъ Tygodnik Wilenski за 1819 г. «Живилу» и «Карилу», будто бы написанныя отцомъ его, о чемъ онъ узналъ отъ какого-то (не названнаго) друга отца. Единственныя доказательства принадлежности М. этихъ повѣстей заключается какъ въ этомъ весьма неопредѣленномъ преданіи, такъ и въ томъ, что дѣйствующимъ лицомъ въ «Карилѣ» является рыцарь Порай, а Порай есть названіе герба Мицкевича и одно изъ лицъ, выведенныхъ въ отрывкахъ 1 части «Дзядовъ». Эти доказательства кажутся намъ недостаточными и неубѣдительными. Обѣ повѣсти ни по бѣдному своему содержанію, ни по тусклому слогу не обличаютъ дарованія ни одною чертою, въ нихъ не видно ни той образности, которою запечатлѣны первые опыты М. въ классическомъ родѣ, ни того вѣянія новаго духа, пониманія и усвоенія себѣ поэзіи простонародной, которыми проникнуты всѣ съ 1818 романтическія произведенія М. Не можетъ быть, чтобы Мицкевичъ, передававшій Одынцу всѣ обстоятельства, сопровождавшія нарожденіе своей поэзіи, умолчалъ и передъ нимъ и передъ всѣми другими объ этихъ повѣстяхъ, еслибы онѣ имъ были написаны.

написана по простонародному сказанію, съ примѣсью неизбѣжныхъ мертвецовъ и привидѣній. За „Лиліями“ послѣдовали другія. Освободившись уже значительно отъ этихъ романтическихъ аксессуаровъ, Мицкевичъ, передавалъ въ 1829 и 1830 г., въ бесѣдѣ Одынцу свою исходную точку зрѣнія въ творчествѣ, точку зрѣнія, съ одной стороны вполнѣ *реалистическую*, съ другой—*религіозную*. Источники поэзіи: дѣйствительность и правда. Поэзія рождается, когда поэтъ прочувствовалъ и полюбилъ *свое собственное* (т.-е. народное). Предметы и чувства, заимствованные изъ книгъ,—тоже что засушенные или искусственные цвѣты (I, 343). Мицкевичъ имѣлъ самое невыгодное мнѣніе о „Возрожденіи“, погрузившемъ духъ художниковъ въ цѣлое море подражательности (Од., III, 22). Возрожденіе, по его понятіямъ, умертвило чрезъ эту подражательность языческому, поэзію христіанскую, уже развивавшуюся въ правдѣ средневѣковаго чувства (I, 139), но и простонародную поэзію онъ не обоготворялъ. Простонародная поэзія—не источникъ поэзіи; она черпаетъ непосредственно и то рукою, точно сельская дѣвушка воду ключевую, которая потомъ будетъ проведена въ городъ на фонтаны, посредствомъ водопроводовъ (I, 343). Сущность романтизма состоитъ въ томъ, что романтики пишутъ, имѣя передъ собою *нагую* правду, точно живое тѣло, а классики довольствуются манекенами (IV, 301). Классики разумѣютъ подъ формами лишь архитектонику мысли и реторику слога; Мицкевичъ же подъ формою понималъ гармонію, тонъ и колоритъ слова, которые даже независимо отъ содержанія производятъ уже поэтическое впечатлѣніе. Но Мицкевичъ никогда не отдѣлялъ въ поэзіи эстетическаго отъ этическаго. Особенность и времени, въ духѣ котораго было стремленіе ко всестороннему возрожденію, и того кружка молодежи, въ которомъ развивался Мицкевичъ, составляло то, что правда поэтическая разсматривалась только какъ одно изъ средствъ правды моральной, которой міръ жаждетъ и къ которой онъ прокладываетъ себѣ дорогу чрезъ искусство, но не искусство отжившее, придворное, манерное, подражательное, а чрезъ извлеченіе изъ дѣйствительности новыхъ эстетическихъ формъ, искомыхъ въ простонародной поэзіи, въ которой натура всегда преобладаетъ надъ искусствомъ (I, 138). Однако и простонародная поэзія не могла быть для Мицкевича тѣмъ, чѣмъ была она для Гощинскаго: альфою и омегою; она слишкомъ узка по своему умственному кругозору и элементарна. Главный ключъ, изъ котораго струится высшее поэтическое вдохновеніе есть религіозность, есть откровеніе правды душѣ, смиреніемъ проникнутой и расположенной къ ея воспріятію. Отъ начала и до конца своей умственной дѣятельности Мицкевичъ былъ и остался поэтомъ наиглубочайшимъ, образомъ религіознымъ. Къ религіозности этой его располагали и первыя силь-

нѣйшія впечатлѣнія дѣтства, культъ къ исцѣлительницѣ-Богородицѣ, воспоминаніе о первомъ причащеніи [1]), и собственный темпераментъ, расположеніе къ состояніямъ души экстатическимъ, къ творчеству внезапному, по находящему нечаянно вдохновенію. Онъ былъ импровизаторъ, могъ по часамъ цѣлымъ говорить стихами, лицо горѣло румянцомъ, глаза сіяли, порою онъ даже не могъ и объяснить смысла всего того, что́ высказалъ въ моментъ, когда, по выраженію Пушкина, „быстрый холодъ вдохновенія власы подымалъ на челѣ". Товарищи знали и уважали этотъ мистическій уголокъ, эту святыню личныхъ ощущеній и религіознаго чувства, о которыхъ Мицкевичъ не любилъ и разговаривать, а тѣмъ меньше разсуждать. Общество тогдашнее вообще не отличалось благочестіемъ, оно находилось въ живомъ и близкомъ соприкосновеніи съ ученіями энциклопедистовъ и идеями французской революціи, но вмѣстѣ съ тѣмъ сказывалась тогда уже въ цѣлой Европѣ реакція противъ матеріалистическихъ ученій XVIII в.: въ польскомъ обществѣ эта реакція заставляла общество окунуться въ консервативнѣйшія начала духа народнаго, — въ его прошедшее, въ его вѣрованія. Если закоренѣлый раціоналистъ Янъ Снядецкій вслѣдствіе этой потребности становится искренно религіознымъ, миря разсудочно крайнія противоположности, то наоборотъ, при полномъ свободомысліи, отличавшемъ виленское университетское преподаваніе и при индифферентизмѣ молодежи къ исполненію религіозныхъ обрядностей, молодые люди, являя себя романтиками и антираціоналистами, сразу допускали реальное существованіе вещей, о которыхъ, по словамъ Гамлета, и не снилось нашимъ философамъ, считали чѣмъ-то совершенно возможнымъ непосредственное общеніе и съ личнымъ Богомъ и съ невидимымъ міромъ духовъ. Между двумя поколѣніями, изъ которыхъ во главѣ одного стояли Снядецкіе (раціонализмъ и положительная религія), а въ другомъ—молодые люди, ищущіе выраженія для новаго міросозерцанія, произошли разрывъ и столкновеніе. Рознь эту формулировалъ Мицкевичъ, ставя боевую программу новаго направленія въ своей балладѣ: *Романтичность*, — гдѣ выведены на сцену дѣвушка, воображающая, что она разговариваетъ съ умершимъ своимъ любовникомъ, толпа, которая молится за душу умершаго, вѣруя, что эта душа витаетъ гдѣ-нибудь по близости отъ любимой женщины, и мудрецъ со стеклышкомъ (хотя онъ и не названъ, но очевидно передъ поэтомъ носился образъ Яна Снядецкаго), который гласитъ съ само-

---

[1]) Густавъ въ Dziady, IV, по варіанту въ парижскомъ изданіи Мицкевича, 1860, III, 157: «Помнишь, когда ты былъ девяти или десяти лѣтъ, и впервые въ восторгѣ духа сталъ ты на колѣни у перилъ, сокрушенный... и вдругъ на алтарѣ отверзлась занавѣсь, блеснула чаша, зазвенѣли колокольчики и священникъ вложилъ въ твои уста Божье Тѣло?...—Охъ, тогда мнѣ показалось, что моя душа разстается со мною».

увѣренностью: вѣрьте моему глазу и стеклу, я ничего не вижу; духи— плодъ кабачной черни, выкованные въ кузницѣ глупости, дѣвушка бредитъ, а чернь хулу возлагаетъ на разумъ. Поэтъ отвѣчаетъ мудрецу: „дѣвушка чувствуетъ, а чернь глубоко вѣруетъ, чувство и вѣра сильнѣе для меня мудрецова глаза и стеклышка. Тебѣ знакомы мертвыя правды, чуждыя народу, ты видишь ихъ въ былинкѣ, во всякой звѣздной искрѣ, но не знаешь правды живой, не увидишь чуда: *имѣй сердце и гляди въ сердце*"! [1]). Въ этомъ обращеніи къ чувству кроется и великая сила и вся односторонность польскаго романтизма вообще и направленія Мицкевича въ особенности. Необходимо было одолѣть рутину и сухую математическую дедукцію, онѣ и были превзойдены посредствомъ новыхъ пріемовъ творчества, новыхъ методовъ умствованія и углубленія области изслѣдованія; но у молодыхъ бойцовъ было сознаніе силы безъ пониманія, въ чемъ она заключается, и новое направленіе опредѣлялось въ смыслѣ отрицанія рефлексіи, въ смыслѣ утвержденія господства чувства надъ умомъ, котораго роль только подначальная. Настоящую правду, по мнѣнію Мицкевича, недостаточно было знать, необходимо еще проникнуться ея свѣтомъ и теплотою, тогда только будешь дѣйствовать какъ солнце, а не какъ зеркало, отражающее лучи и пускающее зайчики (III. 283). Баллады слѣдовали одна за другою; самая сильная производительность началась въ то время, когда Мицкевичъ, окончивъ университетъ покинулъ Вильно и былъ опредѣленъ въ Ковнѣ учителемъ латинскаго языка. Между ковенскимъ учителемъ и его друзьями въ Вильнѣ существовала тѣснѣйшая связь; они его навѣщали, пѣли его пѣсни, думали о пріисканіи средствъ отправки его для усовершенствованія за границу и для напечатанія перваго сборника его стихотвореній. Онъ пріѣзжалъ самъ читать „Оду къ молодости", „Гражину". Въ ихъ кругу стало несомнѣннымъ фактомъ, что народился великій поэтъ, когда еще никто изъ старшихъ о немъ не зналъ. Во время учительства въ Ковнѣ, продолжавшагося съ 1820 по 1823 годъ, душу поэта взволновала первая сильная страсть, которая по словамъ друзей (Korr. II, 6), оставила слѣды точно пожара въ лѣсу. Этотъ первый романъ крайне простъ и несложенъ. Въ 1818 г. во время каникулъ Занъ завезъ Мицкевича къ знакомымъ богатымъ помѣщикамъ Верещакамъ, въ Новогрудскомъ уѣздѣ, въ селѣ Плужанахъ, въ усадьбѣ Тугановичахъ, на берегу озера Свитези. Здѣсь Мицкевичъ влюбился въ красивую блондинку, Марію, чувствительную, но положительную женщину, которая любила съ нимъ читать, играть въ шашки и мечтать, но, не колеблясь и, какъ кажется, безъ всякой борьбы съ собою, отдала руку и сердце подходящему жениху, моло-

---

[1]) Dziady, IV: «Какъ волкъ иль какъ астрономъ глядятъ они на небо»...

дому зажиточному и весьма образованному помѣщику, Лаврентію Путкаммеру, великому притомъ поклоннику поэтическаго таланта Мицкевича. Мицкевичъ нашелся почти въ такомъ же положеніи, какъ Гёте между Лоттою и Кестнеромъ, хотѣлъ стрѣляться съ счастливымъ соперникомъ, испыталъ адскія муки, тѣмъ болѣе страшныя, что добродушное безупречное отношеніе къ нему счастливой четы, предлагающей ему искреннюю дружбу, не давало возможности претендовать къ „Марылѣ“ и на нее жаловаться, такъ какъ, по его же признанію, она его не вызывала на любовь и не обнадеживала никогда ни словечкомъ [1]). Передъ выходомъ замужъ она съ нимъ объяснилась и взяла съ него слово—если не забыть о ней, то совладать по крайней мѣрѣ съ своимъ чувствомъ. Какъ у Гёте, блеснула и у Мицкевича мысль о самоубійствѣ. Мицкевичъ продолжалъ у Путкаммеровъ иногда бывать (Korr. I, стр. 4), болѣлъ, чуждался людей, искалъ уединенія въ пустыннѣйшихъ мѣстахъ ковенской долины на Нѣманѣ, скорбя и сокрушаясь, поддерживая себя только непомѣрнымъ употребленіемъ кофе и трубки. О силѣ чувства, доводившей его до отчаянія, до безумія, можно судить по его продолжительности. Весною 1823 во время посѣщенія Мицкевича Одынцемъ, въ Ковнѣ, Мицкевичъ, читая свой переводъ Чайльдъ-Гарольдова прощанія, пришелъ въ такое волненіе при словахъ: „зачѣмъ мнѣ плакать, по комъ и о комъ, когда никто обо мнѣ не плачетъ“, что блѣдный какъ полотно упалъ въ обморокъ. Ближайшіе друзья Мицкевича не смѣли напоминать ему о Марылѣ. Много лѣтъ послѣ какъ этихъ страданій, такъ и посвященія „Сестрѣ своей Марылѣ“, изданнаго въ 1823 второго томика стихотвореній, въ которомъ онъ проситъ ее воспоминанія любовника принять отъ руки брата, — рана сердца открылась опять въ 1829 г. При переѣздѣ Мицкевичемъ Альпійскихъ горъ въ Сплюгенѣ, призракъ Марыли воскресъ и поэтъ писалъ слѣдующее: „Итакъ не могу я разстаться съ тобою, никогда, никогда; плывешь ты моремъ за мною и идешь по сушѣ; я вижу на ледникахъ твои блестящіе слѣды и голосъ твой слышу въ шумѣ альпійскаго водопада“. Испытанное имъ сильное глубокое потрясеніе воспламенило и окрылило его дарованіе. Какъ только улеглись первыя судороги раздраженнаго чувства, обнаружилась характернѣйшая особенность психической организаціи Мицкевича, необыкновенная мужественная чувствительность, дѣлающая его способнымъ ощущать несравненно сильнѣе другихъ и радость и горе и тотчасъ же сплавлять ихъ и претворять въ произведенія искус-

---

[1]) «Увлекла ли меня двусмысленнымъ словечкомъ? Ловила ли вызывающею улыбкою?... Гдѣ ея клятвы, какія обѣщанія? Давала ли мнѣ она хотя бы во снѣ надежду? Нѣтъ, нѣтъ, самъ я питалъ воображаемые призраки; самъ я приготовилъ ядъ, сводящій меня съ ума». (Dziady, IV).

ства—не при посредствѣ рефлектирующаго воображенія, какъ дѣлалъ Гёте, но со всею непосредственностью и теплотою первыхъ ощущеній. Эту способность онъ сознавалъ и изобразилъ въ крымскомъ сонетѣ *Аюдагъ*, въ которомъ сравнилъ переживаемое поэтомъ съ волною моря, которая, уходя, оставляетъ на берегу раковины и жемчужины. „И въ твоемъ сердцѣ, молодой поэтъ, страсть подымаетъ бурныя невзгоды, но едва ты взялъ лиру, какъ она, безъ вреда для тебя, бѣжитъ погрузиться въ забвеніе, роняя за собою безсмертныя пѣсни, вѣнцомъ которыхъ вѣка украсятъ твое чело“. Его энтузіазмъ для всякой великой идеи былъ пламенный, активный, потрясающій всѣ нервы, напрягающій всѣ мышцы воли, далекій отъ идеальной мечтательности Шиллера, никогда не забывавшаго о неосуществимости абсолютнаго добра, о томъ что *das Dort ist nimmer hier*. Его любовь къ добру не была платоническая, не отдѣляла слова отъ дѣла, и направляема была вѣрою на достиженіе даже несбыточнаго и невозможнаго. Таковъ смыслѣ его извѣстной „Оды къ юности“ (напеч. впервые 1828, но написанной гораздо ранѣе), сдѣлавшейся марсельезою молодого поколѣнія. „Кто, бывъ ребенкомъ, въ колыбели еще обезглавилъ гидру, тотъ, возмужавъ, задавитъ кентавровъ, исторгнетъ жертвы у ада, взойдетъ на небо за лаврами. Хватай, чего взглядъ не емлетъ, ломи, чего разумъ не сломитъ. О юность! орлиная—сила твоего полета и молніеносна твоя рука. Друзья! рука въ руку! опояшемъ земной шарище, соединимъ мысли и дýхъ въ одинъ фокусъ. Впередъ, впередъ, міръ-громада, мы толкаемъ тебя на новые пути, пока освободившись отъ заплеснѣлой коры, не вспомнишь ты зеленые года!“ На первыхъ порахъ послѣ того, чтó, не будучи измѣною со стороны Марыли, отравило однако жизнь поэта, книги ему опостыли, развлекалъ его только Байронъ, котораго онъ обожалъ за его, по понятіямъ Мицкевича, правдивый реализмъ и въ которомъ впослѣдствіи находилъ много сходнаго съ другимъ своимъ любимцемъ — Наполеономъ (Korr. I, стр. 5; Mélanges, I, 269). Затѣмъ онъ искалъ исцѣленія, какъ и Гёте, въ томъ, что отдѣлился отъ своей любви своимъ произведеніемъ. Онъ изобразилъ романъ этой любви, въ IV части, широко задуманной, но никогда не оконченной *тетралогіи* „Дзяды или Поминки“, которой планъ и сюжетъ, вслѣдствіе неоконченія цѣлаго, навсегда останутся загадочны, значеніе же имѣютъ отдѣльныя только части, изъ которыхъ въ 1823 изданы въ 2-мъ томикѣ „Стихотвореній“ 2-ая и 4-я [1]). Заглавіе поэмы случайное и не объясняетъ ея

---

[1]) Лекціи Стан. Тарновскаго о «Дзядахъ» въ Biblioteka Warszawska, 1877, II 185; P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Warszawa 1873; W. Cybulski, Dziady Mickiewicza. Poznań, 1863; L. Siemieński. Religijność mistyka w życiu i poezyach Mickiewicza. Kraków, 1871.

сюжета. Въ римско-католической церкви день 2 ноября (день *задушный*) посвященъ памяти умершихъ предковъ. По обычаю. восходящему ко временамъ языческимъ и сохраняющемуся несмотря на противодѣйствіе со стороны духовенства, простой народъ собирается въ этотъ день на кладбищѣ, ставитъ на могилахъ яствы и напитки и угощаетъ ими мертвецовъ. Поэтизированію этого обряда, который по своей связи съ міромъ духовъ и по своей простонародности вполнѣ отвѣчалъ требованіямъ романтизма, вѣровавшаго въ обновленіе поэзіи посредствомъ введенія въ нее живьемъ простонародныхъ повѣрій, посвящена 2-я часть „Дзядовъ". Въ уединенной каплицѣ на кладбищѣ собрались крестьяне, при изображеніи которыхъ поэтъ не отдѣлался еще отъ преданій классической идилліи. Нота—простонародная, слогъ—цвѣтистый, а дѣйствующія лица—пастухи, пастушки, хоръ и главное лицо—гусляръ, знахарь и волхвъ, который зажиганіемъ огня въ темнотѣ и заклинаніями вызываетъ страдающія въ аду или блуждающія въ чистилищѣ души, чтобы ихъ напоить, накормить и отогнать съ Богомъ, когда имъ нельзя уже ничѣмъ болѣе помочь. Является постепенно рядъ видѣній, то ясныхъ, то страшныхъ; балованныя дѣти, вымаливающія зернышко горчицы, потому что не попадетъ въ небо человѣкъ, не испытавшій горечи ни разу; жестокій панъ помѣщикъ, котораго терзаютъ вороны и совы—замученные имъ мужики; безсердечная красавица, только игравшая любовью другихъ. Переходомъ къ слѣдующимъ частямъ служитъ появленіе духа самоубійцы изъ любви, неподдающагося заклинаніямъ и исчезающаго только тогда, когда вывели изъ каплицы женщину, изъ-за которой онъ наложилъ па себя руку. Этотъ рядъ сценъ красивыхъ и граціозныхъ, полу-фантастическихъ, но съ фантастичностью дѣланною, до извѣстной степени машинною—служилъ только прелюдіею и имѣетъ значеніе простого аксессуара, фона, рамки для послѣдующаго. Такое же значеніе аксессуаровъ, романтической шелухи, которую можно, какъ несущественную, выбросить, имѣютъ по смерти автора изданные ковенскіе отрывки первой части „Дзядовъ". Дѣвушка, начитавшаяся моднаго въ свое время романа *Valérie* г-жи Крюднеръ, мечтаетъ о сродствѣ душъ и о атомахъ, которымъ предопредѣлено соединиться и которые себя взаимно ищутъ; есть и *Густавъ*, котораго имя заимствовано изъ романа г-жи Крюднеръ. Ведомый гусляромъ хоръ народа отправляется на кладбище. Единственная личная черта замѣтна лишь во вставной легендѣ о *Порaѣ* (гербъ Мицкевича), любовникѣ Марыли, который окаменѣлъ по поясъ, но можетъ быть спасенъ, если разбить волшебное зеркало; Порай до такой степени сжился со своимъ страданіемъ, что, вмѣсто того, чтобы разбить зеркало—поцѣловалъ его, вслѣдствіе чего весь превратился въ камень. Третьей части „Дзядовъ" вовсе нѣтъ; то, что

носитъ это заглавіе, написано позднѣе, въ Дрезденѣ, и изображаетъ слѣдствіе Новосильцова надъ филаретами, событія 1824 г., преображеніе невиннаго мечтателя въ пѣвца и дѣятеля политическаго. Вся суть изданнаго въ 1823 г. подъ неопредѣляющимъ ничего именемъ „Дзядовъ“ заключается въ 4-й ихъ части, и притомъ въ этой четвертой части интересна вовсе не фабула, которая обнаруживаетъ свойства молодой еще руки, не пріобыкшей владѣть вполнѣ идеею, сдѣлать произведеніе впослѣ осмысленнымъ, сдѣлать замыселъ полностью прозрачнымъ. Въ „задушный“ день старикъ вдовецъ ксендзъ садится ужинать съ дѣтками. Входитъ странникъ, одѣтый въ листья, цвѣты и лохмотья, съ кинжаломъ у пояса, съ дикими выходками. Его принимаютъ изъ состраданія и угощаютъ. Въ этомъ, повидимому, сумасшедшемъ ксендзъ мало-по-малу узнаетъ любимаго ученика своего Густава. Въ чередующихся на устахъ Густава смѣхѣ и стонѣ, язвительной иронiи и безпредѣльномъ горѣ есть однако связь и логика, но логика страсти. Юноша распалилъ воображеніе книжными романами и искалъ идеальной любовницы, которой нѣтъ въ подсолнечной; онъ ее однако нашелъ и испыталъ всѣ блаженства любви (среди этого разсказа прошелъ *первый* часъ любви и погасла одна свѣча въ избѣ ксендза). Но любимая женщина оставляетъ юношу, беретъ съ него слово забыть ее, отдаетъ руку другому. Съ растерзаннымъ сердцемъ Густавъ посѣщаетъ бесѣдку послѣдняго свиданія, проникаетъ украдкою между пирующихъ на свадьбѣ, и падаетъ за-мертво безъ чувствъ; потомъ онъ готовится идти убить выродившееся чудовище, потомъ смягчается, вспоминая ея доброту, то, что она его ничѣмъ не обнадеживала. Гордость мужчины беретъ верхъ надъ страданіемъ, онъ проситъ ксендза передать ей, что онъ былъ веселъ, что онъ ее забылъ, что, танцуя, онъ упалъ, ушибся и умеръ—но въ тоже время пронзаетъ самъ себя кинжаломъ. Въ этотъ моментъ гаснетъ другая свѣча, кончился часъ *отчаянія*, привидѣніе должно бы исчезнуть, но оно остается, на цѣлый третій часъ *предостереженія*. Густавъ—не человѣкъ, а привидѣніе, духъ его обреченъ на то, чтобы ежегодно въ задушный день перестрадать опять выстраданное, доведшее его до самоубійства. Ксендза онъ убѣждаетъ не мѣшать народу справлять Дзяды. Все кругомъ наполнено такими страдающими духами, въ сундукѣ кается духъ сребролюбца въ видѣ червячка толкача, на свѣчку летитъ тусклый рой ночныхъ мотыльковъ: цензоровъ и мраколюбцевъ. Не понятно въ этой фабулѣ: кто Густавъ? сумасшедшій или несумасшедшій, а только болѣющій субъектъ, и притомъ не ясно, привидѣніе ли онъ или живой человѣкъ? Призрачнаго въ немъ ничего нѣтъ, всѣ его чувства въ высшей степени реальны. Ему, несчастному страдальцу, незачѣмъ собственно и каяться и казниться; поэма вовсе не построена на богослов-

ской идеѣ о грѣховности самоубійства, задача состоитъ въ мотивированіи неизбѣжности рокового финала и цѣль поэтическая достигнута: возбуждено сильнѣйшее состраданіе къ несчастному. Фантастическій элементъ введенъ, но онъ не существенъ,—устранимъ его: представимъ, что свои страданія передаетъ живой человѣкъ—и въ результатѣ получимъ произведеніе колоритнѣе страданій Вертера и потрясающее еще сильнѣе. Призраки и фантастическое введены по примѣру „Фауста" Гёте, а еще болѣе подъ вліяніемъ „Манфреда". Байрономъ ограничивался въ то время Мицкевичъ, оставивъ даже и Шекспира, чрезъ котораго передъ тѣмъ онъ протискивался съ лексикономъ въ рукѣ, точно богачъ евангельскій чрезъ игольное ушко (Korr. I, стр. 7). Подобно Гёте, Мицкевичъ вполнѣ сознаетъ болѣзненную надломленность своего *я* въ прошедшемъ, и относится къ безповоротно прожитому съ точки зрѣнія изцѣлившагося человѣка, въ которомъ сохранилось только воспоминаніе. Къ несчастной любви расположилъ юношу книжный сентиментализмъ—„юности моей адъ и пытка; они-то, эти книги, вывихнули мои крылья и сдѣлали меня неспособнымъ летѣть внизъ, а только вверхъ". Книжки эти названы: Страданія Новой Элоизы—Руссо, пѣсенки Шиллера, Вертеръ. „Одна только и есть искра въ человѣкѣ, которая зажигается разъ только въ юности; если ее раздуло дыханіе Минервы, то встанетъ мудрецъ и Платоновою звѣздою будетъ озарять міровой путь; если гордыня воспламенила факеломъ эту искру, тогда встаетъ герой, передѣлываетъ жезлъ пастуха на скипетръ и разваливаетъ старые престолы; если искру зажжетъ взоръ женщины, она будетъ сама въ себѣ перегорать, какъ лампада въ римскомъ гробу". — На первыхъ порахъ поэтъ, вѣроятно, и думалъ, что все въ немъ кончено, что несчастная страсть убила въ немъ всѣ задатки будущаго, что вслѣдствіе ея въ немъ умеръ и „Годфредъ Бульонскій" и „Янъ Собѣскій"; вѣроятно онъ и отвѣчалъ друзьямъ, какъ Густавъ на вопросъ ксендза: а знаешь ты евангеліе?—словами: а знаешь ты несчастіе? Но это состояніе духа не продолжалось уже, когда онъ писалъ чудную, поэтически-правдивую и лучшую, какая есть въ польской литературѣ, поэму страданія любви. Для исцѣленія не потребовалось вовсе толчка извнѣ, средства нашлись въ самомъ искусствѣ.— Въ то самое время, когда друзья боялись, что поэтъ свихнулся и тревожно слѣдили за „нелестнымъ впечатлѣніемъ отъ несвоевременнаго обличенія его любовныхъ чувствъ" (Korr. II, 6), сочинялась другая поэма, наиболѣе объективная, эпосъ древне-литовскій—*Гражина*, вещь до такой степени классическая по совершенству формы, по величавому спокойствію и простотѣ, что еслибы польскіе классики понимали что-нибудь въ искусствѣ, то они должны-бы были преклониться предъ этимъ произведеніемъ, безупречнымъ со стороны „правилъ",

но не по „правиламъ“ задуманнымъ и исполненнымъ. Гёте былъ способенъ на этого рода творчество, но только послѣ итальянскаго путешествія; въ Гёте, какъ извѣстно, одно направленіе медленно смѣнялось другимъ, въ Мицкевичѣ онѣ совмѣщаются уже въ ранней молодости: субъективнѣйшій лирикъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и первоклассный эпикъ, совсѣмъ закрытый своимъ произведеніемъ, которое, не имѣя ничего общаго по содержанію съ современными вопросами и интересами, можетъ привлекать только эстетическими своими красотами. Дѣйствіе происходитъ въ языческой Литвѣ, въ Новогрудскомъ зàмкѣ и его окрестностяхъ. Князь Литаворъ, недовольный Витольдомъ, призвалъ въ помощь тевтонскихъ рыцарей; жена его, Гражина, не успѣвъ убѣдить его отказаться отъ этой измѣны своему племени, сама распорядилась отказать въ пріемѣ Нѣмцамъ, а когда разгнѣванные союзники направили свой ударъ на княжескую столицу, вмѣсто того, чтобы идти на Витольда, Гражина, надѣвъ доспѣхи мужа и выдавая себя за него, вступаетъ съ Нѣмцами въ сраженіе, въ которомъ хотя побѣда остается за Литовцами, благодаря подоспѣвшему вò время Литавору, но княгиня смертельно ранена выстрѣломъ изъ нѣмецкой пищали. Справляя ей похороны по языческому обряду, сожигаютъ вмѣстѣ съ ея тѣломъ плѣннаго командора ордена — ея убійцу, но въ пламя костра бросается, ища смерти, и самъ Литаворъ.

„Гражина“ заканчивала циклъ первыхъ юношескихъ произведеній, съ появленіемъ которыхъ совершился, не безъ боя и не безъ крайняго раздраженія сторонъ, переломъ въ обществѣ въ пользу романтизма. Раздраженіе доходило до личностей. Послѣ появленія перваго томика стихотвореній, 1822, старикъ Янъ Снядецкій, выведенный въ „Романтичности“ не въ лестномъ образѣ мудреца со стеклышкомъ, заставъ у коллеги профессора Бэкю Мицкевича, сдѣлалъ видъ, что его не узнаетъ, и безпощадно глумился надъ произведеніями, которыхъ не понималъ, не спуская и автору, причемъ Снядецкому вторилъ и помогалъ и самъ хозяинъ, тоже классикъ. Мицкевичу неловко было возражать, онъ былъ застѣнчивъ, онъ былъ притомъ въ отношеніи подчиненнаго къ начальству, какъ ковенскій учитель. Онъ смолчалъ, но не забылъ и въ страстной его душѣ Снядецкіе и классики изъ партіи литературной превратились въ людей отжившихъ, въ противниковъ того дѣла, которое выпадало на долю молодому поколѣнію и самаго молодого поколѣнія [1]).

Въ концѣ 1823 г. дружескій студентскій кружокъ еще сильнѣе сплотился и оживился, когда филаретами наполнились виленскіе монастыри, превращенные въ тюрьмы, причемъ самый духъ общества

[1]) Ant. Małecki, Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła. 2 t. Lwów, 1866. I, 57.

преобразился; прибавилось новое начало, ѣдкій политическій ферментъ. Преобразованіе это, изображенное впослѣдствіи въ 3-й части „Дзядовъ", отмѣчено Мицкевичемъ: calendis novembris MDCCCXXIII obiit Gustavus. Natus est Conradus. Заключеніе не было очень строго; заключенные посѣщали другъ друга въ кельяхъ, обмѣнивались мыслями, сокращая томительную скуку ожиданія. Дѣло кончилось безъ суда, по конфирмованному 14 августа 1824 г. докладу новосильцовскаго комитета: нѣсколько человѣкъ сосланы; сильнѣе другихъ пострадалъ Занъ, взявшій на себя всевозможныя вины. Мицкевичъ и другъ его, сынъ бывшаго ректора, Францъ Малевскій, которымъ была предложена служба во внутреннихъ губерніяхъ, избрали Одессу, гдѣ Мицкевичъ надѣялся получить мѣсто въ Ришельевскомъ лицеѣ. Они направились на Петербургъ, прибыли туда въ ноябрѣ 1824 г., тотчасъ послѣ наводненія. Въ Одессѣ Мицкевичъ не получилъ мѣста, воспользовался только случаемъ и посѣтилъ (осенью 1825 г.) южный берегъ Крыма, въ компаніи съ талантливымъ разсказчикомъ, знавшимъ старую Польшу наизусть, графомъ Генрихомъ Ржевускимъ. Мицкевичу открылся Востокъ, хотя не самый дальній, но все-таки поражающій яркостью красокъ; онъ сталъ изучать восточныхъ поэтовъ въ подлинникахъ и издалъ въ Москвѣ томикъ сонетовъ, между которыми есть подражанія Петраркѣ, но роскошнѣе другихъ писанныя въ пестромъ восточномъ стилѣ *Крымскіе Сонеты*.—Здѣсь, въ Москвѣ, гдѣ Мицкевичъ числился состоящимъ на службѣ въ генералъ-губернаторской канцеляріи, написанъ былъ въ 1827 г. и отправленъ въ Петербургъ для напечатанія (1828 г. у К. Края) *Конрадъ Валенродъ*, переведенный нѣсколько разъ, равно какъ и сонеты, на русскій языкъ, и сдѣлавшійся тотчасъ-же громко извѣстнымъ въ обѣихъ литературахъ, — самое глубокое изъ его произведеній первой эпохи и едва-ли не самое характерное для опредѣленія русско-польскихъ отношеній въ тридцатыхъ годахъ. Для уразумѣнія его необходимо принять въ соображеніе слѣдующее. Слѣдствіе Новосильцова не было явленіемъ мѣстнымъ; оно совпадало съ дѣятельностью Рунича, Магницкаго, архимандрита Фотія, со всеобщею реакціею; оно осложнялось только національнымъ вопросомъ, который не ставился, однако, ребромъ, не выходилъ изъ ряда внутреннихъ вопросовъ русской жизни. Студенты виленскіе глубоко были опечалены преслѣдованіемъ преподаванія и тѣмъ, что разсаднику умственной жизни, университету, нанесенъ былъ страшный ударъ; вѣроятно каждый изъ нихъ давалъ въ душѣ обѣтъ не допустить, чтобы зажженный въ Вильнѣ свѣточъ просвѣщенія погасъ, но затѣмъ дальше этого намѣренія не простирались и не переходили въ агитацію. Значительная часть бывшихъ филаретовъ достигла впослѣдствіи вліятельныхъ мѣстъ, почетныхъ должностей и

пользовалась репутаціей людей благонамѣренныхъ и спокойныхъ. Нѣкоторые изъ бывшихъ въ заключеніи, являли видъ мучениковъ и отшельниковъ, но Мицкевичъ потѣшался надъ ними; по его словамъ [1]), можно бывать въ обществѣ, танцовать, пѣть, даже играть въ карты, не оскорбляя другой новой любовницы (отчизны), которая вовсе того не требуетъ, чтобы рыцарь ея вызывалъ на бой, какъ Донкихотъ, проѣзжихъ по дорогамъ или удалялся въ пустыни; онъ признается, что онъ не прочь ѣсть трефный бифштексъ Моабитовъ и питаться мясомъ отъ алтаря Дагона и Ваала. Поэтъ утверждаетъ, что онъ повеселѣлъ у базиліанъ (въ тюрьмѣ), что онъ сталъ въ Москвѣ спокойнымъ и даже разумнымъ человѣкомъ; что муза его облѣнилась. Онъ былъ постоянно развлекаемъ, потому что, сверхъ своего польскаго общества, русское принимало его весьма радушно и чуть не баловало. Полевой предлагалъ ему сотрудничество въ „Телеграфѣ“; его другомъ былъ князь П. А. Вяземскій; кружокъ литераторовъ—въ числѣ ихъ братья Кирѣевскіе, Баратынскій, Полевой, Шевыревъ, С. Соболевскій—поднесли ему при разставаніи кубокъ съ вырѣзанными на немъ стихами И. Кирѣевскаго [2]); личныя задушевныя отношенія Мицкевичъ сохранялъ къ Русскимъ даже и послѣ того, когда всякій спокойный споръ о національномъ сдѣлался между Поляками и Русскими невозможенъ. Онъ и третью часть „Дзядовъ“ посвятилъ друзьямъ-Москалямъ, „которыхъ знакомыя лица имѣютъ право гражданства въ его мечтаніяхъ“ и въ отношеніи къ которымъ онъ „хранилъ всегда чистоту голубя“. Но по своей исключительно-національной точкѣ зрѣнія Мицкевичъ раздѣлялъ народъ и государство; недоступна и непонятна была ему, вскормленному преданіями самоопредѣляемости личности, противоположная тому формула развитія. Свои впечатлѣнія, вынесенныя изъ Россіи, Мицкевичъ изобразилъ впослѣдствіи въ извѣстномъ отрывкѣ, прибавочномъ къ „Дзядамъ“: „Край этотъ пустъ, бѣлъ и открытъ какъ листъ бумаги для письма. Будетъ ли Богъ по ней писать перстомъ? Напишетъ ли онъ буквами—добрыми людьми—святую правду, что родомъ людскимъ управляетъ любовь и что трофеи міра—жертвы?... Тѣ люди сѣвера—здоровые и крѣпкіе, но ничего не выражаютъ лицами, потому что огонь сердецъ ихъ кроется точно въ подземныхъ вулканахъ, не перешелъ на лица, не играетъ на распаленныхъ устахъ, не застываетъ въ морщинахъ чела, какъ на лицахъ другихъ народностей востока и запада, чрезъ которые прошло столько преданій и событій, скорбей и надеждъ, что каждое лицо стало памятникомъ цѣлаго народа“. Отвлеките государство отъ національности, вообразите,

---

[1]) Korr. I, 15: list do Czeczota i Zana 1827 r. 5 stycznia.

[2]) Р. Архивъ, 1874, № 7.

что оно само по себѣ, а народъ—заключенная въ личинкѣ гусеница, самъ по себѣ, тогда эта сторукая, всевластная машина представится чѣмъ-то подавляющимъ личность превосходствомъ матеріальной силы, которою она располагаетъ. Неравенство силъ вызываетъ вопросъ о средствахъ для борьбы. Мицкевичъ, который въ январѣ 1827 г. писалъ друзьямъ (Korr. I, 17), что онъ читаетъ „Фіеско" Шиллера и Макіавеля, ступилъ мысленно на пологій путь, избранный и итальянскимъ патріотомъ, отъ котораго онъ и заимствовалъ эпиграфъ для Валенрода: dovete adunque sapere come sono due generazioni da combattere... bisogna essere volpe e leone [1]). Жгучій вопросъ современный ставился Мицкевичемъ совершенно отвлеченно какъ простая, никѣмъ еще, кромѣ него, неугадываемая возможность въ будущемъ, и возникъ при разработкѣ сюжета, который не имѣлъ, повидимому, ничего общаго съ современностью. То былъ второй отрывокъ изъ исторіи языческой Литвы, изъ которой Мицкевичъ уже извлекъ „Гражину": съ одной стороны машина—орденъ, съ другой—засыпаемая прибоемъ волны, наносящей пласты иностраннаго песку,—Литва; да среди этой борьбы загадочное лицо въ хроникѣ—великій магистръ ордена Валенродъ, пьяница, едвали не еретикъ, содѣйствовавшій дурнымъ управленіемъ паденію ордена. Мицкевичъ объяснилъ это лицо, превративъ его въ замаскированнаго Литовца. Этотъ вскормленный и вышколенный орденомъ волченокъ, при первой оказіи, бѣжитъ въ лѣсъ къ своимъ, женится на дочери Кейстута Альдонѣ, но покидаетъ ее и родину, чтобы, исчезнувъ, послѣ того, какъ память о немъ пропала, явиться орденскимъ рыцаремъ, добиться власти и подсѣчь корни ордену, истощивъ его и раззоривъ вражескимъ образомъ умышленно. Лицо Валенрода задумали было въ духѣ господствовавшей тогда поэзіи—по-байроновски; это озлобленный и исказившійся человѣкъ громадныхъ размѣровъ, въ которомъ большое сердце—все равно что большой улей: „если не наполнятъ его пчелы медомъ, тогда оно становится гнѣздомъ для ящерицъ". Въ чувствахъ Валенрода по отношенію къ ордену и Нѣмцамъ было много аналогичнаго съ чувствами самого Мицкевича и его современниковъ. Отождествляя себя болѣе и болѣе съ своимъ героемъ, Мицкевичъ примѣсью этого субъективнаго элемента испортилъ въ художественномъ отношеніи свой эпосъ, сдѣлавъ его и необъективнымъ и не-историческимъ. Въ 1829 г. Мицкевичъ самъ сознавалъ, что Валенродъ въ цѣломъ—произведеніе неудавшееся (Одынецъ I, 128). Дѣйствіе идетъ скачками, многое интересное только намѣчено, напримѣръ главная задача Валенрода—походъ

---

[1]) Сравни разсказъ Вайделота въ Валенродѣ: «ты рабъ,—единственное оружіе раба есть измѣна».

на Литву. Старый Альфъ—Валенродъ, мужъ крови и дѣла, въ которомъ замерли всѣ чувства, кромѣ непримиримой ненависти къ ордену, сантиментальничаетъ съ не менѣе пожилою Альдоною—отшельницею, поселившеюся въ пригородной замуравленной башнѣ. Онъ медлитъ походомъ, чтобы не терять возможности бесѣдовать съ нею по ночамъ; вернувшись изъ похода, въ которомъ онъ извелъ тысячи Нѣмцевъ, онъ ей разсказываетъ о вербахъ и цвѣткахъ любимой ковенской долины. Альдона отказывается покинуть башню и бѣжать съ Альфомъ, боясь, что онъ увидитъ, что она стара и безобразна. Всѣ эти анахронизмы забываются при созерцаніи исполинской фигуры Альфа въ минуту, когда, съ величавымъ презрѣніемъ, скидая съ себя маску лицемѣрія и попирая ногами магистерскій крестъ, онъ смѣется адскимъ смѣхомъ удовлетвореннаго злорадства: „Вотъ грѣхи моей жизни. Я готовъ умереть, чего-жъ хотите болѣе? Желаете ли отчета по должности? Посмотрите на тысячу погибшихъ, на выжженныя владѣнія... Слышите вихрь, онъ мчитъ тучи снѣга—тамъ замерзаютъ остатки вашей рати! слышите—воютъ стада голодныхъ псовъ,—они грызутся изъза остатковъ пира!.. Все сдѣлалъ я; горжусь и величаюсь: сколько головъ у гидры отсѣкъ я однимъ ударомъ; подобно Самсону, однимъ потрясеніемъ столба я разрушилъ все зданіе и гибну подъ нимъ!“... Никогда „Валенродъ“ не былъ, по понятіямъ автора, политическою программою, онъ даже и не предлагалъ его какъ идеалъ, но онъ облюбовалъ созданное имъ лицо, носился долго съ идеями Валенрода, а въ этихъ идеяхъ есть доля яду, опасная, вредоносная мораль, вселяющая полное недовѣріе по одной сторонѣ и дающая возможность по другой всякимъ ренегатамъ прикрываться, корчить изъ себя валенродствующихъ [1]). Ни свои, ни чужіе не уразумѣли практическихъ послѣдствій идеи, запрятанной глубоко на днѣ произведенія. Сонеты и „Валенродъ“ распространились въ русскихъ многочисленныхъ переводахъ почти одновременно съ подлинникомъ [2]). Мицкевича считали байронистомъ. Е. Баратынскій писалъ ему:

Когда тебя, Мицкевичъ вдохновенный,
Я застаю у Байроновыхъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный,
Возстань, возстань и вспомни: самъ ты Богъ.

(Р. Арх., 1872, № 10, с. 1906).

Предъ Мицкевичемъ открылись аристократическія гостиныя, въ

---

[1]) Juliusz Słowacki, Bieniowski, стр. 11: «Валенродичность или Валенродизмъ сдѣлали много добра—премного! Они ввели извѣстный методъ въ измѣну, вмѣсто одного создали десять тысячъ измѣнниковъ».

[2]) Лучшій переводъ Шершеневича, 1858, въ «Современникѣ»; есть переводы Шевырева, Врончепки, Шнигоцкаго, Бенедиктова. Сонеты переводили кн. Вяземскій, Дмитріевъ, Козловъ, княгиня Зинаида Волконская.

томъ числѣ гостепріимный домъ писательницы, княгини Зинаиды Волконской; вскорѣ потомъ Мицкевичу разрѣшено пріѣхать въ Петербургъ (конецъ 1827 г.), а вслѣдъ затѣмъ и совсѣмъ переселиться. Съ апрѣля мѣсяца 1828 по май 1829 г. проведены въ шумномъ круговоротѣ самыхъ разнообразныхъ удовольствій въ отборномъ интеллигентномъ обществѣ сѣверной столицы. Мицкевичъ былъ, какъ у себя дома, у европейской знаменитости, піанистки Маріи Шимановской, урожденной Воловской (умершей отъ холеры въ 1831 г.), на дочеряхъ которыхъ женились впослѣдствіи Малевскій и Мицкевичъ. Его окружали преданные друзья, товарищи ссылки и восторженные почитатели, для которыхъ наканунѣ Рождества, 1827, онъ на предложенный Николаемъ Малиновскимъ сюжетъ импровизировалъ въ два часа цѣлую историческую драму стихами: „Самуилъ Зборовскій“ [1]). Три дня спустя, за обѣдомъ у Ѳаддея Булгарина [2]), Мицкевичъ сильно нападалъ на Сенковскаго за тенденціозныя искаженія истины въ его Collectanea въ подробностяхъ, касающихся польской исторіи [3]). Сенковскаго онъ не любилъ и считалъ ренегатомъ и опаснымъ человѣкомъ (Korresp. I, 33). Мицкевичъ душевно привязался къ живописцу Іосифу Олешкевичу, теозофу и мистику, евангельски простому и сердобольному (ум. 1830 г.), руководившему до закрытія тайныхъ обществъ масонскою ложею Бѣлаго Орла. Мицкевичъ былъ обласканъ русскимъ поэтомъ Жуковскимъ, и посѣщалъ женатаго на полькѣ министра просвѣщенія Шишкова. Сестра Генриха Ржевускаго, К. Собанская (нынѣ г-жа Лакруа, жена Жюля Лакруа), заставила его ближе познакомиться съ Пушкинымъ, уже значительно измѣнившимся въ своихъ воззрѣніяхъ сравнительно съ александровскою его эпохою [4]), но добродушно откровеннымъ съ людьми, съ которыми онъ сходился покороче. По словамъ Пржецлавскаго [5]), Пушкинъ открыто признавалъ въ Мицкевичѣ превосходство начитанности и болѣе систематическихъ литературныхъ знаній; въ отзывахъ о Мицкевичѣ слышится неизмѣнно глубокое уваженіе и сочувствіе [6]). И Мицкевичъ засвидѣ-

---

[1]) Ustęp z pamiętników M. Malinowskiego. Kronika rodzinna 1875, №№ 23—24.

[2]) Въ письмахъ къ Лелевелю Булгаринъ заявляетъ, что онъ любитъ Польшу, но comme un être metaphysique qui n'existe que dans la raison, но боится, чтобы его не заподозрили въ полякованіи, причемъ пришлось бы разстаться съ довѣріемъ публики (Bibl. Warsz. 1877, I, 222).

[3]) Echo, rok 1878.

[4]) Статья Мицкевича о Пушкинѣ въ *Globe*, 25 мая 1837 г., и въ его лекціяхъ литературы славянской—обѣ въ Mélanges I, стр. 277.

[5]) Ципринуса, въ Р. Архивѣ 1872, № 10.

[6]) «Средь племени ему чужого, злобы
Въ душѣ своей къ намъ не питалъ онъ; мы
Его любили... Съ нимъ
Дѣлились мы и чистыми мечтами
И пѣснями (онъ вдохновенъ былъ свыше
И съ высоты взиралъ на жизнь). Нерѣдко

тельствовалъ, что онъ душевно побратался съ великимъ сверстникомъ [1]). Оба они, обмѣнявшись мыслями не объ однихъ только предметахъ искусства; оба стояли однажды на дождѣ, прикрытые плащомъ Мицкевича, передъ *мѣднымъ всадникомъ* Фальконета [2]) и даже слѣдъ ихъ бесѣды остался съ одной стороны въ отрывкѣ *Pomnik Piotra Wielkiego*, съ другой въ посмертномъ Пушкинскомъ „Мѣдномъ Всадникѣ". Конечно, поэтическій вымыселъ сплетенъ съ правдою въ словахъ, влагаемыхъ Мицкевичемъ въ уста Пушкину. Не могъ Пушкинъ, никогда не бывавшій за границею, сравнивать двѣ конныя статуи Марка-Аврелія и Петра; самъ Мицкевичъ пораженъ былъ мѣднымъ капитолійскимъ Маркомъ-Авреліемъ только въ 1829 г., даже сравненіе о близнецахъ—альпійскихъ вершинахъ—явилось вѣроятно послѣ заграничнаго путешествія и послѣ того, какъ событія 1830 годовъ провели между двумя величайшими поэтами Славянства бездонную, даже мысленно-непереходимую пропасть [3]),—но въ сущности и Пушкинъ въ позднѣйшемъ „Мѣдномъ Всадникѣ" признаетъ происхожденіе отъ него мысли о гигантѣ, который „на высотѣ уздой желѣзной Россію вздернулъ на дыбы"—мысли, составляющей основу рѣчи Пушкина въ бесѣдѣ у памятника въ отрывкѣ Мицкевича.

Пятилѣтнее пребываніе въ Россіи повліяло на Мицкевича въ двоякомъ отношеніи; оно ему доставило громадную массу новыхъ впечатлѣній, познакомило его со множествомъ людей и отношеній, сдѣлало его универсальнѣе. Изъ застѣнчиваго провинціала оно его превратило въ свѣтскаго человѣка, любимаго дамами. Но эти развлеченія отнимали время, Мицкевичъ производилъ мало (на все годовое пребываніе въ Петербургѣ пришелся одинъ „Фарисъ", поэма въ восточномъ вкусѣ), поэтическое творчество уходило на эфемерное, на импровизацію; предстояла опасность облѣниться и измельчать въ великосвѣтскомъ эпику-

---

Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся» (10 авг. 1834).

[1]) «Они знакомы были не долго, но тѣсно,
И подружились назадъ тому нѣсколько дней;
Ихъ души выше преградъ земныхъ,
Подобныя двумъ родственнымъ альпійскимъ вершинамъ,
Которыя на вѣки раздѣлила струя потока,
И едва слышатъ шумъ своего врага,
Клоня къ себѣ поднебныя вершины».
(Pomnik Piotra Wielkiego).

[2]) Испанскій ярко-коричневый плащъ Мицкевича, подаренный имъ потомъ Одынцу (Od. II, 177).

[3]) Конецъ приведеннаго выше стихотворенія Пушкина:
«Нашъ мирный гость намъ сталъ врагомъ.
О Боже! Возврати
Твой миръ въ его озлобленную душу».
Козловъ передалъ о Мицкевичѣ Одынцу: «Vous nous l'avez donné fort et nous vous le rendons puissant» (Od. I, 56).

реизмѣ. Поэтъ стремился за границу, на артистическое путешествіе, которое бы дополнило его поэтическое образованіе; при помощи вліятельныхъ друзей и покровителей, ему удалось, хотя не безъ труда, получить заграничный паспортъ [1]), съ которымъ онъ и отплылъ 13 мая 1829 изъ Кронштадта, давъ слово виленскому пріятелю чистокровному романтику, А. Э. Одынцу съѣхаться съ нимъ въ Дрезденѣ и отправиться вмѣстѣ въ классическую страну искусства, Италію. Моложе пятью годами, Одынецъ относился къ Мицкевичу какъ ученикъ къ учителю и записывалъ изо дня въ день въ путевыхъ письмахъ (4 тома) всѣ похожденія странниковъ въ теченіи 1829 и 1830 г. Они направились прежде всего съ рекомендательными письмами въ Веймаръ къ старику Гёте на поклоненіе и пробыли въ его обществѣ цѣлыя двѣ недѣли. Несмотря на ласки и предупредительность хозяина и на щедрые его подарки на память, едва ли можно сказать, что между Гёте и Мицкевичемъ произошло сближеніе. 80-лѣтній старикъ зналъ музу Мицкевича только по отрывкамъ, переведеннымъ изъ „Валенрода" московскою знакомою Мицкевича, Каролиною Енишъ. Въ молодомъ байронизирующемъ поэтѣ-романтикѣ ему могъ представиться призракъ его собственныхъ юношескихъ лѣтъ и безповоротно прожитыхъ идей и ощущеній изъ Drang und Sturmperiode [2]). Съ другой стороны, Мицкевичъ ни въ чемъ почти не сходился съ великимъ язычникомъ, не только потому, что при всѣхъ своихъ вольностяхъ мышленія онъ имѣлъ религіозное міросозерцаніе, но и потому, что они расходились во взглядахъ на методы творчества и изслѣдованія истины. Старикъ Гёте былъ колоссъ положительнаго знанія, великій одинаково въ философіи, естествознаніи, искусствѣ; не было предмета, которымъ бы пренебрегало его трезвое, всеобъемлющее пониманіе. Въ сравненіи съ нимъ Мицкевичъ представлялся молодымъ человѣкомъ, еще окончаз тельно невыработаннымъ, стоящимъ притомъ на ложномъ пути, который и повелъ его потомъ къ крайнему мистицизму, отрицающимъ мертвое, сухое, систематическое знаніе и безусловно послушнымъ внушеніямъ одного непосредственнаго чувства. Знанія его, хотя и значительныя по сравненію съ Пушкинскими, были ничтожны по сравненію съ Гётевскими: онъ читалъ въ Ковнѣ Канта и Шеллинга, но не усвоилъ себѣ результатовъ трансцендентальной философіи; онъ былъ филологъ, но безъ критики; не любилъ Нибура (Од. IV, 61) за его критицизмъ, думалъ, что настоящій историкъ—не лѣтописецъ, а поэтъ, которому правда открывалась не натугами анализирующаго разума, а въ счастли-

---

[1]) М. не былъ преслѣдуемъ за своего „Валенрода", нашедшаго уже слишкомъ обширное распространеніе въ русскомъ обществѣ, но подписавшійся на поэмѣ цензоръ Анастасевичъ былъ смѣщенъ по запискѣ Новосильцова (Ципринусъ, тамъ же).

[2]) P. Chmielowski, Listy Odyńca, въ журналѣ Ateneum, 1878, № 9.

вый моментъ вдохновенія (Од. I, 137). Понятно, что при подобномъ расположеніи само изученіе искусства на его родинѣ, въ Италіи, не могло быть систематическимъ, какимъ оно было въ свое время у Гёте, и особенно не могло быть плодоноснымъ. Среди сокровищъ искусства онъ болѣе наслаждался формами и пріемами или „свою Литву воспоминалъ". Предметомъ, надъ которымъ, кромѣ филологіи и искусства, работала мысль его, была политика, но и въ политикѣ онъ только фантазировалъ, написавъ еще въ Петербургѣ по-французски на 30 листахъ мечтательную *исторію будущаго*, начиная съ 2000 года и представивъ въ этомъ никогда неизданномъ сочиненіи торжество чистаго эгоистическаго разума, вооруженнаго всѣми изобрѣтеніями цивилизаціи, надъ вѣрою, чувствомъ и духомъ, какъ правдоподобную будущность Европы (Од. I, 57). Въ Италіи Мицкевичъ объяснялъ Одынцу (IV, 149): бываетъ умъ простой или мужицкій—здравый смыслъ, достаточный для живущихъ въ подвалахъ; бываетъ разумъ мудрый, свыше освѣщенный, свойственный обитателямъ верхняго этажа; но въ антресолѣ пріютился школьный разумъ, зажегшій газовые рожки и заведшій фабрики, лавки и авдиторіи. Шумъ и трескотня въ антресолѣ не допускаютъ обитателямъ подваловъ слышать голоса съ верхняго этажа, развѣ наступаетъ гроза или землетрясеніе, тогда торговцы разбѣгаются и замолкаютъ, а жители подваловъ берутся за укрѣпленіе фундаментовъ зданія, по указаніямъ людей съ верхняго этажа.—Оба странника испытали во время бытности у Гёте леденящее впечатлѣніе при соприкосновеніи съ этимъ яснымъ умомъ, въ которомъ они не находили искомой ими въ правдѣ теплоты, съ этимъ спокойнымъ самообладаніемъ, въ которомъ они усматривали непостижимое для нихъ омертвѣніе религіознаго чувства (Од. I, 153—240). Странники проѣхались по Рейну, спустились въ Италію черезъ Сплюгенъ, посѣтили Миланъ, Венецію, Флоренцію и очутились въ Римѣ, между знакомыми, въ самомъ отборномъ космополитическомъ обществѣ ученыхъ, артистовъ, аристократовъ и дамъ изъ всѣхъ націй. Общество имѣло три центра: домъ княгини З. Волконской, которой сына училъ Шевыревъ, гдѣ бывали Брюловъ и Бруни; домъ Хлюстиныхъ (пріятельница Мицкевича, Торвальдсена и Бонштеттена, одна изъ остроумнѣйшихъ женщинъ, Настасья Хлюстина вышла вскорѣ потомъ за француза графа де-Сиркура); наконецъ, на Via Mercede домъ польскаго магната графа Анквича-Скарбека, поселившагося въ Италіи для исцѣленія слабой здоровьемъ дочери Генріетты-Эвы. Генріетта имѣла подругу Марцеллину Лэмпицкую, готовящуюся ко вступленію въ монашенки. Здѣсь, среди раутовъ, прогулокъ по Риму и за Римомъ съ археологами и знатоками искусства, пережитъ былъ Мицкевичемъ послѣдній въ его жизни романъ любви, длившійся два года, 1829—1831 г. Дочь

графа, нѣжная дѣвушка, во многомъ напоминавшая Марылю, влюблена была въ него по его стихамъ, не зная еще его, и полюбила его еще болѣе, узнавъ въ немъ не гиганта въ родѣ Микель-Анджеловскаго Моисея, какимъ его воображала, но задумчиваго и мало говорящаго молодого человѣка, у котораго во взорахъ зажигался святой огонь геніальности, когда онъ оживлялся и приходилъ въ вдохновеніе. Обѣ подруги были набожны, ихъ непріятно поражала жесткая улыбка байроновскаго сарказма и непочтительные порою отзывы поэта о священныхъ предметахъ. Онѣ молились и постились за обращеніе того, кого онѣ считали маловѣромъ. Мать была расположена въ пользу Мицкевича, но гордый магнатъ и слышать не хотѣлъ о Мицкевичѣ, какъ о женихѣ, считая его совсѣмъ неподходящею партіею для своей высокородной и богатой дочери. Анквичъ и Мицкевичъ то разъѣзжались (Анквичъ уѣхалъ изъ Рима съ дочерью, а Мицкевичъ посѣтилъ Неаполь и Сицилію), то изъ опасенія за здоровье дочери Анквичъ опять встрѣчался съ Мицкевичемъ,—такъ проведена была вмѣстѣ осень 1830 г. въ Швейцаріи, въ обществѣ Анквичей и Хлюстиныхъ. Здѣсь познакомился съ Мицкевичемъ сынъ генерала Викентія Красинскаго, Сигизмундъ, подававшій уже надежды какъ поэтъ. На обратномъ пути въ Римъ, въ Миланѣ, произошелъ кризисъ; отецъ вспыхнулъ и заявилъ, что желалъ бы лучше видѣть дочь въ гробу, нежели женою Мицкевича. Мицкевичъ порывался ѣхать на Востокъ, но въ Анконѣ его отвелъ отъ этого предпріятія Генрихъ Ржевускій и привезъ въ Римъ, гдѣ проводили зиму Анквичи и гдѣ графъ опять принималъ у себя Мицкевича, не подавая вида, что онъ знаетъ о взаимныхъ чувствахъ дочери и поэта. Въ теченіе этой римской зимы, проведенной въ частомъ общеніи съ Генрихомъ Ржевускимъ, ксендзомъ Холоневскимъ, Монталанберомъ, Ламнэ, произошло роковое по своимъ послѣдствіямъ повстанье 29 ноября 1830, унесшее съ собой конституціонный режимъ въ Царствѣ Польскомъ и языкъ польскій въ школѣ и судѣ на западныхъ окраинахъ Имперіи, и виленскій и варшавскій университеты. Поэтъ слѣдилъ за событіями издали, не чувствовалъ въ себѣ призванія кидаться въ круговоротъ событій, не сознавая за собою способностей военнаго или государственнаго человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ Мицкевичъ становился религіознѣе. Сбылись горячія пожеланія дѣвицъ Анквичъ и Лэмпицкой, исчезло философское вольнодумство, которое никогда не относилось къ сущности вѣры, а только къ обрядамъ, сама любовь получила оттѣнокъ религіозно-мистическій. Послѣ многолѣтняго не-быванія у исповѣди, Мицкевичъ никому о томъ не говоря, причастился; того же дня г-жа Анквичъ передала ему, что дочери ея Мицкевичъ приснился въ бѣлой одеждѣ съ ягненкомъ на рукахъ. Мицкевичъ, вѣрившій въ предчувствія, имѣвшій видѣнія и

предсказывавшій не разъ будущее и себѣ и другимъ, былъ какъ бы громомъ пораженъ. Вдругъ весною въ 1831 г. наступила внезапная и самая неожиданная развязка. Въ то самое время, когда отецъ Генріетты, повидимому, слабѣлъ въ своемъ сопротивленіи склонности дочери, 19 апрѣля 1831 г. Мицкевичъ внезапно уѣхалъ изъ Рима и никогда уже въ жизни не встрѣтился съ Анквичами, а прислалъ только Генріеттѣ экземпляръ „Пана Тадеуша", съ отмѣченными карандашомъ страницами, изображающими любовь Яцка Соплицы къ дочери спѣсиваго стольника [1]).

Мицкевичъ покинулъ предметъ своей любви безъ достаточной причины. Нѣсколько лѣтъ потомъ, когда онъ уже былъ женатъ, старикъ Анквичъ сказалъ Одынцу: „описалъ меня панъ Адамъ въ стольникѣ; но имѣетъ же отецъ право требовать, чтобы его дочь у него вымаливали" (aby się o córkę kłaniano). Гордость поэта не допустила ему, бѣдному человѣку, не имѣвшему другихъ средствъ, кромѣ скромныхъ гонораріевъ отъ изданій, вымолвить слово за себя, просить руки дочери Анквича. Съ отъѣздомъ Мицкевича изъ Рима начинается другая эпоха въ его жизни, тяжелая, исполненная лишеній и страданій: свѣтскій человѣкъ исчезаетъ, останется только горячій патріотъ и добровольный изгнанникъ; сама геніальность его подвергается затмѣнію въ густомъ туманѣ мистицизма, къ которому онъ былъ расположенъ съ дѣтства, но отъ котораго его предохраняли въ молодости другія вліянія. На этомъ закатѣ дней своихъ онъ напишетъ еще два самыя сильныя произведенія: 3-ю часть „Дзядовъ" и „Пана Тадеуша". Прослѣдимъ главные моменты этого хмураго, страдальческаго втораго періода въ жизни поэта.

Мицкевичъ, котораго Настасья Хлюстина славила пророкомъ [2]) въ августѣ 1830 г., потому что онъ предсказалъ іюльскую революцію, и который тогда же предрекалъ возвратъ Наполеонидовъ, не имѣлъ никакого предчувствія о варшавской катастрофѣ, повидимому ея не желалъ и на ея успѣхъ не надѣялся; онъ не торопился ѣхать на родину, куда отправился сражаться изъ римскихъ его друзей Стефанъ Гарчинскій, бывшій берлинскій студентъ гегельянецъ. Вѣсти съ родины волновали Мицкевича сильно: „мокрый листъ нѣмецкой грязной газеты", писалъ онъ живописцу Штамлеру, собираясь ѣхать, „восхищаетъ меня болѣе всѣхъ Винчи и Рафаэлей" [3]). Движеніе распространялось и въ апрѣлѣ 1831 г. имѣло даже нѣкоторые успѣхи. Мицкевича влекло туда

[1]) Переданный г-жею Духинскою собственный разсказъ недавно умершей Генріетты-Эвы, вдовы по первому мужу Шембекъ, а по второму мужу Кучковской, въ Bibliotekа Warszawska 1871, I, стр. 445. Тамъ же, во II томѣ, статья Одынца. Его же письмо къ Семенскому, въ Relig. i mistyka, Семенскаго.

[2]) Gloire au prophète. Одынецъ, IV, 257.

[3]) Korr. I, 50.

по долгу совѣсти, но пока онъ ѣхалъ чрезъ Парижъ [1]), въ вел. кн. Познанское, уже повстанье догорало, Варшава была сдана Паскевичу 8 сентября, а 5 октября перешли прусскую границу остатки польскаго войска съ двумя палатами сейма, штабами, клубами и всѣмъ персоналомъ конституціоннаго и повстанскаго режима. Мицкевичъ, державшійся въ сторонѣ отъ повстанья, когда оно было въ ходу [2]), отождествился вполнѣ сознательно съ уже проиграннымъ польскимъ политическимъ дѣломъ, когда всѣ шансы и надежды въ настоящемъ были потеряны, и явился публицистомъ, ораторомъ и политикомъ польскаго выходства, продолжающаго вести упорную идейную пропаганду противъ неизбѣжныхъ послѣдствій повстанія, укротительныхъ мѣръ и денаціонализаціи. Политика эта, въ облакахъ витающая, болѣе разсчитывала на Господа Бога, нежели на земныя средства, чѣмъ и объясняется, еще въ Римѣ совершившееся постепенное усиленіе религіозности въ Мицкевичѣ [3]), который сталъ теперь демонстрировать свой католицизмъ, радъ былъ, когда его тѣмъ попрекали, и участвовалъ вскорѣ потомъ, 1834 г. 19 декабря, въ основаніи въ Парижѣ особаго польскаго религіознаго общества *Соединенныхъ Братьевъ* (Korr. I, 115). Политика эта не стѣснялась условіями времени, строила самобытную Польшу въ старинномъ видѣ, съ національными чертами до-раздѣльнаго прошлаго, и средство для производства реставраціи усматривала въ подъемѣ западной Европы при ожидаемой въ будущемъ революціи, направленной остріемъ противъ Россіи. Перенесеніе польскаго вопроса на почву иностранной политики разрывало сразу связи, установившіяся между Мицкевичемъ и русскимъ обществомъ. Личныхъ друзей и доброжелателей Мицкевичъ сохранилъ между Русскими [4]), но національное чувство заговорило съ обѣихъ сторонъ и альпійскія вершины раздѣлилъ не одинъ только горный потокъ: прежде того онѣ склонялись одна къ другой, а теперь отклонились и перестали себя взаимно понимать. Такъ напримѣръ Пушкинъ писалъ:

«Нашъ мирный гость сталъ намъ врагомъ. И нынѣ
Въ своихъ стихахъ, *угодникъ черни буйной*,
Поетъ онъ ненависть...» [5]).

---

[1]) По рукописной запискѣ С. Соболевскаго, они отправились изъ Рима 19-го апрѣля, и послѣ двухнедѣльнаго артистическаго путешествія, побывавъ во Флоренціи, Болоньѣ и др. мѣстахъ, разстались 2-го мая въ Пармѣ.

[2]) Korr. II, 83. Письмо кн. З. Волконской, 20 марта 1832. «Vous avez de la réligion... Voyez le ciel: il n'y a là ni division ni frontières».

[3]) Этимъ, а не общеніемъ въ Римѣ съ богословами католицизма. Ср. въ Korr. I, 120: Ламнэ основывалъ все на полемикѣ и происках. Это—сухой раціональный богословъ.

[4]) Письмо къ брату 29 апр. 1833 г. Korr. 1, 59.—Я не могу получать что бы то ни было отъ Комитета, *не будучи впутанъ* въ теперешнюю революцію... Я никогда подъ русское правительство не возвращусь, никогда, никогда.

[5]) Тоже стихотвореніе 10 авг. 1834 г. въ изд. 1874, т. I, 470.

Въ этихъ стихахъ нѣтъ правды. Мицкевичъ никогда не былъ ни льстецомъ, ни угодникомъ черни буйной: явился онъ въ княжествѣ Познанскомъ, а потомъ въ Дрезденѣ послѣ крушенія, среди упавшихъ духомъ выходцевъ, озлобленныхъ и продолжающихъ возлагать другъ на друга отвѣтственность за неудачу. Скорбь о случившемся произвела усиленное возбужденіе патріотическаго чувства и окрылила поэтическое творчество поэта. Производительность его вообще ослабѣла послѣ „Валенрода" въ велико-свѣтскомъ разнообразномъ обществѣ, въ которомъ онъ вращался въ Римѣ. Пробужденію ея мало содѣйствовало и созерцаніе сокровищъ западно-европейскаго искусства, но теперь онъ окунулся въ національную струю и созналъ, что къ нему возвращается съ небывалою силою вдохновеніе. Въ Дрезденѣ онъ, по совѣту Одынца, взялся переводилъ „Гяура" Байрона, но прервалъ эту работу, почувствовавъ во время молитвы въ церкви, что надъ нимъ точно разбилась и пролилась чаша съ поэзіей: jakby się nademną bania z poezyą rozbiła [1]). Онъ работалъ поспѣшно и читалъ написанное по вечерамъ друзьямъ своимъ въ Дрезденѣ: Одынцу, Гарчинскому, Домейкѣ. Кое-что онъ заимствовалъ изъ разсказовъ очевидцевъ о послѣднихъ событіяхъ, напримѣръ, написанный со словъ Гарчинскаго *разсказъ адъютанта*, „объ Ордоновомъ редутѣ", взорванномъ на воздухъ самими защищавшимися въ немъ польскими войсками во время послѣдняго штурма на укрѣпленія Варшавы. Но главная забота Мицкевича заключалась въ постановкѣ, по обстоятельствамъ того времени, польскаго вопроса въ формѣ фантастической драмы, въ которой дѣйствуютъ живые люди, духи безплотные, самъ Богъ, сокрытый гдѣ-то за облаками, а также поэтъ изъ породы мятежныхъ титановъ, всходящій мысленно на самое небо и требующій у Бога отчета, во имя оскорбленнаго чувства, за явныя несовершенства въ созданіи, за допускаемыя неправды, за страданія безвинныхъ. Что касается до основной идеи вызова на борьбу и отказа въ признаніи, то у Мицкевича были весьма знаменитые предшественники— неизвѣстный авторъ книги Іова, Эсхилъ въ „Прометеѣ", котораго Мицкевичъ тщательно изучалъ въ Римѣ (Odyn. III, 82), Гёте въ „Фаустѣ", и особенно Байронъ въ „Манфредѣ" и „Каинѣ". Вліяніе Байрона на Мицкевича было еще живое и сильное съ 1822 г.: оно господствуетъ въ „Валенродѣ", оно замѣтно еще и въ драмѣ, которую Мицкевичъ связалъ внѣшнимъ образомъ съ виленскими и ковенскими своими произведеніями и назвалъ 3-ею частью „Дзядовъ". Онъ самъ сообщалъ Одынцу (стр. 148, у Семенскаго), что главную сцену импровизаціи въ этой части „Дзядовъ" онъ считаетъ поворотнымъ пунктомъ байронов-

[1]) Письмо къ Одынцу, у Семенскаго, Rel. i mistyka, стр. 146.

скаго направленія въ поэзіи. Она была, какъ увидимъ, и окончательнымъ прощаніемъ съ байронизмомъ въ дѣятельности поэта. Обстановка драмы—реальная, основа ея заимствована изъ дѣйствительно пережитаго, но уже отдалившагося на извѣстное разстояніе, изъ студентскихъ временъ, обстоятельствъ слѣдствія и того заключенія у отцовъ базиліанъ, въ которомъ поэтъ, по одному изъ прежнихъ его писемъ, укрѣпился духомъ и повеселѣлъ. Къ главной основѣ присовокуплены вставныя сцены, представленъ сельскій домикъ въ окрестностяхъ Львова, гдѣ за поэта молятся, не зная его, двѣ дѣвицы, Эва и Марцеллина (Анквичъ и Лэмпицкая), изображены варшавскіе салоны съ ихъ классическими привычками, съ ихъ пустотою и гнилью. Сама основа состоитъ изъ ряда сценъ, происходящихъ въ Вильнѣ, то въ тюрьмѣ, гдѣ товарищи, знакомыя все лица, сходятся по ночамъ, при содѣйствіи стараго служиваго, добраго католика капрала, на бесѣды за чаемъ, пока разбѣгутся по кельямъ по знаку, что рундъ приближается; то въ гостиныхъ и спальнѣ сенатора, стараго развратника, который среди выпиваемыхъ бокаловъ вина, въ промежуткахъ между фигурами танцевъ, подъ звуки менуэта изъ „Донъ-Жуана" распоряжается слѣдственными дѣйствіями и пытками. Мицкевичъ не щадитъ, по вольности поэтической, самыхъ густыхъ красокъ для изображенія этихъ мукъ и терзаній. Подобно Данту, онъ не стѣсняется помѣщеніемъ въ самой нижней части этого ада людей знакомыхъ, на которыхъ кладетъ безъ зазрѣнія совѣсти печать вѣчнаго осужденія. Передъ сенаторомъ выслуживаются два лица, подставляющія другъ другу ножку: ректоръ университета и докторъ, котораго внезапно въ концѣ пьесы поражаетъ молнія въ его университетской квартирѣ; оба лица—реальныя. И личныя черты и родъ смерти указывали, что поэтъ мѣтилъ въ того профессора Бэкю, въ домѣ котораго отдѣлалъ Мицкевича Снядецкій за его поэзію. Бэкю былъ консерваторъ и классикъ, на него сердились Лелевель и вышедшіе изъ университета профессора за то, что онъ съ группою стариковъ подчинился новымъ заведеннымъ Новосильцовымъ порядкамъ, но до конца жизни онъ остался честнымъ человѣкомъ, чему ручательствомъ могла служить неизмѣнившаяся къ нему дружба Снядецкихъ. Вильно, оргіи и слѣдствіе — это только обстановка для монодрамы, которой героемъ является человѣкъ, называвшійся нѣкогда Густавомъ, теперь переродившійся въ Конрада (имя заимствованное либо у Байрона изъ „Корсара", либо указывающее на мысленную связь съ Валенродомъ, на тождество узника съ великимъ магистромъ и съ самимъ поэтомъ, который какъ Альфъ — Валенродъ „счастья не обрѣлъ дома, потому что его не было въ отчизнѣ"). Поэтъ страшно несчастливъ, скорбь его потрясаетъ всѣхъ, потому что, имѣя всю силу личной, она возбуждена поводомъ общественнымъ: „Мое имя милліонъ,

потому что я люблю и страдаю за милліоны". „Я люблю весь народъ, я объялъ всѣ прошлыя и пришлыя его племена и прижалъ къ груди какъ другъ, любовникъ, мужъ, отецъ".... Атмосфера, которою окруженъ узникъ, не виленская двадцатыхъ годовъ, а позднѣйшая, созданная послѣдствіями повстанья, тяжелая, душная, полная мрачнаго отчаянія и скрежета зубовнаго. Въ душѣ узника цѣлая буря, сраженіе мыслей добрыхъ и злыхъ, олицетворенное въ носящихся кругомъ рояхъ духовъ добрыхъ и злыхъ [1]). Бунтъ поднятъ мысленный, но въ сущности настоящее поле всякихъ рѣшающихъ битвъ—только душа: „О зналъ ли бы ты, человѣкъ, какъ велика твоя власть, когда мысль въ головѣ блеснетъ, точно искра въ тучѣ.... Зналъ ли бы ты, что едва ты успѣлъ создать мысль, уже ее поджидаютъ, точно чающія грома стихіи, сатана и ангелы, ударишь ли въ адъ или засіяешь въ небѣ.... О люди! каждый изъ васъ могъ бы одинокій, скованный, разрушать или созидать мыслью и вѣрою престолы!" Глубокое различіе между Мицкевичемъ съ одной стороны, и съ другой стороны—Гёте и Байрономъ, разработывавшими ту-же тэму идейной борьбы съ божествомъ—то, что у послѣднихъ извѣрившійся умъ пытливый (Фаустъ) или озлобленный (Манфредъ) относился къ противнику скептически, доискивался кроющагося за представленіемъ и догадывался о какой-то бездонной пустотѣ. Напротивъ того, Мицкевичъ стоитъ на вполнѣ религіозной почвѣ; для него, какъ для Данта, личный Богъ и безсмертіе души наглядно очевидны; онъ католикъ вполнѣ и даже въ большей степени, нежели церковь, въ немъ есть нѣчто изъ того духа, который вдохновлялъ пророковъ и ересіарховъ, духа, непосредственно и помимо синагоги или церкви ищущаго съ Богомъ общенія. Онъ въ сущности въ „Дзядахъ" тотъ же, какъ и въ письмѣ къ Гощинскому 1843 г. (Korr. I, 200): „мы не вѣтвь церкви; мы выростаемъ изъ пня ея вверхъ тѣмъ же древеснымъ мозгомъ; мы не рукавъ и не заливъ, а самое среднее русло жизни церкви". Конрадъ обращается къ Богу, вооруженный всею силою мысли, которая раскрыла тайны вселенной, вооруженный знаніемъ о Богѣ, превосходящимъ знаніе архангеловъ, но онъ обладаетъ еще болѣе сильнымъ орудіемъ—безпредѣльною властью чувства, самопитающагося какъ вулканъ и дымящагося только въ словахъ. „Ту власть я не взялъ,—говоритъ онъ,—съ плодовъ райскаго дерева, я не пріобрѣлъ ее отъ книгъ или разсказовъ или отъ разрѣшенія задачъ; я родился творцомъ". Вѣрный исходной точкѣ романтизма, поэтъ не сомнѣвается, что

---

[1]) Въ отрывкѣ «Видѣніе» I, 253, Мицкевичъ такимъ образомъ излагаетъ свои понятія объ этомъ безплотномъ мірѣ:

«Кругомъ стояли духи черные, ангелы бѣлые, враги и защитники душевные, крыльями студящіе или воспламеняющіе огонь, смѣющіеся, плачущіе, а всегда послушные тому, кого держатъ въ объятьяхъ, какъ послушна бываетъ нянька дитяти, которое довѣритъ ей отецъ дитяти—знатный баринъ».

это чувство всемогуще и чудотворно, что оно не заимствовано, а выработано имъ самимъ,—что когда онъ со всею силою души всмотрится въ стаю перелетныхъ птицъ или комету, то онъ осадитъ ихъ на мѣстѣ. Той власти не признаютъ только люди, не признаютъ насъ обоихъ, говоритъ узникъ: на нихъ онъ ищетъ управы и испрашиваетъ, чтобъ ему дано было управлять такъ людскими душами, какъ управляетъ онъ природою, не оружіемъ, не науками, не пѣснями и не чудесами, а чувствомъ, въ немъ обрѣтающимся, управлять, какъ говорятъ, что Ты управляешь непрестанно и тайно. „Да будутъ люди и для меня, какъ мысли и слова, изъ коихъ, когда захочу, свяжется строеніе пѣсни. Я бы создалъ мой народъ, какъ живую пѣснь, и совершилъ бы бо́льшее, нежели Ты, диво, я бы пропѣлъ пѣснь счастія. Частичка этой власти достаточна; дай ту, которою овладѣла гордыня, съ одною этою частицею сколько бы я произвелъ блаженства".—Отвѣта нѣтъ, узнику кажется, что онъ постигъ тайну: „Лжецъ, кто Тебя звалъ любовь, Ты только премудрость; тотъ лишь, кто въѣлся въ книги, въ металлъ, въ цифры, въ трупное тѣло, успѣетъ присвоить себѣ часть Твоего могущества; мысли Ты предназначилъ наслаждаться міромъ, сердце Ты посадилъ на вѣчное покаяніе. Зачѣмъ Ты далъ мнѣ кратчайшую жизнь и наисильнѣйшее чувство?" Слѣдуютъ слезныя моленья: „Отвѣчай, если правда, что Ты любишь, какъ я слышалъ это съ сыновнею вѣрою; если чувствительное сердце было въ числѣ звѣрей, спасенныхъ въ ковчегѣ отъ потопа, если на милліонъ вопіющихъ „спасенія" Ты не глядишь, какъ на выводъ уравненія"... — За моленіемъ слѣдуетъ угроза: „Чувство сожжетъ, чего мысль не сломитъ; это чувство я сожму, заряжу имъ желѣзное орудіе моей воли, и выстрѣлю противъ Твоей природы; если не сокрушу, то потрясу все Твое царство, потому что прокричу во всѣ области созданія голосомъ, который изъ поколѣній пройдетъ въ поколѣнія, что Ты не отецъ міровъ, а только деспотъ". Узникъ упалъ въ изнеможеніи, не договоривъ послѣдняго изъ этихъ словъ, которое за него досказано уже чертями. Капралъ приводитъ для поданія помощи потерявшему чувства узнику монаха ксендза Петра; слѣдуетъ затѣмъ сцена экзорцизма, задуманная въ шуточномъ родѣ, какъ у Данта или въ средневѣковыхъ мистеріяхъ. Изгоняющій кувыркающихся чертей, монахъ Петръ, пророкъ и духовидецъ, можетъ быть, списанъ съ Олешкевича или представляетъ собою другого двойника поэта (первымъ былъ Конрадъ), т.-е. состояніе его духа, уже прозрѣвшаго, покорнаго судьбѣ вѣрующаго и чающаго пришествія новаго мессіи. Вся эта часть внѣшнимъ образомъ связана съ прежними „Дзядами", сценою, въ которой является женщина, напрасно вызывающая духъ любовника посредствомъ гусляра, но узнающая его въ одномъ изъ выво-

зимыхъ по дорогѣ близъ каплицы ссыльныхъ. Такова путанная и несовсѣмъ стройная внѣшность произведенія, въ которомъ главное и первостепенное значеніе имѣетъ одна только сильно выдающаяся и потрясающая сцена *импровизаціи* узника. Она написана вся въ одинъ присѣстъ, въ одну ночь, послѣ которой Одынецъ засталъ его блѣднаго, полу-одѣтаго, въ изнеможеніи спящаго на полу (Relig. i mistyka, стр. 148). Въ ней высказался Мицкевичъ весь съ величавымъ презрѣніемъ орла, парящаго на крыльяхъ чувства, пренебрегающаго тропами и стезями индуктивнаго аналитическаго ума, который только съ трудомъ и осторожно взбирается на горныя выси. Импровизація имѣетъ ближайшую связь съ первыми виленскими лирическими опытами, но счастливый инстинктъ, который въ Вильнѣ помогъ сокрушить требованія рутины, возведенъ въ принципъ всемогущества чувства, и на этомъ необузданномъ конѣ несется всадникъ и разбивается о стальную стѣну невозможнаго. Непосредственной власти надъ дѣлами людей поэтъ не вымолилъ, но власть надъ ихъ чувствами онъ пріобрѣлъ неограниченную и полную. Его порывистый энтузіазмъ поддерживалъ духъ, хранилъ отъ отчаянія, давалъ строй чувствамъ нѣсколькихъ поколѣній, которые вслѣдъ за нимъ бѣшено неслись и разбивались точно также о стальную стѣну, торопясь на безполезное и погибая въ повстанской пропагандѣ, пока пренебрегаемое пресмыкающееся насѣкомое—аналитическій разумъ—не добралось до стѣны, о которую разбивались фантасты, и не указало, какъ ее обойти и какъ приладиться къ новымъ неизбѣжнымъ условіямъ жизни, согласовавъ ихъ съ старыми привязанностями и воспоминаніями. Стѣна теперь обойдена, сама 3-я часть „Дзядовъ", вмѣстѣ съ изданнымъ совокупно съ нею отрывкомъ: „Петербургъ", посвященнымъ „друзьямъ-Москалямъ" (Парижъ 1833), является нынѣ пережитымъ моментомъ, историческимъ памятникомъ, поэтическимъ выраженіемъ настроенія извѣстнаго общества въ самый критическій моментъ его существованія, но также однимъ изъ немногихъ великихъ произведеній, какими можетъ похвалиться не всякая литература (каковы: Прометей, Фаустъ, Манфредъ), въ которыхъ поставлены, хотя и не разрѣшены глубочайшія и труднѣйшія задачи бытія и совѣсти. Въ 3-й части „Дзядовъ" Мицкевичъ окончательно распрощался съ байронизмомъ, даже начатый переводъ „Гяура" ему опостылъ и оконченъ былъ съ трудомъ. Какъ одновременно съ 4-ю частью „Дзядовъ", писалась ничего съ ними общаго не имѣющая „Гражина", такъ непосредственно послѣ окончанія 3-ей части „Дзядовъ" укладывалось изъ давнишнихъ матеріаловъ и мотивовъ, иное произведеніе, самое полное, самое совершенное, самое зрѣлое, ставимое нынѣ выше всѣхъ остальныхъ произведеній Мицкевича, произведеніе,

которое новѣйшая критика [1]) уподобляетъ непосредственно „Иліадѣ“, спокойный, ясный, шляхетскій эпосъ въ 12 пѣсняхъ,—*Панъ Тадеушъ*, переданный недавно (1875, Варшава) весьма талантливо, хотя не совсѣмъ точно Н. Бергомъ, въ котораго переводѣ есть уклоненіе отъ подлинника въ подробностяхъ, но что важнѣе — огонь вдохновенія подлинника усвоенъ переводу.

Объяснимъ внѣшнія условія, сопровождавшія рожденіе этой поэмы. Мицкевичъ сильно бѣдствовалъ въ Дрезденѣ, потомъ съ половины 1832 года въ Парижѣ; въ числѣ его страданій самую малую долю составляла заглядывавшая къ нему нужда, сдѣлавшаяся до конца жизни неотступною его спутницею. Рынокъ для сбыта произведеній ограничивался теперь неимущимъ выходствомъ и Вел. Княж. Познанскимъ, да и тотъ скудный кусокъ хлѣба отымала дрезденская контрафакція (Korresp., I, 84). Поэтъ озабоченъ, какъ бы продать право собственности на всѣ произведенія за пожизненную пенсію въ 1000 злотыхъ (150 р.), каковую передать брату Францу выходцу: „а я самъ—писалъ поэтъ,—какъ-нибудь проживу“ (Korresp. I, 71); „видѣлъ ли ты когда-нибудь меня заботящимся о завтрашнемъ днѣ“ (I, 66). Кругомъ все были страдающіе и нищіе, вдобавокъ грызущіеся изъ-за прошлаго, изъ-за кличекъ: аристократіи и демократіи, консерватизма или революціонерства, католицизма или совершеннаго безвѣрія. Ему, Поляку, несущему свое народное начало, отвлекаемое отъ всѣхъ другихъ партій и теченій западно-европейской жизни, глубоко противны были интриги, ссоры, сплетни, да и самъ суетный „проклятый“ Парижъ съ своими баррикадами. („О чемъ тутъ будешь пѣть средь вѣчной суеты парижскихъ мостовыхъ или грязи и проклятій, неистощимыхъ слезъ и воплей меньшихъ братій“?). Къ этимъ обыденнымъ огорченіямъ присоединилась болѣзнь отъ чахотки и смерть поэтическаго питомца Мицкевича, молодаго поэта Стефана Гарчинскаго (род. 1805, ум. 1833). Гарчинскій, познанецъ и ученикъ Гегеля, имѣлъ несомнѣнное поэтическое дарованіе, которое пробудилось въ немъ при чтеніи произведеній Мицкевича, поѣхалъ въ Римъ и привязался къ Мицкевичу, несмотря на нескончаемые споры между нимъ, Мицкевичемъ и Одынцомъ изъ-за философскаго его паитеизма. Въ Дрезденѣ 1832 г. они опять съѣхались; Мицкевичъ въ душѣ сожалѣлъ, что, подобно Гарчинскому не поступилъ въ повстанскіе солдаты. Въ началѣ мая 1833 г. Гарчинскій прислалъ въ Парижъ для напечатанія рукопись поэмы „Вацлавъ“, отъ которой Мицкевичъ пришелъ въ неописанный

---

[1]) Hugo Zathey, Uwagi nad Panem Tadeuszem. Poznań 1873; W. Nehring, Pan Tadeusz Mickiewicza, въ Ateneum 1877, № 11. Неизданныя публичныя лекціи Ст. Тарновскаго, читанныя въ 1878 г. въ Варшавѣ о Панѣ Тадеушѣ. Alex. Pechnik, Goethe's Hermann und Dorothea und Herr Thaddeus, eine Parallele. Leipzig. 1879.

восторгъ [1]). Мицкевичъ вообще не всегда былъ хорошимъ оцѣнщикомъ произведеній искусства: въ настоящемъ случаѣ онъ сильно ошибся, потому что „Вацлавъ" есть не болѣе, какъ разбавленная парафраза его Оды къ молодости и „Валенрода", а главное 3-й части „Дзядовъ" [2]); Мицкевича, очевидно, подкупили звучащіе въ поэмѣ его же собственные мотивы, причемъ онъ не обратилъ вниманія на ходульное и каррикатурное. Вацлавъ просто — фантастъ съ разстроенными нервами; онъ врывается въ церковь въ страстную пятницу и вызываетъ на споръ священника, обзывая религію шарлатанствомъ, потомъ возрождается къ новой жизни посредствомъ патріотизма, слыша какъ паробки поютъ: Jeszcze Polska nie zginęła, наконецъ, превращается въ заговорщика. Въ половинѣ 1832 г. Гарчинскій уже угасалъ; Мицкевичъ совмѣстно съ сердобольною покровительницею выходцевъ, Клавдіею Потоцкою, перевезъ его изъ Швейцаріи въ Авиньонъ, гдѣ 20 сентября на рукахъ его Гарчинскій скончался, послѣ чего Мицкевичъ писалъ: „я — какъ французъ, возвращающійся послѣ 1812 г., деморализованный, слабый, оборванный, почти безъ сапоговъ" (Korr. I, 94). Кислый, пасмурный, состарѣвшійся, сдѣлавшійся даже неряшливымъ, Мицкевичъ жилъ только въ маломъ кружкѣ ближайшихъ друзей и поклонниковъ, затыкалъ уши на происходящее вокругъ, и отъ горькаго настоящаго, и отъ шумихи европейской бѣжалъ мысленно въ край, „гдѣ легче мнѣ забыть свою тоску, гдѣ есть хоть малая отрада Поляку, край дѣтскихъ лѣтъ; ...гдѣ весело игралось мнѣ бывало, гдѣ рѣдко я грустилъ и плакалъ очень мало"... (Вступленіе). Чѣмъ пасмурнѣе становилось все кругомъ, тѣмъ чаще туда удалялся поэтъ и продолжительнѣе оставался: поэма, задуманная въ малыхъ размѣрахъ, дошла до громадныхъ. Первое извѣстіе о ней встрѣчаемъ [3]) въ письмѣ отъ 8 дек. 1832 (Korr. I, 66): „пишу сельскую поэму въ родѣ Германа и Доротеи, накропалъ уже тысячу стиховъ". Писалъ онъ ее, бросалъ и опять къ ней возвращался, потому что „когда я писалъ, то мнѣ чудилось, что я въ Литвѣ сижу"; „писаніе потѣшало меня несказанно, перенося меня въ милую родину" (Korresp. I, 74, 100). Въ моментъ смерти Гарчинскаго были уже написаны 4 пѣсни, и автору казалось, что поэма уже на три-четверти готова; наконецъ въ письмѣ къ Одынцу, въ февралѣ 1834 г., записано: „Вчера кончилъ Тадеуша — огромныя двѣнадцать пѣсенъ; много пустого, но много и хорошаго,

---

[1]) Korresp. I, 6: «Ничто меня такъ не заняло съ тѣхъ поръ, какъ я читалъ Шиллера и Байрона. Еслибы Вацлавъ не былъ твое произведеніе, то я бы позавидовалъ, можетъ быть, автору.

[2]) St. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego Wacław i drobne poezye. Przegląd Polski, marzec 1872.

[3]) Есть предположеніе, что Мицкевичъ началъ ее писать еще въ Луковѣ, въ вел. кн. Познанскомъ, въ первой половинѣ 1832, но извѣстія эти сомнительны.

....лучшее, что тамъ есть — картинки съ натуры, нашего края и нашихъ домашнихъ обычаевъ. — Пера я, кажется, никогда уже не обращу на пустяки,—прибавляетъ онъ;—можетъ быть, я и Тадеуша бы бросилъ, но онъ былъ близокъ къ концу. Кончилъ съ трудомъ, потому что духъ порывалъ меня въ другую сторону, къ дальнѣйшимъ Дзядамъ, изъ которыхъ я намѣренъ сдѣлать единственное произведеніе мое, достойное чтенія" [1]). Относительно „Тадеуша" Мицкевичъ положительно ошибался: „Дзяды" скорѣе состарились, а то, что́ онъ считалъ пустякомъ и развлеченіемъ, сіяетъ неувядаемою юностью, потому чтовъ этой поэмѣ совмѣщена кристализованная цѣлая отошедшая культура исторически жившаго народа со всѣми сторонами ея быта, живо, полно, рельефно, картинно, начиная отъ яствъ, питья и одежды, охоты, драки, земледѣлія, домашняго очага, семьи, до молитвы, до нестираемыхъ воспоминаній и задушевнѣйшихъ пожеланій и надеждъ. Коверъ вытканъ кропотливо, нитка по ниткѣ, ярко и пестро, дѣйствующихъ лицъ выведены многіе десятки, цвѣта подобраны и согласованы гармонически, ни одного узора, ни лица не выкинешь, не испортивъ цѣлаго; патетическое сливается съ юмористическимъ; не только внѣшность быта живописана реальнѣйшимъ образомъ, но фиксирована сама его душа. Вотъ отзывъ о „Панѣ Тадеушѣ" Красинскаго 1840 г. (Dodatek do Czasu, 1859): „Донъ-Кихотъ слился съ Иліадою. Поэтъ стоялъ на перешейкѣ между исчезающимъ поколѣніемъ людей и нами, видѣлъ ихъ до смерти, а теперь ихъ уже нѣтъ, это и есть эпическая точка зрѣнія; онъ увѣковѣчилъ мертвое племя; оно не умретъ". Главный и коренной мотивъ и ось, вокругъ которой вращается все произведеніе, это—вѣковая національная вражда Поляковъ и Русскихъ, изображенная столь объективно, что любишь и уважаешь добрую, храбрую и честную натуру капитана Рыкова; понимаешь, что виноваты въ старомъ спорѣ не люди, а роковое прошлое и разная политическая выправка. Сердце поэта конечно между своими политически-умершими, но духомъ не упавшими соотчичами; отмѣчены ихъ добрыя качества, не пропущены и дурныя: усобицы, процессы, рознь изъ-за приватныхъ счетовъ и личныхъ партій. Обокъ зажиточныхъ средней руки помѣщиковъ доживаютъ свой вѣкъ шляхетскія селенія—буйная армія дораздѣльной анархіи, готовая драться съ кѣмъ угодно, лишь бы призывъ былъ скрашенъ предлогами, что онъ дѣлается *pro publico bono* и сопровождался поклономъ братьямъ шляхтичамъ. Нащупываются причины распаденія, но на зло существуетъ и лекарство, событія польскія вплетены въ обще-европейскія — тѣ самыя, которыя и Гёте взялъ за фонъ своего мѣщанскаго эпоса. За сценою событій стоитъ тотъ „див-

[1]) Korresp., I, 86, 88, 99.

ный вождь, богъ брани, геній смѣлый... съ златыми въ рядъ серебряныхъ орловъ, въ побѣдоносную запрягшій колесницу и заносящій грозящую десницу надъ Сѣверомъ“ (п. 1). Его пришествія чаютъ какъ спасенія, при его появленіи въ одинъ мигъ въ огнѣ патріотическаго энтузіазма облобызаются Соплицы и Горешки, обнимутся и шляхта и доктринеръ изъ Нѣмцевъ Бухманъ и патріотъ Еврей Янкель, въ жертву общему благу принесены будутъ всѣ права, освобождены будутъ и крестьяне, но для сохраненія традиціи и ихъ надѣлятъ шляхетскими гербами (п. XII). Наполеонъ понятъ, какъ воплощеніе величайшаго міровового событія — французской революціи, и какъ человѣкъ, получившій призваніе сокрушать и обновлять обветшалыя общества; при его посредствѣ совершается бракосочетаніе въ общемъ сплавѣ новыхъ великихъ міровыхъ идей съ національнымъ преданіемъ.—Профессоръ Нерингъ объяснилъ довольно удовлетворительно употребленные при созданіи эпоса пріемы и мотивы. Мицкевичъ по природѣ своего таланта былъ столько же эпикъ, сколько лирикъ: съ самыхъ раннихъ лѣтъ муза его не пренебрегала предметами самаго обыденнаго содержанія (Warcaby, замыселъ поэмы о картофелѣ); въ Вильнѣ еще онъ глубоко изучалъ Иліаду; изъ современныхъ критиковъ очень уважалъ А. В. Шлегеля (изложившаго цѣлую теорію эпопеи въ Jenauer Allgemeine Literatur Zeitung, 1797, по поводу Гётевскаго Hermann und Dorothea). Самъ Мицкевичъ писалъ, что онъ имѣлъ сначала намѣреніе написать нѣчто въ родѣ Германа и Доротеи; въ обѣихъ поэмахъ рѣшающимъ лицомъ является духовная особа; въ обѣихъ, по вѣрному замѣчанію Шлегеля, обыденное возвышено тѣмъ, что поставлено на подкладкѣ великихъ міровыхъ событій. Согласно совѣтамъ Шлегеля, взятъ изъ Иліады только духъ, а не формы, поэтъ прочиталъ ее и точно забылъ, усвоивъ только объективность, спокойствіе и мѣрный ритмъ постепенно развертывающагося разсказа. Наконецъ, стройная правильность этого вполнѣ классическаго произведенія далась отчасти поэту, можетъ быть, и вслѣдствіе его непосредственнаго общенія съ классическою Италіею и съ произведеніями античнаго искусства. Несомнѣнно также, что Мицкевичъ кое-чѣмъ позаимствовался не столько относительно матеріала, сколько относительно пріемовъ у даровитѣйшаго, какого имѣла польская литература, разсказчика, нѣсколько позже широко прославившагося, графа Генриха Ржевускаго. Они сблизились въ Крыму, посѣщали другъ друга въ Петербургѣ, прожили всю зиму 1830 г. въ Римѣ. Ржевускій сталъ записывать по настоянію Мицкевича свои разсказы: „Записки Северина Соплицы“ (1839), въ которыхъ являются Рейтанъ, Володковичъ и другія лица, упоминаемыя въ „Панѣ Тадеушѣ“, носящемъ тоже фамильное имя Соплицы. Не видно, чтобы Мицкевичъ заимствовалъ отъ

Ржевускаго фабулу разсказа, но онъ восхищался манерою и внѣшностью разсказа и считалъ Ржевускаго, какъ юмориста, послѣднимъ самымъ типическимъ преемникомъ Рея изъ Нагловицъ (Одын. II, 20). Очень немногое взято Мицкевичемъ изъ вычитаннаго или заслышаннаго, но къ числу такихъ заимствованій принадлежитъ эпизодъ, который далъ второе названіе поэмѣ (*Pan Tadeusz albo Ostatni Zajazd na Litwie*), а именно „Заѣздъ"—самоуправное осуществленіе своего права или исполненіе судебнаго рѣшенія частными лицами, помимо суда, застѣночною шляхтою въ Соплицовскомъ дворѣ. Въ эпоху юности Мицкевича такіе заѣзды уже принадлежали къ области исторіи. Наибольшая часть матерьяла дана непосредственными личными воспоминаніями; поэма вся составлена изъ знакомыхъ поэта, изъ настоящихъ портретовъ: Ассесоръ и Регентъ, Гервасій и Протасій, уланы и шляхтичи усачи; романическій графъ чудакъ и цимбалистъ Янкель. Столичная испорченная и офранцуженная кокетка Телимена изображаетъ одну изъ одесскихъ или петербургскихъ свѣтскихъ красавицъ; въ Зосѣ есть кое-какія черты Марыли, хотя вообще она очерчена слабо, съ заурядными свойствами сельской простоты и наивности. Вообще обрисовка женскихъ характеровъ и типовъ не далась ни Мицкевичу, ни другимъ его великимъ сверстникамъ, и въ поэзіи польская женщина не занимаетъ подобающаго ей мѣста, какое ей приличествовало бы по заслугамъ въ жизни. Женщины сильной, самостоятельной, женщины-гражданки они не изобразили. Несравненно богаче мужскіе типы, но и между ними наименѣе типиченъ самъ панъ Тадеушъ, добрый, прямой, но недалекій малый: „пригожъ и крѣпокъ и здоровъ, имѣлъ въ родню въ Соплицъ военныя ухватки... Онъ въ школѣ по ружью и саблѣ тосковалъ, а надъ грамматикой отчаянно зѣвалъ" (пѣсня 1). Онъ поставленъ вмѣстѣ съ Зосею только какъ внѣшняя связка, соединяющая враждующіе дома Горешковъ и Соплицъ. Герой поэмы не онъ, а его отецъ, кающійся грѣшникъ, скрывающій подъ монашескою рясою и каптуромъ ксендза Робака свое прежнее имя Яцка Соплицы, убившаго когда-то мѣткимъ выстрѣломъ знатнаго пана стольника Горешку, въ то время, какъ этотъ послѣдній отражалъ русскія войска и потому прослывшій сыщикомъ Русскихъ, измѣнникомъ и Тарговичаниномъ. Ксендзъ Робакъ искупалъ вину какъ только могъ, далъ воспитаніе внучкѣ стольника, въ надеждѣ женить на ней своего сына, служилъ польскому дѣлу какъ наполеоновскій агентъ, подготовлялъ обширное повстаніе; но его же прошлое разстраиваетъ его планы, его намеки истолковываются превратно, старинный слуга дома Горешковъ, Гервасій, пользуется возбужденіемъ шляхты, чтобы поднять ее на Соплицъ и „заѣхать" домъ главы этого рода, судьи Соплицы, брата монаха Робака. Торжество горешковской партіи было недолгое, явились русскіе сол-

даты и охмѣлѣвшую сонную шляхту перевязали какъ барановъ. Тогда Робакъ выручаетъ арестантовъ изъ бѣды, сторонники Соплицъ вмѣстѣ съ сторонниками Горешковъ нападаютъ на солдатъ и производятъ послѣ жестокаго боя избіеніе москалей, послѣ чего, кто можетъ, удираетъ за Нѣманъ подъ наполеоновскія знамена. Въ бою смертельно раненъ Робакъ, и предсмертной исповѣди его посвящена цѣлая 10-я пѣсня. Гордый стольникъ пользовался услугами хвата Яцка на сеймикахъ и трибуналахъ, но когда Яцекъ страстно полюбилъ его дочь, которая отвѣчала ему взаимностью, знатный панъ сдѣлалъ видъ, что вовсе ничего не замѣчаетъ, а потомъ отказалъ Яцку и несчастную дочь свою выдалъ за воеводу. Эта холодная жестокость подвинула Яцка на преступленіе, которое онъ потомъ пытался загладить подвигами патріотическаго самопожертвованія. На исповѣди Яцка собственно и обрывается дѣйствіе; все остальное: легіонисты, 1812 годъ, крестъ почетнаго легіона, повѣшенный на могикѣ Яцка, пиръ и игра Янкеля на цимбалахъ, это только великолѣпный эпилогъ съ послѣдними аккордами. Но эта-то именно фигура Яцка, занимающая центральное мѣсто въ произведеніи, есть диссонансъ въ цѣломъ: до того она по своему характеру не эпична и не подходитъ по тону и ритму ко всему остальному. Въ Яцкѣ совмѣщаются два лица: ветхій и новый—ветхій необузданный, новый побороающій ветхаго съ сверхъестественною силою. Двѣ личности не сошлись, коллизія ихъ высоко драматична, но не эпична, потому что какъ лихорадочная порывистость одного, такъ и сверхъестественная мощь другого одинаково выходятъ изъ простой нормы, изъ характеризующихъ область эпоса качествъ: простоты, человѣчности, удобопонятности. Робакъ есть послѣднее преображеніе прежняго идеала поэта, сокрушенный байронистъ и романтикъ, кающійся, искупающій безпредѣльнымъ самоотреченіемъ и практическими дѣлами увлеченія своего чувства, свою грѣшную гордыню и самолюбіе. Но Яцекъ Соплица въ поэмѣ не только—видоизмѣнившійся первичный идеалъ поэта, онъ еще частица и собственной его души: исповѣдь его есть собственная автобіографія Мицкевича. Эта особенность хранима была долгое время въ тайнѣ, даже по смерти поэта, пока въ началѣ семидесятыхъ годовъ съ одной стороны письма Одынца, съ другой—разсказъ, переданный госпожею Духинскою, Генріетты-Эвы Анквичъ-Скарбекъ, по первому мужу Шембекъ, по второму—Кучковской, не обнаружили, что Яцекъ былъ самъ Мицкевичъ, что Эва была Генріетта[1]), а стольникъ—графъ Анквичъ, съ убійственною, невозмутимою вѣжливостью осаживающій зазнавшагося соискателя... [2]). Впечатлѣніе, произведенное Паномъ Тадеушемъ въ обще-

---

1) «Но Эва, подойдя, такой кидала взглядъ, что въ кроткихъ ангеловъ могъ превратить весь адъ». Пѣсня X.

2) «Знай, что дочь моя—уже почти жена, За каштелянича помолвлена она, Но ви-

ствѣ польскомъ, было громаднѣйшее и весьма продолжительное; признаніе достоинствъ полнѣйшее. Въ то время поэтъ уже порывался духомъ къ иному, болѣе возвышенному, по неизмѣнному стремленію своей натуры, этическіе идеалы ставящей неизмѣримо выше эстетическихъ. Къ Одынцу онъ писалъ въ приведенномъ уже письмѣ 1834 г. (Korr. I, 99): „Мое правило—не оглядываться ни на кого, смотрѣть только на себя, мало пещись о свѣтѣ и людяхъ... Я убѣждаюсь, что слишкомъ много жилось и работалось для міра сего, для пустыхъ похвалъ и мелкихъ цѣлей. То только писаніе чего-нибудь стоитъ, посредствомъ котораго человѣкъ можетъ исправиться и научиться мудрости".—Но задуманное не осуществлялось и даже „Дзяды" остались не отдѣланными, потому, что Мицкевичъ созидалъ только тогда, когда на него сходило вдохновеніе, а оно сходило на него рѣже и рѣже. Послѣднее отмѣченное его посѣщеніе было въ 1840 г., когда друзья давали обѣдъ Мицкевичу въ день Рождества, и онъ, вызванный на импровизацію Словацкимъ, отвѣчалъ съ жаромъ, котораго не чувствовалъ со времени писанія 3-й части „Дзядовъ" (Korr. I, 174). Въ домашней жизни Мицкевича произошла перемѣна: въ половинѣ 1834 года онъ женился (Korr. I, 103). Слыша похвалы дѣвицѣ Селинѣ Шимановской, дочери піанистки, которую знавалъ бойкою, капризною, но миленькою дѣвочкою въ Петербургѣ, Мицкевичъ проговорился предъ друзьями, что онъ бы радъ на ней жениться. Друзья устроили дѣло, вызвали Селину въ Парижъ—бракосочетаніе состоялось и хотя совершилось оно не по влеченію любви, но нѣкоторое время Мицкевичъ вполнѣ былъ счастливъ съ женою, веселою, довольствующеюся самымъ малымъ (Korr. I, 103). Явились дѣти, росли заботы о хлѣбѣ насущномъ; жена съ 1839 г. по смерть свою, въ 1855 г., сходила три раза съ ума.—Въ 1837 г. Мицкевичъ пробовалъ силъ своихъ въ совершенно новомъ родѣ творчества, онъ далъ для постановки на театрѣ Porte Saint-Martin драму на французскомъ языкѣ [1]) *Барскіе конфедераты*, которую сильно поддерживала Жоржъ Зандъ. Драма, несмотря на то, не была принята какъ несценичная; она—произведеніе слабое; три послѣднія ея дѣйствія гдѣ-то, ходя по рукамъ, затерялись, остались только первыя два. Въ 1839 г. Мицкевичъ устроился, получивъ, не смотря на свое вѣроисповѣданіе, каѳедру латинской словесности въ весьма протестантскомъ университетѣ въ Лозаннѣ; вскорѣ потомъ, въ концѣ 1840 г., ему открылось гораздо болѣе обширное поприще для дѣятельности: ему поручено было французскимъ правительствомъ преподаваніе на французскомъ языкѣ, на вновь открытой каѳедрѣ, сла-

---

дишь, въ Витебскѣ не въ Вильнѣ каштелянъ, Совсѣмъ не мудрый стулъ иль креслишко въ Сенатѣ. Что скажешь мнѣ на то коханый пане брате"? (II. X.)

[1]) Mélanges posthumes d'Ad. M. par Ladislas Mickiewicz, 1872. Paris. 1-re Série.

вянскихъ литературъ, въ Collége de France. Постъ былъ въ высшей степени почетный, публика по своей развитости безподобная, соотечественники ожидали весьма многаго отъ безспорно перваго современнаго поэта Польши и Славянства (Пушкинъ ум. 1837 г.), но срочная, систематическая кропотливая работа преподавателя не приходилась Мицкевичу по душѣ; она его истощала и не удовлетворяла. Въ ученые онъ не годился, но изъ славянскихъ литературъ онъ коротко зналъ двѣ главныя: русскую, до тридцатыхъ годовъ, и польскую. Онъ могъ если не овладѣть вполнѣ предметомъ, то во всякомъ случаѣ воодушевлять слушателей, передавая имъ, положимъ, не о Славянствѣ, но о Польшѣ, много глубокихъ и поэтическихъ мыслей. Но именно въ это самое время, когда Мицкевичъ началъ второй курсъ лекцій (въ іюлѣ 1841), онъ умственно свихнулся, оступился въ мистицизмъ, котораго обильные задатки имѣлись въ его душевной организаціи; вмѣсто науки сталъ преподавать религіозное ученіе и политику, и подвергся удаленію съ каѳедры (послѣдняя лекція была 28 мая 1844), вслѣдствіе явнаго уклоненія отъ обязанностей преподаванія. Эта печальная перемѣна вызвана была появленіемъ въ Парижѣ теософа Андрея Товянскаго и образованіемъ въ лонѣ католицизма особой раскольнической церкви или такъ-называемаго „товянизма". Участіе Мицкевича въ этомъ дѣлѣ [1]) интересно болѣе въ патологическомъ отношеніи, оно повліяло однако и на содержаніе курса славянскихъ литературъ [2]). Оно можетъ быть объяснено только сопоставленіемъ того, что́ дѣлалъ Мицкевичъ послѣ 1841, съ идеями, разсѣянными въ его статьяхъ въ журналѣ „Pielgrzym", и съ книжкою, которую онъ писалъ еще въ Дрезденѣ и Парижѣ и издалъ 1832 г. въ Парижѣ: *Книги польскаго народа и странничества* ((Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego),

Книжку эту онъ стѣснялся продавать и раздавалъ даромъ (Korr. I, 173): она написана библейскимъ слогомъ, прозою, была переведена почти тотчасъ же на многіе европейскіе языки и послужила образцомъ для евангельски-соціалистическихъ размышленій Ламнэ въ Paroles d'un croyant. Она—книга бытія, книга исхода и катихизисъ польскаго странника; она изображаетъ, какъ любо было христіанскимъ народамъ послѣ крестовыхъ походовъ, „когда свобода распространялась медленно, но постоянно и мѣрно, отъ короля на знатныхъ пановъ, отъ этихъ послѣднихъ на шляхту, отъ шляхты на города; вскорѣ она должна была

---

[1]) Współudział A. Mickiewicza w sprawie Andreja Towiańskiego, Listy i przemówienia, 2 t., Paryż. 1877.

[2]) Извлеченія изъ курса въ Politique du XIX siècle par Adam Mickiewicz. Paris, 1870. Курсъ, напечатанный на французскомъ языкѣ и переведенный по нѣмецки, изданъ въ польскомъ переводѣ Вротновскимъ: Literatura Sławiańska wykładana w Kolegium francuzkiém, 4 tomy. Poznan', 1865.

низойти на весь людъ, а со свободою равенство(?)". Но короли все испортили и натворили идоловъ, послѣдній и самый мерзкій изъ этихъ идоловъ былъ „*интересъ*". Паденіе Польши объяснено тѣмъ, что этотъ народъ не преклонялся предъ идоломъ интереса и творилъ добро безкорыстно; когда Польша возстановится, то войнъ не будетъ. Въ ожиданіи этого возстановленія странники должны держаться въ кучкѣ, не ссориться, сора изъ избы не выносить, не искать покровительства у князей міра сего, не учиться у мудрецовъ (у лжеучителей Вольтера и Гегеля, у пустомелей Гизо и Кузена). И Мицкевичъ и его соотечественники видѣли только одну сторону дѣла, одни доблести прошлаго безъ его грѣховъ, безъ внутреннихъ причинъ обѣихъ катастрофъ 1795 и 1830 г. Они не понимали, тѣмъ менѣе могли они додуматься до практическихъ путей выхода изъ несомнѣнно тягостнаго положенія. Иного выхода они и не допускали кромѣ реставраціи, то-есть отмѣны совершившагося факта, на которомъ, какъ на каменномъ фундаментѣ, уже утвердилась и обстроилась политическая система современныхъ правительствъ. Энергическое сознаніе живучести народа, которое они питали, и совершенное безсиліе, возбужденіе нервовъ чувства и параличъ нервовъ движенія, вели роковымъ образомъ къ мистической вѣрѣ въ спасеніе невѣдомымъ образомъ, посредствомъ чудесъ. Страданія въ настоящемъ вознаграждаемы были великолѣпнѣйшими мечтаніями о царствѣ славы въ будущемъ, когда неисполнившій своего призванія народъ явится опять осуществителемъ христіанской идеи въ гражданскихъ и международныхъ отношеніяхъ. Какъ можетъ совокупность лицъ, которыя и слабы, и неуживчивы, и мало способны при приведеніи въ исполненіе простѣйшихъ предпріятій, быть подвинута на преображеніе всей Европы? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служило, съ одной стороны, указаніе на сотрясенія европейской почвы, предвѣстники переворота 1848 г. (отъ переворота монархическій принципъ не ослабѣлъ, а усилился, но въ то время предполагалось, что дни его сочтены и приводились слова Наполеона: dans cinquante ans l'Europe sera republicaine ou cosaque); во-вторыхъ, предположеніе превратившееся въ увѣренность, о предстоящемъ появленіи великаго человѣка, „живого закона", новаго Моисея, Христа, Наполеона, въ которомъ идея будущаго найдетъ свое подходящее воплощеніе (incarnation), послѣ чего уже она получитъ осуществленіе (réalisation). Случайно и явилось лицо, которое выдало себя за такого, Богомъ посланнаго „человѣка судьбы", и передъ которымъ Мицкевичъ сразу преклонился, ставъ въ положеніе покорнаго ученика къ „учителю", послѣ чего своимъ словомъ и примѣромъ онъ увлекъ многихъ другихъ товарищей выходцевъ. Это лицо былъ нѣкто Андрей Товянскій (род. 1798, ум. 13 мая 1878), бывшій судья по выборамъ въ главномъ литовскомъ судѣ (въ Вильнѣ), сосредоточенный

въ себѣ мечтатель, мало читавшій, мало образованный, но съ раннихъ лѣтъ помышлявшій о религіозной реформѣ и дошедшій до такого совершенства въ духовной жизни, что ему казалось, что онъ получалъ на все приказанія свыше [1]). Подобно многимъ своимъ землякамъ современникамъ, Товянскій былъ наполеонистъ, суевѣрный почитатель духа Наполеона; онъ слѣдилъ кой-за-какими результатами открытій въ естественныхъ наукахъ, въ особенности за ясновидѣніемъ и магнетизерствомъ и составилъ себѣ особыя понятія о силѣ воли и о невидимомъ мірѣ, облегающемъ видимый, — нѣчто похожее на ученіе о переселеніи душъ. Онъ пришелъ къ убѣжденію, что наступила пора осуществлять начала христіанства, вводя ихъ въ практику частной и общественной жизни, съ чѣмъ связано и будущее Польши. Онъ отправился съ этимъ призваніемъ, взявъ паспортъ, за границу (іюнь, 1840). Такъ какъ онъ былъ совсѣмъ не рѣчистъ, не находчивъ въ большихъ собраніяхъ и даже на письмѣ выражался неясно и съ величайшимъ трудомъ, то единственный способъ къ исполненію задуманнаго только и могъ заключаться въ томъ, чтобы обратить въ свое ученіе одного или нѣсколькихъ сильныхъ и вліятельныхъ людей, посредствомъ которыхъ управлять потомъ движеніемъ, стоя такъ-сказать за облаками. Товянскій всегда твердилъ самымъ упорнымъ образомъ, что онъ правовѣрный римскій католикъ, только понималъ онъ эту религію немного по-своему; въ выборѣ адептовъ и въ дѣйствіи на нихъ онъ обнаружилъ необыкновенную проницательность, стойкость и ловкость. Адептовъ искалъ онъ только между вѣрующими; первые опыты не удались: архіепископъ Дунинъ въ Познани и бывшій главнокомандующій повстанія генералъ Скржинецкій въ Брюсселѣ, выслушали его, но потомъ отступились, почуявъ ересь. Послѣ того въ іюлѣ 1841 г. Товянскій сразу подчинилъ себѣ Мицкевича открывъ ему нѣкоторыя обстоятельства прошлой жизни поэта, никому, какъ полагалъ Мицкевичъ, неизвѣстныя, и содѣйствовалъ исцѣленію находившейся тогда въ заведеніи для умалишенныхъ жены Мицкевича, сказанными ей нѣсколькими сильными словами, которыя тотчасъ на нее подѣйствовали [2]). Загадочное въ средствахъ обращенія объясняется очень просто. Товянскій въ Вильнѣ слышалъ много подробностей о Мицкевичѣ отъ его виленскихъ друзей, отъ Марыли, Путкаммера, отъ живописца Ваньковича; кромѣ того, оказывается, что двѣ зимы 1835 и 1836 г. онъ провелъ въ Дрезденѣ, видаясь ежедневно съ Одынцомъ, и ведя нескончаемые

---

[1]) „Иногда я по цѣлымъ днямъ обдумывалъ, какъ должны быть шиты сапоги; по нѣскольку часовъ молился, какъ купить гвозди на прибивку крыши для отца, чтобы все это было *въ правдѣ*“.—„Бывъ судьею, я по утрамъ сидѣлъ въ церкви, послѣ чего меня трудно было сбить съ результата, какой я отмѣтилъ себѣ въ молитвѣ по какому нибудь дѣлу (Wspólud. I, 196).

[2]) Срав. статью: Z powodu wspomnienia o Mick., въ журналѣ Niwa 1879, № 113.

разговоры о Мицкевичѣ (Siem., Relig. str. 149). Сѣмя падало на почву вполнѣ подготовленную. Тоскливыя выжиданія выходца опережали время, заставляли его чаять чудеснаго; дѣйствіе той прямой власти надъ душами, которой онъ добивался въ 3-ей части „Дзядовъ“ отъ Бога, онъ испыталъ на себѣ въ новомъ откровеніи... Такъ какъ онъ никогда не ходилъ у оффиціальной церкви на помочахъ, то всѣ возраженія съ этой стороны онъ устранялъ словами: „когда народъ движется въ гробу, потому что высшій духъ отваливаетъ камень, вы спрашиваете у того духа, имѣетъ ли онъ патентъ на званіе механика и форменное разрѣшеніе входа на кладбище“ [1]). Мицкевичъ звалъ изъ Чили въ Европу друга проф. Домейку въ октябрѣ 1842: „пока ты пріѣдешь въ Европу, уже начнутся событія и знамя наше будетъ развѣваться походомъ въ Польшу“ (I, 44). Ученикъ рвался къ дѣлу и увлекалъ за собою учителя. Самъ Товянскій склоннѣе былъ бы къ выжиданію, его идеи были: писать посланія къ императору Николаю (I, 189), собираться въ Римъ, дабы дѣйствовать на папу, пытаться обратить Ротшильда, но, вѣроятно по настоянію Мицкевича, начались богослуженія по парижскимъ церквамъ съ рѣчами Мицкевича и Товянскаго, произведшія скандалъ и послужившія поводомъ къ изгнанію Товянскаго изъ Франціи (іюль, 1842), послѣ чего главнымъ дѣйствующимъ лицомъ товянизма въ Парижѣ остался Мицкевичъ, въ двойномъ характерѣ „вождя святаго дѣла“, организатора новой религіи въ группахъ, по семи человѣкъ въ каждой, и преподавателя въ Collége de France, вносившаго начала новаго вѣроисповѣданія въ свое преподаваніе. Успѣхи товянизма не были особенно блистательны даже среди эмиграціи. Гощинскій и Словацкій примкнули къ движенію, Б. Залѣскій уклонился, Витвицкій и священники Поляки (Іеронимъ Кайсевичъ) явились рѣзкими противниками новаго ученія; пропаганда расширена и производилась, сверхъ Поляковъ, между Евреями и Французами. Тѣмъ усерднѣе шли бесѣды, проповѣди и молитвы по семикамъ; цѣль духовныхъ упражненій состояла въ томъ, чтобы настроить себя на надлежащій *тонъ*, неопредѣлимый никакими признаками, познаваемый только чутьемъ и составляющій всю силу и всю заслугу исповѣдывающаго. Послѣдніе курсы славянскихъ литературъ въ Collége de France представляютъ крайнюю идеализацію особенностей древне-польскаго быта, даже такихъ, какъ избраніе королей и liberum veto; исторія Польши представлена какъ порядокъ, поддерживаемый непрестаннымъ энтузіазмомъ; племя славянское изображено какъ нѣчто единое, въ которомъ дѣйствуютъ, развиваясь, двѣ діаметрально противоположныя и исключающія себя взаимно идеи: русская и польская (Австрія, какъ совершенная аномалія, устраняема была изъ

---

[1]) Wspołudz. I, 22: письмо къ Скржинецкому 7 апр. 1842.

разсчета). Идеѣ польской предрекаема была побѣда при ополченіи противъ сѣвернаго колосса европейскаго Запада, то-есть собственно Франціи, дѣйствующей въ христово-наполеоновскомъ тонѣ и духѣ. Терпкія слова съ каѳедры противъ бездушія и утраты силы дѣйствія оффиціальной церкви произвели разрывъ между Мицкевичемъ и большинствомъ эмиграціи, имѣвшій послѣдствіемъ сложеніе имъ съ себя званія предсѣдателя польскаго историко-литературнаго общества въ Парижѣ (апрѣль 1844). Сама каѳедра была у Мицкевича отнята послѣ того какъ онъ сталъ обращаться къ публикѣ, спрашивая, видѣли ли слушатели воплощенное откровеніе, и дѣлать воззванія къ духу Наполеона для духовнаго съ нимъ общенія. Съ тѣхъ поръ еще три года (до мая 1847) продолжались сношенія Мицкевича съ поселившимся въ Швейцаріи учителемъ, постепенно хладѣющія и становящіяся болѣе и болѣе натянутыми. Положеніе Мицкевича было по истинѣ трагическое. Не смотря на коренную въ своей натурѣ наклонность къ мистицизму, онъ славился и могучъ былъ знаніемъ; когда онъ не увлекался, за нимъ признавали порою его соотечественники проницательный взглядъ и вѣрную оцѣнку отношеній. Анализъ и мистицизмъ уравновѣшивались въ этой организаціи и всѣ произведенія творчества были глубоко осмыслены. Теперь приходилось отъ этого ума и отъ воли отказываться, стремиться къ тому „оглупѣнію ради Христа“ (Współudz. I, 235), которое предлагалъ учитель, искать видѣній, ждать этихъ видѣній и предзнаменованій. Сначала были въ душѣ поэта только сѣтованія на себя: „ты далъ мнѣ стонъ къ Господу, но мощь меня не осѣняетъ, полета не имѣю“... (Współ. I, 39, 40: письмо 11 сент. 1840). Потомъ онъ извѣрился въ учителя, который изъ двухъ задачъ: практическаго осуществленія польскаго вопроса и духовныхъ упражненій, совсѣмъ оставилъ первую и замкнулся въ болѣе покойной второй, между тѣмъ какъ для Мицкевича дорога была только первая, а ко второй онъ охладѣлъ и даже получилъ къ ней отвращеніе: „содроганіемъ ду̀ха мы хвастались,—писалъ Мицкевичъ,—выставляя его напоказъ...; всякаго, кто не хотѣлъ быть эхомъ нашимъ, мы провозглашали бунтовщикомъ. Мы отнимали у братій послѣднюю свободу, уважаемую даже въ тиранніяхъ: свободу *молчанія*. Всѣ злоупотребленія древней синагоги и всѣ тѣ, которыя совершены церковною властью, принялись между нами и принесли плоды“ (Współ. II, 88). Послѣ этого письма отъ 12 мая 1847, переписка прервалась, учитель не переставалъ укорять при удобномъ случаѣ ученика за „недостаточное несеніе креста“. Вождемъ слова и намѣстникомъ учителя въ Парижѣ сдѣланъ Карлъ Ружицкій. Мицкевичъ сталъ опять самостоятеленъ и при первыхъ движеніяхъ февральской революціи отправился въ Италію съ цѣлью образованія польскаго легіо-

на[1]); потомъ вернулся въ Парижъ, гдѣ оживали для него надежды, вслѣдствіе осуществлявшагося возврата къ власти наполеонидовъ. Здѣсь онъ основалъ газету *Tribune des peuples,* которая, просуществовавъ годъ, была закрыта въ іюнѣ 1849. Къ этому времени относится мѣткій портретъ его, начерченный въ немногихъ словахъ Искандеромъ, присутствовавшимъ на обѣдѣ по случаю основанія газеты. Неисправимый мечтатель, Мицкевичъ не отсталъ отъ своихъ наполеоновскихъ идей даже послѣ того разлива крови, въ которую ступилъ новый кесарь Французовъ, овладѣвая престоломъ. Не могъ онъ понять, что то правительство, единственное, по его мнѣнію, которому Полякъ, не унижаясь, можетъ служить [2]), держало Поляковъ только на посылкахъ и играло ими только какъ пѣшками, предназначенными на то, чтобъ ихъ, употребивши, бросить. Какъ только возгорѣлась крымская война, овдовѣвшій Мицкевичъ оставилъ полученную имъ при Наполеонѣ скромную должность библіотекаря при арсеналѣ и отправился въ Константинополь, съ порученіемъ отъ французскаго правительства содѣйствовать образованію польскихъ легіоновъ въ Турціи. Труды и неудобства путешествія и пребыванія на Востокѣ ускорили его кончину. Онъ умеръ 28 ноября 1855 въ Константинополѣ и похороненъ въ Монморанси близъ Парижа.

Таковы были странныя судьбы геніальнаго человѣка, который, пока жилъ, считался безспорно первымъ польскимъ поэтомъ, хотя при его же жизни явились другіе самостоятельные таланты, которые пошли по совершенно новымъ направленіямъ. Объ его заблужденіяхъ и о вліяніи, какъ хорошемъ, такъ и дурномъ, его поэзіи на современниковъ и на послѣдующія поколѣнія, скажемъ впослѣдствіи, здѣсь же отмѣтимъ главную и нераздѣльно ему принадлежащую заслугу, заключающуюся въ томъ, что сдѣлавъ поэзію польскую болѣе національною, онъ освободилъ ее отъ вассальной зависимости отъ иностранныхъ литературъ. Прекрасно оцѣнилъ эту заслугу русскій критикъ Ив. Кирѣевскій [3]) въ слѣдующихъ словахъ: „польская литература какъ и русская не только была отраженіемъ другихъ, но и существовала единственно силою чуждаго вліянія. Чтобы обѣ литературы вступили въ непосредственныя сношенія и заключили союзъ прочный, нужно было хотя одной изъ нихъ имѣть своего уполномоченнаго въ сеймѣ первоклассныхъ правителей европейскихъ умовъ, ибо одно господствующее въ Европѣ можетъ имѣть вліяніе на подвластныя ей литературы. Мицкевичъ, сосредоточивъ въ себѣ духъ польскаго народа, первый далъ польской поэзіи право имѣть

---

1) Mémorial de la légion polonaise de 1848, изд. Влад. Мицкевичъ. Парижъ. 1877.
2) Korr. II, 279, письмо 11 сент. 1855.
3) Обзоръ Русской Словесности за 1829 г., въ Сочиненіяхъ Кирѣевскаго, Москва, 1861. I, стр. 42.

свой голосъ среди умственныхъ депутатовъ Европы и вмѣстѣ съ тѣмъ далъ ей возможность дѣйствовать и на русскую поэзію". Замѣтимъ отъ себя, что роли Мицкевича въ польской, соотвѣтствуетъ роль Пушкина въ русской литературѣ и что будущая критика вѣроятно еще болѣе подтвердитъ подобіе этихъ Славянъ-братьевъ—если не по характеру, который у Мицкевича былъ тверже и чище, то по дарованію—двумъ смежнымъ горнымъ вершинамъ, наклоняющимся одна къ другой.

Б) Раздвоенная литература: эмиграціонная и туземная (1830—1848).

Переселеніе послѣ повстанія 1830 г. интеллигентнѣйшей части общества за границу и преимущественно во Францію, куда направились и не замѣшанные въ движеніи, но тяготившіеся стѣсненіями и предпочитавшіе свободу слова писатели, произвело ненормальный уродливый фактъ раздвоенія литературы на эмиграціонную и туземную, и преобладаніе первой, блистательной, исполненной движенія и свободной надъ послѣднею, вялою, безцвѣтною, боязливою, коснѣющею въ слѣпой привязанности къ родному старому и чурающеюся всякой новизны. За исключеніемъ Вел. Княж. Познанскаго, въ другихъ областяхъ, гдѣ обрѣтался польскій элементъ, никакихъ практическихъ вопросовъ жизни, напримѣръ, вопроса объ освобожденіи крестьянъ, нельзя было касаться; новшество даже въ наукѣ или искусствѣ навлекало на себя подозрѣніе какъ вольнодумство съ одной,—и отталкивало, какъ измѣна старому національному, съ другой стороны. Писатель долженъ былъ сильно считаться съ катихизисомъ и остерегаться отъ всякихъ непочтительныхъ отзывовъ о старинѣ, чтобы не оскорблять святыни народной исторіи. Общество ограждало себя отъ денаціонализаціи, прилѣпляясь безъ критики къ національному старому; изъ опасенія панславизма, оно чуждалось всякой славянской взаимности. При этихъ условіяхъ продолжительнаго застоя, плоды туземной почвы не могли быть питательны и вкусны; подростающія поколѣнія воспитывались не на нихъ, а на запретныхъ произведеніяхъ, проникавшихъ контрабандою изъ-за границы. Такимъ образомъ распространялись, во-первыхъ, интеллектуальные продукты гнилого европейскаго движенія, предшествовавшаго 1848 году, теоріи соціализма и коммунизма, идеи матеріалистической философіи, сочиненія крайне отрицательнаго направленія; но распространялись также, во вторыхъ, и „Дзяды" и „Панъ Тадеушъ" и поэтическія созданія эмиграціи. Эмиграція очутилась за-границею въ видѣ оторваннаго отъ своего основанія правительства, состоявшаго изъ людей всѣхъ партій и оттѣнковъ и продолжавшаго представлять собою народъ и дѣйствовать, какъ будто-бы оно имѣло власть, то заходя съ

задняго крыльца къ европейскимъ дворамъ, то высылая на родину на вѣрныя казни за возбужденіе къ мятежу миссіонеровъ, то приставая ко всевозможнымъ революціоннымъ движеніямъ въ Европѣ, въ ожиданіи всеобщаго европейскаго переворота. То былъ своего рода политическій романтизмъ, гоняющійся вмѣсто настоящаго политическаго дѣла за поэтическимъ его подобіемъ; программа была, конечно, самая широкая: реставрація въ предѣлахъ до 1772, спорили только о средствахъ, выбирая то дипломатическія, то революціонныя; въ концѣ какъ тѣхъ, такъ и другихъ виднѣлось новое повстанье. Настоящими рулевыми эмиграціоннаго корабля были не бывшіе генералы и министры и даже не публицисты, а поэты, люди воображенія и чувства, которые по вдохновенію рѣшали обще-человѣческіе и народные вопросы, разсѣкая гордіевы узлы политики, рубя сплеча и не считаясь съ условіями времени, мѣста и пропорціональности силъ. Эта школа, никуда въ педагогическомъ отношеніи негодная, воспитавъ послѣдовательно одно послѣ другого нѣсколько поколѣній въ повстанскихъ идеяхъ и чувствахъ, послужила прямымъ подготовленіемъ къ послѣдовавшему много лѣтъ потомъ гибельному послѣднему повстанью 1863 г. Хотя впослѣдствіи и поэзія по смерти великихъ ея представителей измельчала, но духъ ея и направленіе остались тѣже. Усвоенныя привычки ума и чувства при первомъ полученномъ просторѣ дѣйствія должны были, при отсутствіи внутри самого общества польскаго достаточно сильно противодѣйствующихъ элементовъ и при неизмѣнившейся въ сущности системѣ между-славянскихъ отношеній, привести къ роковому результату. Но если поэзія эмиграціи не хороша была какъ школа воспитанія, развивая одни способности душевныя въ ущербъ другимъ, она оказалась необычайно плодовитою и обогатила литературу первоклассными сокровищами искусства, почти неизвѣстными русской публикѣ, такъ какъ знакомство этой послѣдней съ польскою литературою XIX вѣка, только-что возникавшее посредствомъ Мицкевича въ первомъ періодѣ его дѣятельности, на немъ оборвалось. Мицкевичъ представляется несомнѣнно главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, съ которымъ состоятъ въ связи всѣ почти современные писатели не только въ эмиграціи, но и на родинѣ его, и къ которому они относятся либо какъ притоки, либо какъ рукава одной громадной рѣки. Но вслѣдъ за Мицкевичемъ появляются два могучія дарованія, которыя становятся рядомъ съ нимъ и дѣлятъ съ нимъ тронъ и скипетръ поэзіи, такъ-что только эти три лица въ совокупности взятыя, дополняя себя взаимно, могутъ быть разсматриваемы какъ полное выраженіе духа польской поэзіи въ моментъ наивысшаго ея развитія котораго она достигла въ промежуткѣ между 1830 и 1848 гг. Эти пѣвцы, уже упомянутые выше

въ жизнеописаніи Мицкевича, были Юлій Словацкій и Сигизмундъ Красинскій.

Когда профессоръ литературы Евсевій Словацкій переселялся 1809 г. изъ Кременца на каѳедру въ Вильно, у него уже былъ сынъ Юлій (род. 23 августа 1809 г.), отъ Саломеи, урожденной Янушевской [1]). Вскорѣ потомъ 1814 г. Евсевій Словацкій скончался; вдова его,—которую знавшіе ее изображаютъ, какъ женщину чрезвычайно симпатичную и увлекательную, несмотря на ея некрасивость, по ея добротѣ и живому, поэтическому, радужному (Одынецъ, I, 150) воображенію,—вернулась въ Кременецъ, но не надолго, потому-что въ 1817 году она рѣшилась, главнымъ образомъ въ виду доставленія лучшаго воспитанія сыну, выдти вторымъ бракомъ за виленскаго профессора, вдовца Огюста Бэкю. Мальчикъ, чревычайно скороспѣлый, былъ сильно балуемъ старшими по возрасту дочерьми Бэкю отъ перваго брака, Александрою и Герсиліею; онъ вышелъ весь въ матерь, которую обожалъ, съ которою жилъ всю жизнь душа въ душу, сообщая ей всѣ свои помыслы, фантазіи и имѣя въ ней строгаго порою критика своихъ произведеній. Съ самаго ранняго возраста въ немъ выдалась одна черта характера: безмѣрное, болѣзненное самолюбіе, но получившее совершенно своеобразное направленіе. Этотъ ребенокъ задался страннымъ желаніемъ сдѣлаться великимъ поэтомъ. На 9-мъ году молитъ онъ Бога въ виленскомъ соборѣ дать ему жизнь хотя-бы наиболѣе страдальческую, но поэтическую, „да буду я презираемъ весь мой вѣкъ, но да получу безсмертную славу по смерти“ (письмо 25 янв. 1845); „при жизни для себя не буду ничего домогаться, но по смерти отъ тебя, Боже, всего потребую“ (Mał. I, 7). Впослѣдствіи, еще почти ничего не напечатавши, Словацкій пишетъ пренаивно къ матери: „вѣришь ли, что, узнавъ о смерти Гёте (22 марта 1832), я подумалъ: должно быть Богъ его призвалъ, чтобы мнѣ, начинающему, очистить мѣсто“ (Mał. I, 52). Эти не по лѣтамъ претензіи, при своей уродливости, сильно озадачивали знакомыхъ, потому-что были поддерживаемы рѣдкимъ врожденнымъ дарованіемъ. Надо всѣми способностями души преобладало воображеніе самое живое, огненное и творческое. Полезное, цѣлесообразное для него какъ будто-бы не существовало, но ко всему

[1]) Главный матеріалъ для оцѣнки Словацкаго составляетъ донынѣ сочиненіе проф. А. Маллэцкаго: Juliuz Słowacki, jego życie i dzieła, 2 tomy, Lwów. 1866—1867. Недавно публикованы (Przegląd polski, 1879) автобіографическія замѣтки Словацкаго изъ ранней его молодости, оказавшіяся въ рукахъ у В. Гаштовта.

При жизни изданныя произведенія Словацкаго собраны въ изданіи Лейпцигскомъ Брокгауза, 1869, томовъ 4. Посмертныя изданы Малэцкимъ въ 3-хъ томахъ, въ Львовѣ, 1866. — Listy J. Słowackiego do matki (1830 — 1849). 2 тома, Lwów 1876; Genezis z ducha J. Słow. Lwow. 1874; P. Chmielowski, Ostatnie lata Słowackiego въ журналѣ Ateneum 1877, № 9; Przyborowski, Serce poety, въ журналѣ Niwa №№ 37—39; St. Tarnowski, статья о Словацкомъ, Przegląd polski 1867.

красивому у него была необыкновенная отзывчивость. Нѣтъ ничего прелестнѣе его переписки съ матерью, гдѣ сказывается въ полной силѣ даръ, называемый у его біографа Малэцкаго даромъ *поэтическаго на міръ воззрѣнія*, то-есть способность подмѣчать, передавать правдиво типическія черты наблюдаемаго, и притомъ только такія, которыя способны возбуждать эстетическія ощущенія въ читателяхъ. Собраніе этихъ писемъ—одна изъ самыхъ лучшихъ автобіографій художника, живущаго только искусствомъ и для искусства. Это воображеніе работало и находилось въ состояніи постояннаго кипѣнія; не успѣвали возникнуть представленія, какъ они уже группировались и укладывались въ цѣлыя вереницы идеальныхъ образовъ, съ которыми онъ носился и жилъ болѣе, нежели съ живыми людьми и которые для него были дѣйствительнѣе живой дѣйствительности. Всѣ страсти у Словацкаго были такъ-сказать головныя, то есть имѣли источникъ въ воображеніи. Тысячу разъ мечталъ онъ находясь въ изгнаніи, о жизни съ обожаемой матерью среди родныхъ, но когда судьба сближала его съ этими родными за-границею, то онъ отъ нихъ бѣжалъ въ бывшее его обыкновеннымъ состояніемъ одиночество. Судьба сводила его съ прелестными женщинами, которыя въ него влюблялись, но съ той минуты, какъ онѣ къ нему привязывались, онѣ становились для него неинтересны; для страсти съ его стороны необходимо было испытанное препятствіе, которое бы его раздражило и подѣйствовало такимъ образомъ на воображеніе. Особенности дарованія опредѣлили и самый родъ поэтическаго творчества. Форма у Словацкаго съ самыхъ раннихъ лѣтъ была блистательная, равняющая его съ величайшими мастерами слова; богатство сравненій и фигуръ, въ которыя отливаласъ каждая мысль, непомѣрное; роскошь образовъ встрѣчается такая только у Шекспира и у Гюго, только образа эти нѣжнѣе, весь внѣшній міръ отливается въ этихъ гармоническихъ стихахъ. Богатство фантазіи, сильное преломленіе въ призмѣ ея лучей свѣта мѣшали даже совершенству произведеній, главная мысль выходила неясная; притомъ, освѣтивъ капитальныя мѣста, поэтъ мало заботился о связкахъ и пренебрегалъ отдѣлкою подробностей, что̀ въ особенности поражаетъ въ его драмахъ. Главныя дѣйствующія лица уставлены и главныя ситуаціи очерчены точно изваянныя мраморныя группы, но затѣмъ переходы отъ одной ситуаціи къ другой недостаточно мотивированы, и дѣйствіе идетъ впередъ капризными скачками, вмѣсто того, чтобы развертываться по законамъ строгой необходимости, какая подобаетъ этому, самому требовательному роду поэзіи. Словацкому присущъ еще одинъ важный недостатокъ. Были поэты, напримѣръ Шекспиръ, которые всегда заимствовали фабулу извнѣ, но влагали въ нее свой собственный главный эстетическій мотивъ, доставленный имъ исторіею,

философскимъ міросозерцаніемъ или ихъ собственною жизнью. Словацкій жилъ больше головою, то-есть идеями, воображеніемъ, и потому онъ часто сживался съ идеями предшественниковъ, бралъ готовые мотивы у современниковъ, или у Шекспира, или у Кальдерона, и разработывалъ ихъ самостоятельно, одѣвая ихъ неисчерпаемымъ богатствомъ образовъ изъ своей собственной фантазіи. По вѣрному замѣчанію проф. Тарновскаго, въ немъ было нѣчто напоминающее плющъ или каприфолій, нуждающіеся въ томъ, чтобы обвиваться вокругъ могучихъ стволовъ. Таковы были главныя черты дарованія, опредѣляемыя господствующею способностью; остальное объясняется условіями среды, въ которой жилъ Словацкій, его личнаго темперамента, его горделиваго самолюбія, легко настраивающагося на тонъ грусти, наконецъ и случайностей его жизни. Университетскіе годы его пришлись на тотъ періодъ, когда преподаваніе находилось уже въ сильномъ упадкѣ, вслѣдствіе дѣятельности Новосильцова; но романтизмъ стоялъ въ полномъ цвѣту. Словацкій, еще будучи ребенкомъ, видывалъ Мицкевича въ домѣ матери. Польскій романтизмъ сопровождался подъемомъ національнаго чувства: Словацкій выросъ въ этой атмосферѣ и проникся безпредѣльною любовью къ своеобразному родному. Романтикомъ онъ сдѣлался на всю жизнь въ гораздо бо̀льшей степени, нежели Мицкевичъ, который былъ теоретикъ и котораго многія лучшія и самыя зрѣлыя произведенія выходятъ изъ рамокъ рома̀нтизма, между тѣмъ какъ муза Словацкаго всегда была причудлива, капризна, чуждалась всякихъ правилъ и гарцовала на дикомъ конѣ безъ сѣдла и уздечки. Словацкій выразилъ въ запискахъ, какъ онъ понималъ романтизмъ: „Романтизмъ, истекая изъ души, имѣетъ то свойство, что искра поэзіи тухнетъ въ человѣкѣ, коль скоро потеряно имъ самоуваженіе. Жизнь романтическаго поэта должна быть романтична; хотя она можетъ обходиться безъ многихъ событій, но требуетъ, чтобы эти событія были чисты и возвышали душу“.

Требованію поэтичности въ жизни, а не только въ стихахъ, удовлетворялъ въ то время, какъ высшій образецъ такой жизни, лордъ Байронъ, умершій въ 1824 г. въ Миссолунги и безконечно много отъ этой поэтической смерти выигравшій. Его пѣсни раздались, когда уже погасли или погасали великіе пѣвцы нѣмецкіе (Шиллеръ и Гёте); когда его пѣсни прекратились, то послѣдніе ихъ звуки подхвачены были новыми свѣтилами европейской поэзіи славянскаго племени, Мицкевичемъ и Пушкинымъ. На Словацкаго поэзія и сама личность Байрона имѣли неотразимое вліяніе. Знакомыхъ непріятно поражалъ байроновскій горькій сарказмъ на устахъ мальчика, еще ничего не испытавшаго, и выборъ выводимыхъ имъ героевъ—мрачныхъ, таинственныхъ злодѣевъ, отступниковъ. Мрачное настроеніе еще усилилось отъ не-

удачи перваго въ жизни романа. Словацкій влюбился въ дочь Андрея Снядецкаго, профессора и члена общества Шубравцевъ, Людвику (впослѣдствіи г-жу Чайковскую). Дѣвушка, старше его лѣтами, весьма образованная, много читавшая, и даже писавшая стихи, отнеслась къ любви юноши-студента какъ къ ребячеству. Въ запискахъ Словацкаго есть описаніе того „адскаго" дня, одного изъ послѣднихъ въ Вильнѣ, когда произошло окончательное свиданіе и объясненіе. Дѣвушка внушила ему, что страсть пройдетъ, гордость заставила его скрыть на лицѣ всѣ чувства, хотя отъ удара онъ пошатнулся на ногахъ; даже руки отъѣзжающей онъ не подалъ; вслѣдъ затѣмъ друзья передали ему, что его обошли наградою за успѣхи въ наукахъ, на которую онъ разсчитывалъ. Весь въ пламени онъ бродилъ по городу, потомъ заперся и плакалъ, и присягнулъ, что не увидитъ больше Вильна [1]). Таковъ былъ конецъ его университетскихъ годоъъ 1824—1828, проведенныхъ въ Вильнѣ уже по смерти вотчима и прерванныхъ только краткою поѣздкою (1826) въ Кременецъ и Одессу, съ посѣщеніемъ на обратномъ пути Тульчина—Потоцкихъ. Чѣмъ быть, что̀ дѣлать? Мать окончательно оставляла Вильно и переселялась въ родной Кременецъ, мечтала о путешествіи съ сыномъ на малыя средства за границу, во сыну вовсе не улыбалась такая ассистенція, отнимающая у путешествія все неожиданное, романическое; онъ скучалъ, рвался на волю, въ одиночество. Рѣшено, что онъ поступитъ на службу въ Варшаву, гдѣ въ началѣ 1829 г. онъ и опредѣлился сверхштатнымъ чиновникомъ министерства финансовъ, управляемаго княземъ Любецкимъ. Два года прошли довольно безцвѣтно, наступило повстанье (ноябрь, 1830). Словацкій впервые сдѣлался публикѣ извѣстнымъ нѣсколькими лирическими пѣснями, исполненными національнаго и революціоннаго энтузіазма, но этотъ пылъ сталъ скоро проходить, его тонкій вкусъ не могъ не быть пораженъ комическимъ и нескладнымъ о́-бокъ великаго, присущимъ всякому народному движенію, а въ особенности движенію 1830 г. Среди самаго разгара повстанья, въ самые лучшіе его дни, Словацкій, не списавшись съ матерью, вдругъ выѣхалъ въ мартѣ 1831 за границу, взявъ паспортъ отъ повстанскаго правительства. Этотъ выѣздъ рѣшилъ его участь, онъ окончательно разстался съ родиной, послѣдующія событія закрыли ему возможность возвращенія; онъ обрекъ себя на скитальчество, превратился въ бездомнаго странника, живущаго и печатающаго свои произведенія на скромныя средства, высылаемыя матерью, такъ какъ сынъ и не пытался избрать родъ дѣятельности, который бы ему доставилъ средства самому заработывать свой хлѣбъ, а вся его

[1]) Эти ощущенія уже нѣсколько переработаны и переиначены въ стихотвореніи Godzina myśli: «дитя блѣднымъ лицомъ упало ницъ, дрожа гордымъ стыдомъ, потому-что оно имѣло гордость великаго человѣка, питаемую предчувствіемъ».

забота была только о стяжаніи славы посмертной [1]). Отъѣздъ за границу не былъ ничѣмъ мотивированъ. Причины такого рѣшительнаго поступка загадочны; извѣстно только, что онѣ имѣли чисто личный характеръ. Въ Дрезденѣ Словацкій получилъ порученіе свезти депеши повстанскаго правительства въ Лондонъ, что̀ дало ему возможность познакомиться съ Лондономъ, послѣ чего онъ поселился въ Парижѣ, гдѣ отпечаталъ два томика своихъ первыхъ стихотвореній (апрѣль, 1832) и съ замираніемъ сердца выжидалъ, что̀ скажутъ рецензенты. Между тѣмъ былъ готовъ уже и третій томикъ (Ламбро), появившійся въ слѣдующемъ году, 1833. Остановимся на этихъ произведеніяхъ молодости, между которыми есть и талантливыя, но есть и такія, которыя заслуживали бы названіе грѣховъ юности поэта. Между ними двѣ драмы: „Миндовэ“ и „Марія Стюартъ“ и шесть поэтическихъ повѣстей (Гуго, Змѣя, Бѣлецкій, Монахъ, Арабъ и Ламбро). Словацкій полюбилъ этотъ Байрономъ распространенный родъ поэзіи, самый свободный, вплетающій произвольно въ эпическую основу безчисленное множество лирическихъ порывовъ. Во всѣхъ этихъ поэмахъ, происходитъ ли дѣйствіе въ языческой Литвѣ, описанной по Мицкевичу (Гуго) на низовьяхъ Днѣпра, которыхъ авторъ не знаетъ, по изображаетъ по Гощинскому, или на дальнемъ Востокѣ, созерцаемомъ въ свѣтѣ поэзіи Байрона и Мура, на первомъ планѣ стоитъ какой-нибудь проклинаемый мрачный герой, сознательно и дерзко борющійся со всѣми обычаями и порядками общества и гибнущій въ этой борьбѣ; артистическая цѣль автора та, чтобы возбудить къ своему герою возможно бо̀льшее либо состраданіе, либо удивленіе, во всякомъ случаѣ сочувствіе. Такія натуры сдѣлалъ Байронъ модными, но упорное ихъ воспроизведеніе и повтореніе у Словацкаго указываютъ на нѣчто бо̀льшее, нежели простая подражательность; онѣ—въ связи съ цѣлымъ міросозерцаніемъ Словацкаго, нашедшимъ выраженіе въ позднѣйшихъ, болѣе зрѣлыхъ его произведеніяхъ, — а его міросозерцаніе было въ тѣснѣйшей связи съ его душевною организаціею и окружающею его атмосферою романтизма. Отношеніе его къ міровымъ порядкамъ и обыкновенному ходу вещей было чисто отрицательное. Какъ пѣвецъ и почитатель одного только необычайнаго, Словацкій и не трудился изучать атомы и составныя части міровою и общественнаго устройства, изслѣдовать корни существующаго въ прошедшемъ, сцѣпленіе частей въ настоящемъ, неизбѣжность и устойчивость мелкаго, обыденнаго. Онъ, называвшій себя (3-я п. Беніовскаго) „немного пантеистомъ и романтикомъ“, сторонился

[1]) Письмо 26 апр. 1833. «Часто думаю я съ горечью о тѣхъ, которые съ малымъ талантомъ содержатъ цѣлыя семейства, а я похожъ на ненужное зелье, — я и тебѣ, мать, въ тягость.—Прости, что я избралъ такой путь, но вернуться не могу» (Маł. I, 165).

иронически отъ усѣвшихся за „тайною вечерею“ поэтовъ польскихъ въ Парижѣ (предисл. къ 3-му тому стихотвореній, 1833), и хотя не былъ атеистъ, даже и не отходилъ отъ христіанства, но имѣлъ о Богѣ понятіе, отъ которыхъ бы покоробило строгаго католика:

„Вижу, что Онъ—Богъ не червяковъ и не той твари, которая пресмыкается. Онъ любитъ шумный лётъ гигантскихъ птицъ и не обуздываетъ скачущихъ коней. Онъ—огненное перо на гордыхъ шишакахъ, великое дѣло смягчитъ его, но не праздная слеза, оброненная у церковнаго порога. Предъ нимъ я падаю ницъ—онъ мой Богъ“ (5-я пѣсня Беніовскаго).

Въ обществѣ, по тѣмъ же причинамъ, Словацкій относился съ безпредѣльнымъ презрѣніемъ къ среднему человѣку, къ черни, къ толпѣ, и обоготворялъ только натуры сильныя и властныя, попирающія ногами всѣ уставы божескіе и человѣческіе, однимъ словомъ—натуры демоническія, ведущія со всѣмъ окружающимъ міромъ борьбу. Такой человѣкъ и самъ безконечно несчастливъ и другихъ мучитъ и тиранитъ, но ими-то и творится все, что̀ дѣлается великаго въ человѣчествѣ, жестокостью и тиранствомъ они не даютъ другимъ людямъ впасть въ непробудную дремоту. Эту философію исторіи Словацкій вывелъ потомъ въ одной изъ послѣднихъ поэмъ „Царь духъ“ (1847):

„Увидѣлъ я тогда страшную тайну, что духи всѣ туда летятъ, гдѣ бой, гдѣ сокрушаются сердца и щиты, а бѣгутъ отъ мѣстъ, гдѣ ложе сна духа. Какая разница между тѣми умершими и между живыми, мечтающими о вѣчномъ покоѣ и желающими, чтобы люди были плотны и здоровы.... О заблужденіе, непостигаемое людьми во плоти! О жалость, оплакивающая мирныхъ царей! Знай, что тотъ лучше, кто кровожаденъ и орлу подобенъ, кто разбиваетъ народъ о народъ“...

Эти строфы обличаютъ революціонный темпераментъ и направленіе. Были въ исторіи великіе люди революціонеры, слѣдовательно насильщики, но изъ этого не слѣдуетъ обратное, то-есть чтобы всякій необузданный человѣкъ и насильщикъ былъ непремѣнно герой,—а между тѣмъ въ первыхъ стихотвореніяхъ Словацкаго, что ни герой, то жестокій, страстный и кровавый человѣкъ, не украшаемый часто даже высокою цѣлью, къ которой бы онъ стремился, и даже неоправдываемый вліяніемъ среды, силою совратившихъ его съ прямого пути обстоятельствъ. Змѣя—Татаринъ, изъ личной мести превратившійся въ кошеваго атамана Запорожскихъ казаковъ; Арабъ—воплощенный демонъ; Янъ Бѣлецкій—ренегатъ обиженный, наводящій изъ мести на родину Татаръ; еще хуже корсаръ Ламбро, вождь Грековъ въ возстаніи противъ Турокъ (XVIII в.), мстящій за повѣшеннаго Турками пѣвца Ригу, безсердечный, скучающій и пьяный. Лучше другихъ только Монахъ синайскій, крестившійся по убѣжденію, но роковымъ образомъ, вслѣдствіе

такой перемѣны вѣры, обреченный на убійственную борьбу со своими соотчичами, Арабами пустыни. Точно такими же воплощенными демонами являются Миндовэ или Мендогъ и Ботсуэль въ „Маріи Стюартъ",— два по злокачественности родственные характера въ первыхъ двухъ драматическихъ опытахъ, имѣющихъ весьма неравную цѣнность.—Князь литовскій, притворно крестившійся, чтобы получить корону отъ папы и защиту отъ ордена, погибаетъ подъ проклятіемъ матери и отъ рукъ народа, не прощающаго ему его политическое отступничество отъ вѣры отцовъ и обычаевъ. Онъ могъ бы быть настоящимъ героемъ трагедіи, но дѣйствіе построено вовсе не на тѣхъ мотивахъ; убивающій Мендога Довмонтъ мститъ за личную обиду—похищеніе жены его Альдоны. Тройнатъ воцаряется послѣ Мендога при содѣйствіи тѣхъ же крестоносцевъ.—Гораздо зрѣлѣе и красивѣе „Марія Стюартъ", которая имѣла успѣхъ и держится до-сихъ-поръ на сценѣ. „Марія Стюартъ" Словацкаго драматичнѣе даже Шиллеровской „королевы узницы", которая, въ сущности, страдательное лицо, гибнущее безъ вины за то, что была воплощеньемъ двухъ ненавистныхъ началъ: непопулярной династической политики и непопулярной религіи. Драма Словацкаго—не историческая картина, въ ней поднятъ только психологическій вопросъ и ярко освѣщена только молодая обаятельная женщина, ненавидимая народомъ, но зажигающая огонь любви во всѣхъ приближающихся къ ней и пользующаяся легкомысленно удовольствіемъ, доставляемымъ проявленіемъ этой силы. Роковая любовь эта стоитъ жизни зазнавшемуся арфисту Рицціо, котораго убиваютъ въ глазахъ королевы гордые бароны при содѣйствіи мужа ея Дарнлея. Смертельно оскорбленная, она кидается въ объятія Ботсуэля, Дарнлей взорванъ на воздухъ, послѣ чего Ботсуэль увлекаетъ прикованную къ нему общностью злодѣянія жертву въ безславное бѣгство при кликахъ преслѣдующаго ихъ разъяреннаго народа. Въ драму вставлено прелестное лицо, шутъ Дарнлея Никъ; драма безконечно бы выиграла, если бы столько же заботъ было приложено къ мотивированію поступковъ дѣйствующихъ лицъ, сообразно задуманнымъ ихъ характерамъ, сколько ихъ употреблено на сильные сценическіе эффекты. Впечатлѣніе, сдѣланное произведеніями Словацкаго, далеко не соотвѣтствовало его ожиданіямъ. Внѣшняя форма и стихъ были прелестны, блистательны; нашлись восторженные, немногіе, впрочемъ, почитатели, которые подзадоривали Словацкаго, вооружая противъ Мицкевича и приписывая ему пальму первенства, что несказанно льстило тщеславію Словацкаго. Но популярнымъ имя поэта въ широкихъ кругахъ не сдѣлалось, что онъ признавалъ и самъ въ предисловіи къ 3-му тому въ словахъ: „не обнадеженный похвалами, не убитый критикой, бросаю третій томъ въ ту безмолвную бездну, которая два первые поглотила". Толпѣ приходилось не по вкусу его

неопредѣленное отрицанiе, она требовала указанія на положительныя цѣли бытія и идеалы и находила таковыя, конечно, не у Словацкаго. Болѣе чѣмъ отъ всякихъ другихъ цѣнителей, Словацкій горѣлъ нетерпѣніемъ слышать мнѣніе Мицкевича, пріѣхавшаго въ Парижъ въ срединѣ 1832 г., но самолюбіе удерживало отъ авансовъ. „Не пойду къ нему,—писалъ Словацкій къ матери,—развѣ онъ захочетъ познакомиться со мною". Мицкевичъ захотѣлъ познакомиться, друзья устроили свиданіе у третьяго лица за обѣдомъ. Первый шагъ сдѣланъ Мицкевичемъ, произошелъ обмѣнъ взаимныхъ учтивостей и похвалъ, вскорѣ потомъ Словацкій сдѣлался членомъ комитета въ литературномъ польскомъ обществѣ (въ Парижѣ), въ которомъ предсѣдательствовалъ Мицкевичъ. Но налаживавшіяся хорошія отношенія вскорѣ испортились. Друзья передали Словацкому отзывъ Мицкевича о его произведеніяхъ: „это прекрасная поэзія, похожая на чудный храмъ, но въ этомъ храмѣ нѣтъ Бога". — Эти слова не содержали обвиненія въ атеизмѣ, они обозначали только, что въ сравненіи съ Словацкимъ Мицкевичъ былъ реалистъ, что онъ отъ поэзіи требовалъ облагороживающаго вліянія на человѣка, увлеченія его къ добру, а бѣснующіеся и невѣдомо къ чему стремящіеся герои-фантасты Словацкаго поражали его своими диссонансами. Съ тѣхъ поръ все стало противно Словацкому въ Мицкевичѣ и его „помятая рубашка и засаленный фракъ" и его папизмъ (письма 4 окт. и 9 ноября 1832), словомъ—Мицкевичъ изображается какъ человѣкъ, совсѣмъ къ поэзіи остывшій. Какъ легкомысленны были подобныя сужденія, доказало появленіе 3-й части „Дзядовъ", но оно-то и довело до остраго кризиса нерасположеніе обоихъ поэтовъ. Вся вина въ этомъ столкновеніи на сторонѣ Мицкевича, изобразившаго въ своей поэмѣ совсѣмъ не двусмысленными чертами, а такъ-сказать—тыкая пальцемъ, вотчима Словацкаго, дорогаго ему и обожаемой его матери человѣка, профессора Бэкю, какъ одного изъ подлѣйшихъ клевретовъ сенатора-попечителя. Въ первомъ пылу гнѣва Словацкій хотѣлъ стрѣляться съ Мицкевичемъ: „ненавижу его"—писалъ онъ къ матери (письмо 30 ноября 1838). Друзья удержали его съ трудомъ отъ вызова, но оставаться въ Парижѣ и переносить молча видъ ненавистнаго человѣка стало ему не по силамъ. „О мать,—писалъ онъ,—теперь мнѣ остается только покрыть тебя такими лучами славы, чтобы тебя не могли уже коснуться стрѣлы другихъ людей. Богъ меня вдохновилъ... то будетъ болѣе ровная съ Адамомъ борьба". Тихій уголокъ, изъ котораго писаны эти строки,—Женева, время писанія —годъ послѣ выѣзда изъ Парижа, а произведеніе, на которое намекалъ Словацкій, дѣйствительно писано въ новомъ духѣ и носитъ заглавіе *Кордіанъ*. Скажемъ нѣсколько словъ объ этомъ женевскомъ житьѣ,

а потомъ и о выработанныхъ въ этомъ уединеніи произведеніяхъ второй манеры творчества Словацкаго.

Плодовитый женевскій періодъ начался въ концѣ 1832 г. и продолжался до итальянскаго путешествія въ первыхъ мѣсяцахъ 1836 года, слѣдовательно, слишкомъ три года. Весна и лѣто уходили на поѣздки по Швейцаріи, увеселенія, забавы, исканіе впечатлѣній, осенью разверзались источники вдохновенія и закипала работа. Весною окружала поэта дивная природа, привлекалъ взоры сѣдой Монбланъ, точно „изваянная статуя Сибири", кругомъ въ пансіонѣ мадамъ Паттэгъ, гдѣ онъ поселился, происходилъ живой приливъ и отливъ самыхъ разнообразныхъ лицъ, англичанъ, французовъ, русскихъ, поляковъ. Словацкій сильно нравился женщинамъ, привлекаемымъ къ нему „какимъ-то магнетизмомъ" (Mał. I, 163), остроумный, щегольски одѣтый, первый мазуристъ. Въ него влюбилась дочь содержательницы пансіона уже немолодая сентиментальная дѣвица Эглантина Паттэгъ. Жизнь была привольная, разнообразная, доставлявшая ему пропасть досуга для работы, омрачаемая только мыслью о матери: „сынъ простираетъ къ тебѣ руки издалека и проситъ прощенія, что онъ оставилъ тебя на свѣтѣ одинокою безъ удовольствій жизни, среди умножающихся гробовъ семейства" (Mał., I, 212). По всѣмъ удовольствіямъ разстилается легкая дымка грусти. Произведеніе, въ которомъ онъ хотѣлъ состязаться съ Мицкевичемъ: „Кордіанъ, 1-я часть трилогіи—Коронаціонный заговоръ", вышло анонимно въ Парижѣ, сильно понравилось и навязываемо было многими Мицкевичу. Въ немъ Словацкій дѣйствительно отрѣшился отъ байронизма, но какъ каприфолій обвился вокругъ чужой идеи. Его Кордіанъ есть продолженный Конрадъ 3-й части „Дзядовъ" или Вацлавъ Гарчинскаго, возрожденный патріотизмомъ, поставившій себѣ опредѣленную цѣль въ жизни и осуществляющій ее съ великимъ пожертвованіемъ жизней какъ собственной, такъ и чужихъ,—однимъ словомъ, типъ польскаго бунтаря тридцатыхъ годовъ. Вѣкъ настоящій—сѣрый и безцвѣтный, точно седьмой субботній день созданія (въ шестой день Богъ слѣпилъ Наполеона; нынѣ седьмой — Богъ сложилъ руки, почиваетъ, никого не создалъ). Тѣмъ дѣятельнѣе работаютъ черти, и наканунѣ перваго дня XIX в. собираются испечь на весь этотъ вѣкъ, который „порадуетъ сатану", людей, которые будутъ все искажать и портить. Изъ чортова котла добываются поочередно Хлопицкій, Чарторыскій, Лелевель, Нѣмцевичъ (девяти султаншъ Феба евнухъ), Круковецкій, однимъ словомъ—всѣ, управлявшіе въ повстаніи 1830 г. Идея совершенно фальшивая: не названныя лица произвели возстаніе, его вызвали шальные энтузіасты,—эту кашу, которую заварили своего времени *красные*, пришлось расхлебывать непричастнымъ къ ней *бѣлымъ*, противъ воли попавшимъ въ правительство. — Среди

этого безсильнаго вѣка выростаетъ поколѣніе, имѣющее почти всѣ черты того, какое изобразилъ впослѣдствіи Мюссе въ началѣ своихъ Confessions d'un enfant du siècle,—нервное, воспламеняющееся какъ порохъ, въ желаніяхъ необузданное. Одинъ изъ такихъ сыновъ вѣка и есть *Кордіанъ.* Подростающее дитя уже возится съ мыслью о самоубійствѣ, въ его любовь къ Лаурѣ вплетены собственныя воспоминанія автора о Людвигѣ Снядецкой. Во второмъ дѣйствіи (1828) Кордіанъ перебралъ всѣ удовольствія, отталкиваетъ продажную любовь, изъ устъ папы въ Ватиканѣ, вмѣсто благословенія, получаетъ внушеніе о покорности установленнымъ властямъ, послѣ чего, разумѣется, разстается съ религіей, неизвѣстно зачѣмъ подымается на вершину Монблана. Эти два приготовительныя дѣйствія можно бы бросить, настоящая драма начинается съ третьяго, съ такъ-называемаго „коронаціоннаго“ заговора (1829); изъ слабаго намека на преступный замыселъ, отмѣченнаго у Мохнацкаго, выросъ цѣлый организованный заговоръ, въ подземельяхъ собора св. Яна, съ вымышленными дѣйствующими лицами, изъ которыхъ одно главное: сѣдовласый предсѣдатель, отводящій отъ покушенія на политическое убійство, и, въ шинели воспитанника школы подпрапорщиковъ, Кордіанъ, рвущійся на это покушеніе. Предсѣдатель не названъ, но въ немъ изображенъ Нѣмцевичъ, причемъ становится понятнымъ, почему авторъ представилъ его въ началѣ пьесы испеченнымъ чертями адскимъ отродьемъ. Съ своей революціонной точки зрѣнія онъ пытался заклеймить старика, который гнушается убійствомъ, какъ пятномъ, налагаемымъ на народность; но впечатлѣніе выходитъ въ результатѣ не то, котораго авторъ ожидалъ, потому что въ сущности старикъ совершенно правъ, а неправъ безумецъ, которому даже и совершить задуманное не достало силы, потому что въ рѣшительную минуту ему измѣнили нервы; его одолѣли призраки его же собственнаго распаленнаго воображенія. Не смотря на этотъ промахъ, послѣднія три дѣйствія драмы (сцена въ подземельѣ, заключеніе и казнь Кордіана) принадлежатъ къ числу лучшихъ произведеній польской драматической литературы.

Начиная съ „Кордіана“, Словацкій, хотя много писалъ въ Женевѣ, ничего не печаталъ вплоть до 1848 г., по совершенному отсутствію фондовъ. Поэтъ жилъ на средства матери, скромно, но комфортабельно. Едвали нашелся бы другой, который бы столько вниманія обращалъ на свою житейскую обстановку, на ея внѣшность, даже на свой костюмъ, покрой его, модность, цвѣтъ перчатокъ. Такъ какъ его произведенія приносили ему отъ времени до времени лишь нѣсколько десятковъ франковъ, то и приходилось, повинуясь „бѣшеной силѣ творчества“ (письмо 21 мая 1836), писать, да написанное прятать на лучшія времена. Дарованіе его было въ полномъ блескѣ и зрѣлости, производи-

тельность велика. Тогда, въ эти женевскіе года (1833 до нач. 1836 г.) задуманы и написаны „Мазепа“, „Балладина“, „Въ Швейцаріи“, „Валласъ“, „Горштынскій“, но изъ всѣхъ произведеній Словацкаго только немногимъ больше половины опубликованы имъ при жизни, набралось, сверхъ того, на три тома сочиненій *посмертныхъ*, изданныхъ по черновикамъ Малэцкимъ (Pisma posmiertne, Львовъ 1866); нѣкоторыя же произведенія утеряны, пропали (напр. трагедія изъ шотландской исторіи „Валласъ“, 1834), или дошли до насъ въ отрывкахъ, хотя вѣроятно были написаны цѣликомъ (напр. драма „Горштынскій“, 1835, изъ послѣднихъ дней Польши) или, наконецъ, были преданы огню самимъ авторомъ (первая обработка „Мазепы“ 1834 г.). Бумаги Словацкаго, сложенныя теперь въ книгохранилищѣ Оссолинскихъ во Львовѣ, служатъ и будутъ служить обильнѣйшимъ матеріаломъ для разработки со стороны идущихъ по стопамъ поэта его поклонниковъ, пытающихся додѣлывать, что̀ имъ не докончено или что́ временемъ и случаемъ изъ цѣльныхъ вещей было истреблено. Разберемъ подъ годами ихъ изданія всѣ эти произведенія, кромѣ одного, кромѣ поэмы: „Въ Швейцаріи“, которая вмѣстѣ съ *Godzina mysli* изображающей его дѣтство, принадлежитъ къ числу автобіографическихъ, то-есть изображаетъ лично имъ пережитое въ дѣйствительности, но уже переработанное въ перлъ поэзіи, какъ перерабатывалъ Гёте свои жизненные опыты въ *Wahrheit und Dichtung*. — Съ конца 1833 г. въ Женевѣ проживала польская семья В(одзинскихъ). Старшая дочь Марья не понравилась Словацкому („некрасивая, ученица Фильда, хорошая пьянистка“). Лѣтомъ 1834 г. состоялась въ большой компаніи, къ которой принадлежалъ и Словацкій, экспедиція въ горы на С.-Бернардъ, чрезъ Гемми, по озерамъ Тунскому, Бріенцскому, въ Грюндельвальдъ и на озеро Четырехъ Кантоновъ; тогда среди этихъ дивныхъ картинъ природы завязалось знакомство, которое потомъ перешло въ идиллію любви, когда весною 1835 г. семья В. поселилась на короткое время въ пансіонѣ Паттэгъ, гдѣ Словацкій былъ свой домашній человѣкъ. „Атмосфера воображенія, страна прошедшаго, островъ идеала, орошаемый рѣкою слезъ“..., пишетъ онъ къ матери (30 іюня 1835). Страсть—единственный, можетъ быть, разъ въ жизни Словацкаго—одинаково была сильна съ той и съ другой стороны; притомъ это была страсть безъ завтрашняго дня, вся въ настоящемъ, съ сантиментальнѣйшими мечтами о жизни весь вѣкъ въ какомъ-нибудь красивомъ ущеліи, тревожимыми предвидѣніемъ, что у поэта отобьетъ эту „лилейную“ душу какой-нибудь „подкоморичъ изъ страны Ляховъ, снабженный шляхетскою развязностью, усами и шпорами“. Поэта терзала мысль о предстоящемъ отъѣздѣ семьи В.; онъ предполагалъ послѣ отъѣзда уединиться и поселиться въ горахъ. Но неожиданныя обстоятельства ускорили развязку и заставили поэта

бѣжать въ горы гораздо раньше отъѣзда изъ Женевы семьи В.; Эглантина Паттэгъ не вынесла того, что Словацкій заинтересовался другою женщиною и заболѣла, мать ея вступилась за нее, вышли сцены, вслѣдствіе которыхъ Словацкій переѣхалъ на другой конецъ озера (Veytoux насупротивъ Meilleries) и писалъ стихотвореніе *Проклятая*: „Будь проклята, ты разстроила послѣднія минуты счастія моего на землѣ, ты изгнала меня въ уединеніе!.. Будь вѣчно проклята, каждый мой стонъ знаетъ тебя и каждая слеза тебя помнитъ“.. Не надо думать, что этими стихами и опредѣлились окончательно отношенія Словацкаго къ проклинаемой; она провожала отъѣзжавшую семью В. и была у поэта, плакала и просила его возвратиться въ пансіонъ. Добрыя отношенія отчасти возстановились, Словацкій имѣлъ всегда слабость къ тѣмъ, которыхъ называлъ подпорками (письмо 20 іюля 1836), нуждался въ томъ, чтобы подлѣ него была нѣжная женская душа, засматривающаяся на него, съ которой бы онъ дѣлился поэтическими мечтами. Но самъ пансіонъ ему опостылъ, онъ въ него нескоро вернулся и написалъ въ Вейту свою швейцарскую поэму. Настоящей Маріи В. совсѣмъ тамъ ненайти, но центръ поэмы занимаетъ любимая женщина въ фантастической обстановкѣ. Она появляется впервые поэту у каскада Аарскаго: „тамъ я ее увидѣлъ и, вдругъ влюбившись, увѣровалъ и вѣрую, что она вышла изъ радуги и изъ пѣны потока... Когда мои глаза обняли ее отъ стопъ до кудрей, то въ нее влюбились глаза, а за тѣмъ чувствомъ, которое заставляетъ любить, послѣдовало сердце, а за сердцемъ душа. Такъ и сталъ клеиться романъ, что хотѣлъ я летѣть къ ней чрезъ каскадъ, потому что я боялся“... что она исчезнетъ какъ привидѣніе... Слѣдуетъ рядъ сценъ у родника Роны и передъ часовнею Телля на озерѣ, въ сталактитовомъ гротѣ и въ домикѣ пустынника. Какія-то препятствія возникаютъ, сердце щемитъ предчувствіе разлуки, потомъ слѣдуетъ безпредѣльная печаль объ этой совершившейся разлукѣ. По отношенію къ формѣ и по части живописанія альпійской природы поэма эта, безъ положительнаго содержанія, есть верхъ совершенства... Красинскій, прочитавъ ее, писалъ (Małecki II, 68): „не знаю ни на одномъ языкѣ ничего подобнаго о мечтаніяхъ любви.... послѣ того нельзя писать стиховъ; только безстыжій человѣкъ возьмется писать стихи послѣ Юлія“... Поэма доказывала полную зрѣлость таланта, которой несомнѣнно способствовали уединеніе и пребываніе среди красотъ природы, прочувствованныхъ поэтомъ всѣми нервами его организма. „Эти три мѣсяца,—писалъ онъ (20 октября 1835),—научили меня многому. Я наблюдалъ гармонію, которая все соединяетъ и наливаетъ однимъ колоритомъ, я вникалъ въ деревья, цвѣты, шумъ и звуки природы“... Онъ объяснялъ и способъ поэтическаго творчества по отношенію къ пейзажу. У него отражались въ памяти два образа: одинъ—

страны, какою ее себѣ представлялъ поэтъ въ воображеніи—красивѣе дѣйствительности; другой—какова эта страна въ дѣйствительности; изъ этихъ двухъ образовъ по слитіи ихъ образуется, наконецъ, третій—самый красивый, „сотканный изъ воображенія и соннаго воспоминанія“ (Mał. I, 240). Послѣдніе слѣды байронизма исчезли, Словацкій сдѣлался спокойнѣе и какъ будто бы совсѣмъ забылъ о цѣляхъ, которыя онъ себѣ поставилъ, бѣжа изъ Парижа. Сокровища поэзіи накоплялись въ его портфелѣ, онъ не пересталъ сѣтовать о томъ, что они не печатаются, и довольствуется ихъ сообщеніемъ немногимъ симпатичнымъ людямъ. Мало того, онъ даже и съ Мицкевичемъ примирился въ душѣ; это своего рода чудо было послѣдствіемъ появленія „Пана Тадеуша“. Извѣстно, что Словацкій былъ ядовитъ по отношенію къ тѣмъ, кого онъ почему либо не любилъ, къ Лелевелю, къ Шопену, на котораго Словацкій, какъ говорили, былъ особенно похожъ. Мицкевича онъ имѣлъ причины не щадить, и еще 13 іюля 1834 г. по одному слуху писалъ саркастически, что Адамъ сочинилъ поэму о какомъ-то шляхтичѣ, который авантюрничаетъ между 1811 и 1812 г. Но, прочитавъ поэму, онъ сложилъ оружіе, смирился, все прошлое простилъ и слѣдилъ съ тѣхъ поръ мысленно за великимъ пѣвцомъ, возмущаясь его стѣсненнымъ положеніемъ, граничащимъ съ нищетою: „должно быть, у васъ тамъ календари, что ли, наполняютъ полки библіотекъ“, писалъ онъ въ маѣ 1835 года. Въ концѣ этого года одно извѣстіе привело Словацкаго въ лихорадочное состояніе: его дядя по матери, Ѳеофилъ Янушовскій собрался съ женою въ Италію и звалъ туда Словацкаго, который пламенно желалъ посѣтить эту страну; вся зима прошла въ хлопотахъ о паспортѣ; въ февралѣ 1836 г. Словацкій направился чрезъ Марсель въ Чивита-Веккію и очутился въ Римѣ между родными, по которымъ онъ такъ тосковалъ вдали отъ нихъ на чужбинѣ, но съ которыми онъ въ дѣйствительности послѣ трехъ мѣсяцевъ сожительства не очень ладилъ, потому что его произведеній они не смаковали, не понимая ихъ смысла и значенія, и были требовательны, а онъ не любилъ стѣсняться и предпочиталъ общество молодыхъ сверстниковъ (Голынскій, Бржозовскій), любителей искусства и энтузіастовъ, съ которыми онъ могъ отвести душу и подѣлиться и впечатлѣніями и пѣснями. Въ числѣ этихъ новыхъ знакомыхъ былъ человѣкъ съ громаднымъ по своему времени знаніемъ и поэтическимъ дарованіемъ, Сигизмундъ Красинскій, котораго обстоятельства такъ сложились, что онъ не могъ признавать себя гласно авторомъ своихъ произведеній, довольствовался тѣмъ, что пускалъ ихъ безымянно, и котораго дарованіе было извѣстно только самому тѣсному кругу его близкихъ знакомыхъ. И Словацкаго извѣстность была весьма мала въ то время и не соотвѣтствовала его творческой силѣ. Оба поэта сошлись, сблизились самою тѣснѣйшею дружбою,

одинаково для обоихъ полезною, потому что многимъ они позаимствовались другъ у друга. Эта дружба, длившаяся семь лѣтъ, кончилась, правда, на девятомъ громкимъ разрывомъ по разницѣ въ убѣжденіяхъ, но такъ какъ она сильно повліяла на ихъ творчество, то подобно тому, какъ нѣмецкихъ Діоскуровъ, Шиллера и Гёте, нельзя изучать порознь, такъ и польскихъ необходимо сопоставить. Потому, прерывая жизнеописаніе Словацкаго, постараемся опредѣлить, кто былъ то новое лицо, которое вошло съ нимъ въ столь исключительныя отношенія.

Изученіе этого лица представляетъ въ настоящее время большія затрудненія: жизнь Мицкевича и Словацкаго можно прослѣдить по годамъ и мѣсяцамъ, по собственной ихъ корреспонденціи; еще болѣе обильные матеріалы остались послѣ Красинскаго—болѣе 8,000 его писемъ, но малая только часть ихъ издана, нѣкоторыя письма вѣроятно никогда не будутъ обнародованы, изъ обнародованныхъ нѣкоторыя (напр. письма къ Ярошинскому) сдѣлались библіографическою рѣдкостью вслѣдствіе того, что ихъ скупило семейство поэта [1]).

Сигизмундъ Красинскій, родившійся 19 февраля 1812 г., въ Парижѣ, принадлежалъ по происхожденію къ той же части прежней Польши, поступившей подъ русское владычество, которая произвела и Мицкевича, и Словацкаго. Эти послѣдніе, хотя далеко не плебеи, были по общественному положенію люди все-таки мелкіе въ сравненіи съ нимъ, кровнымъ аристократомъ, весьма богатымъ, знатнымъ, принадлежавшимъ къ роду, имѣвшему съ державными домами (саксонскимъ и савойскимъ) родственныя связи и видное положеніе при дворѣ. Дѣдъ Красинскаго, Янъ, посолъ на 4-лѣтнемъ сеймѣ, женатъ былъ на Чацкой (сестрѣ Ѳаддея Чацкаго). Отъ этого брака родился 1782 Викентій Красинскій [2]), герба Корвинъ, человѣкъ красивый, храбрый, честолюбивый, который соперничалъ съ княземъ Іосифомъ Понятовскимъ по части кутежей и успѣховъ въ праздномъ тогдашнемъ бомондѣ варшавскомъ, во времена прусскаго владычества. Этотъ В. Красинскій женился (1803) по разсчету на княжнѣ Маріи Радзивиллъ, изъ Бердичевской линіи Радзивилловъ, падчерицѣ извѣстнаго патріота, бывшаго маршала 4-лѣтняго сейма, прозваннаго польскимъ Аристидомъ, Станислава Малаховскаго; потомъ онъ предупредилъ Понятовскаго поступленіемъ въ Наполеоновскія войска, отличился, произве-

---

[1]) Лучшая оцѣнка поэзіи Красинскаго сдѣлана Тарновскимъ въ предисловіи къ изданію его сочиненій: Pisma Z. Krasińskiego. Львовъ, 1875.

— Wyjątki z listów Z. Krasińskiego. Paryż. 1861.

— Moja Beatrice. Zygmunta Krasińskiego. Kraków. 1878.

— Listy Z. Kras. 1835 — 1844 do Edwarda Jaroszyńskiego, ogłosil Marius Gorzkowski. Kraków. 1871.

— Статья Тарновскаго о письмахъ Красинскаго къ Адаму Солтану въ Przegląd Polski, январь 1877.

[2]) J. Falkowski, Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce. Poznań. 1877.

денъ въ императорскіе адъютанты и остался вѣренъ Наполеону до самаго отреченія его въ Фонтенебло, послѣ чего ему поручено было отвести на родину польскіе полки, сдѣлавшіеся зародышемъ особаго польскаго войска, подъ державою Александра I. Генералъ Красинскій достигъ высокихъ мѣстъ сенатора, воеводы; у него во дворцѣ, на Краковскомъ предмѣстьѣ, въ салонѣ собирались на вечера ученые, литераторы, все больше классики; здѣсь царилъ безъ соперниковъ, какъ Аристархъ, Людвигъ Осинскій. Хозяинъ дома, самъ классикъ, былъ однимъ изъ сильнѣйшихъ столповъ русской партіи въ Польшѣ. Популярность его стала сильно падать по мѣрѣ того, какъ портились добрыя отношенія между народностями и близилась революція, въ особенности начиная съ сеймоваго суда 1828 г. надъ политическими заговорщиками, въ которомъ онъ одинъ стоялъ за строгое осужденіе подсудимыхъ [1]). Послѣ того, какъ вспыхнуло повстаніе, генералъ Красинскій оставилъ Варшаву и переѣхалъ въ Петербургъ. Въ 1856 г. по смерти Паскевича онъ даже исправлялъ временно обязанности намѣстника. Молодой Сигизмундъ воспитывался частью въ Дунаевцахъ, Подольской губ., у бабки по отцу, старостины Опиногорской, частью въ Варшавѣ. Когда ему было 8 лѣтъ, къ нему былъ опредѣленъ гувернеромъ знаменитый впослѣдствіи писатель Корженевскій, который не могъ ужиться однако съ генеральшею, капризною и высокомѣрною женщиною [2]). Вліяніе матери, умершей, впрочемъ, рано, въ 1822, было самое незначительное на ребенка; за то надъ сыномъ тяготѣла всю его жизнь властная рука отца. Никогда сынъ не измѣнилъ долгу сыновней преданности и любви; онъ отца и любилъ по своему, довѣрялъ ему даже свои сердечныя тайны, далъ отцу руководить собою въ важныхъ дѣлахъ, напримѣръ, въ женитьбѣ; но была область извѣстныхъ чувствъ, въ которыхъ сынъ оставался неприступенъ, нѣмъ и глухъ къ требованіямъ и мольбамъ отца. Ни въ чемъ они не походили другъ на друга—ни во вкусахъ, ни въ идеяхъ. Самое высокое общественное положеніе отца было причиною, роковымъ образомъ повліявшею на то, что сынъ обрекъ себя сознательно на полнѣйшую бездѣятельность общественную и столь же полную анонимность литературную. Судьба заставила его, когда онъ былъ подростающимъ только юношею, претерпѣть жесточайшую, какую можетъ понести человѣкъ, обиду за непопулярность отца. Въ 1829 г., на похоронахъ предсѣдателя сеймоваго суда, воеводы Бѣлинскаго, явились массою, по уговору между собою, всѣ студенты университета, оставивъ пустыми ауди-

---

[1]) Нелестный портретъ его имѣемъ въ письмахъ кн. П. А. Вяземскаго. См. «Русскій Архивъ», 1879 г., № 5, стр. 110.
[2]) Klemens Kantecki, Dwaj Krzemieńszczanie. II. J. Korzeniowski. Lwów, 1877, str. 189.

торіи; примѣру товарищей не послѣдовалъ только Сигизмундъ Красинскій, по приказанію отца отправившійся на лекцію, за что на слѣдующій день товарищи (Леонъ Лубенскій) побили его и вытолкали. Впечатлѣніе этой минуты осталось сильное; оно отражается въ слѣдующихъ словахъ послѣдняго произведенія Красинскаго, *Niedokonszony poemat:* „Вижу то старое зданіе, въ залахъ котораго сидитъ тысяча сверстниковъ, а учителя читаютъ съ каѳедръ. Вижу змѣею завертывающуюся лѣстницу. Неправда ли, смѣлый я былъ мальчикъ, хотя недоростій и слабый силами? Я шелъ изъ дому, проходилъ мимо ихъ всѣхъ съ гордостью на челѣ, зная, что меня ненавидятъ, но за что— не зная. Они окружили меня, тѣснятъ со всѣхъ сторонъ, кричатъ: „паничъ, паничъ", какъ будто бы позорно, что я могу указать, гдѣ положилъ голову не одинъ изъ моихъ отцовъ и въ какой онъ церкви погребенъ. Боже! въ дѣтской груди впервые зародился адъ — я ухватился за желѣзныя перила, а они меня тащатъ за руки, за ноги, за складки плаща. Я, можетъ быть, палъ бы имъ подъ ноги, но ты явился.... мой добрый геній, и сказалъ: „они несправедливы; будь болѣе, нежели справедливъ; прости имъ въ душѣ и возлюби ихъ въ дѣлахъ твоихъ" ".... Этотъ отрывокъ характеризуетъ и человѣка и всю его послѣдующую дѣятельность. Онъ до мозга костей рыцарь, аристократъ, сознательный боецъ за прошлое, готовый дать себя распять за то, что онъ носитель унаслѣдованныхъ идей великой, но погибающей цивилизаціи. Свой личный случай онъ обобщаетъ до послѣдняго предѣла обобщенія, дѣлая изъ него міровой вопросъ аристократіи и демоса и идя на встрѣчу ему съ незлобивымъ сердцемъ и христіанскимъ закономъ всепрощенія и добровольнаго страданія. Сама природа обрекла его въ страдальцы, сдѣлавъ его больнымъ, подверженнымъ нервнымъ припадкамъ, слабымъ глазами и постоянно угрожаемымъ утратою зрѣнія. Постоянно лечащійся на водахъ или въ тепломъ климатѣ, онъ только и находилъ отраду въ дружбѣ съ весьма немногими короткими товарищами и знакомыми, съ которыми онъ дѣлился мыслями (Константинъ Гашинскій, съ которымъ онъ сочинялъ первыя свои юношескія произведенія, и который одинъ защищалъ его въ 1829 предъ товарищами; Даніелевичъ, философъ и музыкантъ, умершій на рукахъ его въ Фрейбургѣ 1841; Адамъ Солтанъ; Эдуардъ Ярошинскій) и съ которыми велъ самую дѣятельную переписку. Большое значеніе имѣли во всей его жизни женскія знакомства и сердечныя связи. По особенностямъ своей всеобобщающей натуры, Красинскій сознательно возбуждалъ и формулировалъ теоретически женскій вопросъ какъ одну изъ задачъ будущаго. Случай 1829 г. заставилъ генерала Красинскаго отправить 17-лѣтняго сына, не кончившаго курса наукъ въ университетѣ, за границу, сопровождаемаго

наставникомъ Якубовскимъ. Къ первымъ временамъ его бытности за границею въ Женевѣ, относится письмо его къ Бонштеттену, помѣщенное безымянно въ Bibliothèque universelle de Genève, 1830, и содержащее писанную для иностранцевъ краткую исторію польской литературы, въ которой, не отрицая заслугъ классиковъ, Красинскій является романтикомъ и горячимъ поклонникомъ Мицкевича [1]). Вскорѣ потомъ Мицкевичъ пріѣхалъ въ Женеву лѣтомъ 1830 г. съ Одынцомъ, который бывалъ у генерала Красинскаго на его вечерахъ въ Варшавѣ и который представилъ юношу Адаму. Устроилась поѣздка въ горы; Красинскій узналъ поближе великаго пѣвца, который сначала былъ замкнутъ и неразговорчивъ. „Я научился отъ него,—пишетъ Красинскій,—смотрѣть хладнокровнѣе, красивѣе, безпристрастнѣе на вещи, освободился отъ многихъ предразсудковъ [2]). Онъ меня убѣдилъ, что всякая шумиха—вздоръ въ дѣлахъ, рѣчахъ и писаньѣ, что одна правда хороша, что всѣ орнаменты и цвѣты слога—ничтожество, когда нѣтъ мысли.... Встрѣча съ нимъ много мнѣ добра принесла“ (письма 5 сент. и 22 окт. 1830). Одынецъ изображаетъ Красинскаго рѣзвымъ, веселымъ юношею, влюбленнымъ по уши въ одну дѣвицу англичанку (миссъ Генріетта). Красинскій познакомился съ Анквичами, отправился въ Италію, и двѣ зимы 1830—31 и 1831—32 провелъ въ Римѣ, первую изъ нихъ въ обществѣ Мицкевича, вторую въ обществѣ Г. Ржевускаго и Анквичей. Польскія событія 1830—31 года произвели на Красинскаго потрясающее впечатлѣніе. Жизнь отца его могла подвергаться опасности, какъ явнаго противника повстанья, послѣдовавшаго за Цесаревичемъ. Викентій Красинскій былъ въ числѣ лицъ наиболѣе непопулярныхъ; ему только и была одна дорога въ Петербургъ. Когда повстанье получило трагическую развязку, отецъ потребовалъ сына въ Варшаву, оттуда онъ по приглашенію повезъ его въ Петербургъ, гдѣ Сигизмундъ долженъ былъ бы поступить на государственную службу, еслибы отъ этой, повидимому, неизбѣжной, но несоотвѣтствующей его желаніямъ колеи, не избавили его нервное разстройство и глазная болѣзнь — послѣдствія душевнаго потрясенія, вызваннаго событіями 1830—31 года [3]). Во время бытности въ Петербургѣ Красинскій два раза только вышелъ изъ своей комнаты, когда ѣздилъ представляться, былъ отпущенъ лечиться, и въ 1833 г. уѣхалъ въ Вѣну съ другомъ своимъ Даніелевичемъ, изъ Вѣны въ Римъ, от-

---

[1]) Kronika Rodzinna 1876, № 15.

[2]) О женевскомъ путешествіи см. письма Одынца, т. IV, въ концѣ котораго помѣщены письма Красинскаго къ отцу.

[3]) Письмо 1832 изъ Женевы: «Глазамъ моимъ угрожаетъ слѣпота, все тѣло разстроено, можетъ быть скоро я отойду туда, куда многіе пошли, отойду безъ славы, безъ любви и сожалѣнія людей. Однако не подлое сердце билось въ этой груди; я бы могъ пѣть и сражаться». Listy Z. Kras. 7.

куда, 21 ноября 1833 г. (Kronika Rodz. 1874, стр. 309), сообщалъ по секрету другу Гашинскому о написанномъ, первомъ изъ зрѣлыхъ и сильныхъ своихъ произведеній — *Небожественной Комедіи*, которой давалъ въ то время иное еще названіе: *Мужъ*. Драма, хотя написанная только на 21 году, была не первымъ произведеніемъ; ей предшествовали нѣкоторые другіе, но совсѣмъ еще юные опыты. Еще студентомъ въ Варшавѣ Красинскій, увлекаясь Вальтеръ-Скоттомъ, сталъ писать съ товарищами quasi-историческіе романы, — съ Гашинскимъ: *Могила рода Рейхсталей* (1828 въ Korres. Warszawski), а съ Гашинскимъ и Доминикомъ Магнушевскимъ: „Władysław Herman i dwór jego" (Warszawa 1829). Изъ этихъ сотрудниковъ Гашинскій (род. 1809, выходецъ съ 1831, ум. 1866), писалъ кое-что впослѣдствіи и оставилъ неизданныя еще записки о своихъ отношеніяхъ къ Красинскому. Гораздо сильнѣе по таланту Магнушевскій (1810—1847), авторъ „Польской женщины въ трехъ эпохахъ", „Мести Урсулы Мейеринъ", неизданныхъ драмъ „Радзѣевскій" и „Владиславъ Бѣлый" [1]), который любилъ архаизмы, поддѣлывался подъ старинный слогъ, искалъ народности въ поэзіи, но, самъ того не замѣчая, былъ подражателемъ „растрепанной" школы французскихъ романтиковъ (В. Гюго и др.). Безъ содѣйствія другихъ Красинскій написалъ еще затерявшіяся повѣсти, все прозою: Завиша, староста Вильчекъ, Теодоръ—царь лѣсовъ, наконецъ, изданный въ Вроцлавѣ 1834, романъ *Агайханъ*. Едвали этотъ романъ напоминаетъ Вальтеръ-Скотта, а скорѣе д'Арленкура, и если есть въ немъ достоинства, то развѣ по части слога, а не содержанія. Героиня романа—Мариа Мнишехъ, съ момента смерти Тушинскаго вора, къ которой пылаютъ безумною страстью казакъ Заруцкій и татаринъ Агайханъ. И лица, и обстановка вымышленныя. въ рисовкѣ мѣстъ и описаніи событій видна наклонность къ безмѣрному преувеличенію, къ вычурному до карикатурности. Главный недостатокъ этихъ поэтическихъ грѣховъ юности—полное отсутствіе правды. Даніелевичъ писалъ о Красинскомъ (Kr. rodz. 1874, стр. 309): „онъ безъ устали пишетъ. Должно быть, въ немъ *furibunda vena* поэтическая, и бѣшеная выносливость. Вѣроятно онъ когда-нибудь отречется отъ того, что̀ теперь пишетъ; эпоха писанія еще для него не пришла". Несомнѣнно, что знакомство съ Мицкевичемъ помогло начинающему стряхнуть съ себя реторику, подойти къ правдѣ, остальное довершено созерцаніемъ польскихъ и европейскихъ событій 1830 г. Писатель вдругъ возмужалъ и преобразился. Написанная въ Римѣ 1833 г. *Небожественная Комедія* (*Nieboska Komedya*), изданная въ Парижѣ 1835, есть вполнѣ зрѣлое произведеніе, запечатлѣнное всѣми

[1]) Во Львовѣ 1877 вышелъ первый томъ полнаго собранія его сочиненій (Dzieła Dominika Magnuszewskiego).

индивидуальными характерными признаками творчества, присущими всѣмъ послѣдующимъ произведеніямъ. Оригинальность ея велика, и заключается въ томъ, что Красинскій является въ области искусства метафизикомъ, олицетворяющимъ средствами искусства самыя отвлеченныя идеи. Каждая его поэма есть философская теорія, продуманная посредствомъ образовъ, имѣющихъ по отношенію къ кореннымъ ея идеямъ значеніе символическое. Эти теоріи иногда предпосылаются произведеніямъ въ предисловіяхъ (Przedświt), иногда вставляются въ самый текстъ поэмъ (Psalm Wiary). Въ перепискѣ съ друзьями, гораздо ранѣе формулируются тѣ соціальные и политическіе вопросы, которые составятъ потомъ основу той или другой драмы или эпоса; но именно вслѣдствіе того, что общее и всемірное стоитъ на первомъ планѣ, чисто личное сравнительно мало занимаетъ въ нихъ мѣста, такъ что ключъ къ произведеніямъ Красинскаго находится не столько въ лично имъ испытанномъ, сколько въ общемъ состояніи умовъ въ Европѣ, съ іюльской революціи до войны, кончившейся осадою Севастополя [1]). Этимъ свойствомъ объясняется и, замѣченный Клячкою [2]), ходъ развитія поэзіи Красинскаго *нисходящій*, обратный ходу развитія *восходящему* другихъ поэтовъ, которые начинали съ своего національнаго и затѣмъ возносились до общеміровыхъ идей, между тѣмъ какъ у Красинскаго эти послѣднія составляютъ исходную точку, а національное является вѣнцомъ и заключеніемъ эволюціи. Эта метафизичность въ творчествѣ Красинскаго имѣетъ послѣдствіемъ то, что никогда не можетъ быть онъ такъ популяренъ въ массахъ, какъ Мицкевичъ или даже Словацкій. Его поэзія меньше доступна, она всегда важна, серьёзна, діапазонъ ея всегда выше обыкновеннаго нѣсколькими тонами, она чуждается всего вульгарнаго, она изрѣдка пышетъ гнѣвомъ, негодованіемъ, но въ ней не было ни малѣйшей примѣси комизма. Онъ самъ отлично понималъ эту не-вульгарность своей музы. „Примѣшивай, — писалъ онъ изъ Рима 1840, къ Словацкому, — немного желчи къ твоей лазури, ты увидишь, какъ этотъ химическій земной элементъ привлечетъ къ тебѣ все земное. На землѣ болѣе печеней, нежели сердецъ. О, какъ тогда станутъ понимать тебя печенки.... Попробуй, они того требуютъ, они только тогда почувствуютъ твою руку, когда ты съ размаха ударишь, когда

---

[1]) Когда 1841 г. по поводу Лѣтней Ночи, Словацкій доискивался въ письмѣ къ Красинскому личной основы этого произведенія, онъ получилъ (письмо 16 марта 1841, Римъ. Mał., II, 116) только слѣдующій отвѣтъ: «Не касайся смертельныхъ ранъ; не испытывай слишкомъ неизмѣримыхъ сердецъ. Когда бросишь въ море якорь, не знаешь, куда онъ пошелъ, потому что глубь темна. Можешь ли сказать, что твое желѣзо не попало на живое существо и не пронзило его или не изранило.... Будь подобенъ ангелу свѣта и звука, а опыты оставь старому Виллю (т. е. Шекспиру) и анатомамъ. Простри тихую и лучистую радугу надъ тѣмъ, кому жизнь была горька».

[2]) Revue des deux Mondes, 1862, janviet: Le poète anonyme de la Pologne.

тяжелая, костлявая, она падетъ на виски. Пока она подъята къ небу. къ звѣздамъ.... до тѣхъ поръ они мнятъ, что это бѣлая лилія, растущая невинно на лугу". Живя постоянно на наибольшихъ высотахъ мысли и чувства, Красинскій, какъ полнѣйшій идеалистъ, былъ настоящимъ антиподомъ современнаго реальнаго направленія; но, какъ идеалистъ, онъ былъ близокъ къ тѣмъ древнимъ Грекамъ временъ Перикла, которые создавали мраморныхъ Олимпійцевъ, дивно красивыхъ, но красотою, не копированною съ живыхъ натурщиковъ и моделей. Самые пріемы его въ творчествѣ скорѣе пріемы скульптора, нежели живописца. Созданныя имъ лица пластичны, но безкровны, въ нихъ нѣтъ колорита, а одинъ только рисунокъ, но совершенство этого рисунка таково, какъ въ древней пластикѣ, въ которой по одной головѣ или торсу, безъ всякихъ аттрибутовъ, угадаешь сразу, что статуя изображаетъ, того или другого бога или героя. О задачахъ поэзіи онъ имѣлъ своеобразныя и довольно странныя представленія. „Поэзія,—писалъ онъ,—есть предвидѣніе совершеннѣйшихъ формъ, въ какія когда либо на землѣ или въ небѣ облечется реальная жизнь" (1840 г., Listy Kras. 181). Легко объяснить особенностями фантазіи Красинскаго и его литературныя предпочтенія. Онъ въ восхищеніи отъ „Виконта де-Бражелонъ" и всей трилогіи „Мускетеровъ": „Дюма доходитъ до гомеровскихъ ситуацій и описаній, изъ сердца человѣчества выхваченныхъ, правдивыхъ, поэтическихъ, точно по правилу Цицерона: fac imagines quibus pulsentur animae. Не соблазнись онъ погонею за деньгами, онъ бы сравнялся съ Шекспиромъ" (Listy, стр. 172). Шекспиру Красинскій удивляется, но ему не сочувствуетъ. „Шекспиръ хотя широкъ, какъ сѣверное сіяніе, но ниже Байрона, который сверкнулъ только молніею средь бури" (1837 г., Listy, стр. 26). „Люблю я больше одну трагедію Шиллеровскую на сценѣ, нежели всѣ Шекспировскія. Шиллеръ шествуетъ полубогомъ, какъ Аполлонъ Бельведерскій съ подъятымъ челомъ. Весна кругомъ его, и до гроба, въ сердцахъ героевъ, и послѣ смерти и на гробахъ ихъ все цвѣты да звѣзды" (стр. 31). „Шекспиръ—великій мастеръ диссонансовъ, дѣлающій опыты на характерахъ, какъ физикъ и химикъ дѣлаютъ ихъ надъ тѣлами. Знаетъ, какъ мучатся люди, какъ текутъ слезы и кровь, но не знаетъ, зачѣмъ? Его точка зрѣнія еще дѣтская" (Listy, стр. 177—180). „Онъ какъ дипломатъ, разсказывающій, что всѣ войны и революціи пошли отъ какой-нибудь мелкой интрижки. Интрига была, но было еще и нѣчто бо̀льшее — перстъ Божій: тутъ кончается Шекспиръ и начинается Шиллеръ" (32). Этотъ странный взглядъ на Шекспира зависитъ не только отъ вкуса, но и отъ особеннаго пониманія цѣлей жизни и искусства. Красинскій, съ одной стороны, наибольшій противникъ теоріи искусства для искусства, простирающій свое отрицаніе до того, что, по его понятіямъ,

выше всѣхъ тотъ, кто поэтъ въ жизни, и что тотъ уже нравственно измельчалъ, кто отъ поэзіи отдѣлился пропастью слова, а недостоинъ ея тотъ, кто ею забавляется, играетъ и предаетъ на праздное наслажденіе людямъ (вступленіе въ „Небож. Ком.“). Съ другой стороны, онъ вѣруетъ, что истинная поэзія есть правда, но не настоящаго, а будущаго; все то, о чемъ она мечтаетъ, когда-нибудь осуществится; она—цвѣтъ чувства, котораго плодъ—религія, родительница философіи, а всѣ три вмѣстѣ нераздѣльны. Она—непремѣнное видѣніе будущаго и пророчествованіе о будущемъ (Listy, стр. 69), вызываемое несовершенствами настоящаго. Съ его метафизической точки зрѣнія все осязаемое и видимое—не реально, а дѣйствительную реальность имѣютъ только его мечты о томъ, что̀ должно быть и что̀ будетъ [1]). Такимъ образомъ у Красинскаго заслуживаютъ вниманія: критика настоящаго и идеалы будущаго. Какъ же понималъ Красинскій это настоящее? Онъ постигъ его въ иномъ видѣ, нежели современники, нежели самъ Мицкевичъ. Для всѣхъ первымъ на череду есть вопросъ національный, онъ разрѣшается реставраціею, реставрація есть дѣло времени не очень отдаленнаго [2]). Для Красинскаго подобныя иллюзіи не существуютъ. Вся современная западно-европейская цивилизація, со включеніемъ и польской, съ ея идеалами, съ ея рыцарственностью, съ самымъ мозгомъ костей ея—христіанствомъ, вымираетъ, трупныя пятна выступили наружу и распространяются; поэтъ слѣдитъ за признаками смерти, запускаетъ зондъ въ раны и пишетъ Гашинскому (1834, Римъ; Listy, стр. 9): „Знаю, что цивилизація наша кончается, что близится время, въ которомъ новыя злодѣянія явятся, чтобы казнить за прошлыя и самихъ себя осудить передъ Богомъ, но знаю также, что эти злодѣянія ничего не создадутъ, не построятъ, что они пройдутъ какъ конь Атиллы и сами заглохнутъ. Затѣмъ то, чего ни ты, ни кто бы то ни было, не знаетъ, не понимаетъ,—придетъ, выдѣлится изъ хаоса и составитъ новый міръ,—но въ то время и твои, и мои кости окажутся давнымъ давно истлѣвшими“. Въ этихъ словахъ содержится уже цѣликомъ вся *Небожественная Комедія*, которая въ главныхъ своихъ чертахъ сводится къ слѣдующему.

Разстилается поверхность совершенно мертвеннаго, бездушнаго, изжившагося оффиціальнаго общества, въ которомъ нѣтъ стремленій, идеаловъ, задачъ, а царитъ одна условная ложь, говорятся условныя

---

[1]) Widoma rzeczywistość przemogła w tobie nad niewidomą, swiętą, wiekuistą prawdą: zgubionyś! *Pokusa*.

[2]) «Панъ Тадеушъ», пѣсня II:

О милый сердцу край! Когда-жъ дозволятъ боги
Узрѣть мнѣ отчихъ хатъ знакомые пороги?

«Исторія будущаго» Мицкевича была только фантазія, которою М. забавлялся, не придавая ей серьёзнаго значенія.

фразы и творятся условные обряды. Встрѣчаются отдѣльныя личности, которымъ не живется спокойно въ этомъ гробу: таковъ—*мужъ* или графъ Генрихъ, въ которомъ воплотилась вся гордость, вся рыцарственность прошлаго, но имъ негдѣ развернуться. Отъ пошлой среды, отъ законной жены Генрихъ бѣжитъ, чтобы не спать „сномъ оцѣпенѣлыхъ, сномъ обжоръ, сномъ фабриканта-нѣмца при женѣ нѣмкѣ", и гонится за призраками любви юныхъ лѣтъ, славы, небывалаго рая—на эти скитанія онъ потратилъ лучшую часть жизни, не принеся никакой пользы людямъ, потому что, въ сущности, онъ почиталъ и возлюбилъ только себя и свои мечтанія. Когда онъ возвращается изъ этихъ скитаній, оказывается, что домъ его пустъ, родился у него сынъ, но жена сошла съ ума, помѣшавшись на томъ, что въ ней поэзіи нѣтъ, и что она не можетъ доставить счастія мужу; на крестинахъ она, вмѣсто имени крестнаго, нарекла ребенка поэтомъ. Великолѣпна сцена въ домѣ сумасшедшихъ, гдѣ она умираетъ на рукахъ мужа, а со всѣхъ сторонъ слышатся голоса помѣшанныхъ, воспроизводящіе всѣ клички, лозунги и формулы современныхъ партій и теорій. Дитя растетъ, болѣзненное, хилое, скороспѣлое, обреченное отъ природы на раннюю слѣпоту; мышленіе испортило въ немъ тѣло. Заклинаніе матери подѣйствовало: Жоржъ (Orcio)—поэтъ, и когда его заставляютъ молиться, то по неодолимому влеченію въ слова молитвы онъ вставляетъ образы, тѣснящіеся въ его воображеніи: „Богородице, дѣво, радуйся, царица небесная, владычица всего, что цвѣтетъ на землѣ по полямъ, надъ ручьями"…. Красинскій изобразилъ себя и свои страданія, и свою жизнь душевную въ этомъ Жоржѣ. Между тѣмъ проходятъ года и близится для стараго общества день суда и разсчета, въ трупѣ завелись черви, поднято знамя кровавой соціальной революціи. Что появленіе отъ времени до времени краснаго призрака принадлежитъ къ числу небезусловно устраненныхъ возможностей въ ходѣ развитія нашей цивилизаціи, то едвали подлежитъ сомнѣнію въ виду конвента, утопій 1848 г., интернаціонали и землетрясеній, колеблющихъ отъ времени до времени нашу почву. Опасность есть, но она предупреждается принятіемъ своевременно различныхъ мѣръ. Красинскій, будучи прирожденнымъ противникомъ разнузданныхъ силъ стихійныхъ, предчувствовалъ опасность и даже преувеличивалъ ее. „Изъ кого ты составишь французскую республику,—писалъ онъ,—изъ господствующихъ купцовъ, или изъ работниковъ? кромѣ нихъ, я никого не вижу (1834, Listy, стр. 9). Въ „Неконченной Поэмѣ", составляющей позднѣйшую передѣлку идей „Небожественной Комедіи", Красинскій влагаетъ въ уста Данту слѣдующія слова: „Когда я жилъ, были работники и знамена ихъ цеховъ развѣвались на перилахъ башенъ; они торговали багряницею и каменьями на ярмаркахъ, но они имѣли мечи за поясомъ и носили

четки, рука ихъ умѣла править кормиломъ на высокихъ волнахъ, строить на сушѣ неприступныя укрѣпленія. Они серебро брали, но грязь съ серебра смывали кровью битвъ. Что̀ сдѣлаете съ пальцами, мягкими какъ воскъ, съ устами, никогда не произносившими молитвы, безъ силы земной и безъ надежды на Бога, вы алчущіе одного злата?“ Во главѣ побѣдоносной черни стоитъ Панкратій, мощный диктаторъ, съ холоднымъ умомъ, желѣзною волею, великимъ презрѣніемъ для слѣпо слѣдующихъ за нимъ людей. Съ другой стороны, обстоятельства выдвинули впередъ графа Генриха и дали ему, какъ сильному энергическому человѣку, власть и начальство надъ послѣдними бойцами стараго порядка, остатками дворянской касты, духовенства, преданныхъ старинѣ крестьянъ, заключенными въ послѣднемъ своемъ оплотѣ—фортѣ Св. Троицы [1]). Какъ ни силенъ матеріально Панкратій, ему бы однако хотѣлось одержать надъ противникомъ нравственную побѣду, склонить его на почетную капитуляцію. Онъ посылаетъ къ Генриху требовать свиданія, съ другой стороны—графъ Генрихъ посѣщаетъ тайкомъ лагерь Панкратія, собранія разныхъ клубовъ, присутствуетъ при обрядахъ новой религіи, изобрѣтаемой сеидомъ Панкратія, его Сенъ-Жюстомъ, Леонардомъ. Слѣдуетъ капитальная сцена свиданія, въ крѣпости Св. Троицы, двухъ людей, принциповъ, одинаково властолюбивыхъ, одинаково презирающихъ тѣхъ, кому они приказываютъ, одинаково неразборчивыхъ на средства. Ситуація на видъ та же, что въ Quatre-Vingt-Treize Гюго между Симурдэномъ и Лантенакомъ, еслибы ихъ свести и заставить спорить, но эти послѣдніе—фанатики идеи, между тѣмъ какъ ни Панкратій въ сущности не вѣритъ въ свою утопію [2]), ни Генрихъ въ отжившіе идеалы своей расы и касты. Графъ Генрихъ даже поколебался, когда Панкратій, подкладывая палецъ подъ сердце его и трогая нервъ поэзіи, приказываетъ ему: „Если ты любишь искренно правду и искалъ ее, если ты человѣкъ по образу человѣчества, а не на подобіе маменькиныхъ пѣсенокъ, то брось все и слѣдуй за мною“. Но соглашеніе невозможно. Уходя, Панкратій на порогѣ кидаетъ проклятіе, слѣдующее всему отжившему. Въ послѣдней битвѣ графъ Генрихъ приказываетъ штыками гнать на стѣны и шанцы князей и графовъ, умоляющихъ его начать переговоры о сдачѣ; его проклинаютъ, умирая, даже вѣрные его слуги за упрямство; возлѣ него палъ отъ пули сынъ его слѣпецъ, онъ самъ кидается въ бездну съ верхней террасы за̀мка, когда все уже погибло. На опустѣвшую террасу всходятъ Панкратій съ Леонардомъ. Панкратій чувствуетъ, что

[1]) Фортъ дѣйствительно существуетъ надъ Днѣстромъ близъ Хотина. Здѣсь Казиміръ Пулавскій съ Барскими конфедератами отражалъ русскія войска. Замѣтимъ, что Красинскій провелъ юные года по близости отъ этихъ мѣстъ—въ Дунаевцахъ.

[2]) «Скажи мнѣ, во что ты вѣруешь—легче тебѣ жизни лишиться, нежели изобрѣсти новую вѣру» (Вступленіе къ Неб. Ком.).

совершилъ только одну половину дѣла, что надо заселить эти пространства, создать рай земной, сдѣлать, чтобы закипѣла жизнь, гдѣ одни развалины и трупы. Но въ эту минуту его поражаетъ страшное знаменіе: его поражаетъ несомое на тучахъ видѣніе, ликъ снѣжно-бѣлый, опирающійся на крестъ, въ терновомъ вѣнкѣ изъ сплетенныхъ молній. Отъ устремленныхъ на него взоровъ этого видѣнія Панкратій опускается мертвый на руки, зовущаго братьевъ-демократовъ на помощь, Леонарда, произнеся слова Юліана Отступника: *Galilaee, vicisti*. Видѣніе, отъ котораго умеръ Панкратій, есть во образѣ Христа являющаяся та правда будущаго [1]), отъ которой одинаково далеки и животный утилитаріанизмъ доктрины Панкратія, и кастовые предразсудки, за которые идетъ на бой и смерть графъ Генрихъ. Сердце поэта лежитъ, конечно, къ Генриху; хотя онъ его осудилъ, но въ письмѣ къ Гашинскому, въ которомъ онъ проситъ его издать „Небожественную Комедію", приписавъ ее небывалому лицу Фирлею (21 ноября 1833), онъ выражается слѣдующимъ образомъ: „это защита того, на что посягаютъ многіе голыши, то-есть, религіи и славы прошлаго". Даніелевичъ прибавилъ въ припискѣ: „сочиненіе не понравится ни одной партіи, мало кто его пойметъ, можетъ быть всѣ его обругаютъ" (Kr. rodz. 1874, стр. 309). Живя въ Римѣ, Красинскій ожидалъ съ нетерпѣніемъ, какое произведетъ впечатлѣніе запаздывающая изданіемъ, посланная въ Парижъ „Комедія"; между тѣмъ его занимали уже другія идеи, и писалась, также какъ и все предыдущее, прозою, смѣшанная поэма—въ половину эпосъ, въ половину драма изъ исторіи кесарскаго Рима *Иридіонъ* (изд. въ Парижѣ 1836), состоящая, несмотря на античные костюмы дѣйствующихъ лицъ, въ ближайшемъ родствѣ съ „Валенродомъ" Мицкевича и содержащая въ примѣненіи къ національному совершенно противоположное рѣшеніе поставленной Мицкевичемъ задачи: можетъ ли для реставраціи, поглощающей всѣ помыслы патріотизма, быть подходящимъ средствомъ чувство мести, котораго идеальнымъ воплощеніемъ былъ Валенродъ, а практическимъ—работы эмиграціи?

Не подлежитъ сомнѣнію, что въ древнемъ мірѣ вѣчный городъ являетъ примѣръ самаго безпощаднаго высасыванія жизненныхъ соковъ изъ безчисленнаго множества культуръ и народностей, въ томъ числѣ изъ высокой культуры греческой. То чувство ненависти и мести, которое одушевляло Аннибала и Митридата, могло существовать и у сѣверныхъ варваровъ, и у Грека. Одинъ такой знатный Грекъ,

---

[1]) См. Kronika rodz. 1875, стр. 36, письмо 1 февр. 1837: «Въ республиканствѣ не заключается весь духъ человѣчества, надъ бурею высится нѣчто болѣе совершенное, нравственность, порядокъ, гармонія, то все, на что если потребуется символа, нѣтъ нынѣ иного, кромѣ христіанства».

заклятый врагъ Рима, Амфилохъ Гермесъ, породнился въ Кимврскомъ Херсонесѣ (Даніи) съ однимъ изъ норманскихъ морскихъ королей, Сигурдомъ, женившись на вѣщей жрицѣ Одина Хримгильдѣ, и воспиталъ въ духѣ ненависти сына Иридіона и дочь Эльсиноэ, при которыхъ гоститъ, въ качествѣ ихъ наставника, таинственное лицо—старикъ Нумидіецъ Массинисса. Гостепріимный домъ Иридіона открытъ не только для римскихъ сановниковъ и вельможъ, но и для грековъ и варваровъ. Случай къ осуществленію долго лелѣянныхъ злобныхъ замысловъ, повидимому, наступилъ, потому что владыкою міра сдѣлался злой, развратный и сумасшедшій Геліогабалъ, на котораго можно имѣть безусловное вліяніе. Иридіонъ жертвуетъ дѣлу сестрою, обрекая ее дѣлить судьбы и ложе кесаря. Въ кесарѣ она возбуждаетъ подозрительность ко всему его окружающему, заставляетъ его смѣло довѣриться брату. Располагая вполнѣ кесаремъ, Иридіонъ втолковываетъ этому Сирійцу, жрецу Митры, что самый злѣйшій врагъ его есть тотъ духъ старо-римскій, который существовать будетъ, пока существуетъ седьми-холмный городъ, слѣдовательно, что надо раздавить городъ и удалиться на родной Геліогабалу Востокъ. Все подготовлено къ перевороту, цѣлыя полчища варваровъ, цѣлыя ватаги гладіаторовъ, между которыми скрываются обездоленные потомки аристократическихъ фамилій Сципіоновъ, Верресовъ, ждутъ только сигнала. Сопротивленія можно ожидать отъ преторіанцевъ и войска, отъ жителей Рима и черни, да отъ той небольшой группы людей, хранителей старо-римской политики и преданій, идущихъ еще отъ республики, которые сосредоточиваются около племянника кесаря, Александра Севера, и во главѣ которыхъ стоитъ воплощеніе старо-римской доблести, исключительности и достоинства—Ульпіанъ. Но рѣшающее въ этомъ покушеніи на Римъ значеніе имѣютъ не кесарь и не наемныя ватаги и даже не когорты преторіанцевъ, а подземелья, то-есть міръ христіанскій, славословящій Назорея въ катакомбахъ. Александръ Северъ и мать его Маммея — тайные христіане; но Ульпіанъ — иного мнѣнія: онъ вѣруетъ, что городъ можетъ держаться только тѣмъ, чѣмъ взросъ—несокрушимымъ мужествомъ и таинственными обрядами прадѣдовъ. Руководимый Массиниссою, Иридіонъ проникаетъ въ подземелья, принимаетъ крещеніе и имя Іеронима, производитъ расколъ въ церкви и увлекаетъ за собою страстнымъ словомъ людей между христіанами новообращенныхъ, горячихъ, молодыхъ, невольниковъ, варваровъ, пришельцевъ изъ египетской Ѳиваиды. Главными его сподвижниками въ этомъ дѣлѣ являются соотечественникъ Симеонъ Коринѳскій и славимая за свою святость благородная Римлянка, Корнелія Метелла („чтобы воплотить неземное царство въ земныя страсти—на то нужна женщина"), которую онъ сознательно соблазняетъ и заставляетъ звать,

по вдохновенію будто бы свыше, братьевъ-христіанъ къ оружію на святое мщеніе. Среди огней бунта, зардѣвшихся въ катакомбахъ, появляется и Массинисса, который становится все больше и больше загадочнымъ и радуется уже не подходящему моменту гибели Рима, но тому, что въ сердцахъ христіанъ возмущены вѣра, надежда, любовь; что „съ тѣхъ поръ не пройдетъ дня безъ того, чтобы не ссорились люди за качества и имена Бога, чтобы именемъ его не сожигали и себя и другъ друга и не убивали, чтобы не распинали вновь Христа своего мудростью и невѣдѣніемъ, своимъ разсчетомъ и увлеченіемъ, смиреніемъ своей молитвы и богохуленіями своей гордыни“. Въ рѣшительную минуту Массинисса даже какъ будто бы измѣняетъ Иридіону: „О Римъ, благословляю тебя, ты спасенъ ради подлости и жестокости твоей“.

Наступаетъ катастрофа: въ то самое время, когда императоръ передалъ всю власть Иридіону, котораго гладіаторы и наемники поджигаютъ Римъ со всѣхъ концовъ, въ катакомбахъ епископъ Викторъ возстановилъ потрясенную власть, предалъ анаѳемѣ Симеона и Иридіона. Метелла умираетъ кающаяся, Иридіонъ срываетъ съ себя крестъ и уводитъ за собою варваровъ, восклицающихъ: „мы тебѣ вѣрны, Іисусъ да судитъ насъ потомъ“. Епископъ Викторъ приказываетъ молиться за Александра Севера. Между тѣмъ преторіанцы врываются въ кесарскій дворецъ, провозглашая Севера. Геліогабалъ изрубленъ въ куски, Эльсиноэ закололась сама. Северъ отсылаетъ ея тѣло брату, обѣщая ему прощеніе, если онъ смирится. Вмѣсто отвѣта посланному съ предложеніемъ Ульпіану, Иридіонъ кидаетъ въ пламя завѣтное кольцо съ таинственнымъ именемъ Рима, изображеннымъ на немъ,—талисманъ, довѣренный ему кесаремъ. Ульпіанъ уходитъ, обрекая злодѣя на aquae et ignis interdictio. Въ послѣднюю минуту на кострѣ Эльсинои возлѣ Иридіона появляется пропадавшій во время перипетій дѣйствія Массинисса и берется спасти его. Кто же ты? — я безсмертный, я богъ,—отвѣчаетъ старецъ и исчезаетъ вмѣстѣ съ Иридіономъ. По объясненію самого Красинскаго (письмо 1837 г., въ Kronika rodz. 1875, стр. 98), Массинисса есть нѣчто въ родѣ античнаго Мефистофеля—символическое олицетвореніе начала зла, начала отрицанія, тотъ мракъ, безъ котораго не было бы свѣта, то непонятное Сатанино неизвѣстное, которое вѣчно пугаетъ насъ тайною безконечности, пока мы его не узнали, но ежеминутно претворяется въ нѣчто и входитъ какъ необходимый факторъ въ свѣтъ и гармонію. Массинисса уноситъ далеко отъ Рима Иридіона, у котораго въ сердцѣ осталось страданіе отъ неудавшейся мести, а въ ушахъ раздается, какъ упрекъ, крикъ умирающей Метеллы. Иридіонъ охотно бы поклонился Богу Метеллы, но Массинисса болѣе, нежели Рима, врагъ

Назорея, за то, что онъ завладѣлъ старымъ небомъ и одряхлѣвшею землею, между тѣмъ какъ есть еще пространства, гдѣ нѣтъ его имени; за то, что онъ одѣнетъ кесареву багряницу; за то, что, припавъ къ его стопамъ, придутъ въ дѣтское состояніе люди Сѣвера, и „Рома" будетъ вторично обоготворена. Иридіона онъ укладываетъ на сонъ многовѣковой и даетъ ему слово разбудить его и показать исполненныя завѣтныя желанія, когда на форумѣ будетъ только прахъ, въ циркѣ одинъ мусоръ, а въ Капитоліѣ одинъ позоръ. Массинисса сдержалъ слово, повелъ пробужденнаго Грека по Via Sacra въ папскій Римъ тридцатыхъ годовъ XIX столѣтія. У портика церкви св. Петра два сѣдые старика въ красныхъ плащахъ, чествуемые монахами именемъ князей церкви, убогіе мыслью, сѣли въ повозку, везомую тощими клячами, сзади ихъ слуга съ фонаремъ, какой держитъ вдова надъ умирающимъ съ голоду ребенкомъ, на рамахъ дверецъ слѣды позолоты—то преемники кесаря, то колесница капитолійской Фортуны. На форумѣ двое нищихъ спятъ подъ лохмотьями одного плаща — то остатки народа Римскаго. На аренѣ Колизея является призракъ Метеллы и начинается борьба за Иридіона между Массиниссою, предъявляющимъ на него свои права, потому что онъ ненавидѣлъ Римъ, и Метеллою, отстаивающею эту душу за ея любовь къ Элладѣ. Иридіонъ спасенъ, и его заставляютъ еще разъ жить, страдать между людьми, любя ихъ и никого не ненавидя. Земля могилъ и крестовъ, куда посылается Иридіонъ, не названа, но подъ нею поэтъ подразумѣваетъ свою собственную родину. Въ послѣдней, такъ-сказать, строкѣ запрятана основная патріотическая мысль произведенія, выведенная абстрактно, теоретически, мало понятно для современниковъ, которымъ притомъ имя Красинскаго, по причинѣ анонимности его сочиненій, было совершенно неизвѣстно.

Иридіонъ есть главное произведеніе первой манеры Красинскаго, манеры символической, которая господствуетъ въ его произведеніяхъ вплоть до 1840 года, и къ которой принаддежатъ сверхъ „Небожественной Комедіи" и „Иридіона", еще слѣдующія поэмы прозою: *Три мысли Лигензы* (изд. 1840 г.), *Лѣтняя ночь* (изд. 1841 г.), *Искушеніе* и большая часть *Недоконченной поэмы.*

Прежде чѣмъ передать содержаніе этихъ произведеній, замѣтимъ, что онѣ отражаютъ міросозерцаніе Красинскаго, но вовсе не его личную жизнь души.—Въ эти годы онъ выстрадалъ много. Онъ былъ влюбленъ въ женщину замужнюю, имѣвшую дѣтей; переписка попала въ руки людей, которые ее огласили; любимая имъ женщина рѣшилась вернуться къ мужу, котораго она сама извѣстила о своихъ отношеніяхъ къ поэту (поздняя осень 1835). Послѣ зимы, проведенной въ Вѣнѣ, Красинскій видѣлся съ нею опять на водахъ дважды

(1837 и 1838). Отецъ Красинскаго, недовольный этою склонностью и старавшійся женить сына знатно и богато, вызвалъ его въ Царство Польское, но, не успѣвъ ни вымолить, ни вынудить отказа, поѣхалъ къ той, отъ которой хотѣлъ оторвать сына, и выпросилъ у нея письмо, которымъ она сама прекращала связь съ Сигизмундомъ. Съ тѣхъ поръ Сигизмундъ Красинскій не имѣетъ съ нею прямыхъ сношеній, слѣдитъ за нею чрезъ друга Ярошинскаго [1]). Отношенія его къ отцу охладѣли; онъ проситъ въ займы денегъ у Ярошинскаго, чтобы не обращаться къ отцу. Его чувство къ женщинѣ, которую онъ продолжаетъ любить, походитъ больше на любовь по долгу совѣсти, соединенную съ состраданіемъ и съ нелишеннымъ горечи воспоминаніемъ, что онъ содѣйствовалъ ухудшенію ея несчастнаго положенія. — Красинскій страшно мучился; его сердце страдало и отъ личныхъ непріятностей и отъ деморализаціи въ цѣломъ народѣ, отъ того, что „все кругомъ становилось плоско, продажно, подло", что „мы больше и больше уподобляемся Евреямъ", трупныя пятна становятся все темнѣе и темнѣе (Prz. Pol. 1877, янв. 86). Онъ и физически былъ боленъ: въ глазахъ носились черныя пятна, нервы были разстроены, порою его что-то влекло къ самоубійству, о которомъ онъ помышляетъ съ нѣкоторымъ сладострастіемъ. „Міръ матеріальный двоится въ моихъ глазахъ, міръ нравственный трескается и разбивается въ десятки кусковъ въ умѣ и сердцѣ моемъ" (94). Единственная, хотя временная отрада заключалась въ наслажденіи произведеніями искусства, жизнь въ мірѣ наиболѣе разнствующемъ отъ того, который его окружалъ. „Тогда я чувствую, что не совсѣмъ еще я сгнилъ, что теплится еще искра въ груди: не моя вина, если изъ нея не выйдетъ пламя. Боже! благодарю тебя, что ты уравновѣсилъ на землѣ подлость поэзіей" (93). Въ 1839 г. Красинскій спѣшитъ въ Италію, которая своими развалинами и воспоминаніями, дѣйствовала всегда оживляющимъ образомъ на его творчество. На этотъ разъ и это средство оказывается слабѣе. „Я въ мѣсяцъ проѣхалъ всю Италію,—пишетъ онъ Ярошинскому, 16 іюля 1839,—отъ Венеціи до Неаполя, я понималъ ея красоту, но не чувствовалъ; совершенно противное бывало въ прежніе года." Въ Неаполѣ однако его ожидало новое знакомство и новая связь, которыя заставили его забыть прежнюю и привязаться къ новой любовницѣ, страстно и навсегда. „Ты знаешь,—писалъ онъ къ Солтану,—что когда я встрѣчу существо, которое не требуетъ утѣшенія, то я гляжу на ея побѣдное шествіе какъ на зрѣлище, но не приближаюсь къ ней, будетъ съ меня глядѣть на нее какъ на Венеру Медицейскую. Такова причина, почему я бѣгу отъ дѣвицъ: такъ я уже созданъ. Иное дѣло,

[1]) Listy Z. Kras. do Edw. Jarosz. 30. 31.

когда я увижу на чьемъ-нибудь челѣ траурный слѣдъ жизненной колеи“ [1]). Въ первыхъ письмахъ изъ Неаполя онъ упоминаетъ мимоходомъ о дамахъ и о разведенной съ мужемъ г-жѣ Дельфинѣ П., притомъ довольно пренебрежительно [2]). Потомъ оказывается, что они сблизились: онъ глядѣлъ въ нее какъ въ зеркало, отчасти воспроизводящее черты прежней Маріи; она, бесѣдуя съ нимъ, отказалась отъ фэшіона, отъ парижскаго тона и передавала ему печально свои судьбы, являя себя женщиною гордою, не вымаливающею состраданія. Потомъ слѣдовалъ постигшій Красинскаго тифъ, его новая знакомая окружила его нѣжнѣйшими попеченіями. 16 марта 1839 г. Красинскій пишетъ Солтану, что полюбилъ ее искренно и „навсегда“. Насколько онъ былъ сообщителенъ относительно Маріи, настолько онъ несообщительнымъ становится теперь, всякія дружескія изліянія о новой страсти прекращаются. За то объ этой страсти свидѣтельствуютъ изданные по смерти поэта лирическіе отрывки стихами, составляющіе какъ бы прелюдію къ „*Разсвѣту*“ (Przedświt), къ новой манерѣ Красинскаго, и обращенные къ той, которую онъ, имѣя въ виду возлюбленную Данта, называлъ своею Беатриче [3]). Если, оставляя въ сторонѣ эти отрывки, остановиться только на изданномъ, то оно не содержитъ переживаемаго, а только проникнуто тѣмъ же общимъ настроеніемъ печали, полно самыхъ мрачныхъ предчувствій о будущемъ, но не личномъ, а всемірномъ, и самыхъ неопредѣленныхъ надеждъ на неизмѣримо далекое будущее.—Туманъ символизма становится гуще и гуще. Въ „Трехъ мысляхъ Лигензы“ (псевдонимъ, избранный для сокрытія собственнаго имени), введеніе: *Сынъ тѣней*—принадлежитъ уже къ роду тѣхъ метафизическихъ стихотвореній, которыми изобилуетъ позднѣйшая поэзія Красинскаго и изображаетъ человѣчество въ видѣ титана. *Сонъ Цезары* изображаетъ смертный походъ родного народа и роковое исчезновеніе его въ могилѣ. Въ третьей мысли, подъ названіемъ *Легенда*, предсказанъ конецъ самаго римскаго католицизма. — Сцена дѣйствія — Римская Кампанья. Къ берегу моря присталъ пароходъ; на немъ тьма странниковъ, въ алыхъ шапкахъ и бѣлыхъ плащахъ;

---

1) Przegląd Polski, 1877, январь, стр. 101.

2) Listy do Jarosz., стр. 21; письмо 20 янв. 1839.

3) Изъ Moja Beatricze, стихотвореніе помѣченное Неаполемъ 1839.

«Опять чувствую какъ вокругъ меня обвивается змѣй,
Опять чувствую увлекающаго меня Бога,
Сонъ смерти исчезаетъ, а въ пространствахъ вселенной
Со всѣхъ сторонъ раздается гимнъ вознесеній.
Опять сердце бьется, опять весна, обоняю запахъ
Розы, слышу пѣніе птицъ.... Мой парусъ бѣлѣетъ
Точно знамя, подо мною море лазури....

Мюнхенъ, 1840, въ Kr. rodz., 1873, стр. 175:

«Обѣ для меня призракъ единый, святой, бѣлый, только вѣчнѣе сталъ я въ любви и въ вѣчность моего идеала вѣрую».

странники, сойдя съ корабля спрашиваютъ: „гдѣ Римъ? мы—остатки польской шляхты, намъ сказано быть въ церкви св. Петра — потому что сегодня послѣдній канунъ Рождества.“ — Весь Римъ въ огняхъ, несмѣтныя толпы народовъ стекаются къ собору св. Петра, преграждая дорогу этимъ послѣднимъ героямъ земли, но по мановенію св. апостола Іоанна, явившагося во образѣ юнаго кардинала. имъ дается пропускъ. Начинается великая папская обѣдня, юный кардиналъ прислуживаетъ, и возвѣщаетъ, что Христосъ народился. „Правда-ли, что въ послѣдній разъ?“ спрашиваютъ странники.—Среди недоконченной обѣдни, юный кардиналъ объявляетъ, что совершились времена, вызываетъ изъ гроба св. Петра, возвѣщаетъ ему, что отнынѣ ему, Іоанну, дано заключить весь міръ въ свои объятья, затѣмъ предлагаетъ молящимся уходить, потому что своды храма начинаютъ трескаться. Народы въ ужасѣ бѣгутъ за юнымъ кардиналомъ, остаются въ храмѣ только папа да фаланга польскихъ странниковъ, которые, сказавъ: „не подобаетъ намъ оставить старца“, подняли мечи вверхъ остріями надъ головою папы.—Храмъ весь превратился въ кучу развалинъ, на развалинахъ возсѣлъ юный кардиналъ, преобразившійся въ лучезарнаго юношу, съ книгою въ рукахъ. Вопрошающаго его поэта св. Іоаннъ успокоилъ тѣмъ, что съ тѣхъ поръ Христосъ не будетъ рождаться, ни умирать, а мертвымъ воздастъ Господь за то, что они оказали старцу послѣдній долгъ.—Въ *Искушеніи* (Pokusa), не смотря на символическую форму, сквозятъ кой-какія воспоминанія петербургскія. Всего таинственнѣе *Лѣтняя ночь* (Noc letnia, Paryż, 1841)—загадочная аллегорическая поэма прозою, внушенная выдачею, по принужденію, нѣсколькихъ знатныхъ Полекъ замужъ за иностранцевъ, и трагическою судьбою жертвъ такихъ смѣшанныхъ браковъ.

Разобравъ и главныя событія жизни и производительность Красинскаго въ первомъ періодѣ его творчества, отодвинемся нѣсколько назадъ къ веснѣ 1836 г., когда послѣ недавняго раздирающаго разставанія съ прежнею своею любовницею, онъ изъ Вѣны переселился въ любимый Римъ, и познакомился съ Юліемъ Словацкимъ. Ихъ встрѣчи были непродолжительны и нечасты, но вліяніе оказали они другъ на друга громадное; оно было гораздо сильнѣе со стороны Красинскаго на Словацкаго, нежели на оборотъ.

Оба были люди молодые, живые; днемъ бѣгали по окрестностямъ, любили гулять на Палатинѣ въ садахъ Villa Mills, по ночамъ вели нескончаемые и страстные споры. По силѣ поэтическаго таланта Словацкій, съ его огненнымъ воображеніемъ и дивнымъ стихомъ, былъ не въ примѣръ выше своего, тремя годами младшаго, собрата; но по многосторонности развитія, глубинѣ и сосредоточенности мысли Кра-

синскій имѣлъ громадный перевѣсъ. Онъ и оцѣнилъ мѣтко собрата [1]): „здѣсь находится Словацкій, милый человѣкъ, одаренный бездною поэзіи: когда эта поэзія придетъ въ равновѣсіе, когда онъ согласуетъ диссонансы, то сдѣлается великимъ. Гарчинскій, до небесъ восхваленный Мицкевичемъ, не имѣлъ и третьей части его дарованія". Впослѣдствіи, когда они еще сильнѣе подружились, и когда талантъ Словацкаго достигъ полнаго развитія, Красинскій въ письмѣ 23 февр. 1840 (Mał. II, 45) писалъ, что онъ знаетъ только трехъ живыхъ великихъ людей, свидѣтельствующихъ, что не умерло все то, что́ считаютъ умершимъ. Одинъ изъ нихъ философъ Августъ Цѣшковскій, другой Мицкевичъ—гранитный обелискъ въ пустынѣ; третій владѣетъ всѣмъ, чего недостаетъ Мицкевичу, и подчинилъ себѣ всѣ горизонты воображенія. То, что̀ въ Мицкевичѣ было твердымъ гранитнымъ сосредоточеніемъ, у послѣдняго превратилось въ жидкость воздуха, въ игру радугъ, въ волны музыки: есть извѣстный пантеизмъ въ этомъ всеотражающемъ чародѣѣ, который притомъ располагаетъ польскою рѣчью какъ послушною и предупредительною рабынею, преданною ему на жизнь и смерть. Этотъ третій—Словацкій. „До сихъ поръ только великій артистъ пойметъ тебя,—писалъ Красинскій Словацкому,—но ты низойдешь и просачиваться будешь въ сердца маленькихъ. Одно тебѣ я бы посовѣтовалъ: гранитъ подложи подъ твои радуги". Красинскій, какъ видно изъ этого письма, наслаждался Словацкимъ, относился къ его дарованію съ энтузіазмомъ. Можетъ быть, примѣръ и совѣтъ Словацкаго увлекли Красинскаго къ перемѣнѣ прозы на стихъ, которымъ онъ овладѣлъ во второмъ періодѣ своей дѣятельности въ совершенствѣ. Дальше того, едвали простиралось вліяніе Словацкаго. Что касается до сего послѣдняго, то 22 іюля 1838 (Listy Słow. do matki, 1836—1848, стр. 58) онъ пишетъ: „жаль, что нѣтъ З. К., коего общество въ Римѣ имѣло для меня въ умственномъ отношеніи врачебное, исцѣляющее вліяніе." Красинскаго можно считать единственнымъ по тому времени человѣкомъ, который въ состояніи былъ идей Словацкаго какъ поэта понять, дать ему совѣтъ и наконецъ поставить передъ глаза его новые, ни на что знаемое непохожіе образцы поэзіи совершенно своеобразной, символической. Какъ извѣстно, въ натурѣ Словацкаго было стремленіе обвиваться плющомъ вокругъ чужого геніальнаго. Податливость Словацкаго сказалась не вдругъ; съ 1834 по 1838 имѣется пробѣлъ въ его издательской дѣятельности: вліяніе могло сказаться только въ произведеніяхъ, изданныхъ 1838 и 1839, между тѣмъ какъ въ іюлѣ 1836 друзья уже разстались, и для Словацкаго насталъ эпизо́дъ, самый, можетъ быть, яркій и красивый,

---

[1]) Письмо 22 мая 1836, Римъ, въ Kr. rodz., 1874, стр. 372.

самый поэтическій, обогатившій его громаднѣйшею массою свѣжихъ разнообразныхъ чувственныхъ впечатлѣній—поѣздка его на востокъ.

Устроилось это путешествіе въ Неаполѣ. Убѣдили Словацкаго ѣхать Голынскіе, устранивъ денежныя препятствія; рѣшилъ сомнѣнія стихъ Библіи, развернувшейся подъ руками гадающаго поэта на словахъ: „цѣлуютъ вы церквы Асійскія" (1 посл. къ Коринѳ. XVI. 19). Путешествіе совершено моремъ съ остановкою въ Греціи, экскурсіями въ Патрасъ, окрестности Аѳинъ, посѣщеніемъ гробницы Агамемнона въ Микенахъ. Греція восхитила Словацкаго болѣе нежели Римъ, но и она поблѣднѣла передъ Египтомъ. Словацкій всходилъ на пирамиды, побывалъ на катарактахъ Нила въ Нубіи, въ развалинахъ на островѣ Филэ и Ѳивахъ. На пути въ Сирію, въ Эль-Аришь въ голой песчаной степи онъ выдержанъ въ карантинѣ, провелъ безсонную ночь у Св. Гроба, былъ на Тиверіадскомъ озерѣ и въ Дамаскѣ, ѣздилъ верхомъ на верблюдахъ, былъ на Ливанѣ и Антиливанѣ, на развалинахъ Бальбека, заперся по доброй волѣ на 6 недѣль въ ливанскомъ монастырѣ Бельхешбанъ, и изъ Бейрута вернулся въ іюнѣ 1837 г. чрезъ Кипръ въ Ливорно. Объ этомъ 10-мѣсячномъ путешествіи, пишетъ онъ слѣдующее: „Я столько видѣлъ, что не понимаю, какъ глаза мои могли вынести все, что́ испытало чувство зрѣнія; много я прочувствовалъ, веселился, восторгался, плакалъ." Онъ поселился во Флоренціи, богатый воспоминаніями, имъ интересовались свѣтскіе люди и дамы, по случаю его похожденій по малоизвѣстнымъ мѣстамъ; онъ пробылъ здѣсь полтора года, и только въ декабрѣ 1838 отправился въ Парижъ вслѣдъ за предпосланною туда одною поэмою и съ множествомъ другихъ въ портфелѣ. „Ѣду,—писалъ онъ,—ударить челомъ моей царицѣ славѣ, сказавъ себя ея вѣрнымъ по смерть шутомъ" (Listy Słow. II, 44; 1837, октября 3). Разумѣется, что въ эти полтора года писалось многое о намѣченномъ на востокѣ, но перебирались и отдѣлывались старыя залежавшіяся вещи, работы начатыя въ Женевѣ или въ Римѣ или въ Сорренто, куда Словацкій бѣжалъ отъ своихъ родственниковъ на мѣсяцъ. Послѣдніе мѣсяцы флорентинскаго житья, имъ заинтересовалась красивая, избалованная дочь пріѣзжихъ, весьма богатыхъ помѣщиковъ М., Анѣля, но, несмотря на предупредительность родителей, относившихся повидимому благосклонно къ расположенію дочери, а можетъ быть, именно вслѣдствіе этихъ авансовъ, Словацкій оттолкнулъ предложеніе, боясь быть заподозрѣннымъ въ корыстныхъ разсчетахъ. Между тѣмъ, семейныя его отношенія сильно разстроились. Красинскій привезъ ему въ концѣ 1838 печальное извѣстіе, что, по возвращеніи на родину, Теофилъ Янушовскій сосланъ былъ въ Пермь, а мать Словацкаго, должна была оправдываться передъ слѣдственною коммиссіею въ Кіевѣ, и лишена была всякой возможности переписы-

ваться съ сыномъ и посылать ему тѣ скромныя средства, которыми онъ содержался. Самъ страдающій и физически и нравственно въ роковомъ для него 1838 г., Красинскій утѣшалъ однако какъ могъ друга, который выразилъ свою благодарность стихами: *Do Zygmunta* (Żegnaj, o żegnaj, archaniele wiary, Coś przyszedł robić z mojém sercem czary...). Весьма разстроенный Словацкій переселяется въ Парижъ и начинаетъ издавать оригинальнѣйшія и блистательнѣйшія свои произведенія, которыя расходятся лучше, чѣмъ предъидущія.—Произведенія эти были слѣдующія.

Прежде всего, посланная имъ изъ Флоренціи поэма прозою *Ангелли* (Парижъ, 1838). Не будь оглашено въ заглавіи имя автора, можно бы прямо сказать, что поэму писалъ Красинскій,—дотого, въ противность всѣмъ пріемамъ Словацкаго, любящаго вообще яркія краски и сильныя движенія страсти, поэма исполнена тумана, символизма, иносказаній и безпредѣльной тихой, душу щемящей тоски, не переходящей никогда въ вопль отчаянія, но и не пропускающей ни одного луча надежды на счетъ личнаго счастія. Малэцкій относитъ эту поэму ко временамъ женевскимъ (1835), но дѣлаетъ это по однимъ догадкамъ, безъ положительныхъ доказательствъ. Если принять въ соображеніе, что въ перепискѣ Словацкаго нѣтъ ни одного прямого указанія о томъ, когда поэма написана; что онъ писалъ послѣ свиданій съ Красинскимъ многое, даже по заглавіямъ неизвѣстное, въ Сорренто, Бельхешбанѣ, Бейрутѣ и Флоренціи; что поэма писана прозою, слогомъ, напоминающимъ правда Библію, но также „Небожественную Комедію" и „Иридіона", картинами, походящими на Дантовскія, но также и воспроизводящими манеру Красинскаго, въ его двухъ названныхъ произведеніяхъ; что основу ея составляетъ широкая философская схема, которой прежде не было у Словацкаго, но которая составляла неизмѣнную подкладку всякихъ произведеній Красинскаго; что Красинскій пишетъ, что Словацкій показывалъ ему „Балладину" въ Римѣ (письмо Крас. 23 февр. 1840; Mał. II, 46), но не упоминаетъ объ Ангелли, между тѣмъ, какъ еслибы въ то время (1837) Ангелли былъ готовъ, то вѣроятно его бы прежде всего представилъ Красинскому Словацкій; что аллегорія, составляющая всю суть Ангелли, слабѣетъ, какъ элементъ поэзіи Словацкаго, въ послѣдующихъ его созданіяхъ,—то слѣдуетъ допустить что въ „Ангелли" есть заимствованіе и подражаніе, но до того талантливое, что оно поразило и плѣнило современниковъ, несмотря на свою неясность. Красинскій былъ отъ него въ восторгѣ, а по смерти Словацкаго предлагалъ на гробѣ его начертить только слѣдующіе два слова: „автору Ангелли".

Подъ видомъ фантасмагоріи при лунномъ освѣщеніи, поэма содержитъ родъ философіи польскаго страданія и выходства во 2-й четверти

XIX столѣтія. Поэтъ намѣренно избѣгаетъ реальнаго и мысль свою символизируетъ, перенося въ Сибирь, имѣющую, впрочемъ, столь мало общаго съ настоящею Сибирью, сколь мало она имѣла общаго съ Монбланомъ, съ которымъ, какъ мы видѣли, связывало оба представленія воображеніе поэта. „И пришли изгнанники на землю сибирскую, построили домъ, чтобы жить сообща,... а правительство доставило имъ женщинъ, чтобы они женились, такъ какъ въ приговорѣ сказано было, что они посланы на поселеніе"…. Въ этой фантастической Сибири есть льды и сѣверныя сіянія, ужасающая темень рудниковъ и сѣверные олени и людъ остяцкій, дружелюбно встрѣчающій несчастныхъ, но въ описаніе вплетены намѣренно черты, никакъ не спеціально сибирскаго быта: система воспитанія, тюрьмы, прогнаніе сквозь строй, наконецъ сцены, видимо взятыя живьемъ изъ исторіи выходства:... „стали изгнанники работать, кромѣ тѣхъ, которые хотѣли прослыть мудрыми и пребывали въ бездѣйствіи, говоря: мы думаемъ о спасеніи отечества". И раздѣлились изгнанники на три партіи, изъ коихъ каждая думала о спасеніи отечества. Одна имѣла предводителемъ графа Скира, державшаго сторону тѣхъ, которые переодѣлись въ кунтуши и прозвались шляхтою, какъ бы новоприбывшими съ Лехомъ въ край пустой. А другая имѣла вождемъ сухощаваго солдата Скартебеллу, который хотѣлъ подѣлить землю и провозгласить свободу хлоповъ и уравненіе шляхты съ Евреями и Цыганами. А третья имѣла вождемъ ксендза Бонифата, который хотѣлъ спасаться молитвою и предлагалъ идти и гибнуть, не защищаясь, какъ мученики. Споря изъ-за принциповъ, спорщики дошли до топоровъ, наконецъ, рѣшили учинить Божій судъ и пригвоздить къ кресту по одному отъ каждой партіи, а который долѣе другихъ проживетъ, тотъ будетъ побѣдителемъ. И были распяты три человѣка, одинъ кричалъ: равенство, другой: кровь, а третій: вѣра. Но появилось сѣверное сіяніе, испугало толпу и заставило ее разбѣжаться, не замѣтивъ, что всѣ распятые мертвы. Очевидно, что Сибирь—только фантастическая рамка, въ которую вставлена вся современная поэту разбросанная Польша отъ Сены до Камчатки, съ намѣренно оттѣненною ужасающею безтолковостью и неспособностью къ дѣлу ея представителей: „добрые бы они были люди въ счастіи, но несчастіе превратило ихъ въ людей злыхъ и вредныхъ". Столь же условно и нереально и одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, князь остяцкій, шаманъ, пророкъ и волшебникъ, который знавалъ еще отцовъ этихъ изгнанниковъ, привѣтствуетъ ихъ доброжелательно, говоритъ имъ слова правды, за что и погибаетъ впослѣдствіи отъ ихъ рукъ. Шаманъ олицетворяетъ высшее начало, ту правду, которой нѣтъ въ изгнанникахъ; изъ среды ихъ онъ избираетъ одного, чтобы сдѣлать изъ него искупителя, и передаетъ ему чрезъ рукоположеніе любовь къ

людямъ и милосердіе. Этотъ избранникъ шамана, Ангелли, есть нечто иное, какъ идеальное изображеніе духа самого поэта, какъ самъ поэтъ, мучимый сомнѣніями и преслѣдуемый вопросами о томъ, зачѣмъ онъ созданъ, чтó ему дѣлать и какъ помочь судьбѣ бѣднаго, безпутнаго племени изгнанниковъ? Это—тотъ же Кордіанъ, но совлекшій съ себя страсти и кипучій темпераментъ, роднившій его съ Конрадомъ; сдѣлавшійся тихимъ, кроткимъ, незлобнымъ какъ ягненокъ. Какъ Виргилій Данта, такъ шаманъ обводитъ Ангелли по всѣмъ отношеніямъ плачевнаго бытія, точно по кругамъ Дантова ада, бесѣдуетъ съ воскрешаемыми мертвыми и съ скрежещущими зубами живыми, которые въ отчаяніи доходятъ до того, что поѣдаютъ другъ друга и убиваютъ шамана, пытавшагося ихъ образумить. Со смертью шамана поэма становится еще аллегоричнѣе. Ангелли переносится въ страны полярныя съ сѣверными оленями шамана и съ привязавшеюся къ нему ссыльною преступницею; умираетъ она, умираетъ и самъ Ангелли среди полугодовой полярной ночи въ полномъ невѣдѣніи о лучшемъ будущемъ; надъ трупомъ сидитъ, наклонившись, ангелъ Элоэ, самое таинственное изъ дѣйствующихъ лицъ, по всей вѣроятности олицетвореніе „славы“, но не такой, о какой Словацкій мечталъ въ дѣтствѣ, а славы тихой, оберегательницы могилъ. Раздался топотъ, среди огней сѣвернаго сіянія пронесся всадникъ, кличущій: „здѣсь былъ воинъ, да воскреснетъ, воскресаютъ пароды, настало время жизни для сильныхъ людей“. Элоэ не допустила проснуться умершей жертвѣ и возрадовалась, когда огненный всадникъ ускакалъ, не разбудивъ усопшаго. Въ чемъ же заключалось *искупленіе*, ради котораго былъ избранъ и рукоположенъ Ангелли? Онъ только человѣкъ чувствующій, но вовсе не способный двигать на дѣло своихъ современниковъ; въ тоскѣ своей онъ говоритъ ангеламъ: „скажите Богу, что если душа моя годна на жертву, я отдаю ее, да умретъ; мое горе такъ велико, что для меня безразлична вѣчность“. Ему дается такой отвѣтъ: „а знаешь ли ты, не избранъ ли ты на тихую жертву, между тѣмъ ты бы хотѣлъ превратиться въ насильственную молнію и быть брошеннымъ во тьму для устрашенія черни“. Вмѣсто опредѣленнаго отвѣта, мы погружаемся въ бездонную глубь мистицизма. Человѣкъ, безконечно и безнадежно страдающій, тѣмъ только, что онъ страдаетъ, вымаливаетъ для своего народа спасеніе. Другого отвѣта по тому времени не было: многіе сверстники Словацкаго, эмигранты, держались на томъ же якорѣ; какъ они, такъ и Словацкій сдѣлались жертвами товянизма, вслѣдствіе того, что падки были на мистицизмъ, дѣйствующій на нихъ въ видѣ средства, усыпляющаго, какъ пріемъ хлороформа, не только боль, но и самосознаніе. За „Ангелли“ слѣдовалъ цѣлый потокъ почти одновременно обнародованныхъ, вновь написанныхъ или давно заготовлен-

ныхъ поэмъ неравнаго достоинства: *Poema Piasta Dantyszka herbu Leliewa o Piekle*, 1839. *Trzy poemata*: *Ojciec zadżumionych — W Szwejcaryi — Wacław*. 1839. *Balladyna*, 1839. *Lilla Weneda*, 1840. *Mazepa*, 1840. Оставимъ въ сторонѣ Пяста Дантиска и Вацлава; первый изъ нихъ есть слабое подражаніе Данту, а второй есть также неудавшаяся переделка послѣ Мальческаго той же тэмы, которую онъ избралъ, т. е. легенды о Феликсѣ Потоцкомъ, но только съ другаго конца: Вацлавъ, изжившійся и старый, съ Каиновымъ клеймомъ измѣнника на челѣ, обманываемый гречанкою и гибнущій вмѣстѣ съ единственнымъ, привязаннымъ къ нему сыномъ отъ первой жены-утопленницы (замѣтимъ, что это лицо совершенно вымышленное, первая жена не оставила потомства). Не смотря на накопленіе ужасающихъ подробностей въ обстановкѣ Тульчинскаго Атрида, сюжетъ испорченъ. Никто еще донынѣ не извлекъ всего, что̀ можно извлечь изъ дѣйствительно трагической судьбы Тульчинскаго пана въ его послѣдніе дни; въ этомъ случаѣ открывающаяся при изслѣдованіи простая дѣйствительность едва-ли не превзошла вымыслы поэтовъ [1]). О прелестной идилліи: „Въ Швейцаріи", сказано выше. Рядомъ съ нею поставленъ потрясающій правдою разсказъ, проникнутый духомъ библіи и впечатлѣніями пустыни: „Отецъ зачумленныхъ въ Эль-Аришѣ". Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе реальное. Основа поэмы — впечатлѣніе карантина въ мѣстѣ совершенно пустомъ, между Средиземнымъ моремъ и сыпучими песками Аравійской степи, подъ одинокимъ шатромъ, по сосѣдству съ построенною на приморскомъ курганѣ могилою Шэха, въ склепахъ которой складывались трупы зачумленныхъ. Страшная буря разразилась надъ этимъ шатромъ, наканунѣ Рождества, и „Ангелли уже думалъ, что вихорь его смететъ и унесетъ въ тихую страну". Чрезъ нѣсколько дней потомъ „верблюды опять преклонили колѣна и, взявъ на себя задумчиваго странника, вытянули свои длинныя, змѣямъ подобныя, шеи къ сторонѣ Св. Гроба". Въ эту мѣстность перенесенъ Арабъ съ семерыми дѣтьми и женою, у котораго умираютъ отъ чумы всѣ дѣти по очереди, а наконецъ и жена, такъ что остался онъ одинъ какъ перстъ. Этотъ несчастный Арабъ, котораго страданія выражены съ силою, равняющеюся той, съ какою изваяны группы Лаокоона или Ніобе, или описаны страданія Узника Шильонскаго или Уголино, перенося то, что̀ превосходитъ, повидимому, человѣческія силы, остался вѣренъ до конца духу своего племени, и взываетъ: „О, будь же благословляемъ мною ты, Аллахъ, въ шумѣ пожара, истребляющаго селенія, въ трясеніи земли, опрокиды-

[1]) См. D. Antoni J. (Rolle), Opowiadania historyczne, Lwów, 1876, V. Dwór Tulczyński.

вающемъ города, въ заразѣ, истребляющей моихъ дѣтей и исторгающей ихъ изъ лона родительницы! О Алла, Акбаръ-Алла, ты великъ!"

Если поэмы „Въ Швейцаріи" и „Отецъ зачумленныхъ" поразительны по правдѣ непосредственныхъ впечатлѣній, то съ *Балладины* начинается рядъ созданій чисто вымышленныхъ, порожденныхъ самою огненною, самою необузданною фантазіею, подсмѣивающеюся „надъ толпою, надъ обыкновеннымъ ладомъ и порядкомъ, надъ непредвидѣнными плодами, которыя даютъ порою деревья, прививаемыя рукою человѣка" (предисловіе къ „Балладинѣ"). Вдохновеніе шептало Словацкому никогда неслыханныя слова, ставило передъ глаза даже и во снѣ невиданные óбразы: тѣни небывшихъ людей, вышедшія изъ доначальнаго тумана, обступали его широкою толпою, а то, чтò рождалось, складывалось „на перекоръ разсудку и исторіи, по божьему только закону". Еще въ Женевѣ 1834—35 года, Словацкій задался дерзкою мыслью, которая удавалась только немногимъ людямъ геніальнымъ,— драматизировать лѣтописныя басни до-историческаго быта народа предъ Пястомъ, о Лехахъ, Кракусѣ, Попеляхъ, пользуясь ими такъ, какъ пользовался Шекспиръ, извлекшій изъ легендъ и миѳовъ своей родины Макбета, Лира, Гамлета. Задуманъ цѣлый циклъ такихъ миѳическихъ драмъ, пять или шесть нумеровъ, но при обработкѣ авторъ уклонился отъ хронологическаго порядка, и началъ чуть ли не съ конца, то-есть съ послѣдней пьесы, соотвѣтствующей болѣе близкому времени,— эпохѣ, непосредственно предшествовавшей воцаренію Пяста. Лѣтописный польскій матеріалъ крайне бѣденъ; въ убогое его содержаніе вплетены событія и лица изъ простонародныхъ сказокъ и басенъ, люди и духи, смѣшное чередуется съ кровавымъ и ужаснымъ. Подъ всѣ причудливыя хитросплетенія, порою столь забавныя и странныя, что, казалось, и придти въ голову могли они только во снѣ, подложены однако общечеловѣческія идеи, изъ тѣхъ, какія любилъ особенно Шекспиръ: о тщетѣ намѣреній человѣческихъ, объ ироніи судьбы, произращающей негаданные плоды на искусственно привитыхъ деревьяхъ. Люди разсчитываютъ и дѣйствуютъ, паутинныя сѣти ихъ намѣреній ежеминутно путаетъ и обрываетъ случай, разъ они оступились, ихъ вталкиваетъ все дальше въ бездну логика событій, роковыя, ихъ же худыхъ дѣлъ послѣдствія; прибавимъ еще демонизмъ, и порою вмѣшательство въ исторію Божія перста—и мы получимъ сумму перекрещивающихся факторовъ, взаимнодѣйствіе коихъ разрѣшается никѣмъ нечаемымъ способомъ, превосходящимъ разумѣніе человѣческое. Такова коренная идея драмы, какъ формулировалъ ее не безъ основанія Малэцкій. Укажемъ въ самыхъ краткихъ чертахъ какъ олицетворены факторы и какъ осуществлена руководящая идея.

Въ Гнѣзнѣ княжитъ послѣдній Попель IV, свергнувшій съ пре-

стола брата своего Попеля III, жестокій и бродящій въ крови. Тяжесть власти усиливается еще повторяющимися общенародными бѣдствіями, происходящими отъ того, что и вѣнецъ княжій—фальшивый, а настоящая чудотворная корона праотца Леха унесена и спрятана Попелемъ III, поселившимся въ лѣсахъ и ведущимъ жизнь отшельника. Къ этому отшельнику, напоминающему шекспировскаго Просперо, обращается богатый, храбрый, прямой, но недальняго ума, рыцарь, графъ Киркоръ, за совѣтомъ, гдѣ ему искать жены? Отшельникъ открывается передъ нимъ въ своемъ настоящемъ имени и званіи, а что касается до выбора жены, то совѣтуетъ искать ее не въ пышныхъ хоромахъ, а въ наипростѣйшемъ быту. Таковы благія намѣренія; ихъ-то и начинаетъ путать случай, воплощенный въ фантастическихъ образахъ феи озера Гопляны и прислуживающихъ ей духовъ: Искорки и Хохлика. Какъ Титанія влюбилась въ осла Боттома, такъ Гопляна влюбляется въ глупаго плотнаго мужика Грабца, который ухаживаетъ за одною изъ дочерей бѣдной вдовы. У вдовы двѣ дочери: добрая и нѣжная—Алина, злая и разгульная—Балладина. Чтобы разстроить ночныя свиданія Грабца съ Балладиною, Гопляна напускаетъ своихъ геніевъ на искателя жены, Киркора. Коляска Киркора поломалась возлѣ хаты; войдя въ хату, Киркоръ одинаково обѣими дочерьми очарованъ; выходъ изъ затрудненія предложенъ вдовою случайный, тотъ, который имѣлся уже въ балладѣ, сочиненной Александромъ Ходзькою: „Малины“. Которая наберетъ скорѣе кружку малины, та и будетъ невѣста. Собрала скорѣе, разумѣется, Алина, но озлобленная Балладина зарѣзала ее въ лѣсу, близъ кельи отшельника, а сама вышла за Киркора, сказавъ про сестру, что та, должно быть, сбѣжала. Балладина достигла цѣли, остается ей только наслаждаться судьбою, но это опять благія намѣренія, надъ которыми насмѣхается фатализмъ событій. Между тѣмъ, какъ Киркоръ уѣхалъ свергать Попеля IV, свергъ его и предложилъ обрадованному народу въ Гнѣзнѣ провозгласить королемъ того, у кого окажется корона Леха, то-есть, по его убѣжденію, отшельника Попеля III, въ собственномъ зàмкѣ Киркора господствуетъ злая Балладина, терзаемая страхомъ открытія убійства и мучимая тѣмъ, что отъ убійства осталось несмываемое кровавое пятно на ея вискѣ. Она связалась съ проходимцемъ Нѣмцемъ фонъ-Костриномъ, который, угадавъ ея положеніе, предложилъ ей свои услуги; дѣйствуя сообща, они выгоняютъ изъ зàмка мать вдову, которая идетъ скитаться среди бури и ненастья по лѣсу, какъ король Лиръ. Они убиваютъ и отшельника, который, при совѣщаніи съ совѣтовавшеюся съ нимъ по поводу пятна, обнаружилъ, что ему извѣстно убійство сестры. Корона Леха достается по игрѣ случая въ руки Грабца, который при содѣйствіи со стороны геніевъ превращается въ настоя-

щаго бубноваго короля и въ этомъ видѣ принимается и угощается въ замкѣ Киркора. Потомъ Балладина совсѣмъ предается Кострину, вмѣстѣ съ нимъ и по его неотразимому вліянію она убиваетъ ночью бубноваго короля, чтобы завладѣть его вѣнцомъ, при обстоятельствахъ, сильно напоминающихъ 2-е дѣйствіе „Макбета"; ими убитъ еще и гонецъ Киркора, съ которымъ теперь всѣ связи разорваны и съ которымъ идетъ теперь открытая война подъ стѣнами Гнѣзна. Зло, разумѣется, торжествуетъ, благородный Киркоръ палъ въ сраженіи. Похожая на Регану, Балладина съ любовникомъ своимъ Костриномъ, напоминающимъ Эдмунда, оба одѣтые въ желѣзные доспѣхи, одержали побѣду, Балладину провозглашаютъ княгинею, она чувствуетъ необходимость отрѣшиться отъ своего злого демона Кострина и затѣмъ уже царствовать по правдѣ. Она запаслась ножомъ, котораго одна сторона лезвія отравлена ядомъ, а другая безвредна, и на пиру, дѣлясь съ любовникомъ разрѣзаннымъ яблокомъ, предложила ему отравленный кусокъ. Теперь она у цѣли: „жизнь, полную труда, пресѣкла корона на двѣ половины. Прошлое отлетѣло, какъ та почернѣвшая половина яблока, которую отдѣлилъ булатъ по сторонѣ, напитанной ядомъ". Но это опять лишь благое намѣреніе; до вѣнчальнаго пира надо совершить еще одинъ обрядъ, надо по древнему обычаю судить преступниковъ. „То первый мой судъ,—говоритъ княгиня,—если покривлю, да будетъ изъ меня гнѣздо червей, да истребитъ меня огонь!" Передъ княгинею книга законовъ и крестъ, канцлеръ вызываетъ обвинителей, появляются обличители отравленія, неизвѣстно кѣмъ совершеннаго на Кострииѣ. Княгиня изрекаетъ смертную казнь. Разбирается убійство Алины; рѣшена тоже смертная казнь. Наконецъ, ослѣпшая вдова жалуется на отрекшуюся отъ нея дочь. По старому закону, за неблагодарность дѣтей смертная казнь, которой убоявшись, старуха не хочетъ сказать имя дочери; старуху пытаютъ, чтобы исторгнуть имя, она подъ пыткою умираетъ. Надъ княжьимъ градомъ стоитъ, между тѣмъ, громовая туча, и когда княгиня произноситъ по неволѣ третій смертный приговоръ, Божій громъ убиваетъ ее, вслѣдствіе чего, вмѣсто на вѣнчаніе, канцлеръ велитъ трезвонитъ на похороны. Слабыя стороны драмы очевидны; она задумана въ духѣ Шекспира, но въ нее вошли не только шекспировская психологія, но и шекспировскія ситуаціи и мотивы изъ „Сна въ лѣтнюю ночь", „Лира", „Макбета", и притомъ вошли безъ нужды, потому что богатство творческаго воображенія у Словацкаго изумительное, измышленныя имъ лица правдивѣе реальныхъ, и обрисовываются они въ столкновеніяхъ, въ мощномъ развитіи дѣйствія, которое, доходя до послѣднихъ предѣловъ ужаснаго, въ искусныхъ градаціяхъ, не даетъ ни минуты отдыха читателю до самой катастрофы. Фантастическій эле-

ментъ злоупотребленъ, духи и феи вмѣшиваются столь часто въ дѣла человѣческія при всякомъ освѣщеніи и дневномъ и ночномъ, что не разграничиваются достаточно рѣзко эти два міра людей и духовъ. „Балладина", какъ драма, не сценична, слишкомъ длинна; несмотря на то, въ области польской драматургіи она занимаетъ первое мѣсто, но красоты ея такого рода, что весьма немногіе могли ихъ сразу понять и оцѣнить. Въ предисловіи къ „Балладинѣ" Словацкій сравнилъ себя съ слѣпцомъ Гомеромъ, который, принимая шумъ моря за говоръ людской, удивляется, что этотъ говоръ не унялся, когда онъ началъ пѣть и не разразился громами одобреній, когда онъ кончилъ пѣть, вслѣдствіе чего онъ бросилъ съ негодованіемъ арфу, не догадываясь, что его рапсодія погрузилась не въ сердца людей, а въ волны Эгейскаго моря. Въ этомъ сравненіи было много правды. Весьма далеко было еще то время, когда бы его пѣсни стали, по предсказанію Красинскаго, „просачиваться въ сердца маленькихъ". Онъ объ этомъ будущемъ мало и думалъ, когда писалъ какъ-бы для одного Красинскаго первую, по хронологіи событій, изъ своихъ миѳическихъ драмъ: *Лиллу Венеду*. „Ты только не рази меня холодомъ, который отъ другихъ лицъ вѣетъ,—писалъ онъ въ посвященіи автору „Иридіона":—когда я былъ съ тобою, мнѣ чудилось, что всѣ люди имѣютъ глаза Рафаэля, что достаточно однимъ словомъ очертить красивую духовно личность,... что всѣ люди обладаютъ Платоновымъ и аттическимъ вниманіемъ. Крылья мои опускаются, когда я соприкасаюсь съ дѣйствительными предметами, и я становлюсь печаленъ какъ передъ смертью или гнѣвенъ какъ въ моемъ стихѣ о Ѳермопилахъ [1]). Я льстилъ себя сладкою надеждою, что ты будешь меня, мертваго, держать на груди и молвить слова надежды и воскресенія, которыя при жизни я слышалъ отъ тебя одного". Если и въ „Балладинѣ" насъ поражаетъ неумѣніе автора осуществлять дѣйствительную идею средствами драматическаго искусства, если порою выходило при облеченіи идеи въ форму уродливое, неправдоподобное и дикое, то эти недостатки, вдвое замѣтнѣе въ „Лиллѣ Венедѣ", въ которой необходимо различать ос-

---

[1]) Словацкій имѣетъ здѣсь въ виду свою, дивной красоты, пьесу—«Гробница Агамемнона», изъ которой заимствуемъ слѣдующій отрывокъ:

«Меня отъ Ѳермопильской могилы готовъ отогнать легіонъ умершихъ Спартанцевъ, потому что я изъ печальной страны Плотовъ, въ которой отчаяніе не воздвигаетъ кургановъ и послѣ несчастій полъ-войска остается въ живыхъ.

«На Ѳермопилахъ я не рѣшусь остановить коня на тропѣ въ ущелье, потому что тамъ должны быть такія глядящія лица, что сердце сокрушитъ стыдъ. На Ѳермопилахъ какой бы я далъ отчетъ, когда бы мужи стали надъ могилой и показавъ свои кровавыя груди, спросили прямо: а сколько васъ было»....

Проводя параллель и напоминая, что на Ѳермопилахъ трупъ Леонида лежитъ безъ золотаго пояса и краснаго контуша, поэтъ совѣтуетъ и Польшѣ сбросить съ себя мерзкіе покровы прошлаго, ту жгучую рубаху Деяниры, и встать въ безсмертной наготѣ древнихъ статуй. ....перестать быть павлиномъ народовъ и ихъ попугаемъ.

новную идею несомнѣнно геніальную и форму, во многихъ отношеніяхъ неудачную и даже просто невозможную.

Что касается до содержанія, то мы удаляемся на громадное разстояніе отъ психологіи Шекспировской, отъ тонкой диссекціи лицъ и характеровъ—и имѣемъ передъ собою этюдъ изъ области психологіи не отдѣльныхъ лицъ, но цѣлыхъ народовъ, одну изъ тѣхъ задачъ, которыя склоненъ былъ ставить метафизическій умъ Красинскаго, вліяніе коего на „Лиллу Венеду“ несомнѣнно. Отчего народы умираютъ? Этотъ жгучій вопросъ своего вѣка и народа Словацкій пытался рѣшать въ „Ангелли“ аллегорически, въ условіяхъ настоящаго: но можно его ставить и такъ, какъ ставилъ современный вопросъ Красинскій въ „Иридіонѣ“, то есть отнеся въ прошедшее и воодушевивъ „колоссальныя личности прошлаго вулканическою душою нашего вѣка“ (пред. къ „Балладинѣ“). Прошлое взято неизмѣримо дальнее, гораздо отдаленнѣе временъ Попелей, само пришествіе Леха и его полчищъ, которыя, по неясному преданію, дали начало шляхтѣ и составили верхній слой населенія. Нынѣ принято отвергать объясненіе начала государства пришествіемъ извнѣ чуждаго элемента, но есть возможность ставить предположеніе и о насильственномъ пришествіи Лехитовъ въ Польшу или Варяговъ на Русь, и о насильственномъ покореніи одного народа другимъ, который, раздавивъ побѣжденныхъ желѣзною пятою, основывалъ на слезахъ и трупахъ свое тяжелое господство. Въ такомъ именно видѣ представилось Словацкому пришествіе Лехитовъ въ край, Венедами обитаемый. Венеды—народъ добрый, нравъ ихъ мягкій, темпераментъ пылкій, поэтическій, во главѣ ихъ стоятъ поэты-арфисты; ихъ святыня, арфа, находится въ рукахъ ихъ маститаго короля Дервида — они невредимы, пока арфа не попала въ руки враговъ. И дѣло ихъ, повидимому, святое: они защищаютъ свою родину отъ хищныхъ пришельцевъ. Побѣда этихъ пришельцевъ не объясняется вовсе нравственнымъ превосходствомъ послѣднихъ. Вождь Лехитовъ, Лехъ, говоритъ женѣ — жестокой Скандинавкѣ, Гвинонѣ: „смотри, какой этотъ народъ рослый; я—комаръ, а выцѣдилъ изъ него кровь“. Лехиты—народъ лѣнивый, легковѣрный, храбрый, но не мыслящій; самъ Лехъ изображенъ въ видѣ пращура Собѣскаго, съ тою же львиною отвагою въ полѣ и съ мольеровскою слабостью дома предъ женою. Комическое лицо въ драмѣ, Слязъ, котораго сочли Венеды Лехитомъ, говоритъ, отрекаясь: „развѣ во мнѣ вы видите грубость, пьянство, обжорство, озорничество, страсть къ кислымъ огурцамъ, къ гербамъ, обычай присягать in verba magistri, овечьи свойства (owczarstwo)“ и т. д., всѣ крупные недостатки шляхетскаго народа. Хотя Лехиты и малочисленны, по одиночкѣ взятые мелки, дики и не симпатичны, но именно потому, что въ нихъ есть табунное чувство, вѣра въ себя и

воля дѣйствовать сообща, они одерживаютъ побѣду надъ своими противниками, которые усомнились въ своей будущности, умѣютъ только ворожить, да играть на арфахъ, а лишились той бодрости и увѣренности въ себя, безъ которой немыслимо никакое недѣлимое собирательное. У Дервида двѣ дочери: одна—Лилла Венеда, добрая, нѣжная, уже христіанка; другая—похожая на Валькирію, ворожея, Роза Венеда, которая гадала на трупахъ Венедовъ и у одного нашла сердце поблѣднѣвшее и дрожавшее какъ осиновый листъ; у другого, вмѣсто сердца, гнѣздо червей; у третьяго же не нашла никакого сердца, а просто пустоту. Въ дѣйствіе введенъ проповѣдникъ христіанства, св. Гвальбертъ, котораго усилія обратить поѣдающія себя взаимно племена въ религію мира и братства, представлены въ комическомъ видѣ. Царская арфа Венедовъ взята Лехитами, Дервидъ закалываетъ себя, цѣлый народъ гибнетъ съ вѣрою отчаянія въ будущую когда-то месть. Изъ загадочныхъ „Леля и Полеля“, божествъ славянской миѳологіи, поэтъ сдѣлалъ живыя лица, двухъ братьевъ-близнецовъ, сыновей Дервида, связавшихся желѣзною цѣпью за руки такимъ образомъ, что они вмѣстѣ взятые составляютъ какъ бы одно двуглавое существо, одинъ держитъ щитъ, а другой мечъ. Побѣжденные въ послѣдней битвѣ, они погибаютъ на одномъ кострѣ. „Знаешь ли ты, Иридіонъ,—писалъ Словацкій,—что, созидая этотъ миѳъ единства и дружбы, я увлекался сладкою надеждою, что и насъ такъ свяжутъ люди въ воспоминаніяхъ и поставятъ на одномъ кострѣ“. Отъ всего рода Дервидова остается только ворожея Роза Венеда, согласно предсказанію своему въ прологѣ: „Я одна останусь жива, послѣдняя съ краснымъ факеломъ, и влюблюсь въ прахъ рыцарей и прахъ меня оплодотворитъ. Кто, умирая, увѣруетъ въ меня, умретъ покойный, я отомщу за него лучше, чѣмъ огонь и вода, лучше, чѣмъ сто тысячъ враговъ, лучше чѣмъ Богъ“. Эти слова послужили исходною точкою для другого, позднѣйшаго произведенія Словацкаго, „Царь-Духъ“. Печальныя судьбы Венедовъ, подъ которыми подразумѣвались судьбы болѣе близкаго поэту народа, въ не столь отдаленное время, онъ, по его словамъ, задумалъ отлить въ формы Эврипидовской трагедіи. Сходство—малое и самое внѣшнее, на сцену введенъ изрѣдка появляющійся хоръ; въ сущности драма эта—шекспировская, отличающаяся тою же безпорядочностью дѣйствія, перебрасывающагося съ мѣста на мѣсто, тѣмъ же нагроможденіемъ ужасовъ, съ прибавкою событій физически невозможныхъ, которыя сошли бы въ сонномъ видѣніи или въ сказкѣ, но негодятся въ драмѣ. Таковы всѣ сцены, въ которыхъ Лилла Венеда спасаетъ трижды чудесными средствами и способами отца Дервида, находящагося въ плѣну у Лехитовъ.

Третья драма *Мазепа* [1]), отличается отъ предыдущихъ совершенно противоположными качествами какъ замысла, такъ и исполненія. Легенда о привязанномъ къ дикому коню козакѣ за его любовныя похожденія была извѣстна въ Польшѣ; изъ записокъ Паска видно, что этотъ козакъ, сдѣлавшійся потомъ малороссійскимъ гетманомъ, былъ пажемъ короля Яна-Казиміра. Можно было заставить короля и пажа влюбиться въ одну и ту же женщину, поставить возлѣ этой женщины мрачную фигуру ревниваго мужа; на этихъ страстяхъ, съ одной стороны, на любви короля и пажа, съ другой — на ревности, можно было построить эффектную драму. Словацкій выстроилъ ее по испанскимъ образцамъ: еще въ 1831 онъ учился по испански, чтобы читать Кальдерона, а немного спустя послѣ путешествія на Востокъ, даже перевелъ прекрасными стихами произведеніе Кальдерона El principe constante (Książe niezłomny). У Кальдерона есть пьеса, изображающая подобный сюжетъ: „Врачъ своей чести" (El medico de su honra), въ которой донъ Гуттіере-де-Солисъ тѣмъ спасаетъ свою супружескую честь, угрожаемую со стороны инфанта дона-Энрика, что выпускаетъ всю кровь изъ жилъ жены, донны Менціи, а потомъ справляетъ ей торжественныя похороны, что̀ король Петръ Жестокій находитъ совершенно естественнымъ, и что̀ самъ авторъ оправдываетъ какъ истый Испанецъ. Словацкій вложилъ жестокую изобрѣтательность Испанца, но и всю грубость полудикаря и всю гордость польскаго магната въ лицо старика воеводы, который ревнуетъ молодую жену и къ королю и къ пажу, между тѣмъ какъ настоящая склонность сердечная влечетъ жену къ своему пасынку, сыну отъ перваго брака, Збигнѣву. Въ первоначальномъ замыслѣ драмы, въ томъ видѣ, въ какомъ она сожжена въ 1835 г., вѣроятно, на первомъ планѣ стоялъ бойкій, веселый, сладострастный, но рыцарски благородный пажъ-козакъ. При послѣднемъ пересозданіи драмы, по уцѣлѣвшимъ воспоминаніямъ и обрывкамъ, выдвинулись на первый планъ безнадежно и безъ взаимнаго признанія другъ другу, любящіе себя не плотскою, но роковою любовью, мачиха Амалія и пасынокъ Збигнѣвъ. По обыкновенію Словацкаго, интрига запутана и исполнена самыхъ неправдоподобныхъ приключеній. Король представленъ безъ всякой заботы о правдѣ исторической, ханжею, развратникомъ, прокрадывающимся между двумя „Ave Maria" на любовныя свиданія; пажа, спасавшагося въ комнатахъ воеводши, замуравливаютъ за́-живо, задѣлывая стѣны кирпичами. Его выручаетъ случай; устраивается родъ судебнаго поединка между Збигнѣвомъ и Мазепою. Збигнѣвъ, котораго сердечную тайну угадалъ Мазепа и ему, Збигнѣву, объяснилъ, какое чувство онъ питаетъ къ

[1]) Mazepa Słowackiego, статья Тарновскаго въ Kron. rodz. 1874, стр. 164, 179.

мачихѣ,—самъ себя убиваетъ выстрѣломъ изъ пистолета и умираетъ на рукахъ Мазены. Воеводша отравила себя, король бѣжитъ изъ зáмка разсвирѣпѣвшаго воеводы, послѣ чего возвращается съ войскомъ и беретъ зáмокъ силою, но до этого момента воевода приказалъ совершить надъ Мазеною легендарную казнь. Драма плохо сколочена, исполнена неестественныхъ натянутыхъ ситуацій, не мотивированныхъ дѣйствій, мелодраматическихъ эффектовъ, напоминающихъ самыя дурныя произведенія французской романтической школы, случаю отведено слишкомъ много мѣста, король смѣшонъ и низокъ, воевода до отвращенія жестокъ, грубъ, дикъ, лишенъ всякаго человѣческаго чувства; несчастіе, постигающее любовниковъ, лишено трагическаго элемента, оно не обусловлено никакою, съ ихъ стороны, виною. Эти недостатки такъ велики, что современникамъ пьеса не понравилась, Красинскій ее не похвалилъ, но, несмотря на то, она появилась 1874 на варшавской сценѣ съ громаднымъ успѣхомъ, а недавно она съ такимъ же успѣхомъ даваема была на пражской сценѣ, въ чешскомъ переводѣ. Кромѣ блистательной образности слога и бойкости дѣйствія, которое развертывается неожиданнымъ образомъ съ поразительною быстротою, чтó придаетъ пьесѣ необычайную сценичность, въ ней есть три характера дивно красивые: Збигнѣвъ, воеводша и пажъ, и два отношенія, исполненныя поэзіи: любовь между мачихою и пасынкомъ и дружба къ Збигнѣву удалого, но исполненнаго чувства рыцарственнаго гонора козака. Эти отношенія и характеры производятъ на душу возвышающее впечатлѣніе, которое романтизмъ и ставилъ задачею поэзіи и которое придало Словацкому значеніе перваго въ польской литературѣ драматурга и архи-романтика. Силѣ его таланта соотвѣтствовала рѣдко сопровождающая эту силу, страшная производительность; писались сочиненія, неизданныя при жизни автора: трагедія „Беатриче Ченчи", фрагментъ „Золотой Черепъ" и множество другихъ. Произведенія Словацкаго находили сбытъ, распространялись, имя его пробивалось наружу не безъ труда, однако, и въ степени далеко еще не соотвѣтствующей мѣсту, какое подобало его высокому дарованію. Съ Красинскимъ дружба продолжалась самая тѣсная, которую скрѣпилъ еще случай, давшій пріятелямъ возможность постоять и сразиться другъ за друга на литературной аренѣ, и явить изъ себя образъ того миѳическаго двуглаваго Леля-Полеля, съ однимъ щитомъ и однимъ мечомъ, который придуманъ былъ Словацкимъ въ „Лиллѣ Венедѣ". Случай этотъ былъ слѣдующій.

Когда на Рождество 1840 г. польская эмиграція сошлась на обѣдъ въ честь Мицкевича, данный Евстафіемъ Янушкевичемъ спустя три дня по открытіи курса славянскихъ литературъ, въ числѣ гостей былъ и Словацкій, въ отношеніи къ которому Мицкевичъ почти всегда ока-

зывался крайне пристрастнымъ и несправедливымъ, не только въ началѣ его поприща, но и впослѣдствіи. Посвящая много времени даже второстепеннымъ свѣтиламъ польской поэзіи, въ своемъ курсѣ литературы, Мицкевичъ умышленно Словацкаго обошелъ ледянымъ и крайне незаслуженнымъ молчаніемъ. Словацкій, за „Пана Тадеуша" простившій Мицкевичу все прошлое, до того примирился съ нимъ въ душѣ, что за бокаломъ вина произнесъ въ честь безспорно перваго пѣвца родины импровизацію. Ко всѣмъ лирическимъ изліяніямъ Словацкаго примѣшивалось всегда много субъективнаго; въ импровизаціи прорвалось нѣчто изъ горечи личныхъ воспоминаній, нѣчто и о своемъ *я*, о его крови и слезахъ, и о своихъ правахъ въ странѣ фантазіи, въ которой и онъ заслужилъ на столько, чтобы отчизна и его полюбила. Импровизація сказана была безъ желчи, сердечно; возбужденный ею. Адамъ отвѣчалъ въ томъ же тонѣ, причемъ ощутилъ, въ послѣдній, можетъ быть, разъ въ жизни осѣнившій его духъ поэзіи. „Люди разныхъ партій,—пишетъ Мицкевичъ (Korr. I, 175),—расплакались, полюбили насъ (т.-е. меня и Словацкаго) и исполнились любви". Онъ совѣтовалъ Словацкому обуздать въ себѣ духъ самомнѣнія, но призналъ за Словацкимъ талантъ и даже припомнилъ, какъ предсказывалъ его матери въ Вильнѣ будущую славу Юлія. „Тѣмъ онъ совсѣмъ меня подкупилъ, — пишетъ Словацкій (Listy do matki, стр. 97),— мы были какъ братья, обнимались и ходили, разсказывая о прошлыхъ неудовольствіяхъ"... Но бездѣлицы достаточно было, чтобы эти наладившіяся добрыя отношенія разстроить. Въ память вечера присутствовавшіе рѣшили поднести Мицкевичу серебряный кубокъ и постановили возложить поднесеніе кубка на Словацкаго. Словацкій вспыхнулъ, подозрительность и самолюбіе его заговорили, къ предложенію онъ отнесся, какъ будто бы его принуждали къ публичному признанію съ его стороны своего вассальства въ отношеніи къ Мицкевичу. Недоброжелатели Словацкаго раздули этотъ случай, родились сплетни, въ журналѣ Tygodnik literacki Poznański помѣщена была ядовитая статья, исполненная преувеличеній и искаженій истины, въ которой Мицкевичу приписывалось, будто бы въ своей импровизаціи онъ прямо Словацкому сказалъ, что Словацкій—не поэтъ. Мицкевичъ, который однимъ словомъ могъ бы поправить дѣло и его разъяснить, принялъ по отношенію къ Словацкому роль, которая, и прежде и послѣ, всего больше бѣсила Словацкаго—роль горделиваго молчанія. Прежде чѣмъ Словацкій собрался съ отвѣтомъ, за него вступился Красинскій, незадолго предъ тѣмъ получившій отъ Словацкаго симпатичное письмо по поводу „Лѣтней Ночи". Онъ рѣшился дать первую серьезную критическую оцѣнку музѣ Словацкаго. Внушала эту статью дружба: „подумай,—писалъ онъ (Mał. II, 117),—что на „дачѣ Розъ" (villa Mills)

было нѣкогда двое людей, которые дали себѣ взаимно обѣтъ дружбы и исполнили его"; но внушало эту статью также и чувство справедливости. Статья о Словацкомъ въ Tyg. lit. pozn. 1841 (№№ 21—23) не была подписана, но составлена мастерски. Она представляетъ Словацкаго несравненнымъ чародѣемъ слова, Корреджіемъ и Бетховеномъ формы, между тѣмъ какъ Мицкевичъ больше походитъ на ея Микель-Анджело. Но и по содержанію поэзіи они оба одного роста—гиганты: Мицкевичъ изображаетъ собою центростремительную силу воплощеній и утвержденій; другой, Словацкій, центробѣжную силу отрицаній; это—та сила, которая отдѣляетъ жидкое отъ твердаго, газообразное отъ жидкаго, и съ республиканскою ироніею пишетъ молніями на остріяхъ гранитныхъ вершинъ: „morituri". Статья старалась доказать, что Мицкевичъ и Словацкій дополняютъ себя взаимно,—чего недостаетъ одному, то съ избыткомъ содержится въ другомъ. Въ то время, когда Красинскій вступался за малоцѣнимаго друга, Словацкій готовилъ на своихъ попрекателей и зоиловъ бичъ собственнаго издѣлія, тонкій, гибкій, долженствующій оставить ссадины и красныя полосы на тѣхъ весьма многихъ, по тѣламъ которыхъ онъ долженъ былъ пройтись. Еще во время восточнаго путешествія Словацкій пробовалъ описать его по-байроновски октавами въ родѣ „Чайльдъ-Гарольда"; потомъ, еще до Мицкевичевскаго обѣда у него были наброски другой поэмы такими же октавами по тому типу, который созданъ Байрономъ въ „Донъ-Жуанѣ" и столь блистательно усвоенъ Пушкинымъ въ неизвѣстномъ, конечно, Словацкому „Евгеніѣ Онѣгинѣ". Это произведеніе, которое авторъ называлъ (L. J. S. 1836—1848, 197): „мой маленькій злючка", носитъ заглавіе: *Beniowski*, 1841. Въ такого рода произведеніяхъ фабула—послѣднее дѣло и выбирается она растяжимая до безконечности, съ тѣмъ, чтобы можно было расписывать по ней самые фантастическіе узоры. Тему эту дали Барскіе конфедераты въ ихъ состязаніяхъ съ королевскими и русскими войсками и въ ихъ заигрываніи съ Турціею и Крымскимъ ханомъ. Сохранились записки одного такого конфедерата Маврикія Беніовскаго (1741—1786), который былъ взятъ въ плѣнъ Русскими, сосланъ въ Камчатку, произвелъ тамъ бунтъ, ушелъ въ море и, прибывъ въ Мадагаскаръ, былъ провозглашенъ царемъ этого острова туземцами-дикарями. Поэтъ заставляетъ Беніовскаго влюбиться въ дочь чудака старосты, Анѣлю, которой приданы имя и черты своенравной барышни, пробовавшей плѣнить и покорить его сердце во Флоренціи. Отецъ желаетъ выдать дочь за Дзѣдушицкаго, лицо противное, душою преданное врагамъ отечества. Конфедераты съ Пулавскимъ, отцомъ Маркомъ и козакомъ Савою во главѣ, берутъ зáмокъ и убиваютъ Дзѣдушицкаго. Беніовскій между тѣмъ дерется съ козакомъ-конфедератомъ Савою, приревновавшимъ

его къ степной красавицѣ, полу-цыганкѣ Свѣнтынѣ, и по разнятіи дерущихся отцомъ Маркомъ, получаетъ порученіе отъ сего послѣдняго ѣхать въ Крымъ къ хану, союзнику конфедератовъ. Таково содержаніе первыхъ пяти пѣсней изданныхъ, а въ рукописи осталось нѣсколько неизданныхъ о похожденіяхъ Беніовскаго въ Крыму. Не только нѣтъ въ этой поэмѣ ничего цѣльнаго, но цѣлое даже и не намѣчено, остаются только подробности, живыя лица: ксендзъ Маркъ, козакъ Сава, Свѣнтына, Анѣля, написанныя съ поразительною яркостью и свѣжестью колорита, но всего больше мѣста отведено, конечно, самому повѣствователю, изобразившему себя во весь ростъ, со всѣми и чарующими сторонами и недостатками своей геніальной натуры. Можно сказать, что не знаетъ Словацкаго, его вѣка и среды, кто его не изучалъ именно въ „Беніовскомъ". Грезы дѣтства осуществились, жизнь создалъ Словацкій, о какой онъ мечталъ, поэтическую, съ тѣмъ ореоломъ артистической славы, которая для него была все на свѣтѣ и искупала и одиночество и отчужденіе отъ страстно обожаемой родины. „Горе тому, кто дастъ отчизнѣ половину души, а другую половину прибережетъ для счастія" (пѣсня III). Славу онъ завоевалъ, о непризнающихъ еще его господства не заботится, онъ чувствуетъ, что онъ ничуть не ниже Мицкевича, и онъ оканчиваетъ „Беніовскаго" великолѣпнымъ бросаніемъ перчатки великому литовскому пѣвцу: „Мы—два бога на двухъ противоположныхъ солнцахъ... Не пойду я съ вами вашимъ ложнымъ путемъ, пойду инымъ путемъ и народъ пойдетъ со мною; когда захочетъ любить, я ему сообщу лебединые звуки; клясться—мною онъ будетъ клясться; горѣть —я его воспламеню, поведу тамъ, гдѣ Богъ—въ безконечность" (пѣсня V). Въ своемъ міросозерцаніи Словацкій шире Мицкевича, смѣлѣе, независимѣе, не любитъ катихизиса, оффиціальности, клерикализма; онъ даже не католикъ, а имѣетъ свою религію, онъ въ самомъ дѣлѣ пантеистъ и притомъ своеобразный: „кто Тебя (Боже) не чувствовалъ въ содроганіи природы, въ широкой степи или на Голгоѳѣ; кто не сознаlъ, что Ты еси въ благоуханіи юношескихъ чувствъ; кто Тебя не нашелъ, срывая цвѣты, въ ландышахъ и незабудкахъ, а ищетъ Тебя въ молитвахъ и добрыхъ дѣлахъ, тому я говорю, что онъ Тебя найдетъ, конечно найдетъ, и желаю людямъ малаго сердца смиренной вѣры, чтобы они могли кончаться спокойно. Лицо Іеговы молніеносное громадно. Когда я сочту пласты разверзтой земли, то вижу, что лежатъ подъ горными хребтами кости, точно знамена погибшихъ войскъ, свидѣтельствующія о Тебѣ, Боже, своими скелетами" (п. V). Мощь свою онъ сознаетъ вполнѣ, и когда достигаетъ крайнихъ высотъ лирическаго экстаза, и когда орудуетъ бичомъ сатиры,—которой удары сыплются безъ разбора на всѣ партіи, на аристократовъ и ханжей, на

эмиграціонную демократію, на клубы и генераловъ и офицеровъ отъ революціи, на „Дзяды“ и на „Валенрода“, на всѣхъ современныхъ литераторовъ и критиковъ: „придетъ время, когда тѣхъ Иродовъ, побивающихъ моихъ дѣтей, я буду въ аду поѣдать какъ Уголино“. Насмѣшка его ѣдкая, она пронизываетъ насквозь; Словацкій и себя не щадитъ и надъ собою шутитъ, издѣваясь, напримѣръ, надъ дикою жаждою посмертнаго плача, ведущею прямехонько въ клинику психіатрическую, но шутки Словацкаго не имѣютъ ничего общаго съ шутками Гейне. И Гейне и Словацкій были настоящіе Эллины въ пониманіи искусства, въ мастерствѣ формы, но Гейне—клоунъ въ душѣ и любитъ потѣшать публику, кривляясь и кувыркаясь, между тѣмъ какъ Словацкій въ этомъ отношеніи совершенный недотрога, одаренный не только чувствомъ брезгливости къ тому, что̀ недостойно, унизительно и гадко, но и съ ничѣмъ несравнимою гордою независимостью, въ силу которой поэтъ высился, точно одинокій утесъ надъ мелкою зыбью дѣлъ людскихъ. Этотъ гордый духъ, вѣющій изъ каждой строки, дѣйствуетъ и нынѣ возбуждающимъ образомъ; ни одинъ поэтъ не вліялъ такъ рѣшительно, какъ Словацкій, на настроеніе послѣднихъ младшихъ поколѣній общества польскаго, — ни одинъ не вселялъ такого самоуваженія, которое возвышаетъ человѣка, хотя бы онъ былъ обездоленный и обезкураженный, въ убожествѣ и въ лохмотьяхъ, безъ почвы подъ собою и отечества. „О, будь хотя одна грудь выкроена,—пишетъ поэтъ, —не по мѣркѣ портнаго, а по мѣркѣ Фидія, звучи хотя одна, какъ статуя Мемнона, но нѣтъ ея, вотъ что меня пугаетъ; Косцюшко васъ предчувствовалъ, восклицая: „кончено....“ Нынѣ, когда громы Божіи меня столкнули внизъ съ вершинъ пирамидъ, съ вулканическихъ высотъ, я страдаю — но продолжаю презирать, и этотъ ѣдкій стихъ кусаетъ васъ въ самое нутро. Онъ плыветъ, какъ шальные корабли, отъ волнъ откидываемые въ синеву небесъ, откуда онъ истекъ и куда вернется, когда смерть сядетъ на парусахъ корабля“ (пѣсня IV).

„Беніовскій“ произвелъ большое впечатлѣніе: автора ругали, но читали и разрывали книгу; во Франкфуртѣ онъ былъ вызванъ даже на поединокъ, явился по вызову, но его противникъ струсилъ и извинился. Этотъ успѣхъ не вскружилъ, однако, головы Словацкому. Это разлитіе желчи, это разряженіе наисубъективнѣйшихъ чувствъ, которое составляетъ всю прелесть „Беніовскаго“, не были и не сдѣлались нормальнымъ состояніемъ Словацкаго. Въ письмахъ къ матери (въ концѣ 1841; Listy Słow. 1836—1848, стр. 97) онъ почти извиняется за „малютку-злючку“, который былъ необходимъ потому, что „обратилъ на меня глаза всѣхъ и заставилъ преклониться тѣхъ, которые никогда мнѣ не кланялись“. „Я пересталъ быть вполнѣ, по-твоему, ангеломъ;

но подумай, что въ моихъ устахъ огонь и я не выношу несправедливости. Мнѣ грустно, что признали, что я на своей почвѣ, когда именно я съ нея-то сошелъ. Будь увѣрена, что моя біографія будетъ вполнѣ достойная, хотя теперь, когда я *иду вверхъ по ступенямъ*, я долженъ быть иногда на себя не похожъ". — Послѣднее-то предсказаніе и не оправдалось; никто не могъ думать, чтобы безъ всякихъ внѣшнихъ причинъ и перемѣнъ въ условіяхъ физическаго организма, этотъ блистательный художникъ находился уже въ то время наканунѣ дня, когда онъ сталъ не идти вверхъ, а спускаться, что онъ, уйдя весь въ себя, разлюбитъ искусство, отвернется даже отъ красоты; что неукротимый и невыносившій узды даже церковной обрядности, онъ отречется отъ самостоятельнаго мышленія и подчинится почти монашескому послушанію. Это превращеніе, однако, совершилось; оно произведено доктриною Товянскаго, которая подѣйствовала и на Словацкаго, но, разумѣется, подчинила его себѣ по инымъ, нежели Мицкевича, причинамъ, которыя и слѣдуетъ разобрать.

Изъ приведенныхъ отрывковъ писемъ къ матери видно, что несмотря на многое въ немъ мелочное, какъ-то: щеголеватость, пристрастіе къ красивымъ формамъ, почти болѣзненное славолюбіе и самолюбіе, душа Словацкаго была полна болѣе возвышенныхъ стремленій, неудовлетворенныхъ и неудовлетворимыхъ пожеланій, что міросозерцаніе его точно чернымъ флеромъ подернуто было скорбью о печальныхъ судьбахъ отечества и что, несмотря на свою пантеистичность, онъ стоялъ со всѣми великими представителями своего поколѣнія на почвѣ религіозной, а отъ римской церкви отталкивала его только узкость взглядовъ „фарисеевъ", которые внушили ему омерзѣніе къ церковному порогу, показывая стезю къ Богу маленькую и фальшивую, по какой могутъ проползать только червяки" [1]) (Listy II, стр. 108). Оффиціальная церковь могла предлагать въ утѣшеніе только общія мѣста о неисповѣдимыхъ путяхъ Провидѣнія, но для столь неспокойнаго темперамента, подобнаго утѣшенія было мало, слѣдовательно, когда явился реформаторъ и пророкъ, который увлекъ польскую эмиграцію и объявилъ, что имѣетъ откровенье свыше, который взялся устроить чудесными путями и способами будущее и своего народа и человѣчества, и предложилъ каждому изъ своихъ учениковъ начать съ того, чтобы совлечь съ себя ветхаго человѣка, возродиться духомъ, то Словацкій, никогда не отличавшійся проницательнымъ умомъ и разсудкомъ, а слѣдовавшій скорѣе сердцу, инстинкту и воображенію, пошелъ за Товянскимъ одинъ изъ первыхъ и увѣровалъ въ непосредственное общеніе съ Богомъ, чрезъ Товянскаго. Ему показалось, что онъ обрѣлъ то, въ чемъ про-

[1]) Ateneum 1877, № 9: P. Chmielowski, Ostatnie lata Słowackiego.

шедшая его жизнь не могла его удовлетворить, и что онъ сталъ изъ празднаго мечтателя настоящимъ человѣкомъ дѣла. Словацкій не только увѣровалъ, что вслѣдствіе новаго возрожденія духомъ въ весьма скоромъ времени произойдетъ реставрація дѣйствіемъ воспріявшихъ новое откровеніе вѣрующихъ, но увѣровалъ также и въ то, что совершается родъ метемпсихозиса, что насъ со всѣхъ сторонъ окружаютъ миріады безплотныхъ душъ, воплощающихся постоянно въ новыя тѣла (Listy, II, 114—177). Въ перепискѣ его съ матерью происходитъ вдругъ самая крутая перемѣна; вмѣсто сердечныхъ изліяній, идутъ поученія, онъ становится вполнѣ мистическимъ.—„Я, нѣкогда неукротимое дитя, огонь ходячій, нынѣ живу какъ бы во мнѣ не было ни крови, ни похоти, ни кипѣнія, ни взрыва“ (181). Не только онъ чуждается перчатокъ и паркетовъ, и всякой праздной меланхоліи (104, 109), всякаго байронизма (136), но ему омерзительны даже похвалы другихъ (141), а жизнь и смерть для него одинаково безразличны. Всякое желаніе личнаго счастія отошло, а проникла его насквозь любовь къ людямъ; онъ сдѣлался простъ и добръ и окончательно помирился и побратался въ Товянизмѣ съ Мицкевичемъ (106); господствующимъ въ душѣ его сдѣлалось чувство тихой радости (141).—Жилъ онъ отшельникомъ и аскетомъ въ Парижѣ или ѣздилъ лѣтомъ въ мало-посѣщаемыя французскія морскія купанья на берегахъ Атлантическаго океана. Ветхій человѣкъ оставался, однако, и въ новомъ, только въ сильно видоизмѣненной формѣ. То колоссальное самомнѣніе, которое внушаемо ему было талантомъ, превратилось въ чувство фанатика, который относится къ озаряющимъ его идеямъ какъ къ вдохновенію Божію и глубоко презираетъ людей не раздѣляющихъ убѣжденій, въ его глазахъ имѣющихъ наглядную очевидность. Переворотъ, сдѣлавшій Словацкаго мягче и добрѣе, отразился на его поэтической производительности самымъ невыгоднымъ образомъ: Словацкій пересталъ обдумывать и исправлять свои произведенія, потому что пересталъ вникать, „откуда мысли приходятъ и куда идутъ“ (148), онъ пускалъ ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ они излились на бумагѣ. Изъ всѣхъ поэтовъ въ это время онъ больше всего поддавался католику и отчасти мистику Кальдерону. Двѣ драмы: „Ksiądz Marek“, 1841, и „Srebrny Sen Salomei“, 1844,—написалъ онъ съ такимъ пренебреженіемъ формы, что онѣ даже не походятъ на произведенія искусства, а скорѣе на бредъ воображенія, которому снятся страшные сны: коліивщина и конфедераты, живьемъ сожигаемые гайдамаки, пытки, изнасилованія и всякія муки. Богатство образовъ, какъ всегда у Словацкаго, неисчерпаемое, но фантазія несется разнузданная, не слушаясь разсудка. Послѣ этихъ шальныхъ созданій наступилъ періодъ болѣе спокойнаго творчества, въ которомъ Словацкій пытался проводить въ словѣ новое ученіе, мистическое, теорію *воплощеній*: такое значе-

ніе имѣютъ неизданныя при жизни *Генезисъ отъ духа* [1]) и *Царь-Духъ*, котораго первая рапсодія напечатана безъимянно въ Парижѣ 1847, а цѣлый рядъ неизданныхъ послѣдующихъ рапсодій, подраздѣленныхъ на пѣсни, написанныя прелестными октавами, свидѣтельствуютъ о томъ, какъ усиленно и долго Словацкій работалъ надъ замысломъ, положеннымъ въ основаніе неконченной, громадной по размѣрамъ, поэмы. Свой *Генезисъ* Словацкій высоко цѣнилъ, между тѣмъ оказывается, что въ немъ онъ открывалъ уже открытую Америку и, будучи незнакомъ съ „натур-философами", воспроизводилъ выработанныя ими, уже ходячія понятія. Его *духъ* есть то же, что̀ гегелевская идея, работающая на созданіе формы, по исполинской лѣстницѣ созданій отъ камня и кристалла до растенія, отъ растенія до организма и отъ простого организма до человѣка. Грезы натур-философовъ перемѣшаны съ платоновскою „анамнезисъ", каждая форма есть воспоминаніе предшествовавшей и откровеніе будущей. Въ поэмѣ *Царь-Духъ* Словацкій вернулся къ любимой тэмѣ, къ полумиѳическимъ лѣтописнымъ сказаніямъ о первыхъ временахъ своего народа; въ прежнее время онъ пользовался этими сказаніями для постановки психологическихъ задачъ („Балладина") или животрепещущихъ вопросовъ настоящаго („Лилла Венеда"),—теперь онъ употребляетъ ихъ для доказательства своей мистической теоріи воплощенія [2]), для осуществленія ученія Товянскаго въ поэзіи и открытія ключомъ этого ученія всѣхъ таинъ и загадокъ народной исторіи. Мы уже указали особенную черту въ умственной организаціи Словацкаго, его культъ героевъ, вѣру въ великихъ людей, дѣйствующихъ средствами необычайными. Для него, не вдающагося въ анализъ и тотчасъ олицетворяющаго самыя отвлеченныя идеи, вся исторія сводилась къ исторіи героевъ, а сами герои были послѣдовательными воплощеніями одного и того же духа, который вселяется поочередно въ нѣсколько тѣлъ, переживаетъ безконечный рядъ жизней, ведя народъ или толкая его насильственно на высшія и высшія ступени его развитія. Такимъ образомъ, руководителемъ жизни народа является все одинъ и тотъ же Царь-Духъ, который самъ разсказываетъ исторію своего бытія, воздѣйствія на народъ, своихъ смертей и превращеній. Являются одинъ за другимъ великіе насильщики, которые, точно кузнецы, куютъ мягкій матеріалъ—свой народъ—на наковальнѣ, сильными ударами меча и молота, безсердечіемъ, жестокостью, тиранствомъ, такъ что дѣйствіемъ этихъ Божіихъ бичей, народъ окровавленный закаляется, опредѣляется и идетъ впередъ по ступенямъ развитія. Оригинально въ этой попыткѣ не столь-

---

[1]) *Genesis z ducha.* Modlitwa. Lwów i Poznań. 1872.

[2]) Król Duch, Słowackiego, статья Асныка, въ Przegląd n. i lit. 1879, № 5.

ко возвеличеніе и обоготвореніе тиранства, сколько то обстоятельство, что апологія насильщиковъ дѣлаема была независимѣйшимъ пѣвцомъ свободолюбивѣйшаго народа, который погибъ потому, что не сдѣлалъ никакихъ уступокъ власти государства надъ личностью. Словацкій выводитъ такихъ тирановъ, которые не уступаютъ Іоанну Грозному и даже изображены заимствованными отъ Грознаго чертами. Мрачная глубина этой идеи поразительна; справедливо замѣчаетъ Асныкъ, что она только и могла народиться въ душѣ польскаго поэта, претерпѣвшаго всѣ боли уничиженія и упадка и жаждущаго бытія, хотя бы купленнаго истязаніями цѣлыхъ поколѣній. Передадимъ въ краткихъ словахъ, какъ осуществилъ Словацкій эту идею въ послѣднемъ изъ своихъ великихъ произведеній.

Въ концѣ своей „Республики“ Платонъ, чтобы объяснить сьое ученіе о врожденныхъ идеяхъ, выводитъ Армянина Гера, который, бывъ убитъ въ сраженіи, ожилъ и разсказалъ, какъ души судятся по смерти и какъ избираютъ они, въ какія тѣла и формы имѣютъ воплотиться, послѣ чего вкушаютъ уже изъ Леты воды забвенія. На чемъ кончаетъ Платонъ, съ того начинаетъ Словацкій: еще Геръ не вкусилъ воды Леты, а только обмылъ свои раны, когда явился ему дивный „видъ“, дочь *Слова*, мистическое лицо, въ которомъ поэтъ хотѣлъ изобразить *идею отечества*, какъ ее понимали лучшіе люди въ народѣ [1]). Геръ такъ былъ увлеченъ красотою видѣнія, что, возлюбивъ ее навсегда, почувствовалъ жажду жить, воплотился и очнулся въ пустынѣ, ребенкомъ у женщины-вѣдьмы, изъ словъ которой видно, что она Роза Венеда, оплакивающая погибшій свой народъ и родившая дитя послѣ того, какъ была оплодотворена прахомъ и пепломъ убитыхъ, вслѣдствіе чего она и нарекла дитя сыномъ пепла или Попелемъ. Растетъ Попель, поступаетъ отрокомъ на дворъ Леха, храбростью и безстрашіемъ дослужился до званія перваго воеводы. Слава его возбудила зависть, его ввергли въ темницу, изъ которой его выводитъ спасительница, дочь Леха, Ванда. Бѣглецъ встрѣчаетъ дружину Германцевъ, возвращающихся съ римскаго похода, поражаетъ ихъ силою и, провозглашенный ими кайзеромъ, идетъ на землю Леха, въ которой по смерти сего послѣдняго княжитъ Ванда. Гордый побѣдитель требуетъ, чтобы Ванда пришла ему служить и наливать вино. Ванда избѣгаетъ униженія, бросаясь въ Вислу. Тогда начинается полное и неоспоримое господство Попеля, которое постепенно становится суровѣе и тяжелѣе и доходитъ до послѣднихъ предѣловъ необузданной жестокости, вызываемой не сопротивленіемъ или крамолами управляемыхъ, но ту-

[1]) «Зачатіе всякаго народа предшествуемо было созданіемъ идеи, ради которой работали люди, кристаллизованные въ форму, соотвѣтствующую этой идеѣ». Словацкій, у Mał. II, 273.

пою апатіею и косностью, медленнымъ теченіемъ дѣлъ въ народѣ, похожимъ на ходъ черепахи, мракомъ и тишиною, точно въ часы до разсвѣта. Попель рѣшился расшевелить народъ, позвать къ отвѣту само божество, если оно есть: „И рѣшился я потревожить небеса, ударить въ небо какъ въ мѣдный щитъ, злодѣйствомъ развалить и отверсть голубое небо, и потрясти въ основаніяхъ столбы законовъ, на которыхъ возсѣдаетъ ангелъ жизни, чтобы самъ Богъ показался мнѣ—поблѣднѣвшій". Безъ отвѣта остаются опытъ за опытомъ, вызовъ за вызовомъ, жертвъ изведено безъ счету; Попель адски изобрѣтателенъ въ выборѣ мукъ, причемъ не только не теряетъ спокойствія и сна, но даже пріобрѣтаетъ популярность: „всего страннѣе, что меня полюбили за силу, и за страхъ, и за муки, что когда я показывался, передо мною народъ становился на колѣни". Безнаказанность кровопійцы подстрекаетъ его на дѣла противоестественныя, на покушенія противъ самого духа. Мать свою онъ приказываетъ сжечь и велитъ казнить воеводу Свитина, которому былъ обязанъ расширеніемъ царства отъ моря и до моря. Казни Свитина предшествуетъ поэтическій эпизодъ, цѣликомъ заимствованный изъ жизни Грознаго, вонзившаго свой жезлъ въ ногу Васьки Шибанова при чтеніи письма отъ Курбскаго. Свитинъ посылаетъ посланіе къ Попелю чрезъ своего пѣвца Зорьяна, котораго Попель пригвоздилъ къ полу мечомъ, а потомъ отправилъ на казнь. Семья Свитина вырѣзана, въ окровавленномъ его зáмкѣ пируетъ король, провозглашая: „нѣтъ ничего въ небесахъ, я самъ, какъ Господь Богъ, буду себя судить". Тогда появляется на небѣ хвостатая звѣзда, метла-комета; Попель видитъ подходящую смерть. Въ послѣднемъ словѣ отходящаго Попеля заключается весь смыслъ поэмы: „Надо мною была мысль солнечная, золотая; къ ней вели меня на порогъ высокихъ цѣлей нескончаемыя окровавленныя ступени. Я шелъ, какъ рыцарь, кровавымъ путемъ, но безъ тревоги. Жизнь звучала въ каждой струнѣ моего духа, мощенъ былъ каждый мой шагъ.... Чрезъ меня эта отчизна возросла, отъ меня она получила названіе и идетъ впередъ взмахомъ моего весла. Не разъ ее снесла волна съ пути и изъ духа ея выростали бездыханные мертвые цвѣты, но что̀ я выдавилъ кровавымъ образомъ, тѣмъ духъ этотъ всегда побѣждалъ, когда пришлось ему блеснуть... Идите. Вы—уже не слуги моего бѣшенства, но крѣпкіе рыцари. Я купилъ народъ кровью и надъ ея потоки я вознесъ духъ, презирающій смерть. Не одинъ крестьянинъ усладитъ пѣснью длинный вечеръ и тѣмъ пріободритъ себя, что вспомнитъ о своихъ отцахъ, какъ отважно шли они на смерть, когда король ихъ рѣзалъ".

Своеобразная философія „Царя-Духа" въ то время, когда поэма появилась, не могла нравиться и едва ли когда можетъ имѣть успѣхъ, потому что нравственныя основы ея фальшивы и никого не можетъ

убѣдить эта похвала кровопійству, какъ способу высѣкать духъ изъ мертвой массы, точно искру изъ кремня. Это извращеніе нравственныхъ чувствъ и понятій поражаетъ лишь какъ психологическая загадка. Новое направленіе Словацкаго должно было охладить и разстроить добрыя отношенія его къ друзьямъ по сердцу, которыхъ у него быловесьма немного, и въ особенности къ Красинскому. Съ тѣмъ горячечнымъ увлеченіемъ, съ какимъ онъ присталъ къ новому ученію, онъ сталъ обращать письменно Красинскаго въ свою вѣру, объясняя (14 дек. 1842), что съ нимъ совершилось то, что̀ онъ уже предчувствовалъ въ Ангелли, и что, „будучи побѣжденъ громовыми проявленіями духа, онъ проклялъ язычество, хотя не можетъ забыть, что оно было ему милостивымъ господиномъ, что его Діаны были ему, Словацкому, любовницами, а его прочность казалась почти вѣчностью“. Красинскій, который съ самаго начала и до конца относился къ товянизму скептически, писалъ (27 окт. 1841) весьма резонно: „Дорогой Юль! въ чудеса я вѣрую, вездѣ и всегда, въ чудотворцевъ почти никогда; не знаю тщеславія тщеславнѣе того, которое мнитъ себя проводникомъ тока чудесъ.... Чудо есть что-то въ родѣ забастовки въ природѣ, въ родѣ ожиданія, что жареный голубокъ самъ тебѣ свалится на зубокъ... Не вселяй въ себя дикаго убѣжденія, что можно вѣка перевернуть одной строфой“. Чѣмъ настойчивѣе были письма Словацкаго, тѣмъ дипломатичнѣе и уклончивѣе были отвѣты и опроверженія Красинскаго, направленныя однако въ больное мѣсто новаго адепта, въ крайнюю узкость и нетерпимость товянизма. Переписывающихся сближало когда-то искусство, теперь ихъ раздѣлила вѣра, отношенія охладѣли и съ 1843 прервались; наконецъ, когда оказалось, что въ политическихъ убѣжденіяхъ они діаметрально противоположны, то дошло до открытаго разрыва и до поэтической борьбы бывшихъ друзей. Прежде чѣмъ коснуться этой перипетіи, я долженъ возвратиться къ Красинскому и прослѣдить его отъ времени, когда муза его получила въ началѣ сороковыхъ годовъ новое направленіе и когда самый родъ его поэзіи измѣнился.

Это новое направленіе обусловилось двумя событіями: во-первыхъ, связью съ Дельфиною П., которую Красинскій называетъ въ поэмахъ то своею сестрою, то своею Беатриче, и во-вторыхъ, весьма прилежнымъ изученіемъ и усвоеніемъ себѣ Гегелевой философіи. Что касается до женщины, во всякомъ случаѣ не совсѣмъ обыкновенной, которая сдѣлалась его музой, то эта, недавно умершая, одинокая, жена разведенная съ недостойнымъ мужемъ [1]), была красива, остроумна, артистка, но любила позировать и привлекла поэта больше картиною

[1]) То былъ сынъ отъ Гречанки, лица, которое въ польской поэзіи выводится неразъ подъ именемъ Вацлава.

страданій своей испорченной жизни, а потомъ, вѣроятно, привязала къ себѣ тѣмъ, что передавала ему въ отраженіи его собственные помыслы и идеи. Она странствовала съ Красинскимъ по итальянскимъ озерамъ, слѣдовала за нимъ въ Германію, окружила нѣжнѣйшими попеченіями смертельно больного Даніелевича, умершаго на рукахъ Красинскаго, и сопутствовала Красинскому въ прогулкахъ по окрестностямъ Ниццы въ памятное лѣто 1843 года, когда писался „Разсвѣтъ". Тотчасъ потомъ въ жизни Красинскаго произошла весьма существенная перемѣна, которой причины еще не вполнѣ во всѣхъ подробностяхъ выяснены. Уступая волѣ отца и исполняя ее, Красинскій рѣшился жениться на графинѣ Елизаветѣ Браницкой. До женитьбы онъ разстался съ тою, которую не пересталъ любить и написалъ ей раздирающее *Прощаніе* [1]), но и послѣ женитьбы привязанность и переписка продолжались, и только въ послѣдніе годы, на смертномъ одрѣ, Красинскій охладѣлъ къ предмету послѣдней своей страсти, неохотно видѣлся съ нею и оставлялъ письма ея безъ отвѣта [2])..—Что касается до нѣмецкой философіи, то, по словамъ Красинскаго, когда въ 1831 скончался учитель, который „ставилъ себя между Платономъ и Христомъ" (Listy do Jarosz., стр. 36), началось разложеніе его школы, возникли споры по вопросамъ, которые онъ дипломатически обходилъ посредствомъ недомолвокъ; всего сильнѣе себя заявила лѣвая сторона Гегеліанцевъ, которая представила гегеліанство тѣмъ, чѣмъ оно въ сущности и было, — чистымъ пантеизмомъ, разлагающимъ въ абсолютной идеѣ и личность Бога, и личность человѣка, распахивающимъ занавѣсь и показывающимъ, что за религіозными представленіями нѣтъ ничего, кромѣ безпредѣльной пустоты. Такой пантеизмъ, равносильный атеизму, не могъ никакъ соотвѣтствовать настроенію народа, въ которомъ пылкія надежды на будущее и страданія въ настоящемъ не притупили, а возбудили религіозное чувство и заставляли искать точки опоры въ божествѣ. Еще въ 1836 Красинскій писалъ (Kr. rodz. 1875, стр. 35): „Пантеизмъ Спинозы то же, что атеизмъ. Душа индивидуума дѣлается чѣмъ-то въ родѣ электричества. Есть только вѣчность силы, нѣтъ вѣчности мысли. Индія на 6000 лѣтъ передъ Евреемъ Спинозой уже додумалась до такихъ отчаяній". Логическія послѣдствія Спинозы и премиссъ Гегелевой философіи пугали и Красинскаго и его соотечественниковъ, ихъ пугалъ пантеизмъ либо суровый—у Спинозы, либо шитый золотомъ—у Шеллинга и Гегеля (Listy do Jar., 39). Тѣхъ, которые пускались по слѣдамъ

---

[1]) «Молись обо мнѣ, чтобы меня не увлекло въ адъ вѣчное сожалѣніе о тебѣ. «Молись, чтобы у Бога, въ небесахъ, я послѣ вѣковъ когда-нибудь встрѣтилъ тебя.»

[2]) Moja Beatrice, статья Яна Гнатовскаго; *Niwa*, 1879, №№ 119 и 120.

Гегеля въ дебри метафизики, смущала мысль о томъ, что жизнь полнѣе и шире, чѣмъ философская идея, что душа не есть одинъ только философствующій разумъ, что односторонность Нѣмцевъ, доводящихъ философію до чистаго отрицанія, вытекаетъ изъ ихъ протестантизма; они думали, что можетъ быть создана особая философія—славянская, которая примиритъ романскій эмпиризмъ съ германскимъ идеализмомъ и, взявъ исходную точку Гегеля и его діалектическій методъ трехстепенной эволюціи мысли, докажетъ личность Бога, безсмертіе души, выдвинетъ впередъ и дастъ первенствующее значеніе волѣ, поставивъ ее между чувствомъ и мыслью; они думали, что мы вступаемъ въ новый періодъ бытія, въ которомъ главную роль съиграютъ народы славянскіе съ Польшею во главѣ, въ царство св. Духа-Параклита. Эти идеи выражены были съ особеннымъ талантомъ и силою другомъ Красинскаго съ дѣтства, Августомъ Цѣшковскимъ (род. 1814), въ книгѣ *Prolegomena zur Historiosophie* (Berlin, 1838), которая произвела громадное впечатлѣніе на Красинскаго (Listy do Jar. 47) и отразилась несомнѣнно въ видѣніяхъ о разваливающейся церкви Св. Петра въ третьей мысли „Лигензы". Разработка въ этомъ направленіи Гегелевской философіи лежала тогда въ духѣ времени. Кромѣ Цѣшковскаго, по тому же пути пошли три мыслителя не малыхъ способностей: Карлъ Либельтъ (1807—1875), Брониславъ Трентовскій (1807—1869) и Іосифъ Кремеръ (1806—1875) [1]. Кромѣ Цѣшковскаго, на Красинскаго оказалъ еще вліяніе другъ его, музыкантъ, Константинъ Даніелевичъ, предъ „бронзовымъ разумомъ" котораго Красинскій преклонялся и котораго онъ, похоронивъ въ Мюнхенѣ (онъ умеръ 27 марта 1842), горько оплакивалъ [2], приписывая ему лучшее, что есть въ своихъ произведеніяхъ. Поэтъ будущаго естественно былъ за одно съ философами будущаго, дедуцировавшими это будущее посредствомъ формулъ, имѣющихъ точность геометрическихъ теоремъ. Начавши незадолго предъ тѣмъ писать стихами, Красинскій сталъ облекать философскія теоріи въ стихотворную форму [3], что не могло, конечно, возвышать достоин-

---

[1]) Обстоятельныя свѣдѣнія о судьбахъ гегеліанства въ Польшѣ могутъ быть почерпнуты изъ статьи: Filozofia w Polsce, Ф. Крупинскаго, приложенной къ изданному 1862 г. въ Варшавѣ переводу «Исторіи Философіи» Швеглера.

[2]) Kr. rodz. 1874, стр. 50. Fryburg.

«Онъ былъ мнѣ силой, давшей мнѣ разумъ, потому что гналъ меня бичомъ вѣчной правды. Онъ умѣлъ настраивать мое сердце превыше страданія на побѣдные звуки мукъ»... Даніелевичъ отлично зналъ системы Шеллинга и Гегеля. Въ «Недоконченной Поэмѣ» онъ выведенъ подъ именемъ Алигіери, т. е. Данта.

[3]) Таковъ «Сынъ Тѣней»—первая мысль «Лигензы» и псаломъ «Вѣра», начинающійся слѣдующимъ образомъ:

«Тѣло и духъ —два крыла, которыми въ поступательномъ своемъ движеніи духъ мой разсѣкаетъ преграды времени и пространства; когда они износятся сотнями моментовъ и опытовъ, то отпадаютъ, но онъ не умираетъ, хотя то называется смертью у людей». Три ипостаси Троицы объясняются дальше какъ три категоріи: бытія, мысли и жизни.

ства его произведеній, такъ какъ мысль философскую передаетъ лучше и точнѣе сухая формула, нежели литературная фраза или стихъ. Онъ былъ мыслитель, но въ то же время и поэтъ. Съ его личной точки зрѣнія, умствованіе есть цвѣтъ, растущій изъ сердца; „безъ той живительной росы (сердечной) оно усыхаетъ"... „Если меня спасетъ что-либо, — писалъ онъ, — то развѣ то, что чувство красоты неизгладимо живетъ въ глубинѣ моей души. Я только въ эстетической формѣ и понимаю добро" (Listy do Jarosz., стр. 19, 29). Это соединеніе двухъ рѣдкихъ качествъ въ одномъ лицѣ, дало Красинскому возможность отнестись особеннымъ образомъ къ національному вопросу и разрѣшить его съ такимъ высокимъ пониманіемъ и исторіи человѣчества, и судебъ своего народа, что восторженная пѣсня, которую онъ пропѣлъ, сдѣлала его сразу любимымъ, извѣстнымъ, вліятельнымъ, поставила его на ряду съ Мицкевичемъ и Словацкимъ. Уступая имъ по силѣ поэтическаго дарованія, Красинскій превосходитъ ихъ тѣмъ, что является собою видъ альпійской снѣжной вершины, зардѣвшейся отъ первыхъ лучей занимающейся денницы, между тѣмъ какъ все кругомъ погружено еще въ густѣйшій мракъ ночной. Всѣхъ его современниковъ угнетала роковая для нихъ неизбѣжность бездѣйствія; изнывая въ этомъ бездѣйствіи, лучшіе люди или затѣвали сумасбродныя предпріятія, или попадали въ мистицизмъ и слѣдовали за блуждающими огоньками самыхъ дикихъ фантазій, думая въ нихъ найти спасеніе. Отношеніе Красинскаго къ подземнымъ работамъ, къ революціонерству, могло быть только отрицательное. Что касается до печальныхъ проявленій мистицизма, то онъ былъ того мнѣнія, что это—психическое состояніе опасное, изъ котораго вырождается вообще шарлатанство, въ религіи—ханжество, въ поэзіи—преувеличеніе и умопомраченіе, въ практической жизни — подлость и преступленіе. Успѣхъ Товянскаго онъ объяснялъ, какъ появленіе зыби на водѣ передъ бурею, а блаженное довольство его адептовъ, не упроченное ни на какомъ основательномъ умозаключеніи, ни на какомъ точномъ знаніи, онъ считалъ чѣмъ-то въ родѣ чувственнаго опьяненія, въ которое они приведены магнетизеромъ Товянскимъ (Listy Kras. 135, 126). Однако, фактъ образованія „секты" не могъ не подѣйствовать и на Красинскаго, заставивъ поэта углубиться въ себя и найти основанія той осмысленной вѣры въ будущее, которая должна послужить залогомъ спасенія народа. Съ мыслями этими онъ носится въ 1841 и 1842 г. Онъ сообщаетъ (Prz. polski, 1877, янв., стр. 107) въ январѣ 1842, что вѣра его становится положительнѣе. Въ декабрѣ 1841 онъ пишетъ (тамъ же, стр. 106): „не думай, чтобы на меня дѣйствовали Мицкевичъ или Товянскій: то совершеннѣйшее дурачество. Нѣтъ, аналогія нашего міра съ римскимъ до Христа, собственное мое чувство, нынѣшнее положеніе вещей за-

ставляютъ меня вѣрить и надѣяться“. Осенью въ Ниццѣ 1842 г. пишется имъ быстро, въ порывѣ сильнаго одушевленія, лирическая поэма *Przedświt*, которая потомъ въ мартѣ 1843 отправлена въ Римъ къ Конст. Гашинскому для напечатанія подъ именемъ этого послѣдняго. Нельзя не признать, что зубъ времени прошелся уже по этой поэмѣ, въ которой нынѣ многое кажется несовременнымъ, пережитымъ. Судьба погрузила Красинскаго, хотя не выходца, въ струю того теченія польской жизни, которая въ то время направлялась на западъ Европы и которой представителемъ было выходство. Красинскій еще вполнѣ мессіанистъ, развивающій, самъ того не зная, идеи Веспасіана Коховскаго и другихъ до Бродзинскаго и Мицкевича включительно, возводящихъ свой страдающій народъ въ санъ Мессіи, предоставляющихъ этому народу главенство и предводительство между всѣми другими націями. Настоящихъ причинъ паденія Польши Красинскій еще не ощупываетъ, а потому прошлое съ его аристократическими преданіями личнаго достоинства и свободы является ему въ апоѳеозѣ. Какъ истый аристократъ, онъ видитъ одно только хорошее въ славныхъ предкахъ, державшихъ свѣточъ идеальныхъ стремленій, не осуществившихся въ прошломъ, но осуществимыхъ въ будущемъ; наконецъ, онъ цѣлью своихъ помышленій ставилъ реставрацію. Громадная разница между нимъ и его современниками только та, что онъ разсчиталъ условія возможности и невозможности, что онъ реставрацію отодвинулъ въ неизмѣримую и неопредѣленную даль, что онъ потребовалъ, чтобы этой сіяющей въ неизмѣримой дали неземнымъ блескомъ чистой цѣли соотвѣтствовали и безусловно чистыя средства, чтобы, подвигаясь къ этой цѣли по нескончаемымъ ступенямъ исполинской лѣстницы, соотечественники поэта отрѣшились отъ всѣхъ чувствъ, которыя бы слѣдовало назвать не-христіанскими, отъ ненависти, своекорыстія, злобы [1]). Предисловіе, предпосланное поэмѣ, служитъ ей комментаріемъ; оно построено на аналогіи нашего міра съ римскимъ. То же бездушіе людей, которые во все извѣрились, то же высокое совершенство формъ цивилизаціи, то же могучее объединеніе матеріальныхъ интересовъ въ видѣ государственныхъ колоссовъ, въ то самое время, когда въ области вѣрованій все измельчало и растерто въ песокъ. И тамъ и здѣсь два исполинскія воплощенія матеріальной силы: одно во образѣ Цезаря, другое въ лицѣ Наполеона. Цезарь былъ только предтеча, равняющій путь Св. Петру и Павлу, облегчающій распространеніе христіанства. И Наполеонъ—точно такой же предтеча новаго

---

[1]) См. Listy Z. Kras., стр. 195, письмо 1841 изъ Мюнхена:
«Мы должны войти *благородно, аристократично*, на небо (въ будущее), имѣя на себѣ гербовую печать исторіи человѣческаго рода, слѣдъ приснопамятныхъ страданій и трудовъ не знаю уже сколькихъ десятковъ тысячъ лѣтъ или вѣковъ.»

откровенія, и предтеча въ томъ смыслѣ, что своими войнами, своими передѣлами карты Европы, онъ пробудилъ національныя сознанія въ европейскихъ народностяхъ. Искусственныя построенія государственныя провалятся, человѣчество явится въ новомъ образѣ какъ совокупность сочлененныхъ національностей. Христіанству, охристіанившему отдѣльныя души, предстоитъ преобразовать область политики и международныхъ отношеній. Религіозно-философскія идеи соединяются такимъ образомъ съ теоріею національностей, которой роль была велика въ подходящихъ смутахъ 1848 г., въ объединеніяхъ Италіи, Германіи и иныхъ движеніяхъ будущаго. Съ ожиданіями подъема національностей сочетались надежды патріота, „прошедшаго какъ Дантъ чрезъ адъ при жизни". Его сопровождаетъ неотступно „сестра", его Беатриче, дѣлившая съ нимъ вѣнецъ изъ терній. Они вдвоемъ на ладьѣ, среди одного изъ озеръ сѣверной Италіи, проводятъ ночь въ ожиданіи разсвѣта. Темными тучами несутся души отцовъ. Потомокъ молитъ ихъ на колѣняхъ, чтобы они ему объяснили, зачѣмъ они такъ безумно расточили жизнь и оставили въ наслѣдіе дѣтямъ только одну громадную могилу. Отвѣчать берется гетманъ Чарнецкій. Отвѣтъ звучитъ довольно странно: „Ты не ищи вины въ предкахъ, ты не осмѣивай ихъ,—если бы они шли по стезямъ другихъ народовъ, то вы были бы такъ же бездушны, какъ тѣ народы, которые считаются въ силѣ и славѣ". Предки не загубили Польши, они только носили идеалъ, который въ то время былъ неосуществимъ, а составляетъ задачу будущаго. Тѣни исчезаютъ, свѣтаетъ, во всей огненной красѣ восходящаго солнца является видѣніе будущаго, привѣтствуемое гимнами самаго возвышеннаго лиризма. Это будущее—свободное, безкровное, съ подъемомъ мертвыхъ массъ народа на высоты сознанія, обходящееся безъ каръ и казней, съ уравненіемъ женщины въ достоинствѣ и правахъ съ мужчиною. Поэтъ сознаетъ, что та только молитва хороша, которая начинается гимномъ, а кончается дѣломъ и созданіемъ вокругъ себя дѣйствительности, равной по красѣ идеалу. Онъ предоставляетъ послѣ себя пѣть невиннымъ дѣтямъ, а самъ разстается со словомъ и, отталкивая арфу съ тѣмъ, чтобы ее не брать уже въ руки, заключаетъ: „пропадайте мои пѣсни, вставайте мои дѣянія!"

Зарокъ, наложенный Красинскимъ на свою поэзію, не могъ быть имъ строго соблюденъ. Необходимость заставила его принять участіе въ практическихъ вопросахъ дня, и постараться дѣйствовать на современниковъ—единственнымъ орудіемъ дѣйствія, бывшимъ въ его распоряженіи, *пѣснью*, но пѣснью, посвященною не красотѣ, а прямому дѣлу, предостерегать и удерживать своихъ соотечественниковъ отъ самой безумной затѣи, которую они когда-нибудь предпринимали. Бездѣйствіе становилось не въ терпежъ выходству; оно рвалось на

катастрофу, предупреждая общеевропейское революцiонное движенie, котораго признаки становились съ каждымъ днемъ примѣтнѣе. Самъ Товянизмъ былъ однимъ изъ симптомовъ срывающейся грозы, въ мистику ударились одни, въ подземныя работы и заговоры другie; между большимъ количествомъ партiй въ выходствѣ рѣшительный перевѣсъ прiобрѣла революцiонно-демократическая, или такъ называемая *централизацiя* (центры организацiи: Поатье и Версаль), которая поставила себѣ задачею (1844—1845) повстанье во всѣхъ земляхъ бывшей Польши, начиная съ австрiйскихъ и прусскихъ ея частей. Поднять народъ надѣялись приманкою земельнаго надѣла; политическiй переворотъ долженъ былъ осуществиться посредствомъ соцiальнаго, то-есть посредствомъ усѣченiя верхняго культурнаго слоя общества, всѣхъ помѣщиковъ, всей шляхты, точь-въ-точь пропагандисты начитались рѣчей Панкратiя въ „Небожественной Комедiи". Пропаганда имѣла свою печать, въ которой ѣдкостью и топтанiемъ въ грязь всего прошлаго сплошь отличались брошюры подъ именемъ *Правдовскаго* (Prawdy żywotne, Брюссель 1844; Katechism demokratyczny, Парижъ 1845), настоящимъ авторомъ которыхъ былъ Генрихъ Каменскiй. Тифозные мiазмы этой пропаганды заражали воздухъ; они дѣйствовали даже на людей, совсѣмъ непричастныхъ подземнымъ работамъ „централизацiи", но мало образованныхъ политически, напримѣръ на Словацкаго, которому, по его живому воображенiю и революцiонному темпераменту, нравился самый процессъ революцiи, точно красивый огонь пожара, и который не находилъ ничего удивительнаго въ томъ, что стóитъ появиться косамъ, воткнутымъ на древки, и раздаться пѣснѣ, чтобы развалились Iерихонскiя стѣны современныхъ государствъ. — Совершенно противоположное дѣйствiе должна была произвести таже пропаганда на Красинскаго, который проводилъ осень 1844 г. въ Варшавѣ и къ которому явился какой-то апостолъ-эмиссаръ, предлагая вступить въ тайное общество, имѣвшее цѣлью революцiю съ истребленiемъ шляхты. Характеръ политическихъ убѣжденiй Красинскаго былъ съ давнихъ поръ совершенно опредѣленный. Его образъ мыслей остался въ этомъ отношенiи неизмѣннымъ. Вотъ чтó писалъ онъ еще въ 1837 (Listy Kras., стр. 37): „Дворянству присуще могущество, закалъ, то, чтó составляетъ богатырскiй элементъ въ народѣ. — Геройства не найдешь въ юристахъ, въ купцахъ и работникахъ, но только въ дворянствѣ и въ простонародiи (мужицкомъ),—вотъ почему во всѣ времена дворянство шло отъ сохи и пашни, а не отъ мостовой и ремня. Въ простомъ мужичкѣ зародышъ всѣхъ величiй. Этотъ зародышъ, послѣ того, какъ онъ очистится отъ землистыхъ частицъ, сохранивъ твердость и блескъ желѣза, именуется дворянствомъ. Въ немъ поэзiя. Развѣ можно написать поэму объ эписьерѣ? нѣтъ, развѣ только комедiю или фарсъ".

Красинскій сразу постигъ, что ему предлагаютъ покушеніе на національное самоубійство. Тогда же были имъ написаны „Три Псалма" (Вѣры-Надежды-Любви), появившіеся въ 1845 г. въ Парижѣ, подъ псевдонимомъ Спиридіона *Правдзицкаго*, изъ которыхъ особенно важное значеніе имѣлъ послѣдній, то-есть „Псаломъ Любви". Красинскій ставилъ вопросъ менѣе рѣзко, чѣмъ въ „Разсвѣтѣ", не отрицалъ историческихъ грѣховъ, лежащихъ на своемъ народѣ, но утверждалъ, что рѣзня—ребячество и безуміе и совѣтовалъ „бросить гайдамацкіе ножи".

Когда, такимъ образомъ, одинъ изъ вѣщихъ пѣвцовъ въ Христовомъ духѣ кинулся какъ консерваторъ противъ теченія, которое онъ не безъ основанія считалъ пагубнымъ и роковымъ, другой, въ Христовомъ тоже духѣ мистикъ и революціонеръ, не вытерпѣлъ и пустилъ въ ходъ пѣснь, предназначенную на то, чтобы разжигать страсти и осмѣять всякую сдержанность, всякое благоразуміе. Словацкій никогда не привязывался къ людямъ, а только къ мечтамъ съ Красинскимъ его разлучилъ Товянизмъ. Вскорѣ потомъ онъ еще больше охладѣлъ къ другу, вслѣдствіе аристократической женитьбы Красинскаго по настоянію отца и вопреки сердечному влеченію къ женщинѣ, которую онъ въ „Разсвѣтѣ" возвелъ на такой пьедесталъ. Въ самомъ „Разсвѣтѣ" были несомнѣнно мѣста, исполненныя благоговѣйнаго почитанія отцовъ, которыя не могли не раздражать Словацкаго. Любопытный примѣръ накоплявшагося неудовольствія сохранился въ посмертной драмѣ Словацкаго *Niepoprawni* (3-й томъ, стр. 97—193), весьма странномъ произведеніи, въ которомъ красивую и блестящую роль играетъ русскій майоръ изъ Черкесовъ, Владиміръ Гавриловичъ, а некрасивую—подольскіе помѣщики, въ домахъ которыхъ ищетъ себѣ партію богатый графъ Фантазій Дафницкій, за коимъ, какъ тѣнь, слѣдуетъ разведенная съ мужемъ сантиментальная графиня Идалія. Дафницкій говоритъ высокимъ слогомъ, что ни слово, то поэтическая фигура или воспоминаніе объ Италіи, о Римѣ, о Колизеѣ; онъ даже и называетъ графиню Идалію—своею Беатриче. Вся драма не что иное, какъ въ каррикатурѣ представленное отношеніе двухъ короткихъ знакомыхъ. Но не она произвела разрывъ и дала поводъ къ поэтическому единоборству. Прекращены были прежнія сношенія распространеніемъ стихотворенія: *Къ автору трехъ псалмовъ* [1]). На нѣжную дружбу прошлыхъ лѣтъ поставленъ крестъ, язвительнѣйшими стрѣлами сарказма пронизанъ испугавшійся дѣла „сынъ шляхетскій, пославшій вѣщія риѳмы попарно рысцою и усадившій въ колесницу Христа, какъ Овидій Фаэтона"... „Кто тебѣ при-

[1]) Оно было напечатано противъ воли автора и съ грубѣйшими ошибками въ 1848 г., когда Словацкій сильно уже раскаявался въ его написаніи.

грозилъ ножомъ? Можетъ, тебѣ приснилось Запорожье? Можетъ, свѣтъ проходилъ чрезъ красныя гардины твоихъ оконъ, а тебѣ почудилась кровь, такъ что ты закричалъ: не рѣжьте шляхты. Я имѣлъ то смиреніе, что не проклиналъ ни одного движенія. Не думай, чтобы Божія мысль являлась только съ ангелами; иногда Богъ родитъ ее въ крови, а иногда посылаетъ чрезъ Монголовъ“. Словацкій возвѣщалъ ясневельможному пану, пишущему стихами, похожими на жемчужные, что шляхты нѣтъ, что она давно извелась, что онъ считаетъ Красинскаго вреднымъ тормозомъ, гнетущею формою, которую необходимо сокрушить. — Раньше чѣмъ можно было ожидать, судьба рѣшила, кто правъ изъ двухъ противниковъ и кто жестоко ошибается... Въ февралѣ 1846 г. прусское правительство пресѣкло заговоръ до вспышки; въ Галиціи вспышка повела только къ тому, что разнузданная повстанцами стихійная сила—мужикъ,—помогла власти подавить мятежъ: мѣстные помѣщики были перерѣзаны; кровавая расправа, случившаяся даже и не въ русинскихъ мѣстностяхъ, а въ сплошно Поляками населенномъ Тарновскомъ округѣ, была грознымъ, хотя вполнѣ безплоднымъ предостереженіемъ, даннымъ польской интеллигенціи, о томъ, что она пошла по ложному пути. Не въ прокъ этой интеллигенціи пошли и общеевропейскія смуты 1848 года. Обѣ жестокія неудачи никого не остановили, ничему не научили. Силою инерціи, съ тѣхъ поръ вплоть до окончательной катастрофы 1863 г., всѣ практическія усилія народности были направлены къ реставраціи, становившейся съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе невозможною, причемъ движенію этому арсеналомъ служила рѣзко-повстанская литература выходства тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Но корифеи этой литературы были послѣ событій 1846 и 1848 жестоко, въ самое сердце, поражены, извѣрились, пріуныли и, походя больше на тѣни прошлаго, нежели на другихъ людей, сходили малозамѣтнымъ образомъ въ могилу. Мы знаемъ конецъ жизни Мицкевича, остается сказать немногое о Словацкомъ и о Красинскомъ.

Послѣ событій 1846 г. Словацкій сильно упалъ духомъ, раскаялся и написалъ къ Красинскому письмо, если не извиняясь прямо, то объясняя свой образъ дѣйствій, ссылаясь на нѣжныя чувства любви и требуя по крайней мѣрѣ уваженія къ себѣ (Małecki, II, 312). Письмо дышало мистицизмомъ, какъ все, что̀ выходило съ 1842 г. изъ-подъ пера Словацкаго. Корреспонденція съ Красинскимъ возобновилась, но отношенія были холодныя, не задушевныя, какъ въ былыя времена. Среди сильнѣйшей революціонной суматохи Словацкій съѣхался на одну недѣлю съ матерью въ Вроцлавѣ (іюнь, 1848), вернулся во Францію, сильно занемогъ въ началѣ 1849 и угасъ въ Парижѣ 3 апрѣля 1849 года, на рукахъ пріятеля послѣднихъ дней, тогда еще студента Фе-

ликса (сына Алоизія) Фелинскаго (впослѣдствіи архіепископа Варшавскаго). Умирая, Словацкій былъ почти неузнаваемъ: прежнее самолюбіе и гордость его оставили, онъ сталъ безмѣрно тихъ и скроменъ, высокій полетъ мыслей уступилъ мѣсто инымъ мечтаніямъ, запечатлѣннымъ чуждымъ доселѣ поэту, практическимъ реализмомъ, заботами о бѣднякахъ, о крестьянахъ, объ ихъ освобожденіи и отмѣнѣ барщины. Онъ стыдился своихъ юношескихъ „байроновскихъ меланхолій". Въ бумагахъ его осталось поэтическое духовное завѣщаніе, лучшій портретъ его жизни и характера. Извлекаемъ изъ него слѣдующія строфы:

„Я жилъ съ Вами, терпѣлъ и плакалъ; никогда не былъ я равнодушенъ къ благородному. Нынѣ я покидаю васъ и иду въ мракъ съ духами, иду печальный, какъ будто бы здѣсь было счастіе.

„Не оставилъ я наслѣдника ни имени моему, ни лютнѣ. Имя мое прошло какъ молнія и пройдетъ пустымъ звукомъ чрезъ поколѣнія.

„Но вы, знавшіе меня, передайте, что отчизнѣ посвятилъ я мои молодые годы, что пока корабль сражался, я сидѣлъ на мачтѣ, а когда тонулъ—и я погрузился въ воду съ кораблемъ.

„Когда-нибудь, размышляя о печальныхъ судьбахъ моей отчизны, долженъ будетъ всякій благородный человѣкъ признать, что плащъ, носимый моимъ духомъ, былъ не вымоленный, но сіялъ красою моихъ давнихъ предковъ...

„Заклинаю васъ: да не теряютъ надежды живые, да несутъ предъ народомъ факелъ просвѣщенія, а когда нужно, да идутъ на смерть по очереди, точно камни, кидаемые Богомъ на постройку укрѣпленія.

„Что до меня касается, то я оставляю маленькую дружину изъ полюбившихъ мое гордое сердце и знающихъ, что я сослужилъ тяжелую, суровую Божью службу и рѣшился имѣть неоплакиваемый гробъ.

„Кто же другой согласился-бы такъ идти безъ рукоплесканій, имѣть мое равнодушіе для свѣта, быть кормчимъ духами наполненной ладьи и тихо отойти, какъ отлетающій духъ?

„Но послѣ меня останется та роковая сила, которая мнѣ живому ни на что не годилась, а только украшала; но послѣ смерти моей будетъ васъ давить невидимая, пока не превратитъ Васъ, ѣдоковъ хлѣба, въ ангеловъ".

Еще печальнѣе, но продолжительнѣе и мучительнѣе былъ конецъ жизни аристократическаго Юліева сверстника, Красинскаго. Слабый и болѣзненный его организмъ безусловно зависѣлъ отъ душевныхъ состояній;—послѣ 1848 въ немъ развились всевозможныя болѣзни: аневризмъ, разстройство нервовъ, глазныя страданія, онъ посѣдѣлъ, и въ 34 года сдѣлался почти дряхлымъ старикомъ. Послѣдніе годы были непрерывною почти агоніею трудно отходящаго человѣка. Тревожнѣйшія его опасенія, преслѣдовавшія его какъ кошмаръ, превзойдены дѣй-

ствительностью. Никто не могъ уже обвинять его въ томъ, что онъ своимъ слащавымъ заоблачнымъ идеализмомъ помогалъ будто-бы только фарисеямъ и обезсиливалъ народъ въ минуту дѣйствія, внушая ему мученическій, безропотный, неподвижный квіетизмъ. Вихрь событій унесъ все идеальное, національныя движенія перепутались съ соціальными, стушевалось все промежуточное и столкнулись въ бѣшеной борьбѣ двѣ безусловныя и безпощадныя силы: бѣлая реакція и красный революціонизмъ; послѣдній гораздо ненавистнѣе для Красинскаго, нежели первая. Свѣтлую ризу грядущей отчизны загрязнили безчинствами грязныя руки анархистовъ. Въ шумѣ событій поэту слышались звуки адской пѣсни, которыя онъ такъ передаетъ въ *Сегодняшнемъ Днѣ*: „Мать твоя—призракъ падшаго своеволія, а братья твои—прахъ, истлѣвающій въ гробу. Жизнь твоя ушла на то, чтобы гордо агонизировать или чтобы лить праздныя слезы на пашнѣ ничтожества. Народъ твой достался другому на пищу и возобновленіе крови. Наслѣдіе твоихъ предковъ врагъ превратилъ въ смерть и тлѣніе; онъ этою смертью обновитъ жизнь, потому что возьмется рѣшать задачу будущаго, которую вамъ не было дано рѣшить. Онъ ее разсѣчетъ, попирая ваши кости. Усните на вѣки: вамъ ночь, ему утро".—„Заволоклось на долго,—писалъ онъ въ 1848 (Prz. polski 1877, янв. 112),—намъ не узрѣть конца; невѣдомо какъ, и отъ чьихъ рукъ погибнемъ." Одно только для него ясно, что въ такихъ грозахъ, какъ настоящая, ни одинъ софизмъ не устоитъ и *наиблагороднѣйшій* въ концѣ-концовъ побѣдитъ. Безъ этой вѣры, я бы,—говоритъ онъ,—издохъ (110). Онъ самъ себя опредѣляетъ словами: speravit contra spem. Въ февральскую революцію онъ отъ начала до конца не вѣрилъ, и когда Мицкевичъ пріѣхалъ въ Римъ образовать легіоны въ 1848, Красинскій писалъ: „прежній любимецъ нашъ рѣзалъ мнѣ сердце и разстраивалъ нервы въ теченіе двухъ мѣсяцевъ"; но когда Мицкевичъ умеръ, то Красинскій его оплакиваетъ: „онъ былъ для моего поколѣнія молоко и медъ, желчь и кровь. Мы отъ него всѣ. Онъ насъ увлекъ на высокой волнѣ вдохновенія и бросилъ въ свѣтъ. Столпъ онъ огромный, хотя надтреснутый" (стр. 113). Хотя съ Словацкимъ состоялось примиреніе, но въ 1848 г. появился *Psalm żalu* съ суровымъ опроверженіемъ софизмовъ, содержащихся въ пьесѣ: „Къ автору трехъ псалмовъ". Какъ глубоко ранено было сердце Красинскаго Словацкимъ, видно изъ того, что уже по смерти Словацкаго, сочиняя 1850—1851 въ Римѣ „Неоконченную поэму", Красинскій вывелъ въ ней Словацкаго подъ именемъ Юлинича въ видѣ пророка демагогіи, на службѣ и посылкахъ у положительнаго революціонера и уравнителя Панкратія. Творчество въ Красинскомъ ослабѣло—и послѣ 1851 почти совершенно прекратилось. За весь остатокъ его жизни съ 1846 по 1859 годъ приходится пять псалмовъ (Żalu,—Dzień dzisiejszy,—Ostatni,

—Resurrecturis,—Psalm dobrej woli). Тарновскій считаетъ „Псаломъ доброй воли“ (1848) вѣнцомъ поэзіи Красинскаго, не только лучшимъ его произведеніемъ, которому уступаетъ даже *Разсвѣтъ*, но и послѣднимъ словомъ великой поэзіи польской, въ періодъ полнаго ея процвѣтанія, который начался 1822 „Гражиною“ и „Дзядами“ и достойно закончился 1848 *Псалмомъ Доброй Воли*, послѣ 26 лѣтъ, изъ которыхъ каждый почти отмѣченъ первостепенной красоты произведеніями. Красинскій рѣдко и только по необходимости пріѣзжалъ въ Варшаву или гостилъ въ имѣніяхъ отца, къ женѣ былъ довольно равнодушенъ, дѣтей нѣжно любилъ. Въ ноябрѣ 1858 умеръ его отецъ, Викентій, съ которымъ ни въ чемъ почти онъ не сходился, ни въ идеяхъ, ни въ чувствахъ, а въ 1859, 23 февраля, скончался въ Парижѣ и самъ Сигизмундъ Красинскій, младшій и послѣдній изъ трехъ великихъ свѣтилъ великаго періода. Тріада поэтовъ была окружена въ дѣйствительности множествомъ спутниковъ и мелкихъ свѣтилъ выходства, которыхъ слѣдуетъ отмѣтить прежде, чѣмъ перейти къ неказистой доморощенной литературѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Главные спутники трехъ полубоговъ польской литературы были уже названы, но не всѣ, такъ что слѣдуетъ дополнить этотъ списокъ.

Наполеоновскій солдатъ и одинъ изъ виленскихъ „шубравцевъ“ Антонъ Горецкій (1787 — 1861), выходецъ съ 1831 г., писалъ басни, эпиграммы, мелкіе стихи, побывалъ съ Мицкевичемъ въ Товянизмѣ, но скоро возвратился въ лоно церкви. Товянизмъ былъ причиною разрыва Мицкевича съ другимъ еще сподвижникомъ его въ выходствѣ, Степаномъ Витвицкимъ (1801—1847), авторомъ „Вечеровъ Странника“ (1837 и 1842), повѣстей и стихотвореній въ романтическомъ духѣ.—О остающемся въ живыхъ, почти послѣднемъ изъ друзей юности Мицкевича, Эдуардѣ-Антонѣ Одынцѣ было уже упомянуто. Онъ былъ моложе Мицкевича 6 годами (род. 1804) перевелъ множество первокласныхъ произведеній западно-екропейской литературы, издавалъ газеты, пытался писать оригинальныя драмы (Фелицита, 1849, Барбара Радзивилъ, 1858, и Юрій Любомірскій, 1861), но съ малымъ успѣхомъ, а оказалъ большую услугу изданіемъ своихъ „Путевыхъ писемъ“ (Listy z podróży. Warszawa, 1875 — 1878), передающихъ мельчайшія подробности его общенія съ Мицкевичемъ въ Вильнѣ, Петербургѣ и за границею до ноябрьскаго повстанья 1830 г. Къ сожалѣнію, въ этихъ письмахъ не различишь писаннаго во время путешествія отъ позднѣйшихъ вставокъ и прибавокъ. Одынецъ издавалъ съ 1840 по конецъ 1859 г. въ Вильнѣ правительственный „Виленскій Вѣстникъ“, а съ 1865 поселился въ Варшавѣ. Поклонявшійся Мицкевичу, Одынецъ состоялъ въ тоже время въ самыхъ тѣсныхъ дружескихъ и литературныхъ отношеніяхъ къ романтику Юліану

Корсаку (1807—1855) и Игнатію Ходзькѣ (1794—1861), классику, который издалъ съ 1840 г. нѣсколько серій „Картинокъ Литовскихъ“ изъ литовской старины, и въ нихъ идеализировалъ прошлое въ духѣ той школы романистовъ, которой корифеемъ явился въ тоже время Генрихъ Ржевускій. Къ числу друзей и послѣдователей Мицкевича принадлежитъ и Александръ Ходзько (род. 1804), занимающій съ 1859 г. каѳедру славянскихъ литературъ въ Collége de France (послѣ Сипріена Робера). Съ именемъ Сигизмунда Красинскаго неразрывно связанъ поэтъ и нувеллистъ Константинъ Гашинскій. Изъ поэтовъ-украинцевъ въ эмиграціи очутились, кромѣ Богдана Залѣскаго, двое: одинъ талантливый лирикъ и эпикъ Ѳома Олизаровскій (1811—1879), авторъ „Заверухи“ и другихъ произведеній, изъ которыхъ часть только издана 1852 г. (въ Вроцлавѣ, въ 3 т.), а прочія остались въ рукописи; и другой, Михаилъ Чайковскій (род. 1808), принявшій впослѣдствіи исламъ и имя Садыка-паши, писатель довольно плохихъ украинскихъ повѣстей, пользовавшихся однако въ свое время большою извѣстностью.

Мы видѣли, какъ литературное возрожденіе Польши въ національномъ духѣ, на широкой религіозной подкладкѣ, дошло до кризиса, слѣдуя по болѣе или менѣе ошибочнымъ путямъ. Чѣмъ сильнѣе становился острый кризисъ болѣзни, тѣмъ больше и больше выростало цвѣтовъ, хотя и красивыхъ, но вредныхъ и ядовитыхъ. Почва общественная, послѣ великаго крушенія, не могла не располагать къ тому, чтобы всплывала свободно наружу вся гниль прошедшаго, магнатство, оплакивающее свой потерянный рай, клерикализмъ, отрицающій разумъ, его права и всякую свободу мышленія. Ближайшимъ средствомъ явно реакціонной пропаганды могъ быть старошляхетскій эпосъ, артистическое воспроизведеніе святого прошедшаго, не только въ его похвальныхъ чертахъ, какъ сдѣлалъ Мицкевичъ въ „Панѣ Тадеушѣ“, но и въ грубѣйшихъ заблужденіяхъ и порокахъ. Всѣ элементы темнаго царства соединилъ въ себѣ талантливый человѣкъ, имѣвшій связи съ эмиграціею, но котораго настоящіе корни были въ прежде польскихъ, нынѣ русскихъ областяхъ, графъ Генрихъ Ржевускій, достигшій въ соровыхъ годахъ громаднаго и почти неоспариваемаго господства надъ умами современниковъ. Его имя уже появлялось на предыдущихъ страницахъ: онъ былъ спутникомъ Мицкевича въ его крымскомъ путешествіи и знакомымъ его въ Петербургѣ и въ Римѣ въ теченіи двухъ зимъ 1829—1831.

Генрихъ Ржевускій [1]) родился въ Славутѣ, Волын. губ., въ са-

---

[1]) Piotr Chmielowski, Henryk Rzewuski, studium literackie. «Niwa», 1877, №№ 68—72; 1878, №№ 73—78.

мый день провозглашенія конституціи 3 мая 1791, что дало поводъ остроумному замѣчанію, что въ день рожденія конституціи родился и злѣйшій ея противникъ. Родъ Ржевускихъ былъ, въ полномъ смыслѣ слова, магнатскій; отецъ его, Адамъ-Лаврентій, въ юныхъ лѣтахъ Барскій конфедератъ, а потомъ витебскій кастелянъ и Тарговичанинъ, сдѣланъ, послѣ паденія Польши, русскимъ сенаторомъ и губернскимъ предводителемъ дворянства. Молодой Генрихъ провелъ первые годы у бабки, въ Минской губерніи, и вслѣдствіе того выдавалъ себя всегда за кровнаго Литвина. Уже тогда славились, какъ учебныя заведенія, виленскій университетъ и кременецкій лицей, но въ очень аристократическихъ кругахъ оба разсадника просвѣщенія считались зараженными вольтеріанствомъ и фармазонствомъ; руководящими свѣтилами признаваемы были Бональдъ и де-Местръ. Генрихъ Ржевускій пробылъ самое короткое время въ кармелитской школѣ въ Бердичевѣ, учился дома у abbé Garnier, потомъ въ Петербургѣ, въ пансіонѣ іезуита Николя; въ 17 лѣтъ онъ уже былъ готовъ, пробылъ годъ въ польскихъ уланахъ 1809 г., вышелъ съ чиномъ подпоручика, неизвѣстно, гдѣ былъ и что дѣлалъ въ 1812, вѣроятно сидѣлъ въ Петербургѣ, къ этому времени относится его личное знакомство съ сардинскимъ посланникомъ Жоз. де-Местромъ. Съ 1817 начались его праздныя скитанія безъ опредѣленной цѣли за границею по всей западной Европѣ, прерываемыя частыми возвращеніями въ Россію. Въ 1822 онъ слушалъ въ Парижѣ курсы Кузэна и Вилльмена, которые обогатили его знанія и развили его діалектическія средства, но не измѣнили образа мыслей, основаннаго на безусловномъ подчиненіи авторитету. Ржевускаго привлекали къ себѣ больше всего богословы и мистики, съ которыми онъ былъ въ самомъ живомъ общеніи: Грабянка, Пошманъ, Олешкевичъ. Въ 1826 Ржевускій женился и почти четыре года (1829 — 1832) провелъ въ Италіи, въ томъ числѣ двѣ зимы въ Римѣ, въ обществѣ Мицкевича, которому онъ и обязанъ пробужденіемъ своего литературнаго таланта. Ржевускій былъ сильный спорщикъ и неоцѣненный разказчикъ. Мицкевичъ посовѣтовалъ ему однажды писать, предсказывая, что онъ сдѣлается великимъ писателемъ. Ржевускій передаетъ начало своихъ литературныхъ опытовъ нѣсколько иначе и говоритъ, что, работая въ Ватиканской библіотекѣ, онъ шутя сочинилъ нѣсколько разсказовъ старымъ слогомъ человѣка прошлаго столѣтія, кунтушоваго любителя старины.—Разсказчикъ былъ лицо вымышленное—Северинъ Соплица, Парнавскій Чесникъ, когда-то Барскій конфедератъ, побывавшій и въ русскихъ тюрьмахъ, слуга и приверженецъ Карла Радзивила „Пане-коханку". Разсказы идутъ одинъ за другимъ, безъ цѣльности и связи, точно настоящія записки, нравственный центръ которыхъ составляютъ

Барская конфедерація и литовскій идолъ, какъ самое типическое, возведенное въ идеалъ изображеніе старины. Ржевускій былъ большой баринъ, вовсе и не думавшій о литературныхъ лаврахъ; этимъ и объясняется, что съ 1832 по 1839 рукопись его пролежала безъ опубликованія и напечатана она была съ предисловіемъ Витвицкаго въ Парижѣ, чуть ли не противъ воли автора, по рукописи, привезенной изъ Рима, между тѣмъ какъ авторъ, вернувшись на родину, исправлялъ выборную должность предводителя дворянства житомирскаго уѣзда [1]). Неописанный восторгъ, съ которымъ приняты были эти карандашные наброски, объясненъ будетъ впослѣдствіи. Въ духѣ тогдашняго времени лежало художественное возсозданіе недавней старины. „Воспоминанія Соплицы" читаемы были на расхватъ, безъ критики, какъ произведеніе, изображающее самую подлинную истину, какъ настоящія записки. Оспаривать точность фактовъ, отыскивать пятна въ прошедшемъ значило, по тому времени, быть не-патріотомъ, сдѣлаться чуть не измѣнникомъ народному дѣлу. Надобно признаться, что „Воспоминанія" подкупали читателя тѣмъ, что Чесникъ Парнавскій страдалъ за отечество въ смоленской тюрьмѣ (XI), что онъ мечтаетъ и о народной самостоятельности (XVII), готовъ даже смерть пріять за конституцію 3 мая (XIX), что онъ даже предсказываетъ величіе грядущаго поколѣнія (St. Rzew.) и неизбѣжность новыхъ условій для жизни общества (Król Stan.). Правда, что, дѣлая эти уступки, панъ Чесникъ по всѣмъ вопросамъ общественнымъ высказываетъ ретрограднѣйшія сужденія, но такъ, повидимому, и слѣдовало: человѣкъ прошлаго не могъ не быть ретроградомъ среди настоящаго. Прошлое онъ изображалъ не все, а только его сторону шумную, удалую, залихватскую, но съ такою поразительною правдою, что, благодаря искусству, нравилась и увлекала жизнь прошлаго, даже въ ея грубой, хотя и простодушной деморализаціи, батогъ, прохаживающійся по спинѣ всякаго, хотя бы и взрослаго сына, выдача замужъ дочерей безъ спроса согласія,—религія, сведенная до значенія безмысленно произносимыхъ молитвъ и совершаемыхъ обрядовъ, сервилизмъ по отношенію къ магнатамъ, несмотря на пресловутое будто бы равенство шляхтичей съ воеводою. Соплица ставитъ себѣ въ заслугу, что защищалъ неправое дѣло своего господина князя Радзивила, жертвуя своимъ убѣжденіемъ. Всякимъ поползновеніямъ къ самостоятельности полагало конецъ замѣчаніе: „тебѣ платятъ, ты ѣшь хлѣбъ князя, да притомъ и вкусный" (IV и XV). Критика была озадачена и одинъ изъ ея корифеевъ, Грабовскій, провозгласилъ, что „Воспоминанія"—книга просто геніальная, которая

---

[1]) Pamiątki P. Seweryna Soplicy, 4 тома; тоже, передѣланное въ виду требованій русской цензуры: P. starego s. zlachcica litewskiego. Wilno 1844—1845.

даетъ то, чего не дали намъ ни классицизмъ, ни романтизмъ, а именно, что она — живое и искреннее народное преданіе.

Громадный и превосходящій заслуги сочиненія, успѣхъ „Воспоминаній“ вскружилъ Ржевускому голову и далъ ему превратное понятіе о его дарованіи. Въ Ржевускомъ совмѣщались, можно сказать, два лица: великій эпикъ, въ весьма тѣсномъ кругу творчества, живописующій только людей XVIII вѣка, притомъ консерваторовъ, враговъ реформы, и желчный резонеръ-моралистъ, не только осуждающій все настоящее, всѣ его начинанія и надежды, но и находящій особенное удовольствіе въ осмѣяніи всего считаемаго прогрессивнымъ, щеголяющій своимъ абсолютнымъ ретроградствомъ. Художественное въ своихъ произведеніяхъ онъ подчинялъ нравоучительному и считалъ себя гораздо больше философомъ, чѣмъ новеллистомъ. Тотчасъ послѣ появленія „Воспоминаній“, у него была готова (1840) рукопись объ исторіи цивилизаціи, которой руководящая мысль—та, что народъ не можетъ одновременно воплощать поэзію и внутренно (въ политическихъ дѣяніяхъ, обычаяхъ, законахъ) и внѣшне (въ литературѣ); что внезапное появленіе богатой содержаніемъ литературы есть признакъ смерти либо народа, либо той политической формы, которая обусловливала жизненность поэтическую этого народа. Литература выросла какъ кипарисъ на могилѣ; могила эта поглотила народъ вслѣдствіе того, что онъ самъ, посредствомъ реформы, посягнулъ на себя, разрушилъ свою жизненную старошляхетскую форму быта. Нѣкоторое время кипарисъ этотъ будетъ красоваться, затѣмъ послѣдуетъ смерть и самой литературы; она обратится въ пищу другихъ литературъ. Въ концѣ-концовъ проповѣдывался фаталистическій отказъ отъ малѣйшихъ надеждъ на дальнѣйшее національное существованіе. Этихъ выводовъ Ржевускій при жизни не печаталъ (по смерти вышли отрывки: Próbki historyczne, 1868, съ предисловіемъ Болеславиты, т. е. Крашевскаго). Но увлекаемый страстью поучать, Ржевускій далъ волю своему сатирическому настроенію и издалъ въ Вильнѣ 1841—1843 въ двухъ томахъ: Mieszaniny obyczajowe przez Jarosza Bejłę, въ которыхъ изобразилъ, въ самыхъ черныхъ краскахъ, общество польское, по его волынскимъ образцамъ, т. е. помѣщиковъ, ихъ невѣжество, погоню за наживой, недостатокъ стойкости въ убѣжденіяхъ, развратъ и т. под. Ни эта книга, ни другіе позднѣйшіе сатирическіе опыты, напр. Paź złotowłosy, въ которомъ, въ вымышленномъ царствѣ „Скотостанѣ“, онъ представилъ, подъ именемъ Бабакана, генералъ-губернатора Бибикова и его отношенія къ мѣстному дворянству, не имѣютъ прочныхъ достоинствъ, которыя бы обезпечили за ними долгую память. Ржевускій стоялъ внѣ общества, которое описывалъ, ни въ чемъ съ нимъ не сходился, а потому изъ-подъ пера его выходили каррикатуры, но не живыя лица. Ярошъ Бейла никого не на-

училъ, а только раздражалъ множествомъ задирающаго свойства тезисовъ, въ числѣ которыхъ красовались и такіе: „Герои коліивщины были настоящіе демократы. Настоящій демократъ—тотъ, кто требуетъ раздѣла по ровну имущества, притомъ повторяемаго чрезъ нѣсколько лѣтъ. Умѣренная демократія—абсурдъ“, и т. под. Вскорѣ потомъ попытка полученія легкаго барыша, отдача имѣнія въ залогъ по подрядамъ, поставила Ржевускаго въ самое затруднительное положеніе и заставила его переселиться въ 1849 г. въ Петербургъ, гдѣ тотчасъ онъ вошелъ въ литературный кружокъ подходящей масти, то-есть ретрограднѣйшаго свойства, распространявшій широко, безпрепятственно и почти безъ возражателей, среди общественнаго безмолвія въ сороковыхъ годахъ, свои идеи клерикально-шляхетскія. Польская журналистика находилась еще въ зародышѣ. Съ началомъ 1841, сталъ выходить въ Варшавѣ старѣйшій помѣсячный журналъ *Biblioteka Warszawska*, донынѣ существующій; въ томъ же году молодой, подававшій большія надежды писатель Игнатій-Іосифъ Крашевскій, живя въ Волынской губерніи, сталъ издавать въ Вильнѣ сборникъ по 6 книжекъ въ годъ, озаглавленный *Athenaeum*, который онъ на своихъ, можно сказать, плечахъ пронесъ цѣлыя 11 лѣтъ, исправляя обязанности редактора, секретаря, переписчика, сотрудника и даже капиталиста-издателя. Съ 1830 года въ Петербургѣ имѣлся также самостоятельный польскій органъ *Tygodnik petersburgski*, оффиціальная газета Царства Польскаго,— выходившая дважды въ недѣлю, подъ редакціею Іосифа Пржецлавскаго. Его сильно поддерживалъ вліятельный человѣкъ, вышедшій въ люди изъ бѣдняковъ, силою воли и умомъ, Игнатій Головинскій (1807—1855), ректоръ духовной академіи, а съ 1851 митрополитъ римско-католическихъ церквей въ имперіи, переводившій Шекспира, довольно впрочемъ неудачно, подъ именемъ Кефалинскаго, и пробовавшій писать драмы, легенды, повѣсти, записки подъ именемъ Жеготы Костровца. Имъ помогалъ новеллистъ средней руки, полковникъ Людвигъ Штырмеръ, присылали статьи Крашевскій и Грабовскій. Когда въ этотъ ареопагъ вступилъ Ржевускій, то вскорѣ сталъ онъ первымъ лицомъ и внесъ въ кружокъ всю нетерпимость и всю намѣренно-скандализирующую рѣзкость своихъ крайнихъ ретроградныхъ убѣжденій. Онъ сталъ главнымъ писателемъ *Тыгодника* и помѣстилъ въ немъ прежде всего свой лучшій романъ „Ноябрь“ (Listopad, 1845 и 1846), исторію двухъ братьевъ Стравинскихъ, изъ которыхъ одинъ воспитанъ по французски и состоялъ въ числѣ приближенныхъ короля Понятовскаго, другой—человѣкъ стараго покроя и слуга радзивиловскаго дома Первый увозитъ невѣсту брата и кончаетъ самоубійствомъ, второй поступаетъ въ Барскіе конфедераты, участвуетъ въ покушеніи на похищеніе короля, за что̀ и подвергается разстрѣлянію. Два общества сопоставле-

ны и изображены не въ видѣ отрывочныхъ эскизовъ, но цѣльно, обдуманно и довольно безпристрастно; однако публика была уже возстановлена противъ Яроша Бейлы, несчастныя приписки подъ текстомъ задирающаго и вызывающаго свойства, которыми Ржевускій испещрилъ свое произведеніе, еще болѣе озлобили ее, критика оказалась для него далеко не снисходительною. Еще меньшимъ успѣхомъ пользовались позднѣйшія повѣсти Ржевускаго, „Краковскій за́мокъ", „Шмигельскій", „Лиздейко" и другіе, которыя содержатъ повторенія уже прежде выведенныхъ типовъ и обнаруживаютъ малое знакомство со стариною внѣ предѣловъ XVIII вѣка. Великая гордыня надменныхъ умовъ, засѣвшихъ въ „Тыгодникъ", отталкивала отъ нихъ. Крашевскій отвернулся. Съ Ржевусскимъ полемизировали даже такіе рьяные и искренніе католики, какъ ксендзъ Станиславъ Холоневскій, дальній его родственственикъ и римскій знакомый (1792—1846), талантливый авторъ философскихъ повѣстей, направленныхъ противъ увлеченій романтизма („Sen w Podhorcach", 1842). Между тѣмъ, какъ болѣе извѣстные люди сторонились, противъ кружка „Тыгодника" и его нападеній на разумъ вооружились молодые люди совершенно неизвѣстные, основавшіе въ Петербургѣ сборникъ „Звѣзду" (Gwiazda, 1846), которая потомъ переведена въ Кіевъ (въ 1847—49): то были большею частью гегельянцы и послѣдователи Трентовскаго, хотѣвшіе понимать христіанство свободнѣе по своему (Зенонъ Фишъ, Альбертъ Марцинковскій, Антонъ Новосельскій; псевдонимы ихъ: Падалица, Грыфъ и Долэнга). Тонъ полемики былъ заносчивый и грубый; она отличалась искренностью, но полемизировавшіе не имѣли ясныхъ понятій и достаточной стойкости въ убѣжденіяхъ. Съ петербургскимъ кружкòмъ не безопасно было спорить; изданіе „Звѣзды" было прекращено въ угоду имъ, по распоряженію цензуры. Наступили событія 1848 г., повліявшія на литературу внутри имперіи самымъ роковымъ образомъ. Не только усилилась строгость цензуры и уменьшился интересъ публики къ литературѣ, такъ, что „Варшавская Библіотека" поколебалась, а Крашевскій долженъ былъ закрыть послѣ 1851 г. „Атеней" по недостатку подписчиковъ, но что́ важнѣе, опустились руки у людей прогресса, потому что у нихъ (какъ и у русскихъ западниковъ въ родѣ Грановскаго) потрясена была вѣра въ силы европейской цивилизаціи, отъ которой почерпаема была, главнымъ образомъ, умственная пища для народа. Была еще одна чувствительная потеря: зачахло нѣжное, чуть-чуть почкующее растеніе польской философіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и исчезла надежда на привитіе духа прогресса къ старому пню католицизма. Контрасты поставлены рѣзкіе: катихизисъ либо безвѣріе; точно также и въ области политики среднія партіи стушевались, боролись крайнія, кончилось побѣдою бѣлаго террора надъ краснымъ призракомъ. Хотя сумятица

не коснулась вовсе востока Европы, но ея вліяніе отразилось, во-первыхъ, въ такомъ усиленіи мѣръ надзора за мыслью, при которомъ даже помышлявшіе объ освобожденіи легальнымъ путемъ крестьянъ могли считаться поджигателями, во-вторыхъ, въ исчезновеніи на время всякихъ идей прогрессивныхъ, потерявшихъ почву для себя въ умахъ современниковъ. Насталъ періодъ глубокаго сна на старыхъ, впрочемъ, идеалахъ, который для Ржевускаго показался наиболѣе удобнымъ для распространенія идей, въ конецъ реакціонныхъ, для отрицанія всякаго прогресса, для уравненія всякой реформы съ ересью, для безусловнаго подчиненія въ области идей—церкви, въ области житейской—хранительницѣ преданій, аристократіи. Ржевускій вступилъ на новое для него поприще журналиста; магнатъ, поразстроившійся въ дѣлахъ, поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ князю Паскевичу въ Варшавѣ, высокихъ чиновъ онъ достигъ главнымъ образомъ не дѣловыми работами, но потому, что былъ забавнымъ и острымъ собесѣдникомъ. Съ 1851 онъ сталъ издателемъ газеты *Dziennik Warszawski*, пользовавшейся крупною казенною субсидіею, въ которой немедленно и началъ крестовый походъ противъ разума, въ статьяхъ: „Cywilizacya i religia“. Но оказалось, что Ржевускій, дѣйствуя такимъ образомъ, совершилъ грубую ошибку въ разсчетѣ. Особенно сильной оппозиціи онъ не встрѣтилъ между пишущими; даже такіе люди, какъ юмористъ Августъ Вильконскій (Ramoty i ramotki, 4 тома; род. 1805 въ в. кн. Позн., ум. 1852) и историкъ Юліанъ Бартошевичъ (1821—1871) и мн. др. принимали участіе въ изданіи, появленіе котораго было положило основаніе варшавской газетной прессѣ. Взрывъ негодованія послѣдовалъ въ самой читающей публикѣ, которая осудила сразу публициста за его направленіе, перестала подписываться, нѣсколько сотъ подписчиковъ возвратили нумера газеты. Публика показала, что она консервативна, но, не жалуя демократіи, она была далека отъ безшабашной реакціи. Ржевускій вселилъ еще бо̀льшее къ себѣ отвращеніе, напечатавъ 1856—57 въ 8 т. записки Варѳоломея Михаловскаго, паразита, тарговичанина, въ припискахъ къ которымъ онъ прославлялъ Тарговицкую конфедерацію, чернилъ и закидывалъ грязью творцовъ конституціи 3-го мая. Отправивъ 1857 печатать во Львовѣ свою сатиру: *Златовласый пажъ*, такъ какъ „Галиція—самая образованная изъ бывшихъ польскихъ областей“, Ржевускій оставилъ Варшаву, поселился въ своемъ имѣніи Чудново, на Тетеревѣ, близъ Житоміра, дождался крайне непріятной для него крестьянской реформы и дошедши почти до идіотизма, скончался въ 1866 году.

Ржевускій, при всемъ своемъ несомнѣнномъ талантѣ, интересенъ всего больше какъ патологическое явленіе въ жизни польскаго общества, въ предѣлахъ Имперіи, въ сороковыхъ годахъ, объясняющее все-

го лучше косный застой, которому онъ съ своей стороны премного содѣйствовалъ. Совершалось однако и прогрессивное движеніе, но робкое, весьма неопредѣленное и медленное. На югѣ жило нѣсколько талантливыхъ людей, которые оставили прочные слѣды въ литературѣ. Въ Кіевѣ дѣйствовалъ „примасъ“ Грабовскій, какъ его прозвалъ иронически Словацкій, человѣкъ, при своей падкости къ аристократіи и клерикализму, умный и трезво смотрѣвшій на національные вопросы, склонный рознь между Поляками и южно-Русскими разсматривать какъ порожденіе причинъ не политическихъ и религіозныхъ, а соціальныхъ; но въ 1843 г. распространилась вѣстъ, что онъ хлопоталъ у правительства о разрѣшеніи издавать журналъ „Słowianin“ въ духѣ, который бы мы теперь назвали примирительнымъ и общеславянскимъ. Огласка повлекла за собою сильное паденіе репутаціи Грабовскаго по подозрѣнію въ національной измѣнѣ. Другъ Грабовскаго, Александръ Гроза (1807—1875), романтикъ украинской школы, шелъ по стопамъ Залѣскаго и Гощинскаго, обращаясь къ простонародной украинской поэзіи, какъ главному источнику (Starosta Kaniowski, Jassyr Batowski). Въ Кіевѣ, а потомъ Харьковѣ писалъ драматическія сочиненія Іосифъ Корженіовскій, котораго встрѣтимъ въ Варшавѣ, въ слѣдующемъ періодѣ. Волынскій помѣщикъ а потомъ почетный попечитель Волынской гимназіи, Игнатій-Іосифъ Крашевскій (род. 1812 въ Варшавѣ, воспитанникъ Виленскаго университета), уже въ то время обнаруживалъ неисчерпаемую плодовитость, разносторонность и постоянство въ трудѣ; онъ одинъ работалъ за десятокъ человѣкъ, писалъ историческія книги („Wilno“, 1838—40, 4 т.), путешествія, компиляціи философскихъ сочиненій, составилъ даже обширный эпосъ изъ преданій и исторіи языческой Литвы,—которой прошедшее собиралъ по кусочкамъ и возстановлялъ трудолюбиво, но безъ критики, историкъ Теодоръ Нарбутъ (1784—1864; Dzieje starożytne narodu litewskiego. Wilno, 9 t., 1835—1841). Стихотворный эпосъ Крашевскаго *Anafielas* („Гора вѣчности“, литовскій Олимпъ), дѣлится на три части: „пѣсня о Витолѣ“ (Witoloranda), „Миндовсъ“ и „Витольдовы битвы“. Начиная съ миѳическихъ сказаній, онъ доводилъ свою повѣсть до сліянія крестившейся Литвы съ Польшею. Настоящее призваніе Крашевскаго были впрочемъ не стихи, а повѣсть, и притомъ не столько историческая,—хотя онъ писалъ историческія повѣсти превосходныя (напр. Ostatnie chwile Księcia Wojewody, 1875), — сколько современная, воспроизведеніе живыхъ типовъ, ходячихъ идеаловъ, возбужденіе жгучихъ вопросовъ дня и его задачъ. Самъ Крашевскій опредѣлилъ значеніе рода, который онъ предпочтительно передъ другими разработывалъ, слѣдующими словами въ своей юбилейной рѣчи 3 окт. 1879 года: „я избралъ старѣйшую форму, которая была нянькою народамъ востока, форму, предлагающую читателямъ наиболѣе усвоиваемую

ими пищу, создающую большой кругъ читателей и служащую пропедевтикой къ мышленію и умственнымъ занятіямъ". Крашевскій былъ идеалистъ, любилъ писать на тему о разладѣ идеаловъ съ дѣйствительностью, сплетающемъ терновый вѣнецъ для поэта (Poeta i swiat, 1839; Sfinks, 1847; Powesć bez tytułu, 1855), чувствовалъ нѣкоторую слабость къ отходящему старому барству (Dwa światy, 1856), но вмѣстѣ съ тѣмъ особенно горячо заступался за крестьянъ и во имя поругаемаго человѣческаго чувства громилъ крѣпостное состояніе и изображалъ тяжесть крестьянскаго быта, въ длинномъ ряду исполненныхъ драматизма разсказовъ (исторія Савки въ Latarnia czarnoksięzka 1843, Ulana 1843, Ostap Bondarczuk 1847, Jaryna 1850, Chata za wsią 1854, Jarmoła 1857), порою забавлялся построеніемъ утопій, (Dziwadła, 1853). Въ Витебской губ. Карлъ Буйницкій (1788—1878) основалъ органъ „*Рубонъ*" (древнее названіе Западной Двины) для провинціальной бѣлорусской литературы, какъ составной части общей польской. Въ Варшавѣ въ началѣ сороковыхъ годовъ стали какъ будто-бы обозначаться зачатки новой поэтической школы, которая, происходя отчасти отъ Байрона, отчасти отъ корифеевъ польской поэзіи выходства, отличалась бурными стремленіями впередъ, въ весьма неопредѣленной формѣ: Романъ Зморскій, Владиміръ Вольскій, братья Людовикъ и Купріанъ Норвиды, Антонъ Чайковскій (род. 1816 въ Краковѣ, умеръ въ 1873 отставнымъ профессоромъ Петербургскаго университета). Талантливѣйшая изъ польскихъ писательницъ того времени, Нарциза Жмиховская (1825—1876), обратила на себя вниманіе сборникомъ прелестныхъ стихотвореній: *Wolne chwile Gabrielli* (Poznań, 1844). Счастливый собиратель старыхъ сказокъ, басенъ и поговорокъ, археологъ и компиляторъ весьма малыхъ способностей, Казиміръ-Владиславъ Войцицкій (1807—1879) пріобрѣлъ весьма обширную извѣстность. Помѣщикъ Виленской губ. Эдуардъ Желиговскій (род. 1820, ум. въ Женевѣ 1864), издалъ въ 1846 г. драматическую фантазію *Іорданъ*, ѣдкую сатиру соціальнаго характера, на современное общество, фарисействующее на мягкомъ ложѣ крѣпостнаго состоянія. Таковы были самыя крупныя явленія въ области польской литературы, въ предѣлахъ Россіи. Намъ остается сказать нѣсколько словъ о судьбахъ ея въ предѣлахъ Пруссіи и Австріи.

Великое Княжество Познанское, доставившее наибольшій контингентъ Гегелю, имѣло средней руки стихотворца Наполеоновскаго войска, генерала Франца Моревскаго (1785—1861), бывшаго классика, обратившагося въ романтизмъ, и историка Андрея Морачевскаго, изъ школы Лелевеля (1804—1855), доведшаго исторію Польши, писанную въ республиканскомъ духѣ, въ 9 томахъ (1842—1855), до Яна-Казиміра.

Въ маленькомъ, по имени вольномъ городѣ Краковѣ, ученый Михаилъ Вишневскій (1794—1865), подъ именемъ исторіи польской литературы, задался мыслью создать цѣлую исторію польской цивилизаціи, довелъ свою работу (въ семи томахъ, 1840—1845; потомъ еще изданы три) до XVII вѣка и представилъ скорѣе собраніе сырыхъ матеріаловъ, нежели органическое цѣлое. Прелестными поэтическими произведеніями прославилъ себя лирикъ Эдмундъ Василевскій (1814—1846), авторъ поэмы „Соборъ на Вавелѣ" и множества краковяковъ, сдѣлавшихся народными.

Галиція подвергалась опытамъ обнѣмеченія, личный составъ администраціи наполнялся Нѣмцами и обнѣмеченными Чехами, въ школахъ преподаваніе было нѣмецкое, нѣмецкимъ былъ университетъ, основанный во Львовѣ въ 1784 Іосифомъ II. Годъ 1817 памятенъ основаніемъ, по пожертвованію ученаго графа Максимиліана Оссолинскаго, „Института имени Оссолинскихъ" во Львовѣ, съ громадною библіотекою, музеемъ и періодическимъ изданіемъ историко-литературнаго содержанія. Въ 1830 году основанъ во Львовѣ журналъ, пробудившій умственную жизнь, *Галичанинъ*, Хлэндовскаго. Между Львовскими поэтами отличались талантомъ: Іосифъ Борковскій, Александръ или Лешекъ Борковскій (Parafiańszczyzna) и Августъ Бѣлёвскій (1806—1876), который началъ съ эпическихъ произведеній въ архаическомъ родѣ, съ перевода Слова о Полку Игоревѣ, а впослѣдствіи прославилъ себя глубоко критическимъ изданіемъ: *Historica Poloniae Monumenta;* и Люціанъ Семенскій (1809—1870), переводчикъ Краледворской рукописи и Одиссеи, поэтъ, новеллистъ и критикъ.

В) Послѣдніе всходы польскаго романтизма на родной почвѣ (1848—1863).

Роль польскаго выходства кончилась съ 1848 г.: обнаружилась полная несостоятельность его затѣй; національныя стремленія, на которыхъ предполагалось перестроить Европу, если и прорывались, то не выросло, однако, ни одно новое государство на чисто-національномъ корню; напротивъ того, старыя державы, какъ Австрія, давно обрекаемыя на сломку, обновились и зажили бодрѣе и здоровѣе прежняго. Галиційскія событія 1846 г. и торжество реакціи послѣ 1848, пронеслись какъ безплодныя предостереженія. Убѣжденіе въ цѣлесообразности употреблявшихся средствъ было, правда, разрушено; отъ европейской передряги 1848 остались утомленіе и желаніе спокойно пользоваться настоящимъ,—но самыя цѣли и идеалы оставались тѣ же, какими ихъ поставила литература выходства начала сороковыхъ годовъ,

съ призраками старыхъ границъ и надеждами на реставрацію когда-нибудь при болѣе удобныхъ обстоятельствахъ. Идеи были тѣ же, старыя, повторяющіяся; онѣ сдѣлались мельче, но не стали чрезъ то положительнѣе; высокій полетъ романтизма въ его первыхъ годахъ отсутствуетъ; титановъ, вызывающихъ весь свѣтъ и Бога на бой—больше нѣтъ, за то изъ всѣхъ элементовъ польскаго романтизма выдвинулся и получилъ преобладающее значеніе, въ ущербъ остальнымъ, тотъ, который занималъ въ первоначальномъ романтизмѣ далеко не главное мѣсто („Панъ Тадеушъ" и „Воспоминанія Соплицы"), а именно *старо-шляхетскій эпосъ*, воспроизведеніе безъ устали, весьма яркое и талантливое, и пережевываніе, такъ сказать, вновь воспоминаній сошедшей въ могилу старины. Вездѣ и въ западной Европѣ появился историческій романъ, какъ любимая отрасль литературы (Вальтеръ-Скоттъ), но нигдѣ онъ не занималъ такого мѣста, нигдѣ онъ не господствовалъ такъ исключительно и продолжительно, нигдѣ это господство не отозвалось такими тяжелыми послѣдствіями, точно *febris recurrens*, отъ котораго и понынѣ приходится порою пользоваться дозами хинина. Между тѣмъ, нѣтъ ничего естественнѣе и проще этого явленія. Послѣ великаго крушенія въ концѣ XVIII в., Поляки очутились въ условіяхъ быта діаметрально противоположныхъ прежнимъ, точно въ новой несвойственной имъ общественной стихіи. Всякій организмъ, а слѣдовательно и національность, при перемѣнахъ среды, долженъ либо приноровиться къ ней, развивъ въ себѣ новыя привычки дѣйствія и отвыкнувъ отъ прежнихъ, не соотвѣтствующихъ новымъ условіямъ быта, либо погибнуть. Приспособленіе къ новой средѣ совершается не вдругъ; оно сопровождается болѣзненными для отбывающаго этотъ опытъ ощущеніями и занимаетъ періодъ времени болѣе или менѣе продолжительный, смотря по тому, какъ относится къ національности заключившая ее среда, содѣйствуетъ ли она тому, чтобы національность распускалась или чтобы она еще сильнѣе сплачивалась въ своихъ первобытныхъ кристаллахъ; иными словами: предполагаетъ ли среда ассимилировать себѣ народъ, денаціонализируя его предварительно или вовсе не денаціонализируя, а только прикрѣпляя его къ себѣ политически. Въ Пруссіи выполняема была послѣдовательно система денаціонализаціи, но легальными средствами и на почвѣ формальной равноправности Поляковъ съ коренными подданными. Въ Австріи до 1848 господствовала система обнѣмеченія и только въ 1859 избрана совершенно противоположная. Въ Россіи до 1830 г. данъ былъ просторъ развитію національности, но послѣ 1830 г. наступилъ естественный поворотъ въ противоположномъ направленіи, причемъ оказываемо было предпочтеніе не новымъ, свѣжимъ демократическимъ элементамъ, но старымъ партіямъ, аристократіи и клерикализму (примѣръ Ржевускаго),

имѣющимъ корни только въ прошедшемъ и всего болѣе противнымъ процессу приспособленія національности къ новой средѣ и, само собою разумѣется, освобожденію крестьянъ. Обреките людей, очутившихся въ новой средѣ, на практическое бездѣйствіе, — и мысли ихъ будутъ неудержимо переноситься въ потерянный рай, въ прошлое счастіе, а люди прошедшаго будутъ имъ казаться героями силы и доблести въ сравненіи съ измельчавшимъ и въ карликовъ превратившимся потомствомъ,—породою, имѣющею ростъ сверхъестественный, размѣры эпическіе; даже дурное покажется хорошимъ, лишь бы оно было характерное. Юлій Словацкій, который самъ былъ не прочь переноситься въ прошлое, съ геніальнымъ предвидѣніемъ угадалъ вредныя послѣдствія апоѳеоза прошлаго и въ „Гробницѣ Агамемнона" совѣтовалъ скинуть эту жгучую рубаху Деяниры, кунтушъ красный, да золотой поясъ старо-шляхетскій, и восхищаться лучше общечеловѣческимъ, чѣмъ старошляхетскимъ. Его не слушали, съ любовью и предпочтеніемъ воспѣвались кунтушъ и конфедератка, удалыя попойки и шумные сеймики. Во главѣ поэтовъ, поставившихъ себѣ задачею поклоненіе великому и святому прошлому, стоятъ два даровитые поэта: Викентій Поль [1]) и Людвигъ Кондратовичъ, изъ коихъ только первый остается вѣренъ своей задачѣ, а лирика второго, сама того не замѣчая, даетъ отвѣтъ на иные, вполнѣ новые современные мотивы. Романъ историческій нашелъ замѣчательнаго представителя въ Сигизмундѣ Качковскомъ; романъ современный разработывали съ успѣхомъ Іосифъ Корженіовскій и Крашевскій. Если къ этимъ пяти именамъ прибавимъ шестое, историка-художника Карла Шайнохи, то эти шесть именъ изображаютъ собою всю суть умственнаго движенія въ области поэтическаго творчества въ переходную, изображаемую нами, эпоху отцвѣтающаго романтизма, съ чуть-чуть замѣтными вѣяніями другого, болѣе положительнаго направленія.

Отецъ поэта Викентія Поля былъ Вармієцъ родомъ, кончившій науки въ Краковской академіи, сдѣлавшійся потомъ австрійскимъ чиновникомъ въ Галиціи. Онъ подписывался *Poll*, женился на львовской мѣщанкѣ Элеонорѣ Лоншанъ (Longchamp), служилъ по судебной части и былъ возведенъ 1815 за заслуги въ дворянство съ титломъ *von Pollenburg*. Викентій Поль родился 20 апрѣля 1807 г. въ Люблинѣ, воспитывался во Львовѣ въ родительскомъ полу-нѣмецкомъ домѣ и изъ воспитанія вынесъ основательное знаніе нѣмецкой и польской литературы, такъ что когда 1825 г. отецъ умеръ и семейныя дѣла разстроились, молодой Поль отправился въ 1830 г. въ Вильно

[1]) Мои лекціи о Полѣ въ Ateneum 1878, апрѣль; Dzieła Wincentego Pola, въ восьми томахъ, Львовъ, 1875—1877.

искать каѳедры нѣмецкой словесности и опредѣленъ въ университетъ заступающимъ мѣсто лектора по этой каѳедрѣ, которую занималъ впрочемъ не долго, потому что уже въ началѣ 1831 г. мы видимъ его въ повстанскихъ рядахъ, потомъ выходцемъ въ Дрезденѣ. Въ Вильнѣ, которое было гнѣздомъ польскаго романтизма, Поль проникся духомъ этого направленія; въ 1832 году онъ встрѣтился съ Адамомъ Мицкевичемъ и съ Клавдіею Потоцкою. Въ его замѣткахъ подъ 1832 г. записано: „я сталъ писать пѣсни по поводу А. Мицкевича и по вдохновенію отъ Клавдіи Потоцкой". Эти пѣсни, которые были одобрены Мицкевичемъ, изданы въ Парижѣ въ 1833 г. подъ заглавіемъ *Pieśni Janusza*, съ перваго же разу покрыли пѣвца громкою славою, всѣмъ понравились, по своей бойкости, по своему ухарству и превосходной пластикѣ. Онѣ закопчены, такъ сказать, пороховымъ дымомъ сраженій. Янушъ—не мудрый философъ, онъ рубитъ съ плеча, вся бѣда, по его мнѣнію, та, что рубили мало, что господа штабные нѣжились и занимались гастрономіей въ лагерѣ (Gawęda Dorosza), что знатные люди вели переговоры; онъ вполнѣ революціонеръ, для него всѣ средства хороши, даже и кровавыя, онъ бы скоро расправился съ панами, онъ мечтаетъ только о грядущемъ великомъ человѣкѣ, „который мечомъ святаго палача выточитъ цѣлое море крови"; сама пѣсня потому только годится, что она тоже боевое орудіе и иногда замѣняетъ стрѣлы. Въ концѣ 1832 года Поль пробрался въ Галицію, въ 1834 г. посѣтилъ впервые Краковъ, въ 1835 г. изучилъ (послѣ Гощинскаго) Татры и красивое племя польскихъ горцевъ и нашелъ друга и покровителя въ лицѣ Ксаверія Красицкаго, который, чтобы спасти его отъ преслѣдованій австрійской полиціи, поселилъ его въ одномъ изъ горскихъ своихъ помѣстій Каленицѣ (1837). Незадолго предъ тѣмъ Поль, сблизившись съ профессоромъ Іосифомъ Кремеромъ во время бытности послѣдняго въ горахъ, введенъ былъ Кремеромъ въ лабиринтъ Гегелевой философіи („со времени знакомства съ Кремеромъ наладилось немного въ моей головѣ", говоритъ онъ), а въ 1837 женился на Корнеліи Ольшевской, съ которой былъ помолвленъ еще передъ отъѣздомъ въ Вильно, въ 1827 году. Онъ сталъ съ усидчивостью чисто нѣмецкою заниматься географіей. Къ этому періоду относятся прелестныя по формѣ и лучшія, можетъ быть, изъ всего, чтó написалъ Поль, „Картины изъ жизни и путешествій" (Obrazy z życia i podróży), напечатанныя, впрочемъ, только въ 1847 г. Повстанецъ очутился въ горахъ среди дикой, величавой природы, которая какъ нельзя больше соотвѣтствуетъ его собственной натурѣ, суровой, малоподвижной, любящей высокое, грандіозное, и хотя сочувствующей маленькимъ, которые сильны числомъ, потому что ихъ много и довольствуются немногимъ, но предпочитающей въ сущности страданія и

одиночество на высотахъ бытія, гдѣ дышется свободнѣе. Повстанецъ влюбился въ горскую дивчину, снискалъ расположеніе степенныхъ газдовъ-хозяевъ, и побратался съ юхасами-пастухами, которые сообщили ему прекрасныя горскія сказанія, но остаться среди этого красиваго горскаго люда не можетъ. Его влекутъ назадъ въ солнцемъ залитыя равнины воспоминанія, его манятъ къ себѣ башни Маріацкой церкви Кракова и ширь необъятная страны, съ народомъ, который когда-то самъ управлялся и судился. Про эту широкую страну золотыхъ пашенъ и дремучихъ лѣсовъ, скатертью распростершуюся отъ Балтики и до Чернаго моря, можно написать нѣчто еще болѣе сильное, нежели про Татранскія выси. Таково начало „Пѣсни о нашей землѣ" (1843), наиболѣе популярнаго изъ всѣхъ произведеній Поля, и что̀ всего страннѣе, наименѣе выдерживающаго эстетическую критику, потому что эта пѣсня не что иное, какъ трактатъ географіи въ 12 стахъ стихахъ, слѣдовательно, вещь уже по замыслу крайне не поэтичная. Поль не могъ стать великимъ поэтомъ, потому что у него не хватало широкихъ замысловъ поэтическихъ; когда онъ задумывалъ нѣчто болѣе сложное, чѣмъ простой разсказъ или лирическій порывъ чувства, то въ умѣ его являлась какая-нибудь сухая и неподвижная логическая схема съ перегородками (какъ у Клёновича), которую онъ брался потомъ описывать по всѣмъ правиламъ старомоднаго искусства, уже справедливо осужденнаго въ „Лаокоонѣ" Лессинга, наполняя кропотливо клѣточку за клѣточкой. Несмотря на коренной порокъ въ основѣ, картинки хороши и притомъ не столько картинки природы, сколько племенныхъ разновидностей народовъ, населяющихъ эти пространства: онѣ бойко и размашисто очерчены, съ намеками на будущее, съ патріотическими мечтаніями о силахъ, скрытыхъ въ этихъ массахъ, которыя проявятся, когда настанетъ пора историческаго дѣйствія. И гаданія, и мечтанія тѣмъ сильнѣе дѣйствовали, что были самыя розовыя, самыя неопредѣленныя и дешевыя. Поэту жилось хорошо въ томъ укромномъ уголку Каленицѣ, гдѣ онъ, благодаря Ксаверію Красицкому, могъ вести жизнь, похожую на жизнь Яна Кохановскаго въ Чернолѣсѣ. Онъ примиряетъ противоположности жизни, не разрѣшая ихъ и даже не чувствуя, что онѣ существуютъ; онъ и демократъ, увѣренный въ томъ, что будущее возникнетъ на плечахъ простонародья и будетъ держаться мужицкимъ умомъ, но и шляхту онъ обожаетъ и ублажаетъ, и хотя порою прорываются рѣзкія осужденія спѣсивыхъ пановъ волынскихъ, плантаторовъ, полупановъ подольскихъ, то они являются какъ мѣстныя изъятья, какъ тѣни на идиллической картинѣ райскаго счастья, которыми бы могли восхищаться всласть даже и крѣпостники, до того любовь къ простонародью была далекая отъ дѣла,—платоническая. Столь же идиллически стройно слагалась

и обще-славянская картина у Поля, единственнаго изъ современныхъ ему польскихъ поэтовъ сороковыхъ годовъ, который оказался воспріимчивымъ сверхъ національной польской еще и къ обще-славянской идеѣ. Обѣ идилліи были безпочвенны и разлетѣлись при первомъ суровомъ урокѣ, данномъ дѣйствительностью: политико-соціальная — событіями въ Галиціи въ 1846 г., славянская — насильственнымъ разогнаніемъ славянскаго съѣзда въ Прагѣ, въ 1848, по распоряженію Виндишгреца. Оба удара были жестоки, въ особенности первый ранилъ поэта до глубины души. Въ февралѣ 1846 г. Поль, противодѣйствовавшій всѣми силами затѣямъ польскихъ революціонеровъ и собиравшійся съ семьею во Львовъ, подвергся въ селѣ Полянкѣ нападенію вооруженныхъ по призыву австрійской администраціи крестьянъ. Его истязали привязавъ къ дереву, жену его ранили топоромъ, затѣмъ ихъ доставили подъ стражею во Львовъ, гдѣ Поль подвергся продолжительному заключенію; все его состояніе разстроилось. Революція 1848 г. опять мелькнула лучомъ надежды, Поль привѣтствовалъ всеславянское вѣче въ Прагѣ стихотвореніемъ: Słowo i sława, которое не было въ то время напечатано и составляетъ любопытный, и рѣдкій въ польской литературѣ, памятникъ фантазій на тему объединеннаго Славянства. Въ немъ то же, какъ у славянофиловъ московскихъ, убѣжденіе о гнилости запада, о его суемудріи, но объединеніе происходитъ все-таки на римско-католическомъ корню въ утопическихъ формахъ какого-то патріархально-вѣчевого уклада, которыя, по преданіямъ, были будто бы присущи Славянству еще въ до-историческомъ его быту, пока Славянъ не коснулось порабощающее оружіе западнаго кесаря. Въ 1849 г. Поль получилъ мѣсто профессора географіи въ Краковскомъ университетѣ, которое онъ занималъ не долго, до отставки, данной при министрѣ просвѣщенія Львѣ Тунѣ, четыремъ профессорамъ университета, а въ томъ числѣ и Полю, на новый годъ 1853, послѣ чего въ 1854 г. введено преподаваніе въ университетѣ на нѣмецкомъ языкѣ. При оставленіи имъ Краковскаго университета Поль уже былъ весьма популяренъ и славенъ своими новыми произведеніями, которыя глубоко отличались отъ всего прежде имъ писаннаго и отражали новое направленіе общества назадъ, къ старымъ идеаламъ. Онъ и самъ глубоко измѣнился; перемѣна заключалась въ слѣдующемъ.

Поль былъ человѣкъ сердечный, воображавшій себя вождемъ общества, между тѣмъ, какъ его всегда несла на себѣ волна событій. Простому народу, обошедшемуся съ нимъ грубо въ Полянкѣ, онъ того по смерть не забылъ; весь его демократизмъ разомъ пропалъ, улетучился. Онъ сдѣлался ярымъ консерваторомъ, который съ тѣхъ поръ будетъ считать благоразумнымъ только того, „кто и то дѣлаетъ и о томъ радѣетъ, что̀ на него пришло отъ отца и дѣда, и знаемымъ путемъ ве-

детъ лошадь; и тамъ сидитъ, гдѣ они сидѣли" (V, 35). Народные типы, которыми обиловали пѣсни Януша, „о нашей землѣ" и татранскія, совсѣмъ почти перевелись и находятъ милость въ его глазахъ только когда являются въ видѣ совершенно ручныхъ, одомашненныхъ и привыкшихъ къ послушанію. Лирическая струна точно оборвалась и замолкаетъ, Поль становится почти исключительно эпикомъ, изобрѣтаетъ новый родъ повѣствованія, „шляхетскую розсказню или *гавенду*", въ старомъ стилѣ съ нравоученіемъ, которое клонится къ тому, что свято то, что̀ старо, и что надо преклоняться предъ авторитетомъ и поддерживаніемъ вѣры народной и преданій, противодѣйствовать разрушительному вліянію отрицательныхъ идей нашего вѣка,—о которомъ онъ имѣлъ самое мрачное понятіе и въ которомъ усматривалъ черты, свойственныя подходящимъ, по предсказанію, временамъ Антихриста. При такомъ настроеніи воспроизведеніе старины тенденціозно, оно не можетъ быть правдиво, художникъ приступаетъ къ нему съ піэтетомъ, крестясь и молясь, и можно было бы предположить, что часть этого благоговѣйнаго чувства перейдетъ въ читателя. Выходитъ совсѣмъ противное; изображенное хотя и правдиво, но дико, а порою гадко, мало того—высокая мораль правоученій почти вездѣ въ явной враждѣ съ иллюстраціями, т.-е. отдѣльными картинками разсказа. Рядъ этихъ картинъ начинается съ *трилогіи*, озаглавленной „Записки Бенедикта Винницкаго" (старый бывалый человѣкъ, котораго заслушивался Поль, когда былъ еще мальчикомъ и учился въ Тарнополѣ). Первая часть, „Приключенія молодости" (Przygody młodości), написана раньше и напечатана 1840 въ Львовѣ; она содержитъ похвальное слово ременной плеткѣ, которою убогій мелкопомѣстный шляхтичъ-отецъ выпоролъ своего уже взрослаго сына, возвращающагося со службы на распутныхъ дворахъ высокихъ баръ, за неснятіе шапки предъ крестомъ въ полѣ и за недостаточно низкій поклонъ родителю. Вторая часть, „Сенаторская мировая" (Senatorska Zgoda, 1852), старается доказать устойчивость общественнаго порядка въ Польшѣ тѣмъ, что когда въ землѣ Саноцкой пошла рознь изъ-за пустяковъ, потому что повздорили два столба земли: Баль и Мнишехъ, то епископъ Вармійскій, извѣстный Игнатій Красицкій, по званію сенаторъ, помирилъ враговъ остроумною выходкою, заставившею ихъ послѣ крѣпкой выпивки облобызаться. Третья часть, „Сеймикъ въ Судебной Висни" (1853), представляетъ ужасающій образъ парламентскихъ нравовъ Польши наканунѣ ея паденія, пьяныя толпы шляхты, которыя предъ выборами задобриваются угощеніемъ со стороны соискателей мѣстъ; видны одни подвохи и интриги, въ концѣ концовъ добытыя сабли въ церкви, гдѣ происходитъ собраніе; дѣло кончилось бы рѣзнею, если бы не пришла духовенству мысль явиться съ святыми дарами въ

окровавленной уже церкви и прекратить междоусобіе, что̀ предлагается Полемъ какъ назидательный для настоящаго времени примѣръ того, что людей прошлаго иногда обуздывала и смягчала религія. Несмотря на господствовавшую тогда моду на гавенды, репутація Поля немного пошатнулась послѣ Трилогіи во мнѣніи людей, болѣе разсудительныхъ. Онъ старался ее поправить издавъ въ 1855 году еще раньше готоваго „Мохорта“, лучшее изъ своихъ произведеній въ эпическомъ родѣ. Мы переносимся во времена короля Понятовскаго. Въ то время, когда все разлагается внутри государства, послѣднія преданія солдатской дисциплины хранятся въ пограничныхъ полкахъ или хоругвяхъ украинскаго рубежа, расположенныхъ по Синюхѣ и Роси отъ Буга до Днѣпра, несущихъ службу тяжелую и опасную при малыхъ средствахъ, какія могла имъ дать Рѣчь-Посполитая. Мохортъ, Литвинъ и уніатъ. поручикъ въ одной изъ такихъ хоругвей, человѣкъ древній, кожа да кости, храбрый и честный, какъ паладины Карла Великаго или рыцари Круглаго стола, почти превратившійся въ камень отъ лѣтъ, сросшійся со степью, но движущійся съ автоматическою правильностью заведенныхъ часовъ. Къ нему король шлетъ для подготовки въ строю своего племянника, знаменитаго впослѣдствіи князя Іосифа Понятовскаго, а потомъ жалуетъ его крестомъ, чиномъ ротмистра и слободою, но Мохортъ отклоняетъ эти дары: крестъ онъ получилъ при крещеніи, не желаетъ покидать своей хоругви, а что̀ касается до земли, то ея немного потребуется на могилу. Подходитъ конецъ Рѣчи-Посполитой, войска подъ начальствомъ Іосифа Понятовскаго (1792), отступаютъ предъ Русскими, авангардъ ведетъ Костюшко, въ аріергардѣ Мохортъ подъ Борышковцами спасаетъ отступающихъ при переходѣ чрезъ плотину, но и самъ гибнетъ, исполняя долгъ воина. Красивѣйшія воспоминанія прошедшаго вплетены въ разсказъ о Мохортѣ, но Мохортъ самъ по себѣ—лицо не эпическое; онъ какой-то ископаемый человѣкъ, движущійся какъ машина по заведенному порядку. Поль обнаружилъ великій талантъ въ живописаніи степной природы, точное знаніе подробностей, но эти описанія и эти эпизоды до того разрастаются, до того заслоняютъ главную основу разсказа, что самъ разсказъ кажется только сѣткою, придуманною для расположенія въ клѣткахъ этой сѣти подробностей, и что разсказчикъ изъ поэта превращается въ археолога-антикварія, разставившаго въ своемъ произведеніи, какъ въ музеѣ, разныя рѣдкости и курьезы и останавливающагося съ подобострастіемъ на каждомъ изъ нихъ. Такой же характеръ художественнаго музея средневѣковой архитектуры и скульптуры имѣетъ поэма „Витъ Ствошъ“ (писано въ 1853), посвященная скульптору конца XV и начала XVI вѣка, котораго Нѣмцы себѣ присвоиваютъ подъ именемъ Вейтъ Штоса и изъ-за котораго и

донынѣ спорятъ Краковъ съ Нюрнбергомъ, потому что и въ томъ и въ другомъ мѣстѣ онъ прославилъ себя великими произведеніями искусства въ средневѣковомъ стилѣ, котораго еще не коснулись лучи возрожденія. Украсивъ соборъ на Вавелѣ гробницею короля Казиміра Ягелона, а алтарь церкви (Св. Маріи) рѣзною работою, Ствошъ переселился въ Нюрнбергъ; здѣсь на старости лѣтъ его судили за подлогъ и клеймили, послѣ чего онъ ослѣпъ. Поэтъ легко могъ превращать Ствоша въ безвиннаго страдальца, осужденнаго по ложнымъ доносамъ завистниковъ. Онъ представилъ въ лицѣ Ствоша образецъ не только средневѣковаго артиста, но художника всѣхъ временъ, который долженъ вдохновляться только идеалами вѣры и не выводить искусства за предѣлы церковной традиціи и котораго судьба покарала за то, что онъ не обладалъ достаточнымъ смиреніемъ и возгордился своимъ талантомъ. Въ томъ же архаическомъ стилѣ, съ тѣми же тенденціями писаны еще многія произведенія послѣ изданія „Вита Ствоша (1857) вплоть до смерти автора, ослѣпшаго подъ конецъ жизни и скончавшагося въ Краковѣ 2 декабря 1872 года,—произведенія растянутыя и отмѣченныя признаками слабѣющаго съ лѣтами дарованія. Сюда относятся: Stryjanka (изд. 1861), „Гетмановъ отрокъ“ (Pachole Hetmańskie, 1862), „Рапсодія изъ вѣнскаго похода Собѣскаго“ (1865), „Календарь охотника“ (1870), „Кисляцкій староста“ и драма „Наводненіе“, изданныя уже по смерти автора. Въ этихъ сказаніяхъ—съ моралью чрезвычайно узкою (напр. легенда Czarna Krówka, 1854), съ стремленіями явно ретроградными, съ самымъ отрицательнымъ отношеніемъ къ разуму и его усиліямъ, нѣтъ уже почти ничего общаго съ юношескими, пылкими, отважными пѣснями Януша или съ бойкою „Исторіею сапожника Яна Килинскаго“, 1843. Въ польской литературѣ Поль занимаетъ такое же мѣсто, какое въ русской занимаютъ крайніе люди славянофильскаго лагеря. Кругъ его понятій не выходитъ за предѣлы его народности и вѣры, которой онъ вовсе не отдѣлялъ отъ народности; въ своей привязанности къ одной и къ другой онъ доходитъ до шовинизма, соединеннаго съ осужденіемъ иностраннаго, съ непризнаваніемъ ничего обще-человѣческаго. Горькія неудачи въ жизни выбросили его изъ колеи, толкнули въ средніе вѣка, въ которыхъ онъ съ тѣхъ поръ и поселился мысленно, не ожидая ничего отъ будущаго и въ убѣжденіи, что лучшее уже прошло. Косный обскурантизмъ Поля имѣлъ самое невыгодное вліяніе на современниковъ, которое уже теперь значительно ослабѣваетъ. Любовь къ старинѣ похвальна вообще; въ эпоху, которую мы описываемъ, она доходила, по изложеннымъ нами основаніямъ, до односторонняго поклоненія прошедшему, какъ святынѣ, — но даже и это поклоненіе не исключало возможности быть прогрессивнымъ, содѣйствовать успѣху идей, пре-

обладающихъ въ общемъ теченіи нашего вѣка, готовить преуспѣяніе массъ, содѣйствовать ихъ просвѣщенію и саморазвитію. Эту возможность союза старыхъ національныхъ преданій съ демократизмомъ и духомъ вѣка доказалъ практически современникъ Поля, цѣнимый въ свое время нисколько не ниже послѣдняго, а нынѣ занимающій еще гораздо болѣе высокое положеніе, литовскій поэтъ Людвигъ Кондратовичъ, болѣе извѣстный подъ псевдонимомъ Владислава Сырокомли.

Людвигъ-Владиславъ Кондратовичъ герба Сырокомля [1]) родился 17 сентября 1823 г. въ Минской губ. и былъ сынъ весьма мелкаго и убогаго человѣка, когда-то землемѣра, потомъ арендатора въ радзивиловскихъ имѣніяхъ. Начатое въ училищѣ у отцовъ доминиканъ въ Несвижѣ школьное образованіе его кончилось въ 5 классѣ уѣзднаго училища въ Новогрудкѣ, послѣ чего отецъ, убѣдившись въ малой способности сынка къ хозяйству, помѣстилъ его въ 1842 г. писцомъ въ канцелярію главнаго управленія радзивиловскими имѣніями въ Несвижѣ. Молодой канцеляристъ былъ робокъ, неуклюжъ, но остроуменъ и веселъ, кропалъ стихи съ необычайною легкостью, заслужилъ любовь товарищей, влюбился въ столь же бѣдную, какъ онъ, дѣвицу Митрашевскую, женился, получилъ въ арендное содержаніе маленькое радзивиловское имѣніе надъ Нѣманомъ, Залучье, и зажилъ поссессоромъ или арендаторомъ на самомъ крошечномъ помѣстьѣ съ женою, а вскорѣ и съ дѣтьми, которыхъ народилось пятеро. Казалось, что этотъ человѣкъ окончательно похороненъ въ глухомъ уголку и что нѣтъ возможности для него развиться и образоваться до того, чтобы стать вліятельнымъ лицомъ въ литературѣ, на поприщѣ, требующемъ продолжительной и глубокой подготовки. Однако это невѣроятное совершилось: въ девять лѣтъ пребыванія въ Залучьѣ (1844—1853) Кондратовичъ успѣлъ при самыхъ скудныхъ средствахъ развить себя и доставить себѣ образованіе если не обширное и не полное, то въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ солидное. Отъ доминиканъ еще онъ выучился полатыни; женясь, получилъ въ видѣ свадебнаго подарка отъ друзей „Исторію литературы“ Вишневскаго. Ученые и образованные люди въ радзивиловскомъ главномъ управленіи пріохотили его переводить стихами латино-польскихъ поэтовъ XV вѣка вплоть до Сарбѣвскаго; ему предложили участіе въ предпріятіи, затѣянномъ книгопродавцемъ М. О.

---

[1]) Мои статьи въ Ateneum 1876, № 1 и 3: Nowe studyum nad Syrokomlą. Poezye, wydanie na rzecz wdowy, t. 10, Warszawa, 1872; L. K., Dzieje literatury w Polsce, 2 t. Wilno, 1851—54.

— J. I. Kraszewski, Władysław Syrokomla. Warszawa, 1863.

— Tyszyński, Kondratowicz i jego poezye, въ Biblioteka Warszawska 1872, августъ и сентябрь.

Избранныя стихотворенія Людвига Кондратовича. Москва. Изданіе Лаврова и Өедотова, т. I, 1879. Статья И. Аксакова въ № 1 «Русской Мысли» 1880.

Вольфомъ переводить латино-польскихъ историковъ. Такимъ образомъ Польшу, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, онъ узналъ какъ ее не многіе знаютъ—по источникамъ. Объ общемъ смыслѣ всемірной исторіи и о движеніи идей въ современномъ обществѣ, онъ узнавалъ изъ коекакихъ книжекъ и отъ друзей студентовъ, которые изъ разныхъ университетовъ съѣзжались на каникулы и возмущали спокойствіе глухого уголка ожесточенными спорами. „Голова трещитъ, — пишетъ онъ въ 1851,—отъ прогрессивныхъ криковъ, мысль разбивается, не могу сосредоточиться". Вскорѣ потомъ онъ посѣтилъ Вильно и пишетъ: „я не понималъ, какая у насъ господствуетъ борьба понятій. Obstupui. Одни съ крестомъ въ рукахъ отсылаютъ въ адъ всякій раціонализмъ, называютъ всякую любознательность дѣломъ діавольской гордыни. Другіе, славословя прогрессъ и братство, плюютъ на вѣру, преданіе, на все, что́ дорого и свято. Христосъ на устахъ, но христовой любви къ людямъ, ей-Богу, я не нашелъ.—Хотѣлъ я поселиться въ Вильнѣ, теперь вижу, что хотя бы я и получилъ отъ того умственную пользу, но сердце мое высохло бы въ порошокъ. — Я вовсе не діалектикъ". Несмотря однако на его отвращеніе къ спорамъ, обстоятельства заставили его переселиться въ Вильно и жить въ атмосферѣ, преисполненной дрязгами, нареканіями и сплетнями. Его переводы латино-польскихъ поэтовъ, помѣщенные въ „Атенеѣ" Крашевскаго, были одобрены, его первыя *гавенды* или разсказы сильно понравились, книгопродавецъ Вольфъ купилъ первое изъ его большихъ произведеній: *Urodzony Jan Dęborog* (изд. въ Петербургѣ, 1859), свезъ его познакомить съ Крашевскимъ, проживавшимъ на Волыни. Въ Вильнѣ Кондратовичъ могъ получать книги и совѣты отъ интересовавшагося его развитіемъ историка Николая Малиновскаго, и отъ того кружка людей просвѣщенныхъ и ученыхъ, которые удерживали за Вильномъ значеніе одного изъ центровъ умственной дѣятельности. Друзья устроили Кондратовича; въ аренду взято для него верстахъ въ 14 отъ Вильна помѣстье Борейковщизна гр. Тышкевича, гдѣ онъ могъ продолжать вести любимую сельскую жизнь, но и сообщаться ежедневно почти съ городомъ. Но Борейковщизна была слишкомъ близко отъ города, поэта наѣзжали и объѣдали знакомые, отнимая у него самую дорогую вещь—время. Городъ исполненъ былъ соблазновъ, Кондратовичъ полюбилъ веселую безцеремонную компанію изъ литераторовъ и актеровъ, кутилъ, не былъ прочь и выпить, связался съ замужнею женщиною, бывшею актрисою, оставляя жену и дѣтей. Свои произведенія онъ продавалъ издателямъ, бо́льшею частью виленскимъ евреямъ-книгопродавцамъ, какъ продаютъ хлѣбъ плохіе землевладѣльцы еще на корню. Случалось, что въ минуты, когда представленія его театральныхъ пьесъ („Касперъ Карлинскій", представл. въ Вильнѣ, январь, 1858) вызывали всеобщій энтузіазмъ и

публика его носила такъ-сказать на рукахъ, онъ стыдился признаться, что ему было не на что изготовить обѣдъ. Кондратовичъ нѣсколько разъ ѣздилъ въ Варшаву, въ 1858 собрался въ Гнѣзно и Краковъ, но вывезенныя имъ оттуда впечатлѣнія мало имѣли интереснаго и немного доставили матеріала для его поэзіи. Умственная работа сверхъ силъ и излишества истощили его организмъ и породили сложную неизлечимую болѣзнь, быстро сводившую его въ могилу. Въ срединѣ 1859 онъ писалъ: *solum mihi superest sepulchrum.* Съ тѣхъ поръ, до смерти, послѣдовавшей въ Вильнѣ 1862, 15 октября, при полномъ сознаніи о близящемся концѣ, среди невыносимыхъ страданій и при полномъ недостаткѣ средствъ на первыя потребности (только послѣ смерти Кондратовича, дворянство юго-западныхъ губ. сложилось на обезпеченіе семейства его и издало въ пользу вдовы и дѣтей полное собраніе его стихотвореній съ предисловіемъ ученика его, Викентія Коротынскаго)—Кондратовичъ писалъ прелестнѣйшія вещи, блестящія полною свѣжестью и силою таланта: *Cupio dissolvi*, юмористическія мелодіи изъ дома сумасшедшихъ съ забавнымъ описаніемъ своихъ же похоронъ; *Смерть соловья* [1]); *Овидій въ Польсьѣ.*

Кондратовичъ—послѣдній поэтъ литовской школы, созданной Мицкевичемъ, заканчивающій ее достойнымъ образомъ; полетъ его невысокъ, кругъ идей его маленькій, но онъ настоящій нѣманскій соловей, пѣвецъ съ огнемъ вдохновенія, съ глубокимъ искреннимъ чувствомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ съ необычайною простотою, чуждающеюся всего ходульнаго. Отъ великихъ и славныхъ своихъ предшественниковъ Кондратовичъ отличается тѣмъ, что онъ несравненно ближе ихъ стоитъ къ своей публикѣ, что онъ ставитъ себѣ задачею быть не только народнымъ, но и простонароднымъ писателемъ, что онъ умѣетъ изображать немногое и то только обыденное, но за то съ такою хватающею за душу правдивостью, которая его дѣлаетъ другомъ и учителемъ мелкихъ людей и простачковъ. „Когда я берусь за карандашъ,— пишетъ онъ,—и не зная, что изобразить, ставлю черточки, то всегда выйдетъ у меня либо литовская хата, либо сельская церковь, либо литовскій дворикъ. Ничего иного не могу я чертить,—только то, что̀ возлюбилъ всею силою души; я бы и хотѣлъ научиться иному, хотѣлъ бы писать барскія хоромы, но всякій разъ карандашъ ломается" (VII, 220). Такъ какъ громадному поэтическому дарованію Кондратовича не соотвѣтствовало его школьное образованіе, то вслѣдствіе этого несоотвѣтствія произведенія Кондратовича имѣютъ весьма неравное достоинство и наименѣе цѣнны именно тѣ, на которыя онъ потратилъ наиболѣе вре-

[1]) «Въ шумной улицѣ подъ крышею душнаго жилья злыя руки посадили въ клѣтку соловья... Пѣсню звонкую защелкалъ узникъ соловей и, какъ будто въ бой вступая съ шумомъ городскимъ, мыслитъ: «я его осилю голосомъ своимъ».

мени и которымъ онъ приписывалъ наибольшее значеніе. Чтобы опредѣлить, какія произведенія его заслуживаютъ особеннаго вниманія, слѣдуетъ вникнуть въ условія, при которыхъ совершалось развитіе дарованія Кондратовича.

Начало дѣятельности Кондратовича совпало съ моментомъ, когда послѣ неудачъ революціонныхъ попытокъ и неосуществленія мечтаній о будущемъ общество погрузилось въ созерцаніе прошедшаго. Кондратовичъ обоготворяетъ это прошлое, отождествляя его съ первыми воспоминаніями дѣтства, съ вѣрою, съ дорогою родиною. „Что ни шагъ въ Литвѣ можно слѣдъ найти событій. Холмъ ли, груда ли развалинъ, крестъ ли при пути, столбъ, часовня или даже постоялый дворъ, все здѣсь—памятникъ старинный и съ давнишнихъ поръ, любопытнаго такъ много о Литвѣ даетъ“ (Dęborog). И извлекать матеріалъ для эпоса не трудно: „подложите подъ микроскопъ души что̀ угодно, головку ли мотылька или людское сердце, слезу текущую съ заплаканныхъ очей или цвѣтокъ, сорванный съ литовскаго поля; разскажите все это совѣстливо и правдиво, блескъ каждой краски, каждое біеніе сердца, движеніе малѣйшаго атома—и пѣсня навѣрное сложится сама собою“ (Kęs chleba, II, 117). Столь же безотчетно, какъ прошлое родины, любитъ онъ и самую родину („Ночлегъ Гетмана“, ч. II):

...„Отчизна! это—домъ твой, хата,
Крыша, подъ которой росъ ты, жилъ когда-то;
Пашня—хлѣбъ насущный твой въ голодный годъ;
Рѣчка, гдѣ ты лѣтомъ плавалъ безъ заботъ.
Это—очи милой, это—другъ сердечный,
Это—наше небо съ далью безконечной,
Тѣнь родного сада, старый дубъ и кленъ
И зовущій въ церковь колокольный звонъ.
Это—домъ твой, воля, сила молодая,
И отца родного борода сѣдая...
Вотъ, что̀ значитъ это слово: край родной,
И въ частицахъ мелкихъ и въ семьѣ одной!...“

Эту привязанность къ родинѣ, почти физическую, Кондратовичъ выразилъ много разъ съ поразительною силою: „Родные луга знаю я по аромату, воду родины могу опознать по вкусу, меня не обманетъ пѣніе иныхъ птицъ, по шуму я отгадаю принѣманскія деревья вѣтеръ принѣманскій различу моими легкими... Хлѣбъ! по твоему вкусу и запаху чую я боровую поляну надъ Нѣманомъ, вижу часовню съ соломенной крышей, слышу звонокъ, звенящій надъ головой“ (Kęs chleba). И къ вѣрѣ своей римско-католической Кондратовичъ былъ привязанъ со стороны религіознаго чувства, которымъ былъ всегда проникнутъ, но не со стороны догмата, котораго онъ никогда не разбиралъ и не касался. По его трезвымъ понятіямъ, род-

никъ чудесъ, простая (kruchciana) вѣра, улетѣла и не гоститъ больше въ христіанскихъ сердцахъ (Studzieński). Для него, вѣротерпимѣйшаго изъ людей, весь смыслъ религіи заключается въ любви къ ближнему. но онъ любитъ изображать вліяніе церковнаго обряда въ наипростѣйшей обстановкѣ, въ убогомъ сельскомъ костелѣ, на души людей смиренныхъ и совершенно простыхъ. Взявъ за исходную точку прославленіе прошедшаго, Кондратовичъ большую часть жизни преслѣдовалъ одну мысль—созданіе великаго эпоса народнаго, но всѣ усилія его въ этомъ направленіи кончались полнѣйшими неудачами. Какъ человѣкъ весьма логическій, онъ заботился о томъ, чтобы подъ событіе была подложена соотвѣтствующая эпоха, а какъ самоучка, онъ эту эпоху дорисовывалъ по учебникамъ, по избитымъ общимъ мѣстамъ, которыя онъ разбавлялъ, парафразируя, и думалъ, что въ этихъ-то общихъ мѣстахъ кроется весь смыслъ исторіи. Идя по стопамъ Мицкевича, Кондратовичъ пытался изобразить въ „Маргерѣ“ (1855) борьбу литовскаго язычества съ орденомъ Тевтонскимъ, но къ характеристикѣ борющихся сторонъ не прибавилось у него ни одной черты, кромѣ имѣвшихся уже у Мицкевича, а дикихъ Литовцевъ онъ надѣлилъ такими свойствами добродушія, мягкосердечія, такими чувствами рыцарственности и чести, что эта героическая поэма, подражаніе въ стилѣ и формахъ „Энеидѣ“ Виргиліевой, является скучнымъ, напыщеннымъ, искусственнымъ произведеніемъ, не выдерживающимъ критики [1]). Не лучше Маргера „Каноникъ Пржемысльскій“ (то-есть Станиславъ Оржеховскій), не конченная поэма, и всѣ вообще большихъ размѣровъ разсказы, въ которыхъ Кондратовичъ важничаетъ, но предметъ оживляется каждый разъ, когда либо въ повѣствованіе входятъ живые простонародные типы, либо когда, слѣдуя сатирическому настроенію, къ которому у него было всегда расположеніе, авторъ звенитъ всѣми бубенчиками шутовской палочки, когда онъ изображаетъ забавныя легендарныя лица: дѣлающаго все не въ попадъ пана Филиппа изъ Коноплей, залѣзающаго къ знатнымъ лицамъ пана Марка, трусливаго рыцаря Белину на форпостѣ. Любимая форма произведеній Сырокомли — та же *гавенда*, которую сдѣлалъ популярною Поль, но разница между обоими гавендистами та, что Поль—поборникъ панства и власти, а Сырокомля—тѣхъ забитыхъ, бѣдныхъ и загнанныхъ, для которыхъ древняя Польша не была раемъ, но которые любили свой край не хуже счастливцевъ и клали за него свои головы. Въ душѣ этого, до мозга костей шляхтича, при всей его добротѣ, таится неизгладимое злопамятство къ тому льстивому спѣсивому магнатству, которое, по его понятіямъ, несетъ и непосредственную отвѣтствен-

---

[1]) Переводъ ея на русскій языкъ въ 1 № „Русской Мысли“, 1880.

ность за паденіе государства. „Пока застѣнковая шляхта, святые мои предки были нужны панамъ на сеймы и боеванія, до тѣхъ поръ паны ласкали насъ, и спаивали и называли насъ: милостивыми братьями“ (Podkowa). „Слишкомъ ты рѣзво рубила и выпивала, о веселая дружина; въ панскихъ бокалахъ остался одинъ осадокъ, горькая желчь съ уксусомъ для убогой братьи. Горе тому, кто не платитъ чинша за пашню, сѣнокосъ, за воду въ прудѣ, за кровъ, за лучъ солнца, за вдыхаемый воздухъ и за росою увлаженный цвѣтокъ“ (Kęs chleba). Нынѣ шляхты въ прежнемъ смыслѣ нѣтъ, сеймиковъ нѣтъ, перемѣнилась бытовая обстановка. Кондратовичъ такимъ обращеніемъ къ застѣночной шляхтѣ кончаетъ свой разсказъ *Подкова:* „вы будете нужны опять, не на сеймикъ съ саблею, но съ перомъ, но съ умомъ. Міръ — широкое поле и хлѣба на немъ много, только надо учиться и трудиться“. — Но при новой обстановкѣ чувства прежнія остались, сердце поэта лежитъ къ человѣку мелкому, бѣдному, къ самобѣднѣйшему, къ простому мужичку. Поэтъ за него страдаетъ; никогда не вмѣшиваясь въ политику, онъ отступаетъ отъ этого правила, онъ становится завзятымъ и желчнымъ сатирикомъ, когда заходитъ рѣчь объ освобожденіи крестьянъ; онъ стыдится своей гербовой печати, въ виду того, что виленскій крестьянскій комитетъ медлитъ заключить объ освобожденіи крестьянъ съ землей (VII, 193); онъ бичуетъ крѣпостниковъ, управляющихъ посредствомъ ременнаго скипетра своими вассалами (VII, 126). Въ стихотвореніи „Кукла“ (I, 191; 1851 г.) онъ заставляетъ дѣвочку рзссуждать: „ты, кукла, не знаешь, что мы— паны, а есть еще иной народъ—хлопы, которымъ Господь-Богъ приказалъ на крѣпко работать на пановъ. Грязные, скверные, пьяные, точно нищіе, въ оборванныхъ зипунахъ, еле двигаются, но сами виноваты, Богъ за то ихъ караетъ, что они не слушаютъ папаши“. За то какъ же радуется поэтъ, когда разсказываетъ про великое событіе—учрежденіе сельской школы (IV, 167). Пѣвецъ простонародья, Кондратовичъ гордится именно тѣмъ, что онъ—сельскій скрипачь или лирникъ, который на сельской пирушкѣ займетъ первое мѣсто, но на пирѣ богатыхъ былъ бы послѣднимъ изъ послѣднихъ и стоялъ бы только у порога (VI, 313: Skrzypak wioskowy). Пѣвецъ—человѣкъ простой, но ревниво бережетъ свою независимость и радѣетъ о томъ, чтобы пѣсня его была въ чести. „Знай, что̀ гордость пѣвца. Я ни предъ кѣмъ не преклоню ни пѣсню, ни голову; гордый сельскій лирникъ, я умру, играя на лирѣ“ (Lirnik wioskowy; VI, 242). По гордому чувству своей независимости Кондратовича превосходитъ только Словацкій; ни предъ кѣмъ онъ не склонилъ ни своей головы, ни лиры, которая по смерти его и донынѣ не нашла подходящаго преемника.

Не только таланты стали, по сравненію съ прежнимъ, односторон-

нѣе и мельче, но и въ преобладанiи и господствѣ родовъ прежней литературы произошла большая перемѣна. Общество не было настолько зрѣло, чтобы находить наслажденiе и чувствовать влеченiе къ чистой наукѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно охладѣло къ высокой поэзiи, къ полету въ область мiровыхъ идей. Стихъ вытѣсняется прозою, а въ прозѣ всего сильнѣе развиваются на счетъ всѣхъ другихъ отраслей литературы образная живописная исторiя — въ лицѣ Шайнохи, и романъ, какъ историческiй, такъ и современный, который нашелъ блистательнаго представителя въ лицѣ Сигизмунда Качковскаго, всего лучше изобразившаго въ своихъ произведенiяхъ духъ боязливой, консервативной эпохи отрезвленiя послѣ вакханалiй романтизма.—Непродолжительно было царствованiе этого романиста, который съ 1851 года, когда появились первыя крупныя его произведенiя, сразу поставленъ былъ публикою неизмѣримо выше Ржевускаго, а послѣ 1861 г. почти совершенно замолкъ, оставивъ послѣ себя пропасть сочиненiй, изъ которыхъ далеко не всѣ нашли себѣ мѣсто въ 11-ти томахъ Варшавскаго изданiя Унгера, 1874—75 [1]). Самъ онъ прошелъ, можно сказать, чрезъ огонь и воду и вынесъ въ полной мѣрѣ революцiонную лихорадку. Родившiйся въ 1826 г., въ одномъ изъ горскихъ ущелiй Саноцкаго округа (у верховьевъ Сана, въ Галицiи), Качковскiй получилъ образованiе почти исключительно литературное, въ 19 лѣтъ уже кончилъ курсъ наукъ во Львовскомъ университетѣ, а на 20-мъ, въ памятномъ 1846 году, уже сидѣлъ съ отцомъ во львовской тюрьмѣ, доставленный туда крестьянами. Отецъ и сынъ были приговорены, какъ демократическiе агитаторы, первый къ 20-ти годамъ каторги, второй къ повѣшенiю. Исполненiю приговора помѣшалъ 1848 г., доставившiй обоимъ свободу. Въ этомъ году Качковскiй ѣздилъ въ Прагу на съѣздъ Славянъ, какъ делегатъ отъ галицiйскихъ Поляковъ; въ 1849 году опять долженъ былъ скрываться послѣ бомбардированiя Львова Гаммерштейномъ, но въ концѣ этого года онъ уже поселился во Львовѣ и превратился въ трудолюбиваго многопроизводящаго писателя. Въ тюрьмѣ произошло превращенiе революцiонера въ консерватора, противнаго не только революцiонному образу дѣйствiя, но и самымъ идеямъ революцiи. Всѣ причины увлеченiй Качковскiй отнесъ прежде всего къ романтизму. „Народъ,— разсуждаетъ онъ (Dziwożona, Epilog),—вступая въ новую фазу жизни предпосылаетъ впередъ свои желанiя, которыхъ блескъ и отражается въ литературѣ. Эта новая поэзiя наша, романтическая, пробудила спавшую душу народа, но кто испилъ до дна эту чашу, испыталъ

---

[1]) Въ 11-мъ томѣ помѣщается бiографiя автора, написанная Викентiемъ Коротынскимъ. См. еще Piotr Chmielowki, Z. Kaczkowski, studium literackie; Niwa, 1876 №№ 45—48.

головокруженіе, которое могло бы превратиться въ сумасшествіе". Наиболѣе шальной изъ поэтовъ-романтиковъ былъ, по мнѣнію Качковскаго, Юлій Словацкій. Стряхнувъ съ себя романтизмъ, Качковскій очутился въ литературѣ какъ просвѣщенный католикъ и аристократъ-прогрессистъ, совѣтующій интеллигенціи своего народа заниматься земледѣліемъ, не раскидываться на всѣ стороны, теряясь въ безцѣльномъ дилеттантствѣ, но стремиться къ образованію спеціальному и, не задаваясь общими задачами, достигать большихъ результатовъ трудомъ медленнымъ, въ маломъ кругу, но трудомъ органическимъ. Само собою разумѣется, что въ постоянно выводимыхъ и повторяемыхъ мотивахъ борьбы революціонерства съ реакціею, демократіи съ аристократіею, выспренней фантазіи и трезваго разсудка, красивая роль выпадаетъ всегда на долю разсудка, авторитета и знати, какъ хранителя преданій, и некрасивая—на долю выскочки, ловкаго „доробковича", быстро созидающаго состояніе спекуляціями. Таково содержаніе длиннаго ряда современныхъ повѣстей Качковскаго, начинающихся „Катономъ" (1851), продолжаемыхъ „Дзивожоною" (1854), „Внучатами" (1855) „Байронистомъ" (1855), и завершаемыхъ произведеніями: Stach z Kępy (1856) и „Rozbitek" (1861). Всѣ эти романы разыгрываются въ Галиціи, вертятся вокругъ событій 1846 и 1848 годовъ, небогаты психологическимъ анализомъ, но отражаютъ довольно вѣрно общее движеніе и настроеніе умовъ и нравовъ. Чего не достаетъ имъ въ артистическомъ отношеніи, то наверсталъ авторъ похвальными по тому времени и полезными тенденціями.

Но не эти современныя повѣсти упрочили за Качковскимъ его громкую славу. Защитникъ шляхетской традиціи, мирящій ее, по своему разумѣнію, съ прогрессомъ, онъ почерпалъ ее изъ первыхъ рукъ, непосредственно изъ источника. Галиційское общество, отдѣленное отъ Польши еще въ 1772, сохранилось, какъ окаменѣлость, вплоть до XIX вѣка; земля Саноцкая была край горскій, а въ горскихъ краяхъ старина устойчивѣе; въ домѣ Качковскаго жила бабка его, Дэмборогъ-Быльчинская (ум. 1853), которая помнила еще времена Августа III и разсказывала съ величайшею точностью о временахъ Понятовскаго и о Барской конфедераціи. Въ тюрьмѣ, прочитавъ все напечатанное о XVIII вѣкѣ въ Польшѣ, Качковскій остановился на конфедераціи и рѣшилъ сдѣлаться историкомъ этого движенія, послѣдняго чисто національнаго, послѣ котораго началось столь же почти противное Качковскому, какъ Ржевускому, проникновеніе французскихъ идей, нравовъ и порядковъ. По выходѣ изъ тюрьмы, онъ погрузился въ громадный рукописный и печатный матеріалъ, относящійся къ XVIII в., хранимый въ Институтѣ Оссолинскихъ и изучилъ этотъ матеріалъ вполнѣ. Исторіи конфедераціи онъ не на-

писалъ, но лица и событія стали укладываться въ повѣсти и разсказы, имѣющіе между собою тѣсную связь, потому что событія совершаются большею частью въ Саноцкой землѣ, дѣйствуютъ во многихъ повѣстяхъ однѣ и тѣ же лица, кромѣ того, употребленъ пріемъ, который помогъ Ржевускому,—разсказчикомъ является человѣкъ стараго покроя, послѣдній изъ рода Нечуевъ, скарбниковичъ въ Закрочимѣ, Мартынъ Нечуя, который, по выраженію Хмѣлёвскаго, обозрѣваетъ Рѣчь-Посполитую съ высоты соломенной крыши своего двора, и въ религіи видитъ главный двигатель дѣлъ домашнихъ и общественныхъ. Циклъ Нечуевскихъ повѣстей обширенъ и совмѣщаетъ въ себѣ слѣдующія: Bitwa o Charążankę, 1851; Kasztelanice Lubaczewscy, 1851; Swaty na Rusi, Murdelio, Mąż Szalony, 1852; Gniazdo Nieczujow, 1855; Starosta Hołobucki, 1856; Grób Nieczni, 1858. Въ нечуевскій циклъ не входятъ Bracia ślubni, 1854; Annuncyata, 1858; Sodalis Morianus 1858. Качковскій—не безусловный обожатель прошедшаго: онъ цѣнитъ развитыя въ сословіи братство, идею самоуправленія, онъ отмѣчаетъ грубое невѣжество шляхты, безсердечное отношеніе къ низшимъ классамъ. Но не эта оцѣнка прельщала читателей, а превосходная пластика въ изображеніи дѣйствующихъ лицъ и въ группировкѣ ихъ. Въ 1855, утомленный работою, Качковскій посѣтилъ западную Европу и познакомился со всѣми знаменитостями выходства (Красинскій, Мицкевичъ, Лелевель). Въ послѣднихъ произведеніяхъ элементъ разсужденій и критики беретъ верхъ надъ художественною стороною произведеній (Sodalis Morianus, Rozbitek). Романъ: „Żydowscy", 1860, былъ скорѣе памфлетъ, направленный противъ романтиковъ въ политикѣ. Съ начала 1881 г. Качковскій сдѣлался даже журналистомъ и сталъ издавать въ Львовѣ газету „Голосъ", но газета имѣла самое эфемерное существованіе. Въ самомъ началѣ дѣятельности Шмерлингова министерства въ іюлѣ 1861 г. газету запретили, а ея консервативнаго редактора осудили на пяти-лѣтнее заключеніе въ крѣпости, отъ котораго его освободило въ 1862 помилованіе со стороны императора. Оно совпало съ моментомъ, когда въ Россіи появилось послѣднее повстаніе, сопровождаемое соотвѣтствующимъ движеніемъ въ Галиціи, въ которомъ главную роль играли экзальтированные романтики. Качковскій счелъ за нужное оставить Галицію, переселился въ Вѣну, въ Парижъ, принялъ участіе въ западно-европейской журналистикѣ, въ биржевыхъ спекуляціяхъ, прекратилъ связи съ польскою литературою [1]).

Между тѣмъ какъ Качковскій, предположивъ сдѣлаться историкомъ, впослѣдствіи сталъ только романистомъ, совершенно обратное явленіе

---

[1]) Послѣдняя его повѣсть, „Графъ Ракъ" въ Gazeta Polska, 1879, весьма слаба.

перехода отъ поэтическихъ опытовъ къ величайшему искусству въ исторической живописи представляетъ Карлъ Шайноха, сынъ поселившагося въ Галиціи Чеха, который подписывался еще Scheinoha Wtellensky и былъ мелкимъ чиновникомъ судебнаго вѣдомства. Шайноха [1]) родился въ 1818. Въ 1835 г., будучи еще гимназистомъ, за найденные у него стихи онъ былъ арестованъ и подвергнутъ тяжкому заключенію. Полугодовое содержаніе подъ стражею разстроило его здоровье и закрыло ему путь къ высшему образованію. Самое пребываніе въ Львовѣ было ему на первыхъ порахъ запрещено. Молодой неимущій человѣкъ заработывалъ хлѣбъ уроками, а потомъ стихами, повѣстями и драмами въ львовскихъ газетахъ, наконецъ сотрудничествомъ въ журналахъ. Въ критическій для Галиціи 1846 годъ, Шайноха совсѣмъ уже перешелъ въ область исторіи и сталъ ее разработывать всесторонне то по кускамъ, разрѣшая множество интересныхъ вопросовъ въ многочисленныхъ историческихъ эскизахъ, составляющихъ по совершенству отдѣлки настоящія жемчужины, то обрисовывая великія эпохи, главные, рѣшающіе моменты въ жизни народа. Свое историческое поприще Шайноха началъ двумя историческими картинами: *Вѣкъ Казиміра Великаго* (нап. 1846, печ. 1848) и *Болеславъ Храбрый* (нап. 1848, печ. 1849). Полной зрѣлости и наибольшему блеску его таланта соотвѣтствуетъ „Ядвига и Ягелло“, историческій разсказъ въ въ трехъ томахъ, 1855—1856. По красотѣ рисунка и блеску колорита это капитальное сочиненіе, изданное въ 1879 въ переводѣ Кеневича на русскій языкъ, можетъ смѣло выдержать сравненіе съ „Завоеваніемъ Англіи Норманнами“ Огюстена Тьерри и „Исторіею англійской революціи“ Маколея. Въ 1855, Шайноха, поступившій на должность помощника управляющаго Институтомъ Оссолинскихъ, женился, но вскорѣ потомъ отъ усиленныхъ трудовъ и работъ онъ потерялъ зрѣніе (съ половины 1857 г.). Съ тѣхъ поръ и до смерти 1868 г. слѣдуетъ періодъ непрестанной дѣятельности при пособіи чтецовъ и по диктовкѣ. Свѣжесть ума и страшная память давали возможность слѣпому ученому разрѣшать громадныя задачи. Въ 1858 выведено начало польскаго государства отъ заморскихъ Варяговъ (Lechicki początek Polski). Раньше еще объяснено (Nowe szkice historyczne, 1857) начало шляхты и гербовъ въ Польшѣ. Въ 1860 г. предпослано начало повѣствованія о Янѣ III Собѣскомъ, которому не суждено было имѣть продолженіе. Наконецъ смерть застигла историка, когда онъ дописывалъ послѣднія главы въ описаніи великаго кризиса польской исторіи, а именно козацкихъ войнъ: Dwa lata dziejów naszych, 1865—1869.

---

[1]) Изданіе его историческихъ сочиненій сдѣлано Унгромъ въ Варшавѣ въ 10 томахъ: Dzieła Karola Szajnochy, 1876—1878. Въ десятомъ томѣ помѣщено обширное жизнеописаніе Шайнохи, составленное Климентомъ Кантецкимъ.

Самое бо̀льшее число и самыхъ сильныхъ талантовъ доставила литературѣ въ періодъ послѣ 1848 г. Галиція, столь долго считавшаяся самою отсталою провинціею, возмущенная до самыхъ основаній общества жестокою междоусобною соціальною борьбою, но начинающая пользоваться послѣ 1859 г. плодами болѣе свободнаго отношенія къ народностямъ центральнаго австрійскаго правительства. Производительность польской литературы въ предѣлахъ Россійскаго государства не увеличилась даже послѣ 1856 г., когда началась при новомъ царствованіи эпоха коренныхъ и всестороннихъ реформъ. Дѣятелей было мало, публика серьёзнаго чтенія чуждалась, но пріохотилась къ роману. Корифеевъ польскаго современнаго романа было двое: Корженіовскій и Крашевскій.

Іосифъ Корженіовскій [1]) род. въ 1797, въ мѣстечкѣ Бродахъ, воспитывался въ Кременецкой гимназіи, возведенной при немъ въ званіе лицея, и кончивъ здѣсь въ 1819 г. курсъ наукъ, отправился въ Варшаву, гдѣ принялъ на себя обязанности гувернера при маленькомъ сынѣ генерала Викентія Красинскаго, Сигизмундѣ, вскорѣ потомъ женился на дочери профессора варшавскаго университета, живописца Фогеля, и назначенъ въ 1829 г. попечителемъ Чарторыскимъ на ту самую каѳедру исторіи польской литературы, въ Кременецкомъ лицеѣ, которую прежде занималъ Алоизій Фелинскій. Молодой профессоръ былъ эклектикъ, до конца жизни въ немъ осталось много классическихъ вкусовъ и привычекъ. Людвигу Осинскому, съ которымъ онъ познакомился въ гостиной Красинскихъ, онъ поклонялся и „Барбару“ Фелинскаго считалъ образцовою трагедіею; но и на него подѣйствовало личное знакомство съ Бродзинскимъ, онъ полюбилъ и Шекспира и Шиллера и старался мирить по мѣрѣ возможности, въ своемъ курсѣ, классиковъ съ романтиками. Мирнымъ занятіямъ преподаванія любимаго предмета помѣшали событія 1830 г.: лицей былъ закрытъ; изъ его денежныхъ средствъ, собраній, музеевъ и даже изъ личнаго состава его преподавателей образованъ университетъ св. Владиміра, въ которомъ Корженіовскаго заставили преподавать миѳологію и римскія древности, а въ 1837 г. его перевели директоромъ гимназіи въ Харьковъ. Пребываніе въ Харьковѣ во многихъ отношеніяхъ принесло пользу Корженіовскому: общество польское онъ здѣсь имѣлъ пріятное (Александръ Мицкевичъ, филологъ профессоръ Альфонсъ Валицкій), досугу много, работалось скоро и поспѣвали драмы, трагедіи, комедіи, писанныя бѣлыми метри-

---

[1]) Полное собраніе сочиненій, изданіе редакціи журнала Kłosy, въ 12 томахъ, въ Варшавѣ, 1871—1873. Этюдъ о Корженіовскомъ Ржонжевскаго въ Bibl. Warsz. 1875, I. Жизнеописаніе Корженіовскаго написалъ Климентъ Кантецкій: Dwaj Krzemieńczanie. Wizerunki literackie. II, Korzeniowski. Lwów, 1879.

ческими стихами или прозою. Первые опыты начаты еще въ Кременцѣ: „Анѣля", „Клара" (1826), „Монахъ" и мн. др., хотя хорошо осмыслены, но сама начитанность автора вредила творчеству, и произведенія строились не на оригинальныхъ, а на вычитанныхъ и заимствованныхъ мотивахъ. Однако, талантъ развивался, и это развитіе совершалось посредствомъ перехода отъ высокихъ сюжетовъ и высокаго слога къ простой помѣщичьей и мѣщанской драмѣ и комедіи, причемъ проявлялись весьма мѣткая наблюдательность и тонкое остроуміе, а форма была всегда красива и привлекательна. Нѣкоторыя изъ этихъ драмъ, впрочемъ немногія поразительны по силѣ страсти, напр. *Карпатскіе горцы* (1843), въ которой главный герой, галиційскій крестьянинъ Ревизорчукъ, взятый въ рекруты, бѣжитъ и дѣлается разбойникомъ, или по глубинѣ мысли, напр. „Евреи" (1843), въ которой настоящіе дѣйствующіе въ пьесѣ Евреи не лишены благородства, а своекорыстіемъ и происками опередили ихъ баре и помѣщики, разные съ натуры списанные типы современнаго шляхетскаго общества [1]). Только въ „Карпатскихъ горцахъ" Корженіовскій сходилъ въ подвалы простонароднаго быта, большею же частью онъ не переступаетъ предѣловъ средняго состоянія и предпочитаетъ веселое трагическому; мелочь, ничтожный случай, анекдотъ достаточны для созданія пьесы. Этими пьесами пробавлялась главная сцена польская того времени—театръ варшавскій. Намѣстникъ Паскевичъ бывалъ на представленіяхъ, чѣмъ воспользовались доброжелатели Корженіовскаго изъ высшаго польскаго общества и исходатайствовали опредѣленіе его, въ 1846, въ Варшаву по учебному вѣдомству, въ которомъ онъ оставался по смерть свою, послѣдовавшую въ Дрезденѣ 17 сентября 1863, когда онъ состоялъ въ должности директора отдѣла народнаго просвѣщенія, вѣроисповѣданій и просвѣщенія, на которую опредѣленъ былъ маркизомъ Велепольскимъ.—Еще во время бытности своей въ Харьковѣ Корженіовскій со сценическихъ подмостковъ сталъ переходить въ повѣсть и написалъ два превосходные романа Kollokacya (изд. 1857) и „Спекулянтъ" (изд. 1846). Въ Варшавѣ онъ главнымъ образомъ посвятилъ себя этому болѣе свободному и менѣе стѣсняемому цензурными условіями роду творчества (Wedrówki oryginała, 1848; Garbaty, 1852; Tadeusz Bezimienny, 1852; Krewni, 1857, и мн. др.). Корженіовскій писалъ сравнительно меньше, нежели Крашевскій, отдѣлывалъ свои созданія тщательнѣе и какъ художникъ, можетъ быть, стоитъ выше, но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ уступаетъ своему сопернику. Онъ былъ умный человѣкъ, по природѣ умѣренный и спокойный, не любящій натянутыхъ положеній, трагическихъ коллизій, неизлечимаго горя. Онъ прославлялъ трудъ,

[1]) Переведена въ „Современникѣ" 1861.

честность, семейныя добродѣтели, но онъ вполнѣ цѣнилъ счастіе имѣть состояніе, обезпеченное положеніе, всѣ его герои исполнены филистерской добродѣтели, свойственной людямъ, которымъ живется по ихъ житейской обстановкѣ легко и хорошо и пригодной тѣмъ, которые никогда не плывутъ противъ теченія. Заключившись въ кругу людей зажиточныхъ, онъ ничего впослѣдствіи внѣ этого общества не изучалъ и не изображалъ.

Излагать въ подробности дѣятельность Крашевскаго мы не станемъ, потому что она шла, постепенно развиваясь, въ теченіи описываемаго нами періода (1848—1863), и не только не слабѣла съ годами, но въ настоящую минуту сильнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ въ періодѣ 1848—1863 и по количеству производимаго и по содержанію [1]). Ограничимся нѣсколькими хронологическими указаніями. Съ 1837 по 1853 г. Крашевскій дѣлилъ время между литературою и земледѣліемъ, пребывая въ Волынской губерніи въ Омельнѣ, потомъ 1840—1849 въ Грудкѣ близъ Луцка, а потомъ въ Губинѣ, дѣлая отъ времени до времени поѣздки въ Кіевъ на контракты, въ Одессу, въ Варшаву. Съ 1838 г. онъ былъ уже семейный человѣкъ (женился на Софіи Вороничъ). На эти годы приходится издательство „Атенея" (1841—1852), охлажденіе отношеній къ Грабовскому, разрывъ съ вліятельнымъ, а порою опаснымъ кружкомъ „Петербургскаго Тыгодника", изученіе и близкое знакомство (съ 1845) съ Гегелевою философіею. Рядъ хозяйственныхъ неудачъ по имѣнію заставилъ Крашевскаго покинуть деревню и поселиться съ 1853 въ Житомірѣ. Здѣсь, вмѣсто ожидаемаго спокойствія, онъ очутился въ центрѣ весьма оживленнаго и своими маленькими провинціальными интересами занятаго общества, полу-чиновничьяго, полу-помѣщичьяго. Съ оффиціальнымъ міромъ Крашевскаго связало почетное попечительство въ житомірской гимназіи, директорство театра (польскаго), директорство въ дворянскомъ клубѣ. Хорошія отношенія въ волынской помѣщичьей средѣ были подвергнуты испытанію, когда законодательною властью возбужденъ былъ и предложенъ губернскимъ комитетамъ крестьянскій вопросъ. Не принимая участія въ работахъ по этому вопросу, Крашевскій счелъ долгомъ понуждать соотечественниковъ къ наиболѣе радикальному рѣшенію его и подавалъ совѣты, письменно и печатно, что „свобода безъ собственности ни на что не пригодна, что одна усадьба—не собственность, а прикрѣпленіе; что надо придумать нѣчто побольше и иначе" (біогр. въ Książka jubil. LXXXI). Значительная часть шляхты волынской сочла эти совѣты за личную для себя обиду, но молодое поколѣніе поддержало Крашевскаго и выборъ

[1]) Матеріалъ для жизнеописанія и обзоръ дѣятельности въ изданіи: Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności J. I. Kraszewskiego, 1880.

его въ попечители состоялся 1859 г., хотя не безъ сильной оппозиціи. Пока шло крестьянское дѣло въ комитетахъ, Крашевскій побывалъ въ первый разъ за границею, посѣтилъ Италію; волынскія отношенія ему надоѣли, вслѣдствіе розни по крестьянскому вопросу; потому онъ охотно принялъ въ 1860 г. предложенное ему редакторство „Ежедневной Газеты“ въ Варшавѣ (вскорѣ потомъ переименованной, въ 1861 г., въ *Gazeta polska*), предложенное ему извѣстнымъ капиталистомъ Леопольдомъ Кроненбергомъ. Положеніе Крашевскаго въ Варшавѣ было весьма вліятельное, но трудное, исполненное непріятностей и не по его характеру. Уже началось въ Царствѣ Польскомъ то національное движеніе, которое потомъ разыгралось повстаньемъ 1863 г.; ему предшествовало совершившееся въ эти года сліяніе еврейскаго элемента съ польскимъ, на почвѣ равноправности. Главнымъ проводникомъ этой идеи былъ Кроненбергъ, владѣтель „Ежедневной Газеты“, съ которымъ сошелся Крашевскій, потому что сознавалъ своевременность сліянія и разсуждалъ: „въ моихъ глазахъ нѣтъ Евреевъ, а есть только граждане и тѣ, которые не заслуживаютъ этого имени“ (XCVII). Какъ бы то ни было, консерваторы, ультра-аристократы и ультрамонтаны подняли крикъ о томъ, что Крашевскій запродалъ себя Евреямъ. Движеніе шло, существовала надежда, что можно его затормозить во́-время и войти въ русло либеральныхъ реформъ. Въ сущности программа Крашевскаго совпадала съ программою Велепольскаго: равноправность состояній, соединеніе ихъ въ одно цѣлое, гуманность безъ космополитизма, прогрессъ не въ ущербъ народности; развитіе въ христіанскомъ духѣ съ предоставленіемъ каждому свободы совѣсти („Польская Газета“, № 57, 1861). Но сверхъ программы былъ вопросъ о средствахъ, а чѣмъ дальше шло движеніе, чѣмъ выше подымались волны, тѣмъ труднѣе было человѣку, просто либеральному, но чуждающемуся принадлежности къ какой-бы то ни было партіи сохранять свободу слова между крайностями. Краснымъ Крашевскій противодѣйствовалъ, но и маркиза не удовлетворилъ и долженъ былъ въ концѣ 1862 оставить редакторство газеты, а въ январѣ 1863 г. получилъ предложеніе уѣхать за границу. Съ тѣхъ поръ и донынѣ Крашевскій пребываетъ за границею; онъ поселился въ Дрезденѣ, написалъ подъ именемъ Болеславиты нѣсколько серій годовыхъ „Счетовъ“, или итоговъ послѣ печальной неудачи 1863, и много повѣстей, на основѣ событій того времени; цѣлый циклъ историческихъ повѣстей изъ древняго быта Польши, изображающій ходъ развитія жизни народа, въ картинахъ, по идеѣ Фрейтаговскихъ *Ahnen*; цѣлый рядъ повѣстей изъ саксонской исторіи, временъ Августовъ II и III; большое историческое произведеніе въ трехъ томахъ: Polska w czasie trzech rozbiorów (Poznań, 1873—1875), безчисленное множество кор-

респонденцій во всѣ газеты, — наконецъ онъ дождался празднованія, въ первыхъ числахъ октября 1879 г., въ Краковѣ, своего пятидесятилѣтняго юбилея. По разсчету библіографа Эстрейхера, къ тому дню Крашевскій издалъ 250 цѣлыхъ произведеній въ 440 томахъ.

Въ связи съ поименованными шестью главными дѣятелями періода состоитъ безчисленное множество второстепенныхъ, изъ которыхъ укажемъ на нѣсколько, особенно выдающихся. Въ ближайшемъ отношеніи съ Качковскимъ Иванъ Захарьясевичъ, родомъ изъ восточной Галиціи, родившійся 1825 и въ 1842 уже посаженный за писательство въ австрійской крѣпости Шпильбергѣ, снискалъ большую извѣстность въ области тенденціознаго романа, построеннаго на животрепещущихъ вопросахъ дня, на послѣднихъ заботахъ общества (Jednodniówki, 1855; Sw. Jur, 1862; Na kresach, 1860). Бывшій профессоръ польской литературы въ Львовскомъ университетѣ, авторъ исторической грамматики польскаго языка, изданной въ 1879, и біографъ Словацкаго, Антонъ Малэцкій, родомъ Познанецъ (род. 1821), написалъ превосходную историческую драму, на тэму крѣпостнаго состоянія въ XVII вѣкѣ, „Опасная грамота“ (List żelazny, 1854) и комедію „Гороховый Вѣнокъ“, изъ записокъ Паска (1855). Весьма талантливый лирикъ Корнелій Уѣйскій, Галиціанинъ (род. въ 1823), сблизился въ Парижѣ съ Словацкимъ и является вплоть до нашего времени продолжателемъ первоначальнаго романтизма въ его великихъ, не считающихся съ возможностью, порывахъ и даже въ его практическихъ приложеніяхъ; онъ былъ и пѣвцомъ послѣдняго повстанья (хоралъ: Z dymem pożarów). Его поэма „Мараѳонъ“, „Плачъ Іереміи“, 1847, и „Библейскія мелодіи“ 1852, исполнены огня и силы. Ѣдкій и односторонній критикъ, онъ ожесточенно полемизировалъ (1861) съ Полемъ—за его отсталость, и съ Качковскимъ—за его умѣренность по поводу романа: „Жидовскіе“. Талантливѣйшимъ публицистомъ и литературнымъ критикомъ выходства, въ Парижѣ, въ духѣ романтической школы, явился Юліанъ Клячко, родомъ Еврей, изъ Вильна (род. 1825), ученикъ Гервинуса. Варшава имѣла глубокаго знатока старины и изслѣдователя въ лицѣ Юліана Бартошевича (1821—1870, восп. въ петерб. унив.), автора весьма многихъ монографій и изданной недавно по его смерти „Первоначальной исторіи Польши“ (Historya pierwotna Polski, 1878—1879, въ 4 томахъ), доведенной до конца XII вѣка. Замѣчательный труженикъ, Бартошевичъ не можетъ считаться однако великимъ историкомъ, по своей точкѣ зрѣнія, ограниченной, строго церковной. Изъ группы варшавскихъ поэтовъ 1840-хъ годовъ, вышелъ способный и одаренный поэтическимъ чутьемъ, Ѳеофилъ Ленартовичъ (род. 1822), уѣхавшій въ 1848 за границу и поселившійся въ Италіи, скульпторъ и лирикъ, заимствующій содержаніе своихъ красивыхъ пѣсней изъ

религіозныхъ и простонародныхъ польскихъ мотивовъ и изъ картинъ итальянской природы (Lirenka 1851; Nowa lirenka, 1857; Poezye, 1863; Album włoskie, 1863). Волынскій уроженецъ Аполлонъ Наленчъ-Корженіовскій (1821—1869) оставилъ послѣ себя двѣ въ драматической формѣ ѣдкія сатиры на общество польское конца пятидесятыхъ годовъ (Komedya, 1856; Dla miłego grosza, 1859). Подъ самый конецъ періода появились первые опыты талантливаго новеллиста Сигизмунда Милковскаго (род. въ 1820, въ Подольской губ., живущаго въ Швейцаріи), который отличился впослѣдствіи своими романами изъ польской исторіи и изъ быта южныхъ славянъ, подъ псевдонимомъ Ѳомы-Ѳедора Ежа (Handzia Zahornicka, Szandor Kowacz, Historya o praprawnuku i prapradziadku).

Будучи только отблескомъ и ослабленнымъ повтореніемъ мотивовъ блистательной эпохи романтизма, литература переходнаго періода 1848—1863 г., не имѣла прямого вліянія на послѣдующія событія и на самую катастрофу 1863 г. Въ общей сложности, она прилагала всевозможныя усилія къ тому, чтобы этотъ роковой исходъ отвратить и ослабить, но не могла успѣть очевидно потому, что для этой цѣли требовалось бы перевоспитаніе общества, наладившагося, въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій, извѣстнымъ образомъ думать и чувствовать и утвердившаго свои убѣжденія какъ на якорѣ на ненормальной постановкѣ польскаго вопроса, которая дана этому вопросу послѣ событій 1831 года, доведшихъ взаимное озлобленіе славянскихъ націй до крайняго предѣла. Чувство—плохой совѣтникъ, а между тѣмъ въ теченіи многихъ лѣтъ оно говорило и дѣйствовало одно, разсыпая свои цвѣты и ставя вожатыми народу не людей трезво-разсудочныхъ, но людей воображенія—поэтовъ. Катастрофа 1863 г. не могла не подѣйствовать разрушительнымъ образомъ и на самую литературу; но въ сущности она весьма немногимъ уменьшила литературную производительность и подготовила внутри литературы перемѣны, которыя нельзя не признать весьма полезными. Одна изъ особенностей положенія польскаго общества подъ тремя державами заключается въ томъ, что упадокъ производительности не можетъ быть одновременно повсемѣстный: производительность эта сократилась и почти исчезла на западной окраинѣ Имперіи, но увеличилась въ Варшавѣ, которая служитъ теперь умственнымъ центромъ для западныхъ и юго-западныхъ губерній, потерявшихъ свои умственные центры въ Вильнѣ, Кіевѣ, Житомірѣ, и въ которой число повременныхъ и другихъ изданій не въ примѣръ больше, чѣмъ оно было до 1863. Познань замѣчательна какъ центръ издательства польскихъ книгъ (Жупанскій). Въ Галиціи, пользующейся широкою провинціальною автономіею, сверхъ введенія преподаванія на польскомъ языкѣ въ двухъ университетахъ

(краковскомъ и львовскомъ) возникла въ Краковѣ въ 1873 г. Академія знаній (преобразованная изъ бывшаго Общества любителей наукъ), которая по организаціи собирательнаго труда и по многочисленности изданій пріобрѣла весьма почетную извѣстность. Конечно, на полѣ письменности цвѣты поэзіи перевелись. Послѣдній, кто напоминаетъ великую минувшую поэтическую эпоху, лирикъ Адамъ Аснык ъ (род. 1838), живущій въ Краковѣ (Poezye przez El....y, Rienzi, 1874; Kiejstut, 1879), подходитъ къ своимъ предшественникамъ болѣе по формѣ, нежели по духу. Произведенія великихъ мастеровъ польскаго романтизма отошли въ даль, превратились въ предметъ критическаго изученія въ родѣ ископаемой флоры каменноугольной формаціи, прикрытой наносными пластами идей и ученій, составляющихъ прямую противоположность безпредѣльному идеализму, служившему почвою романтизму. Нѣтъ ничего естественнѣе того разлитія матеріалистическихъ ученій или, лучше сказать, позитивизма, котораго мы были свидѣтелями въ послѣднія десять лѣтъ. Почва отощала, бывъ столько лѣтъ безъ перемежки цвѣтникомъ; она требовала удобренія, удобреніемъ и явилось положительное современное знаніе, стремящееся согласовать два міра—души и матеріи—въ общемъ синтезѣ, но на подкладкѣ результатовъ, добытыхъ естествознаніемъ. Съ тѣхъ поръ на современныхъ людей пересталъ дѣйствовать одуряющій ароматическій запахъ, который распространяла превратившаяся нынѣ въ ископаемую флора романтизма въ то время, когда она была еще въ полномъ цвѣту, а между тѣмъ ея подпочвенные пласты столь богаты, что ихъ и на многіе вѣка достанетъ для удовлетворенія тѣмъ потребностямъ природы, которыхъ требуетъ поэзія, какъ пищи. Они остаются и останутся на виду, и если когда-нибудь, вѣроятно, весьма не скоро, появится при соотвѣтствующихъ обстоятельствахъ новая поэзія, первымъ условіемъ, которое отъ нея потребуется, будетъ то, чтобы она превзошла по красотѣ формъ великіе образцы прежней блистательной эпохи. Нынѣшнее время не благопріятствуетъ поэтическому творчеству, потому что въ немъ преобладаетъ сухой и трезвый духъ критики, начавшій съ коренной повѣрки взглядовъ на свое прошедшее, съ отрѣшенія и отреченія отъ предположеній будто бы прошлое Польши представляетъ собою нѣчто столь идеально-высокое, что будь эти идеи вполнѣ осуществлены, ими бы и разрѣшились всѣ міровыя задачи настоящаго и будущаго. Новѣйшіе изслѣдователи, стоящіе во главѣ исторической науки—краковскіе профессора: Іосифъ Шуйскій (род. 1835), Михаилъ Бобржинскій, познанскій ученый Казиміръ Яроховскій; по части литературной критики: профессоръ графъ Станиславъ Тарновскій (род. 1837), Петръ Хмѣлёвскій—склоннѣе преувеличивать темныя пятна и недостатки или недодѣлки въ прошломъ и думать,

что первое условіе хода къ лучшему заключается въ томъ, чтобы отвыкнуть отъ анархическихъ привычекъ и фантазій и, работая надъ самими собою, привыкнуть къ строгой дисциплинѣ, къ труду упорному и органическому въ маломъ кругѣ дѣятельности. Нельзя сказать, чтобы изящная литература была въ совершенномъ запущеніи; она не преобладаетъ, но имѣетъ замѣчательныхъ представителей. Современная повѣсть съ реалистическимъ направленіемъ—въ лицѣ Генриха Сенкевича (Szkice węglem), сатира—въ Львовскомъ писателѣ Янѣ Лямѣ (род. 1838: Koroniasz w Galicyi, 1869; Panna Emilia, Głowy do pozłoty, 1873); проживающая въ Гроднѣ писательница Элиза Оржешко разработываетъ съ талантомъ въ своихъ повѣстяхъ (Eli Mokower, Meir Ezofowicz) еврейскій вопросъ. Всего больше посчастливилось комедіи и драмѣ. По этой части имѣется цѣлая фаланга юныхъ писателей, которые поддерживаютъ польскую сцену на весьма приличной высотѣ: Наржимскій (ум. 1872), Любовскій, Балуцкій, Казиміръ Залевскій, Свентоховскій, Близинскій, Фредро сынъ. Нельзя не отмѣтить, что хотя существуетъ несомнѣнная наклонность въ новѣйшей польской литературѣ въ научномъ отношеніи къ позитивизму, въ области искусства къ реализму, но движеніе совершается весьма не быстро, послѣ величайшихъ усилій и совсѣмъ непохоже на то, что дѣлается иногда въ другихъ литературахъ, напр. въ русской, гдѣ волны новаго движенія заливаютъ иногда все, прежде того уже установившееся, которое какъ бы совсѣмъ исчезаетъ въ этихъ волнахъ. Корни романтизма въ польской литературѣ еще весьма крѣпки; каждое нападеніе на издавна установившееся мнѣніе, на имя поэта, увѣнчанное ореоломъ и имѣющее авторитетъ, вызываетъ цѣлую бурю споровъ, которые ведутся съ крайнимъ оживленіемъ и даже ожесточеніемъ. Иначе и быть не можетъ въ литературѣ, имѣющей свои традиціи, а эти традиціи въ польской письменности особенно цѣпки и крѣпки, вслѣдствіе того, что вся почти жизнь народа въ теченіи XIX вѣка ушла почти исключительно въ литературу и искусство и въ ней одной только и могла отражаться.

Примѣчаніе къ стр. 471. Древнѣйшая польская пѣснь «Богородица» была всесторонне изслѣдована и критически разработана въ слѣд. сочиненіяхъ:

— Dr. Rymarkiewicz, Pieśń Boga-Rodzice w Rocznikach Pozn. Tow. Przyjaciół nauk. t. X (1878) str, 333.

— W. Nehring, Ueber den Einfluss der altczechischen Literatur auf die altpolnische, въ Archiv für slavische Philologie, 1876.

— Dr. Roman Pilat, Pieśń Bogarodzica, restytucya tekstu. Kraków, 1879.

— Dr. Antoni Kalina, Rozbiór krytyczny pieśni «Bogarodzica». Lwów 1880.

Польскіе Слезаки.—Прусскіе Мазуры.—Кашубы.

Со времени заключенія Губертсбургскаго мира 1763, Силезія принадлежитъ Пруссіи, за исключеніемъ двухъ маленькихъ кусковъ этой земли, герцогства Троппавскаго и герцогства Цѣшинскаго. Съ 1335 г. когда Казиміръ Великій отказался отъ всякихъ притязаній на эту землю по договору въ пользу Іоанна, изъ дома Люксембургскаго, короля чешскаго, всякая политическая, а вмѣстѣ съ нею и литературная связь, были прерваны между Польшею и Силезіею. Эта земля—древне-ляшская, населенная народомъ чисто польскаго происхожденія; но его верхніе слои, дворянство, духовенство обоихъ вѣроисповѣданій, римско-католическаго и протестантскаго, давно потеряли свой національный характеръ, и подчинились либо чешской культурѣ, либо нѣмецкой, а города заселены сплошь Нѣмцами, родной же языкъ держался только по деревнямъ и то почти въ одной только верхней Силезіи и употреблялся почти исключительно въ домашней жизни, даже не въ церкви, такъ какъ по обыкновенію, восходящему ко временамъ когда Силезія входила въ составъ чешской короны, духовенство обоихъ вѣроисповѣданій въ населенныхъ Славянами мѣстностяхъ, предпочитало употреблять въ проповѣдяхъ и пѣсняхъ, вмѣсто польскаго, чешскій языкъ. Когда львовянинъ ксендзъ Карлъ Антоневичъ въ сороковыхъ годахъ посѣтилъ Силезію въ качествѣ странствующаго проповѣдника, и въ обращеніи къ слушателямъ назвалъ ихъ „польскимъ людомъ", мѣстное духовенство просило его не употреблять это оскорбительное названіе, а называть народъ „прусскимъ" или „верхне-силезскимъ".

Польское литературное возрожденіе между Слезаками началось однако въ XIX столѣтіи, но не раньше какъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ. Начато оно было одновременными усиліями нѣсколькихъ въ одномъ духѣ дѣйствовавшихъ безъ всякаго соглашенія лицъ, учителей, проповѣдниковъ, журналистовъ. Въ австрійской Силезіи въ Цѣшинѣ въ 1851 году сталъ издаваться мѣсячный журналъ, Gwiazdka

Cieszyńska, Павломъ Стальмахомъ. Ксендзъ Янушъ, приходскій священникъ въ Зыбржидовѣ затѣялъ замѣнить языкъ чешскій польскимъ, при богослуженіи. Еще важнѣе заслуги Нѣмца по происхожденію, достигшаго сана епископа и званія регирунгсъ-рата въ Оппельнѣ и инспектора училищъ въ Горной Силезіи, Бернарда Богедайна (1810 — 1860). Сынъ крестьянина изъ окрестностей Гроссъ-Глогау, кончившій курсъ наукъ въ Вроцлавскомъ университетѣ, Богедайнъ пристрастился къ польскому языку и литературѣ въ Познани, гдѣ былъ рукоположенъ во священники, потомъ въ Быдгощи и Парадижѣ, гдѣ былъ учителемъ. Онъ задался мыслью просвѣщать сельскій народъ горно-силезскій на наиболѣе понятномъ ему родномъ его языкѣ, издавая катехизисы, духовныя пѣсни, основалъ „Еженедѣльникъ“ для крестьянъ (1849), недолго впрочемъ просуществовавшій въ Оппельнѣ. Его вліятельное положеніе въ управленіи училищами давало ему возможности выбирать сотрудниковъ, открывать молодыя дарованія. Однимъ изъ такихъ имъ созданныхъ дѣятелей явился человѣкъ, который нынѣ считается главнымъ представителемъ національнаго польскаго литературнаго движенія въ верхней Силезіи, Карлъ Мярка [1]), родившійся въ 1824 въ селѣ Пѣльгржимовицахъ. Мярка, бывшій школьнымъ учителемъ въ родномъ селѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ органистомъ деревенской церкви, писалъ иногда разсказы и статейки по-нѣмецки. Его заставили учиться, познакомиться на 37 году жизни съ богатствами польской литературы и исторіею своего племени. Первая его польская повѣсть *Górka Klemensowa*, явилась въ 1841 у Стальмаха, въ „Звѣздочкѣ Цѣшинской“. Школьный учитель сдѣлался вмѣстѣ съ тѣмъ и редакторомъ журнала, издаваемаго въ Пекарахъ „Zwiastun górnoślązki“, а съ 1869 г. оставивъ званіе учителя, онъ исключительно отдалъ себя журналистикѣ, посвященной поддержанію и развитію народности въ сельскомъ населеніи верхне-силезскомъ.

Первый толчокъ литературному возрожденію народности дано между Слезаками римско-католическимъ духовенствомъ; такой же толчокъ дало и протестантское духовенство между прусскими Мазурами, почти сплошнымъ ляшскимъ, мазовецкаго оттѣнка, сельскимъ населеніемъ, занимающимъ длинную полосу отъ Гольдапа и Лыка, т.-е. отъ рубежей Сувалкской губерніи, вплоть до Торна, Хелма (Culm) и Грудзіондза (Graudenz) на Вислѣ. Часть этой полосы входила въ составъ такъ-называемой княжеской или ленной Пруссіи, окончательно отошедшей отъ Польши по Велавскому трак-

[1]) См. о немъ Tygodnik illustrowany Warszawski, 1880.

тату 1657 года; часть захватывала южную окраину Вармiи и Хелмское воеводство, доставшiяся Пруссiи въ 1772 году. Что свѣточъ литературы не погасъ послѣ паденiя Рѣчи-Посполитой и что продолжала прозябать единственная возможная отрасль словесности—простонародная, тѣмъ польскiй народъ въ Пруссiи обязанъ прежде всего весьма извѣстному и уважаемому человѣку, Кристофу Целестину Мронговiусу (1764 — 1855), родомъ померанцу, польскому проповѣднику евангелической общины въ Данцигѣ и преподавателю польской словесности въ данцигской гимназiи. Мронговiусъ собралъ и издалъ церковныя пѣсни [1]), употребляемыя въ прибалтiйскихъ странахъ (въ это изданiе вошли и псалмы Яна Кохановскаго), написалъ польскую грамматику на нѣмецкомъ языкѣ (Polnische Grammatik, 1-е изданiе, въ Кролевцѣ, 1794; 2-е 1805), словари нѣмецко-польскiй (1823) и польско-нѣмецкiй (1835), проповѣди, издалъ для простонародья „Флиса“ Клёновича (Gdańsk, 1829), переводилъ Ксенофонта, Платона, переписывался съ княземъ Адамомъ Чарторыскимъ, съ канцлеромъ Румянцовымъ, отъ котораго получилъ порученiе (1826) объѣхать и изучить поселенiя Кашубовъ. Мронговiусъ былъ членомъ множества ученыхъ обществъ и пользовался особеннымъ расположенiемъ короля Фридриха-Вильгельма IV. Другой дѣятель на томъ же поприщѣ Густавъ Гизевiусъ (1810 — 1848), пасторъ протестантскiй въ Остероде, женившiйся на ревностной Мазуркѣ, которая умѣла вселить въ него любовь къ польскому языку и рѣшимость явиться борцомъ за польскую народность и однимъ изъ дѣятелей обще-славянскаго движенiя въ сороковыхъ годахъ, въ которомъ онъ принималъ участiе, завязавъ литературныя связи съ варшавскими, пражскими, познанскими литераторами и учеными славистами. Гизевiусъ ѣздилъ въ Данцигъ познакомиться съ Мронговiусомъ, въ Варшаву, писалъ стихи на польскомъ языкѣ, основалъ въ Лыкѣ, просуществовавшiй нѣсколько лѣтъ, журналъ: „Przyjaciel ludu łecki“, отстаивалъ въ нѣмецкихъ газетахъ интересы польскаго языка въ школѣ и администрацiи, жалуясь на притѣсненiя со стороны Нѣмцевъ, и избранъ былъ депутатомъ въ прусскiй сеймъ въ 1848 г., когда его постигла смерть. Изъ позднѣйшихъ дѣятелей на томъ же поприщѣ слѣдуетъ отмѣтить Игнатiя Лысковскаго [2]), основавшаго въ 1850 году въ Хелмѣ недѣльный журналъ *Nadwislanin* (прекратившiйся въ 1863 г.), и дѣйствовалъ въ качествѣ члена польской группы въ прусскомъ сеймѣ,—Iосифа Хоцишевскаго, издателя многихъ книжекъ и повѣ-

[1]) Pieśnioksiąg czyli Kancyonał Gdański... (ochotnym nakładem obywateli pomorskich). Gdańsk, 1803.

[2]) Въ 1854 г. въ Бродницѣ (Strassburg) онъ издалъ: Pieśni gminne i przysłowia ludu polskiego w Prusach Zachodnich.

стей для дѣтей и простонародія,—и Игнатія Даніелевскаго, издателя Торнской газеты на польскомъ языкѣ.

Отъ Вислинской дельты на западъ до береговъ Пуцскаго (Pützig) залива, въ бывшей Королевской Пруссіи, и по самому побережью въ Помераніи разсѣяны, сильно перемѣшанныя съ Нѣмцами, деревенскія поселенія одного изъ старѣйшихъ славянскихъ племенъ Кашубовъ или Кашебовъ, которое насчитываетъ нынѣ нѣсколькимъ болѣе ста тысячъ человѣкъ. Въ Помераніи это населеніе—протестантское и оттѣсняется все болѣе и болѣе къ морю, такъ что оно держится главнымъ образомъ въ убогихъ рыбацкихъ деревняхъ поморья; въ бывшей Королевской Пруссіи, выдѣленной только въ 1772 г. изъ состава Рѣчи-Посполитой, оно болѣе католическое и разсѣяно въ Картузскомъ и Вейеровскомъ (Neustadt) округахъ.

Древность племени и его языка, въ значительной степени уклоняющагося отъ польскаго, обратила на него вниманіе славянскихъ ученыхъ и особенно русскихъ. Послѣ путешествія въ страну Кашубовъ Мронговіуса, описавшаго результаты своего посѣщенія въ Baltische Studien, 1828, ихъ изучали Konitz или Хойницкій по порученію померанскаго общества исторіи и древностей, русскій ученый П. Прейсъ въ 1840 году, потомъ А. Ѳ. Гильфердингъ [1]). Въ 1843, постановленіемъ прусскаго сейма въ Кролевцѣ рѣшено ввести въ богослуженіе у Кашубовъ нѣмецкій языкъ, вмѣсто употреблявшагося духовенствомъ польскаго, но это постановленіе вслѣдствіе сильныхъ стараній и ходатайствъ со стороны Мронговіуса отмѣнено въ 1846 году, а въ 1852 введено было въ школахъ и въ гимназіи въ Вейеровѣ преподаваніе кашубскаго языка [2]). И племя и языкъ видимо таютъ и могутъ постепенно исчезнуть въ недалекомъ будущемъ. Главнымъ и, можно сказать, почти единственнымъ дѣятелемъ по письменности кашубской является докторъ Флоріанъ Цейнова, составившій кашубско-нѣмецкій словарь и написавшій подъ именемъ Войкашина множество книжекъ для народа [3]). Катихизисъ Лютера на

---

[1]) Писавшій объ нихъ въ книгѣ: «Остатки Славянъ на южномъ берегу Балтійскаго моря». С.-Петербургъ, 1862 (въ V выпускѣ Этнограф. Сборника Русск. Геогр. Общ. 1858).

[2]) И. Лавровскій, Этнографическій очеркъ Кашубовъ, въ «Филологическихъ Запискахъ», издаваемыхъ въ Воронежѣ Хованскимъ, 1873, вып. IV—V; П. Стремлеръ, Фонетика кашебскаго языка, въ этихъ же «Запискахъ», 1873, вып. III; 1874, вып. I и V.

[3]) Pjnc głovnech wóddzalov evangjelickjeho katechizmu, przełożeł Wojkasin ze Słavośena (Цейнова), 1861, v Svjecu nad Visłą.

— Rozmova Pólocha (Поляка) z Kaszebą, napjsano przez s. p. xędza Szmuka z

кашубскомъ языкѣ изданъ былъ впервые въ 1643 году, потомъ вторымъ изданіемъ въ 1752 и третьимъ, стараніями Мронговіуса, въ 1828 году.

Pucka a do dréku pódąno przez Sewa Wojkwojca ze Sławoséna, 1850; 2-е изданіе, 1865, въ Швецѣ.

— Ksążeczka dlo Kaszebow, przez Wojkasena. Ve Gdąnsku, 1850.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ЧЕШСКОЕ ПЛЕМЯ.

I. Чехи.

Чешская литература, одна изъ первостепенныхъ литературъ Славянства, имѣетъ значеніе не только въ средѣ собственно славянскихъ отношеній, но и болѣе широкій интересъ обще-историческій, какъ самый народъ чешскій оказалъ сильное и блестящее вмѣшательство въ судьбы западно-европейскаго просвѣщенія. Повторимъ опять давно сказанныя слова чужого наблюдателя — извѣстной нѣмецко-американской писательницы о Славянахъ, г-жи Тальви: „Изъ всѣхъ славянскихъ языковъ, одно чешское нарѣчіе и его литература могутъ возбудить болѣе общій интересъ въ сердцѣ читателя. Не столько, впрочемъ, своимъ характеромъ, въ которомъ оно мало отличается отъ другихъ славянскихъ нарѣчій, сколько тѣми замѣчательными обстоятельствами, которыя, во мракѣ выродившагося романизма, сдѣлали чешскій языкъ—за исключеніемъ голоса Виклефа—первымъ óрганомъ истины. Вліяніе Виклефа, какъ, впрочемъ, оно ни было велико и рѣшительно, тѣмъ не менѣе ограничивалось богословами и писателями того времени; его голосъ не нашелъ того отвѣтнаго отклика въ простомъ народѣ, который одинъ можетъ дать жизнь отвлеченнымъ ученіямъ. Въ Чехіи въ первый разъ эта искра блеснула живымъ пламенемъ, которое черезъ сто лѣтъ распространило освѣщающій огонь по всей Европѣ. Имена Гуса и Іеронима Пражскаго не могутъ погибнуть никогда, хотя меньшій успѣхъ сдѣлалъ ихъ менѣе извѣстными, чѣмъ имена Лютера и Меланхтона. Ни на одномъ языкѣ въ мірѣ Библія не была изучаема съ большей ревностью и благочестіемъ; ни одинъ народъ не былъ такъ готовъ запечатлѣть своею кровью свои права на слово Бога. Долгая борьба Чеховъ за свободу совѣсти и ихъ окончательное паденіе представляютъ одну изъ самыхъ поражающихъ трагедій, какія только можно найти въ человѣческой исторіи“. Но и

кромѣ этого всемірно-историческаго интереса, который полагаетъ центръ тяжести чешской жизни на эпохѣ Гуса и гуситовъ, въ средѣ отношеній славянскихъ чешская литература любопытна какъ отраженіе исторіи племени, поставленнаго въ непосредственную связь и борьбу съ Германствомъ, отчасти подчиняясь послѣднему, но, съ другой стороны, упорно отстаивая національную самобытность. Послѣ эпохи гуситской, наиболѣе яркимъ проявленіемъ этой самобытности было чешское Возрожденіе, ознаменовавшее конецъ прошлаго и нынѣшнее столѣтіе, когда чешская литература оказала сильное возбуждающее вліяніе и на національное возрожденіе другихъ славянскихъ племенъ [1]).

---

[1]) Литература предмета очень обширна. Укажемъ здѣсь только немногихъ авторовъ, въ томъ числѣ книги, популярно изложенныя,—другія указанія читатель найдетъ въ самомъ текстѣ.

По исторіи и описанію Чехіи см.:

— Frant. Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Прага, 1848 — 60; 2-е изданіе, тамъ же 1862; новѣйшее изданіе, для народа, съ біографіей автора, пис. Іос. Калоускомъ, портретомъ и съ указателями, Прага, 1878, 5 томовъ или 10 частей. Изданіе нѣмецкое, Geschichte von Böhmen, выходило съ 1836 года.

— V. V. Tomek, Исторія Чехіи, Исторія Праги, Исторія Австріи (см. въ текстѣ). Русскій переводъ: «Исторія Чешскаго королевства». Пер. В. Яковлева. Спб. 1868.

— Sommer, Das Königreich Böhmen. Prag, 1833—34. 12 томовъ.

— Čechy, země a národ, обширный трактатъ въ «Научномъ Словникѣ» чешскомъ, 1863, и отдѣльно. Отсюда: «Краткій очеркъ исторіи чешскаго народа», пер. Н. Задерацкаго, Кіевъ, 1872, и книжка: «Чехія и Моравія», изд. Слав. Благотв. Комитетомъ. Спб. 1871.

— J. E. Vocel, Pravěk země české. Прага, 1866—1868. Русскій переводъ Задерацкаго: «Древнѣйшая бытовая исторія Славянъ вообще и Чеховъ въ особенности». Кіевъ, 1875.

— Al. V. Šembera, Zapadni Slované v pravěku. Пр. 1868.

— Ѳ. Успенскій, Первыя славянскія монархіи на сѣверо-западѣ. Спб. 1872.

— Ant. Gindely, Geschichte der böhm. Brüder; Rudolf II und seine Zeit; Dějiny českého povstaní lèta 16 18, и проч., указаны въ текстѣ.

— Herm. Jireček, Slovanské právo v Čechách a na Moravě. Прага, 1863, 1864, 1872.

— Jar. Haněl, O vlivu práva německého v Čechách a na Moravě. Пр. 1874.

— А. Гильфердингъ, «Обзоръ исторіи Чехіи», въ Собр. Сочиненій, т. I, стр. 341—412, до Бѣлогорской битвы, и друг. статьи.

— Edm. Chojecki, Czechja i Czechowie przy końcu pierwszej połowy XIX-go stulecia. Berlin, 1846—47, 2 тома.

— По исторіи Моравіи, старыя книги: Pilar et Moravetz, Moraviae historia. Brun. 1785—87, 3 тома; Gebhardi, Geschichte des Reichs Mähren. Halle, 1797.

— Beda Dudik, Dějiny Moravy, 8 частей. Прага, 1875 — 79; другіе труды — въ текстѣ.

— D'Elvert, Beiträge zur Geschichte der Rebellion, Reformation, des 30-jährigen Krieges und der Neugestaltung Mährens in 17 Jahrh. Brünn, 1867.

— K. Kořistka, Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien. Wien und Olmütz, 1861.

— V. Brandl, Kniha pro každého Moravana, v Brně, 1863; о другихъ трудахъ—въ текстѣ.

— А. Будиловичъ, Нѣсколько данныхъ и замѣчаній изъ области общественной и экономической статистики Чехіи, Моравіи и Силезіи въ послѣдніе годы, — въ Слав. Сборникѣ, т. I, Спб., 1875, стр. 205—317 (съ указаніемъ литературы).

— Общія книги по исторіи Австріи, напр. Anton Springer, Geschichte Osterreichs seit dem Wiener Frieden 1809, 2 тома. Лейпц. 1863—65; Louis Léger, Histoire de l'Autriche-Hongrie depuis les origines jusqu'à l'année 1878. Paris, 1879, и друг.

Припомнимъ главнѣйшія черты чешской исторіи, которыми объясняется и самое положеніе литературы въ ея разные періоды. Не останавливаясь долго на темныхъ временахъ Боіевъ и Маркоманновъ, первыхъ обитателей чешской земли, скажемъ только, что Чехи и соплеменники ихъ Мораване являются несомнѣнно на своихъ нынѣшнихъ мѣстахъ съ V — VI столѣтія по Р. X., послѣ гуннскаго нашествія. Роль Славянства въ „переселеніи народовъ“ и дальнѣйшія отношенія его съ своимъ сосѣдствомъ до IX—X в., до сихъ поръ мало выяснены; но можно принять съ большимъ вѣроятіемъ, что еще задолго до исторіи достовѣрной Славяне чешскіе были во враждѣ и войнахъ съ Германцами. Иногда Западное Славянство успѣвало сплотить свои силы: такъ было въ половинѣ VII вѣка, когда полу-баснословный, впрочемъ, Само основалъ сильную славянскую монархію или союзъ, отражавшій Тю-

---

По языку:

— Старыя сочиненія: Іос. Добровскій, Geschichte der böhm. Sprache und ältern Literatur, Prag, 1818; Lehrgebäude der böhm. Sprache, Prag, 1819; П. І. Шафарикъ, Počátkové staročeské mluvnice. Пр. 1845.

— V. Zikmund, Skladba jazyka českého, v Litomyšli a v Praze, 1863.

— M. Hattala, Zvukosloví, 1854; Skladba, 1855; Srovnávací mluvnice, 1857, и пр.; подробнѣе въ текстѣ.

— Труды Гебауэра, Бартоша и друг.

— І. Юнгманнъ, Slovnik cěsko-německý. Прага, 1835—39, 5 томовъ; Челяковскій, Dodavky do Slovn. Jungm. Прага, 1851.

— Новые словари чешско-нѣмецкіе издавали: Іорданъ, Конечный, Шумавскій (2-е изд. Іос. Ранкъ); русско-чешскій—Ранкъ; англійско-чешскій—К. Іонашъ и лучше В. Е. Моурекъ; французско-чешскій—К. Фастеръ. Чешско-нѣмецкій, особенно грамматико-фразеологическій—Фр. Коттъ.

По исторіи литературы:

— J. Jungmann, Historie literatury české aneb soustavný přehled spisů českých s kratkou historií národu, osvícení a jazyka. 1-е изд. Прага, 1825; 2-е, 1849, большой томъ (трудъ чисто библіографическій).

— Al. V. Šembera, Dějiny řeči a literatury československé. Věk starši. Вѣна, 1858; 4-е изд. 1878. Věk novějši. Вѣна, 1861, 3-е изд. 1872.

— K. Sabina, Dějepis literatury české. Одинъ большой томъ (9 вып.). Прага, 1860—64.

— K. Tieftrunk, Historie liter. české. Прага, 1874—76, въ 2 выпускахъ; 2-е изд. 1880 (изданіе размноженное, въ одной книжкѣ).

— Vybor z liter. české. T. I, до Гуса, изд. Шафарикомъ, Пр. 1845; т. 2-й, изд. Эрбеномъ, Пр. 1857—64, 3 вып.

— Rozbor staročeske literatury. Пр. 1842—45, 2 тома.

— J. Jireček, Rukovět' k dějinam liter. české do konce XVIII věku. Пр., 1874—76, 2 части,—біографическій и библіографическій словарь. Его же: Anthologie. 1) изъ старой литературы, Пр., 1860; 2) изъ средняго періода, Пр., 1858; 3) изъ новой литер. Пр. 1861.

— Frant. Doucha, Knihopisný Slovník česko-slovenský etc. Co rukovět' přátelům literatury, zároveň co dodatek k Jungmannové «Hist. liter. české». Прага, 1863—65.

— Множество монографій разсѣяно въ журналахъ, особенно въ «Часописѣ Чешскаго Музея», съ 1827 г. и понынѣ, также въ Запискахъ корол. ученаго общества, въ журналахъ «Osvěta», «Světozor», «Květy», въ альманахахъ и проч.

— Біографическія свѣдѣнія даетъ въ изобиліи «Slovník Naučný», и біографическіе сборники, напр.: «Slavin. Pantheon, sbirka podobizen, autografů a životopisů přednich mužů československých» (текстъ составилъ Fr. Jar. Peřina). Прага, 1873, и друг.

ринговъ и Аваръ; потомъ въ IX вѣкѣ, когда основалась держава Велико-Моравская. Съ паденіемъ послѣдней чешское Славянство снова открыто было захватамъ нѣмецкаго племени и вмѣстѣ съ тѣмъ разнороднымъ вліяніямъ западной культурной жизни. Борьба двухъ племенныхъ стихій наполняетъ чешскую исторію и до настоящей минуты.

Эта борьба есть только одинъ, впрочемъ, наиболѣе замѣчательный эпизодъ изъ долгой, широко раскинувшейся борьбы германской и славянской расы: борьба шла съ отдаленнѣйшихъ вѣковъ, о которыхъ помнитъ исторія, на всей славяно-германской границѣ отъ западнаго края Балтійскаго моря до Адріатическаго. Славянскіе историки всего чаще давали своимъ сужденіямъ объ этомъ фактѣ оттѣнокъ сантиментальной элегіи, изображая Нѣмцевъ грубыми притѣснителями благодушнаго Славянства; но этимъ тономъ едвали точно опредѣляются дѣйствительныя отношенія: древнее Славянство само бывало не очень благодушно, да и международныя отношенія никогда не руководились человѣколюбіемъ и великодушіемъ. Писатели ультра-славянскіе (какъ наша московская школа), прибавляли, что Славянство представляло и высшій нравственно-общественный принципъ въ своей демократической общинности, а позднѣе—въ восточномъ христіанствѣ. Но каковы бы ни были національные характеры и при всѣхъ добрыхъ качествахъ славянскаго племени, дѣйствительно существующихъ, но слишкомъ часто сопровождаемыхъ мягкой расплывчатостью, при открытомъ реальномъ столкновеніи германскій элементъ обнаружилъ силу, какой не было въ славянскомъ мірѣ,—и нѣтъ даже до сихъ поръ. Примкнувъ еще къ античному римскому міру, Германство стало рано пріобрѣтать извѣстное просвѣщеніе, церковно-императорскую централизацію, солидарность съ другими народами европейскаго Запада, въ то время когда Славянство оставалось еще разсѣяно и разъединено, и при всѣхъ привлекательныхъ свойствахъ племеннаго характера, которыя признавались нерѣдко даже его врагами, не могло противопоставить Нѣмцамъ ни той же степени просвѣщенія, ни той же политической силы. Балтійское Славянство, крайнія поселенія котораго доходили, какъ говорятъ, почти до Рейна, Славянство полабское, исчезло въ этой борьбѣ почти безъ остатка, истребленное или онѣмеченное. Въ трагической защитѣ своей народности, оно возставало противъ нѣмецко-латинской проповѣди христіанства съ оружіемъ въ рукахъ. Но какъ ни мало внушаетъ сочувствія такая проповѣдь и позднѣе борьба католичества противъ восточнаго славянскаго христіанства на народномъ языкѣ,—въ нѣмецко-латинскомъ „просвѣщеніи“ была сторона чисто умственнаго движенія впередъ, которое совершалось отчасти въ связи, но также и совсѣмъ независимо отъ господствующихъ политическихъ и религіозныхъ началъ или даже наперекоръ имъ (какъ, напр., средне-вѣковые

опыты раціоналистической философіи) и сильно дѣйствовало въ литературной образованности: такъ, сами Чехи гордятся своимъ просвѣщеніемъ XIV вѣка, которое однако пришло изъ этого западнаго, латинскаго и нѣмецкаго источника.

Чешская исторія распадается вообще на три главные періода, которые опредѣляются различными моментами борьбы Чеховъ съ германизаціей и проявленій чешской національности. Высшимъ пунктомъ этой борьбы была эпоха гуситства, эпоха могущественнаго религіознаго возбужденія, которая представила вмѣстѣ высшій пунктъ чешскаго самостоятельнаго развитія и участія чешскаго народа во всемірной исторіи. Такимъ образомъ древній періодъ можно считать до 1403, или до начала гуситскихъ волненій; средній до 1620—1627, или до окончательнаго пораженія Чеховъ и наступленія католической реакціи; третій періодъ заключаетъ сначала времена католической реакціи и политическаго порабощенія, отразившихся крайнимъ упадкомъ чешской народности, и потомъ поворотъ къ возрожденію, обозначившійся съ конца XVIII столѣтія и положившій начало современному развитію чешской литературы. Если угодно, можно съ этого поворота начинать особый четвертый періодъ, какъ иногда и дѣлается.

Древнѣйшая исторія Чеховъ, по обыкновенію, „покрыта мракомъ неизвѣстности". Преданіе, записанное старою лѣтописью, разсказываетъ о древнемъ предводителѣ народа, Чехѣ, о баснословномъ Крокѣ и дочери его, княжнѣ Любушѣ, которая выбрала себѣ мужемъ простого поселянина Премысла, родоначальника княжеской и королевской династіи Премысловцевъ. Христіанство появляется у Чеховъ и Моравань еще съ первой половины IX столѣтія: въ 836 г. въ Нитрѣ была освящена христіанская церковь, въ 845 четырнадцать чешскихъ пановъ уже крестились въ Регенсбургѣ; но настоящее введеніе христіанства начинается только съ призванія Кирилла и Меѳодія княземъ Ростиславомъ моравскимъ, который хотѣлъ этимъ освободиться отъ церковнаго вліянія Нѣмцевъ; въ 873—874 чешскій князь Боривой крестился отъ Меѳодія при дворѣ Святополка моравскаго. Такимъ образомъ въ Чехіи, на Моравѣ (и у Словаковъ) господствовали два обряда: византійскій, съ славянскимъ языкомъ въ церкви, и римскій, съ церковнымъ языкомъ латинскимъ; но первый не былъ достаточно силенъ уже по одной отдаленности отъ Византіи, а паденіе Моравскаго царства въ Панноніи, разрушеннаго Венграми, совсѣмъ прервало эту связь и дало перевѣсъ нѣмецко-латинской церковности, — хотя преданіе славянскаго богослуженія держалось и долго послѣ. Въ то же время Чехія подпала съ X вѣка феодальной зависимости отъ нѣмецкихъ императоровъ, и съ тѣхъ поръ нѣмецкій элементъ въ Чехіи все больше и больше усиливается. Преобладаніе латинской церкви

кончилось совершеннымъ упадкомъ славянскаго богослуженія и кирилловской письменности въ Чехіи: Сазавскій монастырь, гдѣ еще держалось то и другое, въ 1096 г. сдѣлался окончательно латинскимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ теченіе XII и XIII столѣтій, начинаются и другіе признаки нѣмецкаго вліянія. До 1126 года (Собѣславъ I) придворные и земскіе порядки удерживали вполнѣ славянскій характеръ. Побѣда латинскаго духовенства была уже началомъ обнѣмеченія: чѣмъ дальше, тѣмъ больше въ чешскомъ обществѣ является стремленіе ввести тѣ привилегіи и исключительныя права (иммунитеты), которыя составляли характеристическую черту нѣмецкаго феодализма, и отъ духовенства, руководившагося властолюбивымъ духомъ касты, это стремленіе переходитъ и къ владѣльческому сословію. Политическія связи съ Нѣмцами, участіе въ крестовыхъ походахъ и нѣмецкихъ феодальныхъ войнахъ, еще болѣе усиливали вліяніе нѣмецкихъ нравовъ и политическихъ учрежденій: король *Вацлавъ I* (1230—1253) былъ почти намѣреннымъ германизаторомъ своей страны. Король и дворъ приняли не только нравы и обычаи, но даже нѣмецкій языкъ и литературу; сильнѣйшіе паны перенимали вкусы двора, и уже начали давать нѣмецкія имена своимъ зáмкамъ; привилегіи и иммунитеты въ нѣмецкомъ смыслѣ стали щедро раздаваться не только дворянамъ, но и городамъ; города устроивались на нѣмецкій ладъ не только для переселявшихся въ Чехію и Моравію Нѣмцевъ (призываемыхъ самими королями), но и для туземнаго населенія.

Тѣмъ не менѣе въ періодъ до 1253 г. въ Чехіи все еще преобладали славянскіе порядки. Съ этой поры, со вступленія на престолъ *Премысла Отакара II*, начинается положительное преобладаніе феодальныхъ учрежденій и нѣмецкихъ нравовъ. Правда, Чехія достигла въ это время высокой степени внѣшней силы, но славянскія начала внутренней жизни сильно пострадали отъ этого знаменитаго короля. Желая поддержать королевскую власть противъ богатой и опасной политически аристократіи, Отакаръ настроилъ новыхъ городовъ и крѣпостей, и населилъ ихъ по бóльшей части нѣмецкими колонистами и преданными людьми изъ низшаго дворянства и народа. Король отдалъ даже цѣлые края Чехіи Нѣмцамъ, которымъ покровительствовалъ, между прочимъ, какъ горнымъ промышленникамъ, доставлявшимъ ему большія денежныя богатства. Съ того времени начинается отдѣльное городское сословіе; феодальные порядки распространялись; судебная власть земства перенесена къ королю. Всѣ эти и подобныя мѣры подрывали старый славянскій бытъ, — хотя, собственно говоря, Отакаръ не былъ врагомъ своей чешской народности. Нѣкоторые изъ сильныхъ пановъ противились иногда Отакару, но вовсе не для сохраненія народнаго духа. Политическое значеніе Чехіи возрастало иногда въ эту

пору до весьма обширныхъ размѣровъ: она пріобрѣтала (и потомъ опять теряла) съ одной стороны Австрію, Штирію, Каринтію и приморскія земли до Тріеста, съ другой — Саксонію, Краковъ и даже Польшу: это политическое положеніе, среди запутанныхъ феодальныхъ и династическихъ распрей, было иногда несчастливо для нея, но иногда ставило ее на высокое мѣсто между европейскими государствами, и, главное, втягивало въ феодализмъ, вредно отзывавшійся внутри на положеніи народа.

Въ 1306-мъ году Премысловскій родъ прекратился и съ новой династіей славянскій бытъ Чехіи понесъ еще больше ущерба. Короли, выбираемые изъ чужихъ земель, особенно изъ Германіи, почти всегда, и очень естественно, оставались чужды чешскому національному интересу и руководились своими личными династическими соображеніями. *Янъ Люксембургскій* навсегда остался чужимъ чешской землѣ; проводя на чужбинѣ цѣлые годы, занятый вѣчными войнами, въ которыхъ онъ помогалъ своимъ заграничнымъ пріятелямъ, Янъ приходилъ въ Чехію только за деньгами или за войскомъ. Привязанность его къ чешской землѣ была такъ мала, что 1318 г. разнесся даже слухъ, что онъ вздумалъ выгнать Чеховъ изъ ихъ земли и занять ее одними Нѣмцами. Народъ, конечно, не могъ ни любить, ни уважать власти, которая отзывалась для него только разными способами выжиманія денегъ со стороны короля, и феодальнымъ угнетеніемъ отъ пановъ. Дурное впечатлѣніе, оставленное Яномъ, казалось долженъ былъ вполнѣ поправить его сынъ и преемникъ, Карлъ I, или впослѣдствіи императоръ нѣмецкій *Карлъ IV* (1346 — 1378), время котораго считается вообще одной изъ самыхъ счастливыхъ эпохъ чешской исторіи. Карлъ дѣйствительно любилъ свою чешскую родину, онъ снова привелъ Чехію въ цвѣтущее состояніе, достигая этого благоразумнымъ управленіемъ и дипломатической ловкостью. Самъ человѣкъ хорошо образованный по своему времени, онъ покровительствовалъ наукамъ и былъ основателемъ Пражскаго университета (1348), перваго университета въ средней Европѣ, предшествовавшаго всѣмъ подобнымъ учрежденіямъ Германіи. Пражскій университетъ, въ которомъ опять былъ сильный нѣмецкій элементъ, имѣлъ потомъ рѣшительное вліяніе на развитіе народнаго духа, и даже на историческую судьбу Чехіи: изъ него вышли люди, рѣшившіе переворотъ въ чешской жизни въ началѣ XV столѣтія. Искусства, промышленность, торговля чрезвычайно оживилась; самовластіе пановъ было укрощено. Но вмѣстѣ съ тѣмъ усиливалось и онѣмеченіе страны, до такой степени, что самъ Карлъ увидѣлъ необходимость поддерживать чешскую національность. Чешскіе историки восхваляютъ Карла и какъ законодателя,—но, разрушая остатки стараго земскаго устройства по странѣ и вводя вмѣсто него

феодальныя отношенія и патримоніальные суды, Карлъ IV, противъ воли и самъ того не сознавая, проложилъ дорогу послѣдующему порабощенію низшихъ слоевъ населенія. Сынъ его, *Вацлавъ IV*, долженъ былъ дѣйствовать въ эпоху, когда общественные и національные элементы дошли до крайняго броженія; успокоить волненіе было ему не по силамъ; какъ его отецъ, Вацлавъ также ревниво смотрѣлъ на притязанія духовенства и аристократіи, но не имѣлъ достаточно энергіи, чтобы совладѣть съ ними; они вынуждали его оружіемъ покоряться своей волѣ. Въ это же время произошла знаменитая схизма западной церкви, тотъ скандалезный споръ нѣсколькихъ папъ, который такъ сильно подорвалъ кредитъ римской іерархіи, не ослабивъ, впрочемъ, клерикальныхъ притязаній. Вацлавъ неудачно вмѣшивался и въ споры имперскихъ князей. Видя свою неудачу, онъ поручилъ управленіе брату своему Сигизмунду, но и тотъ, поссорившись съ нимъ, выдалъ его австрійскимъ владѣтелямъ, у которыхъ онъ пробылъ въ плѣну полтора года. Дѣла съ папами дошли до того, что Сигизмундъ запретилъ своимъ подданнымъ повиноваться распоряженіямъ Бонифація IX. Все это какъ нельзя больше помогало усиленію общественнаго недовольства, которое ясно высказывалось еще съ конца XIV вѣка, и Вацлаву IV пришлось быть свидѣтелемъ бури, которая должна была завершить развитіе враждебныхъ элементовъ, закончить борьбу оффиціальной церкви съ религіозной оппозиціей, выросшей въ обществѣ и народѣ, и борьбу феодализма съ требованіями свободы.

Мы видѣли постепенное усиленіе нѣмецкаго элемента, которое шло силою вещей, которому помогали сами короли, даже патріоты, какъ Отакаръ II. Связи съ Нѣмцами мало по малу усилили раздѣленіе сословій, феодализмъ; съ нѣмецкимъ устройствомъ произошло сильное измѣненіе національныхъ общественныхъ порядковъ, нравовъ и обычаевъ. Все это не проходило безъ слѣда въ народномъ сознаніи; столкновеніе съ чужими началами пробуждало національную энергію, и старый демократическій духъ, благодаря вліянію образованія, началъ складываться въ дѣятельную оппозицію. Крайній упадокъ королевскаго и клерикальнаго авторитета ускорилъ развязку. Все недовольство націи, вся жизненность подавляемыхъ инстинктовъ свободы и внушенія новыхъ идей, пріобрѣтенныхъ образованіемъ, вырвались наружу въ энергическомъ народномъ движеніи. Сообразно съ духомъ времени, оно приняло почти исключительно религіозную форму: началась реформа Гуса и гуситскія войны.

Мы не будемъ пересказывать подробностей этой національной трагедіи; достаточно указать, въ какихъ главныхъ направленіяхъ выразилась борьба чешскаго народа противъ католическо-феодальнаго порядка и вмѣстѣ въ защиту своей національности. Прежде всего под-

нялся вопросъ религіозный. Первымъ внѣшнимъ источникомъ, изъ котораго вышло новое движеніе, былъ Пражскій университетъ. Карлъ IV и пражскіе архіепископы его времени заботились еще прежде объ исправленіи жизни духовенства, начавшей скандализировать народъ, и поддерживали предшественниковъ чешской реформаціи, Конрада *Вальдгаузера* и *Милича* Кромержижскаго, которые уже начинали пробуждать общественное мнѣніе, хотя ихъ проповѣдь относилась еще не къ догмату, а къ церковной дисциплинѣ. Университеты распространяли между тѣмъ въ обществѣ свои знанія и приготовляли то общество, на которое должны были дѣйствовать послѣдующіе подвижники реформы. *Матвѣй изъ Янова*, переводчикъ цѣлой библіи на чешскій языкъ, шелъ уже дальше Конрада и Милича, но настоящія реформатскія попытки открываются только съ тѣхъ поръ, какъ въ Пражской высшей школѣ нашло пріемъ и успѣхъ ученіе Виклефа. Главными поддержками его были мистръ (магистръ) Янъ *Гусъ*, деканъ и потомъ ректоръ Пражскаго университета, и его другъ *Іеронимъ Пражскій*, чешскій дворянинъ. Въ первое время университетъ два раза (1403—1408) запрещалъ ученіе Виклефа, но не могъ остановить мысли, разъ поднятой, и она распространилась наконецъ и въ массахъ. Гусъ возсталъ противъ папскаго авторитета не только свѣтскаго, но и церковнаго; безпорядки въ жизни духовенства, явныя злоупотребленія и неправды только помогали распространенію оппозиціи въ обществѣ и народѣ. Когда Гусъ, въ слѣдствіе папскаго проклятія, долженъ былъ оставить Прагу, ученіе его распространилось и внѣ столицы. Преслѣдованіе духовной власти не остановило броженія, которое уже вскорѣ стало принимать широкіе размѣры; вскорѣ заговорили объ отнятіи имѣній духовенства, затѣмъ начали отвергать авторитетъ церкви вообще. Сожженіе Гуса и Іеронима Пражскаго имѣло слѣдствіемъ открытое возстаніе противъ духовенства. Послѣдователи Гуса отдѣлились отъ церкви и внѣшнимъ образомъ, принявъ таинство причащенія подъ обоими видами (sub utraque specie; оттого—„подобои“, „утраквисты“; отъ чаши, kalich — „калишники“). Теперь и Пражскій университетъ призналъ себя на сторонѣ реформы. Религіозныя волненія кончились кровопролитными гуситскими войнами, въ которыхъ чешскій народъ обнаружилъ изумительную энергію. Религіозный вопросъ сталъ вмѣстѣ могущественнымъ національнымъ вопросомъ; въ народѣ выросло сознаніе своей національной личности, которое и сдѣлало возможнымъ такое необыкновенное проявленіе силы. Національное движеніе шло такъ глубоко въ массы, что впослѣдствіи, спустя цѣлые вѣка, преданіе его могло оказать свою оживляющую силу — въ новѣйшемъ чешскомъ Возрожденіи. Народные инстинкты были затронуты съ самаго начала, потому что церковныя и политическія неустройства соединя-

лись съ господствомъ Нѣмцевъ: въ университетѣ нѣмецкая партія была консервативна; противъ реформы было употреблено чужое (считавшееся опять нѣмецкимъ по преимуществу) оружіе; возстаніе противъ феодализма, приведенное религіознымъ увлеченіемъ, было возстаніемъ въ пользу народа, его интереса матеріальнаго и національнаго. Разъ поднятые народные инстинкты уже не успокоивались до тѣхъ поръ, пока не высказались всѣ антипатіи, возбужденныя предыдущей исторіей, и всѣ исканія лучшаго религіознаго и общественнаго порядка. Броженіе народной мысли выразилось, какъ и слѣдовало ожидать, множествомъ самыхъ разнообразныхъ стремленій и заблужденій: тутъ были и мирные преобразователи и восторженные утописты, приверженцы преданія и раціоналисты, терпимость и фанатизмъ, аристократія и демократія, адамитство и хиліазмъ, соціализмъ и коммунизмъ. Гуситы скоро раздѣлились на умѣренныхъ и болѣе рѣшительныхъ реформаторовъ: одни довольствовались принятіемъ чаши въ обрядѣ причащенія и немногими другими улучшеніями, такъ что мало дѣлились отъ католиковъ; другіе отвергли всякій клерикальный авторитетъ и положили своимъ единственнымъ закономъ священное писаніе. Но, среди всѣхъ увлеченій и крайностей, которыя были неизбѣжны въ поднявшейся массѣ цѣлаго народа, ясно высказалось, во-первыхъ, отвращеніе отъ испорченной церкви, во-вторыхъ, оппозиція противъ аристократіи и феодализма (въ своемъ собственномъ устройствѣ Табориты доходили до коммунизма), наконецъ, чувство самосохраненія народности. Табориты и Сиротки прямо говорили, что они сражаются не только за вѣру, но и за народность. Нѣмцы скоро увидѣли, что начавшееся религіозное движеніе было вмѣстѣ демократическое и національное: они или стали на сторонѣ враговъ гуситизма и гибли, или бѣжали въ сосѣднія страны въ надеждѣ вернуться въ болѣе благопріятное время, — такъ что нѣмецкій элементъ, такъ долго и старательно вводимый, вдругъ исчезъ почти совсѣмъ изъ чешской земли, уцѣлѣвши только въ болѣе отдаленныхъ краяхъ... Но Табориты, которые выдержали нѣсколько католическихъ крестовыхъ походовъ чуть не съ цѣлой Европы, пали отъ внутреннихъ раздоровъ. Разныя гуситскія партіи не сходились въ своихъ цѣляхъ и средствахъ; Базельскій соборъ не успѣлъ помирить Европу съ гуситами и внесъ новыя несогласія въ среду послѣднихъ: умѣренные „калишники“ присоединялись къ католикамъ; феодалы ободрились. Въ битвѣ у Липанъ (1434), императорско-феодальная армія разбила городское и народное войско. Эта битва, кончившая пятнадцатилѣтнюю гуситскую войну, нанесла рѣшительный ударъ начинаніямъ народа, въ которыхъ было столько чистыхъ и благородныхъ стремленій. Но волненія не окончились; съ паденіемъ Таборитовъ, гуситизмъ не былъ сломленъ, и по смерти им-

ператора Сигизмунда на чешскій престолъ избранъ былъ предводитель гуситской партіи, Юрій Подѣбрадъ. Правленіе *Подѣбрада* (1438—71),— одна изъ блестящихъ и характерныхъ эпохъ чешской исторіи, — доставивши нѣкоторое спокойствіе странѣ, не могло однако возстановить народнаго дѣла. Церковная реакція стала пріобрѣтать больше и больше силы уже при его преемникѣ, *Владиславѣ* Ягеллонѣ, и хотя запись Кутногорскаго сейма въ 1485 г. надолго остановила церковные споры, объявивъ свободу исповѣданія въ Чехіи, но, съ другой стороны, судьба народа подверглась новымъ опасностямъ. Начались внутренніе соціальные споры, борьба сословій, въ которой народу осталась послѣдняя роль. Аристократія послѣ погрома снова собрала свои силы, и съ конца того же XV столѣтія, которое видѣло самые рѣзкіе взрывы демократизма и равенства, открылся порядокъ вещей, приготовившій будущее окончательное порабощеніе и закрѣпленіе народа. Сами „подобои" и „Братская Община" способствовали этому порабощенію,—проповѣдуя, что всякая власть идетъ отъ Бога, и поддерживая законъ, что всякій, кто не власть, долженъ быть подъ властью, и кто не панъ, долженъ повиноваться и принадлежать пану. Споры между городами и дворянствомъ, составляющіе исторію этого времени, шли мимо народа. Угнетеніе народа произвело нѣсколько крестьянскихъ возстаній, но всѣ они были частныя и отдѣльныя; кровопролитныя усмиренія остановили ихъ.

Съ начала XVI вѣка Чехія на свою бѣду выбрала себѣ короля изъ Габсбургскаго дома (1526), который не перестаетъ благодѣтельствовать ей и до сихъ поръ. Съ *Фердинандомъ* начались религіозныя преслѣдованія, несмотря на объявленную прежде свободу исповѣданія; съ развитіемъ Лютеровой реформаціи, въ Чехіи появилось много лютеранъ изъ прежнихъ противниковъ католической церкви; Фердинандъ преслѣдовалъ ихъ и „Чешскихъ Братьевъ", подъ предлогомъ, что тѣ и другіе не были настоящими утраквистами (которые были терпимы). Ко второй половинѣ XVI столѣтія положеніе еще ухудшилось; вслѣдствіе мѣръ Габсбургскихъ королей, лютеранское населеніе, составлявшее большую массу народа, непризнаваемое оффиціально, лишенное всякой централизаціи, административной и моральной, распадалось и теряло свою нравственную силу. Внѣшнее положеніе общества и народа соотвѣтствовало религіозному разброду; королевскій дворъ былъ нѣмецкій, съ пріемами испанско-австрійскаго и „апостолическаго" деспотизма, и короли едва выучивались немного по чешски: придворная аристократія, всего больше католическая, пополнялась иностранцами, собиравшимися изъ другихъ владѣній габсбургскаго короля, и становилась совсѣмъ чужой для народа; политика правительства была чисто католическая и династическая.

Съ Фердинанда идетъ уже видимое паденіе чешскаго дѣла и самой Чехіи. Габсбурги умѣли воспользоваться ослабленіемъ націи послѣ гуситскихъ бурь, для двухъ цѣлей своей политики — господства католичества и абсолютизма. Въ теченіе ста лѣтъ этотъ переворотъ совершился.

Гуситизмъ не достигъ своей цѣли — образованія новой церкви. Принесши громадныя жертвы этой идеѣ, народъ утомился, а между тѣмъ революціонный переворотъ, какимъ былъ гуситизмъ, вызвалъ реакцію. Гуситская церковь, условно допущенная Базельскимъ соборомъ, все-таки отвергалась папами; ея послѣдователи разныхъ оттѣнковъ не въ состояніи были придти къ единству и прочной организаціи, и когда явилась нѣмецкая реформація, гуситизмъ распался: одни возвратились къ чистому католицизму (иногда сохраняя только „чашу", изъ которой давали имъ причащеніе и сами іезуиты), другіе примкнули къ лютеранству и кальвинизму,—и Чехія должна была снова выносить на себѣ тяжелыя послѣдствія начавшейся борьбы католицизма съ реформой. Народная свобода, которой искалъ гуситизмъ въ своихъ общественныхъ стремленіяхъ, также не была достигнута; уже вскорѣ послѣ гуситскихъ войнъ, Подѣбрадъ долженъ былъ бороться противъ притязаній аристократіи. Въ концѣ-концовъ послѣдняя пріобрѣла господствующее положеніе.

Фердинандъ, ставъ чешскимъ королемъ, стремился объединить Чехію съ другими своими землями подъ однимъ испанско-австрійскимъ абсолютизмомъ и, слѣдовательно, подавить всѣ вольности и права чешскихъ сословій. Горожане и аристократія пытались бороться противъ этихъ притязаній,—но у нихъ уже не было старой энергіи и онѣ покорились безпрекословно, когда Фердинандъ явился съ войскомъ. „Кровавый сеймъ" 1547 ограничилъ права чешскихъ чиновъ; аристократію Фердинандъ пощадилъ, но горожане сильно пострадали; „чешскіе братья" были изгнаны. Въ 1556 были призваны въ Чехію первые іезуиты. Съ упадкомъ „чиновъ", аристократія одна представляла собой дѣло чешской національности, и въ ея средѣ шла послѣдняя борьба за народную автономію. Недолгое правленіе *Максиміліана*, отличавшагося мягкой терпимостью, не измѣнило сущности положенія. По представленію чешскаго сейма, Максиміліанъ отмѣнилъ въ 1567 знаменитые Базельскіе компактаты, которыми гуситы надѣялись нѣкогда примирить свое ученіе съ преданіемъ западной церкви: за три года передъ тѣмъ Фердинандъ добился утвержденія этихъ компактатовъ со стороны папы, такъ что они стали гуситской уніей и открыли дорогу для іезуитской пропаганды. Въ ихъ отмѣнѣ опять пріобрѣтена была свобода исповѣданія, и чешскіе гуситы окончательно слились съ западными протестантами. Съ правленіемъ *Рудольфа*, безхарактернаго,

иногда полупомѣшаннаго, католицизмъ сталъ захватывать все больше и больше вліянія, трудами придворной іезуитской партіи, къ которой стали переходить и сильные чешско-моравскіе магнаты, какъ Словата (выброшенный потомъ съ Мартиницомъ изъ окна пражскаго замка), Карлъ изъ Лихтенштейна, знаменитый Альбрехтъ-Вячеславъ изъ Вальдштейна (Валленштейнъ).

Старая гуситская борьба перешла теперь въ борьбу чешскихъ пановъ съ придворной іезуитско-магнатской партіей, которая еще усиливалась оттого, что Рудольфъ избралъ Прагу своей столицей. Партія іезуитско-магнатская не останавливалась передъ самыми наглыми мѣрами для достиженія своихъ цѣлей, такъ что дѣло дошло до возстанія въ Венгріи, Австріи и Моравіи. Возставшіе признали правителемъ брата Рудольфа, *Матвѣя*; свобода проповѣданія и земская автономія были возстановлены; но Мораване, предводителемъ которыхъ былъ знаменитый Карлъ изъ Жеротина, не успѣли привлечь къ участію Чеховъ. Рудольфъ остался въ Чехіи; въ минуту опасности онъ обѣщалъ дать Чехіи свободу исповѣданія, но потомъ отказался, — такъ что въ 1609 почти готово было и здѣсь вооруженное возстаніе; чешскіе паны побоялись однако принять рѣшительныя дѣйствія, удовлетворились такъ-называемымъ „маестатомъ", грамотой величества, которую вынужденъ былъ Рудольфъ подписать и которая, конечно, представляла мало прочнаго. Въ 1611 произошло такъ-называемое „Пассавское нападеніе", неудавшаяся попытка реакціонной партіи подавить противниковъ съ помощью иноземнаго войска, отнять у протестантовъ уступленныя имъ права и отнять у Матвѣя его земли. Вслѣдствіе вторичнаго похода Матвѣя на Чехію Рудольфъ долженъ былъ отказаться отъ престола. Матвѣй не примирилъ однако протестантской партіи, а между тѣмъ въ 1617, въ Прагѣ, коронованъ былъ какъ наслѣдникъ престола, злѣйшій врагъ Чехіи, Фердинандъ II. Католическая партія дошла до насилій, закрывала и разрушала протестантскія церкви, и на жалобу Чеховъ Матвѣй отвѣчалъ, что это дѣлалось по его приказаніямъ. Разрывъ былъ неминуемъ и завершился извѣстнымъ событіемъ 23-го мая 1618 г., когда Чехи выбросили въ окно двухъ королевскихъ намѣстниковъ съ правительственнымъ секретаремъ. Это была послѣдняя борьба Чеховъ за національную свободу. Они сначала одержали верхъ надъ императорскимъ войскомъ, и когда тѣмъ временемъ Матвѣй умеръ (1619), выбрали въ чешскіе короли курфюрста пфальцскаго, *Фридриха*;—но успѣхъ былъ не долгъ; чешское дѣло, перешедши въ руки иностранныхъ союзниковъ, открыло тридцатилѣтнюю войну. Сама Чехія погибла при самомъ началѣ этой борьбы. Дѣло рѣшилось печально-знаменитой битвой при Бѣлой Горѣ у Праги, 8 ноября 1620.

Дѣло Чехіи пало потому, что оно велось уже не народомъ,—кото-

рый нѣкогда такъ побѣдоносно защищалъ свою страну въ гуситскія войны. „Дѣло чешской аристократіи, — говоритъ Гильфердингъ, — не могло уже стать народнымъ дѣломъ. Между аристократіей и народомъ какъ будто не осталось ничего общаго. Народъ началъ возставать только нѣсколько лѣтъ спустя, когда дѣло было уже окончательно проиграно аристократіей и когда габсбургское мщеніе, со всѣми своими ужасами, коснулось непосредственно домашняго очага поселянина: тогда было поздно, и эти частныя вспышки простонародья легко тушились въ потокахъ крови. Но пока дѣйствовала одна аристократія, и хотя она поднялась и пошла въ бой за независимость отечества, за права Чешской земли, за свободу народнаго исповѣданія, народъ однако оставался совершенно равнодушнымъ къ борьбѣ. Онъ поставлялъ рекрутъ въ земскую рать, когда являлись ихъ требовать, но не выходилъ изъ апатіи, въ которую привела его сама аристократія, сосредоточивъ въ себѣ всю земскую жизнь. Вожди движенія до такой степени чувствовали слабость свою, что рѣшились нанять къ себѣ въ службу иностраннаго генерала Мансфельда съ 14-ти тысячнымъ корпусомъ войскъ, который былъ имъ набранъ въ разныхъ краяхъ Германіи“...

Послѣ Бѣлогорской битвы совершается окончательный упадокъ Чехіи. *Фердинандъ II* воспользовался побѣдой какъ подобало католическому фанатику того времени. Судьба Чехіи за это время была по истинѣ ужасна. Вслѣдъ за страшными казнями, конфискаціей имѣній, заключеніемъ главныхъ зачинщиковъ, началось преслѣдованіе цѣлаго населенія; всѣ не-католики, не соглашавшіеся перейти къ католической церкви, подверглись изгнанію, — лютеранскіе и „братскіе“ священники, потомъ горожане, наконецъ дворяне и рыцари. Эти десятки тысячъ семействъ ждали сначала, что придутъ для нихъ болѣе счастливыя времена возврата на родину, но наконецъ многочисленные чешскіе роды безъ слѣда заглохли въ земляхъ, ихъ пріютившихъ. Тридцатилѣтняя война, вслѣдъ за Бѣлогорской битвой, сдѣлавшая Чехію одной изъ главныхъ своихъ сценъ, окончательно привела страну въ упадокъ: Чехи, разоренные нравственно, были разорены и матеріально. Наконецъ, дѣло обращенія въ католичество, взятое на себя іезуитами, было исполнено ими съ обыкновеннымъ усердіемъ; масса народа забыла старое протестантство, за исключеніемъ немногихъ его послѣдователей, особенно „братскаго“ толка, скрывавшихся въ тайнѣ. Чешскія „сословія“ (къ которымъ прибавилось духовное) потеряли всякое участіе въ законодательствѣ; въ городахъ исчезли всѣ слѣды прежней свободы подъ гнетомъ имперскихъ судей и чиновниковъ; у всего народа отнято даже воспоминаніе о прежнемъ литературномъ развитіи—систематическимъ уничтоженіемъ чешскихъ книгъ. Образованность прежняго времени исчезла. Цифра населенія страшно упала.

Въ теченіи XVII и XVIII столѣтій чешскій народъ, почти совершенно превратившійся въ одно чешское простонародье, подчиненное высшимъ нѣмецкимъ или онѣмечившимся классамъ, жилъ почти растительною жизнью, потерявши всякую мысль о національной самостоятельности и свободѣ. Въ концѣ XVIII столѣтія наступили времена просвѣщеннаго абсолютизма, но *Іосифъ II*, при всей гуманности своихъ стремленій, сдѣлался начинателемъ той германизаторской системы, на которую Чехи продолжають жаловаться до-сихъ-поръ. Съ этого времени начинаетъ дѣйствовать усиленная централизація, которая должна была отнять у отдѣльныхъ земель ихъ мѣстныя историческія права и отличія и подвести подъ одну бюрократическую мѣрку. Но принудительныя мѣры противъ чешскаго историческаго права и народнаго языка, который окончательно устранялся изъ оффиціальной жизни, вызвали однако еще разъ отпоръ со стороны націи: языкъ, изгнанный изъ школъ и управленія, нашелъ ревнителей въ нѣсколькихъ патріотахъ и возрождался въ книгѣ. Національное стремленіе опредѣлилось: съ послѣднихъ годовъ XVIII столѣтія, съ правленія Іосифа II, считаетъ свое начало новая чешская литература, ознаменовавшая возрожденіе чешскаго народа.

Іосифъ II не успѣлъ осуществить своихъ плановъ; послѣ кратковременнаго правленія его брата, *Леопольда II*, который, кажется, хотѣлъ дать болѣе простора мѣстнымъ автономіямъ, новое направленіе внутренней политики проводилъ сынъ Леопольда, *Францъ I*, съ 1804 первый императоръ *австрійскій*. Онъ опять, какъ и его отецъ, короновался въ Прагѣ, но испуганный французской революціей, смотрѣлъ съ опасеніемъ на какія-нибудь народныя права, и хотя оставилъ за земскими сеймами права, какими они пользовались до Іосифа II, но его царствованіе, въ которомъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ знаменитый Меттернихъ, было образцомъ правленія обскурантнаго, реакціоннаго. Національное возрожденіе, начавшееся со временъ Іосифа, возростало силою вещей между славянскими народами Австріи; ему всячески мѣшала подозрительная бюрократія, но національные интересы всякихъ племенъ все больше выбивались изъ-подъ ферулы и искали себѣ свободнаго выраженія. При *Фердинандѣ V*, сынѣ и преемникѣ (съ 1845) Франца,—коронованномъ въ Прагѣ еще въ 1836,—бюрократическій гнетъ нѣсколько ослабѣлъ, и общественное мнѣніе стало смѣлѣе высказываться противъ абсолютизма. Въ 1847 чешскій сеймъ рѣшился даже отказать въ одномъ налогѣ, который былъ постановленъ правительствомъ—дѣло неслыханное. Наконецъ, въ 1848, въ Австріи отразилась революція, вспыхнувшая во Франціи. Старый порядокъ рухнулъ сразу; императоръ отставилъ Меттерниха, бюрократія растерялась и разнородные политическіе элементы Австріи высказались:

Ломбардо-Венеція возстала, чтобы присоединиться къ Италіи; Венгрія стремилась пріобрѣсти отдѣльное правленіе и исключительнымъ мадьярствомъ вызвала сопротивленіе Хорватіи; нѣмецкія области (а также богемскіе Нѣмцы) высказались за германское единство и посылали депутатовъ во франкфуртскій парламентъ; Чехи (въ первый разъ въ собраніи 11 марта) настаивали на сохраненіи государственнаго единства, но требовали выполненія своего историческаго права и уравненія народностей. Правительство обѣщало конституціонныя учрежденія, разрѣшило чешскій сеймъ, потомъ объявляло о выборахъ въ вѣнскій обще-государственный сеймъ, а между тѣмъ въ странѣ происходили выборы въ обще-германскій парламентъ франкфуртскій. Эти національныя и правительственныя противорѣчія дали поводъ къ славянскому съѣзду, который собрался въ Прагѣ 2 іюня 1848 изъ главныхъ представителей славянскихъ народовъ Австріи и долженъ былъ обдумать и принять мѣры къ обезпеченію ихъ судьбы. Совѣщанія сейма были прерваны рѣзней въ Прагѣ (революціонной случайностью, которая не была дѣломъ народа, но была эксплуатирована реакціонной партіей), 12 іюня; но вѣнскій государственный сеймъ собрался и успѣлъ провести законъ объ отмѣнѣ крѣпостного права; послѣ осады и взятія Вѣны Виндишгрецомъ и Елачичемъ, сеймъ перенесенъ былъ въ Кромѣржижъ (Кремсъ) въ Моравіи, выработалъ здѣсь проектъ конституціи,—но уже поздно. Консервативная партія оправилась, и министерство князя Шварценберга и гр. Стадіона было началомъ реакціи. Въ декабрѣ 1848, императоръ Фердинандъ отказался отъ престола въ пользу своего племянника *Франца-Іосифа.* Несмотря на молодость, новый императоръ показалъ себя достойнымъ Габсбургомъ. Въ мартѣ 1849 онъ распустилъ имперскій Кромѣржижскій сеймъ, въ тоже время обнародовалъ свою, „жалованную" конституцію, а затѣмъ, осмотрѣвшись, когда венгерское возстаніе, главнымъ образомъ силами Россіи, было подавлено, а революціонныя силы уже не были страшны, въ августѣ 1851 отмѣнилъ недавно данную конституцію, въ декабрѣ того же года давъ новыя обѣщанія и опять ихъ не исполнивъ. Изъ общественныхъ пріобрѣтеній недавняго времени осталось только уничтоженіе крѣпостного права и патримоніальнаго управленія. Взамѣнъ всѣхъ конституцій возобновлена была бюрократическая централизація стараго закала, съ прежнимъ господствомъ Нѣмцевъ и полицейскихъ порядковъ. Во главѣ управленія сталъ упорный централистъ и консерваторъ Бахъ, съ которымъ возвратились времена Меттерниха. Положеніе Чеховъ и чешской народности опять стало невыносимо; нѣкоторое право, которое чешскій языкъ пріобрѣлъ-было въ школѣ, было опять почти потеряно, такъ какъ чиновничество ставило всякія препятствія его примѣненію. Но на этотъ разъ, язва абсолютизма назрѣла скорѣе. Новая

система требовала много денегъ, а налоги истощили государство; война съ Франціей и Италіей кончилась потерей богатыхъ итальянскихъ провинцій. Старая система пала снова, и Францъ-Іосифъ 20 октября 1860 издалъ манифестъ „къ своимъ народамъ“ и неотмѣнимый „дипломъ“, которымъ народы Австріи опять призывались къ конституціонному участію въ рѣшеніи государственныхъ дѣлъ. Это было, повидимому, дѣйствительное намѣреніе исполнить желанія народовъ Австріи, направленныя къ федерализму; но уже скоро произошелъ поворотъ въ другую сторону, и 26 февраля 1861 появился такъ-называемый „патентъ“ (составленный нѣмецкой централистической партіей и исполнителемъ котораго былъ Шмерлингъ), который долженъ былъ служить дополненіемъ диплома, а въ сущности сильно подрывалъ мѣстныя автономіи, перенося главный центръ политическаго дѣйствія отъ мѣстныхъ сеймовъ въ рейхсратъ, усиливая особой системой выборовъ нѣмецкій элементъ въ представительствѣ и централистическую партію. Протесты Чеховъ противъ этого положенія вещей повели только къ упорному преслѣдованію чешской журналистики. Въ 1866, Австрія получила новый политическій урокъ подъ Садовой, и правительство опять стало помышлять о примиреніи съ „своими народами“. Всего настоятельнѣе казалась правительству необходимость соглашенія съ Венгріей, и этого должна была достигнуть основанная въ 1867 г. система „дуализма“, по которой политическое господство было раздѣлено между Нѣмцами, господствовавшими въ Цислейтаніи, и Венграми. Для австрійскаго Славянства, и въ частности для Чеховъ положеніе еще ухудшилось: національная историческая автономія утверждена была только за Венграми, но за то должна была быть стѣснена у народовъ другихъ земель. Предоставивъ, въ земляхъ „венгерской короны“, господство мадьярскому элементу, какъ государственному, правительство должно было стараться и въ Цислейтаніи создать такое же политическое единство съ преобладаніемъ Нѣмцевъ—иначе, съ мѣстными автономіями въ Цислейтаніи, сильнѣйшимъ ядромъ всего государства могли стать Венгры. Правда, были введены нѣкоторыя либеральныя реформы, облегчившія внутренній политическій бытъ у самихъ Чеховъ, но въ вопросѣ конституціонномъ правительство встрѣтилось съ довольно стойкимъ сопротивленіемъ славянскихъ федералистовъ, особенно единодушнымъ у Чеховъ. Какъ Венгры стояли за „корону св. Стефана“, такъ Чехи настаивали на историческомъ правѣ „чешской короны“, и когда вѣнское правительство, при соглашеніи („Ausgleich“) 1867 года, предоставило Венграмъ участвовать въ опредѣленіи отношеній Венгріи къ Австріи, а въ Цислейтаніи просто предложило Славянамъ присылать своихъ депутатовъ въ вѣнскій рейхсратъ, Чехи открыли конституціонную борьбу: если бы они не послали своихъ депутатовъ

въ рейхсратъ, онъ по конституціонному праву становился некомпетентнымъ и во всякомъ случаѣ терялъ авторитетность правильнаго общегосударственнаго представительства: этимъ средствомъ Чехи и воспользовались, и съ 1867 не посылали въ Вѣну своихъ представителей. Въ апрѣлѣ 1867 они протестовали въ чешскомъ сеймѣ противъ выборовъ въ рейхсратъ; лѣтомъ того же года произошла поѣздка Славянъ въ Москву, съ чешскими предводителями, Палацкимъ и Ригеромъ, во главѣ; въ іюлѣ 1868 происходило тождественное празднованіе 500-лѣтняго юбилея рожденія Гуса; въ августѣ Чехи издали декларацію въ защиту своего историческаго права — все это были яркія національныя манифестаціи, на которыя правительство отвѣчало объявленіемъ въ Прагѣ осаднаго положенія. Чехи однако не уступали, и ненормальное положеніе длилось. Такъ какъ объединенія Цислейтаніи достичь было невозможно, въ послѣдніе годы Венгрія дѣйствительно получала преобладающій голосъ въ дѣлахъ Австріи, и для самихъ Нѣмцевъ являлось желательнымъ примиреніе съ Славянствомъ и федерализмомъ для противодѣйствія венгерскому преобладанію... Въ 1879 году правительство предприняло попытку въ этомъ направленіи и намекнуло на уступки: тогда Чехи послѣ многихъ лѣтъ прекратили свою пассивную оппозицію и послали въ вѣнскій рейхсратъ своихъ депутатовъ— въ ожиданіи, что ихъ національность получитъ при этомъ свои выгоды. Осуществятся ли ихъ ожиданія,—покажетъ будущее.

Таковы историческія обстоятельства, въ которыхъ развивалась чешская литература. Сообразно съ этими главными событіями народной жизни, историки чешской литературы принимаютъ обыкновенно въ ея исторіи четыре періода: древній, идущій до первыхъ началъ гуситства (до 1403); второй, обнимающій гусситскую эпоху (до 1620); третій, періодъ паденія націи и литературы до реформъ Іосифа II (приблизительно до 1770 — 80); наконецъ новѣйшій періодъ Возрожденія, съ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка [1]). Если вообще можетъ быть принято подобное разчисленіе литературы по годамъ, то здѣсь оно особенно можетъ имѣть мѣсто, такъ-какъ переходы литературнаго развитія совершались параллельно съ рѣзкими характеристическими явленіями исторической жизни, какъ возростаніе гуситства, его трагическое паденіе въ первой половинѣ XVII столѣтія и замѣчательное возрожденіе чешской народности съ конца прошлаго вѣка.

---

[1]) Новѣйшій историкъ чешской литературы, Тифтрункъ, въ 1-мъ изданіи своей книги принимаетъ четыре періода: 1-й—до 1410; 2-й—до 1620; 3-й—до 1774 (до удаленія чешскаго языка изъ школы и управленія); 4-й—до нашего времени. Во 2-мъ изданіи онъ считаетъ только три періода: 1-й—до 1410; 2-й—до второй половины XVIII вѣка («богатое развитіе *прозы*, но и большой упадокъ литературы»); 3-й—новѣйшая литература. Чешскіе критики одобряли это дѣленіе; но, по нашему мнѣнію, имъ скрадывается періодъ національнаго упадка, особенно съ Бѣлогорской битвы.

Главныя событія чешско-моравской исторіи.

Половина V-го вѣка до Р. Х.: приходъ чешскаго народа въ страну. Борьба съ германскими племенами.

627—642 (или 625—655). Славянское государство Само, обнимавшее Чехію, Моравію и сосѣднюю Дунайскую область.

Въ Моравіи:

803—Зависимость Моравіи отъ Франковъ.

836—Первая христіанская церковь въ Нитрѣ.

846—Паденіе и плѣнъ моравскаго князя Моймира. Ростиславъ.

863—Призваніе Кирилла и Меѳодія.

870—Святополкъ выдалъ Ростислава Людовику Нѣмецкому; смерть Ростислава.

873—Боривой, чешскій князь, крестится отъ Меѳодія.

894—Смерть Святополка. Моймиръ II.

895—Сыновья Боривоя, Спитигнѣвъ и Вратиславъ, принимаютъ покровительство нѣмецкаго государства.

906—Паденіе велико-моравскаго государства. Моравія присоединяется къ Чехіи.

928—935. Князь чешскій, Вацлавъ I, святой.

967—999. Болеславъ II.

1037—1055. Бретиславъ I, чешскій князь. Присоединеніе Моравіи (послѣ подчиненія ея Венгріи и Польшѣ) къ Чехіи.

1061—1092. Вратиславъ II; съ 1086 первый чешскій *король*.

1197—1230. Премыслъ Отакаръ I. Наслѣдственное королевство въ родѣ Премысловцевъ.

1197—Моравское маркграфство, съ братомъ Премысла Отакара, Владиславомъ-Генрихомъ, подъ властью Чехіи. Оживленіе Моравіи и вмѣстѣ начало германизаціи, черезъ нѣмецкихъ колонистовъ.

1230—1253. Король Вацлавъ I.

1253—1278. Премыслъ Отакаръ II.

Половина XIII вѣка: въ Моравіи, опустошенія отъ Татаръ и Половцевъ.

1306—Прекращеніе династіи Премысловцевъ, умерщвленіемъ Вацлава III.

1310—Начало Люксембургской династіи, до 1437.

1346—1378. Король чешскій Карлъ I (императоръ германскій Карлъ IV).

1378—1419. Вацлавъ IV.

1415, 6 іюля. Сожженіе Гуса въ Констанцѣ.

1419—1434. Гуситскія войны.

1424—Смерть Жижки.

1434—Битва у Липанъ.

1438—1471. Юрій Подѣбрадъ. 1452, окончательное паденіе Табора.

1471—1517. Владиславъ II Ягеллонъ.

1517—Свято-вацлавскій договоръ. Людовикъ Ягеллонъ.

1526—Смерть Людовика Ягеллона въ битвѣ при Могачѣ.

1526—1564. Фердинандъ I, первый король изъ Габсбурговъ, избранный чешскими чинами. Моравія вступаетъ подъ власть Габсбурговъ вмѣстѣ съ Чехіей.

1564—Максимиліанъ II. Новое усиленіе протестантовъ въ Моравіи.

1576—Рудольфъ II. Католическая реакція.

1608—Братъ Рудольфа, Матвѣй—маркграфъ моравскій; война съ Рудольфомъ.
1609—Королевская грамота, объявлявшая свободу протест. исповѣданія.
1611—Отреченіе Рудольфа отъ престола. Матвѣй—король чешскій.
1617—Коронованіе Фердинанда I въ чешскіе короли, какъ наслѣдника престола.
1618—Чешское возстаніе. Начало 30-лѣтней войны.
1619—Смерть Матвѣя. Избраніе въ Чехіи Фридриха Пфальцскаго. Фердинандъ II. Присоединеніе Моравaнъ къ возстанію.
1620, 8 ноября. Битва при Бѣлой-Горѣ.
1621—Казни въ Прагѣ.
1627—«Возобновленное земское устройство». Изгнаніе утраквистовъ. Іезуиты.
1648—Вестфальскій миръ. Паденіе и запустѣніе Чехіи.
1680—Крестьянское возстаніе.
1711—Карлъ VI.
1745—Потеря Силезіи.
1773—Закрытіе іезуитскаго ордена.
1775—Облегченіе крѣпостного права.
1780—1790. Іосифъ II.
1781—Патентъ о вѣротерпимости.
1784—Іосифъ II отослалъ чешскую корону въ архивъ императорской казны.
1791—Леопольдъ II короновался въ Прагѣ.
1804—Францъ, первый императоръ *австрійскій*.
1815—Нижняя Лузація и часть Верхней уступлены Саксоніею Пруссіи, и имп. Францъ отказался отъ леннаго права чешской короны на эти земли. Вступленіе Австріи въ Германскій союзъ безъ спроса о согласіи чешскаго сейма.
1836—Коронованіе Фердинанда, какъ наслѣдника престола, въ Прагѣ.
1845—Фердинандъ V.
1848—Революціонныя волненія. 2 іюня—открытіе славянскаго съѣзда въ Прагѣ. 12 іюня—уличныя стычки въ Прагѣ и бомбардированіе. 2 декабря—отреченіе Фердинанда и вступленіе на престолъ Франца-Іосифа.
1849, 4 марта. Распущеніе сейма въ Кремсѣ (Кромѣржижѣ), и октроированная для всей имперіи конституція; 30 декабря—новая конституція Чешскаго королевства.
1851, 20 августа. Отмѣна названныхъ конституцій; 31 декабря—новый патентъ (господство централистической системы Баха).
1859—Австрія теряетъ Ломбардо-Венеціанское королевство. Паденіе Баха.
1860, 20 октября. Императорскій «дипломъ», призывавшій народы къ конституціонному участію въ правленіи.
1861—Февральскій «патентъ».
1866—Австро-прусская война («der 7-tägige Krieg»).
1867—Система дуализма. Поѣздка Славянъ на этнографическую выставку въ Москву.
1868—Празднованіе 500-лѣтней памяти рожденія Гуса.
1879—Вступленіе Чеховъ въ рейхсратъ.

---

1. Древній періодъ.

Христіанство пришло въ Чехію и Моравію изъ двухъ источниковъ, латино-нѣмецкаго и греко-славянскаго. Съ двумя обрядами богослуженія явилась и двоякая письменность, латинская и кирилловская. Латинское письмо могло явиться еще въ языческія времена въ сношеніяхъ съ Нѣмцами, а со времени крещенія моравскаго князя Моймира, оно, вѣроятно, утвердилось; но враждебныя отношенія съ Нѣмцами мѣшали утвержденію латинскаго христіанства, и тогда Ростиславъ, князь моравскій, призвалъ Меѳодія, который впослѣдствіи назначенъ былъ отъ папы архіепископомъ Моравіи и крестилъ также чешскаго князя Боривоя и его жену, Людмилу, — причисленную потомъ къ числу чешскихъ святыхъ. Древняя легенда о св. Вячеславѣ, сохранившаяся въ русскихъ памятникахъ, говоритъ, что Людмила сама списывала книги и отдала своего внука, Вячеслава, учиться „словенскимъ книгамъ". По преданію, еще въ половинѣ XI вѣка существовала въ Вышеградѣ славянская школа (famosum studium sclavonicae linguae), гдѣ учился и св. Прокопій, аббатъ Сазавскаго монастыря, построеннаго для него княземъ Ольдрихомъ. Преданіе приписало этому Прокопію кирилловскую часть знаменитаго (кирилло-глаголическаго) Реймскаго евангелія.

Но греко-славянскій обрядъ и соединявшаяся съ нимъ кирилловская письменность очень рано стали уступать обряду и письму латинскому. Упадокъ первыхъ начался уже вскорѣ по смерти Меѳодія; ревностнымъ распространителемъ латыни былъ особенно пражскій епископъ Войтѣхъ, въ концѣ X столѣтія. Кирилловская письменность, нашедшая пріютъ въ Сазавскомъ монастырѣ, оставалась исключеніемъ; папа осуждалъ славянское богослуженіе и, наконецъ, въ исходѣ XI вѣка, Сазавскій монастырь былъ отданъ латинскимъ монахамъ. Съ тѣхъ поръ латинскій обрядъ получилъ окончательное господство, и такъ какъ уже совершилось раздѣленіе церквей, то Чехія стала католической. Есть, однако, историческія указанія, что остатки стараго преданія сохранялись отчасти въ народѣ, напр., что причащеніе подъ обоими видами (хлѣбъ и вино) держалось до самыхъ временъ Гуса, когда оно стало однимъ изъ лозунговъ народнаго религіознаго движенія у Чеховъ; что еще въ XIV вѣкѣ были люди „схизматики и невѣрные" (по выраженію папской буллы 1346 г.), не принимавшіе ученія на латинскомъ языкѣ,—и для нихъ-то Карлъ IV основалъ, съ разрѣшенія папы, славянскій монастырь Эммаусы, гдѣ монахи-глаголиты, призванные изъ Босніи, Далмаціи и Хорватіи, совершали богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Чешскіе ученые предполагали глагольскую

письменность и въ древніе вѣка своей старины; по соображеніямъ другихъ ученыхъ, существующіе памятники чешской глаголиты могли принадлежать болѣе поздней эпохѣ, именно глаголитамъ эммаусскимъ [1]).

Но памятники этой древнѣйшей эпохи не сохранились, ни кирилловскіе, ни глаголическіе, кромѣ самыхъ скудныхъ остатковъ. Единственнымъ живымъ слѣдомъ славянской церковности у Чеховъ осталась коротенькая духовная пѣсня *Hospodine pomiluj ny* [2]), сохранившаяся только въ спискѣ XIV вѣка и приписываемая прежде св. Войтѣху (ум. 997). По мнѣнію Добровскаго, пѣсня эта была гораздо старѣе, и Шафарикъ относилъ ее если не къ самимъ славянскимъ апостоламъ Кириллу и Меѳодію, то къ ихъ ближайшимъ ученикамъ; по мнѣнію Макушева, она могла быть составлена сазавскими монахами XI вѣка [3]).

Переходимъ къ мудреному вопросу старо- и ново-чешской литературы, сильно волнующему славянскихъ ученыхъ особенно въ послѣдніе годы.

Во всѣхъ новѣйшихъ литературахъ Европы съ конца прошлаго и

---

[1]) О старо-чешской письменности есть значительная литература:

— I. J. Hanuš, Das Schriftwesen und Schriftthum der böhmisch-slovenischen Völkerstämme in der Zeit des Ueberganges aus dem Heidenthume in das Christenthum. Prag, 1867.

— Е. Новиковъ, Православіе у Чеховъ, въ «Чтеніяхъ» Моск. Общ. Исторіи и Древностей, 1848.

— W. Wattenbach, Die slawische Liturgie in Böhmen und die altrussische Legende von heiligen Wenzel. Breslau, 1857.

— А. Гильфердингъ, Гусъ. Его отношеніе къ православной церкви. Спб. 1871.

— К. Невоструевъ, О восточн й церкви у Чеховъ и о старой службѣ св. Вячеславу; Rad jugoslav. akad. 1872. XXI.

— P. J. Schaffarik, Glagolitische Fragmente. Prag, 1857.

— И. Срезневскій, Глагольскіе отрывки, найденные въ Прагѣ, въ «Извѣстіяхъ» II отдѣленія академіи, т. VI, 1857; о кіевской глагольской рукописи, въ «Трудахъ» 3-го археологич. съѣзда, т. II, и въ Сборникѣ русскаго отдѣл. акад., т. XV.

— Jos Kolář, въ «Часописѣ» Чешскаго Музея, 1875, II, и 1878, III.

— Ad Patera, Ceské a starobulharské glossy XII stoleti, въ «Часописѣ» 1878, IV.

— В. Макушевъ, Изъ чтеній о старо-чешской письменности. Филолог. Зап., Воронежъ, 1877, вып. IV—VI; 1878, вып. III. Къ этимъ статьямъ мы особенно обращаемъ читателя.

— О Реймскомъ евангеліи, которое употреблялось при коронованіи французскихъ королей, есть цѣлая литература. См. П. Билярскаго, Судьбы церк. языка. II. Спб., 1848; Макушева, тамъ же и др

[2]) Vybor z lit. české, I, 27; Hanuš, Malý vybor etc. Пр. 1863, стр. 64—66.

[3]) Памятники, въ которыхъ прямо или косвенно сохранились слѣды кирилловскаго преданія у Чеховъ, слѣдующіе:

— Такъ называемыя паннонскія житія св. Кирилла и Меѳодія.

— Житіе св. Вячеслава, князя чешскаго, сохранившееся въ старыхъ русскихъ рукописяхъ.

— Служба и канонъ въ честь св. Вячеслава, въ русскихъ рукописяхъ.

— Реймское евангеліе.

— Пражскіе и кіевскіе глагольскіе отрывки церковныхъ службъ.

— Старо-болгарскія глоссы, рядомъ съ чешскими, открытыя въ рукописи XII вѣка Ад. Патерой.

Наконецъ, различныя указанія историческія.

особенно съ начала нынѣшняго столѣтія открылось усиленное изученіе и реставрація старины. За рѣдкими исключеніями, гдѣ старина литературная помнилась по исключительной славѣ отдѣльныхъ произведеній, памятники ея для новѣйшаго общества были открытіемъ, какъ нѣсколько позднѣе была открытіемъ и живая поэзія народная. Это любопытство къ старинѣ возникало и изъ движенія исторической науки и изъ самой жизни, искавшей новыхъ общественныхъ опоръ и національнаго сознанія. Результаты этихъ изученій дѣйствительно повліяли и на расширеніе научно-историческихъ идей и вмѣстѣ на постановку общественно-національныхъ вопросовъ. Археологія и этнографія вмѣшались въ практическую жизнь; возбуждая національные инстинкты, онѣ становились немаловажнымъ факторомъ въ политическихъ движеніяхъ. У славянскихъ народовъ онѣ въ особенности играли эту роль въ восторженныхъ порывахъ національнаго Возрожденія. Выше говорено, какое сильное впечатлѣніе въ этомъ смыслѣ произвело появленіе на литературной аренѣ сербской народной поэзіи. У Чеховъ въ ту пору еще не было ничего подобнаго; не появлялось никакого яркаго факта національной старины или современности, который могъ бы произвести равное дѣйствіе. Начались усиленныя заботы о розысканіи національныхъ сокровищъ: современная народная поэзія не была замѣчательна; поэтому обратились къ старинѣ, — это и больше отвѣчало уже существовавшей привычкѣ къ книжной археологіи. Хлопоты не остались безплодны. Со второго десятилѣтія нашего вѣка у Чеховъ сдѣланъ былъ длинный рядъ открытій: искомыя сокровища нашлись.

Такъ какъ судьба этихъ произведеній тѣсно связана съ новѣйшими вопросами чешской литературы, то необходимо остановиться на нихъ подробнѣе, и притомъ въ связи съ этой новѣйшей литературой.

Въ хронологическомъ порядкѣ, съ 1816 явился слѣдующій рядъ новыхъ открытій:

Въ 1816 открыта была Іосифомъ Линдой, въ то время студентомъ (о немъ рѣчь далѣе), *Пѣсня подъ Вышеградомъ*, на пергаменномъ переплетѣ старой книги. Самъ Добровскій относилъ пѣсню къ XIII вѣку.

Въ 1817, въ сентябрѣ, Вацлавъ Ганка нашелъ на чердакѣ церковной башни, въ городкѣ Краловѣ-дворѣ, 12 пергаменныхъ листковъ маленькаго формата, составлявшихъ остатокъ обширной рукописи. Эти листки, съ оригинальнѣйшими эпическими поэмами изъ древне-чешской старины и лирическими пѣснями, получили названіе *Рукописи Краледворской*. Ее отнесли къ XIII—XIV вѣку.

Въ 1818, когда оберъ-бургграфъ Чешскаго королевства, графъ Коловратъ-Либштейнскій издалъ, въ апрѣлѣ, воззваніе къ любителямъ

наукъ и патріотамъ съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ для учреждавшагося тогда Чешскаго Музея, въ ноябрѣ онъ получилъ по городской почтѣ четыре пергаменныхъ листа, съ безъименнымъ письмомъ какого-то патріота, говорившаго, что эти заброшенные листки идутъ изъ фамильнаго архива одного аристократа, „заклятаго Нѣмца“, который скорѣе сжегъ бы ихъ, чѣмъ пожертвовалъ для Чешскаго Музея. На листкахъ оказалось два эпическихъ отрывка съ тэмой изъ древнѣйшей старины. Это былъ знаменитый потомъ *Любушинъ Судъ* (съ 1859, рукопись стали называть Зеленогорской), предполагаемый древнѣйшій остатокъ чешской письменности X, даже IX вѣка.

Въ 1819, опять на пергаменномъ переплетѣ старой рукописи найдена была *Любовная пѣсня короля Вацлава I* и при ней „Олень“, одна изъ пѣсенъ „Краледворской рукописи“; нашелъ ее нѣкто Янъ-Непомукъ Циммерманъ, тогда скрипторъ при университетской библіотекѣ, который и послалъ находку чешскому оберъ-бургграфу. Патріоты съ прискорбіемъ замѣчали, что у Циммермана было еще нѣсколько подобныхъ листковъ, но они были у него унесены вѣтромъ въ открытое окно. Ганка считалъ рукопись „Любовной пѣсни“ лѣтъ на сто древнѣе „Краледворской Рукописи“.

Въ 1827, когда нѣмецкій профессоръ Граффъ, разсматривалъ въ Чешскомъ Музеѣ, вмѣстѣ съ библіотекаремъ Музея Ганкой, рукопись средневѣковаго словаря *Mater Verborum*, въ словарѣ сдѣлано было важное открытіе,—именно: при латинскихъ словахъ оказались, рядомъ съ глоссами или толкованіями старо-нѣмецкими, также замѣчательныя чешскія глоссы и, кромѣ того, въ прекрасныхъ миніатюрахъ рукописи оказались имена писца Вацерада, иллюминатора Мирослава, и годъ написанія, прочтенный сначала за 1102, потомъ за 1202. Рукопись относятъ теперь къ XIII вѣку.

Въ 1828, Ганка открылъ, опять на переплетѣ книги „Disciplina et doctrina gymnasii Gorlicensis“ (Гёрлицъ, Згорѣлецъ), отрывки чешскаго перевода евангелія отъ Іоанна. Это—такъ-называемые *Згорѣльскіе Отрывки*, которые отнесены были чешскими учеными къ X вѣку.

Наконецъ, много позднѣе, въ 1849, Ганка сдѣлалъ еще послѣднее открытіе: именно, подъ швомъ переплета рукописи XV вѣка онъ нашелъ обрѣзки пергамена, на которыхъ оказались написанными „Пророчества Любуши“, въ чешскихъ стихахъ. Латинскій текстъ этихъ пророчествъ, отнесенный чешскими учеными къ XIV вѣку, былъ открытъ имъ раньше.

Эти открытія, именно первыя, составляли фактъ великой важности. Ранѣе извѣстны были только немногіе и мало-оригинальные памятники чешской старины; но здѣсь открывались такіе горизонты древности, о какихъ только могло мечтать національное чувство патріота. Въ

чешской древности оказывались произведенія, какія бываютъ гордостью литературъ: чешская письменность уходила своими началами въ отдаленнѣйшіе вѣка, представляла замѣчательные плоды древней самобытной поэзіи и образованности, давала національности длинную и славную генеалогію. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, какъ Згорѣльскіе отрывки представляли у Чеховъ столь же древній памятникъ христіанскій, какъ Фрейзингенскіе отрывки у Словинцевъ, „Любушинъ судъ“ давалъ невиданную нигдѣ въ славянскомъ мірѣ поэму изъ эпохи до-христіанской, съ рѣзко заявленнымъ національнымъ противоположеніемъ Славянства Германству; „Mater Verborum“ своими чешскими глоссами, именами писца и искуснаго рисовальщика свидѣтельствовала о замѣчательномъ состояніи чешской образованности (какъ предполагалось, на переходѣ изъ XI въ XII столѣтіе), и въ глоссахъ, при толкованіи латинскихъ миѳологическихъ именъ и другихъ словъ, давала опять невѣдомыя дотолѣ указанія на славяно-чешскую языческую теогонію и древнѣйшій бытъ; „Краледворская Рукопись“ являлась образчикомъ эпическихъ народно-искусственныхъ поэмъ, которыя, за исключеніемъ одного „Слова о Полку Игоревѣ“, были неслыханнымъ явленіемъ въ славянскихъ литературахъ; такой же образчикъ древней поэзіи представляли „Пѣсня подъ Вышеградомъ“ и „Любовная пѣсня короля Вацлава“.

Знаменитѣйшіе изъ перечисленныхъ памятниковъ — „Судъ Любуши“ и Краледворская Рукопись.

„Судъ Любуши“ заключаетъ въ себѣ два отрывка: во-первыхъ, девять стиховъ, составляющихъ, какъ предполагается, конецъ описанія сейма о родовомъ управленіи, и во вторыхъ, 111 стиховъ, представляющихъ начало разсказа о судѣ княжны Любуши въ спорѣ двухъ братьевъ, Хрудоша и Стяглава о наслѣдствѣ. По важности спора, Любуша созвала сеймъ изъ „кметовъ, лѣховъ и владыкъ“: она сѣла въ блестящей ризѣ на „золотой отчій столъ“, около нея стали двѣ мудрыя дѣвы, одна съ „досками правдодатными“, другая съ мечомъ, карающимъ кривду, передъ ними были „правдовѣстный пламень“ и подъ ними „святоцудная вода“ (орудія божьяго суда). Сеймъ, размысливъ о вопросѣ княжны, рѣшилъ, что братья должны владѣть наслѣдствомъ вмѣстѣ. Но буйный Хрудошъ воспротивился рѣшенію и оскорбилъ Любушу словами, что „горе мужамъ, которыми владѣетъ жена“. Любуша предложила сейму выбрать между собою мужа, который бы владѣлъ ими „по желѣзу“ — потому что дѣвичья рука для этого слаба. Отрывокъ кончается извѣстными стихами:

«Nechvalno nám v Němcech iskati pravdu,
u nás pravda po zákonu svatu
juže prinesechu otci naši
v seže (žirné vlasti pres tri reky)»....

Основная тэма стихотворенія нашлась у латино-чешскаго лѣтописца, Козьмы Пражскаго.

Не менѣе сильное впечатлѣніе произвела открытая годомъ ранѣе Краледворская Рукопись: время ея чешскіе ученые полагали между 1290—1310 годами, или нѣсколько раньше. Эта рукопись, красиво написанная на маленькихъ листкахъ пергамена, составляетъ только небольшую часть первоначальнаго сборника: именно въ ней сохранились только конецъ 25-й, 26-я, 27-я, и начало 28-й главы *третьей* книги. Эти четыре неполныя главы одной третьей книги заключаютъ шесть большихъ поэмъ и восемь мелкихъ пьесъ: можно было поэтому судить о богатствѣ цѣлаго сборника, который притомъ былъ вѣроятно не единственный въ своемъ родѣ. Словомъ, Краледворская Рукопись, кромѣ ея наличнаго содержанія, давала угадывать цѣлую область національнаго эпоса и лирики въ чешской литературѣ до XIV вѣка. Не смотря на свой поздній вѣкъ, рукопись наряду съ поэмами напримѣръ XIII столѣтія, сохранила и произведенія замѣчательной древности, которыя наряду съ „Судомъ Любуши" открывали цѣлую картину языческаго быта Чехіи,—произведенія, отличавшіяся притомъ такими чертами народно-поэтическаго творчества, что большая часть критиковъ принимали ихъ прямо за самый народный эпосъ, перенесенный на пергаменъ. Лирическія пѣсни Крал. Рукописи имѣли свои параллели въ народной поэзіи славянскихъ племенъ, и предполагались записанными прямо изъ устъ народа или народнаго пѣвца. Въ другихъ пьесахъ надо было видѣть поэзію уже искусственную, хотя по содержанію она оставалась національной.

Изъ всѣхъ поэмъ Краледворской Рукописи, древнѣйшею по содержанію и складу считалась эпическая поэма *Забой и Славой*, гдѣ описывается освобожденіе Чеховъ отъ какого-то иноземнаго короля двумя героями Забоемъ и Славоемъ,—событіе это неизвѣстно изъ исторіи, но его относили не позже какъ къ IX столѣтію, или даже къ первой половинѣ VIII вѣка. Чешская старина рисуется здѣсь въ яркихъ чертахъ, съ энергическимъ чувствомъ народной свободы, могучими боевыми подвигами, жертвами языческимъ „богамъ-спасамъ" и съ воспоминаніями о славномъ пѣвцѣ Люмирѣ, который „словами и пѣньемъ двигалъ Вышеградомъ и всѣми областями". Другая поэма, *Честмиръ и Влаславъ*, разсказываетъ о пораженіи луцкаго князя Властислава храбрымъ Честмиромъ или Цтимиромъ, воеводой князя Неклана,—событіе, извѣстное изъ Козьмы Пражскаго и другихъ чешскихъ лѣтописцевъ и относящееся къ первой половинѣ IX вѣка. Здѣсь та же картина героическихъ подвиговъ и языческихъ нравовъ; но, несмотря на сходство сюжета, состоящаго въ разсказѣ о битвахъ, походахъ и жертвоприношеніяхъ, „Честмиръ" имѣетъ свои особенности. Затѣмъ *Олень*—

поэтическая картина смерти юноши, льстиво убитаго въ горахъ лютымъ врагомъ: „лежитъ юноша молодецъ въ холодной землѣ, на юношѣ растетъ дубецъ, дубъ, раскладывается въ сучья шире и шире“. Въ этомъ небольшомъ разсказѣ чешскіе критики видятъ отпечатокъ далекой древности [1]). *Яромиръ и Ольдрихъ*—отрывокъ, которымъ начинаются уцѣлѣвшіе листы рукописи: здѣсь прославляется пораженіе Болеслава Храбраго, короля польскаго, и освобожденіе Чеховъ отъ польскаго владычества, въ 1004 г. *Збыгонь*, небольшая пьеса, также какъ „Олень“ соединяетъ эпическій тонъ съ лирическимъ, но не считалась столько первобытно-древней,—она разсказываетъ о похищеніи милой у юноши: онъ тоскуетъ о ней въ лѣсу съ голубемъ, у котораго коршунъ отнялъ голубицу, но потомъ юноша бросается въ зàмокъ, убиваетъ „молотомъ“ Збыгоня и побиваетъ всѣхъ людей въ его зàмкѣ. Освобожденная голубка летала, гдѣ хотѣла, въ лѣсу съ голубкомъ, и спала съ нимъ на одной вѣткѣ; освобожденная дѣвушка „ходила тамъ и здѣсь, вездѣ, гдѣ хотѣла,—съ милымъ спала на одной постелѣ“. Поэма *Бенешъ Германовъ*, въ рукописи называемая „О побитьи Саксонцевъ“, относится опять къ событію 1203 г., извѣстному исторически. Это пораженіе Саксонцевъ Бенешемъ (извѣстнымъ по чешскимъ грамотамъ 1197—1220 г.) произошло въ отсутствіе короля Отакара I, когда въ Чехію вторглось войско маркграфа Мейссенскаго, мстившаго за удаленіе королевы Аделаиды. „Бенешъ“ уже отличается отъ упомянутыхъ произведеній своимъ содержаніемъ и формой; это образчикъ искусственной поэзіи, историческая пѣсня со строфами, не только описаніе „побитья“, но и лирическое выраженіе радости о спасеньи отъ врага. Дальше пѣсня *Людиша и Люборъ*, озаглавленная въ рукописи „О славномъ сѣданьи“, т.-е. турнирѣ, описываетъ турниръ, происходившій будто бы во времена какого-то древняго князя залабскаго, хотя турниры были введены у Чеховъ не раньше XIII столѣтія. Одна изъ самыхъ большихъ пьесъ Краледворской Рукописи, *Ярославъ*, названная въ подлинникѣ „О великихъ бояхъ Христіанъ съ Татарами“, относится къ извѣстной исторически побѣдѣ Ярослава изъ Штернберга надъ Татарами въ 1241, при Ольмюцѣ,—побѣдѣ, освободившей отъ Татаръ Моравію. Чешскіе критики находили, что въ „Ярославѣ“ народная поэзія является на вершинѣ своего искусственнаго развитія: весь складъ поэмы,—разсказъ о прекрасной татарской (русской) княжнѣ Кублаевнѣ; о побѣдѣ у Ольмюца и гибели монгольскаго царевича; о чудѣ на Гостинѣ; извѣстное намѣренное распредѣленіе матеріала,—по-

---

[1]) Палацкій говорилъ объ этой пѣснѣ: «Та, преимущественно свойственная славянскимъ народнымъ пѣснямъ, символика природы, въ отношеніи къ субъективнымъ моментамъ человѣческой жизни, всего сильнѣе выступаетъ въ этой пѣснѣ и даетъ ей таинственный, мистическій тонъ».

буждали критиковъ заключать, что эта поэма была дѣломъ автора, знакомаго съ искусственными поэмами тѣхъ временъ, что здѣсь уже является вліяніе средневѣковаго романтизма.—Наконецъ, маленькія пьесы: *Вѣнокъ*, *Ягоды*, *Роза*, *Кукушка*, *Жаворонокъ*, считаются за народныя пѣсни, занесенныя въ сборникъ непосредственно изъ устъ народа, съ чертами, знакомыми и въ современной народной поэзіи славянской.

Два эти открытія въ особенности измѣнили прежнее представленіе о чешской старинѣ, давая вмѣстѣ неожиданный матеріалъ для ея историческаго объясненія. На основаніи этихъ произведеній стали отличать разные періоды чешской образованности, отъ эпохи языческой и чисто-славянской до эпохи искусственной поэзіи и легендарной романтики подъ нѣмецкимъ вліяніемъ: между „Забоемъ“ и „Ярославомъ“ надо было предположить вѣка литературнаго развитія. Большинство чешскихъ историковъ принимали, что древнѣйшія пѣсни „Краледворской Рукописи“ составляютъ произведенія народной, а не искусственной поэзіи, и сравнивали ихъ съ эпосомъ Сербовъ и Русскихъ. Внѣшность древнѣйшихъ пѣсенъ измѣнялась, конечно, отъ поколѣнія къ поколѣнію, но въ нихъ сохранились однако отголоски отдаленнѣйшаго быта; присутствіе языческаго элемента объяснялось какъ въ „Словѣ о полку Игоревѣ“, причемъ припоминали, что язычество держалось долго по введеніи христіанства, что еще въ XI — XII столѣтіи чешскій князь Бретиславъ выгонялъ изъ страны гадателей и чародѣевъ, велѣлъ сжечь рощи и деревья, почитаемыя народомъ, и вообще истреблялъ еще жившіе въ народѣ языческіе обычаи.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ эти находки открывали перспективу въ историческую жизнь далекихъ вѣковъ, онѣ получали чрезвычайное значеніе въ настоящемъ, давая пищу для національной гордости и самосознанія. Ни одинъ славянскій народъ не обладалъ такимъ богатствомъ древнихъ поэтическихъ памятниковъ — особенно если принять въ соображеніе, что въ Краледворской Рукописи дошла до насъ лишь небольшая доля обширнаго сборника. Необычайное открытіе было сильнымъ возбужденіемъ тѣхъ національныхъ стремленій, которыми исполненъ былъ тогда тѣсный, а потомъ все болѣе размножавшійся кругъ патріотовъ. Они имѣли славное прошедшее; ихъ трудъ — не строить все вновь, а возсоздавать уже существовавшее нѣкогда богатство національной жизни. Древнія поэмы свидѣтельствовали о свободномъ и независимомъ отношеніи къ Нѣмцамъ: уже въ IX — X вѣкѣ сказано было, что „непохвально искать у Нѣмцевъ правды“ — оставалось исполнять завѣтъ предковъ, данный тысячу лѣтъ назадъ, чтобы достигнуть національной самобытности. Подъ этими впечатлѣніями складывалось изученіе прошедшей исторіи, развивалась новѣйшая ли-

тература. „Любушинъ Судъ“ и „Краледворская Рукопись“ стали національнымъ сокровищемъ.

Ихъ двойное, научно-историческое и національное значеніе отразилось и на другихъ славянскихъ литературахъ. Эти памятники стали для славянскихъ ученыхъ (лишь съ тремя-четырьми исключеніями, о которыхъ далѣе) одними изъ драгоцѣннѣйшихъ подлинныхъ свидѣтельствъ о чешской, а иногда и обще-славянской древности, языкѣ, миѳологіи, правахъ и обычаяхъ, образованности; ссылками на „Любушинъ Судъ“, Краледворскую Рукопись, „Mater Verborum“, подтверждались миѳологическія теоріи, изысканія о древнемъ общинномъ бытѣ, о формахъ древней славянской поэзіи и т. д., не только у чешскихъ ученыхъ (какъ Шафарикъ, Палацкій, Эрбенъ и пр.), но не меньше того у ученыхъ русскихъ (Бодянскій, Срезневскій, Аѳанасьевъ, Буслаевъ, Котляревскій, Гильфердингъ, К. Аксаковъ и пр.). На этихъ памятникахъ начинало учиться чешскому языку новое поколѣніе нашихъ славистовъ, которымъ Любуша и герои Краледворской Рукописи были такъ же близко знакомы, какъ герои русской лѣтописи и Слова о полку Игоревѣ. Въ представленіи обще-славянскаго единства, въ сознаніи славянской культурной особности, извѣстныхъ преимуществъ національнаго характера, древнія чешскія поэмы принесли свою немалую долю вліянія, какъ сербскій эпосъ, какъ Несторова лѣтопись и другіе первостепенные памятники славянской литературной старины.

Но та радость и удовлетвореніе, какія доставляли чешскіе памятники своими историческими, поэтическими, національными достоинствами, были однако неполны. Съ самаго начала возникло фатальное подозрѣніе, сначала о нѣкоторыхъ, а потомъ о всѣхъ остальныхъ упомянутыхъ выше открытіяхъ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ, что онѣ— *подложны*. Когда явились первыя открытія былъ еще живъ „патріархъ“ славянской филологіи, знаменитый аббатъ Добровскій. При первомъ взглядѣ на „Любушинъ Судъ“, между прочимъ представлявшій необычныя палеографическія особенности, онъ объявилъ его фальсификатомъ; Краледворской Рукописью онъ самъ восхищался; повѣрилъ-было „Пѣсни о Вышеградѣ“, но впослѣдствіи призналъ подлогъ и въ этой пѣснѣ и потомъ въ Згорѣльскихъ отрывкахъ. Подъ вліяніемъ приговора Добровскаго, въ Прагѣ долго не рѣшались напечатать „Судъ Любуши“; о Згорѣльскихъ отрывкахъ онъ обѣщалъ молчать, если будетъ молчать Ганка,—но Добровскій сообщилъ свое мнѣніе Копитару, на случай, если бы потомъ эти отрывки были изданы. Когда „Любушинъ Судъ“ былъ все-таки напечатанъ, Добровскій (въ 1824) открыто назвалъ это произведеніе подлогомъ. Съ тѣхъ поръ подозрѣніе не прекращалось; послѣ Добровскаго, на немъ упорно настаивалъ Копитаръ, къ которому послѣ присоединился, молчаніемъ отрицавшій эти открытія —

Миклошичъ. Подозрѣнія падали всего болѣе на Ганку, который былъ разнымъ образомъ прикосновенъ къ этимъ открытіямъ. Здѣсь была главная причина той вражды, которую въ Прагѣ питали къ Копитару, какъ недоброжелательному отрицателю и „Мефистофелю", и которая перешла потомъ къ нѣкоторымъ изъ русскихъ ученыхъ. Вопросъ становился серьёзенъ, и потому въ 1840, Шафарикъ и Палацкій, двѣ главныя ученыя силы у Чеховъ, сдѣлали спеціальное изданіе, снабженное большимъ ученымъ аппаратомъ, и которое должно было побѣдоносно доказать подлинность „Любушина Суда", Згорѣльскихъ отрывковъ и пр. Графъ Матвѣй Тунъ въ 1845 издалъ, съ предисловіемъ Шафарика, нѣмецкій переводъ чешскихъ поэмъ, чтобы познакомить съ ними Нѣмцевъ и заинтересовать національной стариной понѣмеченныхъ чешскихъ аристократовъ. Въ пятидесятыхъ годахъ поднялась однако новая буря, которая на этотъ разъ захватила и „Краледворскую Рукопись". Противниками открытій явились нѣмецко-австрійскій ученый Максъ Бюдингеръ и въ особенности талантливый (и рано умершій) Юліусъ Фейфаликъ. Защита, изданная Германегильдомъ и Іосифомъ Иречками, не выяснила вопроса, который потомъ нашелъ еще новыхъ бойцовъ. Къ числу скептиковъ (относительно „Любушина Суда" и Згорѣльскихъ отрывковъ) присоединился чешскій ученый Ал. Шембера. Раньше еще поддѣльность „Пѣсни подъ Вышеградомъ" и „Любовной пѣсни короля Вацлава" была окончательно доказана. Наконецъ, въ 1877, Адольфъ Патера, кустосъ Чешскаго музея, издалъ замѣчательное изслѣдованіе объ упомянутомъ „Mater Verborum", показавшее, что изъ всего числа чешскихъ глоссъ этого знаменитаго словаря только четвертую долю (339) можно считать подлинно древними, а всѣ другія (950) составляютъ новѣйшую поддѣлку. Фактъ былъ знаменателенъ: въ самóй чешской ученой средѣ былъ открыто заявленъ фактъ поддѣлокъ, совершенныхъ въ сосѣдствѣ Чешскаго Музея. Споръ начался съ новой силой: Алоизъ Шембера, Макушевъ, Петрушевичъ, выступили рѣшительно противъ „Суда Любуши" и отчасти другихъ памятниковъ; Срезневскій, близко знавшій виновника или непосредственнаго свидѣтеля чешскихъ открытій, Ганку, присоединился прямо или косвенно къ защитникамъ. Въ 1879 В. Ламанскій предпринялъ цѣлое обширное изслѣдованіе о „новѣйшихъ памятникахъ древне-чешскаго языка".

Изъ сказаннаго выше о томъ, чтó должны были представлять эти памятники въ историческо-національномъ смыслѣ, понятно, какъ рѣзко долженъ былъ стать вопросъ между противниками и защитниками новѣйшихъ памятниковъ. Одни съ негодованіемъ подозрѣвали (а потомъ видѣли) поддѣлку исторіи, научный обманъ, патріотизмъ, опирающійся на подлогѣ; другіе, вѣрившіе, не менѣе упорно отстаи-

вали то, что̀ было, по ихъ мнѣнію, національнымъ сокровищемъ, священнымъ завѣтомъ предковъ. Споръ длится и по настоящую минуту.

Но откуда взялись и были ли основательны подозрѣнія?

Онѣ возникали изъ поводовъ внѣшнихъ и внутреннихъ. Всѣ открытія являлись въ болѣе или менѣе странныхъ обстоятельствахъ: то это были пергаменные листы съ переплетовъ книгъ, никѣмъ кромѣ открывателя невидѣнныхъ и послѣ исчезавшихъ („Пѣсня о Вышеградѣ", „Любовная пѣсня Вацлава"); то — таинственная присылка отъ неизвѣстнаго, который оставался неизвѣстнымъ и послѣ, когда бы могла быть хотя нѣсколькимъ компетентнымъ лицамъ довѣрена истина объ открытіи („Любушинъ Судъ"); то замѣчательные остатки древности, послѣ оказывающіеся явно поддѣльными, открываются въ древней рукописи поздно и случайно, при посредствѣ иностраннаго ученаго, тогда какъ рукопись уже много лѣтъ находилась въ Чешскомъ Музеѣ („Mater Verborum"); то памятникъ открывается въ захолустьѣ, гдѣ никто, кромѣ открывающаго лица и незнающаго мѣстнаго обывателя, не можетъ засвидѣтельствовать точныхъ обстоятельствъ дѣла (Краледворская Рукопись). Открытія дѣлались исключительно въ одномъ литературномъ пражскомъ кружкѣ. Подлогъ нѣкоторыхъ памятниковъ былъ заявленъ съ самаго начала умнымъ критикомъ, знавшимъ притомъ обстоятельства и лица, Добровскимъ, приговора котораго нельзя было не принять во вниманіе; позднѣе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подлогъ былъ доказанъ. Съ другой стороны, вызывало сомнѣнія и содержаніе памятниковъ: они представляли такую старину, какой не было примѣра во всей древней славянской письменности; современная имъ и послѣдующая, подлинная, чешская литература не имѣла съ ними никакихъ связей и параллелей (какова, напр., у насъ связь „Слова о полку Игоревѣ" съ Волынской лѣтописью и „Задонщиной"), или же представляла связи подозрительныя (какъ напр.: „Ярослава" съ переводнымъ „Милліономъ" Марко Поло); романтика Краледворской Рукописи казалась похожей не столько на первобытную средневѣковую, сколько на самую новѣйшую (имена героевъ Краледворской Рукописи, какъ Забой, Славой, Люмиръ, напоминаютъ тѣ имена, какія сочинялись въ новѣйшихъ романахъ изъ древней жизни). По мѣрѣ бо̀льшаго изученія средневѣковой древности вставали и новыя возраженія: иное, что̀ нѣсколько десятковъ лѣтъ могло казаться вѣрнымъ древнему быту, оказывалось ему не совсѣмъ вѣрнымъ, поэтическіе о̀бразы—невозможными, миѳологія—придуманной. Между прочимъ обратилъ на себя вниманіе и языкъ памятниковъ. Особенно въ „Судѣ Любуши" увидѣли искусственное стараніе дать образчикъ мнимо - архаическаго языка: старый языкъ сочинялся подъ вліяніемъ тѣхъ понятій о первобытной близости или единствѣ нарѣчій въ древнее время, какія составлялись при первыхъ

сравнительныхъ изученіяхъ; но слова такого рода не встрѣчались потомъ нигдѣ, кромѣ этихъ мнимо-древнихъ памятниковъ, и—къ удивленію,—обнаруживали туже наклонность пользоваться при этомъ русскимъ языкомъ, какая замѣчена была въ собственныхъ трудахъ Линды и Ганки. Романъ Линды, Zaře nad pohanstwem, 1818, представилъ странныя точки соприкосновенія съ древними памятниками.

Полемическій огонь тлѣлся съ самаго перваго появленія новыхъ открытій: онъ не разгорался главнымъ образомъ потому, что не было еще достаточнаго научнаго матеріала для его окончательнаго рѣшенія. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ раздоръ выразился съ такой рѣзкостью, что палеографическій и археологическій вопросъ сталъ предметомъ уголовнаго судебнаго разбирательства, и дѣло рѣшено было тогда въ пользу памятниковъ. Въ послѣдніе годы споръ возобновился въ области научной критики съ новой силой и, надо думать, приведетъ наконецъ къ разъясненію дѣла.

Исторія названныхъ выше памятниковъ древне-чешской литературы составила уже значительную литературу.

Относительно «Пѣсни подъ Вышеградомъ», «Любовной пѣсни короля Вацлава», чешскихъ Пророчествъ Любуши и пр., см. Hanuš, Die gefälschten böhmischen Gedichte aus den Jahren 1816—1849. Prag, 1868.

«Любушинъ Судъ», заподозрѣнный, какъ мы замѣтили, Добровскимъ, сперва не осмѣлился явиться въ Прагѣ. Первое изданіе, не очень исправное, по списку, присланному изъ Праги, сдѣлано было польскимъ ученымъ Раковецкимъ, въ его «Русской Правдѣ» (Варшава, 1820); отъ Раковецкаго повторилъ изданіе Шишковъ, въ «Извѣстіяхъ Россійск. Академіи», 1821, ч. IX; только послѣ этого «Любушинъ Судъ» появился въ Прагѣ, въ журналѣ «Krok», 1822, гдѣ болѣе исправно издалъ его Юнгманнъ. Раздраженный изданіемъ заподозрѣннаго писанія, Добровскій высказалъ свои подозрѣнія въ печати, въ «Hormayr's Archiv» и въ «Wiener Jahrb. der Literatur», 1824. Шафарикъ и Палацкій въ книгѣ «Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache» (Prag, 1840), собрали доказательства въ пользу подлинности памятника, и ихъ авторитетъ надолго устранилъ какія-нибудь сомнѣнія. Чешскіе и инославянскіе ученые (за упомянутымъ исключеніемъ Копитара, Миклошича, отчасти, кажется, Воцеля), безбоязненно пользовались какъ «Судомъ Любуши», такъ и Краледворской Рукописью для изображенія не только чешской, но обще-славянской древности; стихъ «Любушина Суда»: «nechvalno nam v Němcech iskati pravdu»—становился лозунгомъ славянскаго (противо-нѣмецкаго) патріотизма; на «Судѣ Любуши» строились теоріи древняго славянскаго быта (между прочимъ у К. Аксакова).

Краледворская Рукопись не внушала сомнѣній и Добровскому; напротивъ, онъ смотрѣлъ на нее какъ на драгоцѣнный памятникъ чешской старины (Gesch. der böhm. Sprache und Lit., 2-е изд. 1818, стр. 385—390). Первое изданіе ея сдѣлалъ Ганка: Rukopis Kralodvorský. Sebrani lyricko-epických zpěvův. Прага, 1819 (какъ особенный томикъ его сборника, Starobylá Skládanie); потомъ рядъ другихъ изданій Ганки (вмѣстѣ

съ «Судомъ Любуши») до 1861. Фотографическое изданіе А. Вртятка (преемника Ганки въ Чешскомъ Музеѣ), Прага 1862. Нѣмецкій переводъ В. Свободы, при изданіи 1829; І. М. графа Туна, Gedichte aus Böhmens Vorzeit. Prag, 1845, съ предисловіемъ Шафарика, который вмѣстѣ съ Палацкимъ выправилъ чешскій текстъ при этомъ изданіи. Русскія изданія, переводы и комментаріи: адм. Шишкова, въ «Извѣст. Россійск. Акад.», ч. VIII (и отдѣльно), 1820; А. Соколова, въ Ученыхъ Записк. Казан. унив. 1845—46; стихотворный переводъ Н. Берга, Москва, 1846, и въ Ганковой «Polyglotta», Прага, 1852; Ив. Некрасова, Спб., 1872.

Изъ чешскихъ комментаріевъ можно замѣтить статьи Шафарика, Воцеля (въ «Часописѣ», 1854) и особенно В. Небескаго (Kralodvorský Rukopis. Прага, 1853, изъ «Часописа», 1852—53). Но главнымъ образомъ литература Краледв. Рукописи (а также «Суда Любуши») разрослась съ конца 50-хъ годовъ. Въ это время старыя сомнѣнія были заострены и высказаны въ статьяхъ газеты «Tagesbote aus Böhmen»: «Handschriftliche Lügen und paläographische Wahrheiten», 1858, ноябрь, неизвѣстнаго автора, въ трактатахъ Макса Бюдингера (Die Königinhofer Handschrift und ihre Schwestern, въ Hist. Zeitschrift, Зибеля, 1859 и др.), Эд. Шваммеля (Denkschriften der Wiener Akad., 1860) и особенно Юліуса Фейфалика (Ueber die Königinhofer Handschrift. Wien, 1860).

Историко-литературный споръ принялъ характеръ національнаго столкновенія. Оспариваемыя рукописи были въ глазахъ Чеховъ національной драгоцѣнностью, украшеніемъ ихъ литературы; онѣ возбуждали національную гордость и духъ независимости противъ Нѣмцевъ. Не мудрено, что и противная сторона внесла въ ученый вопросъ національную вражду и нетерпимость. «Handschriftliche Lügen» вызвали формальный процессъ въ Прагѣ, который кончился осужденіемъ редактора газеты за клевету. По этому поводу устроено было цѣлое литературное слѣдствіе, — отыскано было, кто послалъ безъименно «Любушинъ Судъ» для Чешскаго Музея, и пр. Рукопись «Суда» получила съ тѣхъ поръ названіе Зеленогорской. Слѣдствіе это изложено въ статьѣ Томка въ «Часописѣ» и въ нѣмецкомъ ея изданіи: Die Grünberger Handschrift. Prag, 1859. Кромѣ судебныхъ, явились и ученые защитники обоихъ памятниковъ.

Обѣ стороны собирали все, что́ могли, за и противъ этихъ памятниковъ, съ разныхъ точекъ зрѣнія — палеографіи, исторіи, литературы, эстетики. Главнымъ защитительнымъ сочиненіемъ была книга бр. Иречковъ: Die Echtheit der Königinhofer Handschrift kritisch nachgewiesen. Prag, 1862.

Потомъ выступили Брандль, въ «Часописѣ», 1869, I, 1870, II и пр.; Гебауэръ (Filologické Listy, II, 97—114); Гаттала (Beiträge zur Kritik der Koniginh. und Grünb. Handschrift, въ Sitz.-Ber. der kön. böhm. Gesellschaft, 1871); также Ганушъ (Das Schriftwesen und Schriftthum der böhmisch-slovenischen Völkerstämme, Prag, 1867), Вртятко (въ «Часописѣ» 1871) и друг. Въ русской литературѣ А. Куникъ, въ Зап. Акад. 1862, II. (Ср. Котляревскаго, Uspechy slavistiky na Rusi, Прага, 1874, стр. 31).

Библіографическіе обзоры литературы вопроса сдѣланы были Ганушемъ, Schriftwesen etc., стр. 55—67; Л. Круммелемъ, въ Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 1868; Іос. Иречкомъ, Rukovět', I, 406—411; II, 354—355.

Но эта длинная полемика не рѣшила спора, и въ послѣдніе годы явились новые отрицатели подлинности обоихъ произведеній. Что причиной нападеній была вовсе не одна національная враждебность или недоброжелательство партіи (какъ чешскіе критики говорили это о Бюдингерѣ, Фейфаликѣ, Копитарѣ), обнаружилось тѣмъ, что на этотъ разъ противники открытій явились изъ круга самихъ славянскихъ, даже чешскихъ ученыхъ. Престарѣлый чешскій ученый, Алоизъ В. Шембера, въ новомъ изданіи своей Исторіи чешской литературы, сталъ опровергать подлинность «Суда Любуши» и Евангелія отъ Іоанна, или такъ называемыхъ Згорѣльскихъ отрывковъ (Dějiny, изд. 4-е, 1878, стр. 30—32, 149—153); галицкій ученый Антоній Петрушевичъ выступилъ съ своими опроверженіями противъ «Суда Любуши» въ галицкомъ «Словѣ», 1877—1878; хорватскій ученый В. Ягичъ, въ упомянутой выше «Gradja», называлъ Краледворскую Рукопись «книгой съ семью печатями»; русскій славистъ В. Макушевъ (въ Филол. Запискахъ). Противъ Шемберы снова возсталъ І. Иречекъ (въ «Часописѣ», 1878, 1879). Принялъ участіе въ вопросѣ Срезневскій, въ статьѣ: «Былина о судѣ Любуши» (Р. Филол. Вѣстникъ, Варшава, 1879, вып. 1), гдѣ, не отзываясь на идущій споръ, косвенно явился защитникомъ подлинности памятника; именно, онъ изложилъ свои прежнія изысканія о предметѣ, гдѣ подлинность «Суда Любуши» не подвергалась ни малѣйшему сомнѣнію, а только вѣкомъ его принимался не IX, какъ думали чешскіе авторитеты, а XI — XII.

Послѣдними фактами полемики были:

— Особая книжка Шемберы: «Libušin Soud domnělá nejstarši památka řeči české jest podvržen, též zlomek Evangelium Sv. Jana». Вѣна, 1879 (послѣ вышло еще дополненіе), гдѣ онъ собралъ всѣ свои аргументы противъ «Суда Любуши» и также Згорѣльскихъ отрывковъ, и авторами перваго прямо называетъ Линду и Ганку.

— Съ начала 1879, сталъ выходить въ Журналѣ Мин. Нар. Просв. рядъ замѣчательныхъ статей В. Ламанскаго: «Новѣйшіе памятники древне-чешскаго языка», которые обѣщаютъ быть самой полной и категорической постановкой вопроса, какъ съ научно-критической, такъ общественно-политической точки зрѣнія.

— V. Brandl, Obrana Libušina Soudu — противъ Шемберы, 1879.

— Совершенно рѣзко поставилъ вопросъ и Антонинъ Вашекъ (профессоръ гимназіи въ Бѣрнѣ), въ книжкѣ: «Filologický důkaz že Rukopis Kralodvorský a Zelenohorský, též zlomek evangelia Sv. Jana jsou podvržená díla Vácslava Hanky». V Brně, 1879.

— Чешскій журналъ «Osvěta», 1879, помѣстилъ біографію Іос. Линды, писанную І. Иречкомъ, и біографію В. А. Свободы, писанную Ант. Рыбичкой, откуда должна слѣдовать невозможность обвиненія ихъ въ поддѣлкахъ или участіи въ нихъ.

Вопросъ еще не истощенъ. Защитники памятниковъ не въ самомъ выгодномъ положеніи; но и противникамъ остается еще не мало труда. Безпристрастные зрители этой борьбы, заинтересованные однако живо въ ея исходѣ, ожидаютъ, что отрицательная критика, излагая свои доказательства противъ подлинности памятниковъ, объяснитъ также, какъ возможны были поддѣлки, гдѣ могли быть ихъ *источники* и *средства исполненія*.

Въ чешскихъ изложеніяхъ исторіи литературы, принимающихъ подлинность „Суда Любуши“ и „Краледворской Рукописи“, говорится обыкновенно, что древнѣйшая пора чешской письменности была самостоятельно-народная, какъ и свидѣтельствуютъ эти памятники; но что затѣмъ, въ болѣе позднее время начинается упадокъ самобытно-народнаго и преобладаніе вліяній латино-нѣмецкихъ. Но для тѣхъ, кто не принимаетъ этихъ памятниковъ, вліянія латино-нѣмецкія должны представляться гораздо болѣе ранними: онѣ очень рано проявились въ жизни общественно-политической; естественно ожидать, что онѣ должны были равномѣрно проявиться и въ жизни литературной,—такъ что народно-поэтическая „Краледворская Рукопись“ и съ этой стороны заключала бы въ себѣ внутреннее противорѣчіе.

Чехи, какъ вообще Славянство на западѣ, встрѣтились въ своей исторіи съ культурными началами германо-романскими, которыя обладали уже большимъ развитіемъ и не могли остаться безъ дѣйствія на славянской почвѣ. Если короли призывали Нѣмцевъ, принимали нѣмецкіе обычаи и т. д., это не было случайностью. Новѣйшіе историки по нынѣшнимъ соображеніямъ нерѣдко упрекаютъ ихъ въ недостаткѣ національнаго чувства, но этотъ недостатокъ былъ порожденіемъ самой тогдашней чешской жизни: она не представляла достаточнаго національнаго отпора чужимъ учрежденіямъ, а съ другой стороны—германо-романство было единственнымъ проводникомъ образованности.

Чешскіе историки жалѣютъ, что латинское образованіе вредило народности, отвлекая много силъ отъ ея развитія, но признаютъ также, что оно доставляло и значительныя выгоды: латынь не была большой опасностью для народнаго языка, потому что не была языкомъ живымъ, но, какъ языкъ обработанный, приносила съ своей литературой богатство готовыхъ понятій, для которыхъ еще не достало бы языка народнаго. Но, очевидно, что народность все-таки теряла: употребленіе чужого языка—въ церкви, въ отношеніяхъ юридическихъ, въ исторической книгѣ (какъ это было у Чеховъ), ставило народность на задній планъ, какъ ставили ее потомъ нѣмецкіе обычаи и нѣмецкій языкъ. Литературныя отношенія чешскаго языка съ латынью и элементомъ нѣмецкимъ были только отраженіемъ цѣлаго историческаго факта, — отношеній Славянства къ стоявшему въ упоръ подлѣ германо-романству: была здѣсь выгода—въ усвоеніи европейской образованности, была невыгода—въ подчиненіи, которому подверглась славянская народность и борьба противъ котораго составила всю исторію чешской національности.

Первымъ фактомъ, которымъ обнаружился упадокъ народнаго начала, было—вытѣсненіе славянскаго христіанства и кирилловской письменности. Этотъ фактъ совершился еще тогда, когда матеріальное

давленіе Нѣмцевъ было, вѣроятно, еще весьма незначительно: повидимому, народность уже въ ту пору не умѣла защитить себя отъ окружавшей ее силы латинской церковности.

Латинское образованіе было прежде всего принадлежностью духовенства и его школы; изъ церкви латынь перешла въ суды и управленіе; школа церковная дѣлалась школой общей. Къ собственнымъ латынщикамъ прибавились еще нѣмецкіе монахи и учители. Къ числу старѣйшихъ памятниковъ чешской письменности принадлежитъ поэтому цѣлый рядъ глоссъ и словарей. Замѣчательнѣйшимъ изъ нихъ былъ словарь, извѣстный подъ названіемъ *Mater Verborum* („Мать словъ"), сохранившаяся рукопись котораго (относимая прежде по поддѣльной припискѣ къ 1202, даже къ 1102 году) принадлежитъ XIII вѣку. Съ переходомъ въ XIV столѣтіе, число памятниковъ этого рода все больше увеличивается, указывая на распространеніе латыни. Таковы словари: Велешина, Словака Розкоханаго, далѣе *Nomenclator*, *Sequentionarius*, *Catholicon magnum;* они писались по чешски въ стихахъ, какъ *Bohemarius*.

Когда начались новѣйшія изслѣдованія чешской старины, великую славу пріобрѣлъ одинъ изъ этихъ словарей, именно „Mater Verborum". Это былъ собственно латинскій толковый словарь, составленный, какъ полагали, въ X столѣтіи санъ-галленскимъ аббатомъ и констанцскимъ епископомъ Соломономъ (ум. 920). Между прочимъ словарь попалъ и въ Чехію, видимо изъ Германіи. Въ чешскомъ спискѣ словаря находятся, во-первыхъ, нѣкоторое число нѣмецкихъ толкованій латинскихъ словъ, а во-вторыхъ—чешскія глоссы. Небольшое число этихъ чешскихъ толкованій писано въ строку, такъ что, очевидно, онѣ внесены были при самой перепискѣ оригинала (въ XIII вѣкѣ); но множество другихъ, и очень оригинальныхъ чешскихъ глоссъ вписано между строками,—повидимому, также старымъ почеркомъ. Рукопись замѣчательна еще миньятюрами въ заглавныхъ буквахъ, и на одной изъ нихъ подъ изображеніями двухъ молящихся монаховъ означены имена „писца Вацерада" и „рисовальщика Мирослава", и отмѣченъ упомянутый годъ (прочитанный одними за 1102, другими за 1202). Въ историческомъ и литературномъ отношеніи словарь представлялъ величайшій интересъ по этимъ чешскимъ глоссамъ, которыя съ одной стороны давали указанія о характерѣ и лексическомъ объемѣ чешскаго книжнаго языка XII—XIII вѣка, а съ другой—въ особенности о древнихъ миѳологическихъ преданіяхъ и божествахъ, славянской и чешской языческой старины. Оказывалось, что въ XII—XIII столѣтіи языкъ былъ значительно выработанный, болѣе близкій къ другимъ нарѣчіямъ, напр., русскому; сохранявшаяся здѣсь память объ язычествѣ, которая выразилась обиліемъ названій языческихъ божествъ, могла,

какъ параллель, объяснять языческое свойство „Любушина Суда“ и такихъ пѣсенъ Краледворской Рукописи, какъ „Забой“ и т. п.

Въ самомъ дѣлѣ въ „Mater Verborum“ являлось цѣлое сборище языческихъ боговъ — былъ „Свантовитъ“ въ роли Марса, „Прія“ какъ богиня любви или славянская Венера, „Жива“ въ роли Цереры, далѣе „Велесъ“, „Радигостъ“, „Бѣлбогъ“, „Перунъ“, „Дѣвана“, „Морана“ въ роли Гекаты и т. п.; въ нѣкоторыхъ случаяхъ указывалась и генеалогія божествъ; далѣе упоминаются „тризна“, „чародѣи“, „гадачи“, „трѣба“ (жертвоприношеніе), „вѣщьбы“ (предсказанія)—упоминаемыя, между прочимъ, и въ „Судѣ Любуши“; приводятся многія слова бытовыя и выраженія, не обычныя въ чешскомъ языкѣ, но извѣстныя изъ языка русскаго,—что̀ должно было свидѣтельствовать о древней близости славянскихъ нарѣчій между собою.

Чешскія глоссы изъ „Mater Verborum“, изданныя въ первый разъ Ганкой, потомъ Шафарикомъ и Палацкимъ [1]), причислены были къ тѣмъ драгоцѣнностямъ старой литературы, которыя давали ей высокое историческое значеніе не только для самихъ Чеховъ, но и для остального Славянства. Но уже съ перваго появленія, эти глоссы возбудили сомнѣніе у Копитара; эти сомнѣнія отвергались чешскими учеными какъ недоброжелательство. Въ послѣдніе годы научная критика пришла однако къ убѣжденію, что памятникъ далеко не безупреченъ. Первыя замѣчанія высказалъ Ганушъ, а въ послѣднее время памятникъ самымъ внимательнымъ образомъ изслѣдовали Ад. Патера и Баумъ, изъ которыхъ одинъ разобралъ рукопись въ палеографическомъ и лексическомъ отношеніи, а другой разсмотрѣлъ ея миніатюры [2]). Въ результатѣ этихъ и другихъ изслѣдованій оказалось, что имя „писца Вацерада“, который долго считался авторомъ чешскихъ глоссъ и долго игралъ роль крупнаго авторитета въ славянской миѳологіи, имя рисовальщика „Мирослава“, годъ рукописи, множество самыхъ глоссъ написаны никакъ не въ XIII столѣтіи, а скорѣе въ XIX, что словомъ, рукопись „Mater Verborum“ прошла черезъ руки новѣйшаго фальсификатора. Именно, Патера выдѣлилъ изъ цѣлаго ихъ количества только 339 подлинно древнихъ [3]); между тѣмъ втрое болѣе было прибавлено

---

[1]) Ганка, Zbírka nejdávnějšich slovniků latinsko-českých, Прага, 1833, стр. 1 — 24; Шафарикъ и Палацкій, Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache, Prag, 1840, стр. 203—233.

[2]) Ганушъ, въ Sitz.-berichte der böhm. Gesellschaft, 1865, I; статьи Патеры и Баума, въ чешскомъ «Часописѣ» 1877; русскій переводъ статьи Патеры, съ замѣчаніями Срезневскаго (въ Сборникѣ рус. Отдѣл. Академіи, т. XIX, 1878, стр. 1—152), который, начавъ свою статью лукавыми похвалами труду Патеры, дѣлаетъ ловкую защиту по существу тѣхъ глоссъ, которыя были заподозрѣны послѣднимъ съ палеографической стороны. Разборъ этой двусмысленной статьи и цѣлаго вопроса у В. Ламанскаго, въ упомянутыхъ статьяхъ: «Новѣйшіе памятники древне-чешскаго языка».

[3]) Въ этомъ числѣ: глоссъ, находящихся въ самомъ текстѣ и, слѣдовательно, вне-

фальсификаторомъ, и въ ихъ числѣ находятся именно тѣ, которыя обращали на себя вниманіе своей чрезвычайной оригинальностью и миѳологической стариной.

Со времени изданія глоссъ „Mater Verborum" почти ни одно разсужденіе о древней славянской миѳологіи не обходилось безъ ссылки на „Вацерада"; съ его обильной помощью строилось изображеніе древняго славянскаго міровоззрѣнія. Прекратить эту мистификацію въ наукѣ будетъ уже большимъ дѣломъ.

Мы остановились на словарѣ „Mater Verborum" потому, что о немъ много говорилось въ послѣдніе годы, и потому, что его исторія даетъ видѣть настоящее положеніе вопроса о древней чешской литературѣ: надъ ней еще стоитъ туманъ. До послѣднихъ лѣтъ чешскіе историки отвергали всякое сомнѣніе въ нѣкоторыхъ памятникахъ чешской древности, какъ покушеніе на историческое достоинство ихъ національности. Теперь, критическія требованія заявлены не только „недоброжелателями" (Копитаръ), но и самими чешскими учеными (Шембера, Патера, Баумъ, Эмлеръ, Гебауэръ). Съ чешской древностью связаны тѣсно историческія представленія и о древностяхъ остального Славянства. Если „Любушинъ Судъ" есть произведеніе не IX, а XIX вѣка; если Краледворская Рукопись принадлежитъ не XIII—XIV столѣтію, и миѳологическіе глоссы „Mater Verborum" не 1102 или 1202, а также XIX столѣтію, то этимъ предполагается огромная ломка во всемъ, что̀ писалось доселѣ о древнемъ славянскомъ бытѣ, нравахъ, миѳологіи, языкѣ, поэзіи; должны быть выброшены и забыты многія страницы въ изслѣдованіяхъ, между прочимъ и первостепенныхъ ученыхъ, не только славянскихъ, но и нѣмецкихъ, какъ Гриммъ и другіе.

Если даже не предрѣшать теперь окончательно вопроса о произведеніяхъ, какъ „Судъ Любуши", Краледворская Рукопись, глоссы „Mater Verborum" и т. д., то можетъ показаться страннымъ, исторически не логичнымъ, что другіе памятники чешской старины не представляютъ или ничего, или мало похожаго на то рѣзкое національно-патріотическое направленіе, которое замѣчается въ заподозрѣнныхъ памятникахъ, на богатство ихъ архаическихъ воспоминаній и ихъ поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, внѣ этихъ заподозрѣнныхъ или вполнѣ обличенныхъ памятниковъ, чешская литература не представляетъ ни такихъ опредѣленныхъ преданій національной древности, ни такихъ яркихъ заявленій національной (именно противо-нѣмецкой) исключительности, ни такого обилія своенародной поэзіи, и, напротивъ, представляетъ много

сенныхъ во время самаго написанія рукописи,—всего 12; глоссы между строками, но также древнія—42; наконецъ, приписанныхъ другимъ старымъ почеркомъ, вскорѣ по написаніи рукописи—285.

свидѣтельствъ, что германо-латинскія вліянія проникали, и уже издавна, во всѣ отрасли письменности. Правда, и въ литературѣ подлинной бывали національно-патріотическія заявленія, какъ у Далимила; но эти заявленія и рѣдки и не такъ сильны, а во всемъ остальномъ ряду другихъ памятниковъ не сохранилось отголоска ни *того* чувства своей народности, очень похожаго на новѣйшую тенденціозность [1]), ни *той* поэтической романтики, какія находимъ въ „Судѣ Любуши“ и Краледворской Рукописи, ни *той* миѳологіи, какую узнаемъ изъ „Mater Verborum“, и проч. Напротивъ, мы видимъ, что въ эти самые вѣка спокойно и покладливо принимаются тѣ формы и содержаніе, какія имѣла вообще западная средневѣковая литература; не видимъ слѣда какой-нибудь борьбы между двумя литературными „школами“, какія предполагаются въ эту эпоху чешскими историками и которыя представлялись, по ихъ мнѣнію, съ одной стороны Краледворской Рукописью, съ другой—подражаніями западной романтикѣ.

Итакъ, скорѣе можно думать, что германо-романское вліяніе развивалось постепенно, безъ особенной помѣхи, съ тѣхъ поръ, какъ одержало свою первую побѣду въ IX—X вѣкѣ, когда оно устранило изъ Чехіи и Моравіи церковь греко-славянскую и поставило на ея мѣсто латинскую, т.-е., говоря по нынѣшнему, обратило Чехо-моравянъ изъ православія въ католицизмъ.

Первымъ результатомъ знакомства съ латинской литературой было развитіе духовной поэзіи, или стихотворства, и легенды. Послѣ упомянутой пѣсни: *Hospodine* и другой: *Sv. Vaclave*, въ чешскихъ памятникахъ не сохранилось особенно старыхъ духовныхъ пѣсенъ. Древнѣйшей должна считаться пѣсня въ 16 стиховъ: „Slovo do světa stvorenie“, недавно отысканная Ад. Патерой въ рукописи XIII вѣка и сложенная видимо по латинскому образцу въ обычной риѳмованной формѣ [2]). Другія извѣстныя пѣсни этого рода восходятъ по рукописямъ не далѣе XIV вѣка [3]). Относительно духовныхъ пѣсенъ, взятыхъ съ латинскаго, какъ и о переводахъ св. писанія, замѣчаютъ, что сначала просто дѣлались объясненія латинскаго оригинала чешскими глоссами, и уже изъ нихъ произошелъ сперва связный переводъ, а потомъ правильные стихи. Впослѣдствіи, нѣкоторыя старыя пѣсни вошли, вмѣстѣ съ новыми, въ „Канціоналы“, о которыхъ скажемъ далѣе.

Послѣ первыхъ легендарныхъ памятниковъ, указывающихъ на общее нѣкогда церковное преданіе у Чеховъ и южнаго Славянства, чешская легенда, представляемая значительнымъ числомъ памятниковъ,

---

[1]) Ср. «Nechvalno nam v Němcech iskat pravdu» (Судъ Любуши). Или: «Nemec barbarus, tardus, obtusus, imperitus, stolidus» etc. (Mater Verborum).

[2]) См. «Часописъ» Чешскаго музея, 1878, II, 289—294.

[3]) Образцы въ «Выборѣ», I, стр. 322 и слѣд.; Rukovět, II, 120.

была копіей латинскихъ католическихъ образцовъ, по содержанію и по формѣ. Легенды писались прозой и стихами, и старѣйшія, какія извѣстны—стихотворныя. Въ противоположность славянскому народному стиху, не знающему риѳмы, стихъ чешской легенды и свѣтскихъ произведеній является неизмѣнно съ риѳмой. По содержанію и выбору святыхъ, это—легенда или обще-христіанская, повторяемая по католическому источнику, или спеціально католическая. Рядъ стихотворныхъ легендъ начинается, по рукописямъ, съ конца XIII вѣка, и старѣйшія сохранились только въ отрывкахъ, напр. отрывокъ легенды *о Дѣвѣ Маріи* (изъ апокрифическаго евангелія св. Матѳея de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris; Шафарикомъ была принята сначала за легенду объ Аннѣ, матери Самуила), *о страданіяхъ Спасителя, о сосланіи св. Духа, объ апостолахъ.* Къ началу XIV вѣка относятъ написаніе легендъ *объ Іудѣ* и *Пилатѣ*, легенду *о св. Алексѣѣ*; къ половинѣ того же вѣка легенды *о св. Доротеѣ, о св. Катеринѣ, о Маріи Магдалинѣ, апостолѣ Іоаннѣ, о св. Прокопѣ.* Далѣе *Іисусова молодость* (изъ апокрифическаго перво-евангелія Іакова), *Плачъ* св. Маріи, и друг. Легенды прозаическія собраны въ „Пассіоналѣ“, составленномъ въ правленіе Карла IV: въ основаніи его лежала Legenda Aurea Якова de-Voragine, но она употреблена съ выборомъ, и между прочимъ прибавлены жизнеописанія чешскихъ святыхъ, напр. Кирилла и Меѳодія, Людмилы, Вячеслава и Гедвиги. „Пассіоналъ“ былъ потомъ напечатанъ въ числѣ первыхъ чешскихъ книгъ (1480—1495). Изъ легендъ стихотворныхъ, лучшей по исполненію считается легенда о св. Катеринѣ, отысканная въ недавнее время въ Стокгольмѣ, куда попало много чешскихъ рукописей во время 30-лѣтней войны, и изданная въ 1860 Эрбеномъ; легенда отличается легкостью стиха и красивымъ языкомъ. Большое мастерство стиля видятъ и въ отрывкѣ легенды о св. Маріи, по апокрифическому евангелію Матѳея [1]).

Въ этомъ періодѣ подготовлялся и переводъ цѣлой библіи. Выше упомянуто, что древнѣйшимъ памятникомъ этого рода считались такъ называемые Згорѣльскіе отрывки (изъ евангелія Іоанна), которые относимы были къ X вѣку. Добровскій и Копитаръ сомнѣвались въ этомъ памятникѣ; Шафарикъ, Палацкій, теперь Иречекъ защищали его подлинность; въ послѣднее время Шембера, Вашекъ называли его прямо подлогомъ, Макушевъ вмѣсто X вѣка относилъ его къ XIII-му. Книги св. писанія переводились не вдругъ и не послѣдовательно, а частями, и настоящіе переводы являются уже поздно: началомъ ихъ

[1]) Добровскій, Gesch. der böhm. Sprache, etc. 103 — 103; Ганка, Starobylá Skládanie, dil III, 1818; Vybor z liter. I; Шафарикъ, Sebrané spisy, т. III, 1865 (klasobrani); Feifalik, Studien zur Geschichte der altböhmischen Literatur (изъ Sitz.-berichte вѣнской академіи), 1860; Іос. Иречекъ, Rukovět, I, 446 — 447; Ад. Патера, въ «Часописѣ», 1879, I.

(какъ выше замѣчено и о переводахъ церковныхъ пѣсенъ) были простыя глоссы, толкованія латинскихъ текстовъ для священниковъ; мало по малу глоссы перешли въ связный переводъ. Нѣкоторыя библейскія книги, какъ говорятъ, были переведены еще до XIII вѣка; другіе появляются въ XIII—XIV вѣкахъ; наконецъ первый полный сводъ перевода библейскихъ книгъ сдѣланъ въ 1410—1416. Первое печатное изданіе чешской библіи вышло въ Прагѣ 1488 [1]).

Церковная поэзія представляетъ далѣе рядъ духовно-поучительныхъ и аллегорическихъ поэмъ и стихотвореній, писанныхъ также по извѣстной мѣркѣ латинской и нѣмецкой, съ нравоучительнымъ характеромъ и риѳмованнымъ стихомъ. Таковы, напр., *Десять божьихъ заповѣдей*—поэма XIV вѣка, гдѣ десять заповѣдей объясняются съ помощью наглядныхъ описаній чорта и легкихъ, даже иногда фривольныхъ анекдотовъ, въ томъ родѣ, какъ нѣмецкіе проповѣдники тѣхъ временъ для большаго интереса своихъ проповѣдей вставляли въ нихъ чисто свѣтскіе разсказы (bîspel), анекдоты и сказки. Цѣль нравоученія достигалась за разъ двумя путями. Въ другомъ стихотвореніи: *Споръ души съ тѣломъ*, аллегорически разсказывается судьба человѣка по смерти. Послѣ должнаго предисловія о томъ, какъ должно жить въ ожиданіи смерти, передается разговоръ души съ тѣломъ. Тѣло предано роскоши, душа говоритъ ему о смерти и замѣчаетъ, что будетъ за него наказана. Тѣло умираетъ, дьяволъ ухватился за душу, взвѣсилъ ее съ грѣхами на вѣсахъ и взялъ въ адъ. Душа жалуется Божьей Матери, которая отнимаетъ ее у дьявола и молится за нее у Сына; Сынъ отдаетъ душу на судъ Правдѣ, Миру, Справедливости и Милосердію. Дьяволъ жалуется на несправедливость, но Марія и судьи заступаются за душу: Миръ ѳбѣщаетъ ей милость отъ Іисуса, а Милосердіе вѣроятно сжалилось надъ ней,—чего, впрочемъ, въ рукописи недостаетъ. То же духовно-поучительное содержаніе представляютъ слѣдующіе, болѣе или менѣе обширные разсказы и размышленія въ стихахъ: *о богачѣ*, погубившемъ свою душу; *о смертности*, отъ которой человѣкъ нигдѣ не можетъ скрыться; *о шести источникахъ* (грѣха); *о двадцати семи глупцахъ*, т.-е. людяхъ, не знающихъ нравственности и душевнаго спасенія; *о непостоянствѣ свѣта* и т. п. [2]).

Другой стороной германо-латинскаго вліянія было появленіе въ чешской литературѣ средневѣковаго романтизма. Какъ Чехи не могли воспротивиться матеріальному вмѣшательству Нѣмцевъ въ ихъ дѣла, вліянію нѣмецкихъ нравовъ и учрежденій, такъ они оказались уступчивы и въ литературномъ отношеніи. Несмотря на то, что „Любушинъ судъ“ строго порицалъ исканіе правды у Нѣмцевъ, а „Забой“ внушалъ

[1]) Rukovět, II, стр. 116—120.

[2]) См. въ «Starobyla Sklád.» и въ «Выборѣ изъ чешской литературы», т. I.

ненависть къ врагу, который „чужими словами приказываетъ“ на чешской родинѣ,—на дѣлѣ чешская книжность не устояла противъ заманчивости иноземной поэзіи, говорившей этими „чужими словами“, и съ охотой обратилась къ европейскому романтизму, приходившему вмѣстѣ съ нѣмецкими обычаями и феодальными учрежденіями. Какъ скоро Чехія не съумѣла сберечь своего древняго княжеско-демократическаго устройства, покорилась притязаніямъ не-народной церкви и приняла новую королевскую власть съ ея аристократической обстановкой, народное начало можно было считать побѣжденнымъ (это произошло въ XIII вѣкѣ),—надо думать, что и раньше въ немъ мало было общественной силы для отпора феодализму, и, съ другой стороны, не было своихъ средствъ удовлетворить зарождавшимся потребностямъ образованія. Вліяніе средневѣковаго романтизма, а вмѣстѣ съ нимъ и феодальной общественной морали, становится понятно [1]).

И такъ, средневѣковыя романтическія поэмы пришли къ Чехамъ, какъ естественное дополненіе нѣмецкихъ обычаевъ, которые утвердились при дворѣ и въ жизни высшихъ сословій еще съ половины XIII столѣтія. Вмѣстѣ съ турнирами, рыцарскими учрежденіями, при дворѣ чешскихъ королей явились нѣмецкіе миннезингеры. Король Вацлавъ I даже самъ, по преданію, былъ нѣмецкимъ миннезингеромъ. Нѣмцы являлись не только при дворѣ; они составили значительную часть городского населенія [2]), такъ что вкусы нѣмецкой литературы легко могли распространиться и въ среднемъ классѣ. Къ концу XIII вѣка романтизмъ былъ такъ привыченъ, что въ одномъ изъ первыхъ его памятниковъ мы находимъ уже весьма законченное произведеніе, которое чешскіе критики считаютъ лучшимъ плодомъ своей христіанско-рыцарской поэзіи. Это была чешская обработка поэмы объ Александрѣ. Чешская *Александреида* сохранилась только въ отрывкахъ, и хотя извѣстна въ спискахъ съ XIV столѣтія, считается произведеніемъ второй половины XIII вѣка. Чешская поэма обработана была по латинской поэмѣ Готье Шатильонскаго (Gautier de Lille, ab Insulis), написанной во второй половинѣ XII столѣтія и передѣланной въ XIII нѣмецкимъ поэтомъ Ульрихомъ Эшенбахомъ, который въ своихъ странствованіяхъ заходилъ въ Прагу и посвятилъ часть своей книги королю Вацлаву II. Чешскій поэтъ взялъ за основу латинскій подлинникъ, хотя зналъ и нѣмецкую обработку: сравненіе чешскаго текста съ латинскимъ убѣждаетъ однако, что чешскій поэтъ, взявъ главныя черты сюжета, остался очень независимъ въ поэтическомъ изложеніи. Это былъ, безъ сомнѣнія,

---

[1]) Ср. любопытныя статьи Ферд. Шульца: Z dějin poroby lidu v Čechách, въ журналѣ «Osvěta» 1871, № 3, 4, 6 и 8.

[2]) Продолжатель Козьмы Пражскаго замѣчаетъ подъ 1281 г., что въ это время пришло въ Чешскую землю такое множество Тевтоновъ, что многіе полагали, что ихъ было здѣсь больше, чѣмъ мухъ.

даровитый писатель, проникнутый христіанско-рыцарскимъ духомъ времени; его поэма есть наиболѣе самобытное и вообще лучшее произведеніе старо-чешской романтики [1]). Поэтъ раздѣляетъ аристократическія мнѣнія чешской шляхты, но вмѣстѣ съ тѣмъ отличается и патріотически-народнымъ духомъ: Нѣмцы были для него такими же непріятными гостями, какъ для знаменитаго патріота, лѣтописца Далимила (ср. „Выборъ", I, 166). Другая извѣстная поэма, изъ Артурова цикла—*Тристрамъ* (Тристанъ и Изольда)—обработана была во второй половинѣ XIV вѣка, вѣроятно по нѣмецкой редакціи Готтфрида Стразбургскаго (около 1232), дополненной потомъ Ульрихомъ Турлиномъ (половина XIII вѣка) и Генрихомъ Фрейбергскимъ (около 1300). Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ нѣмецкимъ поэтомъ въ Чехіи, потому что Генрихъ Фрейбергскій сдѣлалъ свое продолженіе Готтфрида для чешскаго пана Раймунда изъ Лихтенбурга [2]). Дальше: *Тандаріасъ и Флорибелла*, также поэма изъ цикла Круглаго Стола, — кажется, еще не рѣшено, какими путями дошедшая до чешской литературы во второй половинѣ XIV вѣка [3]).

Къ числу полу-романтическихъ, полу-дидактическихъ произведеній принадлежитъ „Tkadleček", въ прозѣ, который можно назвать маленькимъ романомъ. Лудвикъ Ткадлечекъ и возлюбленная его Адличка жили во второй половинѣ XIV столѣтія при дворѣ вдовы Карла IV, королевы Елизаветы, въ Краловомъ-Градцѣ (ум. 1393). Адличка была красавица, и когда она досталась другому, Ткадлечекъ горько ее оплакивалъ, и разсказалъ о ея прелестяхъ въ разговорѣ между Жалующимся и Несчастьемъ, которое преподаетъ ему правила смиренія передъ судьбой. „Ткадлечекъ", порядочно монотонный по сюжету, считается за образецъ по легкости и силѣ языка. Имя „Ткадлечка" (Ткача) было псевдонимомъ: это — ткачъ книжный, его инструментъ — перо. Есть старый нѣмецкій переводъ этой книжки [4]).

Въ слѣдующемъ періодѣ чешской литературы встрѣтится намъ уже цѣлая масса романтическихъ произведеній, происхожденіе которыхъ отчасти падаетъ вѣроятно еще въ эту эпоху. Кромѣ романа, средне-

---

[1]) Разборъ чешской Александреиды сдѣланъ былъ В. Небескимъ, въ «Часописѣ» 1847, отд. II, вып. 1—2. Отрывки Александреиды печатались въ Starob. Sklad. Ганки (II, 151), въ «Часописѣ» 1828 и 1841, и собраны въ «Выборѣ», ст. 135 и 1071. Сличеніе отрывковъ показываетъ, что во второй половинѣ XIV столѣтія явилась и другая редакція этого сюжета. См. еще Шафарика, Sebrané Spisy, III, 336 и слѣд.; Іосифа Иречка, въ «Крокѣ» 1866.

[2]) О чешскомъ Тристрамѣ см. ст. Небескаго въ «Часописѣ», 1846, Ферд. Шульца въ «Люмирѣ», 1875; ср. «Часописъ», 1861, стр. 273. Текстъ въ «Starob. Skládanie», ч. IV, въ «Выборѣ», I.

[3]) «Starob. Skladanie», т. V, 1823; «Выборъ», I. Небескій, въ «Часописѣ», 1846, II.

[4]) Изданіе Ганки, Прага, 1824; отрывокъ въ «Выборѣ», т. I, стр. 626—634. Rukovět, II, 289—290.

вѣковая западная дидактика, басня, сатира и т. д. также нашли у Чеховъ свой отголосокъ, болѣе или менѣе самостоятельный: иногда манера чешскихъ писателей самымъ близкимъ образомъ напоминаетъ нѣмецкихъ писателей, соединявшихъ басню и анекдотъ съ житейскимъ наставленіемъ, поученіемъ и проповѣдью. Таковъ ученый панъ Смиль изъ Пардубицъ, по прозванью Фляшка (Jan Smil Flaška z Pardubic a z Rychmburka, род. передъ срединой XIV в.). Происходя изъ знатнаго рода, онъ жилъ въ молодости при дворѣ своего родственника архіеп. пражскаго Арношта, получилъ степень баккалавра въ пражскомъ университетѣ, былъ друженъ съ королевичемъ, потомъ съ 1378 королемъ Вацлавомъ IV. Но черезъ нѣсколько лѣтъ они поссорились изъ-за феодальнаго имѣнія, которое король хотѣлъ у него отобрать, и Фляшка отсталъ отъ королевской партіи. Фляшка былъ убитъ въ смутахъ 1403, въ сраженіи между его, панской партіей и горожанами Кутной Горы. Это былъ одинъ изъ важныхъ чешскихъ пановъ, котораго хвалили за мудрость и опытность въ дѣлахъ; взгляды его были феодальные, но они смягчались личнымъ характеромъ, образованностью и патріотическимъ чувствомъ. Наконецъ, это былъ искусный писатель. Ему приписывалось много аллегорико-дидактическихъ сочиненій; но по новымъ изслѣдованіямъ, съ несомнѣнностью можно приписать ему два. Первое изъ нихъ—*Новый Совѣтъ* (Nová Rada, 1394—1395 г.), гдѣ разсказывается о томъ, какъ царь левъ, разославши пословъ, собралъ со всѣхъ сторонъ своихъ князей и пановъ на совѣтъ, и каждый подаетъ королю совѣтъ по своему разумѣнію. Чешскіе критики полагаютъ, что аллегорія относится къ двору Вацлава IV. Совѣты звѣрей состоятъ главнымъ образомъ въ общей благочестивой морали; авторъ старался иногда соблюсти индивидуальныя отличія звѣрей, заставляетъ, напр., зайца давать совѣтъ бѣгать съ сраженія, медвѣдя—совѣтовать сладко пить, ѣсть и спать въ свое удовольствіе, свинью—давать волю своимъ желаніямъ и „смильству", и т. д.; но въ то же время орелъ некстати длинно проповѣдуетъ о страхѣ божіемъ съ примѣрами изъ св. писанія, а лебедь заканчиваетъ совѣтъ проповѣдью о страшномъ судѣ; но общая мораль примѣняется иногда ближайшимъ образомъ къ чешскому быту; авторъ въ своей аллегоріи даетъ королю смѣлые и благоразумные совѣты, которые выгодно свидѣтельствуютъ объ общественномъ характерѣ писателя-пана [1]). Смилю изъ Пардубицъ при-

---

[1]) Янъ Дубравскій (Dubravius) перевелъ для короля Лудовика «Новый Совѣтъ» на латинскій языкъ, подъ названіемъ Theriobulia (Нюренб. 1520, Крак. 1521, Бресл. 1614). Новый нѣмецкій переводъ Венцига: Der Neue Rath des Herrn Smil von Pardubic. Leipz. 1855. Названіе «Новаго Совѣта» объясняли различно, относя его или къ другому «Совѣту» (Rada otce k synu), которая приписывается также Смилю, или къ «Совѣту звѣрей» (Rada zvířat), который ему вѣроятно вовсе не принадлежитъ; наконецъ Иречекъ объясняетъ его (едва-ли не всего правильнѣе) просто

надлежитъ также собраніе чешскихъ пословицъ (Proverbia Flasskonis, generosi domini et baccalarii Pragensis), которое любопытнымъ образомъ свидѣтельствуетъ объ его пониманіи народности,—чешскіе историки съ удовольствіемъ замѣчаютъ это явленіе, когда, напр., даже у Нѣмцевъ первый сборникъ пословицъ явился только въ концѣ XVI вѣка. Кромѣ этого чувства народности, его патріотической нелюбви къ иноземнымъ вліяніямъ, у него указываютъ и книжное значеніе своей старины; въ сочиненіяхъ его слышны отголоски предшествующей литературы, напр. Александреиды, Далимила. Самъ онъ былъ хорошо извѣстенъ послѣдующимъ писателямъ: о немъ съ большимъ уваженіемъ говорили Корнелій изъ Вшегордъ, знаменитый юристъ XV вѣка, какъ о „доброй памяти Чехѣ"; съ похвалами отзывается о немъ Лупачъ, историкъ „Братской Общины" (чешскихъ братьевъ) въ XVI столѣтіи [1]).

Смилю изъ Пардубицъ приписывались нѣсколько другихъ произведеній, аллегорическаго или нравоучительно-сатирическаго рода, — о которыхъ можно упомянуть здѣсь же. Одно только изъ этихъ произведеній можно съ вѣроятностью считать трудомъ Смиля; это — любопытные *Совѣты отца сыну* (Rada otce k synu), по манерѣ и стиху дѣйствительно напоминающіе „Новый Совѣтъ". Отецъ хочетъ въ сынѣ „воспитать рыцаря изъ своего племени", и даетъ ему много наставленій, занимательныхъ по отношенію къ быту и нравамъ чешскаго дворянства XIV вѣка. Прежде всего онъ учитъ сына страху божію, усердной молитвѣ, чистотѣ совѣсти, учитъ быть вѣрнымъ своему слову, соблюдать честь, „какъ велитъ рыцарскій законъ, — потому что нѣтъ ничего дороже чести"; совѣтуетъ быть справедливымъ со всѣми людьми, не желать чужого имѣнья, но строго защищать и свое отъ другихъ, быть щедрымъ, милостивымъ къ челяди и т. д. Наконецъ, совѣты относительно обращенія съ дамами, изложенные по извѣстнымъ рыцарскимъ понятіямъ средневѣковой Европы, лучшимъ выраженіемъ которыхъ была провансальская поэзія. Отецъ даетъ сыну это наставленіе, какъ необходимое для „рыцарства": научаетъ его уважать всѣхъ добрыхъ дамъ, защищать и прославлять ихъ честь; совѣтуетъ вѣрную (рыцарскую) любовь, — благосклонность панны онъ долженъ цѣнить выше золота и драгоцѣнныхъ каменьевъ, — „дороже ея нѣтъ ни одной

стариннымъ обычаемъ называть «новымъ» произведеніе, являющееся въ первый разъ изъ рукъ автора.

[1]) «Новая Рада» напечатана была въ «Выборѣ» и въ изданіи Яна Гебауэра: Nová Rada. Báseň pana Smila Flašky z Pardubic (Památky staré literatury české. I.). Прага. 1876. Сочиненія Смиля вызвали уже довольно много изслѣдованій, напр. Воцеля: разборъ «Новой Рады» и біографія автора, въ «Часописѣ», 1855; Фейфалика, Studien zur Gesch. der altböhm. Literatur, III; Иречка, Rukovět I, 194—195, и особенно Гебауэра, въ предисловіи къ упомянутому выше изданію.

вещи въ цѣломъ свѣтѣ". Сынъ благодаритъ отца за наставленіе и обѣщаетъ служить сначала „Богу милому", и заботиться о добрыхъ поступкахъ, а потомъ служить „и дамамъ и паннамъ вообще всѣмъ", и одной паннѣ всего больше [1]).

Смилю приписывался также *Споръ воды съ виномъ* (Svar vody s vinem), но нынѣшніе критики предполагаютъ здѣсь совсѣмъ иного писателя. „Споръ" есть довольно забавный разсказъ. Дѣло произошло такъ: одинъ „мистръ св. письма", т.-е. вѣроятно магистръ богословія (пражскій университетъ былъ уже основанъ), накушался сладкихъ яствъ и выпилъ достаточно вина. Во снѣ ему привидѣлось, что ангелъ вознесъ его на третье небо и онъ увидѣлъ Бога, сидящаго въ своемъ великолѣпіи, — какъ будто готовился судъ. Вода спорила съ виномъ, и мистръ слышалъ всѣ ихъ рѣчи. Вино хвасталось, что безъ него не обойдется ни одинъ пиръ, и всегда имъ заканчиваютъ какъ лучшимъ напиткомъ; вода отвѣчала, что ея хотѣлъ напиться самъ Христосъ, что она — одна изъ четырехъ стихій міра и т. п. Споръ шелъ очень долго: обѣ стороны прибѣгали часто къ священному писанію, — вода хвалилась, что она исцѣляла болѣзни въ извѣстной купели, что въ ней крестился Христосъ, что она текла изъ его бока, „все за грѣшнаго человѣка", что она — мать всего творенія, она освѣжаетъ лугá, рѣками украшаетъ города и селенья; укоряетъ потомъ вино, что оно одуряетъ человѣка, что оно привело Ноя и Лота на край грѣха и погибели и т. д. Вино отвѣчаетъ, что, напротивъ, оно выше, Христосъ воду претворилъ въ вино, а не на оборотъ; что Христосъ назвалъ своею кровью вино, а не воду; что вода есть вещь весьма презрѣнная, въ ней живутъ всякіе гады, ее пьетъ корова, лошадь и коза, и локаетъ всякій хищный звѣрь; что воду льютъ подъ лавку, тогда какъ вино берегутъ въ чистой скляницѣ; что когда человѣкъ смѣло подопьетъ вина, то чувствуетъ себя прямымъ витяземъ, хоть, можетъ быть, самъ не стóитъ гроша. Вода однако побѣждала въ спорѣ, — мистръ очнулся и испугался, что вода могла загубить вино и ему нечего было бы пить: „воды много на этомъ свѣтѣ, а вина мало, — это извѣстно каждому ребенку". Мистръ сталъ мирить ихъ и самъ держалъ рѣчь: Богъ сотворилъ ихъ одинаково, назначивши воду свѣтскому, а вино духовному чину, — и они должны жить вмѣстѣ, какъ нельзя быть духовному чину безъ свѣтскаго и свѣтскому безъ духовнаго. Потому мистръ совѣтуетъ имъ жить въ мирѣ и безъ зависти, и не спорить о томъ, кто пьетъ больше вина, нежели воды: „потому что кто хочетъ пить больше воды, тому вѣрно нечѣмъ заплатить за ви-

---

[1]) Издано въ Staroč. Sklad. V, и въ «Выборѣ». Ср. Feifalik, Studien, III; Gebauer, Nová Rada, стр. 9.

но, — поэтому оставьте то на волю Божію: пусть люди пьютъ, кто чтó можетъ". Аллегорія намекала на нравы духовенства.

Остается упомянуть еще одно произведеніе, въ которомъ также видѣли, но опять несправедливо, трудъ Смиля изъ Пардубицъ: *Конюхъ и школьникъ* (Satrapa et scholaris, Podkoně a žák; изд. въ числѣ старѣйшихъ чешскихъ „первотисковъ", Пильзенъ, 1498). Это — опять „споръ": конюхъ и школьникъ, вѣроятно очень взрослый, сошлись въ корчмѣ и спорятъ о своихъ взаимныхъ преимуществахъ. Авторъ „сатирически", но довольно добродушно, описываетъ ихъ незавидное положеніе; изъ ихъ разсужденій можно, между прочимъ, извлечь понятіе о бытѣ тогдашняго школьнаго народа, напоминающемъ бурсацкій бытъ старинныхъ нашихъ семинарій.

Указанныя сочиненія пана Смиля изъ Пардубицъ и другихъ авторовъ, которымъ принадлежали послѣднія изъ названныхъ пьесъ, даютъ довольно полный образчикъ общественной поэзіи того времени. Смиль былъ, конечно, изъ числа образованнѣйшихъ людей своего времени и патріотъ; но, несмотря на нелюбовь къ „чужеземцамъ", онъ въ литературномъ дѣлѣ слѣдуетъ за чужеземцами: въ его писаніяхъ высказываются феодальные вкусы и идеи, занесенные въ чешскую жизнь Нѣмцами, и литературная манера отзывается западнымъ и особенно нѣмецкимъ характеромъ. „Совѣты отца сыну", „Совѣтъ звѣрей", „Споръ воды съ виномъ", и наконецъ, „Конюхъ и школьникъ", хотя сатира ихъ и относится къ чешскимъ нравамъ, навѣяны знакомствомъ съ нѣмецкими книгами. Эти произведенія удачно переводились для чужой публики, какъ „Новый Совѣтъ" или „Ткадлечекъ", нѣмецкое изданіе котораго вышло въ числѣ первыхъ напечатанныхъ нѣмецкихъ книгъ. Какъ въ упомянутомъ сейчасъ стихотвореніи изображается сатирически конюхъ и студентъ, такъ и другія произведенія XIV вѣка сообщаютъ насмѣшливые разсказы „о сапожникахъ", которые упрекаются въ пьянствѣ; „о лживыхъ судьяхъ", которые кривятъ душой за деньги; „о злыхъ кузнецахъ", которые помогаютъ ворамъ; „о пивоварахъ", которые обманываютъ простодушныхъ поселянъ; „о цирюльникахъ", которые пьянствуютъ и худо исполняютъ свое дѣло — плохо брѣютъ и пускаютъ кровь, и т. п.

Съ латинскимъ церковнымъ образованіемъ и европейскими обычаями у Чеховъ появилась и средневѣковая драма, въ общей западной формѣ мистеріи, смѣшанной съ фарсомъ. Первоначально, мистеріи пришли сюда въ латинскомъ текстѣ, къ которому прибавлялись чешскіе переводы. Въ рукописяхъ XIV—XV в. сохранилось нѣсколько подобныхъ пьесъ, частію цѣлыхъ, частію въ отрывкахъ, и въ разныхъ редакціяхъ. Такъ, есть чешскій отрывокъ изъ „ludus palmarum"; разговоръ распятаго Христа съ Маріей и Іоанномъ, такъ называемый

Плачъ Маріи (въ трехъ редакціяхъ); „Ordo trium personarum", гдѣ разсказывается о покупкѣ мазей, приходъ женщинъ ко гробу, разговоръ съ Христомъ и извѣщеніе о томъ апостоловъ (также въ трехъ редакціяхъ) и друг. Къ этому послѣднему сюжету принадлежитъ древнѣйшій извѣстный образчикъ чешской религіозной драмы: *Продавецъ мазей* (Mastičkař), изъ начала XIV столѣтія. „Продавецъ мазей" есть только небольшой отрывокъ пьесы, которая представляла особую редакцію мистеріи о погребеніи Спасителя (Ordo trium personarum). „Продавецъ мазей" отличается въ особенности соединеніемъ серьёзнаго и комическаго; вслѣдъ за весьма крѣпкими, даже грубо неприличными остротами шута, играющаго роль слуги продавца, являются на сцену три Маріи и благочестиво поютъ по латыни и по чешски о смерти Спасителя и о своей горести, продавецъ отвѣчаетъ имъ также серьёзно по латыни; но затѣмъ является Авраамъ съ умершимъ Исаакомъ, котораго продавецъ мазей воскрешаетъ съ помощью своихъ лекарствъ опять самымъ неприличнымъ образомъ [1]). Одинъ изъ чешскихъ критиковъ указывалъ, что чешскій „Продавецъ мазей" перенесенъ былъ въ нѣмецкую литературу въ нѣсколькихъ мистеріяхъ, которыя носятъ явные слѣды знакомства съ Чехами и чешскимъ языкомъ, — и въ одной изъ нихъ указываетъ полный сюжетъ мистеріи, отрывокъ которой мы видимъ въ чешской пьесѣ [2]). Грубоватое шутовство „Продавца мазей" направлено въ особенности противъ монаховъ и монахинь. Другой драматическій отрывокъ, относимый по языку къ XIV столѣтію, представляетъ тотъ же сюжетъ въ серьёзномъ тонѣ: дѣйствующія лица въ немъ Іисусъ, Марія Магдалина, Петръ и Іоаннъ, три ангела и т. д. [3]).

Чешская исторіографія также началась латынью. Первые чешскіе лѣтописцы, по общему обычаю западной Европы, писали по латыни и представляютъ обыкновенныя качества средневѣковыхъ анналистовъ, ихъ ученыя и баснословныя замашки. Кромѣ Козьмы Пражскаго (ум 1125), другія латинскія хроники написаны были: монахами Сазавскимъ и Опатовицкимъ; Винцентіемъ, каноникомъ пражскимъ; Ярлохомъ, аббатомъ Милевскимъ; Петромъ Житавскимъ; Франтишкомъ, пробстомъ пражскаго капитула, и т. д. Затѣмъ появляются съ XIV вѣка лѣтописи и на чешскомъ языкѣ, отчасти отдѣльными хрониками, отчасти въ видѣ лѣтописныхъ сборниковъ, въ которые

---

[1]) Mastičkař изданъ былъ въ первый разъ съ подправками Ганкой, въ Starob. Skladanie, V; потомъ повторенъ въ «Выборѣ».

[2]) См. у Небескаго, въ «Часописѣ», 1847, I, вып. 3, 335—340; у Гануша, Die lateinisch-böhmischen Oster-Spiele des 14 — 15 Jahrh. Prag, 1863, стр. 70—73.

[3]) Этотъ отрывокъ, подъ произвольно даннымъ заглавіемъ «Hrob boží», изданъ въ Starobylá Sklad. III, и у Ганушa. Послѣдній, въ «Oster-Spiele» и въ «Malý Vybor ze staročeské literatury», Прага, 1863, издалъ вообще цѣлый рядъ латино-чешскихъ пьесъ.

входили и старѣйшія записи [1]). Старѣйшая и знаменитѣйшая изъ чешскихъ лѣтописей есть риѳмованная хроника начала XIV вѣка, которая приписывалась обыкновенно нѣкоему Далимилу Мезиржицкому, канонику Болеславской церкви. Такъ полагали, основываясь на томъ, что позднѣйшій историкъ Гаекъ ссылался на „Далимила"; но вѣроятнѣе, что авторомъ хроники былъ чешскій рыцарь, ученый и патріотъ, въ родѣ Смиля изъ Пардубицъ; притомъ въ началѣ этотъ авторъ самъ ссылается на Болеславскую хронику, которой пользовался. Въ хроникѣ разсказываются событія чешской исторіи отъ древнѣйшихъ временъ до Яна Люксембургскаго (1314); съ конца XIII вѣка лѣтописецъ говоритъ уже по личному знанію событій. „Далимилъ" принадлежалъ видимо къ оппозиціи, не одобрявшей вліянія Нѣмцевъ, и при каждомъ удобномъ случаѣ высказываетъ къ нимъ свою антипатію; какъ горячій патріотъ, онъ заботился о сохраненіи національной чести и родного языка, хотя въ нелюбви къ Нѣмцамъ участвовала у него антипатія шляхтича къ мѣщанству. Онъ хорошо знаетъ свою страну, дорожитъ преданіями чешской шляхты; по своему времени очень образованный человѣкъ. Хроника его — всего больше стихотворство на историческій сюжетъ, но иногда не лишена поэтическаго достоинства. Къ разсказу прибавляетъ онъ и хорошія патріотическія наставленія. По всему этому, „Хроника Далимила" давно пріобрѣла большую популярность; многочисленныя рукописи ея идутъ съ XIV вѣка, въ разныхъ редакціяхъ: въ роковомъ 1620 году она была въ первый разъ напечатана, но тогда же сожжена, такъ что уцѣлѣло лишь нѣсколько экземпляровъ изданія [2]). Другая обширная хроника, съ древнихъ временъ до 1330, въ прозѣ, также весьма извѣстная, принадлежитъ священнику Пулкавѣ (Přibyslav z Radenína или Přibík Pulkava, ум. 1380). Хроника была написана первоначально по латыни, по порученію Карла IV, и потомъ переведена самимъ Пулкавой на чешскій. Тотъ же Пул-

---

[1]) Палацкій, Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber. Prag, 1830. Старыя чешскія лѣтописи собраны Палацкимъ въ изданіи: «Staři letopisové češti» (Scriptores rerum bohemic., т. III, 1829). Чешскій переводъ лѣтописи Козьмы Пражскаго сдѣлалъ Томекъ: Prameny dějin českých. 1873.

[2]) Первое изданіе: Kronyka Stará klaštera Boleslawského: o Poslaupnosti knjžat a Králů Czeských и проч., Прага, 1620. Второе изданіе сдѣлалъ Ф. Прохазка: Kronika Boleslawská, o Poslaupnosti etc. Прага, 1786, съ подновленіемъ языка. Третье и слѣд. изданія—Ганка: Dalimilova Chronika česká v nejdávnější čtení navrácena, Прага, 1849, 1851, 1876. Наконецъ новое ученое изданіе приготовилъ І. Иречекъ: Rýmovana kronika česká tak řečeného Dalimila (Památky staré literatury české, II). Прага, 1878 и Prameny dějin českých, III. О Далимилѣ въ предисловіи Иречка къ его изданію и въ «Часописѣ», 1879.

Въ XIV же вѣкѣ Далимилъ былъ переведенъ на нѣмецкій языкъ, причемъ рѣзкости его противъ Нѣмцевъ были смягчены; этотъ переводъ также изданъ Ганкой въ сборникѣ нѣмецкаго литер. общества въ Штутгартѣ: Dalimils Chronik von Böhmen. Stuttg., 1859.

кава, какъ полагаютъ, перевелъ автобіографію Карла IV на чешскій языкъ [1]).

Наконецъ, въ этомъ періодѣ значительно развилась и литература чешскаго права. Мы только назовемъ главныя произведенія. Къ первой половинѣ XIV вѣка относится такъ называемая *Книга стараго пана изъ Розенберка* (коморникъ короля чешскаго въ 1318 — 1346, ум. 1347), гдѣ объясняется, какъ слѣдуетъ вести дѣла въ земскихъ судахъ чешскаго королевства, — замѣчательный памятникъ старыхъ юридическихъ обычаевъ Чехіи. Дальше *Земское Право* (Řád práva zemského, 1348 — 1355), написанное сначала по латыни, потомъ свободно переданное на чешскій языкъ, — также какъ книга пана изъ Розенберка, трудъ частнаго человѣка, не имѣвшій силы оффиціальной. Важнымъ юридическимъ памятникомъ надобно дальше назвать *Объясненія на право чешской земли* Андрея изъ Дубы (Ondřej z Dubé, ум. 1412; Výklad na pravo země české, около 1400) — съ посвященіемъ королю Вацлаву, занимательнымъ не меньше самой книги [2]). Затѣмъ извѣстны переведенныя съ латинскаго „Права великаго города Праги", „Магдебургское право", „Majestas Carolina" Карла IV въ чешскомъ переводѣ, постановленія судовъ и сеймовъ и т. д. Хотя въ чешской жизни XIV вѣка было уже много чужихъ вліяній, но въ этихъ книгахъ сохранилось не мало юридическихъ обычаевъ, идущихъ изъ древнѣйшихъ временъ. Непосредственные источники древнѣйшаго чешскаго права бѣдны и заключаются главнымъ образомъ въ старыхъ юридическихъ актахъ и лѣтописныхъ извѣстіяхъ.

Наконецъ, назовемъ еще нѣсколько произведеній, уцѣлѣвшихъ отъ XIV столѣтія: *Аланъ* (1527 стих.), аллегорическое стихотвореніе о нравственномъ обновленіи человѣка. Природа желаетъ усовершенствовать человѣка, порабощеннаго грѣхами: она совѣтуется объ этомъ со всѣми добродѣтелями; Мудрость, сопровождаемая Разумомъ, семью Свободными Художествами и пятью Чувствами, отправляется на девятое небо (все это описывается съ баснословными подробностями), и Богъ обѣщаетъ спасеніе человѣка черезъ своего Сына. „Аланъ" сокращенъ и пересказанъ чешскимъ стихотворцемъ по латинской поэмѣ Anticlaudianus, Алана Рисселя (Alanus ab Insulis, ум. 1203). Это образчикъ схоластической философіи и космогоніи среднихъ вѣковъ [3]).

---

[1]) Хроника Пулкавы, съ подновленіемъ языка, издана Прохазкой, въ Прагѣ, 1786. Отрывки (главнымъ образомъ по рукописи 1426 г.) въ «Выборѣ». Первое изданіе Жизнеописанія Карла IV, Оломуцъ, 1555; второе изданіе Фр. Томсы, Прага, 1791; третье, по старой рукописи XV вѣка, въ «Выборѣ».

[2]) Всѣ названные памятники изданы въ «Чешскомъ Архивѣ» Палацкаго, въ Codex Juris bohemici, Герм. Иречка. Кромѣ того, *Книга стараго пана* была издана ранѣе Кухарскимъ, а въ новѣйшее время Брандлемъ: Kniha Rožmberská. Прага, 1872.

[3]) Издано въ Starob. Sklád. III; ср. Feifalik, Studien etc. IV.

Далѣе—энциклопедическій *Луцидаріусъ*, знаменитый по всей Европѣ и передающій научныя знанія среднихъ вѣковъ вмѣстѣ съ множествомъ басенъ и чудесныхъ повѣрій, которыя также считались научнымъ знаніемъ. Чешскій „Луцидаріусъ" относятъ еще къ XIV столѣтію. Какъ въ другихъ литературахъ, это была очень читаемая книга, и первое изданіе сдѣлано въ Пильзенѣ, 1498. Переводились тогда и позднѣе другія книги нравоучительнаго и образовательнаго содержанія, какъ *Cisiojanus*, *Рай Души* Альберта Великаго, *Дистихи* „мистра" Катона, историческія и географическія книги какъ *Римская Хроника* (или такъ называемый „Мартиміанъ"), переведенная Бенешомъ изъ Горжовицъ въ концѣ XIV или началѣ XV в., или извѣстное *Путешествіе* Мандевиля, переведенное съ нѣмецкаго Лаврентіемъ изъ Бржезова (Пльзенъ, 1510—1513, и др.). Наконецъ, назовемъ въ особенности переводъ знаменитаго путешествія Марко Поло въ монгольское царство въ XIII столѣтіи. Чешскій переводъ этой книги, сдѣланный въ XIV вѣкѣ, подъ именемъ „Милліона", въ послѣднее время обратилъ на себя вниманіе историковъ странными совпаденіями съ нимъ, оказавшимися въ „Ярославѣ" Краледворской Рукописи [1]).

2. ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНІЕ И „ЗОЛОТОЙ ВѢКЪ" ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Новый періодъ чешской литературы довольно опредѣлительно можно начать съ XV вѣка, хотя переходъ идей отъ XIV столѣтія въ XV-е былъ довольно постепенный. Въ реформаторскихъ стремленіяхъ Гуса высказалась и проявилась на дѣлѣ новая мысль, опредѣлившая дальнѣйшій ходъ чешской исторіи, но въ другихъ литературныхъ направленіяхъ продолжалось предыдущее развитіе, съ которымъ и самыя идеи Гуса имѣютъ большую связь. Поэтому въ исторіи XV столѣтія мы еще будемъ возвращаться къ XIV-му [2]).

---

[1]) См. статью Гебауэра, въ Ягичевомъ Archiv für slav. Philologie, I Bd.

[2]) Объ этомъ періодѣ чешской литературы, см. вообще:

— Bohuslai Balbini, Bohemia docta, ed. Raphael Ungar. 1776.

— Ad. Voigt, Acta litteraria Bohemiae et Moraviae. 1774—1784.

— V. Tomek, Gesch. der Prager Universität. Prag, 1849; Dějepis města Prahy, томы III—IV.

— V. Hanka, Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 1526 lěta. Прага, 1853.

— I. A. Helfert, Mistr Jan Hus aneb počatkové cirkovního rozdvojení v Cechach. Прага, 1857 (съ католической точки зрѣнія).

— Евг. Новиковъ, Православіе у Чеховъ, 1848; Гусъ и Лютеръ (въ «Р. Бесѣдѣ» и отдѣльной книгой), 1859. (Главное изложеніе славянофильскаго взгляда на этотъ вопросъ).

— Гильфердингъ, Гусъ. Его отношеніе къ православной церкви. Спб., 1871, и въ «Исторіи Чехіи».

— В. Надлеръ, Причины и первыя проявленія оппозиціи католицизму въ Чехіи и западной Европѣ въ концѣ XIV и началѣ XV в. Харьковъ, 1864.

Развитіе чешской литературы въ XIV вѣкѣ усиливалось особенно вслѣдствіе того, что расширялись средства образованія и возростало благосостояніе страны въ правленіе Карла IV. Чрезвычайно большое вліяніе имѣло при этомъ основаніе Пражскаго университета (1348); правда, и здѣсь, какъ въ другихъ высшихъ школахъ западной Европы, наука передавалась на латинскомъ языкѣ, но латынь была очень распространена и образованіе расходилось по всей странѣ. Съ другой стороны, въ усиленіи литературной дѣятельности имѣло свою значительную долю участіе нѣмецкой образованности. Время Карла IV и его сына, Вацлава IV, вообще признается блестящимъ періодомъ чешскаго образованія.

Знаніе латинскаго языка распространялось все больше; въ религіозныхъ спорахъ, которые привлекли теперь всеобщее вниманіе націи, это знаніе было и необходимо. Мы встрѣчаемъ поэтому цѣлую массу словарей латинскихъ и другихъ иностранныхъ, которые обнаруживаютъ сильное литературное движеніе и связи Чеховъ въ эту эпоху [1]. Кромѣ латинскаго языка, въ этихъ словаряхъ появляется греческій, нѣмецкій (всего чаще), французскій, итальянскій, венгерскій и польскій. Латынь была языкъ универсальный, и чешскіе писатели, на ряду съ другими европейскими, любили переводить или передѣлывать свои имена на латинскій ладъ. Распространеніе знаній, вмѣстѣ съ бурнымъ религіознымъ движеніемъ, чрезвычайно распространили литературную дѣятельность, такъ что съ XV столѣтія является огромная масса произведеній въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ.

Остановимся сначала на томъ романтическомъ средневѣковомъ содержаніи, которое прочно утвердилось у Чеховъ еще съ XIV столѣтія.

— А. С. Клевановъ, Очеркъ исторіи чешскаго вѣроисповѣднаго движенія, въ «Чтеніяхъ Моск. Общ.», 1869, т. III и слѣд.

— Const. Höfler, Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen, 3 Bde, 1856 — 1866; Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag, 1409. Prag, 1864. (Враждебно къ Гусу и чешскому національному движенію).

— Fr. Palacký, Исторія; Dějiny doby husitské (переработанныя) 1871 — 72; Die Vorläufer des Hussitenthums in Böhmen. Prag, 1846; Die Geschichte des Hussitenthums und Prof. Const. Höfler. Prag, 1868; Documenta Mr. J. Hus vitam, doctrinam, causam illustrantia. Edidit Franc. Palacký. Pragae, 1869.

— Fr. de Bonnechose, Jean Hus et le concile de Constance. Paris. 1844, 2 тома; Lettres de Jean Hus, écrites durant son exil et dans sa prison, traduites du latin en français. P. 1846.

— Ernest Denis, Huss et la Guerre des Hussites. Paris, 1878.

— Anton Gindely, Geschichte der böhmischen Brüder, Prag, 1857 — 58, 2 тома; Rudolf II und seine Zeit, 1600—1612. Prag, 1868, 2 тома; Quellen zur Gesch. der böhm. Brüder. Wien, 1859; Dějiny českého povstání 1618 (доселѣ 3 части).

[1]) Небольшой словарь составленъ былъ однимъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей умѣреннаго гуситства Рокицаной; другіе словари: „Mammotrectus“, «Hymnarius», дальше „Оломуцкій“, „Вѣнскій“ триязычный, но въ особенности „Lactifer“; затѣмъ въ XVI столѣтіи латинско-чешско-нѣмецкій словарь Петра Кодицилла (или Книжки), „Sylva“ и „Nomenclator quadrilinguis“ Велеславина и много другихъ.

Средневѣковыя поэмы, и позднѣе выродившійся изъ нихъ стихотворный и прозаическій романъ, переходятъ въ чешскую литературу цѣлымъ обширнымъ запасомъ. Изъ античнаго цикла переведена была знаменитая *Троянская исторія*, Гвидона де-Колумны, въ 1411 г., и напечатана первой чешской книгой въ Пильзенѣ, 1468, въ Прагѣ, 1488, и еще нѣсколько разъ, потому что была весьма любимымъ чтеніемъ; *Аполлоній Тирскій*, извѣстный въ рукописи 1459 г. и много разъ печатанный. Изъ духовныхъ романовъ пользовались не меньшимъ успѣхомъ: *Варлаамъ и Іосафатъ*, рукописи котораго извѣстны со второй половины XV вѣка (изд. 1504 и др.); *Іосифъ и Асеневъ* (Kniha o Josefovi a Assenach manželce jeho, рукопись 1465, изд. 1570), извѣстная апокрифическая исторія о ветхозавѣтномъ Іосифѣ; *Сольфернъ* (Solfernus aneb život Adamův), романъ, разсказывающій споръ дьявольскихъ силъ съ Богомъ о небѣ, переведенъ съ латинскаго въ первой половинѣ XV вѣка, передѣланъ Гайкомъ Либочанскимъ и изданъ Сикстомъ изъ Оттерсфорда въ 1553 г. и др. Множество средневѣковыхъ романовъ и повѣстей, перешедшихъ въ чешскую литературу, ходило въ рукописяхъ и печаталось, напр., извѣстные романы: *Flore et Blancheflore* (Velmi pěkna nová kronika aneb historia vo velicé milosti knižete a krále Floria a jeho milé paní Biancefoře, 1519 и др.); исторія о *Мелюзинѣ* (Kronika kratochvilná, 1555 и др.); о рыцарѣ *Петрѣ* и княгинѣ *Магелонѣ* (Кр.-Градецъ, 1565); Боккаччьева повѣсть о *Гризельдѣ*, извѣстная по рукописямъ съ XV столѣтія и много разъ изданная; повѣсть о цезарѣ *Іовиніанѣ*; о *Семи мудрецахъ* (Kratochvilná kronika o sedmi mudrcích); о *Фортунатѣ*; о *Тиллѣ Эйленшпигелѣ;* разговоры *Соломона съ Маркольтомъ*, и много другихъ подобныхъ произведеній, ближайшимъ источникомъ которыхъ была нѣмецкая литература. Эти и подобныя исторіи у Чеховъ были такими же популярными книгами, какъ по всей Европѣ, сначала какъ чтеніе рыцарей и высшаго сословія, а потомъ въ публикѣ простонародной, въ которой онѣ отчасти живутъ и до сихъ поръ. Были и собственныя исторіи въ томъ же вкусѣ. Таковы, напр., исторія о князѣ и панѣ чешскомъ *Штильфридѣ и сынѣ его Брунцвикѣ*, о *паннѣ Властѣ* (чешской амазонкѣ), извѣстныя по изданіямъ XVI вѣка; повѣсть о человѣкѣ рыцарскаго сословія *Палечкѣ* (Прага, 1610 и др.), нравоучительная повѣсть Бартоша Папроцкаго (Прага, 1601 и друг.). Исторія о Штильфридѣ принадлежитъ, собственно говоря, болѣе раннему времени: по рукописямъ она извѣстна съ XV вѣка, но составлена была первоначально, какъ думаютъ, еще въ XIV вѣкѣ, въ видѣ стихотворной повѣсти [1]). Впослѣдствіи, эти старыя повѣсти также перешли въ

[1]) Напечат. въ «Выборѣ», II. Исторія о чешскомъ королевичѣ Брунцвикѣ извѣстна была и въ русской письменности XVII вѣка. См. въ моемъ «Очеркѣ стар. повѣстей», etc. 1857, стр. 223—227. Иречка, Die Echtheit, стр. 123.

разрядъ простонароднаго чтенія, особенно когда для чешской литературы наступили времена упадка.

Мы видѣли выше, что кромѣ „Любушина Суда“ и Краледворской Рукописи,—считавшихся выраженіемъ чисто національнаго направленія, а теперь такъ сильно заподозрѣнныхъ,—чешская литература, какъ цѣлая политическая и общественная жизнь, обнаруживаетъ такое сильное вліяніе латино-нѣмецкихъ формъ и содержанія, что это вліяніе скорѣе приходится считать очень давнимъ и общимъ. Наконецъ съ XIV вѣка въ литературѣ стали возвышаться голоса, требовавшіе возстановленія народной чести и народнаго языка. Такими патріотами были авторъ Далимиловой хроники, поэтъ Александреиды, Смиль изъ Пардубицъ и др. Эти первыя патріотическія воззванія XIV столѣтія приготовляютъ насъ къ національному движенію, которое открылось въ Чехіи въ началѣ XV вѣка, съ появленіемъ Гуса.

Движеніе въ основѣ было чисто религіозное, но вскорѣ уже пріобрѣло самый широкій національный смыслъ. Что религіозный вопросъ сталъ здѣсь на первомъ планѣ и могъ потомъ повлечь за собою такой обширный переворотъ, какой произошелъ у Чеховъ въ XV столѣтіи, — это объясняется средневѣковымъ значеніемъ религіозныхъ интересовъ и католической церкви въ западной Европѣ вообще, и тѣмъ особеннымъ положеніемъ, которое заняла эта церковь въ Чехіи. Католичество пришло не совсѣмъ мирно въ Чехію, и латинская церковь съ самаго начала сталкивалась съ интересами народа и народности,—она принесла измѣненіе въ общественный порядокъ, открывая дорогу клерикальнымъ притязаніямъ и феодализму; ея латинская церковность и образованіе были непонятны массамъ; заботясь о вещественныхъ благахъ духовенства, она слишкомъ мало заботилась о народѣ; у этого народа не было притомъ никакихъ римскихъ традицій, но за то были, какъ говорятъ, хотя темныя воспоминанія о своей славянской церкви. Политическія и общественныя злоупотребленія духовенства, владѣвшаго имѣніями въ ущербъ народному богатству и подававшаго соблазнъ для народной нравственности, и злоупотребленія королевской власти, нарушавшей и національное чувство и земскія вольности, съ разныхъ сторонъ подрывали авторитетъ и когда было сказано противъ этого авторитета первое сильное слово, въ массѣ пробудилась сознательная потребность новаго порядка.

Предыдущій періодъ приготовлялъ уже къ этому сознанію, прежде всего на церковной почвѣ. Развитіе чешской литературы при Карлѣ, значительно распространило образованность и направило вниманіе на нравственные и религіозные вопросы. Легкая иронія по поводу жизни духовенства просвѣчиваетъ уже въ сатирическихъ пьесахъ, приписываемыхъ Смилю изъ Пардубицъ. Но мало по малу, вопросъ ставился

шире, отъ частныхъ недостатковъ переходилъ къ болѣе широкимъ причинамъ, и наконецъ принялъ національный характеръ. Оппозиція противъ существующихъ церковныхъ порядковъ явилась наконецъ среди самаго духовенства: Карлъ IV, самъ указывавшій папѣ на церковныя неустройства, покровительствовалъ проповѣдникамъ: Нѣмцу Конраду Вальдгаузеру (ум. 1369 имъ написаны: латинская Apologia противъ доминиканцевъ и августинцевъ; Postilla studentium sanctae Pragensis Universitatis super Evangelia dominicalia) и Чеху Яну Миличу (ум. 1374), которые ревностно проповѣдывали противъ свѣтской и церковной испорченности, такъ что тѣ, кому не нравились эти поученія, придумали обвинить ихъ въ ереси. Миличъ былъ уже характернымъ представителемъ наступавшаго религіознаго возбужденія, хотя не выходилъ нисколько изъ принятыхъ католическихъ формъ. Бывши священникомъ и католикомъ, онъ служилъ въ цесарской канцеляріи, получилъ въ награду хорошее мѣсто и доходы „у св. Вита“ въ Прагѣ, и по примѣру Вальдгаузера пошелъ на проповѣдь. Она была сначала неудачна, надъ нимъ смѣялись, но „сильный духъ, пылавшій въ немъ по милости Божіей“, доставилъ ему власть надъ умами. Сила проповѣди увеличивалась строгимъ аскетизмомъ и безкорыстіемъ проповѣдника. „Въ жизни и одеждѣ онъ былъ скроменъ, даже черезъ мѣру,—говорятъ о немъ:—что́ имѣлъ, онъ раздавалъ бѣднымъ, забывая о себѣ. Обыкновенно каждый день онъ проповѣдывалъ два раза, иногда три и четыре раза. Ученые люди удивлялись быстротѣ, съ какою онъ составлялъ свои поученія. Для студентовъ и священниковъ онъ говорилъ проповѣди по-латыни, въ зрѣлыхъ лѣтахъ выучился еще по-нѣмецки. Строгій къ самому себѣ, онъ не останавливался передъ обличеніемъ самыхъ сильныхъ лицъ, чѣмъ пріобрѣлъ себѣ опасныхъ враговъ, отъ которыхъ спасало его только покровительство Карла IV и пражскаго архіепископа“. Но Миличъ не избѣгъ преслѣдованій: въ своей благочестивой ревности онъ утверждалъ, между прочимъ, что антихристъ проявился видимо на землѣ, и однажды указалъ его въ самомъ Карлѣ IV; многіе изъ среды духовенства были противъ него сильно вооружены; Миличъ попадалъ въ тюрьмы, ѣздилъ въ Римъ, находилъ покровителей при папскомъ дворѣ, и умеръ въ Авиньонѣ [1]). Миличъ былъ еще тѣсно привязанъ къ церковному авторитету, но уже не могъ быть спокойнымъ зрителемъ гражданской и церковной распущенности. Сильное искреннее убѣжденіе, съ какимъ онъ говорилъ, должно было воспитать столько же искреннее

---

[1]) Сочиненія Милича были очень распространены въ рукописяхъ. Изъ нихъ извѣстна «Постилла» и книга «O zarmúcenich velikých cierkve svaté i každé duše vèrné, kteréž mají trpèti od draka na poslednie dni Antikristovy» (изд. 1542). О Миличѣ см. у Палацкаго и др., и Rukovět', II, 30—33.

желаніе—идти дальше въ обличеніяхъ зла и исканіи правды. Такимъ ученикомъ его былъ Матвѣй изъ Янова (ум. 1394), ученый богословъ и „парижскій мистръ“, изъ рыцарскаго рода; онъ пошелъ еще смѣлѣе Милича въ проповѣди неиспорченнаго христіанства: въ большомъ богословскомъ сочиненіи (de regulis Veteris et Novi Testamenti) онъ защищалъ писаніе противъ церковной традиціи и чистое ученіе Христа противъ позднѣйшихъ прибавокъ людского вымысла; онъ также подвергся церковному суду по обвиненію въ ереси.

Но замѣчательнѣйшимъ изъ учениковъ Милича былъ рыцарь Ѳома Штитный (Tomáš Stitný или Toma ze Štitného, род. въ 1325—26, ум. около 1400). Получивши дома первое воспитаніе въ строгомъ религіозномъ духѣ, Штитный учился, кажется, въ монастырской школѣ, вступилъ потомъ въ только-что основанный пражскій университетъ, гдѣ изучалъ философію, богословіе и каноническое право. „Огненныя слова“ тогдашнихъ проповѣдниковъ произвели на него сильное впечатлѣніе, и онъ сталъ горячимъ приверженцемъ Милича, подъ вліяніемъ котораго онъ сдѣлался и писателемъ. Штитный есть одинъ изъ самыхъ крупныхъ людей XIV вѣка; по ясности ума, патріотическому образу мыслей, легкости и плавности языка его ставятъ во главѣ писателей его времени. Сочиненія его посвящены исключительно христіанской философіи и нравоученію. Тогдашняя христіанская философія заключалась въ извѣстной схоластической теологіи и обычнымъ языкомъ ученыхъ „мистровъ“ была латынь. Штитный отступилъ отъ обычая и въ содержаніи и въ формѣ: его философія не есть та сухая богословская казуистика, какая господствовала у школьныхъ ученыхъ; напротивъ, онъ избѣгалъ безплодныхъ хитросплетеній схоластики и съ простымъ чувствомъ излагалъ свою религіозную философію, главною цѣлью которой было живое практическое поученіе, назначаемое не для ученыхъ, а для всякаго читателя. Его философія есть умѣренный христіанскій мистицизмъ, направленный къ нравственному исправленію людей. Это было совсѣмъ не въ духѣ тогдашней школьной учености, и въ самомъ дѣлѣ сочиненія Штитнаго принимались очень враждебно цеховыми теологами: его осуждали, что, самъ не будучи „мистромъ“, онъ занимался вещами, только „мистрамъ“ принадлежащими, и профанировалъ высокое знаніе, говоря о немъ народу. Штитный дѣйствительно хотѣлъ обращаться къ народу и для своихъ христіанско-философскихъ разсужденій принялъ чешскій языкъ. Здѣсь ему также приходилось защищаться: указавши на примѣръ ап. Павла, писавшаго посланія къ каждому народу на понятномъ ему языкѣ, онъ говоритъ: „буду писать по чешски, потому что я—Чехъ и панъ Богъ любитъ Чеха столько же, какъ латынщика“. Сочиненія Штитнаго состоятъ въ небольшихъ трактатахъ по разнымъ предметамъ христіан-

скаго ученія и нравственности; до сихъ поръ ихъ найдено до 26, отчасти соединенныхъ въ сборники. Главнымъ сочиненіемъ по христіанской философіи были „Reči besednie“ (или Rozmluvy nábožné, между отцомъ и дѣтьми); по христіанской нравственности: „Knižky šestery o obecných věcech křest'anských“, и „Knihy naučenie křest'anského“. Всѣ эти трактаты остались въ двухъ переработкахъ, отъ 1375 до 1400 года [1]).

Всѣ эти попытки церковнаго исправленія и вмѣстѣ патріотической защиты народности получили общественную силу только тогда, когда вождемъ ихъ явился знаменитый „мистръ“ (магистръ) Янъ Гусъ, проповѣдникъ въ Виѳлеемской часовнѣ въ Прагѣ, профессоръ и потомъ ректоръ пражскаго университета. Янъ Гусъ, величайшее лицо въ чешской исторіи и славное имя въ исторіи всемірной, родился въ 1369 въ Гусинцѣ, Прахенскаго (теперь Писецкаго) округа. О первыхъ лѣтахъ его извѣстно только, что онъ учился въ Прагѣ. Въ 1393 онъ сталъ баккалавромъ, въ 1394 держалъ испытаніе на баккалавра св. писанія, въ 1396 сдѣлался магистромъ свободныхъ искусствъ. Съ тѣхъ поръ онъ самъ началъ учить въ факультетѣ свободныхъ искусствъ, а также и теологіи, и вскорѣ сталъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ университета. Въ 1401—1402 онъ былъ деканомъ своего факультета. Около того же времени онъ сталъ проповѣдникомъ при Виѳлеемской часовнѣ и принялъ при этомъ посвященіе. Въ 1402—1403 онъ избранъ былъ ректоромъ трехъ факультетовъ, соединяя профессуру и проповѣдничество. Человѣкъ искренняго благочестія, онъ не могъ остаться равнодушнымъ къ общему вопросу церковной жизни, поднятому въ концѣ XIV вѣка; какъ Миличъ, онъ производилъ сильное впечатлѣніе своими проповѣдями во всемъ пражскомъ обществѣ, пріобрѣтая съ одной стороны горячихъ друзей, съ другой—непримиримыхъ враговъ. Но какъ Миличъ и Штитный, онъ въ сущности дѣла еще не отступалъ отъ католическихъ ученій, пользовался даже особымъ довѣріемъ пражскаго архіепископа. Вѣроятно, слава его проповѣди и безупречной жизни была поводомъ, что королева Софья, жена Вацлава IV, выбрала его своимъ духовникомъ. Церковныя злоупотребленія,

---

[1]) Сочиненія Штитнаго, очень извѣстныя въ свое время, были почти вновь открыты въ нынѣшнемъ столѣтіи. Палацкій впервые обратилъ вниманіе на ихъ историческое значеніе; съ тѣхъ поръ, многіе чешскіе ученые занимались ихъ изслѣдованіемъ, какъ Челяковскій, Юнгманнъ (въ «Разборѣ» староч. литер.), Чупръ (въ «Часописѣ», 1847, II), I. Венцигъ (Studien über Ritter Th. v. Štitné, Leipz. 1856), I. Ганушъ (Rozbor filosofie Tomaše ze Št. Пр. 1852); Іосифъ Иречекъ («Часописъ», 1861; Rukovět, II, 266—272), и друг. Изданія: обширныя извлеченія въ «Выборѣ», I; далѣе: «Knižky šestery o obecných věcech křest'anských» издалъ К. Яр. Эрбенъ, съ біографіей Штитнаго (на память основанія пражскаго унив. за 500 лѣтъ назадъ), Пр. 1850; «Thomy ze Štitného knihy naučeni křest'anského», изд. А. Вртятко. Пр. 1873.

раздоры въ самой высшей іерархіи римской церкви, скандалъ троепапства и т. д. еще больше возбуждали сочувствіе къ обличительной проповѣди, и Гусъ имѣлъ сторонниковъ не только въ народѣ, но и при дворѣ и въ высшей шляхтѣ. Живѣйшимъ образомъ церковный вопросъ поднятъ былъ, когда другъ Гуса, Іеронимъ Пражскій (род. около 1379, въ Прагѣ, ум. 1416), чешскій шляхтичъ и баккалавръ свободныхъ искусствъ, принесъ изъ Оксфорда богословскіе трактаты Виклефа, рѣзко стоявшіе за ту реформу, которой до тѣхъ поръ умѣреннѣе требовали чешскіе ея зищитники. Ученія Виклефа нашли у Чеховъ готовую почву—религіозные запросы: уже Ѳома Штитный, при всей своей умѣренности, сомнѣвался въ пресуществленіи; Матвѣй изъ Янова стоялъ за подлинное христіанство противъ новѣйшей порчи; авторитетъ іерархіи былъ уже подверженъ сомнѣнію. Гусъ и его друзья между духовенствомъ и университетскими мистрами приняли ученія Виклефа съ сочувствіемъ, но, собственно говоря, реформатскія стремленія самого Гуса высказались еще раньше, какъ только онъ сталъ публичнымъ учителемъ. Новыя положенія Виклефа проповѣдовались и въ университетѣ [1]), хотя въ первое время ихъ принимали только немногіе изъ членовъ университета и въ нихъ видѣли еще не столько прямой вызовъ, сколько ученое мнѣніе о церковныхъ предметахъ [2]).

Не разсказывая подробностей начинавшейся борьбы, упомянемъ только главныя ея черты. Вопросъ религіозной реформы уже вскорѣ сталъ дѣломъ пражскаго университета, который былъ тогда высшимъ ученымъ учрежденіемъ, единственнымъ для всей средней Европы. Пражскій университетъ въ ту пору привлекалъ множество слушателей, огромное большинство которыхъ состояло изъ иностранцевъ. *Націи*, на которыя дѣлились университетскіе граждане, были: *чешская* (съ Моравами и Венграми), *саксонская* (съ сѣверными Нѣмцами), *баварская* (съ южными Нѣмцами, Швейцаріей, Каринтіей, Крайномъ и т. д.), наконецъ *польская* (съ Силезцами, Лужичанами, Пруссаками, т.-е. въ большинствѣ Нѣмцами или Славянами онѣмеченными, такъ что эта „нація“ была только топографически славянская, а въ сущности была

---

[1]) Такъ какъ уставъ пражскаго университета дозволялъ профессору читать не только свои сочиненія, но и другія сочиненія, если только они были написаны какимъ нибудь магистромъ пражскимъ, парижскимъ или оксфордскимъ (dummodo sint ab aliquo famoso de universitate Pragensi, Parisiensi, vel Oxoniensi magistro compilata. Helfert, стр. 56), т.-е. если только достаточно была обезпечена ученость сочиненія.

[2]) Въ Стокгольмской библіотекѣ хранится сдѣланный Гусомъ списокъ трактатовъ Виклефа: De individuatione temporis et instantis, De ideis, De materia et forma. Списокъ оконченъ былъ 1398 г., in die s. Hieronymi Slavi. Любопытны въ немъ чешскія приписки, напр.: «Bóh daj Wiklefowi nebeské kralevstvie», или: «O Wiklef, Wiklef, nejednomu ty hlavu zvikleš!»

также нѣмецкая). Въ числѣ иностранцевъ бывали въ университетѣ и Французы, Итальянцы, Англичане. Чешская нація, со всѣми студентами, баккалаврами и магистрами, составляла только около 6-й доли цѣлаго университета, такъ что по національности пражскій университетъ далеко не былъ народно-чешскимъ. По своему характеру онъ былъ въ особенности теологическій и латинскій, какъ вообще ученыя учрежденія того времени. Такимъ образомъ, въ этомъ составѣ съ одной стороны университетъ легко могъ быть, и въ то время дѣйствительно былъ, опорой католическаго правовѣрія, съ другой — его латинисты оставались чужды интересамъ чешской народности, на которую ученые профессора, особенно иностранцы, смотрѣли высокомѣрно и не хотѣли съ ней имѣть ничего общаго. Въ этихъ условіяхъ готовился поводъ къ будущему столкновенію. Какъ выше сказано, Ѳома Штитный въ концѣ XIV вѣка уже возстаетъ противъ школьныхъ латынщиковъ, чуждыхъ народу и считавшихъ свое знаніе цеховой тайной. „Богу также угоденъ Чехъ, какъ и латынщикъ", говорилъ онъ; цѣлью трудовъ его было именно дать людямъ, не обученнымъ латыни, то ученіе, о которомъ писалось только по-латыни. Латынщики отнеслись къ этому враждебно; Штитный отвѣчалъ: „Святой Павелъ писалъ свои посланія языкомъ тѣхъ, къ кому писалъ, Евреямъ по-еврейски, Грекамъ по-гречески.... почему бы Господь Богъ и Чехамъ не написалъ и не напоминалъ своей воли письмомъ, у нихъ употребительнымъ?" Онъ съ своей стороны глумится надъ школьными мудрецами, которые боялись, что простой читатель употребитъ во зло высокое ученіе: „развѣ же не дѣлать моста изъ-за того, что глупый человѣкъ можетъ съ него свалиться?" Преобладаніе чужихъ національностей въ университетѣ только усиливало это взаимное нерасположеніе. Можно было ожидать, что въ случаѣ спора сторона народная и патріотическая возстанетъ противъ представителей оффиціальной латинской науки.

Этотъ случай представился въ столкновеніи по поводу положеній Виклефа, принятыхъ Яномъ Гусомъ, тогда уже очень вліятельнымъ лицомъ въ университетѣ, и другими ревностными приверженцами реформы, въ числѣ которыхъ былъ и подканцлеръ университета, Николай Литомышльскій. Въ 1403, 28 мая, собраніе всѣхъ пражскихъ „мистровъ" должно было разсуждать о 45 положеніяхъ выбранныхъ изъ сочиненій Виклефа, которыя осуждались церковью и однако преподавались нѣкоторыми учителями университета. Собраніе должно было разсмотрѣть всѣ пункты этого ученія, противъ которыхъ было уже высказано обвиненіе въ ереси. Несмотря на всѣ старанія Гуса, опровергавшаго правильность выбора этихъ положеній, защитники Виклефа оказались въ меньшинствѣ, и большая часть голосовъ постановила: что ни одинъ членъ пражскаго университета не долженъ учить ни одному

изъ 45 артикуловъ Виклефа. Это рѣшеніе—не заставивши Гуса отказаться отъ его убѣжденій, ясно опредѣлило положеніе враждебныхъ сторонъ: постановленіе, сдѣланное не-національнымъ большинствомъ мистровъ, сочтено было за дѣйствіе противъ чешской народности, потому что Гусъ и его товарищи были чешскіе патріоты и друзья народа въ смыслѣ Штитнаго, а Нѣмцы, вмѣстѣ съ другими чужими „націями“ университета, оказались на сторонѣ клерикально-консервативной партіи, враждебной Гусу и реформѣ. Такимъ образомъ два стремленія, сначала независимыя, соединились въ одно: религіозная оппозиція чешскихъ проповѣдниковъ слилась съ національной антипатіей къ иноземному преобладанію, и защитники народности стали смѣлѣе, поддержанные реформаторами университета. Уже въ первый моментъ борьбы Гусъ и приверженцы преобразованій являются поэтому дѣятелями чисто народными, а сторона противо-гусситская, нѣмецкіе элементы въ университетѣ и въ городскомъ населеніи, являются вмѣстѣ и партіей противо-народной.

Новое ученіе, которое подвергало сомнѣнію разныя церковныя постановленія и обычаи, противные чистому христіанству, и отрицало авторитетъ іерархіи, поблажавшей злоупотребленію,—распространялось все дальше, несмотря на запрещенія: церковная власть начинала преслѣдовать священниковъ и мірянъ, обвиняя ихъ въ ереси, но какъ часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, она не замѣчала всего значенія грозившей опасности. Внѣшнія условія благопріятствовали Гусу: за него стояли приближенные короля Вацлава IV, много пановъ и рыцарей чешскихъ, которымъ хотѣлось забрать въ руки имѣнія духовенства, потому что секуляризація церковныхъ имѣній уже полагалась необходимой у защитниковъ реформы; король Вацлавъ также покровительствовалъ Гусу, поддерживая національное движеніе изъ политическихъ отношеній къ церкви; Гусъ долго сохранялъ хорошія отношенія и къ архіепископскому двору. Борьба въ университетѣ продолжалась; Гусъ продолжалъ проповѣдывать съ явнымъ виклефовскимъ оттѣнкомъ. Въ 1408 заведенъ былъ еще одинъ процессъ о ереси, и вскорѣ потомъ въ университетѣ собрана была чешская „нація“ для разбора тѣхъ же 45 положеній, — потому что въ этой націи собственно и былъ интересъ къ новому ученію. Подъ предсѣдательствомъ ректора собралось 64 мистра и доктора, 150 баккалавровъ и до 1000 студентовъ, и хотя было постановлено, чтобы ни одинъ членъ чешской націи не отваживался признавать, распространять или защищать какое-нибудь изъ этихъ положеній, но къ этому рѣшенію была сдѣлана оговорка, что запрещеніе относится только къ тому въ положеніяхъ Виклефа, что̀ въ нихъ есть ошибочнаго или еретическаго (in sensibus eorum haereticis aut erroneis aut scanda-

losis). Но если каждому предоставлялось рѣшать, есть ли ересь или нѣтъ въ данномъ положеніи, то очевидно, что оговорка уничтожала всю силу рѣшенія.

Наконецъ одно событіе дало окончательный перевѣсъ народному началу въ университетѣ и, по связи его съ дѣломъ реформы, перевѣсъ самому ученію Гуса. Междунаціональная вражда, начавшаяся въ университетѣ изъ-за религіозныхъ мнѣній и народнаго самолюбія, еще прежде выдвинула вопросъ о количествѣ голосовъ, принадлежащихъ отдѣльнымъ націямъ. До сихъ поръ каждая нація имѣла по одному голосу, но такъ какъ изъ четырехъ „націй“ было три чужихъ, то Чехи всегда оставались въ невыгодномъ положеніи, если только поднималось дѣло, затрогивавшее народный интересъ. А такихъ дѣлъ было теперь много. Чешская нація требовала, для справедливаго отношенія иностранцевъ къ туземцамъ, чтобы ей предоставлено было три голоса, а остальнымъ націямъ по одному. Король Вацлавъ сначала было рѣшительно отказалъ въ этомъ, но потомъ, подъ вліяніемъ окружавшихъ его патріотовъ, неожиданно рѣшилъ дѣло въ пользу Чеховъ и предоставилъ имъ желаемые три голоса въ университѣ (декретъ Кутногорскій). Это было для чешской націи великимъ торжествомъ: съ этой минуты обезпечивалось ея вліяніе въ высшей школѣ, необходимое для успѣха начатаго дѣла. Чтобы ввести въ университетѣ этотъ новый порядокъ, нужно было вмѣшательство власти; иноземныя націи, огорченныя и оскорбленныя, рѣшились на послѣднее средство. Въ 1409 г. иноземные мистры и студенты, въ числѣ около 5000 человѣкъ, оставили Прагу навсегда и, бо̀льшею частію, избрали себѣ новый пріютъ въ Лейпцигѣ: это было основаніемъ лейпцигскаго университета [1]). Это событіе, прискорбное и для ушедшихъ и для самой Праги, терявшей массу интереснаго и прибыльнаго ему населенія, было однако побѣдой національно-реформатской партіи. Выходъ Нѣмцевъ развязывалъ руки чешскому движенію, и оно осталось національнымъ на все время гуситской борьбы. Первымъ ректоромъ, который былъ выбранъ въ новомъ университетѣ послѣ этого событія, былъ (во второй разъ) Янъ Гусъ, 1409—1410. Очевидно, что на немъ большинство сосредоточивало надежды и интересы, не только церковной, но и національной борьбы.

Изъ дальнѣйшихъ событій упомянемъ только главныя ихъ черты. Время было вообще смутное. Въ самомъ разгарѣ были папскія междоусобія; король Вацлавъ враждовалъ съ пражскимъ архіепископомъ Збынкомъ и покровительствовалъ національной партіи, которая стремилась

[1]) Другіе направились въ Эрфуртъ, Гейдельбергъ, Кёльнъ, что содѣйствовало потомъ процвѣтанію высшихъ школъ Германіи и замѣчательному равномѣрному распространенію ея образованности.

къ религіозной реформѣ, осуждаемой архіепископомъ. Ни король, ни архіепископъ не шли на уступки; столкновеніе было неминуемо. Духовенство жаловалось архіепископу на распространеніе ереси; Збынекъ, получивъ отъ папы полномочія для строгаго преслѣдованія Виклефовыхъ ересей, принялъ, наконецъ, свои мѣры: онъ издалъ приказъ объ отобраніи и сожженіи Виклефовыхъ книгъ, и запретилъ проповѣдь въ часовняхъ и другихъ мѣстахъ, кромѣ приходскихъ и коллегіальныхъ церквей. Противъ перваго возсталъ университетъ, считая осужденіе книгъ нарушеніемъ своего права; послѣднее направлялось противъ Гусовой проповѣди въ Виѳлеемской часовнѣ, и Гусъ жаловался папѣ, не прекращая своей проповѣди. Король также отвергалъ рѣшеніе архіепископа, но послѣдній стоялъ на своемъ, и 16-го іюля 1410 Виклефовы книги были въ самомъ дѣлѣ сожжены, а на третій день Гусъ былъ преданъ проклятію за неповиновеніе. Эти мѣры произвели тяжелое и враждебное впечатлѣніе и въ университетѣ, и при дворѣ, и въ пражскомъ населеніи; король заступался за Гуса у папы, дѣлалъ репрессаліи на доходахъ духовенства, но Збынекъ еще усилилъ проклятіе противъ Гуса и даже наложилъ на всю Прагу интердиктъ, прекращеніе богослуженія (1411). Попытки примиренія между королемъ и архіепископомъ, и смерть послѣдняго не остановили развитія событій. Гусъ послалъ къ папѣ изложеніе своего исповѣданія, гдѣ объяснялъ, что положенія Виклефа понималъ вовсе не въ томъ еретическомъ смыслѣ, какой имъ приписывался его врагами. Онъ еще держался церкви, и неповиновеніе Збынку объяснялъ тѣмъ, что самъ апеллировалъ къ высшему авторитету. Между тѣмъ, настроеніе Гуса все больше теряло мирный характеръ, и новыя столкновенія съ церковной властью, въ Пресбургѣ и потомъ въ Прагѣ (1412), перешли въ открытую вражду. Дѣло въ томъ, что надежды на исправленіе церкви не предвидѣлось; напротивъ, злоупотребленія не прекращались, на папскій престолъ вступилъ Іоаннъ XXIII, по словамъ самихъ католическихъ писателей, одинъ изъ постыднѣйшихъ осквернителей церкви. Въ 1412, въ Прагѣ началась продажа индульгенцій для пополненія папской казны. Гусъ сильно возсталъ противъ этой продажи въ университетской диспутаціи (7-го іюня), въ проповѣдяхъ, въ посланіяхъ, которыя разсылалъ въ Чехіи, Моравіи, Силезіи, даже Польшѣ. На этотъ разъ самъ папа подтвердилъ проклятіе противъ Гуса, велѣлъ сравнять съ землей Виѳлеемскую часовню и наложилъ интердиктъ на Прагу, пока Гусъ ея не оставитъ. Въ декабрѣ 1412, Гусъ по желанію короля оставилъ Прагу; старанія Вацлава о примиреніи остались безуспѣшны. Гусъ поселился въ провинціи, у друзей, и несмотря на папскую клятву продолжалъ проповѣдовать сельскому люду, собирая его въ поляхъ, на праздники и при другихъ стеченіяхъ народа; пи-

салъ свои латинскіе и чешскіе трактаты. Въ упомянутой университетской диспутаціи онъ впервые высказалъ мысль, что вѣрующіе не обязаны исполнять папскихъ повелѣній, если онѣ не будутъ согласны съ закономъ Христовымъ — этимъ открывался путь къ свободѣ толкованія св. Писанія. Проклятіе и удаленіе Гуса изъ Праги, такимъ образомъ, не остановили распространенія его идей и, напротивъ, расширили ихъ и вдали отъ столицы. Имя Гуса стало столько же популярно и въ сельскомъ народѣ, какъ между его слушателями въ Виѳлеемской часовнѣ.

Между тѣмъ, король искалъ средствъ успокоить религіозное броженіе, и такимъ средствомъ казался соборъ, который по стараніямъ брата Вацлавова, Сигизмунда, созванъ былъ папою Іоанномъ XXIII въ Констанцѣ. Гусъ долженъ былъ изложить на соборѣ свои мнѣнія, чтобы соборъ одобрилъ ихъ или отвергъ; Сигизмундъ давалъ ручательство въ его свободѣ предъ соборомъ и безопасномъ возвращеніи домой. Въ октябрѣ 1514, Гусъ отправился въ Констанцъ въ сопровожденіи трехъ чешскихъ пановъ. Черезъ три недѣли своего пребыванія въ Констанцѣ, Гусъ былъ, однако, взятъ и заключенъ въ тюрьму. На соборѣ произведенъ былъ предательскій „судъ", въ концѣ котораго Гусъ былъ объявленъ, 6 іюля 1415, упорнымъ еретикомъ, лишенъ священства, „переданъ свѣтской власти" и по законамъ противъ еретиковъ сожженъ живой на кострѣ—одно изъ безчестнѣйшихъ дѣйствій во всемірной исторіи и одно изъ высочайшихъ свидѣтельствъ силы убѣжденія и человѣческаго достоинства. Еще въ тюрьмѣ Гусъ дождался извѣстій изъ Чехіи о первыхъ результатахъ своей проповѣди и объ измѣненіи церковныхъ обычаевъ, которое должно было изъ нея произойти; другъ его, Якубекъ изъ Стржибра, сталъ давать причастіе народу „подъ обоими видами"; начиналось таборитское движеніе — не случайно въ томъ самомъ краѣ, гдѣ передъ тѣмъ Гусъ проповѣдывалъ по удаленіи изъ Праги. Въ 1417, его послѣдователи, при посредствѣ Пражскаго университета, провозгласили его святымъ мученикомъ, и память его праздновалась 6 іюля въ теченіе двухъ слѣдующихъ столѣтій [1]).

[1]) О Констанцскомъ соборѣ, кромѣ указанныхъ выше книгъ о гуситской эпохѣ, см.: Von der Hardt, Magnum Oecumenicum Constantiense Consilium; церковныя исторіи; Hefele, Conciliengeschichte и друг. Отмѣтимъ еще одно русское изданіе. «Констанцскій соборъ, 1414—1418. Concilium Constanciense MCDXIV—MCDXVIII. Изданіе Имп. русск. археологич. общества». Спб. 1874, 4⁰. Это—изданіе рисунковъ, принадлежащихъ къ «Хроникѣ Конст. собора», которая была написана гражданиномъ города Констанца, Ульрихомъ ф. Рихенталемъ, участвовавшимъ въ самомъ соборѣ. Первое печатное изданіе хроники Рихенталя явилось въ Аугсбургѣ, 1483: Das Concilium Buch geschehen zu Costencz, съ 44 листами картинокъ и портретовъ. Второе изданіе—Аугсбургъ, 1536; третье—Handlung desz Conciliums zu Costentz, Франкф. на Майнѣ, 1575, съ 34 гравюрами на мѣди. Всѣ изданія имѣютъ варіанты. Въ 1869, издана рукопись хроники, находящаяся въ Конст. городскомъ архивѣ: Chronik des

Вся послѣдующая національно-религіозная борьба чешскаго народа на два вѣка означается именемъ Гуса. Вліяніе Гуса, какъ всякаго великаго историческаго лица, объясняется съ одной стороны назрѣвавшими требованіями вѣка, которымъ онъ далъ сильнѣйшее выраженіе; съ другой—его замѣчательной личностью. Чешскіе историки характеризуютъ его такъ. Менѣе суровый въ своей проповѣки, чѣмъ Вальдгаузеръ, меньше фантазировавшій, чѣмъ Миличъ, онъ не производилъ на слушателей такого быстраго впечатлѣнія, какъ его предшественники: но дѣйствіе его рѣчи было глубже и прочнѣе. Онъ обращался прежде всего къ уму и здравому смыслу, и только послѣ убѣжденія дѣйствовалъ на чувство. Быстрота и ясность мысли, способность проникать въ самую сущность предмета и раскрывать ее для всѣхъ, необыкновенная начитанность, особливо въ св. писаніи, твердая защита своихъ положеній давали его проповѣди великую силу и увлекательность. Къ этому присоединялись высокія качества характера: строгая правдивость, живая и крѣпкая вѣра, безупречно-чистая жизнь, горячее стремленіе къ нравственному возвышенію народа и къ исправленію церкви, твердость убѣжденія, шедшая до героическаго самопожертвованія [1]). Каковы ни были историческія условія, создававшія чешское движеніе, личность Гуса несомнѣнно имѣла громадное вліяніе на возбужденіе національныхъ силъ, которыя съ тѣхъ поръ сознали себя и выступили на дѣятельное поприще. О характерѣ его личности и реформаторской дѣятельности считаемъ еще нужнымъ привести сужденіе Гильфердинга:

„Гусъ далъ толчокъ реформаціонному движенію, онъ сдѣлался основателемъ протестантизма; историки и говорятъ, что онъ хотѣлъ быть реформаторомъ. Но справедливо ли это?... Гусъ тѣмъ-то и отличается отъ Виклефа, Лютера, Цвингли, Кальвина, Хельчицкаго и другихъ основателей протестантскихъ сектъ, что онъ не думалъ создавать новаго ученія. Почитателей Гуса озадачиваетъ его отношеніе къ Виклефу. Теорія вся принадлежитъ Виклефу, Гусъ изъ этой теоріи взялъ только немногіе и то въ вѣроисповѣдномъ смыслѣ наименѣе существенные пункты, самъ ничего новаго къ нимъ не прибавилъ,— а между тѣмъ какъ неизмѣримо выше онъ Виклефа! Дѣло въ томъ, что Виклефъ былъ догматикъ; Гусомъ же владѣла одна мысль: испол-

---

Concils zu Constanz von Ulrich v. Richental. 1414—1418. Constanz. Изданіе—фотографированное, съ 105 рисунками и множествомъ гербовъ, и съ текстомъ болѣе полнымъ, чѣмъ печатныя изданія. Русское изданіе есть воспроизведеніе рукописи, принадлежащей Петербургской академіи художествъ, XV вѣка, на 36 листахъ, содержащей одни рисунки только съ подписями на латинскомъ языкѣ. Рисунки подлинника исполнены довольно художественно, и въ археологическомъ отношеніи представляютъ много особенностей сравнительно съ прежними изданіями печатными и фотографическимъ. Наше изданіе есть fac-simile, въ краскахъ. На л. 21—22 изображеніе Гуса.

[1]) Палацкій, Dějiny, III, 1, изд. 1850, стр. 65—66.

нить вѣрно нравственный законъ христіанства. Трудно найти въ исторіи человѣка, который съ такою безусловною правдивостью осуществлялъ своею жизнью заповѣди Евангелія. Онъ подражалъ Творцу христіанства и въ томъ, что его ученіе не имѣло характера догматическихъ формулъ, а живаго нравственнаго наставленія. Онъ не отличался ни необыкновенною ученостью, ни геніемъ первокласснаго писателя или проповѣдника: его сочиненія, его проповѣди не стоя́тъ выше средняго уровня произведеній тогдашняго схоластическаго богословія. Та изумительная сила обаянія, которую Гусъ получилъ на весь народъ чешскій, истекала единственно изъ нравственнаго величія его личности и нравственнаго значенія его проповѣди"....[1]).

Личное вліяніе Гуса, какъ проповѣдника, поддерживалась его литературной дѣятельностью. Его сочиненія, латинскія и чешскія, посвященныя почти исключительно богословскому толкованію Писанія, нравственному ученію и наконецъ непосредственнымъ спорнымъ вопросамъ времени, несмотря на всю теологическую спеціальность, имѣютъ высокій интересъ и историческое значеніе. Въ нихъ больше, чѣмъ въ какихъ бы то ни было другихъ произведеніяхъ того времени, обнаруживается стремленіе вѣка къ преобразованію. По духу времени, Гусъ слишкомъ много останавливался на схоластической догматикѣ; но это не помѣшало ему самымъ живымъ образомъ вмѣшаться въ дѣло національнаго развитія.

Какъ писатель, Гусъ выказалъ чрезвычайную плодовитость: можно удивляться, что при жизни столько бурной и занятой онъ могъ оставить такой длинный рядъ книгъ и трактатовъ, чешскихъ и латинскихъ, такое множество писемъ и посланій. Латинскія сочиненія были давно собраны подъ заглавіемъ: *Historia et monumenta Joannis Husi* („Исторія и памятники І. Гуса", Нюренб., 1558, 1715; здѣсь и латинскій, впрочемъ дурной, переводъ нѣкоторыхъ писемъ, писанныхъ Гусомъ по чешски). Отдѣльно вышли: *De unitate Ecclesiae* („о единствѣ церкви", Майнцъ, 1520); собраніе писемъ, переведенныхъ съ чешскаго: *Epistolae quaedam piissimae et eruditissimae Johannis Hussi*, съ предисловіемъ Лютера (Виттенб., 1537). Латинскія сочиненія Гуса, — посредствомъ которыхъ онъ пріобрѣталъ себѣ обширное поприще дѣйствія во всей ученой Европѣ, — отличаются пріемами тогдашней діалектики и схоластической философіи, такъ какъ разсчитывали на ученыхъ теологовъ и университетскихъ слушателей.

Важнѣйшимъ трудомъ Гуса было латинское сочиненіе: *О церкви* (Tractatus de Ecclesia), написанное по поводу пражскаго синода 1413 года: отсюда выбраны были тѣ 44 обвинительные пункта, въ которыхъ

[1]) Гильфердингъ, Гусъ и пр., стр. 3—4.

Гусъ долженъ былъ оправдываться на Констанцскомъ соборѣ. Здѣсь изложены главныя основы его ученія, и это сочиненіе можетъ считаться символической книгой отпавшей потомъ чешской церкви. Мы укажемъ въ нѣсколькихъ словахъ содержаніе трактата, чтобы ввести читателя въ кругъ идей гуситскаго движенія. Гусъ начинаетъ съ ученія о предопредѣленіи: церковь внѣшняя заключаетъ въ себѣ и добрыхъ, „предопредѣленныхъ" (praedestinati) къ небесному благословенію, и злыхъ, „предузнанныхъ" (praesciti) къ вѣчной погибели. Единый глава церкви есть Христосъ, — внѣшній глава по своему божеству, внутренній по своему человѣчеству: первымъ онъ былъ съ начала міра, вторымъ — отъ своего вочеловѣченія. Потому и апостолы не назывались святѣйшими или главами церкви, а только слугами Господа и слугами церкви. Впослѣдствіи это измѣнилось: со временъ Константина В. и его преемниковъ, папа, римскій епископъ, сталъ считаться за начальника церкви (capitaneus), за Христова намѣстника на землѣ. Но на дѣлѣ папа, „какъ папа", вовсе не можетъ быть такимъ намѣстникомъ, и кардиналы, „какъ кардиналы", вовсе не могутъ считаться преемниками апостоловъ. Папа можетъ считаться преемникомъ Петра только тогда, когда равняется съ Петромъ вѣрою, смиреніемъ и любовью, — но тоже слѣдуетъ разумѣть и о другихъ людяхъ, не бывшихъ ни папами, ни кардиналами. Св. Августинъ больше принесъ пользы церкви, чѣмъ нѣсколько папъ вмѣстѣ, а въ ученіи сдѣлалъ можетъ быть больше, чѣмъ всѣ кардиналы съ самаго начала и до нынѣ. Если же папа и кардиналы не исполняютъ своихъ обязанностей и, забывая Христа, заботятся только о вещахъ свѣтскихъ, о роскоши и блестящихъ одеждахъ, и расточительностью превосходятъ даже мірянъ, — тогда они вовсе не намѣстники Христа, или Петра, или апостоловъ, а намѣстники Сатаны, Антихриста, Іуды Искаріотскаго. Папа, какъ и другой человѣкъ, не можетъ навѣрное знать о себѣ, не „предузнанный" ли онъ; а „предузнанный" не только не можетъ быть главой, но и настоящимъ членомъ церкви. Папскаго достоинства и не нужно для спасенія церкви; въ первобытной христіанской церкви были только двѣ священныя должности: діаконы и священники, все остальное явилось послѣ и было людскимъ установленіемъ. Если и до папъ церковью управляли апостолы и вѣрные священники, то можетъ легко быть, что папъ и опять не будетъ до суднаго дня. Все сказанное слѣдуетъ разумѣть и о цѣломъ духовенствѣ: ихъ два — одно Христово, другое Антихристово. Не должность дѣлаетъ священника, а священникъ дѣлаетъ должность; не каждый священникъ святъ, но каждый святой есть священникъ; вѣрующій христіанинъ принадлежитъ къ божіей церкви, а прелатъ, не исполняющій своей обязанности, не будетъ имѣть никакой части въ цар-

ствѣ Христовомъ. — Изъ этого ясно, какъ должно понимать „церковное послушаніе“. Послушаніе есть дѣйствіе разумнаго существа, которое свободно и по собственному сужденію (voluntarie et discrete) подчиняется своимъ начальникамъ. Поэтому каждый, получая приказаніе отъ своей власти, долженъ испытать, есть ли это приказаніе дозволительное и честное, потому что, если бы приказаніе было ко вреду церкви и душевнаго спасенія, онъ долженъ ему воспротивиться. Такъ, если приходитъ повелѣніе даже отъ папы, вѣрный христіанинъ долженъ испытать его, и если не найдетъ его согласнымъ съ ученіемъ Христовымъ, то долженъ воспротивиться, чтобы повиновеніемъ своимъ не совершить преступленія противъ Христовой вѣры (devianti papae rebellare est Christo domino obedire). „Власть ключей“, т.-е. власть вязать и рѣшить, принадлежитъ одному Богу, который предопредѣляетъ къ спасенію или погибели. Устной исповѣди не нужно для спасенія души, — доказательствомъ могутъ служить малыя дѣти, глухіе и нѣмые отъ рожденія, обитатели пустынь и насильственно умерщвленные. Грѣхи смываются покаяніемъ и исповѣдью сердца. Ни священникъ, ни папа не можетъ разрѣшать вины, потому что для этого долженъ бы быть непогрѣшимымъ, а непогрѣшимъ только одинъ Богъ. Поэтому и клятва какого-нибудь прелата имѣетъ силу только тогда, когда согласна съ волей божіей; въ противномъ случаѣ она нисколько не вредитъ тому, на кого произнесена, — какъ говоритъ и Писаніе, повелѣвающее благословлять проклинающихъ.

Въ другихъ сочиненіяхъ Гусъ еще подробнѣе развиваетъ свои взгляды на церковные порядки. Уже въ констанцской тюрьмѣ Гусъ написалъ нѣсколько трактатовъ въ защиту своего ученія, напр.: „О достаточности закона Христова для управленія церкви“ (de sufficientia legis Christi ad regendam Suam ecclesiam), гдѣ онъ доказываетъ, что истинный и вѣрный законъ есть правда, которая ведетъ человѣка по дорогѣ къ блаженству; что всѣ добрые законы находятся въ св. Писаніи; а тѣ, которыхъ тамъ нѣтъ, законы безбожные; что этого Христова закона совершенно достаточно для церкви, и что его не зачѣмъ ни сокращать, ни расширять и т. д. Не менѣе важна рѣчь, приготовленная имъ для той же цѣли въ тюрьмѣ: „Sermo de fidei suae elucidatione“, о томъ, какъ онъ понимаетъ вѣру и ея познаніе. Основная мысль этого и другихъ подобныхъ трактатовъ состоитъ въ защитѣ истиннаго, простого, первобытнаго христіанства и въ опроверженіи церковной порчи, которая измѣнила и исказила его истины людскими прибавками и ошибками: онъ признаетъ постановленія церкви только до тѣхъ поръ, пока находитъ ихъ согласными съ первоначальнымъ ученіемъ Христа. Въ трактатѣ „О мирѣ“ (De pace), писанномъ также въ Констанцѣ, Гусъ объясняетъ, что миръ человѣка съ Богомъ и

свѣтомъ основывается на исполненіи закона, что миръ исчезъ между людьми отъ нарушенія закона, — когда церковь и ея служители стали думать только о внѣшнихъ почестяхъ и богатствѣ, и когда богослуженіе сдѣлалось ремесломъ. Источникомъ всего этого зла Гусъ прямо называетъ римскій дворъ....

Упомянемъ еще нѣкоторые трактаты, гдѣ онъ говорилъ о церковныхъ неустройствахъ и злоупотребленіяхъ. Такъ, въ трактатѣ „О крови Христовой" (De omni sanguine Christi hora resurrectionis glorificato), Гусъ, послѣ догматическихъ объясненій, возстаетъ противъ преступнаго обмана церковниковъ, которые въ Римѣ показывали мясо изъ тѣла І. Х., въ Прагѣ показывали кровь Христа и молоко Божіей Матери; возстаетъ противъ изувѣрства и шарлатанскихъ чудесъ, которыя творились подобными обманщиками въ разныхъ католическихъ странахъ и допускались самими властями, — множество примѣровъ приводится въ доказательство этого религіознаго извращенія. Не меньшей энергіей отличается латинское сочиненіе Гуса „объ отнятіи у духовенства земскихъ владѣній", справедливость и необходимость котораго онъ доказываетъ аргументами изъ Писанія, изъ исторіи и изъ здраваго человѣческаго смысла. Когда противники стали укорять его за публичныя нападенія на духовенство, онъ отвѣчалъ новымъ трактатомъ, гдѣ съ помощью св. Писанія остроумно объясняетъ, что оставить въ покоѣ злоупотребленія и негодность духовенства, значило бы сдѣлать большое удовольствіе Люциферу: и Антихристъ желалъ бы чтобы не трогали духовенства, потому что, говорятъ, и самъ онъ будетъ высшимъ прелатомъ католической церкви и не хотѣлъ бы, чтобы выставляли его недостатки; большинство священниковъ возстаетъ противъ обличеній и, говорятъ, нужно согласиться съ этимъ большинствомъ,—но согласиться нельзя, потому что всегда бываетъ безчисленное множество людей глупыхъ, и очень мало умныхъ; притомъ, соглашаясь съ большинствомъ, слѣдовало бы признать, что и страданія и смерть Христа были справедливы, потому что этого желало большинство еврейскихъ священниковъ и фарисеевъ.

Не меньше важны чешскія сочиненія Гуса, которыя доставляли ему множество послѣдователей изъ народа. Оставаясь только латинскимъ писателемъ, Гусъ далеко не могъ бы имѣть такого широкаго вліянія на народныя массы. Противники чувствовали это, и какъ Ѳома Штитный подвергался нападеніямъ за то, что отважился писать для народа то, что̀ было для того времени достояніемъ одной школы и латинской учености; такъ нападенія съ этой стороны встрѣтили и Гуса. Въ 1413 г. епископъ Литомышльскій въ письмѣ къ пражскому синоду находилъ необходимымъ, чтобы Гусу и друзьямъ его запрещена была проповѣдь (на чешскомъ языкѣ) и

чтобы всѣ чешскія книги, ими написанныя, были уничтожены. — Для чешской литературы сочиненія Гуса на народномъ языкѣ несравненно важнѣе, и истинный его характеръ высказывается разнообразнѣе, чѣмъ въ латинскихъ. Мы видѣли уже въ немъ защитника народной чести и интереса въ университетскомъ спорѣ: въ литературномъ отношеніи его великой заслугой почитается то, что онъ ревностно заботился о народномъ языкѣ и горячо возставалъ противъ нарушенія его старинной самобытности и чистоты смѣшеніемъ двухъ языковъ, — особенно у Пражанъ, — отчего происходила, по его мнѣнію, двойственность и непослѣдовательность въ самой жизни и въ нравственномъ характерѣ людей. Гусъ убѣждалъ князей, пановъ, рыцарей, владыкъ и горожанъ заботиться о томъ, „чтобы чешская рѣчь не погибла", и недовольство его Пражанами, мѣшавшими свой языкъ съ чужимъ, высказывалось въ весьма сильныхъ выраженіяхъ. Въ своемъ литературномъ языкѣ онъ изъ патріотизма былъ строгимъ пуристомъ, и изобрѣлъ новое правописаніе [1]), которое принято было Таборитами, потомъ Чешскими Братьями; — эти послѣдніе ввели его въ XVI столѣтіи въ общее употребленіе, потомъ въ періодъ католической реакціи оно было забыто и вновь вошло съ литературнымъ возрожденіемъ, и съ нѣкоторыми улучшеніями, господствуетъ въ чешскихъ книгахъ до сихъ поръ. Заботы Гуса о языкѣ высказались уже въ томъ чешскомъ сочиненіи, которое выставили Чехи въ опроверженіе нѣмецкой партіи, защищавшей права иностранцевъ въ университетѣ. Въ этомъ опроверженіи видна таже діалектика и полемическая ловкость, которая вообще отличаетъ произведенія Гуса. Но должно правильно понять чешскій патріотизмъ Гуса. Позднѣйшіе историки нерѣдко обвиняли Гуса за вражду къ Нѣмцамъ, переходившую границы по ихъ мнѣнію; но эта вражда имѣла свои достаточныя основанія: хотя Гусъ и не переходилъ на чисто политическую почву, патріотическое чувство вызывало въ немъ отпоръ противъ притѣснителей, которые притомъ явились врагами реформы уже въ первомъ спорѣ о положеніяхъ Виклефа. Обвиненіе въ возбужденіи вражды къ Нѣмцамъ сдѣлано было противъ Гуса еще на Констанцскомъ соборѣ. Онъ отвѣчалъ искренно и справедливо: „Я говорилъ и говорю, что Чехи въ королевствѣ чешскомъ по закону, даже по закону Божьему и по требованію природы, должны быть первыми въ должностяхъ, также какъ Французы во Франціи и Нѣмцы въ своихъ земляхъ, чтобы Чехъ умѣлъ управлять своими подданными, а Нѣмецъ—Нѣмцами. Но что̀ была бы за польза, если бы Чехъ, не знающій нѣмецкаго языка, былъ бы въ нѣмецкой землѣ приходскимъ настоятелемъ или епископомъ? ...Столько же проку и для насъ, Чеховъ,

[1]) Его орѳографія написана по латыни и издана, съ чешскимъ переводомъ, А. В. Шемберой: Mistra Jana Husi Ortografie česká, 1857.

отъ Нѣмца. Итакъ, зная, что это противно и закону Божію и канонамъ, я и говорю, что это непозволительно". Гильфердингъ вѣрно замѣтилъ, что патріотизмъ Гуса стоялъ на второмъ планѣ, а на первомъ было требованіе христіанскаго закона. „Говорю по совѣсти, — писалъ Гусъ, — что еслибы зналъ чужеземца, откуда бы то ни было, который по добродѣтели своей болѣе любитъ Бога и стоитъ за добро, нежели мой родной братъ, то онъ былъ бы мнѣ милѣе брата. А потому добрые священники Англичане мнѣ милѣе, нежели недостойные священники чешскіе, и добрый Нѣмецъ мнѣ милѣе, нежели злой братъ" [1]).

Чешскія сочиненія Гуса всѣ имѣютъ болѣе или менѣе близкое отношеніе къ реформѣ: и посвященныя объясненію св. писанія; и полемическія — по разнымъ вопросамъ реформы, нами уже указаннымъ; и нравоучительныя. Таковы, напр., его *Постилла* (Postilla, т.-е. толкованія на недѣльныя евангелія, изд. съ другими его сочиненіями въ Нюренб. 1563), важнѣйшее изъ его чешскихъ сочиненій; *Объясненія* на Символъ и проч. (Výklad větší na páteře, изд.: Mistra Jana Husi kazatele slavného dědice českého dvanácti článkův víry křest'anské obecné и проч. Прага, 1520 и др.); *Девять золотыхъ вещей*, богословскія разсужденія о твореніи міра, объ ангелахъ, и о вопросахъ христіанской нравственности, гдѣ Гусъ выставлялъ чисто христіанскія идеи въ противоположность условной католической морали: „кто дастъ одинъ геллеръ для Бога при добромъ здоровьѣ, тотъ больше почтитъ Господа Бога и больше принесетъ пользы душѣ своей, чѣмъ если бы по смерти столько далъ за это золота, сколько можетъ помѣститься его между небомъ и землей" и т. п.; *О шести заблужденіяхъ*, полемическое сочиненіе о церковныхъ заблужденіяхъ касательно отпущенія грѣховъ, послушанія, церковнаго проклятія и т. д.; дальше *Ученіе о Тайной вечери* (Нюренб. 1583), *О бракѣ*, *О святокупствѣ*, *Зерцало грѣшнаго человѣка* и др. О послѣднемъ думали, что оно написано послѣдователями Гуса, въ то время, когда уже загорѣлась религіозная ненависть, — потому что „Зерцало" выражается злобно о католическомъ священствѣ. Изъ сочиненій о христіанской нравственности наиболѣе извѣстна его *Дочка, или о познаніи истиннаго пути ко спасенію* (Dcerka, O poznání cěsty pravé k spasení, издано было Ганкой, 1825); *Тройная вервь* (Próvazek třípramenný, 1411)—изъ вѣры, любви и надежды и т. д. Затѣмъ важнымъ памятникомъ его литературной дѣятельности и пропаганды остались многочисленныя *письма*, латинскія и чешскія, изъ которыхъ особенно извѣстны его чешскія посланія къ друзьямъ и товарищамъ, писанныя изъ Кон-

---

[1]) Гильфердингъ, тамъ же, стр. 9.

станцской тюрьмы, исполненныя преданности Божіей волѣ и глубокаго убѣжденія и оставляющія трагически трогательное впечатлѣніе. Наконецъ, Гусъ былъ авторомъ трехъ, какъ полагаютъ, *духовныхъ пѣсенъ* (Jesu Kriste štědrý kněže; Ježíš Kristus božská múdrost; Živý chlebe, kterýž's z sebe, въ Кралицкомъ Канціоналѣ, 1576): это было началомъ гуситской духовной поэзіи, которая значительно развилась впослѣдствіи [1]).

Такова была обширная дѣятельность человѣка, который былъ главой великой религіозно-нравственной реформы своего народа и рѣшающимъ начинателемъ реформы въ мірѣ западно-европейскомъ. Въ самомъ дѣлѣ, проповѣдь и сочиненія Гуса окончательно выводятъ насъ изъ среднихъ вѣковъ и ставятъ на ту нравственную почву, на которой выросло новое европейское сознаніе. Гусъ былъ схоластикомъ по внѣшности своихъ трудовъ, потому что схоластика была еще единственной формой для подобныхъ трудовъ; но цѣлая пропасть дѣлитъ его напр. отъ Ѳомы Аквината: въ этой формѣ высказались у Гуса самыя глубокія исканія христіанской истины и живое сознаніе господствовавшей порчи. Его національная борьба основывалась на стремленіи возвысить нравственно народную массу. Его церковная и догматическая полемика цѣлила къ нравственному освобожденію человѣческой личности, которой онъ въ первый разъ возвращаетъ ея внутреннюю независимость и самобытность; для нея онъ ставитъ закономъ только Писаніе, уничтожая внѣшній авторитетъ, потому что истина стоитъ выше лица и выше всякаго преданія. Единственный обязательный для человѣка законъ есть евангельское ученіе, которое Гусъ принималъ во всей его первобытности, и собственный разумъ человѣка. Словомъ, въ религіозныхъ и моральныхъ понятіяхъ Гуса высказались начала той чистой человѣчности, которая стала впослѣдствіи высшимъ идеальнымъ основаніемъ европейско-человѣческаго развитія. Непосредственное вліяніе Гуса на реформаторское движеніе въ Европѣ XV и XVI вѣка извѣстно.

Къ народно-реформаторской дѣятельности Гуса примкнули, какъ друзья или какъ противники, не только всѣ передовые ученые и образованная часть общества, но, наконецъ, и цѣлый народъ увлеченъ былъ въ начавшуюся борьбу религіозную и общественную. Литература, латинская и народная, съ самаго начала сдѣлалась орудіемъ этой борьбы, и литературная дѣятельность распространилась такъ, какъ

---

[1]) Чешскія сочиненія Гуса собраны были въ изданіи: Mistra Jana Husi Sebrané Spisy české. Z nejstarších známých pramenů k vydani upravil K. J. Erben. Прага, три тома, 1865, 1866, 1868. При третьемъ томѣ библіографическій обзоръ рукописей и старыхъ печатныхъ изданій чешскихъ сочиненій Гуса. Ср. Иречка, Rukověť, s. v.

никогда до тѣхъ поръ. Она была теологическая по преимуществу: освобожденіе отъ гнетущаго авторитета испорченной іерархіи, было первымъ шагомъ, который необходимо было сдѣлать средневѣковому обществу; здѣсь этотъ шагъ сдѣланъ былъ массой народа. Литература отражала характеръ времени; бурныя общественныя несогласія произвели множество сочиненій полемическихъ съ обѣихъ сторонъ.

Отъ идей Гуса развилась дѣятельность другихъ передовыхъ людей того времени; ихъ ревностная пропаганда вызывала столько же дѣятельную реакцію со стороны приверженцевъ стараго порядка, а потомъ и умѣренныхъ послѣдователей реформы. Событія и затронутая народная мысль выводили все новые вопросы: такимъ образомъ, литература, сначала по преимуществу духовная, мало по малу расширила свой объемъ до предметовъ чисто общественныхъ. Она шла на двухъ языкахъ: латынь давала ей доступъ и за границу чешской земли, но дѣйствовала и дома, потому что школа сильно распространила знаніе латинскаго языка. Подъемъ образованія былъ таковъ, что въ XV—XVI вѣкѣ даже женщины писали недурно въ защиту реформы.

Изъ людей, раздѣлявшихъ пропаганду Гуса, прежде всего долженъ быть названъ другъ его, Іеронимъ Пражскій, имя котораго связано съ Гусомъ до его послѣдней судьбы. Іеронимъ, впрочемъ, былъ больше извѣстенъ какъ патріотическій и религіозный агитаторъ, чѣмъ какъ писатель. Онъ былъ лѣтъ на десять моложе Гуса (род. около 1379), учился въ Прагѣ, въ 1398 былъ баккалавромъ; въ 1399 онъ началъ свои долгія странствія по Европѣ, въ промежуткахъ живя въ Прагѣ. Вернувшись, 1401, изъ перваго путешествія, Іеронимъ принялъ участіе въ пражскихъ дѣлахъ. Въ 1402 онъ принесъ изъ Оксфорда сочиненія Виклефа; въ 1403 поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ получилъ въ Сорбоннѣ магистерство свободныхъ искусствъ,, и здѣсь уже вступилъ въ религіозныя препирательства, такъ что въ 1406 долженъ былъ оттуда бѣжать. Такимъ же образомъ онъ долженъ былъ спасаться изъ Кёльна и Гейдельберга. Въ 1407 году онъ былъ въ Прагѣ; снова отправлялся въ Оксфордъ, откуда опять бѣжалъ. Въ слѣдующіе два года жилъ въ Прагѣ, гдѣ, принятый за „мистра", принялъ участіе въ университетской борьбѣ. Далѣе, въ 1410, опять пренія въ Пестѣ, Вѣнѣ, и опять бѣгство. Въ 1412 онъ принялъ горячее участіе въ упомянутой борьбѣ противъ индульгенцій, сказалъ противъ нихъ пламенную рѣчь въ Карловой коллегіи и сжегъ папскія буллы объ индульгенціяхъ. Вмѣстѣ съ Гусомъ, Іеронимъ удалился изъ Праги. Въ 1413, вызванный польскимъ дворомъ, онъ отправился въ Краковъ, являлся къ королю Владиславу, потомъ съ Витовтомъ ѣздилъ на „Русь" и въ Литву. Здѣсь Іеронимъ сошелся съ православнымъ населеніемъ, принималъ участіе въ православныхъ праздникахъ, оказывалъ почте-

ніе мощамъ и иконамъ, такъ что было мнѣніе, что онъ присоединился къ православію: этотъ фактъ послужилъ потомъ пунктомъ обвиненія съ католической стороны, а для новѣйшихъ историковъ славянофильскихъ доказывалъ внутреннее родство гуситства съ православіемъ. Когда Гусъ собирался ѣхать въ Констанцъ, Іеронимъ отговаривалъ его — оттуда ему уже не вернуться; послѣ, однако, и самъ былъ въ Констанцѣ и, наконецъ, попался въ руки собора и 30 мая 1416, какъ его другъ, былъ сожженъ. Іеронимъ Пражскій знаменитъ былъ своей ученостью, превышавшей, какъ говорятъ, ученость самого Гуса, и краснорѣчіемъ. „Никогда я не видалъ человѣка,—говоритъ его другъ и біографъ, знаменитый итальянецъ Поджіо Браччьолини, — котораго бы лучше можно было сравнить съ ораторами классическихъ временъ, возбуждающими въ насъ такое удивленіе". На кострѣ Іеронимъ показалъ такое же спокойное мужество, какъ Гусъ. „Никогда, никто изъ стоиковъ не встрѣчалъ смерти съ такой твердой мыслью и спокойнымъ сердцемъ, какъ онъ желалъ ея",—говоритъ тотъ же Браччьолини [1]). Іеронимъ писалъ, кажется, немного и то не все сохранилось; называютъ его латинское сочиненіе: „Compendiosa descriptio vitae et mortis M. Johannis de Hussinetz, нѣсколько писемъ и переводъ нѣкоторыхъ сочиненій Виклефа, сдѣланный вмѣстѣ съ Гусомъ [2]).

Сожженіе Гуса и Іеронима произвело сильное впечатлѣніе въ Чехіи; противъ Констанцскаго собора протестовалъ и пражскій университетъ, члены котораго съ этихъ поръ принимаютъ дѣятельное участіе въ распространеніе реформы и даютъ ей силу своимъ значеніемъ. Въ литературѣ сказалось и разнообразіе мнѣній, порожденныхъ реформой, и колебаніе общества, сильно потрясеннаго новыми идеями. Мы назовемъ главнѣйшихъ дѣятелей этого времени, выдающихся своими литературными трудами (впрочемъ, иногда только латинскими) и живымъ участіемъ въ борьбѣ, разгаръ которой наступилъ вскорѣ послѣ смерти Гуса. Таковъ былъ Яковъ изъ Стржибра (или Якубекъ, Jacobellus, ум. 1429), знаменитый ученостью и написавшій много латинскихъ трактатовъ и рѣчей, преимущественно полемическихъ, и нѣсколько чешскихъ сочиненій [3]). Онъ съ самаго начала сталъ ревностнымъ приверженцемъ Гусова ученія и извѣстенъ введеніемъ религіознаго обряда, который еще при жизни Гуса отдѣлилъ гуситовъ отъ католической церкви. Это былъ знаменитый „калихъ" (чаша), причащеніе „подъ обоими видами", хлѣбомъ и виномъ, отчего и послѣдователи реформы получили

---

[1]) Descriptio obitus et supplicii Hieronymi Pragensis.

[2]) Юнгманнъ, стр. 41; Rukovět', I, стр. 314—317.

[3]) Epištoly nedělní s výklady přes celý rok. изд. 1564; Kázaní o poctivosti и пр., 1545; Bohomyslne kázaní a rozmlouvání věrné duše s Panem Kristem, 1545; Passio Ioannis Hussi; церковныя пѣсни.

имя „подобоевъ“, утраквистовъ и калишниковъ. Католическая сторона ставила его сочиненія на ряду съ книгами Гуса и постановленіе Констанцскаго собора, подтвержденное папской буллой 1418, повелѣвало, чтобы сочиненія Виклефа, переведенныя на чешскій языкъ Гусомъ и Якубкомъ, и затѣмъ сочиненія самого Гуса (особенно „о церкви“) и Якубка (о причащеніи подъ обоими видами, объ Антихристѣ и пр.), были сожжены. Въ раздорахъ умѣренной пражской партіи съ Таборитами, Якубекъ придерживался сначала радикальной партіи и старался помирить враждующія стороны, но потомъ сталъ на сторонѣ умѣренныхъ. Сочиненія его имѣли большое вліяніе, но встрѣчали и сильный отпоръ, какъ отъ правовѣрныхъ католиковъ, такъ и отъ радикальныхъ Таборитовъ: середина не удовлетворяла ни тѣхъ, ни другихъ. Янъ изъ Есеницъ, близкій другъ Гуса, защитникъ его въ Римѣ, авторъ латинскаго трактата противъ пражскаго богословскаго факультета въ 1412 г., и наконецъ, авторъ сочиненія въ защиту Гуса противъ Констанцскаго собора, подвергся проклятію, на которое онъ, по понятіямъ новаго ученія, не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ былъ вообще дѣятельнымъ историческимъ лицомъ гуситской эпохи. Также болѣе практически, чѣмъ литературно, дѣйствовалъ въ пользу гуситизма мистръ Янъ изъ Рейнштейна, по прозванью Кардиналъ, который отправился въ Констанцъ защитникомъ Гуса и былъ потомъ ректоромъ университета (латинскій трактатъ о причащеніи подъ обоими видами въ смыслѣ Якубка). Особеннымъ вліяніемъ пользовался многосторонній ученый Христіанъ Прахатицкій (ум. 1439), медикъ, математикъ и астрономъ, оставившій важныя по своему времени чешскія сочиненія по этимъ предметамъ, нѣсколько разъ ректоръ университета и дѣятельный участникъ въ событіяхъ. Это былъ также близкій другъ Гуса: Христіанъ посѣтилъ Гуса въ Констанцѣ, самъ былъ взятъ къ отвѣту за свои мнѣнія и получилъ свободу только черезъ заступничество короля Сигизмунда. Впослѣдствіи, въ спорѣ Таборитовъ съ Пражанами онъ сталъ на сторонѣ умѣренныхъ, что стоило ему преслѣдованій и изгнанія; послѣ онъ снова вернулся въ Прагу и незадолго до смерти выбранъ былъ администраторомъ партіи утраквистовъ. Симонъ изъ Тишнова (гуситскій трактатъ de unitate ecclesiae и пр.) принималъ участіе въ національномъ университетскомъ спорѣ, въ защитѣ сочиненій Виклефа и, будучи ректоромъ университета, защищалъ Гуса противъ архіепископа пражскаго; въ 1417 году этотъ мистръ защищалъ трактатъ Гуса о церкви. Онъ распространялъ гуситизмъ и на Моравѣ, гдѣ повидимому, сложивъ ректорство, былъ священникомъ, но потомъ перешелъ на сторону католиковъ: haereticos acriter oppugnavit, замѣчаетъ о немъ іезуитъ Бальбинъ. Приверженцемъ Гуса былъ Прокопъ Пльзенскій, защищавшій пуб-

лично въ университетѣ сочиненіе Виклефа „De ideis", стоявшій за Гуса въ бурномъ собраніи 1412 года, и послѣ нѣсколько разъ бывшій ректоромъ университета. Послѣ, Прокопъ, не отличавшійся впрочемъ ни большой ученостью, ни талантомъ, сталъ, какъ и многіе другіе, противникомъ Таборитовъ и союзникомъ врага ихъ Яна Прибрама, и умѣренность своихъ взглядовъ простиралъ до того, что былъ подъ конецъ не далекъ отъ настоящихъ католическихъ ретроградовъ. Наконецъ, упомянемъ еще Петра изъ Младеновицъ (ум. 1451), родомъ Моравана, который былъ въ Констанцѣ въ качествѣ секретаря Яна Хлумскаго, посла отъ пражскаго университета. Гусъ въ одномъ письмѣ изъ Констанца рекомендовалъ Петра Пражанамъ, какъ своего вѣрнѣйшаго друга. Впослѣдствіи и онъ сталъ на сторонѣ Пражанъ противъ Таборитовъ. Онъ написалъ два важныхъ разсказа о судьбѣ Гуса въ Констанцѣ, одинъ бо̀льшій по латыни, другой по-чешски; нѣмецкій ученый XVI вѣка Агрикола издалъ ихъ въ нѣмецкомъ переводѣ, въ 1538 и 1548. Чешскій текстъ изданъ былъ въ Пассіоналѣ 1495, и отдѣльно, въ Прагѣ, 1533, и безъ года (1600); вновь изданъ въ Прагѣ въ 1870. Полагаютъ, что Петру изъ Младеновицъ принадлежитъ подобный разсказъ о судьбѣ Іеронима Пражскаго [1]).

Были ревностные и ученые люди между противниками Гуса: они упорно защищали іерархію, которая, опираясь на нихъ, взяла верхъ, когда народная сила истощилась въ борьбѣ. Станиславъ изъ Знойма считался однимъ изъ лучшихъ ученыхъ и профессоровъ пражскихъ (комментарій къ физикѣ Аристотеля: Universalia realia и др.): Гусъ былъ его ученикомъ. Въ началѣ Станиславъ также защищалъ Виклефово ученіе и даже превосходилъ Гуса своею ревностью, но съ 1412 совершенно отдѣлился отъ него: съ тѣхъ поръ онъ сталъ во главѣ противниковъ Гуса на церковныхъ синодахъ и университетскихъ собраніяхъ и писалъ противъ Гуса полемическіе и обличительные трактаты. Основываясь на изреченіи Августина, что послушаніе выше всѣхъ другихъ добродѣтелей, Станиславъ дошелъ, наконецъ, до крайняго фанатизма и призывалъ на еретиковъ казнь духовную и свѣтскую [2]). Степанъ Палечъ (ум. послѣ 1421) одинъ изъ первыхъ принялъ ученіе Виклефа, но потомъ вмѣстѣ съ Станиславомъ возсталъ противъ Гуса и на Констанцскомъ соборѣ былъ однимъ изъ злѣйшихъ обвинителей Гуса и Іеронима. Замѣчательной плодовитостью отличался также Андрей изъ Брода, стоявшій въ университетскомъ спорѣ на народной

---

[1]) Život a skonání slavného Mistra Jeronyma, s. l. et a., быть можетъ въ началѣ XVII столѣтія. Недавно Ярославъ Голль издалъ старый текстъ этого разсказа по рукописи XV вѣка: «Vypsání o Mistru Jeronymovi z Prahy». Прага, 1878.

[2]) О немъ въ изслѣдованіи Ал. Дювернуа: «Станиславъ Зноемскій и Янъ Гусъ». Москва, 1871; книга съ большими изысканіями, но страннымъ направленіемъ.

сторонѣ, но горячо возстававшій противъ Виклефа; на Констанцскомъ соборѣ онъ былъ также ревностнымъ обвинителемъ Гуса. Но первое мѣсто между обвинителями Гуса и Іеронима (Палечъ, Михаилъ de Causis, Андрей изъ Брода, Янъ Протива) занимаетъ Янъ, епископъ Литомышльскій, также оставившій латинскіе трактаты противъ Гуса, эпистолы и другія сочиненія. Чешское духовенство католической партіи на свой счетъ устроило его поѣздку на Констанцскій соборъ, гдѣ онъ считался его представителемъ. Далѣе, Янъ изъ-Голешова (ум. 1436), Вацлавъ изъ-Хвалетицъ, Степанъ Долянскій (ум. 1421), авторъ многихъ противо-гуситскихъ сочиненій: Anti-Viklef, Anti-Hus, Epistola invectiva matris Ecclesiæ contra abortivos filios и проч. [1]).

Въ самомъ разгарѣ гуситскихъ волненій и войнъ являются новые писатели, дѣятельность которыхъ тѣсно связана съ событіями. Въ партіи умѣренной особенно извѣстны были Прибрамъ и Рокицана. Янъ Прибрамъ (Jan z Příbrami, ум. 1448), одинъ изъ извѣстнѣйшихъ людей своего времени, выступилъ на сцену въ послѣдніе годы Гуса; былъ сначала пылкимъ послѣдователемъ Гуса и „калиха“, но потомъ больше отличался враждой къ радикальному таборитству, чѣмъ ревностью къ защитѣ гуситизма; наконецъ, подобно многимъ другимъ, совсѣмъ отъ него отступался, напр. когда въ 1427, открыто пристaлъ къ пражскому духовенству, подчинявшемуся папѣ, и когда велъ полемику съ Рокицаной о повиновеніи папскому престолу. Его обширная литературная дѣятельность вся была посвящена опроверженію Виклефа и обличеніямъ Таборитовъ: послѣднія очень важны тѣмъ, что за потерей таборитскихъ сочиненій составляютъ цѣнный источникъ для изученія исторіи этого движенія. Сочиненія его, латинскія и чешскія, имѣютъ общій характеръ тогдашней литературы: это богословскіе и полемическіе трактаты, квестіи, рѣчи [2]). Въ особенности важна по свѣдѣніямъ о Таборитахъ его чешская книга: „Жизнеописаніе таборскихъ священниковъ“, гдѣ онъ излагаетъ ихъ ученіе и даже иногда приводитъ буквальныя выписки изъ ихъ потерянныхъ теперь сочиненій [3]). Онъ нападалъ въ особенности на Англичанина Пэна, ревностнаго Таборита, корилъ Таборитовъ, что они оставляютъ даже Гуса и Виклефа; говоря,

[1]) Эта латинская литература о Гусѣ и гуситахъ была собираема уже давно: таковы, напр., Invectiva contra Hussitas; Depositiones testium, изъ первой половины XV вѣка; сборникъ латинскихъ и чешскихъ трактатовъ, синодальныхъ актовъ (1417—1609), и т. п., составленный въ первой половинѣ XVII вѣка Волинскимъ. Печатные сборники: Hardt, упомянутая книга о Констанцскомъ соборѣ; Bernard Pez, Thesaurus Anecdotorum, 1721; изданія Гёфлера, Палацкаго и пр. Но очень многое остается еще въ рукописяхъ.

[2]) De conditionibus justi belli; de articulis Viklefi; De professione fidei catholicæ et errorum revocatione; Articuli et errores Taboritarum и пр. «Архивъ» Палацкаго, также «Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung», Гёфлера.

[3]) Život kněží Táborských, рук. 1429, изд. въ «Выборѣ», II, и въ Casopis pro katol. duchovenstvo, 1863.

напр., объ очищеніи грѣховъ на томъ свѣтѣ, которое отвергали Табориты, выражается такъ,—что они, „ограбивши у святыхъ ихъ силу, грабятъ теперь у бѣдныхъ душъ очищеніе отъ грѣховъ". Прибрамъ возставалъ и противъ чешскаго богослуженія, введеннаго Таборитами, которые весьма резонно находили, что „читать на чужомъ языкѣ все равно что не читать". Янъ Рокицана (Jan z Rokycan, или просто Rokycan, Rokicana, 1397 — 1471) также выступилъ на сцену послѣ Гуса; онъ уже рано сталъ во главѣ утраквистовъ и, хотя какъ писатель не отличался самобытностью и особеннымъ талантомъ, но имѣлъ обширное вліяніе, какъ замѣчательный проповѣдникъ и практическій дѣятель. Имя его публично было названо еще въ 1418, когда его съ другими вызывали на Констанцскій соборъ „какъ одного изъ начальниковъ Гусовой секты". Партія „подобоевъ" даже выбрала его архіепископомъ пражскимъ; но, защищая права подобоевъ, онъ подвергся преслѣдованіямъ короля Сигизмунда, долженъ былъ бѣжать изъ Праги и вернулся только при Юріи Подѣбрадѣ, и затѣмъ до самой смерти былъ администраторомъ утраквистской церкви. Рокицана оставилъ много чешскихъ сочиненій, поученій и полемическихъ трактатовъ: всего любопытнѣе въ историческомъ отношеніи его полемика противъ Чешскихъ Братьевъ („Посланіе противъ заблужденій Пикартовъ") и противъ Прибрама въ защиту причастія подъ обоими видами („Обвиненіе пражскихъ мистровъ Прибрама и Гиларія") и т. д. Его крутой нравъ навлекъ ему много враговъ, особенно съ католической стороны, хотя и онъ былъ расположенъ къ ней больше, чѣмъ бы слѣдовало утраквистскому архіепископу и защитнику компактатовъ.

Обратимся теперь къ другой, радикальной сторонѣ гуситскаго движенія.

Несмотря на всѣ колебанія приверженцевъ реформы и даже на измѣны, гуситство уже вскорѣ стало большой силой. Университетъ былъ на сторонѣ реформы; друзья Гуса, при немъ и послѣ, бывали ректорами университета, и это чрезвычайно способствовало распространенію его ученія; живая проповѣдь его приверженцевъ мало по малу перенесла религіозный споръ въ народъ. Народная стихія начала сказываться; „мистры", для которыхъ дѣло шло прежде объ ученой полемикѣ, стали дорожить и народными сочувствіями; литература гуситизма изъ латинской по преимуществу скоро дѣлается и чешской. Чѣмъ дальше въ XV столѣтіе, тѣмъ чаще встрѣчаются чешскіе памятники этой борьбы. Во второмъ десятилѣтіи этого вѣка вопросъ проникаетъ въ массу, въ третьемъ десятилѣтіи мы видимъ уже полное развитіе народнаго вмѣшательства въ дѣло, до тѣхъ поръ разбиравшееся учеными и духовенствомъ.

Это народное движеніе развивается въ самомъ дѣлѣ чрезвычайно

быстро: черезъ четыре года по смерти Гуса болѣе смѣлая часть его послѣдователей уже отдѣляется въ особую радикальную партію, и съ 1419 года начинаются кровопролитныя гуситскія войны — такъ скоро идея, проникши разъ въ народъ, охватила его дѣятельнымъ и воинственнымъ энтузіазмомъ, противъ котораго ничего не могли сдѣлать цѣлые крестовые походы, устроенные папами изъ вѣрныхъ всей католической Европы. Религіозное настроеніе, видѣвшее въ ученіи противника „дьявольское внушеніе“ и въ его дѣйствіяхъ „дорогу, по которой Антихристъ ведетъ къ погибели“, думавшее, что „непорядки иной стороны не должны быть терпимы“,—это настроеніе пришло наконецъ къ крайнему возбужденію. Свѣжая народная масса сильнѣе чувствовала старую неправду и нетерпѣливѣе ожидала будущей справедливости и счастія, и дѣйствительно увлеклась своими надеждами до фанатизма, который придалъ ей непобѣдимое могущество. Народъ пошелъ дальше и въ развитіи самыхъ началъ реформы: равнодушный къ традиціямъ, которыя были дороги для власти, онъ скорѣе принималъ логическія послѣдствія этихъ началъ, и когда „умѣренные“ успокоивались на мелкихъ уступкахъ и исправленіяхъ (въ родѣ одного признанія „чаши“), онъ, разъ поднятый и раздражаемый противорѣчіемъ, готовъ былъ совсѣмъ разорвать со старымъ обществомъ и основать свое новое. Таковы и были Табориты. „Они, очевидно, слишкомъ рано явились съ своими воззрѣніями, — говоритъ одинъ историкъ, — они стали противъ тогдашняго свѣта, а онъ противъ нихъ. Несомнѣнно, что до нѣкоторыхъ принциповъ, которые они высказали прямо и какъ бы неожиданно, позднѣйшая философія додумалась только долгимъ размышленіемъ и только при помощи громаднаго ученаго матеріала, — и несомнѣнно, что ихъ соціальныя стремленія не устарѣли и до сихъ поръ“.

Табориты были самымъ полнымъ (и вмѣстѣ самымъ крайнимъ) выраженіемъ гуситства, его наиболѣе послѣдовательнымъ и вмѣстѣ самымъ національнымъ развитіемъ. Появленіе таборитства было весьма естественно. Какъ скоро провозглашена была мысль, что истинный законъ заключается только въ Писаніи, что іерархія и духовенство не могутъ стѣснять человѣческаго разума и совѣсти, когда раскрыты были тѣ безобразія, къ какимъ пришла такъ-называемая „церковь“, предоставленная исключительно этой іерархіи, понятно, что церковная власть, а наконецъ общественные порядки потеряли всякую вѣру. Чтеніе библіи чрезвычайно распространилось и люди, искавшіе новой жизни, находили въ библіи все, что̀ имъ было нужно. Ревностное убѣжденіе побуждало искать способовъ къ практическому выполненію пріобрѣтенныхъ правилъ,—для этого нужна была свобода дѣй-

ствія. Надо было совершенно отдѣлиться отъ стараго общества, — это и сдѣлали Табориты.

Рѣшимость идти до послѣднихъ выводовъ не могла быть дѣломъ большинства, которое всегда предпочитаетъ болѣе спокойные средніе пути. Католиковъ оставалось уже мало въ Чехіи; но большинство, испуганное трудностями дѣла, остановилось на умѣренномъ гуситизмѣ,—въ приведенномъ нами рядѣ писателей мы видѣли, сколько людей, начавшихъ горячимъ участіемъ въ реформѣ, кончили серединой. Болѣе стойкіе и ревностные стали Таборитами. Къ сожалѣнію, всего меньше извѣстно именно объ этой части гуситства. До насъ уцѣлѣли только немногія сочиненія Таборитовъ, отъ другихъ остались случайные отрывки, такъ-что трудно составить себѣ полное понятіе объ этомъ настроеніи умовъ. Можно однако навѣрное сказать, что какъ бываетъ всегда съ народными движеніями, отвергающими авторитетъ, въ кругу Таборитовъ не было одной господствующей системы; напротивъ, мнѣнія религіозныя и общественныя были крайне разнообразны: каждый, кто былъ способенъ, дѣлался пропагандистомъ ученія, которое считалъ истиннымъ; столкновеніе понятій развивало ихъ все дальше, такъ-что составилось наконецъ удивительное сплетеніе мнѣній, шедшихъ отъ умѣреннаго таборитства, признававшаго первобытное христіанство, до хиліазма, ждавшаго преставленія свѣта, и адамитства, вводившаго пантеизмъ въ религіи и коммунизмъ въ жизни. „Всякія еретичества, какія только бывали въ христіанствѣ,—говоритъ современникъ Эней Сильвій,—все это собралось на Таборѣ, и каждому тамъ вольно вѣрить тому, чтò ему нравится". Изъ броженія этихъ мнѣній, представители которыхъ погибали иногда, возбудивъ людскую ненависть рѣзкимъ отрицаніемъ преданій и фантастическими новизнами, выработалась однако философія Хельчицкаго и соціально-христіанская община „Чешскихъ Братьевъ".

Это разнообразіе ученій, представляющее намъ чрезвычайно любопытное явленіе культуры XV вѣка, самими современниками было понимаемо весьма смутно. Извѣстія, сохранившіяся преимущественно отъ непримиримыхъ враговъ крайняго гуситства, изображаютъ всѣ разныя отрасли его дѣломъ одной секты, на которую цѣликомъ взваливались всѣ достойныя проклятія ереси. Одинъ простодушный лѣтописецъ тѣхъ временъ такъ передаетъ ожиданія и мнѣнія крайнихъ гуситовъ: „Говорили они, что черезъ нѣсколько дней будетъ судный день; поэтому нѣкоторые постились, сидя въ тайныхъ мѣстахъ и ожидая этого дня (мнѣніе *Хиліастовъ*)... Эти священники говорили также, что всѣ грѣшники погибнутъ, что останутся одни добрые; и поэтому безъ всякой милости жестоко убивали людей. Говорили тоже, что придетъ святая церковь въ такую невинность, что будутъ люди на землѣ какъ Адамъ

и Ева въ раю, что не будетъ одинъ другого стыдиться;.. что должны быть всѣ ровными братьями между собой, а пановъ чтобы не было, и чтобы одинъ другому подданъ не былъ, и потому взяли себѣ имя „братья"... Также говорили, что придетъ и будетъ такая любовь между людьми, что всѣ вещи будутъ у нихъ вмѣстѣ и общія, также и жены; толкуя, что люди должны быть свободными сынами и дщерями божьими, а бракъ быть не долженъ (мнѣніе *Адамитовъ*)... Говорили также о тѣлѣ божьемъ не по-христіански, и о крови божьей... и о всѣхъ иныхъ таинствахъ божіихъ, насмѣхаясь и ни во что ихъ не ставя... въ костелахъ служить не хотѣли, орнатъ и другихъ священныхъ вещей къ службѣ имѣть не хотѣли (общее мнѣніе *Таборитовъ*)... Пѣнье латинское въ костелахъ называли воемъ и лаемъ псовъ" и т. д. Много подобныхъ свѣдѣній сообщаетъ особенно упомянутый нами Прибрамъ въ книгѣ: Articuli et errores Taboritarum. Онъ съ точностью пересчитываетъ ихъ мнѣнія о второмъ пришествіи и о „царствѣ добрыхъ", ихъ мнѣнія о внѣшней церкви, которую они отвергали со всѣми ея обрядами, какъ составляющими человѣческое установленіе, о единственномъ законѣ, заключающемся въ Писаніи, о почитаніи святыхъ и реликвій, въ которыя они не вѣрили, объ очищеніи въ будущей жизни, котораго они не признавали, объ отверженіи священническаго сословія, о постахъ, священныхъ изображеніяхъ и т. д. и т. д. Въ сущности всѣ эти вещи, только иногда преувеличенныя Таборитами (напр. чтеніе одной библіи и запрещеніе сочиненій всѣхъ докторовъ и „мистровъ" и т. п.), были только примѣненіемъ къ дѣлу идей Гуса, напр. въ его „Трактатѣ о церкви". Ученіе объ Антихристѣ, развитое особенно хиліастами, уже проповѣдовалъ въ XIV столѣтіи Матвѣй Яновскій. Изъ тѣхъ основныхъ положеній, которыя изложилъ Гусъ и которыя въ началѣ защищаемы были почти каждымъ изъ пражскихъ „мистровъ", ставшихъ потомъ умѣренными калишниками, очень послѣдовательно могли быть выведены результаты, которые проповѣдовались разумнѣйшими Таборитами. Самъ Гусъ, быть можетъ, призналъ бы (съ нѣкоторыми исключеніями) своими послѣдователями скорѣе Таборитовъ, чѣмъ тѣхъ, которые изъ его ученія могли вынести только „калихъ".

Одна изъ любопытныхъ подробностей этого практическаго выполненія первобытной церкви заключалась въ демократическомъ ожиданіи уничтоженія всякаго подданства и въ общности имѣній. На пражскомъ совѣщаніи враждебныхъ сторонъ въ 1420 г. — черезъ пять лѣтъ по смерти Гуса—уже обсуждался такой пунктъ таборитскаго ученія: „Въ Градищѣ или на Таборѣ ничего нѣтъ моего или твоего, но всѣ имѣютъ одинаково поровну; и всѣмъ всегда должно быть все общее, и никто не можетъ имѣть ничего про себя,—иначе, у кого есть что-либо про

себя, тотъ грѣшитъ смертельно". Уже годъ спустя эти коммунистическія начала были ограничены; въ 1422 г. уже нѣтъ упоминаній о „кадяхъ", поставленныхъ для собиранія общей кассы. Обстоятельства ввели раздѣленіе между „полевыми" (военными) и „домашними" Таборитами,—послѣдніе занимались работами и поставляли все необходимое для полевыхъ; Табориты переходили отъ боя къ ремесламъ, и наоборотъ. У нихъ были свои „владари", „справщики" и „гетманы" и соціалистическіе порядки сохранялись до послѣдняго пораженія Таборитовъ у Липанъ (1434). Палацкій полагаетъ, что этотъ соціализмъ былъ приведенъ Хиліастами, которые уже въ 1420 г. проповѣдовали о послѣднихъ дняхъ (consummatio seculi). Этотъ миѳъ о концѣ міра, появившійся уже въ первые вѣка христіанства, въ бурныя времена гуситства ожилъ снова. Люди съ разгоряченной фантазіей уже слышали о битвахъ, знали, что скоро возстанетъ народъ на народъ и царство противъ царства; они уже несли на себѣ ненависть за свою вѣру и видѣли мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ, предсказанную Даніиломъ; появились „ложные пророки" (такъ взаимно корили другъ друга проповѣдники враждебныхъ сторонъ): послѣ этого естественно казалось ожидать, что явится по сказанію и „Сынъ человѣческій" въ своемъ могуществѣ и славѣ. Ученіе Хиліастовъ продержалось не долго, но принесло свои плоды: легковѣрные горожане и поселяне продавали свои имѣнія и спасались „на горахъ", отдавая имущество священникамъ, что̀ произвело въ первый разъ нѣчто въ родѣ общаго имѣнія, и можетъ быть привело за собой таборитскій соціализмъ. Въ 1431 уничтожена была военной силой секта „Среднихъ" (Mediocres) на Моравѣ, главное мнѣніе которыхъ состояло въ томъ, „чтобы только законныя дани платить панамъ, имѣющимъ законное право, но чтобы другія несправедливыя тягости были уничтожены". Изъ этого можно вывести, что кромѣ „среднихъ", т.-е. умѣренныхъ, были и такіе, которые отказывались не только отъ незаконныхъ, но и отъ законныхъ тягостей,—какъ Хиліасты и ожидали. Такія же фантастическія увлеченія произвели, мало впрочемъ извѣстную, секту „Адамитовъ" (adamnici), которые, исходя изъ пантеистическихъ началъ, можетъ быть наслѣдованныхъ отъ какой-нибудь средневѣковой ереси, утверждали, что нѣтъ ни Бога, ни дьявола, что они есть только въ добрыхъ и злыхъ людяхъ; находя святой духъ въ самихъ себѣ, они отвергали всякія книги и заповѣди; все имѣніе у нихъ было общее, бракъ они считали грѣхомъ,—нѣкоторые пробовали даже ходить нагими, предполагая въ себѣ райскую невинность; у нихъ принято было, наконецъ, извѣстное и нашему расколу божественное олицетвореніе, потому-что какого-то Петра называли они сыномъ божіимъ, а одного селянина Микулаша—Моисеемъ... Этотъ образчикъ коммунизма нашелъ врага въ Жижкѣ,

который и истребилъ ихъ небольшую общину, 1421. Самъ знаменитый Жижка, предводитель таборитскаго воинства, представлявшій политическія воззрѣнія Таборитовъ, не знавшій различія сословій и врагъ феодальнаго панства, не былъ вовсе крайнимъ въ своихъ религіозныхъ мнѣніяхъ, хотя при всемъ томъ былъ фанатикомъ своихъ убѣжденій и не зналъ милосердія къ тѣмъ, кого считалъ скрытнымъ или явнымъ еретикомъ. Въ послѣднее время онъ уже расходился съ Таборитами, и его ближайшіе приверженцы, назвавшіеся по его смерти (1424) „Сиротками", составляли средину между настоящими Таборитами и калишниками. Они признавали спорное пресуществленіе, почитали святыхъ, употребляли при богослуженіи орнаты. По мнѣнію Палацкаго, эти умѣренные Табориты стояли ближе всего къ настоящимъ взглядамъ Гуса.

Эту сторону чешской жизни XV вѣка приходится излагать только по историческимъ свидѣтельствамъ. Отъ литературной дѣятельности Таборитовъ остались только немногіе слѣды. Исторія литературы должна тѣмъ болѣе обратить на нихъ вниманіе. И чешскіе и чужіе писатели свидѣтельствуютъ, что между Таборитами было вообще много людей мыслящихъ и образованныхъ. Извѣстный Эней Сильвій (впослѣдствіи папа Пій II), который самъ посѣщалъ Таборитовъ и котораго трудно заподозрить въ пристрастіи къ нимъ, разсказываетъ, что въ Таборѣ его встрѣтили лучшіе горожане, священники и ученики, говоря по латыни,—потому что „этотъ неблагородный народъ только то имѣлъ въ себѣ хорошаго, что любилъ науки". Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что передъ Таборитами „устыдились бы итальянскіе священники, изъ которыхъ едва кто-нибудь прочелъ вполнѣ Новый Завѣтъ, тогда какъ между Таборитами не найдется можетъ быть женщины, которая бы не съумѣла отвѣчать изъ Ветхаго и Новаго Завѣта". Такіе ученые Табориты не разъ защищали свое ученіе на сходкахъ и въ полемикѣ съ пражскими „мистрами", а для этого нужно было знать дѣло не хуже мистровъ.

Вотъ нѣсколько именъ этихъ защитниковъ таборитства. Пражскіе ученые всего чаще возставали противъ Петра Пэна, прозваннаго мистромъ Англичаниномъ (Petr Payne, mistr Engliš). Изгнанный изъ Англіи за виклефизмъ, Пэнъ нашелъ убѣжище въ Прагѣ, сдѣлался тамъ мистромъ и съ тѣхъ поръ остался въ Чехіи. Онъ былъ собственно единственнымъ настоящимъ представителемъ виклефизма у Чеховъ, которые вообще воспользовались этимъ ученіемъ весьма самостоятельно. Въ защиту Виклефа Пэнъ написалъ нѣсколько трактатовъ, разсѣянныхъ по библіотекамъ. Изъ туземныхъ писателей въ особенности замѣчателенъ былъ молодой священникъ Мартинъ Гуска (называемый также Локвисъ, также Мартинекъ, или Мартинъ Моравецъ;

сожженъ 1421), изъ сочиненій котораго уцѣлѣли только небольшіе отрывки, напр., у Прибрама. Изъ сохранившихся свидѣтельствъ можно видѣть, что этотъ еретикъ, сожженный умѣренными вмѣстѣ съ его послѣдователемъ Канишемъ, отличался особенной энергіей и раціоналистической простотой своихъ богословскихъ понятій: „мы много говорили съ нимъ о томъ и о другомъ, — говоритъ о немъ Хельчицкій,—и онъ сказалъ передъ нами, что на землѣ будетъ царство святыхъ, и что добрые не будутъ больше терпѣть, и что еслибъ христіанамъ приходилось такъ терпѣть всегда,—я бы не хотѣлъ быть божьимъ слугой, — такъ онъ говорилъ". Изъ историческихъ свидѣтельствъ можно заключить, что Мартинъ былъ изъ наиболѣе передовыхъ нововводителей въ Таборѣ: „я благодарю моего Бога, — писалъ онъ къ таборскимъ братьямъ,—что онъ освободилъ меня отъ заблужденій, и я весело ожидаю теперь смерти". Въ своихъ мнѣніяхъ о пресуществленіи онъ сходился со всѣми радикальными Таборитами, не признавалъ „колдовскихъ обычаевъ" и старался объяснить ихъ здравымъ смысломъ. Стремленія его направлялись къ такому общественному устройству, которое цѣль жизни ставитъ въ самой жизни. Нѣкоторые историки того времени считаютъ его начинателемъ и распространителемъ секты Хиліастовъ, но по мнѣнію другихъ, его раціонализмъ былъ измѣненъ уже его послѣдователями, которые придали ему фантастическій характеръ. Изъ многихъ „лживыхъ пророковъ", упоминаемыхъ старыми лѣтописцами, упомянемъ еще нѣкоторыхъ, оставившихъ какую-нибудь литературную память. Таковъ былъ, напр., священникъ Вилемъ, который женился въ Таборѣ и выступилъ противъ пражской партіи: отъ него осталась любопытная историческая записка о тогдашнихъ событіяхъ. Прибрамъ упоминаетъ, что Янъ Чапекъ, одинъ изъ воинственныхъ священниковъ гуситства, издалъ „кровожадный трактатъ", въ которомъ „многими книгами Ветхаго Завѣта доказывалъ всѣ тѣ (гуситскія) свирѣпости, совѣтуя и приказывая, чтобы ихъ всѣ совершали, не задумываясь". Табориты въ самомъ дѣлѣ и не щадили еретической крови. Этотъ Чапекъ, вмѣстѣ съ упомянутымъ Локвисомъ, Бискупцемъ, Корандой, Маркольтомъ изъ Збраславицъ, принадлежалъ къ главнымъ основателямъ таборитскаго ученія [1]). Ольдрихъ изъ Знойма и Петръ Нѣмецъ Жатецкій (священникъ у „Сиротокъ") были послами на базельскомъ соборѣ и написали: первый — рѣчь въ защиту пунктовъ о свободной проповѣди слова Божія (въ „Актахъ" базельскаго собора), второй — дневникъ о переговорахъ чешскихъ пословъ на базельскомъ соборѣ 1433 и др. Выше всѣхъ ихъ стоитъ Николай изъ Пельгржимова,

[1]) Онъ сложилъ также пѣсню: «Dietky, Bohu zpievajme». См. Rukovět', I, 131; Památky archeolog. a místopisné, 1873.

по прозванію Бискупецъ (Mikulaš z Pelhřimova, ум. 1459, въ подѣбрадской тюрьмѣ). Онъ еще въ 1409 былъ баккалавромъ свободныхъ искусствъ; человѣкъ ученый и серьёзный, онъ съ самаго начала шелъ дальше другихъ пражскихъ мистровъ и, наконецъ, совершенно отдѣлился отъ нихъ къ Таборитамъ. Разногласіе мнѣній въ Таборѣ побудило его искать сближенія съ умѣренными, чѣмъ онъ надѣялся устранить окончательное распаденіе свободной чешской церкви,—но сближеніе не состоялось и вскорѣ мы снова встрѣчаемъ его въ открытой борьбѣ съ мистрами, особенно съ Прибрамомъ. Къ сожалѣнію, сочиненія его вполнѣ не сохранились; всего важнѣе изъ уцѣлѣвшаго латинская Chronica continens causam sacerdotum Taboriensium, до 1443, которой онъ былъ авторомъ или продолжателемъ. Упоминаются и другія его сочиненія, напр., трактатъ противъ крайняго Таборита Канища, противъ Хельчицкаго, Рокицаны и др. [1]). Священникъ Янъ Лукавецъ, которому приписываютъ начало хроники Бискупца, написалъ также сочиненіепротивъ Рокицаны и Пражанъ: „Confessiones Taboritarum contra Rokicanum et alios theologos Pragenses“, около 1431 (изд. въ Valdensia, Базель, 1568). Наконецъ, знаменитый въ таборитской военной жизни священникъ Вацлавъ Коранда старшій. Онъ былъ священникомъ въ Пильзенѣ, уже рано оказался неукротимымъ агитаторомъ и больше дѣйствовалъ своимъ вызывающимъ краснорѣчіемъ, нежели сочиненіями. Въ 1419 онъ отправился изъ своего города на происходившую тогда народную сходку и за нимъ пошла цѣлая толпа его послѣдователей, мужчинъ и женщинъ. На сходкѣ онъ возбуждалъ народъ къ защитѣ, потому что непріятели его умножились: „виноградникъ прекрасно зацвѣлъ, но подходятъ и козлы, чтобы оборвать его“,—поэтому и ходить нужно было уже „съ мечомъ въ рукахъ, а не съ дорожной палкой“. Онъ самъ отправился на Таборъ, и сталъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ проповѣдниковъ борьбы, сопровождая таборскія воинства и возбуждая ихъ мужество своимъ бурнымъ краснорѣчіемъ. Объ его писаніяхъ извѣстно только, что они были; напр., въ 1421 г. онъ написалъ трактатъ противъ Якубка. Во время реакціи (1437) ему запрещено было проповѣдовать и подъ страхомъ утопленія показываться гдѣ-нибудь, кромѣ Табора; въ 1451 онъ жилъ еще въ Таборѣ, гдѣ диспутовалъ съ нимъ Эней Сильвій, назвавшій его въ своихъ запискахъ: Venceslaus Koranda, vetus diaboli muncipium. Въ 1452, когда Таборъ былъ покоренъ Юріемъ Подѣбрадомъ, Коранда съ другими главными таборитскими священниками былъ взятъ и до конца жизни пробылъ въ заключеніи.

---

[1]) Chronica издана въ XVI стол. Иллирикомъ Флаціемъ при Confessio Waldensium, а теперь въ Гёфлеровыхъ Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung. Ему принадлежитъ пѣсня: «O Jesu Kriste, synu matky čisté».

Литературная исторія гуситства дополняется множествомъ актовъ, посланій, постановленій общинъ, манифестовъ религіозныхъ партій, частныхъ писемъ, которые чрезвычайно важны для исторіи и отражаютъ оживленное движеніе времени. Нѣкоторые изъ этихъ памятниковъ отличаются чрезвычайной яркостію своего характера, напр. многія народныя воззванія и частныя посланія, между которыми замѣтно выдѣляются нѣсколько посланій знаменитаго таборитскаго вождя Яна Жижки изъ Троцнова (позднѣе, z Kalicha, ум. 1424), въ которыхъ онъ дѣйствуетъ на религіозное и народное чувство Чеховъ, напоминаетъ имъ старыхъ предковъ, которые „бились и за божіе дѣло и за свое", и требуетъ, чтобы они готовы были каждую минуту, „потому что уже пришла пора".

Выше указано, какъ тѣсно дѣло чешской народности связано было съ гуситскимъ движеніемъ. Съ уходомъ Нѣмцевъ изъ университета и развитіемъ гуситства, народность чешская выигрывала больше и больше политической и общественной силы. Въ артикулахъ, поданныхъ отъ чешской земли королю Сигизмунду (1419), говорится уже, чтобы чужеземцы, свѣтскіе и духовные, не были допускаемы ни въ какія земскія достоинства и должности, чтобы Чехи вездѣ въ королевствѣ и въ городахъ имѣли первый голосъ. Въ этомъ случаѣ трудно обвинять Чеховъ въ нетерпимости, потому что въ Нѣмцахъ они справедливо видѣли защитниковъ привилегій, церкви и деспотизма, и потому что съ другой стороны имъ тоже не оказывали терпимости: Чехи слыли за еретиковъ и сіенскій соборъ въ 1423 запрещалъ даже всему католическому христіанству „не только купеческія сношенія съ гуситскими Чехами, но и всякія мирныя сообщенія съ ними". Чешскій языкъ овладѣлъ, наконецъ, не только проповѣдью, но и богослуженіемъ, — что̀ было важной побѣдой, потому что противорѣчило всѣмъ преданіямъ католицизма. Если послѣ этой побѣды народности литература не развила сильнаго поэтическаго и научнаго содержанія, — это понятно въ эпоху, когда жизнь была поглощена борьбой, не дававшей времени сосредоточиться. При всемъ томъ мы видимъ значительный успѣхъ научныхъ интересовъ, развитіе философскаго раціонализма и попытки основать демократическія стремленія гуситства не на хиліастическихъ фантазіяхъ, а на разумномъ пониманіи общественныхъ отношеній.

Переходимъ къ другимъ направленіямъ литературы. Въ разгарѣ гуситскаго движенія вопросы религіозные и общественные стали въ литературѣ на первомъ планѣ. Чешская поэзія, повидимому, забыла романтическіе сюжеты, и стала сама отголоскомъ богословскаго и политическаго памфлета. О томъ, что́ происходило въ области народной поэзіи, трудно сказать за недостаткомъ свидѣтельствъ; иногда только

лѣтописи и латинскія стихотворенія упоминаютъ о веселыхъ и сатирическихъ народныхъ пѣсняхъ, ходившихъ въ это время и очевидно уже новыхъ. И у Чеховъ очень распространилась средневѣковая мода на латинское стихотворство. Студенты университета сочиняли латинскія пѣсни въ свое удовольствіе, съ нѣкоторымъ юморомъ, но очень общаго содержанія; одна, еще до-гуситская, нападаетъ сильно на духовныхъ; другія, гусовскихъ временъ и послѣ, писанныя видимо католиками, жалуются на людскую испорченность и неуваженіе къ духовенству (Monachis, fratribus, ac monialibus, Christi virginibus, ceteris fidelibus vivere nilescit... Clerici nonnulli, laycales populi facti sunt scismatici, per libros heretici Wycleff condempnati и пр.), проклинаютъ Гуса и Виклефа и сравниваютъ Жижку съ Иродомъ. Большая латинская поэма о побѣдѣ Чеховъ у Домажлицъ надъ войскомъ пятаго крестоваго похода противъ нихъ, въ 1431, была написана Лаврентіемъ изъ Бржезова (1767 стиховъ). Были наконецъ латинскія сатиры въ стихахъ и въ прозѣ, напр., замѣчательная Coronae regni Bohemiae Satyra in regem Ungariae Sigismundum 1420 г., написанная чешскимъ патріотомъ. Были сатиры противъ короля Вацлава и гуситовъ, напр., Invectio satyrica in regem et proceres viam Viklef tenentes, 1417, и мн. др. Сатира и сатирическая пѣсня, вызванная событіями дня, съ началомъ гуситскаго движенія являются и на чешскомъ языкѣ, и смѣняютъ ту неопредѣленную сатиру нравовъ, о которой мы упоминали прежде, а вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣроятно, вытѣсняютъ и старую народную поэзію. То и другое должно было уже старѣть за это бурное время.

Новая пѣсня, сочиненная и полу-народная, говорила о событіяхъ, которыя привлекали общее вниманіе; была отголоскомъ религіознаго и воинственнаго энтузіазма; наконецъ, по поводу непосредственныхъ событій, получила рѣзкій характеръ раздраженія и насмѣшки, которыя замѣняли поэтическое вдохновеніе. Такъ, уже рано появились риѳмованные памфлеты, напр., при самомъ началѣ движенія противъ „мистра Збынка“ (архіепископа), велѣвшаго сжечь Виклефовы книги. Старый лѣтописецъ замѣчаетъ, что „когда архіепископъ спалилъ книги, то мистръ Гусъ разгнѣвался и нѣкоторые студенты также стали гнѣваться и складывать о немъ пѣсню“. Какъ сильно распространялись подобныя пѣсни, показываетъ строгій запретъ, изданный противъ нихъ королемъ Вацлавомъ. Новыя событія вызывали новыя насмѣшливыя и злостныя пѣсни, которыя пѣлись на улицахъ и обходили всю Чехію. Такимъ образомъ, пѣсни отмѣтили много событій гуситской исторіи, начиная еще съ самыхъ временъ Гуса, борьбу съ Сигизмундомъ, котораго не разъ вѣрно характеризовала гуситская пѣсня (напр., о побѣдѣ надъ Сигизмундомъ у Вышеграда, 1420 и друг.). Не мудрено,

что всего больше было пѣсенъ и цѣлыхъ длинныхъ стихотвореній противъ римской церкви, приверженцы которой отвѣчали тѣмъ же оружіемъ и писали цѣлыя поэмы о гуситскихъ ересяхъ [1]). Одно изъ такихъ стихотвореній (въ 485 стиховъ), укоряя гуситовъ въ разныхъ ихъ заблужденіяхъ, увѣряетъ, что первымъ желаніемъ гуситовъ было—грабить другихъ людей и особенно духовенство (гуситскія проповѣди объ отнятіи имѣній у духовныхъ), приводитъ противъ нихъ церковныя свидѣтельства и даетъ, между прочимъ, любопытное указаніе о народномъ происхожденіи гуситской общины: гуситы упрекается, что они понадѣлали проповѣдниковъ изъ самыхъ простыхъ людей, изъ сапожниковъ, портныхъ, мясниковъ, мельниковъ и всякихъ другихъ рабочихъ и ремесленниковъ, и „také sú ženam kázati kázali“ — разрѣшили проповѣдывать даже женщинамъ; это послѣднее подтверждаетъ и Эней Сильвій. Иныя обвиненія со стороны католическихъ сатириковъ были и очень несообразительны: „Ale jakož se z kalichu napijeti počechu,—говорили они напримѣръ, — tak se krásti, páliti, mordóvati jechu“... Подобныя стихотворенія составляютъ наконецъ переходъ къ риѳмованной хроникѣ; напр. пѣсня о славной для Чеховъ побѣдѣ гуситской при Устьѣ 1426, написанная ревностнымъ патріотомъ, знавшимъ подробности дѣла, называетъ по именамъ всѣхъ главныхъ героевъ этой битвы и описываетъ ихъ подвиги.

Наконецъ сохранилась военная пѣсня гуситовъ, очень популярная у новѣйшихъ чешскихъ патріотовъ, начинающаяся словами:

Kdož ste boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a doufeite v něho,
že konečně s ním vždycky zvítězite...

Эта пѣсня, которую прежде приписывали самому Жижкѣ, характерное выраженіе религіознаго ожесточенія, сначала передаетъ вкратцѣ военныя правила гуситской битвы и потомъ возбуждаетъ мужество воиновъ, убѣждаетъ ихъ не смотрѣть на то, что ихъ только горсть противъ множества непріятелей, и кончаетъ воззваніемъ:

a stím vesele zkřikněte,
řkouc: Na ně! hrr na ně!
bran svou rukama chutnejte,
Bůh naš Pan! vzkřikněte,
bíte, zabíte,
žádného nežívte [2])!

---

[1]) Старая латинская хроника говоритъ: Cantabant Viclefistae, componentes cantiones novas contra ecclesiam et ritus catholicos, seducentes populum simplicem, et e converso catholici contra eos...

[2]) Настоящимъ авторомъ этой пѣсни называютъ Богуслава изъ Чехтицъ. См «Выборъ», II, 283; Rukovět', I, 133.

Наконецъ духовныя пѣсни: значительная часть ихъ происходила еще изъ стараго періода, потомъ къ нимъ присоединилось множество новыхъ, возникшихъ изъ новыхъ направленій религіозной жизни; любопытны въ особенности духовныя пѣсни гуситовъ [1]).

Риомованныя хроники этихъ временъ обыкновенно не имѣютъ ни поэтическаго, ни историческаго значенія. Въ послѣднемъ отношеніи важнѣе историческія записки или настоящія хроники, которыхъ осталось значительное количество. Часто это бывали компилятивныя работы, начинаемыя однимъ, продолжаемыя и списываемыя другими: вообще лѣтописи этого времени считаются продолженіемъ хроникъ Пулкавы и Бенеша изъ Горжовицъ [2]). Онѣ во всякомъ случаѣ чрезвычайно важны для исторіи гуситскихъ временъ, отличаются иногда большой живостью разсказа, иногда очень безцвѣтны. Замѣчательны, напр., разсказъ упомянутаго выше Вилема о смерти Яна Желивскаго, 1422, о походѣ Жижки въ Венгрію, 1423, гдѣ подробно объясняется и военная система Жижки. Къ числу лучшихъ источниковъ для исторіи того времени принадлежитъ латинская хроника Лаврентія изъ Бржезовы (Vavřinec z Březové, род. 1370, ум. послѣ 1437, по Юнгманну 1455). Ученый пражскій мистръ, служившій потомъ при дворѣ Вацлава IV, человѣкъ съ многосторонними знаніями, близко видѣвшій событія, онъ былъ способенъ написать исторію своего времени. Лѣтопись его обнимаетъ только 8 лѣтъ (1414 — 1422, Historia de bello Hussitico), но тѣмъ не менѣе принадлежитъ къ важнѣйшимъ памятникамъ чешской исторіографіи. Она долго была любимымъ чтеніемъ и еще въ старину переведена на чешскій языкъ. „Исторія“ написана съ точки зрѣнія партіи; Лаврентій былъ строгій калишникъ и возстаетъ противъ Таборитовъ, Оребитовъ и вмѣстѣ противъ католиковъ. Къ Таборитамъ онъ былъ несправедливъ и не понималъ ихъ стремленій,—какъ, впрочемъ, всѣ почти ихъ противники [3]). Какъ латинскій хронистъ извѣстенъ былъ также Бартошекъ (Bartoš или Bartošek z Drahynic), хроника котораго обнимаетъ время 1419—1443 г. и имѣетъ потомъ чешскія дополненія до 1464 г., вѣроятно другого автора. Этотъ слуга

---

[1]) О старыхъ свѣтскихъ пѣсняхъ см. Фейфалика, Alt-čechische Leiche, Lieder und Sprüche, въ Запискахъ вѣнской академіи 1862. Всего чаще бывали авторами ходячихъ пѣсенъ школьники, такъ называемые «ваганты». Далѣе, въ «Выборѣ», т. II; у Гануша, Malý Vybor, стр. 93 — 99. О пѣсняхъ гуситскихъ: Vrt'átko, Zlomky táborské, Čas. Mus. 1874, 110 — 124; M. Kolař, Písně husitské, Památky Arch. IX, 825 — 834; ср. Zahn, Die geistlichen Lieder der Brüder in Böhmen, Mähren und Polen. Nürnb. 1874. О поэзіи духовной см. особенно Іос. Иречка, Dějiny církev. básnictví českého, Прага 1878.

[2]) Ср. Палацкаго, Staři lětopisove, Würdigung, и новыя изслѣдованія о гуситской эпохѣ.

[3]) Лаврентій упомянутъ выше какъ латинскій стихотворецъ; онъ перевелъ также очень популярное тогда «Путешествіе Мандевиля» (Cesta po světe; изд. въ Пльзенѣ 1510 и часто послѣ).

Сигизмунда, католикъ и роялистъ, понимаетъ вещи также весьма ограниченнымъ образомъ. Выше упомянуты записки Петра изъ Младеновицъ о Гусѣ и Іеронимѣ Пражскомъ.

Наконецъ въ числѣ исторически замѣчательныхъ памятниковъ упомянемъ еще произведеніе, носящее имя Жижки, его *Военное устройство* (съ латинскимъ заглавіемъ: Constitutio militaris Joannis Žižka, 1423): оно вышло съ именемъ Жижки и всѣхъ главныхъ начальниковъ, Рогача изъ Дубы, Альша изъ Ризенбурка, Бочка изъ Куштата и друг. Книга, назначенная для таборитскаго войска, начинается религіознымъ размышленіемъ и увѣщеваетъ народъ прежде всего въ себѣ самихъ разрушить смертельные грѣхи, чтобы разрушать ихъ потомъ на короляхъ и князьяхъ, панахъ и горожанахъ и т. д., „никакихъ лицъ не исключая"... Требуя строгаго исполненія правилъ подъ оригинально выраженными угрозами, эти военныя постановленія высказываютъ и равенство передъ закономъ.

Въ первой половинѣ XV вѣка написаны были записки о Жижкѣ: „Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi", которую ошибочно приписывали болѣе позднему лѣтописцу Кутену [1]).

Съ несчастной битвой у Липанъ (1434), когда городское и народное войско было разбито феодальной партіей, демократія и свободная церковь Таборитовъ потеряли свою силу и вліяніе; феодализмъ и католичество могли думать о возвращеніи потеряннаго преобладанія. Идеи Таборитовъ еще продолжали жить, но положеніе Табора вообще было трудное; ему приходилось защищать свое существованіе отъ возраставшей реакціи; въ 1452 Таборъ былъ окончательно покоренъ Подѣбрадомъ. Для самой Чехіи, которая въ половинѣ XV столѣтія пріобрѣла короля-патріота въ Юріи Подѣбрадѣ (съ 1452 „справца" государства, съ 1458 король), при всѣхъ политическихъ успѣхахъ шелъ вопросъ о народной и политической независимости.

Чешская народность въ это время еще стояла высоко: латынь больше и больше уступала чешскому языку: многіе вліятельные люди того времени не знали по-латыни, напр. кромѣ стараго Жижки, Юрій Подѣбрадъ, Цтиборъ изъ Цимбурка и др. Католики продолжали видѣть вредъ въ господствѣ чешскаго языка и ратовали за церковную латынь: Павелъ Жидекъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ писателей этой партіи, положительно утверждалъ, что благо государства достигается именно различіемъ языковъ. Съ другой стороны, патріоты, какъ Викторинъ изъ Вшегордъ, находили, что во главѣ управленія должны

[1]) Издана въ упомянутой книжкѣ Яр. Голля: Vypsání o Mistru Jeronymovi, etc Прага, 1878.

быть одни Чехи, а Нѣмцы должны быть просто изгоняемы изъ страны, „какъ было при священной памяти (старо-чешскихъ) князьяхъ".

Этотъ спорный пунктъ, вмѣстѣ съ спорными пунктами религіи и политики, продолжаетъ господствовать въ литературѣ второй половины XV столѣтія. Историческіе памятники этого времени продолжаются въ тѣхъ же направленіяхъ, латинскомъ и чешскомъ, реакціонномъ и гуситскомъ. Изъ латинскихъ хроникъ особенно извѣстны: Chronica Procopii notarii Novae civitatis Pragensis 1476,—этому Прокопу, католику, но кажется недругу Нѣмцевъ, принадлежитъ и отрывокъ риѳмованной чешской хроники; Nicolai de Bohemia (Mikulaš Cech, въ половинѣ XV вѣка), Chronicon Bohemiae; здѣсь можетъ быть упомянута и книга, написанная по личному знакомству съ Чехіей Энеемъ Сильвіемъ Пикколомини, Historia bohemica, до 1458 г. (Римъ 1475 и друг.), переведенная на чешскій Николаемъ Коначемъ (Прага, 1510 и др.) и еще раньше Яномъ Гуской, въ 1487; далѣе Chronica Taborensium, до 1442. Чешскія историческія книги этого времени не отличаются особыми достоинствами. Большой плодовитостью отличался Павелъ Жидекъ (по латыни Paulus Paulirinus или Paulus de Praga, Еврей, род. 1413, ум. около 1471): ему принадлежитъ „Всеобщая исторія" (въ ней и чешская), составляющая часть его „Справовны", книги объ обязанностяхъ короля, писанной имъ для Юрія Подѣбрада, и наконецъ огромная латинская энциклопедія „Liber viginti artium", которая приписывалась у Поляковъ знаменитому пану Твардовскому, и друг. Человѣкъ, крайне неуживчивый въ жизни, не особенно правдивый и самохвалъ, Жидекъ и въ сочиненіяхъ своихъ также не былъ особенно совѣстливъ и въ сущности былъ сторонникомъ крайней политической и религіозной реакціи [1]). Такимъ же приверженцемъ ея былъ Гиларій Литомержицкій (1413 — 1469), сначала утраквистскій членъ университета, потомъ отпавшій въ Италіи къ католической партіи. Въ его латинскихъ и чешскихъ книгахъ и рѣзкихъ памфлетахъ противъ калишниковъ, напр. противъ Рокицаны, одинаково господствуетъ ультрамонтанская ограниченность; современники прозвали его апостатомъ и „недоукомъ". Гиларій прямо проповѣдовалъ, что папа есть владыка всѣхъ странъ и свѣтскія власти обязаны только наблюдать за исполненіемъ его воли; если же свѣтская власть сама возстаетъ противъ папской воли (какъ у Чеховъ), то шляхта (т.-е. католическая) имѣетъ право изгнать эту власть.

Гуситская и народная сторона имѣла свои рѣзкія и характерныя выраженія въ историческихъ сочиненіяхъ этого времени. Кромѣ того, что заключается въ „Старыхъ лѣтописяхъ", собранныхъ Палацкимъ,

[1]) См. объ его энциклопедіи въ «Часописѣ», 1837, 1839. Отрывки изъ «Справовны», въ «Выборѣ», II.

особенно любопытны прибавки къ Далимиловой хроникѣ, написанныя около 1439: „Počiná se krátké sebrání z kronik českých k vystraze věrných Čechův“. Это „собраніе“ проникнуто патріотическимъ стремленіемъ къ охранѣ народности и имѣло кромѣ того спеціальную цѣль дѣйствовать противъ избранія въ короли Нѣмца. Вражда къ Нѣмцамъ была у неизвѣстнаго автора сознательной системой, которую онъ оправдывалъ исторически: „Чехи должны усердно заботиться и со всѣмъ стараніемъ остерегаться, чтобы не впасть въ употребленіе чужого языка, а особенно нѣмецкаго; потому что, какъ *свидѣтельствуютъ чешскія хроники*, этотъ языкъ есть наилютѣйшій къ пораженію языка чешскаго и *славянскаго*“. Хотя авторъ не совсѣмъ правдоподобно утверждаетъ, что уже при созданіи вавилонской башни Нѣмцы враждовали противъ Славянъ и что Александръ Македонскій далъ грамоту славянскому языку, но современныя отношенія своей народности онъ понималъ довольно хорошо и, рекомендуя соотечественникамъ любить божію кровь, т. е. калихъ, предостерегалъ отъ пановъ и духовенства. Изъ ревностныхъ калишниковъ извѣстенъ былъ въ это время своими чешскими полемическими трактатами Вацлавъ Коранда младшій (Wenceslaus Korandiceus, род. около 1424, ум. 1519), важнѣйшимъ трудомъ котораго былъ историческій разсказъ о посольствѣ Подѣбрада въ Римъ: Poselství krale Jiřiho [1]). Весьма любопытно своими подробностями описаніе другого посольства Подѣбрада — къ французскому королю Людовику XI, 1464 года: изъ этого описанія можно видѣть, между прочимъ, какую ненависть встрѣчали Чехи почти вездѣ въ Германіи въ простомъ народѣ, благодаря еретической репутаціи, созданной имъ католиками.

Вторая половина XV столѣтія принесла двѣ новыя образовательныя силы — книгопечатаніе и гуманизмъ, развивавшійся подъ вліяніемъ „Возрожденія“. То и другое не могло не подѣйствовать на литературу, расширяя объемъ и измѣняя характеръ образованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ гуманизмъ и удалялъ умы отъ прежняго движенія, болѣе энергически стоявшаго за національные интересы.

Типографское искусство развилось у Чеховъ съ большимъ успѣхомъ. Первой печатной чешской книгой считается *Троянская исторія*, напечатанная въ Пльзенѣ, 1468. Но чешскіе историки находили, что хорошее исполненіе этого изданія должно предполагать предыдущіе, менѣе совершенные опыты. Изданіе гуситской пѣсни: „Chcemeli s Bohem byti“ съ 1441 годомъ, *вновь* напечатанной въ 1618, за-

[1]) См. «Выборъ», II. Списокъ его сочиненій и біографія въ «Rukovĕt'», I, 392—396.

ставило предполагать, что первое изданіе было сдѣлано въ 1441. Чешскій индексъ запрещенныхъ книгъ, составленный іезуитами въ позднѣйшую эпоху гоненій, приводитъ нѣсколько такихъ старыхъ датъ, между прочимъ „Посланіе изъ Констанца мистра Яна изъ Гусинца", съ 1459 годомъ. Первые типографы всѣ носятъ чешскія имена: это опять давало поводъ думать, что чешское книгопечатаніе было какъ будто независимо отъ нѣмецкаго. Было даже предположеніе, которому вѣрили ревностные славянскіе патріоты изъ Чеховъ и Русскихъ, что самъ Гуттенбергъ былъ „Янъ Кутногорскій"... Какъ бы то ни было, книгопечатаніе распространилось въ Чехіи очень быстро: пльзенская типографія служила католикамъ, пражская и кутногорская (1488) подобоямъ; болеславская (1500) Чешскимъ Братьямъ и т. д. Полемическая литература того времени дала обильную работу этимъ типографіямъ, и распространеніе книгопечатанія было особенно заслугой Чешскихъ Братьевъ.

Такъ называемый *гуманизмъ*, изученіе классическихъ языковъ и литературъ, началъ распространяться у Чеховъ со второй половины XV вѣка, при Юріи Подѣбрадѣ. Въ 1462 Григорій Пражскій (иначе Castulus, Haštalský, ум. 1485) началъ въ университетѣ лекціи о латинскихъ античныхъ писателяхъ. Съ его смертью, въ университетѣ классическія изученія упали, но духъ времени оказывалъ свое вліяніе и число гуманистовъ опять возрасло. Янъ изъ Рабштейна, проведшій нѣсколько лѣтъ въ Италіи при папскомъ дворѣ, возвратился домой съ пріобрѣтенными тамъ классическими знаніями. Въ Пестѣ основалось ученое общество Danubiana, гдѣ соединялись ученые Австріи, Венгріи и Чехіи. Но главнымъ образомъ гуманизмъ сдѣлалъ успѣхи въ царствованіе Владислава II, когда съ усиленіемъ католичества въ Чехіи начались болѣе тѣсныя связи съ Италіей.

Въ концѣ XV и началѣ XVI вѣка классицизмъ имѣлъ уже много замѣчательныхъ представителей, каковы были, напр., Ладиславъ изъ Босковицъ, Турзо, Августинъ Оломуцкій, Янъ Шлехта, но въ особенности Богуславъ Гасиштейнскій изъ Лобковицъ (1462 — 1510). Хотя большая часть сочиненій Богуслава изъ Лобковицъ писана по латыни, онъ имѣетъ важное мѣсто въ чешской литературѣ, какъ распространитель классицизма. Одно время онъ былъ калишникомъ, но потомъ сталъ ревностнымъ католикомъ. Свое классическое образованіе онъ получилъ въ Германіи и Италіи, имѣлъ потомъ почетное мѣсто при дворѣ и усердно занимался литературой. Его латинская сатира: „Жалоба св. Вацлава на нравы Чеховъ", 1489, свидѣтельствуетъ о патріотизмѣ автора и представляетъ интересныя черты времени. Богуславъ былъ также знаменитъ какъ путешественникъ: отправляясь въ Іерусалимъ, онъ посѣтилъ Аравію, Египетъ, Малую Азію, Архипе-

лагъ, Грецію, Сицилію, Африку и т. д. Братъ его Янъ также пускался въ далекія странствія... Богуславъ вывезъ между прочимъ и большое собраніе классическихъ авторовъ, въ книгахъ и рукописяхъ. Домъ его походилъ на академію. Но вся его ученость и многія истинно гуманныя начала, вынесенныя имъ изъ классиковъ, не избавили его отъ крайней отсталости въ религіозныхъ вещахъ: требуя гражданской свободы, осмѣивая аристократическія претензіи и т. д., онъ не замѣчалъ, что его ультрамонтанство стоитъ въ прямомъ противорѣчіи всѣмъ этимъ добрымъ пожеланіямъ [1]). Классическая ученость не освѣжила и другихъ головъ, напр. Станислава Турзо, епископа оломуцкаго, и Августина Оломуцкаго (Kaesenbrot), которые были непримиримыми врагами начавшейся тогда реформаціи. Латынь была такъ распространена, что даже двѣ женщины были латинскими писательницами. Одна, панна Марта, написала „Excusatio Fratrum Valdensium contra binas literas Doctoris Augustini datas ad regem", 1498, въ защиту реформы: упомянутый Августинъ и Богуславъ были крайне раздражены этимъ ученымъ и остроумнымъ памфлетомъ, и Богуславъ написалъ сатиру на его автора! Другая, Іоганна, изъ рода Босковицъ, была также дама ученая: она принадлежала, кажется, къ „Братской Общинѣ", и ученые мораване Бенешъ Оптатъ и Петръ Кзель посвятили ей свой переводъ „Новаго Завѣта" (съ латинскаго перевода Эразма Роттердамскаго; изд. 1555).

По смерти Григорія Пражскаго классицизмъ, какъ выше замѣчено, пришелъ въ упадокъ въ пражскомъ университетѣ. Кто искалъ классическихъ изученій, должны были отправляться въ университеты иноземные, въ Болонью, Падую, а впослѣдствіи въ Виттенбергъ, особенно когда тамъ дѣйствовалъ Филиппъ Меланхтонъ. Со временъ Фердинанда I, когда установилось въ Чехіи нѣкоторое спокойствіе, гуманизмъ снова сталъ расширяться. Въ 1542 Матвѣй Колинскій (ум. 1566) началъ читать въ пражскомъ университетѣ о латинской и греческой литературѣ, и греческій языкъ введенъ былъ даже въ преподаваніе городскихъ школъ. Латынь распространялась; бывали меценаты, ее поощрявшіе, и къ концу XVI вѣка не было въ Чехіи города и мѣстечка, гдѣ бы не нашлись люди съ классическимъ образованіемъ. Вторая половина XVI столѣтія ознаменована обширной массой латинскаго стихотворства, которое достигло высшаго процвѣтанія при Рудольфѣ II. Одинъ меценатъ того времени издавалъ цѣлые сборники латинскихъ стихотвореній, подъ названіемъ „Farragines"; за ними слѣдовали другіе подобные сборники стиховъ на разные случаи, частные и обществен-

---

[1]) К. Винаржицкій сдѣлалъ переводы изъ его сочиненій и написалъ біографію: Pana Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic věk a Spisy vybrané, Прага, 1836. Ср. газету «Narod», 1864, № 111—114; Іос. Тругларжа, въ «Часописѣ», 1878.

ные. Изъ множества тогдашнихъ латинистовъ наиболѣе извѣстны были: Матвѣй Колинскій, Янъ Шентигаръ изъ Гвождянъ (ум. 1554), Симонъ Fagellus Villaticus (ум. 1549), Vitus Trajanus Жатецкій (ум. 1560), Янъ Бальбинъ (ум. 1570), Давидъ Crinitus изъ Главачова (ум. 1586), Прокопъ Лупачъ (ум. 1587), Petrus Codicillus изъ Тулехова (ум. 1589), Томашъ Mitis (ум. 1591), Янъ Campanus изъ Воднянъ (ум. 1622) и проч. Какъ видно изъ приведеннаго списка, эти классики передѣлывали и свои имена на латинскій языкъ: Mitis былъ собственно Tichý, Codicillus—Knížek, Crinitus—Vlasák и т. п.

Чешскій гуманизмъ уже съ самаго начала представлялъ два несходныя направленія. Одни, чистые гуманисты, находили единственный интересъ въ самой латыни; но у другихъ классицизмъ не былъ цѣлью, а только средствомъ для усовершенствованія собственной литературы. Одни, часто рьяные католики, бывали равнодушны и къ успѣхамъ чешской народности и литературы; другимъ никакъ не приходило въ голову, что мертвая латынь можетъ замѣнить родной языкъ, классицизмъ служилъ имъ для обогащенія ихъ собственной литературы,— къ нимъ примыкали и вообще защитники своей народности.

Во главѣ дѣятелей этого послѣдняго рода ставятъ обыкновенно двухъ писателей, которые оба не были спеціально гуманистами, одинъ въ особенности, но которые прямѣе и сильнѣе другихъ представляли чисто національную сторону тогдашней литературы и ревностно защищали права народнаго языка. Имена Викторина изъ-Вшегордъ и Цтибора изъ-Цимбурка принадлежатъ къ числу знаменитѣйшихъ именъ въ исторіи чешскаго права. Главныя произведенія ихъ посвящены были земскому юридическому быту, который въ это время вообще находилъ дѣятельныхъ объяснителей. Тревожныя времена гуситства, таборитскихъ войнъ и т. д. нарушали порядокъ юридическихъ отношеній, которымъ угрожало то право сильнаго, то соціалистскія теоріи, такъ что естественно могла явиться мысль объ укрѣпленіи понятій права. Оттого конецъ XV и начало XVI вѣка богаты литературой юридической. Таковы, напр. „Земскіе уставы королевства чешскаго при королѣ Владиславѣ“ 1500 г., „Книга Товачовская“ Цтибора, „Девять книгъ о правахъ, судахъ и доскахъ чешской земли“ Викторина; затѣмъ Desky zemské, собранія городскихъ правъ, отражающія тогдашній юридическій бытъ, споры феодаловъ съ горожанами и т. п. Наиболѣе важны три первые памятника. Общая ихъ мысль была сходна: стараясь утвердить положенія права, потрясенныя политическими и общественными волненіями, они хотятъ достичь этой цѣли однимъ средствомъ—возобновленіемъ старыхъ юридическихъ обычаевъ. Но юридическое значеніе ихъ было различно: Земское уложеніе Владислава было прямо книгой законовъ; Товачовская книга и девять книгъ Викторина

были только частнымъ руководствомъ къ обозрѣнію старыхъ юридическихъ обычаевъ, одна въ Моравіи, другая въ Чехіи.

Цтиборъ изъ Цимбурка и Товачова (род. около 1437, ум. 1494) былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей своего времени не только по литературной, но и общественно-политической дѣятельности. Родъ его былъ одинъ изъ древнѣйшихъ и извѣстнѣйшихъ въ моравской шляхтѣ. Цтиборъ, умѣренный калишникъ, былъ горячимъ приверженцемъ Юрія Подѣбрада, занялъ важное мѣсто въ королевствѣ и пользовался вообще большимъ авторитетомъ. Его юридическій трудъ: Sepsaní obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a prav markrabství moravského, или такъ называемая „Товачовская книга“, — написанный въ 1481 и дополненный въ 1486 — 89, составленъ съ аристократической точки зрѣнія и старательно защищаетъ на основаніи старины права пановъ. Хотя это былъ сборникъ, составленный частнымъ лицомъ, но онъ получилъ какъ бы настоящую юридическую силу. Въ чешской литературѣ Цтиборъ извѣстенъ также другимъ сочиненіемъ, написаннымъ еще въ молодости, около 1467, и посвященнымъ королю Юрію: „Споръ Правды и Лжи объ имѣньяхъ и власти духовенства“ (Kniha hádaní Pravdy a Lži etc., изд. въ Прагѣ 1539). „Споръ“ изложенъ въ прозѣ на подобіе тѣхъ аллегорическихъ пьесъ, которыя въ то время были очень популярной формой въ европейской литературѣ, а затѣмъ и у Чеховъ. Пьеса не имѣетъ поэтическаго достоинства, но любопытна своимъ содержаніемъ. Правда ведетъ процессъ противъ Лжи, передъ судомъ божіимъ: въ судѣ засѣдаютъ апостолы, подъ предсѣдательствомъ св. Духа; споръ Правды и Лжи, къ которымъ присоединяются всѣ добродѣтели и пороки (напр. „Гордость, княжна римская“, „Ненависть родомъ изъ Австріи“, „Лѣность изъ Польши“ и т. п.), представляетъ собственно споръ между христіанствомъ, какъ понимали его съ одной стороны гуситы, и съ другой—римская церковь; онъ рѣшается, конечно, въ пользу Правды. Гуситскія наклонности Цтиборна, обнаруженныя имъ и въ другихъ случаяхъ, стоили ему проклятій противной стороны: Богуславъ Лобковицъ въ стихахъ на смерть Цтибора пророчитъ ему, что „небо заперто для него, потому что безъ лодки Петра никто не переправится къ жилищамъ блаженныхъ“, что „на вѣки не будетъ конца его наказанію и его мукамъ“ [1]).

Книги Викторина (род. около 1460, ум. 1520) считаются вообще ключомъ къ уразумѣнію стараго чешскаго права; съ другой стороны, высоко цѣнятся его литературныя заслуги. Отецъ его былъ простой

---

[1]) О «Спорѣ»—см. статьи Баума и Рыбички, Památky arch. a mistopisné, 1868. Книга Товачовская была издана К. Демутомъ, въ Бèрнѣ 1858; критическое изданіе, съ варіантами рукописей и біографіей Цтибора, сдѣлалъ Винц. Брандль, тамъ же, 1868. Изслѣдованія Герменегильда Иречка и Брандля въ «Часописѣ» 1863, 1867, 1868.

горожанинъ въ Хрудимѣ; учился Викторинъ въ пражскомъ университетѣ, гдѣ, говорятъ, съ большой славой получилъ степень „мистра“ свободныхъ искусствъ, тамъ же былъ потомъ профессоромъ философіи и деканомъ, но уже вскорѣ онъ оставилъ университетъ и выступилъ на общественно-юридическое поприще. Великій почитатель классической литературы, онъ былъ дружески связанъ съ извѣстнѣйшими чешскими гуманистами того времени, какъ Богуславъ Лобковицъ, Янъ Шлехта, Григорій Грубый и другіе, и особенно съ Лобковицемъ. Но въ 1493 эта дружба кончилась. По поводу переговоровъ, которые шли тогда между Римомъ и чешскими калишниками, Богуславъ написалъ латинское стихотвореніе In Summum Pontificem; Викторинъ не могъ этого вынести и отвѣчалъ злой сатирой на папу. Юридическое сочиненіе Викторина: Knihy devatery o pravích a sudích i o deskách země české,—оконченное въ 1499 и вторично пересмотрѣнное въ 1508,—обширнѣе книги Цтибора и даетъ много любопытнаго матеріала для изученія тогдашнихъ соціальныхъ отношеній [1]). Въ спорахъ феодаловъ съ городами Викторинъ принималъ сторону городовъ и вообще въ его сочиненіи можно замѣтить наклонность демократическую. Чрезвычайно важная въ историко-юридическомъ отношеніи, книга Викторина высоко цѣнится и по своему мастерскому слогу, такъ что чешскіе юристы признаютъ ее за главный источникъ юридическаго чешскаго языка. Кромѣ того, Викторинъ перевелъ на чешскій языкъ нѣкоторыя сочиненія Кипріана и Іоанна Златоуста. Викторинъ былъ горячій патріотъ: въ своихъ „Девяти книгахъ“ онъ восхваляетъ старые обычаи чешскаго права, открытый чешскій судъ и т. п.; въ предисловіи къ переводу Златоуста (напеч. въ Пльзенѣ, 1501), онъ патріотически защищаетъ чешскій языкъ,—которымъ въ то время пренебрегали приверженцы латыни [2]).

Къ тѣмъ классическимъ ученымъ, для которыхъ знаніе древности служило средствомъ къ возвышенію національной литературы и языка,

---

[1]) «Девять книгъ» Викторина изданы были, отъ Чешской Матицы, Ганкой, съ предисловіемъ Палацкаго, Прага, 1841. Второе изданіе сдѣлано на счетъ юридическаго кружка «Вшегордъ», Герм. Иречкомъ, Пр. 1874, съ біографіей.

[2]) Приводимъ эту любопытную защиту чешскаго языка. «Я перевелъ охотно и эту книгу по той причинѣ, чтобы языкъ нашъ и здѣсь ширился, облагороживался и дѣлался сильнѣе; потому что онъ вовсе не такъ тѣсенъ и негладокъ, какъ нѣкоторымъ кажется. Полноту и богатство его можно видѣть изъ того, что все, что̀ можетъ быть сказано по-гречески или по-латыни, можетъ быть сказано и по-чешски. И нѣтъ никакихъ тѣхъ книгъ ни греческихъ, ни латинскихъ, которыя бы не могли быть переведены на чешскій,—если только я не ошибаюсь, будучи увлеченъ любовью къ своему языку.... Пусть другіе складываютъ новыя книги, пиша по-латыни и, подливая воды въ море, расширяютъ римскій языкъ,—хотя и тѣхъ у насъ очень мало; я, перелагая книги и писанія старыхъ и истинно хорошихъ людей на чешскую рѣчь, хочу скорѣе обогатить бѣдняка, нежели, подслуживаясь къ богатому съ плохими и ему ненужными подарками, подвергаться пренебреженію и униженію. Хотя я также могъ бы писать по-латыни, какъ другіе мнѣ ровные, но зная, что *я* — Чехъ, хочу учиться латыни, но по-чешски писать и говорить».

принадлежали: Вацлавъ Писецкій (1482—1511), Янъ Шлехта изъ Вшегордъ (ум. 1522) и особенно Григорій Грубый изъ-Елени (или Gelenius; ум. 1514), литературная дѣятельность котораго заключалась главнымъ образомъ въ переводахъ и толкованіяхъ старыхъ писателей и новѣйшихъ гуманистовъ. Такъ, онъ переводилъ Златоуста, св. Василія, Цицерона, Понтана, Петрарку, Эразма Роттердамскаго, Богуслава изъ Лобковицъ и проч. Сынъ Григорія, Зигмундъ Грубый (Gelenius, 1497 — 1554) получилъ отличное классическое воспитаніе подъ руководствомъ Вацлава Писецкаго, съ которымъ жилъ въ Италіи; онъ путешествовалъ потомъ по греческимъ островамъ, во Франціи и Германіи. Въ 1524 г. онъ принялъ приглашеніе Эразма Роттердамскаго работать въ Базелѣ надъ новымъ изданіемъ греческихъ и латинскихъ классиковъ и пріобрѣлъ большую славу своею ученостью. Свой чешскій языкъ онъ зналъ хорошо, также хорватскій, и Хорваты, собираясь у него, пѣли свои народныя пѣсни. Но знанія славянскія онъ употребилъ только въ своемъ „Lexicon symphonum“ (Базель 1536, 1544), гдѣ хотѣлъ указать сходство языковъ греческаго, латинскаго, нѣмецкаго и славянскаго. Большой извѣстностью пользовался Николай Коначъ изъ Годиштков а (или Finitor, ум. 1546). Это былъ очень цѣнимый современниками дѣятельный переводчикъ и типографщикъ,— довольно типическая личность чешскаго литератора въ первой половинѣ XVI вѣка. По своимъ мнѣніямъ Коначъ былъ умѣреннымъ послѣдователемъ компактатовъ, но полемика его была слаба, такъ что одинъ изъ Чешскихъ Братьевъ назвалъ Конача „добрымъ Чехомъ“, но „неумѣлымъ ревнителемъ вѣры“. Оригинальнымъ сочиненіемъ Конача считается „Книга о гореваньѣ и печали Справедливости, королевы и госпожи всѣхъ добродѣтелей“: это опять аллегорія—Справедливость проходитъ всѣ званія духовныя и свѣтскія, высокія и низкія, и горюетъ, нигдѣ не находя своихъ истинныхъ чтителей. Въ 1515 Коначъ напечаталъ первые образчики чешской газеты. Но въ особенности онъ переносилъ въ чешскую литературу чужія произведенія: перевелъ средневѣковой романъ Филиппа Бероальда, два разговора Лукіана, чешскую хронику Энея Сильвія, „Pravidlo lidského života“, т.-е. басни Бидпая изъ латинской редакціи Directorium humanae vitae и проч. Масса переводовъ была весьма значительна; писатели не всегда отличались оригинальностью и глубиной, но они были проводниками знанія, такъ что общій уровень литературной образованности былъ тогда значительно высокій. Какъ было замѣчено, вмѣстѣ съ классиками были переводимы и сочиненія новѣйшихъ гуманистовъ, а эти люди были тогда передовыми двигателями европейскаго образованія. Имена Петрарки, Боккаччіо, Лаврентія Валлы, Понтана и особенно Эразма Роттердамскаго часто встрѣчаются въ тогдашней литературѣ;

Эразмъ былъ и въ прямыхъ сношеніяхъ съ чешскими учеными, напр. Яномъ Шлехтой, Зигмундомъ Грубымъ, и довольно сочувственно относился къ идеямъ „Чешскихъ Братьевъ“. Неудивительно поэтому, что реформа Лютера и самъ Лютеръ тотчасъ завязали въ Чехіи прямыя связи, кончившіяся значительнымъ распространеніемъ германской реформаціи у Чеховъ.

Прежде, чѣмъ продолжать изложеніе литературнаго періода XV—XVI столѣтій, представляющихъ самую дѣятельную пору въ исторіи чешскаго народа, возвратимся къ судьбѣ таборитскихъ идей. Естественно было, что онѣ разбились на множество частныхъ ученій, потому что съ потрясеніемъ прежняго, казалось, незыблемаго авторитета, въ обществѣ возникъ вопросъ ни болѣе, ни менѣе какъ о своемъ нравственномъ существованіи. Этотъ глубокій вопросъ и лежалъ въ основѣ видимаго произвола личныхъ мнѣній; ихъ разнообразіе выразилось множествомъ религіозныхъ сектъ и политическихъ партій. Борьба ихъ между собою была энергическая и ожесточенная; но тѣ, въ комъ всего глубже было стремленіе къ религіозной и политической реформѣ, оставались—опять, какъ это всегда бываетъ — въ меньшинствѣ и, не смотря на героическую защиту своихъ убѣжденій въ гуситскихъ войнахъ, потеряли свое политическое дѣло. Но идеи, одушевлявшія ихъ, не погибли: онѣ продолжали жить, иногда въ тѣхъ же формахъ, которыя дало имъ первое бурное время гуситизма, и даже нашли свое дальнѣйшее философское и соціальное развитіе. Представителемъ этого развитія былъ въ разныхъ отношеніяхъ достопримѣчательный дѣятель первой половины XV вѣка, Петръ изъ-Хельчицъ или Хельчицкій.

Нѣкоторые чешскіе историки, можетъ быть не безъ основанія, называютъ его геніальнѣйшимъ философомъ своего времени въ цѣлой Европѣ. Его біографія до сихъ поръ мало извѣстна; сочиненія также извѣстны не вполнѣ: поэтому и трудно еще опредѣлить съ увѣренностью его значеніе въ исторіи чешской литературы и народнаго развитія. Хельчицкій родился около 1390 года, и, слѣдовательно, молодость провелъ во времена Гуса. Происхожденіе его неизвѣстно; онъ учился нѣсколько времени въ пражскомъ университетѣ, зналъ латынь довольно для того, чтобы читать св. отцовъ, и не имѣлъ ученой степени. Зато онъ ревностно искалъ живой бесѣды съ „вѣрными Чехами“. Такъ, напр., онъ самъ не читалъ всѣхъ Виклефовыхъ книгъ, „но я,— говоритъ онъ, — много говорилъ о нихъ съ вѣрными Чехами, каковъ былъ мистръ Янъ Гусъ, мистръ Якубекъ, которые разумѣли ихъ лучше другихъ Чеховъ“. Онъ былъ изъ тѣхъ „свѣтскихъ проповѣдниковъ“, о которыхъ самъ говорилъ: „только тѣ, которые имѣютъ даръ божій и свѣтъ божественной мудрости, могутъ указать правду закона божія, посредствомъ разумнаго и искренняго толкованія“. Это была, слѣдователь-

но, уже полная свобода религіознаго изслѣдованія, которое становилось авторитетомъ, если личности толкователя могъ быть приписанъ „даръ божій“. Хельчицкій искалъ самъ знанія отъ особенно уважаемыхъ учителей, каковы были, напр., Якубекъ и Прòтива. Отъ послѣдняго, говорятъ, онъ принялъ ученіе, что „законъ Христовъ, безъ придачи людскихъ законовъ, можетъ достаточно основать и устроить здѣсь на свѣтѣ истинно христіанское вѣроученіе“. Послѣдованіе Христу было для него высшимъ правиломъ христіанской жизни; онъ хотѣлъ вѣрить *только* тому, чтó находится въ Евангеліи, отвергая совсѣмъ церковную традицію „докторовъ и старыхъ святыхъ“. Этимъ путемъ онъ пришелъ къ убѣжденію, что всякое употребленіе свѣтской внѣшней силы, принудительное и военное, противорѣчитъ христіанству. Потому, онъ послѣдовательно осуждалъ Матвѣя Яновскаго, Гуса и Якубка, также какъ римскихъ церковниковъ, что они стали причиной кровопролитія, что вложили народу въ руки мечъ изъ-за религіи. Когда въ октябрѣ 1419 на вопросъ Жижки и Микулаша изъ Гусинца пражскіе мистры объяснили, что въ извѣстныхъ обстоятельствахъ позволительно употреблять военную силу, Хельчицкій оспаривалъ Якубка и утверждалъ, что въ дѣлѣ вѣры не должно быть насилія. Положеніе вещей въ тогдашней Прагѣ не отвѣчало его мыслямъ; онъ удалился на свою родину, небольшую деревню Хельчицы, занимаясь своими сочиненіями и бесѣдами съ кружкомъ друзей. Здѣсь надо видѣть начало тѣхъ „сѣрыхъ священниковъ“, которые—по словамъ одного стараго автора—„какъ настоящіе христіане и истинные послѣдователи первобытной апостольской церкви не одобряли войнъ и смятеній, все терпѣли за горячее благочестіе и нравственность, Жижку и Сиротокъ называя полу-братьями, за то, что они проливали кровь“. Послѣдователи Хельчицкаго отличались и одеждой. Онъ продолжалъ и изъ Хельчицъ сношенія съ тогдашними религіозными дѣятелями; Петръ Пэнъ, изгнанный 1437 изъ Праги, пользовался нѣсколько времени его гостепріимствомъ. Очень толерантный въ дѣлѣ вѣры, Хельчицкій дружески бесѣдовалъ и полемизировалъ съ Рокицаной, съ Таборитами, Бискупцемъ и Корандой, самъ отправлялся въ Таборъ. Послѣ паденія Табора, 1452, вліяніе Хельчицкаго еще усилилось и, по примѣру его кружкà въ Хельчицахъ, стали образовываться другія общества и братства. Значительнѣйшимъ изъ нихъ было то, которое собралось около брата Григорія, племянника Рокицаны, и съ которымъ Хельчицкій вступилъ въ ближайшую связь. Рокицана далъ о Хельчицкомъ наилучшій отзывъ, и братъ Григорій самъ отправился въ Хельчицы, чтобы лично узнать своего руководителя. Когда въ 1457 братство Григорія основалось въ Конвальдѣ, къ нему присоединились и Хельчицкіе братья.

Самъ Хельчицкій, престарѣлый человѣкъ, тамъ уже не былъ. Онъ умеръ въ 1460 [1]).

Литературная дѣятельность Хельчицкаго началась повидимому поздно: ее относятъ къ 1433—43 годамъ,—въ 1443 г. онъ уже былъ позванъ на Кутногорскій сеймъ, чтобы дать отвѣтъ за свои сочиненія. Но, судя по количеству сочиненій, надобно думать, что къ этому періоду относятся только главнѣйшія изъ нихъ. Сочиненія Хельчицкаго были слѣдующія: *Сѣть вѣры* (Sít víry, написанная въ 1455—56, изд. 1521); *Трактатъ о вѣрѣ*, писанный въ 1437 (Traktát o víře a o nabożenstvi, рук. въ Парижѣ); сочиненіе *объ Антихристѣ* (O šelmě a o obrazu jějim), отъ изданія котораго не сохранилось ни одного экземпляра; „o rotách českých“ (не сохранилось); „Книга толкованій на недѣльныя чтенія“ или *Постилла* (написанная въ 1434—36, изд. 1522 1529 и 1532); сочиненія *О божіей милости*, *О свѣтской власти*, разные мелкіе трактаты, толкованія евангелій и т. п., изъ которыхъ особенно любопытна *Рѣчь объ основаніи человѣческихъ законовъ* (Řeč o základu zakonů lidských), „Psaní kn. Mikulášovi a Martinovi“ (Łupačovi), которое Коменскій назвалъ „золотымъ писаніемъ“ (напеч. въ „Часописѣ“ 1874). Одинъ изъ почитателей Хельчицкаго въ XVI вѣкѣ, въ предисловіи къ изданію „Сѣти вѣры“, такъ восхваляетъ высокое достоинство его сочиненій: „Кто будетъ читать эти книги, тотъ убѣдится, что Богъ не изволилъ забыть о предкахъ нашихъ, но что онъ одарилъ и наполнилъ ихъ духомъ... И потому этотъ превосходный мужъ, избранный сосудъ Господа, имѣетъ великіе дары, данные милостью божіей, выноситъ старыя и новыя вещи изъ сокровищницъ Бога, написавъ и сложивъ эти книги, полезнѣйшія каждому человѣку всѣхъ сословій“,—и замѣчаетъ, что сочиненія Хельчицкаго встрѣчаются рѣдко, потому что священники, которыхъ Хельчицкій осуждалъ за пребенды, охуждали и преслѣдовали его писанія предъ людьми, называя ихъ лживыми и еретическими, но что другіе люди всѣхъ сословій любили эти сочиненія и не отвращались отъ нихъ изъ-за того, что авторъ былъ мірянинъ и *не ученъ* былъ *латыни*.

Главнѣйшими сочиненіями Хельчицкаго были „Сѣть вѣры“ и „Постилла“. Сѣть вѣры есть ученіе Христово, которое должно извлекать человѣка изъ темной глубины житейскаго моря и его неправдъ. Человѣкъ не можетъ ничего утверждать, онъ долженъ только вѣрить: безъ вѣры онъ впадаетъ въ темную пропасть, гдѣ овладѣваетъ имъ ложь. Вѣра состоитъ въ томъ, чтобы вѣрить божьимъ словамъ; но теперь пришло такое время, что люди истинную вѣру принимаютъ за ересь,—и поэтому разумъ долженъ указать, въ чемъ состоитъ истин-

[1]) См. о немъ Палацкаго, Dějiny; Гиндели, Gesch. der böhm. Brüder, I, 13 и слѣд., 490; Шафарикъ, «Часописъ», 1874; Rukovět', I, 285—292.

ная вѣра, если кто этого не знаетъ. Тьма закрыла очи людей и они не узнаютъ истиннаго закона Христова. Для объясненія этого закона Хельчицкій указываетъ на первобытное устройство христіанскаго общества,—то устройство, которое, говоритъ онъ, считается теперь въ римской церкви гнуснымъ еретичествомъ. Хельчицкій съ злой ироніей смѣется надъ базельскими защитниками римской церкви, говоря о „глупой первобытной церкви“, которая служила безъ орнатъ, безъ костеловъ съ разрисованными стѣнами, безъ музыки и искуснаго пѣнія по нотамъ. Эта первобытная церковь и была его собственнымъ идеаломъ общественнаго устройства, основаннаго на равенствѣ, свободѣ и братствѣ. Христіанство, по мнѣнію Хельчицкаго, до сихъ поръ хранитъ въ себѣ эти основанія; нужно только, чтобы общество возвратилось къ его чистому ученію, и тогда оказался бы излишнимъ всякій иной порядокъ, которому нужны короли и папы: во всемъ достаточно одного закона любви. „Кислый уксусъ гражданскаго управленія нуженъ только для преступающихъ законъ этой любви. Поэтому отъ грѣховъ и явилась нужда въ королевскихъ порядкахъ и законахъ для отмщенія грѣховъ и непослушанія Богу; и чѣмъ больше человѣческій родъ удаляется отъ Бога и отъ его закона, тѣмъ больше нужно ему держаться этихъ (королевскихъ) правъ и опираться на нихъ. Я не говорю, чтобы человѣческій родъ твердо стоялъ на этихъ правахъ,—онъ только подпирается ими, чтобы совсѣмъ не упасть“. Никакихъ законовъ не было бы нужно, если бы сохранялся законъ любви и если бы христіанство одержало на землѣ побѣду надъ язычествомъ. Изъ этого язычества вышло все неустройство на землѣ и превозмогла свѣтская власть, которая приходитъ отъ грѣха.—Исторически, Хельчицкій относилъ упадокъ христіанства ко временамъ Константина Великаго, котораго папа Сильвестръ ввелъ въ христіанство со всѣми языческими правами и жизнью: Константинъ въ свою очередь надѣлилъ папу свѣтскимъ богатствомъ и властью. Съ тѣхъ поръ обѣ власти постоянно помогали другъ другу и стремились только къ внѣшней славѣ; доктора, „мистры“ и духовное сословіе стали заботиться только о томъ, чтобы покорить весь свѣтъ своему владычеству, вооружали людей другъ противъ друга на убійства и грабежи и совсѣмъ уничтожили истинное христіанство въ вѣрѣ и въ жизни. Хельчицкій совершенно отвергаетъ право войны и смертную казнь: всякій воинъ, даже и „рыцарь“, есть только насильникъ, злодѣй и убійца... Такимъ образомъ ученіе Хельчицкаго, основавшись на первобытномъ христіанствѣ, послѣдовательно отвергало цезарскую и папскую власть, привилегіи сословій, крѣпостное право: онъ называлъ королевскихъ правителей толпой бездѣльниковъ, которая не подходитъ подъ божій законъ, потому что весь христіанскій родъ долженъ быть уравненъ въ любви и правѣ;

возставалъ противъ казни преступниковъ, которыхъ нужно только исправлять братскимъ участіемъ; не признавалъ сословій и всякихъ правъ рожденія, смѣялся надъ гербами и считалъ, что въ нынѣшнемъ устройствѣ общества и господствуетъ сила Антихриста, который занялъ твердыни, города и монастыри своимъ духомъ, противнымъ духу Христа, его жизни и закону...

Другимъ важнымъ сочиненіемъ Хельчицкаго была „Постилла" (толкованіе недѣльныхъ евангелій), въ которой онъ собираетъ свидѣтельства писанія для тѣхъ идей, которыя потомъ систематически изложены были имъ въ „Сѣти вѣры". Толкованія писанія еще до времень Гуса стали занимать значительное мѣсто въ чешской литературѣ и служили средствомъ реформаціонной пропаганды. Характеръ толкованій измѣнялся съ характеромъ времени: у Милича и Штитнаго толкованіе направлено было на безнравственность и неповиновеніе церкви; Гусъ указывалъ уже на неправильное пониманіе закона и нападалъ на самую церковь, не столько проповѣдуя новую систему, сколько отрицая существовавшій церковный непорядокъ; Рокицана находитъ нужнымъ положить границы этому отрицанію и тѣмъ кладетъ начало реакціи. Хельчицкій опять становится на безусловную точку зрѣнія: онъ отвергаетъ мнѣнія своихъ предшественниковъ и ищетъ въ Писаніи не доказательствъ христіанской догматики, а старается указать въ Писаніи положительныя основы, по которымъ должно совершиться полное измѣненіе общественныхъ отношеній.

Какъ писатель, Хельчицкій мало заботился о гладкой обработкѣ своихъ произведеній; языкъ его иногда неправиленъ, растянутъ, но бо́льшей частію оригиналенъ, силенъ и выразителенъ, какъ самая его мысль, и иногда возвышается до истиннаго краснорѣчія.

Ученіе Хельчицкаго, въ которомъ идея чешской реформы достигла своего послѣдняго высшаго развитія и выраженія, встрѣтила, какъ было естественно ожидать, не только полное осужденіе отъ католиковъ, но и оппозицію отъ самихъ калишниковъ. Обличенія, свидѣтельствующія о томъ, какую важность и вліяніе имѣли его книги въ то время, идутъ съ XV вѣка до самаго конца XVI, когда вышло суровѣйшее изъ этихъ обличій Srovnání víry и пр. (изд. 1582), написанное іезуитомъ Вацлавомъ Штурмомъ. Строгость ученія Хельчицкаго сначала мало привлекла практическихъ послѣдователей, но число ихъ потомъ постоянно возрастало. Ближайшіе приверженцы его уже рано приняли имя „Братьевъ Хельчицкихъ". Идеи Хельчицкаго о чистомъ христіанствѣ давали исходъ старымъ таборитскимъ стремленіямъ и наконецъ выразились фактически. Въ 1457 году основалось по идеямъ Хельчицкаго братство Конвальдское: въ 1467 оно избрало себѣ священниковъ и трехъ епископовъ, которые для поддержанія апостоль-

ской традиціи получили посвященіе отъ вальденскаго епископа Стефана. Это было началомъ знаменитой Общины Чешскихъ Братьевъ (Jednota bratři českých, Jednota bratrská).

Братская община, представляющая такое оригинальное и въ извѣстномъ смыслѣ энергическое явленіе религіозной исторіи, обязана была своимъ происхожденіемъ и характеромъ чисто идеямъ Хельчицкаго, хотя, какъ увидимъ, не выражала ихъ, да и не могла выразить вполнѣ. Община была попыткой осуществить на практикѣ соціальное устройство по началамъ первобытнаго христіанства,—попыткой, исполненной людьми крѣпкаго убѣжденія и нравственной силы. Это былъ послѣдній выводъ, до котораго дошла чешская реформаціонная идея въ тѣхъ предѣлахъ, которые оставила ей возставшая на нее реакція или давала историческая возможность. Здѣсь не мѣсто разсказывать трудную судьбу Чешскихъ Братьевъ, тѣ преслѣдованія, общія и личныя, которымъ подвергались они съ самаго перваго времени и которыя лучшіе люди ихъ выносили съ мужествомъ, внушающимъ глубокое уваженіе и стоившимъ лучшей участи. Довольно сказать, что гоненія, иногда очень жестокія, не поколебали искренняго убѣжденія, и принципы Общины распространились въ огромной части чешскаго и моравскаго населенія. Основная масса „Братьевъ“ принадлежала тому же простому классу народа, который поставлялъ защитниковъ идей Гуса и воиновъ Табора. Такимъ образомъ Община была столько же самобытнымъ и національнымъ произведеніемъ чешской народной жизни и мысли, какъ были самобытны первые виновники этого движенія, какъ самъ Хельчицкій, который не былъ ученымъ „мистромъ“, и братъ Григорій, первый практическій выполнитель его взглядовъ [1].

„Братья“ занимаютъ важное мѣсто и въ чешской литературѣ. Съ самаго начала въ средѣ ихъ явилось множество писателей; нѣкоторые изъ нихъ принадлежатъ къ знаменитѣйшимъ именамъ чешской литературы. Должно, впрочемъ, сказать, что Братство не столько вело

---

[1]) Отъ этихъ знаменитыхъ Братьевъ ведутъ свое начало позднѣйшія общины, которыя основались на томъ же принципѣ и существуютъ до сихъ поръ, разсѣявшись отдѣльными колоніями въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, какъ любопытный отпрыскъ чешскаго движенія XV вѣка: это Моравскіе Братья, Евангелическая Братская Община, Brüder-Gemeinde или Zinzendorfianer, Геррнгутеры. См. названную нами выше книгу Гинделя: Gesch. der böhm. Brüder 1434—1609, Прага 1857—58; Dekrety Jednoty bratrské, его и Эмлера, Пр. 1865; его же Quellen zur Gesch. des böhm. Brüder. Wien, 1859; Fiedler, Todtenbuch der Geistlichkeit der böhmischen Brüder. Wien, 1863 (въ Fontes rerum Austriacarum); Jar. Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der böhm. Brüder. Prag, 1878. Ср. также статью Іос. Ал. Гельферта: O tak řečených blouznivcích náboženských v Cechách a na Moravě za císaře Josefa II, въ «Часописѣ», 1877, II, IV; 1879, II—III,—это судьба послѣднихъ остатковъ гуситства, доходящихъ до нашего времени. Кромѣ того, старыя сочиненія Кранца: Alte und neue Brüderhistorie (1772), продолженіе ея Гегнера (1791 — 1816), затѣмъ Шульце, Von der Entstehung und Einrichtung der evang. Brüdergemeinde (Gotha 1822), и подобныя сочиненія Шаафа (Лейпц., 1825) и Лохнера (Нюренб., 1832).

дальше идеи Хельчицкаго, изъ которыхъ выросло, сколько популярно ихъ повторяло и примѣняло—далеко, впрочемъ, не во всю ихъ силу. Въ самомъ началѣ Братство нашло, что для достиженія единства жизни и вѣры необходимо установить извѣстные принципы, которые бы стояли внѣ спора: религіозные споры дѣлили народъ на множество сектъ и, ослабляя его силы, не давали желаемаго нравственнаго и практическаго результата. Поэтому Братья рѣшили „оставить всѣ трактаты, довольствоваться закономъ божіимъ и ему искренно вѣрить“: рѣшать годность или негодность трактатовъ предоставлено было старшимъ; дѣятельность Общины направлена была на вопросъ практическій, личное нравственное усовершенствованіе. Идеи Хельчицкаго Братья поняли буквально, и надѣялись, что возстановленіе первобытной церкви возможно и совершится одними мирными нравственными средствами, однимъ введеніемъ благочестивыхъ нравовъ и слегка монастырскаго оттѣнка жизни: они не признавали войны, сословныхъ привилегій, не признавали судебной и другой присяги, свѣтскихъ властей и т. д., и ограничивали себя однимъ пассивнымъ противодѣйствіемъ господствующему порядку вещей, — а этотъ порядокъ, конечно, нисколько не думалъ отказываться отъ своей активной роли. Противорѣчіе, явившееся отсюда, ставило Братьевъ съ самаго начала въ самыя затруднительныя положенія, заставляло ихъ придумывать софизмы, однако не уничтожавшіе противорѣчія [1]). Общество, исполненное лучшихъ намѣреній, имѣвшее обширный успѣхъ благодаря силѣ своей идеи, въ практическомъ отношеніи къ жизни было въ прискорбномъ заблужденіи, свойственномъ благороднѣйшимъ идеалистамъ:—силой нравственнаго чувства оно не могло побѣдить господствовавшаго порядка и, наконецъ, заплатило за идеализмъ своимъ паденіемъ. Если чешскіе историки называютъ Хельчицкаго геніальнѣйшимъ мыслителемъ своего вѣка, то его продолжатели, замѣчательные по своимъ частнымъ усиліямъ, не повели или не въ состояніи были повести ученія дальше,— прежде всего по громадности самой задачи, по невыполнимости чистаго христіанскаго идеализма въ существующихъ условіяхъ.

Литературная дѣятельность Братьевъ состояла въ развитіи нравственныхъ, но не политическо-соціальныхъ, слѣдствій идей Хельчиц-

---

[1]) Вотъ образчикъ. По Хельчицкому, война была преступленіемъ; Братья допускали ее (потому что иначе они должны были бы съ оружіемъ въ рукахъ возстать противъ королевскихъ вербовщиковъ), но съ разными ограниченіями: братъ могъ идти на войну, если дѣло короля было справедливо, это было conditio sine qua non; но если можно, онъ долженъ былъ ставить наемщика, или проситься на службу въ замкѣ, въ должность сторожа, прислужника и т. п. «Но если бы ему все-таки нужно было идти, въ случаѣ отказа на это,—говорятъ правила Братьевъ, — то онъ долженъ стараться попасть въ прислугу къ обозу; если бы было нельзя и этого, то пусть онъ сражается во имя Бога, но пусть бережется искать суетной славы; пусть онъ берется за мечъ съ отвращеніемъ». Gindely, I, стр. 86.

каго, въ распространеніи и полемической защитѣ своего ученія. По спеціальному характеру этой литературы, не будемъ входить въ подробности; достаточно указать замѣчательнѣйшихъ дѣятелей Братства. Таковъ былъ прежде всего основатель и патріархъ его, братъ Григорій (Řehoř, ум. 1474, по прозванію Крайчій, т.-е. портной), сынъ сестры Рокицаны. Послѣ перваго ученья онъ поступилъ въ монастырь, но вскорѣ вышелъ оттуда, жилъ ремесломъ портного и, какъ Хельчицкій, искалъ благочестивыхъ бесѣдъ съ „вѣрными Чехами". Бесѣды кончились сближеніемъ съ Хельчицкимъ, сочиненія котораго одобрилъ ихъ кругу самъ Рокицана, и первымъ основаніемъ Братства. Но дѣло не установилось мирно. Рокицана не ждалъ, что Братство уже скоро пріобрѣтетъ горячихъ приверженцевъ и станетъ силой. Въ 1461, братъ Григорій былъ въ Прагѣ, и здѣсь собирались сходки религіозныхъ друзей, вслѣдствіе которыхъ Григорій подвергся жестокому преслѣдованію: онъ былъ схваченъ, пытанъ, просидѣлъ два года въ тюрьмѣ. Рокицана посѣтилъ его въ тюрьмѣ, и пожалѣлъ о его судьбѣ „крокодиловымъ сожалѣніемъ", по выраженію современнаго историка. Братство испытало потомъ и другія гоненія, и отдохнуло только со смертью Рокицаны и короля Юрія. Хотя человѣкъ не особенно ученый, братъ Григорій былъ „силенъ словомъ и перомъ"; онъ былъ горячимъ проповѣдникомъ идей Братства и оставилъ много сочиненій о христіанской морали, отчасти потерянныхъ [1]). Не менѣе замѣчателенъ былъ братъ Лукашъ (ум. 1528), пражскій баккалавръ, вступившій въ Общину въ 1480, первый ученый теологъ, прочно установившій ея ученіе и одинъ изъ плодовитѣйшихъ ея писателей: онъ оставилъ цѣлую массу трактатовъ, толкованій, писемъ и полемическихъ статей по разнымъ вопросамъ братскаго ученія, отчасти также утраченныхъ [2]). Братство установляло свое ученіе среди множества недоумѣній, сомнѣній, споровъ, преслѣдованій, и когда въ эту пору между Братьями явилась мысль, что гдѣ-нибудь на востокѣ должны быть христіане, живущіе въ первобытной чистотѣ нравовъ и ученія, для отысканія ихъ отправлено было нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ Лукашъ, на долю котораго выпало проѣхать земли, обитаемыя Греками и Болгарами. Въ 1491, путники отправились черезъ Краковъ и Львовъ до Сучавы, гдѣ отдѣлился отъ нихъ земанъ Марешъ Коковецъ, поѣхавшій на Русь. Въ Константинополѣ раздѣлились остальные: Кашпаръ и Марекъ направились въ края подбалканскіе, Кабатникъ въ Малую Азію, а Лукашъ на эгейское приморье. Черезъ годъ Лукашъ возвратился; но, къ сожалѣнію, объ его путешествіи не со-

---

[1]) Rukověť, II, 163—168.

[2]) Гиндели, въ «Часописѣ» Чешскаго Музея, 1861, приводитъ до 80 сочиненій брата Лукаша.

хранилось никакихъ извѣстій. Между тѣмъ, Лукашъ, уже братскій епископъ, пріобрѣталъ въ Общинѣ больше и больше вліянія; по словамъ Благослава, онъ былъ въ ней „какъ мечъ отточенный"; мѣстопребываніе его, Болеславь, становилось средоточіемъ Братства; онъ былъ всегда готовъ отвѣчать на каждое желаніе поученія, смягчилъ суровую дисциплину, введенную Григоріемъ, и удовлетворилъ потребностямъ религіознаго воображенія, украшеніемъ братскихъ храмовъ и богослуженія. Братство распространялось между шляхтой и горожанами. Лукаша называютъ истиннымъ его основателемъ и законодателемъ. По словамъ Благослава, это былъ мужъ сильный въ словѣ и дѣлѣ, вѣрный, трудолюбивый, ученый, не дающій себя превозмочь, какого никогда въ Общинѣ не было и—„о немъ лучше совсѣмъ не говорить, чѣмъ сказать слишкомъ мало".

Лаврентій Красоницкій (ум. 1532) былъ пражскій баккалавръ. Прокопъ, ученый баккалавръ (ум. 1507), замѣчательный въ исторіи братства тѣмъ, что подалъ поводъ къ первой реформѣ Братства—въ смыслѣ его сближенія съ дѣйствительной жизнью,—предложивъ отмѣнить излишнюю строгость нѣкоторыхъ братскихъ правилъ. Онъ думалъ, что для успѣховъ Братства, ему не слѣдуетъ чуждаться людей сильныхъ и богатыхъ и заставлять ихъ отказываться отъ власти и имѣній, которыя они могли бы употреблять съ пользой для братскаго дѣла; и думалъ также, что человѣку не нужно лишать себя житейскихъ радостей, которыя запрещались прежними аскетическими правилами братства. Предложенія Прокопа, изложенныя имъ и въ своихъ сочиненіяхъ, породили споръ, въ которомъ Лукашъ, Красоницкій и вообще большинство было на сторонѣ Прокопа; но другая партія не согласилась съ его мыслями и отдѣлилась въ особую общину, которая по имени своего предводителя, брата Амоса изъ-Штекна, названа была Амосовцами (Amosičti). Далѣе къ первой эпохѣ братской литературы относятся: Ѳома изъ Прелучъ (Tomás z Přelouč, ум. 1517), одинъ изъ ученѣйшихъ Братьевъ, и Янъ Таборскій (ум. 1495), оба сначала католическіе священники, потомъ перешедшіе къ Братьямъ. Изъ Амосовцевъ особенно извѣстенъ Янъ Каленецъ, замѣчательная личность, ремесломъ ножевщикъ изъ Праги, рѣзко полемизировавшій противъ Братства.

Противниковъ Общины было много между католиками и между калишниками, и полемика отъ серьёзныхъ догматическихъ споровъ доходила до того, что напр. нѣкто Витъ, священникъ, утверждалъ, будто Братья поклоняются крысѣ, какъ божеству, соединяются съ сестрами и т. п. Между писателями противъ Братства могутъ быть названы упомянутый Августинъ Оломуцкій, Коранда, Мартинъ и въ особенности Янъ Бехинка.

Мы упомянули сейчасъ объ экспедиціи для отысканія христіанской общины или народа, у которыхъ бы сохранилось первобытное христіанство. Экспедиція снаряжена была въ Италію, гдѣ хотѣли ближе ознакомиться съ родственной Братьямъ сектой Вальденсовъ; и на востокъ, гдѣ по преданію предполагалось первобытно-христіанское царство попа Іоанна. Изъ этихъ послѣднихъ странствій осталось описаніе только одного; это—было „Путешествіе изъ Чехіи въ Іерусалимъ и Египетъ“, 1491 — 92 [1]), брата Мартина Кабатника (ум. 1503). Это предпріятіе характеризуетъ положеніе Братьевъ относительно ихъ основного принципа: они надѣялись найти своей системѣ историческую почву и отыскать преемственность, которая бы видимо связала ихъ съ древней христіанской общиной. Но попытка не удалась и на этотъ разъ: на востокѣ не нашлось настоящаго первобытнаго христіанства.

Въ началѣ XVI столѣтія, собственно говоря, заканчивается тотъ періодъ энергической національной дѣятельности, который начатъ былъ впервые предшественниками Гуса въ концѣ XIV вѣка. Чешская реформа высказалась: она представила много благородныхъ усилій, много примѣровъ сильной мысли и дѣла, она открыла дорогу освобожденія... Конецъ былъ несчастливъ, но это не уменьшаетъ великости чешскаго дѣла: реформа возстала на принципы, владѣвшіе цѣлой Европой, возстала на нихъ въ предѣлахъ небольшой народности; не мудрено, что она подавлена была еще сильной реакціей. За ней остается заслуга начинанія и заслуга мужества.

Прежде, чѣмъ перейти къ послѣдующимъ временамъ, не лишнее остановиться еще на разсмотрѣнной эпохѣ. Она вообще составляетъ знаменательнѣйшій періодъ во всей чешской исторіи—періодъ самаго полнаго выраженія національности, проявленія народныхъ силъ, физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ. Ею уже для XV вѣка заслонена безповоротно вся предыдущая старина; новѣйшее возрожденіе, волею или неволею, состоитъ только въ томъ, чтобы возвратиться къ подобной нравственно-національной самобытности, и на нашъ взглядъ именно въ этомъ стремленіи, строже сознанномъ, можетъ надѣяться на успѣхъ своей борьбы.

Въ чемъ же заключается смыслъ гуситства? Это одинъ изъ тѣхъ капитальныхъ вопросовъ, рѣшеніемъ которыхъ опредѣляется характеръ цѣлыхъ вѣковъ національной исторіи и даже дается поученіе для настоящаго. Подобные вопросы обыкновенно не легко поддаются историческому рѣшенію. До недавняго времени западно-европейскіе исто-

---

[1]) M. Kabátnika Cesta z Čech do Jeruzalema a Egypta, первое изданіе, кажется 1542, далѣе 1577, 1637, 1691 и часто потомъ.

рики изображали Гуса только какъ предшественника реформаціи, помѣщая его между Виклефомъ и Лютеромъ, протестанты—съ сочувствіями, католики—злобно. Иные изъ чешскихъ историковъ новѣйшихъ, избѣгая его славы протестантской, говорили, что онъ только въ нѣкоторыхъ второстепенныхъ вопросахъ расходился съ католицизмомъ, но вообще цѣнятъ въ немъ еще національное направленіе. Наконецъ, русскіе писатели славянофильской школы (Елагинъ, Е. Новиковъ, Гильфердингъ) выставили совсѣмъ новый взглядъ,—что Гусъ вовсе не имѣлъ въ виду протестантской реформы, но что ученіе его находится въ связи съ тѣмъ первобытнымъ славянскимъ православіемъ, которое было нѣкогда и у Чеховъ первой христіанской церковью и преданія котораго, послѣ побѣды латинства, продолжали храниться въ народныхъ массахъ,—такъ что проповѣдь Гуса являлась какъ отголосокъ этого преданія, протестовавшій противъ испорченнаго и несвойственнаго славянской природѣ католицизма, и какъ вообще стремленіе возвратиться отъ началъ романо-германскихъ къ славянскимъ. Глава чешской исторіографіи, Палацкій, оспаривалъ этотъ взглядъ, какъ вообще не принимаютъ его тѣ, которые признаютъ непосредственную связь гуситства съ реформаціей. Новѣйшій историкъ гуситства, Э. Дени, выбираетъ средній путь, повидимому самый вѣрный. Не отвергая родства гуситства съ протестантизмомъ, онъ не отвергаетъ также и существованія у Чеховъ преданій греко-славянской церкви Кирилла и Меѳодія, и разногласіе мнѣній о Гусѣ объясняетъ тѣмъ, что въ разныхъ сочиненіяхъ Гуса находятся весьма несходные оттѣнки мнѣній въ разные моменты его развитія и настроенія, такъ что изъ нихъ могутъ быть выводимы и разныя заключенія объ его взглядахъ.

Основныя мысли Гуса заключались—отрицательно, въ осужденіи порчи и злоупотребленій римской церкви, положительно—въ томъ, что идеаломъ церкви было для него первобытное христіанство, и что для познанія этой церковной истины есть два источника: св. писаніе, и для настоящаго его разумѣнія — человѣческій разумъ. Такимъ образомъ, отъ его ученія можно было придти и къ протестантству (отрицаніе римской церкви и свобода личнаго толкованія) и къ исканію сближенія съ восточной церковью—какъ это послѣднее дѣлали и умѣренные гуситы въ 1451, и Братская Община въ 1491. Вліяніе темныхъ греко-славянскихъ преданій въ гуситствѣ отвергать трудно, но у Гуса оно было скорѣе несознаваемымъ и неопредѣленнымъ; самъ онъ былъ внѣ вліянія восточной церкви, но онъ старался познакомиться съ ея ученіемъ, и его другъ и товарищъ его мученичества, Іеронимъ, „дружилъ съ православными“ въ западной Руси, куда отправлялся вѣроятно не безъ вѣдома Гуса. Далѣе, въ средѣ его собственныхъ послѣдователей выдѣлились различныя направленія: умѣ-

ренные „калишники“ и болѣе рѣшительные Табориты одинаково считали себя его прямыми послѣдователями, — и кто изъ нихъ правѣе могъ это думать, историки еще окончательно не рѣшили [1]).

Такимъ образомъ Гусъ и движеніе, имъ вызванное, примыкаютъ, повидимому, одинаково и къ передовому Западу и къ консервативному Востоку: съ первымъ онъ исторически связанъ былъ европейскимъ складомъ чешской жизни и образованности въ „нѣдрахъ“ католицизма; со вторымъ—инстинктивнымъ преданіемъ славянской особности. Къ религіозной дѣятельности Гуса не даромъ примыкаетъ его дѣятельность въ интересѣ чешской національности (какъ бы она ни была у него второстепенна). Исторія все еще исполнена загадокъ, ей трудно еще объяснить многое въ связи событій; но должна быть глубокая причина, почему именно у Чеховъ національно-религіозная оппозиція католицизму пріобрѣла въ XV вѣкѣ такіе могущественные размѣры, что ея не могла одолѣть тогда еще цѣликомъ католическая Европа—ни книгами, ни кострами, ни крестовыми походами.

Гуситское движеніе разрослось до размѣровъ, еще не виданныхъ Европою, развѣ со временъ Альбигойцевъ. Небольшая страна, окруженная религіозными и племенными врагами, предоставленная самой себѣ, не поддержанная единоплеменниками, долго выдерживала борьбу, не уступая. Этотъ фактъ указываетъ на присутствіе особой внутренней силы,—которая и была выражена всего характернѣе личностью самого Гуса. „Отличительная черта личности Гуса, — говоритъ Гильфердингъ,—была безусловная правдивость въ исполненіи христіанскаго закона, чуждая какихъ бы то ни было постороннихъ соображеній“. Этой правдивой ревности къ чистому христіанству въ самомъ дѣлѣ нельзя не признать въ послѣдовавшемъ религіозномъ движеніи, особенно у тѣхъ, которые не поддались внѣшнимъ (можетъ быть, политически и нужнымъ) соображеніямъ—у Таборитовъ, у Чешскихъ Братьевъ. Но вопросъ, гдѣ искать источниковъ этой серьёзной религіозности, проникавшей цѣлыя народныя массы,—остается еще теменъ. Одно „славянство“ Чеховъ (т.-е. предполагаемый общій славянскій племенной характеръ), однѣ преданія о нѣкогда жившей у нихъ (слишкомъ, однако, недолго) славянской церкви, едва ли объясняетъ это явленіе—подобнаго движенія не было у другихъ Славянъ; и, кажется, значительную долю вліянія надобно дать при этомъ именно нѣмецко-латинской образованности славянскихъ Чеховъ. „Мистры“ и „баккалавры“ не даромъ стояли во главѣ религіозныхъ движеній гуситства, между прочимъ и

---

[1]) Палацкій въ послѣдней обработкѣ исторіи гуситства какъ будто дѣлаетъ уступку взглядамъ русскихъ изслѣдователей. Но новое поколѣніе чешскихъ ученыхъ упорно отвергаетъ связь дѣятельности Гуса съ православными преданіями. Ср. отзывъ Яр. Голля о книгѣ Эрнеста Дени, въ «Часописѣ», 1878, стр. 589—592.

наиболѣе рѣшительныхъ,—между Таборитами и Чешскими Братьями. Пражскій университетъ разсѣялъ большой запасъ образованности. Исторія гуситства представила много заблужденій, въ которыя неизбѣжно впадаютъ возбужденныя массы, желая вдругъ отыскать истину и водворить справедливость,—но также и много глубокой искренности, твердости и самопожертвованія, и эта сторона гуситства въ особенности составляетъ его нравственно-историческое величіе.

Чешскіе патріоты, при первыхъ шагахъ Возрожденія, обратились къ воспоминаніямъ объ эпохѣ Гуса, какъ славномъ періодѣ своей исторіи, и впослѣдствіи она вызвала не мало серьёзныхъ изученій; но отношеніе Возрожденія къ историческому значенію гуситства еще не совсѣмъ выяснилось; реакція, давившая чешскую жизнь съ начала XVII вѣка, еще не совсѣмъ кончилась; умы еще связаны прямо или косвенно; историческое сознаніе неполно,—но, быть можетъ, путемъ бо́льшаго изученія и опыта придетъ и болѣе энергическое пониманіе національныхъ задачъ въ будущемъ.

Чешскіе историки называютъ обыкновенно XVI столѣтіе, 1526—1620, и особенно послѣднія десятилѣтія передъ паденіемъ Чехіи *золотымъ вѣкомъ* своей литературы. Но это названіе можетъ быть оправдано не столько содержаніемъ, сколько внѣшнимъ объемомъ литературы этого періода и выработкой языка. Въ самомъ дѣлѣ, XVI вѣкъ представляетъ массу писателей и книгъ, но не самобытное развитіе литературы, такъ что назвать этотъ періодъ золотымъ вѣкомъ чешской литературы можно только съ большими ограниченіями. Существенный успѣхъ XVI столѣтія заключается въ расширеніи литературнаго образованія, но литература больше и больше теряетъ собственную инициативу и оригинальность и дѣйствуетъ опять подъ чужими вліяніями. Такими вліяніями были классическое Возрожденіе и Реформація. Гиндели, историкъ Чешскихъ Братьевъ, съ католической точки зрѣнія ставитъ въ особенную похвалу чешскимъ католикамъ, что они были ревностнѣйшими приверженцами классицизма,—но выше упомянуто, что классицизмъ, самъ по себѣ, еще не составлялъ успѣха національной литературы. Классическая ученость, понятая съ католической точки зрѣнія, переставала быть развивающимъ знаніемъ: Лобковицъ, и другой писатель этого рода, бывалъ безплоденъ для чешскаго дѣла, когда умножалъ толпу безцвѣтныхъ послѣдователей искусственнаго классицизма. Бывало часто, что въ общественномъ отношеніи эти люди желали только возвращенія стараго порядка и уничтоженія всего, что́ было пріобрѣтено въ гуситскій періодъ. Патріотическіе писатели, какъ Вшегордъ, возставали противъ этой

мертвой латыни, забывавшей о народномъ просвѣщеніи. Съ другой стороны дѣйствовала Реформація, уже скоро проникшая въ Чехію: представители чешской реформы и „Братья“ бывали въ прямыхъ личныхъ сношеніяхъ съ начинателями реформы германской—Эразмомъ Роттердамскимъ, Лютеромъ, Меланхтономъ, Цвингли и пр., и ученія послѣднихъ не только нашли пріемъ въ Чехіи, но когда реформація стала политически признанной церковью, она смѣнила въ большой степени прежнее національно-религіозное движеніе Чеховъ. Во второй половинѣ XVI вѣка, когда гоненія со стороны католицизма еще усилились, калишники и Братья стали прямо лютеранами и реформатами. Старый гуситизмъ оканчивался; „вѣрныхъ Чеховъ“ еще одушевляли гуситскія воспоминанья и отличали ихъ ревностью религіознаго чувства; но веденіе самаго дѣла принадлежало уже не имъ. Съ этихъ поръ въ чешской литературѣ рѣдки явленія сильныя и самобытныя.

Любопытнѣйшей стороной золотого вѣка остаются эти воспоминанія и отголоски стараго народнаго гуситства и новыя попытки, которымъ уже не суждено было вырости въ крупное историческое и національное явленіе.

Чешская поэзія уже въ гуситскія времена представляла мало замѣчательнаго. Тѣмъ же безплодіемъ она отличается въ концѣ XV столѣтія и въ теченіи всего золотого вѣка. Она отчасти состояла изъ латинскихъ стихотвореній разнаго сорта (выше исчислены главнѣйшіе латинскіе стихотворцы), отчасти изъ переводныхъ рыцарскихъ и духовныхъ романовъ, отчасти изъ подражаній нѣмецкимъ мейстерзенгерамъ, наполненныхъ моралью и аллегоріей; наконецъ изъ духовныхъ пѣсенъ. Извѣстнѣйшій поэтъ этого времени есть Гинекъ Подѣбрадъ, третій сынъ короля Юрія (1452—1492), человѣкъ талантливый, но политически безхарактерный, которому принадлежитъ длинное стихотвореніе „Майскій Сонъ“ (Májový Sen), рядъ другихъ, сантиментально-аллегорическихъ пьесъ и т. д. [1]).

Поэзія духовная особенно развилась въ этотъ періодъ религіозной экзальтаціи, и всего больше и лучшія пѣсни принадлежали чешскимъ Братьямъ. Наиболѣе извѣстными именами здѣсь были упомянутые выше—братъ Лукашъ, Янъ Таборскій, Янъ Августа, Янъ Благославъ, Мартинъ Михалецъ изъ Литомержицъ (1484—1547), Адамъ Штурмъ (1530—1565). Янъ Августа (1500—1572), епископъ Общины и одна изъ замѣчательнѣйшихъ ея личностей, много писалъ по ея религіознымъ вопросамъ, былъ пламенный проповѣдникъ и духовный поэтъ; его пѣсни, больше поучительныя, чѣмъ лирическія, написаны частію

[1]) См. Ганки, Starob. Skládanie; о подправкахъ Ганки въ «Майскомъ Снѣ» см. Гануша, Die gefälschten Ged.; Небескаго, въ «Часописѣ» 1848; также «Часописъ» 1872; Rukovět', II, 127—129.

въ заключеніи, гдѣ онъ провелъ цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ [1]). Юрій Стрицъ (Br. Streyc или Streyček, Vetterus. Jiřík, ум. 1599) извѣстенъ какъ переводчикъ псалтыри въ братской Библіи. Изъ не-братьевъ, извѣстенъ духовными пѣснями Мартинъ За́мрскій (или Филадельфъ, 1550—1592), евангелическій священникъ, приверженецъ Лютерова протестантства, и пр. Кромѣ риомованныхъ пѣсенъ, являются въ подражаніе классическимъ образцамъ стихотворенія метрическія: таковы изложенія псалмовъ Матуша Бенешовскаго (Philonomus, род. около 1550, ум. послѣ 1590) [2]) и Лаврентія Бенедикти изъ Нудожеръ (род. около 1555, ум. 1615). Словакъ родомъ, Лаврентій былъ баккалавръ пражскаго университета, ректоръ школы, потомъ мистръ и профессоръ, читавшій о математикѣ и классической литературѣ, авторъ хорошей чешской грамматики (Прага 1603) и метрической просодіи.

Изъ свѣтскихъ поэтовъ, на границѣ XVI—XVII вѣка, можно отмѣтить двоихъ. Микулашъ Дачицкій изъ Геслова (1555—1626), чешскій шляхтичъ, оставилъ, во-первыхъ историческія записки, гдѣ пользовался старыми лѣтописями, родовыми памятями, а за г. 1575—1626 разсказываетъ собственныя воспоминанія, и, во-вторыхъ, стихотворную книгу: „Prostopravda“, 1620—собраніе пѣсенъ, поученій, сатирическихъ обличеній, доставляющихъ иногда любопытныя бытовыя черты времени, но по формѣ неважныхъ и иногда грубоватыхъ [3]). Но извѣстнѣйшимъ и самымъ плодовитымъ поэтомъ этой поры былъ Симонъ Ломницкій изъ Будча (род. 1552, ум. послѣ 1622; его родовое имя было Жебракъ, что́ на греческій ладъ онъ переложилъ въ Ptochaeus, какъ иногда писался). Высшее образованіе Ломницкій получилъ въ іезуитской школѣ; съ молодости онъ умѣлъ находить себѣ покровителей, изъ которыхъ главнымъ былъ важный панъ Вилемъ изъ Рожмберка (Розенберга): милости его онъ пріобрѣлъ посвященіемъ „Пѣсенъ на недѣльныя евангелія“ (Прага, 1580). Какъ веселый собесѣдникъ, услужливый стихотворецъ, онъ имѣлъ много друзей въ чешской шляхтѣ и пользовался милостями императора Рудольфа. Въ 1618, наканунѣ бурныхъ событій, онъ поселился въ Прагѣ и замѣшался въ политическія дѣла, служа возставшимъ утраквистскимъ „ставамъ“ (сословіямъ), восхваляя въ стихахъ Фридриха Пфальцскаго, осуждая „предателей“ (Славату, Мартиница и пр.), но едва событія повернулись послѣ Бѣлогорской битвы, онъ „обратилъ плащъ по новому

---

[1]) Его біографію, какъ дальше увидимъ, писалъ его современникъ и противникъ, Благославъ, и др. «Rukověť», I, 24—36.

[2]) Ему принадлежатъ также чешская грамматика, изданная въ Прагѣ 1577. и «Knížka slov českých vyložených, odkud svůj počatek mají, totiž, jaký jejich jest rozum. Пр. 1587.

[3]) Извлеченія изъ историческихъ писаній Дачицкаго въ «Часописѣ» 1827 — 29. Scriptores rerum bohem. II, 448—489. Отдѣльное изданіе его «Памятей» въ Прагѣ, 1879; отрывки изъ «Простоправды» въ «Часописѣ» 1854.

вѣтру“. восхваляя тѣхъ, кого наканунѣ называлъ предателями, и обвиняя вчерашнихъ друзей, которыхъ теперь предавали казнямъ. Изъ этого можно видѣть его политическій и нравственный характеръ, а затѣмъ и поэтическій. Его многочисленныя сочиненія—не поэзія, а стихотворство. Онъ писалъ вещи очень разнообразныя: духовныя пѣсни, поучительныя и сатирическія стихотворенія, стихи на разные случаи. Главными произведеніями его считаются: „Krátké naučeni mladému hospodáři“, дидактическое стихотвореніе съ чертами тогдашнихъ нравовъ; „Kupidova střela“, „Pycha života“, „Tobolka zlatá proti hřichu lakomstvi“, „Hádaní neb rozepře mezi knězem a zemanem“ и проч.

Духовная поэзія упомянутыхъ выше писателей „братскихъ“ собираема была въ особыхъ сборникахъ, которые составлялись въ Общинѣ для назиданія братьевъ и употребленія при богослуженіи. Объ этомъ должны были заботиться „справцы“ и „старшіе“; они выбирали лучшія пѣсни и составляли изъ нихъ такъ называемые *канціоналы*. Мелодія для пѣсенъ бралась изъ старыхъ народныхъ мотивовъ или вновь составлялась Братьями. Каждая отдѣльная община имѣла свой канціоналъ. Другія церковныя общества также заводили себѣ подобные сборники, чешскіе и латинскіе. Канціоналы были предметомъ роскоши въ братской церкви и имѣютъ свою немалую историческую цѣну: кромѣ поэтическаго содержанія, передающаго церковное и нравственное ученіе Братства, они любопытны въ музыкальномъ отношеніи своими мотивами и въ художественномъ — разрисовкой заглавныхъ буквъ. Первый братскій канціоналъ: Pisně chval božich“ напечатанъ въ 1505, вѣроятно въ Младой-Болеслави, гдѣ уже въ 1500 была братская типографія. Лучшіе канціоналы изданы были во второй половинѣ XVI столѣтія. Община разросталась, требовались большіе канціоналы, и новое изданіе поручено было Ад. Штурму, Яну Черному и Яну Благославу; но такъ какъ послѣ 1547 община была гонима въ Чехіи, то изданіе пришлось дѣлать за границей. Справцы обратились въ Польшу, и тамъ въ имѣніи расположеннаго къ братьямъ графа зъ-Гурки, Шамотулахъ (Samtern, на сѣверъ отъ Познани), изданъ былъ въ 1561 знаменитый въ свое время Канціоналъ Шамотульскій. При Максимиліанѣ II, когда Братья опять получили больше свободы въ Чехіи, они издали еще болѣе обширный Канціоналъ 1576 въ Иванчицахъ, гдѣ съ 1562 основана была ими типографія, перенесенная въ 1578 въ Кралицы, имѣнье знаменитаго пана Карла изъ-Жеротина. Канціоналъ Иванчицкій считается едва ли не лучшей чешской книгой по типографскому и граверному достоинству изданія.

Выше упомянуто о началѣ чешскаго театра. Въ XVI—XVII столѣтіи онъ продолжалъ развиваться въ томъ же направленіи, церков-

ной мистеріи, пьесъ изъ священной исторіи и пьесъ изъ простонароднаго быта. Этотъ театръ былъ спеціальностью школьниковъ и студентовъ, къ которымъ присоединялись и бывшіе студенты, занимавшіеся учительствомъ. Пьесы исполнялись обыкновенно въ университетѣ при началѣ учебнаго года. Университетскія власти ввели драматическія представленія, чтобы замѣнить или смягчить грубыя потѣхи при новомъ пріемѣ учениковъ, examen patientiae: давались латинскія, но также и чешскія пьесы, изъ священной исторіи, отчасти изъ классической литературы или чешской исторіи. Другимъ случаемъ бывалъ мясопустъ (масляница), когда студенты отправлялись въ провинціальные города, получая за свои представленія подарки отъ зрителей. Еще больше въ ходу былъ театръ въ іезуитской коллегіи (со второй половины XVI в.), гдѣ онъ привлекалъ множество зрителей. Пьесы исполнялись также въ частныхъ домахъ пановъ при торжественныхъ случаяхъ и т. п. Въ раду писателей драматическихъ могутъ быть названы: упомянутый прежде Микулашъ Коначъ; Микулашъ Врана; Янъ Аквила (Ozel z Plavče); Янъ Кампанъ Воднянскій (драма: „Бржетиславъ и Итка“); Павелъ Кирмезеръ изъ Штявницъ; Иржикъ Тесакъ Мошовскій (родомъ Словакъ, утраквистскій священникъ, оригинальный писатель о церковныхъ предметахъ и эпиграмматистъ, ум. 1717), Симонъ Ломницкій и др. Были пьесы, написанныя сообща студенческими компаніями. Что театръ былъ очень популяренъ, можно судить изъ сохранившихся извѣстій объ успѣхѣ его въ публикѣ, и изъ печатныхъ изданій пьесъ, составляющихъ, впрочемъ, теперь великую рѣдкость [1]).

Въ такъ-называемомъ золотомъ вѣкѣ замѣтно усиливается литературное и научное образованіе: по разнымъ отраслямъ научнаго знанія являются болѣе или менѣе важные и самостоятельные труды; въ Чехіи живали первостепенные ученые своего вѣка, какъ Кеплеръ, Тихо-де-Браге; являются собственные ученые—гуманисты, грамматики, математики, астрономы или астрологи, ботаники и проч. Ботаникъ, медикъ и богословъ Залужанскій (Mathiades Hradištenus Adam, ум. 1613),—по отзыву пражскихъ университетскихъ записокъ „такой философъ, которому его вѣкъ и народъ не имѣли равнаго“, — какъ говорятъ, на два столѣтія предварившій теорію Линнея. Является много переводовъ изъ другихъ языковъ.

Историческое знаніе также имѣло многихъ представителей, хотя литературное значеніе ихъ невысоко. Бартошъ Писарь (или Bartoloměj od sv. Jiljí, ум. 1535), пражскій мѣщанинъ, по характеру вѣка предавшійся религіознымъ вопросамъ, подробно описалъ споръ,

[1]) Нѣсколько этихъ пьесъ напечатано въ книжкѣ I. Иречка: Staročeské divadelní hry. I. Прага, 1878 (Památky staré liter. české, издав. чешской Матицей, III).

который шелъ между калишниками и возникшей тогда партіей лютеранской, причемъ онъ держится послѣдней. Въ его разсказѣ иногда живописно отражаются лица и событія его времени [1]). Сикстъ изъ Оттерсдорфа (ум. 1583), учившійся въ Прагѣ и въ иноземныхъ школахъ, принадлежавшій къ партіи протестантскихъ „становъ" противъ партіи королевской, кромѣ другихъ трудовъ, оставилъ „Acta aneb knihy památné čili historie oněch dvau nepokojnych let 1546 a 1547". Изложеніе книги неровное; нѣкоторыя части обработаны, другія представляютъ сырой матеріалъ,—но въ ней есть очень живыя изображенія времени. Какъ онъ владѣлъ литературнымъ языкомъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ отзывъ Благослава, который называлъ Сикста изъ всѣхъ тогдашнихъ пражскихъ докторовъ и мистровъ „лучшимъ Чехомъ", т. е. лучшимъ знатокомъ языка [2]). Одно изъ извѣстнѣйшихъ именъ тогдашней литературы есть Вацлавъ Гаекъ изъ Либочанъ (ум. 1553). Судя по прозванію, онъ былъ шляхтичъ; воспитанный въ утраквизмѣ, онъ перешелъ потомъ въ католичество, почему называли его apostata, и занималъ разныя духовныя должности. Повидимому, Гаекъ извѣстенъ былъ какъ человѣкъ со свѣдѣніями; по крайней мѣрѣ нѣсколько чешскихъ пановъ-католиковъ вызвали его на составленіе хроники, которая дала Гайку историческую извѣстность. Хроника его отъ древнѣйшихъ временъ чешской исторіи доведена до 1527 г. Для составленія ея предоставлены были ему обильные оффиціальные документы, выписки изъ „земскихъ досокъ" и т. п. Книга окончена была въ 1539, и издана 1541. Встрѣченная съ похвалами, хроника Гайка долго пользовалась великимъ авторитетомъ у чешскихъ читателей и позднѣйшихъ историковъ, и особенно въ періодъ упадка была одной изъ любимыхъ книгъ, сохранившихся отъ старины, тѣмъ больше, что по своей католической точкѣ зрѣнія не вызывала возраженій, а по простотѣ языка годилась для популярнаго чтенія [3]). Но еще нѣкоторые изъ современниковъ стали замѣчать, что въ сочиненіи Гайка есть доля баснословія; новѣйшіе критики, начиная съ Добнера, убѣдились въ этомъ окончательно, и Палацкій не находилъ словъ для обличенія „неслыханнаго безстыдства" выдумокъ, которыя внесены Гайкомъ въ чешскую исторію изъ собственной фан-

---

[1]) Kronika pražská o pozdvižení jedněch proti druhým (1524 — 1530) издана Эрбеномъ, Прага 1851. Латинскій переводъ хроники Бартоша: Bartolomaeus von St. Aegidius Chronik von Prag in der Reformzeit, Chronica de seditione et tumultu pragensi 1524, изданъ Гёфлеромъ. Пр. 1859.

[2]) О немъ въ «Часописѣ» 1861. Отрывки изъ его исторіи въ «Выборѣ», II.

[3]) Второе изданіе ея сдѣлалъ Ферд. Шёнфельдъ, Прага 1819. Нѣмецкій переводъ Занделя, Прага 1596, Нюрнбергъ 1697, Лейпцигъ 1718. Латинскій переводъ, сдѣланный въ первой половинѣ XVIII вѣка піаристомъ Викториномъ a St. Cruce, изданъ былъ Добнеромъ, 1762—82, въ шести частяхъ.

тазіи и изъ книгъ, никогда не существовавшихъ [1]). Назовемъ еще хрониста Мартина Кутена (M. Kuthen ze Sprimsberka, ум. 1564): пражскій баккалавръ, онъ въ качествѣ наставника въ панскихъ семействахъ путешествовалъ съ своими воспитанниками въ Италіи, Франціи и Германіи, былъ хорошій латинистъ, писалъ много латинскихъ стиховъ, панегириковъ и эпиграммъ, и наконецъ „Хронику", съ калишницкой точки зрѣнія [2]). Богуславъ Билейовскій (род. около 1480, ум. 1555) написалъ, съ точки зрѣнія умѣренныхъ калишниковъ, чешскую церковную исторію (издана въ Нюрнбергѣ, 1537, и Прагѣ, 1816).

Въ исторіографіи дѣятельно заявила себя и Братская Община. Она уже рано начала собирать важнѣйшіе документы, исходившіе отъ нея и отъ другихъ церковныхъ партій; она хотѣла съ одной стороны сохранить память о своемъ собственномъ началѣ и исторіи, а съ другой имѣть подъ руками нужные матеріалы для своей защиты. Такимъ образомъ, составился довольно богатый архивъ, которымъ завѣдовалъ особо назначаемый изъ братьевъ „писарь", отличавшійся свѣдѣніями и дарованіемъ. Отсюда развилась братская историческая школа, имѣвшая своихъ замѣчательныхъ представителей.

Знаменитнѣйшимъ изъ нихъ былъ Янъ Благославъ (1523—1571; имя свое онъ передѣлалъ изъ родового Blažek). Получивши дома заботливое воспитаніе, онъ продолжалъ занятія въ высшихъ школахъ, между прочимъ годъ пробылъ въ университетѣ Виттенбергскомъ. Рано онъ вошелъ въ братское общество, которое послало его въ Базель, гдѣ онъ ласково былъ принятъ тамошними учеными. особливо Зигмундомъ Грубымъ. Вернувшись домой, Благославъ былъ учителемъ въ братской школѣ, а въ 1552 назначенъ былъ въ помощники къ брату Черному, завѣдывавшему архивомъ Общины, а вскорѣ затѣмъ сталъ священникомъ. Занимаясь въ архивѣ, Благославъ изучилъ лучше чѣмъ кто-нибудь прошедшую судьбу общины, и написалъ исторію Братьевъ до 1554 года.

Трудъ, которымъ онъ съ любовью занимался, прерванъ былъ тѣмъ, что старшины поручили ему серьезныя хлопоты о дѣлахъ Братства, сначала при дворѣ въ Вѣнѣ, а потомъ въ Магдебургѣ, гдѣ онъ велъ переговоры съ Флаціемъ Иллирикомъ (собственно: Влачичъ), противникомъ Меланхтона, имѣвшимъ тогда сильный голосъ въ дѣлахъ протестантства. Благославъ защищалъ въ спорѣ съ нимъ основанія братскаго ученія, и потомъ написалъ по-латыни свою защиту [3]).

---

[1]) Ср. Würdigung, стр. 273—292; Dějiny, I, ч. 1, стр. 31.

[2]) Kronika o založení země české a prvních obyvatelích, tudíž knížatech a králích и пр. Прага 1539; 2-е изд. сдѣлано Велеславиномъ, 1585; 3-е Крамеріусомъ, 1817. Выше упомянуто, что ему приписывалась еще «Хроника о Жижкѣ»; но Яр. Голль относитъ ее еще къ XV вѣку.

[3]) Summula quaedam brevissime collecta ex variis scriptis Fratrum, qui falso Waldenses seu Picardi vocantur, de eorum Fratrum origine et actis.

Въ 1557, на общемъ собраніи братскихъ старшинъ изъ Чехіи, Моравіи, Польши и Пруссіи, Благославъ былъ избранъ въ высшій совѣтъ и въ епископы. Поселившись затѣмъ въ Иванчицахъ, вмѣстѣ съ братьями Чернымъ и Ад. Штурмомъ онъ работалъ надъ редакціей Братскаго Канціонала, который, какъ выше упомянуто, изданъ былъ 1561 въ Шамотулахъ: Благославу принадлежитъ бо̀льшая часть труда, и въ Канціоналѣ до 50 пѣсенъ составлены имъ. Онъ готовилъ изданіе братскаго исповѣданія на хорватскомъ языкѣ, перевелъ вновь съ подлинника Новый Завѣтъ (изд. 1565). Такъ какъ Община терпѣла гоненія, то въ Иванчицахъ устроена была 1562 тайная типографія (ея изданія отмѣчались: ex horto или ex insula hortensi). Въ 1564 произошло два важныхъ событія: воцареніе Максиміліана, съ которымъ для Общины наступили болѣе спокойныя времена, и освобожденіе Яна Августы. Съ послѣднимъ Благославу пришлось много бороться, такъ какъ Августа стремился къ соединенію Братства съ лютеранами, и Благославъ всѣми силами защищалъ чистоту братскаго общества. Всего больше раздражило его то, что Августа, желая привлечь на свою сторону простѣйшихъ членовъ Общины, сталъ возставать противъ ученья и наукъ, ссылаясь на слова брата Лукаша. Благославъ выступилъ съ горячимъ опроверженіемъ ненавистниковъ просвѣщенія— оно считается однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній чешскаго краснорѣчія (напеч. въ „Часописѣ“, 1861). Онъ очень заботился объ усовершенствованіи чешскаго языка, которымъ прекрасно владѣлъ, и послѣднимъ его трудомъ была замѣчательная чешская грамматика.

Наконецъ, по мысли Благослава сдѣланъ былъ новый переводъ Библіи съ еврейскаго и греческаго: это — знаменитѣйшій трудъ всей братской литературы, такъ называемая *Кралицкая Библія*, изданная на счетъ моравскаго пана Яна изъ-Жеротина, большого приверженца Братской Общины, въ Кралицахъ, 1579—1593, въ шести частяхъ (отчего она называется šestidílná; 2-е изданіе 1596; 3-е, f°, 1613). Этотъ переводъ считается до сихъ поръ высшимъ образцомъ чешскаго языка. Благославъ не дожилъ до этого изданія; но въ Кралицкую Библію вошелъ упомянутый его переводъ Новаго Завѣта.

Это былъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ представителей Общины, и новѣйшіе историки признаютъ, что въ Чехіи и на Моравѣ не было въ то время человѣка, который бы равнялся съ нимъ ученостью. Не по примѣру другихъ „братьевъ“ онъ заботился, чтобы братское юношество получало высшее образованіе, и посылалъ даровитыхъ юношей въ Виттенбергъ и Тюбингенъ. Замѣчательно, что при своей учености и ревности къ дѣлу Общины и стоя во главѣ ея, Благославъ избѣгалъ теологическихъ споровъ: по словамъ его, „какъ могъ онъ писать, такъ ему не хотѣлось, а какъ хотѣлось, не могъ“.

О Благославѣ и его сочиненіяхъ, также извлеченія изъ его сочиненій см. въ «Часописѣ», 1856, 1861, 1862, 1873, 1875, 1877; въ журналѣ «Osvěta», 1873; въ трудахъ Гиндели; «Rukovět», I, 74—84.

Въ Братскомъ Архивѣ (хранящемся въ Геррнгутѣ), первые фоліанты, кромѣ самаго начала, составляютъ трудъ Благослава. Исторія Братской Общины состоитъ изъ двухъ частей, обнимающихъ годы 1457 — 1541 и 1546 — 1551. «Život Jana Augusty» изданъ Фр. Шумавскимъ, Прага, 1838: стр. 1—56 принадлежатъ Благославу; остальное писалъ, вѣроятно, братъ Якубъ Билекъ, приверженецъ Августы и товарищъ его бѣдствій. Во время составленія Канціонала, Благославъ изложилъ свои мысли о пѣніи: Musica, to jest, knižka zpevákům naležité správy v sobě zavirajicí. Olom. 1558; 2-е изд. умноженное, въ Иванчицахъ, 1569. Чешскую грамматику Благослава издали I. Градиль и I. Иречекъ, Вѣна, 1857.—Въ переводѣ Кралицкой Библіи, кромѣ Благослава, принимали участіе братья: Андрей Штефанъ, Исай Цибулька, Микулашъ Альбрехтъ изъ Каменка, Юрій Стрицъ, Янъ Капита (Главачъ), Павелъ Есенъ, Янъ Еффреймъ, Лукашъ Гелицъ, и въ дальнѣйшем пересмотрѣ Самуилъ Сушицкій и Адамъ Фелинъ. Въ высокомъ достоинствѣ перевода соглашались и Велеславинъ и іезуитъ Штейръ. Обширная статья Iос. Шмаги: Кралицкая Библія, ея вліяніе и значеніе въ чешской литературѣ, въ «Часописѣ» 1878; о вліяніи ея на позднѣйшіе переводы чешскихъ Библій, тамъ же 1879.

Къ братской исторической школѣ принадлежитъ далѣе братъ Яффетъ (ум. 1614), который кромѣ другихъ сочиненій оставилъ „Исторію о началѣ Братской Общины и ея отдѣленіи отъ существующей церкви“, писанную въ ея защиту [1]). Изъ той же школы вышелъ Вацлавъ Бржезанъ (ум. около 1619), которому приписывается чешская хроника до 1160 г., направленная противъ Гайка, и принадлежатъ историческія работы по исторіи дома Розенберговъ и Штернберговъ. Впрочемъ, его работы, цѣнныя по фактическимъ и хронологическимъ даннымъ, не имѣютъ литературнаго значенія [2]).

Въ связи съ Братской Общиной стоитъ имя знаменитаго Карла изъ-Жеротина (1564 — 1636), богатаго и знатнаго моравскаго пана, который игралъ важную историческую роль въ послѣднихъ судьбахъ чешско-моравской свободы, хотя результатъ его дѣятельности далеко не отвѣтилъ его патріотическимъ желаніямъ. Онъ былъ сынъ упомянутаго Яна изъ-Жеротина, который въ своихъ Кралицахъ далъ пріютъ братской типографіи и переводчикамъ Кралицкой Библіи: мать его была также ревностной „сестрой“. Получивъ первое воспитаніе въ этой средѣ, Карлъ высшее образованіе получилъ въ Страсбургѣ, Ба-

---

[1]) Иречекъ, «Rukovět», I, 302—303. Отрывокъ изъ этой Исторіи въ «Свѣтозорѣ» 1871.—Когда въ 1621, монастырь, гдѣ былъ похороненъ Яффетъ, возвращенъ былъ миноритамъ, начальникъ монастыря велѣлъ выкопать кости Яффета и другихъ братьевъ, и сжечь ихъ.

[2]) О немъ Фр. Марешъ, въ «Часописѣ» 1878. Бржезаново жизнеописаніе Вилема Розенберга издано въ Прагѣ, 1847.

зелѣ, Женевѣ, гдѣ между прочимъ сблизился съ знаменитымъ Теодоромъ Безой. Затѣмъ онъ путешествовалъ еще въ Германіи, Голландіи, Англіи, долго жилъ во Франціи, гдѣ пріобрѣлъ первую военную опытность и дружескія связи. Онъ возлагалъ надежды на борьбу Генриха IV противъ католической партіи, и однажды покинулъ только-что начатую семейную жизнь, чтобы принять во Франціи участіе въ этой борьбѣ. Но идеальныя надежды не исполнились; дома постигали его тяжелыя семейныя потери, и онъ уединился въ одномъ изъ своихъ помѣстій. Смутное состояніе Моравіи вызвало его, наконецъ, къ дѣятельности—когда его упрекнули, что онъ „дурно дѣлаетъ, что заглушаетъ въ себѣ дары божьи". На этотъ упрекъ онъ отвѣчалъ „Апологіей". Политическая дѣятельность Карла изъ-Жеротина доставила ему высокій нравственный авторитетъ; но, защищая интересы моравской родины и свободу религіозную для своихъ не-католическихъ соотечественниковъ, онъ поставленъ былъ передъ слишкомъ трудной задачей; его благоразумные совѣты не устранили страшнаго столкновенія, послѣдствія котораго отразились и на немъ изгнаніемъ. Въ 1629 онъ поселился въ Силезіи, и до конца жизни продолжалъ покровительствовать Братской Общинѣ... Кромѣ упомянутой „Апологіи", онъ составилъ важныя въ историческомъ отношеніи „Записи о панскомъ судѣ", описаніе нѣсколькихъ моравскихъ сеймовъ, и наконецъ оставилъ обширную переписку отъ 1591—1636 годовъ [1]), чрезвычайно важную для исторіи того времени и замѣчательную также по достоинствамъ литературнаго изложенія и языка.

Конецъ золотого вѣка носитъ у чешскихъ историковъ названіе *вѣка Велеславина*, по имени писателя, который стоялъ во главѣ литературы послѣднихъ десятилѣтій XVI вѣка. Даніилъ-Адамъ изъ-Велеславина (или просто Велеславинъ, Велеславина, 1545—1599) можетъ служить характернымъ представителемъ этой литературной эпохи. Съ 1569 сдѣлавшись „мистромъ свободныхъ искусствъ", онъ преподавалъ исторію въ пражскомъ университетѣ; но съ 1576, женившись на дочери извѣстнаго пражскаго типографщика Юрія Мелантриха, онъ занялся исключительно литературой и издательствомъ. По смерти Мелантриха и его сына, Велеславинъ остался единственнымъ владѣтелемъ типографіи. Онъ не отличался особенными дарованіями, оригинальностью идей; но былъ человѣкъ просвѣщенный и высоко цѣнившій литературную образованность, распространеніе которой и поставилъ себѣ цѣлью. Онъ издавалъ учебники, писалъ о предметахъ прав-

[1]) «Записи» изданы В. Брандлемъ, въ Бернѣ, 1866, 2 части; имъ же изданы описанія сеймовъ и «Письма», тамъ же, 1870—72. Отрывокъ изъ дневника Жеротина въ «Mähr. Geschichtsquellen», Б. Дудика, Brünn, 1850, 358—368. О Жеротинѣ см. Peter R. v. Chlumecky, Carl von Zierotin und seine Zeit. Brünn, 1862; статьи Фр. Дворскаго, Památky, 1873, и Ант. Рыбички, въ «Часописѣ», 1873.

ственно-религіозныхъ, по географіи, особенно по исторіи, много переводилъ (напр. „Historia Bohemica“ Энея Сильвія,—то былъ третій переводъ этой книги послѣ Яна Гоуски и Мик. Конача; „Хроника Московская“, Гозія и пр.), исправлялъ и издавалъ книги и переводы другихъ писателей (хроника Кутена; Еврейская исторія, Флавія; Турецкая хроника, Леунклавія), писалъ предисловія къ книгамъ, которыя у него печатались. Главнѣйшій трудъ его есть „Историческій Календарь“, изданный въ Прагѣ 1578 и 1590. Современники называли Велеславина „архитипографомъ“ и слава его книжной дѣятельности перешла въ потомство [1]). Онъ удалялся отъ полемическихъ споровъ и втайнѣ принадлежалъ къ Братской Общинѣ. Для опредѣленія его литературныхъ мнѣній важны особенно его упомянутыя предисловія. По смерти Велеславина, больше тридцати поэтовъ написали стихотворенія въ его память.

Время характеризуется тѣмъ, что Велеславинъ, не представившій ни самобытнаго направленія, ни новаго содержанія, сталъ знаменитѣйшимъ писателемъ своего времени. Онъ далъ свое имя цѣлой эпохѣ, потому, что былъ отличный стилистъ. Языкъ и стиль Велеславина и его лучшихъ современниковъ считается донынѣ образцовымъ, и современные пуристы еще ставятъ его въ примѣръ чистой, подлинной „чештины“ [2]).

Изъ историческихъ писателей этой поры должны быть еще упомянуты: Прокопъ Лупачъ изъ Главачова (ум. 1587), пражскій профессоръ, составившій, во-первыхъ, латинскій историческій календарь: Rerum bohemicarum ephemeris seu calendarium historicum, Пр. 1584, и во-вторыхъ, чешскую „Исторію о цезарѣ Карлѣ IV“ (Прага, 1584 и новое изданіе 1848), которая была повидимому отрывкомъ изъ обширнаго историческаго труда, оставшагося неконченнымъ; Марекъ Быджовскій изъ Флорентина (1540—1612), пражскій мистръ и профессоръ математики и астрономіи, въ качествѣ декана поощрявшій студентскій театръ, въ литературѣ дѣйствовалъ отчасти какъ латинскій стихотворецъ, а главное какъ историкъ, описывавшій событія временъ Максимиліана II (чешское „Жизнеописаніе“, Прага, 1589) и Рудольфа II. Полякъ Бартоломей Папроцкій изъ Глоголъ (1540—1614) принадлежащій равно польской и чешской литературѣ, въ обѣихъ извѣстенъ главнымъ образомъ своими генеалогическими и историческими книгами, исторіей панскихъ и рыцарскихъ фамилій, городовъ

---

[1]) По отзыву извѣстнаго іезуита Бальбина: «Quidquid doctum et eruditum Rudolpho II imperante in Bohemia lucem adspexit, Weleslawinum vel autorem vel interpretem vel adjutorem vel ad extremum typographum habuit».

[2]) Ср. книжку Косины: Hovory Olympské, I. V Brně, s. a. (1879).

и т. д. [1]). Юрій Завѣта изъ-Завѣтицъ, пражскій баккалавръ, въ спорахъ между Рудольфомъ и Матвѣемъ принялъ сторону послѣдняго, пользовался его особенной благосклонностью и былъ его придворнымъ исторіографомъ; кромѣ нѣсколькихъ оффиціальныхъ сочиненій этого послѣдняго рода, онъ написалъ „Придворную школу" (Schola aulica, Прага, 1607), которая въ свое время очень цѣнилась.

Расширеніе образованности выражалось значительнымъ числомъ книгъ географическихъ и путешествій. Въ XV-мъ вѣкѣ было уже сдѣлано и описано нѣсколько замѣчательныхъ путешествій (Кабатника— изъ Чехіи до Іерусалима и Египта; Льва изъ Рожмиталя—въ западную Европу; Яна изъ Лобковицъ—въ Іерусалимъ). На переходѣ къ XVI-му столѣтію слѣдуетъ назвать: Вацлава-Вратислава изъ-Митровицъ (1576—1635), который 15-лѣтнимъ мальчикомъ отправился при посольствѣ Рудольфа II въ Константинополь, гдѣ потомъ, вслѣдствіе разрыва Австріи съ Турціей, былъ вмѣстѣ съ посольствомъ схваченъ и провелъ три года въ страшной турецкой тюрьмѣ. Вернувшись наконецъ домой, онъ описалъ свои приключенія въ любопытной книгѣ [2]). Криштофъ Гарантъ (z Polžic a Bezdružic, 1564—1621, казненный въ Прагѣ), чешскій дворянинъ, человѣкъ просвѣщенный, описалъ свое путешествіе въ Венецію и Св. Землю [3]). Фридрихъ изъ-Донина (ум. до 1617), много путешествовалъ въ Венгріи, Германіи, Италіи и оставилъ описаніе своихъ странствованій [4]).

Наконецъ, образовательная литература размножалась и въ другихъ областяхъ; рядомъ съ церковной полемикой и исторіей, развивалось знаніе литературы классической, изучалось право, начиналось естествовѣдѣніе,—и въ самостоятельныхъ опытахъ, и въ большомъ количествѣ переводовъ. Съ расширеніемъ объема литературы выработывался и книжный языкъ: чешскіе писатели еще съ конца XIV вѣка умѣли овладѣть народнымъ стилемъ; Гусъ и писатели гуситства, желая дѣйствовать на народъ, продолжали эту заботу о народномъ характерѣ книжной рѣчи, какъ впослѣдствіи писатели Братской Общины. Вліяніе гуманизма съ другой стороны давало понятіе объ отдѣлкѣ стиля...

Это внѣшнее обиліе литературы и выработка языка дали второй половинѣ XVI вѣка и кануну паденія Чехіи славу „золотого

[1]) «Zrcadlo markrabství moravského», Olom. 1593; «Diadochus, to jest, sukcessí, jinak posloupnost knížat a králův českých, Пр. 1602 и пр. О Папроцкомъ см. «Часописъ» 1866. Въ составленіи своихъ чешскихъ книгъ онъ пользовался сначала содѣйствіемъ Чеховъ, но потомъ самъ овладѣлъ языкомъ.

[2]) Příhody V. Vratislava etc. изданы были въ 1777 Пельцелемъ, потомъ 1807 Крамеріусомъ, 1855 Розумомъ. Нѣмецкій переводъ, Лейпц. 1786; англійскій, А. Р. Вратислава, Лонд. 1862; русскій, К. Побѣдоносцева: «Приключенія чешскаго дворянина Вратислава въ Константинополѣ и въ тяжкой неволѣ у Турокъ». Спб. 1877.

[3]) Cesta z království českého do Benátek a odtud do Sv. Země. Пр. 1608, съ рисунками, дѣланными самимъ Гарантомъ. Новое изданіе Эрбена, 1854.

[4]) См. «Часописъ» 1843, и журналъ «Lumír» 1858.

вѣка";—но если обратиться къ самому содержанію этой литературы, то названіе окажется мало умѣстнымъ. Литература не отвѣчала тѣмъ задачамъ, какія ставило время, какъ не отвѣчало имъ самое общество. Глубокія идеи, затронутыя въ прежнее время, или были оставлены, или не развивались далѣе; напротивъ, реакція брала все больше верхъ, католицизмъ одерживалъ побѣду, со второй половины XVI вѣка въ Чехіи являются іезуиты, которые съ ревностью принялись за обличеніе ересей—тогда какъ о Братской Общинѣ одинъ изъ достойнѣйшихъ ея представителей говорилъ: ecclesiam nostram *ore* destitui, и какъ ни были благородны усилія Общины достигнуть чистаго христіанства, аскетизмъ ея ученія, ея пассивность не могли, да и не хотѣли политически поднять и вооружить народныя массы. „Чистому христіанству" приходилось имѣть дѣло съ самымъ откровеннымъ насиліемъ. Борьба еще продолжалась, но силы были разъединены, народъ оставался холоденъ къ высшимъ сословіямъ, которыя забывали о немъ; при всемъ внѣшнемъ увеличеніи литературы, чувствовалось утомленіе націи. Въ такомъ видѣ застала Чехію катастрофа 1620 года.

3. Періодъ паденія.

Уже съ первыхъ годовъ XVII столѣтія стало обнаруживаться это утомленіе, которое и сдѣлало возможнымъ страшный переворотъ, постигшій Чехію послѣ Бѣлогорской битвы. Эта битва нанесла послѣдій ударъ и національной самобытности и литературѣ. Семнадцатый вѣкъ представляетъ только послѣдніе ростки того, что̀ зародилось ранѣе; литература жила еще только въ одномъ поколѣніи, воспитавшемся въ прежнее время; лучшіе, знаменитѣйшіе дѣятели ея были изгнанники.

Выше говорено о послѣдствіяхъ Бѣлогорской битвы. Побѣжденные протестанты, утраквисты и Братья, большинство націи, должны были или сдѣлаться католиками, или оставить родину: множество чешскихъ семействъ разошлось по сосѣднимъ землямъ, гдѣ должно было утонуть въ чужихъ народахъ, — съ ними и послѣдніе лучшіе представители гуситства: Амосъ Коменскій, Карлъ изъ-Жеротина, Павелъ Скала изъ-Згоржи [1]). Насталъ длинный періодъ упадка литературы, невѣжества и угнетенія народа (1620—1780): католическіе клерикалы, часто иноземцы, требовали отъ народа только исполненія обрядовъ и затѣмъ оставляли его на произволъ судьбы; книги стараго времени

---

[1]) По-русски объ этомъ времени см. Гильфердинга, въ «Исторіи Чехіи»; П. Лавровскаго, «Паденіе Чехіи въ XVII вѣкѣ. Спб. 1868 (изъ «Журн. Мин. Нар. Просв.»). Подробному описанію этого времени посвященъ еще неконченный трудъ чешскаго историка Гиндели.

истреблялись массами, какъ зараженныя ересью, — для народа положительно исчезали всѣ пріобрѣтенія прежняго развитія. Ученые изгнанники продолжали свою дѣятельность, совершали иногда замѣчательные труды, но эти труды совершались на чужбинѣ и оставались почти безплодны для своего народа. Самая страна была крайне разорена Тридцати-лѣтней войной: населеніе чрезвычайно уменьшилось отъ эмиграціи и истребленія, новый притокъ нѣмецкихъ колонистовъ еще усилилъ упадокъ чешской народности.

По этимъ условіямъ можно представить себѣ положеніе чешской литературы въ этомъ періодѣ. Страну покидали лучшіе люди, наиболѣе образованные и богатые, которые въ особенности могли бы служить родинѣ; въ ней оставалась безпомощная масса, въ тайнѣ сберегавшая немногія прежнія преданья, но страшно обезсиленная и угнетенная; тѣ, у кого хранились какъ святыня старыя книги, должны были скрывать ихъ — иначе имъ грозило истребленіе; оффиціально господствовала католическая ученость, во главѣ которой стояли іезуиты. Поэтому нечего искать въ этомъ періодѣ какого-нибудь продолженія прежней жизни; съ 1620 года литература представляетъ картину постепеннаго замиранія національности. Прежняя литература продолжается еще нѣсколько времени въ средѣ эмиграціи, или иногда сказывается у единоплеменныхъ Словаковъ, къ которымъ чешскіе эмигранты принесли свои религіозныя и литературныя стремленія.

Остановимся прежде всего на литературной дѣятельности эмиграціи, такъ называемыхъ „экзулантовъ“. Корень ея лежитъ, конечно, въ предыдущемъ развитіи, котораго она была послѣдній плодъ: по достоинствамъ ея лучшихъ произведеній можно судить, сколько силъ могла бы все еще показать чешская литература, еслибъ не была прервана ужасной политической судьбой народа.

Замѣчательнѣйшей личностью всего чешскаго XVII вѣка и до первыхъ начатковъ возрожденіи въ концѣ XVIII столѣтія былъ Янъ-Амосъ Коменскій (въ западной Европѣ Comenius, 1592—1670). Онъ одинъ напоминаетъ прежнія времена своей обширной дѣятельностью и характеромъ. Еще въ дѣтствѣ, Коменскій остался сиротой и ему было уже 16 лѣтъ, когда онъ началъ свое правильное образованіе. Онъ учился въ Герборнѣ и Гейдельбергѣ, откуда вынесъ первыя возбужденія къ послѣдующимъ особенностямъ своей дѣятельности — нравственно-религіозной мистикѣ и занятіямъ дидактикой: его самостоятельной мыслью было тогда рѣшеніе работать для усовершенствованія своего родного языка. Изъ Гейдельберга онъ сдѣлалъ поѣздку въ Амстердамъ, откуда пѣшкомъ вернулся въ Прагу и далѣе въ Моравію. Здѣсь онъ сталъ учителемъ въ братской школѣ, въ 1616 принялъ священство, назначенъ былъ „справцей“ братской общины въ Фуль-

некѣ; въ 1621, въ шведское нашествіе, Фульнекъ былъ разрушенъ, Коменскій потерялъ все свое имѣніе и искалъ убѣжища на земляхъ Жеротина, и жилъ въ той хижинѣ, которую по преданію построилъ братъ Григорій, основатель Братства. Между тѣмъ преслѣдованія, направленныя противъ не-католическихъ священниковъ, заставили Братьевъ подумать — куда идти, и они рѣшили искать убѣжища въ Польшѣ или въ Венгріи. Въ 1628, Коменскій, бывшій тогда членомъ высшаго братскаго совѣта, переселился вмѣстѣ съ цѣлой общиной въ Лешно, въ Познани. Братья надѣялись, что изгнаніе будетъ непродолжительно; но событія чѣмъ дальше, тѣмъ больше разрушали эту надежду и уже вскорѣ Братья стали думать о томъ, чтобы установиться прочнѣе на чужбинѣ. Коменскому отдано было въ полное распоряженіе школьное дѣло...

Коменскій рано началъ свои ученые и литературные труды. Еще съ 1612 года онъ работалъ надъ „Сокровищницей чешскаго языка", писалъ сочиненія историческія и церковно-поучительныя, въ 1621—24 сдѣлалъ метрическій переводъ псалмовъ (взамѣнъ потеряннаго перевода Лаврентія изъ Нудожеръ), въ 1623 былъ написанъ знаменитый „Лабиринтъ Свѣта", въ 1625 „Centrum securitatis". Въ первые годы изгнанія онъ ревностно работалъ надъ вопросами воспитанія и обученія. „Дидактика" Бодэна, встрѣченная имъ въ библіотекѣ одного чешскаго пана, дала ему мысль составить подобный трудъ на чешскомъ языкѣ, и въ 1626—32 имъ составлена была „Дидактика", затѣмъ „Informatorium školy mateřské" [1], наконецъ знаменитая „Janua linguarum" [2], изданная сначала по-латыни, потомъ по-чешски, которая доставила Коменскому европейскую извѣстность и друзей между учеными и преданными дѣлу просвѣщенія людьми. Эти „Отворенныя золотыя Врата языковъ" дѣлали переворотъ въ преподаваніи латыни и давали ему новую простую методу.

Между тѣмъ положеніе Братьевъ въ изгнаніи становилось все болѣе и болѣе тягостнымъ. Шла тридцати-лѣтняя война; бѣдствовавшіе Братья искали помощи въ протестантскомъ мірѣ, въ Швейцаріи, Голландіи, Англіи—и находили ее. Коменскій былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ Общины; кромѣ своихъ ученыхъ и учебныхъ работъ, онъ дѣйствовалъ какъ братскій администраторъ, какъ полемистъ, проповѣдникъ, какъ ревнитель соединенія евангелическихъ церквей. Въ тоже время, онъ работалъ надъ новымъ трудомъ, который опять

---

[1]) «Дидактика» была отыскана вновь Пуркиней въ Лешнѣ въ 1841, и издана чешской «Матицей» въ 1849; другое изданіе, болѣе исправное, сдѣлалъ д-ръ І. Беранекъ, 1871. «Informatorium» въ новыхъ изданіяхъ 1858 и 1873.

[2]) Janua linguarum reserrata aurea, издана по-латыни въ 1631; по-чешски: Zlatá brána jazykův otevřená, въ Лешнѣ, 1633, и много разъ послѣ; новое изданіе сдѣлалъ Тамъ, Пр. 1805.

возбудилъ вниманіе ученаго міра. Онъ задумалъ „Pansophiam christianam“; его друзья въ Англіи издали, въ Оксфордѣ 1637, „Conatuum Comenianorum praeludia“ (при „Porta Sapientiae“, Гартлиба). Трудъ Коменскаго возбудилъ большой интересъ въ Англіи, гдѣ видѣли въ немъ человѣка, способнаго выполнить планы, оставленные тогда Бэкономъ. „Prodromus pansophiae“ Коменскаго изданъ былъ 1639 и 1642 въ Лондонѣ, 1644 въ Лейпцигѣ. „Долгій парламентъ“ вызывалъ Коменскаго въ Лондонъ. Коменскій дѣйствительно отправился, 1641, въ Англію, но политическія волненія не дали исполниться философско-дидактическимъ планамъ, для которыхъ его вызывали. Живя въ Англіи, Коменскій продолжалъ свой трудъ, и въ 1641 вышло въ Лондонѣ, въ англійскомъ переводѣ Колльера, его сочиненіе, латинскій подлинникъ котораго, Pansophiae diatyposis, изданъ былъ въ Данцигѣ 1643. Въ 1642, Коменскій, котораго между прочимъ звали и во Францію, отправился въ Швецію, гдѣ ему неожиданно нашелся покровитель, богатый голландскій купецъ, фанъ-Гееръ. Въ Швеціи онъ вступилъ въ сношенія съ тамошними учеными и съ канцлеромъ Акселемъ Оксенштирной, — отъ котораго и политически много зависѣла судьба чешскихъ экзулантовъ. Шведскій канцлеръ больше важности придавалъ „Дидактикѣ“ Коменскаго, чѣмъ „Пансофіи“, и Коменскій, поселившись въ Эльбингѣ, работалъ надъ дидактическими предметами, не забывая однако и своей философіи. Между тѣмъ, въ 1648 онъ избранъ былъ въ епископы Братства и долженъ былъ переселиться въ Лешно. Въ томъ же году Вестфальскій миръ кончилъ тридцати-лѣтнюю войну, но въ трактатѣ не было ни слова сказано въ пользу Братства! Коменскій съ горечью писалъ объ этомъ Оксенштирнѣ. Опечаленный и семейными потерями, онъ находилъ отвлеченіе въ изданіи дидактическихъ (латинскихъ) сочиненій, заготовленныхъ въ Эльбингѣ: они вышли въ 1648—51 годахъ. Ему все яснѣе становилось, что Братство приходитъ къ своимъ послѣднимъ временамъ: выраженіемъ этого предчувствія было „завѣщаніе умирающей матери Общины“: Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, 1650. Его приглашали потомъ въ Венгрію, гдѣ онъ однако не нашелъ удобныхъ условій для работы. Въ 1655 Шведы осадили Лешно, но городъ уцѣлѣлъ, благодаря Коменскому; въ слѣдующемъ году Поляки отмстили за это городу его сожженіемъ, причемъ Коменскій потерялъ все свое состояніе, а главное—свои рукописи, плодъ многолѣтнихъ трудовъ. Въ Лешенскомъ пожарѣ погибли: сборникъ его проповѣдей, говоренныхъ въ теченіе сорока лѣтъ; труды пансофическіе, изъ которыхъ онъ особенно жалѣлъ о „Silva pansophiae“; „Poklad jazyka českého“, надъ которымъ онъ работалъ съ 1612 года. Братья выселились опять; Коменскій, вызванный Геерами, поселился въ Амстердамѣ, гдѣ нашелъ нѣсколько спокойныхъ го-

довъ среди друзей, цѣнившихъ его заслуги и желавшихъ помочь ему въ довершеніи его трудовъ. Коменскій отблагодарилъ ихъ латинскимъ изданіемъ своихъ дидактическихъ сочиненій: Opera didactica omnia, 1657, 4 т. За судьбой Братьевъ онъ продолжалъ слѣдить, собирая и разсылая пособія чешскимъ и польскимъ экзулантамъ; по его стараніямъ выбраны были два епископа для польскихъ и чешскихъ братьевъ. Послѣднимъ трудомъ его было „Unum necessarium" т.-е. Единое на потребу, 1668, по-латыни и по-чешски. Въ 1670 онъ умеръ въ Амстердамѣ и похороненъ въ церкви французской протестантской общины въ Наарденѣ. Въ слѣдующемъ году умеръ и зять его, Яблонскій, послѣдній епископъ чешской вѣтви Братства [1]).

Лешенскій пожаръ истребилъ много трудовъ Коменскаго, но и то, что̀ сохранилось изъ прежняго и послѣдующаго, представляетъ огромную массу разнообразныхъ произведеній,—историческихъ, религіозно-поучительныхъ, философскихъ, особенно дидактическихъ, и наконецъ поэтическихъ.

Изъ историческихъ сочиненій, посвященныхъ судьбамъ чешской евангелической церкви, особенно извѣстна Historia o těžkych protivenstvích církve české, вышедшая сначала по-латыни (Hist. persecutionum и пр. Лейденъ 1648; чешское изд. 1655), въ которой участвовалъ и Коменскій. Сочиненій религіозно-поучительныхъ Коменскій составилъ множество; сборникъ проповѣдей его погибъ въ Лешенскомъ пожарѣ; но сохранилось много другихъ сочиненій этого рода, написан-

---

[1]) О Коменскомъ существуетъ значительная литература, чешская и иностранная:

— Фр. Палацкій, біографія Ком., въ «Часописѣ» 1829, и въ Monatschrift der Gesellschaft des vaterl. Mus. 1829. (Radhost 1871, 245—282).

— К. Шторхъ, о пансофическихъ трудахъ Ком., въ «Часописѣ» 1851, 1861.

— А. Гиндели, о судьбѣ Ком. на чужбинѣ, въ Sitz.-berichte вѣнской академіи 1855.

— Květ, о метафизикѣ и естественной философіи Ком., въ «Часописѣ» 1859, 1860.

— В. Григоровичъ, Амосъ Коменскій. Одесса, 1870.

— Миропольскій, Коменскій и его значеніе въ педагогіи. «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1870, три статьи.

— Fr. J. Zoubek, Život Jana Amosa Kom. Прага, 1871 (къ 200-лѣтней памяти его смерти; лучшая біографія, и полный списокъ сочиненій), также въ «Часописѣ» 1871, 1872, 1876, 1877 и «Освѣтѣ», 1879, № 3 (Komenského «Diogenes»).

— Comenius Grosse Unterrichslehre. Aus dem Latein. von Julius Beeger und Franz Zoubek. 3-te Auflage. Leipz. (1874).

— Fr. Lepař, Tři školní hry Komenského, въ «Освѣтѣ», 1879, № 2, 3, 5.

— J. Jireček, Literatura exulantův českých, въ «Часописѣ» 1874; Rukovět', I, 369—381.

— Я. А. Коменскій. Великая Дидактика. Изданіе редакціи журнала «Семья и Школа». Спб. 1875—77, съ краткимъ введеніемъ.

— Въ исторіяхъ педагогіи; по-русски напр. въ переводѣ «Исторія педагогіи» Карла Шмидта, т. III.

— Кромѣ упомянутыхъ чешскихъ изданій Коменскаго приведемъ еще: Škola pansofická, Прага 1875; Nèkteré drobnější spisy, Пр. 1876. Оба изданія сдѣлалъ Зоубекъ.

ныхъ для поученія и возбужденія разсѣянныхъ выселенцевъ, напр. „Nedobytedlny hrád jméno Hospodinovo etc. (т. е. Неприступная крѣпость—имя Господне, въ которой спасается всякій въ нее убѣгающій, 1622), „Praxis pietatis“ (Лешно, 1630 и др.), „Centrum securitatis, Hlubina bezpečnosti etc.“ (Глубина безопасности, или ясное разсужденіе о томъ, какъ въ одномъ единомъ Богѣ заключается всякая безопасность, спокойствіе и благословеніе, Лешно 1633 и др.), „Vyhost světu“ (Амстердамъ, 1663), Umění kazatelské, и др. Заглавія этихъ сочиненій уже намекаютъ на характеръ ученія Коменскаго, гдѣ строгая религіозность—господствующая черта въ нравственномъ ученіи Братьевъ—усиливалась тяжелыми испытаніями изгнанія.

Особенно важными произведеніями Коменскаго, имѣвшими цѣну не для однихъ его современниковъ и соотечественниковъ, были его философско-педагогическіе труды — *Janua linguarum* и знаменитый *Orbis pictus* [1]). Эти два произведенія, къ которымъ присоединяются другія его латинскія сочиненія, собранныя въ Opera Didactica, имѣли чрезвычайный успѣхъ въ цѣлой Европѣ; они были переведены почти на всѣ европейскіе и даже на нѣсколько восточныхъ языковъ [2]). Знаменитый Бэйль говорилъ объ *Janua* Коменскаго: „Quand Comenius n'aurait publié que ce livre-là, il se serait immortalisé“. По этимъ своимъ произведеніямъ Коменскій занимаетъ въ исторіи европейской культуры весьма высокое мѣсто. Его историческое значеніе опредѣляется тѣмъ, что онъ сталъ въ рядахъ оппозиціи, возставшей противъ педагогической схоластики и извращеннаго классицизма, которые господствовали въ „латинскихъ школахъ“, въ университетахъ протестантскихъ и въ католическомъ, особенно іезуитскомъ воспитаніи; въ своихъ дидактическихъ трудахъ Коменскій велъ впередъ то освободительное дѣло, представителями котораго были Монтэнь и Бэйль во французской литературѣ, Бэконъ и Локкъ въ англійской, и педагогъ Ратихіусъ у Нѣмцевъ. Великая заслуга его была въ томъ, что онъ вводилъ въ школу реализмъ, старался основать воспитаніе не на школьной буквѣ, а на наблюденіи человѣческой природы. Возбудила его главнымъ образомъ Instauratio magna Бэкона, но онъ посвятилъ предмету такое широкое и самостоятельное изученіе, что его теорія стала дѣйствительнымъ подвигомъ въ исторіи европейскаго воспитанія. Коменскій исходилъ изъ мысли, что человѣкъ дѣлается человѣкомъ только черезъ воспитаніе, что оно должно сдѣлать человѣчество счастливымъ.

---

[1]) Полное заглавіе: Orbis Sensualium pictus quadrilinguis—hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura latina, germanica, hungarica et bohemica cum titulorum juxta atque vocabulorum indice. Norimb. 1658. Чешское изданіе: Svět viditedlný namalovaný etc., вышло въ Левочѣ (у Словаковъ), 1685.

[2]) Русскій переводъ вышелъ въ 1768; 2-е изданіе 1788.

Воспитаніе основывается на естественной, физической и духовной природѣ человѣка; оно должно обращать вниманіе на требованія этой природы, въ своихъ пріемахъ руководиться ея указаніями и ея свойствами; обученіе должно основываться не на тупомъ заучиваніи, а на самостоятельно пріобрѣтаемомъ опытѣ и познаніи: вмѣсто механическаго набиранія свѣдѣній, воспитаніе становится у Коменскаго нагляднымъ обученіемъ и естественнымъ развитіемъ. „Orbis pictus" долженъ былъ служить средствомъ подобнаго обученія,—это былъ первый практическій опытъ раціональной педагогіи. Обученіе должно идти отъ вещей извѣстныхъ къ неизвѣстнымъ, отъ легкаго къ трудному; каждому возрасту давать соразмѣрную пищу и трудъ. Для разныхъ сторонъ своей теоріи онъ выработалъ практическія наставленія и примѣры... Въ то же время Коменскій возставалъ противъ преувеличеннаго и часто фальшиваго классицизма тогдашнихъ школъ, который вмѣсто роднаго языка и христіанскихъ понятій все вниманіе воспитанниковъ направлялъ на Горацієвъ, Плавтовъ, Катулловъ, Цицероновъ и проч.: „отсюда происходитъ то, — говорилъ Коменскій, — что мы среди христіанства съ трудомъ отыскиваемъ христіанъ". Мысль о христіанствѣ господствуетъ въ нравственномъ ученіи Коменскаго и составляетъ другую сторону его педагогіи, христіанство должно быть цѣлью воспитанія и проникать всѣ педагогическіе пріемы, направленные къ нравственному развитію... Коменскій не свободенъ, конечно, отъ несовершенствъ и ложныхъ понятій своего времени,—когда, напр., въ своихъ реальныхъ попыткахъ еще замѣняетъ живую природу посредствомъ нарисованной, когда, оспаривая образовательную силу классицизма, давалъ все-таки слишкомъ много значенія латинской фразеологіи и т. п. При всемъ томъ система его была цѣльнымъ взглядомъ на естественныя условія человѣческой природы и педагогическихъ задачъ, и справедливо пріобрѣла свою обширную славу. Если въ „Дидактикѣ" Коменскаго мы видимъ симпатическія черты убѣжденнаго христіанскаго философа и вмѣстѣ ревнителя науки, то эти черты еще болѣе сказываются въ его пансофическихъ трудахъ; цѣлію ихъ было собрать разбросанныя знанія въ систему, которая была бы доступна всѣмъ образованнымъ людямъ, для того чтобы наука *внѣ* пріобрѣла больше распространенія, *внутри* больше достовѣрности. „Своими пансофическими трудами,—говорилъ Коменскій,—мы стремимся къ тому, чтобы образованность, доселѣ разлитую почти безъ границъ, не установившуюся, во всѣхъ частяхъ колеблющуюся, собрать во едино способомъ болѣе сжатымъ, крѣпкимъ и прочнымъ,—чтобы не нужно было хвастаться наукой, но знать ее, и знать не слишкомъ много вещей, но вещи добрыя и полезныя, и знать твердо и безошибочно". Онъ желалъ сколько можно широкаго распространенія

науки, чтобы всѣ христіане, какого бы ни было исповѣданія, дружно искали своего общаго успѣха и радовались общему счастію. Коменскій былъ въ настоящемъ смыслѣ слова другъ человѣчества, преданный идеямъ объ его счастьѣ, христіанскомъ мирѣ и просвѣщеніи и всю жизнь трудившійся для этихъ идей.

Наконецъ, Коменскій былъ поэтомъ — въ томъ христіанско-философскомъ духѣ, который отличаетъ всѣ его произведенія. Онъ составлялъ духовныя пѣсни для Братскаго Канціонала, сдѣлалъ метрическій переводъ псалмовъ; но главнымъ плодомъ его поэтическихъ стремленій было произведеніе, которое принадлежитъ къ числу самыхъ извѣстныхъ и уважаемыхъ памятниковъ всей чешской литературы. Это знаменитый *Лабиринтъ Свѣта* [1]). Подробное заглавіе книги даетъ понятіе объ ея общей тенденціи: „Лабиринтъ свѣта и рай сердца, т. е. ясное изображеніе того, какъ въ этомъ свѣтѣ и во всѣхъ его вещахъ нѣтъ ничего, кромѣ суеты и заблужденія, сомнѣнія и горестей, призрака и обмана, тоски и бѣдствій, и наконецъ досады и отчаянія; но — кто остается дома въ своемъ сердцѣ и запирается съ однимъ Господомъ Богомъ, какъ тотъ приходитъ самъ собой къ истинному и полному успокоенію мысли и къ радости". Авторъ совершаетъ аллегорическое путешествіе по лабиринту свѣта, передъ нимъ раскрывается вся суета его „рынка", онъ наблюдаетъ жизнь всѣхъ званій и сословій общества, видитъ пустоту человѣческихъ заботъ, стремленій и надеждъ, безсиліе человѣческой науки: на своемъ фантастическомъ пути онъ встрѣчаетъ наконецъ Христа и видитъ жизнь „внутреннихъ христіанъ", въ которыхъ и заключается его идеалъ. Въ этомъ идеалѣ чисто-христіанской жизни, которая находитъ полное успокоеніе и внутреннее счастіе въ вѣрѣ, не знаетъ мірскихъ заботъ, суетности и вражды, не заботится о богатствѣ и славѣ, — въ этомъ идеалѣ не трудно узнать мысли Хельчицкаго о первобытномъ христіанствѣ и основныя положенія Братской Общины. Внутреннихъ христіанъ (какими Коменскій хотѣлъ видѣть Братьевъ, и всякое христіанство), освѣщаетъ двойное свѣтило разума и вѣры: они совершенно свободны, законъ ихъ кратокъ, потому что онъ весь въ заповѣдяхъ Бога, ихъ соединяетъ общность мыслей и чувствъ, и наконецъ общность имѣнія .. „Я видѣлъ, — говоритъ онъ, — что хотя бо́льшей частью они были бѣдны тѣмъ, что́ свѣтъ называетъ имѣньемъ, хотя мало имѣли и въ маломъ нуждались, но почти у всякаго было однако что-нибудь свое: но такъ, что никто съ этимъ не скрывался и передъ другими (какъ

[1]) «Labyrint Svêta a Ráj srdce» и пр., вышедшій въ 1631 въ Лешнѣ, s. l., и затѣмъ въ эпоху гоненій противъ чешскихъ книгъ—въ Амстердамѣ 1663, въ Берлинѣ 1757, при началѣ Возрожденія изданъ былъ въ Прагѣ 1782, 1809, въ Краловеградцѣ 1848, въ Прагѣ 1862. Нѣмецкій переводъ: Philosophische satyrische Reisen durch alle Stände der menschlichen Handlungen etc. Berlin, 1787.

это дѣлается въ свѣтѣ) не утаивалъ, но имѣлъ это какъ бы для всѣхъ, отдавая охотно, что́ кому было нужно. Такъ что всѣ поступали между собой съ своимъ имѣньемъ не иначе, какъ поступаютъ сидящіе за однимъ столомъ, всѣ съ одинаковымъ правомъ пользуясь яствами. Увидѣвъ это, я устыдился, что у насъ часто дѣлается прямо противное этому... Я понялъ, что не такова божья воля"... [1]).

Это изображеніе первобытнаго христіанства и было поэтическимъ идеаломъ Братской Общины. Этой проповѣдью внутренняго христіанства,— которая заключается видѣніемъ божественной славы и молитвою въ концѣ „Лабиринта",—этой проповѣдью заканчивается старый періодъ чешской исторіи; дѣятельность Коменскаго — послѣдній результатъ гуситскаго движенія. Коменскій „затворилъ за собою дверь" Общины какъ ея послѣдній (собственно предпослѣдній) епископъ; и послѣдній защитникъ своего національнаго дѣла, онъ сталъ вмѣстѣ ревностнымъ дѣятелемъ европейской культуры. Это было характеристическимъ завершеніемъ упадавшей чешской литературы.

Изъ другихъ „экзулантовъ" надо назвать, кромѣ упомянутаго прежде Жеротина, въ особенности Павла Скалу изъ-Згоржи (1583, ум. послѣ 1640). Жатецкій горожанинъ, приверженецъ Фридриха Пфальцскаго, евангеликъ по исповѣданію, онъ выселился изъ Чехіи послѣ Бѣлогорской битвы и поселился въ Саксоніи. Онъ былъ человѣкъ классически образованный, учился въ нѣмецкихъ университетахъ, путешествовалъ по Европѣ, и въ изгнаніи написалъ, во-первыхъ, церковную хронологію, а во вторыхъ огромное сочиненіе о церковной исторіи отъ временъ апостольскихъ въ девяти фоліантахъ, гдѣ съ 3-го уже начинается описаніе событій 1516 — 1623 г.: наиболѣе любопытна, конечно, та часть сочиненія, гдѣ онъ говоритъ какъ современникъ и очевидецъ. Исторія Скалы написана съ протестантской точки зрѣнія, но онъ старался быть безпристрастнымъ; изложеніе часто слишкомъ растянуто, но заключаетъ важный матеріалъ [2]). Далѣе, можетъ быть названъ Павелъ Странскій (1583 — 1657), хотя онъ извѣстенъ только какъ писатель латинскій. Приверженецъ Общины, онъ сопротивлялся, сколько могъ, католической реакціи, но

---

[1]) Книга Коменскаго отвѣчала народному настроенію. Въ пѣснѣ чешскихъ изгнанниковъ XVII вѣка она стоитъ рядомъ съ Кралицкой Библіей, какъ единственное достояніе, вынесенное изъ родины:

....Nevzali sme s sebou
Nic, po všem veta!
Jen Biblí Kralickou,
Labyrint svĕta...

(Kollár, Nar. Zpiewanky Slowákůw 1, стр. 34).

[2]) Выписки изъ него печатались въ «Часописѣ» 1831, 1834, 1847, въ «Слованѣ» Гавличка, 1850. Чешскую исторію 1602—1623 издалъ К. Тифтрункъ, въ пяти выпускахъ, 1865—1870. (Monumenta Hist. Bohem.).

наконецъ вынужденъ былъ оставить родину, потерявши при этомъ свое имущество, не мало бѣдствовалъ и, поселившись наконецъ въ Торуни, пріобрѣлъ извѣстность своей книгой и получилъ профессуру въ тамошней гимназіи. Его латинское сочиненіе: Respublica Bojema (Лейденъ, 1634, 1643; Амстердамъ 1713, и въ сборникѣ Гольдаста: Commentarii de regni Bohemiae... juribus et privilegiis, 1719)—извѣстно какъ замѣчательно ясное изложеніе политическихъ отношеній и внутренняго состоянія чешской земли, не потерявшее цѣны до-сихъ-поръ, какъ историческій матеріалъ, и написанное классической латынью [1]).

Та часть Братьевъ „экзулантовъ", въ средѣ которыхъ дѣйствовалъ Коменскій, выселилась на сѣверъ,—сюда удалялись Жеротинъ, Павелъ Скала, Странскій. Другой потокъ выселенцевъ направился на юго-востокъ, въ сѣверную Венгрію, въ „Словенско", т. е. землю Словаковъ. Со временъ Гуса у Словаковъ господствовалъ письменный чешскій языкъ; многіе Словаки живали потомъ въ Чехіи и приняли участіе въ чешскомъ церковномъ движеніи и литературѣ, какъ, напр., Лаврентій Нудожерскій и другіе. Съ приходомъ эмигрантовъ послѣ Бѣлогорской битвы, у Словаковъ явилась значительная литературная дѣятельность „чешско-словенская". Въ словенскихъ типографіяхъ въ Жилинѣ, Тренчинѣ, Тернавѣ, Баньской-Быстрицѣ печатались книги сначала чешскихъ эмигрантовъ, потомъ писателей своихъ, — всего больше, почти исключительно, по предметамъ религіознымъ. Такимъ образомъ, въ XVII и XVIII столѣтіяхъ, когда чешская литература все больше падала въ самой Чехіи, отпрыскъ ея жилъ у Словаковъ. Здѣсь извѣстны имена Юрія Трановскаго, Эліаша Лани, Самуила Грушковица, Даніила Кѐрмана, Степана Пиларжика и другихъ, о которыхъ подробнѣе скажемъ въ изложеніи литературы Словаковъ.

Въ само́й Чехіи литература со времени Бѣлогорской битвы представляетъ печальную картину упадка, какой испытываютъ народы въ трудныя или въ послѣднія времена своей исторической жизни. Изъ среды народа вдругъ вырваны были лучшія силы, именно тѣ, которыя удаленіемъ изъ родины свидѣтельствовали о твердости своего убѣжденія; другіе, уступившіе католической реакціи, уступали потому, что уже были надломлены борьбой: господствовать остались католическіе фанатики. — Для нихъ все предыдущее содержаніе литературы было только ересью, которая требовала истребленія, и они дѣйствительно ее истребляли. То́, чѣмъ эти фанатики хотѣли спасти и облагодѣтельствовать свою страну, привело къ такому результату, что чешская

[1]) На этой книгѣ, между прочимъ, опирался Гильфердингъ, говоря о восточномъ церковномъ преданіи у Чеховъ. Но чешскіе критики отвергаютъ прочность основаній, взятыхъ имъ изъ книги Странскаго.

литература совсѣмъ прекратилась, т.-е. что народная жизнь была подорвана: старой образованности не было, народъ терялъ національное сознаніе,—въ этихъ условіяхъ литературѣ нечѣмъ и не для чего было существовать.

Нѣсколько именъ, которыя надо здѣсь назвать, представятъ или отголосокъ (хотя бы формальный) прежней образованности, въ первомъ поколѣніи, — или полную оргію іезуитства и обскурантизма; или, наконецъ, въ XVIII вѣкѣ, первыя теплыя воспоминанія о старой славѣ своего народа,—которыя однако еще не могли развиться въ фактъ настоящаго возрожденія.

Важнѣйшій писатель католической партіи, временъ послѣ-бѣлогорскихъ, былъ извѣстный Славата (выброшенный съ Мартиницомъ и Платтеромъ изъ окна 23 мая 1618), впослѣдствіи канцлеръ чешскаго королевства. Вилемъ Славата (Slavata z Chlumu a z Košumberka, 1572—1652) происходилъ изъ панскаго рода; отецъ его былъ приверженецъ Братской Общины, мать лютеранка, самъ онъ воспитанъ въ братскомъ ученіи; но впослѣдствіи онъ перешелъ на католическую сторону и сталъ однимъ изъ самыхъ рьяныхъ ея дѣятелей и полу-іезуитомъ; онъ былъ въ числѣ тѣхъ чешскихъ пановъ, которые убѣждали Рудольфа II не давать свободы исповѣданія для утраквистовъ. Съ его личными дѣлами въ политикѣ связанъ и его историческій трудъ. Поводомъ къ этому труду было сочиненіе Матвѣя Турна, предводителя недовольныхъ „чиновъ", который хотѣлъ объяснить и оправдать дѣйствія своей партіи, между прочимъ, и выбросъ изъ окна. Славата добылъ это сочиненіе и предпринялъ защиту своей стороны. Мало-помалу работа разрослась до огромнаго размѣра четырнадцати фоліантовъ, и кромѣ чешскихъ вошли въ нее также событія у другихъ народовъ. Исторія Славаты доведена съ 1527 до 1592 года и, кромѣ того, въ его личной защитѣ описаны событія начала XVII вѣка. Она имѣетъ свои литературныя достоинства, хотя часто растянута и неровна; но чрезвычайно важна во всякомъ случаѣ какъ современное свидѣтельство, гдѣ, кромѣ личныхъ „памятей" Славаты, внесены также записки его друзей [1]).

Къ числу пановъ тойже габсбургской партіи принадлежалъ графъ Германъ Чернинъ изъ-Худеницъ (1579—1651), который въ 1598 путешествовалъ съ Гарантомъ изъ-Польжицъ въ Св. Землю, позднѣе нѣсколько разъ былъ въ посольствѣ въ Турціи и написалъ дневникъ своего путешествія въ Константинополь 1644—45 г. [2]). Игнатій

[1]) Извлеченія изданы І. Иречкомъ: «Paměti z dob 1608 — 1619». Прага, 1866—68, 2 ч. (во введеніи подробное описаніе цѣлаго сочиненія Славаты); «Děje uherské za Ferdinanda I. Od 1526—1546». Вѣна, 1857.

[2]) Lumír, 1856, и Миклошича, Slav. Bibliothek, II.

изъ-Штернберга оставилъ путешествіе въ западныя земли, 1664—65. Это были послѣдніе паны, писавшіе по чешски.

Бѣлогорская катастрофа нанесла пораженіе цѣлому движенію, совершавшемуся въ Чехіи съ конца XIV вѣка. Реакція истребляла огнемъ и мечемъ, тюрьмой и изгнаніемъ всѣхъ людей, учрежденія, литературу, носившія печать гуситства, реформы, Братской Общины: вынуждая ихъ послѣдователей къ переходу въ католицизмъ, реакція старалась изгладить въ умахъ всю память объ этомъ движеніи, или представить это прошедшее какъ гибельное заблужденіе, опасную ересь. Изъ старыхъ историковъ уцѣлѣлъ только Гаекъ; какъ говорятъ, изъ него особенно чешскій народъ и сохранилъ кое-какія воспоминанія о своей старинѣ.

Въ этомъ духѣ писалась въ XVII—XVIII вѣкѣ чешская исторія, и часто уже только на латинскомъ языкѣ. Первое мѣсто въ ряду этихъ писателей занимаетъ знаменитый іезуитъ, и однако чешскій патріотъ, Богуславъ Бальбинъ (1621—1688), который хотя и писалъ только по-латыни, но не долженъ быть пропущенъ въ исторіи чешской литературы по характеру и содержанію своихъ сочиненій. Взглядъ его на прошлую исторію былъ реакціонно-католическій; но іезуитство не уничтожило въ немъ правдивости ученаго историка и теплаго чувства къ родинѣ и ея прошедшему. Онъ отдался изученію чешской исторіи; но этотъ предметъ самъ по себѣ казался подозрительнымъ и когда онъ кончилъ свой главный трудъ: „Epitome rerum bohemicarum“—книга семь лѣтъ лежала въ цензурѣ вѣнской и римской, и авторъ посланъ былъ на покаяніе. Сочиненіе вышло наконецъ въ 1677, благодаря заступничеству знаменитаго вѣнскаго библіотекаря Ламбеція и графа Кинскаго. Въ 1680 Бальбинъ началъ издавать обширныя „Miscellanea historica regni Bohemiae“, заключающія множество свѣдѣній по географіи, древностямъ, исторіи. Нѣкоторыя части этого сборника, именно относящіяся къ исторіи чешскаго образованія, изданы были уже долго послѣ [1]). Во время испытаннаго гоненія Бальбинъ написалъ горячую защиту чешскаго языка, для котораго начиналось тогда время наибольшаго упадка: эта книга, — одна изъ извѣстнѣйшихъ въ литературѣ славянскаго возрожденія, — не могла увидѣть свѣта въ то время и издана была только послѣ, когда съ первыми попытками національнаго движенія потребовались аргументы для его защиты [2]). Баль-

[1]) Bohemia docta. Ed. R. Ungar. Pragae, 1776—1780. Pars II. Ed. P. Candidus. Pragae, 1777.

[2]) Dissertatio apologetica pro lingua slavonica, praecipue bohemica. (Первоначальное заглавіе: De regni Bohemiae felici quondam, nunc calamitoso statu). Издалъ Фр. М. Пельцель. Прага, 1775. Чешскій переводъ Эм. Тоннера, Прага, 1869.

бинъ побуждалъ и друзей своихъ изучать чешскую исторію: „нѣтъ радости больше, какъ радоваться тому, что наше отечество породило столько славныхъ мужей въ войнѣ и мирѣ, отечество, которое мы видимъ теперь уничиженнымъ и оплакиваемъ“. „Трудитесь надъ чешской исторіей, когда есть досугъ—вѣдь между Чехами мало насъ, которые умѣютъ цѣнить свою родину и которые—не гости и не чужеземцы въ вещахъ отечественныхъ“.

Кромѣ Бальбина, писали о чешско-моравской исторіи: Томашъ Пешина изъ-Чехорода (1629—1680), священникъ, потомъ епископъ, написавшій Prodromus Moravographiae t. j. Předchůdce Moravopisu, 1663, и нѣсколько другихъ, латинскихъ сочиненій; Янъ Бецковскій (1658—1725), которому принадлежитъ „Poselkyně starých příběhův českých, aneb kronika česká“, Пр., 1700 (здѣсь напечатана одна первая часть), гдѣ сначала излагаетъ чешскую исторію по Гайку до 1526, а потомъ до Леопольда I, 1657 г., самостоятельно [1]); каноникъ Янъ Гаммершмидъ (1658—1737). Изъ лицъ не-духовныхъ можно назвать Вацлава Фр. Козманецкаго (Kozmanecius или Kozmanides, 1607—1679), который оставилъ краткое описаніе тридцати-лѣтней войны, дневникъ осады 1648 года и нѣсколько латинскихъ и чешскихъ шуточныхъ пьесъ и плохихъ стихотвореній.

Но затѣмъ главный специфическій плодъ католической реакціи была цѣлая литература благочестивыхъ книгъ, поученій и т. п., писанная особенно іезуитами. Изъ этихъ писателей болѣе извѣстны: Вацлавъ Штурмъ, принадлежавшій, впрочемъ, еще предыдущему періоду (1533—1601), іезуитъ, злѣйшій противникъ Братской Общины; Войтѣхъ Берличка (Scipio Vojtěch Šebestian, или Berlička z Chmelče, род. 1565, ум. послѣ 1620), іезуитъ, учившійся у знаменитаго Скарги; Юрій Плахій (или Jiří Ferus, 1585 — 1659); Матвѣй-Вацлавъ Штейеръ (1630—1692, Šteyr или Stýr), іезуитъ, основатель „свято-вацлавскаго общества“ для изданія чешскихъ благочестивыхъ книгъ, между прочимъ трудившійся, съ іезуитами Констанцемъ и Барнеромъ, надъ „Свято-вацлавской библіей“; Феликсъ Кадлинскій 1613—1675), іезуитъ, по обычаю авторъ благочестивыхъ книжекъ, извѣстенъ какъ хорошій стихотворный переводчикъ, и въ особенности его переводный съ нѣмецкаго „Zdoroslavíček v kratochvilném hajěčku postavený (Прага, 1665, 1726) считается однимъ изъ лучшихъ произведеній тогдашней литературы. Наконецъ, писателемъ былъ и знаменитый въ своемъ родѣ Антонинъ Коняшъ (Koniaš, 1691 — 1760), образчикъ іезуитскаго изувѣра: шпіонившій, отбиравшій и сожигавшій чешскія книги. Изъ произведеній его только одно

---

[1]) Вторую часть, именно важную, началъ издавать съ 1879 Ант. Резекъ.

имѣетъ большую извѣстность: Clavis haeresim claudens et aperiens, Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenení zamykající, или: „Ключъ, еретическія заблужденія для узнанія ихъ открывающій, и для искорененія замыкающій“, или списокъ запрещенныхъ книгъ, т.-е. старой чешской не-іезуитской литературы [1]).

Въ результатѣ трудовъ подобныхъ дѣятелей не только упала чешская литература, но вся національная жизнь была близка къ гибели [2]). Высшіе классы больше и больше покидали чешскій языкъ, уже не представлявшій ни общественнаго, ни свободно-религіознаго, ни поэтическаго содержанія; литература сводилась на благочестиво-іезуитскія книжки для простонародья. Этимъ достаточно объясняется, почему чешскій языкъ упалъ и въ формальномъ отношеніи. Старое литературное преданіе было прервано не безнаказанно: грамотѣи XVII и XVIII вѣка стали перекраивать по своему книжный языкъ и ихъ писанія прославились какъ образцы безвкусія и уродства. Таковы были чешскіе Тредьяковскіе: Вацлавъ Роса (ум. 1689), Янъ-Вацлавъ Поль (Pohl, ум. 1790) и послѣдователь Поля, Максиміліанъ Шимекъ (1748—1798), написавшій, впрочемъ, по-нѣмецки нѣсколько полезныхъ книгъ по изученію Славянства. Поль, придверникъ (Kammerthürhüter, камерлакей?) при императорскомъ вѣнскомъ дворѣ и вмѣстѣ учитель чешскаго языка при сыновьяхъ Маріи-Терезіи, приводилъ въ отчаяніе Добровскаго, который и печатно не разъ возставалъ противъ его нелѣпыхъ нововведеній; чешскіе историки не сомнѣваются, что нелюбовь Іосифа II къ чешскому языку надо приписать усердію Поля [3]).

4. ВОЗРОЖДЕНІЕ ЛИТЕРАТУРЫ И НАРОДНОСТИ.

Въ концѣ XVIII столѣтія упадокъ литературы дошелъ до послѣдней степени. Чешская книга стала рѣдкостью: новыхъ не было, старыя истреблялись. Фанатизмъ іезуитовъ уничтожалъ чешскія книги по старой памяти даже и во второй половинѣ XVIII вѣка. Бальбинъ, патріотъ не по примѣру своихъ собратій, съ сожалѣніемъ говоритъ объ участи чешскихъ книгъ, которыя жглись на кострахъ и истреблялись какъ еретическія, даже если въ нихъ и не было ничего о религіи. Это было въ концѣ XVII столѣтія. Въ 1783 Карлъ Тамъ въ

---

[1]) Изданъ былъ v Kral. Hradci, 1729, 1749.

[2]) О литературѣ іезуитской см.: Pelcel, Böhmische, mährische und schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten. Prag 1786.

[3]) Wäre doch der Beruf, seine Majestät in der böhmischen Sprache zu unterrichten, einem Manne von Geschmack zu Theil geworden, — писалъ Добровскій въ 1792 (Gesch. der böhm. Sprache, 209).

„Защитѣ чешскаго языка“, одной изъ первыхъ книгъ Возрожденія, разсказываетъ: „Извѣстно, что еще три года тому назадъ заведены были такъ-называемые высланцы (т.-е. жандармы), которые какъ голодные волки бѣгали по всѣмъ краямъ чешской земли, высматривали каждый уголокъ, и если находили гдѣ-нибудь какую чешскую книгу, хорошую или дурную, хватали ее и, едва заглянувъ въ нее, отнимали насильно и, ровно ничего не разумѣя въ чешскихъ книгахъ, ругались надъ ними, рвали ихъ и жгли“.

Первый толчокъ національному сознанію дало правленіе Іосифа II хотя это вовсе не входило въ его цѣли. То былъ вѣкъ „просвѣщеннаго абсолютизма“; Іосифъ былъ человѣкъ съ идеями французской философіи, не только не думавшій поддерживать дѣла іезуитовъ, но желавшій истребить всякіе ихъ слѣды. Самый орденъ былъ передъ тѣмъ закрытъ. Врагъ клерикальнаго обскурантизма, Іосифъ искренно желалъ просвѣщенія народа, и когда представился важный въ его многоязычной имперіи вопросъ о языкѣ, который долженъ стать проводникомъ просвѣщенія, онъ рѣшилъ за нѣмецкій. Съ своей точки зрѣнія онъ судилъ вѣрно: нѣмецкій языкъ (кромѣ того, что былъ политически господствующій) пріобрѣталъ тогда съ Лессингомъ, Гердеромъ, съ нѣмецкими „Aufklärer“ большое литературное и образовательное значеніе,—между тѣмъ мы видѣли, въ какой черезъ-чуръ неудачной формѣ онъ узнавалъ чешскій языкъ, и хотя бы онъ зналъ даже лучшую его сторону, то все-таки чешскую литературу, остановившуюся съ начала XVII вѣка, надо было бы еще много обработывать прежде, чтобъ она могла съ успѣхомъ служить новому образованію. Въ 1774 г. въ чешскихъ школахъ и управленіи введенъ былъ нѣмецкій языкъ. Чехамъ грозила полная германизація: образованіе, носившее прежде безразличную латинскую форму, стало принимать теперь форму нѣмецкую, которая была еще больше опасна для народности; высшіе классы стали почти окончательно нѣмецкой аристократіей; народная масса оставалась въ невѣжествѣ.

Но задуманная германизація произвела и первыя попытки національной реакціи, ознаменовавшей новый періодъ славянскихъ литературъ. Правленіе Іосифа II принесло само возможность и средства возрожденія. Нѣтъ сомнѣнія, что просвѣтительныя и гуманныя идеи XVIII вѣка, которыхъ Іосифъ былъ ревностнымъ прозелитомъ, были однимъ изъ главныхъ двигателей, которымъ чешская литература обязана своимъ возстановленіемъ. Мѣры Іосифа направлены были противъ чешской народности, но онѣ же дали и средства борьбы — ту степень гражданской и религіозной свободы, которая сама возбуждала къ дѣйствію и общественныя силы. Политика Іосифа была столько же опасна для народности, сколько и благотворна этимъ возбуждающимъ влія-

ніемъ. Лучшихъ людей чешскаго общества тяжело поразило это исключеніе чешскаго языка изъ жизни, и поставило передъ ними вопросъ: дѣйствительно-ли погибла въ народѣ всякая способность національнаго сознанія, и не должно ли, напротивъ, только пробудить его, чтобы оно возродилось? Теперь можно было сдѣлать опытъ, и національныя стремленія могли идти параллельно съ тѣмъ же духомъ времени, который породилъ политику Іосифа II. Патріотическое чувство передовыхъ людей дѣйствовало въ видахъ того же просвѣщенія и народнаго блага, только другимъ путемъ: они стали стремиться къ возбужденію національнаго духа, потому что народный языкъ считали лучшимъ проводникомъ для народнаго образованія. Съ другой стороны опасность германизаціи пробудила историческія воспоминанія, такъ долго подавленныя, которыя и стали другимъ орудіемъ для защиты народности. Изъ такихъ источниковъ произошло то новое движеніе чешской литературы, которое обозначаютъ именемъ *Возрожденія*.

Чешскіе историки дѣлятъ обыкновенно исторію этого Возрожденія или новѣйшей чешской литературы на три эпохи: первая—съ двухъ или трехъ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка до 1820 года; вторая—до 1848, и третья—до настоящаго времени. Это дѣленіе дѣйствительно имѣетъ основаніе въ особыхъ чертахъ каждаго изъ этихъ періодовъ.

Обширные историческіе факты имѣютъ обыкновенно далекіе корни. Такъ и чешское Возрожденіе обнаружилось, но не началось съ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка. Самымъ дальнимъ его источникомъ была прошлая исторія Чехіи и тотъ трудно искоренимый національный инстинктъ, который, какъ бы ни былъ угнетенъ, но если не уничтоженъ совсѣмъ, способенъ быстро возрождаться при первыхъ благопріятныхъ условіяхъ. Надъ чешской народностью совершено было столько насилій, что, повидимому, ее можно было считать покончившей свою историческую жизнь; но, какъ мы видѣли, во времена самаго тяжкаго упадка сказывалось все-таки народное чувство, привязанность къ своему языку, къ прошедшему своего народа. Къ концу XVIII вѣка, это чувство пріобрѣтаетъ новую силу: патріотическій интересъ къ народной старинѣ поддержанъ былъ общимъ развитіемъ исторической науки. Первые дѣятельные воскресители чешской народности были ученые историки, труды которыхъ (часто только латинскіе и нѣмецкіе) внушали соотечественникамъ любовь къ родинѣ, и среди иноземцевъ указывали и защищали ея историческое право. Другимъ сильнымъ союзникомъ начинавшагося движенія было все просвѣтительное направленіе эпохи, которое впервые давало выразиться свобод-

нымъ стремленіямъ общества, — старые опекуны котораго, іезуиты, сошли притомъ со сцены. Въ этихъ-то условіяхъ и могли найтись убѣжденные и преданные люди, труды которыхъ положили первое прочное основаніе Возрожденію.

По свойству дѣла неудивительно, что первыми руководителями Возрожденія были не замѣчательные писатели или поэты, а ученые историки и филологи. Старое литературное преданіе было такъ заброшено, такъ преслѣдуемо, что можно было считать, что его совсѣмъ не было; литература наличная была низменная и никакъ не способная быть исходнымъ пунктомъ. Надо было возобновить преданіе, и историческіе труды явились необходимостью. Неудивительно и то, что первые начинатели Возрожденія едва могутъ назваться чешскими писателями: они гораздо больше писали по-нѣмецки и по-латыни, нежели по-чешски.

Старѣйшимъ въ этомъ ряду дѣятелей былъ Геласій Добнеръ (1719—1790). Кончивъ первоначальное ученье, онъ рано вступилъ въ орденъ піаристовъ, который въ дѣлѣ обученія былъ первой оппозиціей іезуитству, и который въ тѣ же времена далъ замѣчательныхъ дѣятелей польскому образованію [1]). Жизнь Добнера прошла въ учительствѣ и ректорствѣ въ школахъ его ордена,—и въ изученіяхъ историческихъ. Однимъ изъ важнѣйшихъ его трудовъ было изданіе (по желанію чешскихъ піаристовъ) Гайковой хроники въ латинскомъ переводѣ упомянутаго раньше Викторина: но Добнеръ не остался простымъ издателемъ и присоединилъ къ хроникѣ свой комментарій — первый опытъ чешской исторической критики, гдѣ указалъ несостоятельность многочисленныхъ баснословій Гайка. Въ тоже время Добнеръ собиралъ матеріалы, написалъ много изслѣдованій по церковной и политической исторіи Чехіи, по археологіи, библіографіи и проч. Его великой заслугой было основаніе чешской исторической критики; эту заслугу очень цѣнилъ требовательный Шлёцеръ, говоря, что Добнеръ былъ первый ученый, который въ чешской и польской исторіи „пересталъ безумствовать“ (delirare desiit). Кромѣ этого, Добнеръ принесъ и другую, практическую пользу для дѣла чешской народности: онъ воспиталъ ревностныхъ послѣдователей, и въ 1770 году они составили частное уче-

---

[1]) Полный титулъ этого ордена — Ordo clericorum regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum. Основателемъ его былъ испанецъ Іосиф. Каласанца (1556—1648) въ первые годы XVII вѣка. Еще въ первой половинѣ этого вѣка піаристы или піары появились въ Австріи, Польшѣ, Чехіи и Моравіи; но орденъ былъ еще немногочисленъ. Съ конца XVII онъ сталъ здѣсь размножаться и произвелъ много замѣчательныхъ педагоговъ и ученыхъ, которые имѣли благотворное вліяніе на характеръ и расширеніе образованности. Замѣна іезуитовъ піаристами была цѣлымъ поворотомъ въ ходѣ общественнаго образованія у Поляковъ и у Чеховъ. Это былъ переходъ къ новѣйшей болѣе правильной школѣ, и замѣна іезуитскаго клерикализма мягкимъ гуманизмомъ.

ное общество, посвященное математикѣ, естествознанію и изученію чешской старины, которое въ 1784 превратилось въ „Королевское Общество наукъ“ [1]). Добнеръ писалъ только по-латыни и по-нѣмецки.

Названное ученое общество основалось главнымъ образомъ по стараніямъ Игн. Борна (1742—1791); это былъ чешскій шляхтичъ, ученый минералогъ, вообще просвѣщенный и свободомыслящій человѣкъ, наконецъ „вольный каменщикъ“ [2]). Въ историческомъ отдѣлѣ общества собрались около Добнера болѣе молодыя силы: Пельцель, Фойгтъ, Длабачъ, Унгаръ, Дурихъ, Прохазка, и въ особенности Добровскій.

Франт. Мартинъ Пельцель (по чешскому написанію Pelcl, по нѣмецкому Pelzel, 1734—1801) былъ однимъ изъ наиболѣе заслуженныхъ чешскихъ патріотовъ этого времени. Опять ученикъ піаристовъ, онъ пріобрѣлъ въ ихъ школѣ и въ университетахъ пражскомъ и вѣнскомъ обширныя и разнообразныя свѣдѣнія, особенно историческія и литературныя; нѣсколько лѣтъ онъ провелъ воспитателемъ въ домахъ чешскихъ аристократовъ, графовъ Штернберговъ, потомъ Ностицовъ, гдѣ имѣлъ случай завязать дружескія связи со многими учеными и патріотами; впослѣдствіи, когда въ 1792 въ пражскомъ университетѣ основана была впервые каѳедра чешскаго языка и литературы, она занята была Пельцелемъ. Его многочисленныя ученыя работы сосредоточены были на чешской исторіи и языкѣ. Первымъ трудомъ, обратившимъ на него вниманіе патріотовъ и ученой публики, была краткая чешская исторія [3]), написанная по убѣжденію Борна; успѣхъ книги показывалъ, какой насущной потребности она удовлетворяла. Въ 1775, Пельцель сдѣлалъ другое характеристическое изданіе—упомянутой Бальбиновой „Защиты чешскаго языка“, которая принята была обществомъ съ такимъ горячимъ участіемъ, что, хотя книга была правильно напечатана съ дозволенія цензуры, она вскорѣ была запрещена и отбираема. Далѣе слѣдовалъ рядъ историческихъ изслѣдованій, какъ біографія Карла IV, Вацлава IV, исторія чешско-моравскихъ ученыхъ изъ ордена іезуитовъ, исторія Нѣмцевъ и ихъ языка въ Чехіи, много частныхъ изслѣдованій біографическихъ, наконецъ, работы по грамматикѣ чешскаго языка и пр. [4]). Онъ соста-

---

[1]) Главные труды Добнера: Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum e bohemica editione latine redditi etc. Прага, 1764—86, 6 частей; Monumenta historica nusquam antehac edita, 1764—86, 6 ч., и рядъ статей въ изданіяхъ упомянутаго общества.

[2]) Между прочимъ, въ свободныя Іосифовскія времена онъ надѣлалъ шуму своей *латинской* сатирой на монаховъ: Ioan. Physiophili opera; continent Monachologiam, accusationem Physiophili, defensionem Physiophili, anatomiam monachi. Aug. Vind. 1784.

[3]) Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Prag, 1774, 1779, 1782.

[4]) Kaiser Karl IV, König von Böhmen, 1780—81, и Apologie des Kaisers Karl IV, 1785;—Lebensgeschichte des römischen und böhm. Königs Wenzeslaus, 1788—

вилъ также чешскую библіографію печатныхъ книгъ, съ ихъ перваго появленія по 1798, и обзоръ чешской литературы, но эти труды остались неизданными. Наконецъ, онъ предпринялъ переработать на чешскомъ языкѣ и подробнѣе свою исторію: это была Nová Kronika česká, доведенная въ трехъ выпускахъ 1791—1796 г. до 1378; 4-й выпускъ, доведенный до 1429, остался неизданнымъ. Чешскіе историки думаютъ, что своими трудами Пельцель вѣроятно больше всѣхъ своихъ современниковъ содѣйствовалъ пробужденію народнаго чувства, обработкѣ языка и литературы. Его „Чешская Хроника" стала популярной книгой. Личныя отношенія съ чешской аристократіей дали Пельцелю возможность распространять и здѣсь любовь къ чешской старинѣ и народности, какъ своими книгами онъ распространялъ ее между горожанами и селянами.

Изъ другихъ ученыхъ и писателей этого круга назовемъ еще Фойгта (Mikulaš V., по монашескому имени Adauctus a S. Germano, 1733—1787), также ревностнаго изслѣдователя старины: вмѣстѣ съ Пельцелемъ, Риггеромъ и другими, онъ издалъ портреты чешскихъ ученыхъ и художниковъ съ краткими біографіями, матеріалы для исторіи чешской литературы [1]. Карлъ Унгаръ (по монашескому имени Rafael, 1743—1807), ученый гуманистъ, профессоръ теологіи и библіотекарь пражскаго университета, издатель Бальбиновой „Bohemia docta" (1776—80, 3 части), былъ также горячимъ патріотомъ и особой заслугой его было обогащеніе университетской библіотеки; для нея онъ отовсюду, гдѣ могъ, собиралъ старыя чешскія книги и рукописи — которыя еще такъ незадолго передъ тѣмъ жгли іезуиты. Какъ и Фойгтъ, онъ писалъ по-латыни и по-нѣмецки. Далѣе, однимъ изъ замѣчательныхъ ученыхъ этого времени былъ Вацлавъ-Мих. Дурихъ (въ монашествѣ Фортунатъ, 1738—1802), оріенталистъ и ревностный славянскій археологъ, возбуждавшій Добровскаго къ изученію старо-славянщины. Главный трудъ его въ этой области [2] долженъ былъ заключать политическую, церковную, литературную и культурную исторію стараго Славянства, но остановился на первой части. Ученикомъ и товарищемъ Дуриха былъ Франт. Прохазка (въ монашествѣ Фаустинъ, 1749—1809): онъ рано вступилъ въ пауланскій орденъ, гдѣ на его даровитость обратилъ вниманіе Дурихъ, принадлежавшій тому

90;—сочиненіе объ іезуитахъ указано выше; — Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen, 1788—91, 2 ч.;—Grundsätze der böhm. Grammatik, 1795, 1798, съ помощью Добровскаго. Съ нимъ же онъ издалъ Scriptores rerum bohemicarum, 1782—84, 2 ч.

[1]) Effigies virorum eruditorum et artificum cum breve vitae operumque enumeratione. Pr. 1773—82, 4 части; Acta litteraria Bohemiae et Moraviae, 1774—83, 2 ч.

[2]) Bibliotheca slavica antiquissimae dialecti communis et ecclesiasticae universae Slavorum gentis, 1793.

же ордену; Дурихъ не мало помогъ ему въ изученіи восточныхъ и классическихъ языковъ, а также чешскаго языка, исторіи и литературы. Первымъ важнымъ трудомъ Прохазки было новое исправленное имъ и Дурихомъ изданіе чешской католической Библіи, сдѣланное по желанію Маріи-Терезіи. Изданіе (по Вульгатѣ) вышло въ 1778—80, и Добровскій называлъ его трудомъ классическимъ. Затѣмъ Прохазка разнымъ образомъ участвовалъ въ литературныхъ интересахъ того времени. Чтеніе старой чешской литературы дало ему такое знаніе языка, что въ то время никто не могъ съ нимъ въ этомъ отношеніи равняться [1]). Заботясь о возвышеніи чешскаго языка и видя недостатокъ новыхъ сочиненій для народа, онъ сталъ перепечатывать старыя чешскія книги; затѣмъ предпринялъ снова обработку чешской Библіи, и въ 1786 издалъ Новый Завѣтъ, вновь переведенный съ греческаго текста. Въ 1804 вышло новое изданіе чешской Библіи, съ варіантами и объяснительными примѣчаніями. Между тѣмъ, его сдѣлали начальникомъ всѣхъ чешскихъ гимназій, и послѣ Унгара онъ сталъ завѣдывать университетской библіотекой.

Но высшимъ представителемъ движенія Іосифовыхъ временъ былъ знаменитый аббатъ Іосифъ Добровскій, котораго дѣятельность вышла за предѣлы чешской народности и имѣетъ великое историческое значеніе все-славянское. Іосифъ Добровскій (1753—1829; собственно Doubravský, но имя было неправильно записано крестившимъ его священникомъ полка, гдѣ служилъ его отецъ). Живя дѣтскіе годы въ нѣмецкомъ городѣ, онъ воспитался на нѣмецкомъ языкѣ, по-чешски выучился только позднѣе, но чешскій все-таки называлъ своимъ роднымъ языкомъ. Въ 1768 онъ поступилъ въ пражскій университетъ, обратилъ на себя вниманіе своими дарованіями и іезуиты искали уже завлечь его въ орденъ: въ 1772 онъ дѣйствительно вступилъ въ іезуитскій новиціатъ въ Бѐрнѣ (Брюннѣ), но уже въ слѣдующемъ году орденъ былъ закрытъ и Добровскій воротился въ Прагу. Здѣсь онъ ревностно принялся за изученіе восточныхъ языковъ, что̀ сблизило его съ Дурихомъ: въ 1777 Добровскій уже посылалъ статьи для „Восточной Библіотеки“ знаменитаго Михаэлиса. Еще не окончивъ своего богословскаго курса, Добровскій приглашенъ былъ учителемъ философіи и математики въ домъ чешскаго аристократа, графа Ностица (впослѣдствіи намѣстника Богеміи), гдѣ воспитаніемъ сыновей Ностица завѣдывалъ Пельцель. Этотъ послѣдній вызывалъ Добровскаго къ изученію чешской исторіи и литературы, и возбужденія Пельцеля и Дуриха положили основаніе трудамъ и славѣ Добровскаго. Въ домѣ Ности-

[1]) Однимъ изъ извѣстнѣйшихъ трудовъ его были: Miscellaneen der böhm. und mähr. Literatur, seltener Werke und verschiedener Handschriften, Прага, 1784—85, 3 выпуска.

цовъ Добровскій провелъ лучшіе годы своей жизни, 1776—1787; по своему тонкому и изящному характеру онъ сталъ любимцемъ семейства и встрѣчался здѣсь съ лучшими людьми своей родины. Вскорѣ онъ началъ свои ученыя изысканія по чешской старинѣ и литературѣ; въ нихъ обнаружилась критическая сила, которая въ короткое время доставила ему большую ученую извѣстность. Въ 1782, Добровскій, по несчастью, опасно раненъ былъ на охотѣ пулей въ грудь; его вылечили, но пуля осталась въ тѣлѣ, — этому обстоятельству Добровскій приписывалъ душевную болѣзнь, періодически постигавшую его въ поздніе годы. Въ 1786 онъ посвятился въ священники, чтобы получить ректорство въ „генеральной семинаріи"; но ректорство было недолговременно, такъ какъ по смерти Іосифа II всѣ генеральныя семинаріи были закрыты; Добровскій снова нашелъ пріютъ у Ностицовъ и исключительно предался своимъ историческимъ трудамъ по исторіи Славянства, по чешско-моравской старинѣ и литературѣ [1].

Въ 1791, императоръ Леопольдъ, послѣ своего коронованія въ Прагѣ, присутствовалъ въ засѣданіи ученаго Общества (за годъ передъ тѣмъ обществу данъ былъ титулъ „Королевскаго"), и Добровскій въ рѣчи, имъ читанной при этомъ, высказалъ просьбу, чтобы король „охранилъ противъ насилія чешскій народъ при его материнскомъ языкѣ, этомъ драгоцѣнномъ наслѣдіи по праотцахъ". Въ маѣ 1792, по порученію Общества, Добровскій отправился въ Швецію для разъисканія въ ея библіотекахъ рукописей, вывезенныхъ Шведами въ тридцати-лѣтнюю войну изъ Чехіи и Моравіи, особенно изъ Праги въ 1648, хотя розыски не были особенно успѣшны [2]. Изъ Швеціи Добровскій проѣхалъ въ Петербургъ и Москву, что̀ было очень важно для его изученій, и вернулся въ февралѣ 1793. Въ слѣдующемъ году, онъ путешествовалъ съ своимъ ученикомъ по южной Германіи и до Венеціи, далѣе самъ ѣздилъ по Австріи и Венгріи, а Чехію прошелъ пѣшкомъ вдоль и поперекъ. Въ 1795 его въ первый разъ постигъ припадокъ душевной болѣзни, отъ которой его долго лечили, между прочимъ занимая его садоводствомъ и ботаникой,—это подѣйствовало на него хорошо, и онъ впослѣдствіи не безъ успѣха писалъ по ботаникѣ. Съ 1803, онъ жилъ въ Прагѣ и гостилъ у своихъ аристократиче-

[1]) Замѣтимъ нѣкоторые. Первымъ опытомъ его было: Fragmentum Pragense evangelii S. Marci, vulgo autographi, 1778, гдѣ доказалъ, что рукопись этого евангелія, хранившаяся въ Прагѣ и которую считали автографомъ апостола, писана никакъ не имъ. Съ 1779 онъ издавалъ выпусками: Böhmische Litteratur; Ueber den Ursprung des Namens Tschech, 1782, при Пельцелевой Исторіи Чехіи; Historisch-kritische Untersuchung, woher die Slaven ihren Namen erhalten haben, 1784, въ Abhandl. einer Privatgesellschaft; Ueber die ältesten Sitze der Slaven in Europa, 1788, при исторіи Моравія, Монзе; Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur, 1791, въ Abhandlungen, и отдѣльно въ новой обработкѣ, 1792.

[2]) Въ наше время они были дополнены Бедой Дудикомъ; а года два назадъ самыя рукописи возвращены изъ Швеціи и находятся теперь въ Бѐрнѣ.

скихъ друзей, Ностицовъ, Штернберговъ, Черниновъ. Ученые труды по чешской древности, по чешскому и славянскому языку продолжались, пріобрѣтая значеніе великаго ученаго дѣла [1]). Его грамматика чешскаго языка послужила образцомъ, по которому стали составляться грамматики другихъ славянскихъ нарѣчій. По основаніи Чешскаго Музея, 1818, Добровскій съ самаго начала участвовалъ въ его управленіи, и потомъ, съ 1827, въ предпринятыхъ имъ изданіяхъ. Въ 1822 явилось знаменитѣйшее его произведеніе—первая реставрація старо-славянскаго языка: Institutiones linguae slavicae dialecti veteris (Вѣна). Въ 1828 съ нимъ случился новый приступъ его болѣзни, общее здоровье стало падать, и въ январѣ 1829 онъ умеръ [2]).

Добровскій оказалъ чешскому и вообще славянскому возрожденію великія услуги. Своими историко-филологическими изслѣдованіями онъ въ первый разъ бросилъ свѣтъ на славянскую старину, указалъ тѣсную родственную связь племенъ и нарѣчій и возможность національнаго изученія, сдѣлалъ очень много для установленія чешскаго языка. Труды его имѣли уже все-славянскій характеръ и произвели сильное дѣйствіе. Чешское національное чувство стало опираться на обще-славянскую историческую основу. Въ немъ признали патріарха славянской науки. Но результаты дѣятельности Добровскаго отчасти были болѣе широкіе, чѣмъ онъ ожидалъ, или даже такіе, какихъ онъ вовсе не предполагалъ. Именно, оживленіе чешской литературы, много обязанное его трудамъ, ему самому представлялось вовсе не близкимъ или даже невозможнымъ—развѣ только въ размѣрахъ книжности простонародной; чешская старина, исторія, языкъ казались ему только предметомъ научнаго изысканія: „оставьте мертвыхъ въ покоѣ“, говорилъ онъ и писалъ почти исключительно по-нѣмецки, даже по-латыни, только очень немногое — по-чешски. Но научное изысканіе принесло не только отвлеченную пользу, какъ думалъ Добровскій, и другіе повели дѣло дальше уже съ открытыми національными цѣлями, которыя стали захватывать все больше мѣста въ общественности и

---

[1]) Kritische Versuche, die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen, 1803—1819; Lehrgebäude der böhm. Sprache, 1809, 1819; Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprachen, 1814; Geschichte der böhm. Sprache und älteren Literatur. Ganz umgearbeitete Ausgabe, 1818; Cyrill und Method, der Slawen Apostel (въ Abhandl. 1823); Mährische Legende von Cyrill und Method (тамъ же, 1827). Два сборника историко-филологическихъ изслѣдованій: «Slavin» (1806, и къ нему Glagolitica, 1807) и «Slovanka» (1814, 1815).

[2]) Палацкій, Joseph Dobrovský's Leben und gelehrtes Wirken, Прага, 1833; по-русски: Біографія Іосифа Добр., сочиненная Ф. Палацкимъ, перев. А. Царскій. М. 1838. Ганушъ, Literární působení Jos. Dobrovského, въ Запискахъ чешскаго общ. наукъ, 1867, т. XV. Только въ послѣдніе годы напечатаны отрывки изъ его переписки, напр. съ Ганкой, въ «Часописѣ», 1870; съ Копитаромъ, Як. Гриммомъ и др. въ «Архивѣ» Ягича, т. I, II, IV, и въ «Перепискѣ Востокова» (Сборн. Акад. V), Спб. 1873. См. еще ст. А. Вртятка, Hanka a Dobrovský v poměru k sobě etc., въ «Часописѣ», 1871.

народной жизни: опорой послужили тѣ научные труды Іосифовской эпохи, въ которыхъ Добровскому принадлежитъ высшее мѣсто.

Новѣйшіе писатели чешскіе [1]) сожалѣютъ объ одной слабости Добровскаго, раздражительномъ упрямствѣ, съ которымъ онъ противился новымъ взглядамъ, и которое они отчасти объясняли его болѣзнью. Въ примѣръ приводится „прискорбный фактъ", что Добровскій рѣзко выступилъ противъ „древнѣйшихъ памятниковъ чешской литературы", тогда только-что открытыхъ, которые „всего больше содѣйствовали оживленію и помолодѣнію народнаго духа", особенно противъ „Суда Любуши", который онъ считалъ фабрикатомъ современнаго поддѣльщика, что противъ „Суда Любуши" Добровскій возсталъ, *еще не видѣвши* его. Но тѣже писатели признаютъ, что „его несправедливо упрекали, будто онъ былъ совершенно недоступенъ лучшему убѣжденію,—что́ и доказывается тѣмъ, что съ теченіемъ своихъ изысканій онъ не разъ мѣнялъ свои мнѣнія о многихъ предметахъ"; въ немъ хвалятъ „истинную скромность великаго ума", указываютъ сохранившуюся у него всегда изящную манеру въ отношеніяхъ съ людьми. Такимъ образомъ, вражду его противъ „древнѣйшихъ памятниковъ" чешской литературы остается объяснять тѣмъ, чѣмъ она и дѣйствительно объясняется, его убѣжденіемъ въ ихъ подложности: имѣя такое убѣжденіе, Добровскій очень могъ относиться рѣзко къ обману, затѣянному въ области науки и народнаго чувства, и могъ заподозрить „Любушинъ Судъ", не видѣвши его, но зная людей. Если новѣйшіе чешскіе и ино-славянскіе критики снова возвращаются ко взгляду Добровскаго, то Добровскій теперь еще больше, чѣмъ прежде, представляется имъ и великимъ критическимъ умомъ и чистымъ характеромъ.

Какъ мы видѣли, начинатели чешскаго возрожденія въ Іосифовскую эпоху бо́льшей частью были лица духовныя,—безъ сомнѣнія потому, что въ этой средѣ всего болѣе было внѣшней возможности ученыхъ занятій; патріотическое чувство влекло къ изученію старины, а духъ времени въ самой Австріи изгонялъ старое изувѣрство и далъ мѣсто болѣе свободному отношенію къ старинѣ. Правда, и теперь власти не совсѣмъ довѣрчиво смотрѣли на пробуждающійся мѣстный патріотизмъ,—но во всякомъ случаѣ наступали другія времена. Національное движеніе еще усилилось, когда въ помощь домашнему народному интересу возникло сознаніе обще-племеннаго пробужденія, связи все-славянской.

Возрожденіе, со временъ Іосифовскихъ, обнаружилось цѣлымъ рядомъ литературныхъ явленій, наглядно представлявшихъ его постепенный ростъ. Это были сначала ученыя изслѣдованія, которыя на-

---

[1]) Иречекъ, Вртятко, Як. Малый и др.

правились въ чешскую старину и исторію; потомъ ревностная защита литературнаго значенія и правъ чешскаго языка; новыя изданія старой литературы, которыя должны были указать ея прежнія богатства и возобновить прерванное преданіе; наконецъ новая литературная дѣятельность.

Выше указаны обильные труды ученыхъ историковъ, довершенные Добровскимъ. Но чешскій языкъ сталъ до того простонароднымъ, что патріотамъ нужно было защищать его права, требовать къ нему уваженія, убѣждать—говорить и писать на немъ изъ любви и почтенія къ родинѣ. Въ 1774, графъ Франц. Кинскій издалъ объ этомъ нѣмецкую книжку [1]); въ 1775 Пельцель, какъ прежде упомянуто, напечаталъ „Апологію" Бальбина; въ 1778 священникъ-августинецъ Josef od S. Wita Taborský издалъ краткое описаніе чешской земли въ старыя и новыя времена, и въ предисловіи увѣщеваетъ соотечественниковъ любить родину и родной языкъ [2]); въ 1783 Карлъ Тамъ издалъ горячо написанную книжку объ этомъ предметѣ [3]), который становится съ тѣхъ поръ обычной темой патріотическихъ назиданій, и проч. Чтобы дать чтеніе на родномъ языкѣ и вмѣстѣ напоминать славную старину, начали печатать произведенія старой литературы. Пельцель издалъ кромѣ Бальбина „Приключенія" Вратислава изъ-Митровицъ (1777); Фаустинъ Прохазка въ 1786 — 88 цѣлый рядъ старыхъ книгъ: Болеславскую хронику (Далимила), хронику Пулкавы, путешествіе Префата изъ-Волканова въ Венецію и Іерусалимъ; Томса печаталъ сочиненія Ломницкаго; въ 1782 изданъ былъ „Лабиринтъ Свѣта" Коменскаго, и т. д. Добровскій началъ разысканія о древнихъ памятникахъ, и въ изданіяхъ Ганки появились разнообразные тексты старо-чешскихъ рукописей (Starobylá Skládanie, и др.).

Уже съ конца прошлаго вѣка возникаетъ цѣлый кружокъ патріотическихъ писателей, усердно работавшихъ для возстановленія литературы. Таковы были, кромѣ названныхъ ранѣе: Янъ Руликъ (1744—1812); Вацлавъ-Матвѣй Крамеріусъ (1759 — 1808); Янъ Гыбль (1786—1834); Карлъ-Игнатій Тамъ (Tham, 1763 — 1816), издавшій упомянутую „Оборону", и его младшій братъ Вацлавъ; Антонинъ-Ярославъ Пухмайеръ (1769 — 1820); Войтѣхъ Нейдлый (1772—1844) и его братъ Янъ (1776 — 1835); Себастіанъ Гнѣвковскій (1770—1847); названный выше Фр.-Янъ Томса (1753—1814), между

---

[1]) Erinnerungen eines Böhmen über einen wichtigen Gegenstand, 1774.

[2]) Krátké Wypsánj Země Cżeské, aneb Známost wssech Měst, Městců, Hradů, Zámků (по тогдашнему правописанію) и проч. Прага, 1778, съ эпиграфомъ: Turpe est peregrinum esse in patria.

[3]) Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům, 1783. Моравскій ученый и публицистъ, Алоизъ Ганке изъ-Ганкенштейна издалъ тогда же: Empfehlung der böhm. Sprache, 1782, 1783.

прочимъ издавшій важную по времени книжку объ историческихъ измѣненіяхъ чешскаго языка [1]). На Моравѣ: Германъ Галашъ (Galaš, 1756—1840); Томашъ Фричай (Fryčaj, 1759—1839), піаристъ Доминикъ Кинскій (1777—1848). У Словаковъ: Богуславъ Таблицъ, Юрій Палковичъ и др., о которыхъ скажемъ далѣе.

Къ этимъ писателямъ непосредственно примыкали слѣдующія поколѣнія. Дѣла было много. Первыя поставленныя задачи, защита правъ языка и народности на существованіе, реставрація прошедшаго, требовали работы и во второмъ поколѣніи; наконецъ нужно было создавать новую литературу, по насущнымъ потребностямъ народа, по господствующимъ формамъ и содержанію новѣйшаго времени, образовать языкъ и пр. Между названными лицами не было таланта первостепеннаго, это были люди самыхъ скромныхъ дарованій, но ихъ задача была популярная, и они были исполнены патріотической ревности. Они издавали старыя чешскія книги, составляли грамматики и словари, — какъ, послѣ Добровскаго, Томса, Карлъ Тамъ; издавали занимательныя и поучительныя книжки для народнаго чтенія,— какъ въ особенности Крамеріусъ [2]); переводили изъ иностранныхъ литературъ; затѣвали чешскія газеты и журналы, — какъ Крамеріусъ, Руликъ, Янъ Неѣдлый („Hlasatel"); сдѣлали попытки чешскаго театра,—какъ братья Тамы, изъ которыхъ младшій, самъ актеръ, написалъ много пьесъ для начинавшагося театра, комедій и уже тогда появившихся патріотическихъ драмъ (vlastenské hry), и наконецъ много переводилъ съ нѣмецкаго, французскаго и итальянскаго. Начинаются собственно поэтическія попытки, Вацлава Тама [3]), но особенно стихотворенія Пухмайера, который сталъ главой первой ново-чешской поэтической школы, гдѣ примыкали къ нему Гнѣвковскій, Войтѣхъ Неѣдный, Іос. Раутенкранцъ и др. Эта поэзія далеко не была самостоятельна, да и не имѣла для этого опоръ ни въ сильныхъ талантахъ, ни въ преданіи: старая литература была слишкомъ далека и не давала никакой пищи новому времени; поэзія народная не считалась еще достойной вниманія; оставались чужіе, особенно нѣмецкіе, псевдоклассическіе образцы, съ поучительнымъ направленіемъ. Публика была пока немногочисленная, мало приготовленная, съ запросами очень скромными.

Всего ближе были образцы нѣмецкіе: Бюргеръ, Глеймъ, Вейссе, также Гёте и Шиллеръ. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія господствующимъ вкусомъ чешской поэзіи стала Гесснерова идиллія: Гесснера перево-

---

[1]) Ueber die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čech. Chrestomathie, 1804.

[2]) Книжка Ант. Рыбички: Život a působení V. M. Krameriusa. Прага, 1859.

[3]) Básní v řeči vázané, 1785, еще очень слабыя.

дили Янъ Неѣдлый, Длабачъ, Ганка, Хмеля; любили также Флоріана, переводили античнаго Ѳеокрита, далѣе Юнговы „Ночи“, „Книдскій Храмъ“ Монтескьё; нравилась морализующая идиллія и мистицизмъ. Въ собственной поэзіи также появились идиллисты и, благодаря этому направленію, имѣли большой успѣхъ сантиментальныя пѣсни Ганки... Это господство идилліи было понятно. Конецъ прошлаго вѣка вообще не зналъ поэтическаго реализма; въ популярныхъ формахъ литературы преобладала поэзія разсудочная, чувство переходило въ сантиментальность, народная жизнь въ идиллію. Какъ въ нашей литературѣ прошлаго вѣка, такъ и у Чеховъ эти мотивы вполнѣ отвѣчали времени и обществу; Гесснеровская идиллія шла какъ нельзя лучше къ начинающейся литературѣ, къ скромнымъ желаніямъ общества, къ потребности читателя найти въ книгѣ поученіе, сантиментальныя мечтанія— и никакъ не грубую дѣйствительность, съ которой еще не помышляли бороться [1]).

Какъ у насъ въ XVIII вѣкѣ, литература была вполнѣ довольна собой и думала, что, повторяя нѣмецкихъ и другихъ чужихъ поэтовъ, она уже имѣетъ великихъ писателей и что ей некому завидовать. Писатели восхваляли другъ друга. „Вацлавъ Тамъ отличается Бюргеровымъ духомъ. Оды Пухмайера напоминаютъ возвышенность Горація, въ басняхъ онъ соперничаетъ съ Лафонтеномъ... Басни Войтѣха Неѣдлаго дышутъ духомъ Виргилія, его стансы приближаются къ Тассовымъ. Янъ Неѣдлый, нашъ возвышенный Цицеронъ, доказалъ, что могъ бы быть чешскимъ Тиртеемъ и Алкеемъ... Юрій Палковичъ могъ бы стать для Чеховъ Гораціемъ. Богуславъ Таблицъ будетъ намъ Тибулломъ и Галлеромъ. Въ Рожнаѣ пребывалъ духъ Анакреона и Біона... Въ исторіи проф. Кинскій своими *отрывками* показалъ, что пойдетъ по стопамъ Тацита“ и проч. Съ негодованіемъ отвергался упрекъ, что у Чеховъ „нѣтъ до сихъ поръ Гомера, Петрарки, Камоэнса, Мильтона, Клопштока“, потому что всякій народъ все-таки имѣетъ что-нибудь свое, чего никто другой не имѣетъ [2]).

На первыхъ порахъ должно было преодолѣвать еще одну важную трудность. Съ самаго начала представился вопросъ, на долго потомъ занявшій чешскихъ писателей,—вопросъ языка. Книжный языкъ остановился на томъ, какъ засталъ его упадокъ литературы въ XVII-мъ столѣтіи; отчасти онъ былъ даже забытъ народомъ, долго не имѣвшимъ книгъ, отчасти испорченъ грамотѣями XVII—XVIII вѣка и во всякомъ случаѣ былъ недостаточенъ для новыхъ понятій. Такимъ

---

[1]) См. характеристику этого времени у Иречка: O stavu literatury české v letech 1815—1820, въ «Часописѣ» 1878; Ферд. Шульца, о чешской балладѣ и романсѣ, въ журн. «Osvěta», 1877.

[2]) Все это въ книжкѣ Себ. Гнѣвковскаго, Zlomky o českém básnictví. Прага, 1820, и его взглядъ вовсе не былъ исключеніемъ въ его литературной школѣ.

образомъ, если литература не хотѣла остаться позади времени или не выше элементарной народной книги, надо было создать новый языкъ. Чешскіе писатели усердно занялись этимъ дѣломъ; но уже вскорѣ открылись спорные пункты. Одни (во главѣ ихъ былъ Янъ Неѣдлый, преемникъ Пельцеля по каѳедрѣ чешскаго языка въ пражскомъ университетѣ) думали, что новая литература должна принять безъ измѣненій языкъ временъ Велеславина, стараго „золотого вѣка“; другіе находили справедливо, что, какими бы достоинствами ни отличался этотъ языкъ въ свое время, онъ недостаточенъ для настоящаго. Спорнымъ пунктомъ была и чешская просодія; одни, какъ Добровскій, ставили въ ея основу удареніе, другіе защищали просодію метрическую; шелъ наконецъ споръ о правописаніи... Послѣ многихъ усилій, недоумѣній, ошибокъ чешскіе писатели, уже въ новомъ поколѣніи, успѣли установить главныя основанія литературнаго языка; черезъ нѣсколько десятилѣтій чешскій языкъ былъ достаточно богатъ, чтобы служить удовлетворительно и поэту, и ученому. Изъ національнаго самолюбія чешскіе писатели стали крайними пуристами: имъ хотѣлось всѣ новыя понятія, вносимыя въ литературу, выразить чешскими словами, и они даже въ тѣхъ областяхъ научныхъ, гдѣ всѣ европейскіе народы не усумнились принять греческія, латинскія и др. слова (напр. физика, химія, ботаника, геологія и т. п.), сочиняли терминологію изъ народныхъ словъ, давая имъ новый смыслъ, и вообще переводили (часто буквально) слова иностранныя, особенно нѣмецкія, такъ что въ первое время—и довольно долго послѣ—новый литературный языкъ, vysoká čeština, былъ мало понятенъ для Чеховъ же, знавшихъ обыкновенный разговорный языкъ.

Этотъ результатъ, образованіе ново-чешскаго литературнаго языка, принадлежитъ уже второй эпохѣ чешскаго возрожденія. — Тотъ приготовительный періодъ, о которомъ мы до сихъ поръ говорили, не прошелъ даромъ: въ слѣдующемъ поколѣніи являются дѣйствительные таланты въ поэзіи, замѣчательные труды въ наукѣ, уровень національнаго сознанія повышается, выростаютъ интересы самого общества.

Около 1820 года писатели чешскіе считаютъ вообще вторую эпоху „Возрожденія“ [1]). Въ это время выступаютъ на поприще въ рядахъ

[1]) Любопытная судьба чешскаго Возрожденія еще не имѣетъ своей цѣльной исторіи. Попытку такой исторіи, съ начала нынѣшняго столѣтія, представляютъ книжки Як. Малаго: Zpomínky a úvahy starého vlastence, Прага 1872 (одно время запрещенныя въ Австріи; русскій переводъ въ «Слав. Ежегодникѣ», II, Кіевъ 1877), и Naše znovuzrození (Наше возрожденіе, обзоръ чешской народной жизни за послѣдніе полъ-вѣка), Прага, 1880. — Обильный матеріалъ для подобной исторіи дали бы біографіи чешскихъ писателей. Общій ходъ политическихъ идей въ австрійскомъ Славянствѣ съ ихъ отраженіями въ литературѣ очень наглядно и безпристрастно изло-

новаго поколѣнія люди, знаменитые потомъ какъ сильные ученые и поэты — Юнгманнъ, Шафарикъ, Палацкій, Колларъ, Челяковскій; является центръ литературно-патріотической дѣятельности съ основаніемъ Чешскаго Музея; сильное впечатлѣніе сдѣлано было открытіемъ древнихъ памятниковъ чешской литературы.

Національный интересъ, возбужденный дѣятелями Іосифовской эпохи и ихъ ближайшими преемниками, мало-по-малу распространялся въ обществѣ. Чувство народности въ массахъ очень живуче, быть можетъ, еще болѣе тамъ, гдѣ народъ окруженъ и переплетенъ съ совсѣмъ чужими стихіями, напоминающими ему объ его особности; даже послѣ вѣкового гнета, оно можетъ проснуться и вновь одушевлять умы, какъ только дается ему точка опоры. Въ Іосифовскую эпоху оно мелькнуло даже въ чешской аристократіи, какъ ни была она онѣмечена: реставрація старины могла имѣть для нея развѣ только занимательность генеалогическую, — тѣмъ не менѣе въ средѣ аристократіи нашлось два-три мецената, которыхъ общественное положеніе поддержало національныя предпріятія. Но главный контингентъ патріотовъ собирался изъ средняго, менѣе онѣмеченнаго класса, и особенно изъ класса сельскаго, гдѣ чешская народность сохранялась всего чаще. Изъ сельскаго народа вышли многіе замѣчательнѣйшіе представители ново-чешской литературы.

Особенную поддержку національно-патріотическому чувству дало основаніе *Чешскаго Музея.* Въ 1818 графъ Коловратъ-Либштейнскій издалъ воззваніе къ „отечественнымъ друзьямъ наукъ", и Музей, открытый на подписныя деньги, скоро обогатился многочисленными пожертвованіями изъ книгъ, старыхъ рукописей, древностей, коллекцій по естественной исторіи и проч. Графъ Каспаръ Штернбергъ былъ первымъ президентомъ составившагося при Музеѣ ученаго общества [1]). Въ Музей поступила между прочимъ Краледворская Рукопись и въ томъ же году присланъ „Любушинъ Судъ". Около Музея стала сосредоточиваться ученая дѣятельность: въ двадцатыхъ годахъ музейное общество начало издавать свой журналъ, продолжающійся до сихъ поръ, подъ названіемъ „Časopis Českého Museum" и представляющій много матеріаловъ и изслѣдованій о чешской и славянской литературѣ и исторіи [2]). Въ 1830 при музейномъ обществѣ открыто было

женъ въ статьяхъ Іос. Первольфа: «Славянское движеніе въ Австріи 1800—1848 г.» въ журналѣ «Русская Рѣчь», 1879, кн. 7—9. Движеніе 1848—49 года разсказано имъ же въ «Вѣстн. Европы», 1879, кн. 4.

[1]) Исторія Музея составлена была В. Небескимъ и издана въ 1868, по-чешски и по-нѣмецки, при пятидесятилѣтнемъ юбилеѣ основанія Музея; Срезневскій, Воспоминаніе о Чешскомъ Музеѣ, въ Зап. Академіи наукъ, 1869, т. XIV.

[2]) Ukazatel k prvním 50 ročníkům Časopisu Musea и пр., составленный кустодомъ унив. библіотеки Вацлавомъ Шульцомъ. Прага, 1878.

отдѣленіе для усовершенствованія чешскаго языка и литературы, а для изданія хорошихъ чешскихъ книгъ основано было особое издательское учрежденіе, подъ именемъ *Матицы* (1831), главная мысль и заботы о которомъ принадлежали другому Штернбергу, Францу.

Открытіе Краледворской Рукописи и „Суда Любуши" произвело впечатлѣніе тѣмъ болѣе сильное, что патріотическое одушевленіе именно искало тогда пищи для національной гордости. Новая критика въ этомъ побужденіи и находитъ источникъ открытія.

Въ послѣдніе годы, какъ мы видѣли ранѣе, мнѣнія ученыхъ инославянскихъ, и самихъ чешскихъ все болѣе и болѣе склоняются къ старому мнѣнію, которое съ самаго начала заподозрило „Судъ Любуши" и даже Краледворскую Рукопись, не говоря о другихъ произведеніяхъ. Доказательства Фейфалика; молчаніе Миклошича; многозначительныя сомнѣнія Ягича; мимоходомъ сдѣланныя, но мѣткія замѣчанія Воцеля; библіографическіе факты Гебауэра; критическія изслѣдованія Петрушевича, Шемберы, Макушева, Ламанскаго, Вашка; несомнѣнныя доказательства поддѣлокъ въ „Mater Verborum" Патеры; заявленныя отрицанія древности „Згорѣльскихъ отрывковъ"; доказанныя новыя подчистки въ Краледворской Рукописи, — вся эта масса аргументовъ, посыпавшихся особенно въ послѣдніе три-четыре года и мало отражаемыхъ защитниками подлинности названныхъ памятниковъ, заставляютъ безпристрастнаго наблюдателя по меньшей мѣрѣ воздержаться отъ историческихъ выводовъ о чешской древности на основаніи этихъ памятниковъ и отъ современныхъ выводовъ національныхъ.

Но чѣмъ бы ни были эти произведенія въ глазахъ новѣйшей скептической критики, онѣ оказали сильное дѣйствіе на ходъ чешскаго возрожденія, — какъ еслибъ онѣ были подлинно древними. Когда они считались такими у патріотовъ, когда сомнѣнія въ ихъ подлинности приписывались у Добровскаго старческой брюзгливости, у „Мефистофеля"-Копитара — недружелюбію къ чешскимъ ученымъ, они не могли не поднять національнаго чувства. Въ самомъ дѣлѣ, далекая старина пѣсенъ, какъ „Забой" или „Любушинъ Судъ", доходившая до временъ языческихъ, указывала древнюю культуру, какой не можетъ указать ни одно изъ другихъ славянскихъ племенъ; Краледворская Рукопись—небольшой отрывокъ большого цѣлаго — открывала вдругъ нѣсколько цикловъ старой поэзіи; далѣе „Згорѣльскіе Отрывки", „Mater Verborum", и довольно долго даже „Пѣсня подъ Вышеградомъ" и пѣсня короля Вацлава, — все это составило предметъ національной гордости, и въ литературѣ другихъ племенъ признали ее вполнѣ законной. Славянскій національный романтизмъ, обратившійся тогда къ изученію и къ возвеличенію старины, нашелъ въ „Судѣ Любуши" и Крал. Рукописи одно изъ своихъ лучшихъ

преданій. Поэмы замѣчены были и въ европейской литературѣ, которая передъ тѣмъ восхищалась сербскими пѣснями Караджича. Гёте, оракулъ нѣмецкой литературы, призналъ высокое значеніе Крал. Рукописи для чешскаго развитія, и это могло сдерживать враговъ національнаго движенія. Вліяніе этихъ памятниковъ на чешскую литературу не подлежитъ сомнѣнію [1]).

Когда первыя сомнѣнія забылись, чешскіе историки смѣло пользовались указаннымъ впечатлѣніемъ и съ негодованіемъ отвергали скептическую критику, особенно какъ злоумышленіе на чешскую народность [2]). Дѣло принимало однако другой оборотъ, если бы критика была права. Противники памятниковъ могли указать, и отчасти указывали, что это дѣло въ концѣ концовъ отозвалось большимъ вредомъ для чешской литературы. Въ той или другой степени подлоги доказаны; они были, конечно, pia fraus, но умолчаніе или защита ихъ производитъ впечатлѣніе неблагопріятное,—тѣмъ болѣе, что ими было извращаемо не только чешское, но и вообще славянское изученіе древности и создавалось призрачное прошедшее, которое отвлекало умы отъ дѣйствительныхъ достоинствъ и по истинѣ многозначительныхъ явленій чешской старины.

Остается желать, чтобы чешскіе патріоты-ученые употребили искреннія усилія — выяснить дѣло sine ira et studio, что̀ послужитъ только къ истинной пользѣ чешскаго національнаго сознанія.

Въ концѣ прошлаго столѣтія, когда явились первые опыты національнаго интереса, и еще въ первые годы нынѣшняго столѣтія, чешскими патріотами не разъ овладѣвало тяжелое раздумье — не присутствуютъ ли они при послѣднихъ дняхъ своей народности; но это не помѣшало имъ, тѣмъ не менѣе, усиленно трудиться; по вѣрному замѣчанію однаго чешскаго историка, ими руководило „благородное чувство долга“ — стоять до послѣдней минуты съ своимъ народомъ и, если можно, отвратить грозящую ему гибель. Эта дѣятельность, почти безъ надеждъ, но съ глубокой привязанностью къ своему народу, хотя бы въ послѣдній его часъ, внушаетъ глубокое уваженіе, и теперь многіе думаютъ, что начинатели дѣла въ концѣ прошлаго вѣка (какъ Добровскій) были сильнѣе умомъ и характеромъ, чѣмъ болѣе популярные ихъ преемники въ нашемъ столѣтіи.

---

[1]) Ср. Небескаго, Kralodv. Rukopis, стр. 141 и далѣе.

[2]) Изъ множества примѣровъ, укажемъ слова В. Зеленаго, въ статьѣ о чешской литературѣ, Slovník Naučný, т. II, отд. 1, стр. 432: «Неудивительно, что тѣ, которые будучи ослѣплены ненавистью, отрицаютъ у славянскихъ народовъ всякую самобытную образованность, всего болѣе обращаютъ свои стрѣлы на эту драгоцѣнную рукопись (т.-е. Краледворскую), какъ на краснорѣчивѣйшее свидѣтельство славянской образованности».

Первые шаги новой чешской литературы были слабы и шатки, но усиленная работа патріотовъ сдѣлала то, что народность очнулась. Кромѣ тѣхъ внутреннихъ обстоятельствъ, о которыхъ мы упоминали, на это имѣли несомнѣнно вліяніе и внѣшнія событія — именно движеніе въ славянскомъ мірѣ, пробудившее и у Чеховъ племенныя сочувствія и надежды: русско-французскія войны и освобожденіе Сербіи.

Въ третьемъ десятилѣтіи нашего вѣка, когда кончилъ свое поприще Добровскій, въ чешской литературѣ дѣйствовалъ уже цѣлый рядъ писателей, которые въ наслѣдіи предшественниковъ нашли прочную основу для дальнѣйшихъ трудовъ, и хотя сомнѣніе закрадывалось къ нѣкоторымъ изъ нихъ, но вообще они уже съ опредѣленными надеждами работали для пробужденія народности. Между ними часто уже были настоящія дѣти народа, которыя, прошедши школу, умножали ряды средняго образованнаго класса и прививали ему свѣжую народность; вступая на литературное поприще, они не забывали потребностей простаго люда и заботились о немъ какъ объ источникѣ народной силы. Въ настроеніи дѣятелей того времени было много идеализма, помогавшаго терпѣливо работать для высокой цѣли, не смущаясь трудностями; любовь къ народности окрашена была сантиментальностью и складывалась въ романтическую теорію. Были времена Священнаго Союза; жизнь политическая не существовала, и тѣмъ болѣе патріотизмъ ограничивался мирнымъ возбужденіемъ чувства народности, воспитаніемъ общества въ этомъ смыслѣ. Область движенія была не велика; за то писатели, еще немногіе, не были раздѣлены политическими мнѣніями и, напротивъ, собирались въ кружокъ подъ давленіемъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Здѣсь явились первые панслависты, которые или возстановляли исторически давнее единство славянскаго міра и сопоставляли его племена въ настоящемъ, или поэтически призывали славянское единеніе для будущаго. Это привлекло на чешскую литературу вниманіе славянскихъ патріотовъ въ другихъ племенахъ,—и составило ея новую историческую заслугу.

Таковъ былъ характеръ второй эпохи чешскаго Возрожденія. Остановимся на его главнѣйшихъ дѣятеляхъ.

Старѣйшимъ изъ нихъ былъ Іосифъ Юнгманнъ (1773—1847). Онъ былъ сыномъ крѣпостного, который былъ церковнымъ причетникомъ и занимался также сапожнымъ мастерствомъ. Родина Юнгманна, Гудлицы, было имѣніе князей Фюрстенберговъ и Юнгманнъ только въ 1779, при вступленіи на учительскую службу, получилъ грамоту, освобождавшую его и потомковъ отъ крѣпостной зависимости, т.-е. „отпускную“. Юнгманнъ учился сначала въ нѣмецкой школѣ ближайшаго города, потомъ въ піаристской гимназіи въ Прагѣ, наконецъ въ пражскомъ университетѣ, въ очень трудныхъ матеріальныхъ

условіяхъ; еще съ гимназіи онъ давалъ уроки, чтобы содержать себя, а потомъ еще двухъ младшихъ братьевъ. Въ университетѣ Юнгманнъ прошелъ сначала философскій факультетъ, потомъ юридическій, думая обезпечить себя юридической карьерой; курсъ онъ кончилъ въ 1799. Университетъ въ то время только-что вышелъ изъ-подъ іезуитскаго управленія, по уничтоженіи ордена: въ философскомъ факультетѣ остались еще три профессора, бывшихъ іезуитовъ (Корнова, Стѐрнадъ, Выдра), которые хотя и не оставили своихъ идей, были однако чешскими патріотами и имѣли свое полезное вліяніе на воспитаніе Юнгманна. Съ другой стороны, были въ профессурѣ и представители просвѣтительныхъ идей конца прошлаго вѣка: профессоръ „изящныхъ наукъ" былъ поклонникъ Монтескьё, Руссо, Юма, Лессинга и т. д. Подъ вліяніемъ профессоровъ этого рода, Юнгманнъ заинтересовался европейскими литературами; кромѣ нѣмецкаго языка, онъ хорошо зналъ по-французски, по-англійски. Школа, пройденная Юнгманномъ, была нѣмецкая; только въ 1792 учреждена была въ пражскомъ университетѣ каѳедра чешскаго языка и литературы. Онъ лучше владѣлъ нѣмецкимъ, нежели чешскимъ языкомъ, но, бывши разъ на родинѣ, онъ долженъ былъ выслушать деревенскія насмѣшки надъ неумѣньемъ говорить и съ тѣхъ поръ рѣшилъ лучше изучить родной языкъ. Съ 1795 года считаютъ начало его литературной дѣятельности—съ участія въ стихотворномъ сборникѣ Пухмайера. Такъ формировалась тогда дѣятельность чешскаго писателя: въ средѣ нѣмецкой школы его образовывали прямыя впечатлѣнія жизни народной, національный патріотизмъ, пробудившійся въ эпоху Маріи-Терезіи и Іосифа II даже въ іезуитскихъ ученыхъ, и наконецъ вліянія освободительной литературы XVIII вѣка. Внѣшняя біографія Юнгманна была очень несложная,—это жизнь педагога и ученаго: онъ былъ въ 1799—1815 учителемъ гимназіи въ Литомержицахъ (Лейтмерицъ), а затѣмъ въ Прагѣ, гдѣ и остался до конца жизни. Съ первыхъ шаговъ въ немъ сказался пламенный патріотъ: школа, гдѣ онъ былъ учителемъ, велась по-нѣмецки; онъ первый сталъ добровольно и безплатно преподавать чешскій языкъ сначала въ гимназіи [1]), потомъ въ духовной семинаріи, гдѣ онъ имѣлъ дѣло со взрослыми юношами, предназначенными къ церковному поприщу; онъ пробуждалъ въ нихъ чувство народности и готовилъ будущихъ патріотовъ,—одинъ изъ его учениковъ, Ант. Марекъ, сталъ послѣ его близкимъ другомъ и сотрудникомъ.

Первымъ значительнымъ трудомъ Юнгманна былъ переводъ „Потеряннаго Рая" Мильтона, начатый въ 1800 и изданный въ 1811. Выборъ объясняется, повидимому, желаніемъ доказать, что чешскій

---

[1]) Гимназія равнялась приблизительно высшимъ классамъ нашихъ гимназій.

языкъ, обработанный въ свое время, хотя послѣ заброшенный, можетъ быть способенъ къ выраженію возвышенныхъ поэтическихъ идей новѣйшей литературы, и дать образчики того, какъ это можетъ быть достигаемо. Юнгманнъ явился нововводителемъ: первые дѣятели Возрожденія, какъ Пельцель, Янъ Неѣдлый, Добровскій (къ которымъ послѣ присоединился Словакъ Юрій Палковичъ), были въ языкѣ консерваторами, настаивая, что новая чешская литература должна строго слѣдовать языку „золотого вѣка", временъ Велеславина; Юнгманнъ признавалъ это съ формальной стороны, но думалъ, что со стороны словаря старый языкъ не въ состояніи служить новѣйшей образованноети, если не обогатится запасомъ новыхъ словъ и выраженій. Поэтому онъ составлялъ новыя слова, и напр. даже прямо вводилъ слова русскія и польскія—уже мечтая о томъ (1810 г., когда написано предисловіе къ „Потерянному Раю"), что Чехамъ „надо постепенно идти на встрѣчу обще-славянскому литературному языку". Впослѣдствіи, возникла изъ этого долго тянувшаяся полемика.

Другой работой Юнгманна былъ, позднѣе сдѣланный, но раньше изданный переводъ „Аталы" Шатобріана (1805), также значительный для развитія новаго литературнаго языка.

Съ 1806 года Янъ Неѣдлый [1]), преемникъ Пельцеля по каѳедрѣ чешскаго языка въ пражскомъ университетѣ, основалъ первый важный журналъ, посвященный вопросамъ литературы: „Hlasatel český" (1806—1808, 1818). Въ первомъ годѣ этого изданія помѣщенъ замѣчательный „Разговоръ о чешскомъ языкѣ", гдѣ Юнгманнъ сначала изображаетъ упадокъ чешскаго языка въ обществѣ, потомъ съ большой діалектической ловкостью и смѣлостью защищаетъ его права на новое развитіе. Дѣйствіе этого „Разговора" было такъ велико, что чтеніе его, какъ говорятъ, именно впервые возбудило патріотическое чувство въ Шафарикѣ и Палацкомъ. Другой энергической защитой чешскаго языка были статьи Юнгманна въ чешскомъ журналѣ, который въ 1813—14 издавалъ въ Вѣнѣ Янъ Громадко. Въ эту пору политическія событія возбуждали самое живое вниманіе Юнгманна, особенно когда близилось столкновеніе Наполеона съ Россіей; Юнгманнъ не сомнѣвался, что дѣло кончится къ успѣху Славянства, что сила Славянства спасетъ и чешскій народъ. Въ 1813 году, когда Русскіе появились въ Чехіи, Юнгманнъ во встрѣчахъ съ ними нашелъ новую опору для своего чешскаго патріотизма. Эти событія вообще подняли національное чувство въ австрійскомъ Славянствѣ; императора Александра, „великаго славянскаго монарха", встрѣчали одами при въѣздѣ въ „равно славянскій городъ Прагу"; русскій генералъ, при вступленіи войскъ

[1]) О немъ въ ст. Антонина Рыбички въ «Освѣтѣ» 1877.

въ Прагу, сдѣлалъ визитъ аббату Добровскому. „Война эта прославила славянскій міръ“, говорилъ Юнгманнъ въ одномъ письмѣ 1814 г.

Съ переѣздомъ въ Прагу, дѣятельность Юнгманна расширилась большимъ личнымъ вліяніемъ, какое имѣлъ онъ на молодое поколѣніе, какъ авторитетный писатель, знатокъ языка и одушевленный патріотъ. Добровскій былъ довольно далекъ отъ новаго поколѣнія писателей; консерваторъ Неѣдлый, вліятельный по своему положенію, упорно требовалъ поклоненія предъ старымъ преданіемъ и лести своему самолюбію; Юнгманнъ становился руководителемъ людей, которымъ хотѣлось идти дальше въ развитіи чешской литературы, которые искали помощи и сочувствія для своего идеалистическаго патріотизма. Столкновеніе двухъ обозначившихся литературныхъ партій произошло на вопросѣ о правописаніи, когда Неѣдлый защищалъ старую орѳографію Братьевъ, а Юнгманнъ, Ганка и др. распространяли систему Добровскаго. Вражда Неѣдлаго къ Юнгманну дошла до полицейскаго доноса. Когда совершилось открытіе „Зеленогорской“ рукописи, Юнгманнъ принялъ ее такъ горячо, что Добровскій заподозрилъ его, какъ участника въ поддѣлкѣ, въ которой самъ былъ убѣжденъ.

Въ 1818, Юнгманнъ принялъ живѣйшее участіе въ основаніи Чешскаго Музея. Ему хотѣлось, чтобы Музей сталъ именно двигателемъ новаго развитія чешской литературы; первый совѣтъ, управлявшій Музеемъ, еще мало вѣрилъ въ силы чешскаго языка; изданіе музейнаго журнала начато было на двухъ языкахъ, но Юнгманнъ стоялъ на своемъ, и въ 1830, благодаря его усиліямъ, основалась „Чешская Матица“, какъ особое отдѣленіе Музея, предназначенное именно для развитія чешской литературы; „Часописъ“ Музея вскорѣ сталъ издаваться только по-чешски, потому что нѣмецкое изданіе не шло. Самъ Юнгманнъ еще въ 1821 году, вмѣстѣ съ молодымъ тогда, извѣстнымъ натуралистомъ Яномъ Преслемъ, основалъ первый научный журналъ „Krok“, особенно съ цѣлью выработки чешскаго научнаго языка.

Между тѣмъ Юнгманнъ продолжалъ работать—всего болѣе надъ двумя капитальными трудами, составлявшими дѣло первостепенной важности для возрождавшейся литературы и давно его занимавшими. Одинъ изъ нихъ была „Исторія чешской литературы“ (1825, 2-е изданіе 1849), обширный библіографическій трудъ, снабженный краткими свѣдѣніями о ходѣ просвѣщенія, языка и книжной дѣятельности: здѣсь нѣтъ настоящей исторіи литературы, но былъ богатый указатель матеріала, доведенный до рѣдкой полноты. Другимъ трудомъ былъ „Чешско-нѣмецкій Словарь“ (5 огромныхъ томовъ in 4°, 1835—1839), надъ которымъ Юнгманнъ работалъ съ 1800 года. Этотъ трудъ важенъ не только въ смыслѣ обыкновеннаго словаря: онъ составлялся въ то время,

когда у Чеховъ шелъ вопросъ о созданіи новаго литературнаго языка, и Юнгманнъ, вмѣстѣ съ собираніемъ наличнаго запаса языка, думалъ и о другой задачѣ—собрать средства, которыя могли бы служить для выраженія новыхъ идей. Обѣ эти работы, Исторія и Словарь, представляютъ плодъ необычайнаго трудолюбія; обѣ должны были связать новую литературу съ ея историческимъ прошедшимъ и обѣ доселѣ остаются незамѣненными. Труды Юнгманна имѣли такимъ образомъ широкое національное значеніе, какъ впослѣдствіи труды Шафарика и Палацкаго, и поставили его имя въ ряду знаменитѣйшихъ именъ славянскаго возрожденія" [1]).

Новая литература окружена была такими препятствіями, недружелюбіемъ или настоящей враждой Нѣмцевъ и онѣмеченныхъ Чеховъ, опасливостью и подозрѣніями властей, господствомъ нѣмецкаго языка въ школѣ и управленіи, безучастіемъ массы, что первые дѣятели чешской литературы невольно собирались въ одинъ солидарный кружокъ, гдѣ они другъ друга понимали и могли вести общее дѣло. Оттого, несмотря на очень неблагопріятныя внѣшнія условія въ эпоху Священнаго Союза и правленія Меттерниха, именно въ эту эпоху мы видимъ рядъ энергическихъ дѣятелей въ національномъ смыслѣ, которые въ разныхъ областяхъ литературы призывали на трудъ и борьбу для защиты національности.

Почти поколѣніемъ моложе Юнгманна были писатели, которые вмѣстѣ съ нимъ положили чешскому возрожденію прочное основаніе. Старѣе другихъ былъ Вацлавъ Ганка (1791—1861), одинъ изъ ревностнѣйшихъ тружениковъ новой литературы. Сынъ простаго, хотя зажиточнаго селянина, онъ встрѣчалъ въ домѣ отца проѣзжихъ торговцевъ изъ австрійскаго Славянства, польскихъ и сербскихъ солдатъ, и этимъ путемъ рано освоился съ разными славянскими нарѣчіями. Но ему было ужъ шестнадцать лѣтъ, когда родители послали его въ болѣе серьёзную школу, чтобъ обезпечить его отъ солдатства. Онъ учился въ Краловеградцѣ и въ Прагѣ, отчасти въ Вѣнѣ, прошелъ гимназію и университетъ. Въ Прагѣ, Ганка съ 1813 сталъ извѣстенъ Добровскому, который и сдѣлался его настоящимъ учителемъ въ славянскихъ предметахъ. Изъ Ганки не вышелъ замѣчательный

---

[1]) Изъ сочиненій Юнгманна назовемъ еще «Slovesnost», 1820, 2-е изд. 1845, учебникъ словесности и хрестоматія; «Sebrané spisy veršem i prosou», 1841; «Zapisky», очень любопытныя въ біографическомъ и историко-литературномъ отношеніи, изданы лишь недавно въ «Часописѣ» 1871 (ср. Ферд. Шульца въ журналѣ «Osvěta» 1871.

Біографію составилъ В. Зеленый: Život Jos. Jungmanna, Прага, 1873—74. Въ 1873 праздновался столѣтній юбилей дня его рожденія, и тогда явилось нѣсколько біографическихъ брошюръ. На русскомъ языкѣ: Нилъ Поповъ, въ «Журн Мин. Нар. Пр.», 1873, іюль; Ник. Задерацкій, І. Юнгманнъ. Кіевъ, 1874.—Упоминанія объ Юнгманнѣ въ письмахъ Шафарика къ Погодину (М. 1880, о которыхъ далѣе).—Письма Юнгманна къ Коллару, въ «Часописѣ», 1880.

ученый, но онъ неутомимо работалъ въ розысканіи и печатаніи старыхъ памятниковъ. При открытіи Чешскаго Музея, Ганка сдѣланъ былъ его библіотекаремъ и остался на этомъ мѣстѣ до самой смерти: въ этомъ качествѣ онъ имѣлъ случай завязать много личныхъ связей съ писателями другихъ славянскихъ племенъ, что́ было очень важно, когда славянскія литературы имѣли интересъ во взаимныхъ сношеніяхъ, но еще слабо были знакомы между собою. Въ 1848, Ганка принялъ живое участіе въ политическомъ движеніи чешскаго общества, участвовалъ въ славянскомъ съѣздѣ, былъ однимъ изъ дѣятельныхъ членовъ политическаго клуба „Славянская Липа", во время пражскихъ смутъ подвергался опасности, когда солдаты стрѣляли въ народный Музей... Свою литературную дѣятельность Ганка началъ еще студентомъ,—стихотвореніями въ упомянутомъ журналѣ Громадка (Prvotiny pěkných umění) и сборникѣ Пухмайера, потомъ въ отдѣльной книжкѣ [1]). Ганковы пѣсни очень нравились, такъ что нѣкоторыя изъ нихъ стали народными. Онъ издалъ потомъ сборникъ переводовъ изъ сербской народной поэзіи: Prostonárodní srbska musa do Čech převedena, 1817, и впослѣдствіи переводилъ еще на чешскій языкъ польскія пѣсни, Слово о полку Игоревѣ. Но затѣмъ труды Ганки посвящены были всего больше чешской исторіи, литературѣ, археологіи, нумизматикѣ. Онъ началъ изданіемъ памятниковъ старой литературы: Starobylá skládanie (5 томиковъ, 1817—1823), главнымъ образомъ по матеріаламъ, даннымъ ему Добровскимъ, но гдѣ однако нашли мѣсто и пѣсня о Вышеградѣ и Любовная пѣсня короля Вацлава; въ 4-мъ томикѣ, 1819, въ первый разъ явилась Краледворская Рукопись. Затѣмъ слѣдовали: сборникъ старинныхъ словарей, гдѣ появляется и „Mater Verborum"; Далимилъ, въ чешскомъ и позднѣе въ старо-нѣмецкомъ текстѣ; трактатъ Гуса; Реймское евангеліе; Никодимово евангеліе въ старо-чешскомъ текстѣ; рядъ изданій Краледворской рукописи (и при ней „Любушина Суда"), и одно изъ нихъ — полиглотта на всѣхъ славянскихъ и многихъ европейскихъ языкахъ, и проч. Всѣ эти труды имѣли большое значеніе въ то время, когда вниманіе направлено было въ особенности на изученіе прошедшаго и народности. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ганка былъ самымъ ревностнымъ панславистомъ; въ свое время въ Прагѣ это былъ лучшій практическій знатокъ славянскихъ нарѣчій и ревнитель славянской взаимности. Въ чемъ оно должно состоять — кромѣ сношеній между славянскими археологами—въ этомъ еще не отдавали себѣ яснаго отчета, но считали необходимымъ кромѣ ближайшаго отечества—Чехіи, напоминать о великомъ отечествѣ—Славянствѣ. При мысли объ этомъ идеальномъ

---

[1]) Dvanáctero písní, 1815, потомъ въ размноженномъ изданіи: Hankovy písně. 5-е изд. 1851.

отечествѣ естественно представлялась мысль о необходимости общаго литературнаго языка, который бы связалъ разбросанныя нарѣчія: Ганка готовъ былъ думать, что этимъ языкомъ долженъ сдѣлаться русскій, принявши въ себя славянскія стихіи — какъ языкъ самаго многочисленнаго и сильнаго славянскаго племени. Поэтому въ его славянскихъ сочувствіяхъ первое мѣсто занимали именно Русскіе: онъ старался распространять между своими соотечественниками знаніе русскаго языка и личными сношеніями заинтересовать Русскихъ въ панславизмѣ [1]). Представленія его, какъ многихъ другихъ Чеховъ, вообще мало знающихъ русскую жизнь, о славянскомъ настроеніи и планахъ русской политики были преувеличенныя, но онъ до конца надѣялся, что спасеніе Славянства отъ ига чужой власти и чужой народности заключается въ Россіи. Онъ умеръ съ послѣдними словами на русскомъ языкѣ.—Такимъ образомъ онъ не безъ основанія слылъ за руссофила, и это не было благопріятнымъ качествомъ въ глазахъ и властей, и богемскихъ Нѣмцевъ, и тѣхъ Чеховъ, которые имѣли о русскихъ порядкахъ иное мнѣніе, нежели Ганка.

Исторія поддѣлокъ еще не разъяснена; новѣйшіе критики (Шембера, Ламанскій, Вашекъ) не сомнѣваются чи мало въ ревностномъ фальсификаторствѣ Ганки, особливо относительно „Суда Любуши" и Краледв. Рукописи, и прямо называютъ его авторомъ послѣдней наперекоръ тѣмъ, которые считали Ганку слишкомъ мало даровитымъ и слишкомъ безпомощнымъ (какъ Ганушъ, Вртятко, Иречекъ). Какъ бы то ни было, когда сдѣлано было послѣднее нападеніе, явно цѣлившее на Ганку (въ Tagesbote aus Böhmen, 1859) и въ послѣдовавшемъ процессѣ судъ призналъ намеки за клевету, Ганка былъ, какъ говорятъ, тяжело пораженъ, и это ускорило его смерть. Похороны его были устроены съ чрезвычайною торжественностью [2]).

Выше упомянуты: Іосифъ Линда (1793—1834), авторъ историческаго романа изъ чешской древности: Zaře nad pohanstvem nebo

---

[1]) О руссофильствѣ Ганки см. напр. у Малаго, Znovuzrození, стр. 21.

[2]) Біографія (панегирикъ) Ганки, писанная съ его участіемъ Легисъ-Глюкзелихомъ, въ нѣмецкомъ альманахѣ «Libussa», Prag, 1852, стр. 285 — 369; рядъ біографій въ чешскихъ газетахъ 1861, особенно въ «Народныхъ Листахъ»; Oslava památky Václava Hanky v Hořiněvsi dne 7 září, 1862. Прага, 1862; Срезневскій, въ Извѣстіяхъ II Отд. Акад. Наукъ, т. IX; П. Лавровскій, «Воспоминанія о Ганкѣ и Шафарикѣ», въ годичномъ актѣ Харьк. унив. 1861; П. Дубровскій въ «Отеч. Запискахъ», 1861, № 2. «О сношеніяхъ В. В. Ганки съ Росс. Академіею и о вызовѣ его въ Россію», М. Сухомлинова, въ сборникѣ «Братская Помочь», Спб. 1876, стр. 309—318. Далѣе: Переписка Добровскаго и Ганки, въ «Часописѣ» 1870; статья А. Вртятка объ отношеніяхъ Ганки къ Добровскому, тамъ же 1871. Отзывы Гануша въ «Die gefälschten Gedichte». Наконецъ, см. названныя прежде статьи В. Ламанскаго и книжки Шемберы и Вашка.

Біографіи Линды и Свободы выше указаны — въ «Освѣтѣ» 1879. Укажемъ еще статью І. Иречка объ оригинальныхъ стихотвореніяхъ Ганки за 1813 — 19 г., въ «Часописѣ» 1879.

Václav a Boleslav, Прага, 1818, который произвелъ въ свое время большое впечатлѣніе; и Вацлавъ-Алоизъ Свобода (1791—1749, Наваровскій), дѣятельный писатель, поэтъ и педагогъ, переводчикъ Краледворской Рукописи на нѣмецкій языкъ при ея первомъ появленіи, 1819. Обоихъ этихъ писателей привлекали также къ вопросу о поддѣлкѣ древнихъ чешскихъ памятниковъ.

Біографія Шафарика есть исторія замѣчательныхъ ученыхъ трудовъ, получившихъ великое значеніе и славу во всемъ славянскомъ мірѣ. Павелъ-Іосифъ Шафарикъ (или Шафаржикъ, 1795—1861), по происхожденію Словакъ, родился въ горной деревнѣ въ Сѣверной Венгріи, гдѣ отецъ его былъ евангелическій священникъ. Это былъ оригинальный и воспріимчивый ребенокъ; до 8 лѣтъ, онъ уже два раза прочелъ всю Библію. Прошедши низшіе и высшіе классы гимназіи, онъ поступилъ въ 1810 въ евангелическій лицей, гдѣ провелъ пять лѣтъ студентомъ и вмѣстѣ домашнимъ учителемъ. Въ школѣ онъ имѣлъ прекрасныхъ ученыхъ наставниковъ; за то совсѣмъ забывалъ о народности, которую школа старалась искоренять. Только на 16-мъ году возникъ предъ нимъ этотъ вопросъ, когда попалъ ему въ руки упомянутый Юнгманновъ „Разговоръ о чешскомъ языкѣ", произведшій на него сильное, рѣшительное впечатлѣніе. Подъ этимъ вліяніемъ, онъ, уже девятнадцати лѣтъ, издалъ книжку стихотвореній: Tatranská Můza s ljrau slowanskau (въ Левочѣ, 1814), затѣмъ съ нѣсколькими друзьями, между прочимъ съ Колларомъ, собиралъ словацкія пѣсни [1]); нѣсколько стихотвореній помѣщено имъ въ журналѣ Громадка. Въ 1815, Шафарикъ отправился на свои скромныя средства въ Іену, которая была тогда на верху своей славы: здѣсь, среди изученій философскихъ, историческихъ, филологическихъ, онъ не забывалъ и славянской музы, перевелъ Аристофановы „Облака", Шиллерову „Марію Стюартъ", занимался чешскою просодіей. Возвращаясь домой въ 1877, въ Прагѣ онъ познакомился съ Добровскимъ, Юнгманномъ, Ганкою; въ Пресбургѣ, гдѣ онъ былъ воспитателемъ въ богатомъ семействѣ, онъ дружески сошелся съ Палацкимъ, и вмѣстѣ съ нимъ, а также и съ участіемъ Юнгманна издалъ, 1818, книжку: „Počátkowé českého básnictwj", которая оспаривала ученіе Добровскаго о чешской просодіи (Добровскій основывалъ ее на удареніи, Шафарикъ — на системѣ метрической), а въ особенности произвела переполохъ въ старой литературной школѣ псевдо-классиковъ и идиллистовъ, такъ какъ предъявила новыя и высокія поэтическія требованія, при кото-

[1]) Pjsně swětské lidu Slowenského w Uhřjch; изданы были Колларомъ, Пештъ, 1823—27. Во 2-й части предисловіе Шафарика. Этотъ сборникъ вошелъ во второе размноженное собраніе Коллара, 1834—35.

рыхъ самомнѣніе старой школы несло жестокій ударъ [1]). Шафарику предлагали профессуру въ разныхъ евангелическихъ училищахъ Сѣверной Венгріи; но испытанное имъ самимъ притѣсненіе славянской народности въ этихъ школахъ было ему противно, и онъ предпочелъ въ 1819 приглашеніе въ Новый-Садъ, гдѣ сталъ профессоромъ и начальникомъ гимназіи сербской православной общины. Онъ пробылъ здѣсь до 1833. Новый-Садъ, въ сосѣдствѣ съ Карловцами, гдѣ жилъ сербскій патріархъ, съ Сербіей, съ Фрушскою горой, былъ своего рода сербскимъ центромъ, и Шафарикъ воспользовался этимъ для обширнаго изученія сербской книжной старины и языка, пріобрѣлъ здѣсь много рѣдкихъ книгъ и рукописей. Здѣсь начался и рядъ замѣчательныхъ ученыхъ работъ, гдѣ ставились историческіе вопросы о цѣломъ Славянствѣ. Такова была первая въ своемъ родѣ все-славянская *Исторія литературы* [2]), гдѣ славянскія племена собраны какъ цѣлое,—трудъ почти исключительно библіографическій, но освѣщаемый философско-историческими объясненіями. Тогда же онъ принялся за переработку этой книги уже въ формѣ чисто біографической и библіографической; къ началу тридцатыхъ годовъ приготовилъ только сербо-хорватскій и словинскій отдѣлъ, но съ тѣхъ поръ этотъ трудъ остался неконченнымъ и изданъ былъ уже по его смерти [3]). Въ 1828 вышелъ первый трактатъ по славянской древности, затѣмъ изслѣдованіе о древне-сербскомъ языкѣ [4]). Послѣднее было очень важно по постановкѣ предмета и по новымъ даннымъ для рѣшенія вопроса о церковно-славянскомъ языкѣ. Между тѣмъ положеніе Шафарика въ Новомъ-Садѣ становилось непріятнымъ вслѣдствіе притѣсненій венгерскихъ властей, и онъ рѣшилъ уйти. Но уйти было некуда; одно время была рѣчь о приглашеніи его въ Петербургскую академію, дѣло однако не состоялось и чешскіе друзья вызвали его въ Прагу, гдѣ, хотя скромно, на нѣсколько лѣтъ обезпечили его складчиной: къ послѣдней потомъ присоединилась и денежная помощь изъ Москвы. Положеніе чешскихъ дѣлъ къ половинѣ 1830-хъ годовъ уже замѣчательно измѣнилось: движеніе, на которое сначала почти не обращалось властями вниманія, выростало и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждало подозрѣнія правительства,— такъ что Шафарикъ, поселившись въ Прагѣ, не обошелся безъ шпіонскихъ заботъ полиціи, которыя иногда его очень разстраивали. Но работа продолжалась, и въ 1837 докончено было изданіе его знаме-

---

[1]) Противъ этого сочиненія Шафарика и Палацкаго направлена была, изъ старой школы, та книжка Гнѣвковскаго, о которой мы выше упоминали.

[2]) Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, von Paul Joseph Schaffarik etc. Ofen, 1826, VIII и 524 стр.

[3]) Geschichte der südslawischen Literatur, herausg. von J. Jireček, Prag, 1864—65, 3 части.

[4]) Ueber die Abkunft der Slawen, nach Surowiecki. Ofen, 1828; Serbische Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart, ib. 1833.

нитѣйшаго труда: *Славянскихъ Древностей* (Slovanské Starožitnosti), который съ тѣхъ поръ былъ исходной точкой всѣхъ трудовъ по изученію древней славянской исторіи [1]). Книга эта доставила Шафарику широкую ученую славу; имя его стало однимъ изъ самыхъ сильныхъ авторитетовъ въ славянскихъ изученіяхъ. Сочиненіе было разсчитано на два отдѣла: историческій и бытовой. Вышедшая книга была первымъ отдѣломъ; Шафарикъ приступалъ и ко второму, но планъ остался невыполненнымъ, изъ второй части было напечатано лишь нѣсколько частныхъ изслѣдованій по древней этнографіи и миѳологіи [2]); онъ увидѣлъ, что для изображенія бытовой жизни Славянства недостаетъ еще необходимыхъ подготовительныхъ работъ, особенно филологическихъ. Онъ обратился къ филологіи—и здѣсь опять явилось нѣсколько важныхъ изслѣдованій... При всей обширной учености Шафарика, не обошлось безъ крупныхъ ошибокъ: одной изъ такихъ была статья о мнимомъ Чернобогѣ (отысканномъ въ Бамбергѣ), которому Шафарикъ повѣрилъ, благодаря Коллару, о чемъ послѣ съ досадою вспоминалъ. Въ другую и великую ошибку скептическіе критики ставятъ ему теперь изданіе древнихъ чешскихъ памятниковъ, съ учеными комментаріями, сдѣланное имъ вмѣстѣ съ Палацкимъ [3]), также какъ участіе въ книжкѣ графа І. М. Туна [4]): тамъ и здѣсь рѣчь шла особенно о памятникахъ заподозрѣнныхъ (а теперь и прямо отвергаемыхъ), и Шафарику дѣлаютъ упрекъ въ недостаткѣ критики, съ какимъ онъ допустилъ сдѣлать изъ себя защитника поддѣлки и обмана. Въ защиту Шафарика можно сказать, что въ то время дѣло не было однако такъ ясно и, напр., даже *теперь* [5]) ученые весьма авторитетные, какъ Срезневскій, въ виду всѣхъ новыхъ возраженій и не связанные чешскими пристрастіями, упорно защищали и „Mater Verborum" и „Судъ Любуши". Для чешскихъ ученыхъ вопросъ о древнихъ памятникахъ чешской литературы спутывался еще враждебными отношеніями съ главнымъ представителемъ *тогдашняго* отрицанія, Копитаромъ, который однако своихъ подозрѣній или обвиненій не сопроводилъ ясными доказательствами [6]), и взгляды писателей невольно подпадали впечатлѣнію

---

[1]) Книга была переведена на польскій языкъ Боньковскимъ, 1842; на русскій — Бодянскимъ, М. 1848 (2-е изданіе, въ пяти книгахъ; 1-е не было окончено); нѣмецкій переводъ Мозига фонъ-Эренфельда и Генр. Вуттке, 1834—44.

[2]) Въ «Часописѣ», гдѣ кромѣ того напечатано было много другихъ меньшихъ трудовъ Шафарика.

[3]) Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache. Prag, 1840.

[4]) Gedichte aus Böhmens Vorzeit, Prag, 1845, съ предисловіемъ Шафарика и примѣчаніями Палацкаго. Ср. В. Ламанскаго, въ «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1879, іюль.

[5]) Черезъ *сорокъ лѣтъ* послѣ книги Шафарика и Палацкаго.

[6]) Выше мы уже говорили о Копитарѣ. Вражда его съ чешскими учеными все еще не разъяснена. Ср. напр. отзывы въ біографіи Шафарика, Slovník Naučný, IX, стр. 5; переписку Челяковскаго съ Станкомъ, въ «Часописѣ», 1871, стр. 228—229; самые враждебные отзывы о «Мефистофелѣ»-Копитарѣ въ письмахъ Шафарика къ Погодину.

несправедливости обвиненій.... Въ 1842 Шафарикъ издалъ небольшой по объему, но капитальный трудъ опять все-славянскаго значенія: Slovanský Narodopis, сжатое обозрѣніе славянской этнографіи, съ первой картой славянскихъ племенъ [1]). Неопредѣленность внѣшняго положенія такъ тяготила Шафарика, что въ 1837 онъ рѣшился принять должность, которая очень мало отвѣчала его вкусамъ—цензорство; онъ оставилъ его въ 1847, не избѣжавши непріятностей за пропускъ книгъ, весьма, впрочемъ, невинныхъ (напр. Cesty a procházky po halické zemi, Запа, 1844). Еще въ 1841 г. онъ получилъ мѣсто кустода въ пражской публичной библіотекѣ.

Извѣстность его между тѣмъ возрастала. Ему предлагами славянскую профессуру въ Бреславлѣ, Берлинѣ, — тогда нашли нужнымъ оказать ему вниманіе и въ Австріи. Въ 1848, при самомъ началѣ революціонныхъ смутъ онъ получилъ профессуру славянской филологіи въ пражскомъ университетѣ, но оставилъ ее въ слѣдующемъ году, сдѣлавшись библіотекаремъ университетской библіотеки. Въ событіяхъ 1848 года онъ принялъ дѣятельное участіе какъ членъ славянскаго съѣзда; печальный исходъ событій, наступившая реакція на него особенно тяжело подѣйствовали. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ Шафарикъ останавливался въ особенности на изслѣдованіи старой чешской литературы [2]); на старинѣ южно-славянской [3]), наконецъ на вопросѣ о происхожденіи глаголицы [4]). Въ этомъ вопросѣ Шафарикъ держался сначала мнѣнія, что глаголица не старѣе кириллицы и повидимому даже устроена была по ея образцу; но подъ конецъ измѣнилъ совсѣмъ свой взглядъ и утверждалъ, что глаголица и была то славянское письмо, которое было изобрѣтено Кирилломъ, а что такъ-называемая нынѣ кириллица была не что иное, какъ упрощеніе ея, сдѣланное ученикомъ славянскихъ апостоловъ Климентомъ... Здоровье его между тѣмъ падало; къ физической болѣзни присоединялись и припадки болѣзни душевной. Шафарикъ умеръ 14—26 іюня 1861 г. [5]).

---

1) Русскій переводъ Бодянскаго, М. 1843.

2) Rozbor staročeské literatury, 1842 и 1845, въ Запискахъ чешскаго ученаго общества; Klasobrani na poli staroč. literatury, въ «Часописѣ», 1847, 1848, 1855; старо-чешская грамматика при «Выборѣ», I, и проч.

3) Památky dřevního písemnictví Jíhoslovanův. Прага, 1851; 2-е изданіе 1873.

4) Pohled na prvověk hlaholského písemnictví, въ «Часописѣ» 1852 (русскій пер. В. Войтковскаго, Журн. Мин. Нар. Пр., 1855, № 7—8); Památky hlah. písemn. Прага, 1853; Glagolitische Fragmente, ib. 1857; Ueber die Heimath und den Ursprung des Glagolitismus, ib. 1858. Русскій переводъ Шемякина, М. 1861. Къ этому послѣднему сочиненію относится упомянутое прежде изслѣдованіе А. Е. Викторова.

5) J. Jireček, P. J. Schafarik, biographisches Denkmal, въ Oesterr. Revue, 1865, B. 8; Slovník Naučný, s. v., 1872. Письма Шафарика къ Коллару, очень любопытный, но еще не разработанный матеріалъ для біографіи Шафарика и для исторіи Возрожденія, въ «Часописѣ» 1873, 1874, 1875; къ хорватскому писателю Ми-

Послѣ Добровскаго, Шафарикъ былъ самымъ сильнымъ ученымъ авторитетомъ въ изученіи Славянства. Его „Исторія славянской литературы по всѣмъ нарѣчіямъ", „Древности" и „Этнографія" были настоящимъ откровеніемъ научнаго панславизма. Хотя труды Шафарика были обыкновенно чисто спеціальные и, несмотря на славянскій патріотизмъ, часто писаны были по-нѣмецки, они произвели чрезвычайно сильное дѣйствіе во всѣхъ славянскихъ литературахъ: онѣ нашли своихъ толкователей, которые распространяли дальше сознаніе историческаго единства племенъ въ древности и необходимости нравственнаго единства въ настоящемъ. Самъ Шафарикъ былъ ревностнымъ панславистомъ въ томъ смыслѣ, какъ эти взгляды господствовали въ то время; но, кажется, послѣднимъ ихъ выраженіемъ была горячая рѣчь на славянскомъ съѣздѣ [1], — позднѣе ему все больше представлялись слабыя и мрачныя стороны славянскаго дѣла. Въ послѣднее время противъ него слышались нареканія со стороны славянскихъ патріотовъ-идеалистовъ.

Рядомъ съ Шафарикомъ стоитъ другой руководящій представитель новой чешской литературы, иногда раздѣлявшій его труды, Палацкій, „отецъ чешской исторіографіи". Францъ Палацкій (1798—1876) родился въ Преровскомъ округѣ на Моравѣ и происходилъ изъ стараго рода, который держался нѣкогда Братской Общины, хранилъ втайнѣ и послѣ Фердинандова погрома ея ученія, и по объявленіи вѣротерпимости при Іосифѣ II принялъ Аугсбургское исповѣданіе. Послѣ обученія въ низшихъ школахъ, Палацкій въ 1812 поступилъ въ евангелическій лицей въ Пресбургѣ. Ученье шло по-латыни, но Палацкій прибавлялъ къ школьнымъ занятіямъ свои собственныя, изучалъ новые языки и ихъ литературу; онъ готовилъ себя къ поприщу евангелическаго проповѣдника, но потомъ оставилъ эту мысль, занявшись философіей Канта. Національныя стремленія возбудило въ немъ чтеніе старой и новой чешской литературы; особенное впечатлѣніе произвелъ на него, какъ на Шафарика, „Разговоръ о чешскомъ языкѣ" Юнгманна. Въ Пресбургѣ онъ работалъ отчасти при изданіи Палковича „Tydennik", но Палковичъ былъ человѣкъ старой школы, и Палацкій наконецъ съ нимъ разошелся. Въ литературномъ мірѣ имя Палацкаго стало извѣстно по переводу нѣсколькихъ пѣсенъ изъ „Оссіана" (1817), которыя произвели тогда большое впечатлѣніе

клушичу, въ «Архивѣ» Кукульевича, XII, 1875; обильный матеріалъ въ «Письмахъ къ Погодину изъ славянскихъ земель, 1835—1861», изданныхъ Н. Поповымъ, М. 1879—80: въ 1-мъ выпускѣ этого изданія упоминанія о Шафарикѣ въ письмахъ Бодянскаго, во 2-мъ выпускѣ 144 письма самого Шафарика, съ 1835 до 1858 года.

Изданіе сочиненій: Sebrané Spisy, Прага, 1862—65, еще не полное; въ 3-мъ томѣ—частныя изслѣдованія по древности, миѳологіи, исторіи литературы, филологіи.

[1]) Первольфъ, въ «Вѣстникѣ Европы», 1879, апрѣль.

въ кругу чешскихъ стихотворцевъ, такъ какъ Оссіанъ впервые являлся въ чешской литературѣ. Въ лицеѣ и долго послѣ его занимала особенно эстетика. Выше сказано объ его сближеніи съ Шафарикомъ и объ изданіи книжки: „Počatkowé českého básnistwj". Нѣсколько лѣтъ затѣмъ Палацкій провелъ въ качествѣ домашняго учителя въ богатыхъ домахъ, продолжая литературныя занятія; нѣсколько статей по эстетикѣ явились въ журналѣ „Krok".

Выше мы упомянули, что этотъ журналъ основали, въ 1821, Юнгманнъ и Янъ-Сватоплукъ Пресль (1791 — 1849), ученый медикъ и натуралистъ, составившій себѣ и въ области литературы большое имя своими стремленіями дать возникающей литературѣ научное содержаніе и выработать научный языкъ. Главнымъ трудомъ Пресля была обширная прикладная Ботаника (Rostlinař, 1820 — 35, вмѣстѣ съ графомъ Берхтольдомъ), затѣмъ рядъ популярно-научныхъ книгъ по разныхъ отраслямъ естествознанія. Небольшой журналъ его „Krok", 1821—1837, былъ первымъ опытомъ научнаго изложенія на новомъ чешскомъ языкѣ, и привлекалъ лучшія тогдашнія литературныя силы.

Въ 1823 году Палацкій поселился въ Прагѣ, гдѣ его дружески встрѣтили Юнгманнъ, Пресль, Добровскій, Ганка, какъ новую обѣщающую силу. Случайная работа, которую Добровскій предложилъ Палацкому исполнить для Гормайрова „Taschenbuch"—именно, исторія рода графомъ Штернберговъ, окончательно направила Палацкаго на исторіографическое поприще. Добровскій сблизилъ его съ графами Штернбергами, Каспаромъ и Францомъ, и послѣдній, человѣкъ просвѣщенный, одинъ изъ немногихъ тогдашнихъ аристократовъ, которые были и чешскими патріотами, въ особенности цѣнилъ Палацкаго, и немало помогъ его личнымъ и ученымъ успѣхамъ. По настояніямъ Палацкаго у Штернберговъ, совѣтъ Чешскаго Музея (во главѣ его стоялъ Каспаръ Штернбергъ) рѣшилъ съ 1827 г. издавать отъ Музея два журнала, одинъ на нѣмецкомъ, другой на чешскомъ языкѣ: редакторомъ для обоихъ выбранъ былъ Палацкій. Мы упоминали выше, что нѣмецкій журналъ не имѣлъ успѣха, и въ 1831 былъ закрытъ; за то чешскій установился вполнѣ и сдѣлался однимъ изъ важнѣйшихъ ученыхъ органовъ чешской литературы: это—„Casopis Ceského Museum", продолжающійся донынѣ. Палацкій редактировалъ его до 1838 г.

Между тѣмъ дѣятельность Палацкаго все расширялась. Въ 1827, чешскіе чины, въ которыхъ также стало пробуждаться національное чувство, предлагали Палацкому взять на себя продолженіе „Чешской исторіи" писателя прошлаго вѣка Пубички [1]). Палацкій не отказался,

---

[1]) Chronologische Geschichte Böhmens, Prag, 1770—1808, 6 частей, до Фердинанда II. Пубичка (1722—1807) былъ писатель старой іезуитской школы; книга, хотя трудолюбиво писанная, но сухая и нескладная.

но представилъ свой собственный планъ, по которому должна бы быть написана чешская исторія; планъ былъ принятъ, Палацкаго рѣшили сдѣлать исторіографомъ Чехіи (1829), но высшія власти утвердили за нимъ это званіе оффиціально только въ 1839. Палацкій ревностно принялся заработу, изучалъ источники историческіе и юридическіе въ чешскихъ архивахъ и въ Вѣнѣ, изслѣдовалъ старую топографію Чехіи сравнительно съ современной, сдѣлалъ нѣсколько болѣе или менѣе продолжительныхъ путешествій за границу для разысканія источниковъ чешской исторіи, разсѣянныхъ въ европейскихъ библіотекахъ (въ Мюнхенѣ, Берлинѣ, Дрезденѣ, Римѣ и пр.). Готовя свой трудъ, Палацкій дѣлалъ изданія самыхъ источниковъ, старыхъ лѣтописцевъ, актовъ, писемъ; писалъ частныя изслѣдованія и т. п. [1]. Въ 1836 году появился первый томъ его чешской исторіи, которая выходила сначала по-нѣмецки, и только съ 1848 на чешскомъ языкѣ, и въ пяти обширныхъ (двойныхъ) томахъ доведена была Палацкимъ, къ концу его жизни, до 1526 года [2].

1848-й годъ вызвалъ Палацкаго на политическое поприще. Онъ былъ наиболѣе виднымъ и вліятельнымъ представителемъ національной партіи, которая въ виду стремленій франкфуртскаго парламента захватить Чехію въ нѣмецкое единство и противъ вѣнской централизаціи настаивала на историческомъ правѣ Чехіи и на федераціи, какъ единственной формѣ, которая могла бы примирить разногласныя стремленія народовъ Австрійской имперіи. Въ періодъ смутъ 1848—49, Палацкій имѣлъ такой политической авторитетъ, что министерство Пиллерсдорфа предлагало ему портфель; на имперскомъ сеймѣ онъ былъ дѣятельнымъ членомъ коммиссіи, которой поручена была выработка началъ конституціи, но подъ конецъ этого бурнаго времени, когда сеймъ въ Кромѣржижѣ былъ насильственно закрытъ, Палацкій очутился подозрительнымъ человѣкомъ, за которымъ нуженъ присмотръ полиціи. Онъ оставилъ политику и снова занялся своимъ историческимъ трудомъ. Послѣ изданія „диплома" 1860, политическая дѣятельность Палацкаго возобновилась: онъ сталъ признаннымъ политическимъ вождемъ чешскаго народа; въ 1861, онъ сдѣланъ былъ пожизненнымъ членомъ вѣнской верхней палаты. Въ это время основался газетный органъ, представлявшій его взгляды, „Narodni Listy"; но вскорѣ, въ 1863, программа Палацкаго возбудила въ новомъ

---

[1]) Таковы, напр., изданія: Staří letopisové češti od roku 1378 do 1527. Прага, 1829; Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber. Прага, 1830; Archiv český, 4 тома, 1840—46; съ 1862, продолженіе Архива, еще два тома; Aelteste Denkmäler etc., 1840; Popis královstvi českého, Пр. 1848.

[2]) Geschichte von Böhmen, съ 1836 г.; Dějiny narodu českého v Cechách a v Moravě, томы: I, III—IV, Прага, 1848—60; томъ V, часть 1-я, 1865; ч. 2-я, 1867; томъ II, ч 1-я, 1874; ч. 2-я, 1876; новѣйшее изданіе, «для народа», съ біографіей Калоуска. Прага, 1878.

60*

поколѣнія оппозицію, и органомъ Палацкаго и его родственника и младшаго политическаго сотоварища, Л. Ригера, стала новая газета „Narod“, послѣ „Pokrok“.

Палацкій, изъ всѣхъ чешскихъ ученыхъ, оказалъ наибольшія услуги чешской исторіографіи. Важнѣйшій трудъ его, *Исторія чешскаго народа* написана съ обширнымъ, до него у Чеховъ невиданнымъ изученіемъ источниковъ и получила значеніе національное. Однимъ изъ первыхъ проблесковъ народнаго возрожденія была потребность вспомнить прошлое, возстановить свою историческую связь съ старыми поколѣніями: народъ долженъ былъ очнуться изъ безпамятства, въ которое впалъ отъ страшнаго удара, нанесеннаго ему въ началѣ XVII вѣка, и главную заслугу въ этой исторической реставраціи народнаго сознанія Чехи приписываютъ именно Палацкому. Его трудъ остановился на XVI вѣкѣ; но онъ давалъ прочное основаніе для историческаго изслѣдованія и для національнаго чувства. Что впечатлѣніе было таково, можно видѣть по тому, что въ критическую минуту историкъ сталъ и политическимъ представителемъ, признаннымъ главой своего народа [1]).

Палацкій продолжалъ работать до послѣднихъ дней. Въ 1876, онъ издалъ послѣдній томъ исторіи, доведенный до 1526 года; на этомъ годѣ онъ и хотѣлъ остановиться, думая только обработать внутреннюю бытовую исторію вѣковъ XIII—XVI. Въ 1876, 11—23 апрѣля, въ Прагѣ праздновалось завершеніе историческаго труда Палацкаго; въ рѣчи, которую онъ говорилъ при этомъ, было уже предчувствіе скораго конца. Онъ умеръ слѣдующаго 14—26 мая [2]). „Нашъ народъ находится въ великой опасности, — говорилъ онъ между прочимъ въ своей послѣдней рѣчи,—отовсюду окруженный врагами; я однако не отчаяваюсь и надѣюсь, что народъ успѣетъ одолѣть всѣхъ, если только захочетъ. Недовольно сказать: „я хочу“, но каждый долженъ участво-

---

[1]) Изъ политическихъ сочиненій Палацкаго замѣтимъ въ особенности статью: «О централизаціи и національной равноправности въ Австріи», въ газетѣ Гавличка Narodní Noviny, 1849; далѣе: «Idea státu Rakouského», въ газетѣ Narod, 1865 и отдѣльно, также по-нѣмецки: Oesterreichische Staatsidee. Prag, 1865; наконецъ «Doslov», его политическое завѣщаніе, въ «Radhošt», сборникѣ мелкихъ статей по литературѣ, эстетикѣ, исторіи и политикѣ, 1871 — 72, 3 части. Завѣщаніе вышло и по-нѣмецки: Fr. Palacky's Politisches Vermächtniss. Прага, 1872. Ср о немъ ст. Макушева въ «Голосѣ», 1873, № 178.

[2]) Біографія Палацкаго была много разъ изложена; см., напр., В. Зеленаго, въ альманахѣ Máj, 1860; еще ранѣе: Reichstags-Gallerie, geschriebene Portraits der hervorragendsten Deputirten des ersten oesterr. Reichstages. Wien, 1849, Jasper, Hügel und Manz; Revue d. d. Mondes, 1855, avril: L'histoire et l'historien de la Bohême; Нила Попова, въ «Соврем. Лѣтописи», 1865, № 33; въ книгѣ: Всеросс. этногр. выставка и славянскій съѣздъ, М. 1867; Slovník Naučný, т. VI, 1867, s. v.

Важный матеріалъ біографическій заключаютъ собственные труды Палацкаго, именно по вопросамъ политическимъ и общественнымъ; и также его переписка: доля ея, именно любопытныя письма его къ Коллару напечатаны въ «Часописѣ», 1879.

вать, работать, жертвовать, что̀ можетъ, для общаго блага, особенно для сохраненія народности. Чешскій народъ имѣетъ за собою блестящее прошлое. Время Гуса есть славное время: тогда чешскій народъ духовной образованностью превышалъ всѣ остальные народы Европы.... Нужно теперь, чтобы мы себя образовывали и по указанію образованнаго разума дѣйствовали. Это — единственный завѣтъ, который я, такъ сказать, умирая, оставилъ бы своему народу"....

До сихъ поръ мы говорили о писателяхъ, извѣстность или слава которыхъ заключается въ ихъ ученой дѣятельности и которые почти не касались области собственно литературной, поэтической. Но эти имена прежде всего должны быть названы въ исторіи чешскаго „Возрожденія" если не по строгой хронологіи, то по значенію ихъ дѣятельности—это были прямые продолжатели дѣла Добровскаго: требовалось пробудить историческое сознаніе, поставить литературу на уровень современной образованности, выработать новый языкъ. Мало-помалу литература расширялась въ своемъ содержаніи, и въ численности читателей. Какъ писатели шли изъ народной среды и отчасти средняго сословія, такъ отсюда же набиралась и публика. Этими условіями опредѣлялся и складъ литературы: стремясь къ пробужденію національности, литература въ то же время старалась усвоивать содержаніе современной европейской науки и поэзіи и съ другой стороны дать популярное чтеніе народу. Это двойное стремленіе осталось надолго господствующей чертой чешской литературы: она представила значительное количество переводовъ и общедоступныхъ изданій по разнымъ предметамъ знанія и создавала національную публику изъ пренебреженнаго и угрожаемаго чужимъ племенемъ народа. Національное сознаніе проникло изъ городскихъ кружковъ въ село.

Наконецъ и чешская поэзія выступила какъ достойная сила въ національномъ развитіи, и какъ въ наукѣ вмѣстѣ съ своимъ народнымъ вопросомъ возникло сознаніе обще-славянскаго единства, такъ въ поэзіи, рядомъ съ частнымъ патріотизмомъ, обнаружилась горячая панславянская тенденція. Первымъ и замѣчательнѣйшимъ представителемъ поэзіи этого характера былъ Янъ Колларъ (1793 — 1852), родомъ Словакъ, изъ Турчанской „сто̀лицы". Отецъ предназначалъ его для своего деревенскаго хозяйства, и только по усиленнымъ просьбамъ сына отдалъ его въ школу; когда и потомъ Колларъ не послушался настояній отца, послѣдній такъ разсердился, что Колларъ долженъ былъ оставить отцовскій домъ и только благодаря участію чужихъ людей могъ продолжать свои школьныя занятія. Въ 1812 онъ поступилъ въ евангелическій лицей въ Пресбургѣ, гдѣ мы уже видѣли Шафарика и Палацкаго. Окончивши курсъ въ 1815, и онъ сдѣлался воспитателемъ и, собравъ немного денегъ, въ 1816

отправился въ Iену; въ слѣдующемъ году, какъ iенскiй студентъ онъ участвовалъ въ знаменитомъ Вартбургскомъ праздникѣ, гдѣ юная Германiя, именно академическая молодежь, празднуя юбилей Реформацiи, заявила свою ненависть къ реакцiи и обскурантизму фантастическимъ ауто-да-фе. Это настроенiе молодого поколѣнiя, особенно сильное тогда въ Iенѣ, и влiянiе университета вѣроятно подѣйствовали на складъ широкихъ патрiотическихъ стремленiй чехо-словацкаго поэта. Къ этому присоединилось и одно обстоятельство личнаго свойства. Здѣсь, на берегахъ Салы и Эльбы, жило нѣкогда полабское Славянство, погибшее отъ нѣмецкой вражды и собственной разрозненности: нацiональное чувство, возбужденное этими историческими воспоминанiями, слилось у Коллара съ любовью, предметомъ которой была Вильгельмина Шмидтъ, дочь нѣмецкаго евангелическаго пастора, происходившаго отъ этихъ славянскихъ предковъ (онъ женился на ней уже только въ 1835 г.). Это двойное чувство дало содержанiе поэзiи Коллара, гдѣ его личныя радости и печали идутъ рядомъ съ воспоминанiями о прошедшемъ Славянства, размышленiями о настоящемъ, идеалистическими мечтами о будущемъ и возбужденiями къ нацiональному патрiотизму. Стихотворенiя его явились сначала подъ простымъ заглавiемъ: „Básně“ [1], а въ послѣдующихъ изданiяхъ были названы: „Slavy Dcera“, т.-е. *Дочь Славы* [2], подъ которой понимались и возлюбленная Мина и все-славянское отечество.

„Дочь Славы“ написана звучными и иногда истинно поэтическими сонетами [3], въ содержанiи ярко выразилось новое направленiе, проповѣдовавшее взаимную славянскую любовь и единство: это были или патрiотическiя элегiи, вызванныя воспоминаньемъ о прежней славѣ, или призывы къ единодушiю, или обличенiя отступниковъ; дидактизмъ занимаетъ въ поэмѣ очень много мѣста. Поэтическая дѣятельность Коллара ограничилась одной этой поэмой исключая только немногiя неважныя стихотворенiя. По возвращенiи изъ Iены онъ сдѣлался евангелическимъ проповѣдникомъ въ Пештѣ, писалъ проповѣди, занимался славянской стариной и народной поэзiей, предпринималъ нѣсколько путешествiй для изученiя остатковъ (всего чаще мнимой) славянской древности въ Германiи, Швейцарiи, Италiи. Таковы его „Народныя

---

[1]) Прага, 1821. Замѣтимъ кстати, что по-чешски слово «básně» значитъ не басни, а «стихотворенiя».

[2]) Slavy Dcera. Básen lyricko-epická ve třech zpěvich. Пештъ, 1824. Далѣе: — v pěti zpěvích, и при этомъ особой книжкой «Vyklad», Пештъ, 1832; Пештъ, 1845, въ двухъ частяхъ; Вѣна, 1852; Прага, 1862. Отдѣльные сонеты были переведены на польскiй языкъ, также на нѣмецкiй, французскiй, англiйскiй. На русскомъ языкѣ есть «Вступленiе» (въ размѣрѣ подлинника, пентаметромъ) и нѣсколько сонетовъ, переведенныхъ Н. Бергомъ, въ «Поэзiи Славянъ», стр. 348—353.

[3]) Въ изданiи 1845 г. 622 сонета; въ послѣднихъ изданiяхъ 645.

пѣсни Словаковъ въ Венгріи" [1]), его изслѣдованія о происхожденіи, древностяхъ и имени Славянъ (1830, 1839), его „Путешествіе" (1843), наконецъ „Славянская Старо-Италія". Но въ этихъ трудахъ, посвященныхъ ученымъ вопросамъ, виденъ опять не ученый, а поэтъ. Славянская древность представляется ему здѣсь въ томъ же опоэтизированномъ видѣ, какъ въ „Дочери Славы"; Славяне воображались ему даже въ Италіи [2]). Когда начались венгерскія волненія, Коллару, который горячо защищалъ своихъ соотечественниковъ, пришлось вынести много тяжелыхъ испытаній и преслѣдованій отъ мадьяроновъ; при началѣ революціи онъ удалился въ Вѣну, гдѣ въ 1849 получилъ каѳедру славянскихъ древностей въ университетѣ.

Наконецъ, не меньше „Дочери Славы" знаменито еще одно произведеніе Коллара, которое въ свое время оставило сильное впечатлѣніе въ умахъ славянской публики. Это была небольшая брошюра: *О литературной взаимности между различными племенами и нарѣчіями славянскаго народа* [3]). Она была внушена тѣмъ же панславянскимъ патріотизмомъ. Колларъ, при всемъ своемъ пристрастіи къ „славѣ" своего племени, признавался, что нынѣшніе Славяне — „великаны въ географіяхъ и на картахъ, и карлики въ искусствѣ и литературѣ"; причиной этого печальнаго факта были, по его мнѣнію, раздробленіе и недостатокъ единства, и потому для утвержденія своихъ народныхъ стремленій Славяне должны соединиться въ литературной взаимности. „Въ наше время,—говорилъ онъ,—недовольно быть хорошимъ Русскимъ, горячимъ Полякомъ, совершеннымъ Сербомъ, ученымъ Чехомъ, и только исключительно, хотя бы и хорошо, говорить

---

[1]) Говоря о Шафарикѣ, мы упомянули о первомъ изданіи этого сборника. Второе, очень размноженное, было сдѣлано самимъ Колларомъ въ Пештѣ, 1834—35, въ 2 томахъ. Для своего времени Шафарикъ считалъ это изданіе лучшимъ въ славянствѣ. Sebrané Spisy, III, 408—409.

[2]) Rozpravy o jmenách, počátkách i starožitnostech národu Slovanského etc. V Budině 1830;—Sláva Bohyně a původ jmena Slavův čili Slavjanův. V Pešti 1839;—Cestopis, obsahující cestu do horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvlaštním ohledem na slavjanské živly (1841) etc., ib. 1843, Прага, 1863; — Staroitalia slavjanská,—изданная послѣ его смерти,—Вѣна, 1853; 2-е изд. Прага, 1863.—Археологическія писанія Коллара всего чаще были фантазіей, къ которой съ неудовольствіемъ относились даже друзья, напр. Шафарикъ.

[3]) Написанная сначала по-чешски, потомъ вышедшая на нѣмецкомъ языкѣ: Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der Slawischen Nation. Aus dem Slawischen in der Zeitschrift Hronka gedruckten ins Deutsche übertragen und vermehrt vom Verfasser. Pesth 1837. Брошюра была переведена потомъ почти на всѣ славянскія нарѣчія. Второе чешское изданіе: O literní vzajemnosti etc., переведенное съ нѣмецкаго Яномъ Слав. Томичкомъ, Прага, 1853; сербскій — «О књижевной узаймности» и пр., пер. съ нѣм. Дим. Теодоровича, Бѣлгр. 1845, и въ «Заставѣ» 1878; русскіе переводы — въ «Моск. Вѣдомостяхъ» 1838, въ «Отеч. Запискахъ» 1840, № 1—2 (Срезневскаго). Книжка обратила на себя большое вниманіе и въ непріятельскомъ лагерѣ, гдѣ на нее вообще смотрѣли, какъ на манифестъ панславизма. Укажемъ, напр., статью въ «Vierteljahrschrift aus und für Ungarn», 1843, I, 1-te Hälfte, стр. 122 — 130, изъ «Pesti Hirlap» (статья, кажется, Пульскаго).

по-русски, по-польски, по-чешски. Уже прошли односторонніе дѣтскіе годы славянскаго народа; духъ нынѣшняго Славянства налагаетъ на насъ другую, высшую обязанность, именно: считать всѣхъ Славянъ братьями одной великой семьи и создавать великую все-славянскую литературу"... Для достиженія подобнаго результата Колларъ считалъ необходимымъ взаимное изученіе нарѣчій. Онъ объясняетъ, какая опасность грозитъ Славянству отъ его раздѣленія и какъ необходимо духовное общеніе литературъ для выполненія исторической задачи славянскаго племени — вести далѣе цивилизацію и просвѣщеніе послѣ германскихъ и романскихъ народовъ, которые должны теперь уступить свое мѣсто новому, свѣжему народу. Средство, предложенное Колларомъ для литературнаго объединенія, было слишкомъ недостаточное, но тѣмъ не менѣе его книжка имѣла огромный успѣхъ: о „взаимности" заговорили всѣ панславянскіе патріоты, находившіе въ ней панацею противъ всѣхъ бѣдствій славянскаго племени. Нѣтъ сомнѣнія, что это имѣло и свои практическія послѣдствія — въ усиленіи панславянскихъ интересовъ, какъ имѣла подобное вліяніе и поэма Коллара.

„Дочь Славы" производила тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что ея крайній идеалистическій характеръ какъ нельзя больше соотвѣтствовалъ тому направленію, какое мы выше указывали у защитниковъ народности: преувеличеній не замѣчали, — они были въ духѣ общаго настроенія; дидактизмъ и растянутость не казались недостаткомъ, потому-что въ поученіяхъ давалась, хотя бы отвлеченная, программа, которой еще искало возбужденное, но еще не опредѣлившееся чувство. Возвышенный тонъ, въ которомъ ведена поэма, какъ нельзя лучше шелъ къ идеалистической задачѣ. Съ „Дочери Славы" открывается цѣлый рядъ поэтическихъ произведеній, повторяющихъ ту же тэму все-славянскаго единства, прошедшей и будущей славы [1]). Въ пяти пѣсняхъ поэмы (Sala; Labe, Rén, Weltawa; Dunaj; Lethe; Acheron) историческія воспоминанія, благословенія и строгій судъ надъ дѣяніями и дѣятелями Славянства восходятъ къ отдаленнѣйшей древности и завершаются горячими воззваніями къ согласію и труду на общую пользу. Это было самое характерное выраженіе идеа-

[1]) Собраніе сочиненій Коллара (впрочемъ неполное): Spisy Jana Kollára, 4 ч. v Praze 1862—63. Въ нихъ находится и любопытная автобіографія его, обнимающая, впрочемъ, только время его молодости (ч. IV, стр. 89—285). Единственная біографія Коллара есть статья В. Зеленаго, въ альманахѣ «Máj», 1862. Ср. Гурбана, Pohladi, I, стр. 127—134. Для будущаго біографа накопляется любопытный матеріалъ въ издаваемой перепискѣ: письма Шафарика къ Коллару, въ «Часописѣ», 1873—75; Палацкаго, ibid. 1879; Юнгманна, ibid. 1880; письма Коллара къ Н. И. Надеждину, въ «Р. Архивѣ», 1873; упоминанія о немъ и нѣсколько писемъ въ «Письмахъ къ Погодину изъ Слав. земель», изд. Н. Поповымъ, М. 1879 — 1880. Сл. Пича, Очеркъ полит. и литер. исторіи Словаковъ, въ Слав. сборникѣ, т. I—II.

См. еще о Колларѣ далѣе, въ литературѣ Словаковъ.

листическаго панславизма съ двадцатыхъ годовъ до 1848, и цитаты изъ „Дочери Славы“ у западно-славянскихъ писателей были обычнымъ подтвержденіемъ патріотическихъ призывовъ.

Приводимъ образчикъ славянскихъ призывовъ Коллара:

„Великій грѣхъ есть злостное убійство, грабежъ, предательство, подлогъ, отрава — такіе люди стóютъ, чтобы кровь и душа ихъ покинули тѣло подъ мечомъ суда; и ложь, высокомѣріе, зависть, соблазнъ, изнѣженное сладострастіе, подрывающее нравы, и всѣ тѣ мерзости, которыя пришли на землю изъ горючаго ада. — Но я все-таки знаю змѣя съ чернымъ гнуснымъ лицомъ, въ сравненіи съ которымъ эти обломки грѣха еще будутъ бѣлѣе снѣга. Этотъ одинъ и грабитъ, шепчетъ, учитъ злому, и бьетъ себя, предковъ и потомковъ, и называется: Неблагодарность къ своему народу.

„Ну-же, пока бьется молодое сердце, станемъ искать счастія милой родинѣ; бодрствующіе будите дремлющихъ, пламенные—холодныхъ, живые—все, чтó гніетъ. Вѣрные, топчите предательскаго змѣя; прямодушные, пристыдите тѣхъ, кто смотритъ изъ подлобья, трудолюбивые — ту сволочь, которая поѣдаетъ плодъ кроваваго, мозольнаго труда и пьетъ кровь братьевъ: никто прекраснѣе не можетъ хвалиться со смѣлымъ челомъ, чѣмъ тотъ патріотъ, который въ своемъ сердцѣ цѣлый народъ носитъ,—и справедливо, потому что,— пусть смѣется этому человѣкъ безъ чести,—и онъ отдаетъ въ руки Божьи отчетъ за своихъ овецъ.

„Трудись каждый съ настойчивой любовью на наслѣдственной нивѣ народа; пути могутъ быть различны, будемъ только всѣ имѣть одну волю; безумно—хотѣть неумѣлой рукой измѣрить бѣгъ планеты, какъ ногамъ, непривычнымъ къ пляскѣ, ожидать хоть небольшой похвалы. Лучше дѣлаетъ тотъ, кто работаетъ въ скромномъ кругѣ, вѣрно стоя на своемъ удѣлѣ; онъ будетъ великъ — слугою или королемъ; часто тихая хижина пастуха можетъ сдѣлать для родины больше, нежели таборъ, изъ-за котораго бился Жижка.

„Не приписывай святое имя отечества тому краю, въ которомъ мы живемъ; настоящее отечество мы носимъ только въ сердцѣ, — *того* отечества нельзя не умертвить, ни ограбить; сегодня или завтра мы видимъ хвастливаго убійцу родины, и народъ въ его ярмѣ,—но когда мы соединимся духомъ, отечество будетъ цѣло въ каждой части союза: правда, невинному чувству дорогá и та роща, рѣка, хижина, которую прадѣдъ оставилъ своему внуку; но тѣ несокрушимыя границы отечества, которыхъ боится тронуть насмѣшка, это только — общіе согласные нравы, рѣчь и мысли“. (Сонеты 241—244).

Въ сонетѣ 258 и слѣдующихъ Колларъ обращается къ все-славянскому отечеству, „Славіи“ (или также „Все-славіи“), и съ его примѣра эта воображаемая страна долго потомъ (и даже донынѣ) возбуждала энтузіазмъ западно-славянскихъ поэтовъ, особливо чешскихъ:

Slávie! ó Slávie! ty jméno
Sladkých zvuků, hořkých pamatek,
Stokrát rozervané na zmatek,
Aby vždycky více bylo ctěno, стр.

(О Славянство!—имя сладкихъ звуковъ, горькихъ воспоминаній, стократъ разорванное въ клочки, чтобы все больше вызвать почтенія)...

Передъ его воображеніемъ проходятъ необозримые предѣлы все-славянскаго отечества: у насъ все есть, что нужно для великой роли въ человѣчествѣ—земля и море, золото и серебро, искусныя руки, рѣчь и веселыя пѣсни; недостаетъ лишь одного—согласія и просвѣщенія:

Všecko máme, věřte, mojí drazí
Spoluvlastenci a přátelé!
To, co mezi velké, dospělé
V člověcenstvě národy nás sází;
Zem i moře pod námi se plazí,
Zlato, stříbro, ruky umělé,
Řeč i zpěvy máme veselé,
Svornost jen a osvěta nam schází! (Сон. 260).

Онъ убѣждаетъ славянскіе народы жить согласно и въ единствѣ, чтобы сдѣлать радость „милой матери", т.-е. славянскому отечеству:

Učiňte tu radost milé matce
Rusí, Serbí, Češí, Polácí,
Žite svorně, jako jedno stádce! (Сон. 261).

„Чужая жажда пьетъ милую намъ кровь, а сынъ, не зная славы отцовъ, еще хвастается своимъ рабствомъ!"

Nam krev milou cizí žižeň chlastá,
A syn, slávy otců ne znaje,
Ještě svojim otroctvím se chvastá! (Сон. 263).

Въ странствіи по Дунаю, поэтъ долженъ вспомнить паденіе славянскихъ царствъ, нынѣшнее рабство Славянства, — надежды нѣтъ! „Боже, Боже, — восклицаетъ онъ, — который всегда желалъ блага всѣмъ народамъ: на землѣ нѣтъ уже никого, кто бы оказывалъ Славянамъ справедливость! Гдѣ ни ходилъ я, вездѣ горькая жалоба братьевъ омрачала мнѣ веселье моей души; о ты, Судья надъ судьями, скажи: чѣмъ же такъ виновенъ мой народъ? Ему дѣлается зло, великое зло, а нашимъ жалобамъ и нашей печали свѣтъ ругается или смѣется; но пусть хоть въ томъ просвѣтитъ меня Твоя мудрость: кто здѣсь грѣшитъ? или кто дѣлаетъ это зло; или кто это зло чувствуетъ?" (Сон. 290).

Иногда представляются поэту свѣтлыя картины будущности Славянства, но чаще онъ скорбитъ въ сознаніи тяжелаго настоящаго, и его патріотическая печаль нерѣдко выражена въ искренней и высокой, хотя слишкомъ ученой поэзіи.

Чешскіе критики предпочитаютъ, не безъ основанія, старую редакцію поэмы Коллара, а не послѣднюю, гдѣ слишкомъ много этой учености. Ср. Челяковскаго, Sebrané Listy, Пр. 1865, стр. 314 [1]).

Поэзія Коллара есть одно изъ самыхъ крупныхъ явленій всей ново-чешской литературы и наиболѣе характерное произведеніе Возрожденія. Ея историческое значеніе выясняется сличеніемъ съ предшествовавшей поэзіей. Мы видѣли, что съ конца прошлаго вѣка и почти до Коллара чешская поэзія была чисто подражательная; въ ней господствовала наивная идиллія. Первый отпоръ этому направленію

[1]) Судъ о поэмѣ Коллара съ мадьярской точки зрѣнія въ названномъ выше «Vierteljahrschrift», 1843, II, 2, стр. 55—87, съ переводомъ нѣскольких сонетовъ.

данъ, былъ около 1820 года — введеніемъ въ чешскую литературу Оссіана, который направлялъ умы въ сѣдую, романтическую и таинственную древность, и появленіемъ „Любушина Суда" и Краледворской Рукописи, которыя въ сильной степени возбудили національное чувство. Теоретическимъ отрицаніемъ псевдо-классической идилліи и неопредѣленной сантиментальности была упомянутая книжка Шафарика и Палацкаго, 1818. Но эти возбужденія еще не произвели никакого яснаго національнаго настроенія. Поэзія народная, у Чеховъ небогатая, мало способна была создать его и въ то время ею только впервые стали интересоваться. Такимъ образомъ Колларъ имѣлъ передъ собой едва пробуждающееся народное сознаніе. Его поэма, напротивъ, была цѣльной, глубоко чувствуемой и сильно переданной поэтической проповѣдью національнаго дѣла, которое притомъ понималось не въ тѣсномъ предѣлѣ чешскаго племени, а во всемъ славянскомъ мірѣ. Своимъ панславизмомъ Колларъ предварилъ Шафарика, и въ славянской поэзіи доселѣ не смѣненъ никѣмъ какъ проповѣдникъ взаимности и нравственно-національнаго единства. Донынѣ, черезъ два поколѣнія, „Дочь Славы" остается единственнымъ поэтическимъ кодексомъ панславизма тогда — правда (прибавимъ) далеко не столь страшнаго, какъ изображали его противники.

Современникъ Коллара, другой поэтъ и панславистъ Францъ-Ладиславъ Челяковскій (1799 — 1852), былъ сынъ простого столяра, но успѣлъ получить университетское образованіе и рано занялся литературой. Первыми его произведеніями были „Стихотворенія" (Smíšenĕ básnĕ, 1822) и „Slovanské narodní písnĕ" (3 ч., 1822), за которыми слѣдовали переводы изъ Гердера, Вальтеръ-Скотта и пр. Сочиненія Челяковскаго отличались чистотой формы, замѣчательной для того времени, когда еще шло дѣло объ установленіи литературнаго языка. Настоящая извѣстность его начинается съ 1829, когда онъ издалъ „Отголосокъ русскихъ пѣсенъ" (Ohlas písní ruských), гдѣ съ большимъ по времени искусствомъ передавалъ характеръ русской народной поэзіи. Кромѣ „Дочери Славы", еще ни одно произведеніе новой литературы не имѣло такого успѣха, какъ эта книжка, и чешскіе критики до сихъ поръ говорятъ, что „еслибы Челяковскій не написалъ ничего больше, то одинъ „Отголосокъ" обезпечилъ бы ему мѣсто между первыми поэтами". Это — не одно повтореніе народно-поэтическихъ мотивовъ, но и примѣненіе ихъ къ новому содержанію. Подобный трудъ Челяковскій сдѣлалъ потомъ и относительно чешской поэзіи въ „Отголоскѣ чешскихъ пѣсенъ" (Ohlas písní českých, 1840). Внѣшнія обстоятельства его были довольно стѣсненныя; онъ жилъ корректурой и переводами; потомъ помогло ему патріотическое покровительство основателя Чешской Матицы, князя Рудольфа Кин-

скаго. Около 1830 шелъ вопросъ о приглашеніи Челяковскаго, вмѣстѣ съ Шафарикомъ и Ганкой, въ Россію; но, какъ раньше упомянуто, дѣло это не состоялось. Въ 1834 Челяковскій сдѣланъ былъ редакторомъ „Пражскихъ Новинъ"; при нихъ онъ сталъ издавать „Чешскую Пчелу" (Česká Včela), которая не мало содѣйствовала оживленію литературы. Въ 1835, по смерти Неѣдлаго, Челяковскій получилъ каѳедру чешскаго языка въ университетѣ, и ему предстояла работа по душѣ; но одно обстоятельство нежданнымъ образомъ прервало его университетскую дѣятельность. Въ теченіе польскаго возстанія, его сочувствія были вообще на сторонѣ Русскихъ, но судьба Польши всетаки тяжело на него дѣйствовала: ему хотѣлось, чтобы споръ былъ рѣшенъ въ духѣ славянскаго братства, чтобы побѣдитель нашелъ въ себѣ широкій взглядъ и великодушіе [1]). По окончаніи возстанія, когда развивались бѣдственные его результаты, сочувствія Челяковскаго обратились на сторону Поляковъ, и онъ высказалъ ихъ въ своей газетѣ. Австрійская цензура не сказала ничего противъ; но русское посольство въ Вѣнѣ вмѣшалось въ это дѣло, и Челяковскій разомъ потерялъ и профессуру и редакторство газеты. Вдова князя Кинскаго опять помогла Челяковскому, сдѣлавши его своимъ библіотекаремъ. Въ это время онъ снова вернулся къ дѣятельности поэтической и кромѣ упомянутаго „Отголоска чешскихъ пѣсенъ" издалъ „Столистую Розу" (Růže Stolistá, 1840). Послѣдняя также пользуется большой славой; это—лирика личнаго чувства, или также резонирующая и тогда нѣсколько скучноватая поэзія, впрочемъ съ живыми эпизодами, гдѣ авторъ обращается къ національнымъ интересамъ. Потребности чешской литературы вынуждали и у Челяковскаго дѣятельность двойственную: онъ былъ поэтомъ и филологомъ, работая надъ этимологическимъ словаремъ, дѣлая оффиціальный переводъ уголовныхъ законовъ и т. п. Въ 1842, его пригласили наконецъ на славянскую каѳедру въ Бреславль, гдѣ онъ сдружился съ другимъ ученымъ Чехомъ, знаменитымъ физіологомъ Пуркиней. Въ 1849, при перемѣнѣ политическихъ обстоятельствъ, онъ могъ перейти на ту же каѳедру въ Прагу: здѣсь онъ исключительно занялся филологіей, издалъ нѣсколько пособій для изученія славянскихъ языковъ, сборникъ всеславянскихъ пословицъ (1852). Послѣ его смерти изданы были „Чтенія о сравнительной славянской грамматикѣ" (упомянутыя прежде) и не-

[1]) Въ письмѣ 17 янв. 1831, Челяковскій говоритъ: «Praví se, že z částek Polska opet království povstane. Přál bych—byl by aspoň jeden dvůr slovanský v Europě více a Rusové by při tom mnoho neztratili. Mělo li by se tak státi, na mou věru, vzal bych v Polště službu professorskou neb jinou, nebot' Slovanů by tam bylo třeba po vykydaní odtamtud němčiny». Пріятель его Камаритъ пишетъ въ тоже время: «Dejž Bůh štěstí Bílému Orlu!» Въ августѣ 1831, упоминая о приближеніи русскихъ войскъ къ Варшавѣ, Челяковскій замѣчаетъ: «Kýž by se to dobrým a velikomyslným způsobem skončilo». См. Čelak., Sebrané Listy. Pr. 1865, стр. 287, 289, 300.

давно — „Чтенія о начаткахъ славянской образованности и литературы“, идущія до 1100 г. [1]).

Поэзія Челяковскаго была также панславянская. Въ общихъ идеяхъ онъ сходится съ Колларомъ и работаетъ для славянскаго сближенія, усвоивая чешской литературѣ народно-поэтическія черты другихъ племенъ. Въ частности, въ собственно чешскихъ отношеніяхъ, впечатлительный характеръ Челяковскаго, раздражавшійся неудачами жизни, сдѣлалъ особенной чертой его писаній язвительную эпиграмму, которая вполнѣ и донынѣ еще, кажется, не нашла мѣста въ печати [2]).

Таковы были замѣчательнѣйшіе дѣятели второй поры чешскаго Возрожденія. Дѣло шло еще въ области чисто литературной; писатели-патріоты выясняли національную идею какъ историческое право, какъ нравственный долгъ человѣка къ родинѣ; работали надъ орудіемъ литературы, языкомъ, чтобы приладить его къ новѣйшей образованности. Это было уже не время простодушной идилліи, но все-таки по преимуществу время идеализма; патріоты были еще незначительной долей общества, но, управляемые одной задачей, лучшіе люди сплотились въ солидарный кружокъ и достигали своей цѣли. Чехи съ гордостью смотрятъ на эту пору своей литературы, въ самомъ дѣлѣ представляющую одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій цѣлаго славянскаго движенія,—это было нравственное воскресеніе почти умиравшей національности.

Дорога была пробита; въ дальнѣйшемъ развитіи литературы, у писателей второстепенныхъ этой и ближайшей поры, мы найдемъ только продолженіе начатаго. Недостатокъ въ силахъ дѣлалъ то, что писатели первой поры Возрожденія нерѣдко соединяли спеціальности весьма непохожія,—Колларъ хочетъ быть археологомъ, чтобы разыскать воспѣваемую имъ древнюю „Славію“; Челяковскій занимается филологіей; Шафарикъ переводитъ „Марію Стюартъ“, Юнгманнъ — „Потерянный рай“, физіологъ Пуркинье переводитъ Шиллера. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ литература расширяется; число писателей возра-

---

[1]) «Čtení o počatcích dějin vzdělanosti a literatury narodův slovanských», Novočeská Bibl. XXI. Прага, 1877.

[2]) J. Maly, Fr. Lad. Čelakovský, Пр. 1852. Hanuš, Život a působení Fr. Lad. Čelakovského. Прага, 1855. Переписка Челяковскаго съ его друзьями, Камаритомъ, Хмеленскимъ, Винаржицкимъ, въ Sebrané Listy, Прага, 1865; 2-е изд. 1869. Другая переписка, Vzájemné Dopisy съ Вацлавомъ Станкомъ, въ «Часописѣ» 1871—72; письма Челяковскаго къ Пуркинѣ, ibid. 1878. Нѣсколько писемъ 1823—28 годовъ, по-русски или по-чешски—русской азбукой, напечатано въ «Слав. Ежегодникѣ» Задерацкаго, Кіевъ 1878, стр. 285—295.

Поэтическія произведенія его были собраны въ изданіи: Fr. L. Č-ho Spisů básnických knihy šestery. Прага, 1847. (Novočeská Bibliothéka, č. VIII): I, Столистая Роза; II, Отголосокъ русскихъ пѣсенъ; III, Отголосокъ чешскихъ пѣсенъ; IV, Смѣшанныя стихотворенія; V, Эпиграммы; VI, Антологія (изъ славянскихъ и чужихъ литературъ),—въ одномъ томѣ.

Въ послѣдніе годы выходитъ новое изданіе Челяковскаго въ Прагѣ, у Кобера.

статетъ, ихъ дѣятельность болѣе спеціализируется; объемъ публики увеличивается: изъ народа часто выходили и самые дѣятели возрожденія; въ среднемъ классѣ является интересъ къ своей народности, въ формѣ „властенецства“.

Чешская поэзія стала тогда съ особенной любовью обращаться къ народнымъ мотивамъ, къ историческимъ воспоминаніямъ. Два изъ наиболѣе авторитетныхъ писателей этой поры, младшихъ современниковъ Шафарика, Коллара и Палацкаго, Воцель и Эрбенъ, опять имѣютъ равно извѣстное имя и въ поэзіи и въ археологіи. Янъ-Эразимъ Воцель (1803—1871), сынъ чиновника въ Кутной Горѣ, рано обнаруживалъ особенную даровитость; въ дѣтствѣ чтеніе чешскихъ книгъ, старыхъ и новыхъ, развило въ немъ „властенецкое“ чувство, и хотя школы, которыя онъ проходилъ, были чисто нѣмецкія, оно удержалось. Еще въ гимназіи онъ писалъ множество стиховъ и драматическихъ пьесъ,—послѣднія онъ иногда импровизировалъ, прямо диктуя роли товарищамъ. Эти творенія онъ самъ уничтожалъ; уцѣлѣло только то, что̀ тайкомъ отъ него отдано было его отцомъ издателю (трагедія „Harfa“, v Kr. Hradci, 1825). Начавши университетскій курсъ въ Прагѣ, Воцель продолжалъ его въ Вѣнѣ, куда отправился въ суровую зиму пѣшкомъ, надѣясь найти здѣсь больше средствъ къ существованію. Счастливый случай доставилъ ему учительскія мѣста въ домѣ гр. Черниновъ, потомъ маркизовъ Паллавичини, гр. Штернберговъ, Сальмъ-Сальмовъ, Гарраховъ: онъ живалъ съ ними въ Венгріи, на Рейнѣ, и пр. Оторванный надолго отъ родины, онъ выступилъ сначала дѣятельнымъ новеллистомъ по-нѣмецки (въ журналахъ Jugendfreund, Der Gesellschafter, Oesterr. Wunderhorn). Въ 1834 году, подъ вліяніемъ чтенія Чешской Хроники Пельцеля, онъ однако вернулся къ роднымъ темамъ и языку, и написалъ эпическую поэму „Премысловцы“, которая вслѣдствіе цензурныхъ проволочекъ могла выдти только въ 1839 [1]). Авторъ успѣлъ немного призабыть родной языкъ, но поэма тѣмъ не менѣе имѣла большой успѣхъ благодаря основной идеѣ — стремленію къ болѣе свободному движенію народной жизни. Въ эти годы, какъ разъ появились капитальнѣйшія произведенія чешскаго Возрожденія: „Древности“ Шафарика, „Wechselseitigkeit“ Коллара (1837), первый томъ чешской исторіи Палацкаго (1836). Чешское движеніе, уже ранѣе подвергшееся присмотру полиціи, возбудило теперь и вражду нѣмецкой публицистики. Чехи защищались въ своей литературѣ, которая, однако, не доходила къ противникамъ. Воцель выступилъ на ея защиту въ рядѣ нѣмецкихъ статей въ Агсбургской

---

[1]) Přemyslovci. Báseň epická. Пр. 1839, 1863; 1879 (Spisy, вып. 2).

газетѣ [1]). Съ 1842 Воцель поселился въ Прагѣ, чтобы отдаться вполнѣ ученой и литературной дѣятельности, тотчасъ вошелъ въ главный „властенецкій" кружокъ и мало-по-малу во всѣ литературно-патріотическія учрежденія Праги, — въ Музей, Матицу, ученое общество, редакцію „Часописа" и т. д. Въ 1843 онъ издалъ „Мечъ и Чашу" (Meč a Kalich), рядъ историческихъ стихотвореній о славнѣйшихъ событіяхъ чешскаго XIV и XV вѣка [2]). Этотъ поэтическій циклъ закончился „Лабиринтомъ Славы", 1846. Еще ранѣе Воцель издалъ нѣмецкую книгу о чешскихъ древностяхъ [3]), которая была началомъ ученой дѣятельности, наполнившей остальную его жизнь. Въ 1848—49 г. онъ также принялъ участіе въ событіяхъ, былъ членомъ имперскаго сейма. Въ 1850 онъ получилъ каѳедру чешской археологіи и исторіи искусства въ пражскомъ университетѣ и сталъ настоящимъ основателемъ этой новой области чешской литературы. Онъ написалъ рядъ изслѣдованій по чешской древности и исторіи искусства, и въ результатѣ изысканій его о древности явилось сочиненіе: „Pravěk země české" (2 ч., 1866—68), замѣчательнѣйшая книга чешской археологической литературы. Воцелю принадлежитъ также много цѣнныхъ статей по исторіи, праву, эстетической критикѣ [4]). Это былъ вообще одинъ изъ самыхъ серьёзныхъ ученыхъ и образованнѣйшихъ людей чешскаго общества, съ великой заслугой въ возвышеніи національнаго чувства—и своей поэзіей и научными трудами [5]).

Другой заслуженный поэтъ и ученый, Карлъ-Яромиръ Эрбенъ (1811—1870) учился въ провинціальной гимназіи и пражскомъ университетѣ и рано участвовалъ въ небольшихъ литературныхъ журналахъ. Окончивши юридическій курсъ, онъ поступилъ на оффиціальную службу и, кромѣ того, помогалъ Палацкому въ архивныхъ работахъ, списывалъ старыя грамоты, пересматривалъ архивы и собиралъ подобный матеріалъ по всѣмъ краямъ чешской земли. Многое изъ собраннаго вошло въ „Чешскій Архивъ" Палацкаго. Въ 1848 году „народный выборъ" послалъ его въ Загребъ, откуда онъ извѣщалъ Чеховъ о дѣйствіяхъ хорватскаго сейма; въ 1849 онъ участвовалъ въ коммиссіи, работавшей подъ управленіемъ Шафарика надъ выработкой чешскаго юридическаго языка, въ 1850 былъ выбранъ архиваріусомъ

---

[1]) Augsb. Allg. Zeitung, съ 1839 по 1846. Объ этой полемикѣ см. «Часописъ», 1849: «Naše minulé boje».

[2]) Новое изданіе 1874 (Spisy, вып. 1).

[3]) Grundzüge der böhm. Alterthumskunde, Pr. 1845.

[4]) Эти статьи разсѣяны въ «Часописѣ», въ журналѣ Památky archaeologické a mistopisné, въ нѣмецкихъ запискахъ чешскаго ученаго общ., Зап. вѣнской академіи.

[5]) Панегирическую оцѣнку того и другаго см. въ книжкѣ Вацлава Вólчка: Tužby vlastenecké, Пр. 1879, стр. 365—376. Фр. Рачкій о Воцелѣ, въ Rad jugoslav. akad. 1873, т. XXII; К. Шмидекъ, Upominka na publicistickou činnost J. E. Vocela, въ Часописѣ Матицы моравской, 1876.

Чешскаго Музея, а въ слѣдующемъ году назначенъ былъ архиваріусомъ города Праги, чѣмъ и остался до послѣднихъ дней. Дѣятельность Эрбена распалась на нѣсколько разныхъ путей. Онъ былъ во-первыхъ издатель старыхъ актовъ и произведеній старой литературы [1]); далѣе этнографъ и собиратель народныхъ пѣсенъ и преданій [2]); археологъ (изучавшій въ особенности все-славянскую миѳологію) и чешскій историкъ; наконецъ поэтъ. Собирая пѣсни, изслѣдуя народную жизнь и характеръ, Эрбенъ въ народныхъ мотивахъ нашелъ содержаніе для того сборника балладъ, „Вѣнка изъ народныхъ разсказовъ" (Kytice z pověstí národních, 1853, 2-е изд. 1861), который высоко цѣнится чешскими критиками по вѣрной передачѣ народнаго духа, какъ перлъ поэзіи и образецъ чисто чешскаго стиля и языка. Въ немъ цѣнили также заботу о духовномъ сближеніи славянскихъ племенъ, и за послѣднее время видѣли главнаго посредника между чешскимъ народомъ и его единоплеменниками [3]).

Затѣмъ, мы только вкратцѣ укажемъ рядъ поэтовъ этого поколѣнія. Хронологически долженъ быть прежде всего названъ Милота-Здирадъ По́лякъ (собственно Матвѣй [4]), 1788—1856, ум. австрійскимъ генераломъ), который и по характеру сочиненій составляетъ переходъ отъ старой идиллической школы къ новой, народной и „властенецкой". Онъ пользовался большой извѣстностью какъ авторъ поэмы „Vznešenost' přírody" (Прага, 1819), заключающей описаніе различныхъ красотъ природы. Здѣсь находятъ поэтическое одушевленіе и смѣлый стиль; относительно языка, По́лякъ еще боролся съ трудностями и многимъ обязанъ Юнгманну, который старательно исправилъ языкъ поэмы, а введеніе бо́льшею частію написалъ самъ гекзаметромъ [5]).

---

[1]) Таковы: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, до 1253 г. Прага 1855, огромный трудъ, чрезвычайно важный для чешской исторіи. Далѣе изданія: II-го тома «Выбора изъ чешской литературы», хроники Бартоша, сочиненій Ѳомы Штитнаго, легенды о св. Катеринѣ, путешествія Гаранта изъ-Польжицъ, чешскихъ сочиненій Гуса.

[2]) Písně národní v Čechách, 3 т. Пр. 1842—45; 2-е изданіе 1852—56; 3-е изданіе: Prostonárodní české písně a říkadla, 1862. Къ пѣснямъ изданы были и Nápěvy, собранные самимъ Эрбеномъ, 3 выпуска, 1844—47, и 4-й 1860. Наконецъ, изданіе все-славянскихъ сказокъ: Slovanská čítanka, 4 вып. (одинъ томикъ). Прага, 1863—65.

[3]) Его все-славянскіе интересы выразились, кромѣ упомянутой «Славянской Читанки», другой книжкой: «Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských», Пр. 1869 (въ Matice lidu). Обширный матеріалъ собранъ имъ для все-славянской миѳологіи. Онъ перевелъ съ русскаго Несторову лѣтопись, 1867; Слово о Полку Игоря и «Задонщину», 1869.

Біографія Эрбена явилась еще при жизни его, въ альманахѣ «Máj» на 1859, стр. 95—113, напис. Вацлавомъ Зеленымъ. Далѣе см.: Květy, 1868; некрологъ, Фр. Рачкаго, въ Rad jugoslav. akad. 1871, XIV, 110—130; Н. Лавровскаго, Очеркъ жизни и дѣятельности Эрбена, въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1871.

[4]) Въ то время у патріотовъ-писателей вошло въ обычай замѣнять свои обыкновенныя имена другими, старо-чешскими или книжными, имѣвшими символическій смыслъ; или употреблялись рядомъ оба имени, и дѣйствительное и сочиненное.

[5]) Полное изданіе сочиненій По̀ляка (Spisy) вышло въ Прагѣ, 1862, въ двухъ частяхъ: I, Vznešenost přírody и разныя стихотворенія; II, Cesta do Italie.

Ближайшими современниками и друзьями Челяковскаго были: Іосифъ-Властимилъ Камаритъ (1797—1833), священникъ, собиратель народныхъ духовныхъ пѣсенъ и самъ составлявшій духовныя и свѣтскія пѣсни въ народномъ складѣ; Іосифъ-Красославъ Хмеленскій (1800—1839), поэтъ-„властенецъ“ [1]); Карлъ Винаржицкій (1803—1869), священникъ. Далѣе: Янъ-Православъ Коубекъ (1805—1854), профессоръ чешскаго языка и литературы въ пражскомъ университетѣ съ 1839 года, писавшій поэмы и стихотворенія, переводившій съ русскаго и польскаго, извѣстенъ въ особенности двумя произведеніями: „Могилы славянскихъ поэтовъ“ и юмористическимъ „Странствіемъ поэта въ адъ“ [2]); Фр. Янъ Вацекъ (1806—1869, онъ же Каменицкій), священникъ, писавшій пѣсни въ народномъ духѣ, которыя очень нравились; Вацлавъ-Яромиръ Пицекъ (1812—1851), сантиментальный поэтъ, авторъ очень любимыхъ въ свое время пѣсенъ съ патріотическимъ направленіемъ; Болеславъ Яблонскій (род. 1813, собственно Eugen Tupý) священникъ, одинъ изъ любимѣйшихъ чешскихъ поэтовъ: „Písně milosti“, „Smíšené básně“, „Moudrost otcova“; онъ—лирикъ, дидактикъ и патріотъ [3]). Вацлавъ Штульцъ (род. 1814), іезуитъ, вышеградскій каноникъ, издатель духовнаго журнала, извѣстенъ своими „Воспоминаніями на путяхъ жизни“ (Pomněnky na cestach života, 1845) патріотическими и религіозно-мистическими, переводомъ Мицкевичева „Валленрода“ и новыми сборниками стихотвореній (Perly nebeské, Dumy české, Harfa Sionská, 1865—67), гдѣ патріотическая идея опять связана съ идеей церкви (католической); авторъ доказываетъ, что патріотизмъ, католичество и свобода не только легко совмѣщаются, но и поддерживаютъ другъ друга [4]). Баронъ Драготинъ-Марія Виллани (род. 1818) издалъ два сборника стихотвореній (Lyra a meč, 1844, и Vojenské zpěvy, 1846, 1862). Какъ поэтъ-сатирикъ и юмористъ особой извѣстностью пользовался Франт. Яромиръ Рубешъ (1814—1853). Онъ рано началъ писать и скоро пріобрѣлъ популярность своими шуточными и патріотическими стихотвореніями, которыя бывали любимымъ чтеніемъ въ общественныхъ бесѣдахъ (такъ-называемыя у Чеховъ deklamovanky), по своей легкой

---

1) Между прочимъ онъ издавалъ въ теченіе пяти лѣтъ особый «Věnec ze zpevů vlastenských uvitý a obětovaný dívkam vlastenským, s průvodem fortepiana». Pr. 1835—39. Вѣнецъ «сплетенъ» изъ патріотическихъ пьесъ всѣхъ тогдашнихъ чешскихъ стихотворцевъ.

2) Sebrané Spisy, Пр. 1857—59, 4 ч., съ панегирической біографіей, К. Сабины.

3) Его «Básně», изданныя въ первый разъ въ 1841, достигли, въ размноженномъ составѣ, пятаго изданія, 1872.

4) Свой католическій патріотизмъ Штульцъ показалъ на дѣлѣ, когда въ одно время съ либеральными патріотами возсталъ въ 1861, съ своей точки зрѣнія, противъ министерства Шмерлинга въ газетѣ «Pozor», за что́ подвергся штрафу и двухъмѣсячному тюремному заключенію.

формѣ могли нравиться большой публикѣ и должны были внушать ей національное чувство. Въ 1842 онъ началъ издавать съ Фр. Гайнишемъ и Ф. Филипкомъ юмористическій журналъ: „Paleček, milovník žertu a pravdy", и написалъ еще нѣсколько разсказовъ („Pan amanuensis na venku", „Harfenice"), гдѣ съ юморомъ соединяется знаніе жизни и теплое чувство [1]). Подобныя надежды возбуждалъ ранѣе другой писатель, Іос.-Ярославъ Лангеръ (1806—1846; его Kopřivy, Rukopis Bohdanecky, Selanky), но онъ скоро покинулъ литературную дѣятельность.

Особнякомъ стоитъ Карлъ-Гинекъ Маха (1810—1836), рано умершій талантливый поэтъ, котораго вспоминаютъ теперь какъ предшественника современной поэтической школы. У него были задатки для крупной дѣятельности; онъ началъ въ обычномъ народолюбивомъ стилѣ — мелкими стихотвореніями, историческими повѣстями: „Кривоклатъ", „Цыганы", которыя обѣщали замѣчательнаго разсказчика въ манерѣ Вальтеръ-Скотта. Но Маха былъ натура мечтательная, сосредоточенная, постоянно преданная рефлексіи, и на немъ сильно отозвалось вліяніе Байроновской поэзіи: имъ овладѣвалъ разладъ между идеаломъ и дѣйствительностью, между природой и человѣческимъ обществомъ. Это настроеніе выразилось въ его главномъ произведеніи „Маѣ", который недружелюбно встрѣченъ былъ критикой педантической, но тѣмъ больше увлекалъ младшія поколѣнія. Это отрицательное направленіе было однако, какъ говорятъ, только преходящимъ, и Маха былъ наканунѣ возвращенія къ болѣе реальной поэтической дѣятельности, когда его постигла безвременная смерть [2]).

Вмѣстѣ съ обильной лирикой развились другія направленія поэзіи. Чешская драма не была богата талантами, но имѣла писателей, удовлетворявшихъ потребностямъ національной сцены. Выше упомянуто о братьяхъ Тамахъ, начинателяхъ чешскаго театра въ прошломъ столѣтіи [3]). За ними усерднымъ работникомъ на этомъ поприщѣ былъ Янъ-Непомукъ Штепанекъ (1783—1844), авторъ множества пьесъ

---

[1]) Сочиненія его, «Spisy», вышли въ Прагѣ, 1860—61, 4 ч.; 2-е изд. 1862. Его извѣстное «властенецкое» стихотвореніе: «Já jsem Čech» переведено Н. Бергомъ въ «Поэзіи Славянъ», стр. 373—374.

[2]) «Máj», лирико-эпическая поэма, вышелъ въ годъ смерти Махи, 1836, какъ «Spisů K. H. Máchy díl první»; онъ былъ и единственный. Въ 1848 начато было полное изданіе его сочиненій, но остановилось опять на 1-мъ выпускѣ, заключающемъ нѣсколько стихотвореній и обширную біографію. Наконецъ, Sebrané Spisy его вышли въ Прагѣ, 1862, у Кобера. Нѣмецкій переводъ: M'-s Ausgewählte Gedichte, Альфреда Вальдау, Прага, 1862.

О біографіи см. еще: Upomínka na K. H. Máchu, K. S., въ альманахѣ «Máj», 1858, стр. 295—317.

[3]) О началахъ чешскаго театра, см. Jan Hybl, Historie českého divadla. Пр. 1816; Leo Blass (Карлъ Сабина), Das Theater und Drama in Böhmen bis zum Anfange der XIX Jahrh. Prag, 1877.

оригинальныхъ и переводныхъ, которыя вообще не имѣли большаго достоинства литературнаго, но, что̀ было важно, давали матеріалъ для начинавшейся сцены. Штепанекъ ввелъ, разумѣется, и національный элементъ и бралъ сюжеты изъ чешской исторіи [1]). Въ литературномъ смыслѣ гораздо больше достоинства имѣли труды его преемниковъ — Клицперы и Тыля. Вацлавъ-Климентъ Клицпера (1792—1859) былъ писатель, чрезвычайно плодовитый. Онъ оставилъ до пятидесяти пьесъ, трагедій и комедій: сюжеты свои онъ уже болѣе сознательно бралъ изъ исторіи и современной жизни, его пьесы также не свободны отъ крупныхъ недостатковъ, но было и умѣнье возбуждать интересъ, такъ что Клицпера въ особенности положилъ чешской сценѣ прочное основаніе [2]). Онъ писалъ также шуточныя стихотворенія и историческія повѣсти. Іосифъ-Каэтанъ Тыль (1808—1856) былъ писатель съ легкимъ и живымъ талантомъ, впрочемъ, больше въ повѣсти, чѣмъ въ драмѣ. Еще не кончивъ ученья, онъ писалъ романъ („Statný Beneda", 1830), за который получилъ отъ издателя въ гонораръ—поношеный сюртукъ. Но главной его страстью былъ театръ, которому онъ служилъ и режиссеромъ, и драматургомъ, и актеромъ. На своемъ вѣку, Тыль перевелъ и написалъ больше 40 пьесъ [4]). Въ 1833 онъ взялся за редакцію журнала „Jindy a nyní" (въ слѣдующемъ году переименованнаго въ „Květy"), гдѣ между прочимъ велъ полемику съ „Пчелой" Челяковскаго, потомъ издавалъ нѣсколько другихъ журналовъ. Особую и наиболѣе удачную отрасль его дѣятельности составляли повѣсть и романъ, всего чаще на историческія и „властенецкія" темы. Но прошедшее, изображаемое Тылемъ, есть не столько исторически возстановленное, сколько воображаемое, а „властенецство" (похожее иногда на то, что̀ у насъ называется кваснымъ патріотизмомъ) вызвало наконецъ шутки [5]).

Какъ популярный писатель, Тыль имѣлъ несомнѣнную заслугу въ чешской литературѣ, возбуждая въ публикѣ патріотическіе интересы;

---

[1]) Напр. «Осада Праги Шведами», «Бретиславъ». Самой популярной его пьесой была комедія «Чехъ и Нѣмецъ».

[2]) Изъ трагедій его особенно извѣстна «Soběslav», изъ комедій: «Divotvorný klobouk», «Rohovín čtverrohý», «Žižkův meč», «Lhař a jeho rod».

[3]) Изъ ближайшихъ современниковъ Клицперы замѣтимъ еще имена Фр. Туринскаго (1796—1852) и С. Махачка (1799—1846; комедія «Ženichové» и трагедія «Záviš z Falkenšteina»).

[4]) Извѣстнѣйшія: Paní Marjánka, matka pluku, Strakonícký dudak, Jiříkovo vidění, Paličova dcera и Jan Hus. Въ одной изъ пьесъ Тыля находится знаменитая пѣсня: «Kde domov můj», которая стала у Чеховъ какъ бы народнымъ гимномъ.

[5]) Лучшимъ романомъ считается «Dekret Kutnohorský», изъ временъ Гуса, переведенный въ «Р. Вѣстникѣ», 1872, № 2 — 4. Въ образчикъ анахронизмовъ замѣтимъ напр., что авторъ изображаетъ ученаго нѣмецкаго профессора и его мечтательную дочку совсѣмъ такъ, какъ бы они жили въ наше время, и даже заставляетъ этого профессора въ началѣ XV вѣка пить за завтракомъ кофе, привезенный въ Европу только въ XVI-мъ.

но спѣшность и разбросанность его работы не давали ему сосредоточиться и дать произведенія болѣе совершенныя; но безспорнымъ его достоинствомъ остается легкій разсказъ и языкъ [1]).

Іосифъ-Юрій Коларъ (род. 1812), одинъ изъ извѣстнѣйшихъ чешскихъ актеровъ, есть также плодовитый драматическій писатель (трагедіи: Monika, Magelona и особенно Žižkova Smrt, имѣвшая огромный успѣхъ въ 1850, потомъ запрещенная) и одинъ изъ лучшихъ переводчиковъ—онъ перевелъ „Фауста" Гёте, нѣсколько драмъ Шиллера и Шекспира. Ферд. Миковецъ (1826—1862) былъ знающій археологъ и драматическій писатель, которому принадлежатъ трагедіи „Гибель рода Премысловцевъ" и „Дмитрій Ивановичъ", т.-е. царевичъ Дмитрій [2]).

Богаче, нежели драма, былъ отдѣлъ повѣсти, гдѣ чешскіе писатели усердно разработывали и форму Вальтеръ-Скоттовскаго романа, и новеллу, и очерки народнаго быта. Здѣсь опять должны быть названы: Клицпера; Тыль; Рубешъ; І. Ю. Коларъ; К. Г. Маха. По времени, первымъ основателемъ чешской новеллистики считается Янъ-Индрихъ Марекъ (1801—1853; псевдонимъ Jan z Hvězdy), священникъ. Онъ рано выступилъ въ литературѣ съ стихотвореніями, но особенную извѣстность пріобрѣлъ какъ авторъ романтическихъ разсказовъ и историческихъ романовъ (наиболѣе извѣстны: Mastičkař—изъ временъ Генриха Хорутанскаго, и Jarohněv z Hradku, временъ Юрія Подѣбрада). Какъ говорятъ, строгій разборъ одного изъ романовъ, писанный Тылемъ (въ „Часописѣ", 1846), произвелъ на него такое дѣйствіе, что именно вслѣдствіе того онъ прекратилъ свою литературную дѣятельность [3]). Карлъ Сабина (род. 1813), одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ писателей, имѣлъ особенную литературную судьбу. Еще съ 1830-хъ годовъ онъ выступилъ какъ повѣствователь и публицистъ. Его дѣятельность публицистическая навлекала на него многократныя слѣдствія, аресты, тюрьму, наконецъ смертный приговоръ, замѣненный долгимъ заключеніемъ, изъ котораго онъ былъ амнистированъ послѣ 8-лѣтняго пребыванія въ тюрьмѣ. Не счастливилось и его романамъ. Въ началѣ 1840-хъ годовъ онъ написалъ романъ „Гуситы": цензура пять разъ требовала его передѣлки и наконецъ разрѣшила, когда онъ былъ разбитъ на отдѣльные разсказы (Obrazy z XV a XVI století, 1844). Кромѣ ряда новеллъ и романовъ историческихъ, юмористическихъ,

[1]) Sebrané Spisy, Прага. 1844, 4 ч. Другое собраніе, Прага 1857—59; при немъ біографія, пис. Вацл. Филипкомъ. Второе изданіе этого собранія. Пр. 1867. Несходные отзывы Як. Малаго см. въ біографіяхъ Тыля (Slovník Naučný) и Челяковскаго. Новая и лучшая біографія Тыля, Ел. Красногорской, въ журналѣ «Osvěta», 1878, № 2—3, 6—7.

[2]) Онъ составилъ текстъ къ изданію Starožitnosti a památky Země České. Пр. 1858—63. т. I. Второй томъ обработывалъ К. Запъ.

[3]) Zabavné Spisy, Пр. 1843—47, десять выпусковъ.

правописательныхъ, онъ работалъ и для театра. Выше названа его книга по исторіи чешской литературы. Но вся эта многолѣтняя, плодовитая и стоившая опасностей дѣятельность завершилась, повидимому, весьма прискорбно [1]). Очень плодовитымъ новеллистомъ былъ также Прокопъ Хохолушекъ (1819—1864). Въ молодости онъ путешествовалъ въ Италію, бывалъ въ Далмаціи и Черногоріи, знакомство съ которыми пригодилось ему послѣ для романовъ; въ 1848 и слѣдующихъ годахъ онъ дѣйствовалъ какъ патріотическій публицистъ, что̀ навлекло ему значительныя непріятности отъ властей. Онъ былъ по преимуществу историческій романистъ, не только изъ чешской, но также южнославянской, и даже греческой, венеціанской и испанской исторіи. Въ особенности извѣстны изъ его романовъ: Templáři v Cechach, Dcera Otakarova, Dvůr krale Vaclava, и собраніе разсказовъ изъ южнославянской исторіи „Jih“ (Югъ, 1862). Но сами чешскіе критики, причисляя его къ лучшимъ беллетристамъ его времени, признаются, что у него недостаетъ ни оригинальности, ни историческаго колорита [2]). Людвикъ Риттерсбергъ (1809—1858; Rozbroj Přemyslovců и друг.) былъ вмѣстѣ публицистомъ.

Наконенъ—повѣсть, взятая изъ народной жизни и также писанная для народа. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ Іос. Эренбергеръ (род. 1815), священникъ, началъ издавать нравоучительныя повѣсти, въ которыхъ бывали и удачныя черты изъ народной жизни [3]). Гораздо выше по таланту и многочисленнѣе произведенія Войтѣха Глинки (род. 1817, псевд. Франт. Правда), также священника, который написалъ множество разсказовъ изъ народной жизни, разсѣянныхъ въ журналахъ и частію изданныхъ отдѣльно [4]). Иногда разсказы его впадаютъ въ поученіе, бываютъ растянуты; но есть другіе, по которымъ чешскіе критики сравниваютъ его съ Ауэрбахомъ. Но на первомъ планѣ въ этой области должна быть безспорно поставлена писательница, которая вообще представляетъ одно изъ лучшихъ явленій чешской литературы,—Божена Нѣмцова (1820—1862, рожд. Варвара Панкль). Отецъ ея, небольшой чиновникъ, былъ родомъ Нѣмецъ, мать—Чешка. Воспитаніе было на рукахъ матери и также бабушки, которую она изобразила потомъ въ извѣстной повѣсти съ этимъ именемъ. Она рано, 1837, вышла замужъ, также за чиновника, по фамиліи Іос. Нѣмца, и такъ какъ онъ часто мѣнялъ свое служебное мѣстопребываніе, Нѣмцова могла увидѣть разные края чехо-словацкой

---

[1]) Біографія въ Научномъ Словникѣ, и въ дополненіяхъ, s. v.

[2]) По-русски переведено: «Косово Поле. Историческая повѣсть изъ эпохи покоренія Сербіи Турками». Кіевъ, 1876.

[3]) Въ 1849 обратилъ на себя вниманіе его разсказъ. напечатанный въ «Народныхъ Новинахъ»: Jak jsem se stal z Čecha Němcem, a pak zase z Němce Čechem.

[4]) Povídky z kraje, 1851—53, 5 вып.; Učitel z Milešovic, 1856, и друг.).

земли и сблизиться съ народнымъ бытомъ, какъ рѣдко удается писателю. Ея литературные вкусы воспитаны были сначала нѣмецкой литературой, Гёте и Шиллеромъ; первую повѣсть она написала по-нѣмецки, но сожгла ее и уже вскорѣ стала писать по-чешски (съ 1839),—къ чему особенно возбудили ее „властенецкія“ повѣсти Тыля. Наконецъ, въ 1842 она поселилась съ мужемъ въ Прагѣ; здѣсь тотчасъ она сблизилась съ кружкомъ патріотовъ-писателей, и изъ нихъ въ особенности Небескій и д-ръ Чейка ознакомили ее съ литературной теоріей и указали матеріалъ въ народной жизни и поэзіи. Съ 1843 стали являться въ журналахъ ея стихотворенія, потомъ народные разсказы и этнографическіе очерки, также повѣсти изъ народнаго быта [1]). Вскорѣ она опять оставила Прагу и жила въ провинціи и деревнѣ. Между тѣмъ мужъ ея вслѣдствіе событій 1848—50 былъ заподозрѣнъ въ „политическихъ проискахъ“ (rejdy, Umtriebe), года два былъ подъ слѣдствіемъ, наконецъ въ 1853 потерялъ мѣсто; семья впала въ недостатокъ; здоровье Нѣмцовой испортилось, а усиленная работа для семьи окончательно его подкопала. Лучшія произведенія Нѣмцовой: „Бабушка“ (переведенная и на русскій языкъ) и „Горная деревушка“. Прибавимъ, что ея интересы простирались и на народную жизнь другихъ славянскихъ племенъ—Русскихъ, Болгаръ, Сербовъ, и соединялись съ очень разумными общественными взглядами. Сочиненія Нѣмцовой отличаются вообще большими достоинствами—замѣчательнымъ знаніемъ народнаго быта и языка, легкимъ разсказомъ и задушевностью: она глубоко чувствуетъ поэтическую сторону простой народной жизни, умѣетъ указать ее привлекательными чертами нравовъ и характеровъ, и въ разсказѣ слышится искреннее и убѣжденное исканіе народнаго блага и желаніе ему служить. Сочиненія Божены Нѣмцовой были отраженіемъ ея личной благородной и поэтической натуры,—которая осталась и для насъ лично свѣтлымъ воспоминаніемъ [2]).

Указанное содержаніе чешской поэзіи, драмы и романа дополнялось значительнымъ количествомъ переводовъ изъ литературъ европейскихъ и ино-славянскихъ: Шекспиръ нашелъ дѣятельныхъ переводчиковъ, также какъ и другіе первостепенные писатели. Затѣмъ, ни у кого изъ другихъ Славянъ нѣтъ столько переводовъ изъ родственныхъ славянскихъ литературъ. Чехамъ въ тѣ годы и послѣ знакомы были въ переводахъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ,

---

[1]) Narodní báchorky a povèsti, 1845; Babíčka, obrazy venkovského života, 1855; Pohorská vesnice, 1856; Slovenské pohádky a povèsti, 1856; Sebrané Spisy, 1862—63. 8 частей.

[2]) См. Slovník Naučný, s. v.; «Божена Нѣмцова, біографическій очеркъ», «Р. Вѣстн.», 1871, т. 93, стр. 56—80.

Кольцовъ, Некрасовъ; Вукъ Караджичъ, Вукотиновичъ, Боговичъ; Мицкевичъ, Залѣскій, Корженёвскій, Ржевускій, Бродзинскій, Сырокомля и проч. [1]).

Поэма Коллара надолго опредѣлила направленіе чешской поэзіи, утвердивши въ ней народныя и панславянскія стремленія. Колларъ высказывалъ свою програму возвышенными и рѣшительными словами. „Меньшее всегда должно быть подчинено бо́льшему, высшему: любовь къ родинѣ — любви къ отечеству. Ручьи, рѣки и потоки выливаются въ море; отдѣльныя земли, края, племена должны выливаться въ народъ (націю). У всѣхъ Славянъ есть одно только отечество“. „Прочныя границы отечества, которыя боится тронуть злоба,—говоритъ онъ въ своей поэмѣ, — лежатъ въ нравахъ, рѣчи и единодушныхъ стремленіяхъ“. Это отечество есть отечество панславянское, и оно стало общимъ идеаломъ: его принимали тогда поэты и другихъ славянскихъ племенъ, какъ только выдвигался у нихъ національный вопросъ. Но къ неопредѣленно-мистическимъ ожиданіямъ панславизма, какъ ихъ первая реальная ступень, присоединялось требованіе — развивать ближайшее національное чувство, возвышать свою собственную народность, ея языкъ, литературу и нравы.

Эти мотивы повторяетъ потомъ масса чешскихъ поэтовъ, которые воспѣвали славное прошедшее, проповѣдовали любовь къ родинѣ, къ родному языку и нравамъ, къ панславянскому отечеству. Вслѣдъ за Колларомъ, который совѣтовалъ соотечественникамъ хранить свою рѣчь и обычаи („Nechte cizich, mluvte vlastní řečí“), чешскіе поэты настойчиво убѣждаютъ соотечественниковъ говорить по-чешски и любить родину. Женщина-поэтъ внушаетъ соотечественникамъ „съ первымъ сладкимъ поцѣлуемъ вливать въ душу своихъ дѣтей чешскіе звуки и горячую любовь къ родинѣ, — называть имъ имена славныхъ отцовъ и напоминать кровь, пролитую за право“. Рубешъ посвящаетъ цѣлое длинное стихотвореніе (Já jsem Čech) выраженію восторженнаго патріотическаго сознанія:

Я Чехъ!
Коль найдется межъ народовъ всѣхъ
Кто лучше — пусть открыто скажетъ
И ясно это мнѣ докажетъ!
Моя отчизна — Чешская земля!
Ея дубравы, рощи и поля —
Ихъ видѣть каждое мгновенье —

---

[1]) Особенно работалъ въ этомъ отношеніи трудолюбивый писатель, Якубъ Малый (род. 1811), который издавалъ Bibliotéku zábavného čtení. Кромѣ того, онъ перевелъ цѣлый рядъ историческихъ и образовательныхъ книгъ, былъ вторымъ редакторомъ «Научнаго Словника», и въ послѣдніе годы издаетъ краткій словарь: «Stručný všeobecný Slovník věcný».

Вотъ въ чемъ для Чеха наслажденье!
Не покидать родимый край —
Вотъ истинный для Чеха рай!
Чему дивиться? — нѣту болѣ
Межь горъ красивѣе юдоли,
Какъ Чехія! и проч. (Переводъ Н. Берга).

Яблонскій заявляетъ свою готовность къ бою за отечество и утверждаетъ, что чувствуетъ въ себѣ „львиную“ кровь (левъ — гербъ чешскаго королевства):

Ne dívte se, drazí moji,
Pro národ že vždy jsem hotov k boji,
Že se lví krev proudí v žilách těch;
Že bych pro Vlast — pro tu máti —
Se všemi chtěl živly bojovati, —
Jsem ja krví, duchem Čech! и проч.

Другой поэтъ спрашиваетъ, гдѣ предѣлы славянскаго царства? Онъ ищетъ ихъ тамъ, гдѣ царь Лазарь погибъ въ славномъ бою; ищетъ этихъ предѣловъ на Дунаѣ, гдѣ воевалъ славный Зрини; на Волтавѣ, гдѣ Жижка водилъ своихъ воиновъ на святую битву за народъ; на Вислѣ; въ русской землѣ, гдѣ пламень охватилъ Москву,—и эти предѣлы все не обнимаютъ славянскаго царства. Наконецъ поэтъ находитъ ихъ:

Tám, kde jazyk Slávy syna
Na čest otců upomíná,
Mysl čístá, srdce vřelé
Pro vlast koná činy smělé,
Pobratřence láska pojí —
Tám slovanská řiše stojí!

Эти предѣлы, которые обозначались „чистой мыслью“, „горячимъ сердцемъ“, „братской любовью“, казались тогда крѣпкимъ предѣломъ предполагаемаго славянскаго царства. На дѣлѣ, предѣлъ былъ не совсѣмъ надеженъ, но этого не замѣчало только-что пробудившееся и неопытное національное чувство. Славянское единство казалось обезпеченнымъ, и поэзія не уставала повторять своихъ воззваній. Русскому читателю не трудно вспомнить при этомъ подобныя воззванія Хомякова, Тютчева и другихъ поэтовъ славянофильской школы. Понятно, что національная антипатія къ Нѣмцамъ возрастала: старинные враги, столько навредившіе въ прошедшемъ и грозившіе народности въ настоящемъ, стали еще болѣе ненавистны патріотамъ, и хотя австрійская цензура очень заботливо воздерживала литературу, читатель угадывалъ между строкъ настоящія мысли патріотическихъ писателей. Колларъ совѣтовалъ вѣрнымъ сынамъ отечества „попрать предательскаго змѣя“; въ одной сельской пѣснѣ Челяковскаго, поселяне гово-

рятъ, что они засѣяли льну для своихъ женъ, розъ для своихъ дѣвушекъ и конопли (на веревки) для какихъ-то бездѣльниковъ, которыхъ долженъ угадывать читатель. Должно, впрочемъ, сказать, что когда шла серьёзная рѣчь о внутреннихъ политическихъ отношеніяхъ съ Нѣмцами, чешскіе публицисты показывали вообще большую умѣренность, какая и обнаружилась на дѣлѣ примирительными актами, когда начался переворотъ 1848 года. Съ другой стороны, у лучшихъ людей литературы всегда оставалось высокое уваженіе къ нѣмецкой наукѣ, и литература, при всей оригинальности нѣкоторыхъ ея явленій, при ярко-заявленномъ стремленіи къ независимости, національному характеру, развивалась вообще подъ сильнымъ нѣмецкимъ вліяніемъ, или подъ вліяніемъ обще-европейскимъ, при большомъ посредствѣ нѣмецкаго образованія. Не одинъ изъ крупныхъ чешскихъ писателей началъ даже свою поэтическую дѣятельность на нѣмецкомъ языкѣ—какъ Воцель и Божена Нѣмцова; многіе писали свои ученые труды по-нѣмецки — какъ, послѣ Добровскаго, Шафарикъ, Палацкій, Колларъ, Томекъ и проч.

Преувеличенный идеализмъ и сентиментальность тогдашняго „властенецства“ [1]) вызвали, наконецъ, отпоръ въ самой средѣ патріотовъ. Въ разборѣ романа „Послѣдній Чехъ“ Тыля, патріотизмъ котораго особенно отличался этими чертами, Гавличекъ нашелъ нужнымъ сказать слѣдующее: „Намъ уже начинаютъ надоѣдать эти нескончаемыя рѣчи о властенецствѣ, о властенцахъ и властенкахъ, которыми много лѣтъ немилосердо насъ преслѣдуютъ въ стихахъ и въ прозѣ наши писатели, и особенно Тыль. Было бы пора этому властенецству удостоить перейти отъ языка въ руки и въ тѣло, т.-е. чтобы мы изъ любви къ своему народу больше дѣлали, чѣмъ объ этой любви говорили; потому что, за однимъ возбужденіемъ къ властенецству мы забываемъ о просвѣщеніи народа“ [2]).

Въ такомъ настроеніи была чешская литература, когда начались событія 1848 года. Конституціонная свобода сообщила вдругъ сильное движеніе національному вопросу; народность, признанная закономъ, вдругъ усилилась замѣтно, потому что къ ней перешли люди, прежде колебавшіеся и нерѣшительные. Это оказалось даже въ Вѣнѣ. Явились славянскіе политическіе клубы, политическія газеты; свобода книгопечатанія дала литературѣ новый интересъ: ее наводнили политическія разсужденія, патріотическія воззванія и пѣсни. Но было еще много неопытности, и журнальной литературѣ предстояло развить въ своей публикѣ здравое пониманіе новыхъ общественныхъ отноше-

---

[1]) Vlast—по-чешски отечество; vlastenec, патріотъ.

[2]) Česka Včela, 1845.

ній и пріучить ее къ гражданской самостоятельности. Чешскіе политики часто весьма разумно работали надъ этой задачей, хотя въ тоже время слишкомъ вѣрили въ совершеніе славянскихъ надеждъ и въ прочность конституціоннаго порядка, — полученнаго безъ всякихъ особенныхъ усилій со стороны самихъ Чеховъ... Между этими журналистами, образовавшимися изъ прежнихъ поэтовъ, археологовъ и этнографовъ, былъ и писатель весьма замѣчательнаго таланта. Это былъ Карлъ Гавличекъ (или Borovský, 1821 — 1856). Вступивши въ молодости въ пражскую архіепископскую семинарію, Гавличекъ своими остроумными выходками и сатирическими стишками обѣщалъ изъ себя плохого теолога и наконецъ оставилъ семинарію, къ удовольствію своему и своихъ наставниковъ. Въ 1842, онъ отправился въ Москву, гдѣ прожилъ года два въ качествѣ гувернера, въ домѣ профессора Шевырева. Жизнь въ Москвѣ оставила свой слѣдъ на его развитіи: критическій и оппозиціонный характеръ его ума опредѣлился здѣсь еще больше; онъ лучше привыкъ понимать между-славянскія отношенія и сильнѣе ненавидѣть насиліе и произволъ. Въ 1844 году онъ вернулся въ Прагу. Свою литературную дѣятельность онъ началъ статьями и письмами о Россіи, которыя въ первый разъ знакомили чешскихъ читателей съ настоящимъ положеніемъ русской дѣйствительности,—хотя у него была извѣстная доля славянофильскихъ понятій, въ средѣ которыхъ онъ жилъ въ Россіи. Между прочимъ, онъ перевелъ на чешскій языкъ нѣсколько разсказовъ Гоголя. Съ 1846 года онъ сталъ редакторомъ „Пражскихъ Новинъ“ и „Пчелы“, выходившей вмѣстѣ съ ними. Уже съ этого времени талантливый писатель пріобрѣтаетъ популярность, возраставшую съ тѣхъ поръ больше и больше: Гавличекъ умѣлъ овладѣвать вниманіемъ общества, и австрійское правительство собиралось уже запретить его журналъ, когда мартовская революція совершенно развязала руки смѣлому публицисту. Онъ принималъ самое дѣятельное участіе въ чешскихъ событіяхъ 1848—49 года и, поддерживаемый графомъ Деймомъ съ матеріальной стороны, началъ съ 1848 изданіе „Народныхъ Новинъ“ — газеты, получившей скоро огромное вліяніе на чешское общество и вообще лучшей изъ славянскихъ политическихъ изданій, выходившихъ тогда въ Австріи. Въ своихъ политическихъ мнѣніяхъ Гавличекъ держался первой конституціи и программы Палацкаго, но въ этихъ предѣлахъ онъ былъ упорнымъ защитникомъ народнаго права отъ всякихъ враждебныхъ покушеній. Онъ понялъ, какъ слѣдуетъ, октроированную конституцію 4-го марта 1849, заключавшую всѣ сѣмена послѣдовавшей затѣмъ реакціи, и рѣзко возсталъ противъ нея въ своей газетѣ. Правительство потребовало его къ суду, но присяжные оправдали его. Послѣ того начались постоянныя преслѣдованія, окончившіяся въ началѣ 1850 запре-

щеніемъ „Народныхъ Новинъ“. Въ томъ же году онъ началъ издавать „Славянина“ (Slovan), въ формѣ еженедѣльнаго журнала, въ Кутной-Горѣ, такъ какъ въ Прагѣ изданіе было невозможно по ея осадному положенію. Но борьба противъ реакціи была уже невозможна: въ мартѣ 1851 Гавличку запретили въѣздъ въ Прагу, потомъ запретили „Славянина“, наконецъ сослали Гавличка въ Бриксенъ, въ Тиролѣ... Ко времени этой ссылки относятся его *Тирольскія элегіи*, не одинъ разъ переведенныя на русскій языкъ. Въ ссылкѣ постигла Гавличка тяжелая болѣзнь; ему позволили ѣхать на чешскія минеральныя воды, но въ Прагу онъ вернулся только наканунѣ смерти. Гавличекъ былъ несомнѣнный публицистическій талантъ; въ короткій періодъ своей дѣятельности онъ сдѣлалъ очень много для воспитанія общества въ томъ направленіи, къ которому оно было приготовлено всего меньше въ своихъ національныхъ заботахъ,—въ направленіи политическомъ. Его ясный умъ, простота пониманія и изложенія, остроуміе и юморъ давали ему большое вліяніе на массу, и дѣятельность Гавличка тѣмъ замѣчательнѣе исторически, что въ его пониманіи было очень много здраваго практическаго смысла, который удалялъ его отъ мечтательнаго фантазерства. Онъ еще принадлежитъ къ панславянской школѣ, но цѣнитъ панславизмъ только въ той степени, насколько онъ можетъ принести дѣйствительной настоящей пользы, не стѣсняя частнаго развитія племенъ. Послѣднимъ трудомъ Гавличка, напечатаннымъ при его жизни, были „Повѣсти“, переведенныя изъ Вольтера [1]).

Съ пятидесятыхъ годовъ чешскіе критики считаютъ вообще новый періодъ своей поэтической литературы. И дѣйствительно, событія 1848—49 года были въ разныхъ отношеніяхъ переломомъ. До тѣхъ поръ чешская поэзія стремилась по преимуществу, почти исключительно, къ цѣлямъ національно-патріотическимъ: у Коллара она поднималась до торжественнаго тона панславистическихъ воззваній, Челяковскій вводилъ ино-славянскіе мотивы, Воцель воскрешалъ воспоминанія героическихъ временъ чешской свободы, Эрбенъ обработывалъ народную поэзію, poëtae minores писали властенецкія повѣсти, драмы,

1) Коротенькая біографія Гавличка у Риттерсберга, Kapesní Slovníček novin .a konversační, Прага 1850; обширнѣе въ «Научномъ Словникѣ». Важнѣйшія статьи изъ «Народныхъ Новинъ» собраны въ книжкѣ «Duch Narodnich Novin», Кутная-Гора 1851. Переводъ «Тирольскихъ элегій» Гильфердинга въ „Русск. Словѣ“ 1860, апрѣль; Н. Берга, въ «Поэзіи Славянъ», 380—384 (но Дедера напрасно передѣланъ здѣсь въ Дедёру). Отрывки изъ дневника Гавличка, конца 1840 г. въ чешской газеткѣ Blaník, I. Фрича, Берлинъ, 1868, № na ukázkau. Изданіе сочиненій его началъ В. Зеленый: Sebrané Spisy, Прага 1870; отсюда два письма Гавличка изъ Москвы переведены въ „Слав. Ежегодникѣ“. Задерацкго, 1877, стр. 177—190. V. Zelený, Ze života Karla Havlíčka, въ журналѣ Osvěta, 1872, № 5, 7, 9 (до поѣздки въ Москву).

пѣсенки и т. д. Рядомъ съ поэзіей шла забота о популярно-образовательныхъ и дешевыхъ книгахъ для народа. И дѣйствительно, многое было сдѣлано. Національное чувство было пробуждено въ значительной массѣ чешскаго населенія, въ Прагѣ и въ провинціи, гдѣ по мелкимъ городкамъ и селамъ находились уже патріоты, готовые воспитать слѣдующее поколѣніе въ томъ же народномъ духѣ.

Перевороты 1848—49 года дали выходъ этому національному чувству,—хотя очень ненадолго народъ снова послѣ двухъ съ половиной вѣковъ почувствовалъ себя свободнымъ чешскимъ народомъ. Реакція скоро упала на чешское общество тяжкимъ разочарованіемъ. Патріотическое движеніе опять становилось почти преступленіемъ; полицейскій надзоръ снова вмѣшивался въ самыя мелкія проявленія общественной жизни, оберегалъ литературу отъ дурныхъ вліяній, запрещалъ ввозъ изъ-за границы „опасныхъ" книгъ (въ числѣ ихъ были даже русскія!). Литература вдругъ упала изъ своего прежняго оживленія; но послѣ извѣстнаго промежутка апатіи, въ ней снова заговорила жизнь—въ другомъ направленіи...

Послѣ погрома, при господствѣ всякаго стѣсненія въ чешской поэзіи стало складываться иное настроеніе. Старый „властенецкій" идеализмъ стали еще раньше осмѣивать; да и мудрено было пѣть диѳирамбы отвлеченному панславянскому отечеству, котораго въ трудную минуту на дѣлѣ не оказывалось; новое поколѣніе, кажется, извѣрилось въ прежнихъ средствахъ національной борьбы и охладѣвало къ нимъ и къ старой поэтической традиціи—и въ послѣднемъ было не со всѣмъ право. Съ другой стороны чувствовалось, что поэзія должна стать самостоятельно, не только какъ средство для достиженія общественныхъ цѣлей, но должна исполнить свою собственную роль какъ поэзіи, расширить свое содержаніе до идей обще-человѣческихъ и явиться свободнымъ отъ тенденціи выраженіемъ личности. Дѣйствительно, новая чешская поэзія стала искать этой независимости; это былъ шагъ впередъ, но не совсѣмъ иногда вѣрный.

Къ концу пятидесятыхъ годовъ созрѣла и организовалась новая литературная школа въ этомъ смыслѣ. Представители ея были тогда юноши; нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли потомъ большую славу и стаятся во главѣ новой чешской литературы. Внѣшнимъ началомъ дѣятельности этой школы былъ альманахъ „Máj", выходившій въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Внутренней особенностью было служеніе поэзіи какъ чистому искусству; человѣкъ, котораго внутреннюю жизнь хотѣла изображать эта поэзія, не былъ только „Чехъ" или „Славянинъ" (какъ прежде), но былъ вообще „человѣкъ". Предшественникомъ этой новой поэзіи считался не Колларъ или Челяковскій, а развѣ упомянутый выше Маха. Источникомъ и возбужденіемъ, подъ которыми

развивалась эта поэзія, была европейская литература со стороны ея обще-человѣческихъ идей и созданій: Шекспиръ и Байронъ, позднѣе Викторъ Гюго; романтическій мистицизмъ, разочарованность, бѣгство въ природу стали обычными мотивами. Новая поэзія была чрезвычайно плодовита; цѣлая многолюдная группа поэтовъ обработывали всего больше—лирику, но также эпосъ и драму; наконецъ новелла и романъ развились какъ еще никогда прежде [1]). Лучшими плодами ея были конечно тѣ, въ которыхъ жизнь брала верхъ надъ книжными возбужденіями.

Прежде, чѣмъ перейти къ этой новой школѣ, остановимся на писателѣ, который можетъ служить къ ней переходомъ и выражаетъ особую сторону чешскаго общественнаго движенія. Это—Іосифъ Вацлавъ Фричъ (род. 1829, псевдонимъ Бродскій), сынъ Іосифа Фрича, замѣчательнаго практическаго юриста и профессора въ Пражскомъ университетѣ. Іосифъ-Вацлавъ рано увлеченъ былъ патріотическими идеями, принялъ участіе въ событіяхъ 1848 года, былъ волонтеромъ у Словаковъ противъ Венгровъ, но взятъ былъ, раненый, австрійскими войсками, освобожденъ 1849, въ томъ же году арестованъ за связи съ революціонной партіей, въ 1851 присужденъ военнымъ судомъ къ 18-лѣтнему тюремному заключенію, въ 1854 амнистированъ, въ 1858 сосланъ въ Трансильванію, въ 1859 освобожденъ подъ обѣщаніемъ эмигрировать и не возвращаться на родину. Затѣмъ онъ жилъ въ Лондонѣ, гдѣ познакомился съ Герценомъ, потомъ въ Парижѣ, гдѣ читалъ по-польски о чешской литературѣ. Послѣ многихъ лѣтъ эмиграціонной жизни онъ получилъ разрѣшеніе вернуться въ Австрію, кромѣ Праги, работалъ въ Загребѣ въ качествѣ публициста, во время послѣдней войны былъ корреспондентомъ чешской газеты въ Петербургѣ... Послѣ такой біографіи читатель угадываетъ, что поэзія Фрича должна быть ультра-романтическая. Таковъ дѣйствительно его „Упырь“, характеръ котораго есть доведенный до послѣдней крайности мистическій романтизмъ, съ загробнымъ міромъ, необузданной страстью, туманомъ разсказа и полнымъ раздоромъ съ дѣйствительностью [2]). У Фрича есть несомнѣнное поэтическое дарованіе, сильный, выразительный языкъ, но его упрекаютъ, что онъ не освободился отъ вліяній романтическихъ преувеличеній и вмѣстѣ неясности, которая не даетъ прочнаго впечатлѣнія. Кромѣ лирики, Фричъ въ особенности работалъ въ драмѣ: Kochan Ratiborsky, Vaclav IV, Hynek z Poděbrad, Ulrik Hutten, Svatopluk, Libušin soud, Drahomíra [3]).

---

[1]) О новѣйшей чешской поэзіи см. прекрасную статью Ел. Красногорской: Obraz novějšího básnictví českého, въ «Часописѣ», 1877.

[2]) По выраженію Ел. Красногорской, это—«přebyronovaný Byron, předémonovaný «démon», mystický kvas Krasiňského, Slovackého i Goščinského zároveň» («Часописъ», 1877, стр. 300).

[3]) Въ 1855 онъ издалъ альманахъ «Lada Niola», въ Женевѣ 1861 «Vybor básní».

Во главѣ новой литературной школы, ставится безъ всякаго спора поэтъ, который составляетъ гордость новѣйшей чешской литературы. Витезславъ Галекъ (1835—1874), какъ очень многіе изъ чешскихъ писателей, родился въ семьѣ низшаго сословія, учился въ гимназіи въ Прагѣ и въ 1858 окончилъ такъ-называемыя „философскія студіи". Поэтъ съ ранней юности, онъ уже въ томъ же году выступилъ съ лирико-эпической поэзіей „Альфредъ", который обратилъ на него первое общее вниманіе, и сборникъ лирическихъ стихотвореній „Večerní písně". Въ слѣдующемъ году онъ издалъ еще двѣ большія поэмы „Mejrima a Husejn" и „Krásná Lejla"; а въ 1860 первую свою драму „Царевичъ Алексѣй", за которой слѣдовалъ рядъ другихъ, изъ которыхъ замѣтимъ Zaviše z Falkenšteina, „Краля Вукашина". Въ драмахъ также обнаруживался значительный талантъ, но было и слишкомъ видное подражаніе Шекспиру, излишество лирики и недостатокъ сценичности. Главную силу Галька составляли лирико-эпическія поэмы и стихотворенія, и разсказъ; изъ поэмъ въ особенности цѣнятся Goar, 1864; Černy prapor, 1867; Dědicové Bílé Hory, 1869; Devče z Tater, 1871; баллады—Frajtr Kalina, Blaznivy Janoušek. Въ прозѣ онъ оставилъ романъ „Komediant" и рядъ разсказовъ изъ народнаго быта. Въ 1866 — 72 онъ редактировалъ иллюстрированный еженедѣльникъ „Květy" и участвовалъ въ разныхъ другихъ журналахъ. Лирическая дѣятельность его завершилась сборникомъ стиховъ „V přírodě".

Въ своихъ первыхъ пѣсняхъ Галекъ воспѣвалъ радости и печали любви, высокое значеніе поэзіи: его поэтъ—извѣстный романтическій „пророкъ", учитель правды, добра и красоты [1]). Съ этимъ представленіемъ онъ велъ всю свою поэтическую дѣятельность; но лирическія темы его бываютъ иногда однообразны (напр. въ „Вечернихъ пѣсняхъ"), а „пророчества" самонадѣянны, но неопредѣленны [2]).

Въ Парижѣ, онъ и Л. Леже (Leger) издали книгу: La Bohême historique, pittoresque et littéraire. Paris, 1867. Въ Берлинѣ, въ 1868 году, Фричъ началъ-было издавать еженедѣльную газету: Blaník, týdenník samostatné omladiny česko-moravské (съ пробнымъ выпускомъ 10 №), въ славянскомъ демократическомъ духѣ. Въ № 4 — 9 «Bakunin o Slovanstvu (R. 1862)», изложеніе особой теоріи, соединяющей революцію, соціализмъ и панславизмъ.

[1]) Напримѣръ, изъ «Вечернихъ пѣсней» (XLVIII).

Požehnaný, jenž pomazán
na pěvce rukou Páně;
on v soudy boží nahlédnul
i v lidských ňader báně.

On zná ten velký světů žalm
i zpěv, jejž zpívá ptáče,
on srdce tlukům rozumí,
kdy plesa i kdy pláče.

Co jiným lidem tajemstvím,
to před ním rozestřené,
on vůdcem lidu božího
do země zaslíbené.

On králem velkých království,
on knězem lidstva spásy,
a co v něm leží pokladů,
jsou neskonalé krásy.

[2]) Напр. въ стихотвореніяхъ «V přírodě»:

Ve vonné básni květomluvne luky,

Въ эпической поэзіи Галька также повторяются подобныя черты романтики; такъ, въ поэмѣ „Dědicové Bílé Hory“ къ исторической темѣ политическихъ преслѣдованій примѣшана ненужная фантастика и аллегорія, которыя только мѣшаютъ сильному впечатлѣнію болѣе простыхъ и реальныхъ эпизодовъ; Devče z Tater—опять поэма съ прекрасными подробностями и романтическими преувеличеніями. Къ лучшимъ произведеніямъ его принадлежатъ разсказы изъ народнаго быта, гдѣ много искренняго чувства и любви къ народу, хотя опять не безъ излишка сантиментальности [1]).

Ближайшимъ сотоварищемъ Галька въ созданіи новой чешской лирики считается Адольфъ Гейдукъ (род. 1836). Онъ учился въ пражскомъ и бѐрненскомъ политехникумѣ, и потомъ былъ профессоромъ реальной школы. Когда въ 1859 онъ собралъ свои стихотворенія („Basně: Cigánské melodie, Písně, Růže považská и пр.), онъ былъ уже замѣтнымъ дѣятелемъ новой школы. Далѣе слѣдовали „Jižní Zvuky“, 1864, плодъ путешествія въ Италію; „Lesní kvítí“; лирико-эпическая поэма „Milota“, но въ особенности „Cymbál a husle“, которыя считаются лучшимъ его произведеніемъ—это картины словацкой жизни и природы, богатые поэтическими образами. Въ послѣднее время онъ издалъ еще „Dědův odkaz“, аллегорическую поэму, въ которой изображается исканіе художественной красоты, тоска по идеалѣ, разладъ съ жизнью и т. д., чтó вообще наполняетъ внутреннюю жизнь поэта: „дѣдъ“ — народный геній — научаетъ поэта волшебной музыкѣ... Чешскіе критики встрѣтили эту поэму съ величайшими похвалами [2]).

Гораздо разнообразнѣе дѣятельность третьяго изъ главныхъ писателей новой школы, Яна Неруды (род. 1834). Это одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ чешскихъ беллетристовъ. Неруда началъ писать очень рано. Первыя стихотворенія его, подъ псевдонимомъ

---

ve světů nočních lesklém výronu
ja čítám zákony všech zakonů,
jež vyšly z přírody právečné ruky.

A ptaků zpěvných zvukosnívé bědno,
motyla vznik, národů zániky
a lidstva ples i bolu výkřiky—
to zakonů těch pismo jenom jedno, и проч.

Или:—Nechť zmudřelí se hadají
o pismeny a o zákony:
mně polní kvítko bylo vždy
nad krále i nad Salomony (?) и проч.

[1]) Съ 1878 выходитъ полное собраніе сочиненій Галька (Sebrané Spisy), при которомъ обѣщается біографія, писанная Ферд. Шульцомъ. Статьи Ел. Красногорской по поводу Галька, въ журналѣ «Osvěta», 1878, стр. 868—874; 1879, стр. 582—592.

[2]) Біографія въ журналѣ «Svetozor», 1877, № 7; разборъ послѣднихъ двухъ произведеній, тамъ же 1876, № 6, и «Osvěta», 1879, II, 952—955.

Janko Hovora, явились въ 1854; въ 1858 онъ издалъ „Hřbitovní kvítí“ (Кладбищенскіе цвѣты) и тогда же, вмѣстѣ съ Галькомъ, Фричемъ, Баракомъ, основалъ упомянутый альманахъ „Máj“. Съ 1865 онъ ведетъ критику и фельетонъ въ „Народныхъ Листахъ“. Кромѣ работъ журнальныхъ, онъ написалъ нѣсколько театральныхъ пьесъ: комедіи—Ženich z hladu, Prodaná láska, Já to nejsem; трагедію Francesca di Rimini. Еще студентомъ онъ путешествовалъ по разнымъ краямъ Австріи; съ 1863 началъ рядъ болѣе далекихъ странствій по Европѣ, въ Малую Азію, Палестину, Египетъ. Въ 1864 онъ издалъ Arabesky и Pařižské obrázky, въ 1867 Kníhy veršů. Плодомъ путешествій были разсказы и очерки: Různí lidé и Obrazy z ciziny (1872). Въ 1866 онъ затѣялъ вмѣстѣ съ Галькомъ и нѣсколько времени издавалъ журналъ „Květy“, а въ 1873 съ нимъ же возобновилъ „Lumír“, гдѣ собралась группа новаго поколѣнія беллетристовъ и стихотворцевъ, о которыхъ—далѣе. Въ 1876, онъ началъ издавать собраніе своихъ фельетоновъ (до 1879—4 выпуска), гдѣ, по словамъ чешскихъ критиковъ, есть пьесы, напр. „Trhany“, которыя „дали бы ему славу геніальнаго жанриста, если бъ онъ и ничего больше не написалъ“: въ 1878—„Malostranské povídky“ [1]), которыя считаются иными за лучшее произведеніе Неруды. Наконецъ, „Písně kosmické“ (2-е изд. 1878) — въ родѣ стихотвореній Галька „Въ природѣ“, но эта природа астрономическая и космографическая... — поэзія этихъ пѣсенъ была намъ мало понятна.

Галекъ былъ первымъ поэтомъ новой школы, но Неруду считаютъ настоящимъ реформаторомъ въ новой чешской литературѣ. Писатель разнообразный, чрезвычайно плодовитый, онъ считается по преимуществу основателемъ чешской беллетристики: онъ заявилъ требованіе литературнаго прогресса, необходимость дать мѣсто новымъ идеямъ и формамъ, и самъ представилъ образцы новой манеры [2]).

Названные писатели стоятъ во главѣ цѣлой плеяды поэтовъ и новеллистовъ: нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ большую славу въ чешской литературѣ. Назовемъ ихъ вкратцѣ съ ихъ главнѣйшими произведеніями.

Густавъ Пфлегеръ-Моравскій (1833—1875),—лирикъ, драматическій писатель и романистъ, вообще неровный: извѣстенъ его романъ въ стихахъ „Pan Vyšinský“, 1858—59, писанный подъ явнымъ вліяніемъ Мицкевича и Пушкина, съ юмористическимъ оттѣнкомъ; всего болѣе цѣнится онъ какъ романистъ („Z malého světa“). Рудольфъ Майеръ (1838—1865), рано умершій, талантъ котораго высоко цѣ-

---

[1]) «Малая Страна»—часть Праги, за рѣкой.

[2]) Біографіи: Slovník Naučný, s. v.; Kalendář, Арбеса, 1879, стр. 84—87; «Světozor», 1878, № 42.

нится чешскими критиками: по возвышенному характеру его меланхолической поэзіи, въ немъ видѣли настоящаго преемника Махи [1]). Въ молодыхъ лѣтахъ умеръ и Вацлавъ Шольцъ (1838—1871: Uskoci, Zpěvy svatovaclavské, Naše chaloupky). Богумилъ Янда (Janda, съ псевдонимами Cidlinský, Lanský и др., 1831—1875), поэтъ и новеллистъ, извѣстный особенно исторической поэмой „Talafús z Ostrova". Юлій-Вратиславъ Янъ (Jiljí Vr. Jahn, род. 1838), лучшимъ стихотворнымъ сборникомъ котораго былъ „Růženec". Алоизъ-Войтѣхъ Шмиловскій (род. 1837), лирикъ и драматическій писатель, но особенно разсказчикъ изъ народной жизни. Ярославъ Голль кромѣ разнообразныхъ стихотвореній извѣстенъ также своими историко-литературными трудами. Ярославъ Мартинецъ (собственно Іосифъ Мартинъ; род. 1842) въ 1862 издалъ политико-литературный памфлетъ „April", и въ 1863 сборникъ стихотвореній „Mladému pokolení". Далѣе, Ганушъ-Венцеславъ Тума (Tůma), который въ поэмѣ „Jaroslav", 1871, хотѣлъ воспроизвести эпическій стиль Краледворской Рукописи (Basně, 1872)...

Въ послѣдніе годы чешская поэтическая литература расширилась новымъ рядомъ дѣятелей, которые повели новое ея направленіе — кажется, до предѣла.

Какъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ выступила школа Галька съ „Маемъ", такъ въ концѣ шестидесятыхъ явились новые стихотворные сборники, изъ которыхъ особенно замѣтны были „Ruch" (Движеніе) и „Almanach českého studentstva" (1868—1870). Въ десять лѣтъ народилось новое поэтическое поколѣніе, между прочимъ съ однимъ талантомъ, которому чешская критика смѣло даетъ эпитетъ „геніальнаго".

Впрочемъ, поэтъ, которому большинство голосовъ даетъ такое первенство, еще моложе этой новой поэтической группы. Это—Ярославъ Верхлицкій (Vrchlický, собственно Эмиль-Богушъ Фрида, род. 1853), самый юный и вмѣстѣ самый смѣлый и плодовитый поэтъ новѣйшаго поколѣнія, на котораго смотрятъ съ великими надеждами. Отецъ Фриды былъ торговецъ; съ четырехъ лѣтъ Фрида поселился у дяди, деревенскаго священника — сначала хотѣли только деревенскимъ воздухомъ поправить его слабое здоровье, но потомъ онъ совсѣмъ остался у дяди и жившей съ нимъ бабушки. Дядя, уважаемый человѣкъ, готовилъ его къ школѣ и воспитывалъ въ „властенецствѣ"; по словамъ друзей, это чувство къ своему народу кажется Верхлицкому столь же естественнымъ и необходимымъ, какъ воздухъ — оттого, по ихъ объясненію, Верхлицкій и не бралъ властенецкихъ темъ для своей по-

[1]) Собраніе стихотвореній его, съ біографіей, издалъ Іос. Дурдикъ, въ 1873.

эзіи. Девяти-десяти лѣтъ Фрида писалъ уже трагедіи; ему было семнадцать лѣтъ, когда въ первый разъ явились его стихотворенія въ печати—подъ псевдонимомъ, такъ какъ, будучи гимназистомъ, онъ не могъ поставить своего настоящаго имени. Потомъ псевдонимъ Верхлицкаго сталъ его обычнымъ литературнымъ именемъ. Онъ готовился было къ духовной каѳедрѣ, но болѣзнь заставила его покинуть семинарію; онъ изучалъ потомъ философію и исторію и, принявъ мѣсто воспитателя въ одномъ знатномъ семействѣ, прожилъ съ нимъ годъ (1875—1876) въ Италіи. Вернувшись въ Прагу, онъ былъ одно время учителемъ, потомъ выбранъ въ секретари пражской политехнической школы [1]). Верхлицкій въ короткое время издалъ цѣлый рядъ сборниковъ своихъ стихотвореній — лирическихъ, какъ: „Z hlubin“; „Sny o štesti“; „Rok na jíhu“, впечатлѣнія и картины изъ итальянскаго путешествія; „Duch a svět“; „Symfonie“; эпическихъ поэмъ и собраній, какъ: „Vittoria Colonna“—изъ жизни Микель-Анджело; „Epické Básně“; „Mythy“ (двѣ части, 1879); наконецъ переводы: изъ Виктора Гюго, Леопарди; въ послѣднее время начатъ имъ переводъ Данта.

Чешскіе критики—самаго высокаго мнѣнія о поэзіи Верхлицкаго. Журналы, не исключая ученаго „Часописа“, единогласны въ признаніи его геніальности [2]). Большое дарованіе его не подлежитъ спору; обиліе дѣятельности говоритъ о богатствѣ его поэтической природы,— но соотечественниковъ поэта, кромѣ содержанія, подкупаетъ обыкновенно форма, красота языка, всегда менѣе дѣйствующая на читателя иной народности; соотечественникамъ всегда памятны и ближайшія условія литературы, въ которыхъ является ихъ писатель. Намъ мѣрка чешской критики кажется преувеличенной, особенно, когда она возводитъ поэзію Верхлицкаго до значенія *европейскаго*. Для *этого* значенія нужно однако, чтобы поэтъ явился и поэтомъ своей народности, поэтомъ славянскимъ, чтобы не остаться при простомъ повтореніи европейскаго содержанія. Русскаго читателя, привыкшаго къ поэзіи по преимуществу реальной, можетъ удивить фактъ, что поэтъ, въ короткое время написавшій нѣсколько томовъ, избиралъ почти только или чужія или отвлеченно-идеальныя темы,—что̀ поражало самихъ чешскихъ критиковъ: въ этомъ чувствуется какая-то односторонность, можетъ быть временная—поэтъ еще только начинаетъ свою дѣятельность [3]). Отличительная черта поэзіи Верхлицкаго—романтическій идеализмъ и рефлектив-

---

[1]) Біографіи: Velký Slov. Kalendář, на 1879, Арбеса, стр. 87—89; Světozor, 1878, № 37.

[2]) I. Дурдикъ не усумнился сказать въ англійскомъ Athenaeum (1878, Dec. 28) объ упомянутыхъ сборникахъ: «These volumes... give Verchlický a foremost place among the living poets not of Bohemia only, *but of Europe*».

[3]) Чешскіе критики радовались, когда въ своихъ «Миѳахъ» Верхлицкій впервые сталъ на чешскую почву (Osvěta, 1879, I, стр. 422 и слѣд.).

ность: поэтъ постоянно обращается къ вопросамъ общечеловѣческой мысли и исторіи. Въ этомъ смыслѣ особенно характеристиченъ сборникъ „Duch a svět", гдѣ поэтъ хотѣлъ изобразить историческую жизнь человѣческаго духа, отъ міра первобытнаго къ міру античному, среднимъ вѣкамъ и до новѣйшихъ задачъ человѣческаго развитія; поэтъ проникнутъ сочувствіемъ къ лучшимъ сторонамъ и великимъ достоинствамъ истинной человѣчности, вѣритъ въ будущую побѣду духа надъ природой, — но эта поэзія всемірно-историческихъ темъ, грандіозныхъ перспективъ, широкихъ замысловъ, поэзія очень отвлеченная, не выросла, конечно, изъ чешской почвы, это — поэзія вычитанная, книжная; уже замѣчено было сильное вліяніе Виктора Гюго (напр. особенно въ Légende des Siècles).

Второй, а по мнѣнію иныхъ—первый, поэтъ новѣйшей школы, послѣ смерти Галька, есть Сватоплукъ Чехъ (род. 1846): извѣстны особенно его большія поэмы „Snové" и „Adamité" (извѣстная секта XV столѣтія). Появленіе „Адамитовъ", въ 1873, было литературнымъ событіемъ. Чехи цѣнятъ ее высоко по искусной композиціи и выработанной поэтической формѣ. Онъ есть также очень даровитый разсказчикъ, о чемъ далѣе.

Изъ этой группы могутъ быть еще названы: Ладиславъ Квисъ (Quis, род. 1846), поэтъ съ патріотическими задачами, съ любовью къ свободѣ, хотя очень неровный (сборникъ стихотв. Z Ruchu, 1872); Іос. Вацлавъ Сладекъ (род. 1845), у котораго преобладаетъ элегическій тонъ; жизнь въ Америкѣ внушала ему теплыя воспоминанія о родинѣ; онъ есть также переводчикъ изъ Байрона („Básně", 1875); Рудольфъ Покорный (род. 1853), патріотическій поэтъ съ темами изъ народнаго быта; Мирославъ Крайникъ (род. 1850; съ псевдонимами Starohradský и Jar. Kopecký); Анталь Сташекъ (Antonín Zeman), давшій замѣчательные опыты въ поэтическомъ жанрѣ изъ народнаго быта (романъ въ стихахъ, „Vaclav"), въ романѣ; и мн. др.

Изъ женщинъ-поэтовъ этого времени наиболѣе популярное имя есть Елизавета Красногорская (Eliška Krasnohorská, собственно Генріетта Пехова, род. 1847). Рано потерявши отца, она росла подъ вліяніемъ даровитой матери; въ патріотической семьѣ она узнала въ совершенствѣ чешскій языкъ, которому не училась никогда въ школѣ; въ товарищескомъ кружкѣ художниковъ, собиравшемся у ея братьевъ, развились ея художественно-литературные вкусы. Она начала стихами: „Z máje žití" (1870), „Ze Šumavy" (1873), драматическая поэма „Pevec volnosti"; затѣмъ принадлежитъ ей рядъ прекрасныхъ разсказовъ. Въ послѣдніе годы, поселившись въ Прагѣ, она приняла участіе въ женскихъ общественныхъ предпріятіяхъ (въ женскомъ рабочемъ обществѣ, основанномъ Каролиной Свѣтлой), вела редакцію „Женскихъ

Листовъ", писала о литературѣ, музыкѣ, женскомъ вопросѣ. Объ ея характеристикѣ новѣйшей чешской поэзіи мы упомянемъ далѣе.

Могутъ быть еще названы: Альбина Дворжакова-Мрачкова (род. 1850), Берта Мюльштейнова (род. 1849), Божена Студничкова, Ирма Гейслова и пр.

Въ литературѣ драматической, кромѣ писателя стараго поколѣнія, І. І. Колара, въ особенности цѣнятся пьесы Эман. Боздеха (род. 1841), хотя предметы для своихъ драмъ онъ бралъ обыкновенно изъ чужой исторіи: трагедія „Baron Görtz", комедія „Zkouška státníkova", „Světa pan v županu" и проч. Франт. Ержабекъ (род. 1836), напротивъ, разработывалъ темы властенецкія: онъ выступилъ на литературное поприще въ концѣ 50-хъ годовъ какъ стихотворецъ и вмѣстѣ публицистъ, но главную извѣстность дали ему драматическія его произведенія (Cesty veřejného mínení, 1865: Služebník svého pana, 1871, одна изъ популярнѣйшихъ его пьесъ; Syn človeka aneb Prusové v Čechách, изъ временъ Семилѣтней войны, и пр.) [1]. Талантливый драматургъ есть также Вацлавъ Во́лчекъ (Vlček, род. 1839), написавшій нѣсколько комедій и трагедій, изъ которыхъ особенно извѣстна „Eliška Přemyslovna". Изъ новаго поколѣнія: Ладиславъ Строупежницкій, І. О. Веселый и др. Выше упомянуто о драматическихъ пьесахъ Фрича, Галька, Неруды, Пфлегера.

Но особенно богатъ въ послѣднія десятилѣтія отдѣлъ повѣсти и романа, въ ихъ разныхъ отрасляхъ: разсказы изъ народнаго быта, романа историческаго, общественнаго, разсказовъ юмористическихъ. Расширеніе этой области въ послѣднее время, очевидно, находится въ связи съ оживленіемъ чешской народности, когда миновали погромы реакціи 50-хъ годовъ. Но хотя эта литература часто служила обществу какъ школа „властенецства", нельзя сказать, чтобы чешскій романъ выработалъ самостоятельный стиль и реальное изображеніе жизни. Какъ въ новѣйшей поэзіи чешской очевидно вліяніе Байрона и Виктора Гюго, такъ въ повѣсти и романѣ, кромѣ Жоржъ-Занда, замѣтна особенно манера тѣхъ чужихъ писателей, которые Чехамъ всего больше извѣстны, т.-е. нѣмецкихъ.

Наиболѣе самобытна и интересна, на нашъ взглядъ, повѣсть изъ народнаго быта, гдѣ самый предметъ необходимо вызывалъ бо́льшую простоту и искренность. Здѣсь достойной преемницей Божены Нѣмцовой является дѣятельная и заслуженная писательница, Каролина Свѣтлая (собственно Іоганна Мужакова, рожд. Роттова, род. 1830): на литературное поприще она выступила въ упомянутомъ альманахѣ „Maj" 1858 г. Затѣмъ, длинный рядъ повѣстей и романовъ, въ жур-

---

[1]) Světozor, 1878, стр. 165, 207.

налахъ и отдѣльными книжками, утвердили за ней первое мѣсто въ изображенiи народнаго быта. Лучшими считаются: Kříž u potoka, Cerný Petříček, Vesnický roman, Nemodlenec, Několik archů z rodinné kroniky. По литературнымъ достоинствамъ, чешскiе критики ставятъ ее выше Нѣмцовой,—что̀ было бы естественно, такъ какъ можно было идти по проложенной дорогѣ; Свѣтлая плодовитѣе, богаче фантазiей, но, намъ кажется, больше простоты не повредило бы ея разсказамъ, которые иногда не свободны отъ натянутой романтики [1]). Въ этой области съ успѣхомъ трудился Фердинандъ Шульцъ (род. 1835), котораго романъ „Starý pán z Domašic", 1878, очень цѣнится какъ удачная и правдивая картина сельской жизни. Прибавимъ, что Шульцъ есть также замѣчательный разсказчикъ историческiй [2]). Выше были упомянуты Вацл. Шмиловскiй, Анталь Сташекъ; послѣднiй издалъ недавно романъ „Nedokoncený obraz", также замѣчательный по изображенiю народной жизни. Могутъ быть еще названы Вацлавъ-Бенешъ Тржебизскiй, священникъ („Bludné duše", 1879), и друг.

Историческiй и общественный романъ находитъ многочисленныхъ дѣятелей. Изъ старшихъ писателей много работалъ здѣсь I. I. Коларъ, у котораго, впрочемъ, было больше фантазiи, чѣмъ исторической вѣрности. Янда-Цидлинскiй въ своихъ историческихъ романахъ особенно останавливался на эпохѣ Юрiя Подѣбрада. Изъ писателей новаго поколѣнiя особенной извѣстностью пользуется упомянутый раньше Вацлавъ Во́лчекъ. Ему принадлежитъ рядъ историческихъ повѣстей: Jan Pašek z Vratu, Ondřej Puklice — изъ городской жизни Чехiи XV—XVI вѣка; Paní Lichnická. Dalibor и проч. Но наибольшей славой пользуется его романъ изъ современной жизни: Venec vavřínový (Лавровый Вѣнокъ, въ журналѣ „Osvěta" 1872, и потомъ отдѣльно, 1877), гдѣ въ разсказѣ о внутренней жизни поэта-идеалиста и борьбѣ его съ эгоистической средой разсѣяны черты чешской общественной жизни и даже довольно легко угадываемые портреты. Сочиненiя Во̀лчка, и его романы и публицистика проникнуты патрiотическимъ идеализмомъ [3]). Iосифъ-Юрiй Станковскiй (род. 1844), очень плодовитый писатель, есть авторъ историческихъ романовъ: „Král a biskup" изъ временъ Рудольфа II, и особливо „Vlastencové z Boudy" (Патрiоты съ подмостокъ) изъ первыхъ временъ нацiональнаго пробужденiя въ концѣ XVIII вѣка, также романа современнаго: Milevský reformator" и др.

[1]) О Каролинѣ Свѣтлой см. Osvěta, 1878, томъ II, стр. 786 и далѣе; Květy, 1880, № 2; Světozor, 1880. Псевдонимъ взятъ отъ мѣстечка Světlá, родины ея мужа, въ сѣверномъ краѣ Чехiи, гдѣ находится и мѣсто дѣйствiя ея лучшихъ разсказовъ.

[2]) Češti vystěhovalci (чешскiе эмигранты), 1876; Z dějin poroby lidu v Čechách, въ «Освѣтѣ», 1871.

[3]) Послѣднiя собраны въ книжкѣ: Tužby vlastenecké, Пр. 1879. Во́лчекъ есть редакторъ одного изъ лучшихъ чешскихъ журналовъ, «Освѣты».

Иванъ Клицпера, сынъ названнаго ранѣе драматическаго писателя, написалъ нѣсколько занимательныхъ историческихъ разсказовъ: „Čeští vyhnanci“, „Bitva u Lipan“ и друг. Венцеслава Лужицкая (Na zříceninách; разсказъ Polednice, и др.); названный ранѣе Строупежницкій и проч. [1]).

Романъ общественный развился въ самое послѣднее время, такъ какъ самое „общество“, т.-е. средній кругъ и отчасти высшій только недавно возвращаются къ чешской народности. Начала были положены еще въ прежнемъ періодѣ „властенецкими“ повѣстями и романами; теперь общественный романъ распространяется все болѣе. Мы уже назвали нѣкоторыхъ писателей, дѣйствовавшихъ и въ этой литературной области, какъ Пфлегеръ, Сватоплукъ Чехъ, Вòлчекъ, Каролина Свѣтлая, Ел. Красногорская и др. Назовемъ еще слѣдующія имена: Софья Подлипская (рожд. Роттова, сестра Каролины, род. 1833), написала нѣсколько повѣстей и романовъ, изъ которыхъ главные: „Osud a nadání“, „Přibuzni“, „Nalžovský“. Алоизъ Ирасекъ (Jirásek, род. 1851, учитель въ Литомышлѣ), выступивши въ литературѣ съ 1871, успѣлъ произвести множество стиховъ, повѣстей изъ народной жизни и романовъ, въ разныхъ журналахъ и отдѣльно: „V sousedství“, 1874; „Skalaci“, 1875, „Turečkové“, 1876; „Na dvoře vevodskem“, 1877; „Filosofská historie“, изъ событій 1848 года, 1878, и друг. [2]). Богумилъ Гавласа (1852 — 1877) провелъ короткую, но полную фантазіи жизнь: онъ готовился быть купцомъ, но сдѣлался странствующимъ актеромъ; потомъ друзья помѣстили его на сахарный заводъ; въ 1875, онъ отправился корреспондентомъ „Народныхъ Листовъ“ въ Герцеговину, гдѣ испыталъ боевыя приключенія. Вернувшись домой, онъ скоро отправился опять въ странствія—въ Парижъ, Швейцарію; русско-турецкая война увлекла его въ Россію; онъ поступилъ на Кавказъ волонтеромъ въ драгунскій полкъ, былъ при Зивинѣ и Авліарѣ, и умеръ тифомъ въ Александрополѣ, въ ноябрѣ 1877. Но въ этой короткой и кочующей жизни онъ успѣлъ написать много: „Z potulného života“, юмористическій разсказъ изъ жизни странствующихъ актеровъ, написанный 1871; „Na nádraží“; „Život v umírání“; „V družine dobrodruha krále“—историческій романъ, лучшее изъ его сочиненій; „Tiché vody“ и проч. [3]). Другой плодовитый писатель есть Янъ-Якубъ Арбесъ (род. 1840). Онъ рано сталъ беллетристомъ и публицистомъ. Съ 1868 вступивъ въ газету „Народные Листы“, Арбесъ въ качествѣ ея отвѣтственнаго редактора 30 разъ былъ судимъ

---

[1]) Сл. замѣтки Тифтрунка: Slovo o románu a dějepise českém въ «Часописѣ» 1876.

[2]) Біографія его — Světozor, 1878, № 52.

[3]) Біографическія свѣдѣнія: Světozor, 1878, № 17—18; Osvěta, 1878, № 6.

за нарушенія закона о печати, впрочемъ разъ только былъ приговоренъ къ тюрьмѣ на нѣсколько мѣсяцевъ. Недавно онъ собралъ свои „Romanetta“, которыя, впрочемъ, по отзывамъ самихъ чешскихъ критиковъ, черезчуръ произвольны и фантастичны. Одинъ изъ любимѣйшихъ современныхъ разсказчиковъ есть упомянутый выше Сватоплукъ Чехъ („Povídky, arabesky a humoresky“, три томика, 1878—80): въ его разсказахъ есть дѣйствительная веселость и живое остроуміе, но „юморъ“ понимается здѣсь, какъ вообще въ чешской литературѣ, не въ англійскомъ смыслѣ, принятомъ у насъ, а въ популярномъ нѣмецкомъ, что́ — двѣ вещи различныя. Наконецъ, могутъ быть еще названы: Іосифъ Штольба (род. 1846), авторъ нѣсколькихъ комедій и „гуморесковъ“: Франт. Геритесъ (Herites, род. 1851) и друг.

Таково обширное развитіе ново-чешской художественной литературы. На лирикѣ, наиболѣе субъективной и свободной области поэзіи, въ особенности замѣтно преобладающее настроеніе этой литературы. Это—направленіе обще-человѣческихъ идей, космополитизмъ, представителемъ котораго является Верхлицкій. Мы замѣтили прежде, что это направленіе имѣло причины своего появленія, но имѣетъ и свои слабыя стороны.

Въ самомъ дѣлѣ, дѣйствительный космополитизмъ можетъ принадлежать литературѣ лишь тогда, когда *обще-человѣческая* возвышенность содержанія бываетъ естественно выросшимъ плодомъ сильнаго развитія *національнаго*. Истинно великіе писатели такого значенія бываютъ обыкновенно въ тоже время глубоко національны, и потому что національны; таковъ Шекспиръ, Мольеръ, Гёте, Шиллеръ, Диккенсъ, Байронъ. Въ литературахъ молодыхъ, не обширныхъ, не совсѣмъ самобытныхъ, космополитическая тенденція можетъ быть только искусственной и преднамѣренной. Она можетъ и здѣсь имѣть большую цѣну, именно образовательную, внося въ литературу, частно и тѣсно національную, широкія идеи общечеловѣческаго значенія. Такъ бывало напримѣръ, въ русской литературѣ, съ прошлаго вѣка и до недавняго времени. Но и для цѣли образовательной необходимо, чтобы „космополитизмъ“ не забывалъ ближайшей почвы, т.-е. своего народа: вообще онъ можетъ быть естественнымъ и сильнымъ лишь тогда, когда общечеловѣческое будетъ органически связано съ національнымъ.

Но чешская литература вовсе не молода,—скажетъ національная гордость: — она считаетъ себѣ тысячелѣтіе, начиная съ „Суда Любуши“; она имѣла великую эпоху гуситства... Но, и не споря о IX-мъ вѣкѣ „Суда Любуши“, чешская литература XVIII—XIX в. есть по существу явленіе новое: съ конца прошлаго вѣка, она все начинала

сначала—съ великимъ успѣхомъ для народнаго возрожденія, но еще мало для того, чтобы уже ставить себѣ цѣли космополитическія.

Новѣйшая школа, какъ мы замѣчали, противополагала себя старой, скромно (иногда простодушно) „властенецкой“ школѣ, какъ высшую поэтическую ступень, и дѣйствительно стоитъ выше ея по разнообразію матеріала и формы, но старая школа во многихъ отношеніяхъ едва ли не съ болѣе вѣрнымъ инстинктомъ чувствовала истинныя задачи чешской литературы, и напримѣръ, необходимость тѣснѣйшей связи съ элементами народными и—обще-славянскими. Самое возрожденіе чешской литературы питалось изъ двухъ источниковъ: изъ воспоминанія о своей народности и старинѣ, и изъ идеи о связи общеславянской. Дѣло однако далеко не кончено: народность и отношенія славянскія не сознаны вполнѣ и понынѣ, — если только Чехи когда-нибудь ихъ сознаютъ; но безъ этого Чехія останется, матеріально и нравственно, островомъ, которому будетъ все больше и больше грозить германское море. Словомъ, чешская литература можетъ возвыситься до обще-человѣческаго значенія, лишь прошедши, во-первыхъ, черезъ дѣйствительно широкое изученіе своей національной жизни, и во-вторыхъ, черезъ изученіе и прочное установленіе отношеній между-славянскихъ,—на которыхъ, при другихъ случаяхъ, Чехи сами строятъ свои надежды и которыя однако остаются у нихъ доселѣ въ нѣкоторомъ туманѣ.

Это чувствуется и въ самой чешской литературѣ. Таковы, напр. разсужденія г-жи Красногорской въ упомянутой статьѣ о новѣйшей чешской поэзіи („Часописъ“, 1877). Она выходитъ изъ мысли,—подкрѣпляемой авторитетомъ Гюго,—что искусство никакъ не есть само себѣ цѣль, а только средство тѣхъ разноименныхъ стремленій, которыя хотятъ сдѣлать человѣчество лучшимъ и болѣе счастливымъ. Тѣмъ менѣе есть цѣлью самой себѣ поэзія чешская, и доказательство—то, что она замѣчательнымъ образомъ исполнила въ пору чешскаго возрожденія. Писательница съ великой ревностью защищаетъ старую поэтическую школу Коллара, Челяковскаго, Эрбена, Воцеля, которая хотѣла оживить мертвый народъ звуками чешскаго слова, и успѣла въ этомъ... Новая поэзія слишкомъ забыла объ этихъ предшественникахъ и, задавшись „міровыми“ темами, перестала быть властительницей въ духовномъ мірѣ чешскаго народа. Наслѣдство старой поэзіи перешло скорѣе въ романъ и повѣсть, которые остались близки къ жизни и къ народу. Новая поэзія жалуется на холодность общества, но отчего же происходитъ холодность? Въ талантахъ недостатка нѣтъ; общественные интересы стали гораздо шире прежняго; людей независимыхъ и образованныхъ больше,—тѣмъ шире и завлекательнѣе могла бы быть поэзія..

Итакъ, если жалуются на недостатокъ интереса къ (новѣйшей) поэзіи, причина меньшаго успѣха поэзіи въ обществѣ зависитъ не отъ общества, а отъ самой поэзіи. Она сама чуждалась общества. Романъ счастливѣе въ этомъ отношеніи. „Поэзія—говоритъ г-жа Красногорская —

могла бы сильнѣе привлечь къ себѣ умы тѣми же качествами, какими пріобрѣтаетъ популярность всякій хорошій романъ—пусть будетъ въ ней больше облагороженнаго реализма, больше содержанія, больше жизненной правды и конкретности; и какъ наша жизнь (безъ всякой натяжки) свое нравственное и практическое зерно имѣетъ, очевидно, въ неустанной борьбѣ за наше народное существованіе, такъ и зерномъ чешскаго искусства,—если оно хочетъ достигнуть новѣйшей и вмѣстѣ всемірной высоты здраваго реализма,—долженъ быть чешскій идеалъ и народное направленіе, а вовсе не какая-то разсѣянная неопредѣленность, которая никогда и нигдѣ не давала ни одной *міровой* литературѣ ея мірового значенія... Всякая міровая литература есть литература національная... Ни одинъ человѣкъ не родится безъ народности, какъ нѣтъ мѣстечка на землѣ безъ своего опредѣленнаго климата; наука, философія и гуманизмъ дѣйствуютъ, правда, въ областяхъ обще-человѣческихъ, пожалуй космополитическихъ,—но все-таки на свѣтѣ нѣтъ практической космополитической жизни, народная особенность нигдѣ не стерта до абстрактной всеобщности,—наоборотъ, тамъ, гдѣ стерта первобытная народная особенность, это сталось только вліяніемъ иной народности, сильнѣйшей и нападающей. Такимъ образомъ если поэтъ выросъ изъ дѣйствительной жизни, онъ выросъ подъ вліяніемъ своего народа... и долженъ былъ изобразить или самъ собой (лирически) или созданными имъ лицами (эпически) именно идеальный типъ народнаго характера... А насъ къ одушевленному исканію чешскаго идеала вынуждаетъ не просто какое-нибудь сантиментальное „властенецство", но повелительная судьба и *неумолимая дѣйствительность*: политическое, географическое, общественное положеніе нашего народа, настоятельный фактъ необходимости и неотвратимыя *статистическія цифры*,—и пока эти моменты не потеряютъ своей существенности, поэзія только тогда будетъ связана съ жизнью народа, когда будетъ выростать изъ нея, будетъ изъ нея проистекать какъ ея самое жаркое дыханіе".

Таковы сужденія самой чешской критики. Разумѣется, это сужденіе—не огульное, потому-что и въ новѣйшей поэзіи старое преданіе не совершенно покинуто; но въ общемъ, оно вѣрно передаетъ характеръ новой „космополитической" поэзіи (напр. ея корифеевъ: Галька, Неруды и всего болѣе — Верхлицкаго) и ея существенные недостатки [1]). Но съ другой стороны и романъ чешскій далекъ еще отъ истиннаго реализма. Лучшая его область — деревенская новелла, въ которой однако все еще слишкомъ много сантиментальнаго романтизма, отчасти идущаго по преданію отъ старой школы, отчасти навѣяннаго Жоржъ-Зандомъ. Такъ-называемый „общественный" романъ также страдаетъ своего рода вычурнымъ романтизмомъ, перенятымъ, видимо, всего болѣе у Нѣмцевъ: такое впечатлѣніе производятъ они на русскаго читателя, знакомаго съ дѣйствительнымъ реализмомъ англій-

---

[1]) Ср. книгу — Косины, Hovory Olympské; очень тяжелая по формѣ (средствомъ изложенія принятъ разговоръ,—разумѣется, книжный), она нерѣдко очень любопытна по содержанію.

скаго романа, напр. у Диккенса, Тэккерея и проч., а въ особенности свыкшагося съ нашимъ реализмомъ со временъ Гоголя. Въ большинствѣ чешскихъ романовъ, нами перечитанныхъ (мы перечитали ихъ не мало) русскаго читателя удивляетъ это отсутствіе реальной простоты: лица—условны, разговоръ состоитъ иногда въ неловко реторическихъ рѣчахъ (какъ, напр., въ романахъ Ауэрбаха, Гейзе и другихъ Нѣмцевъ); выводятся въ *чешскомъ* обществѣ графы и бароны, которые въ дѣйствительности составляютъ въ немъ не типъ, а рѣдкость; дѣйствіе построено романтически и т. д. Между тѣмъ и здѣсь отсутствуетъ та основная черта чешской жизни, какую указываетъ приведенная сейчасъ критика чешской поэзіи: читая романы, не видишь національно-политической борьбы, которая однако есть господствующая черта чешской „политики", „географіи", „статистики" и т. д. Но затѣмъ надо признать, что у Чеховъ очень выработана литературная техника: разсказъ хорошо ведется, сюжетъ хорошо развитъ и законченъ.

Чешская литература имѣетъ одно прекрасное свойство,—совсѣмъ забытое у насъ,—чувство солидарности, вслѣдствіе котораго всякое произведеніе, нѣсколько талантливое, тотчасъ замѣчается и осыпается одобреніями: оно—обогащаетъ литературу. Но, къ сожалѣнію, это прекрасное свойство нерѣдко теряетъ мѣру: при этомъ „богатствѣ", въ литературѣ является преувеличенное представленіе о наличномъ ея содержаніи, критика ослабѣваетъ и вмѣстѣ съ этимъ уменьшается исканіе новыхъ средствъ національнаго развитія.

Обращаясь къ научной сторонѣ чешской литературы, мы, по плану нашей книги, остановимся только въ частности на изученіяхъ историко-литературныхъ. Здѣсь чешская литература съ начала Возрожденія стояла въ передовомъ ряду, и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ не потеряла своего мѣста. Продолжаютъ еще дѣйствовать нѣкоторые ветераны, младшіе современники Шафарика, Палацкаго, Коллара; народилось новое поколѣніе ученыхъ, усердно работающихъ надъ изученіемъ чешской старины и народности. Назовемъ важнѣйшія имена.

Во главѣ современныхъ чешскихъ историковъ ставится послѣ Палацкаго заслуженный изслѣдователь Вацлавъ-Владивой Томекъ (род. 1818). Прошедши въ Прагѣ курсъ философіи и права, онъ былъ одно время адвокатомъ, но главнымъ интересомъ его была исторія: первые труды его явились еще въ 1837 году. Палацкій предложилъ ему заняться исторіей города Праги, бургомистръ пражскій заинтересовался этимъ дѣломъ, и Томекъ для этой цѣли занялъ мѣсто при пражскомъ магистратѣ. Эта работа занимаетъ Томка донынѣ. Между тѣмъ, въ 1842 онъ издалъ книжку о всеобщей исторіи, въ 1843 Děje země

české [1]), въ 1845 Děje mocnářství rakouského. Къ 500-лѣтнему юбилею пражскаго университета онъ составилъ, по нѣмецки, его исторію [2]). События 1848 года отвлекли его въ политическую дѣятельность; онъ былъ членомъ рейхсрата въ Вѣнѣ и Кромѣржижѣ. Въ 1850 онъ получилъ каѳедру австрійской исторіи въ пражскомъ университетѣ. Въ 1858 онъ издалъ руководство къ исторіи Австріи [3]), основная мысль котораго состоитъ въ томъ, что зерно австрійской исторіи составляетъ не такъ-называемый Stammland и зависимость отъ германской имперіи, а давняя естественная связь и общность интересовъ тѣхъ земель, которыя теперь соединены въ Австріи. Это было возраженіе тому взгляду приверженцевъ нѣмецкаго единства, что исторія Австріи (т.-е. въ какой-нибудь отдѣльности отъ этого единства) не имѣетъ одной идеи и потому невозможна. Свою точку зрѣнія Томекъ еще ранѣе защищалъ въ нѣсколькихъ статьяхъ объ этомъ предметѣ: это—та самая точка зрѣнія, которая заставила Палацкаго сказать, а Елачича повторить, что если бы Австріи не было, ее слѣдовало бы создать... Въ 1855, вышелъ первый томъ „Исторіи города Праги“ (Dějepis města Prahy); въ 1865, „Zaklady starého místopisu pražského“, подробное топографическое описаніе старой Праги, что́ послужило основой для дальнѣйшаго изложенія ея исторіи. Въ 1879 „Исторія Праги“ доведена до четырехъ томовъ, и именно до смерти Сигизмунда; въ концѣ того же года явился новый замѣчательный трудъ Томка „Jan Žižka“, исторія знаменитаго героя гуситскихъ войнъ. Томекъ есть въ высшей степени трудолюбивый, спокойный и точный изслѣдователь, и названные его труды составляютъ важное дополненіе и нерѣдко исправленіе „Исторіи“ Палацкаго [4]).

Писатель болѣе широкаго стиля, котораго ставятъ даже высшимъ представителемъ современной чешской исторіографіи, есть Антонинъ Гиндели (Gindely, род. 1829). Прослушавши въ пражскомъ университетѣ лекціи факультетовъ богословскаго, философскаго и юридическаго, Гиндели былъ преподавателемъ въ реальной школѣ, потомъ профессоромъ исторіи въ Оломуцкомъ университетѣ, по закрытіи послѣдняго назначенъ былъ на профессуру въ Кошицы въ Венгріи, но предпочелъ остаться въ Прагѣ въ реальной школѣ. Въ пятидесятыхъ годахъ онъ сдѣлалъ рядъ ученыхъ путешествій по Чехіи, Польшѣ, Германіи, Франціи, Бельгіи, Голландіи, Испаніи для собранія матеріаловъ по чешской исторіи XVI—XVII вѣка. Въ 1862 онъ сталъ

[1]) Второе изданіе, 1850; третье передѣланное, 1864.

[2]) Geschichte der Prager Universität. Prag, 1848. Авторъ началъ также издавать книгу по-чешски, въ болѣе подробной обработкѣ, но вышла только 1-я часть. Пр. 1849.

[3]) Přiruční kniha dějepisu Rakouského, 1-я часть, до сраженія при Могачѣ.

[4]) Біографія въ «Свѣтозорѣ», 1878, № 23—25.

профессоромъ австрійской исторіи въ университетѣ и земскимъ архиваріусомъ Чешскаго королевства. Результатомъ неутомимыхъ изслѣдованій былъ рядъ замѣчательныхъ работъ, отчасти нами указанныхъ,— какъ „Исторія Чешскихъ Братьевъ“, „Рудольфъ II и его время“ (оба по-нѣмецки), которыя могутъ занять мѣсто между лучшими произведеніями новѣйшей исторической литературы вообще; далѣе, издаваемая въ послѣдніе годы, по-нѣмецки и по-чешски „Исторія чешскаго возстанія 1618 года“, кончившагося паденіемъ Чехіи (Dějiny českého povstání, донынѣ—три части); наконецъ, много важныхъ частныхъ изслѣдованій, какъ біографія Благослава, исторія изгнаннической жизни Коменскаго и т. д. Наконецъ, Гиндели основалъ изданіе: Staré pamĕti dějin českých, важное собраніе источниковъ для исторіи XVI—XVII столѣтія [1]), и съ Фр. Дворскимъ издаетъ „Sněmy české“ (дѣла чешскихъ сеймовъ, съ 1526 года).

Главнымъ популярнымъ историкомъ былъ Карлъ-Владиславъ Запъ (1812—1870), второстепенный, но очень дѣятельный писатель по чешской исторіи, географіи и археологіи. Пражскій уроженецъ, онъ съ 1836 провелъ восемь лѣтъ на службѣ въ Галиціи, о которой написалъ любопытную книгу. Главными его трудами были потомъ „Průvodce po Praze“, 1848 (другая передѣлка: Praha, popsání hl. mĕsta kral. 1868), и особенно „Česko-moravská Kronika“ (иллюстрированная), популярная исторія Чехіи и Моравіи, начатая имъ въ 1862 и доведенная въ трехъ книгахъ до 1526; по его смерти эту работу докончилъ Іос. Коржанъ, который въ трехъ другихъ книгахъ довелъ исторію до нашего времени [2]).

Изъ историковъ Моравіи долженъ быть названъ Ант. Бочекъ (1802—1847), родомъ Моравянъ, съ 1831 профессоръ чешскаго языка въ Оломуцѣ, съ 1836 исторіографъ Моравіи и позднѣе начальникъ архива моравскихъ „чиновъ“. Это былъ трудолюбивый собиратель историческаго матеріала, авторъ нѣсколькихъ сочиненій по моравской исторіи и издатель богатаго сборника историческихъ документовъ [3]). Преемникомъ Бочка въ званіи моравскаго исторіографа сталъ—главный нынѣ авторитетъ по моравской исторіи Беда Дудикъ (род. 1815), изъ ордена бенедиктинцевъ въ райградскомъ монастырѣ, писавшій прежде

---

[1]) Въ этомъ собраніи вышли: Декреты Братской Общины, приготовленные Эмлеромъ; Исторія Павла Скалы, изд. Тифтрункомъ; «Памяти Вилема Славаты».—Іос. Иречкомъ; Дѣла консисторіи католической и утраквистской,—Кл. Боровымъ.

[2]) Въ 1880 начато Коберомъ второе изданіе «Хроники».

[3]) Mähren unter Kaiser Rudolf I, Brünn 1835; Přehled knížat a markrabat etc. v markrabstvi moravském, v Brnĕ 1850; Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, VI томовъ (два послѣдніе изданы были по его смерти). Замѣтимъ, что критика открыла потомъ въ коллекціи Бочка документы поддѣльные,—именно такъ-называемые отрывки Монсе, моравскаго юриста и историка прошлаго вѣка (1733—1793). О Бочкѣ см. D'Elvert, Histor. Literaturgeschichte Mährens, стр. 362—372.

только по-нѣмецки. Имъ изданы важныя архивныя изслѣдованія [1]); съ 1860 г. онъ началъ издавать свою исторію Моравіи по-нѣмецки: Mährens allgemeine Geschichte, которая въ вышедшихъ донынѣ выпускахъ достигла конца династіи Премысловской, 1306 г.; съ 1872 началось чешское изданіе этой книги („Dějiny Moravy"). Чешскіе ученые упрекали первые труды Дудика въ противо-славянскомъ направленіи вѣнской школы; въ этомъ смыслѣ противникомъ его былъ другой моравскій ученый, Брандль, о которомъ далѣе. Въ 1878, благодаря хлопотамъ Дудика, возвращены были въ моравскій архивъ чешскія рукописи, захваченныя Шведами еще въ 30-лѣтнюю войну и находившіяся донынѣ въ шведскихъ библіотекахъ [2]).

Историческое знаніе направилось въ особенности на собираніе и изданіе источниковъ. Здѣсь одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ ученыхъ есть Іосифъ Эмлеръ (род. 1836). Кончивъ курсъ въ вѣнскомъ университетѣ, онъ поступилъ въ только-что основанный тогда Institut für oesterreichische Geschichte, гдѣ пріобрѣлъ прекрасную подготовку къ самостоятельнымъ работамъ по исторіи и археографіи. Поселившись съ 1861 въ Прагѣ, онъ получилъ мѣсто при земскомъ архивѣ, потомъ при городскомъ, и по смерти Эрбена, 1870, сталъ его преемникомъ въ качествѣ архиваріуса города Праги. Передъ тѣмъ, онъ получилъ мѣсто доцента вспомогательныхъ историческихъ наукъ въ пражскомъ университетѣ. Эмлеръ обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность въ изслѣдованіи и изданіи памятниковъ [3]). Съ 1870 онъ есть редакторъ „Часописа" Чешскаго Музея. Съ другой стороны, замѣчательна его дѣятельность профессорская: онъ успѣлъ образовать школу учениковъ, работающихъ въ мѣстныхъ архивахъ Чехіи и возбуждающихъ любовь къ историческимъ памятникамъ [4]).

Для Моравіи работаетъ въ этомъ отношеніи Винценцъ Брандль (род. 1834). Съ 1858 учитель исторіи въ Бѐрнѣ, онъ старался возбуждать въ молодежи интересъ къ изученію своей исторіи [5]). Съ

[1]) Ceroni's Handschriften-Sammlung (въ моравскомъ земскомъ архивѣ), 1850; Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, 1852; Iter Romanum,—изслѣдованія въ римскихъ архивахъ, 1858, 2 части.

[2]) Světozor, 1878, № 26, 40. Много частныхъ изслѣдованій Дудика помѣщено было въ Oesterreichische Revue, Запискахъ вѣнской академіи, въ «Часописѣ» моравской Матицы, Запискахъ чешскаго ученаго общества.

[3]) Въ 1864 онъ приготовилъ къ печати Dekrety Jednoty Bratrské, изданные послѣ Гинделимъ; съ 1869 онъ издаетъ «Pozůstatky desk zemských», сгорѣвшихъ 1561; онъ есть редакторъ «Pramenů dějin českých», издаваемыхъ на сумму, собранную народомъ Палацкому; отъ Эрбена онъ наслѣдовалъ «Regesta Bohemica» (2-й томъ, грамоты и акты до 1310 г.) и т. д.

[4]) Біографіи: Slovník Naučny, s. v.; Světozor, 1877, № 15.

[5]) Онъ издалъ тогда по нѣмецки Handbuch der mährischen Vaterlandskunde, 1859. Въ 1863 была имъ издана Kniha pro každého Moravana. Впослѣдствіи онъ написалъ статью Morava въ «Научномъ Словникѣ», которая издана была и отдѣльно: Stručny přehled vlastivědy Moravské, 1869. Glossarium illustrans Bohemico-Moravicae historiae fontes, 1876.

1861 онъ сталъ начальникомъ архива маркграфства Моравскаго. Рядъ его историческихъ статей находится въ „Часописѣ" чешскомъ и моравскомъ, въ журналѣ „Památky archaeologické a místopisné". и проч. Особенную заслугу его составляютъ изданія по старой письменности, какъ, напр., сочиненій и писемъ Жеротина, книги Товачовской и другихъ памятниковъ стараго юридическаго быта. Брандль есть одинъ изъ рьяныхъ защитниковъ древности „Суда Любуши".

Въ ряду историковъ литературы собственно, старѣйшій дѣятель есть Алоизъ-Войтѣхъ Шембера (род. 1807). Младшій современникъ начинателей чешской литературы, Шембера былъ свидѣтелемъ и участникомъ ея тогдашнихъ трудовъ и стремленій. Юристъ по образованію, онъ занималъ въ 1830-хъ годахъ юридическую должность, потомъ профессорство чешскаго языка въ Бѐрнѣ и Оломуцѣ. Въ 1848 вызванный въ Вѣну, въ коммиссію, работавшую надъ установленіемъ славянской терминологіи политико-юридической, Шембера сдѣланъ былъ профессоромъ чешскаго языка и литературы въ Вѣнскомъ университетѣ и редакторомъ чешскаго изданія имперскаго законника. Литературную дѣятельность, въ „властенецкомъ" смыслѣ, Шембера началъ очень давно, и труды его были въ особенности направлены на историко-топографическое изученіе чешско-моравскихъ земель, на древность до-историческую, наконецъ на исторію литературы [1]). Въ послѣдніе годы, именно въ новѣйшемъ изданіи своей „Исторіи литературы", Шембера явился рѣшительнымъ противникомъ подлинности нѣкоторыхъ памятниковъ, причисляемыхъ къ древней литературѣ. и въ особенности „Суда Любуши".

Наиболѣе дѣятельный изъ всѣхъ историковъ чешской литературы и наиболѣе ревностный защитникъ подлинности древнихъ чешскихъ памятниковъ есть Іосифъ Иречекъ (Jireček, т. е. собственно Йиречекъ, род. 1825). Онъ кончилъ курсъ въ пражскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1849, рано вошелъ въ кругъ передовыхъ чешскихъ ученыхъ, какъ Палацкій, Эрбенъ, Шафарикъ (и сталъ потомъ зятемъ послѣдняго), и вскорѣ уже выступилъ на литературное поприще, въ 1849 велъ за Воцеля редакцію „Часописа", въ 1850 поступилъ въ Вѣнѣ на службу въ министерство просвѣщенія и исповѣ-

---

[1]) Таковы: «Popis Moravy a Slezska», какъ объясненіе къ большой картѣ Моравіи (на 4 листахъ, Вѣна 1863; 2-е изд. 1870); «Paměti a znamenitosti města Olomouce, Вѣна 1861; «Západní Slované v pravěku», Вѣна 1868, съ картой Германіи и Иллиріи во II-мъ вѣкѣ по Р. Х.,—гдѣ доказывается, не очень критически, что Чехи, Мораване и Словаки обитаютъ въ своихъ земляхъ со временъ до-историческихъ (ср. рецензію Н. Попова въ «Древностяхъ», 1870, т. III, стр. 86 и слѣд.); «Dějiny řeci a literatury české» (1858—61; 4-е изданіе древняго періода, 1868; «Исторія литературы» состоитъ изъ списковъ памятниковъ письменности и писателей по рубрикамъ); Základové dialektologie československé, 1864. Объ его изданіи Гусовой орѳографіи мы прежде упоминали.

даній при графѣ Львѣ Тунѣ, дѣятельно участвовалъ въ „Вѣнскомъ Дневникѣ“, основанномъ тогда чешскими аристократами, работалъ въ коммисіи, которая подъ управленіемъ Шафарика трудилась надъ славянской политической терминологіей. Въ 1853—61 онъ издалъ рядъ учебныхъ хрестоматій по чешской литературѣ, занимался ея старой исторіей, печаталъ свои изслѣдованія въ „Свѣтозорѣ“, „Rozprávach filologických“ (Вѣна, 1860), въ запискахъ чешскаго ученаго общества и „Часописѣ“. Вмѣстѣ съ братомъ Германегильдомъ (род. 1827),— который имѣетъ почетное имя какъ авторъ названной выше книги о славянскомъ правѣ въ Чехіи и Моравіи и вообще какъ знающій юристъ [1]),—онъ выступилъ, въ 1862, защитникомъ Краледворской Рукописи, въ книгѣ (Die Echtheit etc.), которая до послѣднихъ лѣтъ считалась неодолимымъ опроверженіемъ всѣхъ сомнѣній въ подлинности этого памятника. Мы говорили выше (стр. 428) объ его участіи въ литературныхъ дѣлахъ „братьевъ“, русскихъ Галичанъ. Въ 1871, съ министерствомъ Гогенварта, Иречекъ получилъ портфель министра просвѣщенія и исповѣданій: за его управленіе, продолжавшееся 9 мѣсяцевъ, основана была Краковская академія и для чешскихъ школъ наступилъ поворотъ, благопріятный для народности. Черезъ нѣсколько времени послѣ отставки, Иречекъ поселился въ Прагѣ, гдѣ сталъ завѣдовать городскими средними школами, сдѣлался предсѣдателемъ чешскаго ученаго общества, велъ новое изданіе „Памятниковъ старой чешской литературы“ (имъ самимъ изданъ вновь „Далимилъ“ и „Divadelní hry“). Онъ чрезвычайно дѣятельно работалъ по изслѣдованію старой чешской литературы: было бы очень долго перечислять его труды, посвященные этому предмету и часто нами цитированные. Укажемъ въ особенности двухъ-томную „Rukověť“, составляющую богатый фактами сборникъ, какіе очень желательно было бы имѣть и по другимъ славянскимъ литературамъ [2]).

Замѣчательный писатель, имѣющій большія заслуги въ этой области, есть Вацлавъ Небескій (род. 1818). Онъ родился близь Мельника на сѣверѣ Чехіи, на границахъ чешской національности съ нѣмецкой, воспитывался на нѣмецкой поэзіи и наукѣ и только съ поступленіемъ въ университетъ въ Прагѣ, 1836, началъ понимать положеніе вещей и сталъ рѣшительно на сторонѣ несправедливо притѣсняемой народности. Небескій пріобрѣлъ широкое литературное образованіе: еще до университета онъ читалъ въ подлинникѣ Гомера, греческихъ лириковъ и трагиковъ, переживалъ вліянія нѣмецкой философіи и нѣмецкой поэ-

---

[1]) Недавно вышелъ новый трудъ Герм. Иречка: «Svod zákonův Slovanských», Прага, 1880, представляющій памятники стараго законодательства почти всѣхъ славянскихъ племенъ, начиная съ старыхъ памятниковъ русскаго права.

[2]) Біографія: Slovník Naučný, s. v.

зіи, занимался теологіей, увлекался полу-мистической натуръ-философіей, отъ которой освободился подъ внушеніями настоящаго естествознанія, слушая послѣ философскаго курса медицину. Литературное поприще онъ началъ стихотвореніями и критическими опытами, эпической поэмой (Protichůdci, 1844); въ 1848 году былъ вовлеченъ въ политическую жизнь, работалъ въ публицистикѣ съ Гавличкомъ, былъ членомъ имперскаго сейма, но ходъ дѣла былъ такъ ему противенъ, что онъ сложилъ съ себя свое званіе еще до распущенія сейма въ Кромержирѣ. Съ 1850 по 1861 онъ былъ редакторомъ „Часописа" и секретаремъ Музея. Его собственныя работы шли въ двухъ направленіяхъ: онъ писалъ историко-эстетическіе комментаріи къ памятникамъ старой чешской литературы (Краледворская Рукопись, Александреида, Тристрамъ, Majový Sen, легенды и проч.); съ другой стороны, переводилъ Аристофана, Эсхила, Теренція, ново-греческія народныя пѣсни, писалъ о Шекспирѣ, греческой трагедіи, испанскихъ романсахъ и проч. Замѣчаютъ, что позднѣе его критика относительно нѣкоторыхъ памятниковъ старой чешской литературы была слишкомъ стѣснена предразсудками чешскаго литературнаго міра, которые сильны и по сіе время.

Литература филологическая представляетъ также многія заслуженныя имена. Старѣйшій изъ современныхъ чешскихъ филологовъ есть Мартинъ Гаттала (род. 1821). Родомъ католическій Словакъ, онъ учился въ школахъ венгерскихъ и для окончанія теологическаго курса отправился въ Вѣну. Здѣсь только пробудилось въ немъ національное сознаніе и онъ ревностно сталъ изучать словацкій языкъ, расширяя потомъ свои изученія на близкій чешскій и другія славянскія нарѣчія. Въ 1848 онъ сталъ священникомъ и вскорѣ издалъ по-латыни словацкую грамматику [1]; его вызвали преподавателемъ чешско-словацкаго языка въ Пресбургъ, затѣмъ въ пражскій университетъ, гдѣ онъ дополнилъ свои изученія сравнительнымъ языкознаніемъ, при содѣйствіи Шлейхера. Здѣсь онъ издалъ свои главнѣйшіе труды, доставившіе ему извѣстность одного изъ лучшихъ славянскихъ филологовъ [2]. Въ спорѣ о „Судѣ Любуши" и Краледворской Рукописи онъ стоялъ за ихъ подлинность [3].

---

[1]) Grammatica linguae slovenicae collatae cum proxime cognata bohemica. Schemnicii (въ Штявницѣ), 1850.

[2]) Главныя его сочиненія: Zvukosloví jazyka staro- i novočeského a slovenského, 1854; Skladba jazyka českého, 1855; Srovnávací mluvnice jazyka českého a slovenského, 1857; Slovo o polku Igorevě, 1858; Počatky mluvnice slovenské, Вѣна, 1860; De continuarum consonantium mutatione in linguis slavicis, Прага, 1867; Počatečné skupeniny souhlasek česko-slovenských, 1870, и рядъ журнальныхъ статей, напр. объ отношеніяхъ кирилловскаго языка къ нынѣшнимъ славянскимъ нарѣчіямъ («Часописъ», 1855); объ исторической грамматикѣ рус. языка, Буслаева (тамъ же, 1862).

[3]) Obrana Libušina Soudu ze stanoviska filologického, въ «Часописѣ» 1858 —

Другой заслуженный филологъ — Янъ Гебауэръ (род. 1838), съ 1873 доцентъ чешскаго языка въ пражскомъ университетѣ. Большое число его статей по сравнительному языкознанію и исторіи литературы разсѣяно въ „Часописѣ“, въ чешской энциклопедіи, въ „Научномъ Сборникѣ“ (Sborník vědecký), въ „Архивѣ“ Ягича. Другія сочиненія изданы отдѣльно [1]). Онъ перевелъ также значительное число пѣсенъ болгарскихъ изъ сборника Миладиновыхъ, русскихъ былинъ, наконецъ пѣсенъ литовскихъ, итальянскихъ, изъ санскритской поэзіи. Изъ молодыхъ филологовъ въ особенности долженъ быть названъ Леопольдъ, или Лавославъ, Гейтлеръ (род. 1847). Онъ учился языкознанію въ пражскомъ университетѣ у Альфреда Лудвига и Гатталы, въ Вѣнѣ у Миклошича и Мюллера. Начавъ диссертаціей о современномъ положеніи сравнит. языкознанія („Часописъ“, 1873), онъ въ томъ же году издалъ упомянутую нами прежде „Старо-болгарскую фонологію“, гдѣ на основаніи полногласія выводилъ, что русскій языкъ есть форма славянскаго языка болѣе старая, чѣмъ болгарскій или церковно-славянскій [2]). Въ томъ же году онъ сдѣлалъ поѣздку въ русскую и прусскую Литву для изученія живого литовскаго языка: плодомъ путешествія (описаннаго въ „Освѣтѣ“ 1874) были „Litauische Studien“. Въ 1874 Гейтлеръ приглашенъ былъ на каѳедру сравнительнаго славянскаго языкознанія въ загребскій университетъ. Въ 1875 онъ сдѣлалъ не совсѣмъ безопасное ученое путешествіе въ Сербію и Македонію до Аѳона. Изъ послѣднихъ трудовъ Гейтлера упомянемъ въ особенности его изслѣдованіе по поводу „открытій“ Верковича: Гейтлеръ имѣлъ въ рукахъ всю коллекцію Верковича, и мнѣніе его складывается въ большой мѣрѣ въ пользу ея подлинности („Poetické tradice Thraků a Bulharů“, 1878, по-чешски и также по-хорватски).

Мѣсто не позволяетъ намъ указывать подробнѣе чешскіе историко-литературные труды и мы должны ограничиться краткимъ упоминаніемъ ихъ. По исторіи должны быть еще названы: Ант. Резекъ (Zvolení a korunování Ferdinanda I za krale českého, 1878); Іос. Калоусекъ (Koruna česká, její celitost a státoprávní samobytnost, въ „Ча-

---

1860. Защита его съ точки зрѣнія палеографической, филологической и поэтической, въ газетѣ Prager Morgenpost 1858—59.

Статья Гатталы «о всеславянскомъ литер. языкѣ» (Osvěta, 1871—72), и новѣйшая книжка «Brus jazyka českého», Пр. 1877, наполнены полемикой, слишкомъ неспокойной и ненаучной.

[1]) Etymologickė počátky řeči, 1868; Slovanské jazýky, porovnávací výklad hlavních a charakteristikých proměn hláskoslovných a tvarů flexivních, 1869; Přispěvky k historii českeho pravopisu a vyslovnosti staročeské (1871, въ Научн. Сборникѣ); Uvahy o Novė Radė pana Smila Flašky etc. (1873, тамъ же); Uvedeni do mluvnice české; Hláskosloví jazyka českého.

[2]) Ср. замѣчанія А. Потебни, Журн. Минист., 1873, и воронежскія Филолог. Записки, 1875. Къ результатамъ Гейтлера приходилъ позднѣе и нѣмецкій ученый, Іог. Шмидтъ (Zur Gesch. des indo-germanischen Vocalismus, 1876).

списѣ", 1870, и др.), Карлъ Тифтрункъ, Клементъ Боровый (род. 1838, по исторіи церкви), А. Ленцъ (теологическое изслѣдованіе объ отношеніи Гусова ученія къ ученію католической церкви), Ярославъ Голль, Зоубекъ и др. По исторіи литературы, и также археологіи: Антонинъ Рыбичка (Skutečský, род. 1812), которымъ сдѣлано множество частныхъ, особливо біографическихъ изслѣдованій; Вацлавъ Зеленый (1825 — 75), Іос. Тругларжъ, К. Адамекъ [1]) и друг. По археологіи: Іос. Смоликъ, проф. Шмидекъ, Баумъ и пр. По изслѣдованіямъ филологическимъ: Вацлавъ Зикмундъ (1816 — 1873), Фр. Бартошъ (род. 1833), Ант. Маценауэръ (изслѣдованіе о чужихъ словахъ въ славянскихъ языкахъ), Янъ Косина, Ант. Вашекъ, М. Блажекъ и пр.

Изученіе взаимно-славянское, въ основаніи котораго чешской литературѣ принадлежала такая великая заслуга въ первой половинѣ столѣтія, въ настоящее время представляетъ лишь немногіе цѣльные труды; но, кромѣ русской литературы, они не распространены нигдѣ такъ, какъ у Чеховъ. Вацлавъ Кржижекъ (род. 1832, директоръ реальной гимназіи въ Таборѣ) составилъ синхронистическій обзоръ славянской исторіи [2]). Наиболѣе дѣятельный писатель по вопросу славянской взаимности и единства есть Іосифъ Первольфъ (род. 1841), нынѣ равно принадлежащій чешской и русской литературѣ. Прошедши философскій факультетъ въ пражскомъ университетѣ, онъ былъ съ 1864 ассистентомъ и архиваріусомъ въ Чешскомъ Музеѣ, въ 1871 занялъ каѳедру славянской исторіи въ варшавскомъ университетѣ, гдѣ и понынѣ дѣйствуетъ. Онъ рано занялся изученіемъ отношеній славянскихъ народовъ; первыя работы его были печатаны въ разныхъ чешскихъ изданіяхъ. Въ 1861—1871 онъ былъ дѣятельнымъ участникомъ въ „Научномъ Словникѣ" по славянскимъ предметамъ. Сколько намъ извѣстно, именно Первольфу принадлежала редакція статей по инославянскимъ предметамъ [3]), причемъ значительное число ихъ было написано имъ. Сдѣлавши въ 1871 путешествіе по Россіи и основавшись въ Варшавѣ, Первольфъ старался о распространеніи взаимнаго славянскаго пониманія, и уже съ 1872 сталъ много писать въ русскихъ изданіяхъ о новѣйшей славянской исторіи и взаимности [4]).

---

[1]) Упомянемъ изъ трудовъ Адамка въ особенности сочиненіе, котораго впрочемъ не имѣли въ рукахъ: Doba poroby a vzkříšení. Rozhledy v kulturních dějinách kral. českého v XVII a XVIII stol. Прага 1878.

[2]) Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém se stručnym obrazem jich osvěty, literatury a umění etc. V Taboře a Jindřichově Hradci, 1871, съ 30 генеалог. таблицами. Ср. его же статью: Epochy a obsah dějin národů slovanských, въ «Часописѣ», 1877.

[3]) Ср. Slovník Naučný, X, стр. 547.

[4]) Вотъ рядъ главныхъ трудовъ Первольфа:—O vzajemnosti slovanské, Пр. 1867; Listy o Polsku a Rusku (въ «Часописѣ», 1872, 3); Čechové i Poláci v XV—XVI stol.

Далѣе, въ ряду чешскихъ писателей объ ино-славянскихъ племенахъ почетное имя успѣлъ уже пріобрѣсти молодой ученый Іосифъ-Константинъ Іречекъ (род. 1854, сынъ Іосифа), доцентъ пражскаго университета, нынѣ работающій въ болгарскомъ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Онъ отдался изученію славянскихъ народовъ Балканскаго полуострова; еще въ 1872 онъ издалъ „Библіографію новой болгарской литературы"; затѣмъ, кромѣ большого числа отдѣльныхъ статей въ „Часописѣ" и „Освѣтѣ", онъ издалъ упомянутую нами раньше „Исторію Болгаръ", которая явилась по-чешски и по-нѣмецки, и имѣла два русскихъ перевода [1]). Нѣкоторые критики отнеслись сурово къ нѣкоторымъ неполнотамъ или ошибкамъ этого труда; но мы высоко цѣнимъ его не только какъ трудъ молодаго ученаго, но вообще какъ замѣчательный опытъ цѣльнаго изложенія болгарской исторіи, какого еще не имѣла славянская литература. Появленіе книги счастливо совпало съ войной, положившей основаніе болгарской независимости. Книга Иречка получила оттого для Болгаръ еще особенное значеніе.—Наконецъ, какъ писатели о славянствѣ могутъ быть названы Фр. Коржинекъ (1831 — 74); Іосифъ-Ладиславъ Пичъ [2]); Примусъ Соботка, Янъ Черный, Янъ Лепаржъ и др.

Очень усердно чешскіе писатели дѣлали также переводы изъ ино-славянскихъ литературъ; можно сказать, что у Чеховъ переводная дѣятельность въ этой области развилась больше, чѣмъ у кого-нибудь изъ другихъ Славянъ. Такъ, по русской литературѣ, есть переводы изъ Пушкина (Винц. Бендль), Лермонтова, Гоголя, Рылѣева, Некрасова (Игн. Мейснаръ), изъ Гончарова, Тургенева (Эмм. Вавра); изъ Шевченка. и т. д. По литературѣ польской: изъ Мицкевича, Словацкаго, Мальческаго, Бродзинскаго, Сырокомли, также Корженіовскаго, Крашевскаго и пр. По литературѣ южно-славянской: Іосифъ Голечекъ сдѣлалъ переводъ болгарскихъ пѣсенъ; Зигфридъ Капперъ (1821—79), пражскій Еврей, извѣстный давно своими поэтическими переводами сербскихъ пѣсенъ на нѣмецкій языкъ, по-чешски далъ поэтическую

(въ журн. «Osvěta», 1873); Východní otázka - slovanská otázka (тамъ же, 1878); Slovanské hnutí mezi Poláky 1800—1830 (тамъ же, 1879).

По-русски:—Чехи и Русскіе (въ «Бесѣдѣ», 1872, № 5 и 7); Славянская взаимность съ древнѣйшихъ временъ до XVIII вѣка. Спб. 1874 (въ Журн. Мин. Нар. Пр. и отдѣльно; богатое сопоставленіе частныхъ фактовъ взаимности между славянскими племенами); Германизація Балтійскихъ Славянъ. Спб. 1876; Варяги-Русь и Балтійскіе Славяне (Журн. Мин. 1877, по поводу книгъ Гедеонова и Забѣлина); Александръ I и Славяне (въ «Др. и Новой Россіи», 1877, № 12); Славянское движеніе въ Австріи 1800—1848 г. (въ «Русской Рѣчи», 1879, кн. 7—9); Слав. движеніе 1848 г. (въ «Вѣстн. Европы», 1879, кн. 4).

По-нѣмецки:—Die slawisch-orientalische Frage. Eine histor. Studie. Prag. 1878.

[1]) Одинъ, въ Варшавѣ, Яковлева; другой, въ Одессѣ, Бруна и Палаузова. Важенъ послѣдній, къ которому авторъ доставилъ поправки и дополненіе.

[2]) О родовомъ бытѣ у Словаковъ и венгерской Руси, въ «Часописѣ» 1878; обширная работа его о Словакахъ (по-русски въ Слав. Сборникѣ), цитируется далѣе.

картину борьбы южнаго Славянства съ Турками по народнымъ пѣснямъ черногорскимъ [1]). Есть переводы изъ Мажуранича, отрывки изъ Гундулича, изъ сербскихъ сказокъ Караджича и пр. Цѣлый сборникъ переводовъ изъ славянской поэзіи издалъ Фр. Вимазалъ (Slovanská poezije, 2 части). Распространяется изученіе другихъ славянскихъ языковъ, и опять у Чеховъ всего больше учебниковъ по этой части, въ послѣднее время особенно для русскаго языка.

Но важнѣйшимъ фактомъ между-славянскихъ изученій, какъ вообще замѣчательнымъ фактомъ чешской литературной образованности, былъ много разъ нами цитированный „Научный Словникъ". Кромѣ обычнаго содержанія справочныхъ энциклопедій, онъ замѣчателенъ въ особенности обильнымъ запасомъ статей о Славянствѣ. Редакція Словаря въ своемъ послѣсловіи съ полнымъ правомъ могла сказать, что передъ всѣми другими энциклопедіями чешскій „Научный Словникъ" будетъ имѣть то преимущество, что „въ предметахъ славянскихъ онъ будетъ единственнымъ надежнымъ источникомъ, потому что—не говоря объ энциклопедіяхъ ино-язычныхъ, для которыхъ Славянство есть міръ неизвѣстный—въ самомъ дѣлѣ никакая другая славянская энциклопедія (и ихъ, къ сожалѣнію, очень мало) не обратила вниманія на эти отдѣлы этнографіи и исторіи въ такой мѣрѣ и такъ основательно, какъ чешскій „Научный Словникъ" [2]).

Отмѣтимъ еще первый опытъ обще-славянской библіографіи (кромѣ русской): Slovanský Katalog bibliografický, который издаютъ съ 1877 А. Михалекъ и Яр. Клоучекъ (донынѣ двѣ книги, 1877—78).

Чешско-моравская журналистика очень обильна и разнообразна, особливо въ послѣднее десятилѣтіе. Говоря относительно, по сравнительной численности племени, журналистика, какъ вообще, едва ли не богаче у Чеховъ, чѣмъ у какого-либо изъ славянскихъ племенъ. Есть газеты и журналы, или періодическіе сборники, или серіи книгъ по всякимъ отраслямъ: разныя научныя спеціальности, беллетристика, церковныя дѣла, техника и промыслы, педагогика, политика имѣютъ свои изданія. Изъ журналовъ научныхъ извѣстны особенно, кромѣ „Часописа Чешскаго Музея", Listy filologické a paedagogické, Památky archaeologické a místopisné, „Часописъ" Моравской Матицы, политико-юридическій журналъ „Právník". Изъ журналовъ литературныхъ: „Osvěta", „Květy" (Вит. Галька, нынѣ Сват. Чеха) „Lumír", иллюстрированный „Světozor" и пр. Матица издаетъ сочиненія серьёз-

[1]) Zpěvy lidu srbského, Пр. 1872—74. Біографія его, Ферд. Шульца, въ «Освѣтѣ», 1879.

[2]) Томъ X, стр. 547—548.

наго литературно-научнаго содержанія; для изданія книгъ популярныхъ и беллетристическихъ существуетъ особая „Народная Матица“ (Matice lidu). Наконецъ для беллетристики есть цѣлый рядъ сборниковъ: Narodní bibliotéka; Libuše, matice zabavy a umění; Salonní bibliotéka; Lacíná knihovna národní и пр. Переводы изъ иностранной поэзіи издаются въ сборникѣ „Poesie světová“.

Политическая газетная литература начинается настоящимъ образомъ только съ 1848 года. Послѣ Гавличка, наступившая реакція сдѣлала публицистику невозможной, и новое движеніе открылось послѣ „патентовъ“ и „дипломовъ“ въ 1860-хъ годахъ. Руководящую роль въ политической литературѣ игралъ Палацкій и зять его, Франт.-Ладиславъ Ригеръ (род. 1818). При новомъ конституціонномъ порядкѣ они желали имѣть газетный органъ для изложенія и защиты своихъ взглядовъ. Ригеру газета не была дозволена; но дозволеніе получилъ Юліусъ Грегеръ (род. 1831), юристъ по образованію. Въ 1861 начала выходить его газета „Narodní Listy“, которая и послужила выраженіемъ политическихъ идей Палацкаго и Ригера, т.-е. федералистической программы. Но полное согласіе дѣятелей старшаго поколѣнія съ младшими было непродолжительно, такъ что въ 1863 первые основали другую газету, „Národ“; позднѣе, ихъ программу выражалъ „Pokrok“. Здѣсь началось дѣленіе „старо-чеховъ“ и „младо-чеховъ“. Причиной раздора было главнымъ образомъ различіе во взглядахъ на польскій вопросъ, выдвинутый тогда возстаніемъ и на внутреннюю политику: младо-чехи сочувствовали возстанію и относились очень враждебно къ Россіи; старо-чехи считали его неблагоразумнымъ; во внутреннихъ дѣлахъ младо-чехи высказывались болѣе демократически и отвергали союзъ съ аристократіей, который ихъ противники находили необходимымъ для цѣльности народныхъ силъ. Но въ общихъ вопросахъ обѣ фракціи продолжали идти рядомъ; тѣ и другіе были федералисты и защитники историческаго права „чешской короны“. Не входя, впрочемъ, въ дальнѣйшія подробности чешской политической жизни, назовемъ только главнѣйшихъ политическихъ дѣятелей и писателей. Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ и наиболѣе вліятельныхъ есть Янъ Скрейшовскій (род. 1831), который для болѣе успѣшной борьбы съ враждебной нѣмецкой журналистикой началъ съ 1862 изданіе извѣстной газеты „Politik“. Братъ его, Франтишекъ (род. 1837) основалъ въ 1867 упомянутую иллюстрацію „Свѣтозоръ“. Эммануилъ Тоннеръ (род. 1829) еще съ 1848 принялъ участіе въ политическомъ движеніи; позднѣе онъ работалъ въ „Народныхъ Листахъ“, гдѣ въ 1863 году помѣстилъ рядъ статей: Poláci a Češi, вышедшихъ послѣ отдѣльно и именно выражавшихъ младочешскій взглядъ на польское дѣло. Карлъ Сладковскій (1823—

80), одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ общественныхъ дѣятелей чешскаго общества, практическій политикъ въ демократическомъ духѣ, проведшій много лѣтъ своей жизни въ тюрьмѣ и къ концу жизни принявшій православіе. Его считали главой младо-чеховъ. Винцецъ Вавра (1824—77), проведшій бурную политическую жизнь, между прочимъ нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, въ 1849 принялъ самое дѣятельное участіе въ событіяхъ, былъ, вмѣстѣ съ д-ромъ Подлипскимъ, редакторомъ газеты „Noviny Lipy Slovanské“, тогда основанной, затѣмъ при наступленіи полной реакціи провелъ нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, затѣмъ снова дѣятельно занялся публицистикой и издавалъ съ д-ромъ Финкомъ газету „Hlas“ до 1865, когда соединилъ ее съ „Народными Листами“. Крайняя ультрамонтская партія имѣла свой органъ въ газетѣ „Чехъ“ съ должнымъ клерикальнымъ обскурантизмомъ. Наконецъ, много мелкихъ журналовъ популярныхъ и т. д. Моравія имѣетъ нѣсколько своихъ изданій, свою „Матицу“.

Чешская литература играетъ одну изъ главныхъ ролей въ новѣйшемъ славянскомъ Возрожденіи, съ тѣхъ поръ какъ въ ея рядахъ явились первые сильные его дѣятели: Добровскій, Шафарикъ, Колларъ. До недавняго времени въ ней дѣйствовали послѣдніе представители той первой рѣшающей поры, и здѣсь потомъ живѣе, чѣмъ у другихъ, поддерживались обще-славянскіе интересы. Вѣна, въ которой собралось столько славянскихъ элементовъ, и самая Прага, куда многіе изъ южно-славянскаго юношества приходили довершать свое образованіе, доставляли и удобство между-славянскихъ сношеній, и путь для развитія обще-славянскаго интереса у Чеховъ. На этотъ интересъ давно наводило народно-политическое положеніе Чехіи. Съ пробужденіемъ національнаго сознанія племенъ, являлась естественная мысль о солидарности австрійскихъ Славянъ для общей защиты племенной особности и историческаго права; въ волненіяхъ 1848—49 эта идея выразилась фактическими дѣйствіями, какъ славянскій съѣздъ, какъ сношенія Чеховъ съ австрійскими Сербо-Хорватами, какъ отправленіе чешскихъ волонтеровъ къ Словакамъ на помощь противъ Мадьяръ. Безучастіе Россіи и русскаго общества къ славянскому вопросу (потому что вмѣшательство Россіи въ венгерскую войну было исключительно милитарное и династическое) дѣлали то, что само Славянство въ видахъ самосохраненія считало нужнымъ не только спасать Австрію, но „создавать ее, еслибъ ея не было“—ту Австрію, отъ которой само столько терпитъ.

Внѣшнее развитіе литературной жизни, какъ мы замѣчали, весьма значительно. Широкое развитіе народной школы и средняго образованія, въ которомъ Чехи съ замѣчательной выдержкой отвоевывали

употребленіе народнаго языка, доставили чешской книгѣ обширный контингентъ читателей. — Тяжкое прежнее положеніе полу-мертвой народности требовало упорной, медленной работы, довольствующейся небольшими успѣхами; постоянное присутствіе національной опасности, лицомъ къ лицу съ врагомъ, напоминало о необходимости этой работы; Чехи пріобрѣли замѣчательную выдержанность. Каждое пріобрѣтеніе радовало; цѣнился и былъ на виду самый скромный трудъ; въ литературѣ развилось чувство солидарности, которое увеличиваетъ значеніе общаго дѣла. Самые недостатки чешской критики общественной и литературной, на которые намъ случалось указывать, въ большой мѣрѣ происходятъ именно отъ постояннаго присутствія противника, въ виду котораго надо на каждомъ шагу защищать факты своей національной жизни и своему обществу внушать довѣріе къ своимъ силамъ,—иногда, къ сожалѣнію, теряя изъ виду болѣе широкій національный горизонтъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ развитіи чешской литературы оказали свою помощь вліянія нѣмецкія и вліянія той государственности, въ которой Чехи поставлены. Нѣмецкая школа служила образцомъ чешской; рядомъ, подъ рукой, были богатые источники нѣмецкой литературы; конституціонная свобода общественной жизни, при всѣхъ колебаніяхъ, какія она испытывала въ Австріи, дала наконецъ просторъ и для проявленій національныхъ. Чехи воспользовались этими условіями: свободой собраній, образованія кружковъ и обществъ, которыхъ множество; національныя демонстраціи прославляли имена заслуженныхъ патріотовъ, поддерживали патріотическія предпріятія.

Въ такихъ условіяхъ и при мѣньшемъ интересѣ къ обще-славянскимъ вопросамъ въ другихъ литературахъ было довольно понятно, что чешская литература иногда ставила себя во главѣ славянскаго національнаго сознанія... Многія стороны и качества ея заслуживаютъ полнаго уваженія, и много содѣйствовали ея значенію въ Славянствѣ.—Въ нашемъ изложеніи указаны, однако, многія desiderata, восполненіе которыхъ становится болѣе и болѣе *необходимымъ* для того, чтобы чешская литература могла сохранить свое значеніе въ вопросѣ обще-славянскомъ.

II. Словаки.

Литература на собственномъ языкѣ Словаковъ есть новое явленіе, которое едва можетъ считать себѣ сто лѣтъ, явленіе скромное по размѣрамъ, но очень любопытное по развитію. До конца прошлаго вѣка, въ области литературной Словаки пользовались языкомъ чешскимъ, если не латынью; ихъ собственное нарѣчіе было языкомъ мѣстной народной жизни и не пыталось подниматься на литературную высоту. Возникновеніе словацкой или словенской литературы, отдѣленіе Словаковъ отъ литературы чешской есть одинъ изъ любопытныхъ эпизодовъ славянскаго возрожденія, который представляетъ иногда близкую параллель съ развитіемъ литературы малорусской. Тамъ и здѣсь шелъ споръ о правѣ „нарѣчія“ на отдѣльную литературу; главная народность въ обоихъ случаяхъ считала языкъ частной народности „нарѣчіемъ“; напротивъ, частная народность утверждала, что это нарѣчіе есть „отдѣльный независимый языкъ“; въ обоихъ случаяхъ литературныя стремленія частной народности принимались въ главной народности всего чаще съ огорченіемъ или негодованіемъ, считались гибельнымъ „сепаратизмомъ“, измѣной цѣлому, а сепаратисты, настаивая на мѣстной литературѣ какъ на необходимости для перваго, ближайшаго возбужденія народной жизни, въ тоже время оказывали иногда гораздо болѣе ревностное стремленіе къ цѣльности все-славянской.

Имя *Словакъ*, какъ съ вѣроятностью полагаютъ словенскіе писатели, было новѣйшимъ видоизмѣненіемъ древняго обще-племеннаго имени Славянинъ („Словѣнинъ“, какъ у Нестора, у монаха Храбра и пр.): словацкая женщина есть „Словенка“; страна Словаковъ есть „Словенско“ [1]). Подобнымъ образомъ древнее племенное имя сохра-

[1]) Поэтому, народъ и языкъ называется *словенскимъ*, а не *словацкимъ*, какъ бы слѣдовало отъ «Словакъ» и какъ естественнѣе кажется по-русски. У насъ всего чаще и употреблялось прилагательное въ этой послѣдней формѣ, тѣмь болѣе, что при этомъ избѣгается смѣшеніе съ Словинцами, которые также называются Словенцами;—но чтобы не расходиться съ обычной формой, употребляемой у самихъ Словаковъ и у Чеховъ, мы также примемъ прилагательную форму «словенскій».

нилось еще только у Словинцевъ (собственно, Словенцевъ, Славянъ хорутанскихъ). „Неудивительно,—говоритъ одинъ словенскій писатель-патріотъ,—что Словакъ, какъ только пробудится въ немъ народное сознаніе, тотчасъ чувствуетъ и сознаетъ себя Славяниномъ"... То-есть, хотя народъ словенскій давно и въ настоящую минуту крайне угнетенъ иноземцами и очень бѣденъ, — словенскимъ патріотамъ кажется, что Словакъ есть Славянинъ по преимуществу. „Тутъ, можетъ быть, помогаютъ и историческія воспоминанія,—замѣчаетъ тотъ же писатель:—Словаки прежде многихъ другихъ Славянъ приняли христіанство, именно православіе, и притомъ отъ славянскихъ апостоловъ, св. Кирилла и Меѳодія. У словенскаго народа, на его отечественной землѣ, святые братья положили первыя начала славянской литературы переводомъ св. Писанія. У Словаковъ при князѣ Ростиславѣ и королѣ Святополкѣ велико-моравскихъ возникло первое славянское государство. Можетъ быть, нынѣшній упадокъ словенскаго народа и его притѣсненіе сильными иноплеменниками, волею-неволею, развиваютъ въ немъ мысль, что только самосознаніе славянское, славянскій духъ и славянская помощь могутъ спасти его отъ непрерывныхъ преслѣдованій и конечной гибели. Человѣкъ словенскій, нельзя этого отрицать, глубоко чувствуетъ и вѣритъ, что подъ чужимъ тысячелѣтнимъ ярмомъ онъ не утратилъ своей народности, не обратился въ Нѣмца и Мадьяра, только лишь благодаря многочисленности и силѣ славянскаго племени, преимущественно же русскаго народа, который вліялъ на его угнетателей, если не прямо и непосредственно, то однимъ своимъ грознымъ бытіемъ. Все это оказываетъ на Словака, человѣка словенскаго, то дѣйствіе, что онъ чувствуетъ себя не только Словакомъ, но вмѣстѣ и Славяниномъ" [1]).

Сильный патріотизмъ есть всегда немножко поэзія. Она присутствуетъ и въ приведенныхъ строкахъ. Но и писателямъ ино-славянскимъ словенскій народъ также представляется одареннымъ особыми задатками для выраженія идеи обще-славянской. Такъ относились къ нему особенно наши русскіе панслависты. Гильфердингъ еще въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, въ особенно тяжкую пору словенскаго движенія, при крайней неустановленности литературы, говорилъ: „словацкая литература представляется какимъ-то хаосомъ; но я не сомнѣваюсь въ томъ, что изъ этого хаоса выработаются плодотворныя начала" [2]). Онъ чрезвычайно высоко цѣнилъ дѣятельность Штура, еще не зная того сочиненія, которое послѣ издано было по-русски Ламанскимъ. Послѣдній видѣлъ въ Словакахъ „едва ли не самое даровитое и наиболѣе намъ, Русскимъ, сочувственное племя". „Ближайшіе со-

[1]) М. Д., «Словаки» въ Журн. Мин. 1868, авг., стр. 558.
[2]) Les Slaves Occidentaux, или въ Собр. Сочин., т. II, стр. 78.

сѣди и друзья Угорской Руси, Словаки, служатъ посредствующимъ звеномъ между Русью и Моравапами и Чехами съ одной стороны, и черезъ свои многочисленныя и цвѣтущія поселенія въ средней Угріи, между Тисою и Дунаемъ, между Русью и Сербами и Хорватами съ другой стороны. Если русскому языку дѣйствительно суждено быть обще-славянскимъ дипломатическимъ языкомъ, то его распространеніе у Славянъ произойдетъ преимущественно черезъ Угорскую Русь и Словаковъ" [1]).

Вопросъ о словенскомъ языкѣ понимается различно съ одной стороны Чехами, съ другой—Словаками. По мнѣнію первыхъ, это „нарѣчіе" есть оторванная вѣтвь чешскаго языка, и въ древнихъ памятникахъ послѣдняго (замѣтимъ, что чешскіе критики разумѣли въ особенности „Судъ Любуши" и Краледворскую Рукопись) находится такое сходство съ нынѣшнимъ словенскимъ, что они являются просто разнорѣчіями одного діалекта; „простой Словакъ лучше бы понималъ старую чештину, нежели нынѣшній Чехъ" [2]). Словенскіе писатели, напротивъ, охотно говорятъ объ отдѣльности и своего народа и языка, и самъ Шафарикъ въ „Исторіи славянскихъ литературъ" считаетъ Словаковъ особымъ народомъ, на ряду съ Чехами и Поляками, говоритъ объ ихъ литературѣ отдѣльно и высказываетъ сочувствіе къ разработкѣ словенскаго языка въ особый литературный типъ [3]), хотя впослѣдствіи, въ „Народописѣ", призналъ Словаковъ лишь вѣтвью чешско-словенскаго народа и ихъ языкъ нарѣчіемъ, а въ другомъ случаѣ, о которомъ скажемъ далѣе, высказался противъ отдѣльности ихъ литературы. Въ большой близости этихъ двухъ языковъ нѣтъ сомнѣнія,—но вмѣстѣ съ тѣмъ для справедливой оцѣнки словенскаго литературнаго „сепаратизма" необходимо вникнуть въ порождавшія его условія... [4]).

Древнѣйшая исторія словенскаго народа, по обыкновенію, „покрыта

---

[1]) Въ изданіи сочиненія Штура: «Славянство и міръ будущаго», предисловіе Ламанскаго, стр. V—VI.

[2]) Slovník Naučný, ст. Slováci. Впрочемъ, такое мнѣніе высказывалъ уже Добровскій: во 2-мъ изданіи «Исторіи чешской литературы», 1808, онъ говоритъ: «Das Slovakische würde ohnehin, wenn man geringe Verschiedenheiten der neueren Sprachen weniger beachtet, mit dem Altböhmischen zu einer Mundart zusammenschmelzen». Другая причина, почему Словакъ лучше понялъ бы старую чештину, состоитъ въ томъ, что она была, какъ увидимъ, у Словаковъ цѣлые вѣка церковнымъ языкомъ, а между тѣмъ новая чештина ввела много новыхъ образованій, въ старомъ языкѣ не существовавшихъ, а потому и Словакамъ чуждыхъ.

[3]) Gesch. der slaw. Sprache etc., 1826, стр. 388—389. Ср. Пича, Слав. Сборникъ. I, 150—151; II, 106.

[4]) По исторіи, географіи и этнографіи Словаковъ см.:

— J. Rohrer, Versuch über die slawische Bewohner Oesterreichs. Wien, 1804.

— L. Bartholomaeides, Comitatus Gömöriensis notitia hist.-geogr.-statistica, въ Левочѣ 1808.

— Csaplovics, Gemälde von Ungern, 2 ч. Пештъ, 1829, и какъ дополненіе къ этому: Ungarn's Vorzeit uud Gegenwart verglichen mit jener des Auslandes, Pressburg, 1839.

— B. Pr. Čerwenak, Zrcadlo Slowenska (изд. M. I. Гурбаномъ). Пештъ, 1844.

мракомъ неизвѣстности". Полагаютъ, что Словаки вступили на свою нынѣшнюю землю съ конца V вѣка по Р. Х., по выходѣ отсюда Руговъ, Геруловъ и Гепидовъ. Въ тѣ вѣка Словаки вѣроятно дѣлили исторію другихъ отраслей племени, Чеховъ и Моравaнъ, напр. въ эпоху монархіи Велико-Моравской; но граница Словаковъ отъ Мораванъ, до позднѣйшаго политическаго раздѣленія Венгріи отъ Моравіи, лежала, какъ думаютъ, не на ихъ нынѣшней границѣ, а гдѣ-либо къ срединѣ самой Моравіи, т.-е. Словаки распространялись тогда на западъ далѣе нынѣшняго. Тѣмъ же, или родственнымъ племенемъ была занята такъ-называемая Паннонія: по уничтоженіи Аварскаго царства Карломъ Великимъ, эту опустѣвшую землю заняли Словаки изъ-подъ Татръ и изъ Моравіи; здѣсь владѣли мораво-словенскіе князья, напр. Прибина, князь Нитранскій, сынъ его Коцелъ, потомъ Святополкъ. На западномъ берегу Блатенскаго озера была, по чешско-словенскимъ историкамъ, въ IX вѣкѣ граница между нарѣчіемъ хорвато-словинскимъ и нарѣчіемъ Мораванъ и Словаковъ.

— Mikulaš Dohnaný, Historia povstanja Slovenskjeho z roku 1848. V Skalici, 1850.

— Slavomil Čekanovič, Stav a děje národu na zemi uherské. Прага, 1851.

— М. Д. (одинъ изъ извѣстныхъ словенскихъ писателей), Словаки и Словенское околье въ Угорщинѣ. Журн. Мин. Нар. Пр. 1868, августъ, стр. 555—645.

— Franz V. Sasinek, Die Slovaken. Eine ethnographische Skizze. 2-te revid. Auflage. Prag, 1875 (короткая, но поучительная брошюра). Другія сочиненія этого писателя указаны въ текстѣ.

— Словаки и Русскіе въ статистикѣ Венгріи. «Славянскій Сборникъ», I, 1875, стр. 621—626.

— Ладиславъ Пичъ, Очеркъ политической и литературной исторіи Словаковъ за послѣднія сто лѣтъ. «Слав. Сборникъ», I, 1875, стр. 89—205; II, 1877, стр. 101—210.

— A. V. Šembera, Mnoho-li jest Čechů, Moravanů a Slováků a kde obývají (въ чешскомъ «Часописѣ» и отдѣльно). Прага, 1877.

— Г. А. Де-Волланъ, Мадьяры и національная борьба въ Венгріи. Съ приложеніемъ этнограф. карты Венгріи. Спб. 1877.

— Slovnik Naučný, статья Slováci.

— Joh. Borbis, Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwicklung nebst einem Anhange über die Geschichte der protest. Kirchen in den deutsch-slavischen Ländern und in Siebenbürgen. Nördlingen, 1861.

— Исторіи Австріи; книги по исторіи Венгріи, Фесслера, Майлата и пр.

— Agaton Giller, Z podróży po słowackim kraju, 1876. Этой книги мы не имѣли въ рукахъ.

По языку:

— Берноллкъ; см. въ текстѣ.

— М. Гаттала, сочиненія котораго, сюда относящіяся, указаны выше.

— A. V. Šembera, Základové dialektologie československé. Вѣна, 1864.

— J. K. Victorin, Grammatik der slovakischen Sprache. 1860, 1862, 1865.

— Jos. Loos, Wörterbuch der deutschen, ungarischen und slovakischen Sprache. Пештъ, 1870.

По исторіи литературы:

— P. J. Schaffarik, Gesch. der slawischen Sprache und Literatur, 1826, стр. 370—398.

— Б. Таблицъ, Poesie; Slovensti veršovci,—см. въ текстѣ.

— J. M. Hurban, Slovensko a jeho život literárni, въ Slovenskje Pohladi.

— Лад. Пичъ, въ статьяхъ, указанныхъ выше.

Христіанство появляется въ словенской землѣ еще до половины IX вѣка, изъ нѣмецко-латинскаго источника; затѣмъ уже Меѳодій принесъ въ Паннонію славянскую литургію. Но литургія на народномъ или племенномъ языкѣ сохранилась не надолго и должна была наконецъ уступить латинской. *Великая Моравія* соединила славянскія силы ненадолго. Съ послѣднихъ годовъ IX вѣка начались нападенія Мадьяръ, и наконецъ въ 907 году битва при Пресбургѣ окончила существованіе Великой Моравіи. Въ половинѣ X вѣка земля словенская была отвоевана у Мадьяръ чешскимъ королемъ Болеславомъ (и въ 973 причислена, въ церковномъ отношеніи, къ основанному тогда пражскому епископству); въ 999, Моравія и „Словенско" завоеваны были Болеславомъ Храбрымъ польскимъ, но по смерти его венгерскій король Стефанъ отнялъ у короля польскаго Мечислава „Словенско", которое съ тѣхъ поръ (1026—31) и донынѣ принадлежитъ Венгріи. Исторія Словаковъ совпадаетъ далѣе съ исторіей венгерскаго государства. Послѣдней тѣнью національной независимости Словаковъ было время *Матвѣя Тренчанскаго*, который по прекращеніи династіи Арпада (въ 1301) неизвѣстнымъ образомъ овладѣлъ почти всѣми словенскими комитатами и независимо правилъ ими до 1312, когда былъ разбитъ Карломъ-Робертомъ. Съ Матвѣемъ Тренчанскимъ пали остатки словенской самостоятельности; народное преданіе сохранило его имя какъ послѣдняго представителя и защитника свободы (и православія); Мадьяры привыкли называть словенскую землю просто „землею Матвѣя" (Mátyas földje).

При венгерскомъ господствѣ, отдѣльныя народности, составлявшія Венгрію, сохраняли однако свою свободу. Знаменитѣйшій изъ древнихъ устроителей Венгріи, король Стефанъ (святой) держался правила, что „государство съ однимъ языкомъ и одними нравами слабо и хрупко" [1]), и на этомъ основаніи принялъ для Венгріи народныя учрежденія Славянъ, въ особенности жупное, комитатное устройство, сохранившееся донынѣ; въ названіяхъ государственныхъ сановниковъ Венгріи легко узнать ихъ древній славянскій источникъ [2]). Народности были равноправны, и въ томъ числѣ Славяне, тѣмъ болѣе, что родъ Арпадовичей вступалъ въ родственныя связи съ сосѣдними князьями и былъ сильно проникнутъ славянской стихіей: словенскій народъ имѣлъ свое княжество Нитранское, управлявшееся начальниками

---

[1]) Знаменитыя слова, сказанныя имъ въ наставленіе сыну: «Nam unius linguae, uniusque moris regnum imbecille et fragile est», и далѣе: «Grave enim tibi est hujus climatis tenere regnum, nisi imitator consuetudinis ante regnantium exstiteris regum. Quis Graecus regeret Latinos graecis moribus, aut quis Latinus regeret Graecos latinis moribus?»

[2]) Напр. «надворникъ»—мад. nádor (лат. палатинъ. comes palatii regii); «жупанъ»—мад. ispán; «товарникъ»—мад. tárnok (латино-мадьярское tavernicus regis); и друг.

изъ королевскаго рода. Послѣ прекращенія Арпадовской династіи, эти отношенія не измѣнились, между прочимъ и потому, что на венгерскій престолъ всходили и короли славянскіе, Чехи и Поляки. Съ другой стороны, встрѣча различныхъ народностей нейтрализовалась однимъ весьма существеннымъ обстоятельствомъ, именно оффиціальнымъ господствомъ латинскаго языка. Языкъ побѣдителей, очевидно, трудно было организовать для новыхъ сложныхъ отношеній государственной жизни и образованности, и латынь, которая была языкомъ церкви и церковной школы, стала также языкомъ политическаго быта, законодательства, наконецъ даже языкомъ разговорнымъ. — Упадокъ общественно-политическаго значенія народностей начался только при Габсбургахъ; наконецъ равноправность стала терпѣть явный ущербъ, и съ законами 1790 положено было начало тому исключительному первенству мадьярскаго народа и отождествленію государственно-венгерскаго съ національно-мадьярскимъ, — которое послужило источникомъ упорной внутренней борьбы Венгріи въ новѣйшее время и причиной крайняго бѣдствія для словенской народности.

Связь Словаковъ съ Чехо-Моравами, повидимому, не прерывалась. Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ проявленій ея было въ серединѣ XV вѣка господство въ словенскихъ комитатахъ знаменитаго кондотьера *Искры изъ Брандиса*, и распространеніе здѣсь гуситства. Искра приглашенъ былъ королевой Елизаветой въ 1439 для защиты правъ ея малолѣтняго сына Ладислава. Искра, передъ тѣмъ успѣшно воевавшій противъ Турокъ съ своими гуситскими ротами, сталъ дѣйствительно усерднымъ партизаномъ Ладислава, и въ борьбѣ съ его противниками, съ Яномъ Гуніадомъ, потомъ съ Корвиномъ, въ теченіе около двадцати лѣтъ оставался властителемъ словенской земли. Въ то же время и позднѣе сподвижники Искры и словенскіе вельможи правили болѣе или менѣе независимо разными краями „Словенска“. Это господство Искры историки объясняютъ именно славянскимъ характеромъ земли, гдѣ онъ утвердился, какъ вслѣдствіе того же характера словенскіе комитаты оказывали вліяніе на призывъ чешскихъ королей Ладислава и Людовика.

Ко временамъ Искры относится и утвержденіе *гуситства*. По мнѣнію словенскихъ историковъ, оно могло стать здѣсь прочно потому, что нашло для себя подготовленную почву—въ невымершемъ преданіи о старой народной церкви. Въ древности была здѣсь церковь славянская и она вѣроятно была уже сильно распространена ко временамъ св. Стефана; но рано началось и противодѣйствіе латинства. Историки венгерскіе ставятъ Стефану въ особую славу распространеніе „христіанства“; писатели чешско-словенскіе думаютъ, что, кромѣ обра-

щенія дѣйствительныхъ язычниковъ, его дѣятельность заключалась въ томъ, что онъ обращалъ въ латинство христіанъ славянскаго обряда, которые въ древнихъ венгерскихъ памятникахъ обозначаются именемъ „pagani“ (какъ въ русскихъ памятникахъ наоборотъ: „поганая“ латынь). Но привязанность къ обряду славянскому была такъ велика, что борьба изъ-за него продолжалась во все теченіе Арпадовскаго періода; и хотя послѣ того онъ большей частью уступилъ латинству, но память народа сохранила нерасположеніе къ послѣднему. Гуситство освѣжило старыя воспоминанія и множество церковныхъ книгъ, внесенныхъ гуситами, возбудило въ Словакахъ стремленіе къ національной церкви [1]).— Первое знакомство Словаковъ съ гуситами относятъ еще къ 1425—30 годамъ. Во время господства Искры гуситскія роты его и призванные чешскіе колонисты осѣлись въ разныхъ мѣстностяхъ „Словенска“; съ войсками и переселенцами пришли чешскіе священники, и при указанныхъ условіяхъ и при близости языка и народности гуситство распространилось между самими Словаками. Гоненія на Чешскихъ и Моравскихъ Братьевъ, Бѣлогорская битва привели новыхъ эмигрантовъ, и въ концѣ-концовъ богослуженіе на чешскомъ языкѣ стало у Словаковъ почти всеобщимъ. Позднѣе, когда распространялась Лютерова реформація, она естественно распространилась у Словаковъ (сохранившихъ при этомъ чешское богослуженіе) не только въ простомъ народѣ, но и между дворянствомъ, которое, между прочимъ, разсчитывало и на матеріальную выгоду при конфискаціи церковныхъ имуществъ. У Мадьяръ въ то же время распространился кальвинизмъ. Католицизмъ, конечно, не легко сдавался: на первыхъ же шагахъ лютеранство было осуждено [2]); но смутное положеніе Венгріи, завоеваніе большей доли ея (собственно мадьярскихъ комитатовъ) Турками (1541 — 1686) не давали католической реакціи разыграться во всей силѣ. Тѣмъ не менѣе реакція дѣйствовала такъ, что произвела возстаніе, въ которомъ политическіе интересы соединились съ религіозными. Вѣнскій миръ 1606, избирательный сеймъ въ Пресбургѣ 1608, миръ линцскій 1647, наконецъ Toleranz-Patent Іосифа II, и особенно законы 1790 положили конецъ религіозному преслѣдованію; протестантство было признано закономъ—хотя мелкія придирки католицизма и внутренній разладъ въ самомъ протестантствѣ не прекратились...

Несмотря на политическую равноправность народностей по старому венгерскому государственному праву, — на которой настаиваютъ словенскіе историки противъ венгерскихъ,—положеніе Словаковъ стано-

---

[1]) М. Д., въ Журн. Мин. 1868, авг., 606.

[2]) Lutherani comburantur,--постановленіе тѣхъ временъ, сохраненное въ Corpus Juris Hungarici.

вилось чѣмъ далѣе, тѣмъ тяжелѣе. Къ учрежденіямъ славянскимъ уже съ первыхъ вѣковъ венгерской исторіи присоединились учрежденія феодальныя, приведшія мало-по-малу къ полному порабощенію народной массы: народъ венгерскаго государства раздѣлился на два слоя, между которыми легла цѣлая пропасть — одинъ слой былъ, по латинской терминологіи, populus (аристократія и всѣ, пользовавшіеся правами дворянства: какъ у Поляковъ „народомъ", націей была только шляхта), и misera contribuens plebs, представлявшая всю остальную массу населенія. Одинъ populus имѣлъ политическія права: на сеймахъ засѣдало высшее духовенство, магнаты, дворянство. Мѣщане вольныхъ королевскихъ городовъ въ чертѣ своего города пользовались тѣми правами, какія имѣлъ дворянинъ; но относительно „столицы", комитата, такой городъ считался за одного дворянина; относительно всей страны, въ государственномъ сеймѣ, всѣ вольные города вмѣстѣ имѣли только одинъ голосъ. Народъ, не упомянутый populus, а народъ настоящій—обреченъ былъ нести на себѣ всѣ тягости: и личныя повинности къ землевладѣльцу, и государственныя подати, и военную службу. Въ первое время подданные пользовались различными льготами, и ихъ положеніе было сносно: но мало-по-малу изъ ихъ подчиненности выросло представленіе, что земля есть собственность однихъ дворянъ [1]), на которой крестьяне только терпимы. Съ золотой буллы 1222 и до XVI вѣка не разъ повторялись законы о свободѣ переселенія крестьянъ—безъ сомнѣнія потому, что на дѣлѣ эта свобода была дворянствомъ нарушаема [2]). Угнетеніе народа повело къ крестьянскому возстанію въ южной Венгріи, которое кончилось свирѣпыми казнями, истребленіемъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ крестьянъ и новымъ законодательствомъ (1514 г.): свобода переселенія была отмѣнена окончательно, крестьяне стали въ полной мѣрѣ крѣпостными, съ обычной потерей гражданскихъ правъ. Это бѣдственное положеніе длилось до временъ Маріи-Терезіи, при которой введено, въ 1766, такъ называемое урбаріальное положеніе: оно опредѣляло по крайней мѣрѣ количество земли, которымъ пользуются крестьяне, и повинности, какими они за то обязаны помѣщикамъ. Сеймъ 1836 года составилъ на этомъ основаніи формальный уставъ объ отношеніяхъ помѣщиковъ и крестьянъ. При томъ и другомъ случаѣ словенкое и русское населеніе были обдѣлены въ размѣрѣ земли, но не въ количествѣ обязательнаго труда.

Феодализмъ, прямо не касавшійся національныхъ отношеній, отразился однако и на нихъ самымъ рѣшительнымъ образомъ. Сословные

---

[1]) Выраженіе: dominus terrestris уже въ законѣ 1405 г.

[2]) Въ XV вѣкѣ четыре раза самый законъ временно отмѣнялъ свободу переселенія,—каждый разъ на одинъ годъ.

интересы, т.-е. простыя матеріальныя выгоды, какъ обыкновенно, стали выше національныхъ; дворянство словенское отстало отъ своего народа, вошло въ венгерскій populus, т.-е. въ венгерское дворянство, а потомъ мало-по-малу пристало и къ мадьярской народности. Словенскій народъ не имѣлъ въ своемъ дворянствѣ ни представителей своихъ, ни защитниковъ. Когда, съ прошлаго вѣка, началась намѣренная мадьяризація, дворянство, за рѣдкими исключеніями, стало въ рядъ „мадьяроновъ“, и въ числѣ такихъ, напр., графъ Зай былъ однимъ изъ сильнѣйшихъ и злѣйшихъ преслѣдователей своей же народности.

Чтобы перейти къ новѣйшему времени, надо указать еще два обстоятельства, имѣвшія вліяніе на судьбу словенской народности: на католическую реакцію противъ протестантства, и начавшееся съ конца прошлаго столѣтія движеніе мадьярской народности.

Католическая реакція обнаружилась здѣсь еще съ XVI вѣка, особенно съ появленіемъ іезуитовъ. Самымъ энергическимъ представителемъ ея явился, въ концѣ этого и въ первой половинѣ XVII вѣка Петръ *Пазманъ* (изъ кальвинистской семьи), ревностнѣйшій іезуитъ, архіепископъ Остригомскій. Онъ съ успѣхомъ возвращалъ въ католицизмъ магнатскія фамиліи; достигъ того, что императоръ издалъ указъ о возвращеніи католическому духовенству имѣній, захваченныхъ дворянствомъ въ эпоху реформаціи; основалъ въ Тернавѣ сначала школу для воспитанія дворянскихъ дѣтей, потомъ въ 1637 университетъ, гдѣ преподаваніе поручилъ іезуитамъ.

Первые успѣхи ободрили католиковъ, и они безъ церемоній принялись за католическую реставрацію; на насилія и протестанты отвѣчали насиліями, и религіозный вопросъ игралъ не послѣднюю роль въ венгерскихъ революціяхъ XVII вѣка. Дворъ въ Вѣнѣ смотрѣлъ не безъ удовольствія на усиленіе католицизма, но разныя обстоятельства вынуждали къ осторожности. Въ 1681 имп. Леопольдъ долженъ былъ подтвердить свободу исповѣданій, хотя опять съ нѣкоторыми предпочтеніями въ пользу католицизма. Этотъ законъ дѣйствовалъ до Іосифа II...

Въ 1773, Марія-Терезія закрыла іезуитскій орденъ и изъ его имѣній основала университетскій и учебный фондъ (католическій университетъ изъ Тернавы переведенъ въ Пештъ); Іосифъ II закрылъ нѣсколько другихъ орденовъ, но преподаваніе въ католическихъ школахъ осталось въ рукахъ духовенства. „Toleranz-Patent“ Іосифа II и особенно законъ 1790 года ввели болѣе разумныя и спокойныя отношенія исповѣданій; это было многозначительнымъ поворотомъ, но къ сожалѣнію, какъ мы замѣчали, внутренніе раздоры въ средѣ самого

протестантства опять отозвались бѣдственно на судьбѣ словенской народности.

Такимъ образомъ, многократное повтореніе законовъ о вѣротерпимости съ XVI вѣка показывало, что ея недоставало, и дѣйствительно католицизмъ отвоевалъ тогда многое у протестантства, и вмѣстѣ у народности. Во второй половинѣ XVIII вѣка положеніе словенскаго народа сравнительно улучшилось: урбаріальное положеніе облегчило судьбу крестьянъ; лютеранская часть населенія получила бóльшую церковную автономію—въ этой части народа и оказалось потомъ наиболѣе живое національное движеніе...

Но съ конца XVIII вѣка у словенской народности явился новый, непримиримый и необузданный врагъ—мадьяризація.

Съ основанія государства, Мадьяры въ теченіе 800 лѣтъ жили среди другихъ національностей, ни разу не заявивъ притязанія на исключительное господство своей народности. Даже положительный законъ говорилъ о полномъ гражданскомъ равенствѣ племенъ (законы Матвѣя II, 1608—1609 г.). Однимъ изъ главныхъ основаній этого равенства было господство латинскаго языка, который, какъ выше замѣчено, съ древняго времени, по невозможности политическаго и образовательнаго господства полудикаго языка въ средѣ болѣе развитыхъ народовъ, принятъ былъ Мадьярами какъ языкъ церкви и сталъ потомъ обычнымъ языкомъ не только въ школѣ, но и въ законодательствѣ, судѣ, управленіи, на сеймахъ, а у высшихъ классовъ даже сдѣлался языкомъ разговорнымъ. Во время реформаціи мадьярскій языкъ началъ-было входить въ церковную жизнь и печать, но католическая реакція опять дала перевѣсъ латыни. Рѣзкій поворотъ наступилъ съ теоретическо-либеральными и централистическими планами Іосифа II. Изданный имъ законъ требовалъ, чтобы въ теченіе трехъ лѣтъ въ Венгріи во всѣхъ отправленіяхъ государственной жизни введенъ былъ нѣмецкій языкъ; комитаты протестовали противъ этой мѣры, изданной мимо сейма, и законъ, по трудности исполненія, вмѣстѣ съ другими нововведеніями (кромѣ патента о вѣротерпимости) былъ отмѣненъ... Но это дало толчокъ мадьярскому національному возрожденію. На сеймѣ 1792 года преподаваніе мадьярскаго языка объявлено обязательнымъ для среднихъ и высшихъ школъ,—чтобы впослѣдствіи можно было набирать чиновниковъ изъ людей, знающихъ мадьярскій языкъ. Тревоги Наполеоновскихъ войнъ не давали развиться внутреннему движенію, но въ половинѣ 1820-хъ годовъ вопросъ поднялся снова. Онъ поставленъ былъ на сеймѣ знаменитымъ, тогда молодымъ, графомъ Ст. Сечени, національный патріотизмъ котораго произвелъ сильное впечатлѣніе и положилъ начало дальнѣйшимъ національнымъ стремленіямъ мадьярства: уже въ 1827 осно-

вана была мадьярская академія, потомъ мадьярскій театръ. потомъ національные клубы... Вопросъ о мадьярскомъ языкѣ тотчасъ получилъ характеръ политическій. До сихъ поръ подъ „народомъ Венгріи“, который представлялся сеймомъ, понимались всѣ жители Венгріи безъ различія, пользующіеся политическими правами; но теперь, когда латинскій языкъ сейма и администраціи (національно-уравнивавшій или нейтрализовавшій племенныя различія) сталъ замѣняться мадьярскимъ и сеймъ домогался окончательно утвердить послѣдній какъ языкъ государственный, прежнее равенство нарушалось, и мадьярской національности присвоивалось исключительное первенство и господство.

Вскорѣ дѣйствительно явился рядъ законовъ, утверждавшихъ это господство. Законы сеймовъ 1830, 1832—36, 1839—40 г. постепенно вводили мадьярскій языкъ въ управленіе, судъ, военныя и церковныя дѣла; сеймъ 1843—44 постановилъ введеніе преподаванія въ высшихъ и среднихъ школахъ на мадьярскомъ языкѣ; сеймъ 1848 распространилъ это правило и на школы народныя.

На первый взглядъ перемѣна казалась очень естественной и была бы совершенно естественна для земель собственно мадьярскихъ, какъ удаленіе страннаго остатка среднихъ вѣковъ, какъ замѣна мертваго языка живымъ; но сеймы, представлявшіе только привилегированныя сословія, рѣшали безъ народовъ, а народы были лишены существеннаго права: именно, народы не-мадьярскіе могли пользоваться защитой закона и общественнымъ правомъ, церковью и школой, лишь зная мадьярскій языкъ и, слѣдовательно, пользовались бы ими не какъ граждане своего государства, а какъ Мадьяры. На практикѣ это оказалось тотчасъ, когда суды и административныя учрежденія перестали принимать бумаги, писанныя не на мадьярскомъ языкѣ... Рѣзкое введеніе мадьярскаго языка въ школу и церковь нарушало права народностей самымъ существеннымъ и чувствительнымъ образомъ.

Понятно, что съ яснымъ обнаруженіемъ этихъ тенденцій тотчасъ явилось сопротивленіе не-мадьярскихъ народностей, Сербовъ, Хорватовъ, Словаковъ. Послѣдніе отнеслись къ дѣлу различно. Католики, особливо духовенство, склонялись къ мадьярству: языкъ чешскій, употребляемый протестантскими Словаками въ церкви, былъ въ ихъ глазахъ еретическимъ, гуситскимъ, словенскій слишкомъ необработаннымъ и низкимъ; притомъ мадьярство представляло и выгоды матеріальныя. Иначе отнеслись протестанты, которые цѣлые вѣка держались чешскаго языка, какъ церковнаго, и не могли легко уступить своей народности. Открылась борьба между словенскими лютеранами и мадьярскими патріотами. Въ 1839 умеръ генеральный инспекторъ лютеранской словенской церкви; мадьяры успѣли, какъ говорятъ, вся-

кими неправдами провести на это мѣсто графа *Зая*, упомянутаго выше. Зай былъ ревностнѣйшій мадьяроманъ, и его управленіе тотчасъ отозвалось пропагандой мадьярства въ церковныхъ дѣлахъ и преслѣдованіемъ патріотической чешско-словенской школы.

Мадьярское движеніе было довольно сложное. Съ одной стороны, оно носило идеи европейскаго либерализма: здѣсь оно становилось движеніемъ оппозиціоннымъ и наконецъ революціоннымъ, направленнымъ противъ застарѣлаго лицемѣрнаго австрійскаго деспотизма; оно обнаруживало при этомъ большую энергію, которая получила признаніе и отъ славянскихъ писателей, даже самыхъ крайнихъ [1]), и тѣмъ болѣе прославлялось въ Европѣ—имя Кошута было такъ же популярно, какъ имя Гарибальди. Но, съ другой стороны, въ мадьярскомъ движеніи была та національная исключительность, о которой мы говорили: о *ней* въ Европѣ знали мало, или совсѣмъ не знали, и Мадьяры остались героями, а потомъ страдальцами за свободу. Ихъ противники зачислены были въ лагерь ретроградный: вѣдь они защищали и мертвый латинскій языкъ, и гнилую австрійскую монархію,—но они защищали ихъ именно потому, что въ этихъ формахъ имъ представлялась единственная возможность національнаго существованія, а при мадьярскомъ либерализмѣ, допускавшемъ только мадьярскую свободу, ихъ національности могла предстоять только смерть. Австрія была для нихъ хоть какой-нибудь клинъ противъ мадьярскаго клина.

По мадьярской теоріи,—въ которой чрезвычайно наглядно выразилась вся грубая непривлекательность національной нетерпимости,—мадьярскія стремленія представляли дѣло цивилизаціи и гражданской свободы; сопротивленіе имъ теорія представляла какъ обскурантизмъ и косность. Такимъ образомъ, стремленіе Словаковъ оказалось ненавистнымъ для Мадьяръ вдвойнѣ — и какъ сопротивленіе къ политической власти и какъ вражда къ либеральнымъ идеямъ. Въ *этой* нелиберальной окраскѣ противо-мадьярское движеніе Сербо-Хорватовъ и Словаковъ осталось въ большинствѣ европейскихъ изложеній этого дѣла: славянское движеніе было ретроградное и „панславистическое“ [2]).

Графъ Зай, какъ мы замѣтили, стремился ввести мадьяризмъ и

---

[1]) Ср. Гильфердинга, Собр. Сочин., т. II, стр. 115; см. также K. Adamek, Základy vývoje Maďarův. Пр., 1879.

[2]) Этого характера отношеній не поняли даже такіе просвѣщенные современные люди, какъ Герценъ, конечно, по недостатку знанія обстоятельствъ. Впослѣдствіи нѣкоторые славянофильскіе писатели негодовали на то, что въ венгерскую войну 1849 года русское офицерство, какъ извѣстно, чрезвычайно симпатизировало Венграмъ: этотъ фактъ объясняется разными причинами,—во первыхъ, тѣми же основаніями, которыя произвели изреченіе: Węgier, Polak—dwa bratanki etc.; во-вторыхъ тѣмъ, что наше офицерство не имѣло никакого понятія объ отношеніяхъ этихъ симпатичныхъ Венгровъ къ единоплеменникамъ офицеровъ; но—при этомъ незнаніи—было съ другой стороны и понятное сочувствіе къ народу, боровшемуся за свою независимость противъ Австріи, которая у насъ не бывала популярна.

въ церковную лютеранскую жизнь или сдѣлать послѣднюю путемъ для распространенія мадьярства. Онъ разсчитывалъ достигнуть этого посредствомъ кальвинско-лютеранской *уніи*: такъ какъ мадьярскіе протестанты были въ особенности кальвинисты, а словенскіе—лютеране, то унія должна была и здѣсь доставить формальное право для мадьярскаго первенства. Предложенія объ уніи не встрѣтили у Словаковъ сочувствія; на церковныхъ „конвентахъ" происходили враждебныя столкновенія мадьярскаго и словенскаго патріотизма и церковности—здѣсь встрѣчались предводители обѣихъ сторонъ, какъ Кошутъ и Колларъ; граф. Зай открыто преслѣдовалъ словенскихъ профессоровъ и патріотическія студентскія общества въ Пресбургѣ и Левочѣ. Обращенія Словаковъ къ „королю", т.-е. австрійскому императору, не имѣли никакого успѣха. Въ сороковыхъ годахъ національная борьба все болѣе и болѣе объостряется; мадьярство не останавливалось передъ насиліями; словенскимъ дѣятелямъ пришлось испытать самыя наглыя преслѣдованія. Между Мадьярами были, правда, просвѣщенные патріоты, которые возмущались этими насиліями, какъ упомянутый графъ Сечени, какъ извѣстный историкъ Венгріи, графъ Майлатъ, — но ихъ увѣщанія объ умѣренности, объ уваженіи къ чужой народности были напрасны: ихъ не слушали. Возбужденіе росло, и кончилось мадьярскимъ возстаніемъ 1848—49 года противъ Австріи, и возстаніемъ Словаковъ противъ Мадьяръ [1]).

---

[1]) Событія тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ произвели цѣлую полемическую литературу. Укажемъ нѣкоторые ея факты — отчасти общіе съ упомянутой прежде полемической литературой по поводу «иллиризма».

— Венгерскіе журналы сороковыхъ годовъ: Társalkodó, Századunk, Pesti Hirlap (изданіе Кошута), Athenaeum и пр.

— Schreiben des Grafen Carl Zay an die Professoren zu Leutschau. Leipz. 1841 (противъ письма гр. Зая, напечатаннаго въ Társalkodó).

— Гр. Зай, Protestantismus, Magyarismus, Slawismus..... (отвѣтъ на предыдущее).

— Thomas Világosváry (Jan Pavel Tomášek), Der Sprachkampf in Ungarn. Agram, 1841.

— Ungarische Wirren und Zerwürfnisse. Leipzig, 1842. (Обѣ книжки противъ мадьяризма).

— Slawismus und Pseudomagyarismus. Leipz. 1842 (противъ брошюры Зая).

— (Люд. Штуръ). Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn über die gesetzwidrigen Uebergriffe der Magyaren. Vorgetragen von einem ungarischen Slaven. Leipzig. 1843.

— Graf Leo v. Thun, Die Stellung der Slowaken in Ungarn. Prag, 1843 (полемика съ Пульскимъ).

— Vierteljahrschrift aus und für Ungarn. Herausgegeben von Dr. Emrich Henszlmann. Leipz. 1843, III тома (съ мадьярской стороны).

— Vertheidigung der Deutschen und Slawen in Ungarn, von C. Beda. Leipzig, 1843 (противъ Vierteljahrschrift).

— S. H.****, Apologie des ungrischen Slawismus. Leipz. 1843.

— Ludw. Štúr, Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus. Wien, 1845.

— Der Magyarismus in Ungarn in rechtlicher, geschichtlicher und sprachlicher Hinsicht, etc. 2-te Aufl. Leipzig. 1848.

— M. M. Hodža V. D. M., Der Slowak. Beiträge zur Beleuchtung der slawischen Frage in Ungarn. Prag. 1848 (съ любопытными историческими фактами).

— Словенскія сочиненія указываются въ текстѣ.

Венгерское возстаніе заставило и словенскихъ патріотовъ выступить на открытую политическую борьбу: они приняли участіе въ славянскомъ съѣздѣ въ Прагѣ, вошли въ сношенія съ Сербами и Хорватами, съ баномъ Елачичемъ и, наконецъ, собравши волонтеровъ, имѣли свою долю и въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Мадьяръ. Но 1848-й годъ принесъ и словенскому народу извѣстную долю свободы: феодализмъ и крѣпостное право были уничтожены; подданные получили гражданскія права; для литературы наступила свобода печати.

Какъ и всѣ Славяне, возставшіе противъ Венгровъ въ защиту Австріи, Словаки не выиграли ничего въ своемъ политическомъ положеніи относительно мадьярства. Десятилѣтіе реакціи послѣ усмиренія возстанія чужими, т.-е. русскими, руками сопровождалось упадкомъ движенія, которое послужило и для самой Австріи; но тѣмъ временемъ созрѣвали новые дѣятели словенскаго патріотизма. Въ 1860-хъ годахъ движеніе снова оживилось; въ 1861 основалась словенская „Матица“, обновилась литература и дѣятельность общественная,— но политически народность все еще остается беззащитной, и это обнаружилось, когда въ половинѣ 1870-хъ годовъ „Матица“, въ которой складывался центръ словенской народной образованности, была съ грубымъ насиліемъ закрыта мадьярскими властями.

Главныя событія словенской исторіи.

V вѣкъ по Р. Х.—Предполагаемый приходъ Словаковъ въ ихъ нынѣшнюю землю, по удаленіи Руговъ, Геруловъ и Гепидовъ.

830—Князь Нитранскій Прибина. Присоединеніе области Нитры къ Великой Моравіи.

860—Первое упоминаніе, въ грамотѣ, Словенской земли.

870—Меѳодій, архіепископъ Моравіи и Панноніи.

907—Нашествіе Мадьяръ. Паденіе Великой Моравіи; покореніе „Словенска“ Мадьярами.

955—Завоеваніе Словенской земли отъ Мадьяръ Болеславомъ чешскимъ.

973—Основаніе пражскаго архіепископства, къ которому принадлежала земля Словаковъ.

975—Крещеніе венгерскаго короля Гейзы I.

999—Завоеваніе Моравіи и „Словенска“ Болеславомъ Храбрымъ польскимъ.

1000—Коронованіе Стефана (св.) королемъ венгерскимъ и основаніе архіепископства Остригомскаго, къ которому присоединена значительная часть земли Словенской.

1026—Стефанъ завоевалъ отъ польскаго короля Мечислава „Словенско“, которое съ тѣхъ поръ принадлежитъ Венгріи.

1222—Король Андрей II: Bulla Aurea, основаніе государственнаго устройства Венгріи.

1301—Смерть Андрея III, послѣдняго изъ династіи Арпадовской.

1312—Пораженіе Матвѣя Тренчанскаго Карломъ-Робертомъ и окончательный политическій упадокъ Словенской земли.
1440—1453; 1458—1462. Искра изъ Брандиса; гуситы и гуситство въ землѣ Словаковъ.
1513—Крестьянское возстаніе въ южной Венгріи.
1514—Усмиреніе возстанія и полное закрѣпощеніе крестьянъ.
1526—Сраженіе при Могачѣ. Венгрія раздѣлилась между Фердинандомъ I (начало Габсбургской династіи въ Венгріи), Іоанномъ Запольскимъ и Турками.
1696—Карловицкій миръ. Окончательное возвращеніе венгерскихъ земель.
1705—11. Императоръ и король венгерскій Іосифъ I.
1712—40. Карлъ III (VI).
1740—80. Марія-Терезія.
1780—90. Іосифъ II.
1790—92. Леопольдъ II.
1792—Францъ I.
1804—Начало австрійской имперіи.
1835—Фердинандъ V.
1848—Францъ-Іосифъ.

Отъ древней исторической поры, отъ временъ славянскаго богослуженія, у Словаковъ не сохранилось никакого письменнаго остатка: по преданію, славянскія церковныя книги сгорѣли при взятіи Нитры Матвѣемъ Тренчанскимъ [1]). Старѣйшимъ памятникомъ словенскаго нарѣчія считаются церковныя пѣсни съ словенскими глоссами Вацлава Бзенецкаго, 1385 года [2]). Развитіе чешской образованности въ XIV вѣкѣ, какъ надо полагать, привлекало и Словаковъ въ чешскія школы; по крайней мѣрѣ племенная связь несомнѣнно обнаружилась въ движенія гуситовъ въ словенскую землю. Приходъ ихъ составилъ эпоху въ религіозной и литературной жизни Словаковъ: съ гуситскими воинами и поселенцами пришли гуситскіе священники; между Словаками стало распространяться новое ученіе, и съ нимъ чешскія книги, которыя были имъ очень понятны: у нихъ была потомъ таже Кралицкая библія, канціоналы и религіозные трактаты. Чешскій языкъ сталъ съ тѣхъ поръ церковнымъ и книжнымъ языкомъ Словаковъ, и господство его продолжалось почти безраздѣльно до конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. У Словаковъ-протестантовъ чешскій языкъ есть и донынѣ языкъ библейскій, церковный; на немъ говорится проповѣдь; книги подобнаго рода печатаются до сихъ поръ даже съ стариннымъ правописаніемъ, у самихъ Чеховъ оставленнымъ.

---

[1]) Пичъ, въ Слав. Сборникѣ, I, стр. 100, прим. По его словамъ, въ послѣднее время членами мадьярской академіи найдены нѣкоторыя славянскія грамоты, но скрываются ими. Ср. Slovník Naučný, s. v. Slováci, стр. 583. Чешско-словенскія грамоты идутъ съ XV—XVI вѣка.

[2]) Slovník, тамъ же; Иречекъ, Rukovět', I, стр. 118.

Въ началѣ XVI вѣка, словенскіе протестанты приняли ученіе Лютера; Словаки отправлялись учиться въ Виттенбергъ, но богослуженіе на славянскомъ языкѣ сохранилось неизмѣнно. Гоненіе на Чешскихъ и Моравскихъ Братьевъ и окончательное паденіе протестантства въ Чехіи послѣ Бѣлогорской битвы привело въ Словенскую землю новыхъ эмигрантовъ: Чешскіе Братья приносили свои книги, свою протестантскую ревность, заводили школы—чешскій книжный языкъ распространялся еще болѣе.

Со введенія у Словаковъ чешскаго протестантства начинается и ихъ собственная книжная и образовательная дѣятельность. Съ XVI вѣка мы видимъ уже значительное число хорошихъ школъ: въ Рожнавѣ 1525 г., Бановцахъ 1527, Бардѣёвѣ 1539, Левочѣ 1542, Штявницѣ 1560, Кежмаркѣ 1575, Зволенѣ 1576, Тренчинѣ 1582, Пряшевѣ 1594, Кошицахъ (Кашау) 1597 и проч. Это были не только народныя и среднія, но иногда и высшія школы, гдѣ бывали учителями извѣстные словенскіе писатели и ученые; учительство бывало обыкновенно приготовленіемъ къ занятію церковныхъ должностей, и учителя нерѣдко бывали люди съ высшимъ образованіемъ, полученнымъ на родинѣ и за границей. Съ 1574 при главныхъ школахъ были заведены типографіи. Старѣйшія извѣстныя чешскія книги, напечатанныя у Словаковъ: Лютеровъ Катихизисъ, изданный въ Бардѣёвѣ, 1581, и Катихизисъ Пруна въ Фраштакѣ, 1581 или 1583.

Такъ какъ школа получила начало отъ религіозной партіи, и образованность развивалась въ ея духѣ и назначалась для ея цѣлей, то естественно, что и литература, отсюда происшедшая, особенно въ ту пору религіознаго возбужденія, имѣла всего болѣе характеръ религіозный; и если прибавить къ этому, что многіе изъ словенскихъ писателей по обычаю времени и страны писали по-латыни, то не мудрено, что эти вѣка, до второй половины XVIII столѣтія, представляютъ мало произведеній, любопытныхъ въ чисто литературномъ отношеніи. Обыкновенно, это — молитвенники, катихизисы, церковныя пѣсни, проповѣди и т. п. Притомъ время, XVI — XVII вѣка, было страшно тяжелое: нападенія Турокъ, междоусобная война между Фердинандомъ и Іоанномъ Запольскимъ, грозные законы противъ евангеликовъ мало способствовали дѣятельности литературной. Церковныя пѣсни, идущія съ тѣхъ временъ, проникнуты чувствомъ скорбнымъ, ищущимъ помощи и освобожденія. Авторами такихъ пѣсенъ въ XVI столѣтіи были: Янъ Сильванъ (ум. 1572); Юрій Бановскій, ректоръ Жилинской школы (ум. 1561); священникъ Янъ Таборскій (ум. около 1576), Янъ Пруно изъ Фраштака (ум. 1586) и другіе, пѣсни которыхъ, писанныя по-чешски, находятся въ евангелическихъ сборникахъ. Къ этому времени относятся и нѣкоторыя пѣсни историче-

скія, напр. о Могачскомъ пораженіи, о Николаѣ Зринскомъ при осадѣ Сигета 1566, о Мураньскомъ за́мкѣ и друг., но не столько народныя, сколько книжныя, какъ подобныя пѣсни у Чеховъ того времени, и писанныя опять по-чешски [1]). Въ XVII вѣкѣ времена были еще болѣе тяжкія: внутренніе раздоры, междоусобія политическія, гоненія религіозныя не были благопріятны для успѣховъ просвѣщенія. Но мы видимъ еще нѣсколькихъ писателей, составляющихъ послѣдній отпрыскъ чешской гуситской литературы у Словаковъ. Такъ, кромѣ упомянутаго выше въ чешской литературѣ Лаврентія изъ-Нудожеръ, однимъ изъ лучшихъ духовныхъ поэтовъ той школы былъ здѣсь евангелическій проповѣдникъ Юрій Трановскій (1591—1637), родомъ собственно изъ Силезіи: его „Cithara Sanctorum neb žalmy a písně duchovní staré i nové“ и проч. (въ Липтовѣ, 1635) принята была какъ церковный канціоналъ не только у Словаковъ, но также у чешскихъ, моравскихъ и силезскихъ евангеликовъ и отчасти донынѣ осталась церковной книгой словенскихъ протестантовъ. Въ „Цитарѣ“ было нѣсколько десятковъ пѣсенъ, переведенныхъ съ нѣмецкаго, и 150 написанныхъ или исправленныхъ самимъ Трановскимъ. Послѣ Библіи, это была самая распространенная книга: съ 1635 г. она имѣла до двадцати изданій, постоянно размножавшихъ первый сборникъ. Ранѣе Трановскаго, какъ авторы церковныхъ пѣсенъ, извѣстны: Эліашъ Лани (1570—1618), евангелическій суперинтендентъ, ревностно защищавшій свою церковь противъ Пазмана и іезуитовъ; позднѣе его Іоахимъ Калинка (1602—1678, Рожумберскій, ум. въ изгнаніи въ Саксоніи) и друг. Степанъ Пиларикъ (ум. 1678), „справца“ нѣсколькихъ братствъ и потомъ старшина, испытавшій много преслѣдованій за свою религію и всякихъ бѣдствій въ плѣну у Турокъ, между прочимъ описалъ въ стихахъ свои приключенія: „Sors Pilarikiana“ [2]). Далѣе, Даніилъ Горчичка (Sínapius), евангелическій проповѣдникъ и плодовитый религіозно-поучительный писатель второй половины XVII вѣка; въ 1673 изгнанный изъ отечества религіознымъ преслѣдованіемъ, онъ провелъ десять лѣтъ въ Силезіи и Польшѣ, и первый у Словаковъ возъимѣлъ мысли о необходимости обработки своего языка, о великомъ славянскомъ племени, о необходимости хранить свою народность и т. д. Изъ его трудовъ особенно любопытенъ Neoforum Latino-Slovenicum, 1678, гдѣ находится XXX декурій словенскихъ народныхъ пословицъ, и предисловіе, гдѣ изложены его мысли о достоинствѣ славянской національности.

---

[1]) Нѣкоторыя сохранились въ рукописяхъ; другія извѣстны только по заглавіямъ въ Канціоналахъ. См. Kollar, Nar. Zpiew., I.

[2]) Въ Жилинѣ, 1666; другое изданіе: «Ponaučné příhody» и проч., Богуслава Таблица, въ Скалицѣ, 1804.

Къ концу XVII вѣка дѣло образованности и литературы падаетъ подъ неблагопріятными условіями политическими, и оживляется опять съ начала XVIII вѣка, благодаря нѣсколькимъ ученымъ писателямъ, посвятившимъ ему свои усилія. Таковъ былъ Матвѣй Б е л ь (Belius, 1684—1749), одно изъ знаменитѣйшихъ лицъ въ исторіи словенской образованности и вмѣстѣ „magnum decus Hungariae“. Онъ учился сначала въ мѣстныхъ школахъ, потомъ въ Галле; вернувшись домой, былъ ректоромъ сначала гимназіи въ Быстрицѣ, потомъ лицея въ Пресбургѣ (и здѣсь же евангелическимъ проповѣдникомъ) и далъ этимъ заведеніямъ великую славу. Это былъ большой ученый, знатокъ въ латинскомъ, нѣмецкомъ, чешскомъ и мадьярскомъ языкахъ, и главную славу пріобрѣлъ своими латинскими сочиненіями по исторіи и географіи Венгріи [1]). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ высоко цѣнилъ свой чешско-словенскій языкъ, и главнѣйшимъ его трудомъ въ этомъ отношеніи былъ пересмотръ Братской Библіи вмѣстѣ съ Дан. Ке́рманомъ (изданія: въ Галле 1722, 1745, 1766); онъ перевелъ также знаменитую книгу Іоанна Арндта „объ истинномъ христіанствѣ“ и пр. Сотрудникъ его, Даніилъ К ѐ р м а н ъ (Krman, 1663—1740), также учился за границей и былъ суперинтендентомъ въ Штявницѣ: онъ былъ латинскій писатель и чешско-словенскій стихотворецъ въ метрической формѣ. Какъ и Бель, онъ обращался къ славянскому прошлому и указывалъ на племенное единство Славянъ [2]). Онъ умеръ въ пресбургской тюрьмѣ послѣ 9-лѣтняго заключенія. Далѣе, въ ряду чешско-словенскихъ патріотовъ и писателей долженъ быть названъ Самуилъ Г р у ш к о в и ц ъ (род. въ концѣ XVII в., ум. 1748): онъ учился въ Виттенбергѣ и былъ евангелическимъ проповѣдникомъ и суперинтендентомъ; въ литературѣ заслугой его считается новое изданіе „Цитары“ Трановскаго, размноженной до 1000 пѣсенъ, между прочимъ написанныхъ самимъ Грушковицомъ. Назовемъ наконецъ Павла Д о л е ж а л а, дѣйствовавшаго въ половинѣ XVIII вѣка: онъ былъ авторомъ нѣсколькихъ латинскихъ грамматическихъ сочиненій о чешскомъ языкѣ, особенно Grammatica Slavico-bohemica, 1746, съ предисловіемъ Беля, къ которой приложенъ и сборникъ словенскихъ пословицъ; — и нѣсколькихъ сочиненій по-чешски.

Указанная сейчасъ литературная дѣятельность можетъ считаться, какъ мы замѣтили, продолженіемъ чешской гуситской и братской литературы;—она и говорила языкомъ послѣдней. Въ ней отражается

---

[1]) Hungariae antiquae et novae prodromus, Norimb. 1723, f°; Notitia Hungariae novae historico-geographica, 1735—42, 4 тома и начало 5-го, и проч. Кромѣ того, много учебниковъ для тогдашней латинской школы и религіозно-поучительныхъ книгъ.

[2]) Въ рукописи осталось между прочимъ сочиненіе Кѐрмана: De Slavorum origine, dissertatio de ruderibus historiarum eruta.

также тогдашняя, особенно нѣмецкая, ученость, которую словенскіе протестанты почерпали прямо въ нѣмецкихъ протестантскихъ университетахъ; въ религіозности продолжается чешско-нѣмецкій піэтизмъ. То и другое во всякомъ случаѣ дѣйствовало благотворно, внушая высшія нравственныя требованія, которыя словенскихъ писателей приводили прямо къ народному самосознанію. Къ сожалѣнію, дѣятельность ихъ была крайне отягощена политической слабостью словенскаго протестантства: Бель, Кѐрманъ, Грушковицъ и много другихъ должны были испытать религіозное притѣсненіе. Поэзія этого времени также носитъ отпечатокъ времени: это—протестантское церковное стихотворство канціоналовъ и гезангбуховъ: религіозное чувство было безъ сомнѣнія искренне, но въ духовныхъ пѣсняхъ преобладалъ мистицизмъ, пересказанный прозаическими стихами.

Къ концу XVIII вѣка положеніе вещей улучшилось. Литературная и ученая дѣятельность, какъ мы видѣли, совершалась почти исключительно въ кругу протестантскаго духовенства, и для нея открылось именно больше простора, когда наступила бо́льшая вѣротерпимость, особенно заявленная патентомъ Іосифа II. Изъ числа ученыхъ и духовныхъ писателей второй половины XVIII вѣка могутъ быть названы: М. Голко (1719—1785), прилежный историкъ, оставившій въ рукописи нѣсколько латинскихъ сочиненій, а также собиравшій народныя пѣсни, вошедшія послѣ въ сборникъ Коллара; сынъ его также былъ ученый писатель, основатель Малогонтской библіотеки, при которой составилось и ученое общество [1]). Ладиславъ Бартоломеидесъ (1754—1825), ректоръ школы, потомъ евангелическій проповѣдникъ, писавшій по-латыни, по-нѣмецки и по-чешско-словенски, книги нравственнаго, учебнаго содержанія, особенно латинскія книги по описанію Венгріи, составляющія важный источникъ. Михаилъ Институторисъ Мошовскій (1733—1803), одинъ изъ ревностнѣйшихъ дѣятелей словенскаго протестантства и образованія, авторъ проповѣдей, духовныхъ пѣсенъ и пр. на чешско-словенскомъ языкѣ. Михаилъ Семіанъ (1741—1810), учившійся дома и въ нѣмецкихъ университетахъ Галле и Іены, проповѣдникъ и авторъ духовныхъ пѣсенъ, краткой исторіи Венгріи; онъ сдѣлалъ также новое пересмотрѣнное изданіе братской Библіи, 1787. Андрей Плахій (1755—1810), опять проповѣдникъ, духовный стихотворецъ и также издатель научно-литературнаго сборника Staré Noviny (въ Зволенѣ, 1785—86). Степанъ Лешка (1757—1818), проповѣдникъ и суперинтендентъ, духовный и свѣтскій стихотворецъ и словенскій патріотъ, который былъ уже въ

---

[1]) Erudita societas Kis-Hontensis, издававшая сборникъ своихъ трудовъ: Solemnia Bibliothecae Kis-Hontensis, гдѣ было напечатано и нѣсколько чешско-словенскихъ сочиненій. Ср. Коллара, Nar. Zpiew., I, предисловіе.

сношеніяхъ съ Добровскимъ, Юнгманномъ и другими дѣятелями чешскаго возрожденія; между прочимъ, онъ составилъ сборникъ словъ, заимствованныхъ Мадьярами изъ славянскаго и другихъ языковъ [1]. Юрій Рибай (Ribay или Rybay, 1754—1812), еванг. проповѣдникъ, учившійся въ Іенѣ и собравшій обширную чешско-словенскую библіотеку: онъ много работалъ надъ чешскимъ и словенскимъ языкомъ, но работы его остались въ рукописяхъ.

Такимъ образомъ во второй половинѣ XVIII столѣтія къ прежнему, почти только протестантско-піэтистическому содержанію все больше присоединяются научные интересы—изученіе своей страны, исторія и обращеніе къ обще-славянскому племенному корню. На этомъ пути дѣятели словенскіе встрѣчаются и вступаютъ даже въ прямую, личную связь съ чешскимъ возрожденіемъ.

Но прежде чѣмъ перейти къ этимъ новымъ отношеніямъ, должно упомянуть о другой сторонѣ литературной жизни у Словаковъ, именно о дѣятельности Словаковъ католическихъ [2]. То, что̀ мы говорили до сихъ поръ, было дѣломъ Словаковъ евангелическихъ и не относилось къ католикамъ. У послѣднихъ явилась своя литература, разсчитанная по инымъ образцамъ—католическаго ханжества. Въ Тернавѣ, средоточіи католической и іезуитской пропаганды, выходили книжки, какъ „Серафимское сокровище“, „Золотой источникъ вѣчной жизни“ (въ концѣ XVII в.) и т. п. Католическія книги стали отличаться отъ протестантскихъ и по языку. Католики считали еретическимъ, „гуситскимъ“, тотъ чешскій языкъ, который вообще принимали тогда словенскіе писатели-протестанты; поэтому католики рѣшили воспользоваться для своихъ книгъ языкомъ мѣстнымъ [3]. Началось произвольнымъ смѣшеніемъ чешскихъ и словенскихъ формъ и выраженій, а въ началѣ XVIII стол. католическій Словакъ Александръ Мачай (Macsay) издалъ свои проповѣди уже на довольно чистомъ словенскомъ языкѣ [4].

---

[1]) Elenchus vocabulorum Europeorum imprimis Slavicorum Magyarici usus. Пештъ, 1825.

[2]) Припомнимъ цифры Словаковъ по вѣроисповѣданіямъ. Шафарикъ считаетъ всѣхъ Словаковъ до 2.750,000, изъ которыхъ 1.950,000 католиковъ и до 800,000 протестантовъ. Чёрнигъ сокращаетъ (несправедливо) цѣлую цифру до 1.780,000. По «Статист. Таблицамъ» при Этногр. Картѣ Пет. Слав. Ком., всѣхъ Словаковъ до 2.220,000, изъ которыхъ до 1.580,000 католиковъ и 640,000 протестантовъ. Сасинекъ (Die Slovaken, 2-е изд., стр. 13) считаетъ всѣхъ Словаковъ въ 3 милліона, изъ которыхъ 2½ сплошного населенія, но въ цифрахъ по вѣроисповѣданіямъ (стр. 23) какая-то странная ошибка.

[3]) Любопытно сравнить, что въ началѣ чешскаго возрожденія, уже въ нашемъ столѣтіи, чешскимъ патріотамъ приходилось ставить тотъ же вопросъ: Jazyk český husitský-li? и давать на него объясненія. См. Записки Юнгманна, въ «Часописѣ» 1871, стр. 273.

[4]) Chleby prvotin neb kázani na nedele celého roku, въ Тернавѣ, 1718. Объ языкѣ этихъ проповѣдей ср. Slovnik Naučný, s. v. Bernolak; Пичъ, въ Слав. Сборникѣ, I, 119.

Послѣ него опять продолжалась эта языковая путаница, которая должна была отдѣлить словенскихъ католиковъ отъ протестантовъ, и къ концу столѣтія это отдѣленіе стало уже опредѣленной сознательной тенденціей. Ее утвердили Іос. Игн. Байза (1754—1836), книжная дѣятельность котораго относится къ 1783—1820 годамъ [1]); Юрій Фандли (Juro Fandly), также католическій священникъ, писавшій проповѣди, историческія и хозяйственныя книги и т. п. [2]); но въ особенности Антонинъ Бернолакъ (1762—1813). Католическій священникъ, Бернолакъ написалъ на словенскомъ языкѣ лишь два-три сочиненія, но главнымъ образомъ имѣлъ вліяніе рядомъ трудовъ грамматическихъ [3]), которые должны были формально опредѣлить словенскій языкъ католическихъ писателей. Онъ составилъ также обширный словенскій словарь, изданный уже послѣ его смерти. Способъ писанія, такимъ образомъ имъ установленный и получившій названіе *бернолачины*, одно время былъ очень распространенъ. Эти стремленія создать особый литературный языкъ встрѣтили вообще большую поддержку въ католическомъ духовенствѣ; грамматика Бернолака принята въ основаніе. Въ 1793 въ Тернавѣ составился литературный католическій кружокъ съ цѣлью изданія книгъ на новомъ языкѣ, покупка которыхъ была обязательна для членовъ кружка́. Въ противоположность ему образовался въ Пресбургѣ кружокъ протестантовъ, о которомъ скажемъ далѣе; впрочемъ, общество тернавское распалось еще до смерти Бернолака. Изъ числа католическихъ духовныхъ, шедшихъ путемъ Бернолака, могутъ быть названы: Войтѣхъ-Антонинъ Газда (ум. 1817), францисканскій проповѣдникъ, издавшій нѣсколько сборниковъ проповѣдей [4]); каноникъ въ Остригомѣ Юрій Палковичъ (1763—1835), большой покровитель бернолакистовъ, издававшій ихъ книги и самъ сдѣлавшій переводъ Библіи по католическому тексту [5]); Александръ Руднай (de Rudna a Divék Uifalu, 1760—1831), съ 1819 князь-примасъ Венгріи, также покровительствовавшій словенской народности и писавшій проповѣди на словенскомъ языкѣ; при его содѣйствіи изданъ былъ важнѣйшій трудъ Бернолака, не напечатанный при

[1]) René mládenca príhodi a skušenosti, 1783; Slovenská dvojnásobná epigrammata, 1794; Veselé učinky a rečení, 1795 и пр.

[2]) Důverná zmlouva mezi mnichom a diablom o prvních počátkách etc. reholňickich, 1789; Z Jiřiho Papanka Historie gentis Slavicae vytah, 1793; Príhodné a svátečné kázne, 1795.

[3]) Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum, Posonii, 1787 (и при ней Linguae slavicae per regnum Hungariae usitatae orthographia); Etymologia vocum slavicarum, 1791; Grammatica slavica, 1790, при которой сборникъ пословицъ, изъ Долежала и самимъ Б. собранныхъ.

[4]) Fructus maturi, t. j. zralé ovoce, 1796; Hortus florum, t. j. Zahrada kvetná, 1798, и др.

[5]) Svaté pismo starého i nového zakona, podla obecného latinského, od sv. Rimsko-Katolickej cirkvi potvrd'eného s prirovnánim gruntovného tekstu, въ Остригомѣ I, 1829; II, 1833.

жизни автора—словенскій Словарь [1]). Но замѣчательнѣйшимъ католическимъ писателемъ, который считается уже славой цѣлаго народа, былъ Янъ Голый (Holly, 1785—1849). Онъ прошелъ духовную католическую школу и кончилъ курсъ богословія въ Тернавѣ; въ 1808 онъ сталъ священникомъ, и большую часть своей жизни, 1814—43, провелъ въ селѣ Мадуницахъ, на Вагѣ, гдѣ буквально на лонѣ природы, подъ огромнымъ дубомъ въ сосѣдней рощѣ, предавался своимъ мечтаніямъ и поэзіи. Рядъ его произведеній начинается небольшимъ сборникомъ переводовъ изъ классическихъ поэтовъ и переводомъ Виргиліевой Энеиды [2]). Въ 1833 явилось его первое самостоятельное и главнѣйшее произведеніе—героическая поэма *Святополкъ* (Swatopluk, wít'azská Báseň we dwanásti Spewoch). Въ 1835, слѣдовала героическая поэма въ шести пѣсняхъ *Кирилло-Меѳодіада* (Cirillo-Metodiada). Отдѣльныя стихотворенія Голаго являлись въ альманахѣ „Zora", выходившемъ съ 1835 года. Въ 1841—42 вышло полное собраніе его сочиненій, изданное дѣйствовавшимъ тогда въ Пештѣ кружкомъ любителей [3]); сюда вошелъ и метрическій „Katolícký Spewňík", въ тоже время изданный и отдѣльно. Въ 1846 вышелъ другой его сборникъ духовныхъ пѣсенъ, риѳмованный. Въ 1863 году вышло собраніе избранныхъ сочиненій Голаго, сдѣланное I. Викториномъ и посвященное „памяти совершеннаго въ 1863 тысячелѣтняго празднества благополучнаго прихода Кирилла и Меѳодія до земель Словенскихъ" [4]).

Янъ Голый, извѣстнѣйшее имя въ словенской поэзіи, есть одна изъ весьма характерныхъ личностей славянскаго возрожденія. Всю жизнь онъ провелъ въ тихой обстановкѣ своего скромнаго положенія въ сельской фарѣ; вышедши изъ среды народа, онъ никогда не покидалъ своего края; онъ не имѣлъ иного литературнаго образованія, кромѣ того, какое дала духовная схоластическая школа,—отсюда объясняется складъ его поэзіи. Его положеніе католическаго священника внушило ему духовныя пѣсни; но затѣмъ въ его поэзіи владычествуетъ чувство народности, сложившееся въ тотъ мечтательный національно-славянскій патріотизмъ, который мы указывали въ новѣйшей чешской литературѣ и высшимъ выраженіемъ котораго была „Дочь Славы". Для Голаго

---

[1]) Slovar Slovenský, Česko-Latinsko-Německo-Uherský: seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum, auctore Ant. Bernolák nobili Pannonio Szlaniczensi. Budae 1825—27, шесть томовъ.

[2]) Rozličné Básňe Hrdinské, Elegiacké a Lirické z Wirgilia, Teokrita, Homéra, Owidia, Tirtea a Horaca. Тернава, 1824; Wirgiliowa Eneida, Тернава, 1828—обѣ книги печатаны швабахомъ, какъ и слѣдующая поэма. Всѣ они изданы были на счетъ «нѣкотораго любителя словенской литературы». Это былъ каноникъ Юрій Палковичъ.

[3]) Básňe Gana Hollého. Widané od Spolku Milowňíkow Reči a Literaturi Slowenskég. We štiroch zwazkoch. Пештъ, 1841—42. Съ біографіей писателя.

[4]) Jana Hollého Spisy básnické. So životopisom etc. Пештъ, 1863.

эта „Слава“, воображаемая мать всего Славянства, была почти реальнымъ существомъ, а не романтической отвлеченностью; поэзія Голаго не вышла изъ идеальнаго круга этой „Славы“ и почти исключительно направлена именно къ первымъ вѣкамъ Славянства, которые вмѣстѣ съ тѣмъ были первые вѣка его родины, единственные вѣка ея національной самобытности. Свой край онъ считаетъ средоточіемъ Славянства и своихъ земляковъ чистѣйшими его представителями. Онъ такъ и остался въ этомъ кругѣ: современныя стремленія, заботы и страданія Славянства для него какъ будто не существуютъ; его славянскій патріотизмъ высказывается, какъ у Коллара, въ воспоминаніяхъ, въ олицетвореніи „Славы“—матери, плачущей надъ погибелью своихъ сыновъ. Таковъ именно, напр., „Plač Matky Slávy“: мать Слава скорбитъ объ исчезновеніи ея многочисленныхъ дѣтищъ, которыя не только населяли земли Балтійскаго Поморья, гдѣ пожраны были Нѣмцами, но (по нѣсколько проблематическому убѣжденію патріотическихъ археологовъ того времени) населяли страну Рейна, Бельгію и Британію. Мать Слава вспоминаетъ радостныя для нея времена этого обилія ея сыновъ и плачетъ объ ихъ послѣдующей судьбѣ, — но она знаетъ причину этой судьбы: они погибли оттого, что были благодушны, мирны, справедливы, что не любили браней и насилія [1]). Жизнь стараго Славянства представлялась поэту какъ мирная идиллія; они были утѣснены, потому-что ихъ враги были злые насильники... Это содержаніе можетъ казаться слишкомъ простодушнымъ; но въ то время въ западномъ Славянствѣ любили рисовать себѣ эту идиллію: вновь начинавшаяся національная поэзія обращалась къ обществу, едва выроставшему изъ непосредственности народной массы, и была этому обществу понятна; въ этой наивной поэзіи слышалась искренняя любовь къ своему народному, къ простотѣ и справедливости. Форма поэзіи Голаго

---

[1]) Než čo do tak hroznej ubohých zahružilo bídy?
    Dobrota jích vlastná záhubu t'ahla na ních.
Ejhlá tichý, krotký, mírný a vždycky pokojný
    J všelikej prázný úhony védli život.
Zrabali zem, pri vodách obchodné zdvíhali mesta,
    Prichodzím ze svej strajali prace hody.
Nikdy na patrácé cudzim neslačivali statky,
    Uspokojen každý vlasti sa darmi živil.
Neznali zbroj, l'udských ocel'ou nezbijali končin
    Bezbožnými drahej mečmi ne l'ali krvi.
Prezpol'né si mocou poddávat' nechceli krajny;
    Len bez krivdy jatou vládali slušne zemou.
Ze vlastnéj l'udskú merajúci rovnoty rovnost'
    Mysleli, jak dobre mńá, tak dobre mnivat' iných.
Mysleli, jestli ku ním spravedelnost', jestli porádný
    Mír zadržá, že pokoj mat' sami vždycky budú.
A hl'a to všetko čo jim k vel'kej malo pochvale slúžit',
    Slúžilo k nešt'ast'u, slúžilo k bide čirej....
(Изд. Викторина, стр. 373—374).

была плодомъ его образованія: воспитанный на классикахъ, онъ цѣликомъ взялъ форму классической эпопеи Гомера, Виргилія и Клопштока: онъ писалъ свои поэмы въ „пѣсняхъ", стихомъ его былъ гекзаметръ и пентаметръ, и изрѣдка—другіе классическіе метры [1]). Но, какъ ни искусственна и по формѣ запоздала была поэзія Голаго, она стала общественнымъ фактомъ какъ заявленіе общаго и мѣстнаго славянскаго патріотизма: ее признали одинаково обѣ стороны словенскихъ патріотовъ, католики и протестанты: Голый сталъ поэтомъ національнымъ.

Возвратимся къ сторонѣ протестантской. Направленіе Бернолака имѣло, какъ мы видѣли, черты спеціально-католическія: оно не признавало для Словаковъ чешскаго литературнаго языка, съ которымъ соединялись и продолжались преданія гуситства и протестантства. Какъ съ католической стороны желали распространять Бернолаковъ способъ писанія, такъ протестантскіе Словаки настаивали на сохраненіи чешскаго преданія. Образовались двѣ опредѣленныя партіи. Протестанты опасались, что раздѣленіе литературное будетъ для обѣихъ сторонъ вреднымъ ослабленіемъ національнаго единства, и въ свою очередь составили „общество чешско-словенской литературы и языка" въ Пресбургѣ, съ цѣлью сохраненія чистоты и единства чешско-словенскаго литературнаго языка и для изданія народныхъ книгъ. Это было въ 1801: главными начинателями дѣла были Таблицъ, Гамальяръ, Бартоломеидесъ, Годра и другіе. Общество продержалось недолго вслѣдствіе тогдашнихъ смутныхъ обстоятельствъ и также личныхъ раздоровъ, но результатомъ его усилій было основаніе каѳедры чешско-словенскаго языка въ Пресбургскомъ лицеѣ, которая стала потомъ опорой словенской литературы. Въ 1812, нѣсколько патріотовъ (тотъ же Таблицъ, Ловичъ, Рибай, Северини) основали другое литературное общество—„горныхъ городовъ", съ прежними цѣлями; оно также существовало недолго, издало нѣсколько книгъ и устроило каѳедру чешско-словенскаго языка въ Штявницѣ (Schemnitz). Каѳедру въ Пресбургѣ занялъ въ 1803 извѣстный потомъ дѣятель чешско-словенской литературы (другой) Юрій Палковичъ.

Богуславъ Таблицъ (1769—1832), евангелическій проповѣдникъ, учился въ мѣстныхъ школахъ, потомъ въ Іенѣ. Онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ писателей у Словаковъ на *чешскомъ* языкѣ. Кромѣ книжекъ правоучительныхъ, церковныхъ и также практически полезныхъ для народа, главными трудами его литературными были:

---

[1]) Соотечественники поэта находятъ, что Голый «превосходитъ Клопштока и по содержанію своихъ стихотвореній, и по ихъ формѣ, приближаясь въ этомъ отношеніи къ Виргилію, *иногда и къ Гомеру*» (Слав. Сборн., I. 138). Это сравненіе, доказываемое дальше сравненіями, конечно, странно сопоставляетъ вещи, въ которыхъ нѣтъ ничего общаго кромѣ перенятой внѣшности.

„Poezie“ (Вацовъ, 1806—12, четыре части)—собраніе стихотвореній; стихотворенія плохія, но книга имѣетъ большую цѣну по своимъ приложеніямъ, заключающимъ свѣдѣнія о словенскихъ писателяхъ съ XVI в. до начала XIX стол. [1]); такую же историко-литературную важность имѣютъ „Slovenští Versovcí“ (Скалица, 1805, Вацовъ, 1809, 2 части), небольшой сборникъ изъ сочиненій старыхъ словенскихъ писателей. Впослѣдствіи Таблицъ издалъ также переводъ „Опыта о человѣкѣ“ Попа и „Поэтики“ Буало.

Таблицъ нашелъ мѣсто въ поэмѣ Коллара (Slavy Dcera, Lethe, сонеты 48—49, по общему счету сонеты 435—436): Колларъ осуждаетъ его, что, бывши человѣкомъ богатымъ, Таблицъ ничего не удѣлилъ для просвѣщенія своего народа. Въ комментаріяхъ къ своей поэмѣ Колларъ объясняетъ это осужденіе, и замѣчаетъ: „Таблицъ былъ великимъ любителемъ народа, но—и денегъ. Если кто, такъ онъ могъ оставить по себѣ вѣчную память у Словаковъ и Чеховъ“. Имѣнье Таблица перешло въ руки его мадьярскихъ родственниковъ; въ тѣхъ же рукахъ, говорятъ, погибла и обширная чешско-словенская библіотека Таблица (Ср. Гурбана, Pohladi, I, стр. 92—95).

Юрій Палковичъ (1769—1850; надо отличать его отъ каноника Палковича, названнаго выше), протестантскій Словакъ, учился въ мѣстныхъ школахъ, потомъ въ Іенѣ; вернувшись домой, занимался преподаваніемъ и въ 1803, какъ упомянуто, получилъ основанную въ Пресбургѣ каѳедру чешско-словенскаго языка и литературы. Эту каѳедру Палковичъ занималъ до 1837, когда передалъ ее на время Штуру,—и содѣйствовалъ немало распространенію славянскихъ изученій въ ту первую пору „Возрожденія“. Онъ писалъ очень много (между прочимъ поучительныхъ и практически-полезныхъ книгъ для народа) и былъ ревностнѣйшимъ защитникомъ чешскаго преданія, — до того, что упрямо спорилъ съ самими Чехами, отстаивая чистоту старо-чешскаго языка отъ всякихъ нововведеній, ее нарушавшихъ. Нормой для Палковича былъ языкъ Велеславина, и онъ вмѣстѣ съ Чехами Гнѣвковскимъ и Неѣдлыми вооружался противъ новой школы, вводившей новизны въ языкѣ и правописаніи,—особливо противъ Юнгманна. Впослѣдствіи однако Палковичъ соединился съ Чехами новой школы, чтобы возстать противъ стремленій основать отдѣльную словенскую литературу. Наиболѣе извѣстны слѣдующіе труды его: „Muza ze slovenských hor“ (Вацовъ, 1801), сборникъ стихотвореній; „Známost vlasti uherské“ (Пресбургъ, 1804, одна 1-я часть), въ стихахъ; въ 1812—18, онъ издавалъ „Týdenník“, небольшой популярный журналъ; въ 1832—1847 онъ издавалъ другой журналъ—„Tatranka,

[1]) Pamĕti československých básnířův aneb veršovcův, kteří buďto v uherské zemi se zrodili aneb aspoň v Uhřích živi byli.

spis pokračující rozličného obsahu, pro učené, přeučené i neučené", гдѣ съ 1840 участвовали Штуръ и Гурбанъ. Въ 1808 году онъ издалъ въ новомъ пересмотрѣ чешскую Библію. Наконецъ, очень важнымъ трудомъ для своего времени былъ чешско-нѣмецко-латинскій словарь, съ добавленіемъ моравскихъ и словенскихъ идіотизмовъ [1]).

Особенное возбужденіе народнаго чувства у Словаковъ произведено было двумя писателями, которые, оба Словаки родомъ, стали тогда сильнѣйшими дѣятелями въ области цѣлаго славянскаго Возрожденія. Это были Колларъ и Шафарикъ. Словенскіе историки не безъ основанія замѣчаютъ, что развитію этого общаго національнаго направленія содѣйствовало у обоихъ вліяніе той чистоты и непосредственности, съ какими славянская стихія хранилась въ ихъ родномъ племени. Въ самомъ дѣлѣ, Словаки, съ древнѣйшихъ временъ потерявшіе политическую независимость, оставались однако въ уединенномъ положеніи, при которомъ, особенно въ горныхъ краяхъ, могло сохраниться много свойствъ характера и быта нетронутыми чужеплеменнымъ вліяніемъ, такъ сильно бьющимъ въ глаза особенно у Чеховъ. Отсутствіе всякой мысли о возможности отдѣльнаго политическаго бытія дѣлало то, что національное стремленіе словенскаго патріота легко обращалось въ идеализированіе Славянства вообще: у нихъ не было, какъ у другихъ племенъ, прошлаго, исторически памятнаго, которое они могли бы разумно надѣяться возстановить, и весь пылъ народнаго чувства, который у другихъ шелъ именно на это, у нихъ обращался на патріотизмъ идеальный, на отечество все-славянское, на панславизмъ—въ томъ или другомъ смыслѣ и объемѣ. Мы упоминали, что у словенскихъ ученыхъ людей задолго до собственнаго начала „Возрожденія" возникали мысли этого свойства. Точно также въ новѣйшее время самые характерные панслависты явились именно у Словаковъ: Колларъ, котораго „Дочь Славы", „Славянская Взаимность" прогремѣли по всему славянскому міру, — какъ чуть ли не единственная, истинно все-славянская, поэтическая реставрація національнаго единства; Шафарикъ, который столь же все-славянскимъ образомъ реставрировалъ славянскую древность, собралъ исторію славянской литературы и сосчиталъ этнографически славянскія племена;— таковъ же, нѣсколько позднѣе, былъ культурно-политическій и литературный панславистъ Людевитъ Ш т у р ъ, о которомъ скажемъ далѣе.

Ни Колларъ, ни Шафарикъ вообще не думали объ отдѣльной словенской литературѣ; тому и другому словенскій народъ казался только

---

[1]) Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch mit Beifügung der dem Slowaken und Mährer eigenen Ausdrücke und Redensarten. Прага, 1820; Пресбургъ, 1821, 2 части.—Замѣтимъ еще нѣмецкую брошюру: Bestreitung der Neuerungen in der böhmischen Orthographie, 1830.

составной частью чешскаго племени. Шафарикъ, въ письмахъ къ Коллару, 1821—23 г., не разъ высказывается противъ отдѣльности словенскаго литературнаго языка отъ чешскаго [1]); онъ вспоминаетъ о тѣсной связи Словаковъ съ Чехами по религіи и по языку во времена гуситства,—оттого-то евангелическіе Словаки до сихъ поръ держатся чешскаго языка, а католики отвергаютъ его [2]); и онъ предпочитаетъ старыя связи. Отдѣльность словенской литературы не приходила ему въ мысль потому уже, что онъ вообще весьма мрачно смотрѣлъ на будущее своего родного племени [3]). Тѣмъ не менѣе труды Шафарика и Коллара содѣйствовали именно сепаратнымъ стремленіямъ словенскихъ патріотовъ. Они подѣйствовали не только на общее славянское чувство,—которое особенно возбуждала поэма Коллара, но и на мѣстный словенскій патріотизмъ. Въ первое время у самого Шафарика была мысль о большой особности своего племени. Въ „Исторіи славянскихъ литературъ" онъ посвятилъ особый отдѣлъ исторіи, языку и литературѣ Словаковъ; не требуя для нихъ особой литературы, онъ требовалъ однако, чтобы въ общемъ съ Чехами литературномъ языкѣ дано было должное вниманіе особенностямъ словенскаго нарѣчія [4]). Шафарику и Коллару принадлежитъ и главнѣйшая заслуга въ первомъ изученіи словенской народности. Выше мы говорили, что однимъ изъ первыхъ трудовъ Шафарика въ изученіи Славянства было изданіе словенскихъ пѣсенъ (1823—27), повторенное и очень размноженное послѣ Колларомъ (1834—35).

Въ связи съ Шафарикомъ и Колларомъ дѣйствовалъ Карлъ Кузмани (1806 — 1866), одинъ изъ самыхъ заслуженныхъ словенскихъ патріотовъ. Учившись дома, потомъ въ нѣмецкихъ университетахъ, онъ былъ позднѣе профессоромъ евангелической теологіи въ вѣнскомъ университетѣ и супер-интендентомъ Пресбургскаго округа и принималъ ревностное участіе въ политическихъ дѣлахъ и литературѣ своего народа. Онъ писалъ много для народа, и въ 1836—38 издавалъ, на чешскомъ языкѣ, въ Баньской Быстрицѣ небольшой журналъ „Hronka",

---

[1]) См. «Часописъ», 1873, стр. 121—132.

[2]) V XVI stol. byli i Čechové i Slováci naši zaroven novo- či pravověrci. Drahá to památka! Není li ku podivu, že i dnes Evang. Slováci češtiny se přidrži, katojičtí ji zavrhuji! Arciže ta kovaná čeština z XV a XVI století husitsko-evangelická jest. Тамъ же, стр. 389.

[3]) «Я не имѣю причины, — говоритъ онъ въ письмѣ 1824 г.—передъ вѣрными и искренними друзьями своими таиться съ тѣмъ, что́ явно стоитъ предъ моей мыслью и душой, т.-е. что я не имѣю совсѣмъ никакой надежды, чтобы между нашими угорскими Словаками когда-нибудь было лучше Моему сердцу очень больно, что этого убѣжденія я не могу опровергнуть никакимъ разсужденіемъ: что́ ни привожу себѣ на мысль противъ него, все обращается на его подтвержденіе. — Если вы думаете иначе, то благо, благо вамъ: я, къ сожалѣнію, никогда не могу сравняться съ вами въ этомъ счастьѣ» (Тамъ же, стр. 388).

[4]) См. предисловіе къ «Pjsnė swětské», 1823, и Geschichte der slaw. Sprache und Literatur, стр. 389—390.

гдѣ, между прочимъ, въ первый разъ появилась статья Коллара о славянской литературной взаимности.

Въ тридцатыхъ годахъ, какъ мы выше упоминали, стало въ особенности усиливаться мадьярское національное движеніе, и параллельно съ нимъ возникаетъ народная реакція: какъ было въ это время у Сербо-Хорватовъ, такъ начиналось теперь особенное оживленіе и въ словенской литературѣ. Національныя теоріи „возрожденія" вполнѣ ему благопріятствовали. Словенскіе патріоты, предпринявъ защиту національныхъ правъ своего народа, въ концѣ-концовъ не удовольствовались чешскимъ славянствомъ своей литературы и стали настаивать на ея спеціально-словенскомъ характерѣ, — хотѣли быть не „Чехо-Словаками", а именно и исключительно Словаками. Такимъ образомъ сепаратизмъ, заявленный ранѣе съ католической стороны, теперь былъ заявленъ по другимъ основаніямъ и протестантами.

Въ началѣ, протестантско-словенскіе патріоты держались еще на прежней чешско-словенской почвѣ, и только послѣ, когда самое движеніе стало бросать болѣе крѣпкіе корни въ обществѣ, они стали искать для него и формы чисто-народной, и пришли къ литературному сепаратизму.

Подъ вліяніемъ возбужденія, внесеннаго трудами Коллара и Шафарика, въ словенскомъ молодомъ поколѣніи сталъ развиваться интересъ къ изученію Славянства. Съ конца 1820-хъ годовъ при лицеяхъ и гимназіяхъ образуются въ средѣ молодежи литературныя общества; главнымъ было то, которое устроилось при славянской каѳедрѣ въ Пресбургѣ; другія были въ Левочѣ, Пряшевѣ, Кежмаркѣ и др. Это пресбургское общество оставило въ особенности слѣдъ въ развитіи словенской литературы. Члены общества, изъ академической молодежи, подъ руководствомъ Палковича не только сами занимались изученіемъ Славянства, но старались объ открытіи другихъ подобныхъ обществъ и поддерживали съ ними сношенія. Различія вѣроисповѣдныя уже не дѣлили молодого поколѣнія патріотовъ.

Въ тоже время интересъ къ литературѣ собиралъ Словаковъ въ общества и внѣ школы. Таково было литературное общество, основанное въ 1834, въ Пештѣ, словенскимъ патріотомъ Мартиномъ Гамулькомъ (1789—1859) для разработки словенскаго языка и литературы. Цѣль общества вызвала большое сочувствіе въ католическомъ духовенствѣ; въ немъ приняли участіе даже епископы,—хотя предсѣдателемъ общества былъ протестантъ Колларъ. Общество въ десять лѣтъ существованія издало четыре тома альманаха „Зоря" (1835, 1836, 1839, 1840), собраніе сочиненій Голаго, и друг. Участниками „Зори" были Голый, Гамульякъ, Годра, Желло и другіе [1]). Прес-

[1]) Послѣдній издалъ также отдѣльно книжку своихъ стиховъ: Básně od Ludowjta

бургскіе студенты (Само Халупка, Людевитъ Штуръ, М. Годжа, Гросманъ и др.) также издали собраніе своихъ стихотвореній: „Plody zboru učencú řeči československé Prešporskeho“, 1836, опять въ панславянскомъ духѣ Коллара.

Между тѣмъ, Мадьяры, которые вели тогда упорно свою собственную пропаганду, заподозрили словенское движеніе и въ 1837 намѣстничество закрыло студентскія литературныя общества. Онѣ перестали существовать формально, но словенское юношество продолжало идти въ томъ же направленіи, руководимое ревностными патріотами. Въ Пресбургѣ, въ 1837, назначенъ помощникомъ къ Палковичу знаменитый потомъ Людевитъ Штуръ, одинъ изъ главныхъ дѣятелей только-что закрытаго общества; когда онъ отправился въ 1838 въ Галле для дополненія своего ученаго образованія, его замѣнилъ на время, 1838—39, другой патріотъ Прав. Червенакъ; съ 1839, опять возвратился Штуръ. Въ Левочѣ дѣйствовалъ подобнымъ образомъ профессоръ Михалъ Главачекъ, и др.

Беньяминъ-Православъ Червенакъ (1816—1842), учившійся дома, потомъ въ Галле, былъ однимъ изъ горячихъ приверженцевъ своей народности. Изъ его трудовъ изданы были: книжка о церковной исторіи, передѣланная съ нѣмецкаго и дополненная церковной исторіей славянской (изд. безъ его имени, 1842), но въ особенности Zrcadlo Slowenska, на чешскомъ языкѣ, изданное по его смерти М. Гурбаномъ (Пештъ, 1844), съ обширнымъ введеніемъ и біографіей Червенака. Въ рукописи осталась исторія Славянства, написанная имъ для пресбургскихъ лекцій. „Зерцало“ заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о древнѣйшей эпохѣ Словаковъ, о старой языческой миѳологіи, краткій обзоръ дальнѣйшей исторіи, замѣчанія о характерѣ Славянъ и въ частности Словаковъ, наконецъ о положеніи Словаковъ въ новѣйшее время подъ мадьярскимъ гнетомъ. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ (стр. 98 — 126) есть любопытные факты, которые могутъ послужить историку Словаковъ для картины тогдашнихъ отношеній.

Въ 1840, участники литературнаго кружка́ въ Левочѣ издали, подъ руководствомъ Главачка, небольшой альманахъ, гдѣ собраны были образчики ихъ литературныхъ трудовъ (Gitřenka čili wýborněgší práce učencú Česko-Slovenských A. W. Lewočských): и на этотъ разъ стихи студентовъ были исполнены воззваніями о славянскомъ братствѣ, взаимности, о будущей славѣ. Мадьярскія газеты указывали здѣсь возбужденіе ненависти къ мадьярству и угрозу. Графъ Зай поднялъ оффиціальный вопросъ, съ формальными обвиненіями противъ левочскихъ профессоровъ. Отсюда возникла цѣлая полемика, которая велась въ мадьярскихъ и нѣмецкихъ газетахъ и брошюрахъ; со стороны Слова-

---

Zella. Пештъ, 1842,—на чешскомъ языкѣ. Это — главнымъ образомъ — повтореніе патріотическихъ и панславянскихъ темъ Коллара, иногда довольно удачное.

ковъ выступили въ ней особенно Чапловичъ, Штуръ, Годжа, Гурбанъ... Надъ Штуромъ въ 1843 назначено было слѣдствіе, и онъ былъ удаленъ съ каѳедры. Словенскіе студенты хлопотали объ его возвращеніи, и когда ихъ старанія остались безуспѣшны, они покинули Пресбургъ и, переселившись въ Левочъ, снова собрались здѣсь въ литературный кружокъ; вскорѣ однако и онъ былъ закрытъ властями. Черезъ нѣсколько времени славянскіе студенты Пештскаго университета подали намѣстнику просьбу объ учрежденіи каѳедры славянскихъ языковъ; просьба осталась, конечно, безъ исполненія, и надъ студентами, совершившими эту дерзость, начато было слѣдствіе.

Въ такихъ условіяхъ требовались особыя усилія для борьбы съ мадьярствомъ, и дѣятельность патріотовъ приняла въ особенности два направленія: съ одной стороны шла, насколько было возможно, открытая политическая борьба противъ мадьярскихъ притязаній, о которой мы выше говорили,—защита своего права у вѣнскаго правительства, оказавшагося безсильнымъ, въ нѣмецкой печати (брошюры Штура, Годжи и др.); борьба въ церковныхъ дѣлахъ—противъ предлагаемой гр. Заемъ уніи, и т. д.; и съ другой стороны, выросло окончательно стремленіе создать особую литературу на народномъ языкѣ—словенскомъ.—Извѣстно, чѣмъ разразились, наконецъ, политическія и національныя стремленія Мадьяръ. Словенскіе патріоты давно чувствовали, что дѣло идетъ къ революціонному столкновенію, и стали противъ мадьярскаго движенія: хотя лозунгомъ движенія мадьярскаго была „свобода", и хотя сами Словаки успѣли ею отчасти воспользоваться (отмѣна крѣпостного права, свобода печати), — но вообще условіемъ „свободы" ставилась мадьяризація. Словенскіе вожаки стали на сторонѣ вѣнскаго правительства [1]), и когда вспыхнула венгерская революція, они сами—книжные люди, профессора, священники—стали во

[1]) Упомянутый Червенакъ писалъ еще въ 1842 году: «Говорятъ: «будьте Мадьярами, потому что только съ этимъ между нами процвѣтетъ свобода и просвѣщеніе», или если сказать точнѣе, «только съ этимъ Венгрія можетъ отторгнуться отъ двора «австрійскаго и стать самобытнымъ и славнымъ въ Европѣ». Но изо всего ясно, что Мадьяры хотятъ этой свободы только для себя, потому что Словакамъ дѣлать что-нибудь подобное для себя не свободно... Но изъ всѣхъ этихъ толковъ ничего иного не вытекаетъ, какъ только то, что подобные ревнители желаютъ себѣ необузданности и такого положенія вещей, гдѣ бы надъ ними не было никакой власти и никто высшій и сильнѣйшій не велъ бы къ общественному порядку и повиновенію... Что это за друзья свободы и просвѣщенія, которые напримѣръ такъ косятся на обработку словенскаго языка и словенскія книги, которые хотятъ насильно соединить евангелическихъ Словаковъ съ кальвинистами и только такъ, чтобы они сначала помадьярились?—О бѣдная, бѣдная та свобода, позорная и имени своего недостойная самобытность и жалкое просвѣщеніе, которыя могутъ быть достигнуты только съ измѣной королевскому, по праву владѣющему дому, только съ лишеніемъ шести милліоновъ людей (т.-е. не-мадьярскихъ жителей Венгріи) ихъ прирожденныхъ правъ, данныхъ имъ отъ Бога, въ теченіе тысячи лѣтъ не тронутыхъ королями и земской властью, и среди столькихъ смутъ, потрясеній и колебаній отечества заботливо до нынѣ сохраненныхъ!» (Zrcadlo, стр. 104—105).

главѣ вооруженнаго возстанія своего народа противъ Мадьяръ. — Къ этому нужно было готовить свой народъ, нужно было пробуждать самосознаніе въ массахъ, и чтобы говорить съ народомъ для него понятно, надо было говорить его языкомъ—здѣсь главное основаніе того сепаративнаго движенія, которое рѣзко заявилось у Словаковъ предъ 1848 г. и противъ котораго чешскіе писатели возстали, какъ противъ національной измѣны.

Не входя въ подробности этой политической борьбы, обратимся къ дѣятелямъ литературнымъ, которые, какъ сказано, были часто и руководящіе дѣятели политическіе.

На первомъ планѣ стоитъ имя Людевита Штура. Онъ родился въ 1815, въ Угровцахъ, въ Тренчанской столицѣ, въ семьѣ евангелической, учился въ раабской гимназіи, потомъ въ пресбургскомъ лицеѣ, гдѣ товарищами его были старшій братъ его Карлъ, впослѣдствіи также извѣстный, какъ словенскій патріотъ и писатель; Само Халупка, и гдѣ нѣсколько позднѣе учились Гурбанъ, Годжа и другіе дѣятели словенскаго возрожденія. Пресбургскій лицей, какъ уже мы замѣчали, былъ главнымъ питомникомъ словенскаго литературнаго и патріотическаго движенія. Штуръ былъ натура пламенная и, подъ вліяніемъ сочиненій Шафарика и Коллара, сталъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ участниковъ пресбургскаго академическаго кружка. Въ этомъ обществѣ, подъ руководствомъ Палковича, вице-президентомъ былъ сначала Само Халупка, потомъ Штуръ. Въ 1837 онъ сталъ помощникомъ Палковича на каѳедрѣ, въ 1838 — 39 учился въ Галле, затѣмъ снова вернулся въ Пресбургъ. Онъ былъ душою студентскаго общества въ лицеѣ и пріобрѣлъ большое вліяніе на словенскую и сербскую молодежь, пробуждая въ ней народное чувство. Но его блестящая профессура была непродолжительна; въ 1843 онъ уже былъ вынужденъ оставить каѳедру. Это окончательно обратило его къ литературѣ. Штуръ еще ранѣе принималъ участіе въ чешскихъ журналахъ, какъ „Květy“, „Vlastimil“, и въ словенскихъ изданіяхъ на чешскомъ языкѣ, какъ „Hronka“, „Tatranka“. Теперь онъ издалъ въ Лейпцигѣ названныя выше книжки на нѣмецкомъ языкѣ въ защиту правъ словенскаго народа противъ мадьярскихъ нападеній; принялъ дѣятельное участіе въ новомъ патріотическомъ обществѣ „Татринъ“, которое основалось въ 1844, подъ предсѣдательствомъ Годжи и поставило себѣ цѣлью содѣйствовать всѣми законными путями литературному и экономическому образованію словенскаго народа [1]). Общество искало себѣ покровительства въ вѣнскомъ правительствѣ, но от-

[1]) О Татринѣ см. Гурбана, Pohladi, 1851, ч. II, стр. 54—58; Годжи, Dobruo slovo Slovakom, 1847.

ношенія были такъ запутаны и натянуты, что словенскіе патріоты съ величайшимъ трудомъ могли повести свои патріотическія предпріятія. Еще въ первыхъ сороковыхъ годахъ они хлопотали о разрѣшеніи словенской газеты. До сихъ поръ словенскіе патріоты не имѣли никакого óргана, для защиты интересовъ своей народности: приходилось печатать нѣмецкія брошюры въ Лейпцигѣ, писать въ Allgemeine Zeitung, въ хорватскихъ газетахъ: но если этимъ путемъ можно было отчасти отвѣтить противникамъ, то невозможно было ознакомить свой народъ съ положеніемъ его дѣлъ. Газета на своемъ языкѣ была необходима. Штуръ добился наконецъ ея разрѣшенія, хотя съ разными ограниченіями, и съ августа 1845, подъ его редакціей, стали выходить Slovenské národnje Novini, съ литературнымъ приложеніемъ „Orol Tatranski". Когда газета была въ первый разъ задумана, Штуръ и его друзья держались еще чешскаго книжнаго языка, но въ кружкѣ „Татрина" уже вскорѣ поднятъ былъ вопросъ объ этомъ предметѣ, и патріоты пришли къ убѣжденію въ необходимости писать языкомъ народнымъ. „Словенскія Новины" стали выходить на народномъ языкѣ причемъ Штуръ замѣнилъ прежнее тернавское нарѣчіе (отчасти перемѣшанное съ чешскимъ) гораздо болѣе чистымъ словенскимъ нарѣчіемъ своей родины, Тренчанской стòлицы. Годомъ раньше народный языкъ принятъ былъ товарищемъ его Гурбаномъ въ альманахѣ „Nitra" (2-й вып., 1844).

Принятіе народнаго языка отчасти сблизило Словаковъ евангеликовъ съ католической стороной: патріоты обѣихъ партій собирались вмѣстѣ въ „Татринѣ"; поэтъ католическихъ Словаковъ, Голый, доживавшій свои послѣдніе годы, одобрялъ намѣренія кружкá Штура и благословилъ ихъ предпріятія. Но съ другой стороны принятіе народнаго языка повело къ враждебному разрыву и въ средѣ самихъ Словаковъ, и съ чешской интеллигенціей. Нововведенію не сочувствовали, во-первыхъ, очень многіе изъ католическихъ Словаковъ, которые стояли за „бернолачину" или предпочитали оставаться въ дружбѣ съ Мадьярами; во-вторыхъ, къ нему враждебно отнеслись патріоты стараго поколѣнія, державшіеся чешскихъ преданій и книжнаго языка; наконецъ, чешская интеллигенція увидѣла здѣсь настоящую измѣну общенаціональному чехо-словенскому дѣлу. Штуру и его друзьямъ пришлось вынести цѣлую бурю со стороны Чеховъ и ихъ союзниковъ словенскихъ, между которыми противъ Штура стали сами Колларъ и Шафарикъ. Чтобы поддержать свое нововведеніе, Штуръ издалъ двѣ книжки: „Nauka reči slovenskej" и „Nárečja Slovenskuo alebo potreba pisanja v tomto nareči" (Пресб. 1846). Чешскій Музей издалъ противъ Штура книгу, гдѣ въ осужденіе его собранъ былъ длинный рядъ

мнѣній и отзывовъ старыхъ и новыхъ писателей обоихъ племенъ въ пользу литературнаго единства Чеховъ и Словаковъ [1]).

Изъ того, что̀ мы говорили о положеніи Словаковъ, можно отчасти видѣть, кто былъ правъ изъ обѣихъ сторонъ. Еще въ двадцатыхъ годахъ Шафарикъ признавалъ необходимость дать въ чешскомъ книжномъ языкѣ у Словаковъ мѣсто чисто-словенскимъ особенностямъ, для того, чтобы сдѣлать его болѣе доступнымъ для народа. Въ самомъ дѣлѣ, чешскій языкъ не могъ вполнѣ служить для Словаковъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше: онъ вошелъ къ Словакамъ какъ готовый языкъ книжно-церковный во времена гуситства; но *новый* чешскій языкъ, — когда чешскіе писатели принялись „обогащать" его новыми словами и оборотами, часто буквально переведенными съ нѣмецкаго и иногда крайне искусственными, — становился непонятенъ для тѣхъ, кто знакомъ былъ съ *старыми формами*, въ предѣлахъ *стараго содержанія*. Поэтому и Палковичъ могъ съ основаніемъ такъ ревностно защищать литературныя преданія Велеславина противъ новыхъ чешскихъ писателей. Колларъ пробовалъ вносить словенскія черты въ языкъ „Дочери Славы". Церковныя книги протестантскихъ Словаковъ сохранили донынѣ даже неуклюжее правописаніе, принятое въ старину отъ Чеховъ. Чешскій языкъ могъ бы жить у Словаковъ, еслибы раньше онъ нашелъ у нихъ почву внѣ чисто-книжной церковной области; но онъ не былъ языкомъ общественно-оффиціальной жизни, а скудныя школьныя средства Словаковъ не дали ему возможности распространиться во всей народной массѣ. Далѣе, Словаки католическіе, гораздо болѣе многочисленные, и совсѣмъ чуждались чешскаго языка, какъ гуситскаго [2])... Между тѣмъ, для народной жизни Словаковъ наступали критическія минуты; для защиты народнаго права нужно было привлечь самыя народныя массы, и было очень естественно, что теоретическія соображенія о чешско-словенскомъ національномъ единствѣ уступили передъ настоятельными требованіями времени и ближайшаго народнаго интереса.

Наконецъ у самого Штура было болѣе широкое соображеніе. Его не привлекало то чешско-словенское единство, о которомъ заботилась чешская интеллигенція, потому что Штуръ уже тогда считалъ не-

---

[1]) Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravány a Slowáky. Прага, 1846, VIII и 240 стр. Здѣсь приведены отзывы Лаврентія изъ-Нудожеръ, Амоса Коменскаго, Матвѣя Беля, Добровскаго, Таблица, Палацкаго, Юнгманна, Шафарика, Іонаша Заборскаго, Коллара, Шемберы, Палковича, Сам. Ферьенчика, Павла Іозефи, Себерини и т. д., наконецъ разные сборные отзывы Словаковъ разныхъ краевъ. Подробное и обстоятельное изложеніе спорныхъ пунктовъ этого вопроса находится у Пича, Слав. Сборникъ, II, стр. 101—122. Много любопытнаго полемическаго матеріала по этому предмету у Гурбана, «Pohladi».

[2]) На этотъ пунктъ приходилось наталкиваться и чешской литературѣ. Ср. въ запискахъ Юнгманна статью: Jazyk český husitský-li? «Часописъ» 1871, стр. 273; о натянутой искусственности новаго чешскаго языка, тамъ же, стр. 274—275.

обходимымъ стремиться къ единству несравненно болѣе обширному, т.-е. все-славянскому, къ которому должны были бы примкнуть равноправно та и другая народность вмѣстѣ съ остальными; между тѣмъ единство чешско-словенское, совершилось бы (по мысли чешской интеллигенціи) только для усиленія Чеховъ, въ ущербъ Словакамъ, и, доставивши Чехамъ новый контингентъ въ нѣсколько милліоновъ словенскаго народа, побудило бы ихъ преувеличивать свои силы, утвердило бы ихъ въ частномъ провинціализмѣ и въ результатѣ повредило бы литературному единству все-славянскому, которое (по мыслямъ Штура) именно и должно бы стать общей цѣлью не только какъ идеалъ, но какъ средство спасенія...

Газета Штура, какъ говорятъ, произвела эпоху въ умственномъ и общественномъ развитіи Словаковъ; возростало народное сознаніе, стали основываться разныя полезныя предпріятія—общества трезвости, воздѣлыванія запущенныхъ земель, сберегательныя кассы и т. п. Между тѣмъ въ 1847, Штуръ былъ выбранъ депутатомъ на сеймъ отъ города Зволена и такимъ образомъ выступилъ на прямое политическое поприще. Онъ энергически, какъ талантливый ораторъ, защищалъ права своего народа на бурномъ пресбургскомъ сеймѣ; но возбужденіе Мадьяръ уже вело дѣла къ открытому возстанію и положеніе Штура становилось опасно: онъ оставилъ изданіе газеты, мѣсто въ сеймѣ и бѣжалъ въ Вѣну, участвовалъ потомъ на славянскомъ съѣздѣ въ Прагѣ. вступилъ въ сношенія съ Хорватами и Сербами, съ баномъ Елачичемъ, и снаряжалъ словенскихъ волонтеровъ въ Венгрію. Мадьяры оцѣнили его голову.

Послѣ 1849 Штуръ жилъ въ уединеніи, занимаясь воспитаніемъ дѣтей своего брата Карла (1811—1851, также словенскаго писателя и патріота) и литературными трудами: „Zpěvy a písně“ (Пресбургъ, 1853), и въ особенности извѣстная книжка, уже на чешскомъ языкѣ: „O národních písních a pověstech plemen slovanských“ (Прага, 1853). Онъ работалъ надъ большимъ историческимъ трудомъ о Славянствѣ, который остался неконченнымъ. Онъ умеръ отъ раны, нанесенной себѣ по неосторожности на охотѣ, въ 1856. По смерти его остался еще замѣчательный трудъ, написанный *по-нѣмецки* въ 1852—53 и представляющій широкое и одушевленное изложеніе его теоріи панславизма; это сочиненіе издано было по-русски В. И. Ламанскимъ: „Славянство и міръ будущаго. Посланіе Славянамъ съ береговъ Дуная“ [1]. Эта теорія—новый любопытный фактъ панславянскихъ идей, которыя

[1]) Въ «Чтеніяхъ» Моск. Общ. 1867, и отдѣльно. Объ этомъ сочиненіи см. въ «Вѣстн. Европы», 1878, ноябрь, стр. 334 и слѣд.

высказывались въ національномъ движеніи Словаковъ, и очень близка къ теоріямъ русскаго славянофильства [1]).

Штуръ принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ дѣятелямъ цѣлаго славянскаго Возрожденія. Въ памяти своихъ соотечественниковъ онъ высоко почитается какъ наиболѣе заслуженный начинатель новѣйшаго народнаго движенія у Словаковъ. „Его научное образованіе, — говоритъ одинъ изъ современныхъ словенскихъ патріотовъ, — обширное знакомство съ славянскимъ міромъ, высоко-нравственная жизнь, его огненная, увлекательная рѣчь, однимъ словомъ, вся личность Людевита Штура до такой степени возвышала и увлекала молодежь, что смѣло можно сказать, все нынѣшнее національное пробужденіе Словаковъ есть почти безспорно дѣло Людевита Штура. Изъ молодежи Пресбургскаго устава, сколько было членовъ, столько образовалось апостоловъ Славянства. Нынѣ дѣйствующее поколѣніе—или товарищи, или ученики Штура, или ученики его учениковъ“ [2]).

Достойнымъ сподвижникомъ Штура былъ Іосифъ-Милославъ Гурбанъ (род. 1817). Онъ учился въ пресбургскомъ лицеѣ, принимая ревностное участіе въ студентскомъ обществѣ; на счетъ этого общества Гурбанъ странствовалъ въ 1839 по Чехіи и Моравіи съ литературными и патріотическими цѣлями, и послѣ описалъ свое путешествіе; въ 1840 онъ сталъ евангелическимъ священникомъ. Первой его книжкой было описаніе путешествія: „Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách 1839“ (Пештъ, 1841); съ 1842 года онъ сталъ издавать альманахъ „Nitra“ (6 книгъ, 1842—1854, и 7-я, 1877), гдѣ ему самому принадлежитъ нѣсколько стихотвореній и повѣстей [3]). Первая книжка „Нитры“ издана была на чешскомъ языкѣ, но со 2-й книги, 1844, Гурбанъ сталъ писать по-словенски—это было первое заявленіе Штуровой школы. Гурбанъ принималъ потомъ дѣятельное участіе въ „Татринѣ“ и въ газетѣ Штура, и съ 1846 самъ сталъ издавать научно-литературный журналъ „Slovenskje Pohladi“ [4]), во-

---

1) Біографія Штура ожидалась отъ его друга и сподвижника Гурбана; но этотъ трудъ еще не появился.

Теперь можно указать: біографію Штура въ «Русской Бесѣдѣ» 1860, кн. I, смѣсь, стр. 51—60; Slovník Naučný, s. v.; K. A. Jenč, Serbske gymnasijalne towar'stwo w Budyšinje wot 1839 hač 1864, въ «Часописѣ» сербо-лужицкой матицы, 1865; Пичъ, въ Слав. Сорн. I—II. Мысли Штура о необходимости отдѣльнаго развитія словенской народности и литературы см. въ названныхъ его книжкахъ 1846 года, въ посмертномъ сочиненіи, изд. Ламанскимъ; онѣ изложены также въ любопытномъ письмѣ Штура къ Погодину отъ 1846 г. («Письма къ Погодину изъ слав. земель», стр. 465—467).

2) М. Д., въ Журн. Минист. Нар. Пр. 1868, авг., стр. 619. Ср. еще болѣе восторженный отзывъ Паулини-Тота, въ его «Бесѣдкахъ» (см. разсказы: Škola a život; Tri dni zo života Ludevíta Štúrovho).

3) Въ чешскомъ журналѣ «Květy» 1844 были помѣшены его: «Svatoplukovci, anebo pád říše velkomoravské», и отдѣльно, Прага 1845.

4) Подробное заглавіе: «Slov. Pohladi na vedi, umeňja a literatúru», часть I, вып. 1 — 5, v Skalici 1846, 1847, 1851; часть II, вып. 1 — 6 (съ 25 іюля 1851), v

обще чрезвычайно любопытный и важный, какъ выраженіе тогдашняго словенскаго движенія и какъ матеріалъ для его исторіи. Здѣсь между прочимъ помѣщена обширная статья самого Гурбана: „Slovensko a jeho život literárni“ (въ трехъ вып. 1-й части), самое подробное изложеніе литературной исторіи Словаковъ, какое донынѣ есть. Въ тоже время онъ написалъ книгу объ уніи [1]) противъ упомянутыхъ стараній гр. Зая,—объясняя съ богословско-исторической точки зрѣнія различіе лютеранства отъ кальвинизма и доказывая невозможность ихъ уніи. Книга эта доставила автору докторство богословія отъ іенскаго университета и ожесточенную вражду и полемику со стороны Мадьяръ и ихъ партіи. Рядомъ съ литературной дѣятельностью Гурбанъ работалъ для практическаго образованія своего народа; еще въ 1840 онъ завелъ въ своемъ приходѣ воскресную школу и распространялъ общества трезвости. Вмѣстѣ съ литературными идеями Штура, Гурбанъ раздѣлялъ и его политическіе взгляды, въ событіяхъ 1848—49 игралъ не менѣе замѣчательную роль и обнаружилъ даже еще болѣе неустрашимой энергіи какъ народный ораторъ и предводитель. Когда Колларъ и его друзья утомились борьбой, Гурбанъ со Штуромъ и Годжей стали во главѣ народа, въ средѣ котораго пріобрѣли сильное вліяніе смѣлой защитой его дѣла. Гурбанъ и его друзья вошли въ сношенія съ чешскими и сербо-хорватскими патріотами и организовали словенское возстаніе противъ Мадьяръ. Гурбанъ въ особенности пріобрѣлъ великую популярность между своими соотечественниками: это былъ въ истинномъ смыслѣ слова народный дѣятель, для котораго народный вопросъ былъ не отвлеченнымъ умствованіемъ и книжнымъ идеаломъ, а прямымъ дѣломъ; онъ былъ для своего народа и религіознымъ учителемъ, писателемъ, политическимъ бойцомъ и военнымъ предводителемъ. Послѣ треволненій революціоннаго времени Гурбанъ вернулся въ свой приходъ въ Глубокомъ, къ пасторской и писательской дѣятельности. Онъ продолжалъ „Pohladi“, альманахъ „Нитру“, издалъ въ 1855 учебную книжку евангелическаго богословія, въ 1861 опять дѣятельно вмѣшался въ поднявшійся тогда споръ о положеніи евангелической церкви [2]). Изъ его работъ беллетристическихъ можно упомянуть историческую повѣсть: „Gottšalk“ (въ 7—8 № „Slovan. Besed“ 1861), „Piesne na teraz“ (Вѣна, 1861) и много стихотвореній въ чеш-

---

Skalici, 1851; часть III (съ измѣненнымъ заглавіемъ: «Slovenské Pohlady na literatúru, umenie a život» и въ еженедѣльныхъ выпускахъ), № 1—26, v Trnave, 1851; часть IV, № 1—9, v Trnave 1852.

[1]) Unia čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách, vysvětlená etc., w Budině 1846, на чешскомъ языкѣ.

[2]) Сюда относится книга: Církew Ewanjelicko-Lutheránská w její wnitřnich živlech a bojích na swětě se zláštním ohledem na národ Slowenský w této církwi spasení swé hledající. W Skalici, 1861, 2 выпуска — на чешскомъ языкѣ, старымъ правописаніемъ и шрифтомъ (швабахомъ).

скихъ и словенскихъ журналахъ и альманахахъ. Многія пѣсни Гурбана становились почти народными. Въ послѣднихъ (6 и 7) выпускахъ „Нитры" Гурбанъ возвратился къ языку чешско-словенскому, что́ привлекло въ число его сотрудниковъ и чешскихъ поэтовъ, какъ Гейдукъ, Руд. Покорный и др. [1]). Съ 1864 онъ началъ издавать журналъ „Cirkewní Listy", по дѣламъ евангелическо-лютеранской церкви, на обычномъ старо-чешскомъ языкѣ евангелической словенской церкви, съ старымъ правописаніемъ и швабахомъ въ печати.

Михаилъ-Милославъ Годжа (род. 1811), евангелическій проповѣдникъ, какъ Гурбанъ, вышелъ также изъ кружка́ Пресбургскаго лицея 1830-хъ годовъ и шелъ тѣмъ же путемъ, какъ названные сейчасъ патріоты. Священникъ съ 1837 года, онъ въ первыхъ 1840-хъ годахъ принялъ дѣятельное участіе въ словенскихъ церковныхъ дѣлахъ, въ основаніи „Татрина" и вообще въ національномъ движеніи; въ 1848, онъ былъ въ числѣ ревностнѣйшихъ руководителей народа, на который производилъ сильное дѣйствіе своимъ одушевленнымъ словомъ. Первымъ литературнымъ трудомъ Годжи были народныя повѣсти, потомъ книжки по вопросу о словенскомъ литературномъ языкѣ [2]), который Годжа, между прочимъ, защищалъ отъ нападенія чешскихъ „Голосовъ". По изданіи церковнаго патента 1859, Годжа опять велъ упорную борьбу съ мадьярской партіей по церковному вопросу.

Пробужденіе національнаго чувства, наблюдаемое у Словаковъ съ конца прошлаго вѣка и потомъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, выразилось и въ литературѣ поэтической обиліемъ новыхъ явленій, которое указывало, какая нравственная сила заключается именно въ народномъ самосознаніи. Послѣ Голаго и особливо Коллара, цѣлый рядъ поэтовъ возникаетъ съ движеніемъ тридцатыхъ годовъ и въ связи съ кружкомъ пресбургскаго лицея, гдѣ Гурбанъ и Штуръ были также отчасти поэтами.

Въ ряду патріотическихъ поэтовъ этого второго поколѣнія старѣйшимъ былъ Само (Самуилъ) Халупка (род. 1812). Семья его была приверженная къ народности и литературная: отецъ, Адамъ, евангелическій священникъ, писалъ стихотворенія; старшій братъ, Янъ, также священникъ, былъ драматическій писатель. Само еще въ гимназіи встрѣтилъ учителя, который рано познакомилъ его и съ чешско-словенской литературой, и съ исторіей Славянства, такъ что Само былъ уже приготовлен-

---

[1]) «Нитра», на языкѣ словенскомъ, называлась далѣе въ заглавіи: «Dar drahím krajanom Slovenskím obetuvaní», на чешскомъ «Dar dcerám a synům Slovenska, Moravy, Čech a Slezska obětovaný».

[2]) Именно, латинская книжка: Epigenes Slovenicus. Liber primus. Tentamen orthographiae slovenicae. Въ Левочѣ 1847; Dobruo slovo Slovákom, ibid. 1847; Vĕtín o Slovenčinĕ, ibid. 1848, допечатанная по отмѣнѣ цензуры и потому съ прибавкой цензурныхъ исключеній.

нымъ читателемъ „Дочери Славы". Въ пресбургскомъ лицеѣ Халупка былъ руководителемъ между товарищами; затѣмъ онъ пожилъ въ Вѣнѣ, гдѣ сблизился съ студентами другихъ славянскихъ народностей. Въ 1834 онъ сталъ священникомъ, а въ 1840 получилъ приходъ въ Горной Леготѣ, гдѣ передъ нимъ сорокъ лѣтъ дѣйствовалъ его отецъ. Жизнь въ горной глуши не помѣшала ему участвовать въ патріотическихъ предпріятіяхъ; онъ одинъ изъ первыхъ поднялъ и вопросъ о новомъ литературномъ языкѣ. Стихотворенія Халупки появлялись еще съ сороковыхъ годовъ въ сборникахъ, журналахъ и альманахахъ; онѣ собраны были уже позднѣе (Spevy Sama Chalúpky, въ Б. Быстрицѣ, 1868). Это небольшія эпическія пьесы, баллады, и стихотворенія лирическія, которыя ставятся на одномъ уровнѣ съ произведеніями Эрбена и Челяковскаго и въ дѣйствительности, быть можетъ, стоя́тъ еще выше ихъ по силѣ и простотѣ, свободныя отъ романтической сантиментальности чешскихъ поэтовъ; славянское чувство у Халупки, какъ вообще у лучшихъ словенскихъ писателей, также гораздо болѣе естественно... У Халупки есть въ рукописи собраніе народныхъ сказокъ и повѣрій, которымъ пользовалась Божена Нѣмцова, у него гостившая. Онъ знакомъ съ другими славянскими литературами, изучалъ славянскую древность и, напр., къ своимъ стихотвореніямъ прибавилъ рядъ археологическихъ и историческихъ примѣчаній.

Андрей Сладковичъ (1820—72; родовое имя его Браксаторисъ) былъ сынъ евангелическаго учителя, извѣстнаго въ словенской литературѣ исторіей своего города Крупины (1810); этотъ городъ былъ и родиной Андрея. Семья была многолюдная и бѣдная: Андрей былъ 8-мъ изъ 14-ти дѣтей. Ученье шло среди крайней бѣдности, сначала въ Штявницѣ, гдѣ Сладковичъ устроивалъ литературный кружокъ съ національными цѣлями среди враждебныхъ столкновеній съ мадьярскими студентами; въ 1840, онъ перешелъ въ лицей пресбургскій, и отецъ могъ дать ему на дорогу только два бумажные гульдена. Здѣсь опять оживленная дѣятельность въ кругу товарищей, подъ вліяніемъ поэзіи Коллара и лекцій Штура. Въ 1842, Сладковичъ отправился для изученія теологіи въ Галле, черезъ два года вернулся, жилъ уроками, а въ 1847 получилъ евангелическій приходъ. Въ 1849 онъ подвергся мадьярскому преслѣдованію, отъ котораго избавило его только извѣстіе о вступленіи русскаго войска. Вскорѣ онъ сталъ однимъ изъ главныхъ людей народнаго движенія въ своемъ краѣ. Сладковичъ считается первостепеннымъ поэтомъ новѣйшей словенской литературы. Первыя стихотворенія онъ печаталъ въ „Нитрѣ" Гурбана, еще бывши въ пресбургскомъ лицеѣ; но его слава начинается съ поэмы „Марина", изданной въ Пештѣ, 1846. Поэма внушена личной исторіей несчастной любви: дѣвушка, которую онъ любилъ, вышла по

настоянію матери за другаго; къ этому мотиву присоединились вліянія „Дочери Славы“,—такъ что „Марина“ есть не только или не столько живое лицо, сколько идеализація любви, перенесенной въ высшую нравственную сферу, сливаемой съ религіознымъ чувствомъ и любовью къ своему народу; оттого поэма является слишкомъ аллегорической и отвлеченной, но несмотря на то, и несмотря на неровность стихотворной формы высоко цѣнится у чешско-словенскихъ критиковъ. Главное произведеніе Сладковича есть „Детванъ“ — нѣчто среднее между эпосомъ и идилліей [1]). Сюжетъ отнесенъ ко временамъ Матвѣя Корвина: герой, Мартинъ—уроженецъ Детвы, горнаго словенскаго края въ Сѣверной Венгріи, и въ немногосложную исторію любви этого горскаго селянина и его мирной жизни, прерванной насильственнымъ завербованіемъ въ королевское войско, вплетены картины горной природы, народнаго быта и характеровъ. Познакомиться съ „Детваномъ“—говорятъ чешско-словенскіе критики—значитъ узнать Словаковъ; но замѣчаютъ, что чужого читателя удивитъ совершенно пассивный характеръ героя. „Иностранному читателю,—говоритъ одинъ изъ этихъ критиковъ,—сюжетъ „Детвана“, конечно, кажется нѣсколько страннымъ, и Сладковичъ несомнѣнно могъ подъискать себѣ и другого рода героевъ изъ того времени, когда, подъ вліяніемъ Чеховъ, Словаки только-что пробудились къ національной жизни,—героевъ, которыхъ понять и которымъ сочувствовать было бы легче для иностраннаго читателя; но онъ далъ намъ вѣрное изображеніе народнаго словенскаго характера, жизни и образа мыслей словенскаго простолюдина, жителя горъ, назначеніемъ котораго было—сдѣлаться храбрымъ воиномъ и проливать свою кровь за землю, которая не составляетъ для него отечества“... Гораздо слабѣе „Милица“ [2]), изъ сербской жизни, въ байроновскомъ родѣ, и „Svätomartiniada, národni epos“ (Пештъ, 1861), описаніе политическаго съѣзда Словаковъ 1861, въ Турчанскомъ Св. Мартинѣ. Но поэтическія достоинства являются снова въ послѣдней поэмѣ „Gróf Mikulaš Subić Zrinský“. Наконецъ, Сладковичу принадлежитъ много мелкихъ, иногда прекрасныхъ стихотвореній [3]).

Оригинальнымъ лицомъ былъ поэтъ словенскій Янко Краль (род. около 1824). Онъ учился въ пресбургскомъ лицеѣ и поступилъ-было въ адвокатскую канцелярію въ Пештѣ, но подобныя занятія не под-

---

[1]) Эта поэма явилась въ 5-мъ томикѣ «Нитры», 1853.

[2]) Въ альманахѣ «Конкордія», 1858.

[3]) Біографію Сладковича см. у Пича, Слав. Сборникъ. II, стр. 129—133, 204—206; Vit. Houdek, въ чешскомъ «Свѣтозорѣ» 1878, № 19 — 20. Ср. «Svätenie pamiatky slovenského básnika Andreja Sládkoviča (Braxatorisa) člena zakladatel'a Matice Slovenskej etc. 7 aug. 1872. Turč. Sv. Mart. 1872.

Стихотворенія Сладковича были изданы Викториномъ: Spisy basnicke, v B. Bystrici, 1861. Новое изданіе—въ чешской «Народной библіотекѣ», Кобера.

ходили къ его натурѣ живой и крайне своеобразной; въ 1848 году онъ замѣшался въ политическія волненія, проповѣдывалъ, какъ говорятъ, коммунизмъ между словенскими поселянами, полагая этимъ путемъ сильнѣе на нихъ подѣйствовать, собиралъ молодежь и готовилъ возстаніе; схваченный Мадьярами, онъ былъ приговоренъ къ повѣшенію и спасся только заступничествомъ Елачича, но до 1849 г. провелъ въ пештской тюрьмѣ. Судя по разсказамъ, это былъ удивительный фантастъ: онъ велъ бродячую жизнь, не могъ долго остаться въ человѣческомъ жильѣ, проводилъ время въ уединеніи, въ Карпатскихъ пустыняхъ, блуждалъ, говорятъ, до Бессарабіи—вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поражалъ своимъ талантомъ и обширными свѣдѣніями; у него не бывало съ собой книгъ, но онъ хорошо владѣлъ французскимъ и англійскимъ языкомъ, отлично зналъ Шекспира; пѣсня, написанная имъ по-мадьярски, до сихъ поръ остается въ народѣ. Колларъ, Штуръ и другіе писатели навѣщали его, когда узнавали, гдѣ онъ находится. При этомъ образѣ жизни поэтическая дѣятельность Краля только случайно достигала въ печать,—онъ обыкновенно самъ сжигалъ то, что̀ писалъ. Послѣ своихъ приключеній въ Венгріи, онъ считалъ небезопаснымъ тамъ оставаться и жилъ нѣсколько мѣсяцевъ у однихъ друзей на Моравѣ, но затѣмъ тайкомъ ушелъ отъ нихъ, и съ тѣхъ поръ исчезъ безслѣдно. Его стихотворенія разбросаны въ моравскихъ и словенскихъ изданіяхъ, между прочимъ въ „Нитрѣ". Стихотворенія Краля, какъ и Халупки, отличаются привлекательной простотой народнаго склада и сквозящей въ нихъ любовью къ своему народу [1].

Изъ словенскихъ новеллистовъ на первомъ планѣ стоитъ Янъ Калинчакъ (1822—71). Сынъ евангелическаго священника, онъ учился сначала въ Левочѣ, гдѣ тогда дѣйствовалъ упомянутый выше славянскій патріотъ Главачекъ, потомъ въ пресбургскомъ лицеѣ, при Штурѣ. Здѣсь онъ занялся педагогической дѣятельностью. Въ 1843, онъ былъ привлеченъ къ слѣдствію, начатому противъ Палковича, Штура, Францисци; затѣмъ, до 1845 учился въ Галле. Съ 1846 онъ былъ директоромъ гимназіи въ Модрѣ и въ Тешинѣ, и сталъ въ ряду главнѣйшихъ патріотовъ: его вліяніе простиралось и на оживленіе славянскаго элемента въ онѣмеченной Силезіи; чтобы помочь своему дѣлу, онъ не усумнился отправиться въ Германію, чтобы искать помощи для бѣдной учащейся евангелической молодежи у прусскаго короля. Неудивительно, что власти желали отъ него отдѣлаться, и въ 1866 ему дали отставку. Его томило прекращеніе его дѣятельности: поселившись въ Турч. Св. Мартинѣ, онъ началъ съ марта 1870 издавать журналъ „Orol, časopis pre zábavu a poučenie", но уже въ слѣдую-

[1]) Slovník Naučný, s. v.; Пичъ, Слав. Сборн., II, 128—129, 143—145; Гурбанъ, въ «Нитрѣ», годъ VII, 1877, 364—365.

щемъ году умеръ. Въ самый день смерти Калинчака вышли его „Повѣсти“ (какъ 1-й выпускъ „Slovenského nar. Zabavnika“). Изданіе „Орла“ принялъ послѣ него его главный сотрудникъ Андрей Трухлый-Ситнянскій (Sytniansky).

Наконецъ, изъ людей того поколѣнія долженъ быть еще упомянутъ Самуилъ Томашикъ (род. 1813). Евангелическій священникъ съ 1833, и патріотъ, онъ писалъ въ „Позорникѣ“ Фейерпатаки, въ „Гронкѣ“ и „Татранскомъ Орлѣ“, былъ авторомъ очень любимыхъ пѣсенъ свѣтскихъ и народолюбивыхъ, былъ участникомъ въ новомъ евангелическомъ канціоналѣ и авторомъ повѣстей (появившихся въ „Соколѣ“ Паулини-Тота, о которомъ ниже). Ему принадлежитъ авторство знаменитой у Чеховъ пѣсни: Hej, Slované, которая явилась первоначально въ словенской формѣ [1]).

Событія 1848—49 годовъ не исполнили тѣхъ ожиданій, какія питали предводители Словаковъ. По усмиреніи венгерскаго возстанія, Словаки старались вступать на государственную службу, чтобы дать опору своей національности, и въ бо́льшей части „сто́лицъ“ словенскій языкъ былъ введенъ какъ оффиціальный; съ 1850, этотъ языкъ сталъ въ среднихъ школахъ впервые предметомъ преподаванія—необязательнымъ, а съ 1855 и обязательнымъ; въ нѣсколькихъ гимназіяхъ чисто словенскихъ, нѣкоторые предметы читались на чешскомъ языкѣ. Но какъ скоро дѣла вѣнскаго правительства поправились и оно перестало опасаться Мадьяръ, противъ которыхъ Словаки были оружіемъ, послѣдніе потеряли и немногія полученныя выгоды; наиболѣе выдающіеся патріоты были переведены въ чисто мадьярскія мѣстно-

---

[1]) Подлинный текстъ ея таковъ:

Hej Slováci! ešte naša slovenská reč žije,
Dokial' naše verné srdce za naš národ bije:
Žije, žije duch slovenský, bude žit' na veky;
Hrom a peklo, marné vaše proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh, Boh náš hromovládny,
Nesmie nam ho teda vyrvat' na tom svete žiadny!
I nechže je kol'ko l'udí, tol'ko čertov v svete,
Boh je s nami: kto proti nám, toho Parom zmetie.

Nech sa teda nad nami aj hrozná búra vznesie,
Skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie:
My stojíme stále, pevne, jako múry hradné;
Čierna zem pohltni toho, kto odstúpi zradne!

Эту и другія патріотическія словенскія пѣсни читатель можетъ найти въ сборничкѣ: Veniec národních piesní slovenských. Uvil a vydal M. Ch. (Drahým bratom a sestrám slovenským, v samote i v družstvách rodol'ubých venovaný). V B. Bystrici, 1862.

Старшій братъ названнаго писателя Янъ-Павелъ (писавшійся по-чешски Tomášek, род. 1802) держался съ Шафарикомъ и Колларомъ за единство литературнаго языка, но относился дружелюбно къ словенскимъ патріотическимъ предпріятіямъ новѣйшаго времени и защищалъ, какъ публицистъ, дѣло своихъ соотечественниковъ въ Венгріи.

сти. Между тѣмъ и политическое положеніе Мадьяръ перемѣнилось. Въ 1860, 20 октября, мадьярскій языкъ сталъ въ Венгріи языкомъ оффиціальнымъ. Когда власть вернулась въ руки Мадьяръ, они объявили служившихъ въ словенскихъ „сто́лицахъ" при Бахѣ „политически умершими" и въ видѣ „эпураціи" удалили ихъ отъ службы...

Послѣ того усиленнаго движенія, какое совершилось въ сороковыхъ годахъ, общая реакція, наступившая въ 1850-хъ годахъ, привела и у Словаковъ періодъ застоя. „Десятилѣтіе 1850—60 годовъ,—говоритъ словенскій историкъ [1]),—было по бо́льшей части и для Словаковъ десятилѣтіемъ полной, насильственно навязанной летаргіи. Но это десятилѣтіе имѣло ту неоцѣнимую заслугу, что дало созрѣть имѣвшимся юнымъ сила̀мъ, и созрѣть политически, а политическая зрѣлость въ Угріи есть необходимый и драгоцѣнный фактъ. Оно разбудило спящія, нерѣшительныя силы и освободило ихъ отъ магическаго знамени мадьярства; наконецъ, оно породило много новыхъ свѣжихъ, юношескихъ силъ".

Въ области литературы, замѣчательнѣйшимъ событіемъ слѣдующаго времени было основаніе словенской Матицы: этимъ учрежденіемъ обыкновенно сопровождалось у западнаго и южнаго Славянства оживленіе народности.

Въ 1861, 6—7 іюля, въ Турчанскомъ Св. Мартынѣ произошло многолюдное народное словенское собраніе, съ цѣлью составить записку о требованіяхъ словенскаго народа для представленія въ венгерскій сеймъ. Требованія состояли въ сохраненіи народной особности Словаковъ въ „словенскомъ окольѣ" Верхней Венгріи, въ національной равноправности и, слѣд., господствѣ словенскаго языка въ упомянутомъ окольѣ въ жизни общественной, политической, въ церкви и школѣ. Сеймъ и вліятельные Мадьяры (какъ Деакъ, Тисса, Этвешъ) взглянули на дѣло съ большей или меньшей враждой, и патріоты рѣшились доставить свою записку особой депутаціей къ императору-королю. Депутація состоялась въ декабрѣ 1861, и во главѣ ея нашелъ возможнымъ стать католическій епископъ Стефанъ Мойзесъ. Депутація ничего не добилась, но самое собраніе подѣйствовало возбуждающимъ образомъ на народный патріотизмъ. На томъ же собраніи положено основать литературное общество подъ названіемъ Матицы; написанъ былъ уставъ, выхлопотано высочайшее разрѣшеніе—съ разными ограниченіями проекта, — и 4 августа 1863 въ томъ же Св. Мартынѣ сошлось другое народное собраніе, на которомъ торжественно заявлено было учрежденіе словенской Матицы. Предсѣдателемъ ея выбранъ былъ епископъ Мойзесъ, распорядительнымъ вице-предсѣдателемъ—

[1]) М. Д., въ Журн. Мин. 1868, августъ, 639.

Кузмани, а почетнымъ и пожизненнымъ вице-предсѣдателемъ—Янъ Франциси; въ 1866, по смерти Кузмани, мѣсто его занялъ извѣстный писатель Вильямъ Паулини-Тотъ.

Самыми ревностными участниками этого дѣла были Франциси и Паулини-Тотъ. Янъ Франциси (Francisci, литературное имя Janko Rimavski; род. 1822)—нѣсколько младшій современникъ Штура, Гурбана, Годжи, и патріотъ той же школы. Онъ учился въ Левочѣ и Пресбургѣ, главныхъ пріютахъ тогдашняго патріотическаго движенія въ молодомъ поколѣніи. Это народное чувство пробудилось въ немъ рано; онъ со многими друзьями собиралъ народныя пѣсни, преданья, обычаи; въ Пресбургѣ, его направленіе установилось, а вмѣстѣ съ тѣмъ начались мелкія и крупныя преслѣдованія. Къ этому времени относится его стихотвореніе „Mojim vrstovńikom“ (напечатанное въ Гурбановой „Нитрѣ“ 1844), посвященное двадцати товарищамъ, которые—послѣ устраненія Штура отъ пресбургской каѳедры—въ суровую зиму ушли изъ Пресбурга въ Левочъ. Франциси запрещены были и лекціи о словенскомъ языкѣ и литературѣ въ Левочѣ. Здѣсь онъ принялъ участіе въ „Татринѣ“ и издалъ „Slovenskje povesti“ (словенскія сказки, 1845). Послѣ онъ изучалъ права, и началъ юридическую службу, когда вспыхнула революція 1848 года. Онъ поступилъ въ національную гвардію на своей родинѣ, но когда, вмѣстѣ съ Ст. Дакснеромъ и Мих. Бакулини, отказался идти противъ Сербовъ и Хорватовъ, а за ними отказались и словенскіе волонтеры, то Франциси и его друзья были приговорены къ висѣлицѣ; пораженіе Мадьяръ измѣнило ихъ казнь на тюрьму, изъ которой освободило ихъ вступленіе въ Пештъ Виндишгреца. Послѣ онъ вошелъ въ ряды словенскихъ волонтеровъ. По усмиреніи мадьярскаго возстанія, онъ возобновилъ службу въ администраціи и успѣлъ пріобрѣсти уваженіе самихъ Мадьяръ. Въ 1861 онъ началъ издавать „Pešt-budinske Vedomosti“, въ которыхъ ревностно защищалъ права своего народа, и въ томъ же году по его идеѣ состоялось то народное собраніе въ Турч. Св. Мартинѣ, о которомъ мы сейчасъ упоминали и гдѣ онъ былъ единогласно выбранъ предсѣдателемъ; другъ его Дакснеръ былъ составителемъ меморандума, принятаго этимъ собраніемъ, о требованіяхъ словенскаго народа.

Другимъ замѣчательнымъ дѣятелемъ отчасти той же школы былъ Виліамъ Паулини-Тотъ (Pauliny-Tóth, 1826—77). Его дѣдъ, отецъ, дядя были евангелическіе священники; рано потерявъ отца, онъ остался на рукахъ матери, пламенной патріотки, которая воспитывала мальчика чтеніемъ „Дочери Славы“; но проведши два года въ мадьярской школѣ (для изученія языка), Паулини подъ вліяніемъ своего учителя увлекся такъ мадьярскими поэтами, что когда вернулся къ

матери, она ужаснулась, увидѣвши въ сынѣ готоваго Мадьяра. Нужно было исправить ошибку, и мать отдала его въ гимназію въ Модрѣ. которою завѣдывалъ Карлъ Штуръ, братъ Людевита. Но вліяніе первой школы сохранилось надолго; его словенскіе друзья-патріоты съ сожалѣніемъ упоминаютъ объ его пристрастіи къ Мадьярамъ, объ его мнѣніи, что въ дурныхъ отношеніяхъ мадьярства къ славянству виноваты не настоящіе Мадьяры, а мадьяроны, ренегаты, славянскіе „отродильцы". Только къ концу жизни Паулини, какъ говорятъ, убѣдился, что этого различія не существуетъ. Изъ гимназіи Паулини поступилъ въ пресбургскій лицей, гдѣ еще засталъ Людевита Штура и былъ увлеченъ его личностью [1]); здѣсь онъ ознакомился со всѣмъ кругомъ словенскихъ патріотовъ, участвовалъ въ „Татринѣ", странствовалъ по краю. Въ 1846, онъ отправился въ качествѣ воспитателя въ Сербію, но вскорѣ уже вернулся на „Словенско". Волненія 1848 года отразились на Паулини очень бѣдственно: онъ жилъ въ Кремницѣ, среди мадьяроновъ, и арестованный по обвиненію въ соучастіи въ словенскомъ возстаніи (о которомъ на дѣлѣ не зналъ) долженъ былъ выбирать между висѣлицей и поступленіемъ въ гонведы. Онъ предпочелъ послѣднее и участвовалъ въ нѣсколькихъ сраженіяхъ до пораженія Мадьяръ Елачичемъ; тогда Паулини остался въ Пештѣ, помогъ освобожденію Францисци, Дакснера и др., и перешелъ въ словенское ополченіе. По усмиреніи возстанія Паулини жилъ въ Пресбургѣ и работалъ въ „Pressburger Zeitung", которая тогда велась въ духѣ безпристрастномъ и составляетъ достовѣрный источникъ для исторіи того времени (1849—51 г.). Въ 1850, онъ поступилъ на административную службу; въ 1853, по Баховской системѣ — угнетать однѣ народности другими, Паулини назначенъ былъ коммисаромъ въ чисто-мадьярскій Кечкеметъ, пробылъ тамъ до 1861 и внушилъ къ себѣ уваженіе Мадьяръ своимъ умѣреннымъ и законнымъ способомъ дѣйствій. Здѣсь онъ женился на дочери одного изъ мѣстныхъ аристократовъ, отъ котораго перешло къ нему венгерское дворянство и прибавка къ фамиліи—То́тъ. Онъ все еще былъ привязанъ къ Мадьярамъ, но видѣлъ, что у мадьярства „растетъ гребень", по выраженію его біографа Гурбана, и счелъ нужнымъ выступить снова за свое народное дѣло. Съ марта 1861, онъ сталъ издавать въ Пештѣ сатирическій листокъ „Černokňažnik", еще относясь сочувственно къ новому мадьярскому движенію, но съ Свято-Мартынскаго собранія ему стало ясно, что это движеніе не обѣщаетъ добра его соотечественникамъ, и его сатира обратилась противъ мадьярства вполнѣ. Съ 1862 и до конца 1869, онъ рядомъ съ „Чернокнижникомъ" велъ изданіе журнала „Соколъ" и это изданіе

[1]) Выше упомянуты любящія воспоминанія о Штурѣ въ повѣстяхъ Паулини.

также пріобрѣло большую популярность. Паулини дѣятельно участвовалъ потомъ въ основаніи словенской Матицы и по смерти Кузмани, въ 1866, сталъ распорядительнымъ вице-президентомъ Матицы и редакторомъ ея „Лѣтописи“ [1]). Онъ участвовалъ далѣе въ церковныхъ дѣлахъ евангеликовъ, будучи избранъ „сеніоральнымъ дозорцей“ въ Нитранскомъ округѣ, работалъ въ школьномъ дѣлѣ и проч. Его литературная дѣятельность, отчасти нами указанная, была очень разнообразная: онъ былъ популярный поэтъ, очень любимый разсказчикъ, ученый публицистъ. Разсѣянные въ журналахъ и сборникахъ, его разсказы, съ патріотической и нравственной тенденціей, писаны вообще живо, съ мѣстнымъ колоритомъ [2]).

Писатели, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, принадлежатъ евангелической части Словенскаго народа и были главнѣйшими представителями словенскаго литературнаго „сепаратизма“, столь осуждаемаго Чехами. Изъ сказаннаго можно видѣть, кажется, что „сепаратизмъ“ былъ не случайной прихотью, а естественнымъ побужденіемъ, даже необходимостью, потому что въ критическія минуты перваго самосознанія, которыя переживалъ словенскій народъ, должна была явиться потребность—говорить прямо къ своему народу, слѣд. на его языкѣ. Понятно, что именно лучшіе, наиболѣе талантливые и энергическіе люди были увлечены этимъ стремленіемъ. Понятно также, что когда ослабѣвалъ этотъ мотивъ, самые ревностные патріоты-писатели могли обращаться снова къ чешскому языку. Такъ, по-чешски издана была извѣстная книга Штура: „О славянскихъ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ“; такъ, Гурбанъ послѣдніе два выпуска своей „Нитры“ (VI, VII) издавалъ уже на чешскомъ языкѣ. Но „сепаратизмъ“ все-таки продолжается.

Въ послѣднія десятилѣтія особенная дѣятельность обнаружилась и въ католическомъ лагерѣ. Относительно языка новый поворотъ произвелъ названный нами прежде чешско-словенскій филологъ Мартинъ Гаттала. Первый „сепаратизмъ“, произведенный Бернолакомъ,—какъ выше сказано,—вводилъ въ книгу тернавское нарѣчіе. Тернава была однимъ изъ главныхъ пунктовъ католическаго населенія и католическаго образованія; нарѣчіе, близкое къ чешскому, не считалось под-

---

[1]) Letopis Matice Slovenskéj. Годъ I. Вѣна 1864; II, Турч. Св. Март. 1870; далѣе редакторомъ былъ Паулини: томы III—XI, въ Скалицѣ и Турч. Св.-Мартинѣ, 1867—74. Дальше Лѣтопись не выходила, потому что и Матица была закрыта.

[2]) Они собраны въ изданіи: Besiedky, въ Скалицѣ, 1866—70, 4 части. Есть и переводы съ другихъ языковъ, и между прочимъ съ русскаго,—увы, изъ Ѳ. Булгарина. Стихотворенія собраны по смерти Паулини его дочерью: Básne Viliama Pauliny-Tótha. Sobrala jeho dcéra Maria. Turč. Sv. Martin, 1877.

линнымъ словенскимъ,—и потому въ новой постановкѣ книжнаго вопроса у Штура, на его мѣсто введено было нарѣчіе тренчинское. Годжа, снова разбирая вопросъ о чисто-словенскомъ языкѣ, рекомендовалъ нарѣчіе липтовское. Теперь Гаттала вводилъ еще новый элементъ—нарѣчіе зволенское; въ его трудахъ, начиная съ латинской Grammatica linguae Slovenicae, 1850, грамматически точно опредѣленъ словенскій языкъ съ его точки зрѣнія, и это опредѣленіе — теперь господствующее.

Въ ряду католическихъ дѣятелей особенно извѣстны Палярикъ, Викторинъ и Радлинскій. Янъ Палярикъ (псевдонимъ Бескидовъ, род. 1822), съ 1847 католическій священникъ, въ 1850 основалъ въ Штявницѣ церковный журналъ „Cyrill a Method", гдѣ настаивалъ на бо̀льшей церковной свободѣ и на сохраненіи народныхъ интересовъ въ дѣлахъ церкви, подвергся за это осужденію своихъ властей, заключенію на мѣсяцъ въ монастырской тюрьмѣ, и вынужденъ былъ къ отреченію отъ нѣкоторыхъ своихъ писаній. Переведенный въ 1851 въ Пештъ, онъ отдалъ въ другія руки названный журналъ, и нѣсколько лѣтъ велъ здѣсь „Katolické Noviny", гдѣ, между прочимъ, защищалъ право словенскаго литературнаго языка противъ приверженцевъ чешскаго. Особеннымъ отдѣломъ его литературныхъ трудовъ была дѣятельность его какъ писателя драматическаго—подъ упомянутымъ псевдонимомъ. Ему принадлежатъ комедіи: „Incognito", „Drotár", „Smierenie", которыя пользуются большой популярностью по вѣрному изображенію словенской жизни и удачному веденію драматическаго сюжета. Онъ считается настоящимъ начинателемъ словенскаго театра; съ 1858 являются у Словаковъ кружки любителей и особенно любимы комедіи Палярика [1]). Онъ былъ также дѣятельнымъ участникомъ въ изданіяхъ своего друга Викторина, и въ 1864 напечаталъ въ альманахѣ его „Lipa" свою теорію славянской взаимности. Приверженецъ племенныхъ автономій, онъ стоитъ за славянскій федерализмъ противъ централизаціи и абсолютизма; взгляды этого рода, выраженные имъ и прежде въ печати и въ св.-мартынскомъ собраніи 1861, навлекли на него нападенія противной партіи, между прочимъ въ „Чернокнижникѣ" Паулини. Въ послѣдніе годы Палярикъ работалъ надъ элементарными книгами для католическихъ школъ [2]).

Іосифъ Викторинъ (род. 1822) учился въ католическихъ школахъ, подъ вліяніемъ Палярика возымѣлъ народный патріотизмъ, въ 1845 познакомился со Штуромъ и сталъ сотрудникомъ основанныхъ тогда „Словенскихъ Новинъ". Это навлекло Викторину, какъ Паля-

---

[1]) Dramat. Spisy. Пештъ 1870. Комедіи его давались съ успѣхомъ также на сербохорватскомъ языкѣ.

[2]) Біографія въ «Научномъ Словникѣ».

рику, обвиненія въ „панславизмѣ“ и слѣдствіе, какія раньше были ведены противъ Штура въ Пресбургѣ. Тѣмъ не менѣе въ 1847 Викторинъ сдѣланъ былъ священникомъ; случилось, что ему достался католическій приходъ въ сосѣдствѣ съ Гурбаномъ, съ которымъ онъ и подружился. Это былъ опять поводъ къ обвиненіямъ съ мадьярской стороны, и въ 1848 Викторинъ попалъ въ тюрьму. Въ пятидесятыхъ годахъ, онъ присоединился къ той словенской партіи (Д. Лихардъ, Палярикъ, Радлинскій и др.), которая тогда подъ покровительствомъ министра графа Туна старалась опять о распространеніи чешскаго языка, противъ Гурбана и его партіи. Викторинъ принялъ дѣятельное участіе въ полемикѣ, которая началась по этому предмету между газетами „Víden'ský Denník“ (органъ чешскихъ аристократовъ), „Pražské Noviny“ и „Slovan“ Гавличка съ одной стороны, и Гурбановыми „Pohladi“ съ другой. Въ 1858 Викторинъ издалъ альманахъ „Concordia“, гдѣ его статьи были написаны по-чешски, а Палярика—по-словенски. Затѣмъ онъ издавалъ альманахъ „Lípa“ (три книги, 1860, 1862, 1864), гдѣ снова вернулся на сторону сепаратистовъ, къ досадѣ Чеховъ. Объ его словенской грамматикѣ упомянуто выше. Викторинъ есть ревностный патріотъ, заботящійся вмѣстѣ о развитіи словенской литературы (онъ издавалъ сочиненія Яна Голаго, сочиненія Заборскаго) и о сохраненіи ея связей съ чешскою.

Мы называли уже Андрея Радлинскаго: это—писатель и журналистъ, по преимуществу церковный; онъ издавалъ въ разное время „Katolické Noviny pre dom i církev“, упомянутый журналъ „Cyrill i Method“ (съ приложеніемъ: Priatel' školy a literatury), проповѣди и т. п. Онъ былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ защитниковъ отдѣльности словенской литературы.

Выше мы упомянули Палярика и Паулини-Тота, какъ драматическихъ писателей. Еще ранѣе на этомъ поприщѣ явился рано умершій словенскій писатель Ник. Догнаный (Mikulaš Dohnány, ум. 1852), которому принадлежитъ драма „Podmaninovci“ (изд. въ Левочѣ, 1848). Но въ особенности плодовитый драматикъ есть старѣйшій, кажется, изъ словенскихъ писателей настоящаго времени, Іонашъ Заборскій (род. 1812). Его ученье, по недостатку матеріальныхъ средствъ, было трудное; но онъ рано почувствовалъ народно-патріотическую ревность и, раздраженный нападеніями ренегатовъ на народное дѣло, послалъ Коллару оду „Къ Словакамъ“ (Na Slovákov), которая и была напечатана въ издававшейся тогда „Зорѣ“ (1836). Потомъ онъ провелъ годъ въ Галле со Штуромъ, Червенакомъ и Гросманомъ. По возвращеніи домой, онъ издалъ „Bajky“ (въ Левочѣ, 1840). Подвергшись также обвиненіямъ въ панславизмѣ, испытавши, кромѣ того, матеріальныя неудачи, онъ не устоялъ противъ убѣжденій—перейти въ католицизмъ.

Въ 1848 Мадьяры посадили его въ тюрьму по обвиненію въ замыслѣ возстанія; на дѣлѣ онъ не сочувствовалъ возстанію, не имѣя на него никакой надежды, такъ-что изъ-за этого Штуръ возымѣлъ къ нему непримиримую вражду. Замѣтимъ, что передъ тѣмъ Заборскій подалъ и свой „голосъ" въ ту сборную книгу, которая издана была Чешскимъ Музеемъ противъ литературныхъ нововведеній Штура. Въ 1851, онъ издалъ сборникъ стихотвореній (Zèhry. Básnè a dvě Řeči, Вѣна 1851, куда вошли и прежнія басни); но они встрѣтили такой строгій,—и не несправедливый — судъ М. Догнанаго и Калинчака въ журналѣ Гурбана [1]), что Заборскій пересталъ писать. Онъ вернулся къ литературѣ уже въ 1860-хъ годахъ съ длиннымъ рядомъ драмъ, уже словенскихъ: двѣ изъ нихъ напечатаны были, подъ псевдонимомъ Вояна Іосифовича, въ „Липѣ" 1864; далѣе, Викторинъ издалъ его „Básne dramatické" (Пештъ, 1865), потомъ его „Лжедимитріады" (Lžedimitrijady čili búrky Lžedimitrijovské v Rusku, Пештъ, 1866) или рядъ изъ девяти драмъ, представляющихъ событія междуцарствія отъ убійства царевича Димитрія до первыхъ годовъ царствованія Михаила Романова. Наконецъ, семнадцать пьесъ издано было Паулини-Тотомъ въ приложеніяхъ къ его журналу „Соколъ" [2]). Наконецъ Заборскій писалъ разсказы, мелкія сатирическія статьи и т. п. Но главное дѣло Заборскаго—его многочисленныя драмы: содержаніе ихъ вообще берется изъ старой словенской исторіи, и ему ставятъ въ особую заслугу, что онъ, избѣгая обычныхъ любовныхъ темъ, старается о вѣрномъ изображеніи событій — своимъ пьесамъ онъ предпосылаетъ историческіе разсказы о предметѣ драмы, иногда очень длинные. Эта популяризація исторіи и можетъ считаться ихъ главнымъ достоинствомъ для литературы, небогатой подобнымъ чтеніемъ.

Основаніе словенской Матицы было новымъ оживленіемъ народности: Матица стала издавать свой ежегодникъ, „Letopis"; въ нее стали собираться значительныя пожертвованія книгами, археологическими предметами, деньгами. Въ „Лѣтописѣ" (два выпуска въ годъ), печатались статьи въ особенности по древностямъ, исторіи, топографіи, народному быту „Словенска"; сотрудниками были безразлично писатели обоихъ исповѣданій—такъ появлялись здѣсь: І. Л. Голуби, Фр. Сасинекъ, П. З. Гостинскій, Сам. Томашикъ, Іонашъ Заборскій, Гурбанъ, Само Халупка, Михалъ Годра, Дан. Лихардъ и др. Въ 1860—

---

[1]) Slov. Pohladi, ч. I, 1851, стр. 185—198. Книжка Заборскаго написана на чешскомъ съ примѣсью словенскаго, такъ какъ онъ стоялъ за литературный союзъ съ Чехами; критики находили, что онъ только насилуетъ чешскій языкъ, за что и Чехи его не благодарятъ.

[2]) Новое изданіе: «Divadelné hry». V Skalici, 1870.

1870-хъ годахъ издавалось немало газетъ и журналовъ: Pešťbudínske vedomosti, Францисци, Мик. Ферьенчика, превратившіяся послѣ въ Narodnié Noviny, въ Турч. св. Мартинѣ; Orol, časopis pre zábavu a poučenie, Калинчака и Ситнянскаго; Obzor, хозяйственная газета Лихарда; Slovenske Noviny; Církevni Listy, Гурбана; Cyrill a Method, Радлинскаго; Priatel' ludu; и друг. Мадьярское правительство, для противодѣйствія этой патріотической литературѣ, сочло нужнымъ имѣть словенскій о́рганъ,—въ прежнее время такими были: „Krajan“, „Koruna“, „Vlastenec“, но они не могли удержаться; теперь эту роль исполняетъ политическая газета „Svornost“.

„Матица“ была единственнымъ средоточіемъ національно-литературныхъ интересовъ и все болѣе пріобрѣтала популярности въ этомъ смыслѣ. Но дни ея были уже сочтены. Въ 1874 Словакамъ пришлось испытать новое тяжкое гоненіе. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ они успѣли основать три словенскія гимназіи (одну—католическую, двѣ—протестантскія), которыя были надеждой національнаго движенія, потому что могли давать воспитаніе на родномъ языкѣ. Мадьярская партія достигла того, что эти гимназіи, какъ „панславистическія и опасныя мадьярскому государству“, были подвергнуты слѣдствію, и хотя оно не подтвердило обвиненій, всѣ три были закрыты; вслѣдъ затѣмъ подвергнута слѣдствію и „Матица“, и дѣятельность ея прекратилась. Ея собранія, библіотека были секвестрованы.

Это былъ, конечно, страшный ударъ для народности, которая, съ своими скромными средствами, собирала здѣсь свои національныя сокровища и должна была терять отъ наглаго насилія... Словенская литература представлялась „хаосомъ“ Гильфердингу въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Такое впечатлѣніе она можетъ снова произвести и теперь. Мѣстныя силы не имѣютъ защиты отъ мадьярства; славянская „взаимность“ по обыкновенію отсутствуетъ; ревностнѣйшіе патріоты, какъ Гурбанъ, оставляютъ словенскій языкъ для чешскаго.

Незадолго до закрытія, „Матица“ предприняла важное изданіе: Архивъ старыхъ чешско-словенскихъ грамотъ и письменныхъ памятниковъ [1]), сборникъ народныхъ пѣсенъ. Редакторомъ перваго изъ этихъ изданій былъ дѣятельный писатель и горячій патріотъ Франко-Викторъ, или Витязославъ. Сасинекъ (род. 1830). Родившись въ бѣдной семьѣ, онъ 16-ти лѣтъ былъ уже послушникомъ-капуциномъ, въ 1853 сталъ священникомъ, преподавалъ церковные предметы въ разныхъ католическихъ школахъ, въ 1863 получилъ разрѣшеніе выйти изъ ордена, и съ 1864 упомянутый епископъ Мойзесъ назначилъ его профессоромъ догматики въ семинарію въ Баньской-Быстрицѣ и проповѣдни-

[1]) Archiv starých česko-slovenských listín, písemností a dejepisných pôvodin pre dejepis a literatúru Slovákov. Turč. Sv. Martin. 1872—73. 2 вып.

комъ главнаго епископскаго храма. Сасинекъ обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность, принималъ участіе во всѣхъ патріотическихъ предпріятіяхъ, и напр. въ основаніи Пештъ-budинскихъ Вѣдомостей, въ основаніи „Матицы", много писалъ, стихами и прозой, въ словенскія и не-словенскія изданія, составлялъ латинскіе учебники, духовные пѣсенники и проч. Наконецъ онъ явился главнымъ словенскимъ историкомъ: ему принадлежитъ нѣсколько сочиненій по исторіи словенской земли и Венгріи, и почти ни одна книжка лѣтописи „Матицы" не обходилась безъ его археологической и исторической статьи [1]). Съ прекращеніемъ журнала Матицы, Сасинекъ предпринялъ свое изданіе, посвященное словенской исторіи, топографіи, археологіи и этнографіи [2]).

Но и въ этомъ неопредѣленно-тяжеломъ положеніи теплится народный патріотизмъ. Въ нѣмецкой книжкѣ, выше названной, Сасинекъ разсказалъ и для не-словенской публики о грубыхъ насиліяхъ противъ своей народности; патріоты питаютъ надежду на правоту своего дѣла. Друзья словенскаго народа встрѣтили съ великими сочувствіями новый признакъ жизни въ словенской литературѣ, книжку „Tatry a More" (Turč. Sv. Martin, 1880), сборникъ лирическихъ и эпическихъ стихотвореній поэта новаго поколѣнія (псевдонима) Ваянскаго. Татры—родина поэта, море есть Адріатика, гдѣ онъ посѣтилъ края родственнаго Славянства. Въ стихотвореніяхъ Ваянскаго есть отголоски чешской романтической манеры, есть неровности, но много самобытнаго характера и поэтической оригинальности; національный патріотизмъ высказывается рѣзкими чертами, особенно въ поэмѣ „Иродъ" (Herodes), имя котораго дано національному врагу, Мадьяру. Чешскіе критики встрѣтили съ большими сочувствіями книжку Ваянскаго, но не могли удержаться отъ вопроса: „Неужели навсегда разорвана тѣсная связь, которая нѣкогда соединяла Чеховъ и Словаковъ въ одинъ могущественный народъ чешско-словенскій? Развѣ нельзя уже никогда возобновить это народное единство, и не было ли бы оно полезно вамъ и намъ, и цѣлому Славянству?" [3]).

Вопросъ усложняется новыми извѣстіями о начавшихся эмиграціяхъ Словаковъ въ Америку.

---

[1]) Главныя историческія сочиненія его слѣдующія:

— Dejiny drievnych národov na územi terajšieho Uhorska. V Skalici, 1867, съ картой; 2-е изд. Turč. Sv. M. 1878.

— Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska, съ картой. V Skalici, 1868.

— Dejiny kráľovstva Uhorského. Часть I, домъ Арпадовскій, 1009—1300. V B. Bystrici, 1869. Часть 2, смѣшанныя династіи, 1300—1526. Turč. Sv. M. 1871—77.

[2]) Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu. Первый годовой томъ или «рочникъ» вышелъ въ Скалицѣ, 1876; 2-й—въ 1877.

[3]) См. Květy, 1880. январь, стр. 119—122, 128.

III. Народная поэзія у Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ.

Историческія свѣдѣнія о народной поэзіи Чеховъ, также Мораванъ и Словаковъ, за древнее время очень скудны. У старыхъ латинскихъ лѣтописцевъ, начиная съ Козьмы Пражскаго, въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ старо-чешскихъ есть упоминанія о пѣніи пѣсенъ, но изъ этихъ упоминаній можно извлечь почти только голый фактъ существованія народной поэзіи, который можно было бы и безъ того предположить à priori. Основной вопросъ, который здѣсь представляется, состоитъ въ томъ: существовала ли у Чеховъ (въ историческія времена) поэзія эпическая? Обыкновенно привыкли думать, что эпика есть необходимый спутникъ древнихъ временъ, и у Чеховъ она была не только предположена, но и доказываема фактами, именно существованіемъ „Любушина Суда" и „Краледворской Рукописи". Такимъ образомъ мы возвращаемся опять къ тому же вопросу.

Относительно этого пункта, мы можемъ достаточно опредѣлить настоящее положеніе вопроса, указавши два противоположныя ученыя мнѣнія. Одно представлено въ книгѣ Іос. и Гермен. Иречковъ, die Echtheit etc., гдѣ защищается эпосъ названныхъ памятниковъ и скудныя упоминанія древнихъ памятниковъ о народной поэзіи толкуются въ смыслѣ существованія поэзіи эпической. Другое высказано Ягичемъ [1]), который (въ 1876), не отвергая прямо подлинности тѣхъ памятниковъ, но давая ясно понять свое крѣпкое въ этомъ сомнѣніе, отвергаетъ рѣшительно, чтобы по нимъ дозволительно было дѣлать какія-либо заключенія о существованіи эпики въ исторически извѣстной чешской древности, а перебравши лѣтописныя упоминанія о пѣсняхъ, не находитъ въ нихъ также никакого намека именно на эпосъ. Въ результатѣ своихъ очень доказательныхъ изслѣдованій, Ягичъ говоритъ: „Справедливо можно сомнѣваться, чтобы чешскій народъ въ XIII и XIV вѣкѣ имѣлъ иную народную поэзію, чѣмъ теперь. Я разумѣю

---

[1]) Въ упомянутой «Gradja» etc., или въ русскомъ переводѣ въ Слав. Ежегодникѣ Задерацкаго за 1878 г.: «О славянской народной поэзіи», стр. 179—193.

разрядъ, характеръ и весь строй, а не содержаніе отдѣльныхъ пѣсенъ. Содержаніе—какъ листья, которые осенью опадаютъ съ дерева, а весною распускаются новые, но одинаковые съ прежними. Это можетъ быть подтверждено по крайней мѣрѣ нѣкоторыми небольшими доводами. Въ рукописныхъ сборникахъ свѣтской, не народной, но искусственной лирики, есть еще кое-гдѣ пѣсня сплошь народная или распѣваемая какъ имитація народной... Почему мы думаемъ, что это народныя пѣсни? Именно потому, что онѣ такъ удивительно сходны съ нынѣшней народной лирикой. Слѣдовательно, въ пятьсотъ лѣтъ чешскій народъ ни мало не измѣнилъ характера своей народной лирики..."

Не приводя всей аргументаціи Ягича, замѣтимъ только, что она до сихъ поръ не была опровергнута чешской критикой, а напротивъ сомнѣнія въ древнемъ чешскомъ эпосѣ возрастаютъ.

Положительныя свидѣтельства о народныхъ *лирическихъ* пѣсняхъ восходятъ до XIV вѣка. Въ рукописяхъ сохранилось очень много если не цѣлыхъ пѣсенъ, то ихъ первыхъ словъ или стиховъ, — ради ихъ *напѣва*. Дѣло въ томъ, что составители пѣсенъ церковныхъ довольно часто приспособляли ихъ размѣръ къ напѣву народныхъ пѣсенъ, въ то время общеизвѣстныхъ и любимыхъ: церковные стихотворцы безъ сомнѣнія ожидали, что ихъ пѣсни лучше будутъ удерживаться въ памяти, когда будутъ пѣться по извѣстной мелодіи. Поэтому, въ рукописныхъ, а потомъ печатныхъ, сборникахъ церковныхъ пѣсенъ обыкновенно означалось, что пѣсня поется какъ такая-то народная пѣсня, которая и указывалась первымъ стихомъ. Кромѣ размѣра, сохранился такимъ образомъ и напѣвъ: въ однихъ канціоналахъ указывалось начало народной пѣсни, въ другихъ приписывалась мелодія нотами, въ третьихъ — то и другое рядомъ. Кромѣ канціоналовъ, есть другія записи, на пустыхъ листахъ и обложкахъ рукописей, какъ будто сдѣланныя для развлеченія отъ скучной работы — напр. иногда въ тяжелыхъ латинскихъ трактатахъ, и т. п. На эти свѣтскія или народныя пѣсни въ старыхъ рукописяхъ давно обратили вниманіе чешскіе ученые, напр. Палацкій (въ „Часописѣ" 1827), потомъ Ганка, Юнгманнъ, Шафарикъ, Ганушъ, но съ наибольшей полнотой эти свидѣтельства и клочки пѣсенъ собраны въ спеціальныхъ работахъ Фейфалика и Іос. Иречка [1]).

---

[1]) Julius Feifalik, Altčechische Leiche, Lieder und Sprüche des XIV und XV. Jahrhunderts, въ Sitz.-berichte Вѣнской Академіи, т. XXXIX, стр. 627—743 (ср. также и другія изслѣдованія этого писателя о старо-чешской литературѣ). Здѣсь отмѣчено, для XIV—XV вѣка, 99 лирическихъ стихотвореній, въ большинствѣ книжныхъ, но есть также нѣсколько видимо чисто народныхъ (ср. стр. 641—616), какими Фейфаликъ считаетъ особенно № XXI—XXVI своего собранія. Иречекъ, Zbytky českých písní národních ze XIV do XVIII věku, въ «Часописѣ». 1879, стр. 44—59.

Понятно, что скудость сохранившихся остатковъ не даетъ прочнаго основанія заключать ни о степени древности, ни о степени производительности народной поэзіи у Чеховъ: эти остатки даютъ только возможность судить объ ея складѣ въ данныя эпохи. Понятно, что у Чеховъ и за вѣка до этихъ свидѣтельствъ была своя народная пѣсня, какъ естественное выраженіе личнаго чувства, религіозности, обряда; очень вѣроятно, что еще въ древнія времена важныя историческія событія, волновавшія народъ, вызывали и пѣсню похвалы или осужденія,—какъ масса пѣсенъ этого послѣдняго рода явилась въ гуситскую эпоху и, несмотря на всѣ запрещенія, ходила по странѣ какъ отголосокъ общественнаго и народнаго настроенія.—Но все это, особенно въ старину, не попадало въ книгу: старые лѣтописцы были обыкновенно книжники, относившіеся съ бо̀льшимъ или меньшимъ пренебреженіемъ къ подобнымъ проявленіямъ народной жизни; притомъ церковь у Чеховъ, какъ и у Русскихъ, и вообще въ средніе вѣка, осуждала народную поэзію или какъ слѣдъ язычества, чѣмъ она нерѣдко и бывала, какъ забаву противную новой аскетической нравственности, или прямо какъ вещь обсценную, чѣмъ пѣсня вѣроятно также бывала на дѣлѣ [1]).

Рано начавшееся у Чеховъ иноземное, латино-нѣмецкое вліяніе ввело въ образованныхъ кругахъ поэзію искусственную, которая снова отдаляла на второй планъ самобытную народную. Людямъ образованнымъ поэзія народа не казалась достойной вниманія, и единственные люди, которые ею интересовались, были тѣ, которые стояли между двумя слоями, высшимъ сословіемъ и школой и—народомъ. Это были школьники, „жаки“, „ваганты“, именно выходившіе изъ средняго и низшаго класса и еще близкіе къ простому быту, его нравамъ и поэзіи. Они и сами бывали авторами пѣсенокъ, которыхъ не мало записано въ старыхъ сборникахъ стиховъ любовныхъ, шутливыхъ, макароническихъ, и народныя пѣсни, уцѣлѣвшія изъ тѣхъ временъ, оказы-

---

Здѣсь собрано до 133 начальныхъ стиховъ, и отчасти цѣльныхъ пѣсенъ, по старымъ сборникамъ, канціоналамъ и проч.

Прежніе труды по собиранію пѣсенныхъ остатковъ указаны въ этихъ статьяхъ. См. также Rukovět, II, 121; Vybor z liter. české, II, 639—646; Malý Vybor, стр. 93—99. Ср. еще пѣсню, не вошедшую въ эти собранія: Mistr Lepič, maudrý hrnčíř, изъ рукописи XV в., у Шафарика, Klasobrání, въ «Часописѣ», 1848, II, стр. 271—272 (въ Собр. Сочин. текста этого нѣтъ).

[1]) Отъ XV-го столѣтія Фейфаликъ (стр. 643, прим.) приводитъ любопытную цитату изъ неизвѣстнаго автора, который негодовалъ напротивъ, что въ его время запрещались «хорошія народныя пѣсни» и не запрещались развратныя: онъ осуждаетъ людей, qui bonas vulgares canciones prohibent, que sunt ex lege dei, sanctis ewangelijs ac epistolis et prophetis et apostolicis dictis composite. Et non prohibent cantus meretricum qui ad lasciuiam et adulteria prouocant etc. Дѣло въ томъ, что въ XV столѣтіи церковь запрещала эти «хорошія пѣсни», составленныя по предметамъ изъ Свящ. Писанія, для избѣжанія поводовъ къ ереси; но вѣроятно уже не обращала вниманія на простыя пѣсни, въ числѣ которыхъ могли быть и характеризованныя какъ cantus meretricum.

ваются особенно въ сборникахъ съ серьёзными учебными выписками и т. п., между которыми записаны и веселыя пѣсни.

Что пѣсни, которыя приводятся или упоминаются въ старыхъ сборникахъ, были дѣйствительно народныя, это заключаютъ по ихъ складу, по указаніямъ напѣва, который считается общеизвѣстнымъ, и наконецъ по сходству ихъ началъ съ пѣснями, донынѣ существующими у Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ [1]).

Нельзя, разумѣется, утверждать, что это именно *тѣ самыя* нынѣшнія пѣсни. съ которыми онѣ представляютъ сходство. Въ самихъ старыхъ пѣсняхъ, при одинаковомъ началѣ является иногда двоякій или троякій размѣръ, т.-е. были значительные варіанты и въ то время; неудивительно, что размѣръ старыхъ пѣсенъ не всегда сходится съ размѣромъ новѣйшихъ. Можно только думать, что старая и новая чешская пѣсня были однородны по складу, что по крайней мѣрѣ отъ XIV вѣка это было одно дерево, на которомъ съ новой весной являлись новыя листья.

Сколько можно заключать по этимъ немногимъ остаткамъ цѣльныхъ пѣсенъ и начальныхъ стиховъ, то народная поэзія у Чеховъ уже съ XIV вѣка была, сравнительно съ другими славянскими племенами, сильно модернизована. Это было бы очень естественно при тѣхъ встрѣчахъ съ вліяніями латино-нѣмецкими, которыя издавна дѣйствовали въ чешской жизни и сглаживали ея древнія племенныя отличія. Такъ, въ Чехію рано уже проникала съ нѣмецкими нравами нѣмецкая придворная поэзія; при чешскомъ дворѣ бывали нѣмецкіе миннезингеры, joculatores, и еще въ XII вѣкѣ упоминается joculator съ чешскимъ именемъ „Dobrĕta“; являются упомянутые „ваганты“—они мало-помалу популяризовали искусственную поэзію, любовную и шутливую, которая наконецъ стала вторгаться въ область народной пѣсни.

---

[1]) До сихъ поръ замѣчены слѣдующія сходства пѣсенъ:

— A kdybych já vĕdĕl, XVI вѣка (Юнгм. IV, № 201, стр. 139), съ новой моравской пѣсней у Сушила, № 200 (изд. 1860): A dybych já smutny vĕdzĕl.

— Dobrá noc, má milá, dobrá noc, въ Кунвальдскомъ Канціоналѣ 1576, съ новой словенской у Коллара: Dobrú noc, ma duša! dobrú noc vinšujem (Nár. Zpiew. I, стр. 196).

— Elška milá, Elička, XV вѣка (Feifalik, стр. 738), съ чешской у Эрбена, стр. 65 (изд. 1862—64).

— Na tom panskem poli, XVI вѣка, съ пѣсней у Эрбена, № 469; у Сушила, варіанты къ № 655 (стр. 786).

— Nic to nic, XVI в., съ пѣсней у Эрбена № 9 (стр. 515), у Сушила № 388.

— Povĕdĕla Sibylla dale, XVI в., ср. у Коллара, Nár. Zpiew. II, стр. 457—458.

— Proč kalina v struze stojí, XVI вѣка, съ пѣсней у Эрбена (стр. 150 и 304), у Сушила (№ 433, стр. 321), у Крольмуса, Staročeské povĕsti, zpĕvy etc. (II, стр. 70, первой пагинаціи).

— Vĕj, vĕtřičku z Dunaje, въ Кунвальскомъ Канціоналѣ 1572 и др., съ моравской пѣсней у Сушила, № 622 (стр. 438).

— Vím-t' ja hájek zelený, XVI вѣка, съ моравской пѣсней у Сушила, № 837 (стр. 754).

Извѣстно,—между прочимъ по опыту нашей народной жизни,—что поэзія сельская, крѣпко держась преданія при обособленности, уединенности народнаго быта, довольно легко однако уступаетъ при встрѣчѣ съ бытомъ городскимъ, передъ относительнымъ образованіемъ, передъ новыми нравами. Обиліе пѣсенъ искусственныхъ, сочиняемыхъ на случаи среди общественныхъ волненій XV—XVI вѣка, размноженіе „вагантовъ“, позволяютъ думать, что народная пѣсня у Чеховъ до сильной степени была затронута вліяніями нѣмецкихъ нравовъ и искусственнаго стихотворства; это отразилось и въ ея содержаніи, гдѣ уже нѣтъ той природной непосредственности, какую мы встрѣчаемъ у племенъ, менѣе тронутыхъ городской и иноземческой цивилизаціей, и въ формѣ, гдѣ къ стиху вѣроятно уже рано приросла риѳма.

Новое и послѣдовательное вниманіе къ народной поэзіи относится къ началу нынѣшняго столѣтія. Первый примѣръ такого рода находятъ въ „Prvotinach“ Громадка въ 1814, гдѣ были указаны сербское собраніе пѣсенъ Вука и русское Прача, и объяснялась необходимость собиранія чешскихъ пѣсенъ. Затѣмъ въ 1817 сдѣлалось извѣстно, что къ подобному собиранію приступаютъ у Словаковъ, и въ томъ же журналѣ стали появляться словенскія пѣсни. Ганка попробовалъ издать переводъ сербскихъ пѣсенъ, чтобы потомъ ѳзнакомить своихъ соотечественниковъ съ народной поэзіей другихъ славянскихъ племенъ, — но предпріятіе не имѣло успѣха и не было продолжаемо. Наконецъ, особенный интересъ къ предмету возбудило появленіе „Любушина Суда“ и „Краледворской Рукописи“, и первый трудъ по народной поэзіи, имѣвшій успѣхъ, была названная раньше книга Челяковскаго, гдѣ кромѣ чешскихъ, моравскихъ и словенскихъ пѣсенъ, приведены образчики народной поэзіи почти всѣхъ вѣтвей славянскихъ, съ чешскимъ переводомъ [1]). Въ 1825 издано было уже значительное, хотя мало исправное собраніе мелодій. Въ 1834, І. Лангеръ помѣстилъ въ „Часописѣ“ нѣсколько пѣсенъ, относящихся къ свадебнымъ и другимъ обычаямъ.

Еще къ старѣйшему поколѣнію чешскихъ патріотовъ принадлежалъ ревностный собиратель древностей, народныхъ обычаевъ и поэзіи, Вацлавъ Крольмусъ (или Грольмусъ, 1787—1861). Выросши подъ вліяніемъ первыхъ чешскихъ „властенцевъ“, особливо Юнгманна, Крольмусъ еще во время студенчества странствовалъ по краю, изучая старину и народность. Ставши священникомъ съ 1815, онъ жилъ въ провинціальныхъ мѣстечкахъ, пріобрѣлъ вскорѣ большую популярность въ народѣ даже между не-католиками; наконецъ вздумалъ перевести

---

[1]) Slovanské národní pisně, 3 части. Прага, 1822—27. Выборка отсюда въ нѣмецкомъ переводѣ: Slawische Volkslieder, von Jos. Wenzig. Halle, 1830.

католическую агенду на чешскій языкъ и производить по ней богослуженіе у не-католиковъ. Это обстоятельство, и вообще его особенная популярность навлекли ему не мало хлопотъ съ его властями, которыя переводили его съ мѣста на мѣсто, наконецъ въ 1843 дали ему отставку. Старость и болѣзненность не помѣшали ему принять участіе въ національномъ движеніи 1848 года. Онъ много трудился надъ археологіей, особенно надъ раскопками, и доставилъ много древностей для Чешскаго Музея и частныхъ собраній, сообщая много матеріала для книги Калины [1]). Въ этой археологіи онъ былъ крайне ревностный изыскатель и — фантастъ: онъ съ увѣренностью говорилъ о до-исторической древности, находилъ слѣды жертвъ Чернобогу, безъ труда отыскивалъ и легко читалъ древне-чешскія руны и т. д. Мы знали его въ концѣ пятидесятыхъ годовъ дряхлымъ старцемъ, который однако оживлялся, когда заговаривалъ о любимой чешской старинѣ. Это былъ типъ стараго „властенца". Научной критики у него было очень мало, но этнографическія работы его имѣли въ свое время немалую цѣну, хотя бы иногда какъ возбужденіе вопросовъ: въ чешской археологіи онъ не прочь говорить о Вишну и Шивѣ, о Чернобогѣ и т. д., древнее Славянство представляется ему въ видѣ „Славіи", — но о современномъ народномъ бытѣ онъ даетъ не мало цѣнныхъ указаній [2]).

Классической книгой считается названное нами ранѣе собраніе чешскихъ народныхъ пѣсенъ, К. Я. Эрбена: въ первый разъ сборникъ его появился въ 1842—43; третье изданіе въ шестидесятыхъ годахъ [3]). Эрбенъ занимался и другой стороной народной поэзіи — сказкой; мы назвали прежде его книжку, сюда относящуюся. На сказки и раньше обращено было вниманіе: ихъ разсказывали и „обработывали", напр., Якубъ Малый [4]), Божена Нѣмцова, І. К. Тыль [5]), и особенно І. К. изъ-Радостова, издавшій въ пятидесятыхъ годахъ обширное изданіе чешскихъ сказокъ [6]). Къ сожалѣнію, очень часто читатель — а съ нимъ и изслѣдователь — остается безъ указанія относительно того, насколько собиратели держались подлиннаго народнаго разсказа, т.-е.

[1]) Dr. M. Kalina von Jäthenstein, Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer. Prag, 1836.

[2]) Главный его трудъ: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a napěvy ohledem na bájeslovi česko-slovanské, jež sebral V. S. Sumlork (его имя, прочитанное обратно), 13 выпусковъ или 3 части. Прага, 1845 — 1851; Posledni Božiště Cernoboha s runami na Skalsku v krají Boleslavském. Прага, 1857;—Agenda česká, Прага, 1848.

Ср. еще о немъ въ Томковомъ розысканіи о «Любушинѣ Судѣ».

[3]) Prostonárodní české písně a říkadla. Прага, 1862 — 64, одинъ большой томъ.

[4]) Národní české pohadky a pověsti. Прага, 1838, и особенно: Sebrané báchorky a pověsti národní. Прага, 1845.

[5]) Drobnější povídky prostonárodní, въ собраніяхъ его сочиненій.

[6]) Národní pohádky, 12 выпусковъ. Прага, 1856 — 58; 2-е изданіе, въ двухъ томикахъ, Прага, 1872.

сколько здѣсь чистаго этнографическаго матеріала и сколько литературной обработки.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ Прагѣ составился кружокъ любителей народности, повидимому главнымъ образомъ изъ академической молодежи, подъ названіемъ „Славія", который предпринялъ собраніе и изданіе произведеній народной словесности, и позднѣе руководился указаніями Гебауэра. Кругъ этихъ произведеній былъ такой же, какой намѣченъ былъ еще Крольмусомъ, и „Славія" принимала правиломъ вносить въ свое собраніе только вещи неизданныя или новые варіанты [1]). Между прочимъ, по совѣту Гебауэра, издатели обратили вниманіе на то, чтобы при записываніи народныхъ произведеній сохранить варіаціи мѣстныхъ говоровъ.

Для Моравіи главный и замѣчательнѣйшій собиратель есть Франтишекъ Сушилъ (1804—1868). Родомъ Мораванъ, съ 1827 священникъ, потомъ профессоръ теологіи въ Бèрнѣ, онъ былъ на Моравѣ однимъ изъ первыхъ пробудителей народно-славянскаго патріотизма, и долго послѣ главнѣйшимъ его представителемъ. Это былъ классическій ученый, богословъ, стихотворецъ и этнографъ, наконецъ ревностный дѣятель въ обществѣ св. Кирилла и Меѳодія (Dědictví ss. Cyrila i Methodeje), работавшемъ для народно-патріотической литературы. Онъ издалъ антологію переводовъ изъ Овидія, Катулла, Проперція и Музея, 1861; очень цѣнимое сочиненіе о чешской просодіи, 1861; переводъ Новаго Завѣта съ древнѣйшихъ греческихъ текстовъ, который считается однимъ изъ лучшихъ произведеній чешской богословской литературы. Его собственныя (духовныя) стихотворенія тяжелы по формѣ, но проникнуты горячимъ патріотическимъ чувствомъ. Онъ рано задумалъ собраніе народныхъ пѣсенъ, питая опасенія, что чешскому племени грозитъ погибель, какъ Балтійскому Славянству; потомъ его завлекли поэтическія красоты этихъ произведеній. Первый сборникъ его вышелъ въ 1835—40 году; 2-е изданіе, 1860 года [2]), считается въ ряду лучшихъ собраній славянскихъ пѣсенъ по обилію матеріала, по точности изданія, по богатству народныхъ мелодій [3]).

Другой прилежный собиратель есть Бенешъ-Методъ Кульда (род. 1820). Родомъ также Мораванъ, Кульда учился въ бèрненской семи-

---

[1]) Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Vydává péčí komise pro sbírání nár. pohadek etc. literární řečnícký spolek «Slavia» v Praze. 1-й отдѣлъ, 4 выпуска, Прага, 1873—75. 2-й отдѣлъ, съ болѣе подробнымъ заглавіемъ: Národni písně, pohádky, pověsti, říkádla, přislovi, pořekadla, obyčeje všeobecné a zejmena právní, 4 выпуска. Прага, 1877—78.

[2]) Moravské národni pisně s nápěvy do textu vřadenými. V Brně, 1860, большой томъ въ 800 стр. текста въ два и три столбца, съ напѣвомъ (нотами) для каждой пѣсни.

[3]) Ср. о характерѣ дѣятельности католическаго духовенства и общества св. Кирилла и Меѳодія, у Гильфердинга, Собр. Сочин., II, 99—100.

наріи и образовался вообще подъ вліяніемъ Сушила; священникъ съ 1845, онъ также сталъ горячимъ ревнителемъ народнаго дѣла, участвовалъ въ патріотическихъ предпріятіяхъ въ Моравіи и послѣ въ Чехіи, и въ обществѣ св. Кирилла и Меѳодія; съ 1870 онъ сталъ вышеградскимъ каноникомъ въ Прагѣ. Его литературная дѣятельность выразилась, во-первыхъ, въ религіозно-поучительныхъ книгахъ для народа—въ томъ католическомъ духѣ, который осуждается Гильфердингомъ, но достаточно объясняется тѣмъ, что католическое священство въ Моравіи составляло главную поддержку народнаго движенія; во-вторыхъ, въ очень цѣнныхъ работахъ этнографическихъ. Его „Народныя сказки и повѣсти изъ околья Рожновскаго", или такъ-называемой моравской Валахіи, вышли отдѣльной книжкой въ 1854; затѣмъ, въ 1870 — 1871, въ основавшемся тогда „Часописѣ" Моравской Матицы Кульда издалъ „Народныя повѣрья и обычаи" того же округа. То и другое онъ соединилъ потомъ въ новомъ изданіи [1]). Моравская Валахія отличается, по словамъ Кульды, особенной чистотой чешско-моравской народности, и собиратель старался передать народныя сказанія во всей ихъ народной подлинности. Наконецъ, тому же этнографу принадлежитъ любопытное изображеніе чешской народной *свадьбы* съ ея обычаями, рѣчами, пѣснями и ихъ напѣвами [2]).

Ранѣе Кульды собиралъ народныя сказанія моравскія и силезскія Матѣй Микшичекъ, въ сороковыхъ годахъ [3]).

О первыхъ изученіяхъ народной поэзіи Словаковъ мы упоминали выше, говоря о трудахъ Шафарика и Коллара. Въ ту пору, у Словаковъ и у Чеховъ это были люди, наиболѣе живо чувствовавшіе народную поэзію и наиболѣе сознательно понимавшіе необходимость ея изученія. За сборникомъ пѣсенъ Шафарика, 1823—27, слѣдовало обширное двухъ-томное собраніе Коллара [4]). Еще въ „Дочери Славы" Колларъ прославлялъ богатство славянской пѣсни; въ объясненіяхъ къ своей поэмѣ онъ приводилъ рядъ свидѣтельствъ самихъ иноземцевъ объ этомъ поэтическомъ изобиліи [5]). Изданіе пѣсенъ исполнено

---

1) Moravské národní pohádky, povèsti, obyčeje a pověry. 2 книжки. Прага, 1874—75. Въ предисловіи (I, стр. 14) Кульда съ удовольствіемъ вспоминаетъ сочувственный отзывъ Гильфердинга о своемъ трудѣ.

2) Svadba v národě česko-slovanském či svadební obyčeje, řeči, promluvy, připitky a 73 svadebních písní a napěvů etc. Въ Оломуцѣ, 1862; 2-е изд. 1866; 3-е изд. 1875.

3) Sbírka povèstí moravských i slezských, 4 вып Оломуцъ, 1843—45; 2-е изд. 1850;—Národni báchorky, 2 вып. Зноймъ, 1845;—Pohádky a povídky lidu moravského. V Brně 1847.

4) Národnié Zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách gak pospolitého lidu tak i wyššjch stawů, sebrané od mnohých, w pořádek uwedené, wyswětlenjmi opatřené a wydané od Jana Kollára. W Budjně, 1834—35. До этихъ изданій нѣсколько словенскихъ пѣсенъ напечатано было въ журналѣ Громадка, и въ сборникѣ славянскихъ пѣсенъ Челяковскаго.

5) Въ предисловіи ко второму выпуску своихъ «Словенскихъ пѣсенъ» Шафарикъ

съ большимъ стараніемъ: оно чрезвычайно разнообразно, и это разнообразіе оттѣнено въ расположеніи матеріала; къ пѣснямъ прибавлено много историческихъ и этнографическихъ объясненій. Колларъ жаловался, что многіе его соотечественники встрѣтили его предпріятіе очень холодно, но въ тоже время оказывалось, что пѣсни обратили на себя вниманіе патріотовъ еще съ половины прошлаго столѣтія, и Колларъ могъ извлечь изъ старыхъ записей нѣсколько любопытныхъ памятниковъ старой поэзіи [1]).

Отмѣтимъ еще мало извѣстное, небольшое собраніе словенскихъ пѣсенъ, составленное Изм. Срезневскимъ еще ранѣе сборника Коллара, въ Харьковѣ, со словъ заходившихъ туда Словаковъ, мелкихъ торговцевъ [2]).

Съ основаніемъ словенской Матицы предпринято было и новое собраніе произведеній народной словесности [3]), — которое, кажется, не продолжалось по закрытіи Матицы. Въ этомъ изданіи соблюдались особенности народнаго мѣстнаго языка.

Первое небольшое собраніе словенскихъ сказокъ сдѣлалъ въ соро-

---

также съ гордостью указываетъ удивительное распространеніе пѣсни у Словаковъ, которое составляетъ обще-славянскую черту и котораго не могли не замѣтить самые непріятели Славянства. Одинъ Нѣмецъ, авторъ книги: Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland, Teutschland (1799) — говоритъ: «Необыкновенная любовь къ пѣнію составляетъ главную и прекрасную черту Славянъ. Весело ходить по полямъ во время жатвы: тогда все поетъ. Рѣдко можно встрѣтить, чтобы славянская женщина молчала: она болтаетъ или поетъ. Въ нѣмецкихъ мѣстахъ, гдѣ служатъ славянскія дѣвушки, онѣ всегда по утрамъ, набравши травы, толпой возвращаются съ пѣснями. Славяне имѣютъ въ этомъ рѣшительное преимущество передъ Нѣмцами, которыхъ Райхардъ справедливо назвалъ безпѣсенными (sanglose) Нѣмцами».

Шафарикъ приводитъ еще другое нѣмецкое свидѣтельство изъ Gemeinnütziger und erheiternder Hauskalender für das Oesterr. Kaiserthum auf das Jahr 1823, Wien, гдѣ описывается сборъ токайскаго винограда: «Замѣчательнѣйшую изъ группъ прилежныхъ работниковъ представляютъ Венгры. Хотя также, какъ другіе работники, они состоятъ изъ молодыхъ парней и дѣвушекъ, отъ нихъ чрезвычайно рѣдко услышишь народную пѣсню. Веселѣе идетъ сборъ винограда у Спишскихъ Нѣмцевъ. Но самая одушевленная жизнь подпимается между Словаками, которые сходятъ сюда съ горъ для собиранія винограда. Они не проводятъ минуты, не распѣвая своихъ пѣсенъ въ самыхъ разнообразныхъ мелодіяхъ. И словенскія народныя пѣсни дѣйствительно интересны, отчасти по ихъ особенной мелодіи, иногда чрезвычайно пріятной и украшаемой гибкостью языка, отчасти по ихъ содержанію. Свои элегическія пѣсни Словаки поютъ съ трогательнымъ чувствомъ, и только нѣкоторыя веселыя пѣсни поютъ во весь голосъ. Большая часть ихъ пѣсенъ могла бы дать артисту много матеріала для превосходнѣйшихъ варіацій».

[1]) Шафарикъ отзывался потомъ о сборникѣ Коллара: «Это — богатый складъ пѣсенъ, хорошо расположенный, исправно напечатанный и снабженный необходимыми объясненіями, складъ, какимъ въ этихъ отношеніяхъ едва ли можетъ похвалиться какая-нибудь иная вѣтвь Славянства. Что кромѣ пѣсенъ чисто народныхъ издатель принялъ въ свой сборникъ и нѣкоторыя иныя, идущія отъ ученыхъ слагателей и любимыя въ народѣ, это указано уже въ заглавіи и въ самой книжкѣ обширнѣе объясняется и ограждается доказательствами». См. «Часопись», 1838, или Sebrané Spisy, III, 409.

[2]) Словацкія пѣсни. Харьковъ, 1832. 16°, 60 стран.

[3]) Sborník Slovenských národních piesní, povestí, príslovi, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier. Связокъ I, 1870; 1-й выпускъ 2-го связка, 1874, Turč Sv. Martin.

ковыхъ годахъ названный нами ранѣе Франциsци, подъ псевдонимомъ Римавскаго [1]). Другое собраніе предприняли въ концѣ пятидесятыхъ годовъ Августъ-Гориславъ Шкультетый (Skultety) и Павелъ Добшинскій [2]). Послѣдній началъ недавно изданіе новаго ряда словенскихъ сказокъ, не вошедшихъ въ первое собраніе [3]), отчасти съ сохраніемъ мѣстныхъ говоровъ.

По народной поэзіи чешскаго племени есть, какъ мы видѣли, немало сборниковъ и хорошихъ, но историческое изученіе ея до сихъ поръ весьма недостаточно, особенно съ той критической точки зрѣнія, которая выработывается въ новѣйшей этнографической наукѣ. Кромѣ упомянутыхъ частныхъ комментаріевъ къ пѣснямъ и преданіямъ, кромѣ отдѣльныхъ сторонъ, гдѣ изъ народной поэзіи брался матеріалъ для славянской миѳологіи (какъ въ изслѣдованіяхъ Шафарика, Эрбена, Гануша, русскихъ миѳологовъ), народная поэзія Чеховъ, Моравaнъ и Словаковъ еще не была представлена въ цѣломъ историческомъ развитіи. Одна изъ первыхъ попытокъ общей характеристики сдѣлана была въ книгѣ О. М. Бодянскаго: „О народной поэзіи славянскихъ племенъ“ (Москва, 1837). Подобный общій трудъ представляетъ книга Людевита Штура о народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ славянскихъ племенъ [4]): живо написанная, она даетъ только изображеніе самыхъ общихъ свойствъ народной славянской поэзіи, и лишь въ немногихъ словахъ указываетъ отличія ея у разныхъ племенъ (стр. 142—144).

Послѣ Штура не было, кажется, другого цѣльнаго труда ни о народной поэзіи славянской вообще, ни отдѣльно въ племени чешско-словенскомъ. Укажемъ нѣсколько частныхъ работъ.

Словенскіе патріоты особенно дорожатъ своей народной поэзіей, но тѣ, которые хотѣли объяснить ея значеніе, понимали его всего чаще въ отвлеченномъ, нѣсколько мистическомъ смыслѣ. Янко Римавскій видѣлъ въ сказкахъ проявленіе самобытнаго славянскаго духа и пророчества о славянской будущности. На основаніи сказокъ, другой писатель, Петоръ-Забой Келльнеръ-Гостинскій составилъ изложеніе „Veronauky Slovenskej“ [5]). П. Добшинскій написалъ „Uvahy o slovenských povestiach“ (Turč. Sv. Martin, 1871), гдѣ на основаніи сказокъ выведена цѣлая народная философія, по рубрикамъ: báječnost povesti, bohoveda, svetoveda, človekoveda, pomery človeka, osud и проч., но

[1]) Slovenskje povesti. Usporjadau a vidau Janko Rimavski. V Levoči, 1845.

[2]) Povésti prastarých báječných časův. Slovenské povésti. Въ Рожнавѣ и Штявницѣ, 1858—61, 6 выпусковъ.

[3]) Prostonárodnie Slovenské povesti. Usporiadal a vydáva Pavol Dobšinský. Вып. I, Turč. Sv. Martin, 1880 (маленькая книжка).

[4]) O národních písních a povéstech plemen slovanských. Прага, 1853. Эта книга, раньше нами упомянутая, была написана первоначально по-словенски и переведена на чешскій Калинчакомъ. (Ср. Dobšinský, Uvahy etc., стр. 4).

[5]) Въ Великой Ревуцѣ, 1872.

недостаетъ первоначальной критической обработки и, напр., выдѣленія собственно словенскихъ особенностей изъ общаго сказочнаго типа [1]).

У Чеховъ изученія народной поэзіи также рѣдки; но здѣсь мы встрѣтимъ уже иные пріемы изслѣдованія. Назовемъ въ особенности книгу Соботки: Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájich, obřadech a pověrách slovanských. Příspěvek k slovanské symbolice“ (Прага, 1879). Примусъ Соботка давно началъ свои изслѣдованія о славянской символикѣ [2]), и расширилъ ихъ до цѣлаго трактата о растеніяхъ народной славянской поэзіи. Онъ взялъ въ основу пѣсни и преданія всѣхъ славянскихъ племенъ и руководился новыми изысканіями по миѳологіи и этнографіи, въ томъ числѣ и нѣкоторыми русскими. Книга его представляетъ много любопытныхъ сличеній. Недавно появилось начало дальнѣйшаго труда Соботки—о царствѣ животныхъ въ народной поэзіи. Очень интересную тему взялъ I. Дуновскій, въ статьѣ „о пѣснѣ нѣмецкаго народа въ отношеніи къ простонародной пѣснѣ славянской“ [3]): цѣль его—разсмотрѣть, какъ отражалось въ пѣснѣ взаимное вліяніе двухъ племенъ; какъ иноземный сюжетъ видоизмѣнялся, принимая славянскую одежду, какъ вошли въ славянскую пѣсню многіе чужіе элементы, иногда грубо нарушающіе славянскій характеръ, какъ въ земляхъ, уже вполнѣ онѣмеченныхъ, пробивается своеобразная струя первобытной славянской старины. Предметъ очень важенъ и заслуживалъ бы болѣе подробнаго изслѣдованія. Затѣмъ, остается упомянуть, что отдѣльныя описанія народнаго быта, частности народной поэзіи и т. п. разсѣяны въ журналахъ, ученыхъ и популярныхъ [4]).

Такимъ образомъ серьёзное изслѣдованіе чешской поэзіи едва начинается. Штуръ, котораго книга еще остается авторитетной, опредѣляя относительное значеніе народной поэзіи у славянскихъ племенъ, на первомъ планѣ ставилъ поэзію старо-чешскую, затѣмъ малорусскую, сербскую и наконецъ русскую. Какъ склонны сохранить это отношеніе теперь, можно видѣть изъ мнѣній Ягича. Штуръ замѣчалъ только,

---

[1]) Укажемъ еще статьи въ «Лѣтописѣ» Словенской Матицы: Sasinek, Slovania a hudba, III—IV, вып. 1, стр. 14—20. Jan Bella, Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu, X, вып. 2, стр. 10—29.

[2]) Въ «Освѣтѣ», 1872.

[3]) Въ журналѣ «Květy», 1879, кн. 7—12.

[4]) См. напр. въ «Часописѣ» Моравской Матицы (до 1880, XI ročниковъ) статьи В. Брандля, Фр. Бартоша, Том. Шимберы и проч. Наконецъ, къ чешской народной поэзіи относятся различныя работы на нѣмецкомъ языкѣ, какъ переводы изъ чешскихъ пѣсенъ (Венцига), изъ сказокъ и преданій (Вальдау, Венцига, Громанна), этнографическія сочиненія Иды фонъ-Дюрингсфельдъ и бар. Рейнсберга, и т. д.

Замѣтимъ еще сужденіе о чешской народной поэзіи въ книгѣ Хоецкаго, Czechja i Czechowie, I, 209—215. Любопытенъ отзывъ о чешскихъ писателяхъ, которые, по мнѣнію Хоецкаго, почти всѣ—послѣдователи народной пѣсни, но всѣ рѣдко умѣютъ передать правдиво ея характеръ: «był to wieśniak teatralny, piękniéj wystrojony, ale mający w sobie tyle prawdy, ile się mogło jéj zmieścić na deskach sceny».

что позднѣйшая чешская поэзія утратила прежнюю самобытность и богатство.

Можно принять, что чешская поэзія,—насколько достигають теперь историческія свидѣтельства и соображенія,—совсѣмъ не знала эпоса, какимъ владѣютъ племя русское, сербское и болгарское; она была исключительно лирическая, съ болѣе или менѣе обильнымъ элементомъ обрядовой поэзіи, гдѣ и хранилась ея главная старина. Раннія вліянія иноземныхъ нравовъ, городской жизни, школы стирали больше и больше ея первобытно-славянскія черты, которыя, какъ обыкновенно, сохранялись гораздо живѣе тамъ, куда упомянутыя вліянія не проникали: такъ, этого первобытнаго больше въ пѣсняхъ Моравань и Словаковъ. Повидимому гуситская эпоха могла бы дать матеріалъ для новаго эпоса, какъ сильное національное движеніе: но это движеніе было раздѣлено на двѣ стороны въ самомъ народѣ, не было цѣльнаго общаго порыва,—какъ было, напр., въ козацкихъ войнахъ, создавшихъ новый эпосъ малорусскій, да и вообще періодъ свѣжаго широкаго народнаго творчества уже миновалъ.

Достаточно сравнить чешскія пѣсни, напр., обрядовыя, съ русскими, чтобы увидѣть, что чешскія составляютъ гораздо новѣйшую формацію: въ нихъ несравненно слабѣе или вовсе отсутствуетъ тотъ архаическій элементъ, который представляетъ собою столько отголосковъ древне-народныхъ нравственныхъ взглядовъ и поэтическаго чувства, столько наивной глубины и неподдѣльныхъ красотъ. Поэтическая наклонность живетъ еще въ народѣ, но создаетъ пѣсни уже въ новой обстановкѣ всего быта,—до того, что любящіе юноша и дѣвушка являются въ моравской пѣснѣ какъ „galan" и „galanka" (!); вмѣшательство новизны въ содержаніи сопровождалось измѣненіемъ въ формѣ, напр. дѣленіемъ на правильныя строфы, риѳмой. Давно замѣчали, что подъ вліяніями нѣмецкими и городскими чешская пѣсня неблагопріятно измѣнилась и въ своемъ тонѣ... При всемъ томъ, народная пѣсня Чеховъ, Моравань и Словаковъ, гдѣ больше сбереглась ея старина, и затѣмъ народныя сказки, преданья и повѣрья сохранили еще много истинной поэзіи и оригинальнаго склада. Надо желать, чтобы національно-поэтическое и бытовое содержаніе всѣхъ этихъ произведеній нашло, наконецъ, опытнаго историко-этнографическаго изслѣдователя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

БАЛТІЙСКОЕ СЛАВЯНСТВО.—СЕРБЫ ЛУЖИЦКІЕ.

Лужичане, или Сербы Лужицкіе, въ прусскомъ и саксонскомъ Лаузицѣ (Лужицахъ), какъ поморскіе Словинцы и Кашубы на восточномъ прусскомъ берегу Балтійскаго моря, составляютъ нынѣ небольшой обломокъ нѣкогда обширнаго славянскаго населенія, покрывавшаго весь сѣверъ нынѣшней Пруссіи, ограничиваясь на сѣверѣ Балтійскимъ моремъ, на западѣ Эльбой (или даже переходя Эльбу), на востокѣ Чехіей и Польшей. Это Славянство, раздѣленное на нѣсколько крупныхъ и множество мелкихъ вѣтвей и называемое у новѣйшихъ историковъ географически *Балтійскимъ* и *Полабскимъ* (т.-е. по-эльбскимъ), никогда не составляло одного національнаго и политическаго цѣлаго. Когда оно явилось впервые въ поморскомъ Балтійскомъ краѣ и по Эльбѣ, исторія не даетъ достовѣрныхъ указаній; но очень вѣроятно предположеніе, что оно двигалось съ востока на западъ изъ странъ по Вислѣ. Балтійское Славянство представляло три главныя группы: край сѣверо-западный занимали Ободриты, на востокъ и югъ отъ нихъ жили Лютичи или Вильцы, за Одеромъ — Поморяне. Сербы Лужицкіе составляли родственную, но отдѣльную группу, которая отчасти имѣла и иную историческую судьбу.

По племеннымъ отличіямъ, собственно Балтійское Славянство принадлежало къ ляшской отрасли,—какъ еще Несторъ въ общемъ племени Ляховъ считаетъ, во-первыхъ, Полянъ (т.-е. Поляковъ собственно), потомъ „другихъ Ляховъ"—Лютичей, Мазовшанъ и Поморянъ. Но въ то время, какъ восточная половина ляшскаго племени объединилась въ польское государство, половина западная осталась раздробленной, не только не объединялась, но жила въ постоянномъ отчаянномъ раздорѣ и тѣмъ приготовила свою гибель. Историческія преданія разсказываютъ о природныхъ богатствахъ земель Балтійскаго Славянства, о цвѣтущихъ торговыхъ городахъ Поморья, о предпріимчивости сла-

вянскихъ мореходовъ, торговцевъ и авантюристовъ; легенда изукрасила преданья о богатствахъ Волина; въ послѣднее время русскіе историки ищутъ здѣсь, въ странахъ Балтійскаго Славянства, ту смѣлую и энергическую „Русь-Варяговъ“, которые должны были положить краеугольный камень русскаго государства.

Но все это пошло прахомъ и погибло. Исторія Балтійскаго Славянства есть упорная трагическая борьба съ германскимъ племенемъ, съ Норманнами, Датчанами и Нѣмцами, тянувшаяся нѣсколько вѣковъ и кончившаяся паденіемъ Славянства. Опасность не соединила племенъ; были попытки общаго дѣйствія, но чаще вражда къ Нѣмцамъ шла рядомъ съ враждой междоусобной, и Нѣмцы находили помощь у одного племени противъ другого. Карлъ Великій велъ противъ нихъ систематическую войну; въ его войскѣ уже сражались Славяне противъ Славянъ. Борьба была теперь уже не только племенная, но и религіозная: христіанское германство стремится одолѣть Славянъ политически и вмѣстѣ ввести у нихъ христіанство. Бывали искренніе и самоотверженные проповѣдники христіанства, какъ знаменитый епископъ Оттонъ Бамбергскій, но чаще введеніе христіанства было слѣдствіемъ военнаго покоренія. Разладъ въ средѣ самого Славянства, мѣстная исключительность, неспособность къ общему дѣйствію только облегчали дѣло непріятеля; Датчане и Нѣмцы захватывали все больше славянской почвы, распоряжались славянскими княжествами, и во второй половинѣ XII вѣка Балтійское Славянство было или совсѣмъ покорено Нѣмцами или стояло въ полной отъ нихъ зависимости.

Паденіе Балтійскаго Славянства постоянно изображалось новѣйшими славянскими историками, какъ печально-грандіозный, трагическій урокъ. Причина паденія лежала въ немъ самомъ: это — „беззаботность существованія, умственная малоподвижность, безпечность о будущемъ, какое-то инстинктивное отвращеніе отъ далекаго разсчета, отъ привычки осматриваться и взвѣшивать свое положеніе и идти впередъ путемъ сознательныхъ дѣйствій къ твердо опредѣленной цѣли;—такой *историческій порокъ* обусловилъ другіе: бытовую консервативность и застой, неумѣніе жертвовать частными интересами общему благу, наклонность къ мелкой приходской враждѣ и раздору“ [1]).

Общій историческій смыслъ этихъ событій была встрѣча двухъ разныхъ ступеней историческаго развитія. Нѣмцы, съ принятіемъ христіанства и римско-христіанской образованности, получили тѣмъ самымъ нравственный и умственный перевѣсъ; Славянство не могло противопоставить ему равносильнаго содержанія и, покорившись этому перевѣсу,

[1]) Котляревскій, Древности юрид. быта Балт. Славянъ. Прага 1874, стр. 59. Ср. любопытныя замѣчанія о Балтійскомъ Славянствѣ Хомякова, въ письмахъ къ Гильфердингу (въ «Р. Архивѣ» Бартенева).

подчинилось и его орудію—нѣмецкой національности. Раннее принятіе христіанства и образованіе государства у Чеховъ и Поляковъ остановило здѣсь и потокъ германизаціи.

Съ окончательной побѣдой Нѣмцевъ, на всемъ пространствѣ земель Балтійскихъ Славянъ начался періодъ быстраго онѣмеченія. Водвореніе христіанства, которое само было уже слѣдствіемъ побѣды, устранило религіозные мотивы борьбы, такъ сильно дѣйствовавшіе въ Славянахъ языческихъ, и повело за собой нѣмецкую колонизацію, нанесшую послѣдній ударъ національному быту, а затѣмъ самому существованію Славянства.—Какъ только политическое господство принадлежало Нѣмцамъ, колонизація пошла быстрыми шагами. Страна, покрытая въ тѣ вѣка множествомъ лѣсовъ и болотъ, имѣла много незаселенныхъ мѣстъ; упорныя войны еще уменьшили населеніе; и когда въ новыхъ земляхъ розданы были земли нѣмецкому рыцарству, съ нимъ являлось и нѣмецкое населеніе. Въ ряды нѣмецкаго вассальнаго дворянства перешла прежде всего славянская шляхта; духовенство состояло исключительно изъ Нѣмцевъ; города, прежніе славянскіе и вновь построенные нѣмецкіе, наполнились нѣмецкимъ мѣщанствомъ. на нѣмецкихъ правахъ. Славяне остались поселянами. Съ этимъ даны были всѣ условія полнаго обнѣмеченія. „Славянскій простолюдинъ слышалъ въ городѣ, въ за́мкѣ, въ церкви и школѣ, отъ своихъ учителей-священниковъ, наконецъ и отъ своихъ сожителей-крестьянъ только нѣмецкій говоръ. Нѣмецкій языкъ сталъ все больше и больше вліять на славянское нарѣчіе, которое, будучи достояніемъ одного только простого народа, не сдѣлалось литературнымъ языкомъ. Нѣмецкое вліяніе коснулось, во-первыхъ, формальной, лексикальной стороны славянскаго языка, который принялъ множество чужихъ словъ; дальше оно коснулось и матеріальной стороны языка, его грамматическаго и синтаксическаго строя, такъ что подъ конецъ славянскій языкъ представлялъ какую-то изувѣченную, безобразную массу, пропитанную насквозь нѣмецкимъ духомъ. На родномъ языкѣ говорили по бо́льшей части старики, а молодежь стала его забывать и предпочитать языкъ своихъ господъ и учителей“ [1]).

Уже внуки знаменитаго Никлота, одного изъ послѣднихъ князей Балтійскаго Славянства, приняли нѣмецкій языкъ и обычаи и способствовали усиленію нѣмецкаго элемента надъ славянскимъ. Княжескіе роды, которые уцѣлѣли, вообще охотно онѣмечивались, писали латинскія и нѣмецкія грамоты, окружали себя по нѣмецкимъ обычаямъ придворными чиновниками и т. д. Послѣдній представитель княжескаго рода въ Ранѣ (Рюгенѣ) Выславъ, или Вышеславъ, въ на-

---

[1]) Первольфъ, Германизація и пр., стр. 18.

чалѣ XIV столѣтія, сталъ даже нѣмецкимъ миннезингеромъ. Князь Штетина, нѣкогда богатаго славянскаго города, Барнимъ, въ половинѣ XIII столѣтія былъ уже рѣшительнымъ сторонникомъ нѣмецкаго элемента и врагомъ своего племени; нѣмецкій поэтъ восхвалялъ его, какъ „кроткаго штетинскаго князя". Здѣсь, напр., славянское происхожденіе княжескаго рода выразилось только тѣмъ единственнымъ признакомъ, что княжескій родъ продолжалъ употреблять славянскія имена — до самаго своего прекращенія, въ XVII столѣтіи.

Въ первое время послѣ покоренія, Славяне еще не исключались изъ общественнаго права, напр. могли принадлежать къ городскому сословію; но съ XV вѣка начинаются прямыя исключенія Славянъ изъ городского права и изъ важнѣйшихъ цеховъ. Позднѣе, Славянство уже прямо пренебрегается: славянское, „вендское", происхожденіе лишаетъ правъ; „вендскій" языкъ и обычай дѣлается предметомъ насмѣшекъ. Славянскій народъ началъ таиться передъ чужимъ человѣкомъ, молодыя поколѣнія влеклись къ болѣе широкой жизни нѣмецкой, и народность вымирала.

Онѣмеченіе шло очень быстро. Начавшись съ XIII вѣка, оно въ главномъ уже покончилось въ XV столѣтіи, въ однихъ мѣстностяхъ раньше, въ другихъ позднѣе, по различнымъ мѣстнымъ условіямъ. Въ половинѣ XV вѣка уже очень немногіе Славяне встрѣчаются между Эльбой и Одеромъ; они удержались дольше въ области нижней Эльбы, въ юго-западной части Мекленбурга до начала XVI вѣка, а за Эльбой въ Люнебургѣ до начала XVIII; остатки Поморянъ, Кашубы и балтійскіе Словинцы, сохраняются до нашихъ дней...

Судьба Балтійскаго Славянства могла бы быть обойдена въ нашемъ изложеніи. Если есть намеки на существованіе у него письменности, то вѣроятно не было все-таки никакой литературы. Но съ другой стороны Балтійское Славянство можетъ найти мѣсто въ исторіи славянской культуры, по разнымъ основаніямъ. Во-первыхъ, какъ явленіе отрицательное: это—руина, свидѣтельствующая о гибели цѣлаго племени, чисто славянскаго, нѣкогда сильнаго, но потомъ быстро истаявшаго. Процессъ исчезновенія видѣнъ, но все-таки оно загадочно по быстротѣ, съ которой совершилось. Въ новѣйшее время славянскихъ патріотовъ постоянно тяжело поражала эта историческая судьба, въ которой они видѣли урокъ—остерегающій отъ внутренняго раздора между братьями; но не надо забыть другого урока, остерегающаго отъ безпечности о будущемъ и умственной малоподвижности. Во-вторыхъ — какъ предметъ, который въ послѣднія десятилѣтія возбудилъ особенное вниманіе славянской ученой литературы.

Балтійскому Славянству посвящена въ послѣднее время обильная литература историческихъ и филологическихъ изслѣдованій, реставри-

рующихъ прошлое этой руины. Изысканія опираются прежде всего на латинскихъ хронистахъ, описывавшихъ борьбу Нѣмцевъ съ этими Славянами и обращеніе послѣднихъ въ христіанство; но кромѣ этихъ свѣдѣній можно возстановлять древнюю территорію славянскихъ княжествъ по множеству славянскихъ географическихъ названій, сохраненныхъ даже въ гораздо позднѣйшихъ актахъ, а отчасти уцѣлѣвшихъ, въ болѣе или менѣе испорченной и онѣмеченной формѣ, и до настоящей минуты: наконецъ, сохранились, хотя отрывочно, свидѣтельства объ языкѣ Балтійскихъ Славянъ, которыя дали возможность раскрыть ихъ племенную принадлежность. Только отъ западной отрасли ихъ уцѣлѣли до нашего времени потомки, все-таки исчезающіе, въ Кашубахъ и Словинцахъ; отъ восточной и средней отрасли остались лишь немногіе обломки языка, случайно сбереженные.

Здѣсь, всего дольше славянскій элементъ удержался въ Люнебургѣ. Въ началѣ XVIII столѣтія только старики знали языкъ отцовъ. Въ Вустровѣ (Островъ) въ послѣдній разъ богослуженіе исполнялось по-славянски въ 1751. По свидѣтельству Потоцкаго и Аделунга [1]) славянскій языкъ вымеръ окончательно къ началу нашего столѣтія; но около 1826 нѣмецкій ученый Версебе (Wersebe) утверждалъ, что въ его время были еще старики, знавшіе славянскій языкъ.

Впервые обращено было вниманіе на эти остатки народности и языка Балтійскаго Славянства, уже какъ на предметъ научнаго любопытства, знаменитымъ Лейбницомъ. По его желанію, пасторъ въ Люховѣ, Георгъ Митгофъ, послалъ ему въ 1691 нѣкоторыя свѣдѣнія объ этихъ Славянахъ съ небольшимъ собраніемъ словъ и молитвъ; онѣ напечатаны были уже по смерти Лейбница Эккардомъ (Historia studii etymolog. Ганноверъ, 1711). Затѣмъ Іог. Пфеффингеръ въ Люнебургѣ собралъ въ 1698 нѣсколько сотъ словъ, „Отче нашъ“ и одну свадебную пѣсню на „вендскомъ“ языкѣ, которыя также изданы у Эккарда. Но самый богатый сборникъ сдѣлалъ пасторъ въ Вустровѣ Христіанъ Геннингъ (или Генигенъ), который давно уже собиралъ свѣдѣнія о славянскихъ жителяхъ своего прихода, записывая слова и фразы отъ крестьянина Яна Янишка (Janieschge); къ этому словарю онъ прибавилъ краткія свѣдѣнія о „Вендскомъ народѣ“ и особенно о люнебургскихъ Вендахъ, 1705. Послѣдующіе собиратели, какъ Янъ Парумъ Шульце (1698—1734), Домейеръ, пасторъ въ Данненбергѣ (въ 1743—45 г.) и другіе, главнымъ образомъ пользовались указанными тремя предшественниками. Наконецъ заинтересовались остатками „Вендовъ“ новые славянскіе ученые: Добровскій (въ „Слованкѣ“), Челяковскій, который, какъ говорятъ, собралъ весь упомянутый ма-

[1]) Voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe, 1795; Mithridates, изд. 1806, 1809—17.

теріалъ въ цѣльный словарь, но его работа, посланная 1830 г. въ Петербургъ, пропала; но въ особенности Гильфердингъ и Шлейхеръ, которымъ принадлежатъ главные труды по реставраціи языка люнебургскихъ Вендовъ или старыхъ Древанъ.

Наконецъ отмѣтимъ труды по исторіи Балтійскаго Славянства вообще. Они начаты были, особливо съ прошлаго вѣка, нѣмецкими учеными, изучавшими свою мѣстную исторію, въ началѣ которой встрѣчали Славянство. Мы указываемъ въ примѣчаніи обильный матеріалъ, доставленный ихъ трудами, которые продолжаются усердно и понынѣ. Въ новѣйшей литературѣ славянской, начиная съ Шафарика (въ его „Древностяхъ“), существуетъ уже цѣлый рядъ замѣчательныхъ изслѣдованій о Балтійскомъ Славянствѣ, авторами которыхъ были опять Гильфердингъ, далѣе А. Павинскій, А. Котляревскій, І. Первольфъ и другіе [1]).

---

[1]) Литература о Балт. Славянствѣ представляетъ обширную массу историческихъ источниковъ и новыхъ изысканій. Древнія свѣдѣнія находятся у латино-нѣмецкихъ и датскихъ лѣтописцевъ и спеціальныхъ историковъ, каковы: Эйнгардъ, біографъ Карла В. и анналистъ, ум 840; Видукиндъ, пис. около 967 — 968; Титмаръ Мерзебургскій, ум. 1018; Адамъ Бременскій, пис. около 1075; монахъ Эбонъ, біографъ Оттона Бамбергскаго, пис. около 1151; Гербордъ, около того же времени; Гельмольдъ, пис. въ 1172; Саксонъ Грамматикъ, пис. около 1181—1208 и пр.; далѣе въ старыхъ актахъ, которые собраны въ обширныхъ изданіяхъ, напр. Лейбница (Scriptores rerum Brunsw.), Фабриціуса (Urkunden zur Geschichte der Fürst-ms Rügen), Гассельбаха и Козегартена (Codex Pomeraniae diplomaticus), Клемпина (Pommersches Urkundenbuch), Лангебекъ (Scriptores rerum Danicarum), Риделя (Riedel: Codex diplomat. Brandenburg.), Раумера (Regesta historica Brandenburg.), Зудендорфа (Urkundenbuch zur Gesch. der Herzöge v. Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande) и проч.

Многочисленныя изслѣдованія по мѣстной исторіи являются еще съ прошлаго вѣка и даже ранѣе въ трудахъ нѣмецкихъ ученыхъ, которые издавна усердно занимались изученіемъ исторіи своихъ земель, нѣкогда отвоеванныхъ у Балтійскаго Славянства. Назовемъ, напр., Schwartz, Einleitung zur Geogr. der nord deutsch-slaw. Nation. Greifswald 1745;—Lützow, Versuch einer pragm. Geschichte von Mecklenburg. Berlin 1827 — 35; — Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Hamburg, 1839—45, 4 тома;—Giesebrecht, Wendische Geschichten. Berlin, 1843, 3 тома;—Wigger, Mecklenburgische Annalen bis zum Jahre 1066, Schwerin 1860;—наконецъ рядъ болѣе спеціально-мѣстныхъ изслѣдованій, которыя можемъ указать только частію, какъ: Fidicin, Die Territorien der Mark Brandenburg; Klöden, Entstehung der Städte Berlin und Kölln; Jacobi, Slaven- und Teutschthum in cultur- und agrarhist. Studien, besonders aus Lüneburg und Altenburg; Hammerstein, Der Bardengau; R. Andree, Wendische Wanderstudien, и пр. Нѣмецкіе ученые обратили вниманіе и на особенную этнографическую сторону предмета. Славянскія племена тѣхъ краевъ, потерявши языкъ, не потеряли вполнѣ своихъ этнографическихъ отличій и еще сохраняютъ ихъ въ чертахъ быта и преданіяхъ. Въ этомъ отношеніи предметъ изслѣдовали: Hennings, Das hannoversche Wendland (Lüchow, 1862), Sagen und Erzählungen aus dem hann. Wendlande (Lüchow, 1864); Köhler, Volksglaube im Voigtlande; Ed. Ziehen, Wendische Weiden; Erzählungen aus dem wendischen Volksleben (Frankf. 1854); Geschichten und Bilder aus dem wend. Volksleben (Hannover, 1874, 2 ч.).

Въ славянскихъ литературахъ, послѣ Шафарика («Древности»; Slov. Narodopis, стр. 107—109) Балтійскимъ Славянствомъ занимались особенно русскіе ученые. Изъ новыхъ трудовъ, по исторіи см.:

Возрожденіе маленькаго племени Лужицкихъ Сербовъ, въ саксонской и прусской Лузаціи (Лужицы, Lausitz), представляетъ одинъ изъ любопытныхъ эпизодовъ современнаго славянскаго движенія. Лужицкій народецъ, издавна покоренный и окруженный Нѣмцами, успѣлъ сохранить свою народность, и въ послѣднее время, преимущественно съ 1830-хъ годовъ, посвятилъ ей такія патріотическія заботы, что повидимому обезпечилъ ея цѣлость, по крайней мѣрѣ заявилъ такъ ревностно свою народность, какъ она еще никогда не заявляла себя въ свое тысячелѣтнее рабство. Это возрожденіе началось также независимо, какъ и въ другихъ народностяхъ, развилось изъ собственныхъ мѣстныхъ потребностей маленькаго племени, — но затѣмъ, когда ему уже положено было прочное основаніе въ его внутреннемъ сознаніи, оно примкнуло къ цѣлому славянскому движенію и вступило на путь славянской „взаимности". Представители славянскаго движенія, ученые разныхъ славянскихъ племенъ,—Палацкій, Мацѣевскій, Штуръ, Милутиновичъ, Срезневскій, Бодянскій (позднѣе Гильфердингъ, Ламанскій и др.),—посѣтили новооткрывшееся поле національной жизни и, передавши славянской публичности это новое движеніе, помогли и самимъ Лужичанамъ найти ихъ національныя связи съ остальными на-

---

— А. Гильфердингъ, Исторія Балтійскихъ Славянъ, т. I, М. 1855, и вполнѣ въ Собр. Сочин., т. IV, Спб. 1874.

— А. Павинскій, Полабскіе Славяне, Спб. 1871.

— Ѳ. Я. Фортинскій, Титмаръ Мерзебургскій и его хроника. Спб. 1872.

— А. Котляревскій, Древности права Балт. Славянъ, Прага. 1874; Книга о древностяхъ и исторіи Поморскихъ Славянъ въ XII вѣкѣ. (Сказанія объ Оттонѣ Бамбергскомъ въ отношеніи славянской исторіи и древности). Прага, 1874. Ср. Zittwitz, Die drei Biographien Otto's von Bamberg, въ Forsch. zur deutschen Gesch. Gött. 1876. XVI.

— И. Лебедевъ, Послѣдняя борьба Балт. Славянъ противъ онѣмеченія. Часть I. (борьба Оботритовъ и Лютичей противъ Генриха Льва и Вальдемара I). Часть II. «Обзоръ источниковъ исторіи Балт. Славянъ съ 1131 по 1170 годъ». М. 1876.

— I. Первольфъ, Германизація Балт. Славянъ. Спб. 1876.

По языку:

— Бурмейстеръ, Ueber die Sprache früher in Mecklenburg wohnenden Obotriten-Wenden, переведено въ «Трудахъ Росс. Академіи», 1841, IV, стр. 1—52.

— Воцель, Památky Lutických Slovanů. въ «Часописѣ», 1849, т. II, 104—127.

— Гильфердингъ, Памятники нарѣчія Залабскихъ Древлянъ и Глинянъ. Спб. 1856.

— Ганушъ, Zur Literatur und Geschichte der slaw. Sprachen in Deutschland, nam. der Sprache der ehemaligen Elbeslawen oder Polaben, въ «Slaw. Bibliothek», Миклошича, т. II, Вѣна. 1858. Подробный библіографическій обзоръ сборниковъ стараго балтійскаго нарѣчія.

— Dr. Pful, Pomniki Połobjan Słowjanšćiny, въ «Часописѣ» сербо-лужицкой Матицы, 1863, стр. 28—67, 69—138; 1864, 139—195, 199—241.

— Бодуэнъ де-Куртенэ, О древне-польскомъ языкѣ до XIV ст. Лейпцигъ, 1870.

— Aug. Schleicher, Laut- und Formenlehre der polabischen Sprache. Спб. 1871 («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1873, 168; II, 424—446).

— С. Микуцкій, Остатки языка полабскихъ Славянъ. Спб. 1871.

Ср. также приведенныя выше свѣдѣнія объ остаткѣ поморскаго Славянства, Кашубахъ.

родами цѣлаго племени. Съ тѣхъ поръ забытое племя входитъ въ общій счетъ славянской національности, и ученое славянское пилигримство въ своихъ странствіяхъ не забываетъ Будишина (Бауценъ), гдѣ сосредоточивается образовательная дѣятельность маленькаго племени.

Нынѣшніе Лужичане составляютъ небольшой остатокъ Славянства, населявшаго нѣкогда сѣверъ нынѣшней Германіи, но, какъ мы замѣчали, и въ древнія времена были отдѣльной племенной варіацией относительно собственно Полабскихъ Славянъ [1]). Между Салой и Мульдой, между нынѣшнимъ Лейпцигомъ и Дрезденомъ къ сѣверу вѣроятно до „Сербища" (нынѣ Цербстъ) и южнѣе до Чешскихъ горъ, жили Сербы, съ разными подраздѣленіями; отъ нихъ за Эльбой—Мильчане, около Будишина; на сѣверъ отъ послѣднихъ, въ низменныхъ мѣстахъ—Лужичане, и т. д. Эти славянскіе народцы извѣстны средневѣковымъ писателямъ уже съ VI—VII столѣтія, а съ VIII—IX вѣка они упоминаются подъ общимъ именемъ Вендовъ (Винидовъ, Венедовъ) или Сербовъ (Сорбовъ, Сурбовъ) и подъ болѣе частными племенными названьями. Впослѣдствіи имя Лужичанъ стало господствующимъ. Судя по немногимъ историческимъ даннымъ, бытъ Лужицкихъ Сербовъ представлялъ извѣстныя черты славянской патріархальной демократіи; но отдѣльныя общины, по славянскому обыкновенію, жили особнякомъ, безъ достаточной связи между собою, и отсутствіе единства открыло дорогу нѣмецкому владычеству, которое уже со временъ Карла Великаго намѣтило свою цѣль въ этихъ славянскихъ земляхъ. Начиная съ тѣхъ поръ, эта часть Полабскихъ Славянъ мало-по-малу была покорена, сначала Сербы при Генрихѣ Птицеловѣ, потомъ Мильчане и Лужичане при Оттонѣ: къ XI вѣку племенная самостоятельность ихъ кончилась. Лужицкая земля еще долго потомъ была предметомъ феодальныхъ споровъ и переходила изъ рукъ въ руки: доставалась маркграфамъ Мейссенскимъ и Бранденбургскимъ, была подъ властью Поляковъ, долго (до самаго паденія Чехіи) принадлежала чешской коронѣ,—не спасавшей, впрочемъ, ея славянской народности отъ нѣмецкаго угнетенія,—наконецъ вошла въ составъ Саксоніи, выдержала ужасы тридцати-лѣтней войны, раздѣлилась между Саксоніей и Пруссіей, которымъ теперь и принадлежатъ уцѣлѣвшія части лужицкаго народа.

Нѣмецкое покореніе своими ближайшими слѣдствіями имѣло раб-

---

[1]) Припомнимъ статистическія цифры. Лужичане, всего счетомъ до 136,000 дѣлятся на два племени, Верхнихъ и Нижнихъ Лужичанъ, и принадлежатъ двумъ государствамъ и двумъ исповѣданіямъ. Верхнихъ Лужичанъ—96,000, изъ которыхъ 52,000 въ Саксоніи, и 44,000 въ Пруссіи; они—протестанты, за исключеніемъ 10.000 католиковъ. Нижнихъ Лужичанъ—до 40.000 протестантовъ, въ Пруссіи.

На стр. 16-й I-го тома въ цифрахъ по исповѣданіямъ ошибка, которая легко исправляется по находящимся тамъ же другимъ цифрамъ.

ство народа и постепенное уничтоженіе народности. Покоренная земля раздѣлилась между феодальнымъ владѣльцемъ, рыцарями и церковью; свободные сельскіе люди стали крестьянами, крѣпкими землѣ, лишены были всякихъ правъ, обременены работами и податями, были безотвѣтной жертвой грабежей и насилія. Нѣсколько лучше было положеніе тѣхъ, которые подчинены были непосредственно феодальному владѣтелю земли,—но общее положеніе края представляло картину ужаснаго угнетенія и безправія. Вмѣстѣ съ паденіемъ народной свободы началось паденіе самой народности: постоянные грабежи; выселеніе Славянъ въ нѣмецкія земли, гдѣ они исчезали среди чужого населенія (на Рейнѣ и Майнѣ, въ Баваріи и даже въ Голландіи); нѣмецкая колонизація, занимавшая города и отнятыя земли; вліяніе церкви, говорившей по-латыни и по-нѣмецки; наконецъ обыкновенное дѣйствіе господства чужого племени,—всѣ эти обстоятельства больше и больше подавляли славянскій элементъ, который жилъ только въ порабощенномъ сельскомъ населеніи и былъ для Нѣмцевъ предметомъ крайняго презрѣнія. Взаимная вражда была такъ велика, что Саксонское Зерцало должно было постановить, чтобы „Сербъ противъ Нѣмца и обратно не могъ свидѣтельствовать въ судѣ, такъ какъ извѣстно, что каждая сторона, для вреда другой, готова подтвердить присягой всякую неправду". Въ XIII вѣкѣ сербскій языкъ еще удерживался въ церковномъ употребленіи и въ судѣ, но къ XIV столѣтію нѣмецкая народность была уже такъ сильна, что съ этого времени нѣмецкіе князья начинаютъ изгонять сербскій языкъ изъ судовъ: въ 1427 г. это сдѣлано было и въ Мейссенѣ, прежнемъ центрѣ сербскаго народа. Ко временамъ реформаціи область лужицкаго населенія уже сильно стѣснилась: Лужицкіе Сербы западнаго края были уже окончательно онѣмечены, граница нѣмецкаго языка перешла на востокъ далеко за Эльбу, и память о Славянахъ (какъ въ краяхъ нижней Эльбы, Одера, и Поморья) осталась только въ собственныхъ именахъ мѣстностей. Реформація отразилась нѣкоторымъ подъемомъ славянской народности, но и послѣ нея лужицкій край продолжалъ съуживаться [1]).

Христіанство проникло въ лужицкій край, повидимому, съ двухъ сторонъ. Проповѣдь нѣмецкаго католичества далеко не имѣла здѣсь того свирѣпаго характера, съ какимъ она была приносима къ Славянамъ Балтійскимъ, и это обстоятельство объясняютъ тѣмъ, что Лужицкіе Сербы были уже приготовлены къ христіанству проповѣдью, шедшею отъ православнаго Славянства черезъ Польшу и Чеховъ, и притомъ раньше покорились. Лужицкіе Сербы уже въ IX столѣтіи были въ связяхъ съ княжествомъ Велико-Моравскимъ, одно время даже

---

[1]) Ср. карты, приложенныя къ сочиненіямъ Богуславскаго и Рихарда Андреэ, и добавки Горника, въ Слав. Сборникѣ.

принадлежали къ нему (какъ впослѣдствіи они были въ связяхъ съ Чехами)—и потому думаютъ, что византійско-славянское христіанство Кирилла и Меѳодія проникло и въ края лужицкіе. Преданье говоритъ, что св. Константинъ приходилъ въ окрестности Згорѣльца (Görlitz) и тамъ, гдѣ теперь находится Гайнвальдъ, на мѣстѣ капища поставилъ христіанскую церковь. До недавняго времени сохранялся обычай благочестиваго пилигримства къ древнему кресту на горѣ Яворницкой (Jauernik), въ день св. Вацлава, короля чешскаго,—жители-протестанты присоединялись къ католической процессіи, и молельщики пѣли молитву „Господи помилуй насъ", быть можетъ, ту самую, которая подъ именемъ молитвы св. Войтѣха („Hospodine, pomiluj ny") осталась у Чеховъ, какъ память древняго славянскаго богослуженія. Извѣстно, что у Лужичанъ, по правую сторону Эльбы, лучше сохранявшихъ свою народность подъ политическимъ вліяніемъ Чеховъ и Польши, славянскій языкъ въ церковномъ обученіи употреблялся не только въ XI столѣтіи, при епископѣ мейссенскомъ Бенонѣ (ум. 1106), но и въ XII и даже XIII столѣтіяхъ, когда серболужицкій языкъ имѣлъ еще защитника въ епископѣ Брунонѣ, требовавшемъ, чтобы священники хорошо знали сербскій языкъ [1]). Историки замѣчали и то обстоятельство, что тѣ изъ проповѣдниковъ христіанства у Балтійскихъ Славянъ, которые пользовались славянскимъ языкомъ, какъ средствомъ, были изъ сосѣдства Лужицкихъ Сербовъ: такъ еп. мерзебургскій Бозо (971) писалъ по-славянски; другой, Вернеръ (1101), велѣлъ изготовить себѣ книги на славянскомъ языкѣ; епископъ альтенбургскій Бруно (1156), отправляясь обращать Оботритовъ, имѣлъ съ собой готовыя славянскія проповѣди и читалъ ихъ народу [2]). Полагаютъ впрочемъ, что эти славянскія книги были написаны едва-ли на собственно-сербскомъ языкѣ: по крайней мѣрѣ въ лужицкомъ языкѣ находятъ слѣды вліянія языковъ старо-славянскаго и чешскаго, замѣтные несмотря на все позднѣйшее вліяніе нѣмецкаго. Исконное сходство нарѣчій могло сдѣлать чужія славянскія книги доступными для Лужицкихъ Сербовъ, особенно при тѣхъ политическихъ связяхъ и сосѣдствѣ, которыя соединяли ихъ съ Чехами. Что чешскія книги въ болѣе позднюю эпоху среднихъ вѣковъ были въ ходу у Лужичанъ, едва ли подлежитъ сомнѣнію [3]).

---

[1]) **Bogusławski**, стр. 187.

[2]) **Срезневскій**, Истор. очеркъ (см. далѣе), стр. 34.

[3]) По исторіи и этнографіи Лужичанъ см.:

— Шафарикъ, Древности, § 43—44.

— Gebhardi, Geschichte aller wendisch-slawischen Staaten. Halle, 1790, 4 т.

— Käuffer, Abriss der oberlaus. Geschichte, 3 т. Görlitz, 1803.

— Knauthen, Derer Oberlausitzen Serbenwenden Kirchengeschichte. Görlitz, 1767.

— Worbs, Geschichte d. Niederlausitz. Züllich, 1824, 2 т.

Послѣ упомянутыхъ неясныхъ указаній о славянской письменности у Лужичанъ, первыя попытки ввести сербо-лужицкій языкъ въ книгу

— Scheltz, Geschichte der Ober- und Nieder-Lausitz, Halle, 1847.

— Jenč, Powieść wo Serbskich kralach, въ «Часописѣ» сербо-лужицкой Матицы, 1849.

— W. Bogusławski, Rys dziejów serbo-łužickich. Petersburg, 1861.

— Slovník Naučný, s. v. Lužice, Srbové Lužičtí.

— Engelhardt, Erdbeschreibung d. Mark Ober- und Nieder-Lausitz. 2 тома. Dresden 1800.

— Jakub, Serbskie Horne Lužicy. Budyszyn, 1848.

— Rich. Andree, Wendische Wanderstudien. Zur Kunde der Lausitz und der Sorbenwenden. Stuttgart, 1874. Съ этногр. картой. (Противъ него Горникъ, въ «Слав. Сборникѣ»).

— Tissot, Voyage aux pays annexés. Paris, 1876 (изложеніе и нѣкоторыя замѣчанія въ журналѣ Lužičan, 1877).

По языку:

— H. Seiler, Kurzgefasste Grammatik der sorben-wendischen Sprache nach dem Budissiner Dialecte. Bud. 1830.

— I. P. Jordan, Gramm. der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz (по системѣ Добровскаго). Prag, 1841.

— Fr. Schneider, Grammatik der wendischen Sprache katholischen Dialects. Budissin, 1853.

— Smoljer' (по нѣмецкому написанію Schmaler), Kleine Grammatik der serbisch-wendischen Sprache in der Oberlausitz. Bautzen, 1852; Přeměnjenja serbskeje ryče wot 13. do 16. lětstotetka, въ журналѣ Lužičan, 1864, 5 вып. 24—26.

— Dr. E. T. Pful (по нѣм. написанію Pfuhl), Laut- und Formenlehre der oberlausitzisch-wendischen Sprache. Mit besonderer Rücksicht auf das Altslavische. Bautzen, 1867.

— Е. Новиковъ, О важнѣйшихъ особенностяхъ лужицкихъ нарѣчій. Москва, 1849.

— Миклошичъ, въ «Сравнит. Грамматикѣ».

— Bose. Wendisch-deutsches Handwörterbuch nach d. oberlaus. Dial. Grimma, 1840.

— Schmaler, Deutsch-wendisches Wörterbuch mit einer Darstellung der allg. wendischen Rechtschreibung. Bautzen, 1843. (XXXIX. 150 стр.).

— J. G. Zwahr, Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch. Spremberg, 1847 (XII. 476 стр.).

— Pful, Serbski słownik. Pod sobuskutkowanjom Handrija Seilerja (fararja we Łazu) a Mich. Hórnika (vikara w Budyšinje). W Budyšinje, 1857—1866 (8°. 1130 стр.). Serbskoněmski d'žěl.

По литературѣ:

— И. Срезневскій, Историческій очеркъ сербо-лужицкой литературы, въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1844, май, стр. 26—66.

— Іенчъ. Stawizny и проч. (Судьбы сербской рѣчи и народности), въ «Часописѣ» сербо-луж. Матицы, 1849—54, и рядъ другихъ историческихъ статей въ томъ же изданіи.

— Гильфердингъ, Народное возрожденіе Сербовъ-Лужичанъ въ Саксоніи (Р. Бесѣда. 1856, I, смѣсь, стр. 1—35; Собр. Сочин., II, 19—49).

— Bogusławski, въ указанномъ сочиненіи; о новѣйшихъ временахъ, какъ и Гильфердингъ, пользуется разсказами Смолера.

— Fr. Doucha, O postupu národnosti Srbův Lužických, въ «Часописѣ» чешскомъ, 1845.

— М. Горникъ, Reč a písemnictví lužických Srbův. въ «Часописѣ» чешскомъ, 1856; Listy Jana Kollára do Lužic, тамъ же, 1861; Entstehung und bisherige Thätigkeit der Maćica Serbska, въ Neues Laus. Magazin, т 39; Łužyczánie. въ польской еженедѣльной газетѣ «Warta» въ Познани, 1874, № 15 и слѣд.; Минувшее десятилѣтіе у Сербовъ-Лужичанъ, въ «Слав. Сборникѣ», Спб. 1877, II, 85—99; наконецъ рядъ мелкихъ историко-литературныхъ статей въ лужицкомъ «Часописѣ», годъ VIII и слѣдующіе.

— H. Dučman. Pismowstwo katholskich Serbow. W Budyšinje, 1869. Очень точная библіографія книгъ и біографическій списокъ писателей. Продолженіе этого труда въ «Часописѣ» сербо-лужицкой Матицы, 1873—74.

извѣстны только со временъ реформаціи. Гуситское движеніе Чеховъ не отразилось у Лужичанъ: болѣе образованная часть народа была уже нѣмецкая, и въ этомъ качествѣ въ то время ревностно держалась католичества; сельское населеніе было слишкомъ подавлено и въ разгарѣ крестовыхъ походовъ противъ гуситизма и таборитскихъ воинствъ осталось безучастно. Напротивъ, реформація Лютера, какъ дѣло нѣмецкое, имѣла обширный успѣхъ во всей странѣ, отразившійся и на ея славянскомъ населеніи. Къ XVI столѣтію серболужицкая народность была уже въ крайнемъ упадкѣ, но стремленіе къ распространенію и утвержденію протестантства заставило теперь обратиться къ народному языку и дало начало первой литературной дѣятельности на лужицкомъ языкѣ, если можно назвать литературой нѣсколько духовно-учительныхъ книгъ по евангелическому исповѣданію, къ которымъ присоединилось и нѣсколько подобныхъ попытокъ духовенства католическаго. Съ этого времени появляются письменные сборники переводовъ изъ св. Писанія, необходимыхъ молитвъ, легендъ, духовныхъ пѣсенъ и т. п., которыя отъ священниковъ переходили къ народу. Есть извѣстіе, что въ началѣ XVI столѣтія былъ уже напечатанъ серболужицкій катихизисъ, но до сихъ поръ не встрѣтилось еще ни одного экземпляра этого изданія. Позднѣе, въ собраніяхъ переводныхъ духовныхъ пѣсенъ начали появляться и оригинальныя сербскія.

Старѣйшимъ значительнымъ памятникомъ серболужицкаго языка является Новый Завѣтъ въ рукописи 1548 г. (въ Берлинской корол. библіотекѣ), переводчикомъ котораго былъ Ник. Якубица (Miklawusch Jakubica). Переводъ сдѣланъ по Лютерову тексту съ прибавленіемъ Вульгаты и притомъ подъ очень сильнымъ вліяніемъ чешскаго перевода, которое должно означать, безъ сомнѣнія, недостаточность тогдашнихъ литературныхъ средствъ языка лужицкаго. Языкъ перевода считали сначала верхне-лужицкимъ или же среднимъ діалектомъ между верхнимъ и нижнимъ; но по подробному изслѣдованію Лескина онъ оказывается нижне-лужицкимъ, не имѣющимъ сходства ни съ какимъ изъ нынѣшнихъ мѣстныхъ говоровъ [1]). Затѣмъ первая извѣстная печатная книга есть небольшой канціоналъ съ нѣсколькими молит-

---

[1]) Небольшой образчикъ этого Новаго Завѣта далъ сначала Іенчъ (Najstaršej serbskaj rukopisaj, въ «Часописѣ», 1862), потомъ издано было посланіе Іакова (Der Brief des Jakobus. In wendischer Uebersetzung aus der Berliner Handschrift von J. 1548 zum ersten male mitgetheilt von Hermann Lotze, Leipz. 1867, къ 150-лѣтнему юбилею лужицкаго проповѣдническаго общества; всего текста стран. 16—23); наконецъ А. Лескинъ издалъ изъ этой рукописи евангеліе отъ Марка, въ «Архивѣ» Ягича, т. I, 1876, стр. 161—249, съ обстоятельнымъ изслѣдованіемъ языка. Замѣчаніе о переводчикѣ, стр. 202. В. Нерингъ, въ томъ же «Архивѣ», указываетъ еще одинъ старый нижне-лужицкій отрывокъ изъ первой половины XVI в. («Archiv», стр. 514).

вами и катихизисомъ Лютера, изданный на нижне-лужицкомъ языкѣ евангелическимъ проповѣдникомъ Альбиномъ Моллеромъ, въ 1574. Въ 1610, Андрей Тареусъ (Tharaeus) издалъ вновь нижне-лужицкій катихизисъ подъ названіемъ: Enchiridion Vandalicum [1]). На верхне-лужицкомъ нарѣчіи первую книгу, малый Лютеровъ катихизисъ, издалъ уже въ 1597 священникъ Вячеславъ Ворѣхъ (Warichius). Затѣмъ въ 1627 священникъ Григорій Мартинъ напечаталъ переводъ семи покаянныхъ псалмовъ.—Это главное, что̀ извѣстно отъ перваго періода лужицкой книжной дѣятельности. Замѣчаютъ, что обѣ эти книжки напечатаны были съ нѣмецкимъ текстомъ en regard, не только для нѣмецкихъ духовныхъ, но для пріученія народа къ нѣмецкому языку. Но протестантизмъ расширялся гораздо быстрѣе германизаціи, и это наконецъ заставило позаботиться о книгахъ на народномъ языкѣ для утвержденія народа въ вѣрѣ.

XVII вѣкъ ознаменованъ былъ новыми бѣдствіями народа и упадокъ народности продолжался; тридцати-лѣтняя война и весь ходъ событій очень способствовали германизаціи; но въ концѣ этого столѣтія потребности религіознаго обученія вызвали литературное движеніе, замѣчательнѣйшимъ представителемъ котораго былъ Михаилъ Бранцель (или, какъ называли его по-нѣмецки, Френцель, 1628—1706), евангелическій проповѣдникъ въ Верхнихъ-Лужицахъ. Френцель въ первый разъ широко понялъ народныя потребности и необходимость возстановленія языка, и дѣятельно трудился надъ переводомъ св. писанія: онъ перевелъ Новый Завѣтъ и нѣкоторыя части Ветхаго, причемъ пользовался и чешскими и польскими текстами. Поддержанный земскими чинами, онъ изготовилъ шрифтъ для лужицкихъ книгъ съ орѳографіей, заимствованной отъ Чеховъ, печаталъ церковно-поучительныя книжки для народа, въ 1670 издалъ первый отрывокъ своихъ переводовъ св. писанія, евангеліе отъ Матѳея и Марка, въ 1693 Псалтырь, имѣвшій впослѣдствіи много изданій, и на старости дождался полнаго изданія своего перевода Новаго Завѣта. Но свою орѳографію онъ потомъ оставилъ и принялъ другую, предложенную пасторомъ Бирлингомъ въ книжкѣ: Didaskalia seu orthographia *vandalica*, 1689. Эта послѣдняя была дѣйствительно довольно вандальская, именно грубо построенная по нѣмецкой, и она осталась до послѣдняго времени орѳографіей протестантовъ, дѣлившей ихъ отъ католиковъ. Дѣятельность Френцеля дала ему великую славу у соотечественниковъ, и лужицкіе историки думаютъ, что если бы сдѣлано было раньше то, что̀ сдѣлалъ Френцель, то гораздо бо̀льшее число Лужичанъ осталось бы при своемъ языкѣ. У Френцеля какъ будто уже были

[1]) Описаніе единственнаго экземпляра его далъ Горникъ въ «Часописѣ», 1869; филологическій разборъ Лескина въ «Архивѣ» Ягича, т. II, 126—129.

предчувствія славянскаго возрожденія; въ этомъ смыслѣ любопытно письмо его, которое писалъ онъ къ Петру Великому, во время проѣзда царя черезъ Саксонію въ 1697, представляя ему свои переводы: Френцель съ особеннымъ чувствомъ указываетъ на тѣ связи родства, которыя соединяютъ его народъ съ другими Славянами и обширной Московіей [1]). Труды Френцеля не остались безъ продолжателей, и съ его времени заботы о религіозномъ образованіи народа постоянно вызываютъ новыхъ дѣятелей. Сынъ Михаила, Авраамъ Бранцель или Френцель (1656 — 1740), получивши образованіе въ виттенбергскомъ университетѣ, обратился къ историческому изученію своей земли и народа и написалъ обширное сочиненіе De originibus linguae Sorabicæ libri IV (1693—96); другіе труды его: De diis Slavorum et Soraborum in specie, De vocabulis propriis Sorabicis pagorum (по мѣстной географіи) были изданы въ Гофмановыхъ Scriptores rerum Lusaticarum (1719). Въ своемъ большомъ сочиненіи, онъ хотя потратилъ безъ пользы много труда на сравненіе славянскаго языка съ еврейскимъ, но обнаружилъ замѣчательныя для того времени археологическія свѣдѣнія и знаніе славянскихъ нарѣчій. Много другихъ латинскихъ его сочиненій, напр., „Сербо-лужицкій словарь“, „Верхне-лужицкая исторія“, „Естественная исторія верхне-лужицкая“, „Словарь нижне-лужицкій“, остаются въ рукописяхъ, которыми отчасти пользовались послѣдующіе историки. При всѣхъ слабыхъ сторонахъ тогдашней учености, труды младшаго Френцеля замѣчательны по своему стремленію къ обще-славянскому изученію, и по тому вліянію, которое имѣли они въ свое время, обративши вниманіе на изученіе языка и народа. Онъ ожидалъ для своей народности лучшаго будущаго и прилежныхъ дѣятелей—quos linguæ Sorabicæ dulcedo ac necessitas mecum in sui amorem atque studium rapiet. Семья Френцелей дала еще двухъ ученыхъ писателей: Михаила Френцеля младшаго (1667—1752), котораго dissertatio de idolis Slavorum помѣщена въ томъ же Гофмановомъ сборникѣ; и Саломона-Богуслава, сына Михаила Френцеля младшаго (1701—1768). Эта дѣятельность лютеранъ побудила, кажется, и католиковъ позаботиться объ изученіи языка и книгахъ для народа. Первую грамматику составилъ іезуитъ Ксаверій-Яковъ Тицинъ (ум. 1693), котораго Principia linguæ vendicæ, quam aliqui vandalicam vocant, вышли въ 1679 въ Прагѣ. Затѣмъ, дѣятельнымъ писателемъ былъ Юрій-Гавштынъ Светликъ (1650—1729), который издавалъ церковныя книжки, по Вульгатѣ перевелъ цѣлую библію, оставшуюся въ рукописи, издалъ

[1]) Письмо это по-лужицки и по-латыни напечатано у Срезневскаго, стр. 42—45, прим. О Френцелѣ см. Jenč, Mich. Frencel a jeho zasłužby wo serbske pismowstwo, въ «Часописѣ» лужицкой Матицы, 1871, 73—92; M. Hórnik, Ryč a prawopis M. Frencela před runje 200 lětami, тамъ же, 1870, стр. 55—61.

первый, именно латинско-лужицкій словарь, 1721. Со времени Френцелей въ особенности появляется много трудовъ по лужицкой исторіи и языку, напр., верхне-лужицкія грамматики Маттеи и Шмуца, словари того же Шмуца и Светлика, нижне-лужицкая грамматика и словарь Фабриція и др., исторія обычаевъ Нижнихъ-Лужичанъ Тиверія (по-латыни и по-нижне-лужицки, въ рукоп.).

Съ XVIII вѣка увеличивается количество книгъ, посвященныхъ религіозному образованію народа, хотя цифра остается крайне скромной. Прежніе библіографы насчитывали до 1700 года только до 50 лужицкихъ книгъ, съ 1700 до 1800 около 200; если новые поиски и увеличили эту цифру, но и она приблизительно вѣрно опредѣляетъ численныя отношенія этой маленькой литературы. Въ XVIII вѣкѣ въ первый разъ напечатанъ былъ полный переводъ библіи: она переведена была на верхне-лужицкое нарѣчіе соединенными трудами священниковъ Яна Ланги, Матѣя Іокуша, Яна Бёмера и Яна Вавера: послѣ одиннадцатилѣтней работы, въ которой они сличали свой переводъ съ переводами польскимъ, чешскимъ и старо-славянскимъ, ихъ трудъ былъ напечатанъ въ 1728; это изданіе повторено было потомъ, съ небольшими измѣненіями, въ 1742, 1797, 1820, 1850, 1856: Новый завѣтъ печатался по переводу Френцеля.—Для Нижнихъ-Лужичанъ подобный трудъ предпринялъ евангелическій священникъ Богумилъ Фабриціусъ (1679—1741), другъ Авраама Френцеля, родомъ Полякъ, учившійся въ Гиссенѣ и Галле, потомъ суперъ-интендентъ въ Хотебузѣ (Котбусѣ), который издалъ по-нижне-лужицки малый Лютеровъ катихизисъ и переводъ Новаго Завѣта (1709). Трудъ Фабриція уже впослѣдствіи дополнилъ Фрицо, издавшій Ветхій Завѣтъ въ 1797. Цѣлая библія вышла въ 1824.

Кромѣ переводовъ св. Писанія, книжная поддержка народности состояла въ духовныхъ пѣсняхъ и проповѣди. Духовныя пѣсни (khyrlusze, т.-е. kyrielejson) были сильно распространены въ массѣ народа, и уже съ начала XVIII вѣка существовали въ значительномъ количествѣ, въ переводахъ Преторія, Аста, Маттеи и Вавера, и умножались съ каждымъ новымъ изданіемъ. Для католическихъ Сербовъ сборникъ подобныхъ церковныхъ пѣсенъ былъ сдѣланъ уже названнымъ выше Светликомъ; послѣ него писали церковныя и школьныя книги Киліанъ, Мерцинъ Големанъ, Ганчка, Валда,—послѣдній составилъ самый обширный сборникъ церк. пѣсенъ: Spěwawa Jězusova Winca, 1787. На нижне-лужицкомъ духовныя пѣсни въ первый разъ изданы были Гауптманомъ, о которомъ далѣе.

Важнымъ средствомъ для поддержкнія народности и для нѣкотораго образованія массы служила проповѣдь. Она развилась, впрочемъ, довольно поздно и стала пріобрѣтать вліяніе только со временъ Ми-

хаила Френцеля, у котораго съ религіознымъ обученіемъ соединялось въ ней и извѣстное патріотическое чувство. Между проповѣдниками болѣе другихъ замѣчательны были, кромѣ Френцеля, пасторы: Пехъ, Якобъ, Мёнъ, Богатскій, хотя вообще проповѣдники, подражая нѣмецкимъ образцамъ, не отличались особенной оригинальностью и чистотой языка. Проповѣдь оказывала, безъ сомнѣнія, большое вліяніе на сохраненіе народности. Историки замѣчаютъ, что „ни одна сербо-лужицкая область, гдѣ была постояннная проповѣдь на народномъ языкѣ, не онѣмечилась" и что, напротивъ, приходы, не имѣвшіе проповѣди, теряли чувство народности и наконецъ онѣмечивались [1]. Успѣхамъ проповѣди на народномъ языкѣ особенно благопріятствовало учрежденіе лужицкой семинаріи (для католиковъ) въ Прагѣ и проповѣдническихъ обществъ, устроенныхъ лужицкими студентами богословія при университетахъ въ Лейпцигѣ и Виттенбергѣ. Внѣшнія обстоятельства были крайне неблагопріятны для этого народнаго движенія: нѣмецкія власти и духовенство, по старой нелюбви къ Сербамъ, не хотѣли ничѣмъ помочь ему; но дѣло было сдѣлано скромными средствами бѣдной молодежи и немногихъ частныхъ лицъ. Пражская семинарія была открыта въ 1704 году: здѣсь подъ вліяніемъ сильнѣйшаго родственнаго языка, готовились и готовятся до сихъ поръ священники для небольшой горсти католическихъ Сербовъ. Проповѣдническія протестантскія общества открылись въ Лейпцигѣ 1716 и Виттенбергѣ 1749: они должны были бороться съ множествомъ препятствій, бѣдность очень мѣшала сербскимъ поселянамъ посылать свою молодежь въ университеты, общества иногда закрывались на нѣкоторое время за неимѣніемъ людей; тѣмъ не менѣе онѣ очень поддержали народную проповѣдь и вмѣстѣ съ ней самую народность [2].

Всѣ эти усилія еще не обезпечивали однако прочности сербо-лужицкой литературѣ, даже въ тѣхъ скромныхъ размѣрахъ, какіе имѣла она въ XVIII столѣтіи. Семилѣтняя война снова упала тяжелымъ бѣдствіемъ на Лужичанъ: народъ бѣднѣлъ, нѣмецкій элементъ усиливался, проповѣдническія общества упадали, какъ виттенбергское. Литература, состоявшая изъ однѣхъ церковныхъ книгъ, не много давала опоры для народнаго чувства и отдѣльныя вспышки патріотизма, какъ, напр., при 50-лѣтнемъ юбилеѣ лейпцигскаго общества въ 1766, имѣли только минутное вліяніе. Съ семилѣтней войны сербскихъ книгъ стало появляться меньше и меньше.

Положеніе Нижнихъ-Лужичанъ было еще печальнѣе. Они лишены были даже и такихъ средствъ, какія были у ихъ сосѣдей. Со вре-

[1] Bogusławski, стр. 241.

[2] О лейпцигскомъ обществѣ см. статью Іенча: Serbske prĕdar'ske towar'stwo w Lipsku wot l. 1716—1866, въ «Часописѣ» лужицкой Матицы, 1867, стр. 465—540.

менъ Богумила Фабриція до 1740 по-нижне-лужицки напечатаны были только двѣ-три книжки: прусскій король Фридрихъ-Вильгельмъ I не терпѣлъ Лужичанъ и принималъ даже насильственныя мѣры для истребленія народности,—у Сербовъ, принадлежавшихъ Пруссіи, лужицкій языкъ изгонялся изъ школъ и даже изъ церкви. Дѣло мало поправилось и послѣ, по смерти этого короля: книжки печатались рѣдко, да и тѣ, какія писалъ, напр., пасторъ Вилль, родомъ Нѣмецъ, видѣвшій необходимость книгъ для народа (въ 1746—1771 годахъ), ограничивались катихизисомъ и нѣкоторыми переводами изъ св. писанія. Названный выше Гауптманъ, родомъ тоже Нѣмецъ, сербскій проповѣдникъ въ Любнёвѣ, составилъ по-нѣмецки первую нижне-лужицкую грамматику (Nieder-Lausitzsche Wendische Grammatica, 1761) и сборникъ духовныхъ пѣсенъ (Lubniowski szarski Sambuch, 1769, т.-е. сербскій Gesangbuch), нынѣ впрочемъ уже неупотребительный. Послѣ Вилля и Гауптмана, на этомъ нарѣчіи писали братья Фрицы, оба священники. Старшій изъ нихъ, Помагай-Богъ-Кристалюбъ (Gotthilf Christlieb) Фрицо, издалъ съ 1774 лютеранскій катихизисъ и нѣсколько другихъ поучительныхъ книжекъ; другой, Янъ-Фридрихъ, докончилъ, какъ мы выше замѣтили, Фабриціевы переводы св. Писанія, и достигъ при этомъ значительнаго совершенства книжнаго языка... Но тѣмъ все почти и ограничивалось, и если Верхніе Лужичане, имѣвшіе больше средствъ защищать свою народность, терпѣли отъ германизаціи, то у Нижнихъ она дѣйствовала несравненно сильнѣе: въ теченіи послѣдняго столѣтія (1750—1850) онѣмечилось до пятидесяти церковныхъ приходовъ.

Во второй половинѣ XVIII в., интересъ къ народности принесъ и серьезные ученые труды, хотя латинскіе и нѣмецкіе,—напр. о церковной исторіи и литературѣ Верхнихъ-Лужичанъ Кнаутена (по-нѣм.), объ ихъ обычаяхъ Горчанскаго, по обще-славянской археологіи Верхне-Лужичанина д-ра Карла-Готтлоба Антона (1751—1818), ученаго человѣка и одного изъ первыхъ все-славянскихъ патріотовъ прошлаго вѣка [1]), который дѣятельно также собиралъ этнографическія свѣдѣнія и едва-ли не первый обратилъ вниманіе на изученіе серболужицкихъ пѣсенъ,—его сборникъ послужилъ основаніемъ позднѣйшихъ собраній. Нѣмецкія и латинскія книги д-ра Антона, его современниковъ и предшественниковъ не служили прямо серболужицкому народу, но были несомнѣнно полезны, какъ теоретическое орудіе его возрожденія, дѣлая заботу о народности болѣе сознательною и прочною. Въ этомъ смыслѣ любопытны двѣ, рѣдкія теперь, книжки. Авторъ одной изъ нихъ, Георгъ Кёрнеръ, пасторъ въ Бокау, доказываетъ важ-

[1]) О немъ см. Slovník Naučný, s. v.; Lausitzisches Magazin, 1843, стр. 193.

ность сербскаго языка и пользу его для науки [1]): онъ говоритъ о приходѣ Вендовъ въ Европу съ востока, о разныхъ вендскихъ народахъ, о важности этого языка въ богословіи, исторіи, географіи, археологіи и проч., и въ концѣ приводитъ библіографическія указанія о вендскихъ книгахъ съ XVI вѣка. Среди фантастической филологіи, въ книжкѣ есть любопытныя замѣчанія. Другая, безымянная книжка: Gedanken eines Ober-Lausitzer-Wenden über das Schicksaal seiner Nazion mit flüchtiger, doch unparteyischer Feder entworfen nebst Anmerkungen [2]), говоритъ въ защиту вендскаго народа съ точки зрѣнія „просвѣщенія" прошлаго вѣка. Нѣкогда это былъ великій народъ; теперь онъ немногочисленъ, потому что, побѣжденный, онъ мало-по-малу принималъ обычаи и языкъ побѣдителей и сливался съ ними въ одинъ народъ; легко заключить, что наконецъ и послѣдній остатокъ его превратится вполнѣ въ Нѣмцевъ,—но такъ было всегда на землѣ: мѣняются „случайныя отличія и названія", а люди неизмѣнно остаются тѣмъ же, т.-е., людьми, получившими бытіе отъ одного Бога; поэтому разумный человѣкъ считаетъ каждаго человѣка своимъ собратомъ и уважаетъ человѣка всякаго племени, если онъ полезенъ обществу и исполняетъ свои обязанности.

Но разсужденія такого рода мало улучшали положеніе лужицкаго народа, и у патріотовъ, хотя немногихъ, не исчезла забота о сохраненіи „случайныхъ отличій".

Съ наполеоновскими войнами положеніе серболужицкаго народа снова становилось крайне затруднительнымъ. Страна была опустошена и тріумфъ Нѣмцевъ послѣ войнъ „за освобожденіе" еще болѣе подавлялъ лужицкую народность: образованные Сербы отказывались отъ нея; народъ былъ покинутъ, такъ что ему грозило, повидимому, близкое уничтоженіе. Проповѣдническія общества закрылись снова, и виттенбергское уже не возобновлялось... Но именно съ этого времени, дававшаго такъ мало надеждъ, и начинается такое развитіе сербской народности, какого она еще никогда не имѣла до тѣхъ поръ. Она примыкаетъ потомъ къ славянскому возрожденію, которое сообщило ей извѣстную нравственную самостоятельность и возбуждало къ новымъ патріотическимъ усиліямъ. Въ началѣ столѣтія особенно должны быть упомянуты пасторъ Юрій Мёнъ (Mjen, Möhn), который, желая доказать гибкость своего роднаго языка, издалъ въ лужицкомъ переводѣ нѣсколько отрывковъ Клопштоковой „Мессіады", и Янъ Дейка, сдѣлавшій первую попытку лужицкаго журнала, издавая въ 1809—12

---

[1]) M. G. Körner, Philologisch-kritische Abhandlung von der Wendischen Sprache und ihrem Nutzen in den Wissenschaften. Leipz. 1766 (посвящено членамъ лужицкаго проповѣдническаго общества въ Лейпцигѣ къ его 50-ти-лѣтнему юбилею), 74 стран. 12°.

[2]) Anno 1782, Bautzen, 33 стр.

ежемѣсячно „Serbski powjedar' a kurier“. Послѣ Наполеоновскихъ войнъ, главнымъ представителемъ сербо-лужицкаго возрожденія былъ почтенный будишинскій пасторъ, Андрей Любенскій (1790—1840). Будучи еще студентомъ въ Лейпцигѣ, Любенскій возстановилъ проповѣдническое общество и старался дать своимъ товарищамъ болѣе широкое понятіе объ ихъ дѣлѣ, указывая имъ, хотя еще не вполнѣ сознательно, на интересы народности: онъ объяснялъ имъ, что презираемый „вендскій“ языкъ принадлежитъ къ великому славянскому цѣлому, и приготовлялъ свое общество къ знакомству съ панславянскими теоріями народности. Начало было трудно, и Любенскій часто терялъ надежду на возможность возрожденія, считалъ свое время послѣднимъ часомъ лужицкаго народа, но не переставалъ работать, сдѣлалъ новое изданіе Библіи, писалъ и печаталъ книжки религіознаго и нравственнаго содержанія, стихотворенія и духовныя пѣсни, историческіе разсказы и т. п., занимался лужицкой исторіей и этнографіей, собралъ большіе матеріалы для верхне-лужицкой грамматики и словаря. Защиту сербской народности раздѣлялъ съ нимъ его товарищъ и другъ, д-ръ Фридрихъ-Адольфъ Клинъ (1792—1855), писавшій больше по-нѣмецки и стоявшій ревностно за народныя права сербскаго населенія. Клинъ былъ адвокатомъ, служилъ въ церковной и школьной администраціи, былъ членомъ земскаго сейма, и здѣсь его заступничеству на сеймѣ 1833—34 Лужичане обязаны сохраненіемъ народнаго языка въ школѣ, что́ было для нихъ важной побѣдой. По смерти Любенскаго, Клинъ остался патріархомъ сербо-лужицкой народности; въ 1848—49 онъ былъ политическимъ руководителемъ Лужичанъ: они остались тогда рѣшительно на сторонѣ короля, который потомъ вознаградилъ ихъ расширеніемъ правъ ихъ народности. Клинъ помогъ потомъ основанію сербской Матицы въ 1847, былъ до своей смерти ея предсѣдателемъ [1]). Переходную ступень къ новѣйшему сербо-лужицкому движенію представляетъ дѣятельность Андрея Зейлера (1804—1872). Еще студентомъ богословія въ лейпцигскомъ университетѣ онъ возобновилъ снова, послѣ Любенскаго, лейпцигское общество подъ именемъ „Сорабіи“ и горячо проповѣдовалъ о служеніи своей народности. Въ 1826 онъ познакомился въ Лейпцигѣ съ Палацкимъ и Симой Милутиновичемъ, и ихъ вліяніе еще больше развило его собственныя стремленія. Еще въ университетѣ онъ задумалъ издавать рукописную газету, въ которой собирались труды устроеннаго имъ общества и его собственныя поэтическія по-

---

[1]) Въ «Часописѣ» Матицы, 1848, имъ написана вводная статья, т. I, стр. 5—27. При 100-лѣтнемъ юбилеѣ проповѣдническаго общества, Клинъ написалъ его исторію.

У католиковъ одновременно съ Любенскимъ издавалъ церковно-поучительныя книжки Тецелинъ Метъ.

пытки; газета имѣла большой успѣхъ и ея переписанные экземпляры ходили по всему лужицкому краю. Знакомство съ ино-славянскими дѣятелями побудило Зейлера къ изученію Славянства,— которое потомъ оказало такую пользу лужицкой литературѣ, — но въ ту пору онъ оставался одинокъ и послѣ покинулъ эти занятія. Но его возбудили опять къ литературной дѣятельности стремленія новаго поколѣнія, и Зейлеръ сталъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ дѣятелей сербо-лужицкаго возрожденія, и въ особенности, какъ поэтъ, онъ занималъ первое мѣсто въ своей литературѣ; многія пѣсни его давно стали народными—онъ писалъ пѣсни лирическія, басни, духовныя и патріотическія стихотворенія, баллады (powiesće ze serbskeho kraje a luda) и проч. Онъ собиралъ народныя пословицы, принималъ участіе въ составленіи словаря, и пр. [1]).

Новый періодъ сербо-лужицкаго возрожденія открывается съ конца тридцатыхъ годовъ (1838), когда дѣятелями его явилось нѣсколько ревностныхъ патріотовъ, которые привлекли къ своимъ стремленіямъ и людей старшаго поколѣнія, какъ Зейлеръ и Клинъ, и стали заботиться не только о церковномъ обученіи народа, но вообще объ его образованіи, объ улучшеніи его положенія политическаго и общественнаго, и въ основу національнаго развитія впервые прочно положили связи и сочувствія все-славянскія.

Замѣчательнѣйшій и популярнѣйшій изъ всѣхъ представителей лужицкаго возрожденія есть Янъ-Эрнестъ Смолеръ (по-нѣмецки Schmaler, род. 1817). Сынъ сельскаго учителя въ деревнѣ Лазѣ, Смолеръ, еще будучи только четырнадцати лѣтъ, ученикомъ будишинской гимназіи, началъ пропагандировать между своими земляками въ гимназіи лужицкій языкъ, который они забывали для нѣмецкаго: свои вакаціи проводилъ онъ постоянно въ странствованіи по лужицкому краю, изучилъ вполнѣ народный бытъ, обычаи и старину, обошелъ всю лужицкую землю и первый узналъ, до которыхъ мѣстъ идутъ сербскія поселенія, и означилъ на картѣ ихъ границу. Въ 1836 Смолеръ вступилъ въ богословскій евангелическій факультетъ въ бреславскомъ университетѣ и здѣсь имѣлъ счастливый случай расширить свои славянскія знанія и ревность знакомствомъ съ знаменитымъ физіологомъ и чешскимъ патріотомъ Пуркинье, и позднѣе съ поэтомъ Челяковскимъ, получившимъ въ Бреславлѣ каѳедру славянскихъ нарѣчій. Въ то время въ Бреславлѣ штудировалъ другой уроженецъ Лузаціи, Нѣмецъ Рёслеръ (впослѣдствіи извѣстный профессоръ въ Гёттингенѣ); онъ основывалъ при университетѣ Лузацкое общество (lausitzischer

[1]) Некрологъ, М. Горника, въ «Часописѣ», 1874, стр. 63—64; Іенчъ, Přehlad spisow H. Seilerja, тамъ же. стр. 58—63; Гильфердингъ, въ указанной статьѣ; Slovník Naučný, s. v. въ дополненіяхъ; журналъ Łužičan, 1872, 1875.

Verein), при которомъ должна была быть и Wendische Section; Смолеръ устроилъ это отдѣленіе и побудилъ самого Рёслера учиться по-славянски; Пуркинье былъ выбранъ въ „протекторы“ этого кружка. Въ 1839 лужицкая молодежь открыла новое ученое общество при будишинской гимназіи (societas slavica Budessina) [1]), главнымъ начинателемъ котораго былъ ревностный лужицкій патріотъ Мосакъ-Клосопольскій (по-нѣмецки Mosig von Aerenfeld, род. 1820). Посѣщеніе Штура еще болѣе воспламенило патріотическіе порывы сербской молодежи. Штуръ говорилъ имъ о всеславянскомъ братствѣ, напоминалъ объ ихъ старинѣ, возбуждалъ національную ревность [2]). Затѣмъ пришло письмо отъ знаменитаго автора „Дочери Славы“ и потомъ цѣлый тюкъ книгъ чешскихъ, словенскихъ, сербо-хорватскихъ, которыя положили основаніе славянской библіотеки при будишинской гимназіи. Въ лейпцигскій университетъ будишинскіе гимназисты вступали готовыми славистами, и здѣсь также основали славянское общество. Между тѣмъ Смолеръ продолжалъ свое изученіе лужицкой народности, и уже въ 1842 г. могъ приготовить вмѣстѣ съ Гауптомъ, секретаремъ згорѣльскаго (гёрлицкаго) ученаго общества, изданіе верхне- и нижне-лужицкихъ народныхъ пѣсенъ, исполненное со всѣми требованіями ученаго аппарата [3]). Въ этомъ изданіи Смолеру помогъ жившій тамъ въ то время Срезневскій; въ изданіи принято было новое чешское правописаніе; Гауптъ, нѣмецъ, сообщилъ Смолеру находившееся у него собраніе нижне-лужицкихъ пѣсенъ и изготовилъ нѣмецкій переводъ текстовъ. Это изданіе, одно изъ лучшихъ въ славянской литературѣ, и новыя славянскія связи лужицкихъ патріотовъ привлекли на Лужицкихъ Сербовъ вниманіе славянской литературы и ихъ мѣсто въ славянскомъ возрожденіи было признано. Смолеръ обратился теперь къ другой задачѣ своей дѣятельности—распространить національное сознаніе въ самой народной массѣ; нужно было дать ей чтеніе и средства извѣстнаго образованія.

За эту мысль взялся еще въ 1842 г. другой лужицкій патріотъ, извѣстный какъ писатель и журналистъ панславизма. Янъ-Петръ Іорданъ (род. 1818) учился въ пражской католической семинаріи и рано началъ свою публицистическую дѣятельность въ извѣстномъ тогда изданіи „Ost und West“. Одинъ изъ первыхъ у Лужичанъ онъ занимался

---

[1]) Объ этомъ обществѣ Іенчъ: Serbske gymnasijalne towar'stwo w Budyšinje wot 1839 hač 1864. въ «Часописѣ» 1865.

[2]) Штуръ написалъ тогда статью о лужицкой народности, переведенную въ «Денницѣ» Дубровскаго.

[3]) Pjesnički Hornych a Delnych Lužiskich Serbow, wudate wot Ł. Hawpta a J. E. Smolerja. Grymi 1842—43, 2 части, 4°. Къ пѣснямъ присоединены краткое историческое введеніе, свѣдѣнія географическія и статистическія, описаніе народнаго быта Лужичанъ, карта и другія приложенія.

собираніемъ народныхъ пѣсенъ и указывалъ ихъ важность. Въ 40-хъ годахъ онъ много работалъ по славянскому вопросу въ нѣмецкой литературѣ. Въ это время, какъ мы раньше упоминали по поводу Чеховъ, Словаковъ и Сербо-Хорватовъ, въ Австріи шло сильное національное броженіе; въ нѣмецкой, мадьярской, даже европейской публицистикѣ много говорилось объ опасностяхъ „панславизма“,—и въ отпоръ врагамъ Славянства необходимо было отвѣчать въ нѣмецкой литературѣ. Таковъ былъ „Ost und West“, такова публицистическая дѣятельность Воцеля, Палацкаго, Штура, Годжи, графовъ Матвѣя и Льва Туновъ; къ нимъ присоединились и лужицкіе патріоты, вошедшіе въ кругъ панславянскихъ сочувствій—упомянутый Клосопольскій и Іорданъ [1]). Послѣдній началъ издавать въ Лейпцигѣ „Slawische Jahrbücher“ которыя заключали много важныхъ славянскихъ извѣстій. Онъ занялъ потомъ каѳедру славянскихъ языковъ и литературы въ лейпцигскомъ университетѣ, но славянскій его патріотизмъ сдѣлалъ ему много враговъ въ нѣмецкой журналистикѣ, и когда въ 1848 Іорданъ сталъ открыто за интересы австрійскаго Славянства, его успѣли вытѣснить изъ университета. Онъ началъ издавать тогда нѣмецкую газету въ Прагѣ, былъ членомъ „Славянской Липы“, но по наступленіи реакціи покинулъ литературную дѣятельность.

Съ января 1842 Іорданъ началъ маленькую лужицкую газету „Jutnička“ (Заря, „Утренничка“); но изданіе не удалось, между прочимъ потому, что непривычныхъ читателей отталкивало новое (хотя упрощенное по чешскому образцу) правописаніе, которое Іорданъ предлагалъ сперва въ своей грамматикѣ 1841 г. Съ половины года изданіе взялъ на себя Зейлеръ, съ дѣятельнымъ участіемъ Смолера. Новая газета, „Tydźen'ska Novina“ (Еженедѣльная газета) пошла лучше и въ первый разъ дала чтеніе сельскому населенію, на вкусы котораго была разсчитана. Съ этого времени лужицкая литература обезпечила себѣ вѣрный, хотя и немногочисленный кружокъ читателей. Добывши себѣ журналъ, лужицкіе патріоты задумали основать и *Матицу*, на подобіе другихъ славянскихъ учрежденій того же имени. При содѣйствіи упомянутаго Клина, Матица была дѣйствительно устроена и въ 1847 году утверждена саксонскимъ правительствомъ. Съ слѣдующаго года началъ выходить „Часописъ“ Матицы, посвященный изученію сербо-лужицкой исторіи, этнографіи и проч.; въ немъ появились имена новыхъ ревнителей народности, продолжавшихъ дѣло, начатое Зейлеромъ и Смолеромъ. Таковы — Вельянъ, филологъ и

---

[1]) Первый есть авторъ вышедшей безыменно книжки: Slawen, Russen, Germanen, 1842; второй, между прочимъ, издалъ брошюру: Der zweifache Panslawismus. Mit Anmerkungen etc. Leipz. 1847. Ср. письма Шафарика къ Погодину, II, 322 и друг.

поэтъ д-ръ Пфуль, Іенчъ, Ростокъ, Дучманъ и др. Другая задача Матицы состояла въ изданіи полезныхъ книгъ, преимущественно для народнаго чтенія. Въ числѣ изданій Матицы особенно важны подробная статистика Верхнихъ сербскихъ Лужицъ, составленная Якубомъ, и Верхне-лужицкій Словарь, составленный Пфулемъ при содѣйствіи Зейлера и Горника.

Предпріятія сербскихъ патріотовъ нашли большое сочувствіе въ народной массѣ, которая на національныхъ сербскихъ концертахъ, въ публичныхъ собраніяхъ Матицы, въ первый разъ видѣла открытое заявленіе своей народности. Люди стараго поколѣнія, не видѣвшіе прежде ничего подобнаго, присоединились къ молодому поколѣнію, и какъ ни были скромны средства бѣднаго лужицкаго населенія, предпріятія патріотовъ имѣли успѣхъ, относительно, обширный. Въ этомъ настроеніи засталъ Лужицкихъ Сербовъ 1848 годъ. Всеобщее потрясеніе такъ или иначе не могло ихъ не коснуться. Съ одной стороны возбуждало ихъ національное движеніе сосѣдняго австрійскаго Славянства; съ другой — на нихъ тяготѣли притязанія нѣмецкихъ демократовъ, вызывавшія къ общественной и политической реформѣ, но отрицавшія ихъ народность. Предводители Сербовъ ясно увидѣли, что ихъ маленькому народу не предстояло никакой роли ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ, и поставили дѣло такъ, что въ результатѣ сербская народность осталась внѣ политическихъ смутъ и выиграла. Общество „Матицы“, единственное общественное учрежденіе Лужичанъ, воспользовалось событіями и составило петицію, собравшую множество подписей, о томъ, чтобы сербскій языкъ получилъ въ лужицкомъ краѣ тѣ же права, какія имѣетъ нѣмецкій, именно въ школѣ, въ церкви, передъ властями и на судѣ. Сербская депутація обратилась съ своей петиціей не въ палату, а къ министерству и королю; власти, пренебрегаемыя страной, были польщены преданностью Сербовъ; въ дрезденскихъ событіяхъ только сербскій полкъ остался вѣренъ королю, — и потому усердіе лужицкаго народа не было забыто. По возстановленіи порядка саксонское правительство удовлетворило его петиціи и дало лужицкому языку право—въ народной школѣ, въ церкви и въ судѣ. Точно также держались сербскіе политики и въ спорахъ феодаловъ съ городскими демократами, и принявъ сторону первыхъ, опять поддержали свой частный интересъ и значительно поправили матеріальное положеніе сельскаго населенія Лужичанъ.

Оффиціальное признаніе сербо-лужицкой народности въ Саксоніи, вниманіе къ ней членовъ королевскаго семейства, ревность сербскихъ предводителей дали совершенно новую физіономію этой прежде забытой и презираемой народности. Она явилась открыто на общественную сцену; сербская книга стала необходимостью для сельскаго

жителя; нравственное освобожденіе отъ гнетущаго ига, мирно улаженныя отношенія съ феодальными землевладѣльцами, отразились на улучшеніи матеріальнаго быта—деревни богатѣли, и Лужичане становились лучшими сельскими хозяевами края; цѣнность земли въ короткое время увеличилась въ нѣсколько разъ. Выросло и число читателей; газета Смолера въ первые годы послѣ 1849 имѣла до 1200 подписчиковъ— весьма значительная цифра при 90,000 всего верхнелужицкаго населенія. Въ 1854 Смолеръ вздумалъ издать впервые сербо-лужицкій календарь; разошлось два изданія по 1,000 экземпляровъ. „По этой пропорціи, — замѣчаетъ Гильфердингъ, — у насъ въ Европейской Россіи мало бы было милліона экземпляровъ".

Возвратимся къ дѣятельности Смолера. Онъ былъ неутомимъ въ трудахъ, составлявшихъ первую необходимость литературы; онъ работаетъ для газеты, составляетъ разговоры (1841), нѣмецко-сербской словарь (1843), краткую грамматику (1850), переводитъ „Отголоски русскихъ пѣсенъ" Челяковскаго (1846), Краледворскую рукопись (1852). Рядомъ шли интересы обще-славянскіе, когда въ 1846 Іорданъ передалъ ему редакцію Slawische Jahrbücher. Въ 1848 Смолеръ переселился въ Будишинъ, принялъ отъ Зейлера редакцію газеты, получившей теперь политическій отдѣлъ (съ 1853 она называлась Serbske Nowiny), и велъ ее до 1869. Кромѣ того, Смолеръ былъ нѣсколько лѣтъ редакторомъ „Часописа" Матицы, небольшого журнала „Lužičan", въ пятидесятыхъ годахъ велъ новую серію Slavische Jahrbücher (1852—58), потомъ Zeitschrift für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft (1862—65) и Centralblatt für slavische Literatur und Bibliographie (1865—68), опять соединяя свой народный патріотизмъ съ широкими интересами обще-славянскими. Въ лужицкихъ изданіяхъ онъ писалъ о старой исторіи, языкѣ сербо-лужицкомъ и пр.; далѣе перевелъ на нѣмецкій языкъ нѣсколько сочиненій Гильфердинга [1])... Наконецъ, Смолеръ направилъ свои труды еще на новое дѣло, важность котораго не подлежитъ сомнѣнію. Въ 1863 онъ основалъ книгопродавческую фирму Schmaler u. Pech, которая издавала сербо-лужицкія книги и должна была положить основаніе обще-славянской книжной торговлѣ. Компаньонъ Смолера, Янъ-Богувѣръ Пехъ (Pjech, по-нѣм. Joh. Traugott Pech, род. 1838), учился въ будишинской гимназіи и лейпцигскомъ университетѣ, изучалъ славянскія нарѣчія, и въ 1863—66 велъ названную фирму съ Смолеромъ въ Будишинѣ

---

[1]) Укажемъ еще брошюры Смолера: Welches ist die Lehre des athanasianischen Symbolums von der dritten Person in der Gottheit etc. (по-нѣмецки и по-лужицки), 4°, 1864; Die slavischen Ortsnamen in der Oberlausitz (къ 300-лѣтнему юбилею будишинской гимназіи), 1867, 4°; Die Schmähschrift des Schmiedemeisters Stosch gegen die sprachwissenschaftlichen Wenden, beleuchtet vom Standpunkte der Wissenschaft und Wahrheit, 1868.

(Бауценѣ), въ 1870 переселился въ Лейпцигъ, не оставляя мысли о центральной славянской книжной торговлѣ [1]). Необходимость подобнаго центральнаго пункта не подлежитъ сомнѣнію, и если до сихъ поръ не исполнилось его прочное установленіе, это говоритъ только, какъ слабы доселѣ въ славянскомъ мірѣ потребности взаимнаго литературнаго изученія. Въ своей народной литературѣ Пехъ работалъ какъ участникъ „Лужичанина", и между прочимъ переводилъ на сербо-лужицкій языкъ сербскія пѣсни, разсказы изъ Тургенева, Гавличка, стихотворенія Шиллера, Боденштедта; наконецъ дѣйствуетъ въ нѣмецкой литературѣ.

Возрожденіе сербо-лужицкой народности не обошлось, конечно, безъ нападеній со стороны нѣмецкихъ ревнителей, и Смолеру, какъ главному представителю движенія, пришлось особенно испытать ихъ вражду. Однимъ изъ поводовъ было участіе двухъ или трехъ Лужичанъ, Смолера въ томъ числѣ, въ московскомъ съѣздѣ славянскихъ гостей. Смолеръ являлся въ нѣмецкой печати какъ „Vertreter einer panslawistischen Agitation", какъ „Vorkämpfer des mosk. Byzantinismus" [2]) и т. п. Если припомнить, что другіе или тѣже нѣмецкіе ревнители считаютъ дѣло Лужичанъ рѣшеннымъ [3]),—то злостныя нападенія, которыя однако на нихъ дѣлаются съ нѣмецкой стороны, становятся похожи на мало назидательное зрѣлище борьбы „чорта съ младенцемъ".

Одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ лужицкихъ патріотовъ и писателей есть Михаилъ Горникъ (род. 1833, въ Верхнихъ Лужицахъ). Послѣ сельской школы онъ учился въ будишинской гимназіи, съ 1847 въ сербо-лужицкой семинаріи въ Прагѣ, и въ 1853—56 слушалъ въ университетѣ теологію, занимаясь въ тоже время славянскими нарѣчіями и преподавая въ семинаріи родной языкъ своимъ соотечественникамъ. Съ 1856 католическій священникъ, онъ былъ викаріемъ, потомъ капелланомъ въ Будишинѣ. Съ конца пятидесятыхъ годовъ и донынѣ онъ много работалъ по верхне-лужицкой литературѣ. Сначала онъ издавалъ ежемѣсячное прибавленіе къ „Сербскимъ Новинамъ" Смолера, а въ 1860 началъ небольшой литературный журналъ „Lužičan". Въ 1862 съ нѣсколькими католическими духовными онъ основалъ обще-

---

1) Отмѣтимъ любопытныя для этого дѣла брошюры Пеха, напечатанныя въ видѣ рукописи: Die Buchhandlung Schmaler und Pech in Leipzig (früher in Bautzen). Ihre Wirksamkeit und Stellung im slavischen Buchhandel, sowie die Bedingungen ihres ferneren Gedeihens. Leipz. 1873; Die Nothwendigkeit der Errichtung einer Slavischen Buchhandlung in Leipzig. Das Programm derselben sowie die zu ihrem Betriebe erforderlichen Mittel. Leipz., 1874. 4°.

2) Ср. Grenzboten, 1867, № 24, стр. 433—441 (Der Panslawismus in Bautzen); Allgem. Zeitung, 1867, № 206—207, Beilagen (Slavisches aus der Lausitz).

3) «Es handelt sich beim Untergange der wendischen Sprache in der Lausitz um keinen *Kampf* — dieser ist lange entschieden—und nur vom friedlichen Einschlafen kann die Rede sein; keinerlei nationale Gehässigkeit liegt hier vor» etc. Rich. Andree, Wend. Wanderstudien, Vorwort.

ство Св. Кирилла и Меѳодія для изданія дешевыхъ и полезныхъ книгъ для католическихъ Сербовъ; органомъ общества былъ „Katholski posol", начатый съ 1863 опять подъ редакціей Горника. Для протестантовъ съ тоюже цѣлью Имишъ основалъ ewangelske knihowne towar'stwo— такъ какъ Матица по уставу не могла издавать конфессіональныхъ книгъ. Горникъ участвовалъ потомъ въ составленіи лужицкаго словаря, переводилъ поучительныя книжки, много писалъ въ „Часописѣ" Матицы, особенно о лужицкой народности и старой письменности, и съ 1868 есть редакторъ „Часописа", въ которомъ много его небольшихъ работъ по сербо-лужицкой исторіи и языку. Онъ писалъ также въ Neues Lausitzisches Magazin, и въ славянскіе журналы: чешскій „Часописъ", польскую „Варту", русскій „Славянскій Сборникъ", въ чешскій „Научный Словникъ", корреспондировалъ въ чешскія газеты. Горникъ есть одинъ изъ лучшихъ знатоковъ своей народности и ея исторіи; онъ старается поддерживать ея нравственную связь съ большимъ славянскимъ міромъ, и, представитель католической доли Сербовъ, заботится объ улучшеніи католическихъ книгъ и объединеніи ихъ правописанія съ протестантскимъ [1]).

„Часописъ" Матицы издавался съ 1848 года подъ редакціей Смолера, съ 1854 Якуба Бука (род. 1825, педагогъ и потомъ придворный капелланъ въ Дрезденѣ), съ 1868 — М. Горника. Этотъ небольшой журналъ, котораго годовое изданіе составляетъ два выпуска, листовъ по пяти печатныхъ, есть главный органъ сербо-лужицкой литературы, гдѣ одинаково работаютъ протестанты и католики. Здѣсь помѣщали стихотворенія Зейлеръ; Вегля (Jan Radyserb), самый плодовитый и послѣ Зейлера наиболѣе цѣнимый поэтъ; д-ръ Пфуль. Янъ изъ-Липы (Jan z Lipy) перевелъ изъ Шекспира шесть сонетовъ (въ „Часописѣ", 1875, стр. 78—80) и трагедію „Юлій Цезарь" [2]), но послѣдняя, кажется, до сихъ поръ не издана за недостаткомъ издателя; статьи о языкѣ Смолера, Бука, Пфуля [3]), Горника, Кр. В. Брониша (о нижне-лужицкомъ языкѣ); по исторіи и библіографіи—К. А.

---

[1]) Выше приведены нѣкоторые его труды. Замѣтимъ еще статейки. любопытныя для исторіи сербо-лужицкой литературы: Staroserbske słowa w magdeburskim rukopisu 12 lětst., въ «Часописѣ», 1875, стр. 80 — 82; Serbska přisaha, pomnik ryče z třećeje štwórće 15 lětst. (въ будишинскомъ Stadtbuch), тамъ же, стр. 49—53; Jakub Ticinus a jeho ryčnica z l. 1679, тамъ же, 1879, стр. 9 — 17; добавки и варіанты къ народнымъ пѣснямъ, и проч.

Краткая біографія и подробный списокъ статей Горника до 1869 г., у Дучмана, Pismowstwo, стр. 56—62. Замѣтимъ еще, что Горникомъ составлена „Čitanka" изъ верхне-лужицкой литературы, Budyšin, 1863, съ небольшимъ лужицко-нѣмецкимъ словаремъ.

[2]) См. польскую газету «Wiek», 1876, № 263, въ фельетонѣ.

[3]) По его «Нѣчто изъ славянской старины» въ «Часописѣ» 1878 и также 1879,— странная вещь по отсутствію всякаго научнаго пріема.

Іенча [1]), Андрея Дучмана (род. 1836), Фидлера, Юл. Эд. Вьеляна. Наконецъ, въ „Часописѣ“ помѣщались различныя произведенія народной поэзіи. Главнымъ сборникомъ остается упомянутое выше замѣчательное изданіе Гаупта и Смолера. Въ „Часописѣ“ сообщали къ нему дополненія и варіанты Зейлеръ, Роля, Горникъ, Г. Іорданъ [2]) и особенно Эрнестъ Мука [3]); Зейлеръ и Букъ собирали пословицы; Г. Іорданъ—нижне-лужицкія народныя сказки (въ „Часописѣ“ 1876, 1877, 1879).

Другое важное изданіе есть небольшой „Łužičan, časopis za zabawu a powučenje“ (съ 1860), редакторами котораго были Горникъ, Смолеръ, К. А. Фидлеръ (учитель семинаріи въ Будишинѣ), и нынѣ опять Смолеръ (печ. листъ въ двѣ недѣли). Тѣже писатели работаютъ въ „Лужичанинѣ“, гдѣ взамѣнъ историко-филологическихъ предметовъ преобладаетъ легкое чтеніе; ему приписываютъ поэтому большое вліяніе на выработку языка и возбужденіе въ своей публикѣ интереса къ литературѣ. Въ 1878, „Лужичанинъ“ не выходилъ, чтобы дать мѣсто новому изданію „Lipa Serbska“ органу „молодыхъ Лужичанъ“; это изданіе встрѣчено было радушно и могло считаться установившимся, и съ 1879 „Лужичанинъ“ появился снова.

Если къ названнымъ изданіямъ мы прибавимъ еще церковныя газеты: Missionski Possol, П. Рихтера (Рыхтаря), для протестантовъ, и Katholski Possol, М. Горника, для католиковъ (которыя печатались для сельскихъ читателей швабахомъ), то мы назовемъ всѣ верхнелужицкія періодическія изданія. Затѣмъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ являются почти только школьныя книжки, катехизисы, молитвенники, духовныя пѣсни, наконецъ немногія книги историческія и повѣствовательныя, и пѣсни свѣтскія [4]). Число книгъ очень скромное; размѣръ ихъ также; разсчитаны они на публику почти исключительно народную — но свою скромную задачу онѣ исполняютъ [5]). Для поддержанія дѣла народности, сербо-лужицкая Матица пріобрѣла въ Будишинѣ землю, на которой выстроится удобный для этого общества

---

[1]) Выше упомянуты нѣкоторыя статьи Іенча. Ему принадлежитъ рядъ библіографическихъ статей: Spisowarjo hornjołužiskich evangelskich Serbow, wot 1597 hač 1800, тамъ же 1875, стр. 3—42; обзоръ сербской литер. за 1861—65 годы, тамъ же, 1866; обзоръ за годы 1866—70, тамъ же, 1870; о верхне-луж. протестантахъ, писавшихъ на другихъ языкахъ до 1800, тамъ же 1875; обзоръ сербо-луж. литературы за 1871—75 годы, тамъ же, 1876; Zemrjeći spisowarjo hornjołužiskich evangelskich Serbow wot 1800—1877, тамъ же, 1877; о литературѣ рукописной и проч.

[2]) Нижне-лужицкія пѣсни съ мотивами, 1874, стр. 65—98.

[3]) Въ «Часописѣ» 1872, 1873, 1875—77, и въ отдѣльной книжкѣ: Delnjołužiske pěsnje. Zhromadźił E. Muka. Будишинъ 1877 (40 стр. 8⁰).

[4]) Назовемъ здѣсь также: Wěnc narodnych spěwow Hornjo- a Delnjo-łuziskich Serbow s prewodom fortepiana, od K. A. Kocora. Bud. 1868.

[5]) Подробности о новѣйшемъ положеніи сербо-лужицкой народности читатель найдетъ въ статьѣ Горника, Слав. Сборн., П; также въ чешскомъ журналѣ Osvěta, 1871 (ст. К. Адамка) и 1879.

домъ и доходы съ него пойдутъ на пользу народнаго образованія и литературы въ обѣихъ лужицкихъ земляхъ. Покупка осуществилась благодаря помощи русскихъ друзей, которыхъ лично просилъ Смолеръ, и лужицкіе патріоты ожидаютъ, чтобы помощь новыхъ друзей серболужицкаго народа помогла скорѣе довершить начатое дѣло.

То, что́ мы говорили до сихъ поръ о новѣйшемъ движеніи сербской народности, относится особенно къ однимъ Верхнимъ-Лужичанамъ въ Саксоніи. Часть Верхнихъ-Лужичанъ, принадлежащая Пруссіи, хотя и не имѣетъ оффиціальныхъ выгодъ, пріобрѣтенныхъ земляками ихъ въ Саксоніи, тѣмъ не менѣе участвовала въ ихъ успѣхахъ, раздѣляя съ ними интересы народнаго образованія. Будишинъ оставался и для нихъ нравственнымъ центромъ, къ которому они тяготѣли.

Не то было у Нижнихъ-Лужичанъ. Мы видѣли, что и прежде положеніе ихъ было гораздо хуже; забывая свое родство съ верхне-лужицкими сосѣдями, на которыхъ они могли бы нѣсколько опираться, не имѣя силы сопротивляться сильно наступавшей германизаціи, они уже давно пришли въ такое состояніе, которое не обѣщало имъ будущаго. Еще въ недавнее время цѣлые приходы обнѣмечивались; сельское населеніе, не находя подпоры въ образованномъ классѣ, мало-по-малу забывало языкъ и старые обычаи и равнодушно смотрѣло на постоянный упадокъ своей народности, на уменьшеніе ея численности. Книги были рѣдки, верхне-лужицкія изданія не находили здѣсь читателей, потому что народъ чуждался ихъ, хотя бы и могъ ихъ понимать. Въ нынѣшнемъ столѣтіи явилось нѣсколько дѣятельныхъ патріотовъ. Копфъ (ум. 1866), сельскій учитель, издалъ переводъ духовныхъ пѣсенъ, особенно погребальныхъ (Serske spiwanske knigly) и нѣсколько стихотвореній. Пасторъ Шиндлеръ (ум. 1841) въ началѣ столѣтія издалъ библейскую исторію, сборникъ проповѣдей, сдѣлалъ новое изданіе цѣлой Библіи съ помощью прусскаго библейскаго общества. І. Г. Цваръ составилъ сербско-нѣмецкій, очень неудовлетворительный словарь (1847). При собираніи народныхъ пѣсенъ помогали Смолеру Бронишъ, Постъ и Комеръ. Волненія 1848—49 внесли нѣкоторое движеніе и къ Нижнимъ-Лужичанамъ; но книжные ихъ успѣхи донынѣ очень слабы. Въ 1848, пасторъ Новка началъ, по указаніямъ юнкерской партіи, издавать для Нижнихъ-Лужичанъ журналъ „Bramborski Serski Casnik“ (бранденбургскій — какъ отличаютъ себя прусскіе Лужичане — сербскій журналъ), чтобы предохранить народъ отъ демократическихъ вліяній; съ 1852 г. изданіе взялъ пасторъ Панкъ, но журналъ велся и шелъ плохо, потому что редакторы мало знали языкъ и вкусы народа, но по крайней мѣрѣ онъ открылъ дорогу. Съ 1867 г. велъ его учитель Швеля (Swjela), и онъ сталъ нѣсколько разнообразнѣе. Другіе начали издавать популярныя

книжки для народа. Въ 1849 году при гимназіи въ Котбусѣ основалось такое же общество патріотической молодежи, какъ въ Будишинѣ; въ 1857 г. введено при названной гимназіи преподаваніе лужицкаго языка. Изъ новѣйшей литературы Нижнихъ-Лужичанъ можно указать лишь немногое, и то имѣетъ развѣ филологическій интересъ. Таковы Faedrusowe Basnicki, переведенныя пасторомъ въ Любнёвѣ, Христ. Фр. Штемпелемъ (1823 — 1864) и изданныя Смолеромъ, 1854 г.; новое исправленное изданіе цѣлой Библіи, пастора Гауссига (1868 г.), при содѣйствіи пасторовъ Тешнаря, Альбина, Шадова, Брониша и Панка, на счетъ прусскаго библейскаго общества. Въ послѣднее время и здѣсь стали являться школьныя книги, катехизисы, церковныя пѣсни, духовныя сочиненія и т. п., въ особенности трудами сейчасъ названнаго Тешнаря. Пасторы и сельскіе учителя и здѣсь единственные представители литературы; одни пишутъ въ упомянутую нижне-лужицкую газету, другіе помѣщаютъ статьи, писанныя на своемъ языкѣ, въ верхне-лужицкомъ „Часописѣ“ и „Лужичанинѣ“.

Въ средѣ самихъ Лужичанъ, судьба нижне-сербскаго края не возбуждаетъ большихъ надеждъ [1]).

Мы упоминали прежде, что нѣмецкая этнографическая литература обратила вниманіе на остатки славянскихъ народно-поэтическихъ преданій въ краяхъ, уже онѣмеченныхъ. Такимъ же образомъ возбуждаютъ научный интересъ и народныя преданія Сербо-Лужичанъ. Въ послѣднее время явилось два труда подобнаго рода, заслуживающіе особеннаго вниманія. Во-первыхъ, книга Векенштедта [2]) — богатое собраніе преданій, сказокъ, суевѣрныхъ обычаевъ, сдѣланное главнымъ образомъ у Нижнихъ-Лужичанъ, отчасти у Верхнихъ, и также у такихъ „Вендовъ“, которые говорять уже по-нѣмецки, но вполнѣ сохранили вендскія преданія. Во-вторыхъ, книга Шуленбурга [3]): это — опять преданія и разсказы Нижнихъ-Лужичанъ, записанныя въ лѣсахъ Шпрее или Спревы, преимущественно въ мѣстечкѣ Бургѣ, дилеттантомъ, который увлеченъ былъ прелестью этихъ разсказовъ и, хотя знакомъ былъ съ народнымъ языкомъ, но записывалъ преданія въ нѣмецкомъ пересказѣ мѣстныхъ „Вендовъ“ (стр. XVIII).

---

[1]) Объ упадкѣ нижне-лужицкой народности см. напр. Lučižan, 1867, стр. 139 и слѣд.; ср. стихотвореніе М. Косика: Nejmeńšy słowjanski narod, въ «Часописѣ» 1878, стр. 143—148.

[2]) Wendische Sagen. Märchen und abergläubische Gebräuche. Gesammelt und nacherzählt von Edm. Veckenstedt. Graz, 1880. XVI и 490 стр.; въ концѣ образчики лужицкихъ нарѣчій.

[3]) Wendische Volkssagen und Gebräuche aus dem Spreewald. Von Wilibald von Schulenburg. Leipzig, 1880. XXIX и 312 стр. Въ концѣ примѣры нижне-лужицкаго нарѣчія.

Укажемъ еще книгу извѣстнаго Тиссо, который заинтересовался Лужичанами для цѣлей политической полемики; и разсказы изъ вендской жизни: „Der Geiger Mickwausch. Erzählungen aus dem Wendischen“ (Norden, 1877), писательницы, которая назвала себя псевдонимомъ Frieda Francesko (Ср. Łužičan, 1877, стр. 108—111).

Возрожденіе лужицкой народности представляетъ въ концѣ-концовъ одинъ изъ самыхъ удивительныхъ примѣровъ славянскаго движенія. Маленькому племени, составлявшему исключительно низшій классъ общества, лишенному всякихъ матеріальныхъ средствъ, издавна грозила совершенная германизація, — но общій потокъ національнаго движенія вынесъ и эту маленкую народность. Она всплыла снова на верхъ, съ попытками на особую литературу, даже на двѣ, и, какъ мы видѣли, въ короткое время успѣла достигнуть своей цѣли: литература возникла народнымъ сочувствіемъ и, повидимому, установилась прочно. Но здѣсь же всего яснѣе видна и обратная сторона маленькихъ литературъ: эта литература осуждена остаться элементарной, ограничиваться книжками для первоначальнаго обученія и для простонароднаго чтенія. Немноголюдность самаго племени, и потому ограниченный внѣшній объемъ этой (и другой, подобной ей) литературы не даетъ возможности болѣе сильнаго развитія: ея научное содержаніе подавляется сосѣдствомъ нѣмецкой или, пожалуй, ино-славянской книги; ея поэзія стѣснена узкими предѣлами народности, для которой бы она предназначалась; наконецъ, вообще книга, выходящая за уровень элементарной и простонародной, не имѣетъ матеріальной возможности существованія, — ее некому покупать. Высшее образованіе и болѣе широкая поэзія предоставляются по необходимости чужому языку — будетъ ли это нѣмецкій или другое, болѣе сильное славянское нарѣчіе. Литература обусловливается, слѣдовательно, элементарностью народнаго образованія: и въ такихъ условіяхъ славянскія народныя литературы были бы, очевидно, не въ состояніи подвигать впередъ цивилизаціи, какъ надѣялись панславистическіе романтики 1830—40-хъ годовъ. Но какая же судьба предстоитъ имъ, и имѣютъ ли эти мелкія литературы свой raison d'être? Безъ сомнѣнія, имѣютъ, потому уже, что онѣ существуютъ, что удовлетворяютъ глубокой потребности — сохраненія народной личности; онѣ дѣлаютъ затѣмъ то прекрасное дѣло, что сколько-нибудь проводятъ въ народъ знанія, даютъ нравственное ученіе на родномъ языкѣ. Появленіе болѣе широкихъ потребностей образованія будетъ и предѣломъ этой литературы, за которымъ она не въ состояніи дѣйствовать. Что же затѣмъ? Въ настоящемъ случаѣ, недавній опытъ можетъ дать ясныя указанія. Для людей равнодушныхъ близокъ выходъ въ нѣмецкую жизнь, тѣсно охватывающую Лужичанъ, отношеніями умственными и матеріальными.

Для тѣхъ, кто дорожитъ національно-нравственнымъ достояніемъ своей народности, остается одинъ выходъ—примкнуть къ интересамъ общеславянскимъ. Руководители народнаго дѣла не должны забывать того, что́ даетъ имъ образованность и политическая жизнь нѣмецкая, отъ которой она получили многія средства своего народнаго возрожденія,—но только на почвѣ славянской взаимности они найдутъ вполнѣ сочувственный отзывъ для своего народнаго дѣла, и нравственный, и даже матеріальный. Это поняли руководители сербо-лужицкой народности,—назовемъ Іордана, Смолера, Горника,—и были правы.

Дѣятели сербо-лужицкой литературы, въ небольшомъ размѣрѣ ихъ народности и при самыхъ скромныхъ средствахъ совершаютъ трудъ, заслуживающій всякаго уваженія. „E pur si muove!—писалъ однажды Крашевскій, говоря о маленькой сербо-лужицкой литературѣ: — склонимъ голову передъ ними“.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

ВОЗРОЖДЕНІЕ *).

Возрожденіе славянскихъ литературъ, которое было такимъ характеристическимъ, и часто поразительнымъ, явленіемъ въ ихъ исторіи съ конца прошлаго вѣка, произвело наконецъ фактъ, обратившій на себя европейское вниманіе. По логическому развитію самаго понятія частныя племенныя возрожденія въ дальнѣйшемъ ходѣ должны были завершаться общимъ результатомъ, именно — идеальнымъ возрожденіемъ *цѣльной* славянской національности, которое должно было выразиться не только въ литературѣ и поэзіи, но и въ національной образованности и политической жизни. Идея славянскаго союза или объединенія дѣйствительно мелькала давно въ умахъ славянскихъ патріотовъ; славянская солидарность обнаруживалась фактами; это было замѣчено и посторонними наблюдателями—друзьями и врагами.

Было время, еще не очень давно, когда слово *панславизмъ* было безпрестанно на языкѣ не только славянскихъ и русскихъ политиковъ и патріотовъ, но даже политиковъ европейскихъ. Панславизмъ представлялся тогда новой силой, способной измѣнить политическій видъ Европы; славянскіе патріоты считали эту силу почти уже готовой начать новый періодъ европейской цивилизаціи взамѣнъ цивилизаціи отживающаго Запада; русскіе славянофилы надѣялись на такую пер-

*) Настоящая глава не есть заключеніе нашего цѣлаго труда, какъ было въ 1-мъ изданіи: намъ предстоитъ еще изложеніе русской литературы. Но трудъ нашъ законченъ относительно западнаго и южнаго Славянства, и до извѣстной степени можетъ быть обобщенъ.—На послѣдующихъ страницахъ мы приводимъ въ извлеченіи долю послѣдней главы 1-го изданія съ новыми дополнительными замѣчаніями. За послѣднія пятнадцать лѣтъ совершились въ славянскомъ мірѣ крупные историческіе факты, пришли новыя литературныя, общественныя и политическія проявленія и разъясненія славянскаго вопроса; но доля нашего прежняго изложенія можетъ быть повторена и теперь: хотя представленія нашего общества о славянскомъ вопросѣ значительно развились съ шестидесятыхъ годовъ, но еще остается въ ходу много и такихъ мнѣній, противъ которыхъ мы въ то время спорили. Нашъ взглядъ, въ сущности, остается тотъ же; но въ разныхъ подробностяхъ онъ болѣе опредѣлился.

спективу еще больше, и полагали, что блестящая роль предоставлена именно русскому племени... Между тѣмъ и въ это время „панславизмъ“ былъ понятіемъ крайне неопредѣленнымъ, даже для тѣхъ, кто были самыми усердными его проповѣдниками. Въ одномъ были, повидимому, всѣ согласны; это—неминуемое будущее (болѣе или менѣе близкое) соединеніе Славянства въ одно великое цѣлое. Но какъ должно было оно совершиться, въ чемъ должна была заключаться сущность будущаго единства, у самихъ Славянъ мнѣнія крайне расходились. Одни полагали, что Славянство составитъ одинъ великій союзъ равноправныхъ народностей; другіе (польскіе панслависты) ставили во главѣ этого союза Польшу; третьимъ казалось, что „славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ“, и что средоточіемъ славянскаго міра сдѣлается русская и православная Москва, и т. д. Словомъ, открылось обширное поприще для притязаній національнаго самолюбія; каждая крупная славянская національность разсчитывала составить себѣ славу въ этомъ будущемъ: Чехи ожидали, что они будутъ настоящими вожатаями будущаго Славянства, потому что считали себя передовыми людьми славянскаго движенія; польскіе панслависты (которыхъ, впрочемъ, было вообще немного) надѣялись вознаградить въ будущемъ союзѣ неудачи прежней исторіи; московскіе славянофилы разсчитывали на политическое могущество Россіи и надѣялись, что она возвратитъ на настоящій путь тѣ славянскіе народы, которые въ древности совратились съ него, вступивши въ связь съ „латинствомъ“, и т. п.

Съ другой стороны, панславизмъ съ 30-хъ и 40-хъ годовъ породилъ самыя разнообразныя мнѣнія въ Европѣ и особенно возбудилъ опасенія у Нѣмцевъ австрійскихъ. Такъ какъ въ панславизмѣ одинъ изъ главныхъ вопросовъ былъ вопросъ о самобытности Славянства, не только о культурномъ, но и политическомъ освобожденіи отъ нѣмецкаго господства, то для Нѣмцевъ панславизмъ сталъ предметомъ особенной ненависти. Вслѣдъ за ними и въ западной Европѣ многіе стали вѣрить, что панславизмъ можетъ грозить европейской цивилизаціи чѣмъ-то въ родѣ новаго монгольскаго нашествія. Преувеличивая силы еще недавно забытаго и пренебрегаемаго Славянства, въ Европѣ думали, что славянскіе народы могутъ примкнуть по первому знаку къ Россіи, которой такъ боялись въ Европѣ въ сороковыхъ годахъ, и затѣмъ пойдутъ густой массой на Европу. Начали даже думать о спасеніи Европы отъ катастрофы: Нѣмцы сильнѣе заговорили о нѣмецкомъ единствѣ; съ другой стороны, Венгры обѣщали быть оплотомъ Европы отъ славянскаго нашествія; нѣкоторые изъ писателей польской эмиграціи, не совсѣмъ послѣдовательно примыкая къ западно-европейскому либерализму, утверждали, что такая роль всего прилич-

нѣе Польшѣ, которая можетъ стать во главѣ славянскаго союза и отвратить его отъ Россіи...

Вопросъ о панславизмѣ составилъ цѣлую литературу, въ которой высказывались или ожиданія панславизма, предвидѣлись и обсуждались разныя возможности его развитія, или обдумывались средства остановить его опасное распространеніе.

Въ чемъ заключалось настоящее, реальное значеніе дѣла, изъ котораго выводились подобныя надежды и тревоги?

Панславизмъ принадлежитъ къ числу самыхъ характеристическихъ проявленій національной идеи. На немъ ясно обнаружились и ея обоюдныя свойства: панславизмъ соединялъ въ себѣ и примѣры національнаго увлеченія, способнаго дать нравственную энергію ослабѣвшему и запуганному обществу, и заблужденія и предразсудки, которые вредятъ самымъ существеннымъ его интересамъ, когда общество выше всего ставитъ свою исключительную національность. Идея объединенія есть явленіе новое въ исторіи славянскихъ народностей. Встрѣчаясь и ранѣе какъ неясный инстинктъ, она, въ своей сознательной формѣ, была результатомъ Возрожденія, съ конца прошедшаго столѣтія. Возрожденіе выразилось въ Славянствѣ появленіемъ новыхъ, обновленіемъ старыхъ литературъ, стремленіемъ вывести народъ изъ его нравственной апатіи, поднять образованіе, возстановить забывшіяся національныя преданія—и въ началѣ было еще далеко отъ панславизма. Но мысль о единствѣ все-славянскомъ, о возрожденіи національной жизни въ цѣломъ составѣ племени, была весьма понятнымъ результатомъ этого частнаго движенія отдѣльныхъ народностей. Съ одной стороны, первые успѣхи національныхъ стремленій давали пищу для патріотическаго идеализма, который искалъ награды за вѣка испытаній. Съ другой стороны, панславизмъ становился практически необходимымъ: идея цѣлаго Славянства должна была подкрѣплять стремленія отдѣльныхъ народностей, которыя не могли не сознавать своей слабости въ виду враговъ дикихъ, какъ Турки, и національныхъ противниковъ, какими были Нѣмцы, Мадьяры, Итальянцы и пр. Въ XVIII столѣтіи, политическое возвышеніе Россіи со временъ Петра Великаго несомнѣнно послужило однимъ изъ сильныхъ факторовъ славянскаго Возрожденія. Въ XIX ст. это вліяніе было еще рѣшительнѣе.

Это сознаніе своей слабости, въ самомъ дѣлѣ, было такъ настоятельно, что каждая отдѣльная народность необходимо должна была искать себѣ опоры, нравственной и матеріальной. Онѣ стали поэтому вспоминать о силахъ цѣлаго громаднаго племени, и въ большинствѣ народностей панславянскія стремленія произошли именно изъ этого источника, а не изъ другого. По мнѣнію ревностнѣйшихъ изъ панславистовъ, чувство племенного единства жило искони въ славянскихъ

народахъ и ожидало только благопріятной минуты, чтобы сказаться во всей своей силѣ, и объединеніе племени, раздѣленнаго несчастными случайностями прошедшаго, есть общій идеалъ Славянства. Намъ кажется напротивъ, что идея о племенномъ единствѣ, какъ ее изображали крайніе панслависты, была дѣломъ новѣйшаго времени. Она имѣла успѣхъ только какъ послѣднее средство общественной борьбы, въ особенности противъ иноземнаго угнетенія.

Славянскія народности стояли въ этомъ отношеніи весьма различно.

Панславянскія тенденціи всего меньше прививались у Поляковъ, почему ихъ не рѣдко обвиняютъ въ недостаткѣ славянскаго патріотизма; но дѣло объясняется проще тѣмъ, что даже при паденіи политической самостоятельности въ Полякахъ было столько національной гордости, или самообольщенія, что они не думали опасаться за свое національное бытіе; они были увѣрены, что имъ нѣтъ нужды прибѣгать для этого къ помощи цѣлаго славянскаго союза. У немногихъ польскихъ приверженцевъ панславизма онъ является всего чаще подкладкой для той же національной гордости: Польша могла пристать къ славянскому союзу, но только съ первенствующей ролью... Для другихъ Славянъ, западныхъ и южныхъ, дѣло стояло иначе. Если только имъ предстояла политическая будущность, они сознавали, что достиженіе ея невозможно для нихъ безъ чьего-нибудь заступничества, или безъ союза съ другими народами, находившимися въ такомъ же положеніи. Въ сороковыхъ годахъ, когда повидимому близилась политическая борьба за свое національное право, западно-славянскіе и въ частности хорватскіе и чешскіе публицисты значительнымъ тономъ указывали на „славянскаго исполина", протянувшагося „отъ Камчатки до Адріатическаго моря"; участіе Россіи въ освобожденіи Сербіи въ началѣ столѣтія подтверждало надежду, что подобное вмѣшательство сильныхъ единоплеменниковъ можетъ помочь имъ и теперь. Но въ венгерской войнѣ Россія вступила въ союзъ не съ Славянствомъ, а собственно съ габсбургскимъ правительствомъ. Въ дѣлѣ православныхъ Сербовъ княжества руководящей мыслью была опять не панславянская идея, а сочувствія единовѣрія и частные политическіе разсчеты Россіи на Балканскомъ полуостровѣ.

У Чеховъ панславизмъ былъ особенно дѣломъ ученой теоріи и поэзіи. Мысль обще-славянскаго единства несомнѣнно оказывала въ ихъ литературѣ дѣйствіе, ободряющее въ борьбѣ противъ грозившей германизаціи; но Чехи имѣли достаточно историческаго знанія, чтобы не ожидать практическаго осуществленія панславизма. Дѣйствительно, въ событіяхъ 1848—49 они разсчитывали только на солидарность *австрійскаго* Славянства въ чисто *консервативномъ*, относительно Габсбурговъ, смыслѣ; они не искали ничего, какъ только сохраненія той

Австріи, которая вовсе не была своему Славянству особенно благодѣтельна. Они были однако правы въ томъ отношеніи, что въ данныхъ условіяхъ Австрія была все-таки какой-нибудь гарантіей для ихъ народности противъ чистаго германизма, а разсчитывать на отвлеченнаго „славянскаго исполина“ на практикѣ было бы ребячествомъ.

У насъ панславизмъ имѣлъ мало успѣха: большинство тѣхъ, кто вообще интересовался политическими вопросами, осталось ему совершенно чуждо. Онъ усвоился только въ небольшомъ кружкѣ, который съ тридцатыхъ годовъ сталъ говорить о славянскихъ народностяхъ, о братствѣ, насъ съ ними соединяющемъ, и т. п. Но эта пропаганда (въ рукахъ Погодина) не отличалась тактомъ, такъ что надъ ней начали подшучивать, какъ надъ фантастической затѣей; мыслящая доля общества занята была ближайшими вопросами русской жизни, какъ интересы образованія, изученіе народнаго быта и исторіи, крѣпостной вопросъ. О *національности*, которая у западнаго Славянства стояла на первомъ планѣ, общество могло не заботиться: она стояла цѣлая и невредимая, и панславизмъ не имѣлъ корней въ нашемъ обществѣ тѣмъ болѣе, что „политика“ была для общества въ тѣ времена вещью строго запрещенной, и потому дѣйствительно мало развитой. Примѣръ строгости запрещенія мы указывали на исторіи кружка̀ Костомарова,—взгляды котораго даже не достигли тогда въ печать. На чемъ же панславизмъ здѣсь основывался? Главнѣйшимъ основаніемъ его былъ національный идеализмъ: мысль о томъ, что славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ, была очень популярной у нашихъ панславистовъ, хотя (кромѣ Погодина, и то излагавшаго ее въ конфиденціальныхъ запискахъ для высшихъ властей) даже ее не легко было открыто высказывать.

Что панславистическія заявленія 30-хъ и 40-хъ годовъ вызывались всего болѣе именно внѣшними обстоятельствами, которыя заставляли искать откуда бы ни было союза и помощи, а не принципіальными племенными стремленіями, которыя всегда жили въ народахъ по мнѣнію славянскихъ романтиковъ (и слѣд. должны бы представлять прочную, непремѣнную силу),—можно было видѣть изъ хронологическаго совпаденія наиболѣе настойчивыхъ заявленій съ политическими событіями (въ 40-хъ годахъ), и еще болѣе изъ того, что заявленія братства и единства были гораздо рѣже, чѣмъ проявленія крайняго партикуляризма, отчужденности, наконецъ настоящей, иногда ожесточенной вражды въ практической жизни славянскихъ народовъ. Въ этой практической жизни мы видимъ, къ сожалѣнію, цѣлый перекрестный огонь взаимныхъ антипатій. За немногими исключеніями, какъ, напр. историческія связи Россіи съ южнымъ Славянствомъ, основой которыхъ было единовѣріе, мы встрѣчаемъ между славянскими племенами или отчужденность или враж-

ду. Можно считать почти правиломъ, что дальнихъ единоплеменниковъ не знаютъ, съ сосѣдними враждуютъ. Такова вражда между Русскими и Поляками, не вполнѣ скрываемое нерасположеніе между „Москалями" и „Хохлами", не скрываемое — между „Ляхами" и Малороссіянами; далѣе разныя степени нерасположенія между Сербами и Болгарами, и даже въ предѣлахъ одного племени—между Сербами и Хорватами, Чехами и Словаками и проч. Реальныя встрѣчи (кромѣ литературной области, о которой далѣе) между племенами крайне рѣдки, и тамъ, гдѣ онѣ происходятъ, онѣ даже при мирныхъ условіяхъ слишкомъ часто сопровождаются неудачами и недоразумѣніями, въ дѣлахъ и крупныхъ и мелкихъ. Напомнимъ встрѣчи Русскихъ (не приготовленныхъ теоріей, а обыкновенныхъ) съ Сербами и Болгарами въ послѣднихъ турецкихъ войнахъ, или эпизодъ съ чешскими и галицкими филологами въ русскихъ гимназіяхъ въ министерство гр. Толстого.

Указанныя явленія очень естественны. Все это—слѣдъ цѣлой прежней исторіи, которую, говоря вообще, славянскія племена прошли въ полномъ раздѣленіи другъ отъ друга, отчасти по необходимости, завлеченныя трудно одолимыми историческими отношеніями, отчасти именно по малому развитію между ними чувства общаго дѣла и племенной связи. Если бы правы были панславистскіе романтики, это явленіе было бы немыслимо. Если же оно неопровержимо проходитъ всю исторію Славянства до послѣдняго времени, то надо принять фактъ, какъ онъ есть, и объяснить его тѣмъ, чѣмъ онъ дѣйствительно объясняется. Въ давніе вѣка Славянство разселялось—какъ безъ сомнѣнія разселялись всѣ народы — руководимое желаніемъ найти лучшія земли и бо̀льшее благосостояніе, и мало заботились о сохраненіи или установленіи связей съ дальними единоплеменниками; напротивъ, слишкомъ часто дѣлилось и отъ ближнихъ междоусобной враждой и провинціализмомъ. Страшныя національныя бѣдствія были результатомъ этого разъединенія племенъ между собою и въ своей собственной средѣ. Балтійское Славянство, многочисленное и богатое, исчезло окончательно; южное Славянство подпало пятивѣковому игу; Чехи были сломлены и едва уцѣлѣли; Польша раздѣлена; Россія испытала татарское иго, расчлененіе своего древняго цѣлаго, и была возстановлена въ великій народъ цѣною восточно-византійскаго деспотизма съ XVI вѣка, суровой реформы Петра Великаго и т. д. И въ настоящую минуту Славянство гибнетъ—въ прусской Польшѣ, въ Босніи и Герцеговинѣ,— въ большой степени, разумѣется, отъ отсутствія солидарности.

Такимъ образомъ, если исторически Славянство было раздѣлено; если въ настоящую минуту его солидарность и даже взамное знакомство еще слабы; общаго національнаго дѣла на общественно-политической почвѣ (за рѣдкими, и все-таки неполными исключеніями, какъ

послѣдняя война) еще нѣтъ, — то мы въ правѣ не раздѣлять романтическихъ разсужденій о славянскомъ единствѣ, и въ частности о славянскихъ „предназначеніяхъ" Россіи, и основаться только на историческихъ фактахъ. „Славянское единство" не есть ни исконное преданіе, ни предопредѣленная „задача" Славянства: это есть *наживаемое*, но еще далеко не нажитое сознаніе необходимости союза, который указывается единоплеменностью и частію также единовѣріемъ, въ виду сродныхъ задачъ національной образованности и въ виду сходныхъ опасностей отъ внѣшнихъ враговъ [1]).

Не соглашаться съ популярными толкованіями славянскаго единства, разумѣется, вовсе не значитъ отвергать самое существованіе чувства племенной родственности. Оно существовало издавна, какъ инстинктъ, какъ народное преданіе; но инстинктъ и преданіе, не имѣя пищи въ реальныхъ сношеніяхъ, должны были ослабѣвать и становиться достояніемъ только людей книжныхъ. Славянскія литературы съ древнѣйшихъ временъ даютъ не мало свидѣтельствъ объ этомъ чувствѣ племенной связи. Старѣйшій русскій лѣтописецъ имѣетъ ясное представленіе о различныхъ вѣтвяхъ славянскаго племени и ихъ отношеніяхъ; ему знакомы отчасти и преданія объ ихъ древнемъ разселеніи. Около того же времени, латино-чешскій лѣтописецъ Козьма Пражскій, латино-польскій Мартинъ Галлъ (начало XII вѣка); потомъ историки болѣе поздніе: Далимилъ, Пулкава у Чеховъ (XIV вѣкъ), Богухвалъ у Поляковъ (XIII вѣкъ) и т. д., имѣютъ болѣе или менѣе понятіе о распространеніи цѣлаго славянскаго народа; чешско-польское сказаніе создало даже трехъ братьевъ, Чеха, Леха и Руса, олицетворявшихъ главные славянскіе народы среднихъ вѣковъ. Въ русской лѣтописи Несторово знаніе Славянства не продолжалось, и свѣдѣнія о немъ были случайны и отрывочны; какъ, напр., извѣстный Симеонъ Суздалецъ, въ путешествіи своемъ на флорентинскій соборъ, узналъ Хорватовъ и отмѣтилъ, что у нихъ „языкъ съ Руси, а вѣра латинская"; но объ южныхъ Славянахъ знали больше, и въ русскіе историческіе сборники вошли свѣдѣнія изъ южно-славянскихъ источниковъ. Съ XV—XVI столѣтія въ исторической литературѣ Западнаго Славянства болѣе и болѣе развивается эрудиція, и вопросъ о происхожденіи своего народа обставляется уже учеными свѣдѣніями и учеными легендами. Въ чешской книгѣ, упомянутой нами ранѣе (стр. 873): Kratké sebraní и пр. (около 1439 г.) является, рядомъ съ историческимъ баснословіемъ, и нѣкоторое знаніе остальнаго Славянства; историки польскіе

[1]) Болѣе подробное изложеніе этого вопроса сдѣлано нами въ статьяхъ: «Панславизмъ въ прошломъ и настоящемъ», въ «Вѣстникѣ Европы», 1878.

съ этого времени, какъ Длугошъ, Кромеръ, Мѣховита, Бѣльскій, польско-русскій Стрыйковскій, были отчасти извѣстны и русскимъ книжникамъ, и послужили исходнымъ пунктомъ для нашей первоначальной исторіографіи XVII—XVIII вѣка. Съ XVI—XVII столѣтія ученыя свѣдѣнія о цѣломъ Славянствѣ являются у сербо-хорватскихъ историковъ: таковы Мавро Орбини, Луцій, Дубровчанинъ Градичъ, Хорватъ Фаустинъ Врaнчичъ (Веранціо). Феноменальнымъ явленіемъ былъ знаменитый Юрій Крижаничъ, который можетъ съ полнымъ правомъ быть названъ первымъ панславистомъ. Далматинскіе поэты, какъ Гундуличъ, Игнатій Джорджичъ, Качичъ-Міошичъ, въ своихъ патріотическихъ влеченіяхъ помнятъ болѣе или менѣе о цѣломъ Славянствѣ. Словинецъ Богоричъ въ своей грамматикѣ 1584 даетъ уже образчики разныхъ славянскихъ нарѣчій, и затѣмъ составители славянскихъ грамматикъ и словарей нерѣдко вспоминаютъ сходство нарѣчій и родство племенъ.

Съ XVIII вѣка, когда національные интересы славянскихъ обществъ еще дремали, а нѣкоторыя изъ славянскихъ народностей, какъ Чехи въ Австріи, какъ Сербы и Болгары въ Турціи, находились въ крайнемъ упадкѣ, знаніе Славянства является впервые въ настоящей ученой формѣ. Основанія этому научному знанію положены были подъ прямымъ вліяніемъ европейской науки и образованности,—у далматинскихъ Сербо-Хорватовъ въ ея итальянской формѣ, у Чеховъ, Поляковъ и Русскихъ—нѣмецкой. Начиная съ средневѣковыхъ латинскихъ историковъ, въ западной литературѣ не прерывается рядъ историческихъ и географическихъ трудовъ, составляющихъ теперь важный источникъ для изученія разныхъ странъ и вѣковъ Славянства, какъ напр. для древней Россіи путешествія Марко-Поло, Герберштейна, Флетчера, Олеарія и проч. Нѣкоторые изъ этихъ трудовъ, какъ напр., знаменитая книга Герберштейна, были уже почти учеными изслѣдованіями. Къ этой литературѣ примыкала и латинская исторіографія славянскихъ народовъ, о которой мы сейчасъ упоминали. Въ XVIII столѣтіи, является первая систематическая постановка историческаго вопроса. Такъ въ русской литературѣ, кромѣ немногихъ попытокъ русскихъ писателей, установленіе строгой критической исторіи—до Карамзина — было дѣломъ знаменитаго Шлёцера и его нѣмецкихъ предшественниковъ и послѣдователей, какъ Байеръ, Гер.-Фр. Миллеръ, Стриттеръ, Кругъ, Лербергъ. По исторіи западнаго и южнаго Славянства, важнымъ началомъ и сильнымъ возбужденіемъ были нѣмецкія работы Энгеля, Гебгарди, Тунманна, Мейнерта, Аделунга, аббата Фортиса, философско-гуманистическія разсужденія Гердера и проч.; по исторіи древняго южнаго Славянства работы ученыхъ итальянской школы, какъ Ассемани, Бандури, Фарлати.

Славянство не имѣло въ XVIII вѣкѣ своей самостоятельной школы. Въ Россіи была нѣмецкая академія, только-что основанный московскій университетъ съ большимъ числомъ выписываемыхъ изъ Германіи профессоровъ, Кіевская академія съ латинской схоластической ученостью. Польскія школы соединяли схоластическую ученость съ нѣмецкой. Чешскій университетъ въ Прагѣ былъ въ рукахъ іезуитовъ, потомъ былъ нѣмецкимъ; католическіе Словаки были въ рукахъ іезуитовъ, протестанты учились въ нѣмецкихъ университетахъ (особенно въ Галле, Іенѣ, Виттенбергѣ). Далматинскіе Сербо-Хорваты учились въ университетахъ итальянскихъ. Сербы и Болгары не имѣли не только школы, но и самой возможности гдѣ-нибудь учиться... Такимъ образомъ европейская школа, латино-нѣмецкая, итальянская, возбуждала историческую любознательность и указывала научные пріемы изслѣдованія.

Подъ этими вліяніями въ западно-славянской литературѣ съ XVIII вѣка начинается дѣятельная и самостоятельная работа. Одной изъ первыхъ потребностей образованія была мѣстная исторія, начала которой приводили къ вопросу о цѣломъ Славянствѣ; таковы были труды по исторіи разныхъ славянскихъ племенъ—Лингарта, Пеячевича, Микочи, Катанчича и проч., писанные все еще по-нѣмецки и по-латыни. Патріотическая привязанность къ своему языку и необходимость защитить его отъ чуженародныхъ притязаній вызвали рядъ апологій, говорившихъ о древности и великомъ распространеніи славянскаго языка, объ его славѣ, достоинствахъ и богатствѣ: таковы упомянутая раньше „Апологія“ Бальбина, Себ. Дольчи (de illyricae linguae vetustate et amplitudine, 1754), Фр. Аппендини (de praestantia et vetustate linguae illyricae, при Словарѣ Стулли, 1806) и друг. За частными толкованіями о славянской древности слѣдуютъ попытки цѣльныхъ трудовъ, какъ, напр., книги Яна-Хр. Іордана (de originibus slavicis, 1745), д-ра Антона, упомянутая раньше „Исторія“ архимандрита Раича. Съ особенной живостью шло это ученое движеніе XVIII вѣка у Чеховъ—но сначала почти только на латинскомъ и нѣмецкомъ языкѣ: таковы труды Добнера, Фортуната Дуриха, Фойгта, Пельцеля и др., и особенно Добровскаго, который вообще былъ тогда главнѣйшимъ представителемъ этого движенія во всемъ славянскомъ мірѣ. Рядомъ съ нимъ, другого крупнаго ученаго дало племя словинское, въ лицѣ Копитара, друга и младшаго современника Добровскаго. У Поляковъ, въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія интересы къ славянской исторіи были значительно возбуждены,—больше, чѣмъ въ послѣдующее время: назовемъ труды гр. Іос. Оссолинскаго (1748—1826), гр. Яна Потоцкаго (1761—1815), далѣе Нарушевича, Зоріана Ходаковскаго, Раковецкаго, Бандтке и особливо Суровецкаго, и по языку, знамени-

таго Богум. Линде. Въ нашей литературѣ, при первомъ началѣ критической исторіи были уже замѣчены южно-славянскія отношенія древней Руси: Карамзинъ въ своей исторіи посвятилъ особый трактатъ древнему Славянству; Востоковъ сталъ однимъ изъ главныхъ основателей славянской филологіи; Калайдовичъ сдѣлалъ важныя изслѣдованія о древней болгарской письменности; Кёппенъ, потомъ Погодинъ положили основаніе личнымъ между-славянскимъ связямъ въ ученомъ мірѣ и проч. [1]).

Съ этой первой порой научныхъ изслѣдованій Славянства совпадало, съ конца прошлаго вѣка, возрожденіе литературное: но главнымъ, въ сущности пока единственнымъ, *общимъ* для разныхъ племенъ интересомъ была эта область науки. Изслѣдованія конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка были посвящены почти исключительно археологіи, отчасти этнографіи; они были однако очень важны для развитія „Возрожденія"—потому что давали слѣдующему поколѣнію возможность общаго обзора славянскаго цѣлаго. Труды Добровскаго имѣли уже этотъ обще-славянскій характеръ; онъ былъ первымъ энциклопедистомъ славянскихъ нарѣчій, и сталъ первымъ общимъ авторитетомъ.

Второе и третье десятилѣтія нашего вѣка значительно расширили это славянское знаніе: ему посвящаетъ свои труды все бо̀льшее число ученыхъ силъ, и являются новыя возбужденія, съ которыми открываются новыя стороны предмета. Въ ряду такихъ возбужденій было появленіе сербскихъ пѣсенъ Караджича. Онѣ произвели впечатлѣніе и внѣ славянскихъ литературъ, стали предметомъ національной славянской гордости и новымъ орудіемъ Возрожденія, внушивши высокое понятіе о достоинствѣ подлиннаго народнаго творчества. Вскорѣ появились у Чеховъ „Судъ Любуши" и „Краледворская Рукопись", которые опять оказали большое вліяніе не только въ чешской, но и другихъ славянскихъ литературахъ. Изъ разныхъ областей славянскаго міра собирались новыя изслѣдованія, возбуждались новые вопросы; наука была однако разбросана и отрывочна, и требовались обобщающіе и цѣльные труды.

Такимъ обобщеннымъ и цѣльнымъ изученіе Славянства является въ первый разъ въ трудахъ Шафарика, который сталъ тѣмъ бо̀льшимъ авторитетомъ, что своимъ, съ любовью исполненнымъ обзоромъ славянскихъ литературъ, этнографіи, древностей, далъ славянскимъ изученіямъ впервые извѣстную популярность внѣ прежняго спеціальнаго круга. Дѣятельность Шафарика и ученыхъ, ему современныхъ, составила новый періодъ все-славянскаго изученія, обнявшій гораздо

[1]) Подробнѣе см. въ книгѣ Перволь‌фа, и о новѣйшемъ возрожденіи и панславизмѣ вообще—въ его же статьѣ въ «Научномъ Словникѣ», s v. Slované, VIII, 618—644. Часть этой статьи, касающаяся собственно литературы, переведена въ Слав. Ежегодникѣ, I, Кіевъ, 1876, стр. 49—90.

болѣе обширный, чѣмъ когда нибудь прежде, кругъ предметовъ и кругъ читателей и изслѣдователей. — Но все-таки, если въ періодъ, завершенный Добровскимъ, обще-славянскій вопросъ объяснялся почти только на почвѣ археологіи, то и въ трудахъ Шафарика и его ближайшихъ современниковъ онъ оставался дѣломъ книжнымъ: *число* прозелитовъ умножилось, но вопросъ мало выходилъ въ настоящую дѣйствительность, изъ области книжно-ученой и романтической.

Мы упомянемъ далѣе объ учено-романтическихъ теоріяхъ славянскаго Возрожденія.—Очевидно было, что если шла рѣчь о славянскомъ единствѣ и братствѣ, о спеціально славянской цивилизаціи, необходимо было, чтобы измѣнилось политическое положеніе Славянства, потому что какой либо успѣхъ этого рода могъ быть достигнутъ только на просторѣ національной свободы. Политическія движенія Славянства въ защиту національнаго права и начались дѣйствительно. Польское возстаніе, споры Хорватовъ и Словаковъ съ Венграми, готовившимися къ завоеванію своей національной самобытности, стали предметомъ европейскаго интереса; особливо подъ вліяніемъ нѣмецко-мадьярской публицистики, въ Европѣ заговорили о панславизмѣ, угрожающемъ европейскому спокойствію, и вспоминали (неудачное) пророчество Наполеона, что въ полстолѣтіе Европа станетъ республиканской или „козацкой". Нѣмецкіе патріоты настаивали на включеніи Австріи въ германское единство, предвидѣли національное движеніе турецкихъ Славянъ, подозрѣвали, что панславизмъ есть мечта и интрига Россіи... Наступилъ, наконецъ, 1848 годъ. Въ событіяхъ этого времени затронуты были, очевидно, самые крупные интересы; но очевидно также, что дѣйствительность далеко не отвѣчала ожиданіямъ ни славянскихъ патріотовъ, ни ихъ враговъ. Славянскій міръ не возсталъ какъ одинъ человѣкъ и на Европу не было произведено никакого козацкаго нашествія. Славянскій съѣздъ въ Прагѣ вызвалъ насмѣшливое замѣчаніе, что „обще-славянскій языкъ" есть—нѣмецкій. Торжественный манифестъ представителей (одного австрійскаго) Славянства разувѣрилъ Европу, что ей нечего опасаться. Хорваты и Словаки, какъ по результатамъ оказывалось, боролись не за свою національность, которая ничего не выиграла, а за свою вѣрность Габсбургскому дому. Польша уклонилась отъ всякаго политическаго дѣйствія. Турецкіе Славяне остались спокойны. Россія поддержала въ Австріи законный порядокъ... Мадьяры послѣ смѣялись надъ Хорватами, что Венгрія, возставая противъ Австріи, выиграла гораздо больше, чѣмъ Хорваты, защищая ее; положеніе Хорватовъ таково, что имъ приходится и нынѣ по прежнему бороться противъ мадьярскихъ притязаній. Тяжело почувствовали себя по возстановленіи „порядка" Чехи и другіе австрійскіе Славяне. Программа Палацкаго была, говорятъ,

дѣломъ благоразумія, потому что только Австрія можетъ дать Славянству защиту отъ германства и Мадьяръ—но надо было дѣлать предположеніе, что Австрія пожелаетъ дать просторъ славянской стихіи...

Все это показывало, что сознаніе политической солидарности было еще очень слабо даже въ австрійскомъ Славянствѣ, соединенномъ одной государственной жизнью; о связи съ другими племенами не было и рѣчи. Этому времени, *до* 1848 года, и принадлежатъ наиболѣе идеалистическія заявленія славянскаго романтизма.

Событія 1848—49 года были для Славянства съ одной стороны неудачей — онѣ не принесли ожидавшихся политическихъ выгодъ и были разочарованіемъ для идеалистовъ; но это было все-таки проба (хотя и неполная) между-племенного соглашенія, и теоріи послѣ опыта должны были видоизмѣниться...

Не останавливаясь на чисто-политической публицистикѣ (выше отчасти указанной), напомнимъ лишь основныя теоріи, обращавшіяся въ эту эпоху. Особенно популярны были тѣ, которыя исходили изъ чешскихъ источниковъ, отъ Коллара и ученыхъ идей Шафарика и его современниковъ, съ третьяго десятилѣтія нашего вѣка.

Историческія и археологическія изученія уже съ этого времени внесли въ ученый славянскій міръ извѣстную нравственную связь; слависты разныхъ народностей находили себѣ общую почву, и ихъ частныя работы принимали оттѣнокъ обще-славянскій. Современники Шафарика и новое поколѣніе, учившееся подъ тѣми вліяніями, какъ Палацкій, Челяковскій, Эрбенъ, Воцель; Мацѣевскій; Прейсъ, Бодянскій, Срезневскій, Григоровичъ и др., были уже болѣе или менѣе солидарнымъ кружкомъ одного направленія. Національныя стремленія отдѣльныхъ племенъ возводились къ цѣлому; опору и защиту для частной, иногда мелкой народности указывали въ племенной семьѣ, которая должна была быть сильна сочувствіемъ и согласіемъ въ общемъ дѣлѣ. Археологическія изысканія возстановили до извѣстной степени образъ стараго Славянства, принимавшій въ отдаленіи поэтическія краски, и въ особенности открывали общій національный характеръ, родственныя черты быта и преданій, и гораздо болѣе тѣсную связь, даже единство племенъ въ древности. Сама собой представлялась мысль о возстановленіи этой потерянной связи. Въ подмогу явилась еще философская теорія національнаго предназначенія и историческаго преемства расъ и народовъ. Если каждому обширному племени предопредѣлена великая историческая задача—выразить въ своемъ существованіи извѣстную идею, очевидно, что такую особую идею должно выразить и выполнить Славянство,—а идея опредѣляется націонал-

ными свойствами, которыя уже указывались археологическими изслѣдованіями. Многимъ казалось, что народы западной Европы уже совершили свое предназначеніе, что ихъ жизнь идетъ теперь только путемъ разсудочности, матеріализма и духовнаго паденія, и что мѣсто ихъ въ веденіи цивилизаціи должно занять еще полное свѣжими силами, неиспорченное славянское племя, которому пришло время исполнять историческую миссію.

Среди этихъ переплетающихся внушеній и впечатлѣній народнаго патріотизма, археологіи, философско-историческихъ теорій создавалось идеалистическое настроеніе, для полнаго опредѣленія котораго надо указать еще одинъ элементъ—дѣйствительное присутствіе внутренней свѣжей силы, хотя неясно сознанной и нисколько не установившейся. Въ правильномъ здоровомъ развитіи *этой* силы, приходившей отъ сближенія съ народомъ и отъ стремленія служить его благу, и заключалось бы будущее цѣлаго движенія...

Послѣ сказаннаго понятно, что въ первый періодъ своего развитія все-славянскія стремленія были не столько политическимъ ученіемъ, сколько патріотической поэзіей. Намъ остается напомнить въ предыдущемъ изложеніи патріотическихъ поэтовъ и идеалистовъ разныхъ племенъ Славянства,—какъ Венелинъ, Раковскій; Караджичъ, епископъ Мушицкій, владыка Петръ II, Милутиновичъ, Вукотиновичъ и остальные представители „юной Иллиріи"; Водникъ; Колларъ, Челяковскій, Яблонскій; Голый, Сладковичъ, Халупка, Штуръ; Сташицъ, Вороничъ, Мицкевичъ; Шевченко, Костомаровъ и т. д. Со всѣхъ концовъ славянскаго міра слышались восторженныя надежды на будущность своего племени и цѣлаго славянства, заявленія о братской любви, о взаимности, о единствѣ. Во главѣ стала поэма Коллара, знаменитѣйшее произведеніе всей той эпохи и въ своемъ родѣ единственная во всей новѣйшей литературѣ европейской патріотическая поэма, построенная на національномъ энтузіазмѣ и—археологіи. Мы говорили объ ея содержаніи, и приведемъ еще только одинъ отрывокъ, гдѣ поэтъ высказываетъ ожиданіе будущаго—и не очень далекаго: лѣтъ черезъ сто—величія Славянства, жизнь котораго разольется какъ наводненіе, языкъ котораго будетъ слышаться во дворцахъ и въ устахъ самихъ его соперниковъ, а обычаи и пѣсни будутъ господствовать на Сенѣ и на Эльбѣ [1])... У поэтовъ и новаго поколѣнія ученыхъ обра-

---

[1]) „Co z nas Slávů bude o sto roků?
Cože bude z celé Evropy?
Slávský život na vzor potopy
Rozšíří svých všudy meze kroků;

A ta kterou měli za otroků
Jen řeč, křivé Němců pochopy,

зовалось высокое уваженіе къ „народному“, которое одно у славянскихъ племенъ оставалось подлинно и безпримѣсно національнымъ: сборникъ Караджича указалъ, какими сокровищами обладаетъ этотъ народъ: Колларъ и Шафарикъ подтвердили это своимъ собраніемъ; новые дѣятели тогда по-своему „пошли въ народъ“ (Станко Вразъ, Срезневскій, Григоровичъ, Головацкій, Костомаровъ, Войцицкій, Милутиновичъ, Курелацъ, Смолеръ и пр. и пр.). „Народное“ казалось имъ выше цивилизованнаго, какъ неиспорченная патріархальность, какъ преданіе, укрѣпленное вѣками чистаго народнаго быта; мелкія литературы, которыя создавались тогда изъ этой патріархальной среды, ея людьми и для круга ея понятій, казались внутренно выше тѣхъ большихъ литературъ съ искусственными запросами, отчужденныхъ отъ простоты народной жизни и не удовлетворявшихъ ея потребностямъ. Это была цѣлая романтика своего рода; она увлекала своихъ партизановъ, но (напр. въ русской литературѣ) мало вязалась съ общимъ ходомъ литературныхъ идей; тѣсная исключительность и односторонность этой романтики многихъ охлаждала къ славянскому движенію, съ которымъ себя отождествляла. Въ извѣстной связи, но независима отъ этой ученой романтики была собственно-славянофильская точка зрѣнія, выработанная бр. Кирѣевскими и Хомяковымъ и въ примѣненіи къ Славянству развиваемая особенно Гильфердингомъ. Мысли этой школы выражены были въ разныхъ оттѣнкахъ. Славянство есть настоящее „избранное племя“; ему предстоитъ основать новую совершеннѣйшую цивилизацію. Въ настоящую минуту оно раздѣлено,— но ему слѣдуетъ соединиться, чтобы быть способнымъ выполнить свое историческое назначеніе. Славянство въ древности раздѣлилось между двумя враждебными мірами: греческимъ православнымъ христіанствомъ и „латинствомъ“; но по существу своему оно должно бы все быть православнымъ: оно не имѣло связей съ Римомъ, какъ племена романскія и германскія; христіанство оно приняло впервые изъ византійскаго православія, которое отвѣчало племенному характеру и въ которомъ одномъ можетъ быть снова найдено утраченное единство. Вся исторія западнаго Славянства есть внутренняя борьба истинно-

---

Ozývati se má pod stropy
Paláců i v ústech samých soků.

Vědy slávským potekou též žlabem,
Kroj, zvyk i zpěv lidu našeho
Bude mocným nad Seinou i Labem!“

И поэтъ прибавляетъ о себѣ:

„O kýž i já raděj v tu sem dobu
Narodil se panství slavského,
Aneb potom vstanu ještě z hrobu!“

(Сонетъ 376).

славянскаго начала противъ враждебной ему западной церкви и цивилизаціи... Наши послѣдователи романтической школы—тѣ мирные ученые (Бодянскій, Григоровичъ, Прейсъ, Срезневскій), которыхъ западные обличители панславизма изображали революціонными эмиссарами русскаго правительства, не касались, даже съ особенной заботливостью избѣгали политики (которая дома вовсе не поощрялась);—но не обошлось и безъ политическихъ толкованій. Однимъ изъ первыхъ по времени была книжка графа Гуровскаго, въ 1830—31 участника польскаго возстанія, а вслѣдъ затѣмъ приверженца Россіи, которой онъ совѣтовалъ панславистическую политику. Книжка Гуровскаго считалась именно программой русскаго правительства, чѣмъ конечно не была. По его мнѣнію, южныя и западныя племена Славянства—вѣтви, отдѣлившіяся отъ своего корня, вслѣдствіе своего отдѣленія безплодныя и своей порчей вредныя самому корню: единственное средство исцѣлить ихъ—привязать ихъ къ здоровому славянскому корню, который долженъ для ихъ же пользы поглотить ихъ въ одно славянское цѣлое. Подобныя мысли о соединеніи Славянства, но въ видахъ все-славянской любви и въ грубовато-льстивыхъ диѳирамбахъ, излагалъ Погодинъ въ своихъ конфиденціальныхъ запискахъ гр. Уварову — это была особая, ранняя, фракція московскаго славянофильства, во многомъ ему близкая, во многомъ непохожая и, къ сожалѣнію, никогда прямо имъ не отвергнутая.—Извѣстнѣйшимъ выраженіемъ польскихъ идей по славянскому вопросу была теорія, крайнимъ выраженіемъ которой былъ „Мессіанизмъ“ Мицкевича. По этой теоріи, славянскій міръ представляетъ двѣ стороны — положительную и отрицательную: въ первой заключаются начала будущаго славянскаго и человѣческаго прогресса, братства народовъ, и совершится исполненіе христіанства это—Польша; вторая—сторона деспотическая, разрушительная, это—Россія, для которой польскій поэтъ не щадитъ темныхъ красокъ. Великая задача—вести впередъ человѣчество и дать полное выраженіе христіанской идеѣ, принадлежитъ Польшѣ (какъ, по мнѣнію славянофиловъ,—Россіи): потому и спасеніе Славянства лежитъ въ Польшѣ, которая должна занять первенствующее мѣсто въ союзѣ славянскихъ народностей. Далѣе, славянофильскія ожиданія о будущемъ Россіи нашли отголосокъ у писателя, который былъ однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ противниковъ школы; именно, Герценъ думалъ, что русскій народъ, съ своей идеей общины, явится для Европы обновляющей стихіей, какую славянофилы и сами западно-славянскіе идеалисты (Колларъ, Штуръ) видѣли вообще во всей внутренней природѣ славянскаго племени.

Приведенные образчики теорій и поэтическихъ мечтаній повторяются при случаѣ и доселѣ въ русской и славянскихъ литературахъ. Этотъ своего рода славянскій романтизмъ находится въ несомнѣнномъ родствѣ и съ настоящимъ романтизмомъ западно-европейскимъ. Тотъ и другой были, такъ-сказать, юношескимъ выраженіемъ новаго нароставшаго сознанія. Намъ могутъ быть ясны увлеченія и крайности; но всегда останется глубоко сочувственно стремленіе къ „народности", т.-е. въ концѣ-концовъ—стремленіе поднять значеніе народа, внушить уваженіе къ его преданію, слѣд. къ его нравственной автономіи, и наконецъ ввести его какъ полноправнаго дѣятеля въ національную жизнь.

Романтизмъ, какъ обыкновенно, забѣгалъ впередъ дѣйствительности, предвосхищалъ желаемое будущее. Что же представляли славянскія литературы на дѣлѣ?

Въ началѣ мы указывали, что и въ исторической древности, предполагаемое славянское единство не было такъ значительно, какъ думали романтики. Напротивъ, въ историческія времена мы встрѣчаемъ уже разъединеніе — географическое, политическое, этнографическое, церковное, образовательное, письменное,—которому предстояло чѣмъ дальше, тѣмъ больше выростать. Въ періодъ новѣйшаго возрожденія это разнообразіе и дѣленіе умножается. При всѣхъ заявленіяхъ народнаго братства, Возрожденіе обозначилось прежде всего появленіемъ цѣлаго ряда обновленныхъ или совсѣмъ новыхъ литературъ, упорно настаивавшихъ на правѣ своего отдѣльнаго существованія. Это явленіе было вполнѣ естественно, и этого права нельзя было отвергнуть. Весь смыслъ Возрожденія былъ въ томъ, что въ народахъ пробуждалось сознаніе, и чтобы развивать его, слѣдовало говорить съ народомъ на его языкѣ, собрать и разработать его бытовыя и поэтическія преданія; если „народность" вообще есть драгоцѣнное достояніе, ея права на литературное развитіе трудно было бы отрицать. Такимъ образомъ литература Возрожденія, въ началѣ еще бѣдная писателями и публикой, бѣдная по языку и содержанію, разбилась на множество вѣтвей, и каждая хотѣла быть самостоятельной. Здѣсь нужно было иногда все начинать съ начала, съ азбуки и книжнаго языка, и небольшое племя иногда добровольно отказывалось отъ близко родственной литературы, чтобы имѣть свою, чтобы развивать собственную народность. Такъ, отъ Чеховъ отдѣлились Словаки, хотя нарѣчія близки, хотя въ прежнее время Словаки пользовались чешской литературой и сами дали ей многихъ писателей. Литература Сербовъ продолжала дѣлиться на кирилловскую и латинскую, хотя разницы въ языкѣ почти не было; самая литература православныхъ Сербовъ едва не разбилась изъ-за орѳографіи Вука, которая въ княжествѣ была за-

прещена. Особая литература была у Хорватовъ, особая у Словинцевъ. Въ тридцатыхъ годахъ стали появляться ново-болгарскія книги. Галицкіе Южно-руссы не рѣшили до сихъ поръ, держаться ли имъ русскаго языка, или своего народнаго, которымъ начинали писать въ Малороссіи; до сихъ поръ не рѣшили и вопроса правописанія. У Лужичанъ явилось двѣ литературы: одна для нѣсколькихъ десятковъ тысячъ Верхнихъ, другая для нѣсколькихъ десятковъ тысячъ Нижнихъ-Лужичанъ, и такъ далѣе.

Мы видѣли, что чистые романтики были послѣдовательны, восхваляли достоинства маленькихъ литературъ и радовались ихъ размноженію: въ самомъ дѣлѣ, является литература, значитъ, ожилъ еще одинъ народъ. Но другіе начинали тревожиться,—не только тѣ, кому новые расколы уменьшали объемъ литературнаго вліянія (какъ Чехи вооружались противъ раскола Словаковъ), но и тѣ, кто имѣлъ въ виду общее положеніе вещей. Тревога также была не безъ основанія. Это литературное столпотвореніе могло, какъ вавилонское, грозить окончательнымъ разбродомъ. Какой бы согласный энтузіазмъ ни одушевлялъ эти литературы, имъ трудно было ждать широкаго будущаго: ограниченныя, каждая, предѣлами сравнительно небольшого племени, онѣ должны были впередъ осудить себя на ограниченную роль элементарныхъ и популярныхъ книгъ, и въ предметахъ высшаго образованія и науки только повторять чужія болѣе сильныя литературы,—для сильнаго таланта, сильнаго научнаго ума не будетъ мѣста: ему придется или стѣснять свою дѣятельность по размѣрамъ своей среды или покидать ее для болѣе широкой народности. Исторія славянскихъ литературъ представляла множество примѣровъ послѣдняго рода.

„Возрожденіе“ не устрашилось этой трудности, и Колларъ, ограничившись четырьмя главными литературами, считалъ возможнымъ связать ихъ въ искусственное единство посредствомъ своей теоріи „взаимности“. Книжка его объ этомъ предметѣ имѣла большой успѣхъ, и „взаимность“ казалась полнымъ примиреніемъ между-славянскихъ затрудненій. Партизанамъ ея не приходило въ голову, что для большинства никогда не возможна будетъ такая филологическая ученость, какъ знаніе четырехъ нарѣчій, и еслибъ даже была возможна, то для дѣйствительнаго сближенія племени очень мало было бы того археолого-этнографическаго идеализма, которымъ романтики тогда по преимуществу были исполнены...

Но, какъ на практикѣ послѣ оказывалось, что „взаимность“ не свела славянскаго разнообразія къ четыремъ основнымъ цѣлымъ и мелкія литературы возростали сильнѣе и быстрѣе чѣмъ „взаимность“, такъ она вызвала и сильныя возраженія въ теоріи. Прошло едва пятнадцать лѣтъ съ перваго появленія мыслей Коллара о взаимности, какъ

намѣренный и обдуманный сепаратизмъ возникъ въ той самой народности, къ которой Колларъ принадлежалъ, противъ той, къ которой онъ присоединился, — сепаратизмъ Словаковъ противъ чешской литературы. Мы указывали выше, что по мысли Штура введеніе словенскаго языка въ книгу нужно было не только по разсчету ближайшей пользы для образованія народа, но и по цѣлому принципу: Штуръ именно не желалъ сосредоточенія славянской умственной дѣятельностей въ четыре литературы, потому что съ этимъ окончательно утвердилось бы племенное дѣленіе, и Славянство западное и южное было бы навсегда осуждено на провинціализмъ, — тогда какъ, для самаго настоятельнаго общаго блага, нужно было полное единство, которое представлялось Штуру только въ одномъ общемъ всему Славянству литературномъ языкѣ. Такимъ языкомъ казался ему русскій.

Итакъ, съ болѣе широкой и реальной точки зрѣнія идеалы прежняго романтизма не только теряли свою прелесть, но казались даже прямо вредными. Подобнымъ образомъ въ русской литературѣ, въ средѣ самихъ славистовъ, романтическая точка зрѣнія отживала свое время. Думали прежде, что славянскій міръ такъ полонъ единства и братства, несетъ такую напраслину чужого ига, что Россіи стоитъ тронуться, чтобы, напр., Австрія развалилась и на мѣстѣ ея выросъ грандіозный славянскій союзъ подъ руководствомъ Россіи (Погодинъ); думали, что Славянство готово смѣнить отживающую европейскую цивилизацію; высоко цѣнили маленькія славянскія литературы за ихъ патріархальную простоту (Срезневскій), и т. д. Явилась теперь новая точка зрѣнія, съ которой прежнія ожиданія не имѣли мѣста. Съ этой точки зрѣнія (которую у насъ высказывалъ особенно славистъ новаго поколѣнія, В. Ламанскій) оказывалось, что взаимныя влеченія Славянства не такъ сильны; что жалобы австрійскаго Славянства на Нѣмцевъ не вполнѣ основательны, такъ какъ Нѣмцы въ Австріи, хотя и малочисленнѣе Славянъ, но составляютъ въ ней элементъ однородный и самый сильный какъ исторіей, такъ и образованностію, а Славяне, хотя многочисленнѣе, распадаются на семь отдѣльныхъ народностей, и самыя эти народности „представляютъ собой организмы больные, нецѣльные“, такъ какъ одни изъ нихъ сильно онѣмечены, другіе раздѣлены взаимною непріязнью, которая ослабляетъ Славянъ и усиливаетъ нѣмецкое правительство. Было замѣчено, что у славянской интеллигенціи въ Австріи панславизмъ мирно уживался съ преданностью габсбургской династіи, которая была историческимъ врагомъ Славянства; указывалось (въ 60-хъ годахъ) заблужденіе этой интеллигенціи, желавшей успѣховъ Австріи на югѣ, пріобрѣтенія ею Босніи и Герцеговины—въ надеждѣ, что Австрія станетъ славянской имперіей, хотя это пріобрѣтеніе могло ни мало не измѣнить существующаго положенія славянскихъ дѣлъ въ Австріи и

историческаго преданія династіи. Говорилось наконецъ, что мелкія литературы не имѣютъ будущаго, такъ какъ въ наше время наука стала такою силой, безъ которой *не можетъ держаться* ни одна народность, и мелкимъ племенамъ предстоитъ или утратить мало-помалу свою народность и принять органомъ образованности одинъ изъ единоплеменныхъ языковъ, или же, сохраняя племенную особенность, принять въ литературѣ языкъ русскій [1]).

Романтизмъ, о которомъ мы говорили, былъ естественной вспышкой національнаго чувства въ періодъ возрожденія; что на немъ нельзя останавливаться, видно изъ приведенныхъ сейчасъ взглядовъ, выросшихъ не въ какомъ-либо враждебномъ лагерѣ, а на его собственной почвѣ. Съ отсутствіемъ политическаго вопроса, который могъ бы соединять племена въ общемъ интересѣ, единственнымъ выраженіемъ панславянскихъ стремленій оставалась поэзія и археологія, которыя держали вопросъ въ идеалистической окраскѣ и слишкомъ часто только раздражали фантазію. Къ сожалѣнію, на дѣлѣ, не смотря на братскія заявленія и проповѣди о взаимности, славяне чрезвычайно мало знали другъ друга; такъ было въ тридцатыхъ годахъ, и почти также до сихъ поръ,—рѣзкіе примѣры такого незнанія приводилъ тотъ же писатель, котораго мы сейчасъ цитировали. Взаимныя сношенія были развиты чрезвычайно мало и ограничивались спеціалистами, или встрѣчами случайными. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ наши слависты сдѣлали важныя ученыя путешествія по славянскимъ краямъ,—но въ смыслѣ взаимнаго ознакомленія обществъ результатъ былъ не великъ, и родилось даже не мало ошибочныхъ представленій [2]).

---

[1]) «Славяне въ Австріи заслуживаютъ только названіе народностей, и, какъ таковые, *не могутъ не подчиняться Нѣмцамъ*, которые, по всей справедливости, должны быть названы націею, ибо семь народностей: Поляки, Малороссы, Чехи, Словаки, Сербы, Хорваты, Словинцы, составляющія слишкомъ 15 милліоновъ славянскаго народонаселенія Австріи, сами по себѣ такъ слабы и малочисленны, что ни одна изъ нихъ не можетъ теперь образовать независимаго, сильнаго государства и самостоятельной образованности и литературы на своемъ родномъ языкѣ. Если польская и чешская литературы иногда называются богатыми, то это совершенно относительно: онѣ очень бѣдны и ничтожны въ сравненіи съ литературами нѣмецкою, англійскою, французскою, итальянскою и даже испанскою. Не надо забывать, что чешская и польская литературы въ XV, XVI, XVII и XVIII вѣкахъ обработывались на гораздо большемъ пространствѣ, чѣмъ теперь. Что касается до южныхъ Славянъ, то они образуютъ федерацію, общимъ органомъ высшей образованности можетъ быть у нихъ только русскій языкъ. Славяне въ Австріи, изъ чувства патріотизма, не хотятъ сознаться, что они находятся къ Нѣмцамъ въ отношеніи народностей къ національности. Тутъ вводитъ ихъ въ *недоразумѣніе* мысль, что они принадлежатъ къ одному великому 80-милліонному племени, но они совсѣмъ, кажется, не обращаютъ вниманія на то, что изъ этихъ 80-ти милліоновъ, 50 принадлежатъ къ одному русскому племени, уже выработавшему себѣ одинъ письменный языкъ, а остальныя 30 милліоновъ раздѣлены на 8-мь народностей, имѣющихъ каждая свою особенную литературу, находящихся въ самыхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ»...

[2]) Напр., у насъ пошли въ обращеніе различныя чешскія односторонности въ сужденіяхъ о разныхъ славянскихъ предметахъ, односторонности, которыя принималъ напр. даже такой большой знатокъ Славянства, какъ Гильфердингъ; у Чеховъ, подъ

Впослѣдствіи, научное знаніе Славянства очень расширилось, но оно все еще ограничивается небольшимъ кругомъ спеціалистовъ, а говоря вообще, какъ въ нашемъ обществѣ свѣдѣнія о внутренней жизни и литературѣ разныхъ славянскихъ племенъ очень скудны, такъ еще болѣе ограничено въ западномъ и южномъ Славянствѣ знаніе русской жизни и русскихъ отношеній.

Такимъ образомъ, все то чрезвычайное разнообразіе, которое исторія создала въ разныхъ областяхъ славянскаго міра, остается несознаннымъ не только племенами, но и образованными кругами общества. Оттого, племенное чувство сказывается вообще именно почти только какъ чувство, проявляется порывами (какъ въ самыхъ событіяхъ 1875—78 годовъ), мало сопровождаемое потребностью серьёзнаго изученія, постояннымъ вниманіемъ и интересомъ: нелегко и предвидѣть, поэтому, проявленія этого чувства—они могутъ быть, но, при сходныхъ поводахъ, могутъ и не быть. Ясно однако, что если это племенное чувство должно развиться въ сознательное, стать „единствомъ" (въ какой бы ни было степени: политической солидарности, единства образовательнаго, даже просто научно-литературной связи), то для этого никакъ недостаточно тѣхъ случайныхъ, неполныхъ литературныхъ отношеній, какія существуютъ до сихъ поръ. Необходима возможность непосредственнаго знакомства и бесѣды; заключили, что необходимъ прежде всего „обще-славянскій литературный языкъ".

Не будемъ передавать здѣсь тѣхъ заявленій и попытокъ рѣшить вопросъ объ этомъ искомомъ языкѣ, какія дѣлались до сихъ поръ [1]), и остановимся на предположеніи, наиболѣе распространенномъ, у насъ особенно, что этимъ языкомъ долженъ стать русскій.

Для взаимной связи Славяне нуждаются въ общемъ литературномъ языкѣ; для сопротивленія чужимъ подавляющимъ вліяніямъ, они нуждаются въ поддержкѣ обширной нравственной силы. Это средство и эту силу, которыя помогутъ имъ сдѣлаться *націей*, можетъ доставить имъ только принятіе русскаго языка, какъ языка образованія и литературы. Только этимъ способомъ они могутъ найти прочный центръ, около котораго они могутъ собрать свои разрозненныя силы. Введеніе русскаго языка подвинетъ впередъ и внутренніе вопросы западнаго и сѣвернаго Славянства, примиритъ племенную вражду и дастъ возможность бороться съ вліяніемъ другихъ націй, тяготѣющихъ теперь

вліяніемъ встрѣчъ и сношеній только съ людьми одного круга, съ тѣхъ поръ и донынѣ господствуютъ очень странныя представленія о русской литературѣ и жизни, которыя ими самими лично почти не изучались, и т. п.

[1]) Для подробностей отсылаемъ читателя къ статьямъ: «Литературный Панславизмъ», въ «Вѣстн. Евр.», 1879.

надъ Славянствомъ. Прежде всего, могли бы и должны бы принять русскій языкъ Сербы и Болгары, языкомъ науки и высшей образованности,—сохраняя пожалуй свой языкъ въ управленіи, судѣ, школѣ, въ литературѣ поэтической, и народно-практическихъ книгахъ; затѣмъ, и другіе Славяне. Русскій народъ долженъ въ этомъ помочь своимъ „бѣднымъ и слабымъ единоплеменникамъ", отъ которыхъ отличается внѣшней силой и „богатствами духовныхъ силъ" (Ламанскій).

Заявленія объ этой необходимости общаго литературнаго языка (или въ болѣе тѣсномъ предѣлѣ: общаго языка высшей образованности и дипломатическаго, т.-е. языка взаимныхъ сношеній общественно-литературныхъ) дѣлались неоднократно не только съ русской, но и съ славянской стороны, и особенно въ пользу русскаго языка. Форма заявленій была всего чаще—убѣжденія въ важности этого вопроса и приглашенія исполнить это принятіе общаго языка. Мы сами раздѣляемъ убѣжденіе, что если бы могло осуществиться утвержденіе такого общаго литературнаго языка, это было бы великимъ пріобрѣтеніемъ для Славянства; но всегда думали, что вопросъ такъ труденъ и многообъемлющъ, что въ немъ безсильны всякія частныя пожеланія подобнаго рода: онъ опредѣлится—даже не литературный средой, а широкими историческими условіями, направленіемъ цѣлой политической жизни Славянства и Россіи, и ходомъ ихъ жизни образовательной.

Разсуждая теоретически, представляется, во-первыхъ, вопросъ: необходимо ли, чтобъ Славянскія племена составили непремѣнно одну *націю?* Славянскія племена запада и юга могли бы до извѣстной степени сосредоточиться (напр. южныя племена въ одну группу, чехословенское—въ другую, Поляки—въ третью) и вести отдѣльную жизнь, какъ ведутъ Шведы или Датчане отдѣльно отъ германства. Народность есть такая сила природы, которая живетъ и дѣйствуетъ не по отвлеченнымъ разсужденіямъ, а по собственному внутреннему стремленію и по принудительнымъ внѣшнимъ условіямъ. Какая принудительная сила одолѣвала бы здѣсь естественный инстинктъ самосохраненія народности и заставила бы, особенно западное Славянство, принять русскій языкъ?

Подобную вѣроятность можно еще принять для Болгаръ при нѣкоторой близости нарѣчій, при единствѣ народной религіи, при сосѣдствѣ, и теперь—при связяхъ политическихъ (если онѣ разовьются въ общественныя). Она меньше для Сербовъ, далеко раскиданныхъ географически, раздѣленныхъ въ религіозномъ отношеніи, частію давно испытывающихъ нѣмецкія вліянія. Еще меньше эта вѣроятность для Чеховъ, у которыхъ, при сохраненіи тойже династіи и при тѣхъ же условіяхъ политическаго сосѣдства, принятіе русскаго языка съ его послѣдствіями было бы цѣлой революціей; а при переворотѣ федеративнаго характера, который не невозможенъ, славянскія племена въ

Австріи, быть можетъ, станутъ еще ревнивѣе заботиться о своей этнографической особности.

Русскій языкъ, по словамъ теоріи, дастъ западному и южному Славянству, между прочимъ, ту выгоду, что доставитъ возможность узнать Россію, облегчитъ сравнительное изученіе славянскихъ языковъ, народнаго быта и поэзіи и т. д. Безъ сомнѣнія; но то, что мы замѣчали выше объ удивительнымъ незнаніи Россіи у Славянъ, показываетъ, что есть причина незнанія болѣе существенная, чѣмъ неумѣнье читать русскихъ книгъ. Чехи и вообще австрійское Славянство могли бы читать по крайней мѣрѣ нѣмецкія сочиненія или переводы о Россіи; но мы имѣемъ основаніе думать, что и эта литература извѣстна у нихъ очень мало, — не говоря уже о томъ, что во всей западной славянской литературѣ нѣтъ о Россіи ничего, что-бы приближалось къ такимъ, писаннымъ иностранцами, книгамъ, какъ сочиненія Маккензи Уоллеса или Рамбо. Славяне — скорѣе можно было бы сказать — не потому не знаютъ Россіи, что не читаютъ по-русски, а наоборотъ, не читаютъ, потому что не знаютъ Россіи, далеки отъ нея и не имѣютъ къ ней настоящаго, сознательнаго интереса. Нѣтъ сомнѣнія, что это незнаніе есть большой недостатокъ славянской интеллигенціи; но онъ видимо не безпричинный. Вѣроятно, въ русской литературѣ (какова она была доселѣ, и какой на сколько времени еще останется?) Славянамъ было нѣчто чуждое или нѣчто недостаточное: чуждое потому, что самая жизнь и исторія наша имъ не близки, и недостаточное — потому, что тѣмъ Славянамъ, которые искали бы въ ней предметовъ „высшей образованности", русская литература не могла бы дать этихъ предметовъ въ ихъ искомой и должной полнотѣ.

Это приводитъ насъ къ тому аргументу теоріи, что русскій языкъ „съ каждымъ, можно сказать, десятилѣтіемъ все болѣе пріобрѣтаетъ себѣ характеръ всемірнаго языка, подобно англійскому, нѣмецкому и французскому". Если бы русскій языкъ дѣйствительно пріобрѣлъ такое значеніе, это было бы сильнѣйшее обстоятельство, которое могло бы доставить ему литературное господство и въ славянскомъ мірѣ. Произойдетъ ли это, и когда, не беремся рѣшать; сдѣлаемъ лишь нѣсколько замѣчаній о томъ, какія условія дѣлаютъ языкъ „всемірнымъ", и даютъ ему возможность стать языкомъ высшей образованности у племенъ, употребляющихъ, собственно говоря, другой языкъ.

Во-первыхъ, нѣкоторые изъ славянскихъ языковъ не такъ безпомощны для служенія „высшей образованности",—напримѣръ, чешскій и польскій; и у Чеховъ въ такое короткое время образовался, хотя очень искусственный, но разнообразный литературный языкъ, что они тѣмъ болѣе дорожатъ имъ и гордятся. О польскомъ нечего и говорить. И если бы Чехи пришли къ необходимости покидать свой языкъ,

то взамѣнъ они, — при положеніи вещей, похожемъ на нынѣшнее, — скорѣе выбрали бы нѣмецкій, нежели русскій. Славянскіе ученые, и даже горячіе патріоты, издавна и донынѣ употребляли нѣмецкій языкъ, когда шла рѣчь о широкихъ интересахъ науки или политики (Добровскій, Копитаръ, Шафарикъ, Палацкій, Колларъ, Воцель, Миклошичъ, Ткалацъ, Утѣшеновичъ, Ягичъ и мн. друг.); и русскому языку нужно сдѣлать очень многое въ области высшей образованности, чтобы пріобрѣсти въ славянскомъ мірѣ авторитетъ, достаточный для пересиленія родныхъ языковъ и, въ австрійскомъ Славянствѣ очень распространеннаго, нѣмецкаго.

Французскій, нѣмецкій и англійскій языки справедливо называются всемірными потому, что дѣйствительно играли великую роль въ исторіи обще-человѣческаго развитія и потому, что имѣютъ и чрезвычайно обширное внѣшнее распространеніе. Знаніе ихъ неизбѣжно необходимо тому, кто хочетъ усвоить „высшую образованность" или успѣшно для нея работать. На этихъ языкахъ высказывались самые глубокіе вопросы и рѣшенія новѣйшей мысли, важные не только въ собственной національной средѣ, но и всюду, гдѣ только являлась мысль о божествѣ, природѣ, человѣкѣ, обществѣ, знаніи, правѣ и т. д. Въ древнемъ мірѣ, предшественникѣ нашей цивилизаціи, это такъ-называемое обще-человѣческое значеніе принадлежало греческому языку и литературѣ; потомъ эта роль перешла къ латинскому и онъ остался языкомъ высшей образованности до конца среднихъ вѣковъ и въ нѣкоторой степени даже позже. „Всемірное" значеніе этихъ языковъ было таково, что въ эпоху западно-европейскаго Возрожденія изученіе классической древности произвело новый поворотъ въ развитіи европейской образованности. Въ новыя времена такое значеніе принадлежитъ французскому, нѣмецкому и англійскому языкамъ вовсе не потому, что это — языки большихъ странъ и народовъ (Китай обширнѣе всѣхъ ихъ вмѣстѣ), а потому, что этимъ народамъ принадлежалъ трудъ высшаго человѣческаго знанія и величайшія произведенія поэтическія; — этою силой названные языки получаютъ и внѣшнее всемірное распространеніе, захватывая новыя части свѣта въ свою территорію. Англія шла впереди европейскаго развитія съ XVII вѣка; въ XVIII, дѣло англійскихъ мыслителей продолжала французская литература, которая становилась все-европейской; съ конца XVIII-го и въ XIX, къ нимъ присоединяется глубокая и знаменательная дѣятельность нѣмецкой науки и поэзіи. Вотъ область, въ которой русскому языку предстоитъ завоевывать „всемірное значеніе"... Простая правдивость должна признать, что русскому языку еще далеко до этого значенія. Русская литература создала въ послѣднее столѣтіе много замѣчательныхъ явленій, которыя дѣйствительно даютъ право ждать отъ нея сильнаго развитія

въ будущемъ, развитія въ размѣрахъ главныхъ литературъ европейскихъ,—но теперь она еще далека отъ него, и ея произведенія, богатыя внутреннимъ достоинствомъ и глубоко важныя въ своей средѣ, имѣютъ для другихъ народовъ интересъ все еще болѣе этнографическій. Кто захотѣлъ бы искать въ нашей литературѣ плодовъ „высшей образованности", скоро увидѣлъ бы свою ошибку и обратился бы къ другимъ источникамъ, гдѣ въ самомъ дѣлѣ нашелъ бы эти плоды болѣе свѣжими и цѣлыми, нежели въ нашей неполной и невѣрной передачѣ... Для всемірнаго значенія литература должна ознаменовать себя великими произведеніями науки и поэзіи, исполненными со всей свободой философскаго мышленія и національнаго поэтическаго творчества; а для этого необходимы такія условія общественности, какихъ мы доселѣ не имѣли и еще не имѣемъ. Необходимость этихъ условій указывалъ Штуръ, когда (почти 30 лѣтъ назадъ) говорилъ о необходимости принятія Славянами русскаго языка, какъ общаго литературнаго языка; и когда въ пору московскаго славянскаго съѣзда, 1867, въ нашей печати снова поведена была рѣчь о принятіи Славянами русскаго языка, изъ самого славянофильскаго лагеря сдѣлано было нѣсколько очень сильныхъ возраженій, заимствованныхъ изъ положенія нашей науки и общественности [1]. Въ какомъ положеніи находится наша печать, и возможна ли при немъ литература, авторитетная для народовъ, имѣющихъ (какъ напр. Чехи; австрійскіе и прусскіе Поляки; австрійскіе Сербо-Хорваты; даже Болгары) европейскую свободу печати, объ этомъ считаемъ излишнимъ распространяться [2].

Такимъ образомъ, еслибы даже знаніе русскаго языка распространилось между Славянствомъ, то при безправномъ положеніи печати, при несвободѣ науки, наша литература никакъ не уничтожитъ зависимости Славянства отъ нѣмецкой или иной образованности и литературы, и принятіе русскаго языка Славянами немыслимо. Или же русская литература должна подняться до той степени, гдѣ бы она могла свободно работать для „высшей образованности", и тогда дѣло сводится къ вопросу о свойствахъ нашей общественности. Не видѣть этого—можно только добровольно закрывая глаза на факты.

Наконецъ предположимъ, что наша литература пріобрѣла тѣ общественныя условія, о которыхъ мы говоримъ, пріобрѣла свободу науки

[1]) Ср. Штура, «Славянство и міръ будущаго», стр. 174. 151—152; газету «Москва», 1867, № 86. 97.

[2]) Приведемъ лишь примѣръ, что въ послѣдніе годы не могли проникнуть въ нашу печать столь умѣренныя сочиненія, какъ книга Лекки объ исторіи раціонализма и даже извѣстная книга Финлея по исторіи Византіи. Съ другой стороны, у Сербовъ былъ напр. возможенъ переводъ книги Ренана.

Припомнимъ еще, что у насъ до послѣдняго времени не допускаются изданія русской галицкой литературы, журналы австрійскихъ Сербовъ (напр. „Стража"), не допускались въ 1860-хъ годахъ (см. выше) патріотическія изданія болгарскія. О книгахъ польскихъ нечего и говорить.

и свободу печати. Это, безъ сомнѣнія, чрезвычайно подвинуло бы ея развитіе и ея вліяніе въ Славянствѣ; но и послѣ того вопросъ еще нельзя считать рѣшеннымъ. Если говорили, что наша литература (при всѣхъ трудностяхъ) растетъ съ „каждымъ десятилѣтіемъ“, то также или сильнѣе растутъ литературы, съ которыми ей пришлось бы соперничать, и съ каждымъ десятилѣтіемъ въ новыхъ литературахъ славянскихъ укрѣпляется ихъ чувство отдѣльности, которая должна становиться для нихъ тѣмъ дороже, чѣмъ съ бо́льшими усиліями противъ иноплеменнаго вліянія она ими охраняется.

Писатели старыхъ поколѣній уже думали объ этихъ предметахъ, и умнѣйшіе изъ нихъ указывали въ вопросѣ еще одну сторону, безъ сомнѣнія чрезвычайно важную, именно—что нравственно-литературное единство могло бы быть достигнуто лишь великими историческими дѣяніями, вліяніе которыхъ почувствовалось бы цѣлымъ Славянствомъ [1]).

Если бы случилось (и нашъ взглядъ, это было бы большимъ счастьемъ для славянскихъ народовъ), что это объединеніе литературно-образовательное совершится, мы также думали бы, что литературнымъ средоточіемъ могъ бы быть только русскій языкъ—не только по многочисленности народа, не только по значенію политическому, гдѣ русскій народъ является (или: могъ бы явиться) единственнымъ сильнымъ представителемъ Славянства,—но особенно по соображеніямъ, касающимся литературы. Нѣтъ сомнѣнія, что въ наше время національная жизнь, широкая и прочная, невозможна безъ сильнаго развитія науки, что „безъ науки не можетъ удержаться ни одна народность“ (т.-е. которой коснется культурное соперничество); чрезвычайно сложная наука нашего времени требуетъ большихъ матеріальныхъ средствъ, а эти средства можетъ представить только сильная національность. По этому основанію и по тѣмъ богатымъ задаткамъ, какія уже даются нашей наукой и поэзіей, мы думали бы, что нравственно-національнымъ и образовательнымъ центромъ славянства могла бы быть только Россія,—но этого не понимаетъ какъ слѣдуетъ ни русское общество (мы говорили выше о положеніи нашей науки и литературы), ни славянскій міръ, и послѣднему непониманіе извинительнѣе, когда пониманія нѣтъ у насъ самихъ.

Такимъ образомъ успѣхи нашего вліянія въ славянскомъ мірѣ и самое направленіе національнаго развитія Славянства лежатъ, существен-

---

[1]) Шафарикъ, по поводу «все-славянскаго» языка и письма, еще въ 1826 писалъ слѣдующее (въ переводѣ съ чешскаго): «Какое изъ славянскихъ нарѣчій и какая славянская азбука будутъ всеславянскими, будетъ рѣшать уже не перо, рѣшитъ это только мечъ; потоки крови проведутъ черты — тамъ. гдѣ ихъ больше потечетъ, тамъ возникнетъ все-славянская рѣчь и алфавитъ» (въ чешскомъ «Часописѣ», 1874, стр. 68). Ср. слова Копитара и Добровскаго, сличаемыя В. Ламанскимъ въ Ж. Мин. Н. Просв., 1880, іюнь, стр. 336.

нымъ образомъ, въ положеніи науки и вообще образованія, общественности и литературы, въ самой Россіи....

Если *долго* не измѣнятся условія и не явится возможности широкаго и свободнаго развитія нашей образованности, то было уже и ранѣе высказано и теперь опять возникаетъ у самихъ партизановъ Славянства мнѣніе, что славянское движеніе можетъ пойти *мимо* Россіи. Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы послѣднее время не давало къ этому мнѣнію поводовъ, особенно когда въ Австріи, повидимому, явилась наклонность къ признанію славянскаго національнаго права, мѣстныхъ автономій и языка. Улучшеніе политическаго положенія, очень вѣроятно, можетъ ослабить общественный, а затѣмъ и литературный интересъ къ Россіи и—къ славянскому единству...

Послѣ этихъ мечтаній о славянскомъ единствѣ, подъ русскимъ главенствомъ, остается сказать нѣсколько словъ о фактѣ, который составляетъ ихъ противоположность и который нерѣдко смущалъ горячихъ приверженцевъ единства,—т.-е. о современномъ дѣленіи славянскихъ литературъ. Оно все какъ будто возрастаетъ. Были случаи, что сами дѣятели и энтузіасты славянскаго Возрожденія возставали противъ новыхъ литературъ, забывая, что все обновленіе славянской національной жизни произошло изъ того же источника, который производилъ новыя маленькія литературы. Такъ возставали Чехи въ названномъ прежде сборникѣ („Hlasové“), противъ литературы словенской; такъ у насъ негодовали на малорусскія литературныя попытки. О томъ и другомъ мы раньше подробно говорили. Вопросъ о правѣ мелкихъ литературъ на существованіе немыслимъ тамъ, гдѣ вообще не подвергается сомнѣнію право литературы. Если онѣ возникаютъ, это есть уже ихъ право; если дѣятели ихъ преувеличиваютъ силы своей народности, это обнаружится само собою; принудительное противодѣйствіе ихъ развитію вредитъ какъ тѣмъ, что вноситъ въ племенныя отношенія новую дозу вражды, такъ и тѣмъ, что стѣсняетъ, заглушаетъ проявленія народности, которыми справедливо дорожили первые дѣятели Возрожденія, какъ распускающимся цвѣтомъ нравственно-національнаго сознанія. Литература большого народа, идущая къ тому, чтобы стать въ рядъ „всемірныхъ“, только обогатилась бы, имѣя подлѣ литературы филіальныя, надъ которыми все-таки господствовала бы, а притѣсненіемъ ихъ она компрометтируетъ свое достоинство. Господство языка и литературы должны достигаться силою ихъ внутренняго авторитета, а не принужденіемъ и содѣйствіями администраціи.

За послѣднія десятилѣтія мало измѣнились общія отношенія славянскихъ литературъ. Все еще слишкомъ недостаточны ихъ силы; по-

прежнему грозятъ славянскимъ народностямъ опасности чужеземнаго ига, или еще оно гнететъ ихъ и продолжается паденіе національности; „взаимность“ слаба; тѣ первоначальныя цѣли, которыя должны стоять предъ литературами славянскихъ народовъ и заключаются во взаимномъ сближеніи, соглашеніи и примиреніи, далеко не достигнуты. Но многое сдѣлано, и есть признаки лучшаго будущаго.

Знаменательнѣйшимъ событіемъ послѣднихъ лѣтъ было вступленіе въ славянскій кругъ новой свободной народности—болгарской; оно было безъ сомнѣнія и крупнымъ фактомъ славянскаго сознанія. Правда, въ этомъ событіи есть неясности, есть „явленія неразгаданныя“ для чужихъ, да и для своихъ наблюдателей;—еще трудно сказать, какими путями, но въ немъ дѣйствовала славянская солидарность. Надобно думать, что неразгадываемое теперь будетъ больше и больше дѣлаться видимой и сознательной силой. Съ болгарской стороны, въ сверженіи ига и установленіи новаго порядка участвовали старые и молодые патріоты, боровшіеся въ церковномъ вопросѣ, работавшіе въ литературѣ и школѣ, строившіе планы освобожденія и томившіеся ими въ эмиграціи. Другимъ важнымъ событіемъ было недавнее расширеніе національной равноправности въ Австріи. Въ области литературной должно замѣтить новое развитіе ученой дѣятельности, выразившееся основаніемъ двухъ славянскихъ академій—въ Загребѣ и Краковѣ, и вообще расширеніемъ историко-этнографической литературы. Славянскія изученія возрастаютъ въ разныхъ направленіяхъ, и гораздо больше, чѣмъ прежде является примѣровъ взаимнаго изученія и изученія все-славянскаго. Послѣ перваго поколѣнія славистовъ, во главѣ которыхъ стояли Шафарикъ, какъ ученый, и Колларъ, какъ поэтъ панславизма, и въ рядахъ которыхъ вліятельно работали первые русскіе профессоры „славянскихъ нарѣчій“, дѣйствовалъ и дѣйствуетъ новый рядъ замѣчательныхъ ученыхъ, какъ Миклошичъ, Ягичъ, Гильфердингъ, Ламанскій, Макушевъ, Котляревскій, Рачкій, Первольфъ и др., съ интересомъ все-славянскимъ въ различныхъ областяхъ историко-филологическаго знанія. Въ кругѣ взаимныхъ изученій укажемъ въ особенности труды Богишича по изученію южно-славянскаго юридическаго быта и по законодательству Черногоріи, и работы Константина Иречка-младшаго, который далъ Болгарамъ исторію ихъ отечества къ самой минутѣ ихъ освобожденія.

Еще не мало національныхъ иллюзій, но историческій опытъ накопляется и научаетъ болѣе критическому отношенію и къ прошедшему и къ современной дѣйствительности.

Не примирены (и вѣроятно, долго еще не примирятся) старыя вражды; но можно отмѣтить хотя зачатки невиданнаго явленія: попытокъ примиренія, идущихъ съ обѣихъ сторонъ, между двумя братьями,

двумя историческими врагами—русской и польской національностью, попытокъ, которыхъ нельзя не привѣтствовать съ лучшими пожеланіями и которыя должны бы умножаться по мѣрѣ того, какъ развивается безпристрастная, т.-е. истинно-историческая критика.

Желаніемъ, чтобы такая историческая критика разъяснила славянскому, и въ томъ числѣ русскому, ученому міру и обществу истинные интересы Славянства, мы кончимъ свой настоящій трудъ.

7 іюля 1880.

ДОПОЛНЕНІЯ И ПОПРАВКИ.

Стр. 3. «Histoire de la littérature contemporaine chez les Slaves, par C. Courrière». Paris, 1879.

Стр. 20. «Сравнительныя этимологическія таблицы славянскихъ языковъ». Составилъ Ф. В. Ржига. 2 вып. Спб. 1877—1878. 4°.

Стр. 36. Другіе русскіе труды о Кириллѣ и Меѳодіи, между прочимъ вышедшіе въ послѣдніе годы, укажемъ въ дальнѣйшей части нашего труда.

Стр. 47. В. Тепловъ, Матеріалы для статистики Болгаріи, Ѳракіи и Македоніи (съ приложенеімъ карты распредѣленія народонаселенія по вѣроисповѣданіямъ). Спб. 1877. 4°.

— Путешествіе по славянскимъ областямъ Европейской Турціи. — Мекензи и Эрби. Съ предисловіемъ Гладстона. Пер. съ англ. Въ двухъ томахъ. Спб. 1878.

— Народы Турціи. Двадцать лѣтъ пребыванія среди Грековъ, Болгаръ, Албанцевъ, Турокъ и Армянъ, — жены и дочери консула. Въ двухъ томахъ, переводъ съ англійскаго. Спб. 1879.

— Южное Славянство. Турція и соперничество европейскихъ правительствъ на Балканскомъ полуостровѣ. Историко-политическіе очерки. Соч. Л. Доброва. Спб. 1879.

— K. Jireček, Knížectví bulharské, въ журналѣ Osvěta, 1878, № 5—6.

— F. Kanitz, Donau-Bulgarien. III Bd. Mit 46 Illustrationen im Texte, 10 Tafeln und 1 Original-Karte (въ масштабѣ 1 : 420,000). Leipzig, 1879.

Съ послѣдними событіями явился въ слав. и европ. литературѣ цѣлый рядъ сочиненій, прямо или косвенно относящихся къ балканскому Славянству. Было бы долго перечислять ихъ, и отчасти чуждо нашей цѣли, такъ какъ главный интересъ ихъ политическій. Быть можетъ, мы возвратимся къ нимъ при другомъ случаѣ.

Стр. 48. А. Куникъ и баронъ В. Розенъ, Извѣстія Ал-Бекри и другихъ авторовъ о Руси и Славянахъ. Спб. 1878 (стр. 118—161: о родствѣ Хагано-Болгаръ съ Чувашами по славяно-болгарскому именику, и дал.).

— Ф. Брунъ, Догадки касательно участія Русскихъ въ дѣлахъ Болгаріи въ XIII и XIV столѣтіяхъ. Журн. Мин. Н. Просв. 1878, дек., 227—238.

— Матвѣй Соколовъ, Изъ древней исторіи Болгаръ. I. Образованіе болг. національности. II. Принятіе христіанства болгарскими Славянами. Спб. 1879.

— Ѳед. Успенскій, Образованіе второго болгарскаго царства. Одесса, 1879 (Зап. Новоросс. унив. XXVII). Съ приложеніемъ неизд. документовъ; его же библіотечныя изслѣдованія памятниковъ языка и болг. исторіи, Журн. М. Н. Пр. 1878—79.

— Архим. Антонинъ, Поѣздка въ Румелію. Спб. 1879. 4°. Подробный разборъ, П. А. Сыркў, въ Ж. Мин. Н. Пр. 1880, іюнь — іюль.

Стр. 54. Стоянъ Новаковичъ, «Бугари и њихова књижевност», въ журналѣ «Отачбина», 1875, годъ I, кн. 3, 283—291, 396—406, 625—640 (окт., ноябрь и декабрь). В. Ягичъ, О языкѣ и литературѣ современныхъ Болгаръ (перевед. въ «Еженед. Нов. Времени», 1880, № 82—83).

Стр. 108. Къ Паисію см. еще въ ст. Ламанскаго, «Болг. словесность XVIII вѣка», въ Журн. Мин. 1869, IX, 107—123.

Стр. 114. «Габровско-то училище и неговы-тѣ пьрвы попечители». Царьградъ 1866. Іеромонахъ Неофитъ Рылецъ издалъ «Описаніе болгарскаго священнаго монастыря Рыльскаго». Софія, 1879.

Стр. 117. Къ литературѣ болгарскаго церковнаго вопроса прибавимъ еще нѣсколько изданій болгарскихъ и не-болгарскихъ:

— Ἀπάντησις εἰς τὸν λόγον τοῦ κυρίου Е. Καραθεοδώρη. (67 стр. «1860. Представитель бѫлгарски Х. П. Х. Минчоолу»). Переводъ съ болг.

— Воззваніе къ господамъ представителямъ и настоятелямъ, отъ браильскаго общества (печ. въ Болградѣ) 1861, 25 ноября. 16 стр.

— Опроверженіе на възраженіето на великата църква противъ издаденытѣ отъ правителството проекты за рѣшеніето на българскія въпросъ. Превелъ отъ пьрвообразното Н. Михайловскій. 47 стр, (печатано въ тип. «Македоніи»).

— Окружно писмо святаго българскаго сунода къмъ самостоятелныты православны церквы. Въ отговоръ на окружното патріаршеско писмо къмъ сѫщыты церквы П. П. Ч. Цариградъ, 1871. 27 стр., и тоже по гречески: Ἐγκύκλιος Ἐπιστολή и пр. Конст. 1871, 30 стр.

— Избираніето на българскый екзархъ. Цар., въ тип. «Македоніи». 1872. 32 стр., мал. форм.

— Вълнуванiята на Фенерь и изверженiята му. Цар., въ тойже тип. 1872. 36 стр., также.

— «Писмо до българскый екзархь» (Антимъ 1-ый), Вълка Нейчова, ноября 1872, Бейоглу (8 стр. 8⁰).

— Τὸ οἰκουμ. πατριαρχεῖον καὶ οἱ Βούλγαροι ὑπὸ Е. Καυσοκαλύβου. 1874. s. l. Книжка аѳонскаго монаха, грека, въ пользу болгарскаго дѣла.

Эти изданія, какъ и еще нѣкоторыя другія рѣдкія болгарскія изданія (далѣе) были намъ сообщены П. А. Сырку́, молодымъ ученымъ, сдѣлавшимъ любопытное путешествіе въ Болгарію въ 1878—79 г. и отъ котораго наука можетъ ожидать важныхъ трудовъ по изученію балканскаго Славянства, стараго и новаго.

Стр. 122. Любенъ Каравеловъ (род. 1834) умеръ въ Рущукѣ 21 янв. 1879. Болгарскаго патріота очень цѣнили и Сербы какъ посредника между болгарской и сербской интеллигенціей. Ср. «Заставу», 1879, № 18, и «Серб. Зорю», 1879, № 2.

Стр. 123. Въ ряду новыхъ писателей должно назвать еще Т. Х. Станчева, которому принадлежитъ рядъ популярныхъ книжекъ, весьма разнообразнаго содержанія: это—наставленія религіозныя, педагогическія; повѣсти (напр. «Ружица отъ Елограда, древно събытіе», 1870); историчёскія коротенькія драмы (напр. на событія послѣдней войны); комедіи нравоучительныя (и также: «Биконсфилдъ, смѣшна позорищна игра»). Кира Петровъ—учитель и патріотъ, погибшій передъ началомъ русско-турецкой войны, былъ также популярнымъ писателемъ (объ его судьбѣ см. въ названной далѣе книжкѣ Радославова). Никола Живковъ—патріотическій стихотворецъ. Но лучшій изъ новыхъ поэтовъ есть, кажется, И. Вазовъ: «Тѫгитѣ на Бѫлгария», Бук. 1877, и «Избавление, современни стихотворения», Бук. 1878.

Назовемъ еще писателя изъ болгарскихъ протестантовъ, Андрея С. Цанова, который издавалъ въ 70-хъ годахъ религіозно-поучительныя книжки въ Вѣнѣ. Ему принадлежитъ также: «Българія въ източній въпросъ» (Пловдивъ, или Филиппополь, 1879). Одну поучительную книжку перевела и Марія А. С. Цановъ.

Изъ протестантскаго круга выходилъ въ 60-хъ годахъ въ Царьградѣ рядъ книжекъ подобнаго рода, отличающихся протестантскимъ раціонализмомъ и піэтизмомъ: Папа-та и римско-католическа-та церква, 1861; Иди при Іисуса, 1863; Калугерство. (Вѣна, 1867; противъ монашества); Слово за постъ (т. е. о постѣ, собственно противъ поста), 3-е изданіе, 1868 и друг.

Протестантство сдѣлало много возбужденіемъ интереса въ образованію и школѣ.

Стр. 123—124. Къ сочиненіямъ Раковскаго укажемъ еще: «Бьлгарскый вѣроисповѣденъ въпросъ съ фанариотитѣ и голѣмая мечтайна идея панелинизма», мал. 4⁰ съ румунскимъ переводомъ en regard, 111 стр.; «Български тѣ хайдути. Тѣхното начяло и тѣхна та постоіана борба съ Турцы тѣ отъ падения Бьлгарий до днѣшны тѣ времена. Книжица пьрва». Букурещъ 1867; б. 8⁰, 39 стр. Къ сожалѣнію, одной первой книжкой (всѣхъ должно было быть пять) и ограничилось, гдѣ идетъ рѣчь о древнемъ болг. царствѣ; въ 5-й главѣ должно было находиться «описаніе развитія народнаго духа и болѣе обширное движеніе политической жизни съ 1821 до 1867». Общій взглядъ Раковскаго на значеніе гайдучества вкратцѣ указанъ въ предисловіи.

Стр. 124. Къ литературѣ болгарской патріотической эмиграціи упомянемъ изданія болгарскаго центральнаго комитета:

— La Bulgarie devant l'Europe. Яссы, 1867.

— Les plaies de la Bulgarie, Галацъ, 1867 (см. Слав. Зарю, 1867, стр. 179).

— Уставъ на бѫлгарскиятъ революционни централни комитетъ, Женева, 1870. Мал. форм. 21 стр. Цѣль комитета—«освобожденіе Болгаріи черезъ революцію, моральную и съ оружіемъ въ рукахъ».

— «Бѫлгарски гласъ. Отъ Б. Р. Ц. К.» (т. е. отъ болг. рев. центр. комитета). Женева. 1870. Мал. 8°, 24 стр. Призывы къ освобожденію.

— Ат. А. Черневъ, Русчушките тѫмници или българската революция на 1867-а година. Букурещъ, 1876. Мал. 8°, 142 стр.

— О гайдучествѣ: Н. Д. Козлевъ, «История на Хайдутъ Сидеря и на неговътъ биволъ Голя. По народно предание». Одесса 1876.

— Упомянемъ наконецъ любопытную книжку Р. Радославова: «Слѣдствія отъ Кримейската война на 1854—856 год. За память на 1876 год. по въстаніето въ Търновското окрѫжіе, описаніе на Търновскытѣ тьмницы». Тѐрново 1878. 73 стр. мал. 8°.

Стр. 125. Біографія М. С. Дринова въ чешскомъ «Свѣтозорѣ», 1877, № 21.

Стр. 134. Кажется, еще ранѣе выхода «Веды», образчики ея пѣсенъ, по сообщеніямъ Я. Шафарика и Дозона, даны были въ книгѣ Дюмона (Alb. Dumont, Le Balkan et l'Adriatique. 2-me éd. Paris 1874, стр. 164—173, 378—380). Доля книги, посвященная Славянству, впрочемъ, весьма поверхностна.—Книжку Гейтлера о цѣломъ сборникѣ Верковича мы упомянули выше. Назовемъ еще брошюру: Dr. Fligier, Ethnologische Entdeckungen im Rhodope-Gebirge, Wien 1879 (изъ Mittheil. der anthropolog. Ges. in Wien, IX). Загадочный вопросъ долженъ выясниться съ изданіемъ новыхъ пѣсенъ, которое дѣлается Верковичемъ въ Петербургѣ.

Къ трудамъ послѣдняго прибавимъ: «Описаніе быта Болгаръ, населяющихъ Македонію», М. 1868, 46 стр. (изъ Моск. Унив. Извѣстій).

Стр. 136. Къ народной словесности упомянемъ еще: четыре «народныя болг. сказки», уцѣлѣвшія изъ сборника Миладиновыхъ и сообщенныя К. Ж. (Жинзифовымъ) въ Филолог. Запискахъ, Воронежъ, 1866, вып. 4—5, стр. 85—92.

— Зборникъ отъ разни българскы народни приказкы и пѣсни. Събрали и издали Г. Х. Н. Лачоглу, Н. М. Астарджіевъ. Русчюкъ 1870 (отчасти извѣстныя отчасти новыя).

— Тончо Мариновъ, «Български народни гатанки. Българска мѫдрость» (посвящ. князю Д.-Корсакову). Книжка первая (брошюра). Софія, 1879. Въ томъ числѣ издатель и самъ сочинялъ загадки, но, къ счастію, отмѣтилъ ихъ въ концѣ.

— Упомянемъ еще переводы—чешскій: Іос. Голечка, Junácké písně naroda bulharského (Poesie svètová, VIII). Прага, 1875; и нѣмецкій: Розена, Bulgarische Volksdichtungen. Gesammelt und ins Deutsche übertragen. Leipz. 1879.

Стр. 137. Освобожденіе вызвало въ Болгаріи оживленную дѣятельность, большое броженіе общественныхъ элементовъ, которыя отразились въ литературѣ, преимущественно газетно-политической. Развязаны были руки старымъ дѣятелямъ, явились новые: основано было много газетъ, отчасти эфемерныхъ, отчасти удержавшихся. Назовемъ главныя: «Болгаринъ», основанный въ Румыніи, издается въ Рущукѣ; «Марица», основанная въ 1878 Дановымъ, въ Филиппополѣ; «Цѣлокупная Болгарія» издавалась Славейковымъ въ Тѐрновѣ, потомъ въ Софіи (прекратилась); «Остенъ», сатирическая газета, издавался нѣсколько мѣсяцевъ также Славейковымъ въ Тѐрновѣ во время народнаго собранія и любопытенъ для исторіи этого собранія; «Витоша» издается въ Софіи; «Болгарскій Гласъ»—тамъ же; «Народенъ Гласъ», Манчева, въ Филиппополѣ; «Болгарская Иллюстрація»—съ 1879, въ Софіи. Т. Х. Станчевъ, учитель въ главномъ Тѐрновскомъ училищѣ, въ 1872—73 издававшій духовный журналъ «Слава», въ Рущукѣ, въ 1879 началъ издавать «Славянинъ, народенъ листъ за наука». Р. И. Блесковъ въ 1877—78 издавалъ «Славянско братство, политическо-литературно списание».

Появляются книги популярно-историческія, какъ Болгарская исторія Т. Шишкова; «Русско-турска война 1877—1878 (очерки и расказн)», Тѐрново 1879, С. С. Бобчева, который писалъ и по-русски (Очерки изъ быта Болгаръ, Р. Вѣстн. 1879).

Вопросъ политическій между Сербами и Болгарами о Македоніи и верхней Албаніи,—кому принадлежитъ ихъ славянское населеніе,—поднялъ и вопросы исторіи и этнографіи. Сюда принадлежатъ книжки:

— Деспот Баџовић (из Македоније), Којој словенској грани припадају Словени у горњ ј Албанији и у Македонији. Бѣлгр. 1878. 48 стр.

— Дим. Алексијевић (изъ Раосова, у околини Дибре), Старо-Срби. Бѣлгр. 1878. 48 стр.

Признавая нѣкоторую долю болг. населенія въ этомъ краѣ, оба писателя находятъ, что жители этого края составляютъ особую славянскую разновидность, которая однако и по исторіи и по этнографіи принадлежитъ Сербамъ, а не Болгарамъ.

Для нарѣчія отмѣтимъ книжки: «Голѣма българска Читанка или втора-та часть на българскыйтъ букварь, на нарѣчіе по-вразумително за Македонскытѣ Българы. Нарѣдилъ Единъ Македонецъ». Издалъ Андрей Анастасовъ Рѣсенецъ. Царьгр. 1868; «Кратко землеописаніе»—на томъ же нарѣчіи, того же издателя. Цар. 1868.

О новой Болгаріи ср. Немировича-Данченко: Послѣ войны. Спб. 1880.

Стр. 139. Статьи Нила Попова: «Сербія послѣ парижскаго мира», въ «Бесѣдѣ» 1871, кн. VI, стр. 165—224; «Сербія и Порта въ 1861—67 гг.», въ «Вѣстн. Европы», 1879, кн. 2—3.

— Јастребов (бывшій русскій консулъ въ Призренѣ), Податци за историју српске цркве. Бѣлгр. 1879 (очень важные).

— Freih. v. Schweiger-Lerchenfeld, Bosnien, das Land und seine Bewohner. geschichtlich, geographisch, ethnographisch und social-politisch geschildert. Wien, 1878.

— Arthur J. Evans, Illyrian Letters. Lond. 1878.

Стр. 140. О Сербахъ въ Венгріи см. J. H. Schwicker, Politische Geschichte der Serben in Ungarn. Nach archivalischen Quellen dargestellt. Budapest, 1880. (Исторія ихъ съ 1690, т.-е. съ переселенія, до 1792). Тому же Швикеру принадлежитъ нѣм. переводъ книги Гунфальви: «Ethnographie von Ungarn», Budapest. 1877, гдѣ есть свѣдѣнія о Сербахъ, Болгарахъ Венгріи и Словакахъ; и книги Каллая (Kállay), Geschichte der Serben. Budap. 1878.

— Гавр. Витковичъ, Критички поглед на прошлост Срба у Угарској, въ «Гласникѣ», 1870—71.

Стр. 165. По исторіи Хорватовъ: И. Н. Смирновъ, очеркъ исторіи хорватскаго государства до подчиненія его угорской коронѣ. Историческое изслѣдованіе по источникамъ. Казань, 1880.

Стр. 166. Только-что вышла книга: Storia della letteratura slava (serba e croata) dalle origini fino ai giorni nostri, del prof. Melchiore Lucianović. Volume primo. Spalato, 1880. Эта первая часть обнимаетъ древній и средній періодъ сербо-хорватской литературы.—Замѣтимъ здѣсь и неупомянутый ранѣе трудъ С. Любича: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, II. 1869.

Стр. 175. Ср. «Хорватскія пѣсни о Радославѣ Павлоичѣ и итальянскія поэмы о гнѣвномъ Радо», А. Н. Веселовскаго, въ «Ж. Мин. Н. Просв.», 1879, январь.

Стр. 189. О поэмѣ Гундулича, изслѣдованіе Романа Брандта: «Историко-литературный разборъ поэмы Ивана Гундулича «Османъ». Кіевъ, 1879; ср. еще—о композици «Османа», ст. Луки Зоры, въ «Радѣ», 1877, т. XXXIX. «Прибавка къ толкованію Османа, Ст. Новаковича, въ «Словинцѣ», 1879, № 5.

Стр. 190. «Dubrovnik ponovljen, epos u XX pjevanja i Didone tragedija Jakete Palmotića Gjonorića» изданы книгопрод. Претнеромъ, Дубровникъ, 1878.

Стр. 199. Vrtić. Pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza tržačkoga. Izdao Ivan Kostrenčić. Загребъ, 1871.

Франкопанъ былъ послѣдній потомокъ этого рода. Сестра его, Анна-Катерина, женщина замѣчательнаго ума, была жена Петра Зринскаго и извѣстна какъ хорватская писательница Франкопанъ погибъ вмѣстѣ съ Зринскимъ (казненъ въ Вѣнѣ 1671 г., 30 лѣтъ отъ роду). Его ст хотворенія — лирическія, особенно эротическія, отчасти въ формѣ народныхъ пѣсенъ,—не замѣчательны, представляя подражаніе Итальянцамъ, но любопытны исторически; писаны на хорватско-словенскомъ нарѣчіи.

Стр. 205. «Жизнь Досиѳея Обрадовича по его автобіографіи и разборъ его произведеній со стороны языка и содержанія», Е. Гацкевича, см. въ Варшав. Универс. Извѣстіяхъ, 1879, № 5—6.

Стр. 217. Мнѣніе Шафарика, 1822 г., противъ рѣзкости Вуковой реформы, въ перепискѣ съ Колларомъ, «Часописъ», 1873, стр. 124. — Укажемъ еще ст. Любена Каравелова, «В. Ст. Караджичъ», въ Филол. запискахъ, Воронежъ, 1867, I, 1—16; ранѣе ст. Ягича: Zasluge V. St. Karadžića, Загр. 1864. Знаемъ только по указанію брошюру: Н. Розена, Вукъ Ст. К. Бѣлградъ, 1864 (?).

По матеріаламъ Караджича изданъ: Deutsch-serbisches Wörterbuch, Wien. 1877.

Стр. 219. «Лукіанъ Мушицкій и его литературная дѣятельность» составляютъ

предметъ статьи Дж. Райковича въ «Лѣтописѣ» сербской Матицы, 1879, т. 120. Въ 1877 Сербы вспоминали 100-лѣтнюю годовщину рожденія Мушицкаго.

Стр. 220. «Матица српска (1826 — 1876)», А. Хаджича, въ воспоминаніе ея 50-лѣтія, въ «Лѣтописѣ» Матицы, томъ 121, 1880. Въ «Лѣтописѣ» явилась также автобіографія Савы Текелія. См. также І. Субботича, «Живот Саве Текелије». Будимъ, 1861.

Стр. 224. Статья Светислава Вуловича: «Сима Милутиновић Сарајлија песник српски», въ «Годишницѣ» Чупича, II, 280—348.

Стр. 227. Біографія Змай-Іована Іовановича (род. 1833), котораго соотечественники считають въ ряду первыхъ, даже первымъ современнымъ поэтомъ сербскимъ, въ журналѣ «Српска Зора», 1879, № 1. Собраніе его сочиненій выходитъ въ послѣдніе годы въ Новомъ-Садѣ.

Въ недавней и современной сербской новеллистикѣ наиболѣе популярныя имена: Як. Игнатовичъ, Милорадъ Шабчанинъ, Юрій Якшичъ (недавно умершій) и Степанъ Митровъ Любиша. Послѣдній, умершій въ 1878, началъ писать подъ конецъ своей жизни и своими разсказами изъ черногорскаго и далматинскаго быта и старины (Pripoviesti crnogorske i primorske. Dubrovnik 1875) пріобрѣлъ большую популярность не только у Сербовъ, но и у Хорватовъ, которые не долюбливали его по политическимъ отношеніямъ. (Некрологъ въ хорватскомъ Vienac; воспоминаніе Тодора Стефановича Виловскаго, въ «Слав. Альманахѣ» 1879. Рядъ разсказовъ Любиши печатался въ послѣднихъ годахъ «Сербской Зори»).

Кромѣ того, пользуются бо́льшей или меньшей популярностью разсказы Стевана В. Поповича («Из српскога живота», Н. Садъ 1880,—изъ бывшей Войводины), Панты Поповича, Владана Джорджевича (Скупљене Приповетке, 2-е изд. 1879), Лаза Костича.

«Песме» Бр. Радичевича вышли 6-мъ изданіемъ, 1879. Воспоминанія о немъ въ «Серб. Зорѣ» 1879, № 2.

Стр. 228. Переводъ книги Дм. Милаковича: Storia del Montenero del cavaliere Dem. Milaković, traduzione di G. Aug. Kaznačić. Ragusa, 1879.

Опечатка: годъ изданія «Исторіи о Черной Горы» не 1854, а 1754.

Стр. 230. Еще краткая біографія Петра II, Вука Врчевича въ журналѣ «Slovinac», 1878, № 7. Укажемъ письма Петра II, въ «Чтеніяхъ» Моск. Общ. Ист. и Древн., 1847, кн. 7, смѣсь, стр. 31—32; въ перепискѣ Станка Враза; гдѣ-то въ «Р. Старинѣ».

Стр. 232. «Живот и рад д-ра Божидара Петрановића» издалъ Іов. Сундечичъ. Дубровникъ, 1879 (изъ журнала «Словинацъ»).

— Краткая біографія М. Бана въ «Словинцѣ», 1879, № 17.

Стр. 233. Къ Боснѣ относятся слѣдующія книжки, вызванныя послѣдними событіями:

— Босна је српска или одговор на «Разговоре» Дон-Мих. Павлиновића и два писма проф. А. А. Мајкова о Босни. 2-е изд. Н.-Сад 1878.

— Л. Петровић, Крвави дани у Босни. Истинити догађај из српско-турског рата. 1878.

— Васа Пелагић, Историја босанско-херцеговачке буне у свези са српско- и руско-турским ратом. Будимпешта 1880.

Стр. 237. Съ выхода 1-го тома нашй екиги мы можемън указать еще рядъ важныхъ и любопытныхъ работъ Стояна Новаковича: «Српска Граматика», ч. 1, 3, 4. Бѣлградъ 1879; изслѣдованія по исторической географіи Сербіи, въ «Годишницѣ» Чупича; о планѣ Даничичева сербо-хорватскаго словаря, въ «Радѣ», 1878. XLV; «Приповетка о Александру Великом» (сербская редакція Александреиды), Бѣлград 1878; «Леђан град и Пољаци у српској народној појезији», въ «Лѣтописѣ» сербской Матицы», 1879, т. 120. (Ср. объ этомъ предметѣ въ «Письмахъ къ Погодину», письмо Шафарика, II, 392). Ein Beitrag zur Literatur der serbischen Volkspoesie, въ «Архивѣ» Ягича, т. III.—Другія работы упомянуты въ дополненіяхъ, въ своемъ мѣстѣ.

Стр. 238. Миланъ Миличевичъ издалъ въ послѣдніе годы нѣсколько сочиненій новаго рода: «Јурмуса и Фатима или турска сила сама себе једе. Прича о ослобођењу шест округа 1832—34». Бѣлгр. 1879, и «Зимње Вечери. Приче из народног живота у Србији», Бѣлгр. 1879 — разсказы изъ народнаго быта, которые съ большими похвалами приняты сербской критикой. Далѣе: «Село Злоселица» и пр. Бѣлгр. 1880, гдѣ авторъ касается національно-политическаго вопроса.

Біографія Миличевича въ «Свѣтозорѣ» 1878, № 7.

Стр. 238. Біографія Чедомила Міятовича, экономиста и историка (род. 1842), въ «Сербской Зорѣ», 1880, № 1.

Стр. 248. О Гаѣ, см. еще: «Открытое письмо доктора Л. Гая къ М. П. Погодину и документы къ нему», въ Современной Лѣтописи, 1867, № 21. «Людевитъ Гай въ Россіи въ 1840 году», Нила Попова, въ «Древн. и Новой Россіи», 1879, № 8.

Стр. 249. «Черногорцы или смерть Смаиль-аги Ченгича», и пр. Переводъ А. Лукьяновскаго. Псковъ, 1877.

Стр. 253. Краткая біографія Антуна Казначича (1784—1874) въ «Словинцѣ», 1879, № 14. Его «Pjesme razlike» съ біографіей вышли у Претнера, Дубровникъ, 1879.

Стр. 254. Краткая біографія Прерадовича въ «Словинцѣ», 1879, № 15.

Стр. 257. О Евг. Кватерникѣ, исторія его авантюризма въ газетѣ «Застава», 1878, № 55—56.

Стр. 258. О хорватскомъ движеніи см. еще: «Hrvati od Gaja do godine 1850», Ивана Мильчетича и «Hrvatska narodna zadaća» въ альманахѣ хорватской омладины: Hrvatski Dom. Загребъ, 1878, стр. 152—207, 234—242.

Стр. 259. Біографія Ягича въ чешскомъ «Свѣтозорѣ», 1877, № 44; въ далматинскомъ «Словинцѣ», 1880, № 10.

— Краткая біографія Фр. Рачкаго въ «Словинцѣ», 1879, № 14.

Стр. 261. Нѣсколько дополнительныхъ словъ о сербо-хорватскихъ изданіяхъ У Сербовъ прибавилось съ 1878 ученое изданіе—«Годишница», издаваемая на сумму, завѣщанную Чупичемъ для научно-образовательныхъ предпріятій. Иллюстрированная «Српска Зора», издаваемая Тодоромъ Стеф. Виловскимъ съ 1876, между прочимъ слѣдитъ за новостями другихъ славянскихъ литературъ. Съ 1880 возобновлено Влад. Джорджевичемъ изданіе учено-литературнаго журнала «Отачбина», въ Бѣлградѣ. Основалась независимая газета «Видело», и съ 1878, въ Новомъ Садѣ, либеральный журналъ «Стража», подъ ред. Л. Пачу.

Въ Далмаціи, именно въ Дубровникѣ, издается «Slovinac», гдѣ съ латинской печатью является и кирилловская: здѣсь собираются далматинскія сербо-хорватскія силы, между прочимъ много работъ Сундечича.

У Хорватовъ лучшее литературное изданіе есть еженедѣльный Vienac, редакторъ котораго Авг. Шеноа считается лучшимъ хорватскимъ новеллистомъ.—Въ 1878 основана замѣчательная политическая газета «Sloboda».—Къ научнымъ изданіямъ прибавился «Vêstnik» хорватскаго археологическаго дружества, въ Загребѣ. Академія продолжаетъ дѣятельно издавать свой «Rad»; продолжаются «Monumenta» для югославянской исторіи. Кукульевичемъ издано было, и послѣ упомянутыхъ нами, нѣсколько книгъ его «Архива».

Стремленіе къ сербо-хорватскому примиренію не ослабѣваетъ. Въ этомъ смыслѣ написана между прочимъ любопытная брошюра: «Упознајмо се!» (написао Илија Гутеша. Загреб 1880). Припомнимъ кстати прекрасные стихи Змай-Іовановича въ память Прерадовича.

Стр. 267. Ожидавшееся изданіе сербо-хорватскихъ пѣсенъ изъ старыхъ рукописей сдѣлано Богишичемъ въ 1878: «Народне пјесме из старијих највише приморских записа, скупио и на свијет издао В. Богишић. Књига прва, с расправомъ о «бугарштицама» и с рјечником». Бѣлгр. 1878 (142 и 430 стр.)—богатое и въ высокой степени важное изданіе.

Стр. 279. Краткія біографическія свѣдѣнія о Грго Мартичѣ въ журналѣ «Slovinac», 1878, № 10.

Стр. 280. Пѣснямъ о косовскомъ боѣ Ст. Новаковичъ посвятилъ историческое изслѣдованіе: «Српске народне песме о боју на Косову», въ «Годишницѣ» Чупича, II, 97—177, и «Архивѣ» Ягича, III, 413—462,—направленное противъ названной выше книжки Армина Павича.

Укажемъ еще: — «Песме народне. Скупіо и издао Милошъ Милисавлѣвићъ. Часть I». Бѣлгр. 1869. Всего 104 бóльшей частью небольшихъ пѣсенъ; сборникъ замѣчателенъ тѣмъ, что пѣсни собраны исключительно изъ восточной, пограничной съ Болгарами, Сербіи.

— Въ имени издателя черногорскихъ пѣсенъ (стран. 280, строка 3) опечатка: онъ называется Филиппъ Радичевичъ.

— «Цар Лазар у народним песмама». Панчево, 1880.

— Пѣсни о Косовѣ перевели недавно на греческій языкъ Кумануди и Ахиллъ Парасхосъ; но книжки мы не имѣли въ рукахъ.

— Назовемъ наконецъ богатое собраніе «Южно-славянскихъ народныхъ пѣсенъ» (именно сербо-хорватскихъ; нѣсколько болгарскихъ), которое началъ въ 1879 Фр. Кухачъ съ мелодіями (всего до 1600). Текстъ издается кирилл. и латинскимъ шрифтомъ, въ Загребѣ.

— Народно-поэтическій матеріалъ сообщали въ журналѣ «Slovinac» Вукъ Врчевичъ, Видъ Вулетичъ и др.

— О свойствѣ археологическихъ трудовъ Милоевича любопытныя разъясненія даетъ книжка Величка Трпића: Милош С. Милојевић у Призрену и његовој околини. Бѣлгр. 1880.

Стр 282. Обширная біографія и указаніе трудовъ Богишича — въ чешскомъ «Свѣтозорѣ», 1879, № 39—40.

Стр. 283. Лучшій словинскій словарь: Deutsch-Slovenisches Wörterbuch, Люблянa, 1860.

Стр. 294. Біографія Прешерна въ «Свѣтозорѣ», 1878, № 50, и въ «Сербской Зорѣ» 1879, № 6, на основаніи біографій, которыя писали словинскіе писатели І. Стритаръ и Фр. Левецъ; біографія Блейвейса—въ «Свѣтозорѣ» 1878, № 46, и въ «С. Зорѣ», 1879, № 3.

Стр. 299. О Копитарѣ укажемъ еще: упоминанія о немъ въ перепискѣ Челяковскаго, «Часописъ», 1871 (письмо В. Станка, стр. 228—229); крайне враждебные отзывы Шафарика, въ «Письмахъ къ Погодину», ч. II; переписку Добровскаго съ Копитаромъ въ «Архивѣ» Ягича; нѣсколько писемъ Копитара въ чешскомъ «Часописѣ», 1872, въ «Архивѣ» Кукульевича, XII, 1875; статью Дж. Райковича, въ журналѣ «Српска Зора», 1879, № 4—5) и статьи Ламанскаго, о «Новѣйшихъ памятникахъ древне-чешскаго языка» въ Журн. Мин. 1879, и особенно ст. въ іюньской книгѣ, 1880, которая кажется намъ наиболѣе справедливой оцѣнкой замѣчательнаго словинскаго ученаго.

Стр. 306. Послѣ вышелъ и 2-й томъ сборника Чубинскаго, такъ что изданіе закончено. Оно получило Уваровскую премію, по рецензіи А. Н. Веселовскаго.

Стр. 307. Иванъ Новицкій, Очеркъ исторіи крестьянскаго сословія юго-западной Россіи въ XV—XVIII вѣкѣ. Кіевъ, 1876 (предисловіе къ 1-му тому VI части «Архива юго-зап. Россіи»).

Стр. 308. М. А. Колосовъ, обзоръ звуковыхъ и формальныхъ особенностей народнаго русскаго языка. Варшава, 1878 (стр. 253—266, заключенія объ отношеніяхъ нарѣчій велико- и мало-русскаго).

— Dr. Emil Ogonowski, Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache. Lemberg, 1880.

Стр. 311. Д-ръ Яр. Влахъ (Vlach), Die ethnographischen Verhältnisse Südrusslands in ihren Hauptepochen, въ Зап. вѣнскаго геогр. общ., 1880. Мы не имѣли этого въ рукахъ.

Стр. 341. Новое изданіе «Самовидца» вышло потомъ въ свѣтъ: Лѣтопись Самовидца по новооткрытымъ спискамъ, съ приложеніемъ трехъ малороссійскихъ хроникъ: Хмельницкой, «Краткаго Описанія Малороссіи» и «Собранія Историческаго». Издана Врем. Коммиссіею etc. Кіевъ, 1878. Стр. 81 и 468.

Стр. 346. О старинной малороссійской драмѣ см. обширную статью Н. И. Петрова: «Южнорусская литература XVIII вѣка, преимущественно драматическая» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», 1880, май и слѣд.

Стр. 354. О запискахъ Чепы см. у Бантышъ-Каменскаго, Ист. Малой Россіи, 2-е изд., т. I, VIII.

Стр. 360. Въ 1878, 18 ноября, праздновалась въ Харьковѣ, Кіевѣ, Петербургѣ столѣтняя память рожденія Квитки. О петербургскомъ празднованіи см. «Новое Время», 1878, 20 ноября.

Стр. 370. Въ пражскомъ изданіи Шевченка находятся также воспоминанія о немъ и о кирилло-меѳодіевскомъ братствѣ, Н. И. Костомарова.

См. еще: Омелянъ Огоновскій, Жите Тараса Шевченка. Читанка для селянъ и мѣщанъ. Львовъ 1876 (брошюра); Vacslav Dunder, Taras Ševčenko, въ журналѣ Osvěta, 1872, № 9, 11; Поминки Т. Г. Шевченка 25 февраля 1879 года въ Одессѣ. Сост. А. Т. Одесса, 1879.

Стр. 373. О біографіи Костомарова ср. еще въ «Исторіи Петерб. Университета», 1868.

Стр. 382. Некрологъ Алексѣя Стороженка въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» и въ «Правдѣ», 1875, 522—524.

Стр. 394. Костомарова, Историческое значеніе южно-русскаго нар. пѣсеннаго творчества, — рядъ статей въ журналѣ «Бесѣда», 1872; «Исторія козачества»... въ южнор. нар. поэзіи, въ журналѣ «Русская Мысль». 1880, рядъ статей.

Стр. 397. Alfred Rambaud, L'Ukraine et ses chansons historiques, въ Revue d. d. Mondes, 1875, IX. Новой французской книги Ходзько мы не имѣли подъ руками.

Стр. 406. «Изъ исторіи разочарованій австрійскихъ Славянъ. Посольство угорскихъ Русскихъ въ Вѣнѣ въ 1849 году». К. Л. Кустодіева, «Р. Вѣстникъ», 1872, № 4, стр. 377—407.

Стр. 409. Въ упоминаніи о событіяхъ 1846 года сдѣлана ошибка: возстаніе противъ помѣщиковъ произведено было крестьянствомъ не русскихъ, а польскихъ округовъ Галиціи.

Для опредѣленія русинско-польскихъ отношеній важный матеріалъ фактовъ и разсужденій собранъ въ книгѣ: Polityka Polaków względem Rusi. Napisał Stefan Kaczała. Львовъ, 1879, 367 стр.

Стр. 410. Статья Головацкаго о лит.-умств. движеніи Русиновъ переведена была *съ нѣмецкаго* Н. Бунаковымъ (изъ Slaw. Centralblatt, 1866, № 37—40) въ Филол. Запискахъ, 1867.

Стр. 816. Литература о Краледворской Рукописи возростаетъ. Гебауэръ и Машекъ опровергаютъ Вашка и даютъ новыя доказательства подлинности рукописи; Шембера установилъ наконецъ свое мнѣніе и въ новой книжкѣ высказывается противъ подлинности Рукописи: «Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817?» Вѣна, 1880. На этотъ вопросъ Шембера отвѣчаетъ, что авторомъ эпическихъ пѣсенъ Рукописи былъ В. А. Свобода, а лирическихъ—Ганка; писцомъ былъ Линда. Противъ Шемберы выступилъ уже съ нѣкоторыми мѣткими указаніями его недосмотровъ, P. S. въ «Свѣтозорѣ» 1880, № 29—30.

Въ нашей литературѣ укажемъ работу студ. Андрея Стороженка: «Очеркъ литературной исторіи Зеленогорской и Краледв. рукописей» въ кіевскихъ «Универс. Извѣстіяхъ», 1879—80.

Стр. 825 и 829. Мы привели обычное предположеніе чешскихъ историковъ, что «Ткадлечекъ» изъ чешской литературы перешелъ въ нѣмецкую. Обратное мнѣніе см. въ изданіи нѣмецкаго текста: Der Ackermann aus Böhmen. Herausg. und mit dem tschechischen Gegenstück Tkadleček verglichen von Joh. Knieschek. Prag, 1877. (Bibl. der mittelhochdeutschen Liter. in Böhmen, herausg. von E. Martin). Книшекъ утверждаетъ, что Ткадлечекъ взятъ съ нѣмецкаго.

Стр. 830. Mastičkař, по мнѣнію неутомимаго обличителя Шемберы, za padělaný poznán a z literatury vyvržen r. 1879. Его обвиненія категорически отвергаетъ Гебауэръ въ журналѣ Listy filolog. a paedag. 1880, и въ «Архивѣ» Ягича, т. IV.

Стр. 930, 967. Упомянутой книги Як. Малаго: Naše znovuzrození, вышелъ 2-й выпускъ, посвященный 48—49 году.

Стр. 995. Біографія Конст. Иречка въ «Сербской Зорѣ», 1879, № 9.

— Jos Lad. Pič, Ueber die Abstammung der Rumänen. Leipz. 1880.

Стр. 1003. Emil Černý, Slovenská Čitanka. Вѣна и Б. Быстрица, 1864—65.

Стр. 1039. Къ изложенію словенской поэтической литературы должно прибавить еще имя Яна Ботто (род. 1829). Онъ учился въ Левочѣ, потомъ въ пештскомъ университетѣ и затѣмъ сталъ землемѣромъ. Въ Левочѣ онъ проникся патріотическимъ настроеніемъ переселившихся туда изъ Пресбурга учениковъ Люд. Штура. Главное его произведеніе есть поэма о «Яношикѣ», любимомъ героѣ народнаго преданія и поэзіи, съ которымъ связаны идеи о народной самобытности и свободѣ.—Выше мы замѣчали, что чешскіе поэты въ послѣднее время не разъ обращались къ странѣ и жизни Словаковъ и искали въ нихъ пищи для своей поэзіи: Галекъ, Гейдукъ, Руд. Покорный. Два послѣдніе участвовали и въ словенскихъ изданіяхъ, и теперь возымѣли мысль издавать «Knihovnou česko-slovenskou», съ цѣлью знакомить Чеховъ съ литературой Словаковъ и проложить путь къ возстановленію единства. «Spěvy» Яна Ботто были первымъ выпускомъ этого изданія, 1880.

Руд. Покорный изложилъ свои мысли объ этомъ предметѣ въ брошюрѣ «Literární shoda česko-slovenská», 1880, которой мы, къ сожалѣнію, не имѣли въ рукахъ въ теченіе своей работы.—Въ томъ же смыслѣ Іос. Голечекъ издалъ брошюру: «Podejme

ruku Slovákům» (1880). Чешскіе патріоты предоставляютъ Словакамъ употребленіе ихъ языка въ поэтической литературѣ, но рекомендуютъ для трудовъ научныхъ языкъ чешскій.

Стр. 1046. Словенскій патріотъ, Андрей Радлинскій, умеръ въ апрѣлѣ 1879.

Стр. 1057. Fr. M. Vrana, Moravské národní pohádky a povësti, выходятъ, съ 1880, выпусками, и собиратель старается особенно о вѣрной передачѣ самаго народнаго разсказа.

ПОПРАВКИ КЪ ГЛАВѢ IV.

Стран.			Вмѣсто:	Читай:
593,	строка	27	Учрежденный во Львовѣ 1817 университетъ	Учрежденный во Львовѣ 1784 университетъ
598,	»	6	Воронинъ	Вороничъ
601,	»	14	1828 г.	1829 г.
603,	»	2	Костюшко	Косцюшко
608,	»	17	Каминьскаго	Каминскаго
		30	«Mąz i Zona» и «Sluby panjeńskie»	«Mąż i Żona» Sluby panieńskie
611,	»	24	To lubi	To lubię
634,	»	33	въ Заосвѣ	въ Заосьѣ
655,	»	35	Штамлеру	Штатлеру
686,	»	34	вплоть до 1848 г.	вплоть до 1838 г.
691,	»	20	Корженевскій	Корженіовскій
692,	»	5	Niedokonszony	Niedokończony
		33—34	, и который одинъ защищалъ его въ 1829 передъ товарищами; Даніелевичъ	; Даніелевичъ, который одинъ защищалъ его въ 1829 передъ товарищами,
707,	»	28	нѣтъ З. К.	нѣтъ С. К.
709,	»	32	время (1837)	время (1836)
731,	»	7	лѣто 1843 года	лѣто 1842 года

Въ исчисленіи пособій должно прибавить сочиненія замѣчательнаго филолога, ксендза Франца Малиновскаго (род. 1808 близъ Торна, съ 1851 поселился въ Познани): Krytyczna grammatyka języka polskiego, Познань, 1869; Grammatyka sanskrycka, 3 выпуска, Познань, 1873. Много сочиненій его остается еще въ рукописи.

Во время печатанія настоящаго сочиненія, исторія польской литературы обогатилась нѣсколькими новыми книгами и источниками:

— Ant. Małecki, Grammatyka historyczno-porównawcza języka polskiego. 2 tomy. Lwów, 1879.

— Сочиненія, написанныя въ первой молодости С. Красинскаго (Gasztołd, Teodoro król borow, Zamek Wilezki), изданы 1880 В. Г. въ Познани.

— St. Ptaszycki, Mikołaj Rej z Nagłowic i Ks. Jozef Wereszczynski. Wilno 1880.

— Въ варшавскомъ журналѣ *«Niwa»* начались съ мая 1880 печатаніемъ публичныя лекціи профессора Тарновскаго о Янѣ Кохановскомъ.

УКАЗАТЕЛЬ.

Скобками [ ] отмѣчены писатели ино-славянскіе и ино-язычные, писавшіе о Славянствѣ.
Съ 449 стр. указанія относятся ко 2-му тому.